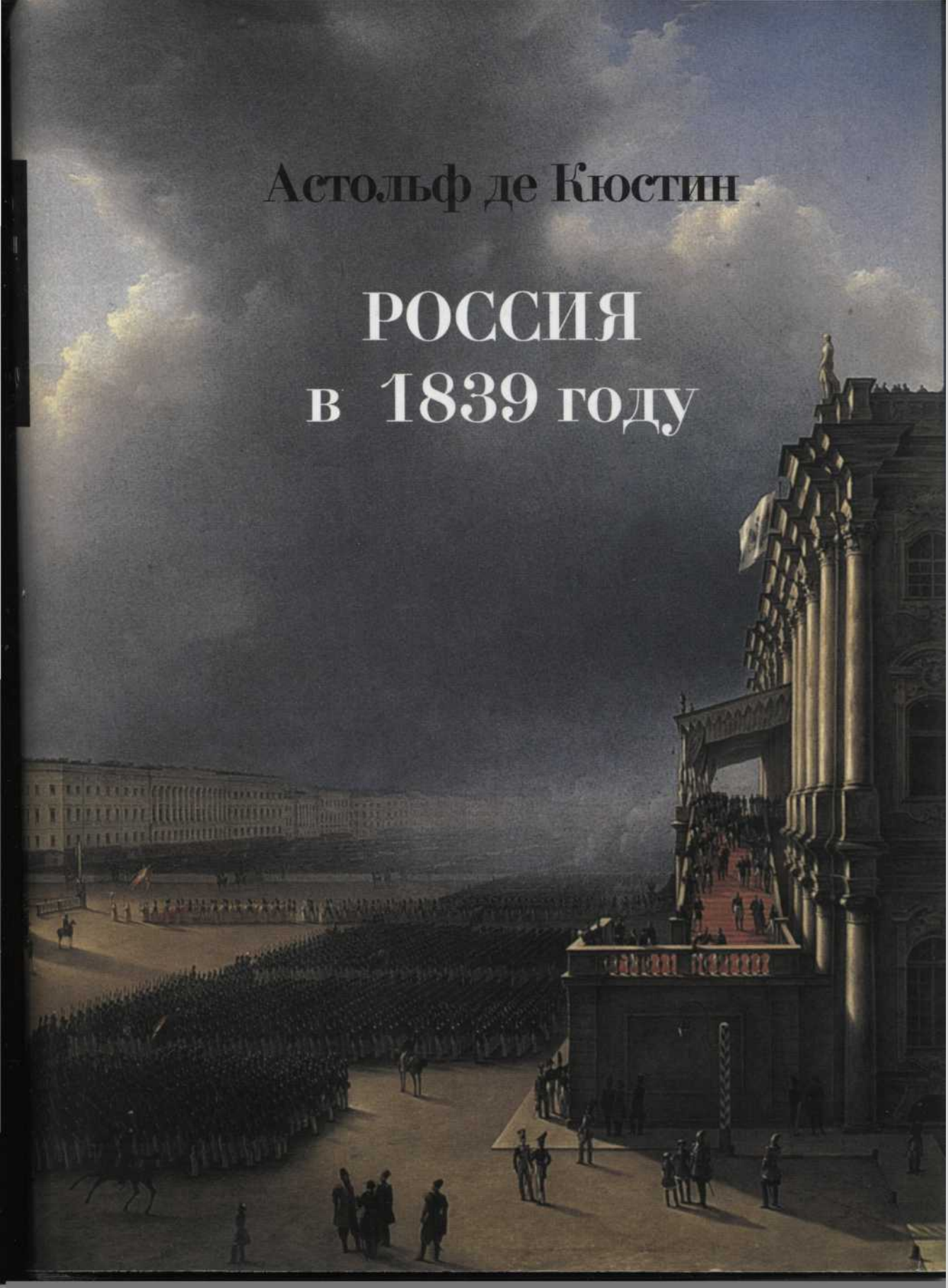
Астольф де Кюстин

РОССИЯ в 1839 году



Astolphe de Custine

La Russie en 1839

Астольф де Кюстин

Россия в 1839 году

Перевод с французского

Издание 3-е, исправленное и дополненное

Санкт-Петербург

УДК 821.133.1
ББК 84-4(4 Фра)
К99

Ответственный редактор *Сергей Ходов*

Перевод с французского
ВерыМильчиной (письма 1-11, 26-29)
Ирины Стаф (письма 12-20)
Ольги Гринберг (письма 21-25)
Сергея Зенкина (письма 30-36)
Под общей редакцией *Веры Мильчиной*

В оформлении суперобложки использован
фрагмент картины Г. Г. Чернецова «Парад на Дворцовой площади^ (1839 год)

Долгое время книга маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году» публиковалась в нашей стране только в выдержках или даже пересказах, причем никогда — под авторским заглавием (см.: Россия и русский двор // Русская старина. 1891. № 1-2; 1892. № 1 -2; Записки о России французского путешественника маркиза де Кюстина. М., 1910; то же: М., 1990; Маркиз Астольф де Кюстин. Николаевская Россия. Л., 1930; то же: М., 1990; то же (в сокращении): Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. Л., 1991). Все эти публикации, исполняя реферативно-ознакомительные функции, не могли, разумеется, дать адекватное представление ни о писательской манере Кюстина, ни о концептуальном объеме его взгляда на Россию.

Первый полный русский перевод «России в 1839 году» вышел в 1996 году в Издательстве имени Сабашниковых, а затем был переиздан в 2000 году издательством «Терра». Этот перевод с некоторыми поправками печатается и в настоящем издании, для которого статья и комментарии были переработаны и дополнены. Статья В. Мильчиной, комментарии В. Мильчиной и А. Осповата помещены в дополнительном томе.

Кюстин А. де

К99 Россия в 1839 году / Пер. с фр. О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф. СПб.: Крига, 2008. - 704 с.
ISBN 978-5-901805-35-0 (основной том)
ISBN 978-5-901805-34-3

Новое издание полного перевода знаменитой книги маркиза де Кюстина. Перевод сопровождается отдельным томом комментариев, разъясняющих культурно-исторические, литературные и политические реалии. Для данного издания статья и комментарии были переработаны и дополнены.

УДК 821.133.1
ББК 84-4(4 Фра)

© В. Мильчина, перевод, 1996
© И. Стаф, перевод, 1996
© О. Гринберг, перевод, 1996
© С. Зенкин, перевод, 1996
© Издательство «Крига», 2008

ISBN 978-5-901805-35-0 (основной том)
ISBN 978-5-901805-34-3

ОГЛАВЛЕНИЕ

	текст	комм.
Несколько слов издателя о втором издании (1843)	7	728
Предисловие	10	736
Письмо первое	20	742
Письмо второе	23	744
Письмо третье	37	750
Письмо четвертое	56	756
Письмо пятое	65	760
Письмо шестое	87	774
Письмо седьмое	96	781
Письмо восьмое	107	785
Письмо девятое	115	790
Письмо десятое	127	796
Письмо одиннадцатое	143	804
Письмо двенадцатое	172	820
Письмо тринадцатое	185	826
Письмо четырнадцатое	200	833
Письмо пятнадцатое	216	838
Письмо шестнадцатое	240	845
Письмо семнадцатое	250	850
Письмо восемнадцатое	272	860
Письмо девятнадцатое	298	863
Письмо двадцатое	319	870
Письмо двадцать первое	341	876
Письмо двадцать второе	360	886
Письмо двадцать третье	373	889
Письмо двадцать четвертое	392	892
Письмо двадцать пятое	403	896
Письмо двадцать шестое	409	898
Письмо двадцать седьмое	438	905
Письмо двадцать восьмое	457	912
Письмо двадцать девятое	471	915
Письмо тридцатое	501	923
Письмо тридцать первое	513	926
Письмо тридцать второе	533	931

Письмо тридцать третье . . . . . 545 ... 933
Письмо тридцать четвертое . . . . . 563 ... 935
Письмо тридцать пятое . . . . . 584 ... 939
Изложение дальнейшего пути . . . . . 603 ... 946
Письмо тридцать шестое г-ну *** . . . . . 621 ... 953

Приложение . . . . . 652 ... 963

Дополнения . . . . . 675 ... 967
1. Заметка автора о третьем издании (1846) . . . . . 675 . . . . —
2. К третьему изданию 1846 г. (Финал главы «Изложение дальнейшего пути») . . . . . 676 . . . . —
3. Предисловие автора к пятому изданию (1854) . . . . . 680 ... 968

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ИЗДАТЕЛЯ О ВТОРОМ ИЗДАНИИ (1843)

Автор с особенным тщанием выправил это издание; он внес в текст множество исправлений, кое-что выбросил и очень многое добавил, в том числе — несколько весьма любопытных анекдотов; итак, мы не без оснований льстим себя надеждой, что второе, улучшенное издание книги вызовет у публики еще более живой интерес, чем первое, о необычайном успехе которого свидетельствует уже та быстрота, с какой оно было распродано. Не прошло и нескольких месяцев, каюу нас не осталось ни единого экземпляра. Благодаря этой нежданной популярности, которой суждено войти в историю книгопечатания, парижскому изданию оказались не страшны такие соперники, как четыре бельгийские контрафакции, немецкий перевод и перевод английский, вышедший в Лондоне почти одновременно с первым французским изданием; не причинило ущерба и молчание крупнейших французских газет. Добавим, что все иностранные издания также полностью распроданы.

Новое издание замечательно не только своим текстом, в котором автор в интересах публики произвел значительные перемены, но и исправностью набора вкупе с красотою бумаги; одним словом, оно несравненно выше бельгийских контрафакций; избранный же нами формат сделал книгу дешевле бельгийских. Хотя публика и без того начинает уже разочаровываться в этих неполных, неточных и куцых книжонках, мы считаем своим долгом лишний раз высказать протест против действий их издателей, которые без зазрения совести выставляют на обложке своих подделок наше имя и называют местом издания Париж; не менее предосудительно поступают и те иностранные книгопродавцы, кто, не участвуя впрямую в подобных обманах, поощряют их, торгуя бельгийскими контрафакциями, а не нашими полными и исправными изданиями, отпечатанными в Париже.

Яростные нападки на эту книгу со стороны русских,[1] а также нескольких газет, поддерживающих их политику, сделали лишь более очевидными мужество и прямодушие автора: только правда способна вызвать такую вспышку гнева; объедини все путешественники мира свои усилия, дабы представить Францию

[1] См. брошюру «Реплика о книге г-на де Кюстина». (Здесь и далее под строкой примечания автора.)

страной идиотов, их сочинения не исторгли бы из уст парижан ничего, кроме веселого смеха; больно ранит лишь тот, кто бьет без промаха. Человек независимого ума, высказывающий свои мысли начистоту, в наш осмотрительный век не мог не поразить читателей; увлекательность темы довершила успех, о котором мы, впрочем, не станем распространяться, ибо здесь не место восхвалять талант литератора, сочинившего «Россию в 1839 году».

Да будет нам позволено кратко ответить лишь на один, самый распространенный упрек — упрек в неблагодарности и нескромности.

Автор счел, что он вправе высказать свои мысли без обиняков, ничем не оскорбив приличий, ибо, взирая на Россию лишь глазами путешественника, он не был связан ни долгом чиновника, ни душевными привязанностями, ни светскими привычками. Император принимал его любезно и милостиво, как это и свойственно сему монарху, но исключительно в присутствии всего двора. Будучи частным лицом, автор вкушал плоды, так сказать, публичного гостеприимства, налагающего на литератора лишь обязательство вести рассказ тоном, подобающим любому хорошо воспитанному человеку; начертанные им портреты августейших особ, принимавших его с высочайшей учтивостью, не содержат ничего, что могло бы унизить их в глазах света; напротив, автор льстит себя надеждой, что возвеличил их в мнении общества. Писательская манера его хорошо известна: он описывает все, что видит, и извлекает из фактов все выводы, какие подсказывают ему разум и даже воображение, ибо он путешествует ради того, чтобы пробудить все способности своей души. Он тем менее почитал себя обязанным менять эту манеру в данном случае, чем более был уверен, что бесстрашная правдивость, которой проникнуто его сочинение, — не что иное как лесть, лесть, быть может, чересчур тонкая, чтобы быть постигнутой умами заурядными... но внятная умам высшим.

Донести до всемогущего властителя обширной империи голоса страждущих подданных, обратиться к нему, можно сказать, как человек к человеку — значит признать его достойным и способным вынести бремя истины без прикрас, иными словами, увидеть в нем полубога, к которому несчастные смертные воссылают мольбы, не выбирая выражений.

Независимость позволила автору пренебречь пустыми предостережениями: он заслужил бы куда более суровые и обоснованные укоризны, если бы, вместо того чтобы извлечь наибольшую пользу из своей безвестности, уступил бы мелочным требованиям моды и стал сочинять бесцветные сказки в лучших традициях любительской дипломатии; бесспорно, именно в этом случае даже завсегдатаи самых умеренных салонов были бы вправе потребовать от него большего мужества и упрекнуть его в отсутствии независимости и искренности — тех достоинств, которые иные критики нынче ставят ему в вину, и мы не сомневаемся, что читатели именно так бы и поступили. Поэтому автор имеет все основания гордиться тем, что повиновался исключительно голосу своей совести и не опасался хулы, которую в конечном счете вызывают лишь второстепенные детали, не имеющие решительно никакого касательства к сути книги и убеждениям ее создателя. В самом деле, осмелимся спросить, что сталось бы с историей, если

бы ее творцы замолкали из страха быть обвиненными в нескромности? Никогда еще французы так не боялись погрешить против хорошего тона, как ныне, когда у них не осталось ни судей, сведущих в его правилах, ни самих этих правил! 733

Быть может, уместно будет повторить здесь, что эти путевые заметки сочинялись в два приема: вначале автор, по его собственному признанию, изо дня 733
в день, или, вернее, из ночи в ночь, запечатлевал для себя и своих друзей поразившие его факты и пережитые им ощущения; дневник этот вкупе с размышлениями об увиденном и лег в основу книги. Автор мог бы доказать это, предоставив маловерам, сомневающимся в том, что в столь ограниченный срок он успел увидеть все, о чем пишет, оригиналы своих писем; три года спустя, прежде чем обнародовать эти письма, он тщательно их обработал. Отсюда — причудливая чересполосица непосредственных впечатлений и продуманных выражений, снискавших автору хвалу одних читателей и хулу других. Путешественник не только не сгустил краски и не преувеличил размеры зла, но, напротив, боясь, что ему не поверят, умолчал о множестве достоверных фактов, куда более отвратительных, нежели те, что приведены в его книге. Итак, его изображение русских и их правительства — портрет, схожий с оригиналом, но смягчающий его черты; щепетильность и беспристрастность автора так велики, что он пренебрег всеми историями и анекдотами, слышанными от поляков. 734

В заключение приведем ответ автора заклятым врагам, которых он нажил из-за своей опрометчивой любви к истине: «Если рассказанные мною факты ложны, пусть их опровергнут; если выводы, которые я из них делаю, ошибочны, пусть их исправят: нет ничего проще; но если книга моя правдива, мне, надеюсь, позволительно утешать себя мыслью, что я достиг своей цели, состоявшей в том, чтобы, указав на болезнь, побудить умных людей пуститься на поиски лекарства».[1]

Париж, 15 ноября 1843 года

[1] Мы безуспешно пытались получить у автора согласие на публикацию многочисленных анонимных писем, как бранных, так и хвалебных, которые он получает ежедневно, а также многочисленных лестных отзывов, подписанных известными и почтенными именами. Но никто не может запретить нам привести здесь отрывок из газеты «Пресс» от 31 октября, где французский журналист ссылается на мнение английской газеты «Тайме»: «16 октября российский император возвратился в Санкт-Петербург. "Тайме" утверждает, что вследствие впечатления, произведенного в Европе последним сочинением г-на де Кюстина, русское правительство решительно переменило обращение с иностранцами, приезжающими в Россию, и русскими, желающими отправиться за границу; отныне и тем и другим будет предоставлена самая большая свобода — во всяком случае, на словах». Если этот пассаж ироничен, то отнюдь не по отношению к нашему автору. 734

Каков правитель народа,
таковы и служащие при нем;
и каков начальствующий над городом,
таковы и все, живущие в нем.

Книга премудрости Иисуса,
сына Сирахова: 10,2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Жажда путешествий, которую я ощущал в своей душе от рожденья и начал утолять уже в ранней юности, никогда не была для меня данью моде. Всех нас в той или иной степени мучит желание познать мир, кажущийся нам темницей, ибо мы не выбирали его своим пристанищем, однако я, пожалуй, не смог бы со спокойной душой покинуть этот тесный мирок, не исследовав все его уголки. Чем больше вглядываюсь я в свою тюрьму, тем краше и просторнее становится она в моих глазах. Девиз путешественника — видеть, чтобы знать, — это мой девиз; я не выбирал его, он подсказан мне природой.

Сравнивать образы жизни различных народов, населяющих землю, изучать их манеру мыслить и чувствовать, отыскивать узы, связующие по воле Господа их историю, нравы и облик, одним словом, путешествовать — значит для меня
736 обретать неисчерпаемый запас пищи для любознательности, вечный источник возбуждения для мысли; помешать мне странствовать по свету — все равно что похитить у книжника ключ от книжного шкафа.

Но, как бы далеко ни заводило меня любопытство, семейственные привязанности возвращают меня домой. Тогда я подвожу итог дорожным впечатлениям и выбираю из своей добычи идеи, которые, как мне представляется, было бы полезно сделать всеобщим достоянием.

Пока я ездил по России, душою моей, как всегда, когда я пускаюсь в странствия, владели два чувства: любовь к Франции, заставляющая меня быть суровым в моих суждениях об иностранцах и даже о самих французах, ибо подлинная страсть не ведает снисхождения, и любовь к человечеству. Уравновесить эти два предмета наших земных привязанностей — отечество и род человеческий — вот призвание всякой возвышенной души. Совершить это способна только религия, что до меня, то я отнюдь не могу тешить себя надеждой, что добился этой цели, однако я могу и обязан сказать, что никогда не переставал стремиться к ней

изо всех сил, невзирая на капризы моды. Я хранил в своем сердце религиозные идеи, живя среди людей равнодушных, ныне же я не без радостного изумления замечаю, что юные умы нового поколения проявляют немалый интерес к дорогим мне идеям.

Я не принадлежу к числу людей, видящих в христианстве священный покров, который разум, беспрестанно совершенствуясь, должен рано или поздно разорвать. Религия пребывает под покровом, однако покров не есть религия; если христианство глаголет символами, то не оттого, что истина темна, но оттого, что она сияет слишком ярко, а глаза человеческие слишком слабы: чем лучше разовьется человеческое зрение, тем дальше проникнут взоры людей, но это не изменит сути дела; во тьме прозябают не предметы, но мы сами.

Люди, не исповедующие христианства, живут разъединенно, а если и объединяются, то лишь для того, чтобы образовать политические сообщества, иначе говоря, пойти войной на других людей. Одно лишь христианство способно объединять людей во имя мира и свободы, ибо одному ему ведомо, где искать свободу. Христианство правит и будет править землей тем более успешно, чем более часто будет оно применять свою божественную мораль к человеческим деяниям. Прежде христианский мир более занимала мистическая, нежели политическая сторона религии; теперь для христианства наступает новая эра; быть может, потомки наши увидят Евангелие в основании общественного порядка.

Но святотатством было бы почитать подобное положение дел единственной целью небесного законодателя; это — всего лишь средство...

Сверхъестественный свет может воссиять человечеству лишь после того, как души воссоединятся вне и сверх всех земных правлений: духовное общество, общество без границ — вот надежда мира, вот его будущее.

Иные утверждают, что цель эта непременно будет достигнута и без помощи нашей религии, что христианство, покоящееся на таком гнилом фундаменте, как первородный грех, обветшало и что для исполнения своего истинного, до сего дня еще никем не понятого предназначения человек должен повиноваться одним лишь законам природы.

Первостатейные честолюбцы, с помощью своего вечно юного красноречия вливающие новую жизнь в эти старые доктрины, вынуждены, дабы их не упрекали в непоследовательности, добавлять, что добро и зло — не что иное, как порождения человеческого ума, и человек, сам создавший эти призраки, волен сам же их и уничтожить.

Якобы новые доказательства, какими они подкрепляют свои теории, не удовлетворяют меня; но, будь они даже неопровержимы, что изменило бы это в моей душе?.. Низвергнут ли человек во прах грехом или же пребывает там, куда покорной Господу природе угодно было его поместить, он — не кто иной, как солдат, завербованный помимо его воли с самого рождения и увольняемый в отставку лишь по смерти; впрочем, и тогда набожный христианин лишь меняет одни узы на другие. Вечный закон человеческой жизни, заповеданный Богом, — труд и борьба; трусость кажется человеку самоубийственной, сомнения для него — пытка, победа — надежда, вера — отдых, а повиновение — слава.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Таков человек всех времен и всех стран, но прежде всего таков человек, вскормленный религией Иисуса Христа.

Вы утверждаете, что добро и зло — выдумки самого человека? Но если природа диктует человеку столь навязчивые принципы, как спасется он от самого себя? и как избавится от этой коварной способности выдумывать, если угодно — лгать, — способности, не покидающей его, помимо его и вашей воли, от сотворения мира?

До тех пор, пока вы не замените тревоги моей совести покоем вашей, вы ничем не сумеете мне помочь... Покой!.. Нет, как вы ни дерзки, вы не посмеете утверждать, что он вам ведом!!! И все же... заметьте себе, покой — это право, это долг создания, наделенного разумом, ибо, утратив покой, оно опускается ниже животного, однако вот в чем загадка! загадка, неразрешимая ни для кого — ни для вас, ни для меня: нам никогда не достигнуть покоя своими силами, ибо, что
738 ни говорите, всей природы недостанет для того, чтобы даровать покой одной-единственной душе.

Поэтому, вынуди даже вы меня согласиться с вашими рискованными утверждениями, вы лишь доставили бы мне новые доказательства того факта, что нам потребен лекарь, Искупитель, умеющий врачевать душу человека — этого развращенного создания, постоянно и неизбежно порождающего призраки, постоянно и неизбежно увязающего в борениях и противоречиях и по природе своей бегущего покоя, без которого оно, однако, не может обойтись, создания, во имя мира разжигающего войну, сеющего кругом иллюзии, хаос и горе.

А если нужда в Искупителе не подлежит сомнению, то вы простите мне, если я обращусь за искуплением не к вам, а к Иисусу Христу!!!

Вот в чем корень зла! Уму нужно смирить гордыню, разуму признать свое несовершенство. Когда иссякает источник рассуждений, начинают бить ключом чувства; стоит душе признать свою беспомощность, как она становится всемогущей; она не повелевает, но молит — и, преклонив колени, человек близится к цели.

Но если всё поникнет, если всё будет влачиться во прахе, кто на земле останется стоять гордо и прямо? кто будет повелевать бренным миром?.. Церковь и ее первосвященник...

Если из лона этой Церкви, дщери Христа и матери христианства, вышли отступники, виной тому ее жрецы — ибо и они тоже люди. Но Церковь вновь обретет единство, ибо люди эти, как бы незначительны они ни были, тем не менее являются прямыми наследниками апостолов; из века в век их рукополагали в священники епископы, на которых также из века в век, начиная со Святого Петра и Иисуса Христа, нисходил Святой дух, а с ним — авторитет, необходимый для того, чтобы сообщать благодать возрожденному миру.

Вообразите, — ведь Господь всемогущ, не так ли?.. — вообразите, что род человеческий всерьез пожелает возвратиться к христианству: неужели он станет искать веру в книгах? Нет, он отыщет людей, которые растолкуют ему смысл этих книг. Итак, авторитет необходим всегда: в нем нуждаются даже проповедники

независимости, а из двух авторитетов тот, что избран по произволу, не стоит того, 738
на чьей стороне — одобрение восемнадцати столетий.

Верите ли вы, что российскому императору роль земного главы Церкви подобает более, нежели римскому прелату? Русские обязаны верить в это, но верят ли они на самом деле? И верите ли вы, что они в это верят? А ведь именно эту религиозную истину проповедуют они ныне полякам!

Но вы желаете быть последовательными и упрямо отрицаете всякий авторитет, кроме авторитета индивидуального разума? Вы рветесь в бой оттого, что разум питает гордыню, а гордыня сеет раздор. О, христиане не постигают, какого сокровища добровольно лишили они себя в тот день, когда вообразили, что Церкви могут быть национальными!.. Стань все церкви мира национальными, 738
иначе говоря, протестантскими или православными, сегодня у нас не было бы христианства: его место занимали бы богословские системы, подчиненные политике, которая изменяла бы их по своей прихоти, в зависимости от обстоятельств и местных нравов.

Повторюсь: я христианин потому, что судьбы человеческие свершаются не на земле; я католик потому, что вне католической церкви христианство извращается и гибнет.

Сотворив великое зло, нарушив единство, протестанты, сами того не ведая, сотворили великое благо: они преобразовали покинутую ими Церковь. Церковь эта за время, прошедшее после эпохи Лютера и Кальвина, сделалась такой, какой ей подобало быть всегда: более евангелической, нежели политической. Но и протестанты обязаны ей бесценным благом — жизнью: ведь протестантизм, чья сущность — отрицание, уже давно зачах бы, не будь у него необходимости бо- 738
роться против религии положительной. Именно бессмертие римской Церкви стало залогом долговечности тех сект, что вышли из ее лона.

Я объехал большую часть цивилизованного мира и во время этих странствий всеми силами старался познать тайные пружины, движущие жизнью империй; я вел наблюдения с великим тщанием, и вот какое мнение составил я о грядущих судьбах мира.

С точки зрения человеческой, впереди у нас — всеобщая разобщенность умов, проистекающая из презрения к единственному законному авторитету в области веры, иначе говоря, уничтожение христианства не как нравственной и философской доктрины, но как религии... — одного этого достаточно для подкрепления моей мысли. С точки зрения божественной, впереди у нас — триумф христианства в результате слияния всех церквей в единую мать-церковь, в церковь поколебленную, но нерушимую, чьи врата с каждым столетием раскрываются все шире, дабы все покинувшие ее могли возвратиться назад. Мир должен стать либо языческим, либо католическим: его религией должно сделаться либо более или менее утонченное язычество, имеющее храмом природу, 744
жрецами ощущения, а кумиром разум, либо католичество, проповедуемое священниками, среди которых хотя бы горстка честно соблюдает завет учителя: «Царство мое не от мира сего».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вот дилемма, которая вечно будет стоять перед человеческим умом. Все остальное — либо обман, либо иллюзии.[1]

Я знаю это с тех пор, как начал мыслить; впрочем, идеи моего века были так далеки от моих собственных, что мне недоставало не столько веры, сколько отваги; одиночество вселяло в мою душу мучительное ощущение беспомощности; тем не менее я всеми силами пытался отстоять мою веру. Сегодня же, когда вера эта распространилась среди части христианского мира, сегодня, когда мир волнуют именно те великие цели, что всегда заставляли учащенно биться мое сердце, наконец, сегодня, когда ближайшее будущее Европы зависит от решения вопроса, над которым неустанно бился такой темный человек, как я, — сегодня я понимаю, что мне есть место в этом мире, я ощущаю поддержку если не в моем отечестве, все еще зараженном философией разрушения, узкой, отсталой философией, которая отдаляет добрую половину современной Франции от великой битвы за человечество, то по крайней мере в христианской Европе. Именно эта поддержка помогла мне более четко изъяснить мои идеи в этом сочинении и сделать из них окончательные выводы.

Повсюду, где мне случалось быть, от Марокко до границ Сибири, я прозревал искры грядущих религиозных войн; войн, которые, надо надеяться, будут вестись не посредством оружия (такие войны, как правило, ничего не решают), но посредством идей... Лишь одному Богу ведомы тайные причины событий, но всякий человек, умеющий наблюдать и размышлять, может угадать некоторые из вопросов, ответ на которые даст грядущее: все эти вопросы связаны с религией. Отныне политическое влияние Франции будет зависеть от того, сколь могущественна будет она как держава католическая. Чем дальше отходят от нее революционные умы, тем ближе подходят к ней католические сердца. Сила вещей
739 в этой сфере так подчиняет себе людей, что король, известный своей терпимостью, и министр-протестант прославились во всем мире как самые ревностные защитники католической религии исключительно по той причине, что принадлежат к французской нации.[2]

Таковы были постоянные предметы моих размышлений и попечений во время долгого паломничества, которому посвящена эта книга; рассказ мой разнообразен,

[1] Главенство римского первосвященника, ведающего правами и декреталиями церкви, — залог постоянства веры; вот отчего викарий Иисуса Христа останется земным правителем до тех пор, пока христиане не найдут иного способа обеспечить ему независимость. Ему надлежит принимать почести, не злоупотребляя ими; служителю церкви, пережившей столько бедствий, не следует забывать об этом христианском долге. Слабая и ничуть не воинственная власть, которую уступила политика наместнику Бога на земле, является сегодня для этого прелата, стоящего выше всех прочих священников, лишь средством показать миру единственный в своем роде пример апостольских добродетелей на троне; свершить этот сверхъестественный подвиг поможет ему сознание собственного величия. Он знает, что нужен церкви, а церковь нужна для осуществления Господних видов на род человеческий; этого убеждения довольно, чтобы возвысить обычного человека над всем человечеством.

[2] См. письмо двадцать восьмое.

как скитальческая жизнь странника, но чаще однообразен, как северная природа, печален, как деспотическая власть, и неизменно исполнен любви к отечеству, а равно и чувствований более общего характера.

Как, однако, часто подвергаются сомнению те идеи, что волнуют ныне мир: ведь многие годы он прозябал во власти цивилизации чересчур материальной.

Признать божественность Иисуса Христа — это, разумеется, немало; большинство протестантов не способны и на это; однако это еще не значит приобщиться к христианству. Разве язычники не хотели возводить храмы в честь того, кто пришел в мир, дабы разрушить их храмы?.. Разве, предлагая апостолам включить Иисуса Христа в число богов, язычники становились христианами?

Христианин — прихожанин церкви Иисуса Христа, а это — церковь единая и единственная; ее возглавляет земной владыка, и ей есть дело не только до деяний каждого человека, но и до его веры, ибо власть ее — власть духа.

Церковь эта оплакивает странное заблуждение наших дней, когда за христианскую терпимость принимают философическое равнодушие. Превратить терпимость в догму и заменить этой человеческой догмой догматы божественные — значит под предлогом усовершенствования обречь ее на гибель. С точки зрения католической церкви, быть терпимым — не значит предавать свои убеждения; это значит протестовать против насилия и приносить в дар вечной истине молитвы, терпение, любовь и веру; такова ли, однако, современная терпимость?! Равнодушие как принцип, лежащий уже более столетия в основании нового богословия, меркнет в глазах истинных христиан тем стремительнее, чем больший урон наносит оно вере; истинная терпимость, терпимость, ограниченная пределами благочестия, — не обыденное состояние души, но лекарство, каким милосердная религия и мудрая политика врачуют болезни духа.

А что означает недавнее изобретение — ***неокатолицизм?*** Став новым, католицизм тотчас прекратит свое существование. 739

Конечно, может найтись и находится немало умов, которые, устав плыть по воле всевозможных теорий, укрываются от бурь, рожденных идеями нашего века, под сенью алтаря; этих новообращенных можно назвать неокатоликами, но, говоря о неокатолицизме, мы неизбежно признаемся в непонимании самой сущности религии, ибо в слове этом заложено противоречие.

Нет ничего менее двусмысленного, чем наша вера; она — не философская система, от которой каждый может взять, что хочет, а остальное — отбросить. Человек либо становится католиком, либо не становится им; нельзя сделаться католиком наполовину или на новый лад. Неокатолицизм, скорее всего, — не что иное, как секта, которая до поры до времени скрывается под маскарадным платьем, но вскоре отринет заблуждения, дабы возвратиться в лоно церкви; в противном случае церковь осудит его, ибо она гораздо более озабочена сохранением чистоты веры, нежели показным увеличением сомнительного числа своих ненадежных чад. Когда человечество уверует воистину, оно примет христианство таким, каким оно пребывало от века. Главное, чтобы это священное сокровище не оскверняли никакие примеси.

Впрочем, католическая Церковь способна меняться в том, что касается нравов и образа жизни духовенства, и даже в некоторых положениях своей доктрины, не связанных с основаниями веры; да что там говорить? ее история, ее жизнь — не что иное, как постоянные изменения, но эти законные и непрерывные изменения непременно должны быть освящены церковным авторитетом и отвечать каноническому праву.

Чем более я странствовал по миру, чем более видел различных наций и государств, тем более убеждался в том, что истина неизменна: в варварские эпохи варвары отстаивали ее варварскими средствами; в будущем ее станут защищать средствами более гуманными, но ни блестящие заблуждения, ослепляющие ее врагов, ни преступления ее поборников не способны запятнать ее чистый покров.

Я желал бы послать в Россию всех христиан, не принадлежащих к католической церкви, дабы они увидели, во что превращается наша религия, когда ее проповедует ***национальное*** духовенство в ***национальном*** храме.

Униженное состояние духовенства в обширной стране, где Церковь всецело подчинена государству, заставило бы ужаснуться самого ярого протестанта. Национальная церковь, национальное духовенство — этим словосочетаниям не место в языке; церковь по сути своей выше любого человеческого сообщества; покинуть вселенскую церковь ради некоей политической церкви — значит не просто заблуждаться, но отринуть веру, уничтожить самое ее основание, пасть с неба на землю.

Меж тем сколько порядочных, превосходных людей в эпоху рождения протестантизма мечтали с помощью новых доктрин очистить свою веру — увы, на деле они лишь ограничили ее пределы!.. С тех пор равнодушие, прославленное под прекрасным именем терпимости, неустанно увлекало людей на ложный путь...

Если сегодня Россия — одно из любопытнейших государств в мире, то причина тому в соединении крайнего варварства, усугубляемого порабощенным состоянием Церкви, и утонченной цивилизованности, заимствованной эклектическим правительством у чужеземных держав. Чтобы узнать, каким образом из столкновения столь разных стихий может родиться покой или неподвижность, надобно последовать за путешественником в самое сердце этой диковинной страны.

Способ, который я употребляю для изображения местностей и описания характеров, кажется мне если не самым удачным для писателя, то по крайней мере самым удобным для читателя, которого я веду за собой, позволяя ему самостоятельно судить о ходе моих мыслей.

Я приезжаю в неведомую мне страну свободный от всякой предвзятости, кроме той, от которой не в силах освободиться ни один человек: той, которую прививает нам добросовестное изучение истории. Я исследую предметы, наблюдаю за людьми и событиями, с чистой душой отдаваясь ежедневным впечатлениям, которые неминуемо влияют на мои взгляды. Я не обременен политическими идеями, которые, имея надо мной исключительную власть, могли бы помешать этому стихийному превращению; неизменна в моей душе лишь религиозная вера, да и ее читатель может не разделять: это никак не помешает ему

отнестись к моему рассказу о событиях и вытекающих из них нравственных итогах без того осуждения, какое я вызываю — и тем горжусь! — у безбожников.

Меня можно обвинить в том, что я страдаю предрассудками, но никто никогда не сможет упрекнуть меня в том, что я сознательно исказил истину.

Я описываю увиденное по свежим следам; я пересказываю услышанное в течение дня вечером этого же дня. Поэтому записи бесед с императором, воспроизведенных в моих письмах слово в слово, обладают по крайней мере одним неоспоримым достоинством — они точны. Надеюсь, они помогут публике лучше узнать этого монарха, о котором и в нашей стране, и повсюду в Европе высказываются самые различные суждения.

Не все письма, предлагаемые здесь вниманию читателей, предназначались для публики; в начале книги много очень личных признаний; устав писать — но не путешествовать, — я намеревался на этот раз наблюдать новые для меня нравы без всякой системы и посвящать в свои наблюдения только ближайших друзей; из дальнейшего изложения станет ясно, какие причины заставили меня изменить решение.

Главная из этих причин состоит в том, что знакомство с совершенно неизвестным мне обществом ежедневно изменяло мои убеждения. Я счел, что, сказав правду о России, совершу поступок необычный и отважный: прежде страх или корысть внушали путешественникам лишь преувеличенные похвалы; ненависть 740
вдохновляла на клевету; мне не грозит ни та, ни другая опасность.

Я ехал в Россию, дабы отыскать там доводы против представительного правления, я возвращаюсь сторонником конституций. При смешанном правлении нации не так деятельны, но под старость им нет особой нужды в героических деяниях; смешанное правление более всего благоприятствует расцвету промышленности, обеспечивает людям наибольший уют и достаток; оно вдохновляет человеческий ум на открытия в сфере практической, наконец, оно дарует человеку независимость по закону, а не по доброте душевной; бесспорно, все это — немалая награда за немалые неудобства. 740

Чем ближе узнавал я страшное и удивительное государство, узаконенное, чтобы не сказать: основанное, Петром I, тем яснее понимал миссию, возложенную на меня случаем.

Чрезвычайное любопытство, которое вызывал мой труд у русских, явственно встревоженных сдержанностью моих речей, уверило меня в том, что я способен свершить больше, чем думал; я сделался внимателен и осторожен, ибо очень скоро постиг, сколько опасностей навлекла бы на меня искренность. Не осмеливаясь отправлять письма по почте, я хранил эти подозрительные бумаги при себе, 740
пряча их как можно более тщательно, вследствие чего возвратился во Францию
с готовой книгой. Тем не менее целых три года я не отваживался обнародовать 734
ее: все это время я прислушивался к голосу собственной совести, пытаясь сделать выбор между правдивостью и признательностью!!! В конце концов я выбрал первую из них, заботясь, как мне казалось, об интересах моего отечества. Я никогда не забываю, что пишу прежде всего для Франции, и почитаю своим долгом сообщать ей сведения важные и полезные.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я думаю, что вправе судить, и судить со всей строгостью, какой потребует моя совесть, страну, где я оставил друзей; вправе исследовать, не допуская оскорбительных выпадов против личностей, характеры государственных мужей; вправе приводить слова политиков, начиная с главы государства, рассказывать об их деяниях и делиться всеми выводами, к которым я пришел, размышляя об увиденном, — лишь бы я сохранял то, что именуется писательской честностью, и, повинуясь прихотливой игре моего ума, не выдавал собственного мнения за мнение большинства.

Но, исполняя свой долг, я, надеюсь, не нарушил никаких условленных приличий, а тот, кто уважает приличия, имеет — я в этом уверен — право высказывать самые жестокие истины; главное здесь — говорить лишь то, в чем ты убежден, не идя на поводу у собственного тщеславия.

Вдобавок, поскольку многое в России восхищало меня, я не мог не выразить в своей книге и этого восхищения.

Русские останутся мною недовольны — но кому под силу удовлетворить запросы честолюбия? Между тем, никто более меня не был потрясен величием их нации и ее политической значительностью. Мысли о высоком предназначении этого народа, последним явившегося на старом театре мира, не оставляли меня на протяжении всего моего пребывания в России. В массе своей русские показались мне грандиозными даже в отвратительнейших пороках, поодиночке они держались со мной любезно; характер русского народа, по моему убеждению, достоин интереса и сочувствия; на первый взгляд эти лестные утверждения вполне способны вознаградить за наблюдения куда менее восторженные. Но большинство моих предшественников обходились с русскими как с балованными детьми.

Дух их правления, решительно чуждый моим убеждениям и привычкам, а также очевидные противоречия, раздирающие сегодня их общество, исторгли из моих уст упреки и даже возгласы негодования; что ж! тем больше весу приобретают мои похвалы, в той же степени безотчетные.

Но эти жители Востока настолько привыкли курить и вдыхать фимиам, настолько привыкли верить льстивым речам, какими они тешат друг друга, что обратят внимание лишь на хулу. Всякое неодобрение кажется им предательством; всякую жестокую истину они именуют ложью; они не разглядят в моих — по видимости критических — наблюдениях робкое восхищение, в моих строгих замечаниях — жалость и даже симпатию.

Русские не обратили меня в свои веры (а вер этих у них несколько, и политическая — не самая нетерпимая из всех); напротив, они заставили меня по-новому взглянуть на монархическую идею и предпочесть деспотизму представительное правление; уже один этот выбор оскорбит их. Я весьма сожалею об этом, но предпочитаю сожаление раскаянию.

Не смирись я заранее с несправедливостью их суждений, я не стал бы публиковать эти письма. Вдобавок на словах русские могут жаловаться сколько угодно, в глубине души они меня простят — этого сознания мне довольно. Всякий русский, если он порядочный человек, подтвердит, что если я, по недостатку

времени, и допустил ошибки в деталях, в целом я изобразил Россию такой, как она есть. Они учтут все трудности, с какими я столкнулся, и признают, что я верно и скоро сумел разглядеть под политической маской, вот уже столько веков искажающей исконный характер русской нации, ее превосходные задатки.

События, происходившие на моих глазах, описаны в моей книге пером очевидца; те, о которых я знаю с чужих слов, изложены так, как были мне пересказаны; я не стал обманывать читателя, приписывая себе впечатления других людей. Я постарался не только не называть имен своих собеседников, но даже не намекать на их положение в обществе и происхождение; надеюсь, что скромность моя будет оценена по заслугам; она лишний раз доказывает, что просвещенные умы, разъяснявшие мне суть некоторых происшествий, коих я не мог быть свидетелем, заслуживают всяческого доверия. Нет нужды добавлять, что я приводил лишь те рассказы, какие слышал от людей, чей характер и звание суть ручательство достоверности описанных фактов.

Благодаря моей щепетильности читатель сам сможет судить о том, насколько правдоподобны эти второстепенные сведения, занимающие, впрочем, в моем повествовании очень мало места.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Прибытие в Эмс цесаревича. — Отличительные черты русских царедворцев. — Их поведение в присутствии повелителя и в его отсутствие. — Портрет цесаревича. — Его облик, его болезненный вид. — Портреты его отца и дяди в его возрасте. — Кареты цесаревича. — Неряшливый выезд. — Скверно одетые слуги. — Превосходство англичан в вещах материальных. — Закат над Рейном. — Река, затмевающая красотой свои берега. — Невыносимая жара.

742 *Эмс, 5 июня 1839 года*

742 Вчера я начал свое путешествие в Россию: наследник российского престола прибыл в Эмс, предшествуемый десятью-двенадцатью экипажами и сопровождаемый толпой придворных.

Увидев русских царедворцев при исполнении обязанностей, я тотчас поразился необычайной покорности, с какой они исполняют свою роль; они — своего рода сановные рабы. Но стоит монарху удалиться, как к ним возвращаются непринужденность жестов, уверенность манер, развязность тона, неприятно контрастирующие с полным самоотречением, какое они выказывали мгновение назад; одним словом, в поведении всей свиты цесаревича, как господ, так и слуг, видны привычки челяди. Здесь властвует не просто придворный этикет, подразумевающий соблюдение условленных приличий, уважение более к званиям, нежели к лицам, наконец привычное распределение ролей — все то, что рождает скуку, а иной раз и навлекает насмешку; нет, здесь господствует бескорыстное и безотчетное раболепство, не исключающее гордыни; мне казалось, что я слышу, как, бунтуя в душе против своего положения, эти русские придворные говорят себе: «За неимением лучшего возьмем, что дают». Эта смесь надменности с низостью не понравилась мне и не внушила особенного расположения к стране, которую я собрался посетить.

Мне случилось оказаться в толпе зевак, наблюдавших за тем, как цесаревич выходит из экипажа; он остановился у дверей купальни и долго беседовал с русской дамой, графиней ***, что позволило мне как следует рассмотреть его. Ему двадцать семь лет, и выглядит он не старше и не моложе; он высокого роста, но,

на мой вкус, полноват для своего возраста; лицо его было бы красиво, если бы не некоторая одутловатость, размывающая его черты и придающая ему сходство с немцем; вероятно, так же выглядел в этом возрасте император Александр; впрочем, наследник ничуть не похож на калмыка. Лицу его предстоит претерпеть 742
еще немало изменений, прежде чем оно обретет свой окончательный вид; нынче оно, как правило, выражает доброту и благожелательность, однако контраст между смеющимися молодыми глазами и постоянно поджатыми губами выдает не- 743
достаток искренности, а может быть, и какую-то тщательно скрываемую боль. Печали юности — эпохи, когда человек имеет все права на счастье, — суть тайна, хранимая тем более тщательно, что ее не умеет разгадать и сам страдалец. Взгляд юного принца исполнен доброты; походка изящна, легка, благородна; он выглядит так, как и должен выглядеть монарх; держится он скромно, но без робости, и это приятно; принужденность великих мира сего так тягостна для окружающих, что их естественность кажется нам самой любезностью, да, впрочем, и является таковой. Воображая себя священными идолами, властители только и думают, что о мнении, которое имеют о себе они сами и которое отчаиваются внушить окружающим.

Великому князю эти глупые тревоги не знакомы; он держится прежде всего как человек прекрасно воспитанный; вступив на престол, он будет повелевать не с помощью страха, но с помощью обаяния, если, конечно, титул российского императора не изменит его характер.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

6 июня, вечер

Я еще раз видел наследника и долго рассматривал его с очень близкого расстояния; он расстался с мундиром, который ему тесен и не красит его; штатское платье, на мой вкус, ему больше к лицу; у него приятные манеры и благородная походка, в которой нет ничего солдафонского; вообще его отличает то особое изящество, что присуще славянским народам. Это не страстная живость обитателей южных стран и не бесстрастная холодность жителей Севера, но смесь южной простоты и легкости со скандинавской меланхоличностью. Славяне суть белокурые арабы; цесаревич больше чем наполовину немец, но в Мекленбурге, 743
равно как и в некоторых областях Голштинии и России, живут немцы славянского происхождения.

Лицо наследника, несмотря на его молодость, не так привлекательно, как фигура; он бледен и выглядит больным;[1] полуприкрытые грустные глаза выдают заботы, присущие обычно людям более преклонных лет; изящно очерченный рот свидетельствует, пожалуй, о кротости нрава; греческий профиль напоминает античные медали или портреты императрицы Екатерины, однако, несмотря

[1] Цесаревич незадолго до приезда в Эмс перенес тяжелую болезнь. 743

на добродушный вид, какой почти всегда сообщают красота, молодость и немецкая кровь, во всех чертах великого князя заметна скрытность, пугающая в столь юном существе. Эта его особенность знаменательна; она утверждает меня в мысли, что этот принц призван стать императором. Голос его мелодичен, что в его роду большая редкость; говорят, этим он пошел в мать.

Он блистает среди своего окружения, на первый взгляд не отличаясь от сверстников ничем, кроме чрезвычайного изящества. Меж тем изящество есть верный признак тонкого ума: в походке, выражении лица, манерах человека всегда выражается его душа!.. Великий князь держится разом и величественно и любезно. Русские путешественники много говорили мне о его исключительной красоте; не распиши они ее в столь ярких красках, она поразила бы меня сильнее; к тому
743 же я хорошо помню романический, ангельский вид, каким потрясли Париж в 1815 году отец цесаревича и его дядя, великий князь Михаил, прозванные во французской столице северным сиянием; я сужу строго оттого, что испытал разочарование. Но даже и таков, каков он есть, наследник российского престола кажется мне одним из самых красивых государей, каких мне доводилось видеть.

Поразила меня убогость его экипажа, беспорядок в его багаже и неряшливость сопровождавших его слуг. Когда, глядя на этот царский выезд, вспоминаешь великолепную простоту английских карет и исключительную аккуратность английских слуг, не оставляющих без внимания ни единой мелочи, понимаешь, что, дабы достичь материального совершенства, каким в наш положительный век блистает Англия, недостаточно заказывать кареты у английских мастеров.

Вчера я видел закат на берегу Рейна; это величественное зрелище. В здешнем чересчур прославленном краю самыми красивыми кажутся мне отнюдь не берега с их однообразными руинами и бесплодными виноградниками, которых здесь, на мой вкус, слишком много; мне случалось видеть берега более красивые, более разнообразные, более веселые, случалось любоваться более густыми лесами и более живописными склонами, но что кажется мне истинным чудом, особенно вблизи, так это сама река. Ее бескрайняя водная гладь, неуловимо скользящая вдоль берегов, которые она освещает и оживляет своим блеском, потрясает мой ум, ибо здесь творение выдает изумительную мощь Творца. Когда я смотрю на течение этой реки, я напоминаю себе врача, щупающего пульс человеку, дабы узнать, силен ли он: реки — артерии нашей планеты, и я исполняюсь восхищения при виде бьющейся в них могучей всемирной жизни; я чувствую рядом с собой своего повелителя, я вижу вечность, верую в бесконечность, дотрагиваюсь до нее рукой; в этом зрелище скрыта какая-то величественная тайна, между тем, если я чего-то не понимаю в природе, это лишь умножает мой восторг; невежество мое укрывается под сенью обожания. Вот отчего я не испытываю такой тяги к науке, какая присуща людям, всем недовольным.

Мы поистине умираем от жажды: вот уже много лет в душной Эмской долине солнце не палило так нещадно; прошлой ночью, возвращаясь с берега Рейна, я видел в лесах целые стаи светящихся мошек; это мои любимые итальянские luccioli; я всегда полагал, что они водятся лишь в южных странах.

743 Через два дня я уезжаю в Берлин, а оттуда в Петербург.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Успехи материальной цивилизации в Германии. — Прусский протестантизм. — Музыка как средство обучения крестьян. — Поклонение искусству приуготовляет душу к поклонению Богу. — Пруссия под властью России. — Связь между немецким характером вообще и характером Лютера. — Французский посол в Пруссии. — Письма моего отца, хранящиеся в архиве французского посольства в Берлине. — Мой отец в 1792 году, в двадцать два года, получает назначение французским посланником при брауншвейгском и прусском дворах. — Господин де Сегюр. — Удар ножом. — Нескромность императрицы Екатерины. — Неизвестный анекдот, касающийся Пильницкой декларации. — Мой отец заменяет господина де Сегюра. — Его успехи при прусском дворе. — Отца уговаривают изменить Франции. — Он возвращается на родину, несмотря на подстерегающие его там опасности. — В качестве добровольца он участвует в двух кампаниях под командой своего отца. — Письма господина де Ноая, в ту пору французского посла в Вене. — Моя мать. — Ее поведение во время суда над генералом Кюстином, ее свекром. — Она присутствует рядом с ним на всех заседаниях. — Опасность, которой она при этом подвергается. — Лестница Дворца правосудия. — Каким образом моей матери удается избежать смерти. — Две матери. — Смерть генерала. — Его благочестивое мужество. — Камеру моего деда в Консьержери занимает королева. — Воспоминания о Версале у подножия эшафота. — Мой отец печатает речь в защиту генерала де Кюстина. — Его арестовывают. — Матушка пытается помочь ему бежать из тюрьмы. — Самоотверженность дочери консьержа. — Героизм пленника. — Газета. — Трагическая сцена в тюрьме. — Мой отец — жертва собственного человеколюбия. — Последнее свидание в Консьержери. — Странное происшествие. — Первые впечатления моего детства. — С гувернером моего отца, прочитавшим в газете о смерти его воспитанника, случается апоплексический удар.

Берлин, 23 июня 1839 года 747

Как это ни стыдно для человечества, следует признать: существует блаженство сугубо материальное — то, которым наслаждаются нынче жители Германии и в особенности — Пруссии. Благодаря содержащимся в отличном состоянии дорогам, продуманной таможенной системе, превосходному управлению эта

страна, колыбель протестантизма, сегодня опережает нас в том, что касается материальной цивилизации; здесь царит некая чувственная религия, соделавшая своим Богом — человечество. Мы имеем все основания утверждать, что нынешние правительства покровительствуют этому утонченному материализму, последнему отзвуку религиозной Реформации XVI столетия. Заботясь об одном лишь земном блаженстве, они, кажется, видят свою единственную цель в том, чтобы доказать миру: нация может быть счастлива и не помышляя о Боге. Такие правители — старцы, которым довольно того, что они живы.[1]

Тем не менее пруссаки имеют все основания гордиться мудрой и экономной политикой своего государства. В их сельских школах обучение ведется продуманно и под строгим наблюдением. Во всех деревнях музыка служит средством воспитания народа и одновременно источником развлечения: в каждой церкви есть орган, в каждом приходе — школьный учитель, знающий нотную грамоту. В воскресенье он учит крестьян пению, аккомпанируя им на органе; благодаря этому жителям самых отдаленных уголков знакомы шедевры итальянской и немецкой старинной музыки. Строгие эти песнопения рассчитаны не больше чем на четыре голоса: в какой деревне не найдется одного баса, одного тенора и двух
744 мальчишек-альтов? Всякий школьный учитель в Пруссии — сельский Хорон или Вильхем.[2] Сельское хоровое пение воспитывает любовь к музыке, противостоит кабацким радостям и готовит воображение народа к усвоению религиозных истин. Протестанты низвели религию до курса практической морали; однако не за горами то время, когда религия вновь вступит в свои права; создание, наделенное бессмертием, не сможет долее удовлетворяться земными радостями, и народы, более других привыкшие наслаждаться изящными искусствами, первыми услышат голос небес. Итак, справедливость требует признать, что прусское правительство достойным образом готовит своих подданных к грядущему религиозному обновлению, о чьей близости свидетельствуют многие неопровержимые приметы.

Очень скоро Пруссия почувствует, что ее философия не способна даровать душам покой. В ожидании же этого славного будущего город Берлин под-
744 чиняется наименее философической из стран, России, что, впрочем, не мешает народам, населяющим другие немецкие княжества, обращать свои взгляды в сторону Пруссии, чья превосходная система управления их пленяет. Они полагают, что именно отсюда придут к ним либеральные установления, которые большинство людей по сей день путает с завоеваниями промышленности, словно роскошь и свобода, богатство и независимость, наслаждения и добродетель суть синонимы!

744 [1] Прошло три года, и с переменой монарха наблюдения мои утратили едва ли не всю свою справедливость.

[2] Не найдутся ли во Франции люди, которые пожелают перенять у пруссаков это благотворное установление и распространить по нашей стране искусство, насаждающее цивилизацию? Вильхем приобщил к нему парижских рабочих: отыщутся ли у него последователи в провинции?

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Главный недостаток немецкого народа, олицетворенный фигурой Лютера, — это склонность к физическим радостям; в наши дни эту склонность ничто не сдерживает; напротив, все поощряет ее. Так, принося свое достоинство, а может быть, и свою независимость в жертву бесплодной мечте о сугубо материальном благополучии, немецкая нация, скованная чувственной политикой и рассудочной религией, изменяет самой себе и всему миру. У каждого народа, как и у каждого индивида, есть свое предназначение: если Германия забыла о своем призвании, виновата в этом прежде всего Пруссия — древняя колыбель той непоследовательной философии, которую здесь из вежливости именуют религией. 744

Сегодня Францию представляет в Пруссии посол, полностью удовлетворяющий всем требованиям, какие в наши дни предъявляются к государственному мужу. Он не напускает на себя таинственности, не прерывает речь деланными паузами, не прибегает к бесполезным недомолвкам, — одним словом, ничем не выдает сознания собственного величия. О занимаемой им должности окружающие помнят лишь оттого, что признают за ним все достоинства, необходимые для того, чтобы с нею справляться. Угадывая с исключительной чуткостью потребности и наклонности современного общества, он спокойно движется в будущее, не презирая уроков прошлого; он принадлежит к узкому кругу людей старого времени, приносящих пользу времени новому. 744

Уроженец той же провинции, что и я, он сообщил мне множество любопытных подробностей из жизни моих родных, до сей поры остававшихся мне неизвестными; слушая его, я испытал огромное душевное наслаждение и не боюсь признаться в этом, ибо священный восторг, вызываемый в нашей душе героизмом наших предков, не имеет ничего общего с гордыней.

Я опишу вам без утайки все чувства, какие испытал, слушая его рассказы, но вначале позвольте познакомить вас с некоторыми сведениями, какие мне ко времени моего приезда в Берлин уже были известны. 745

Я знал, что в архивах французского посольства в Берлине хранятся письма и дипломатические ноты, представляющие большой интерес для всех людей вообще и для меня в особенности: они принадлежат перу моего отца. 745

В 1792 году, в двадцать два года, он был послан правительством Людовика XVI, уже год как сделавшегося конституционным монархом, ко двору герцога Брауншвейгского с важной и деликатной миссией. Речь шла о том, чтобы склонить герцога отказаться от командования союзными войсками, выступающими против Франции. Французские государственные мужи справедливо полагали, что катаклизмы нашей революции будут грозить королю и стране меньшими опасностями, если чужестранцы расстанутся с надеждой насильственно прервать ее течение. 746

Батюшка прибыл в Брауншвейг слишком поздно: герцог уже дал согласие встать во главе союзной армии. Тем не менее нрав и таланты молодого Кюстина снискали ему на родине такое уважение, что его не отозвали назад в Париж, но отправили к прусскому двору, дабы он попытался отговорить короля Вильгельма II от участия в коалиции, чьей армией намеревался командовать герцог Брауншвейгский. 746

ПИСЬМО ВТОРОЕ

746 Незадолго до приезда моего отца в Берлин господин де Сегюр, представлявший в ту пору Францию при прусском дворе, потерпел неудачу в этих сложных переговорах. Моему отцу предстояло его сменить.

Король Вильгельм принял господина де Сегюра плохо, так плохо, что, вернувшись однажды вечером к себе домой в совершенном отчаянии и сочтя свою репутацию ловкого дипломата навсегда запятнанной, посол попытался покончить с собой; лезвие кинжала вошло в его грудь не слишком глубоко, и самоубийца остался жив, но был вынужден покинуть Пруссию.

Событие это поразило проницательных политиков Европы: никто из них не мог объяснить причин, по которым прусский король оказал до крайности нелюбезный прием человеку столь знатного происхождения и столь острого ума.

Я знаю из надежного источника анекдот, проливающий некоторый свет на этот эпизод, по сей день остающийся загадкой; дело вот в чем: в пору своего триумфа при дворе императрицы Екатерины господин де Сегюр часто забавлял окружающих насмешками над племянником Фридриха Великого, который позднее сделался королем под именем Фридриха Вильгельма И; он глумился над
746 любовными похождениями будущего монарха и над ним самим, а однажды послал императрице записку, где, в согласии со вкусами той эпохи, начертал сатирические портреты Фридриха Вильгельма и его приближенных.

После смерти Фридриха Великого политические обстоятельства внезапно переменились, царица стала искать союза с Пруссией и, дабы новый король поскорее решился принять сторону России против Франции, не долго думая послала ему записку господина де Сегюра, которого Людовик XVI только что назначил французским послом в Берлине.

Приезду моего отца в столицу Пруссии предшествовало еще одно любопытное происшествие, свидетельствующее о том, какое сочувствие вызывала в ту пору в цивилизованном мире Французская революция.

746 Проект Пильницкой декларации был уже написан, но члены коалиции полагали необходимым как можно дольше скрывать от Франции условия этого союза. Прусский король уже располагал черновиком договора, но никто из французских агентов его еще не видел.

Однажды поздним вечером, возвращаясь пешком домой, господин де Сегюр заметил, что какой-то человек, закутанный в плащ, идет за ним по пятам; посол ускоряет шаг, незнакомец не отстает; он переходит на другую сторону улицы, незнакомец следует его примеру; он останавливается, незнакомец отступает и также останавливается в некотором отдалении. Господин де Сегюр не был вооружен; памятуя о неприязни немцев к нему лично и о сложности политической обстановки, он, вдвойне встревоженный, пускается бежать в сторону дома, но ему не удается опередить таинственного незнакомца, который подбегает к дверям одновременно с ним и, бросив к его ногам довольно толстую связку бумаг, тут же исчезает. Подняв бумаги, господин де Сегюр посылает своих слуг вдогонку за тем, кто их принес, но безуспешно.

В связке бумаг господин де Сегюр обнаружил проект Пильницкой декларации, списанный слово в слово прямо в кабинете короля прусского: вот каким

образом благодаря помощи людей, тайно сочувствующих новым идеям, французы получили первые сведения об этом документе, вскоре получившем всемирную известность.

Обстоятельства, против которых бессильны и таланты и воля человеческие, вынудили моего отца отказаться от новых попыток переубедить прусский кабинет, однако, несмотря на эту неудачу, он снискал уважение и даже дружеское расположение всех тех особ, с которыми ему пришлось иметь дело, не исключая короля и его министров, чем вознаградил себя за неуспех своей политической миссии.

Берлинцы до сих пор помнят безупречный такт, с которым мой отец выходил из сложных положений, подстерегавших его в столице Пруссии. Прибыв к прусскому двору в качестве посла тогдашнего французского правительства, 746
он встретил в Берлине свою тещу, госпожу де Сабран, бежавшую сюда от преследований этого самого правительства. В ту пору политика входила в каждый дом, и не только народы, но даже семьи страдали от распрей и разноречий.

Когда батюшка собрался возвратиться во Францию, дабы дать отчет о своих переговорах, теща его, прибегнув к помощи всех берлинских друзей, попыталась воспрепятствовать исполнению этого намерения. Некий господин Калкреут, племянник прославленного соратника принца Генриха Прусского, едва ли не на коле- 747
нях умолял молодого Кюстина не покидать Берлина или, по крайней мере, дождаться в эмиграции того часа, когда он сможет снова служить своему отечеству. Он предсказал моему отцу все, что сулит ему возвращение на родину.

События 10 августа потрясли Европу. Людовик XVI томился в заключении, 747
повсюду царил хаос; ежедневно новые ораторы поднимались на трибуну, и каждый опровергал все сказанное его предшественниками; внутри Франции, равно как и за ее пределами, анархия освобождала людей, состоявших на службе у французского правительства, от всяких обязательств. Правительство это, объясняли моему отцу, не умеет ни справиться с собственным народом, ни снискать почтение соседей, ни уважать свои собственные решения; одним словом, доброжелатели всеми возможными средствами пытались внушить моему отцу, что его верность людям, стоящим во главе французского государства, — героизм, достойный не столько восхищения, сколько осуждения.

Но батюшка остался глух к их уговорам; он ни в чем не желал погрешить против совести и вел себя так, как приказывал старинный девиз нашего рода: «Исполни свой долг, а там — будь что будет».

«Меня послало сюда это правительство, — отвечал он друзьям, — я обязан возвратиться и дать отчет в том, что сделал, тем, кто меня послал; это мой долг».

Итак, мой отец, этот безвестный Регул, рожденный в стране, где вчерашний 747
героизм затмевают сегодняшняя слава и завтрашнее тщеславие, со спокойной душой отправился во Францию, где его ждал эшафот.

На родине дела обстояли так ужасно, что, отложив в сторону попечение о политике, отец немедленно отправился добровольцем в расположение Рейн- 747
ской армии, которой командовал мой дед, генерал Кюстин. Он с честью сражался в двух кампаниях, а когда генерал, открывший нашим войскам путь к победе,

возвратился в Париж, где его подстерегала смерть, последовал за ним, дабы встать на его защиту. Оба погибли на эшафоте. Но отец на полгода пережил деда: он не был осужден вместе с жирондистами, среди которых, однако, было немало его близких друзей.

Он умер смертью мученика — умер, как и подобает мученику, не признанным современниками.

За просвещенный патриотизм и бескорыстную преданность делу свободы отец и сын получили одинаковую награду.

Вчера наш нынешний посланник при берлинском дворе дал мне возможность познакомиться с дипломатической перепиской, которую вел мой отец в пору его пребывания при этом дворе.

Переписка эта исполнена исключительного благородства и простоты; она — образец дипломатического стиля в том, что касается формы изложения и логики рассуждений, а также достойный пример осторожности и отваги. Читая эти письма, видишь, как, разделенные взаимным непониманием, натравливаемые одна на другую, сталкиваются Европа и Франция, как, несмотря на меры, предлагаемые горсткой мудрых людей, которых их мужественная умеренность обрекает на бесплодную гибель, Францию затопляет хаос. Зрелость ума, деликатность и сила характера, основательность знаний, верность суждений, ясность мысли и скрывающаяся за всем этим душевная мощь отца поразительны, а ведь он был еще совсем молод, да к тому же вырос в эпоху, когда детей никто не принимал всерьез, когда талант почитался следствием опытности.

747 Господин де Ноай, занимавший в то время должность французского посла в Вене и отправивший несчастному Людовику XVI прошение об отставке, известил моего отца о принятом им решении. Письма его, также хранящиеся в нашем берлинском архиве, содержат самые лестные отзывы о новом дипломате, которому он предсказывает блестящую будущность... Как далек был господин де Ноай от мысли, что юному послу отмерен столь короткий срок!!!

Отец мой не был тщеславен, но одобрение человека опытного и тем более беспристрастного, что он сам намеревался избрать путь, противоположный тому, которым собрался идти посол в Берлине, не могло оставить равнодушным даже этого стоика.

Влекомый чувством долга, отец мой возвратился в Париж, и это его погубило. Одно обстоятельство, не известное широкой публике, позволяет мне сказать, что смерть его была не просто благородна, но величественна. Обстоятельство это достойно подробного рассказа, однако, поскольку в этой истории важную роль играет моя мать, я должен прежде обрисовать вам ее характер.

Мои путевые заметки суть мои мемуары: вот отчего я с легким сердцем начинаю книгу о поездке в Россию с истории, волнующей меня гораздо больше, чем любые сведения, которые мне суждено узнать в дальних странствиях.

Генерала Кюстина призвали в Париж; доносы завистников обрекли его на гибель.

747 Еще в армии он узнал о казни короля; газетные статьи вызвали у него негодование, которого он не смог сдержать в присутствии комиссаров Конвента.

По их словам, он воскликнул: «Я служил своему отечеству и защищал его от чужеземного нашествия, но разве можно служить тем людям, что правят нами сегодня?»

Восклицание это, пересказанное Робеспьеру Мерленом из Тионвиля и его 747
спутником, обрекло генерала на смерть.

Матушка в эту пору укрывалась вместе со мной в нормандской глуши; 747
я был еще совсем мал. Узнав о возвращении генерала Кюстина в Париж, отважная молодая женщина сочла своим долгом покинуть уединение, оставить младенца-сына и броситься на помощь свекру, с которым ее семейство уже несколько лет находилось в ссоре из-за выказывавшихся им с самых первых дней Революции политических симпатий. Ей тяжело было расстаться со мной, ибо она была матерью в полном смысле этого слова, однако сочувствие к чужому несчастью всегда имело исключительную власть над сердцем этой великодушной женщины.

Я остался с няней, выросшей в нашем лотарингском имении и безгранично преданной нашему семейству; позже она привезла меня в Париж.

Если что и могло спасти генерала Кюстина, так это самоотверженность и отвага его снохи.

Первая их встреча была особенно трогательна оттого, что явилась для узника полной неожиданностью. При виде матушки старый воитель счел себя спасенным. В самом деле, ее молодость, красота, робость, — не мешавшая ей, однако, проявлять при необходимости львиную отвагу, — очень скоро внушили беспристрастной публике, журналистам, народу и даже судьям революционного трибунала столько сочувствия, что людям, желавшим генералу смерти, пришлось обратить внимание на красноречивейшего из его защитников, его сноху; они решили запугать молодую женщину.

В ту пору правительство еще не опускалось до того бесстыдства, с каким стало действовать позже. Матушку осмелились арестовать лишь после гибели свекра и мужа; однако люди, боявшиеся заключить ее в тюрьму, не побоялись нанять бандитов, которым посулили денег за ее смерть; «сентябристы», как на- 748
зывали тогда этих головорезов, несколько дней подряд ожидали матушку на ступенях Дворца правосудия, а их покровители не преминули предупредить матушку об опасности, какой она подвергается, отправляясь в трибунал. Однако ничто не могло остановить эту женщину; каждое заседание она проводила, сидя у ног свекра, и мужество ее трогало даже палачей.

Оставшееся время она употребляла на то, чтобы втайне ходатайствовать за генерала перед членами революционного трибунала и комитетов. Унижения, которые она сносила во время этих визитов, прием, оказанный ей иными государственными мужами того времени, наверняка достойны отдельного описания. Однако я не могу вдаваться в подробности, ибо они мне неведомы. Матушка не любила говорить об этом периоде своей жизни, славном, но мучительном; рассказывать о нем было все равно что пережить его заново.

Визиты к власть имущим матушка совершала в сопровождении моего отца, облачавшегося по этому случаю, согласно тогдашней моде, в простонародное

платье; в короткой куртке — «карманьоле», без галстука, с коротко постриженными, ненапудренными волосами, отец обычно ждал матушку на лестнице или в прихожей, если таковая имелась.

На одном из последних заседаний трибунала единственный взгляд, брошенный матушкой на женщин из публики, исторг у них слезы, а между тем эти мегеры слыли особами весьма хладнокровными. Их именовали фуриями гильотины
748 и вязальщицами Робеспьера. Знаки сочувствия, выказанные этими бесноватыми негодяйками снохе Кюстина, до такой степени разгневали Фукье-Тенвиля, что он тотчас отдал наемным убийцам, дежурившим у дверей Дворца правосудия, тайный приказ пустить в ход ножи.

Обвиняемого отвели назад в тюрьму; сноха его вышла из Дворца правосудия; ей нужно было спуститься по лестнице и пешком, в одиночестве, дойти до фиакра, ожидавшего ее поодаль. Никто не осмеливался открыто сопровождать матушку из страха умножить грозившую ей опасность. Робкая дикарка, она всю жизнь инстинктивно, беспричинно боялась толпы. Вообразите себе лестницу Дворца правосудия — долгую череду ступеней, покрытых разъяренной, свирепой толпой, которая уже приобрела отвратительную опытность и слишком привыкла безнаказанно проливать кровь, чтобы смутиться очередным убийством.

Матушка, трепеща, останавливается на верхней площадке; она ищет глаза-
740 ми место, где несколько месяцев назад погибла госпожа де Ламбаль. Один из друзей отца сумел передать ей в зале суда записку, где предупредил о необходимости держаться еще осторожнее, чем обычно, но предупреждение это лишь ухудшило дело: от ужаса матушка едва не потеряла голову; она решила, что погибла — а именно это и могло ее погубить. «Если я споткнусь, если упаду, как госпожа де Ламбаль, все будет кончено», — твердила она сама себе, а разъяренная толпа
7;8 меж тем обступала ее все теснее. Отовсюду слышались крики: «Это Кюстинша, сноха изменника!», страшные ругательства и проклятия.

Как спуститься вниз, как пройти сквозь эту адскую орду? Одни головорезы с саблями наголо преграждали матушке дорогу, другие, скинув куртки, закатав рукава, отстраняли от себя жен, явно готовясь начать резню; опасность возрастала с каждой секундой. Матушка понимала, что, стоит ей выказать малейшую слабость, убийцы свалят ее на землю и прикончат; она говорила мне, что до крови кусала себе руки и губы, чтобы не побледнеть. Наконец, подняв глаза, она увидела, что к ней приближается одна из самых отвратительных уличных торговок с младенцем на руках. Ведомая Господом, покровителем матерей, «сноха изменника» подходит к этой матери из простонародья (а мать — больше, чем женщина) и говорит ей: «Какой у вас прелестный ребенок!» — «Возьмите его, — отвечает та, понявши все с полуслова и полувзгляда, — я заберу его у вас внизу».

Искра материнской любви пронзила сердца двух женщин — и толпа почувствовала это. Матушка взяла ребенка, поцеловала его и пошла сквозь потрясенную толпу, укрываясь этим новоявленным щитом.

Естественный человек взял верх над человеком, изуродованным социальным недугом; варвары, именуемые цивилизованными людьми, склонили головы перед двумя матерями. ***Сноха предателя,*** угадывая, что спасение близко, спустилась

по ступеням Дворца правосудия, пересекла двор и подошла к воротам; никто ее и пальцем не тронул, никто не выкрикнул ей вслед ни единого бранного слова; у ворот она отдала ребенка его родной матери, и две женщины немедля разошлись, даже не простившись; ни для изъявления благодарности, ни для разговоров место было неподходящее; больше они никогда не виделись и ничего не узнали друг о друге: душам двух матерей суждено было свидеться в ином мире.

Однако спасшаяся чудом молодая женщина не смогла спасти своего свекра. Он погиб! Старый воитель увенчал достойную жизнь достойной смертью; он нашел в себе мужество умереть по-христиански: об этой смиренной жертве, труднейшей из всех в эпоху, когда и пороки и добродетели пребывали под эгидой философии, свидетельствует его письмо к сыну; с простодушием святого генерал Кюстин писал моему отцу накануне казни: «Не знаю, как я поведу себя в последнее мгновение; не люблю хвалиться, пока дело не сделано».

И эту-то величественную скромность тогдашние слепцы из породы вольнодумцев именовали трусостью!.. Но что же мешало ему похвалиться заранее своей отвагой, а если сил в решающий миг недостанет, нарушить обещание? Что мешало? любовь к истине, заглушающая даже честолюбие; чувство, о котором мелкие душонки не имеют понятия.

По дороге на казнь генерал Кюстин целовал распятие, с которым расстался, лишь сойдя с роковой телеги. Благочестивое мужество украсило его смерть, как воинское мужество украшало его жизнь, но привело в негодование парижских 748
Брутов.

В письме он просил моего отца вступиться за его доброе имя. Возвышенное простодушие солдата, полагающего, что казнь по приказу Робеспьера способна запятнать чью-то репутацию! Что может быть более трогательно, чем эта вера жертвы в могущество палача?

Накануне смерти мой дед в последний раз увиделся со своей снохой; к ее удивлению, свидание состоялось не в камере, а во вполне уютной комнате. «Меня переселили на эту ночь, — объяснил узник, — чтобы поместить на мое место ко- 748
ролеву: ведь моя камера самая скверная во всей тюрьме».

Несколькими годами раньше он однажды зимой проиграл в Версале, на половине королевы, 300 ООО франков; в ту пору Мария-Антуанетта, блистательная, вызывающая всеобщую зависть, сочла бы безумцем того, кто сказал бы ей, что ее последним приютом станет тюрьма Консьержери. Дед мой, подобно всем придворным обожавший королеву, не мог без боли думать об участи, ожидавшей дочь Марии Терезии; он забывал о собственных горестях, когда вспоминал о превратно- 748
стях судьбы этой женщины, столь надменной со знатью, столь приветливой с челядью; он не уставал поражаться их удивительной встрече у подножия эшафота.

Во время суда над генералом Кюстином мой отец сочинил и издал защитительную речь, сдержанно, но правдиво характеризовавшую политические и военные деяния его отца. Эта защитительная речь, текст которой он развесил на стенах парижских домов, не возымела никакого действия, но навлекла на ее автора ненависть Робеспьера вкупе с монтаньярами, и без того раздраженными дружбой молодого Кюстина со всеми великодушными и рассудительными людьми

748 того времени. Сын генерала Кюстина был обречен; вскоре после казни отца он очутился в тюрьме. Террор с каждым днем набирал силу; арест был равносилен приговору; суд превратился в пустую формальность.

Матушка моя была еще на свободе и, хотя поведение ее во время процесса генерала Кюстина привлекло к ней всеобщее внимание, добилась позволения ежедневно навещать мужа в тюрьме Л а Форс. Понимая, что ему грозит скорая и неминуемая гибель, она употребила все силы на подготовку побега; так велико было ее обаяние, что ей удалось взять в союзницы дочь тюремного смотрителя; впрочем, важнее очарования матушки оказались ее деньги и посулы. План побега, разработанный матушкой в результате многодневных наблюдений, заключался в следующем.

Отец мой был невысок ростом, хрупок и выглядел достаточно молодо и обаятельно, чтобы в женском платье сойти за женщину. Простившись с ним, матушка нарочно всякий раз выходила на улицу в сопровождении дочери тюремного смотрителя, Луизы; обе женщины проходили вместе мимо часовых, стражников и солдат муниципальной гвардии; все эти люди, привыкшие к тому, что дочь тюремщика провожает всех посетителей тюрьмы, доверяли этой юной особе и позволяли ей самостоятельно закрывать за родственниками и друзьями заключенных двери, ведущие на лестницу. После смерти свекра матушка носила траурное платье, черную шляпу и густую вуаль, что было вовсе небезопасно, ибо в ту несчастную эпоху никому не дозволялось выказывать скорбь. Родители мои уговорились, что в назначенный день отец переоденется в платье жены, матушке же отдаст свое платье дочь тюремного сторожа; затем узник вместе с лже-Луизой покинет тюрьму обычным путем, а настоящая Луиза воспользуется черным ходом. Дело происходило в январе; уходить решили в сумерки, незадолго до того часа, когда на улицах зажигаются фонари. Луиза была хорошенькая блондинка, почти такая же очаровательная, как моя матушка, которой недавно исполнилось двадцать два года и которая, несмотря на все обрушившиеся на нее несчастья, не утратила ни красоты, ни здоровья. Матушка условилась с Луизой, что та, попав известным ей одной путем на улицу, подойдет к фиакру одновременно с узником и получит из его рук тридцать тысяч франков золотом, которые доставит к воротам тюрьмы один из матушкиных друзей. Одновременно девушка получит письменное обязательство моего отца выплачивать ей пожизненную пенсию в две тысячи франков.

Все было как следует продумано и обговорено, оставалось только назначить день. Выбор предоставили Луизе, которая хорошо знала нрав и привычки муниципальных гвардейцев и почитала некоторых из них менее опасными; наконец настал день, когда медлить было больше нельзя — через сутки батюшке предстояло отправиться в Консьержери, а оттуда в трибунал, иначе говоря, на смерть: стоял январь 1794 года.

Накануне решающего дня заговорщики устроили в камере моего отца репетицию и со всевозможным тщанием примерили костюмы, приготовленные для завтрашнего спектакля.

Матушка возвратилась домой, окрыленная надеждой; ей следовало вернуться в тюрьму лишь на следующий день к вечеру, с тем чтобы уже через час покинуть ее вместе с супругом.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Между тем революционные власти продолжали свирепствовать: как раз накануне дня, на который был назначен побег, Конвент опубликовал декрет, осуждающий на смерть всякого, кто поможет бежать государственному преступнику; Закон гласил, что и пособники беглецов, и те, кто дадут им приют, и — это звучит совсем невероятно — *те, кто не донесли о побеге,* — будут подвергнуты одинаковому наказанию!.. 748

Газета с текстом этого ужасного закона была не из тех, какие прячут от заключенных. Смотритель тюрьмы Ла Форс, отец Луизы, с умыслом занес ее в камеру моего отца. Это произошло утром того дня, когда должен был состояться побег.

После полудня, немного раньше назначенного часа, матушка отправилась в тюрьму. Под лестницей ее ждала заплаканная Луиза. «Что случилось, дитя мое?» — спросила матушка. «О, сударыня, — отвечала Луиза, от волнения забыв, что по новым законам следует обращаться ко всем на «ты», — уговорите его, вы одна можете его спасти; я умоляю его с самого утра: он и думать не хочет об исполнении нашего плана».

Матушка, боясь, как бы кто-нибудь не подслушал их разговора, поднимается по винтовой лестнице, не говоря ни слова. Луиза идет за ней следом. Перед входом в камеру великодушная девушка останавливает матушку и шепчет: «Он прочел газету». Матушка угадывает остальное; зная непреклонную щепетильность моего отца, она не решается отворить дверь; ноги у нее подкашиваются, она трепещет, словно уже видит своего супруга на эшафоте. «Пойдем со мной, Луиза, — говорит она, — ты скорее, чем я, убедишь его, ведь он жертвует своей жизнью, чтобы не рисковать твоей». Луиза входит в камеру, и там, за закрытыми дверями, вполголоса разыгрывается сцена, которую воображение ваше нарисует вам лучше, чем я, тем более что матушка лишь однажды, много лет назад, отважилась пересказать мне ее, да и то очень коротко.

— Вы отказываетесь бежать, — говорит матушка, входя, — итак, ваш сын останется сиротой, ибо я не переживу вас.

— Я не имею права жертвовать жизнью этой девушки ради собственного спасения.

— Ее жизни ничего не грозит; она спрячется, а затем убежит вместе с нами.

— Во Франции больше негде спрятаться, а покинуть эту несчастную страну безмерно трудно; ты просишь у Луизы больше, чем она обещала.

— Бегите, сударь, — говорит Луиза, — я хочу этого не меньше вашего.

— Ты что же, не читала вчерашнего декрета?

И он начинает читать вслух. Луиза перебивает его:

— Все это я знаю, сударь, но повторяю вам: бегите; я умоляю вас об этом, я прошу вас на коленях (и она падает к ногам моего отца), бегите; от исполнения нашего плана зависит мое счастье, моя жизнь, моя честь. Вы обещали озолотить меня, быть может, теперь вам будет трудно сдержать слово. Что ж! я согласна спасти вас даром. Тридцать тысяч франков, которые вы должны были мне заплатить, пойдут на спасение нас троих. Мы спрячемся где-нибудь, мы вместе переберемся за границу, я буду вам прислуживать; мне не нужно никакой награды, только не отказывайтесь от нашего плана.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

— Нас поймают, и ты умрешь.

— Пусть! я согласна — что вы на это скажете? Конечно, ради вас мне придется покинуть родину, отца, жениха; мы собирались вскоре обвенчаться, но я не люблю его, к тому же, если все кончится хорошо, с помощью той суммы, которую вы мне посулили, я смогу вознаградить его... А если нам не повезет, я умру вместе с вами, но ведь я иду на это по доброй воле: как вы можете мне возражать?

— Ты не понимаешь, что говоришь, Луиза; ты горько раскаешься.

— Пусть — но вы будете спасены.

— Ни за что.

— Как! — снова вступает в разговор матушка. — Ты тревожишься об этой благородной девушке больше, чем о своей жене, чем о своем сыне?.. Неужели ты забыл, что завтра мне уже не позволят войти сюда, а послезавтра тебя переведут в Консьержери? Неужели ты не понимаешь, что Консьержери — это смерть? И ты хочешь, чтобы я пережила все это? А ведь ты в ответе не только за Луизу.

Ничто, однако, не могло поколебать стоическую решимость юного узника; две женщины молили его на коленях, он слышал увещевания обезумевшей матери, заклинания преданной простолюдинки: все было напрасно. Жертва человеколюбия, мой отец был чужд эгоистических помыслов и глух к зову сердца: долг и честь имели куда больше влияния на его душу, нежели любовь к жизни, нежели любовь прекрасной, отважной, нежной женщины, сильной и слабой разом, нежели отцовская любовь. Казалось бы, каждое из этих чувств может быть приравнено к долгу, однако отец мой остался непреклонен: в его хрупком юном теле жила великая душа!.. Как, должно быть, любовались им ангелы небесные!

Время, отпущенное для свидания, прошло в напрасных уговорах; матушку пришлось увести из камеры силой — она не хотела уходить. Луиза, объятая почти таким же глубоким отчаянием, проводила ее до дверей тюрьмы, где своих друзей ждал, мучимый легко объяснимой тревогой, господин Ги де Шомон-Китри с тридцатью тысячами франков золотом в кармане.

— Все пропало, — сказала ему матушка, — он отказывается бежать.

— Я в этом не сомневался, — отвечал господин де Китри.

Ответ этот, достойный друга такого человека, всегда казался мне почти столь же прекрасным, сколь и поведение моего отца.

И все это сгинуло во мраке неизвестности... Сверхъестественное мужество батюшки осталось незамеченным в эпоху, когда Франция была так же богата героизмом, как за полвека до того — умом.

Матушка еще один раз увидела отца вечером, накануне казни; за большую плату ей удалось получить разрешение проститься с ним в Консьержери.

Во время этого замечательного свидания произошел один эпизод, столь странный, что я с трудом отваживаюсь о нем рассказать. Кажущийся созданием трагикомического Шекспирова гения, он, однако, вполне достоверен; жизнь повсюду заходит много дальше вымысла; природа полна противоречий; моя ли вина в том, что иной раз к слезам примешиваются совсем иные чувства?

Я уже сказал, что батюшку приговорили к смерти, и на следующий день он должен был отправиться на казнь; ему исполнилось двадцать четыре года. Жена

его, Дельфина де Кюстин, урожденная де Сабран, была одной из красивейших женщин своего времени. Самоотверженность, с которой она несколькими месяцами раньше защищала своего свекра генерала Кюстина, снискала ей почетное место в анналах революции, в ходе которой женщины нередко выказывали героизм, искупавший отвратительный фанатизм и жестокость мужчин.

Матушка вошла в темницу, храня спокойствие, молча обняла своего супруга и провела подле него три часа. Она не бросила ему ни единого упрека: за дверью стояла смерть. Жена простила мужу безграничное благородство, послужившее причиной трагической развязки; он не услышал от нее ни единой жалобы; она берегла его силы для последнего испытания. Приговоренный к смерти и его подруга подолгу молчали; лишь мое имя несколько раз прозвучало под сводами темницы, и имя это разрывало сердце обоим... Отец мой попросил пощады... матушка умолкла.

В те героические времена казнь была зрелищем, и жертвы считали делом чести не дрогнуть перед лицом палача; моя несчастная мать понимала, что ее юному, прекрасному, благородному супругу, человеку нежной души и острого ума, еще недавно вкушавшему столь безоблачное счастье, необходимо собрать к завтрашнему дню все свое мужество; даже она, эта робкая от природы женщина, стремилась ободрить его перед последним испытанием. Недаром говорится, что честной душе внятно все возвышенное! Трудно было найти женщину более искреннюю, а значит, более стойкую в час великих испытаний, чем моя мать. Приближалась полночь; боясь, что мужество изменит ей, она решила уйти.

Свидание происходило в зале, куда выходили несколько камер, — довольно просторной, полутемной комнате с низким потолком. Родители мои сидели подле стола, на котором горела свеча; за широкой застекленной дверью прохаживались часовые.

Внезапно маленькая дверца, на которую родители мои прежде не обращали никакого внимания, отворилась и из нее вышел странно одетый человек с тусклым фонарем в руке; то был узник, навещавший другого узника. На нем был короткий халат, или, точнее, длинный камзол, отороченный лебяжьим пухом, что само по себе смешно; довершали его костюм белые кальсоны, чулки и высокий остроконечный хлопчатый колпак, украшенный ярко-алыми кружевами; он медленными шажками скользил по комнате, как скользили придворные Людовика XV по Версальской галерее.

Подойдя совсем близко к моим родителям, незнакомец молча взглянул на них и продолжил свой путь; тут-то они и заметили, что старец употребляет румяна.

Молодые люди в молчании созерцали старца, явившегося им в минуту безысходного отчаяния; внезапно, не догадавшись, что престарелый узник, возможно, прибегнул к румянам не для того, чтобы приукрасить изборожденное морщинами лицо, но для того, чтобы завтра, всходя на эшафот, скрыть предательскую бледность, они разразились ужасным хохотом: нервное напряжение на миг взяло верх над сердечной болью.

Родители мои истратили так много душевных сил на то, чтобы скрыть один от другого мучившие их мысли, что смешное зрелище — единственное, к которому

они себя не готовили, застигло их врасплох; несмотря на все старания сохранить спокойствие, а вернее, по вине этих стараний они предались неумеренному хохоту, вскоре перешедшему в страшные конвульсии. Стражники, имевшие обширный революционный опыт, прекрасно поняли причины этого сардонического смеха и выказали моей матери куда большее сочувствие, чем выказала четыре года тому назад менее опытная парижская чернь дочери господина Бертье.

Они вошли в комнату и унесли несчастную женщину, по-прежнему сотрясаемую приступами истерического смеха; отец мой, находившийся в точно таком же положении, остался один.

Таково было последнее свидание моих родителей; таковы были рассказы, слышанные мною в детстве.

Матушка приказала челяди молчать, но простолюдины любят судачить о чужих невзгодах. Слуги наши только и делали, что рассказывали мне о злоключениях моих родителей. Поэтому из моей души никогда не изгладятся ужасные впечатления, встретившие меня на пороге жизни.

Первым чувством, какое я испытал, был страх — страх существования, знакомый, вероятно, в большей или меньшей степени всем людям, ибо всем им предстоит испить в этом мире свою чашу бедствий. Без сомнения, именно это чувство приобщило меня к христианской религии прежде, чем мне объяснили ее суть; едва родившись, я уже постиг, что сослан на землю в наказание.

Придя в себя, батюшка употребил остаток ночи на то, чтобы совершенно оправиться от ночного приступа; на рассвете он написал жене письмо, исполненное поразительного хладнокровия и мужества. Оно очень скоро сделалось известным, равно как и письмо моего деда, обращенное к этому мужественному юноше, который погиб оттого, что вступился за честь своего отца, оттого, что не пожелал ни остаться при прусском дворе в качестве эмигранта, ни спасти свою жизнь ценою жизни преданной ему девушки.

Господин Жерар, его бывший гувернер, нежно любил своего ученика и гордился им. Во время Террора он жил в Орлеане и узнал о смерти моего отца из газеты; это неожиданное известие так потрясло его, что он скоропостижно скончался от апоплексического удара.

Если даже враги моего отца отзывались о нем с невольным почтением, как же должны были восхищаться им друзья? Простота его манер лишь оттеняла его достоинства. Благодаря неподдельной скромности и кротости речей он, несмотря на все свои таланты, не вызывал нареканий даже в эпоху, когда демон зависти безраздельно владел миром. Без сомнения, в ночь перед казнью он не раз вспоминал предсказания берлинских друзей, но я не думаю, чтобы он раскаялся в избранном пути: в те времена жизнь, какими бы радужными надеждами она ни полнилась, казалась пустяком в сравнении с чистой совестью. Пока в стране находятся люди, в чьем сердце голос долга заглушает все чувства и привязанности, эту страну нельзя считать обреченной.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Продолжение рассказа о жизни моей матери. — Враждебное отношение к ней всех партий. — Она собирается эмигрировать. — Ее арест. — Плохо спрятанные бумаги. — Матушка чудом избегает опасности. — Разоренный дом. — Самоотверженность моей няни Нанетты. — Ее неосторожное поведение на могиле Марата. —, Поклонение новоявленному святому. — Жизнь моей матери в тюрьме. — Госпожа де Ламет, госпожа д'Эгийон и госпожа де Богарне, в будущем императрица Жозефина. — Характеры этих молодых женщин. — Портрет матушки. — Неизвестные анекдоты той эпохи. ~ Полишинель-аристократ. — Женщина из народа делит тюремный кров со знатными дамами. — Характер этой женщины. — Ее казнят вместе с мужем. — Бег взапуски. — Конец декады в тюрьме. — Обыски. — Шутка Дюгазона. — Допрос. — Горбатый председатель-сапожник. — Черта характера. — Башмачок из английской кожи. — КаменщикЖером. — Страшный путь к спасению. — Роковая папка. — 9 термидора. — Окончание Террора. — Ухищрения иных историков, рассуждающих о нраве Робеспьера. — Тюрьмы после падения якобинцев. — Прошение Нанетты, подписанное рабочими. — Канцелярия Лежандра. — Избавление. — Матушка возвращается домой. — Нищета. — Благородный поступок каменщика Жерома. — Здравомыслие этого человека. — Его смерть. — Матушка отправляется в Швейцарию. — Ее встреча с госпожой де Собран, моей бабушкой. — Романс о розе, присланный в тюрьму. — Суждение Лафатера о характере моей матери. — Ее жизнь при Империи. — Ее друзья. — Второе путешествие в Швейцарию в 1811 году. — Она умирает в 1826 году в возрасте пятидесяти шести лет.

Берлин, 28 июня 1839 года 750

Раз начавши рассказывать вам о несчастьях, обрушившихся на мою семью, я хочу нынче закончить мой рассказ. Мне кажется, что этот эпизод из времен нашей революции, изложенный сыном его главных действующих лиц, представляет для вас интерес не только в силу вашего ко мне дружеского расположения.

Матушка лишилась всего, что связывало ее с родиной; теперь долг повелевал ей спасать собственную жизнь и жизнь ее единственного сына.

Вдобавок положение ее во Франции было куда хуже, нежели у других отверженных.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Из-за либеральных воззрений нашей семьи имя Кюстин звучало для аристократов не менее отвратительно, чем для якобинцев. Страстные поборники старого порядка не могли простить моим родителям их поведения в начале революции, поборники же Террора не желали простить им умеренность их республиканского патриотизма. В те времена порядочный человек мог погибнуть на эшафоте, не вызвав ничьих сожалений, не исторгнув ничьих слез.

Жирондисты, тогдашние доктринеры, встали бы на защиту моего отца, но они были уничтожены или, в лучшем случае, оттеснены с политической арены после того, как к власти пришел Робеспьер.

Итак, матушка жила гораздо более уединенно, чем многие другие жертвы якобинцев. Разделив из преданности мужу его убеждения, она простилась с обществом, в котором выросла, но не нашла другого взамен; тех людей, что принадлежали до революции к старинному светскому кругу, именуемому ныне Сен-Жерменским предместьем, и уцелели при Терроре, не трогали несчастья, постигшие нашу семью; казалось, эти аристократы вот-вот оставят свои укрытия ради того, чтобы в один голос с любителями «Марсельезы» поносить на всех углах ***предателя*** Кюстина.

Партия осмотрительных реформаторов, партия людей, преданных своей стране и любящих ее независимо от избранной соотечественниками формы правления, — эта партия, к которой принадлежит сегодня большая часть французской нации, в ту пору еще не существовала. Отец мой пошел во имя ее на смерть, а матушка в свои двадцать два года пожинала гибельные плоды мужества своего супруга — мужества слишком возвышенного, чтобы его могли оценить люди, не постигавшие его побудительных причин. Современники не умели оценить деятельную умеренность моего отца и осыпали упреками его славную тень, обрекая тем самым матушку на нескончаемые муки; эта несчастная молодая женщина, наследница имени, олицетворяющего беспристрастность, чувствовала себя покинутой и обездоленной в мире, объятом страстями. Другим было кому излить свою печаль — матушка плакала в одиночестве.

Спустя недолгое время после трагического дня, когда она стала вдовой, матушка поняла, что пора уезжать из Франции; однако для этого требовался паспорт, получить который было очень трудно; даже отъезд из Парижа навлекал на уезжающего большие подозрения, что же говорить об отъезде за границу!

Тем не менее за большие деньги матушка раздобыла себе фальшивый паспорт; она должна была выехать в Бельгию под видом торговки кружевами; тем временем нянюшка моя, та уроженка Лотарингии, о которой я упоминал выше, отправилась бы вместе со мной в Эльзас, а оттуда — в Германию, где и встретилась бы с моей матерью. Нянюшка эта, Нанетта Мальриа, родившаяся в Нидервилле, поместье моего деда, говорила по-немецки гораздо лучше, чем по-французски, и вполне могла сойти за вогезскую крестьянку, странствующую вместе с сыном; местом встречи был избран Пирмонт в Вестфалии, а оттуда матушка намеревалась отправиться в Берлин, чтобы разыскать там свою мать и своего брата.

План этот был известен только моей няне. Матушка не доверяла остальным слугам; вдобавок, заботясь об их безопасности, она хотела дать им возможность

с чистым сердцем утверждать, что они ничего не знали о нашем бегстве. Спасая собственную жизнь, она не забыла об интересах челяди.

Чтобы не навлечь ни на кого подозрений в пособничестве беглянке, матушка решила, одевшись в простонародное платье, покинуть дом вечером, в полном одиночестве, на полчаса позже, чем мы с няней. К балкону гостиной она собиралась привязать веревочную лестницу, дабы навести преследователей на мысль, что она спустилась на улицу ночью, тайком от слуг. Мы жили во втором этаже дома по улице Бурбона. Вещи первой необходимости, которые могли бы пригодиться матушке в путешествии, были вынесены из дому загодя и отнесены к одному из друзей, обещавшему в назначенный час передать их ей за городской заставой.

Когда все было готово, Нанетта, укрыв меня своим плащом, пошла на стоянку наемных экипажей, отправлявшихся в Страсбург, а матушка осталась дома, с тем чтобы очень скоро последовать за нами и сесть в почтовую карету, едущую в сторону Фландрии.

Она проводила последние минуты в своем кабинете, расположенном в глубине квартиры; благоговейно перебирала она бумаги, желая предать огню лишь те из них, которые могли бы навлечь опасность на людей, остававшихся в Париже и имеющих родственников или друзей в эмиграции. По большей части то были письма ее матери и брата, записки офицеров армии Конде или других эмигрантов с благодарностью за присланные им деньги, тайком переправленные в столицу жалобы провинциальных жителей, подозреваемых в аристократическом происхождении, и мольбы о помощи, пришедшие от бедных родственников или друзей, покинувших Францию; одним словом, и в папке и в ящиках секретера было довольно улик, чтобы гильотинировать в двадцать четыре часа и матушку и еще полсотни человек за компанию.

Усевшись на диван подле камина, матушка начала бросать в огонь самые крамольные из писем; те же бумаги, которые казались ей не столь опасными, она складывала в шкатулку, где надеялась оставить их до лучших времен: ей было нестерпимо жаль уничтожать память о друзьях и родных!

Внезапно она слышит, как открывается первая дверь ее квартиры, ведущая из столовой в гостиную; предчувствие, неизменно посещавшее ее в минуты опасности и никогда не обманывавшее, говорит ей: «Все пропало, за мной пришли!», и, не раздумывая ни секунды, понимая, что ей все равно уже не успеть сжечь все валяющиеся на столе и на диване опасные бумаги, она собирает их в кипу и бросает вместе со шкатулкой под диван, к счастью, довольно высокий и покрытый доходящим до самого пола чехлом.

Страх придал ей сил, и, успев сделать все что нужно, она встретила входящих в кабинет людей с самым безмятежным видом.

Это и вправду были члены Комитета общественного спасения и нашей секции города Парижа, явившиеся, чтобы арестовать матушку.

Особы эти, столь же смешные, сколь и безжалостные, окружают матушку; перед глазами ее мелькают сабли и ружья, а она думает только о бумагах и заталкивает их ногой поглубже под диван, возле которого стоит.

— Ты арестована, — говорит ей председатель секции.

Она молчит.

— Ты арестована, потому что нам донесли, что ты собиралась бежать.

— Это правда, — отвечает матушка, видя в руках у председателя свой фальшивый паспорт, который незваные гости, первым делом обыскавшие ее, вынули у нее из кармана, — это правда, я собиралась бежать.

— Нам это прекрасно известно.

В это мгновение матушка замечает за спинами членов секции и комитета своих слуг.

Она тотчас видит, что у горничной совесть нечиста, и понимает, кто ее выдал. «Мне жаль вас», — говорит она этой особе. Та, плача, шепчет в ответ: «Простите меня, сударыня, я испугалась».

— Если вы бы лучше шпионили за мной, — возражает матушка, — вы бы поняли, что вам ничто не угрожало.

— В какую тюрьму тебя отвезти? — спрашивает один из членов комитета. — Ты свободна... в выборе.

— Мне все равно.

— Тогда пошли.

Однако, прежде чем покинуть квартиру, они снова обыскивают матушку, роются в шкафах, секретерах, комодах, переворачивают все вверх дном — и никому из них не приходит в голову заглянуть под диван! Бумаги остаются в целости и сохранности. Матушка старается не смотреть в сторону дивана, под которым она так стремительно и так ненадежно их спрятала. Наконец ее выводят из дома и сажают в фиакр; трое вооруженных конвоиров отвозят ее на Вожирарскую улицу, в бывший кармелитский монастырь, превращенный в тюрьму; двумя годами раньше его стены обагрила кровь жертв, растерзанных 24 сентября 1792 года.

Между тем друг матушки, ожидавший ее у заставы, видя, что назначенный час давно прошел, и догадываясь, что матушку арестовали, оставляет на всякий случай в условленном месте своего брата, а сам бросается на почтовую станцию, чтобы предупредить Нанетту; он успевает перехватить нас, и мы возвращаемся домой, — но мамы там нет!.. — все двери опечатаны, и войти можно только в кухню, где моя бедная нянюшка и устраивается на ночлег подле моей колыбели.

Слуги разбежались в полчаса, не преминув, однако, разграбить запасы белья и столового серебра; дом был пуст и разорен, словно после пожара — или удара молнии.

Друзья, родственники, челядь — исчезли все; у парадной двери стоял часовой с ружьем; место привратника назавтра занял национальный гвардеец — холодный сапожник, живущий по соседству; он же был назначен моим опекуном. В этом разоренном гнезде Нанетта пеклась обо мне, как о наследном принце; восемь месяцев она окружала меня истинно материнской заботой.

Ценных вещей у нее не было, поэтому, когда небольшая сумма денег, выданная ей матушкой, подошла к концу, она, приговаривая, что никто не сможет отплатить ей за все ее жертвы, стала продавать один за другим свои убогие наряды.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Она решила, если матушка погибнет, увезти меня в свои родные края, чтобы я рос среди крестьянских мальчишек. Когда мне исполнилось два года, я заболел злокачественной лихорадкой и был на пороге смерти. Нанетта ухитрилась пригласить ко мне трех самых знаменитых парижских врачей: Порталя, Гастальди и третьего — хирурга, чье имя я не могу припомнить. Разумеется, для этих людей много значила репутация моего отца и деда, но они пришли бы и к незнакомому ребенку, — ведь бескорыстие и рвение французских врачей славятся во всем мире; гораздо более удивительна самоотверженность моей няни; врачи человеколюбивы по обязанности, их добродетель укрепляется ученостью, и это прекрасно, но нянюшка моя была благородна и великодушна, несмотря на свою бедность, несмотря на свою необразованность, — и это возвышенно! Бедная Нанетта — деятельное существо, которое лучше умело чувствовать, нежели мыслить. Она была женщина заурядная, но с прекрасной душой и благородным сердцем. А как она была предана нам!.. Несчастья, обрушившиеся на нашу семью, сделали лишь более очевидными ее бескорыстие и мужество.

Храбрость ее доходила до безрассудства; когда шел процесс моего деда, глашатаи на рынках и площадях осыпали самой страшной бранью *изменника Кюстина;* встретив их, нянюшка моя останавливалась посреди толпы и принималась защищать своего хозяина; больше того, ей случалось оспаривать постановления революционного трибунала прямо на площади Революции.

«Кто смеет говорить и писать что-то дурное о генерале Кюстине? — восклицала она, презирая опасность. — Все это ложь; я родилась в его доме и знаю его лучше вас, потому что росла под его присмотром; он мой хозяин, и все вы — слышите, все вы! — его не стоите; будь на то его воля, он покончил бы с вашей паршивой революцией одним ударом своей армии, и вы, вместо того чтобы оскорблять его, валялись бы у него в ногах, потому что вы известные трусы!»

Ведя эти справедливые, но крайне неосторожные речи, Нанетта подвергала свою жизнь огромной опасности: улицы кишели революционными гарпиями, готовыми растерзать дерзкую защитницу аристократа.

Однажды, вскоре после убийства Марата, она проходила по площади Карусели; я сидел у нее на руках. В силу той путаницы в идеях, которая характерна для смутной революционной эпохи, парижане увековечили память о певце атеизма и бесчеловечности революционным алтарем. В этой усыпальнице покоилось, если я не ошибаюсь, сердце — а может быть, и тело — Марата. Женщины преклоняли колена в новом святилище, молясь бог знает какому богу, а поднявшись с колен, осеняли себя крестом и кланялись новоявленному святому. Эти противоречащие один другому жесты как нельзя более выразительно показывали, какой хаос царил в ту пору в сердцах и делах.

Выведенная из себя увиденным, Нанетта, забыв о сидящем у нее на руках ребенке, бросается к новоиспеченной богомолке и обрушивает на нее град оскорблений; благочестивая фурия в ответ обвиняет злопыхательницу в святотатстве; от слов женщины переходят к делу, удары сыплются с обеих сторон; Нанетта моложе и сильнее, но она боится за меня и потому терпит поражение; она падает на землю, теряет чепец и поднимается простоволосая, но по-прежнему

крепко прижимая меня к груди; посмотреть на драку сбегаются люди, и со всех сторон раздаются крики: «Аристократку на фонарь!» Нанетту уже тащат за
71 волосы к фонарю с улицы Святого Никеза, как говорили в ту пору. Какая-то женщина уже вырывает меня из рук несчастной, как вдруг мужчина, на вид еще более свирепый, чем все прочие, пробирается сквозь толпу, расталкивает молодчиков, нападающих на бедную женщину, и, нагнувшись, как если бы ему нужно было подобрать что-то с земли, шепчет Нанетте на ухо: «Притворитесь сумасшедшей; притворитесь сумасшедшей, говорю вам, иначе вам конец; думайте только о себе, не беспокойтесь за ребенка, я его сберегу, но если хотите остаться в живых, непременно притворитесь сумасшедшей!» Тут Нанетта начинает петь песенки, гримасничать. «Да она же сумасшедшая», — говорит ее покровитель, и вот уже в толпе раздаются голоса, вторящие ему: «Она просто сумасшедшая, неужели вы не видите; дайте ей пройти!» Поняв, что спасение близко, Нанетта, пританцовывая, пересекает Королевский мост, останавливается в начале улицы Бак и, забрав меня у нашего спасителя, лишается чувств.

Получив этот урок, Нанетта стала держаться осторожнее — ради меня; однако матушка все равно опасалась ее отваги и горячности.

В тюрьме матушка почувствовала некоторое облегчение; по крайней мере, теперь она была не одинока; очень скоро она сдружилась с несколькими достойными женщинами, разделявшими взгляды моего отца и деда. Дамы эти с трогательной приязнью и даже восхищением встретили особу, которая, не будучи лично им знакомой, уже давно вызывала их сочувствие. Со слов матушки я знаю, что
751 в число ее товарок по несчастью входили госпожа Шарль де Ламет, мадемуазель Пико — девица любезная и даже, несмотря на суровые времена, веселая; прекрасная, как античная медаль, госпожа д'Эгийон, последняя из рода де Навай, сноха друга госпожи Дюбарри герцога д'Эгийона, и, наконец, госпожа де Богарне, прославившаяся впоследствии под именем императрицы Жозефины.

Госпожа Богарне и матушка жили в одной комнате и по очереди прислуживали одна другой.

Эти женщины, такие молодые и такие прекрасные, мужественно и даже гордо переносили свое несчастье. Матушка рассказывала мне, что не засыпала до тех пор, пока не ощущала в себе готовности мужественно взойти на эшафот; она боялась выказать слабость духа, если ночью ее внезапно разбудят и повезут в Консьержери, то есть на смерть.

Госпожа д'Эгийон и госпожа де Ламет славились своим хладнокровием, а вот госпожа де Богарне, напротив, пребывала в унынии, удручавшем ее товарок по несчастью. Беззаботная, как все креолки, и чрезвычайно пугливая, она, вместо того чтобы, как остальные узницы, покориться судьбе, жила надеждой, тайком гадала на картах и открыто заливалась слезами, к вящему стыду своих подруг. Однако природа даровала ей красоту, а красота способна заменить все прочие совершенства. Ее походка, манеры и в особенности речь были исполнены удивительного очарования: впрочем, надо признаться, она не могла похвастать ни щедростью, ни искренностью; другие узницы скорбели о ее малодушии; дело в том, что все эти дамы, и прежде всего госпожи де Ламет и д'Эгийон, хотя

и были брошены в тюрьму республиканским правительством, по характеру сами были республиканками, что же касается моей матери, то она не блистала республиканскими добродетелями, но таково было величавое благородство ее души, что в каждом самопожертвовании она видела пример для подражания, пусть даже вдохновившие ее предшественников чувства оставались ей чужды.

Характер матушки сложился под влиянием единственного в своем роде стечения обстоятельств; никогда больше не встретить мне женщину, в которой величие души так мирно уживалось бы со светскостью манер, она усвоила себе и безупречный вкус тех говорунов, что посещали гостиную ее матери и салон госпожи де Полиньяк, и сверхъестественное мужество тех храбрецов, что гибли на эшафотах, воздвигнутых Робеспьером. Пленительное французское остроумие добрых старых времен соединялось в характере матушки с античным героизмом, недаром у нее, женщины с белокурой грезовской головкой, был греческий профиль. 751

В тюрьме ей пришлось есть из общего котла с тремя десятками узниц, принадлежавших к самым разным сословиям; в прежней жизни избалованнейшее существо, она даже не заметила этой новой тяготы, постигшей заключенных в самый разгар Террора. Физические муки ее не пугали. Она всегда страдала только от сердечных печалей; все ее болезни были следствиями, причина же коренилась в душе.

О странном образе жизни, какой вели в ту пору обитатели тюрем, написано немало, однако, если бы матушка оставила записки, потомки почерпнули бы из них множество подробностей, по сей день никому не известных. В бывшем кармелитском монастыре мужчины содержались отдельно от женщин. Четырнадцать узниц спали в одной комнате; среди них была англичанка весьма преклонного возраста, глухая и почти слепая. Никто не мог объяснить ей, за что ее арестовали; она донимала окружающих вопросами и в конце концов получила ответ — от палача.

В мемуарах того времени мне довелось читать о старой даме, привезенной под конвоем из провинции в Париж и погибшей такой же смертью. Одни и те же беззакония повторялись многократно: жестокость так же однообразна в следствиях, как и в причинах. Борьба между добром и злом сообщает интерес жизненной драме, но когда ни у кого не остается сомнений в победе зла, монотонность жизни становится невыносимой и скука отворяет нам адские врата. Данте помещает в один из кругов ада обреченные души, чьи тела по воле демонов продолжают действовать в земной жизни, как живые. Это выразительнейший и в то же время философичнейший способ показать, к чему приводит порабощение сердца человеческого злом. 751

Среди женщин, отбывавших заключение вместе с матушкой, была жена кукольника; ее и мужа арестовали за то, что их Полишинель, на вкус властей, отличался излишним аристократизмом и при всем честном народе насмехался над папашей Дюшеном. 751

Кукольница относилась к низвергнутым знаменитостям с величайшим почтением, благодаря чему высокородные пленницы были окружены в узилище таким же уважением, какое некогда окружало их в собственных домах.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Простолюдинка прислуживала аристократкам единственно из желания доставить им удовольствие; она убирала комнату и стелила постели, она даром оказывала товаркам самые разные услуги и изъяснялась так почтительно, что узницы, давно отвыкшие от этой старинной вежливости, некоторое время полагали, что она над ними издевается; однако когда бедную женщину вместе с мужем приговорили к смерти, она, прощаясь со своими знатными соседками, которых она также полагала обреченными на близкую гибель, прибегнула к тем же старомодным изъявлениям преданности, что и прежде. Слушая ее церемонные речи, можно было подумать, будто дело происходит в феодальном замке, владелица которого помешана на придворном этикете. В ту пору французская гражданка могла позволить себе держаться со столь дерзким смирением только в тюрьме: здесь ей не грозил арест. Было нечто трогательное в несходстве речей этой женщины, впрочем вполне заурядной, с тоном и речами тюремщиков, уверенных, что чем грубее они будут обращаться с узниками, тем больше те будут их уважать.

В определенные часы заключенным дозволялось выходить в сад на прогулку; дамы прохаживались, мужчины бегали взапуски.

Обычно революционный трибунал именно в это время дня требовал на расправу очередную жертву. Если выбор падал на мужчину, а мужчина этот участвовал в игре, он без долгих слов прощался с друзьями и покидал их, после чего *игра возобновлялась!!!* Если вызывали женщину, она также прощалась с подругами, и ее уход также ничем не нарушал забав узников и узниц. Тюрьма эта представляла собой земной шар в миниатюре, с Робеспьером вместо бога. Ничто так не напоминало ад, как эта карикатура на Божье творение.

Один и тот же меч висел над всеми головами, и человек, уцелевший сегодня, не сомневался в том, что его черед наступит завтра. В эту безумную эпоху нравы угнетенных были так же противны природе, как и нравы угнетателей.

После пятимесячного заключения именно таким образом, как описано выше,
751 ушел на смерть господин де Богарне. Проходя мимо моей матери, он отдал ей арабское кольцо-талисман, с которым она не расставалась всю свою жизнь; теперь его ношу я.

В ту пору счет времени велся не на недели, а на декады; каждый десятый день соответствовал нашему воскресенью: в этот день никто не работал, включая палачей. Поэтому, дожив до вечера девятого дня, узники могли быть уверены, что проживут еще сутки; сутки эти казались им целым веком, и они устраивали в тюрьме праздник.

Так жила матушка после гибели мужа. Она провела в заключении полгода, до самого конца Террора; сноха одного казненного и жена другого, славная своей отвагой и красотой, арестованная за попытку эмигрировать и считавшая унизительным отрицать свою вину, раз уж ее схватили в дорожном платье и с фальшивым паспортом в кармане, она только чудом избегла эшафота.

Спасло ее стечение нескольких необыкновенных обстоятельств. В течение
747 первых двух недель после ареста ее трижды привозили из тюрьмы домой; члены секции ломали печати и просматривали в присутствии обвиняемой ее бумаги.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Благодарение Богу, ни один из сыщиков, занимавшихся этим тщательным досмотром, не сообразил заглянуть под большой диван, где валялись самые важные бумаги. Матушка не осмеливалась никого просить забрать их оттуда; к тому же после каждого визита все двери ее квартиры вновь опечатывались. Провидению было угодно, чтобы дознаватели, на глазах у матушки взламывавшие в той же самой комнате секретер и пускавшиеся на самые смехотворные штуки вроде поисков тайника под паркетом, не обратили ни малейшего внимания на диван.

Все это напоминает мне шутку актера Дюгазона. Вы, конечно, ее не знаете, 751
ибо что знают сегодняшние люди о наших тогдашних несчастьях? Они слишком заняты собой, чтобы интересоваться деяниями отцов.

Дюгазон, комический актер, служил в национальной гвардии; однажды, обходя дозором окрестности Рынка, он остановился подле торговки яблоками. «Покажи мне свою корзину», — приказал он ей. — «Зачем?» — «Покажи корзину!» — «Да на что тебе сдалась моя корзина?» — «Я должен убедиться, что ты не прячешь под яблоками пушки».

Хотя Дюгазон был якобинцем, или, на тогдашнем языке, доблестным патриотом, подобная эпиграмма, произнесенная публично, могла ему дорого обойтись.

Вообразите же себе, как трепетала матушка, когда кто-нибудь из сыщиков приближался к месту, где лежали опасные бумаги! Она часто говорила мне, что во время этих обысков, при которых ее принуждали присутствовать, она ни разу не осмелилась взглянуть в сторону рокового дивана, хотя боялась и слишком явно отводить от него глаза.

Господь не однажды уберегал матушку от беды; Провидению не было угодно дать ей погибнуть в эти годы, и людские козни оказались бессильны ее погубить.

При обысках присутствовала дюжина членов нашей секции. Они усаживались в гостиной вокруг стола и после осмотра помещения всякий раз учиняли узнице долгий и подробный допрос. В первый день этим революционным судом присяжных командовал низкорослый горбатый сапожник, уродливый и злой. Он отыскал где-то в углу башмак, сшитый, как он утверждал, из английской кожи: грозная улика! Матушка вначале возражала; сапожник настаивал. «Возможно, — сказала наконец матушка, — что вы и правы: башмак английский; вам виднее, но в таком случае этот башмак не мой — я никогда ничего не заказывала в Англии».

Обвинители приказали матушке примерить башмак — он пришелся впору. «Кто твой сапожник?» — спросил горбун. Матушка назвала имя мастера, чьи изделия в начале революции пользовались большим спросом; в ту пору он обувал всех придворных дам.

— Он дурной патриот, — сказал горбатый председатель, мучимый завистью.

— Но хороший сапожник, — возразила матушка.

— Мы хотели арестовать его, но этот аристократ где-то прячется, — с досадой воскликнул председатель, — чует кошка, чье мясо съела. Знаешь ты, где его найти?

— Не знаю, — отвечает матушка, — а если бы и знала, все равно не сказала бы.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Мужественные ответы этой робкой на вид женщины; ирония, сквозившая помимо ее воли в вынужденно умеренных речах; усмешка, которой она не могла сдержать при виде разыгрывавшихся перед ней сцен, равно шутовских и трагических; ее ослепительная красота, тонкость черт, безупречный профиль, траур, молодость, свежий цвет лица, золотистые кудри; чудесный взгляд, облик равно страстный и меланхолический, смиренный и мятежный; неподдельное благородство и изящная непринужденность манер, вгонявшие в краску людей, чья природная грубость выглядела принужденной и показной; ее горделивая скромность; ее слава, распространившаяся к тому времени по всей Франции; окружавший ее ореол несчастья; несравненное звучание ее серебристого голоса, трогательного и звонкого; ее французская речь, разом и жесткая и мягкая; ее умение ладить с простонародьем, ни в чем, однако, ему не потакая, наконец, женское чутье, это постоянное желание нравиться, которое действует на окружающих безотказно оттого, что является врожденным, а следовательно, естественным, — все это было так пленительно, что не могло оставить равнодушными даже судей, как бы безжалостны они ни были. Поэтому все очень скоро встали на ее сторону — все, за исключением маленького горбуна; эта упрямая злоба существа, обделенного природой, бросает, на мой взгляд, яркий луч света в глубины человеческого сердца.

Матушка прекрасно рисовала; она умела выбирать живописные предметы для картин и придавать изображению большое сходство с оригиналом. Потихоньку набрасывая в спокойные минуты фигуры окружавших ее людей, она создала прелестный эскиз страшного судилища, решавшего ее судьбу. Я видел этот рисунок: он долго хранился у нас, но, к несчастью, потерялся при одном из переездов.

При допросах присутствовал каменщик по имени Жером, один из самых ревностных якобинцев той поры, член всемогущего комитета нашей секции; он отобрал у матушки рисунок и пустил его по рукам: каждый узнал себя, а главное, все с хохотом узнали председателя, который, взобравшись на стул, чтобы казаться повыше ростом, с видом победителя размахивал злополучным английским башмаком; горб художница обозначила едва-едва — лишь постольку, поскольку этого требовала истина.

Эта подчеркнутая снисходительность жертвы к ее мучителю произвела на судей гораздо большее впечатление, чем сама карикатура; я упоминаю об этом, чтобы показать, насколько тонким умом отличались в ту пору французы, к какому бы сословию они ни принадлежали. Эти люди выросли при ***старом порядке,*** когда Франция была царством изящного. Внуки их, быть может, куда более рассудительны, но сильно уступают дедам по части вкуса и таланта.

— Глянь-ка! — хором воскликнули грозные судьи. — Глянь-ка, председатель, как гражданка тебе польстила. Да ты тут просто красавец!

И дружный смех довершил исступление сапожника, безобразного, но всемогущего, ибо в разборе преступлений, вменяемых в вину матушке, последнее слово оставалось за ним. Его ярость могла стать для узницы роковой; вышло, однако, так, что именно неосторожность матушки спасла ей жизнь.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Рисунок у художницы отобрали и приобщили к документам, которые предстояло передать в революционный трибунал и которые нам возвратили уже после крушения диктатуры. Свирепый каменщик Жером, на первый взгляд сильнее всех ненавидевший обвиняемую и неизменно осыпавший ее страшной бранью, был молод; восхищенный этой женщиной, так не похожей на всех тех, кого ему доводилось видеть раньше, он решил во что бы то ни стало спасти ее от гибели на эшафоте. Он мог это сделать — и сделал.

Действовал каменщик следующим образом: он имел доступ в кабинет общественного обвинителя Фукье-Тенвиля. Там хранились списки всех заключенных, содержавшихся в парижских тюрьмах; каждая фамилия была записана на отдельном листке. Бумаги эти лежали в папке, откуда Фукье-Тенвиль ежедневно извлекал тридцать, сорок, шестьдесят, а иной раз и восемьдесят листков, неизменно беря те, что лежали сверху, и отправлял этих людей на смерть. Ведь публичные казни были в ту пору главным развлечением парижан. Списки ежедневно обновлялись за счет сведений, поступавших из всех городских тюрем. Жером знал, где лежит роковая папка, и целых полгода ***каждый вечер*** тайком прокрадывался в кабинет Фукье-Тенвиля, дабы удостовериться, что листок с именем моей матери лежит в самом низу. Общественный обвинитель, большой блюститель законности, всегда клал вновь поступившие бумаги под старые, дабы не нарушать очередности, поэтому Жерому приходилось отыскивать в адской папке листок с фамилией Кюстин и перекладывать его вниз. Уничтожить этот листок было бы слишком опасно. Фукье-Тенвиль не брал на себя труд проверять фамилии, но мог пересчитать листки и обнаружить недостачу; вина пала бы на Жерома, и он в тот же день лишился бы головы; меняя же порядок бумаг, каменщик, разумеется, также совершал преступление, но менее тяжкое и труднее доказуемое. Все это, заметьте, не мои домыслы, но достоверные факты, о которых я не раз слышал в детстве от самого Жерома. Он рассказывал нам, что ночью, когда все уже расходились по домам, он иногда вновь возвращался в кабинет общественного обвинителя, опасаясь, как бы кто-нибудь вслед за ним не переменил порядок бумаг — порядок, от которого зависела судьба матушки. В самом деле, однажды Жером увидел ее фамилию на самом верху; содрогнувшись, он переложил листок вниз.

Ни я, ни те, кто вместе со мной слушали этот страшный рассказ, не осмелились спросить у Жерома, кто были те несчастные, чью жизнь он сократил ради спасения моей матери. Сама она, разумеется, узнала об уловке, избавившей ее от смерти, лишь когда вышла из тюрьмы.

Из-за ежедневных казней к 9 термидора тюрьмы почти совсем опустели и в папке Фукье-Тенвиля оставалось всего три листа бумаги, но лист с именем матушки по-прежнему лежал внизу — впрочем, это не спасло бы ее от смерти, так как кровавые зрелища на площади Революции начали надоедать публике, и Робеспьер намеревался покончить со всеми сторонниками старого порядка, устроив бойню прямо в камерах.

Матушка часто говорила мне, что если на эшафот она была готова взойти не дрогнув, то мысль об убийцах, которые будут преследовать ее с ножом в руках, приводила ее в трепет.

§

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

В последние недели Террора прежних служителей тюрьмы, где томилась матушка, заменили люди куда более свирепые; им-то и предстояло расправиться с узниками. Они не скрывали от жертв своих планов; тюремный распорядок ужесточился, посетителей к заключенным больше не допускали, родные не осмеливались посылать им передачи; наконец, узникам запретили выходить во дворы и сады — там рыли для них могилы; по крайней мере, в этом уверяли тюремщики; каждый звук, доносившийся издали, каждый шорох, долетавший со стороны города, казался обреченным людям сигналом к бойне, каждую ночь они считали последней.

Тревоги их прекратились лишь с падением Робеспьера.

Приняв в расчет это обстоятельство, нельзя не отвергнуть предположения некоторых чересчур изощренных историков Террора, утверждавших, что Робеспьер пал только оттого, что был лучше своих противников.

В самом деле, сообщники его сделались ему врагами лишь после того, как начали бояться за собственную жизнь; их главная заслуга состоит в том, что они вовремя испугались и, спасая себя, спасли Францию, которая, осуществи Робеспьер свои намерения, непременно превратилась бы в логово диких зверей. Пере-
75; ворот 9 термидора был заговором бандитов, бунтом разбойников — согласен, но разве становится главарь банды порядочным человеком оттого, что сообщники однажды взбунтовались и прикончили его? Ложное великодушие ведет к неправому суду; это — опасное чувство, ибо, соблазняя добрых людей, оно заставляет их забыть о том, что порядочный человек должен ставить правду и справедливость превыше всего.

Говорят, что Робеспьер от природы не был жесток, — какая разница? Робеспьер — сама зависть, получившая абсолютную власть. Зависть эта, плод заслу-
752 женных унижений, какие аррасский чиновник испытывал при старом порядке, внушила ему идею мести — идею столь ужасную, что, даже зная, какая подлая была у него душа и какое каменное сердце, мы с трудом можем вообразить себе воплощение этой идеи. Робеспьер производил арифметические действия с целой нацией, прилагал алгебру к политическим страстям, писал кровью, считал отрубленными головами — и Франция безропотно сносила все это. Хуже того,
752 сегодня она внимательно выслушивает ученых мужей, ухитряющихся оправдывать подобного человека!! Он не брал чужого... но и тигр убивает не только тогда, когда хочет есть.

Робеспьер не был жесток, говорите вы, он не наслаждался зрелищем пролитой крови — но он проливал ее, а это самое страшное. Пусть тот, кто хочет, изобретает новый термин для обозначения обдуманного политического убийства, главное — навсегда заклеймить эту чудовищную добродетель. Извинять убийство тем, что делает его особенно отвратительным, — хладнокровием и расчетливостью убийцы — значит соучаствовать в одном из тягчайших преступлений нашей эпохи, извращении человеческого разума. В наши дни, повинуясь ложной чувствительности, люди беспристрастности ради ставят на одну доску добро и зло; дабы лучше устроиться на земле, они разом отменяют и небеса, и преисподнюю! Дошло до того, что наше поколение почитает преступлением

одну-единственную вещь — осуждение преступника, восхищается только одним — отсутствием убеждений. Ведь иметь собственное мнение — значит погрешить против справедливости... не суметь понять другого человека. А нынешняя мода велит понимать всех и вся.

Вот до каких софизмов довело нас так называемое смягчение нравов, смягчение, представляющее собой не что иное, как величайшую нравственную неразборчивость, глубочайшее отвращение от религии и постоянно возрастающую жажду чувственных наслаждений... Впрочем, терпение!! Человечество знавало и времена куда более страшные.

Через два дня после 9 термидора почти все парижские тюрьмы опустели.

Госпожа де Богарне, приятельница Тальена, вышла на свободу немедленно 752
и была встречена с превеликим почетом; вернулись домой госпожа д'Эгийон и госпожа де Ламет, о матушке же забыли, и она осталась в почти полном одиночестве в бывшем кармелитском монастыре, утратившем к этому времени даже свою страшную славу. На глазах матушки ее благородные товарищи по несчастью сменяли у кормила власти зачинщиков Террора, а те благодаря происшедшим в политике переменам заполняли тюрьмы, где еще недавно томились их жертвы. Утверждая, что их цель — отмщение тиранам, якобинцы научили быть тиранами всех французов, и теперь гибли, сраженные своим собственным оружием. Все родственники и друзья матушки покинули Париж; не нашлось никого, кто бы протянул ей руку помощи. Жером, в свой черед объявленный преступником как соратник Робеспьера, вынужден был скрываться от властей и не мог позаботиться о своей бывшей подопечной.

Так, всеми покинутая, страдая едва ли не сильнее, чем в ту пору, когда ей ежедневно грозила смертная казнь, матушка провела два ужасных месяца; она не раз говорила мне, что эти два месяца были самым тяжким из всех выпавших ей на долю испытаний.

Меж тем политические партии продолжали борьбу; власть вот-вот могла
вновь перейти в руки якобинцев. Если бы не мужество Буасси-д'Англа, убий- 752
ство Феро подало бы сигнал к началу нового Террора, гораздо более страшного, чем предыдущий; матушка знала все это, ибо страшные известия доходят до узников без промедления. Она мечтала увидеться со мной; я был при смерти: няня отвечала, что я болен; матушка плакала и горевала.

Наконец, выходив меня и видя, что о моей матери все забыли, Нанетта решила позаботиться о ней сама. На бульваре Тампль находилась в ту пору фарфоровая мастерская богача Диля; сюда поступили полсотни рабочих, трудившихся прежде на фарфоровой мануфактуре моего деда в Нидервилле. Великолепная эта мануфактура долгое время позволяла зарабатывать на жизнь множеству вогезцев; после того как ее конфисковали вместе с остальным имуществом генерала Кюстина, производство остановилось; тех из рабочих, которые отправились в Париж, нанял Диль. Среди них был и Мальриа, отец Нанетты.

К этим-то людям, в ту пору пребывавшим на вершине власти, моя няня пришла с просьбой позаботиться об их бывшей хозяйке. В годы Революции рабочие

часто слышали имя молодой госпожи де Кюстин; впрочем, память о ней и без того жила в их сердцах.

Рабочие охотно поставили свои подписи под прошением, сочиненным Нанеттой, говорившей и писавшей на том французском, какой в ходу у лотарингских немцев, после чего моя няня самолично отнесла эту бумагу к бывшему мяс-
752 нику Лежандру, возглавлявшему в ту пору канцелярию, куда поступали все прошения касательно заключенных, обращенные к коммуне города Парижа.

Бумагу приняли и бросили в шкаф, где уже пылились сотни подобных прошений. Никто и не подумал ее прочесть — а ведь от этого зависела человеческая судьба!!!

Однажды вечером трое молодых помощников Лежандра, Россинье и двое других, чьих имен я не помню, явились в полутемную канцелярию и, будучи слегка навеселе, принялись бегать наперегонки, прыгать по столам, бороться, — одним словом, творить всякие безумства. Разыгравшись, они сильно толкнули шкаф, и оттуда посыпались разные бумаги; Россинье поднял одну из них.

— Что это у тебя? — спросили Россинье приятели.

— Прошение, конечно, — отвечал он.

— Это понятно, но за кого?

Шалопаи позвали слугу и приказали принести лампу. Ожидая его возвращения, они смеху ради поклялись тем же вечером заставить Лежандра подписать попавшее им в руки прошение и немедленно сообщить узнику радостную весть об освобождении.

— Клянусь, что я его выпущу, будь он сам йринц Конде, — сказал Россинье.

— Давай-давай, — захохотали в ответ его приятели, — тем более что принц Конде не арестован.

Наконец друзья прочли прошение — это оказалась бумага, сочиненная Нанеттой и подписанная рабочими из Нидервилле.

Позже участники этой сцены сами пересказали ее во всех подробностях моей матери.

— Какое счастье! — вскричали молодыеллюди. — Это красотка Кюстинша,
747 вторая госпожа Ролан! Мы втроем вызволим ее йз тюрьмы.

Тем временем Лежандр, ничуть не более трезвый, чем его помощники, возвращается в час ночи к себе в контору; три шалопая подсовывают пьянице прошение, от которого зависит судьба моей матери, и он ставит на нем свою подпись, после чего трое юнцов отправляются в бывший кармелитский монастырь й в три часа ночи стучат в дверь комнаты, где матушка в ту пору обитала в полном одиночестве.

Она не пожелала ни отворить им дверь, ни покинуть тюрьму.

Сколько бы юноши ни настаивали, как бы красноречиво — хотя и кратко — ни расписывали случившееся, узница не соглашалась сесть среди ночи в карету с незнакомыми мужчинами; к тому же она понимала, что Нанетта не ждет ее в такой час, поэтому она не поддалась на уговоры своих избавителей, и те смогли добиться лишь позволения вернуться за ней в десять утра.

Так, проведя в тюрьме восемь страшных месяцев, матушка добровольно продлила на несколько часов срок своего заточения.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Когда она наконец покинула тюрьму, молодые люди вторично, на сей раз 753
куда более подробно объяснили ей, какие обстоятельства привели к ее освобождению, и убедили, что она никому ничем не обязана. Дело в том, что в ту пору свобода сделалась предметом купли-продажи; стоило несчастным узникам, в большинстве своем вконец разоренным революцией, выйти из тюрьмы, как мошенники, якобы способствовавшие перемене их участи, начинали вымогать у них деньги за услугу.

Одна знатная дама, приходившаяся матушке довольно близкой родственницей, не постыдилась потребовать у нее тридцать тысяч франков, которые она, по ее словам, истратила на подкуп лиц, способствовавших матушкиному освобождению. Матушка в ответ рассказала историю, услышанную от Россинье, после чего родственницы и след простыл.

Что ждало матушку дома? В разоренной квартире двери были по-прежнему опечатаны; мы с няней ютилис[Л] на кухне; мне исполнилось два с половиной года; после болезни, едва не сведшей меня в могилу, я оглох и выглядел слабоумным.

Груз этих впечатлений оказался матушке не по силам; она мужественно сопротивлялась страху смерти: величие жертвы, которую она готовилась принести, укрепляло ее тело и дух, помогало быть ежедневно готовой к казни; но нищеты она не снесла. На следующий день после возвращения домой она заболела желтухой, от которой оправилась только пять месяцев спустя; с тех пор до конца жизни она страдала бол$знью печени, что, Лпрочем, не мешало ей сохранять превосходный цвет лица.

Через полгода матушка немного разбогатела: ей возвратили тот клочок зе- 753
мель ее мужа, что еще не был продан. К этому времени и она й я выздоровели.

— Как вы думаете, сударыня, на что вы жили после выхода из тюрьмы? — спросила ее однажды Нанетта.

— Не знаю; я ведь была больна. Ты продала серебро?

— Серебра уже давно нет в помине.

—Белье, драгоценности?

— У нас не осталось ровно ничего.

— На что же в таком случае мы жили?

— На деньги, которые каждую неделю присылал мне из своего убежища Жером; он строго наказал мне ничего не говорить вам, но теперь, сударыня, когда вы можете вернуть ему долг, я решила открыть вам этот секрет. Я все записывала: вот счет.

Матушка сумела спасти своего спасителя, заочно осужденного вместе с прочими участниками Террора: она спрятала его, а затем помогла ему бежать в Америку.

Вернулся он на родину лишь в эпоху Консульства; в Америке он сколотил небольшое состояние, которое приумножил, занимаясь в Париже торговлей земельными участками и домами. -

Матушка обращалась с ним как с другом; бабушка моя, госпожа де Сабран, и мой дядя, возвратившись из эмиграции, осыпали его благодарностями — и все же он не пожелал стать завсегдатаем нашей гостиной. Он говорил матушке (я не воспроизвожу его слов буквально, ибо он был родом из Бордо и уснащал свою

речь грубейшей бранью), так вот, он говорил примерно следующее: «Я зайду вас повидать, когда вы будете одна; вместе с другими гостями я приходить не стану. Ваши друзья примутся глядеть на меня как на диковинного зверя; вы — добрая душа и пригласите меня приходить еще, но я буду скверно себя чувствовать в вашей гостиной, а мне это не по нраву. Я рос не так, как вы, я говорю не так, как вы; нас учили разным вещам. Вы отплатили мне услугой за услугу — мы квиты. Безумные времена на миг сблизили нас; мы всегда сможем положиться друг на друга, но ладить мы не сумеем».

До последних дней своей жизни Жером следовал этим принципам. Матушка всегда оставалась ему верным и обязательным другом; я перенял от нее чувство признательности к Жерому, и все же его лицо и повадка казались мне удивительными.

Жером никогда не говорил ни о политике, ни о религии; он безгранично доверял матушке и делился с нею всеми своими домашними горестями. Мы видели его не очень часто; умер он, когда я был еще ребенком, — в начале Империи.

Когда размышляешь о несчастьях, обрушившихся на мою мать, и о божественном заступничестве, столько раз спасавшем ее от смерти, исполняешься уверенностью, что Господь уберег эту молодую женщину для радостей, способных вознаградить ее за все прошлые муки. Увы! на этом свете награды она не обрела.

Разве не следовало мужчинам почтительно склоняться перед той, кого преследовала судьба и спасало Небо, разве не следовало им стараться изгладить из ее памяти горестное прошлое? Но мужчины думают только о себе.

Прекраснейшие годы своей чудом сохраненной жизни матушка потратила на борьбу с нищетой.

От огромного состояния моего деда, конфискованного и проданного за бесценок в пользу нации, нам остались одни долги. Правительство не утруждало себя расчетами с заимодавцами; оно забирало себе имущество, а уплату повинностей возлагало на тех, кого само лишило каких бы то ни было средств к существованию.

Два десятка лет тянулись разорительные процессы, и лишь такой ценой мы сумели вырвать, с одной стороны, у нации, а с другой, у огромного числа несговорчивых кредиторов ту часть дедова состояния, что причиталась мне; я был кредитором, а не наследником своего деда, а матушка — моей опекуншей. Из любви ко мне она больше не вышла замуж; к тому же, поскольку супруг ее погиб на плахе, она не чувствовала себя такой же свободной, как другие вдовы.

Денежные наши дела, сложные и запутанные, постоянно мучили ее; вся моя юность прошла под знаком хлопот, связанных с нескончаемой ликвидацией имущества, как детство мое прошло под знаком ужаса перед эшафотом. Вечно колеблясь между страхом и надеждой, мы жили, борясь с нуждой; нам сулили богатство, но очень скоро непредвиденное препятствие, хитрость крючкотворов или проигранный процесс снова ввергали нас в нищету. Если я люблю роскошь, то причиной тому — лишения, которые мне пришлось претерпеть в ранней юности и которые на моих глазах сносила матушка. Меня мучила тягота, обычно неведомая детям, — нужда в деньгах; я был так близок с матерью, что видел все ее глазами.

Впрочем, и на долю матушки выпадали счастливые мгновения. Через год после освобождения из тюрьмы она получила паспорт и, оставив меня в Лотарингии на попечении неизменной Нанетты, отправилась в Швейцарию, где ожидали ее мать и брат, не осмеливавшиеся пересечь границу Франции. 753

Встреча эта, хотя и оживила воспоминания о прежних горестях, послужила всей семье немалым утешением.

Госпожа де Сабран считала свою дочь погибшей; она вновь увидела ее и убедилась, что несчастья лишь приумножили красоту молодой женщины и уподобили ее розе из романса, который благодаря его тайному символическому смыслу пользовался в ту пору в Европе огромной славой.

Бабушка моя, живя в эмиграции, не могла во время Террора переписываться с дочерью, но ей удалось переправить в тюрьму трогательные и остроумные строки, написанные на мотив Жанжаковой песенки: 753

На мотив: «Япосадил его, взлелеял...»

1

Куст роз, взращенный мной, люблю я,
Но мало тешил он меня!
Пришлось бежать мне, негодуя
И участь горькую кляня.

2

Прелестный куст, не спорь с грозою:
Пред слабостью бессилен гнев.
Клонись под ветрами главою,
Чтоб выжить, беды одолев.

3

Я часто проливаю слезы,
Былые вспоминая дни:
Тогда я видел только розы,
А ныне — тернии одни.

4

Живу, судьбе моей покорен,
Я от тебя вдали, но все ж
Пустил ты в сердце прочный корень
И в памяти ты не умрешь!

5

Так зеленей и взоры радуй!
Хочу, чтоб вынес бурю ты
И стал моей зимы усладой,
Даря мне пышные цветы.

(Перевод М. Гринберга.)

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Желание исполнилось, розовый куст расцвел вновь, а дети снова припали к материнской груди.

Поездка в Швейцарию стала одним из счастливейших событий в жизни моей матери. Бабушка моя принадлежала к числу умнейших и любезнейших женщин своего времени; дядя мой, Эльзеар де Сабран, не по годам прозорливый, учил старшую сестру постигать красоты незнакомого ей величественного края.

Рассказы матушки об этой поре были исполнены поэтического очарования: на смену трагедии пришла пастораль.

Узы дружбы связывали госпожу де Сабран с Лафатером, и она отвезла свою дочь в Цюрих, дабы представить ее оракулу тогдашней философии. Взглянув на матушку, великий физиогномист воскликнул, обращаясь к госпоже де Сабран:

— О сударыня! Вы счастливейшая из матерей! Дочь ваша — само чистосердечие! Никогда еще я не видел лица столь прозрачного — по нему можно читать мысли.

Возвратившись во Францию, матушка поставила перед собой две цели, сливавшиеся для нее воедино: вернуть мне утраченное наследство и дать мне образование. Достижению этих целей она посвятила свою жизнь; ей я обязан всем, что знаю и имею.

Матушка сделалась центром кружка, в который входили замечательнейшие люди того времени, и среди них господин де Шатобриан, остававшийся ее другом до последних дней.

Даровитая художница, она ежедневно проводила по пять часов после полудня перед мольбертом. Она чуждалась света: он смущал, утомлял, пугал ее. Она слишком скоро постигла его сущность. Эта ранняя опытность легла в основу ее мрачной философии; впрочем, от рождения до последних дней жизни она отличалась великодушием — добродетелью людей преуспевающих.

Робость ее сделалась среди домашних притчей во языцех: родной брат говорил, что гостиная для нее страшнее эшафота.

При Империи матушка и ее друзья постоянно находились в оппозиции и не скрывали своих взглядов; после гибели герцога Энгиенского матушка ни разу не бывала в Мальмезоне и не виделась с госпожой Бонапарт.

В 1811 году, дабы избавиться от преследований имперской полиции, она отправилась вместе со мной в Швейцарию и Италию; она объездила все уголки обеих этих стран, взбиралась на ледники, в том числе на вершину Мон-Гри, находящуюся между водопадом Точчья и деревней Обергестлен, что в Верхнем Вале, одолевала пешком или верхом самые опасные альпийские перевалы, не выказывая ни страха, ни усталости: ей не хотелось ни помешать мне увидеть все это, ни оставить меня одного.

Зиму она провела в Риме, где в ее гостиной стало собираться очаровательное общество; хотя она была уже немолода, чистота ее черт поразила Канову. Ей нравилось простодушие великого скульптора, ее пленяли его венецианские рассказы. Однажды я сказал ей:

— С вашим романическим воображением вы, чего доброго, выйдете за Канову!

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

— Не дразни меня, — отвечала она, — не будь он маркизом д'Искья, я бы за себя не поручилась.

В этом ответе сполна высказалась вся ее душа.

Матушки не стало 13 июля 1826 года. Умерла она от той же болезни, что и Бонапарт. Недуг этот, давно подтачивавший ее здоровье, обострился из-за трагической гибели моей жены и моего единственного сына; она отдавалась страданию так же глубоко, как другие отдаются наслаждению. Именно в ее честь госпожа де Сталь, близко знавшая и нежно любившая ее, назвала героиню своего первого романа Дельфиной. 755

В пятьдесят шесть лет она была еще так красива, что пленяла чужестранцев, не знавших ее в молодости и потому не подвластных чарам воспоминаний.[1]

[1] Читая гранки этого письма, я получил точную копию предсмертной записки моего деда, которую полагаю возможным опубликовать на этих страницах. Благородство и простота стиля осужденного подтверждают все сказанное мною выше.

«Прощайте, сын мой, прощайте. Помните о своем отце, встретившем смерть со спокойной душой. Я сожалею лишь об одном: иные легковерные люди смогут вообразить, будто в нашем роду оказался человек, способный на предательство. Вступитесь за мое дрброе имя, когда сможете; вам будет нетрудно это сделать, если вы получите доступ к моей переписке. Живите ради вашей любезной жены, ради вашей сестры, которой я передаю свой поцелуй; любите друг друга, любите меня.

Надеюсь, что я достойно встречу свой последний час; впрочем, не люблю хвалиться, notfa дело не сделано.

Итак, прощайте! Прощайте!

Ваш отец, ваш друг К.

28 августа 1798 года, 10 часов вечера 755

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Разговор с любекским трактирщиком. — Его мысли о русском характере. — Различия в настроении русских, покидающих родину и возвращающихся назад. — Поездка из Берлина в Любек. — Безосновательное огорчение. — Мысли обретают реальность. — Дурно употребленное воображение. — Местоположение Травемюнде. — Особенность северных пейзажей. — Образ жизни голштинскихрыбаков. — Удивительное величие равнинных пейзажей. — Северные ночи. — Цивилизация учит наслаждаться красотами природы. — Я еду в Россию, чтобы увидеть степи. — Кораблекрушение «Николая I». — Благородное поведение француза — сотрудника датского посольства. — Имя его остается неизвестным. — Нечаянная неблагодарность. — Император разжалует капитана «Николая I». — Дорога из Шверина в Любек. — Черта характера одного дипломата. — Немцы — прирожденные царедворцы. — Хозяйка травемюндской купальни. — Картина нравов. — Десять лет спустя. — Юная девица стала матерью семейства. — Размышления.

7 V, *Травемюнде, 4 июля 1839 года*

Сегодня утром любекский трактирщик, узнав, что я скоро отплываю в Россию, вошел ко мне в комнату с таким сочувственным видом, что я не мог не засмеяться: этот человек гораздо более проницателен, остроумен и насмешлив, чем можно предположить по его жалостливому тону и французской речи.

Узнав, что я путешествую исключительно ради собственного удовольствия, он с немецким добродушием начал отговаривать меня от поездки.

— Вы знаете Россию? — спросил я у него.

— Нет, сударь, но я знаю русских; они часто проезжают через Любек, и я сужу о стране по лицам ее жителей.

— Что же такое страшное прочли вы на их лицах, раз уговариваете меня ке ездить к ним?

— Сударь, у них два выражения лица; я говорю не о слугах — у слуг лица всегда одинаковые, — но о господах: когда они едут в Европу, вид у них веселый, свободный, довольный; они похожи на вырвавшихся из загона лошадей, на птичек, которым отворили клетку; все — мужчины, женщины, молодые, старые — выглядят счастливыми, как школьники на каникулах; на обратном пути те же

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

люди приезжают в Любек с вытянутыми, мрачными, мученическими лицами; они говорят мало, бросают отрывистые фразы; вид у них озабоченный. Я пришел к выводу[1] что страна, которую ее жители покидают с такой радостью и в которую возвращаются с такой неохотой, — дурная страна.

— Быть может, вы правы, — возразил я, — зато ваши наблюдения свидетельствуют, что русские вовсе не так скрытны, как о них говорят; я полагал, что они прячут свои чувства гораздо более тщательно.

— Таковы они у себя дома, но нас, простаков-немцев, они не опасаются, — отвечал трактирщик с лукавой улыбкой.

«Вот человек, который очень боится, как бы его не приняли за простака», — весело подумал я. Только тот, кто сам много странствовал, способен понять, как сильно зависит репутация народа от суждений путешественников, нередко весьма легкомысленных по лености ума. Нет человека, который не старался бы оспорить мнение, сложившееся у чужестранцев о его нации.

Разве не притязают парижские женщины на простоту и естественность? Вдобавок нет ничего более противоположного, чем русский и немецкий характеры.

Поездка моя из Берлина в Любек была бесконечно грустна. Надуманная печаль, не имевшая, надеюсь, ни малейших оснований, причинила мне нешуточную боль; воображение — умелый палач. Не могу понять, отчего я так часто думаю, что с теми, кого я люблю, приключилась беда, не сомневаясь при этом, что те, кто мне безразличен, пребывают в полной безопасности. Сердце мое живет грезами.

Посулив написать мне с первой же почтой, вы внезапно замолчали, и молчание ваше стало казаться мне неопровержимым доказательством постигшего вас ужасного несчастья; мне представлялось, что кучер ваш опрокинул карету, что вы ранены, а может быть, даже убиты: ведь кругом ежедневно творятся вещи необычайные и непредвиденные. Стоило этой мысли забрезжить в моем уме, как она завладела мною безраздельно; экипаж мой наполнился призраками. Когда подобная горячка охватывает душу, самые страшные подозрения мигом укореняются в ней; воображение не знает удержу, неопределенность стократ усиливает опасность, всякое мрачное предположение тотчас принимается на веру; после двух недель, проведенных в такой тревоге, жить больше не хочется; так, делаясь добычей расстояния, рождающего иллюзии, бедное сердце терзает самое себя; кажется, оно вот-вот разорвется, так и не узнав о причине убивающего его горя, а если все еще бьется, то лишь для того, чтобы в тысячный раз претерпеть ту же пытку, Цсе может случиться, значит, несчастье уже случилось: вот логика отчаяния!.. Отчаявшаяся душа видит в собственной тревоге доказательство той беды, вероятность которой и питает эту тревогу.

Кому неведомы подобные терзания? Но никто не страдает от них так часто и так сильно, как я. О! душевные муки вселяют в нас страх смерти, ибо смерть кладет конец лишь мукам телесным.

Вод до чего доводит меня ваша небрежность, ваше нерадение!.. Нет, я не создан для путешествий; во мне живут два человека: ум мой влечет меня на край

света, чувствительность приказывает сидеть дома. Я странствую по миру так охотно/ словно мне скучно дома; я привязываюсь к людям так крепко, словно мне не по силам покинуть их родные края. Как! говорил я себе, покамест я еду в Петербург для собственного развлечения, в Париже хоронят дорогое мне существо; два эти одновременные события являлись моему взору во всех ужасных подробностях, ярких, как иллюзии, и горьких, как правда. От этого детального сравнения моей жизни и вашей смерти волосы у меня на голове стали дыбом, а ноги едва не отнялись; фантасмагория была столь реальна, что я воспринимал ее всеми пятью чувствами: не химеры, но объемный мир выступал из небытия по зову моего страдания. Для нас грезы действительнее яви, ибо у души больше общего с призраками, рожденными ее воображением, нежели с внешним миром.

Я грезил наяву. Переход от подозрений к уверенности свершился так стремительно, что я впал в исступление. Я был безутешен; я испускал вопли ужаса и твердил себе скорбный припев: «Это сон, но сны нередко оказываются вещими...»

О! если бы правящий нами рок был поэтом, кто захотел бы жить? Богатое воображение шутит такие жестокие шутки!.. К счастью, рок — орудие в руках Господа, который больше, чем поэт. Каждое сердце таит в себе собственную трагедию, как и собственную смерть; однако поэт, живущий в глубине нашей души, — пророк, часто путающий тот и этот свет; на земле сбываются далеко не все его предвещания.

757 Сегодня утром свежий луговой воздух, красота неба и моря, безмятежность и однообразие природы по пути в Травемюнде усыпили этот тайный голос и, как по волшебству, рассеяли те бесконечные грезы, что мучили меня уже три дня кряду. Если перед моими глазами уже не стоит картина вашей смерти, то не оттого, что я прислушался к голосу разума; что может сделать разум против посягательств сверхъестественной силы? Просто я устал от безрассудных страхов и на душу мою снизошел покой — нежданный, а потому весьма непрочный. Боль, не вызванная никакой причиной и так же беспричинно стихнувшая, в любую минуту может воротиться; слово, облако, промелькнувшая птица могут неопровержимо доказать мне, что я успокоился напрасно; убедили же меня сходные доводы, что напрасной была моя тревога.

За последние десять лет Травемюнде украсился многими новыми постройками, которые, к счастью, не изуродовали его облик. Великолепная дорога, уютная, как колыбель, ведет от Любека к морю; по этой грабовой аллее, идущей мимо садов и затерянных в зелени деревушек, почтовые лошади рысцой доставят вас к устью реки. Ни на одном морском берегу не видел я столь пасторальной картины. Деревни показались мне более оживленными, чем прежде, хотя места кругом тихие, безлюдные; луга здесь подходят к самой воде, соленые волны омывают пастбища, по которым гуляют многочисленные стада.

Эти плоские берега придают Балтийскому морю сходство с озером, а всему здешнему краю — сверхъестественную безмятежность; попавший сюда путеше-
757 ственник ощущает себя в Вергилиевых Елисейских полях, населенных счастливыми тенями. Несмотря на бури и рифы, Балтика не внушает мне тревоги. Воды заливов — коварнейшие из всех морских вод, но они не потрясают воображение

так сильно, как бескрайняя морская гладь; человека, стоящего на берегу великого Океана, пугает прежде всего идея бесконечности.

В порту Травемюнде звяканье коровьих колокольчиков смешивается со звоном пароходных колоколов.

Это мимолетное вторжение современной промышленности в жизнь пастушеского края непритязательно, но исполнено поэзии. Здешний пейзаж осеняет душу целительным покоем; здесь можно не опасаться наступления современности; хотя кругом — открытая всем взорам и всем путникам равнина, здесь чувствуешь себя уединенно, как на острове. В этих широтах покой неотвратим: здесь ум дремлет, а время складывает крылья.

Жители Голштинии и Мекленбурга красивы покойной красотой, гармонирующей с тихой, безмятежной природой и холодным климатом их родного края. Здесь все взаимосвязано: свежий цвет лица, ровная почва, монотонность привычек и пейзажей.

Тяготы рыбной ловли в зимнее время, когда для того чтобы добраться до воды, приходится идти не меньше трех миль по льду, перешагивая через страшные трещины, — единственное, что вносит в скучное существование здешних жителей некое поэтическое разнообразие. Не будь этих зимних походов, уроженцы побережья вечно дремали бы подле каминов, укрывшись овчинными полушубками. Летнее нашествие любителей морских купаний дает крестьянину возможность заработать деньги на год вперед и, казалось бы, освобождает от необходимости приниматься зимой за столь опасный и утомительный промысел — однако не хлебом единым жив человек. Для обитателей Травемюнде зимний лов рыбы — излишняя роскошь; добровольно вступая в борьбу с опасностями, подстерегающими их в это суровое время года, рыбаки зарабатывают деньги на покупку вещей, не относящихся к числу насущных: перстней, серег, золотых цепочек для возлюбленных, ослепительных шелковых галстуков для самих себя. Одним словом, травемюндский рыбак рискует жизнью среди волн и льдов не ради того, чтобы обеспечить себе пропитание, но ради того, чтобы украсить себя и тех, кого он любит; не будь он существом, стоящим гораздо выше животного, он не подвергал бы себя этой бесполезной опасности; потребность в роскоши — следствие благородства нашей натуры, и заглушить ее способно лишь чувство еще более благородное.

Несмотря на все его однообразие, этот край мне нравится. Кругом великолепная растительность. Нынче 5 июля, а зелень кажется совсем новой и свежей; жасмин в садах только-только начинает цвести. Солнце в здешних ленивых широтах встает поздно, как большой барин, и гостит на небе очень недолго; весна лнаступает только в июне, а лето, едва начавшись, тотчас кончается; впрочем, если лето здесь коротко, то дни длинны. Вдобавок весь этот горизонтальный пейзаж, где земля едва заметна, а почти все пространство занято небом, исполнен некоего величественного покоя; глядя на эту плоскую землю, расположенную вровень с моремЛ!, кажется, плавно в него переходящую, на эту гладкую поверхность, незнакомую с разрывами земной коры, на эту равнину, которой не грозят ни природные, ни общественные катаклизмы, испытываешь восхищение и

нежность, словно перед лицом юного и невинного существа. Здесь я вкушаю очарование идиллии и отдыхаю от драматического бесстыдства наших романов и комедий; эта сельская местность не может похвастать живописными видами, но зато во всей Европе вы не найдете ничего на нее похожего.

Прогулка по берегу моря в десять вечера, когда на землю спускаются сумерки, пленительна; в воздухе царит торжественная тишина; жизнь словно приостанавливается, ничто не затрагивает наших чувств, и они отдыхают, недоступные для мира; взор мой, теряясь среди бледных северных светил, покидает землю, или, точнее, упирается в одну точку, отказывается смотреть куда бы то ни было, а ум, расправив крылья в тех смутных просторах, где он парит обычно, вызывается из низших сфер, дабы вольно взмыть выше зримого неба.

Но очарование этого края способен оценить лишь тот, кто приехал издалека. Ценить природу по достоинству умеют лишь цивилизованные чужестранцы; неотесанные местные жители не наслаждаются окружающим их миром так, как мы; одно из величайших завоеваний общества состоит в том, что оно помогает горожанам постичь красоту сельского пейзажа, именно цивилизация учит меня наслаждаться зрелищем этого края, открывающего нам, какой была первобытная природа; я бегу салонов, бесед, удобных постоялых дворов, ровных дорог — одним словом, всего, что возбуждает любопытство и восторг людей, рожденных в обществах полуцивилизованных, и, невзирая на мою нелюбовь к морю, взойду завтра на корабль и с радостью снесу все тяготы жизни на его борту, лишь бы он отвез
757 меня в страну пустынь и степей... степи! уже само это восточное слово вселяет в меня предчувствие природы неведомой и чудесной; оно пробуждает во мне желание, заменяющее молодость и отвагу и напоминающее, что я родился на свет для того, чтобы путешествовать; так судил рок. Признаться ли? быть может, я никогда не отправился бы в это путешествие, не будь в России степей. Боюсь, что рядом с современниками и соотечественниками я навсегда останусь юнцом!..

Коляска моя уже на палубе, пакетбот, на котором мне предстоит плыть, по словам русских, — одно из прекраснейших паровых судов в мире. Называется он «Николай I». В прошлом году, во время плавания из Петербурга в Травемюнде, на
757 нем случился пожар; наш рейс — второй после ремонта. Воспоминание о катастрофе вселяет в пассажиров некоторый страх. История этого кораблекрушения делает честь нам, французам, ибо один из находившихся на борту наших соотечественников выказал в страшный час исключительное благородство и мужество.

Дело было ночью, судно плыло в виду мекленбургских берегов; капитан безмятежно сражался в карты с пассажирами. Друзья его, стараясь найти ему оправдание, утверждали, что он знал о грозящем кораблю несчастье, но, поняв с первого взгляда, что надежды потушить пожар нет, дал тайный приказ как можно скорее подойти к мекленбургским берегам и посадить корабль на мель, дабы уменьшить опасность. При этом, добавляли те же друзья, он героически хранил хладнокровие, дабы пассажиры как можно дольше оставались в неизвестности и не мешали спасению корабля; вы скоро узнаете, как оценил это хваленое хладнокровие император!..

На борту «Николая I» находилось три десятка детей и множество женщин. Первой заметила опасность одна русская дама; она подняла тревогу среди экипажа.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Огонь уже охватил деревянные части корабля, из-за несовершенства конструкции располагавшиеся слишком близко к топке. Дым начал проникать в каюты. Узнав о неминуемой гибели, моряки в ужасе возопили: «Пожар! Пожар! Спасайся, кто может!» Дело происходило в октябре, стояла глубокая ночь, корабль отделяла от берега целая миля; что бы там ни говорили о тайных приказах, якобы отданных капитаном, огонь, разом показавшийся в нескольких местах, был для всей команды полнейшей неожиданностью; в ту же секунду корабль врезался в песчаное дно и колеса его остановились. В толпе воцарилось гробовое молчание: даже женщины и дети не произносили ни слова, охваченные глубоким оцепенением. К несчастью, мель, на которую село судно, была своего рода островом, со всех сторон окруженным глубокими водами, которые невозможно перейти вброд; хорошо еще, что погода стояла безветренная.

Матросы бросились к помпам, принялись таскать воду ведрами, пытаясь остановить продвижение огня; капитан тем временем приказал спустить на море шлюпку и начать перевозить пассажиров на берег. Было ясно, что маленькой шлюпке придется совершить далеко не один рейс. Решили, что вначале следует перевезти на сушу женщин и детей.

Самые нетерпеливые из пассажиров, рискуя жизнью, стали выпрыгивать за борт, на мель; юный француз, о котором я упоминал, прыгнул одним из первых и проявил недюжинную проворность: по своей охоте взяв на себя обязанности матроса, он несколько раз перелезал из шлюпки на корабль и с корабля в шлюпку, помогая женщинам и детям спускаться вниз. Хотя положение с каждой минутой становилось все опаснее, он окончательно покинул охваченный пламенем пакетбот, лишь когда на борту не осталось ни одного пассажира. Несколько женщин обязаны жизнью его самоотверженности: он не раз бросался им на помощь вплавь и позже расплатился за свое великодушие тяжелой болезнью.

Говорят, что юноша этот — сотрудник французского посольства в Дании, путешествовавший для собственного удовольствия. Имя его мне неизвестно, но не я тому виной: со вчерашнего дня я пытаюсь узнать его у двух десятков человек, но безуспешно. Не прошло и года с тех пор, как он совершил подвиг человеколюбия, а имя его уже забыто в том самом краю, что был свидетелем его героизма.

Я ручаюсь за все подробности своего рассказа; я знаю их от женщины, которая сама была на борту гибнущего судна, и теперь мне кажется, будто катастрофа происходила на моих глазах; собеседница моя, подобно всем другим очевидцам, восхищалась самоотверженностью юного француза, но и она не удосужилась узнать имя человека, спасшего столько несчастных. Вот новое доказательство того, что при любых обстоятельствах беспамятство должников лишь приумножает славу благодетелей и оттеняет их доблесть.

Вообразите себе, однако, бедственное положение полуодетых женщин и детей, высаженных холодной осенней ночью на пустынный мекленбургский берег!

Несмотря на силу и самоотверженность нашего соотечественника, чьему примеру последовали несколько матросов разных национальностей, пять человек погибли во время этого кораблекрушения; гибель их объясняют поспешностью, с которой они пытались покинуть охваченный пламенем корабль. Однако

великолепный этот пакетбот сгорел не целиком; в конце концов экипажу удалось совладать с огнем, и новый «Николай I», на борт которого я поднимусь завтра, выстроен в большой степени из остатков старого. Люди суеверные боятся, как бы эти роковые остатки не навлекли на судно новых несчастий; я йе моряк, и мне чужды подобные поэтические страхи, однако я чту все безобидные суеверия — следствия благородного обычая верить и бояться, неизменно лежащего в основании благочестия и даже при всех его излишествах ставящего человека выше всех прочих созданий Господних.

Получив подробный отчет о случившемся, Император разжаловал капитана, русского по национальности, и заменил его голландцем, который, однако, судя по слухам, не пользуется уважением команды. Соседние державы посылают в Россию лишь тех людей, которых не хотят оставлять у себя. Завтра я узнаю, что представляет собой новый капитан. Никто не может составить мнение о командире корабля скорее, чем матрос и путешественник. Любовь к жизни, столь же страстная, сколь и рассудочная, — верный помощник в оценке человека, от которого зависит наша судьба. После ремонта красавец корабль стал так тяжел, что не может доплыть до Петербурга: в Кронштадте мы пересядем на другое судно, а экипажи наши двумя днями позже прибудут в Петербург на барже. Процедура довольно хлопотная, но любопытство — первая обязанность путешественника — превозмогает все.

Мекленбургское герцогство благоустраивается: великолепная дорога ведет
759 из Людвигслуста в Шверин, куда нынешний герцог очень кстати перенес свою резиденцию. Шверин — город старинный и живописный; его украшают озеро, холмы, леса, древний дворец; все это овеяно воспоминаниями; Людвигслуст же не может похвастать ни древностью, ни живописностью.

Хотите ли вы, однако, узнать, что такое средневековое варварство? Садитесь в карету и езжайте из этой древней столицы великого княжества Мекленбургского в Любек. Если накануне шел дождь, вы завязнете посреди дороги в бездонных рытвинах. С сожалением вспоминая о песчаной и каменистой почве в окрестностях Ростока, вы будете погружаться в выбоины такой глубины, что из них невозможно выбраться, не разбив или не опрокинув экипаж. Заметьте, что я веду речь о так называемой *главной дороге* из Шверина в Любек; длина ее шестнадцать миль, и вся она совершенно непроходима. Чтобы путешествовать по Германии, нужно как следует разбираться в значениях слов: главная дорога — это еще не шоссе; стоит свернуть с *шоссе,* и вы возвращаетесь на три столетия назад.

А между тем об этой дороге я узнал в Берлине от одного посла, причем узнал довольно забавным образом. «Какой дорогой мне лучше добраться до Любека?» — спросил я его. Я знал, что он только что проделал это путешествие.

— Они все дурны, — отвечал дипломат, — но я бы посоветовал вам ехать через Шверин.

— Коляска у меня легкая, — возразил я, — и если она разобьется, я опоздаю на пакетбот. Если вы знаете дорогу получше, я выберу ее, пусть даже она окажется длиннее.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

— Вот что я вам скажу, — торжественным тоном ответствовал посол, — я указал эту дорогу его высочеству *** (племяннику монарха, царствующего на родине этого дипломата); следственно, лучшего пути вы не найдете.

— Быть может, — продолжал я, — экипажи монархов так же отмечены судьбой, как и сами монархи. Вдобавок у монархов железные нервы: я не хотел бы прожить ни дня так, как они живут годами.

Немецкий *государственный муж* ничего не ответил на эту, по моему разумению, весьма невинную реплику, вероятно, сочтя ее возмутительной.

Этот важный и осторожный господин, вконец опечаленный моей дерзостью, покинул меня, едва представилась возможность сделать это, не нарушая приличий. Что за восхитительная порода людей! Есть немцы, рожденные быть подданными; они делаются царедворцами прежде, чем становятся людьми. Я не мог без смеха наблюдать их угодливую вежливость, хотя она мне куда милее противоположного обыкновения многих французов. Ум мой — насмешник и всегда пребудет таковым, несмотря на годы и размышления. Впрочем, дорога, настоящая главная дорога между Любеком и Шверином, будет, конечно, проложена очень скоро.

Прелестная хозяйка травемюндской купальни, которую мы прозвали Моной Лизой, вышла замуж; у нее трое детей. Я побывал в ее новом жилище, порог которого переступил с грустью и робостью; она ждала меня и с сердечным кокетством, характерным для уроженцев Севера, холодных, но в душе чувствительных, повязала на шею косынку, которую получила от меня ровно десять лет назад, день в день, 5 июля 1829 года... Вообразите себе: в тридцать четыре года это очаровательное создание уже страдает подагрой!.. Видно, что некогда она была красива!., и ничего больше. Красота, остающаяся неоцененной, уходит быстро: она бесполезна. У Лизы уродливый муж и трое детей; старшему мальчику девять лет; красавцем его не назовешь. Этот юный дикарь, по здешним понятиям очень хорошо воспитанный, вошел в комнату набычившись, глядя вперед туманным, но отважным взором. Видно было, что, не опасайся он материнских упреков, он непременно убежал бы — не из страха, но из робости. Он плавает, как рыба, и скучает вдали от воды. Семья живет в собственном доме и, кажется, ни в чем не нуждается, однако как узок круг, которым ограничена ее жизнь! Видя этих родителей и их троих детей и вспоминая, какова была Лиза десять лет назад, я словно впервые столкнулся с тайной человеческого существования. Мне нечем было дышать в этой крохотной клетке, впрочем очень чисто прибранной; я вышел, чтобы глотнуть свежего воздуха. Я знал, что понимают под счастьем в этом краю, и шептал себе свой вечный припев: «Не хлебом единым жив человек». Счастлива душа, обретающая все прочее в религии!.. Но у протестантов сама религия содержит в себе только «хлеб».

С тех пор, как красавица Лиза обрекла себя всеобщему жребию, она живет без тягот, но и без удовольствий, а на мой вкус это — мучительнейшая из тягот. Муж ее не ловит рыбу зимой. Жена покраснела, сделав это признание, доставившее мне тайную радость. «Этот урод-муж — трус», — подумал я; тут, словно отвечая на мои мысли, Лиза продолжила: «Скоро этим займется мой сын». Она

показала мне висящий в глубине комнаты овчинный тулуп, предназначенный для первой экспедиции, в которую отправится это могучее дитя моря.

Надеюсь, я больше никогда не увижу Мону Лизу из Травемюнде.

Отчего действительная жизнь так мало походит на жизнь воображаемую? Зачем дано нам воображение, если оно столь бесполезно? Да что там, не бесполезно, а просто вредно. Непостижимая загадка, разгадать которую может позволить только надежда, да и та проливает на разгадку лишь очень слабый свет! Человек — каторжник, приговоренный к наказанию, но не исправившийся. Его заковывают в кандалы за неведомое преступление; его подвергают пытке жизнью, а точнее — смертью; он живет и умирает в железах, не в силах добиться ни суда, ни обвинительного заключения. О! если такое беззаконие творит природа, что же удивительного в пристрастности человеческого правосудия? Чтобы узнать, что такое справедливость, нужно смотреть на земную жизнь очами веры, которым открыт не только этот, но и тот свет. Справедливость — не от мира сего. Всмотритесь в природу, и вы очень скоро разглядите рок. Творящая сила, которая мстит своим собственным творениям, не всемогуща; но кто положил предел ее могуществу? Чем загадочнее эта тайна, тем величественнее и неизбежнее победа веры!..

ПИСЬМО ПЯТОЕ

*Полярная ночь. — Влияние климата на человеческую мысль. — Монтескье и его теория. — Я читаю в полночь без лампы. — Необычайность этого явления. — Награда за тяготы пути. — Северные пейзажи. — Жители под стать родному краю. — Сплющивание земли возле полюсов. — Кажется, будто взбираешься на альпийскую вершину. — Финские берега. — Косые лучи солнца. — Поэтический ужас. — Меланхоличность северных народов. — Беседа на корабле. — Море излечивает морскую болезнь. — Мой слуга. — Красноречивый ответ горничной, извлеченный из Гримма. — Появление на борту парохода князя К***. — Его внешность и манера знакомиться. — Определение дворянства. — Различие между английским и французским чтением на этот счет. — Князь Д***. — Его портрет. — Анекдот об английском дворянстве. — Император Александр и его врач-англичанин. — Император не постигает английских понятий о дворянстве. — Тон, принятый в русском обществе. — Князь К*** защищает от меня власть слова. — Как управлять людьми. — Каннинг. — Наполеон. — Аргумент убедительнее слова. — Доверительная беседа. — Взгляд на русскую литературу. — Отчего русские таковы, как они есть. — Герои их легендарных времен. — В них нет ничего рыцарского. — Что такое аристократия. — Рабство научило русских князей быть тиранами. — В то время, когда повсюду в Европе отменяли крепостное право, в России оно было узаконено. — Мои убеждения в сравнении с убеждениями князя К***. — В России политика и религия — одно. — Будущее этой страны и всего мира. — Париж, развенчанный благочестием нового поколения. — Его постигнет участь Древней Греции. — Рассказ князя и княгини Д* * * об их пребывании в Грефенберге. — Лечение холодной водой. — Фанатизм неофита. — Княгиня Л***. — Корабль, на котором она плыла, встретился в Балтийском море с кораблем, на котором плыла ее дочь. — Хороший вкус русских аристократов. — Франция прежних; времен. — Умение уважать ближнего, располагающее умы к творчеству. — Портрет французского путешественника, в прошлом улана. — Его игривые шутки. — Чем он забавлял русских дам. — Приятное плавание. — Единственное в своем роде общество. — Русские песни и танцы. — Два американца. — Русские дамы говорят по-французски много лучше польских. — Происшествие с паровым котлом. — Разнообразие характеров дает о себе знать. — Восклицания двух княгинь. — Ложная тревога. — Страх сменяется радостью. — Романическая история, которую я оставляю до следующего письма.*

ПИСЬМО ПЯТОЕ

760

8 июля 1839 года, писано в полночь, без лампы, на борту парохода «Николай I», пересекающего Финский залив

Подходит к концу день, длящийся в этих краях примерно месяц: с 8 июня по 4 июля в этих краях всегда светло. Позже ночь снова начинает вступать в свои права; сначала солнце заходит очень ненадолго, но его отсутствие весьма заметно; чем ближе к осеннему равноденствию, тем ночи становятся длиннее. Они начинают увеличиваться с такой же быстротой, с какой уменьшаются весной, и вскоре заволакивают тьмой север России, Петербург, Швецию, Стокгольм и все районы, соседствующие с арктическим полярным кругом. Для жителей земель, расположенных внутри этого круга, год делится пополам, на один длинный день и одну длинную ночь, по шесть месяцев каждая; что же до сумерек, то их продолжительность зависит от близости к полюсу. Не слишком темная зимняя ночь длится ровно столько же, сколько смутный и меланхолический летний день.

Неустанно любуясь полярной ночью, светлой почти как день, я переношусь в новый для меня мир. В моих странствиях я всегда с безграничным любопытством наблюдал за игрой света. В конце года во всех уголках земного шара солнце ежедневно остается на небе одинаковое число часов, но как несхожи эти дни! как сильно различаются они температурой и красками! Солнце, чьи лучи падают на землю отвесно, и солнце, чьи лучи светят косо, — это два разных светила, во всяком случае для нас, зрителей.

Для меня, живущего одной жизнью с растениями, в понятии географической широты скрывается что-то роковое; небо оказывает такое воздействие на
760 мои мысли, что я охотно расписываюсь в почтении к теории Монтескье. Мое настроение и мои способности настолько подвержены влиянию климата, что я не могу сомневаться и в его влиянии на политику. Однако гений Монтескье придал этому факту — впрочем, неопровержимому — преувеличенное значение. Высшие умы нередко оказываются жертвами собственного упорства: они видят лишь то, что хотят; заключая в себе весь мир, они понимают все, кроме мнений других людей.

Час назад солнце на моих глазах опустилось в море на северо-западе, оставив длинный светящийся след, который еще сейчас позволяет мне писать к вам, не зажигая лампы; все пассажиры спят, я сижу на верхней палубе и, оторвав взор от письма, замечаю на северо-востоке первые проблески утренней зари; не успело кончиться вчера, как уже начинается завтра. Это полярное зрелище вознаграждает меня за все тяготы путешествия. В этой части земного шара день — бесконечная заря, вечно манящая, но никогда не выполняющая своих обещаний. Эти проблески света, не становящегося ярче, но и не угасающего, волнуют и изумляют меня. Странный сумрак, за которым не следуют ни ночь, ни день!., ибо то, что подразумевают под этими словами в южных широтах, здешним жителям, по правде говоря, неведомо. Здесь забываешь о колдовстве красок, о благочестивом сумраке ночей, здесь перестаешь верить в существование тех счастливых стран, где солнце светит в полную силу и творит чудеса. Этот край — царство

не живописи, но рисунка. Здесь перестаешь понимать, где находишься, куда направляешься; свет проникает повсюду и оттого теряет яркость; там, где тени зыбки, свет бледен; ночи там не черны, но и белый день — сер. Северное солнце — беспрестанно кружащаяся алебастровая лампа, низко подвешенная между небом и землей.

Лампа эта, не гаснущая недели и месяцы напролет, еле заметно распространяет свое печальное сияние под сводом бледных небес; здесь нет ничего яркого, но все предметы хорошо видны; природа, освещенная этим бледным ровным светом, подобна грезам седовласого поэта — Оссиана, который, забыв о любви, 760
вслушивается в голоса, звучащие из могил.

Плоские поверхности, смазанные задние планы, еле различимые линии горизонта, полустертые контуры, смешение форм и тонов — все это погружает меня в сладостные грезы, очнувшись от которых чувствуешь себя в равной близости и к жизни и к смерти. Сама душа пребывает здесь подвешенной между днем и ночью, между бодрствованием и сном; она чуждается острых наслаждений, ей недостает страстных порывов, но она не ведает сопутствующих им тревог; она не свободна от скуки, но зато не знает тягот; и на сердце, и на тело нисходит в этом краю вечный покой, символом которого становится равнодушный свет, лениво объемлющий смертным холодом дни и ночи, моря и придавленную грузом зим, укутанную снегом землю.

Свет, падающий на этот плоский край, в высшей степени подходит к голубым, как фаянсовые блюдца, глазам и неярким чертам лица, пепельным кудрям и застенчиво романическому воображению северных женщин: женщины эти без устали мечтают о том, что другие осуществляют; именно о них можно сказать, что жизнь — сон тени. 760

Приближаясь к северным областям, вы словно взбираетесь на ледяное плато; чем дальше, тем это впечатление делается отчетливее; вся земля превращается для вас в гору, вы карабкаетесь на сам земной шар. Достигнув вершины этих огромных Альп, вы испытываете то, чего не чувствовали так остро, штурмуя настоящие Альпы: скалы клонятся долу, пропасти исчезают, народы остаются далеко позади, обитаемый мир простирается у ваших ног, вы почти достигаете полюса; земля отсюда кажется маленькой, меж тем моря вздымаются все выше, а суша, окружающая вас еле заметной линией, сплющивается и пропадает в тумане; вы поднимаетесь, поднимаетесь, словно стараетесь добраться до вершины купола; купол этот — мир, сотворенный Господом. Когда с его вершины вы бросаете взгляд на затянутые льдом моря, на хрустальные равнины, вам мнится, будто вы попали в обитель блаженства, где пребывают ангелы, бессмертные стражи немеркнущих небес. Вот что ощущал я, приближаясь к Ботническому заливу, на северном берегу которого расположен Торнио.

Финское побережье, считающееся гористым, на мой вкус, — не что иное, как цепь еле заметных холмов; в этом смутном краю все теряется в тумане. Непроницаемое небо отнимает у предметов яркие цвета: все тускнеет, все меняется под этим перламутровым небосводом. Вдали черными точками скользят корабли; неугасимый, но сумрачный свет едва отражается от муаровой глади вод,

и ему недостает силы позолотить паруса далекого судна; снасти кораблей, бороздящих северные моря, не блестят так, как в других широтах; их черные силуэты неясно вырисовываются на фоне блеклого неба, подобного полотну для показа китайских теней. Стыдно сказать, но северная природа, как бы величественна она ни была, напоминает мне огромный волшебный фонарь, чей свет тускл, а стекла мутны. Я не люблю уничижительных сравнений, но ведь главное — стараться любой ценой выразить свои чувства. Восхищаться легче, чем хулить, однако, истины ради, следует запечатлевать не только восторги, но и досаду.

При вступлении в эти убеленные снегом пустыни вас охватывает поэтический ужас; вы в испуге замираете на пороге зимнего дворца, где живет время; готовясь проникнуть в это царство холодных иллюзий и блестящих грез, не позолоченных, но посеребренных, вы исполняетесь неизъяснимой печали: слабеющая мысль отказывается служить вам, и ее бесполезная деятельность уподобляется тем поблескивающим размытым облакам, которые ослепляют ващи взоры.

Очнувшись же, вы проникаетесь дотоле загадочной для вас меланхолией северных народов и постигаете вослед им очарование однообразной северной поэзии. Это причащение к прелестям печали болезненно, и все же оно приносит удовольствие: вы медленно следуете под грохот бурь за погребальной колесницей, вторя гимнам сожаления и надежды; ваша облаченная в траур душа тешит себя всеми возможными иллюзиями, проникается сочувствием ко всему, на что падает ваш взор. Воздух, туман, вода — все дарует новые впечатления вашему обонянию и осязанию; чувства ваши подсказывают вам, что вы вот-вот достигнете пределов обитаемого мира; перед вами простираются ледяные поля, прилетевший с полюса ветер пронизывает вас до мозга костей. В этом мало приятного — но много нового и любопытного.

Я не могу не сожалеть о том, что попечения о здоровье так надолго задержали меня этим летом в Париже и Эмсе: последуй я моему первоначальному плану, я теперь оставил бы уже далеко позади Архангельск и находился среди лопарей, на берегу Белого моря; впрочем, в мыслях я уже там: разница невелика.

Пробудившись от грез, я обнаруживаю себя не шагающим по грешной земле, но плывущим по морю на борту «Николая I», одного из прекраснейших и удобнейших судов Европы (я уже рассказывал вам о случившемся на нем пожаре), в окружении изысканнейшего общества.

Возьми новый Боккаччо на себя труд записать те беседы, в которых я уже три дня принимаю посильное участие, он создал бы книгу блестящую и забавную, как «Декамерон», и почти такую же глубокую, как «Характеры» Лабрюйера. Мои рассказы — лишь бледный слепок с этого оригинала, но я все-таки попытаюсь дать вам о нем понятие.

Самочувствие мое уже давно оставляло желать лучшего, но в Травемюнде мне стало так худо, что я едва не отложил отъезд. Однако коляска моя была погружена на корабль еще накануне. Пароход мой отходил в три часа пополудни, пробило одиннадцать утра, а меня била лихорадка, к горлу подступала тошнота, которую, как я опасался, морская болезнь могла только усугубить. Что стану я делать в Петербурге, в восьмистах милях от дома, если всерьез разболеюсь,

спрашивал я самого себя. К чему доставлять друзьям столько хлопот, если можно этого избежать?

Разве не безумие пускаться в многодневное плавание, когда тебя треплет лихорадка? Но не безумие ли, да к тому же безумие смешное, в последнюю минуту идти на попятный и на глазах у изумленной публики перегружать свою коляску обратно на берег? Что сказать жителям Травемюнде? Как объяснить мое запоздалое решение парижским друзьям?

Обычно я не придаю подобным доводам большого значения, но болезнь отняла у меня мужество; чтобы свернуть с пути, мне нужно было выказать собственную волю; чтобы продолжить путь, следовало просто положиться на волю Божию.

Меж тем дрожь пробирала меня все сильнее; неизъяснимая тревога и совершенный упадок сил свидетельствовали о настоятельной потребности в отдыхе; я не мог смотреть на еду без отвращения, у меня сильно болели голова и бок, и я всерьез опасался, что не вынесу четырехдневного плавания со всеми его неудобствами. Не безрассудно ли, говорил я себе, начинать путешествие в таком состоянии? Однако изменить решение — самое трудное для больного человека... как, впрочем, и для здорового.

Эмские воды излечили меня от одной болезни, но ей на смену тотчас пришла другая. Избавить меня от этого нового недуга мог только покой. Достаточное основание для того, чтобы не ездить в Сибирь, — куда я как раз и направлялся!

Я поистине не знал, что предпринять; положение мое было не просто труд- 760
ным, но — что много хуже — смешным. Наконец я решился разыграть жизнь, которой не умею распорядиться, в орлянку; как ставят деньги на определенную карту, так я позвал слугу, поклявшись поступить так, как скажет он. Я спросил 760
его совета.

— Нужно ехать, — отвечал он, — мы уже почти у цели.

— Да ведь обычно вы боитесь моря!

— Я и теперь его боюсь — но на вашем месте, сударь, я не стал бы возвращаться, раз коляска уже на борту.

— Отчего же вы боитесь возвратиться назад и не боитесь, что я совсем разболеюсь?

Молчание.

— Скажите же, почему вы хотите, чтобы мы ехали дальше?

—Потому!!!

— В добрый час!.. Ну что ж, в таком случае, едем!

— Но если вы совсем разболеетесь, — воскликнул вдруг этот превосходный человек, начавши постигать, какую он взял на себя ответственность, — я раскаюсь в своей опрометчивости.

— Если я разболеюсь, вы будете за мной ходить.

— Это вам не поможет.

— Не важно!!! Мы едем.

Красноречие моего слуги имело немало общего с красноречием той горнич- 782
ной, о которой рассказывает Гримм. Другая горничная, находясь при смерти,

оставалась глуха к уговорам родственников, хозяйки и священника. Позвали ее старинную подругу; та шепнула ей несколько слов, и умирающая с неожиданной кротостью, с примерным рвением и смирением поспешила причаститься и собороваться. Что же сказала красноречивая горничная? Вот что: «Как же так? Вот еще! Ну и ну! Ну-ка, ну-ка! Давай-ка!»

Переубежденный, подобно той умирающей барышне, я в три часа пополудни поднялся на борт «Николая I», пребывая во власти озноба, тошноты и неизъяснимого раскаяния в собственном малодушии. Тысяча зловещих предчувствий разом обрушились на меня, и перед моим мысленным взором проходили все мрачные сцены, какие они мне пророчили.

Моряки поднимают якорь; я в приступе тупого отчаяния опускаю голову и закрываю лицо руками. Но вот колеса начинают вращаться — и во мне свершается перемена столь же внезапная и полная, сколь и необъяснимая. Вы поверите мне, ибо привыкли мне верить; к тому же какой прок мне придумывать случай, который интересен лишь постольку, поскольку правдив? Итак, вы поверите, а если я опубликую эти страницы, читатели мои также поверят мне, ибо они знают, что я иногда ошибаюсь, но никогда не лгу. Одним словом, я выздоровел: боль и озноб утихли, мысли в голове прояснились, болезнь развеялась, как дым; от недуга моего не осталось и следа. Это волшебное исцеление так поразило меня, что я не смог отказать себе в удовольствии описать вам его результаты. Море излечило меня от морской болезни; это называется гомеопатия на широкую ногу.

Впрочем, быть может, все дело было в погоде: она с самого нашего отплытия стоит превосходная...

В ту самую минуту, когда матросы начали поднимать якорь, а я еще пребывал во власти мучительнейшей тоски, на палубу нашего судна поднялся пожилой и очень полный человек: он едва держался на чудовищно распухших ногах; голова его, возвышавшаяся над широкими плечами, показалась мне исполненной благородства; это был вылитый Людовик XVI. Вскоре я узнал, что это русский князь К***, потомок завоевателей-варягов, иначе говоря, отпрыск старинейшего дворянского рода.

Видя, как он, опираясь на руку своего секретаря, с трудом ковыляет к скамейке, я подумал: от такого попутчика большого веселья ждать не приходится; однако, узнав его имя, я вспомнил, что уже давно слышал о нем, и упрекнул себя за неисправимую привычку судить о людях по внешности.

Едва усевшись, этот старец с открытым лицом и лукавым, хотя благородным и честным взглядом, обратился ко мне, назвав меня по имени, хотя дотоле мы никогда не виделись. От изумления я вскочил, но ничего не ответил; князь продолжал говорить со мной тоном истинного аристократа, чья совершенная простота и есть настоящая вежливость, не нуждающаяся в церемониях.

— Вы, объездивший едва ли не всю Европу, — сказал он мне, — вы, я уверен, согласитесь со мной.

— Относительно чего, князь?

— Относительно Англии. Я говорил князю ***, — и он, не обинуясь, указал пальцем на человека, которого имел в виду, — что в Англии нет дворянства.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

У англичан есть титулы и должности, но дворянство, как его понимаем мы, то, которое нельзя ни получить в дар, ни купить, им неизвестно. Монарх может плодить князей; воспитание, обстоятельства, гений, мужество могут создавать героев, но ничто не способно сделать человека дворянином. 765

— Князь, — отвечал я, — дворянство, как его понимали некогда во Франции и как понимаем его мы с вами, нынче — лишь мечта, а быть может, и всегда было таковым. Вы напомнили мне остроумное выражение господина де Лораге, который, возвратившись из собрания маршалов Франции, сказал: «Нас сошлась дюжина герцогов и пэров, но дворянином был я один». 765

— Он говорил правду, — согласился князь. — На континенте дворянином считают лишь человека благородного происхождения, ибо в странах, где дворянство еще пользуется уважением, принадлежность к нему определяется происхождением, а не богатством, связями, талантами, должностями; оно — продукт истории, и, подобно тому как в физическом мире период образования некоторых металлов кончился, кажется, навсегда, так же в мире политическом истек период появления дворянских родов. Вот чего не могут взять в толк англичане.

— Бесспорно, — отвечал я, — что, сохранив феодальную надменность, они утратили то, что составляло сущность феодальных установлений. В Англии рыцари покорились промышленникам, которые согласились не отменять древние баронские привилегии при условии, что они распространятся и на новые роды. Вследствие этой социальной революции, явившейся результатом революций политических, наследственные права стали сопутствовать не родам, но лицам, должностям и поместьям. Некогда воин, завоевав землю, навеки превращал ее в дворянское владение, сегодня же земля сообщает дворянское достоинство тому, кто ее купил; дворянство, как его понимают в Англии, напоминает мне расшитый золотом кафтан, который всякий человек вправе надеть, были бы деньги, чтобы его приобрести. Эта денежная аристократия, без сомнения, весьма отлична от аристократии родовой; общественное положение, купленное за деньги, выдает человека умного и деятельного, положение же, полученное по наследству, — человека, отмеченного Провидением. В Англии понятия об этих двух аристократиях, денежной и наследственной, до такой степени невнятны, что потомки древнего рода, если они бедны и нетитулованы, говорят: «Мы не родовиты», — меж тем как милорд ***, внук портного, заседающий в палате пэров, гордится своей принадлежностью к высшей аристократии. Вдобавок родовые имена передаются по женской линии, что довершает странность и путаность картины, решительно непонятной чужестранцам.[1]

— Я знал, что мы сойдемся, — сказал князь со свойственной ему очаровательной важностью.

[1] Одна из главных причин недоразумения состоит в том, что многие люди почитают слова gentleman и gentilhomme <дворянин — *фр.* > синонимами, меж тем как на самом деле английское слово означает человека хорошо воспитанного, принятого в хорошем обществе.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Разумеется, я передал наш первый разговор вкратце, сохранив, однако, все его основные положения.

Пораженный легкостью, с которой произошло наше знакомство, и избавленный, как по волшебству, от недуга, мучившего меня вплоть до самого отплытия, я принялся разглядывать соотечественника князя К***, князя Д***, чье славное и древнее имя сразу привлекло мое внимание. Взору моему предстал человек еще не старый, с выпуклым лбом, землистым цветом лица и больными глазами; высокий рост и благородная осанка гармонировали с холодностью его манер, и гармония эта была не лишена приятности.

Князь К***, никогда не позволяющий беседе затихнуть и любящий исследовать интересующие его предметы как можно более тщательно, помолчав, продолжил:

— Дабы доказать вам, что мы с англичанами совершенно розно смотрим на дворянство, расскажу маленький анекдот, который, быть может, вас позабавит.

765 В 1814 году я сопровождал императора Александра в его поездке в Лондон. В ту пору Его Величество удостаивал меня немалого доверия, и мнимое возвышение мое сблизило меня с принцем Уэльским,[1] удостоившим меня многих милостей. Однажды принц отвел меня в сторону и сказал:

— Я хотел бы сделать что-нибудь приятное императору; он, кажется, очень

765 любит своего лейб-медика: могу ли я наградить этого человека так, чтобы награда доставила удовольствие и его повелителю?

— Да, сударь, — отвечал я.

— Что же ему даровать?

— Дворянство.

Назавтра доктор *** был произведен в knight (рыцари).

Император потребовал у меня, а затем у других приближенных объяснений касательно этого отличия, дающего его лекарю право именоваться сэром, а его жене зваться супругою, сэра, то есть леди, однако, несмотря на всю свою проницательность, — а она была велика, — он до самой смерти не мог понять ни наших объяснений, ни сущности нового звания, присвоенного его врачу. Он говорил мне об этом спустя десять лет в Петербурге.

— Император Александр был не одинок в своем неведении, — отвечал я, — так же непонятливы многие умные люди, в первую голову иностранные романисты, выводящие в своих сочинениях англичан, принадлежащих к светскому обществу.

В манерах князя было столько изящества, любезности и простоты, выражение его лица и звук его голоса сообщали — как бы помимо воли говорящего — любому его слову столько лукавого остроумия, что мы оба пришли в прекрасное расположение духа, и беседа наша растянулась на несколько часов.

Мы коснулись множества замечательных особ и предметов всех времен, в особенности же тех, что принадлежат нашей эпохе; я услышал массу анекдотов, портретов, определений, остроумных замечаний, которыми естественный

[1] В ту пору регент, позже ставший королем под именем Георга IV.

и просвещенный ум князя К*** невольно одарял меня по ходу беседы; я вкушал редкое и утонченное наслаждение и краснел от стыда, вспоминая первоначальное свое суждение о князе как о скучном подагрике. Никогда еще время не летело для меня так быстро, как в течение этого разговора, в котором я был в основном слушателем, разговора столь же поучительного, сколь и забавного.

В России великосветские дамы и господа умеют вести беседу с той непринужденной учтивостью, секрет которой мы, французы, почти полностью утратили. Даже секретарь князя К***, несмотря на свое французское происхождение, показался мне сдержанным, скромным, чуждым тщеславия и, следственно, презирающим неразрывно связанные с ним хлопоты и разочарования. 766

Если таково следствие деспотической власти, да здравствует Россия.[1] Справедливо считается, что хороший тон — не более чем способность уважать того, кто достоин уважения; как же в таком случае могут сохраниться изысканные манеры в стране, где никто ничего не уважает? Будем почтительны без подобострастия — и мы естественно и, так сказать, невольно сделаемся вежливыми.

Как ни старался я в разговоре с князем К*** блюсти осторожность, старый дипломат очень скоро постиг направление моих идей и был им поражен.

— Вы чужды и вашей стране и вашей эпохе, — сказал он мне, — вы — враг слова как движущей силы политики.

— Вы правы, — согласился я, — по мне, любой способ обнаружить истинную ценность человека предпочтительнее, нежели публичное красноречие в стране, столь богатой честолюбцами, как наша. Не думаю, чтобы во Франции нашлось много людей с твердым характером, которым бы не грозила опасность принести свои заветнейшие убеждения в жертву желанию блеснуть прекрасной речью.

— Однако, — возразил русский князь-либерал, — слово всемогуще: весь человек и даже нечто, превосходящее человека, выражается в слове: оно божественно! 766

— Я того же мнения, — отвечал я, — потому-то я и не хочу, чтобы оно становилось продажным.

— Когда такой гений, как господин Каннинг, приковывал к своим речам внимание первых людей Англии и целого мира, — сказал князь, — тогда, сударь, слово «политика» было не безделицей. 766

— Какое же благо сотворил этот блестящий гений? И какое зло мог бы он сотворить, будь его слушатели чуть более пылки? Слово, употребляемое в интимной беседе как средство убеждения, слово, применяемое для того, чтобы втайне переменить ход мыслей, направить поведение одного человека или небольшой группы людей, кажется мне благодетельной опорой либо противовесом власти, в публичных же дискуссиях, ведущихся многочисленными политическими собраниями, слово внушает мне страх. С его помощью идеи близорукие и пошлые

[1] Автор надеется, что благосклонные читатели простят ему очевидные противоречия; учиться — значит противоречить самому себе; только постоянно пересматривая мнение о мире и о себе самом, можно прийти в конце концов к мнению наиболее разумному; высказать его — задача философа, путешественник же должен оставаться верным своей роли; всегда последователен только лжец: с ним я тягаться не желаю.

не раз одерживали победу над возвышенными мыслями и глубоко продуманными планами. Навязать нациям правление большинства — значит отдать их в распоряжение посредственностей. Если не такова ваша цель, значит, вы напрасно восхваляете власть слова. Толпа почти всегда нерешительна, скупа и ничтожна; вы возразите мне, приведя в пример Англию; я отвечу, что эта страна вовсе не то, за что ее принимают; конечно, в палатах решение принимает большинство, но это большинство — не что иное, как местная аристократия, уже много лет почти беспрерывно находящаяся у кормила власти. Да и к каким обманам не заставляла парламентская форма правления прибегать людей, возглавляющих эту замаскированную олигархию?.. И этим-то английским порядкам вы завидуете?

— Но людьми можно управлять либо с помощью страха, либо с помощью убеждения.

— Согласен, но поступок убедительнее слова. Вспомните прусскую монархию, вспомните Бонапарта, в его царствование свершились великие деяния. В начале своего правления Бонапарт прибегал более к убеждению, нежели к силе, однако слова свои — а ему не откажешь в красноречии — он обращал только к индивидам, с массами же всегда говорил языком поступков; лишь так и можно потрясать воображение людей, не злоупотребляя Божьим даром; публично обсуждать закон — значит заранее отнять у людей возможность уважать его и, следовательно, ему повиноваться.

— Вы тиран.

— Напротив, я боюсь адвокатов и вторящих им газетчиков, чьи речи живут не долее суток; вот тираны, грозящие нам сегодня.

— Приезжайте к нам, вы научитесь опасаться иных тиранов.

— Сколько ни старайтесь, князь, уж вам-то не удастся внушить мне дурное мнение о России.

— Не судите о ней ни по мне, ни по одному из русских, повидавших свет; природа создала нас столь гибкими, что мы становимся космополитами, чуть только покинем пределы отечества; а ведь подобный склад ума сам по себе есть сатира на наше правительство!..

Тут, несмотря на привычку говорить откровенно обо всем на свете, князь
766 испугался меня, себя, а главное, прочих пассажиров и пустился в рассуждения весьма туманные.

Я не стану понапрасну напрягать память, дабы воспроизвести его реплики, утратившие вместе с искренностью и блеск формы, и новизну идей. Князь довершил свой рассказ о характере людей и установлении своей страны позже, когда мы остались одни. Вот что запомнилось мне из его рассуждений:

«Всего четыре столетия отделяют Россию от нашествия варваров, Запад же пережил подобное испытание четырнадцать веков назад: цивилизация, имеющая за плечами на тысячу лет больше, создала нравы, не сравнимые с нравами русских.

За много столетий до вторжения монголов скандинавы послали к славянам, в ту пору ведшим совсем дикое существование, своих вождей, которые стали княжить в Новгороде Великом и Киеве под именем варягов; эти чужеземные

герои, явившиеся в сопровождении немногочисленного войска, стали первыми русскими князьями, а к их спутникам восходят древнейшие дворянские роды России. Варяги, принимаемые за неких полубогов, приобщили русских кочевников к цивилизации. В то же самое время константинопольские императоры и патриархи привили им вкус к византийскому искусству и византийской роскоши. Таков был, с позволения сказать, первый слой цивилизации, растоптанный татарами, когда эти новые завоеватели обрушились на Россию.

От баснословных эпох российской истории до нас дошла память о святых мужах и женах — законодателях христианских народов. Первые славянские летописи рассказывают о подвигах мужественных и воинственных князей. Память о них пронзает тьму, как пробивается сквозь тучи в грозовую ночь свет звезд. Рюрик, Олег, княгиня Ольга, святой Владимир, Святополк, Мономах — властители, не схожие с великими людьми Запада ни характерами, ни именами. 766

В них не было ничего рыцарского, это — ветхозаветные цари: надия, которую они покрыли славой, недаром соседствует с Азией; оставшись чуждой нашим романтическим идеям, она сберегла древние патриархальные нравы. 767

Русские не учились в той блистательной школе прямодушия, чьи уроки рыцарская Европа усвоила так твердо, что слово ***честь*** долгое время оставалось синонимом верности данному обещанию, а ***слово чести*** по сей день почитается священным даже во Франции, забывшей о стольких других вещах! Благодетельное влияние крестоносцев, равно как и распространение католической веры, не пошло далее Польши; русские — народ воинственный, но сражаются они ради победы, берутся за оружие из послушания или корысти, польские же рыцари бились из чистой любви к славе: поэтому, хотя вначале две эти нации, два ростка одного и того же корня, имели между собой очень много общего, история, наставник народов, развела их так далеко одну от другой, что русским политикам потребуется больше столетий на то, чтобы сблизить их снова, чем потребовалось религии и обществу на то, чтобы их разлучить.[1] 768

Покуда Европа переводила дух после многовековых сражений за Гроб Господень, русские платили дань мусульманам, возглавляемым Узбеком, продолжая, однако, как и прежде, заимствовать искусства, нравы, науки, религию, политику с ее коварством и обманами и отвращение к латинским крестоносцам у греческой империи. Примите в расчет эти религиозные, гражданские и политические обстоятельства, и вы не удивитесь ни тому, что слово русского человека крайне ненадежно (напомню, это говорит русский князь), ни тому, что дух хитрости, наследие лживой византийской культуры, царит среди русских и даже определяет собою всю общественную жизнь империи царей, удачливых преемников Батыевой гвардии. 768

Абсолютный деспотизм, какой господствует у нас, установился в России в ту самую пору, когда во всей Европе рабство было уничтожено. После нашествия монголов славяне, до того один из свободнейших народов мира, попали в рабство сначала к завоевателям, а затем к своим собственным князьям. Тогда 782

[1] См. письмо четырнадцатое.

рабство сделалось не только реальностью, но и основополагающим законом общества. Оно извратило человеческое слово до такой степени, что русские стали видеть в нем всего лишь уловку; правительство наше живет обманом, ибо правда страшит тирана не меньше, чем раба. Поэтому, как ни мало говорят русские, они всегда говорят больше, чем требуется, ибо в России всякая речь есть выражение религиозного или политического лицемерия.

769 Автократия, являющаяся не чем иным, как идолопоклоннической демократией, уравнивает всех точно так же, как это делает демократия абсолютная.

Наши самодержцы некогда на собственном опыте узнали, что такое тирания. Русские великие князья[1] были вынуждены душить поборами свой народ ради того, чтобы платить дань татарам; нередко по прихоти хана их самих увозили, точно рабов, в глубины Азии, в Орду, и царствовали они лишь до тех пор, пока беспрекословно повиновались всем приказам, при первом же неповиновении лишались трона; так рабство учило их деспотизму, а они, сами подвергаясь насилию, в свой черед приучали к нему народы;[2] так с течением времени князья и нация развратили друг друга.

Заметьте, однако, что на Западе в это время короли и их знатнейшие вассалы соревновались в великодушии, даруя народам свободу.

Сегодня поляки находятся по отношению к русским в точно таком же положении, в каком находились те по отношению к монголам при наследниках Батыя. Освобождение от ига далеко не всегда способствует смягчению нравов. Иногда князья и народы, подобно простым смертным, вымещают зло на невинных жертвах, они мнят, что их сила — в чужих мучениях».

— Князь, — возразил я, выслушав пространные рассуждения своего собеседника, — я вам не верю. Вы выказываете чрезвычайную утонченность ума, пренебрегая национальными предрассудками и расписывая вашу страну чужестранцу таким образом, но я столь же мало доверяю вашему смирению, сколь и гордыне других русских.

— Через три месяца, — отвечал князь, — вы отдадите должное и мне, и власти слова, а пока, воспользовавшись тем, что мы одни (он огляделся по сторонам), я хочу обратить ваше внимание на самое важное обстоятельство; я хочу дать вам ключ ко всему, что вы увидите в России. Имея дело с этим азиатским народом, никогда не упускайте из виду, что он не испытал на себе влияния рыцарского и католического; более того, он яростно противостоял этому влиянию.

— Вы заставляете меня гордиться собственной проницательностью; я как раз недавно писал одному из друзей, что, судя по всему, тайной пружиной русской политики является религиозная нетерпимость.

— Вы блестяще угадали то, что вам предстоит увидеть: вы даже не можете вообразить себе, как велика нетерпимость русских; те из них, кто наделены

[1] Так русские долгое время именовали московских князей.

[2] Беспробудная дрема славян — следствие этого многовекового рабства, своеобразной политической пытки, заставляющей народы и царей растлевать друг друга.

просвещенным умом и бывали в европейских странах, прилагают величайшие усилия, дабы скрыть свое мнение о триумфе греческого ***православия***, которое они отождествляют с русской политикой. Не вникнув в существо этого явления, невозможно понять что бы то ни было ни в наших нравах, ни в нашей политике. Не подумайте, например, что разгром Польши есть следствие злопамятства императора; он — результат холодного и глубокого расчета. С точки зрения правоверных русских, эти зверства достойны величайшей похвалы; сам Святой Дух нисходит на самодержца и возносит его душу превыше человеческих чувств, а Господь благословляет исполнителя его высших предначертаний; по этой логике, чем больше варварства в поступках судей и палачей, тем больше в них святости. Ваши легитимистские журналисты не знают, что делают, когда ищут себе союзников среди схизматиков. Скорее в Европе разразится революция, нежели российский император согласится принять сторону католиков; даже протестанты воссоединятся с папой раньше русского самодержца, ибо протестантам, чьи верования выродились в системы, а религия — в философическое сомнение, осталось принести в жертву Риму лишь свою сектантскую гордыню, император же положительно и всерьез обладает духовной властью и добровольно с ней не расстанется. У Рима и у всех, кто связан с Римской церковью, нет врага более страшного, чем московский самодержец, земной глава своей Церкви, и мне странно, что проницательные итальянцы до сих пор не постигли опасностей, грозящих им со стороны России.[1] Это весьма правдивое описание поможет вам понять, сколь ложны иллюзии, которыми обольщаются парижские легитимисты.

По этому монологу князя К*** вы можете судить обо всех остальных; замечу, что всякий раз, когда дело доходило до утверждений, рискующих оскорбить московитскую гордость, князь умолкал, если не был совершенно уверен, что никто не может нас услышать.

Признания его заставили меня задуматься, а раздумья вселили в мою душу страх.

Этой стране, которую наши нынешние мыслители долгое время не принимали в расчет из-за ее чрезвычайной отсталости, суждено такое же — если не более — великое будущее, как пересаженному в американскую почву английскому обществу, чересчур прославленному философами, чьи теории породили сегодняшнюю нашу демократию, со всеми ее злоупотреблениями.

Если воинский дух, господствующий в России, не создал ничего подобного нашей религии чести, если русские солдаты не так блистательны, как наши, это не означает, что русская нация менее сильна; честь — земное божество, но в жизни практической долг играет не менее важную роль, чем честь, а может быть, и более важную; в нем меньше великолепия, но больше упорства и мощи. Этой земле не суждено родить героев Тассо или Ариосто, но герои, способные вдохновить нового Гомера и нового Данте, могут воскреснуть на развалинах нового

[1] Князь К*** был католиком. Все русские, стремящиеся к независимости ума и веры, склоняются к переходу под покровительство Римской церкви.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Илиоиа, осажденного новым Ахиллом, воителем, который один стоил всех прочих персонажей «Илиады».

Я убежден, что отныне миром будут править народы не самые беспокойные, но самые терпеливые:[1] просвещенная Европа склонится только перед силой действительной, меж тем действительная сила наций — это покорство правящей ими власти, подобно тому как сила армий — дисциплина. Впредь ложь будет вредить в первую голову тем, кто станет к ней прибегать; правда заново входит в силу, ибо годы забвения возвратили ей юность и могущество.

Когда наша космополитическая демократия принесет свои последние плоды, внушив целым народам ненависть к войне, когда нации, именуемые светочами просвещения, обессилеют от политического распутства и, опускаясь все ниже и ниже, впадут в спячку и сделаются предметом всеобщего презрения, вследствие чего всякий союз с этими обеспамятевшими от эгоизма нациями будет признан невозможным, тогда рухнут преграды, и северные орды вновь хлынут на нас, тогда мы падем жертвами последнего нашествия — нашествия не темных варваров, но хитрых и просвещенных властителей, знающих больше нас, ибо наши собственные злоупотребления научат их, как можно и должно править.

Провидение неспроста копит столько бездействующих сил на востоке Европы. Однажды спящий гигант проснется, и сила положит конец царству слова. Тщетно станут тогда обезумевшие от ужаса поборники равенства звать на помощь свободе древнюю аристократию; тот, кто берется за оружие слишком поздно, тот, чьи руки от долгого бездействия ослабели, немощен. Общество погибнет оттого, что доверилось словам бессмысленным либо противоречивым; тогда лживые отголоски общественного мнения, газеты, желая во что бы то ни стало сохранить читателей, начнут торопить развязку, хотя бы ради того, чтобы еще месяц иметь о чем рассказывать. Они убьют общество, дабы питаться его трупом.

Обилие света рождает тьму; блеск на мгновение ослепляет.

Германия с ее просвещенными правительствами, с ее добрым и мудрым народом могла бы воскресить в Европе благодетельную аристократию, но правительства германские отдалились от своих подданных: обратив себя в передового стража России,[2] прусский король, вместо того чтобы, опираясь на здравомыслие своих солдат, "сделать их естественными защитниками старой Европы, единственного уголка земли, где по сю пору находила прибежище разумная свобода, превратил их в немых и терпеливых революционеров. Немцы еще могли предотвратить бурю; французам же, англичанам и испанцам остается лишь ждать раскатов грома.

Возвращение к религиозному единству спасло бы Европу, однако кто признает это единство, кто внушит к нему уважение, какими новыми чудесами

[1] Прямодушие, которому я стараюсь не изменять, не позволило мне переменить что бы то ни было в этом письме; однако я вновь прошу читателя, который захочет сопутствовать мне в моем странствии, вначале сравнить мои мысли до путешествия с выводами, к которым я пришел после него, а уж затем составлять свое мнение о России.

[2] Писано 10 июня 1839 года.

770

завоюет религия доверие не признающего ее легкомысленного мира? на чей авторитет станет опираться? Сие ведомо только Господу. Дух человеческий задает вопросы; ответы дает божественное деяние, иначе говоря, время.

Я погружаюсь в размышления, и судьба моего отечества внушает мне горечь и страх. Когда мир, устав от полумер, сделает шаг к свободе, когда люди снова признают религию делом важным, единственным, какое должно волновать общество, живущее не ради бренной корысти, но ради ценностей истинных, иными словами, вечных, — что станется тогда с Парижем, легкомысленным Парижем, вознесшимся так высоко в царствование скептической философии, с Парижем, безумной столицей равнодушия и цинизма? Сохранит ли он тогда свое главенство? Ведь кругом будут поколения, воспитанные страхом, освященные несчастьем, разочарованные опытностью и возмужавшие в размышлениях.

Парижу следовало бы самому начать перемены: можем ли мы надеяться на такое чудо? Кто поручится, что по окончании эпохи разрушения, когда новый свет воссияет в сердце Европы, центром цивилизации не станет иной город? Больше того, кто поручится, что человечество, возвратившееся к католической религии, не увидит во Франции, всеми покинутой по причине своего безверия, то, что видели в Греции первые христиане, — погасший очаг гордыни и красноречия? По какому праву сможет Франция рассчитывать на иной удел? Нации, подобно людям, умирают, а нации пылкие, как вулканы, умирают быстрее других.

Прошедшее наше столь блистательно, настоящее столь бесцветно, что, вместо того чтобы дерзко торопить будущее, нам следовало бы его опасаться. Признаюсь, сегодня наша судьба рождает в моем сердце не столько надежду, сколько страх, и та нетерпеливость французской молодежи, что при кровавом правлении Конвента сулила нам столько побед, кажется мне нынче знамением упадка. Нынешнее положение дел со всеми его изъянами гораздо более счастливо ***для всех,*** нежели та эпоха, которую оно предвещает и о которой я тщетно пытаюсь не думать.

Мне любопытно увидеть Россию, меня восхищает дух порядка, необходимый, по всей вероятности, для управления этой обширной державой, но все это не мешает мне выносить беспристрастные суждения о политике ее правительства. Пусть даже Россия не пойдет дальше дипломатических притязаний и не отважится на военные действия, все равно ее владычество представляется мне одной из опаснейших вещей в мире. Никто не понимает той роли, какая суждена этому государству среди европейских стран: в согласии со своим устройством оно будет олицетворять порядок, но в согласии с характером своих подданных под предлогом борьбы с анархией начнет насаждать тиранию, как если бы произвол был способен излечить хоть один социальный недуг! Этой нации недостает нравственного чувства; со своим воинским духом и воспоминаниями о нашествиях она готова вести, как прежде, завоевательные войны — самые жестокие из всех, — меж тем как Франция и другие западные страны будут отныне ограничиваться войнами пропагандистскими.

Число пассажиров, плывущих вместе со мной на борту «Николая I», к счастью, невелико; юная, прелестная княгиня Д***, урожденная княжна д'А***,

сопровождает мужа, возвращающегося в Санкт-Петербург; это вылитая героиня шотландского романса.

Очаровательная супружеская пара провела несколько месяцев в Силезии; княгиню сопровождает также ее брат, любезный молодой человек. Все трое испробовали в Грефенберге знаменитое лечение холодной водой, которому подвергают там одних лишь посвященных. Это больше, чем врачевание; это таинство — медицинское крещение.

772

Объятые ревностным благочестием, князь и княгиня наперебой расхваливали нам поразительные результаты этого нового способа лечения. Открытием его мир обязан некоему крестьянину, который почитает себя могущественнее всех врачей мира и подтверждает свое убеждение практикой; он верит в самого себя: вера эта оказывается заразительной, и многие из тех, кого пользовал новый апостол, вылечили себя сами.

— Толпы иностранцев со всех концов света стекаются в Грефенберг; здесь лечат все болезни, кроме легочных. Вас поливают холодной водой, а затем на пять или шесть часов укутывают фланелью. Больному ничего не остается, кроме как потеть, — сказал князь.

— Или умереть, — добавил я.

— Вы ошибаетесь, — воскликнул князь с пылом неофита, — из множества больных умерли в Грефенберге всего несколько человек. Князья и княгини, исцеленные новым спасителем, жить не могут без воды.

Тут князь Д*** прерывает свой рассказ, смотрит на часы и зовет слугу. Тот приносит большую бутыль холодной воды и выливает ее хозяину за шиворот: я не поверил своим глазам.

Князь, не обращая внимания на мое изумление, продолжает:

— Отец великого герцога Нассауского прожил в Грефенберге целый год; когда его привезли туда, он был парализован и совершенно беспомощен; вода вернула его к жизни, но, поскольку он надеется выздороветь окончательно, он по-прежнему остается в Грефенберге и не знает, когда сможет покинуть эту деревню. Никто из приезжающих туда не представляет себе, сколько времени ему придется там пробыть; продолжительность лечения зависит от характера болезни и от состояния духа больного: последствия страсти непредсказуемы, а привычка к водолечению превращается у некоторых больных в настоящую страсть, так что они не могут оторваться от источника, дарующего им высшее блаженство.

— В таком случае лечение становится опасным, ибо, хотя и не принося зла, приносит слишком много удовольствия.

— Вы смеетесь, но поезжайте в Грефенберг, и вы возвратитесь оттуда таким же поборником водолечения, как и я.

— Князь, пока я слушаю вас, я верю вашим рассказам, но стоит мне задуматься над услышанным, как я начинаю сомневаться: ведь чудодейственные врачевания часто приводят к скверным последствиям; столь сильное потение способно изменить состав крови; много ли выиграют больные, сменив подагру на водянку? Вы еще очень молоды; почитай я вас серьезно больным, я не осмелился бы говорить с вами столь откровенно.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

— Вы ничуть меня не испугали, — возразил князь, — я настолько уверен в действенности лечения холодной водой, что открою дома заведение, подобное грефенбергскому.

«Славяне помешаны не на одной холодной воде, — подумал я, — но и вообще на всяких новшествах. Ум этого народа-подражателя питается чужими открытиями».

Кроме князя К*** и семейства Д*** на нашем пароходе плыла также княгиня Л***. Она возвращалась в Петербург, который покинула неделю назад, чтобы через Германию попасть в Швейцарию, в Лозанну, и повидать там дочь, которая вот-вот должна родить; однако, сойдя на берег в Травемюнде, княгиня скуки ради пожелала взглянуть на список пассажиров, отплывших в Россию на последнем пароходе: каково же было ее изумление, когда она обнаружила в этом списке имя своей дочери! Она наводит справки у русского консула; сомнений быть не может: мать и дочь разминулись в Балтийском море.

Теперь мать возвращается в Петербург, куда только что прибыла ее дочь, благо, если она не родила в открытом море.

У этой незадачливой дамы весьма приятные манеры; она скрашивает нам долгие вечера, прелестно исполняя русские песни, вовсе мне не известные. Княгиня Д*** иной раз поет с ней дуэтом и даже проходится в танце, показывая, как пляшут казачки. Эти импровизированные национальные концерты развлекают нас, когда смолкают разговоры, и ночи пролетают незаметно.

Истинные образцы хорошего вкуса и светских манер можно отыскать лишь в странах аристократических. Здесь никто не заботится о том, чтобы вести себя ***как принято,*** а ведь именно выскочки, ведущие себя ***как принято,*** и вносят в общежитие фальшивую ноту. У аристократов все, кто находятся в гостиной, находятся в ней по праву рождения; встречаясь ежедневно, они привыкают друг к другу; даже не питая к собеседникам особой приязни, они держатся непринужденно и даже доверительно, ибо знакомы с давних пор; они понимают друг друга с полуслова, ибо узнают в чужих речах собственные мысли. Поскольку им суждено провести бок о бок целую жизнь, они приспосабливаются один к другому, и это покорство приносит им радость; путешественники, которым предстоит провести вместе долгий срок, лучше ладят между собой, чем те, что встречаются лишь на мгновение. Из вынужденной гармонии рождается всеобщая учтивость, вовсе не исключающая разнообразия: умам идет на пользу необходимость блистать в мелочах, а изысканность речей все украшает, ничему не вредя, ибо истина чувств ничего не теряет от осторожности в выборе выражений. Так, благодаря непринужденности, царящей в избранном обществе, стеснение исчезает, и лишенный грубостей разговор течет с восхитительной легкостью и свободой. 772

Некогда каждое сословие граждан во Франции могло вкушать подобные наслаждения; то была эпоха отменных бесед. С тех пор мы разучились наслаждаться беседой по многим причинам, о которых я не стану здесь распространяться и назову лишь главную из них — неумеренное смешение в каждой гостиной людей всех сословий. 772 772

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Люди эти собираются вместе не из любви к удовольствиям, но из тщеславия. С тех пор как все стали приняты повсюду, свободы не встретишь нигде; французы забыли, что такое непринужденность манер. Ей на смену пришла чопорная английская важность: в смешанном обществе без этого оружия не обойтись. Но англичане, по крайней мере, научились пускать его в ход, ничем не жертвуя, мы же утратили все то, что составляло очарование нашей светской жизни. Человек, который посещает тот или иной салон оттого, что хочет уверить себя или других, что принадлежит к хорошему обществу, не способен быть любезным и интересным собеседником. Неподдельная тонкость чувств — вещь прекрасная, тонкость же чувств притворная — вещь скверная, как всякая манерность.

Наше новое общество основано на идеях демократического равенства, идеях, которые взамен прежних радостей принесли нам скуку. Приятной беседу делает не обилие народа, но избранный круг хорошо и давно знакомых гостей; светская жизнь — не более чем средство; цель — душевная близость. Радея о благе человека, общество накладывает на него весьма жесткие обязательства. В мире салонов, как в искусстве, необъезженная лошадь портит все дело; я люблю породистых лошадей, но только если они хорошо вышколены: неукротимая дикость — признак не силы, но некоторой неполноценности данной особи, причем физический этот изъян сообщается и душе. Здравое суждение — награда за победу над страстями.

Умы, рождающие на свет шедевры, созревают под сенью цивилизации, к которой питают неизменное уважение и которой обязаны драгоценнейшим из своих преимуществ — равновесием. Руссо, этот могучий разрушитель, выступает, однако, охранителем, когда с восхищением живописует жизнь швейцарских буржуа или когда растолковывает Евангелие безбожным и циничным философам, вносящим в его ум смятение и сомнения, но не способным его переубедить.

Русские дамы, мои спутницы, приняли в свой кружок французского негоцианта из числа пассажиров. Это человек более чем зрелого возраста, обладающий крупными предприятиями, пароходами, железными дорогами и достойными юноши притязаниями; человек с приятными улыбками, очаровательными минами, обольстительными гримасами, пошлыми жестами, давно сложившимися убеждениями и заранее сочиненными речами; впрочем, добрый малый, не лезущий за словом в карман и способный даже, говоря о том, что он знает досконально, рассказать нечто интересное; остроумный, забавный, самонадеянный, но очень легко теряющий всю свою живость.

Он едет в Россию, дабы ***заразить*** тамошние умы сочувствием к великим промышленным предприятиям; он уполномочен несколькими французскими домами, которые, по его словам, объединились ради этой соблазнительной цели; впрочем, голова его полна не только грандиозными коммерческими замыслами, но и всеми теми романсами, песенками и куплетами, что за последние два десятка лет были модны в Париже. Прежде чем заняться торговлей, он служил в уланах и сохранил с тех пор не лишенные забавности повадки гарнизонного красавца. Он только и делает, что толкует русским о превосходстве французов решительно во всех областях, однако честолюбие его так откровенно, что никого не обижает; он просто-напросто смешон и вызывает только улыбки.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Он распевает нам песенки из водевилей, строя глазки дамам; он декламирует «Марсельезу» и «Парижскую песнь», живописно укрывшись собственным плащом; репертуар француза слегка игрив, но наши чужестранки от него в восторге. Им кажется, что они попали в Париж; французский дурной вкус нисколько не оскорбляет их, ибо они не знают его источника, и не пугает их, ибо они не постигают его истинного смысла, к тому же люди, в самом деле принадлежащие к хорошему обществу, не обидчивы: они достаточно уверены в себе, чтобы не ударяться в амбицию из-за пустяка. 772

Мы со старым князем К*** в глубине души посмеивались над всем, что приходилось выслушивать нашим спутницам, они же, в свой черед, смеялись над шутками негоцианта с невинностью особ, решительно не ведающих, где во французской светской беседе кончается хороший вкус и где начинается дурной.

Начинается же он там и тогда, где и когда люди принимаются чересчур тщательно его избегать, выказывая тем самым полную неуверенность в себе.

Заметив, что экс-улан чересчур расшумелся, русские дамы успокаивают его незнакомыми нам народными песнями, меланхоличность и самобытность которых чаруют меня. Более всего поражает меня в этих древних напевах их мелодичность, показывающая, что они родились в далеких краях.

Княгиня Л*** исполнила нам несколько цыганских романсов, которые, к моему великому изумлению, напомнили мне испанские болеро. Андалузские и русские цыгане принадлежат к одному племени. Племя это, рассеявшееся неведомо как и когда по всей Европе, повсюду сохраняет свои привычки, нравы и песни.

Спрошу еще раз: проводил ли кто-нибудь время на борту корабля более приятным образом?

Это морское путешествие, прежде столь страшившее меня, оказалось таким веселым, что я с неподдельным сожалением думаю о его скором конце. Впрочем, можно ли без содрогания ожидать прибытия в большой город, где у тебя нет никаких дел и где ты окажешься среди совершенно чужих людей — город, однако, достаточно европейский, чтобы в нем ты не был избавлен от так называемого светского общества? Моя пылкая любовь к путешествиям ослабевает, стоит мне вспомнить, что они состоят исключительно из отъездов и приездов. Но зато сколько радостей и преимуществ Ьокупаем мы такой ценой!!! Уже ради одной лишь возможности получать знания, ничему не обучаясь, стоило бы *пробегать глазами* страны, как пробегаем мы страницы книги: тем более что одна книга всегда отсылает нас к другой.

Если в одном из паломничеств силы оставляют меня, я говорю себе: цель требует жертв, и пускаюсь дальше; более того, едва вернувшись домой, я начинаю мечтать о следующей поездке. Постоянно путешествовать — неплохой способ провести жизнь, особенно для человека, не разделяющего тех идей, что господствуют в современном ему обществе: менять страны — все равно что менять столетия. В России я собираюсь погрузиться в давно прошедшие времена. История в ее результатах — вот что познает путешественник, и ничто не может сравниться с этим способом открывать уму все многообразие земных происшествий.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Как бы там ни было, на борту корабля мне сопутствовало такое приятное общество, какого я, пожалуй, доселе не встречал; для того чтобы весело проводить время, недостаточно собрать в одном месте несколько любезных особ; потребны еще обстоятельства, позволяющие каждому показать себя в наилучшем свете; наша жизнь на «Николае I» напоминает жизнь в замке в ненастную погоду: выйти невозможно, и все умирали бы от скуки, если бы каждый не старался развлечь самого себя, развлекая других: таким образом наше невольное соседство оборачивается всеобщим благом, чему, впрочем, мы обязаны безупречной общежительности нескольких пассажиров, волею судеб оказавшихся на борту нашего корабля, и, прежде всего, любезности и опытности князя К***. Не употреби он с самого первого мгновения свою власть, никто из нас не решился бы сломать лед, и мы провели бы всю дорогу, молча взирая друг на друга, в печальном и тягостном одиночестве на людях, — вместо этого мы болтали дни и ночи напролет, ибо если за окном всегда светло, можно без труда отыскать собеседника в любое время суток; эти дни без ночей отменяют время, люди забывают о сне; я пишу вам с трех часов утра и постоянно слышу доносящиеся из кают-компании смех и разговоры; если я спущусь туда, попутчики заставят меня читать им стихи и прозу, попросят рассказать какую-нибудь парижскую историю. Меня то и дело расспрашивают о мадемуазель Рашель и о Дюпре — двух главных знаменитостях сегодняшнего драматического театра; не имея дозволения видеть и слышать этих прославленных актеров у нас, русские мечтают пригласить их к себе.

При появлении победоносного улана-коммерсанта беседа обычно идет насмарку, наступает время шуток, песен и русских плясок.

Как ни невинно наше веселье, оно все же оскорбляет двух американцев, едущих в Петербург по делу. Эти жители Нового Света не позволяют себе даже улыбнуться при виде сумасбродных забав, которым предаются европейские красавицы; они не постигают, что эта свобода — следствие беззаботности, а беззаботность — щит, ограждающий юные сердца. Их пуританство возмущается не только беспорядком, но и веселостью: они — протестантские янсенисты и хотели бы превратить жизнь в бесконечные похороны.

К счастью, спутницы мои не соглашаются умирать от скуки, дабы потрафить этим педантам-купцам. Они держатся проще, чем большинство северных женщин, которые, приезжая в Париж, почитают себя обязанными всячески изощрять свой ум, дабы пленять нас; дамы, находящиеся на борту нашего корабля, напротив, пленяют, вовсе не прилагая к этому усилий; французская их речь, на мой вкус, правильнее, чем у большинства полячек; они говорят не так певуче и, в отличие от почти всех варшавских дам, которых я встречал в Саксонии и Богемии, не рвутся исправить наш язык согласно заветам педантичных гувернанток, выписанных из Женевы. Русские дамы, плывущие вместе со мной в Петербург, стараются говорить по-французски, как мы, и, за очень редкими исключениями, им это удается.

Вчера на нашем корабле случилось происшествие, обнажившее скрытую сущность многих характеров.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

В этом году, памятуя о недавнем пожаре на борту «Николая I», пассажиры сделались особенно пугливы; надо признать, что состав экипажа отнюдь не способен придать им бодрости. Капитан — голландец, лоцман — датчанин, матросы — немцы, не являющиеся притом уроженцами прибрежных земель, — вот кому вверено русское судно.

Так вот, вчера после обеда все мы собрались на палубе; светило солнце, дул свежий ветерок, и мы с превеликим удовольствием предавались чтению книги, взятой из судовой библиотеки (это были ранние сочинения Жюля Жанена), как 773
вдруг колеса парохода прекратили вращаться, а из машинного отделения послышался страшный шум; судно остановилось в открытом море, которое, благодарение Богу, было в тот день совершенно спокойным, и замерло, словно модель корабля на мраморном столе. Матросы немедля бросились к топке, капитан с встревоженным видом последовал за ними, ничего не отвечая на вопросы пассажиров.

Мы находились в центре самого широкого участка Балтийского моря; к востоку от нас был Финский залив, к северу — Ботнический; до берега, в какую сторону ни посмотри, было очень далеко.

Все хранили суровое молчание, предаваясь мрачным воспоминаниям; больше всех тревожились самые суеверные. По приказу капитана двое матросов бросили лот. «Все ясно, мы сели на мель», — произнес женский голос; то были первые слова, нарушившие тишину с того мгновения, как машина застопорилась; до этого испуганные пассажиры слышали лишь не слишком уверенные приказы капитана, интонации и поведение которого не внушали надежды на благополучный исход. «В котле слишком много пара, и он вот-вот взорвется», — добавил другой голос.

В этот миг матросы принялись готовить шлюпки к спуску на воду.

Я молча вспоминал мучившие меня предчувствия: выходит, не из пустого каприза хотел я отказаться от этого плавания. Взгляды мои обращались в сторону Парижа.

Княгиня Л***, не отличающаяся крепким здоровьем, разрыдалась; без сил, почти без чувств, она шептала, глотая слезы: «Умереть вдали от мужа!» — «О, зачем мой муж здесь!» — воскликнула в ответ юная княгиня Д***, прижавшись к плечу князя; никто не ожидал подобного мужества от этой хрупкой, стройной и изящной женщины с нежными голубыми глазами и тихим, певучим голосом. Тень из поэмы Оссиана перед лицом опасности превратилась в героиню, готовую храбро снести все испытания.

Любезный толстяк князь К*** не шелохнулся, не изменился в лице; свались он со своего брезентового кресла прямо в море, он и тут не утратил бы невозмутимости. Экс-улан, сделавшийся негоциантом и оставшийся комедиантом, строил из себя покорителя сердец, невзирая на лета, и записного весельчака, невзирая на опасность: он принялся напевать арию из водевиля. Молодечество это неприятно поразило меня; мне стало стыдно за Францию, где тщеславие не брезгует никакими способами произвести впечатление; истинное нравственное чувство не преступает границ ни в чем, даже в презрении к опасности. Американцы продолжали читать; я наблюдал за попутчиками.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Наконец капитан приблизился к нам и сообщил, что гайка на одном из поршней машины сломалась, но скоро ее заменят и через четверть часа мы продолжим наш путь.

Тут страх, который каждый сдерживал, как мог, вылился во всеобщее веселье. Все принялись рассказывать о своих мыслях и опасениях, все стали смеяться друг над другом; впрочем, чем бесхитростнее люди признавались в своей трусости, тем меньше навлекали на себя насмешек; таким образом, этот вечер, начавшийся очень печально, продолжился с превеликой веселостью; пассажиры пели и танцевали до двух часов ночи и даже позже.

Безграничное почтение, питаемое мною к истине, принуждает меня заметить, что во время всего этого происшествия выражение лица, речи и поведение нашего капитана-голландца лишь подтвердили все то дурное, что я слышал о нем накануне отплытия.

Перед тем, как пожелать мне спокойной ночи, князь К*** любезно поблагодарил меня за внимание, с которым я слушаю его рассказы: хорошо воспитанного человека, сказал он, видно по тому, как он притворяется, что слушает собеседника.

— Князь, — отвечал я, — самый лучший способ притворяться, что слушаешь, — слушать на самом деле.

Князь повторил мой ответ и расхвалил его сверх меры. Когда имеешь дело с людьми остроумными и доброжелательными, ни одна твоя мысль не только не пропадает, но, напротив, начинает играть новыми красками.

Очарование старинного французского общества зиждилось во многом на готовности каждого позволить блеснуть другим; между прочим, этому безвозвратно утраченному умению мы обязаны не меньшим числом побед, нежели отваге наших солдат или гению наших полководцев. Хвалить труднее, чем хулить; для этого потребен ум гораздо более тонкий; кто умеет все оценить по заслугам, тот ничего не презирает и чуждается насмешек; завистники же только и знают, что бранить всех и вся; ревность они выдают за здравый смысл, а поддельное здравомыслие всегда насмешливо; именно эти дурные чувства отнимают сегодня у жизни в обществе всю ее приятность. Истинно вежливые люди, притворяясь добрыми, становились таковыми на самом деле.

Не моя заслуга, что я внимательно слушал князя К***; две из рассказанных им историй убедят вас в этом.

Мы проплывали мимо острова Даго, расположенного у берегов Эстонии. Край этот печален, холоден и безлюден; природа здесь выглядит не столько могучей и дикой, сколько голой и бесплодной; она, кажется, грозит человеку не столько опасностями, сколько скукой.

— Здесь случилось одно странное происшествие, — сказал князь К***.

— Когда же?

— Не так давно: при императоре Павле.

— Расскажите же эту историю нам.

Князь начал свой рассказ... но я устал писать; теперь пять часов утра; пойду на палубу поболтать с теми из пассажиров, кто не спит, а затем лягу в постель. А вечером поведаю вам историю барона Штернберга.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

*История барона Унгерна фон Штернберга. — Его преступления и наказание, которому он подвергся при императоре Павле. — Герои лорда Байрона. — Сравнение Вальтера Скотта и Байрона. — Исторический роман. — Другая история, рассказанная князем К***.— Женитьба императора Петра I. — Упорство боярина Ромодановского. — Император уступает. — Влияние греческой религии на народы. — Равнодушие русских к истине. — Тирания живет ложью. — Труп Кроя, оставленный вревельской церкви после Нарвской битвы. — Император Александр становится жертвой обмана. — Защита России от нападок русского. — Русские тревожатся о мнении иностранцев на их счет. — Я вызываю страх. — Я обманываю ученого шпиона.*

9 июля 1839 года, восемь вечера, 774
на борту парохода «Николай I»

Напоминаю вам, что пересказываю историю, слышанную от князя К***.

«Барон Унгерн фон Штернберг был человек острого ума, объездивший всю 774
Европу; характер его сложился под влиянием этих путешествий, обогативших его познаниями и опытом.

Возвратившись в Санкт-Петербург при императоре Павле, он неведомо почему впал в немилость и решил удалиться от двора. Он поселился в диком краю, на принадлежавшем ему безраздельно острове Даго, и, оскорбленный императором — человеком, который казался ему воплощением человечества, возненавидел весь род людской.

Происходило это во времена нашего детства.

Затворившись на острове, барон внезапно начал выказывать необыкновенную страсть к науке и, дабы предаться в спокойствии ученым занятиям, пристроил к замку очень высокую башню, стены которой вы можете теперь разглядеть в бинокль».

Тут князь ненадолго умолк, и мы принялись рассматривать башню острова Даго.

«Башню эту, — продолжал князь, — барон назвал своей библиотекой, а на вершине ее устроил застекленный со всех сторон фонарь-бельведер — не то

обсерваторию, не то маяк. По его уверениям, он мог работать только по ночам и только в этом уединенном месте. Там он обретал покой, располагающий к размышлениям.

Единственные живые существа, которых барон допускал в башню, были его сын, в ту пору еще ребенок, и гувернер сына.

Около полуночи, убедившись, что оба они уже спят, барон затворялся в лаборатории; тогда стеклянный фонарь загорался таким ярким светом, что его можно было увидеть издалека. Этот лжемаяк легко вводил в заблуждение капитанов иностранных кораблей, нетвердо помнящих очертания грозных берегов Финского залива.

На эту-то ошибку и рассчитывал коварный барон. Зловещая башня, возведенная на скале посреди страшного моря, казалась неопытным судоводителям путеводной звездой; понадеявшись на лжемаяк, несчастные встречали смерть там, где надеялись найти защиту от бури, из чего вы можете сделать вывод, что в ту пору морская полиция в России бездействовала.

Стоило какому-нибудь кораблю налететь на скалы, как барон спускался на берег и тайком садился в лодку вместе с несколькими ловкими и смелыми слугами, которых держал нарочно для подобных вылазок; они подбирали чужеземных моряков, барахтавшихся в воде, но не для того, чтобы спасти, а для того, чтобы прикончить под сенью ночи, а затем грабили корабль; все это барон творил не столько из алчности, сколько из чистой любви к злу, из бескорыстной тяги к разрушению.

Не веря ни во что и менее всего в справедливость, он полагал нравственный и общественный хаос единственным состоянием, достойным земного бытия человека, в гражданских же и политических добродетелях видел вредные химеры, противоречащие природе, но бессильные ее укротить.

Верша судьбами себе подобных, он намеревался, по его собственным словам, прийти на помощь Провидению, распоряжающемуся жизнью и смертью людей.

Однажды осенним вечером барон, по своему обыкновению, истребил экипаж очередного корабля; на сей раз это было голландское торговое судно. Разбойники, жившие в замке под видом слуг, несколько часов подряд перевозили на сушу с тонущего судна остатки груза, не заметив, что капитан корабля и несколько матросов уцелели и, взобравшись в лодку, сумели под покровом темноты покинуть гибельное место.

Уже светало, когда барон и его приспешники, еще не завершив своего темного дела, заметили вдали лодку; разбойники немедля затворили двери в подвалы, где хранилось награбленное добро, и опустили перед чужестранцами подъемный мост.

С изысканным, чисто русским гостеприимством хозяин замка спешит навстречу капитану; с полнейшей невозмутимостью он принимает его в зале, расположенной подле спальни сына; гувернер мальчика был в это время тяжело болен и не вставал с постели. Дверь в его комнату, также выходившая в залу, оставалась открытой.

Капитан повел себя крайне неосмотрительно.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

— Господин барон, — сказал он хозяину замка. — вы меня знаете, но не можете узнать, ибо видели лишь однажды, да притом в темноте. Я капитан корабля, экипаж которого почти целиком погиб у берегов вашего острова; я сожалею, что принужден переступить порог вашего дома, но я обязан сказать вам, что мне известно: среди тех, кто нынче ночью погубил моих матросов, были ваши слуги, да и вы сами своей рукой зарезали одного из моих людей.

Барон, не отвечая, идет к двери в спальню гувернера и бесшумно притворяет ее. Чужестранец продолжает:

— Если я говорю с вами об этом, то лишь оттого, что не намерен вас погубить; я хочу лишь доказать вам, что вы в моей власти. Верните мне груз и корабль; хоть он и разбит, я смогу доплыть на нем до Санкт-Петербурга; я готов поклясться, что сохраню все случившееся в тайне. Пожелай я отомстить вам, я бросился бы в ближайшую деревню и выдал вас полиции. Но я хочу спасти вас и потому предупреждаю об опасности, которой вы подвергаете себя, идя на преступление.

Барон по-прежнему не произносит ни слова; он слушает гостя с видом серьезным, но отнюдь не зловещим; он просит дать ему немного времени на размышление и удаляется, пообещав гостю дать ответ через четверть часа.

За несколько минут до назначенного срока он внезапно входит в залу через потайную дверь, набрасывается на отважного чужестранца и закалывает его!..

Одновременно по его приказу верные слуги убивают всех уцелевших матросов, и в логове, обагренном кровью стольких жертв, вновь воцаряется тишина. Однако гувернер все слышал; он продолжает прислушиваться... и не различает ничего, кроме шагов барона и храпа корсаров, которые, завернувшись в тулупы, спят на лестнице.

Барон, объятый тревогой и подозрениями, возвращается в спальню гувернера и долго разглядывает его с величайшим вниманием; стоя возле постели с окровавленным кинжалом в руках, он следит за спящим, пытаясь удостовериться, что сон этот не притворный; наконец, сочтя, что бояться нечего, он решает сохранить гувернеру жизнь».

— В преступлении совершенство такая же редкость, как и во всех прочих сферах, — добавил князь К***, прервав повествование.

Мы молчали, ибо нам не терпелось узнать окончание истории.

Князь продолжал:

«Подозрения у гувернера зародились уже давно; при первых же словах голландского капитана он проснулся и стал свидетелем убийства, все подробности которого видел сквозь щель в двери, запертой бароном на ключ. Мгновение спустя он уже снова лежал в постели и благодаря своему хладнокровию остался в живых. Лишь только барон вышел, гувернер тотчас же, невзирая на трепавшую его лихорадку, поднялся, оделся и, усевшись в лодку, стоявшую у причала, двинулся в путь; он благополучно добрался до континента и в ближайшем городе рассказал о злодеяниях барона полиции.

Отсутствие больного вскоре было замечено обитателями замка; однако, ослепленный предшествующими удачами, преступник-барон поначалу и не подумал

бежать; решив, что гувернер в припадке белой горячки бросился в море, он пытался отыскать его тело в волнах. Меж тем спускающаяся из окна веревка, равно как и исчезнувшая лодка неопровержимо свидетельствовали о бегстве гувернера. Когда, запоздало признав этот очевидный факт, убийца вознамерился скрыться, он увидел, что замок окружен посланными для его ареста войсками. После очередной резни прошел всего один день; поначалу преступник пытался отрицать свою вину, но сообщники предали его. Барона схватили и отвезли в Санкт-Петербург, где император Павел приговорил его к пожизненным каторжным работам. Умер он в Сибири.

Так печально окончил свои дни человек, служивший благодаря блеску своего ума и непринужденной элегантности манер украшением самых блестящих европейских салонов.

Наши матери, возможно, находили его весьма любезным.

Подобные происшествия, сколь бы романтическими они ни казались, нередко повторялись в средние века; истории барона придает самобытность то, что она случилась, можно сказать, в наши дни; поэтому я и рассказал ее вам. Куда ни посмотри, Россия во всем отстала от Европы на четыре столетия».

Лишь только князь К*** замолчал, все его слушатели в один голос закричали, что барон фон Штернберг — самый настоящий Манфред или Лара.

— Именно оттого, что Байрон списывал характеры своих героев с живых людей, они кажутся нам столь неправдоподобными, — сказал князь К***, не боящийся парадоксов, — в поэзии правда никогда не звучит естественно.

— Совершенно верно, — согласился я, — и потому ложь Вальтера Скотта кажется более правдивой, чем точность Байрона.

— Возможно; однако различия их этим не ограничиваются, — подхватил князь. — Вальтер Скотт изображает, Байрон творит; один чует правду нутром, даже когда выдумывает, другой не заботится о ней, даже когда рисует с натуры.

— Но не кажется ли вам, князь, — продолжал я, — что инстинктивное постижение действительности, присущее, по вашему мнению, великому романисту, объясняется тем, что он часто мыслит весьма заурядно? Сколько лишних деталей! Сколько пошлых диалогов!.. Точнее всего в его романах описания платья персонажей и их жилищ.

— О! Я встаю на защиту Вальтера Скотта, — воскликнул князь К***, — я не позволю, чтобы в моем присутствии оскорбляли столь занимательного сочинителя.

— Именно в занимательности я ему и отказываю, — продолжал я, — романист, который исписывает целый том ради одной-единственной сцены, менее всего заслуживает титула «занимательный». Перечтите «Жиль Бласа», и вы увидите, что такое роман развлекательный, причем столь же непринужденный, сколь и глубокий. Вальтеру Скотту повезло: он родился в эпоху, когда люди забыли, что такое развлечения.

— Зато как он рисует человеческое сердце! — воскликнул князь Д*** (все восстали против меня).

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

— Все было бы хорошо, — отвечал я, — не заставляй он своих героев еще и разговаривать; дело в том, что у него недостает слов для изъяснения чувств страстных и возвышенных; он превосходно изображает характеры деятельные, ибо искусен и наблюдателен, но красноречие — не его стихия; он наделен глубоким философическим талантом, методическим и расчетливым умом; он родился вовремя и замечательно сумел высказать самые заурядные и, следовательно, самые модные идеи своей эпохи.

— Он первым разрешил удовлетворительным образом труднейшую задачу создания исторического романа; в этой заслуге вы не можете ему отказать, — произнес князь К***.

— Это как раз тот случай, когда хочется сказать: лучше бы эта задача оставалась нерешенной! — возразил я. — Сколько ложных представлений усвоили малообразованные читатели из введенной им в обиход смеси истории с романом!!! Союз этот всегда вреден и, что бы вы ни говорили, ничуть не забавен... Что до меня, я предпочитаю, даже для развлечения, сочинения господина Огюстена 776
Тьерри всем этим сказкам об известных исторических лицах... Я прошу у вас прощения за комплимент, не достойный этого почтенного ученого, но имя его пришло мне на ум так же естественно, как пришло бы имя Геродота, которому тоже случалось быть забавным.

— Это дело вкуса, — с улыбкой перебил меня князь К***, — не будем спорить.

С этими словами он оперся на мою руку и попросил меня проводить его в каюту; там он пригласил меня сесть и заговорил шепотом: «Мы одни; вы любите историю — вот случай из жизни особ куда более родовитых, чем те, о ком я говорил недавно; я расскажу его вам одному, ибо в присутствии русских говорить об истории невозможно!.. Вам известно, что Петр Великий после долгих колебаний уничтожил московское патриаршество, дабы украсить свою голову 776
не только короной, но и клобуком. Таким образом, политическое самодержавие открыто присвоило себе духовную власть, о которой уже давно мечтало и которую давно извращало; так создался ужасный союз, не ведомый ни одной из современных европейских стран. Несбыточная мечта средневековых пап осуществилась ныне в шестидесятимиллионной империи, часть жителей которой — азиаты, ничему не удивляющиеся и ничуть не смущенные тем, что их царь является также великим Ламой.

Император Петр пожелал жениться на маркитантке Екатерине. Для испол- 776
нения этого желания нужно прежде всего приискать будущей императрице родню. В Литве, а может быть и в Польше, находят безвестного дворянина, нарекают его ***потомственным*** аристократом, а затем объявляют братом царевой избранницы.

Мало того, что русский деспотизм ни во что не ставит ни идеи, ни чувства, он еще и перекраивает факты, борется против очевидности и побеждает в этой борьбе!!! Ведь ни очевидность, ни справедливость, если они неудобны власть имущим, не находят у нас защитников».

Смелые речи князя К*** начинали пугать меня.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Удивительная страна, рождающая рабов, коленопреклоненно повторяющих чужие мнения, шпионов, вовсе лишенных собственного мнения и на лету схватывающих мнения окружающих, да насмешников, представляющих зло еще более страшным, чем оно есть: последние изобретают еще один, очень остроумный способ укрыться от испытующего взора иностранцев, однако само их остроумие достаточно красноречиво: какому еще народу придет на мысль прибегать к нему? Пока я предавался этим мыслям, князь продолжал посвящать меня в свои философические наблюдения:

«Народ и даже знать, вынужденные присутствовать при этом надругательстве над истиной, смиряются с позорным зрелищем, потому что ложь деспота, как бы груба она ни была, всегда льстит рабу. Русские, безропотно сносящие столько тягот, не снесли бы тирании, не принимай тиран смиренный вид и не притворяйся он, что полагает, будто они повинуются ему по доброй воле. Человеческое достоинство, попираемое абсолютной монархией, хватается, как за соломинку, за любую мелочь: род людской согласен терпеть презрение и глумление, но не согласен, чтобы ему четко и ясно давали понять, что его презирают и над ним глумятся. Оскорбляемые действием, люди укрываются за словами. Ложь так унизительна, что жертва, заставившая тирана лицемерить, чувствует себя отмщенной. Это — жалкая, последняя иллюзия несчастных, которую, однако, не следует у них отнимать, чтобы раб не пал еще ниже, а деспот не стал еще безумнее!..

В древности на Руси существовал обычай, согласно которому в торжественных процессиях рядом с московским патриархом шли два самых знатных боярина. Царь-первосвященник решил, что во время брачной церемонии по одну руку от него встанет родовитый боярин, а по другую — новоиспеченный царский шурин: ведь в России могущество самодержавной власти так велико, что она не только производит людей в дворянское звание, но и наделяет их родственниками, о которых они прежде даже не слыхали; семьи для нее — все равно что деревья для садовника, который обрезает и обрывает ветки, а также прививает к одному растению другое. Перед нашим деспотизмом бессильна сама природа; Император — не просто наместник Господа, он сам — творец, причем творец, Господа превзошедший: ведь Господу подвластно только будущее, император же способен изменять прошедшее! Законы обратной силы не имеют; не то — капризы деспота.

Кроме новоявленного брата императрицы Петр решил поставить подле себя знатнейшего московского боярина, второго после царя человека в империи — князя Ромодановского... Через своего первого министра Петр передал князю, что ему предстоит идти в процессии подле императора и что эту честь боярин разделит с новым братом новой императрицы.

— Прекрасно, — отвечал князь, — но по какую руку от себя намеревается император меня поставить?

— Дражайший князь, — говорит царедворец-министр, — какие могут быть сомнения? Разве не ясно, что вы будете идти слева, а справа поместится шурин Его Величества?

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

— В таком случае я не пойду! — восклицает гордый боярин.

Петру донесли об этом ответе, и он повелел вторично передать боярину высочайший приказ — приказ, в котором сполна высказалась деспотическая натура царя.[1]

— Ты пойдешь — или я тебя повешу!

— Скажите царю, — возразил несгибаемый москвич, — что я прошу его начать с моего единственного сына; ему еще только пятнадцать лет, и, быть может, став свидетелем моей гибели, он из страха согласится идти слева от монарха, что же до меня, то я наверняка не опозорю род Ромодановских ни до, ни после казни моего наследника.

К чести царя, он, услышав эти слова, уступил, однако, дабы отомстить проникнутым духом независимости московским боярам, превратил Петербург из простого порта на берегу Балтийского моря в ту столицу, какой видим мы ее сегодня».

— Николай, — добавил князь К***, — ни за что не уступил бы; он сослал бы боярина вместе с сыном в рудники и *объявил бы именем закона,* что лишает и отца и сына права иметь детей, а может быть, постановил бы, что отец никогда не был женат; в России подобные вещи творятся довольно часто; о них запрещено рассказывать, но делать их не возбраняется.

Как бы там ни было, гордость московского боярина превосходно показывает разнородность источников, давших начало современному русскому обществу, представляющему собой чудовищную смесь византийской мелочности с татарской свирепостью, греческого этикета с азиатской дикой отвагой; из этого смешения и возникла громадная держава, чье влияние Европа, возможно, испытает завтра, так и не сумев постигнуть его причин.

В истории, которую вы только что прочли, аристократ восстает против деспотической власти и принуждает ее к смирению. Этот случай, наряду со многими другими, позволяет мне утверждать, что аристократия — полная противоположность деспотизму одного человека, автократии, или самодержавию; дух, которым проникнута аристократия, — гордость; это отличает ее и от демократии, чья страсть — зависть.

А теперь я докажу вам, как нетрудно обмануть самодержца. Нынче утром мы прошли Ревель. Эти края, принадлежащие России лишь с недавних пор, хранят память о великом короле Карле XII и Нарвской битве. В битве этой погиб 778
француз князь де Круа, сражавшийся на стороне шведского короля. Тело князя перенесли в Ревель, однако предать его земле оказалось невозможно, поскольку он не успел расплатиться со многими здешними заимодавцами и не оставил денег на уплату долгов. По старинному закону, а точнее, по местному обычаю, тело князя поместили в ревельской церкви, где ему предстояло покоиться до тех пор, пока наследники его не расплатятся с кредиторами.

Оно по сей день лежит там, хотя со времени Нарвской битвы прошло более ста лет.

[1] Петр назвался императором только в 1721 году.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

К первоначальному долгу прибавились за это время, во-первых, проценты, а во-вторых, сумма, ушедшая на содержание тела, содержавшегося, впрочем, крайне дурно. Все вместе составляет нынче состояние, какого, пожалуй, не нашлось бы у большинства нынешних богачей.

Меж тем лет двадцать назад император Александр проезжал через Ревель; посетив кафедральный собор, он заметил труп и ужаснулся; ему рассказали историю князя де Круа, и он приказал завтра же предать тело земле, а в соборе отслужить мессу.

Назавтра император уехал, а еще через сутки тело князя де Круа, отнесенное было на кладбище, возвратилось на свое прежнее место в соборе.

Правосудия в России не существует, зато привычки здесь, как видите, сильнее даже верховной власти.

Самое забавное, что во время нашего недолгого плавания мне постоянно приходилось защищать Россию от князя К***. Суждения мои, которые я высказывал совершенно бескорыстно, исключительно из любви к истине, расположили ко мне всех русских, присутствовавших при наших беседах. Что же до любезного князя К***, то откровенность его суждений об отечестве доказывает мне, что и в России находятся люди, осмеливающиеся бесстрашно высказывать собственное мнение. Когда я поделился с ним этой мыслью, он отвечал мне: «Я не русский!!!» Странное притязание!.. Русский или не русский, он говорит то, что думает; ему это дозволяют потому, что он занимал высокие посты, промотал два состояния и злоупотребил милостями нескольких монархов, потому, что он беден, стар, болен и пользуется покровительством некоей особы, принадлежащей к императорской фамилии и твердо знающей, что острый ум — вещь опасная. Вдобавок, чтобы избежать Сибири, князь, по его словам, пишет мемуары, которые, том за томом, оставляет во Франции. Император боится гласности так же сильно, как Россия боится императора. Я слушаю князя К*** с неизменным вниманием, которого он бесспорно заслуживает; я нахожу, что рассказы его чрезвычайно занимательны, но часто вступаю с ним в спор.

Меня поражает неумеренная тревога русских касательно мнения, какое может составить о них чужестранец; невозможно выказать меньше независимости; русские только и думают, что о впечатлении, которое произведет их страна на стороннего наблюдателя. Что сталось бы с немцами, англичанами, французами, со всеми европейскими народами, опустись они до подобного ребячества? Если эпиграммы князя К*** возмущают его соотечественников, то не столько оттого, что всерьез оскорбляют их достоинство, сколько оттого, что могут повлиять на меня, а я в их глазах — важная персона, ибо, как они слышали, сочиняю путевые заметки.

«Не вздумайте составить мнение о России по рассказам этого скверного русского, не вздумайте поверить его россказням, он просто старается блеснуть французским остроумием на наш счет, на деле же вовсе не думает того, что говорит».

Вот что шепчут мне попутчики десять раз на дню. Ум мой уподобляется сокровищнице, из которой каждый надеется извлечь себе поживу, поэтому к концу дня

мои бедные мысли начинают путаться и я решительно теряюсь; это-то и нравится русским; когда мы перестаем понимать, что говорить и думать об их стране, они торжествуют.

Мне кажется, что они согласились бы стать еще более злыми и дикими, чем они есть, лишь бы их считали более добрыми и цивилизованными. Я не люблю людей, так мало дорожащих истиной; цивилизация — не мода и не уловка, это сила, приносящая пользу, корень, рождающий ствол, на котором вырастают цветы и плоды.

«Во всяком случае, вы не станете называть нас "северными варварами", как делают ваши соотечественники...» Вот что они говорят мне всякий раз, когда видят, что какой-нибудь любопытный случай или народная мелодия, какой-нибудь рассказ о патриотическом подвиге русского, о его благородном и поэтическом движении души позабавили или растрогали меня.

Я отвечаю на все подобные фразы ни к чему не обязывающими комплиментами, а сам думаю, что скорее предпочел бы иметь дело с северными варварами, нежели с обезьянами, подражающими жителям Юга.

От первобытной дикости избавиться можно, от мании же казаться тем, чем ты не являешься, излечиться нельзя.

Во время плавания некий русский ученый, грамматист, переводчик многих немецких сочинений, преподаватель какого-то училища, изо всех сил старался сблизиться со мной. Он объездил всю Европу и возвращается в Россию, намереваясь, как он говорит, познакомить соотечественников со всем полезным, чем богата современная западная мысль. Вольность его речей насторожила меня; это не блистательная независимость князя К***, но продуманный, расчетливый либерализм, главная цель которого — развязать язык собеседнику. Я уверен, что ученых такого рода немало вблизи русских границ — на любекских постоялых дворах, на борту пароходов и даже в Гавре, где теперь благодаря морским рейсам по Северному и Балтийскому морям также проходит граница с Московией. 779

От меня этот человек толку не добился. Он в первую голову желал выяснить, собираюсь ли я описывать свое путешествие, и настойчиво предлагал мне свою помощь. Я не стал его расспрашивать; сдержанность моя немного удивила, но и обрадовала его, и он расстался со мной в уверенности, что я «путешествую исключительно для собственного удовольствия и не намерен в этот раз публиковать рассказ о путешествии, которое будет столь коротким, что у меня недостанет времени запастись любопытными для публики впечатлениями».

Я заверял его в этом и прямо и намеками, так что в конце концов он, кажется, успокоился. Но если его тревога улеглась, то моя пробудилась. Начни я в самом деле вести записи, я наверняка вызову подозрения у проницательнейшего в мире правительства, располагающего превосходнейшими шпионами. Приятного в этом мало; итак, придется прятать свои письма, молчать и не подавать виду, что я догадываюсь о слежке; открытое лицо — надежнейшая из масок.

За следующее письмо я примусь уже в Петербурге.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Российский флот — предмет гордости русских. — Замечание лорда Дарема. — Будущие моряки учатся своему ремеслу. — Великие труды ради малого результата. — Печать деспотизма. — Кронштадт. — Смехотворное кораблекрушение. — Русская таможня. — Унылые пейзажи на подступах к Петербургу. — Воспоминания о Риме. — Как англичане называют корабли королевского флота. — Упадок духа. — Замысел Петра I. — Генуэзцы. — Остров Кронштадт. — Крепостные батареи. — Их действенность. — Разные типы русских — завсегдатаев салонов. — Сложности при выгрузке на берег экипажей. — Ничтожество нижних чинов. — Допрос в присутствии полицейских и таможенных чиновников. — Медлительность таможенников. — Дурное настроение русских дворян. — Их суждение о России. — Начальник таможни. — Его непринужденные манеры. — Новый досмотр. — Император здесь бессилен. — Неожиданная перемена в поведении моих попутчиков. — Они покидают меня, не попрощавшись. — Мое изумление.

781 *Петербург, 10 июля 1839 года*

На подступах к Кронштадту, подводной крепости, которой русские по праву гордятся, Финский залив внезапно оживляется: величественные суда императорского флота бороздят его по всем направлениям; полгода этот флот прово-
78: дит в гавани, вмерзнув в лед, а в течение трех летних месяцев гардемарины учатся судовождению в Балтийском море. Так молодежь углубляет свои познания в те редкие дни, когда солнце проливает свой свет на эти края. До тех пор, пока мы не приблизились к Кронштадту, мы вовсе не встречали кораблей, и лишь время от времени вдали показывались редкие торговые парусники или еще более редкие пироскафы. Пироскаф — ученое название парохода, принятое среди части европейских моряков.

Тусклые пустынные воды Балтийского моря омывают столь же пустынные берега: климат здесь суровый и неблагоприятный для людей. Бесплодная суша и холодное море, печальные просторы земли и неба — все здесь леденит душу странника.

Ступив на этот малопривлекательный берег, путешественник тотчас испытывает желание его покинуть; со вздохом вспоминает он слова, которые

сказал императрице Екатерине, жаловавшейся на недуги, порожденные петербургским климатом, один из ее фаворитов: «Господь, сударыня, не виноват в том, что люди имели дерзость построить столицу великой империи в отечестве волков и медведей!»

Спутники мои с гордостью поведали мне о недавних успехах русского флота. Я восхищаюсь этим чудом, хотя и не придаю ему такого значения, как они. Оно — плод дела, а вернее, безделья императора Николая. Сей монарх забавы ради воплощает в жизнь заветную мечту Петра I, но, как бы могуществен ни был человек, рано или поздно ему придется признать, что природа сильнее любого смертного. Покуда Россия не выйдет из пределов, положенных ей природой, русский флот останется игрушкой императоров — и не более!..

Мне объяснили, что во время морских учений самые юные моряки плавают вблизи кронштадтских берегов, самые же опытные осмеливаются доходить до Риги, а иной раз даже до Копенгагена. Да что там говорить! два русских корабля, — управляемые, вне всякого сомнения, иностранцами, — уже совершили или готовятсясовершить кругосветное путешествие! 781

Несмотря на подобострастную гордость, с которой русские расхваливали мне чудеса, творимые волею их монарха, пожелавшего иметь собственный флот и обзаведшегося таковым, мне очень скоро наскучили их похвальбы: ведь я уже знал, что все представшие нашим взорам корабли — учебные. Мне показалось, что я попал в школу, и вид залива, превращенного в класс, внушил мне неизъяснимую печаль.

Перемещения кораблей, не вызванные никакой необходимостью, не преследующие ни военных, ни коммерческих целей, показались мне обычным парадом. Меж тем одному Господу — да еще русским — известно, велико ли удовольствие присутствовать на параде!.. В России любовь к смотрам не знает границ: должно же было случиться так, что при въезде в пределы этой империи мне пришлось присутствовать при морском смотре?! Это вовсе не смешно: ребячество в таких размерах кажется мне ужасным; это чудовищная вещь, возможная лишь при тирании и являющаяся, пожалуй, одним из отвратительнейших ее проявлений!.. Во всех странах, кроме тех, где царит абсолютный деспотизм, люди совершают великие усилия, дабы достичь великой цели: лишь народы, слепо повинующиеся самодержцу, идут по его приказу на огромные жертвы ради ничтожных результатов.

Итак, зрелище русского флота, вышедшего в море на потеху царю, гордость его льстецов и маневры его юных подданных на подступах к столице — все это произвело на меня самое тяжелое впечатление. За школьными упражнениями я разглядел железную вблю, употребленную впустую и угнетающую людей из-за невозможности покорить стихии. В кораблях, которые через несколько зим придут в негодность, так и не успев послужить для настоящего дела, я увидел не символ великой и могучей державы, но повод для бесполезного пролития народного пота. Самый грозный враг этого военного флота — лед, почти на полгода сковывающий воды: каждую осень, после трехмесячных учений, юноши возвращаются в свои клетки, игрушку убирают в коробку, а имперские финансы терпят поражение за поражением от мороза.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

78i Лорд Дарем сказал самому императору с откровенностью, задевшей чувствительнейшую струну во властолюбивом сердце русского самодержца: «Русские военные корабли — игрушки русского императора».

Что до меня, то это колоссальное ребячество не внушает мне ни малейшего расположения к тому, что мне предстоит увидеть в пределах Российской империи. Подплывать к Петербургу с восхищением может лишь тот, кто не подплывал по Темзе к Лондону: там царит жизнь, здесь — смерть. Англичане, делающиеся поэтами, когда речь заходит о море, называют свои военные суда ***полководцами.*** Русским никогда не придет на мысль назвать так свои парадные корабли. Немые рабы капризного хозяина, деревянные угодники, эти несчастные суда — не полководцы, а царедворцы, точное подобие евнухов из сераля, инвалиды имперского флота.

Эта импровизация деспота не только не вселяет в мою душу ожидаемого восхищения, но, напротив, исполняет меня некоего страха — страха не перед войной, но перед тиранией. Бесполезный флот Николая I напоминает мне обо всех бесчеловечных деяниях Петра Великого, вобравшего в себя черты всех древних и новых русских монархов... и я спрашиваю себя: куда я еду? что такое Россия? Россия — страна, где великие дела творятся ради жалких результатов... Мне нечего там делать!..

Когда корабль наш стал на якорь в виду Кронштадта, мы узнали, что одно из прекрасных судов, только что маневрировавших неподалеку от нас, село на мель. Кораблекрушение это представляло опасность только для капитана, которому грозило разжалованием, а может быть, и более серьезным наказанием. Князь К*** шепотом сказал мне, что несчастный много выиграл бы, если бы погиб вместе со своим кораблем. Экипаж, несущий меньшую ответственность за судьбу тсорабля, был иного мнения, равно как и наша спутница княгиня Л***.

Сын этой дамы находился в тот день на борту злосчастного судна. Вне себя от волнения княгиня снова, как накануне, во время остановки нашей машины, едва не лишилась чувств, но кронштадтский губернатор очень вовремя успокоил встревоженную мать, известив, что сын ее цел и невредим.

Русские беспрестанно твердят мне, что, прежде чем высказывать суждения об их родине, следует провести в России по крайней мере два года, ибо это — страна, которую очень трудно понять.

Однако осторожность и терпение — добродетели, необходимые для путешественников, ученых или для тех, кто жаждет прославить себя книгами тщательно отделанными, что же до меня, то я боюсь сочинений, написанных с трудом, ибо читаются они также с трудом; мое решение твердо: я не стану отделывать свой дневник. До сих пор я писал только для вас и для себя.

Я боялся русской таможни, но меня уверяют, что никто не станет покушаться на мою чернильницу. Вдобавок, чтобы нарисовать Россию такой, какой она предстала передо мной при первом знакомстве, и согласно моим привычкам высказать всю правду, невзирая на последствия, пришлось бы, я чувствую, рубить сплеча, а для этого я слишком ленив.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Нет ничего печальнее, чем природа в окрестностях Петербурга; по мере того, как корабль входит в залив, плоские болотистые берега Ингерманландии вытягиваются в тонкую дрожащую линию на горизонте, между небом и землей; эта линия и есть Россия... иначе говоря, сырая, усыпанная жалкими чахлыми березками низина. Этот однообразный, пустынный пейзаж, безжизненный и бесцветный, не знающий границ и тем не менее лишенный величия, тонет в полумраке. Здешняя серая, забытая Богом земля достойна бледного солнца, чьи лучи пада ют на нее не сверху, а сбоку, если не снизу. В России ночи на удивление светлы, но дни сумрачны и печальны. Даже в самую прекрасную погоду воздух здесь отливает синевой.

Кронштадт с его лесом мачт, подземными постройками и гранитными набережными вносит приятное разнообразие в грезы странника, прибывшего, подобно мне, в эти неблагодарные края в поисках живописных зрелищ. Мне не довелось еще видеть большого города, чьи окрестности были бы так безрадостны, как берега Невы. Римская кампанья пустынна, но сколько прелестных уголков, сколько памятных мест, сколько света, блеска, поэзии и, с позволения сказать, сколько страстей одухотворяют эту древнюю землю! К Петербургу же приближаешься по водной пустыне, окаймленной пустыней торфяной: море, суша, небо — все сливается воедино, все напоминает зеркало, но зеркало столь тусклое и блеклое, что в нем не отражается ровно ничего.

Несколько убогих лодок с рыбаками, грязными, словно эскимосы, несколько кораблей, тянущих за собой длинные плоты бревен для строительства ***имперского флота,*** несколько паровых пакетботов, по большей части построенных и управляемых чужестранцами, — вот и все, что оживляет здешний пейзаж; таким образом, ничто не отвлекало меня от мрачных мыслей.

Таковы окрестности Петербурга; неужели Петр Великий не расчел, что строительство города в этом краю противно законам природы и действительным нуждам великого народа? Море любой ценой: вот о чем он пекся!!! Странная идея — основать столицу славянской империи на финской земле, перед лицом шведов! Сколько бы Петр Великий ни говорил, что хотел просто-напросто увеличить число российских портов, он, если был так гениален, как о нем говорят, обязан был предвидеть последствия своей затеи; и я уверен, что он их предвидел. Политика и, как ни печально, мстительность царя, чье самолюбие было оскорблено независимостью древней Москвы, — вот что решило судьбу России.

Россия подобна могучему человеку, которому нечем дышать; ей недостает выходов к морю. Петр I посулил таковые и открыл ей путь в Финский залив, не подумав о том, что море, скованное льдом восемь месяцев в году, — не чета другим морям. Однако для русских слова важнее реальности. Как ни поразительны были старания Петра I, его подданных и преемников, они увенчались не чем иным, как созданием мало пригодного для жизни города, у которого Нева стремится отвоевать землю всякий раз, когда ветер начинает дуть со стороны залива, и который люди мечтают покинуть сразу после того, как завоевания на 782
юге дадут им такую возможность. Бивуак же мог бы обойтись без гранитных набережных.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

784 Финны, обитающие по соседству с русской столицей, — потомки скифов; они по сей день остаются язычниками в душе и полными дикарями; лишь в 1836 году специальный указ предписал священникам прибавлять к имени святого, даваемому ребенку при крещении, фамилию родителей. К чему упоминать семью, если ее не существует?

Нация эта безлика; физиономии у чухонцев плоские, черты бесформенные. Эти уродливые и грязные люди отличаются, как мне объяснили, немалой физической силой; выглядят они, однако, хилыми, низкорослыми и нищими. Хотя они — коренные жители здешних мест, в Петербурге они попадаются на глаза редко; они селятся на заболоченных равнинах или невысоких гранитных скалах и приезжают в город только в базарные дни.

Кронштадт — плоский остров посреди Финского залива; эта морская крепость поднимается над морем ровно настолько, насколько нужно, чтобы преградить путь вражеским кораблям, если они двинутся на Петербург. Ее темницы и башни расположены по большей части ниже уровня моря. Кронштадтская артиллерия размещена, по словам русских, с большим искусством; достаточно одного залпа, и все море окажется вспаханным снарядами; по приказу императора град ядер обрушится на всякого противника, который попытается приблизиться к Кронштадту, так что крепость эта слывет неприступной. Я, впрочем, не знаю, оба ли водных прохода вдоль острова окажутся при обороне под обстрелом, русские, у которых я пытался это выяснить, не пожелали удовлетворить мое любопытство. Чтобы дать ответ на этот вопрос, следовало бы рассчитать дальность и направление полета ядер и измерить расстояние от острова до суши. Хоть я и недавно имею дело с русскими, но опыт подсказывает мне, что не следует доверять их неумеренной похвальбе, вдохновленной чересчур ревностным служением верховному правителю. Национальная гордость, на мой взгляд, приличествует лишь народам свободным. Когда я вижу людей, надменных из подобострастия, причина внушает мне ненависть к следствию; в основе всего этого тщеславия — страх, говорю я себе; в основе всего этого величия — ловко скрытая низость. Открытие это исполняет меня неприязни.

Во Франции, как и в России, я встречал две разновидности русских светских людей: одни из осторожности и из самолюбия без меры расхваливают свою страну, другие, желая прослыть особами изысканными и просвещенными, выказывают, когда речь заходит о России, глубочайшее презрение либо безмерную сдержанность. До сего дня ни тем, ни другим не удавалось меня провести; но я мечтаю отыскать третью разновидность — обыкновенных русских; я не оставил надежды найти ее.

Мы прибыли в Кронштадт на заре одного из тех дней без начала и конца, которые мне надоело описывать, но которыми я не устаю любоваться, иными словами, в половине первого пополуночи. Пора белых ночей коротка, она уже подходит к концу.

Мы бросили якорь перед безмолвной крепостью; прошло немало времени, прежде чем пробудилась и явилась на борт целая армия чиновников: полицмейстеры, таможенные смотрители со своими помощниками и, наконец, сам

начальник таможни; этот важный барин счел себя обязанным посетить нас, дабы оказать честь прибывшим на борту «Николая I» славным русским путешественникам. Он имел продолжительную беседу с князьями и княгинями, возвращающимися в Петербург. Разговор велся по-русски, возможно оттого, что касался западноевропейской политики, когда же дело дошло до сложностей с высадкой на берег, до необходимости расстаться с каретами и пересесть на другое судно, собеседники пустили в ход французский.

Пакетбот, делающий рейсы до Травемюнде, имеет слишком большую осадку и не может войти в Неву; он с крупным грузом на борту остается в Кронштадте, пассажиры же добираются до Петербурга на скверном, грязном пароходишке. Нам позволено взять с собой на борт этого нового судна самый легкий багаж, но лишь после досмотра, который произведут кронштадтские чиновники. Покончив с этой формальностью, мы отправимся в путь с надеждой послезавтра обрести свои экипажи, если это будет угодно Господу... и таможенникам, под чьей командой грузчики переправляют их с одного корабля на другой — процедура всегда довольно рискованная, в Кронштадте же рискованная вдвойне по причине небрежности грузчиков.

Русские князья проходили таможенный досмотр наравне со мной, простым чужестранцем; поначалу подобное равенство пришлось мне по душе, однако в Петербурге чиновники разобрались с ними в три минуты, меня же не отпускали в течение трех часов. Привилегии, на время укрывшиеся под прозрачным покровом деспотической власти, вновь предстали предо мной, и явление это неприятно меня поразило.

Обилие ненужных предосторожностей дает работу массе мелких чиновников; каждый из них выполняет свои обязанности с видом педантическим, строгим и важным, призванным внушать уважение к бессмысленнейшему из занятий; он не удостаивает вас ни единым словом, но на лице его вы читаете: «Дайте мне дорогу, я — составная часть огромной государственной машины».

Эта составная часть, действующая не по своей воле, подобна винтику часового механизма — и вот что в России именуют человеком! Вид этих людей, по доброй воле превратившихся в автоматы, испугал меня; в личности, низведенной до состояния машины, есть что-то сверхъестественное. Если в странах, где техника ушла далеко вперед, люди умеют вдохнуть душу в дерево и металл, то в странах деспотических они сами превращаются в деревяшки; я не в силах понять, на что им рассудок, при мысли же о том давлении, которому пришлось подвергнуть существа, наделенные разумом, дабы превратить их в неодушевленные предметы, мне становится не по себе; в Англии я боялся машин, в России жалею людей. Там творениям человека недоставало лишь дара речи, здесь дар речи оказывается совершенно излишним для творений государства.

Впрочем, эти машины, обремененные душой, чудовищно вежливы; видно, что их с пеленок приучали к соблюдению приличий, как приучают других к владению оружием, но кому нужна обходительность по приказу? Сколько бы ни старались деспоты, всякий поступок человека осмыслен, только если освящен его свободной волей; верность хозяину чего-нибудь стоит, лишь если слуга

выбрал его по своей охоте; а поскольку в России низшие чины не вправе выбирать что бы то ни было, все, что они делают и говорят, ничего не значит и ничего не стоит.

При виде всевозможных шпионов, рассматривавших и расспрашивавших нас, я начал зевать и едва не начал стенать — стенать не о себе, но о русском народе; обилие предосторожностей, которые здесь почитают необходимыми, но без которых прекрасно обходятся во всех других странах, показывало мне, что я стою перед входом в империю страха, а страх заразителен, как и грусть: итак, я боялся и грустил... из вежливости... чтобы не слишком отличаться от других.

Мне предложили спуститься в кают-компанию, где заседал ареопаг чиновников, в чьи обязанности входит допрос пассажиров. Все члены этого трибунала, внушающего скорее ужас, нежели уважение, сидели за большим столом; некоторые с мрачным вниманием листали судовой журнал и были так поглощены этим занятием, что не оставалось сомнений: на них возложена некая секретная миссия; ведь официально объявленный род их занятий никак не располагал к подобной серьезности.

Одни с пером в руке выслушивали ответы путешественников, или, точнее сказать, обвиняемых, ибо на русской границе со всяким чужестранцем обходятся как с обвиняемым; другие громко повторяли наши слова, которым мы придавали очень мало значения, писцам; переводимые с языка на язык, ответы наши звучали сначала по-французски, затем по-немецки и, наконец, по-русски, после чего последний и самый ничтожный из писцов заносил в книгу свой приговор — окончательный и, быть может, совсем незаконный. Чиновники переписывали наши имена из паспортов; они самым дотошным образом исследовали каждую дату и каждую визу, сохраняя при этом неизменную вежливость, призванную, как мне показалось, утешить подсудимых, с трудом сносящих эту нравственную пытку.

В результате долгого допроса, которому меня подвергли вместе с другими пассажирами, у меня отобрали паспорт а взамен выдали карточку, предъявив которую я якобы смогу вновь обрести свой паспорт в Санкт-Петербурге.

Кажется, полиция осталась всем довольна; чемоданы и люди находились уже на борту нового парохода; вот уже четыре часа мы изнывали в виду Кронштадта, но ничто по-прежнему не предвещало отъезда.

Черные и унылые лодчонки поминутно выходили из города и направлялись в нашу сторону; хотя мы стояли на якоре неподалеку от крепостных стен, кругом царила полная тишина... Ни один голос не звучал в недрах этой могилы; тени, скользившие вокруг нас по воде, были немы, как те камни, которые они только что покинули; казалось, перед нами похоронная процессия, медлящая в ожидании покойника, который заставляет себя ждать. Мрачными, неопрятными лодками правили люди в грубых шерстяных балахонах серого цвета, смотревшие прямо перед собой ничего не выражающими глазами; их безжизненные лица отливали желтизной. Мне сказали, что это матросы местного гарнизона; по виду они походили на солдат. Уже давно рассвело, но светлее не стало; воздух сделался душен, солнце еще не поднялось высоко, но лучи его отражались от

воды и слепили мне глаза. Некоторые лодки молча кружили около нас, не подходя близко; другие, приводимые в движение шестерками либо дюжинами оборванных гребцов в грязных тулупах, приставали к нашему борту, дабы высадить очередного полицейского чиновника, офицера местного гарнизона либо запоздавшего таможенника; суета эта, никак не ускорявшая наш отъезд, навела меня на печальные размышления об исключительной неряшливости жителей Севера. Южане проводят всю жизнь под открытым небом или в воде; они вечно ходят полуодетые; северяне же, вынужденные почти никогда не расставаться с одеждой, сочатся жиром и кажутся мне гораздо менее чистоплотными, нежели жители Юга, рожденные для того, чтобы греться в солнечных лучах.

Томясь от скуки из-за русской дотошности, я имел случай заметить, что знатные подданные Российской империи весьма критически оценивают устройство их общества, если устройство это причиняет им неудобства.

«Россия — страна бесполезных формальностей», — шептали они друг другу, однако шептали по-французски, опасаясь, как бы их не поняли низшие чины. Я запомнил эту мысль, в справедливости которой успел уже тогда убедиться на собственном опыте. Судя по тому, что я мог услышать и увидеть позже, сочинение под названием «Русские о самих себе» оказалось бы книгой весьма суровой; для русских любовь к родине — не более чем средство польстить их государю; стоит им убедиться, что государь их не слышит, и они принимаются обсуждать все кругом с откровенностью тем более опасной, что ответственность за нее они разделяют со своими слушателями.

Наконец нас оповестили о причине столь долгого промедления. Главный из главных, верховный из верховных, начальник над всеми начальниками таможни предстал перед нами: его-то прибытия мы и ожидали все это время, сами того не зная. Верховный этот владыка ходит не в мундире, но во фраке, как простой смертный. Кажется, ему предписано играть роль человека светского: для начала он стал любезничать с русскими дамами; он напомнил княгине Д*** об их встрече в доме, где княгиня никогда в жизни не бывала; он стал толковать ей о придворных балах, на которых она его ни разу не видела; одним словом, он ломал комедию перед всеми нами, а более всего передо мной, чужестранцем, даже не подозревавшим, что в стране, где вся жизнь расписана, где место каждого определено раз и навсегда его шляпой и эполетами, человек может притворяться куда более влиятельным, чем он есть на самом деле; впрочем, по сути своей человек везде одинаков...

Наш светский таможенник меж тем, продолжая блистать придворными манерами, изящнейшим образом конфискует у одного пассажира зонтик, а у другого чемодан, прибирает к рукам дамский несессер и, храня полнейшую невозмутимость и хладнокровие, продолжает досмотр, уже произведенный его добросовестными подчиненными.

У русских чиновников усердие нисколько не исключает беспорядка. Они предпринимают великие усилия ради ничтожной цели, и служебное их рвение положительно не знает пределов. Соперничество чиновников приводит к тому, что, выдержав допрос одного из них, иностранец может очень скоро попасть

в руки другого. Это тот же разбой: если путника ограбили одни бандиты, это никак не значит, что назавтра он не повстречает других, а три дня спустя — третьих, причем каждая из этих шаек сделает с ним все, что ее душе угодно.

Судьба чужестранца-путешественника зависит лишь от характера чиновника, в руки которого он попадает. Если этот последний не грешит излишней робостью и у него возникнет желание придраться, чужестранцу никогда не доказать своей правоты. И эта-то страна желает прослыть цивилизованной на западный манер!..

Верховный владыка имперских тюремщиков осматривал судно не спеша; он вершил свой суд медленно, бесконечно медленно; необходимость поддерживать беседу отвлекала этого слащавого цербера — слащавого не только в переносном, но и в прямом смысле слова, ибо он источал приторный запах мускуса — от выполнения его непосредственных обязанностей. Наконец мы избавились от таможенных церемоний и полицейских любезностей, от военных приветствий и созерцания беспредельной, немыслимой нищеты, воплощением которой являются гребцы, перевозящие господ чиновников. Поскольку я ничем не мог помочь этим несчастным, вид их сделался мне отвратителен, и всякий раз, когда они привозили на наш корабль посланцев таможни и морской полиции, самой суровой из всех, я отводил глаза. Эти матросы в рубище, эти немытые каторжники, в чью обязанность входит доставлять кронштадтских чиновников и офицеров на борт иностранных судов, позорят страну. Глядя на их лица и размышляя о том, что эти обездоленные существа считают жизнью, я задавался вопросом, за какие грехи Господь обрек шестьдесят миллионов смертных на вечное пребывание в России.

Перед самым отплытием я приблизился к князю К*** и сказал ему:

— Вы русский, выкажите же любовь к своей стране и уговорите министра внутренних дел или министра полиции переменить все это: пусть он однажды притворится простым чужестранцем вроде меня и отправится в Кронштадт, дабы на собственном опыте убедиться, что значит — въезжать в Россию.

— Это бесполезно, — отвечал князь, — император здесь бессилен.

— Император — да, но министры!

Наконец мы снялись с якоря, к великой радости русских князей и княгинь, предвкушавших близкую встречу с родными и отечеством; счастье, написанное на их лицах, опровергало наблюдения любекского трактирщика, но, возможно, то было исключение, которое, как известно, лишь подтверждает правило. Что же до меня, то я не только не радовался, но, напротив, со страхом думал о том, как прощусь с очаровательным обществом, окружавшим меня на борту, и останусь один в городе, окрестности которого наводят на меня такое уныние; впрочем, наше созданное по воле случая общество более уже не существует: лишь только на горизонте замаячила гавань, хрупкие узы — плод мимолетной прихоти путешественников — тотчас распались.

Так бывает с небом: вечерний ветерок нагромождает на его краю облака; лучи заходящего солнца освещают их причудливые формы, какие не выдумать человеку с самым буйным воображением; взору нашему являются волшебные дворцы,

населенные фантастическими существами, нимфы и богини, водящие в вышине свой веселый хоровод, гроты, служащие пристанищем сиренам, и острова, плывущие по огненному морю; одним словом, перед вами предстает новый мир; если же рядом со всеми этими прелестными созданиями и возникает какое-нибудь чудовище, какая-нибудь безобразная тварь, уродство их лишь подчеркивает совершенство прочих видений; стоит, однако, ветру перемениться или просто стихнуть, а солнцу зайти, и все исчезает... грезам приходит конец, холод и пустота прогоняют детей света, сумерки с их чередой иллюзий тают — наступает ночь.

Жительницы Севера великолепно умеют делать вид, что выбрали по своей воле ту жизнь, которую ведут по воле рока. Это — не ложь, но утонченное кокетство, любезность по отношению к собственной судьбе. Это — проявление высшего изящества, изящества, которое всегда естественно, что не мешает людям прикрывать им обман: изящные женщины и наделенные поэтическим даром мужчины умеют обходиться без жестокости и принуждения в тех обстоятельствах, где эти качества кажутся почти неизбежными; те и другие — величайшие обманщики: одним мановением руки они прогоняют сомнения, и все создания их воображения тотчас обретают жизнь; речи их принимаются на веру любыми собеседниками; даже не обманывая других, они лгут сами себе, ибо их стихия — репутация; их счастье — иллюзия; их призвание — удовольствие, зиждущееся на видимости. Бойтесь женского изящества и мужских стихов — оружия тем более грозного, что его мало кто опасается!

Вот о чем думал я, покуда корабль наш удалялся от кронштадтских стен: все мы еще находились на его борту, но уже не составляли единого целого; от общества, еще вчера животворявшегося тайной гармонией, столь редко осеняющей человеческие сообщества, отлетела душа. Мало что вселяет в сердце такую печаль, как эта внезапная перемена; я прекрасно знаю, что так кончаются все мирские радости, ибо уже сотню раз убеждался в этом, но далеко не всегда прозрение наступало столь стремительно; к тому же, что может быть горше беды, в которой некого обвинить? На моих глазах каждый готовился продолжить свой путь; каждого из странников, возвращавшихся к повседневности, ждала проторенная дорога; простившись со свободой, даруемой путешествием, все они возвращались в мир действительный, я же оставался в царстве химер; я только и делаю, что скитаюсь по разным странам, а вечно скитаться — еще не значит жить. Меня охватило чувство глубочайшего одиночества: я сравнивал свое странническое сиротство с домашними радостями своих спутников.

Одиночество мое было добровольным, но разве становилось оно от этого более радостным?.. В тот миг любое состояние казалось мне предпочтительнее моей независимости, и я с завистью помышлял даже о заботах семейственных. Остальные же пассажиры думали кто о дворе, кто о таможне; ведь, несмотря на время, потерянное в Кронштадте, основной наш багаж еще не прошел досмотра; пассажиров тревожила судьба украшений и предметов роскоши, а может быть, даже книг; вчера эти люди бесстрашно бороздили волны, а сегодня вздрагивают при виде чиновника!.. В глазах женщин я читал предвкушение встречи с мужьями, детьми, портнихами, парикмахерами и придворными на балах; читал я в них

и другое: несмотря на давешние заверения, дамам больше не было до меня никакого дела. У жителей Севера неверные сердца и обманчивые чувства; привязанности их зыбки, словно бледные лучи их солнца; не дорожащие ничем и никем, без сожаления покидающие родную землю, созданные для набегов, народы эти призваны лишь к тому, чтобы по воле Господней время от времени покидать полюс и охлаждать народы Юга, палимые огнем светил и жаром страстей.

В Петербурге, не успели мы пристать к берегу, как мои титулованные *друзья* обрели свободу; они покинули тюрьму, давшую им приют на время пути, даже не простившись со мной — чужестранцем, остающимся в полицейских и таможенных оковах. К чему прощания — я был для них мертвец. Какое дело матери семейства до дорожного спутника?.. Я не удостоился ни приветливого слова, ни взгляда, ни воспоминания!.. Волшебный фонарь погас; представление окончилось. Повторяю: я предвидел эту развязку, но не думал, что она причинит мне такую боль, — недаром говорится, что главный источник неожиданностей для нас — мы сами!

Три дня тому назад две любезные путешественницы взяли с меня слово, что я посещу их в Петербурге; двор нынче в городе, я еще не был представлен; я подожду.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Вид Петербурга со стороны Невы. — Архитектура. — Противоречие между характером местности и стилем зданий, заимствованным у южной цивилизации. — Бессмысленное подражание памятникам Греции. — Природа в окрестностях Петербурга. — Препятствия, чинимые таможней и полицией. — Допрос с пристрастием. — У меня отбирают книги. — Трудности высадки на берег. — Вид улиц. — Памятник Петру Великому. — Он не заслуживает своей славы. — Зимний дворец. — Его перестроили за один год. — Какой ценой? — Цитата из Герберштейна. — Карамзин. — Из тщеславия русские не замечают бесчеловечности своего правительства. — Политика самодержавия отвечает духу нации.

Петербург, 11 июля 1839 года, вечер 785

Петербургские улицы непривычны для французского глаза; я попытаюсь описать их вам, но вначале хочу рассказать о виде на Петербург со стороны Невы. Вид этот славится во всем мире, и русские по праву им гордятся; впрочем, мне показалось, что восторги зрителей в данном случае слегка преувеличены. Несколько колоколен, предстающих взору издалека, вызывают не столько восхищение, сколько удивление. Узкая полоска земли на горизонте кое-где утолщается — вот и все, а между тем эти еле заметные неровности почвы суть грандиозные памятники новой российской столицы. Кажется, будто видишь линию, проведенную неуверенной рукой ребенка, обучающегося геометрии. Подплыв поближе, вы начинаете различать колокольни православных храмов, позолоченные купола монастырей и творения менее давнего времени: фронтон Биржи, белые колоннады школ, музеев, казарм и дворцов, стоящих вдоль гранитной набережной; уже в самом городе вы проплываете мимо сфинксов, высеченных также из 785
гранита; размеры их колоссальны, облик величествен. Как произведения искусства эти копии античных творений не стоят ровно ничего, но мысль выстроить город, состоящий из одних дворцов, великолепна! Тем не менее подражание классическим памятникам неприятно поражает вас, когда вы вспоминаете о том, в каких широтах находитесь. Впрочем, очень скоро взор ваш поражают многочисленные и разнообразные шпили, башни, иглы; тут, по крайней мере, вы знакомитесь с национальной архитектурой. Вокруг Петербурга расположено

множество просторных построек, увенчанных колокольнями, — это монастыри, священные поселения, опоясывающие поселение мирское. Русские церкви сохранили свой самобытный облик. Не русские изобрели тот тяжеловесный и прихотливый стиль, что именуется византийским. Но религию свою русские получили от греков; с Византией их связывают национальный характер, верования, образование, история, поэтому заимствовать что-либо у Византии для них совершенно естественно; что ж, пусть берут за образец архитектуру Константинополя — но не Афин. С борта корабля петербургские набережные кажутся величественными и роскошными, но, ступив на сушу, вы тотчас обнаруживаете, что эти самые набережные мощены сквернымн булыжниками, неровными, уродливыми, столько же неприятными для глаза, сколько и опасными для пешеходов и экипажей. Несколько золоченых шпицев, тонких, словно громоотводы; портики, основание которых едва не уходит под воду; площади с колоннами, теряющимися среди громадных пустых пространств; античные статуи, чьи черты, стиль и облик так разительно противоречат здешней почве, цвету неба и климату, а равно лицам, одеждам и привычкам местных жителей, что статуи эти напоминают пленных героев в стане врага; здания, стоящие не на своем месте, храмы, неведомо отчего перенесенные с вершин греческих гор в лапландские болота и утратившие все свое величие, — вот что прежде всего поразило меня в Петербурге.

785

Великолепные дворцы языческих богов, храмы, прекрасно венчающие своими горизонтальными линиями и строгими очертаниями отроги ионийских гор, святилища, чьи мраморные стены сверкают под лучами солнца на пелопонесских скалах, среди развалин древних акрополей, превратились здесь в груды гипса и известки; несравненные детали греческой скульптуры, великолепные уловки классического искусства уступили место смехотворному современному украшательству, которое слывет у чухонцев доказательством безупречного вкуса. Подражая созданиям совершенным, мы их портим; следует либо повторять образцы в точности, либо творить самостоятельно. Вдобавок копии афинских памятников, как бы ни были они верны оригиналу, неминуемо потеряются среди расположенной ниже уровня моря болотистой равнины, которой всякую минуту грозит опасность быть затопленной водой. Природа здесь требует от человека решительно противоположного тому, что он создал; следовало не подражать языческим храмам, но окружить себя зданиями, которые, дерзко устремляясь сквозь туман ввысь, к северному мутному небу, нарушали бы однообразие бескрайних сырых и серых степей, простирающихся вокруг Петербурга. Этой стране под стать не колоннада Парфенона и не купол Пантеона, но пекинская пагода. В краю, которому природа отказала в малейшей возвышенности, возводить горы должен человек. Я начинаю понимать, отчего русские так настойчиво приглашают иностранцев посетить их страну зимой: снежный покров толщиной в шесть футов может скрыть все что угодно, летом же местность предстает перед путешественником во всей своей наготе.

785

Объехав весь Петербург и его окрестности, путешественник, как я слышал, даже оставив позади сотни миль, не найдет ничего, кроме широких луж, чахлых сосен и берез с мутно-зеленой листвой. Конечно, зимний саван больше к лицу этой серой растительности, нежели летний наряд. Одна и та же низина, украшенная

одним и тем же кустарником, — этот вид ждет вас повсюду, если только вы не направите свои стопы в сторону Швеции или Финляндии. Там вашему взгляду предстанут нагромождения поросших соснами гранитных глыб, которые, если и не вносят в пейзаж большого разнообразия, все же меняют облик местности; что же до зданий, украшенных небольшими колоннами, которые местным жителям вздумалось построить в этом ровном голом краю, они, разумеется, не сообщают ему особого веселья. Греческим перистилям основанием служили горные вершины — здесь же между творениями человека и окружающей природой отсутствует 786
какая бы то ни было связь, и это отсутствие гармонии неприятно поражает меня на каждом шагу; прогуливаясь по этому городу, я испытываю ту неловкость, какую чувствую, разговаривая с жеманным человеком. Портик, украшение легкое и воздушное, в этом краю, и без того мрачном по вине климата, лишь *утяжеляет* здания; одним словом, Петербург основан и выстроен людьми, имеющими вкус к безвкусице. Бессмыслица, на мой взгляд, — главная отличительная черта этого огромного **города, напоминающего мне уродливый павильон, возведенный посреди парка; парк** этот, однако, занимает треть мира, а имя архитектора — Петр Великий.

Поэтому, как бы ни оскорбляли взор вздорные подражания, уродующие облик Петербурга, невозможно без восторга созерцать этот город, возникший из моря по приказу человека и живущий в постоянной борьбе со льдами и водой; возведение его — плод недюжинной воли; даже тот, кто не восхищается им, его боится — а от страха недалеко до уважения.

Кронштадтский пакетбот бросил якорь посреди Петербурга, напротив таможни, перед гранитной набережной, именуемой Английской, откуда рукой подать до знаменитой площади, где на обломке скалы высится памятник Петру Великому. Путешественник надолго запоминает это место; вы скоро поймете отчего.

Я желал бы избавить вас от подробного описания тех гонений, которые под именем *простых* формальностей обрушили на меня полицейские и их верные друзья таможенники; однако мой долг — дать вам представление обо всех трудностях, которые ожидают чужестранца, попадающего в Россию морским путем: говорят, с приезжающими по суше обходятся не так сурово.

От силы три дня в году петербургское солнце палит нещадно: вчера, когда я 786
прибыл в Петербург, был как раз один из таких дней. Вначале нас, меня и остальных приезжих иностранцев, довольно долго держали на верхней палубе. Мы находились на самом солнцепеке, не имея возможности укрыться в тени. Было восемь утра, рассвело же еще в час ночи. Говорят, что термометр показывал
30 градусов по Реомюру; заметьте, что на Севере такую жару переносить гораз- 786
до труднее, ибо воздух здесь душный и влажный.

Нам надлежало предстать перед новым трибуналом, заседавшим, как и прежний, кронштадтский, в кают-компании нашего судна. С той же любезностью мне были заданы те же вопросы, и ответы мои были переведены с соблюдением тех же церемоний.

— С какой целью прибыли вы в Россию?

— Чтобы увидеть страну.

— Это не причина. (Как вам нравится смирение, с которым подается реплика?)

— Другой у меня нет.

— С кем вы намерены увидеться в Петербурге?

— Со всеми особами, которые позволят мне с ними познакомиться.

— Сколько времени намереваетесь вы провести в России?

— Не знаю.

— Но все же?

—Несколько месяцев.

— Имеете ли вы дипломатические поручения?

-Нет.

— А тайные цели?

-Нет.

— Научные планы?

-Нет.

— Может быть, вы посланы вашим правительством для изучения общественного и политического положения в нашей стране?

-Нет.

— Значит, вас послала торговая компания?

— Нет.

— Итак, вы путешествуете по своей воле и из чистого любопытства?

-Да.

— Отчего же вы избрали именно Россию?

— Не знаю, и т. д., и т. д., и т. д.

786 — Имеются ли у вас рекомендательные письма к кому-нибудь из российских подданных?

Предупрежденный о неуместности чересчур откровенного ответа на этот вопрос, я назвал только своего банкира.

Перед этим судом предстали и многие мои сообщники-чужестранцы, подвергнувшиеся самому суровому допросу в связи с некими неправильностями, вкравшимися в их паспорта. У русских полицейских ищеек тонкий нюх, и они изучают паспорта более или менее пристально, смотря по тому, как понравились им их владельцы; мне показалось, что они относятся к пассажирам одного и того же корабля далеко не одинаково. Итальянского негоцианта, который проходил досмотр передо мной, обыскивали безжалостно, хочется сказать — до крови; его заставили даже открыть бумажник, заглянули ему за пазуху и в карманы; если они поступят так же со мной, я вызову у них большие подозрения, думал я.

Карманы мои были набиты рекомендательными письмами, часть из которых я получил непосредственно от русского посла в Париже, а часть — от особ не менее известных, однако письма эти были запечатаны, и это обстоятельство принудило меня не оставлять их в чемодане; итак, при виде полицейских я застегнул фрак на все пуговицы. Однако они не стали обыскивать меня самого, зато проявили живой интерес к моим чемоданам и тщательнейшим образом осмотрели все мои вещи, в особенности книги. Они изучали их нестерпимо долго и наконец конфисковали все без исключения, держась при этом так же необычайно любезно, но не обращая ни малейшего внимания на мои протесты. У меня отобрали

Ч

также пару пистолетов и старые дорожные часы; напрасно я пытался выяснить, что противузаконного нашли стражи порядка в этом последнем предмете; все взятое, как меня уверяют, будет мне возвращено, но лишь ценою множества хлопот и переговоров. Итак, мне остается повторить вслед за русскими аристократами, что Россия — страна ненужных формальностей.

Я нахожусь в Петербурге уже более суток, но еще ничего не смог вырвать из лап таможенников, в довершение же всех бедствий моя коляска была отправлена из Кронштадта в Петербург на день раньше, чем мне обещали, но не на мое имя, а на имя некоего русского князя; в России, куда ни кинь, везде одни князья. Теперь придется потратить массу сил на бесконечные объяснения с таможенниками; дело в том, что князь, к которому прибыла коляска, в отъезде, и мне предстоит самому доказывать таможенникам, что они ошиблись. Из-за этой злосчастной путаницы я вынужден буду, боюсь, еще долго обходиться без всех тех вещей, что остались в коляске. 786

Около десяти я наконец освободился от таможенных пут и смог ступить на петербургскую землю, где ***случайно*** повстречал на набережной немецкого путешественника, тотчас предложившего мне свои услуги. Если это и шпион, то, во всяком случае, весьма любезный: он говорит по-русски и по-французски, он отыскал мне дрожки и помог моему слуге довезти на телеге до гостиницы Кулона ту ничтожную часть моего багажа, которую мне возвратили. Я наказал слуге ни в чем ему не перечить. 786

Кулон — француз, а гостиница его слывет лучшей в Петербурге; это, впрочем, никак не означает, что жить у него удобно и уютно. В России иностранцы очень скоро утрачивают национальные черты, хотя и никогда не растворяются среди местных жителей. Добросердечный немец отыскал мне даже ***проводника,*** говорящего по-немецки, который уселся позади меня в дрожки, дабы отвечать на любые мои вопросы; человек этот называл мне все памятники, мимо которых пролегал наш путь от таможни до постоялого двора, — путь, кончившийся не так уж скоро, ибо Петербург велик.

Прежде всего взору моему предстала хваленая статуя Петра Великого, вид которой показался мне крайне неприятен; по воле Екатерины она стоит на обломке скалы, украшенном фразой простой, но исполненной в своей мнимой простоте немалой гордыни: «Петру I Екатерина И». Эта конная фигура не может быть названа ни древней, ни новой; Петр здесь — римлянин времен Людовика XV. Конь, равновесия ради, попирает копытами огромную змею: неудачная эта выдумка лишь подчеркивает беспомощность скульптора. 787

Эта статуя и площадь, среди которой она совершенно теряется, — самые замечательные памятники, встретившиеся мне на пути с таможни на постоялый двор.

Я ненадолго задержался возле здания, еще не достроенного, но уже известного всей Европе, — собора Святого Исаака; наконец я увидел фасад нового Зимнего дворца — еще один чудесный плод воли одного человека, подвигающего других людей на борьбу с законами природы. Борьба эта увенчалась полным успехом, ибо за один год Зимний дворец — пожалуй, огромнейший из всех в мире, ибо он равен Лувру и Тюильри вместе взятым, — возродился из пепла. 787 787

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Для того чтобы закончить этот труд в срок, определенный императором, потребовались неимоверные усилия: внутренние работы велись во время страшных морозов; стройке постоянно требовались шесть тысяч рабочих; каждый день уносил с собой множество жертв, но на их место тотчас вставали, дабы в свой черед погибнуть в этой бесславной битве, новые борцы, так что потери не были заметны. Меж тем единственной целью стольких жертв было удовлетворение прихоти одного человека! В странах, для которых цивилизация — вещь естественная, то есть давно знакомая, человеческую жизнь подвергают опасности лишь ради всеобщего блага, признаваемого за таковое большинством нации. В России же пример Петра I оказался пагубным для множества монархов!

В дни, когда мороз достигал 26, а то и 30 градусов, шесть тысяч безвестных, бесславных мучеников, покорных поневоле, ибо покорство у русских — добродетель врожденная и вынужденная, трудились в залах, натопленных до 30 градусов тепла, — чтобы скорее высохли стены. Таким образом, входя в этот роковой дворец, ставший благодаря их подвигу царством суетности, роскоши и наслаждений, и выходя оттуда, рабочие становились жертвами пятидесяти-, шестидесятиградусного перепада температур.

Такой опасности не подвергаются даже каторжники в Уральских рудниках, а между тем люди, работавшие в Петербурге, вовсе не были злоумышленниками. Мне рассказали, что тем несчастным, кто красили стены в самых жарких комнатах, приходилось надевать на голову своего рода ледяные колпаки, дабы не впасть в безумие от невыносимой жары. Нет лучшего способа внушить отвращение к искусству, позолоте, роскоши и прочему придворному великолепию. Тем не менее все эти люди, отданные на заклание ради императорского тщеславия, звали своего монарха батюшкой.

С тех пор как я увидел этот дворец и узнал, скольких человеческих жизней он стоил, я чувствую себя в Петербурге неуютно. За достоверность своего рассказа я ручаюсь: я слышал его не от шпионов и не от шутников.

Версаль обошелся во много миллионов, но при постройке его заработали на хлеб столько же французских рабочих, сколько славянских рабов погибли за эти двенадцать месяцев, ушедших на восстановление Зимнего дворца; зато по слову императора свершилось чудо: дворец заново отстроен и будет, ко всеобщей радости, торжественно открыт во время бракосочетания великой княжны, которое вот-вот должно состояться в Петербурге. В России монарх может быть любим народом, даже если он недорого ценит человеческую жизнь. Ничто колоссальное не созидается без труда, но когда один человек воплощает в себе и нацию и правительство, ему следовало бы взять за правило пускать в ход великую машину, управление которой ему доверено, лишь ради цели, достойной таких усилий.

Мне кажется, что даже в интересах своего правления — пойми он их правильно — император мог бы положить на восстановление дворца, пострадавшего от пожара, на год больше.

Абсолютному монарху не пристало говорить, что он торопится: в первую голову ему следует опасаться усердия своих подданных, способных по слову

повелителя, на первый взгляд совершенно невинному, бросить в смертный бой целую армию рабов! Это дорогая цена, пожалуй даже чересчур дорогая, ибо и Господь и люди рано или поздно мстят за эти бесчеловечные чудеса; неосторожно — чтобы не сказать больше — со стороны монарха тешить свою гордыню таким разорительным способом; однако русские цари ставят славу среди чужестранцев превыше всего, даже превыше собственной пользы. Общественное мнение их поддерживает; к тому же там, где послушание сделалось условием жизни народа, ничто не может подорвать доверия к власти. Древние люди поклонялись солнцу; русские поклоняются солнечному затмению: разве могли они научиться смотреть на мир открытыми глазами?

Я не хочу сказать, что их политическое устройство не способно принести никакой пользы; я хочу лишь сказать, что полезные эти плоды обходятся слишком дорого.

Чужестранцы не сегодня начали изумляться привязанности русского народа к своему рабскому состоянию; я сей же час предоставлю вам возможность прочесть отрывок из переписки барона Герберштейна, посланника императора 789
Максимилиана, отца Карла V, при дворе царя Василия Ивановича. Я прекрасно помню этот отрывок, ибо отыскал его в истории Карамзина, которую читал вче- 789
ра на борту парохода. Том этот ускользнул от бдительного ока полиции, ибо находился в кармане моего дорожного плаща. Самым хитрым шпионам случается зазеваться: я уже говорил, что одежду мою не обыскивали.

Знай русские, что могут извлечь мало-мальски внимательные читатели из рассказа историка-царедворца, чья книга внушает им восхищение, а иностранцам — недоверие, по причине его льстивой пристрастности, они возненавидели бы эту книгу и, раскаявшись в привязанности к просвещению, роднящему их с нынешней Европой, бросились бы в ноги императору, умоляя его запретить все сочинения по истории, начиная с труда Карамзина, дабы их прошлое оставалось покрытым тьмой, равно споспешествующей и покою деспота и благоденствию подданных, которые становятся особенно достойны сожаления, когда их жалеют. Бедняги почитали бы себя счастливыми, не именуй их неосторожные чужестранцы вроде меня несчастными жертвами. Порядок и покорство — два божества русской полиции и русской нации — требуют, как мне кажется, этого последнего приношения.

Итак, вот что писал Герберштейн, возмущенный деспотизмом русского монарха:

«<Царь> скажет, и сделано: жизнь, достояние людей, мирских и духовных, 789
вельмож и граждан, совершенно зависит от его воли. Нет противоречия, и все справедливо, как в делах Божества: ибо Русские уверены, что Великий Князь есть исполнитель воли Небесной. Обыкновенное слово их: ***такугодно Богу и Государю, ведает Бог и Государь.*** Усердие сих людей невероятно. Я видел одного из знатных великокняжеских чиновников, бывшего послом в Испании, седого старца, который, встретив нас при въезде в Москву, скакал верхом, суетился, бегал, как молодой человек; пот градом тек с лица его. Когда я изъявил ему свое удивление, он громко сказал: ***ах, господин Барон!мы служим Государю не по-вашему!***

Не знаю, свойство ли народа требовало для России таких самовластителей или самовластители ***дали*** народу такое свойство».

Письмо это написано более трех веков назад, но русские, которые в нем изображены, ничем не отличаются от русских сегодняшних, которых вижу я. И я, по примеру посла императора Максимилиана, задаюсь вопросом, характер ли народа создал самодержавие или же самодержавие создало русский характер, и, подобно немецкому дипломату, не могу отыскать ответа.

Впрочем, я склоняюсь к мысли, что влияние было взаимным: русские правители могли появиться только в России, но и русские не стали бы такими, как они есть, живи они под властью иных правителей.

Приведу другую цитату из того же Карамзина: он пересказывает отзывы иностранных путешественников XVI века, побывавших в Московии. «Удивительно
789 ли, — пишут иноземцы, — что Великий князь богат? он не дает денег ни войску, ни послам, и даже берет у них, что они вывозят драгоценного из чужих земель:[1] так, князь ярославский, возвратясь из Испании, отдал в казну все тяжелые золотые цепи, ожерелья, богатые ткани, серебряные сосуды, подаренные ему императором и Фердинандом Австрийским. Сии люди не жалуются, говоря: ***Великий князь возьмет, Великий князь и наградит».*** Вот как отзывались русские о своем царе в XVI веке.

Сегодня и в Париже и в России немало русских, восхищающихся чудесными плодами, какие принесло слово императора, причем, гордясь результатами, ни один из них не сожалеет о затраченных средствах. «Слово царя всемогуще», — говорят они. Да — но, оживляя камни, оно умерщвляет людей. Несмотря на это маленькое уточнение, все русские гордятся возможностью сказать чужеземцам: «Вот видите, вы три года спорите о том, как перестроить театральную залу, а наш император за один год поднял из руин величайший дворец мира» — и полагают, что гибель нескольких тысяч рабочих, принесенных в жертву высочайшему нетерпению, прихоти императора, выдаваемой за потребность нации, — жалкий пустяк и совсем не дорогая цена за этот ребяческий восторг. Я, француз, вижу во всем этом одно лишь бесчеловечное педантство. Что же до жителей всей этой бескрайней империи, среди них не находится человека, который возвысил бы голос против разгула абсолютной власти.

Здесь народ и правительство едины; даже ради того, чтобы воскресить погибших, русские не отреклись бы от чудес, свершенных по воле их монарха, — чудес,
789 свидетелями, соучастниками и жертвами которых они являются. Меня же более всего удивляет не то, что человек, с детства приученный поклоняться самому себе, человек, которого шестьдесят миллионов людей или полулюдей именуют всемогущим, замышляет и доводит до конца подобные предприятия, но то, что среди голосов, повествующих об этих деяниях к вящей славе этого человека, не находится ни одного, который бы выбился из общего хора и вступился за несчастных, заплативших жизнью за самодержавные чудеса. Обо всех русских, какое бы положение они ни занимали, можно сказать, что они упиваются своим рабством.

---

772 [1] Диккенс в своем рассказе о путешествии в Америку говорит, что нынче то же самое происходит в Америке.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Дрожки. — Наряд простолюдинов. — Кафтан. — Русская упряжь. — Усовершенствованные дрожки. — Деревянные мостовые. — Петербург утром. — Город, похожий на казарму. — Противоположность России и Испании. — Курьеры с депешами. — Шахматная партия. — Определение тирании. — Намеренное смешение тирании и деспотизма. — Чин. — Особенности русского правительства. — Дисциплина вместо порядка. — Постоялый двор. — Опасности, которые грозят там путешественнику. — Походная кровать посреди комнаты. — Прогулки куда глаза глядят. — Два Михайловских замка. — Воспоминания о смерти Павла I. — Обманутый шпион. — Памятник Суворову. — Нева, набережные, мосты. — Неудобное расположение Петербурга, — Хижина Петра I. — Крепость, ее могилы и казематы. — Монастырь Святого Александра Невского и его могила. — Спальня царя Петра, превращенная в часовню. — Русские ветераны. — Спартанский образ жизни царя. — Вера русских в будущее. — Оправданная гордость. — Москва объясняет Петербург. — Величие Петра I. — Сравнение Петербурга с Мюнхеном. — Внутреннее убранство крепости. — Подземные темницы. — Могилы императорской фамилии. — Политическое идолопоклонство. — Мучения узников. — Различия между европейскими замками и русской крепостью. — Несчастье русских. — Их нравственное падение. — Католическая церковь. — Доминиканцы в Петербурге. — Ненадежная терпимость. — Могила последнего польского короля. — В той же церкви, что и Понятовский, похоронен Моро.

Петербург, 12 июля 1839 года, утро 790

Вчера, около десяти утра, я получил право на беспрепятственное передвижение по Петербургу.

В этом городе встают поздно: в десять утра на улицах пустынно. Лишь изредка мне попадались навстречу дрожки (большинство русских говорят «дрожки», но жители Петербурга, по-моему, произносят «дрожка», как в Варшаве — «бричка»). Дрожками управляет кучер в русском платье. Поначалу забавнее всего показалась мне необычная внешность этих людей, их лошадей и экипажей. 790

Вот как обычно одеты петербургские простолюдины — не грузчики, но ремесленники, мелкие торговцы, кучера и проч., и проч.: на голове у них либо

1

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Ино суконная шапка, либо плоская шляпа с маленькими полями и расширяющейся кверху тульей; немного напоминающая дамский тюрбан или баскский берет, она к лицу юношам. Стар и млад, все носят бороды; у щеголей они шелковистые и расчесанные, у стариков и нерях — спутанные и блеклые. Выражение глаз у русских простолюдинов особенное: это — плутовской взгляд азиатов, при встрече с которыми начинаешь думать, что ты не в России, а в Персии.

Длинные волосы свисают по обеим сторонам лица, закрывая уши, на затылке же они коротко острижены. Благодаря этой оригинальной прическе шея у русских простолюдинов всегда открыта: галстуков они не носят.

У некоторых из них борода подстрижена довольно коротко, у других спускается на грудь. Русские придают большое значение этому украшению, гораздо больше подходящему к их наряду, чем к воротничкам, фракам и жилетам наших нынешних модников. Русская борода выглядит величественно, сколько бы лет ни было ее владельцу; недаром художники так любят изображать седобородых попов.

Русский народ чувствителен ко всему красивому: его обычаи, мебель, утварь, наряды, облик — все живописно, поэтому в Петербурге на каждом углу можно отыскать сюжет для прелестного жанрового полотна.

*

Чтобы завершить разговор о национальном костюме, добавлю, что наши рединготы и фраки заменяет здесь кафтан — длинный и очень широкий суконный халат синего, а иной раз зеленого, коричневого или светло-желтого цвета; воротника у кафтана нет, и он оставляет шею обнаженной; в талии он перехвачен ярким шелковым или шерстяным поясом. Кожаные сапоги у русских широкие, с закругленными носками; их складчатые голенища облегают ногу с немалым изяществом.

Вы знаете, что дрожки — экипаж весьма своеобразной конструкции; нынче повсюду можно видеть более или менее точные подражания им. Дрожки — самый маленький из всех мыслимых экипажей; стоит двум или трем ездокам усесться в него, как он становится почти не виден; вдобавок в дрожках вы движетесь чуть не вровень с землей, ибо экипаж этот до смешного — или до ужаса — низок. Дрожки состоят из мягкого сиденья и четырех крыльев лакированной кожи. Кажется, перед вами — некое крылатое насекомое: сиденье покоится на четырех небольших рессорах, а те в свой черед — на четырех колесах. Кучер сидит впереди, едва ли не упираясь ногами в подколенки лошади, а совсем рядом с ним, верхом на сиденье, ютятся пассажиры — иной раз в одних дрожках едут двое. Женщин я в дрожках не видел ни разу. Как ни легки эти странные экипажи, в них впрягают одну, двух, а иной раз и трех лошадей; коренник, идущий в центре, запряжен в деревянный, довольно высоко поднятый полукруг — нечто вроде подвижной арки. Это не ошейник, так как дерево не облегает шею лошади; скорее, это обруч, в котором животное гордо идет вперед: такой способ запрягать надежен и красив. Части сбруи прочно и изящно соединяются с деревянной дугой, на которой укреплен колокольчик, предупреждающий о приближении дрожек. Видя, как этот самый маленький и низкий в мире экипаж скользит по улице, окаймленной двумя ровными рядами самых низких в мире домов, вы забываете, что находитесь в Европе. Вы не понимаете, в какой мир и в какой век

попали, и задаетесь вопросом, каким образом люди, которые, кажется, не столько едут в экипаже, сколько ползут по мостовой, уносятся вдаль на полной скорости. Вторая лошадь, идущая в пристяжке, более свободна, чем коренная; голова ее всегда повернута налево; пристяжная бежит галопом, даже когда коренник идет рысью; недаром ее зовут бешеной.

Вначале дрожки представляли собой просто-напросто деревянную доску, положенную безо всяких рессор на четыре маленьких колеса, соединенных двумя осями; с годами этот примитивный экипаж усовершенствовался, но сохранил первоначальную легкость и диковинный вид; усаживаясь верхом на доску-сиденье, вы чувствуете себя так, словно оседлали какое-то дикое животное, если же вы не хотите ехать верхом, вам ничего не остается, как устроиться на сиденье боком и ухватиться за рукав кучера, а он все равно пустит лошадей вскачь.

Существуют дрожки новой конструкции, где скамейка расположена не вдоль, а поперек, кузов же формой напоминает тильбюри; он покоится на четырех рессорах, однако все равно едва поднимается над землей. Русские стремятся уподобить свои экипажи каретам других народов, в частности, подражать англичанам; тем хуже: на мой вкус, самое лучшее в каждой стране — ее национальные обычаи, и я сожалею об их утрате.

Теплицы, где томятся и хиреют растения, привезенные издалека и слывущие бесценными, вначале приводят меня в смущение, а затем навевают скуку. Мне больше по душе хаос девственного леса, где деревья, произрастая на родной земле, под лучами родного солнца, черпают из этой естественной среды невиданную силу. Национальное для общества — то же, что природное для местности; существуют первобытная краса, сила и безыскусность, которые ничто не может заменить.

Пассажиры дрожек выдерживают на ухабистых петербургских мостовых ужасную тряску; впрочем, в некоторых кварталах улицы выложены по обоим краям сосновыми брусками, по которым лошади бегут с огромной быстротой, особенно в сухую погоду: в дождь дерево становится скользким. Эти северные мозаики — дорогое удовольствие, ибо нуждаются в постоянной починке, однако они куда удобнее булыжных мостовых.

Движения людей на улицах показались мне скованными и принужденными; в каждом жесте сквозит чужая воля; все, кто мне встретился, были гонцы, посланные своими хозяевами с поручениями. Утро — время деловое. Никто не шел вперед по своей воле, и вид всех этих несвободных людей вселял в мою душу невольную грусть. Женщин мне встретилось мало, хорошенькие личики и девичьи голоса не оживляли улиц; повсюду царил унылый порядок казармы или военного лагеря; обстановка напоминала армейскую, с той лишь разницей, что здесь не было заметно воодушевления, не было заметно жизни. В России все подчинено военной дисциплине. Попав в эту страну, я преисполнился такой любви к Испании, словно я — уроженец Андалусии; впрочем, недостает мне отнюдь не жары, ибо здесь теперь поистине нечем дышать, но света и радости.

Мимо вас то проносится верхом офицер, везущий ***приказ*** командующему какой-нибудь армией, то проезжает в кибитке — небольшой русской карете без

1

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

рессор и мягкого сиденья — фельдъегерь, доставляющий ***приказ*** губернатору какой-нибудь отдаленной области, расположенной, быть может, на другом краю империи. Кибитка, которой правит старый бородатый кучер, стремительно увозит курьера, который по своему званию не имеет права воспользоваться более удобным экипажем, даже если таковой окажется в его распоряжении, а тем временем вдалеке показываются пехотинцы, которые возвращаются с учений в казармы, дабы получить ***приказ*** от своего командира; повсюду мы видим только выше- и нижестоящих служащих: первые отдают приказы вторым. Эти люди-автоматы напоминают шахматные фигуры, двигающиеся по воле одного-единственного игрока, невидимым соперником которого является все человечество. Здесь действуют и дышат лишь с разрешения императора или по его приказу, поэтому все здесь мрачны и скованны; молчание правит жизнью и парализует ее. Офицеры, кучера, казаки, крепостные, царедворцы, все эти слуги одного господина, отличающиеся друг от друга лишь званиями, слепо исполняют неведомый им замысел; такая жизнь — верх дисциплины и упорядоченности, но меня она ничуть не прельщает, ибо порядок этот достигается лишь ценою полного отказа от независимости. Я словно воочию вижу, как над этой частью земного шара реет тень смерти.

Этот народ, лишенный досуга и собственной воли, — не что иное, как скопище тел без душ; невозможно без трепета думать о том, что на столь огромное число рук и ног приходится одна-единственная голова. Деспотизм — смесь нетерпения и лени; будь правительство чуть более кротко, а народ чуть более деятелен, можно было бы достичь тех же результатов менее дорогой ценой, но что сталось бы тогда с тиранией?., люди увидели бы, что она бесполезна. Тирания — мнимая болезнь народов; тиран, переодетый врачом, внушает им, что цивилизованный человек никогда не бывает здоров и что, чем сильнее грозящая ему опасность, тем решительнее следует приняться за лечение: так под предлогом борьбы со злом тиран лишь усугубляет его. Общественный порядок в России стоит слишком дорого, чтобы снискать мое восхищение.

Если же вы упрекнете меня в том, что я путаю деспотизм и тиранию, я отвечу, что поступаю так нарочно. Деспотизм и тирания — столь близкие родственники, что почти никогда не упускают возможности заключить на горе людям тайный союз. При деспотическом правлении тиран остается у власти долгие годы, ибо носит маску.

790 Когда Петр Великий ввел то, что называют здесь ***чином,*** иначе говоря, применил военную иерархию ко всем служащим империи, он превратил свой народ в полк немых солдат, а себя назначил командиром этого полка, с правом передавать это звание своим наследникам.

Можете ли вы вообразить себе борьбу честолюбий, соперничество и прочие страсти военного времени в стране, не ведущей никаких военных действий? Представьте себе это отсутствие всего, что составляет основу общественного и семейственного счастья, представьте, что повсюду вместо родственных привязанностей вы встречаете порывы честолюбия — пылкие, но тщательно скрываемые, ибо преуспеть можно, лишь если не обнажать этой страсти; представьте, наконец, почти полную победу воли человека над волей Господа — и вы поймете, что такое Россия.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Российская империя — это лагерная дисциплина вместо государственного устройства, это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества.

Днем город понемногу оживляется, но, делаясь более шумным, на мой вкус, отнюдь не становится более веселым; в неуклюжих экипажах, запряженных двумя, четырьмя или шестью лошадьми, проносятся на полной скорости вечно спешащие люди, чья жизнь проходит ***в дороге.*** Бесцельное развлечение — а развлечение только и бывает что бесцельным, — здесь никому не знакомо.

Поэтому все великие художники и артисты, приезжавшие в Россию, дабы пожать здесь плоды завоеванной в других краях славы, оставались в пределах Российской империи лишь недолгое время, если же они медлили с отъездом, то промедление это вредило их таланту. Воздух этой страны противопоказан искусствам: все, что произрастает в других широтах под открытым небом, здесь нуждается в тепличных условиях. Русское искусство вечно пребудет садовым цветком.

Гостиницей Кулона управляет выходец из Франции; нынче заведение его почти полностью заселено благодаря приближающемуся бракосочетанию великой княжны Марии, так что он, как мне показалось, был едва ли не огорчен необходимостью принять еще одного постояльца и не слишком утруждал себя заботой обо мне. Тем не менее после долгих хождений по дому и еще более долгих переговоров он поселил меня на третьем этаже в душном номере, состоящем из прихожей, гостиной и спальни, причем ни в одной из этих комнат не было ничего похожего на шторы или жалюзи, а между тем солнце сейчас в этих краях покидает небосклон от силы на два часа и косые его лучи проникают в помещения дальше, чем в Африке, где они падают отвесно и по крайней мере не достигают середины комнаты. В воздухе стоит решительно невыносимый запах штукатурки, извести, пыли, насекомых и мускуса.

Ночные и утренние впечатления вкупе с воспоминаниями о таможенниках взяли верх над моей любознательностью, и вместо того, чтобы, по своему обыкновению, отправиться бродить куда глаза глядят по улицам Петербурга, я, не снимая плаща, бросился на огромный кожаный диван бутылочного цвета, прямо над спинкой которого висело украшавшее гостиную панно, и заснул глубоким сном... который продлился не более трех минут.

Проснулся я оттого, что почувствовал жар, оглядел себя и увидел... что бы вы думали? — шевелящийся коричневый покров поверх моего плаща; отбросим иносказания: плащ мой был усеян клопами, и клопы эти ели меня поедом. В этом отношении Россия ничем не уступает Испании. Однако на юге у вас есть возможность искать спасение и утешение на свежем воздухе, здесь же вы остаетесь взаперти, один на один с врагом, и ведете борьбу не на жизнь, а на смерть. Я сбросил с себя одежду и принялся бегать по комнате, громко зовя на помощь. «Что же будет ночью?» — думал я и продолжал кричать что есть мочи. На мой зов явился русский слуга; я втолковал ему, что хочу видеть хозяина гостиницы. Хозяин заставил себя ждать, но наконец пришел, однако, узнав причину моего огорчения, расхохотался и тотчас удалился, сказав, что я скоро привыкну к своему пристанищу, ибо ничего лучше я в Петербурге не найду; впрочем, он посоветовал мне

никогда не садиться в России на диваны, ибо на них обычно спят слуги, а им сопутствуют легионы насекомых. Желая успокоить меня, он поклялся, что клопы не тронут меня, если я не буду приближаться к мебели, в которой они*мирно обитают.

Утешив меня таким образом, он удалился.

Петербургские постоялые дворы имеют много общего с караван-сараями; дав вам приют, хозяин предоставляет вас самому себе, и, если вы не привезли с собой собственных слуг, никто о вас не позаботится; мой же слуга не знает русского и потому не только не сможет быть мне полезен, но, напротив, будет меня стеснять, ибо мне придется печься и о себе и о нем.

Однако благодаря своей итальянской изобретательности он очень скоро разыскал в темных коридорах пустыни, именуемой гостиницей Кулона, здешнего слугу, ищущего работу. Человек этот говорит по-немецки; хозяин гостиницы ручается за его честность. Я поведал ему о своей беде. Он тотчас притаскивает мне железную походную кровать русского образца; я покупаю ее, набиваю матрас свежайшей соломой и, велев поставить ножки своего ложа в кувшины с водой, устанавливаю его в самой середине комнаты, откуда распоряжаюсь вынести всю мебель. Позаботившись таким образом о ночлеге, я одеваюсь и, приказав местному слуге следовать за мной, покидаю роскошную гостиницу — снаружи дворец, изнутри позолоченное, обитое бархатом и шелком стойло.

Гостиница Кулона выходит на нечто вроде ***сквера,*** по здешним меркам до-
7У1 вольно оживленного. Рядом с этим ***сквером*** расположен новый Михайловский замок — роскошная резиденция великого князя Михаила, брата императора. Решетка этого дворца тотчас привлекла мое внимание, и я направился к ней. Дворец был выстроен для императора Александра, который, однако, никогда в нем не жил. От площади, окруженной с трех других сторон прекрасными домами, лучами расходятся прекрасные улицы. Странная случайность! Не успел я
791 отойти от нового Михайловского замка, как оказался перед старым. Это — просторное квадратное здание, мрачное и во всех отношениях отличное от своего изящного и современного тезки.

Если люди в России молчат, то камни говорят и стонут. Неудивительно, что русские боятся своих старинных памятников и оставляют их в небрежении; памятники эти — свидетели их истории, которую они чаще всего желали бы забыть; увидев темные ступени, глубокие каналы, массивные мосты, пустынные перистили этого мрачного замка, я осведомился о его названии, название же это не могло не напомнить мне о катастрофе, возведшей на престол Александра; я тотчас представил себе во всех подробностях роковую сцену, положившую конец царствованию Павла I.

Но это еще не все: кровавая ирония судьбы состоит в том, что при жизни владельца этого мрачного замка перед главным входом установили конную ста-
791 тую его отца Петра III, другой несчастной жертвы, чье имя император Павел стремился окружить почетом, дабы унизить имя своей славной матери. Сколько бесстрастных трагедий разыгралось в этой стране, где честолюбие и даже ненависть тщательно скрываются под маской спокойствия!! Жители Юга исполнены страстей, и эта страстность до какой-то степени примиряет меня с их

жестокостью; однако расчетливая сдержанность и хладнокровие жителей Севера набрасывают на преступление покров лицемерия: снег — маска; в здешних краях человек кажется добрым, потому что он равнодушен, однако люди, убивающие без ненависти, внушают мне гораздо большее отвращение, чем те, чья цель — месть. Разве культ отмщения не более естественен, чем предательство из корысти? Чем менее преднамерен злой поступок, тем меньше он меня ужасает. К несчастью, убийцы Павла руководствовались не гневом, но расчетом; они действовали весьма предусмотрительно. В России находятся добряки, которые утверждают, что заговорщики намеревались всего-навсего арестовать царя. Я видел потайную дверь, выходящую в сад неподалеку от широкого рва, и потайную лестницу, ведущую к покоям императора: этим путем Пален привел убийц. 791

Вот что он сказал им накануне вечером: «Либо завтра в пять утра вы убьете императора, либо в половине шестого я выдам вас ему». Сомневаться в успехе этой выразительной и лаконической речи не приходилось.

Сказав эти слова, Пален, боясь запоздалых приступов раскаяния, ушел из дома и возвратился лишь поздно ночью; чтобы наверняка не встретиться ни с кем из заговорщиков прежде назначенного часа, он принялся объезжать городские казармы: его интересовали настроения в войсках. i^i

Назавтра в пять утра Александр стал императором и прослыл отцеубийцей, хотя дал согласие (я в это верю) лишь на арест своего отца, ибо хотел спасти свою мать, да и самого себя, от тюрьмы, а может быть, и от смерти, а всю страну — от приступов ярости и безумных прихотей самодержца.

Сегодня русские проходят мимо старого Михайловского замка, не осмеливаясь поднять на него глаза: в школах, да и вообще где бы то ни было, запрещено рассказывать о смерти императора Павла; более того, запрещено принимать на веру этот эпизод, объявленный выдумкой. 792

Мне странно, что замок, пробуждающий столь неудобные воспоминания, не снесли: для путешественника увидеть старинное здание в стране, где по воле деспота повсюду царят новизна и единообразие, где мысль правителя ежедневно уничтожает следы прошлого, — большая удача. Впрочем, именно изменчивость мнений и спасла Михайловский замок: о нем забыли. Эта квадратная громада, окруженная глубокими рвами, этот замок, овеянный трагическими воспоминаниями, с его потайными дверями и лестницами, вдохновляющими на преступление, имеет величественный вид, что в Петербурге встречается не так уж часто; вдобавок — и это тоже большая редкость — он устремлен ввысь, в отличие от всех прочих здешних построек, распластавшихся по земле. На каждом шагу я с изумлением замечаю, что петербургские архитекторы смешивают воедино два таких различных искусства, как возведение зданий и постройка декораций. Петр Великий и его преемники приняли столицу за театр.

Меня поразила растерянность, с какой мой проводник выслушивал мои вполне естественные вопросы касательно событий, происшедших некогда в старом Михайловском замке. На лице у этого человека было написано: «Сразу видно, что вы у нас недавно». 792

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Как видите, здесь есть вещи, о которых все думают, но никто не говорит вслух. Изумление, ужас, недоверие, деланная невинность, притворное неведение, опытность старого пройдохи, которого трудно провести, — все эти чувства выражались поочередно на лице слуги, помимо воли этого человека превращая его лицо в забавную и поучительную книгу.

Шпион, обезоруженный вашим мнимым спокойствием, становится смешон, ибо, поняв, что вы не боитесь его, начинает бояться вас; шпион верит только в шпионство и, если вам удается выскользнуть из его сетей, воображает, что сам немедленно попадется в ваши.

Прогулка по петербургским улицам под охраной местного слуги — вещь, уверяю вас, крайне увлекательная и ничуть не похожая на поездки по столицам других стран цивилизованного мира. В государстве, управляемом с той железной логикой, какая лежит в основе русской политики, нет ничего случайного.

Оставив старинный Михайловский замок, стены которого хранят память
793 о былой трагедии, я пересек широкую площадь, просторами и безлюдностью напоминающую парижское Марсово поле. Общественный сад по одну сторону, несколько домов по другую, посередине песок и повсюду пыль — вот и вся площадь; форма ее неопределенна, величина огромна; она подходит к самой Неве;
793 там, ближе к воде, установлен бронзовый памятник Суворову.

Нева, ее мосты и набережные составляют истинную славу Петербурга. Она так широка, что рядом с ней все кажется крохотным. Нева — сосуд, наполненный до краев водой, которая готова во всякое время выплеснуться за эти края. Помоему, Венеция и Амстердам куда лучше защищены от моря, нежели Петербург.

Я не люблю плоских городов; без сомнения, соседство с рекой, широкой, как озеро, и текущей по заболоченной равнине среди небесных туманов и морских испарений, ничуть не на пользу столице. Рано или поздно вода покарает человека за его гордыню: даже гранит бессилен противостоять зимним морозам, свирепствующим в этом сыром леднике; стены и основания крепости, возведенной Петром Великим, уже дважды терпели поражение в битве с природой. Их восстановили — и придется восстанавливать еще не раз, дабы сохранить это чудесное творение гордыни и воли.

Мне захотелось тотчас же перейти на другой берег и получше рассмотреть знаменитую крепость; для начала слуга привел меня к расположенному перед
793 ней домику Петра Великого; от крепостных стен его отделяет пустырь, пересеченный дорогой. Хижина эта, как утверждают русские, выглядит сегодня точно так же, как выглядела при Петре. В крепости погребают императоров и содержат государственных преступников — странный способ чтить мертвецов!.. Размышляя обо всех слезах, которые проливаются там, ***под*** могилами русских самодержцев, начинаешь думать, что попал на похороны какого-нибудь азиатского властителя. Даже могила, омытая кровью, представляется мне меньшим святотатством; слезы текут дольше и, быть может, причиняют больше мучений.

Живя в хижине, император-работник наблюдал за строительством своей будущей столицы. В похвалу ему следует сказать, что тогда он больше заботился о городе, чем о дворце. Одна из комнат этой прославленной лачуги — та, что

служила царю-плотнику мастерской, — нынче превращена в часовню; люди входят в нее с таким же благоговением, как в самые прекрасные храмы империи. Русские охотно делают из своих героев святых. Им нравится смешивать воедино устрашающие добродетели своих повелителей и чудотворную мощь их небесных заступников; они стремятся освятить жестокости истории авторитетом веры.

Другой русский герой, на мой вкус нимало не заслуживающий восхищения, провозглашен греческим духовенством святым: это Александр Невский, образец осторожности, но не жертвенности. Русская церковь канонизировала этого монарха, скорее мудрого, чем отважного. Это — Улисс среди святых. Мощи его покоятся в построенном для этой цели огромном монастыре. 793

Могила князя-святого в соборе Александра Невского — сама по себе настоящий памятник; на ней установлен массивный серебряный алтарь, увенчанный серебряной же пирамидой, устремленной к сводам этого просторного храма. Монастырь с его церковью и гробницей — одно из русских чудес. Расположен он в конце улицы, которая называется ***Невский проспект,*** в части города, противоположной крепости. Я разглядывал гробницу Александра Невского скорее с изумлением, нежели с восхищением; искусства в этом памятнике нет и в помине, но роскошь его поражает воображение. Одна мысль о том, сколько людей и слитков серебра потребовалось для возведения такого мавзолея, исполняет душу ужасом. Я побывал в монастыре час назад. 793

Возвратимся к хижине царя. Мне показали построенный им ботик и некоторые другие вещи, принадлежавшие ему и сберегаемые с благоговейным почтением; подле них несет караул солдат-ветеран. В России при церквах, дворцах и многих общественных заведениях, а равно и частных домах, служат сторожами отставные солдаты. Эти несчастные покидают казарму в столь преклонных летах, что им не остается ничего другого, кроме как сделаться привратниками. На новом посту они продолжают носить солдатскую шинель — грубый шерстяной балахон тусклого, грязного цвета; у дверей любого дома, у ворот любого общественного заведения вас встречают люди, одетые таким образом, — призраки в мундирах, напоминающие вам, что вы живете в царстве дисциплины. Петербург — военный лагерь, ставший городом.

Проводник мой не оставил без внимания ни одну картину, ни одну деревяшку в императорской хижине. Охраняющий ее ветеран, зажегши несколько свечей в часовне — иными словами, прославленной конуре, показал мне спальню Петра Великого, императора всея Руси: нынешний плотник постыдился бы поселить в ней своего ученика.

Эта блистательная скромность дает нам понятия об эпохе, стране и человеке; русские выбивались из сил ради будущего, ибо те, кому предназначались великолепные дворцы, тогда еще не родились на свет, те же, кто их строили, не испытывали никакой нужды в роскоши и, удовлетворяясь ролью просветителей, гордились возможностью приготовить палаты для своих далеких потомков, неведомых властителей будущего. Спору нет, в желании народа и его вождя укрепить могущество и даже потешить тщеславие грядущих поколений выказывается немалое величие души; подобная вера в славу внуков благородна и своеобычна. Это

чувство бескорыстное, поэтическое и намного превосходящее чувства обычных людей и наций, питающих почтение не к потомкам, но к предкам.

В других краях великие города строятся в память о великих деяниях прошлого или вырастают сами по воле обстоятельств и истории, без видимого вмешательства людских расчетов, Петербург же с его роскошными постройками и необъятными просторами — памятник, который русские возвели во славу своего будущего могущества; надежда, подвигающая людей на такие труды, кажется мне величественной! Со времен постройки Иерусалимского храма вера народа в свою судьбу не создавала ничего более чудесного, чем Санкт-Петербург. Самое же замечательное в этом наследстве, завещанном императором его честолюбивой державе, состоит в том, что история его не отвергла.

Пророчество Петра Великого, воплощенное в гранитных глыбах посреди моря, в течение целого столетия сбывается на глазах всего мира. Когда понимаешь, что подобные фразы, остающиеся в любой другой стране простыми словами, здесь служат совершенно точным описанием достоверных фактов, исполняешься почтения и говоришь себе: такова Господня воля! Впервые гордыня кажется трогательной: всякое деяние, в котором сполна выказывается могущество человеческой души, достойно восхищения.

Впрочем, история России, что бы ни утверждала на этот счет невежественная и легкомысленная Европа, начинается отнюдь не при Петре I: Санкт-Петербурга не понять, не зная Москвы; явление императора Петра подготовили цари Иваны.

Освобождение Московии от многовекового чужеземного ига; осада и взятие Казани Иваном Грозным; ожесточенные сражения со шведами и многие другие более или менее блистательные происшествия — вот на чем держались гордыня Петра и смиренная вера в него русского народа. Поклонение неведомому всегда почтенно. Этот железный человек имел право положиться на будущее; люди с таким характером свершают то, о чем другие мечтают. Я представляю себе, как с простотой истинного вельможи, более того, истинного гения, сидел он на пороге этой хижины, наблюдая, как по его велению созидаются на страх Европе город, нация и история. Величие Петербурга исполнено глубокого смысла; этот могущественный город, одержавший победу над льдами и болотами, дабы впоследствии одержать победу над миром, потрясает — потрясает не столько взор,
793 сколько ум! А между тем это чудо обошлось в сотню тысяч человеческих жизней: русские крестьяне безропотно принесли их в жертву смертоносным болотам, ставшим сегодня столицей России.

В Германии нынче рождается научный шедевр: одну из столиц умело пре-
793 вращают в город, подобный городам Греции или старинной Италии; однако новому Мюнхену недостает древнего народа: русским недостало бы Петербурга.

Выйдя из домика Петра Великого, я вновь миновал мост через Неву, веду-
793 щий на острова, и вошел в петербургскую крепость.

Я уже говорил, что, хотя крепости этой, само название которой наводит ужас, не исполнилось еще и ста сорока лет, ее гранитные основания и стены уже дваж-
793 ды требовали обновления! Что за страшная борьба!

Здесь камни так же страждут от насилия, как и люди.

*

*

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Мне не позволили заглянуть в казематы, ни в те, что находятся под водой, ни в те, что расположены под крышей; все они полны узников. Меня допустили лишь в собор — усыпальницу царствующей фамилии. Я стоял перед этими могилами и продолжал искать их глазами, не в силах вообразить, что эти покрытые зеленым сукном с императорским гербом простые каменные плиты, длиной и шириной не больше постели, скрывают под собой прах Екатерины I, Петра I, Екатерины II и многих других монархов вплоть до императора Александра. 794 794

Греческая религия изгнала скульптуры из храмов, которые по этой причине утратили немалую долю роскоши и великолепия, но не сделались особенно аскетичными, ибо византийская религия мирится с позолотой, резьбой и даже живописью, и не стали больше располагать к молитве. Греки — потомки иконоборцев, но раз уж они сочли возможным немного смягчить в России суровые взгляды их отцов, они могли бы проявить и еще большую снисходительность.

В этой мрачной цитадели мертвые, как мне показалось, куда свободнее живых. Я задыхался в ее стенах. Если бы мысль поместить в одной могиле пленников императора и пленников смерти, заговорщиков и монархов, против которых они злоумышляли, была продиктована философическими взглядами, я отнесся бы к ней с уважением, но здесь я не вижу ничего, кроме цинизма абсолютной власти, кроме грубой самонадеянности деспотизма. Сверхъестественная мощь позволяет тирану пренебрегать мелкими человеческими чувствами, присущими любому другому властителю: российский император настолько преисполнен почтения к самому себе, что вершит свой суд, не вспоминая о суде Божьем. Мы, жители Запада, роялисты-революционеры, видим в государственном преступнике, заключенном в петербургскую крепость, лишь невинную жертву деспотизма, русские же видят в нем отверженного. Вот до чего доводит политическое идолопоклонство. Россия — страна, где беда покрывает незаслуженным позором всех, кого постигает.

Во всяком шорохе мне слышалась жалоба; камни стенали под моими ногами, сердце мое разрывалось от сочувствия к страдальцам, претерпевающим жесточайшие из всех мучений, какие человек когда-либо причинял себе подобным. О! как мне жаль узников этой крепости! Если судить о существовании русских, томящихся взаперти под землей, по жизни тех русских, что ходят по земле, нельзя не содрогнуться...

Мне приходилось видеть крепости в разных странах, но там это слово означает совсем не то, что в Петербурге. Я не в силах без ужаса думать о том, что люди, отличающиеся самой безответной преданностью, самой безукоризненной честностью, могут в любую минуту очутиться в подземных казематах петербургской крепости; сердце мое едва не выскочило из груди, когда я вновь перешел по мосту ров, окружающий эти печальные стены и отделяющий их от мира.

О! кто не преисполнился бы сострадания к этому народу? Русские — я имею в виду тех, кто принадлежит к высшим сословиям, — выказывают нынче невежество и предрассудки, на самом деле им уже не свойственные. Притворное смирение кажется мне величайшей гнусностью, до какой может опуститься нация рабов; бунт, отчаяние были бы, конечно, более страшны, но менее подлы; слабость,

которая пала так низко, что не позволяет себе даже жалобного стона — этого утешения невольников; страх, изгоняемый страхом еще более сильным, — все это нравственные феномены, которые невозможно наблюдать, не проливая кровавые слезы.

Посетив усыпальницу русских самодержцев, я возвратился в квартал, где
794 расположена моя гостиница, и велел отвести меня в католическую церковь, где службу отправляют монахи-доминиканцы. Я хотел, чтобы они отслужили мессу по случаю годовщины, которую я всегда, где бы ни оказался, отмечал в католической церкви. Доминиканский монастырь находится на Невском проспекте, прекраснейшей улице Петербурга. Церковь скромна и не отличается особым великолепием; монастырские помещения пустынны, дворы загромождены обломками камня, и повсюду царит печаль: кажется, несмотря на благоволение властей, община живет небогато и не чувствует уверенности в завтрашнем дне. В России религиозная терпимость не имеет опоры ни в общественном мнении, ни в государственном устройстве: как и все прочее, она — результат милости одного человека, способного завтра отнять то, что ему заблагорассудилось пожаловать сегодня.

Ожидая, пока освободится настоятель, я принялся осматривать церковь и внезапно увидел под ногами камень, на котором прочел имя, живо меня взволно-
794 новавшее: Понятовский!.. Жертва собственного фатовства, этот легковерный любовник Екатерины II погребен здесь, в безвестной могиле; однако, лишенный того величия, какое сообщает власть, он в полной мере сохранил то величие, какое даруется несчастьем; бедствия этого монарха, его слепота, за которую он так жестоко поплатился, коварство его политических противников — все это будет вечно привлекать к его могиле всех путешественников-христиан.

795 Подле короля-изгнанника предано земле изувеченное тело Моро. Император Александр приказал доставить его сюда из Дрездена. Мысль воссоединить останки двух столь достойных жалости людей, дабы возносить единую молитву в память об их несчастьях, представляется мне одной из самых великодушных **идей монарха, который — не забудем об этом! — сохранил благородство при въезде**
795 в город, только что покинутый Наполеоном.

Около четырех часов пополудни я наконец вспомнил, что прибыл в Россию не только для того, чтобы осматривать более или менее любопытные памятники и предаваться более или менее философическим размышлениям, и бросился
795 к французскому послу.

Там меня постигло жестокое разочарование: я узнал, что бракосочетание великой княжны с герцогом Лейхтенбергским состоится послезавтра и я уже не успею представиться императору прежде этой церемонии. Меж тем побывать в стране, где все самое важное вершится при дворе, и не увидеть придворного празднества — значит не увидеть ровно ничего.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Поездка на острова. — Своеобразие пейзажа. — Искусственные красоты. — Протяженность русских городов. — Русские «украшают улицы». — Их манера располагать цветы в доме. — Англичане поступают наоборот. — Самые заурядные растения наших лесов здесь — редкость. — Воспоминания о пустыне в глубине садов. — Цель цивилизации на Севере. — Счастье в России невозможно. — Жизнь светских людей на островах. — Мимолетность хорошей погоды. — Переселение в город в конце августа. — В других больших городах жизнь куда более основательна, нежели в Петербурге. — Равенство при деспотической власти. — Суровость правительств, действующих чересчур логично. — Деспотизм в полный рост. — Чтобы жить в России, следует быть русским. — Основные черты русского общества. — Деланная верность монарху. — Несчастье всемогущего властителя. — Источник частных добродетелей абсолютного монарха. — Павильон императрицы на островах. — На что похожа толпа, ожидающая появления императрицы. — Клопы на постоялых дворах. — Они встречаются и в императорском дворце. — Портрет славянина-простолюдина. — Его красота. — Красивых женщин здесь меньше, чем красивых мужчин. — Национальный головной убор женщин. — Неуклюжие экипажи. — Состояние русских крестьян. — Взаимоотношения крестьян с помещиками. — Они выкупают себя сами. — Богатство частных лиц зависит от императора. — Помещики, убитые крепостными. — Размышления. — Живой товар. — Отвратительная роскошь. — Различия между положением рабочих в свободных странах и участью крепостных крестьян в России. — Торговля и промышленность изменят нынешнее положение. — Обманчивая видимость. — Никто не желает разъяснять вам истинное положение дел. — Старания скрыть истину от чужестранцев. — Петр I узурпировал религиозную власть: этого зла не искупить всем тем добром, какое совершил этот император. — Русская аристократия не исполняет своего долга перед самой собой и перед народом. — Недоверчивые взгляды русских. — Их поведение по отношению к путешественникам-литераторам. — Состояние медицины в России. — Всеобщая скрытность. — Русские доктора не слишком хорошие врачеватели, но из них вышли бы неплохие летописцы. — Позволение присутствовать на свадьбе великой княжны Марии. — Особая милость.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Петербург, 12 июля 1839 года, eewp

Меня повезли на острова; это — прелестное болото; никогда еще никому не удавалось так удачно скрыть тину цветами. Вообразите себе сырую низину, откуда, однако, в летнее время вода отступает благодаря осушительным каналам: низину эту засадили великолепной березовой рощей и выстроили здесь множество очаровательных загородных домов. Видя здешние березовые аллеи (а березы и сосны — единственные деревья, произрастающие в северных ледяных пустынях), воображаешь, будто попал в английский парк. Острова — не что иное, как огромный сад, усеянный виллами и коттеджами и заменяющий жителям Петербурга загородную местность; бивуак царедворцев, густо населенный в течение недолгой летней поры и пустующий во все остальное время года.

Туда ведут несколько очень красивых дорог и переброшенные через разные рукава реки мосты.

Гуляя по тенистым аллеям, чувствуешь себя за городом, однако загородная эта местность однообразна и лишена естественности. Почва повсюду совершенно ровная, а деревья одни и те же: откуда же взяться живописным видам? Старания людей лишь в очень малой мере исправляют изъяны природы. Усовершенствуя Господне творение, люди сделали здесь все, что могли, но добились очень немногого. В северных широтах тепличные растения, экзотические плоды, даже подземные сокровища — золото и драгоценные камни — не так редки, как самые обычные деревья, произрастающие в наших лесах: за деньги здесь можно раздобыть все, что добывается из-под земли и выращивается под стеклом; для волшебной сказки этого достаточно, для парка — нет. Каштановая или дубовая роща из тех, что украшают наши холмы, показалась бы в Петербурге чудом: дома итальянской архитектуры, окруженные лапландскими деревьями и украшенные цветами, которые привезены со всех концов света, производят впечатление странное, но не слишком приятное.

Парижане, никогда не забывающие свой родной город, назвали бы эту аккуратную сельскую местность русскими Елисейскими полями, однако петербургские острова обширнее, имеют вид одновременно и более деревенский, и более разукрашенный, более искусственный. Кроме того, они гораздо дальше от аристократических кварталов, чем парижские Елисейские поля. Острова — разом и город, и загородная местность; иной раз, увидев луга, отвоеванные у торфяных болот, вы начинаете верить, будто попали в настоящую деревню, с лесами и полями, однако дома в виде храмов, теплицы, украшенные пилястрами, колоннады перед дворцами, театральные залы с античными перистилями напоминают вам, что вы находитесь в городе.

Русские по праву гордятся садами, ценой бесчисленных усилий разбитыми на пористой петербургской почве, однако природа, даже побежденная, не забывает о своем поражении и подчиняется человеку с большой неохотой: за оградой парка простирается неухоженная земля. Счастливы страны, где земля и небо соревнуются в щедрости, украшая и облегчая жизнь людей!

Я не стал бы упоминать о недостатках этой обделенной Богом земли, не стал бы, путешествуя по северной стране, скучать о южном солнце, не подчеркивай

ПИСЬМООДИННАДЦАТОЕ

русские своего полного презрения ко всему, чего лишено их отечество: они довольны всем, вплоть до климата, вплоть до почвы; фанфароны от природы, они хвастают не только обществом, но и природой своей страны; притязания их изгоняют из моей души смирение, каковое я почитал своим долгом и каковое намеревался выказать, странствуя по северному краю.

Нынче все пространство, отделяющее город от одного из устьев Невы, занято своеобразным парком, входящим, однако, в пределы Петербурга: всякий русский город — целая страна. Острова сделались бы очень многолюдным кварталом, если бы наследники Петра более точно следовали его плану. Однако мало-помалу в надежде спастись от наводнений жители нового города начали отодвигать строительство к югу, а болотистые острова отвели исключительно для загородных домов богатейших и элегантнейших придворных; в течение девяти месяцев эти дома остаются наполовину залиты водой и покрыты снегом; в эту пору подле летнего дворца императрицы воют волки. Зато в оставшиеся три месяца на месте льдов расцветают роскошнейшие цветы; впрочем, сквозь эту искусственную элегантность просвечивает туземная природа; стремление блистать — главная страсть русских, поэтому цветы в своих гостиных они зачастую располагают не так, чтобы сделать комнату уютнее, но так, чтобы произвести впечатление на прохожих; совершенно противоположным образом поступают англичане, не желающие ***украшать улицу.*** Англичанам лучше, чем любому другому народу земли, удалось заменить стиль вкусом: их памятники смехотворны, зато частные дома их — образцы изящества и здравого смысла.

На островах все дома и дороги похожи. Впрочем, чужестранец гуляет здесь, не испытывая скуки, по крайней мере в первый день. Тень, отбрасываемую березами, не назовешь густой, однако от северного солнца и не хочется укрываться. На смену озеру приходит канал, на смену лугу — роща, на смену хижине — вилла, на смену аллее — другая аллея, в конце которой вас ждут виды, в точности похожие на те, которыми вы наслаждались только что. Картины эти пленяют воображение, хотя и не вызывают живого интереса, не возбуждают любопытства: здесь царит покой, а покой для русских придворных вещь драгоценная, хотя они и не умеют его ценить.

В течение нескольких месяцев русских аристократов, переселившихся на летние квартиры, развлекает театр. Театральная зала окружена искусственными реками, тенистыми каналами, образующими своего рода водные аллеи, причем вода эта иногда растекается в небольшие озера, берега которых поросли травой... впрочем, разве это трава?! это — чудесное творение искусства, торжествующего победу над землей, способной рождать лишь вереск и лишайники; глазу путника предстает множество домов, утопающих в цветах и прячущихся среди деревьев, словно беседки в английском парке; увы, несмотря на все эти чудеса, бледная и однообразная северная растительность придает этому городу-саду печальный вид! Самая разорительная роскошь здесь не может считаться излишней, ибо для того, чтобы получить вещи, в других широтах совершенно естественные и почитающиеся предметами первой необходимости, здесь приходится тратить миллионы и прибегать ко всевозможным ухищрениям мастеров.

ПИСЬМООДИННАДЦАТОЕ

Кое-где позади дощатых, но покрашенных под кирпич *вилл* высятся вдалеке тощие и печальные стволы сосен. Эти символы пустынных просторов разрушают нестойкую красоту садов, лишний раз напоминая о суровых зимах и соседстве Финляндии.

На севере цивилизация преследует цели далеко не шуточные. В этих широтах общество созидается не любовью к удовольствиям, не интересами и страстями, которые нетрудно удовлетворить, но могучей волей, осужденной беспрестанно преодолевать препятствия и подвигающей народы на невообразимые усилия. Если личности здесь объединяются, то в первую голову для того, чтобы бороться с мятежной природой, плохо поддающейся любым попыткам людей преобразить ее. Печальный и суровый облик физического мира вселяет в души местных жителей тоску, которой, на мой взгляд, объясняются политические трагедии, столь часто происходящие при русском дворе. Драмы здесь разыгрываются в действительной жизни, на сцене же идут водевили, нисколько никого не пугающие; здесь из театров предпочитают «Жимназ», из писателей Поля де Кока. В России дозволены лишь те развлечения, что начисто лишены смысла. При такой суровой жизни серьезная литература никому не нужна. На фоне этой страшной действительности успех могут иметь лишь фарс, идиллия или весьма иносказательная басня. Если же в этом невыносимом климате деспотическая власть еще усугубит тяготы существования новыми указами, человек навсегда утратит всякую возможность вкушать счастье и покой. Безмятежность, блаженство — здесь эти слова звучат так же неопределенно, как слово «рай». Лень без отдыха, тревожное бездействие — вот к чему неминуемо приводит северное самодержавие.

Русские не умеют наслаждаться жизнью в той загородной местности, которую сами создали у своего порога. Женщины ведут летом на островах точно такой же образ жизни, как зимой в Петербурге: встают поздно, днем занимаются своим туалетом, вечером ездят в гости, а ночь проводят за карточными столами; забыться, одурманить себя — вот явная цель всех здешних жителей.

Весна на островах начинается в середине июня и продолжается до конца августа; на эти два месяца обычно — кроме нынешнего года, являющегося исключением, — приходится в общей сложности семь-восемь жарких дней; вечера здесь промозглые, ночи светлые, но туманные, дни пасмурные; в таких условиях предаваться раздумьям — значит обречь себя на невыносимую тоску. В России разговор равен заговору, мысль равна бунту: увы! мысль здесь не только преступление, но и несчастье.

Человек мыслит только ради того, чтобы улучшить свою участь и участь себе подобных, но, если ему не дано изменить что бы то ни было в своем и чужом существовании, бесполезная мысль растравляет душу и от нечего делать пропитывает ее ядом. Вот, кстати, отчего русские аристократы танцуют на балах в любом возрасте.

Лишь только кончается лето, в Петербурге начинает моросить дождь, и его острые, как иголки, струи недели напролет падают на острова. В первые же два дня непогоды с берез облетают листья, цветы увядают, а дома пустеют; по улицам и мостам без остановки тянутся в город грязные телеги, на которые со славянской

небрежностью навалены в беспорядке мебель, ковры, доски, сундуки,[1] летний этот обоз тащится на другой конец города, а тем временем владельцы всех перевозимых сокровищ спешат на зимние квартиры в элегантных дрожках или экипажах, запряженных четверкой лошадей. Таким образом, северные богачи, очнувшись от мимолетных летних грез, отступают под натиском Борея, а острова остаются в распоряжении медведей и волков — законных владельцев этого края! Над ледяными болотами воцаряется молчание, а легкомысленное общество на девять месяцев прерывает свои представления на театре пустыни. Актеры и зрители покидают деревянный город и переселяются в каменный, почти не замечая разницы, ибо зимними петербургскими ночами снег блестит почти так же ярко, как солнце летними днями, а русские печи греют теплее, чем косые солнечные лучи.

Представление оканчивается: рабочие сцены разбирают декорации и гасят свечи, цветы, росшие на театре по прихоти актеров, вянут, и в течение следующих девяти месяцев лишь редкие деревья изнывают в одиночестве над поросшими камышом торфяными болотами, которые прежде звались Ингрией и из которых каким-то чудом явился Петербург.

То, что ежегодно происходит с островами, рано или поздно произойдет с целым городом. Стоит монарху на один день забыть эту столицу, не имеющую корней ни в истории, ни в почве, стоит ему под влиянием новых политических веяний обратить взор в иную сторону, и сдерживающий реку гранит искрошится, низины вновь покроются водой и вся эта безлюдная местность отойдет к ее первоначальным хозяевам. 796

Подобные мысли посещают всех иностранцев, прогуливающихся по улицам Петербурга; никто не верит в долголетие этой волшебной столицы. Плох тот путешественник, кто не склонен к раздумьям, а между тем стоит задуматься, как понимаешь, что достаточно России начать войну или переменить политический курс, и творение Петра лопнет, как мыльный пузырь.

Нигде я так ясно не ощущал непостоянства всего земного, как в Петербурге; и в Париже и в Лондоне мне случалось сказать себе: настанет день, когда эти шумные торжища сделаются молчаливее Афин и Рима, Сиракуз и Карфагена, однако когда речь идет о европейских столицах, очевидно, что ни времени, ни непосредственных причин этого превращения не дано знать ни одному смертному, тогда как исчезновение Петербурга предсказать нетрудно; оно может произойти хоть завтра, под звуки победных песен торжествующего народа. У других столиц закат следует за истреблением жителей, эта же столица погибнет в ту самую пору, когда положение русских в мире упрочится. Я столько же верю в долговечность Петербурга, сколько в жизнестойкость политических систем и людское постоянство. Ни об одном другом городе мира этого сказать нельзя.

Что за страшная сила — та, которая, возведя столицу в пустыне, может одним словом возвратить дикой природе все, что было у нее отнято! Здесь собственной жизнью распоряжается только монарх: судьба, мощь, воля целого народа — все пребывает в руках одного человека. Российский император — олицетворение

[1] **Автор лично наблюдал эту неприглядную картину на обратном пути из Москвы.**

747

общественного могущества; среди его подданных в теории — а может быть, и на практике — царит то равенство, о каком мечтают нынешние галло-американские демократы, фурьеристы и проч. Однако для русских существует причина грозы, неведомая иным народам, — гнев императора. Тирания, республиканская ли, монархическая ли, вселяет в души ненависть к абсолютному равенству. Ничто так не пугает меня, как железная логика, примененная к политике. Если Франция уже десять лет живет в материальном довольстве, то, быть может, оттого, что за видимой бессмысленностью ее деятельности скрывается высшая практическая мудрость; к счастью для нас, нами правит реальность, пришедшая на смену умозрительным построениям.

В России деспотическая система действует, как часы, и следствием этой чрезвычайной размеренности является чрезвычайное угнетение. Видя эти неотвратимые результаты непреклонной политики, испытываешь возмущение и с ужасом спрашиваешь себя, отчего в деяниях человеческих так мало человечности. Однако не стоит путать трепет с презрением: мы не презираем то, чего боимся.

Глядя на Петербург и размышляя о страшном существовании жителей этого гранитного лагеря, можно усомниться в Господнем милосердии, можно стенать и возносить проклятия, но невозможно соскучиться. Это непостижимо, но великолепно. Деспотизм, подобный здешнему, представляет собой неисчерпаемый источник наблюдений и размышлений. Эта колоссальная империя, представшая моему взору на востоке Европы, той самой Европы, где повсюду общество страждет от отсутствия общепризнанной власти, кажется мне посланницей далекого прошлого. Мне кажется, будто на моих глазах воскресает ветхозаветное племя, и я застываю у ног допотопного гиганта, объятый страхом и любопытством.

Всякому, кто въезжает в пределы Российской империи, первым делом бросается в глаза, что общество, устроенное так, как здесь, пригодно только для здешних жителей: чтобы жить в России, следует быть русским; впрочем, по видимости все здесь вершится так же, как и в других странах. Не то — по сути.

Сегодня вечером на островах я мог лицезреть здешний модный свет; говорят, модный свет повсюду одинаков, но я обращал внимание лишь на детали, характерные для здешнего света: дело в том, что у каждого общества есть душа, и, сколько бы эта душа ни брала уроков у феи, именуемой цивилизацией и являющейся просто-напросто модой данного века, она сохраняет свой природный нрав.

Нынче вечером весь Петербург, иными словами, двор, включая его непременную свиту — челядь, собрался на островах — не ради того, чтобы бескорыстно насладиться прекрасной прогулкой (бесчисленным русским царедворцам такое времяпрепровождение показалось бы пошлым), но ради того, чтобы взглянуть на пакетбот императрицы: подобные забавы здесь никогда не наскучивают. В России всякий правитель — бог, всякая монархиня — Армида и Клеопатра. За этими изменчивыми божествами следует кортеж вечно преданных слуг, пеших, конных и восседающих в экипажах; самодержец в этой стране всегда почитается всемогущим и никогда не выходит из моды.

Однако, что бы ни говорили эти покорные подданные, что бы они ни делали, восторг их остается принужденным: это — любовь стада к пастуху, который

кормит его, чтобы зарезать. У народа, лишенного свободы, есть инстинкты, но нет чувств, инстинкты же нередко дают о себе знать в форме грубой и навязчивой: покорство подданных не может не утомлять российских императоров; порой и кумиру надоедает ладан. По правде говоря, поклонение это не раз нарушали чудовищные измены. Русское правительство — абсолютная монархия, 797
ограниченная убийством, меж тем когда монарх трепещет, он уже не скучает; им владеют попеременно ужас и отвращение. Деспоту в его гордыне потребны рабы, человек же ищет себе подобных; однако подобных царю не существует; этикет и зависть ревностно охраняют его одинокое сердце. Он достоин жалости едва ли не в большей степени, нежели его народ, особенно если он чего-нибудь стоит.

Все кругом наперебой расхваливают семейственные радости, которые вкушает император Николай, однако мне видится в этом скорее утешение прекрасной души, нежели доказательство безоблачного счастья. Утешение — еще не блаженство: напротив, необходимость лечения доказывает наличие болезни; если у российского императора великая душа, то придворная жизнь не может полностью занять ее; отсюда — частные добродетели императора Николая.

Нынче вечером императрица покинула Петергоф и морем прибыла на острова; здесь в своем загородном доме она пробудет до бракосочетания ее дочери, которое состоится завтра в новом Зимнем дворце. Когда императрица находится на островах, под сенью деревьев, окружающих ее дом, с утра до вечера несет караул полк кавалергардов — один из прекраснейших полков в русской армии. 798

Мы прибыли слишком поздно и не смогли увидеть, как государыня сходит на сушу со своего священного корабля, однако толпа, мимо которой только что промелькнула коронованная звезда, еще не оправилась от потрясения. В России единственный дозволенный шум суть крики восхищения. Явление императрицы оставило среди царедворцев след, какой оставляет в море большое судно. Бурлящее человеческое море в тот вечер было точь-в-точь похоже на волны, продолжающие пениться позади мощного военного корабля уже после того, как корабль этот, гордо мчащийся вперед на всех парусах, достигнет гавани.

Итак, я наконец вдохнул воздух двора! Однако до сей поры я еще не лицезрел ни одного из тех божеств, чьей волей вдыхают этот воздух простые смертные!

Самые замечательные загородные дома выстроены вокруг императорской усадьбы или по крайней мере в соседстве с ней. Человек здесь черпает силу во взглядах повелителя, как растение черпает силу в солнечных лучах; воздух — собственность императора, каждый вдыхает его ровно столько, сколько ему дозволяется: у истинного царедворца легкие так же гибки, как и стан.

Всюду, где есть двор и общество, люди расчетливы, но нигде расчетливость не носит такого неприкрытого характера. Российская империя — огромная театральная зала, где из всякой ложи видно, что творится за кулисами.

Теперь час ночи, скоро взойдет солнце; я еще не сплю и окончу ночь так же, как ее начал, сочиняя письмо к вам *без света.*

Хотя русские и притязают на элегантность, во всем Петербурге невозможно найти сносную гостиницу. Знатные вельможи, приезжая в столицу из глубины империи, привозят с собой многочисленную дворню: поскольку люди являются

их собственностью, они держат их за предметы роскоши. Оставшись одни в господских покоях, слуги, как истинные уроженцы Востока, немедленно разваливаются в креслах и на диванах, оставляя повсюду клопов, которые из-под диванной обивки переползают в деревянные подлокотники и ножки мебели, а оттуда — на стены, пол и потолки; несколько дней спустя они заполняют все жилище, причем невозможность проветрить комнаты в зимнее время лишь усугубляет зло.

Новый императорский дворец, восстановленный такой дорогой ценой, уже кишит этими тварями; можно подумать, будто несчастные рабочие, расставшиеся с жизнью ради того, чтобы поскорее отделать палаты своего повелителя, заранее отомстили за свою гибель, заразив эти гибельные стены мерзостными насекомыми; некоторые комнаты дворца пришлось закрыть еще прежде, чем в них вселились хозяева. Если эти ночные супостаты не миновали даже дворца, каково же придется мне у Кулона? Отчаяние овладевает мной, но белые ночи заставляют забыть обо всех невзгодах.

В полночь я вернулся с островов и тотчас вновь покинул гостиницу; я отправился бродить по улицам, чтобы собраться с мыслями и вспомнить самые интересные из бесед, которые вел сегодня; я скоро дам вам о них краткий отчет.

Прогуливаясь в одиночестве, я вышел на прекрасную улицу, называемую Невский проспект. Вдали поблескивали в лучах заката колонны Адмиралтейства. Шпиль этого христианского минарета — длинная металлическая игла острее любой готической колокольни — сверху донизу покрыт золотом; Петр I пустил на позолоту дукаты, присланные ему в дар Голландскими Соединенными Штатами.

798

Моя невыносимо грязная комната на постоялом дворе и этот сказочно роскошный памятник — вот Петербург.

Как видите, в этом городе, где Европа показывает себя Азии, а Азия — Европе, нет недостатка в контрастах.

Народ здесь красив; чистокровные славяне, прибывшие вместе с хозяевами из глубины России или ненадолго отпущенные в столицу на заработки, выделяются светлыми волосами и свежим цветом лица, но прежде всего — безупречным профилем, достойным греческих статуй; восточные миндалевидные глаза, как правило, по-северному сини, а взгляд их разом кроток, мил и плутоват. Радужная оболочка этих беспокойных глаз переливается разными цветами от змеино-зеленого до серого, как у кошки, и черного, как у газели, в основе своей оставаясь синей; золотистые пушистые усы топорщатся надо ртом безупречно правильной формы, в котором сияют ослепительно белые зубы, почти всегда совершенно ровные, но иной раз остротой своей напоминающие клыки тигра или зубья пилы. Наряд этих людей почти всегда самобытен; порой это греческая туника, перехваченная в талии ярким поясом, порой длинный персидский халат, порой короткая овчинная куртка, которую они носят иногда мехом наружу, а иногда внутрь — смотря по погоде.

798

Женщины из народа не так хороши; на улице их немного, а те, кто мне попадались, малопривлекательны; вид у них забитый. Странная вещь! мужчины заботятся о своем туалете, женщины же относятся к нему с небрежением. Быть

может, причина в том, что мужчины прислуживают знатным вельможам. У простолюдинок тяжелая поступь; ноги их обуты в уродливые сапоги грубой кожи; и лица, и стан их лишены изящества; даже у молодых землистый цвет лица, особенно бросающийся в глаза на фоне свежих лиц мужчин. Женщины из народа носят короткую куртку, распахнутую на груди и отороченную мехом, чаще всего рваным и свисающим клочьями. Наряд этот был бы неплох, умей они его *подать,* как говорят наши торговцы, и не отличайся большинство его владелиц уродливой фигурой и отвратительной нечистоплотностью; национальный головной убор русских женщин красив, но нынче почти совершенно вышел из употребления: я слышал, что его носят лишь кормилицы да светские женщины в дни 798
придворных церемоний; убор этот — расширяющаяся кверху картонная башен- 799
ка, расшитая золотом.

Упряжки здесь весьма живописны, кони быстры, горячи, норовисты, однако все экипажи, которые я видел сегодня на островах, не исключая и карет самых знатных вельмож, неуклюжи, а иной раз и грязны. Теперь я понимаю, отчего слуги наследника, которых я видел в Эмсе, были так неаккуратны и неопрятны, отчего его кареты выглядели такими тяжеловесными и уродливыми. Русские вельможи любят пускать пыль в глаза, поражать роскошью и позолотой; к изяществу и чистоте они равнодушны. Одно дело — потрясать своим богатством воображение прохожих, другое — наслаждаться им втайне, пытаясь таким образом скрыть от самого себя ничтожный удел рода человеческого.

Нынче вечером я узнал много любопытного относительно того, что именуется русским крепостным правом.

Нам трудно составить верное представление об истинном положении русских крестьян, лишенных каких бы то ни было прав и тем не менее составляющих большинство нации. Поставленные вне закона, они отнюдь не в такой степени развращены нравственно, в какой унижены социально; они умны, а порой и горды, но основа их характера и поведения — хитрость. Никто не вправе упрекать их за эту черту, естественно вытекающую из их положения. Хозяева постоянно обманывают крестьян самым бессовестным образом, а те отвечают на обман плутовством.

Взаимоотношения крестьянина с помещиками, владеющими землей, равно как и с отечеством, — иными словами, с императором, воплощающим в себе государство, — могли бы стать предметом целого исследования; ради одного этого стоило бы пробыть в сердце России длительное время.

Во многих областях империи крестьяне считают, что принадлежат земле, и такое положение дел кажется им совершенно естественным, понять же, каким образом люди могут принадлежать другим людям, им очень трудно. Во многих других областях крестьяне думают, что земля принадлежит им. Это — не самые послушные, но самые счастливые из рабов.

Встречаются среди крестьян такие, которые, когда хозяин собирается их продать, умоляют какого-нибудь другого помещика, слывущего добрым, купить их вместе с детьми, скотом и землей, если же этот барин, славящийся своим мягкосердечием (не говорю: справедливостью, ибо понятие о справедливости неведомо

даже тем из русских, кто лишены какой бы то ни было власти), если же этот вожделенный барин нуждается в деньгах, они готовы ссудить его необходимой суммой, лишь бы принадлежать ему. Тогда добрый барин, отвечая на просьбы крестьян, покупает их на собственные деньги, и они становятся его крепостными, а он на некоторое время освобождает их от оброка. Таким образом, зажиточный раб, можно сказать, вынуждает неимущего помещика приобрести в вечную собственность самого этого раба и его потомство, ибо предпочитает скорее принадлежать ему и его наследникам, нежели быть купленным хозяином, ему неизвестным, либо таким, который слывет в округе жестоким. Как видите, русские крестьяне не слишком прихотливы.

Величайшее несчастье, которое может приключиться с этими людьми-растениями, — продажа их родной земли; крестьян продают обычно вместе с той нивой, с которой они неразрывно связаны; единственное действительное преимущество, какое они до сих пор извлекали из современного смягчения нравов, заключается в том, что теперь продавать крестьян без земли запрещено. Да и то запрет этот можно обойти с помощью всем известных уловок: так, вместо того чтобы продать все поместье вместе со всеми крестьянами, продают лишь несколько арпанов, а в придачу крестьян, по сто-двести на арпан. Если власти узнают об этом обмане, они наказывают виновного, однако возможность вмешаться предоставляется им очень редко, ибо преступников отделяет от высшей власти, то есть императора, целая череда людей, заинтересованных в том, чтобы злоупотребления никогда не прекращались и совершались под покровом тайны...

Помещики, особенно те, чьи дела расстроены, страдают от такого положения дел не меньше крестьян. Продать землю трудно, — так трудно, что человек, отягощенный долгами и желающий их заплатить, кончает тем, что закладывает свои земли в имперский банк. Таким образом, император становится казначеем и кредитором всех русских дворян, а дворяне, попав в зависимость от высшей власти, утрачивают возможность исполнять свой долг перед народом.

Однажды один помещик хотел продать некий участок земли; узнав об этом намерении, крепостные встревожились; они направили к барину старейших крестьян, которые бросились к его ногам и со слезами признались, что не хотят, чтобы их продавали. «Ничего другого не остается, — отвечал помещик, — не в моих правилах увеличивать сумму оброка; с другой стороны, я не так богат, чтобы владеть землей, не приносящей мне почти никакой прибыли». «Значит, все дело в этом, — воскликнули крепостные депутаты, — в таком случае, вы можете не продавать нас: мы достаточно богаты». И они немедленно и совершенно добровольно увеличили вдвое тот оброк, какой платили барину с незапамятных времен.

Другие крестьяне, не столь кроткие и наделенные куда более извращенным и хитрым умом, восстают против барина с единственной целью — сделаться казенными крестьянами. Это — мечта всех русских крестьян.

Дать этим людям свободу внезапно — все равно что разжечь костер, пламя которого немедля охватит всю страну. Стоит этим крестьянам увидеть, что землю продают отдельно, что ее сдают внаем и обрабатывают без них, как они начинают бунтовать все разом, крича, что у них отнимают их добро.

ПИСЬМООДИННАДЦАТОЕ

Недавно в одной отдаленной деревне начался пожар; крестьяне, давно страдавшие от жестокости помещика, воспользовались суматохой, которую, возможно, сами и затеяли, и, схватив своего супостата, посадили его на кол, а затем изжарили живьем в пламени пожара; они почитали себя невиновными в этом преступлении, ибо могли поклясться, что злосчастный помещик хотел сжечь их дома и они просто-напросто защищались.

Чаще всего в подобных случаях император приказывает сослать всю деревню в Сибирь; вот что подразумевают в Петербурге под *заселением Азии.*

Размышляя о подобных происшествиях и тысяче других более или менее тайных жестокостей, свершающихся постоянно в глубине огромной Российской империи, где расстояния благоприятствуют и бунту и гнету, я проникаюсь ненавистью к этой стране, ее правительству и всему населению; меня охватывает неизъяснимая тоска и желание бежать отсюда.

Прежде меня забавляло обилие цветов и ливрейных лакеев в богатых домах; теперь оно меня возмущает, и я упрекаю себя в давешней радости как в преступлении: здесь состояние помещика исчисляется душами крестьян. Человек здесь лишен свободы и превращен в деньги; он приносит своему барину, почитаемому свободным оттого, что он владеет рабами, около десяти рублей в год, а в иных областях в три-четыре раза больше. Цена на человеческий товар меняется в России так, как меняется у нас цена на землю в зависимости от того, как выгодно можно сбыть выращиваемые на ней плоды. Живя здесь, я помимо воли постоянно подсчитываю, во сколько семей обошлась какая-нибудь шляпка или шаль; войдя в дом и увидев розу или гортензию, я смотрю на нее не теми глазами, что всегда; все кругом кажется мне политым кровью; я замечаю только обратную сторону медали. Я больше думаю о том, сколько душ было замучено до смерти ради того, чтобы купить ткань на обивку кресла или на платье хорошенькой придворной дамы, чем об уборе этой дамы и ее прелестях. Эти печальные расчеты так увлекают меня, что я сам чувствую, как становлюсь несправедливым. Личико той или иной очаровательной особы вдруг, сколько бы я в глубине души этому ни противился, напоминает мне о карикатурах на Бонапарта, распространявшихся в 1813 году во Франции и во всей Европе. Издали император выглядел на рисунке совсем как живой, но, приглядевшись, вы замечали, что вместо штрихов здесь использованы изуродованные человеческие трупы.

Повсюду бедняк работает на богача, а тот ему платит; но этот бедняк, отдающий свое время другому человеку в обмен на деньги, не проводит всю жизнь в загоне для скота и, несмотря на необходимость трудиться для того, чтобы добыть пропитание своим детям, пользуется некоторой свободой хотя бы по видимости, — а ведь для созданий с ограниченным кругозором и безграничным воображением видимость — это почти все.

У нас наемный работник имеет право переменять хозяина, жилье и даже род занятий; никто не смотрит на его труд как на ренту нанявшего его богача; иное дело русский крестьянин; он — вещь, принадлежащая барину, он вынужден от рождения до смерти служить одному и тому же хозяину, поэтому хозяин видит в его жизни не что иное, как мельчайшую долю той суммы, что потребна для

ежегодного удовлетворения его прихотей; без сомнения, в государстве, устроенном таким образом, страсть к роскоши перестает быть невинной забавой; здесь она непростительна. Всякому обществу, где не существует среднего класса, следовало бы запретить роскошь, ибо единственное, что оправдывает и извиняет благополучие высшего сословия, — это выгода, которую в странах, устроенных разумным образом, извлекают из тщеславия богачей труженики третьего сословия.

Если, как утверждают иные русские, Россия скоро станет промышленной страной, отношения крепостных с их владельцами не замедлят измениться; между помещиками и крестьянами вырастет сословие независимых купцов и ремесленников, которое сегодня еще только начинает создаваться, причем исключительно из иностранцев. Почти все фабриканты, коммерсанты, купцы в России — немцы.

Здесь очень легко обмануться видимостью цивилизации. Находясь при дворе, вы можете почитать себя попавшим в страну, развитую в культурном, экономическом и политическом отношении, но, вспомнив о взаимоотношениях различных сословий в этой стране, увидев, до какой степени эти сословия немногочисленны, наконец, внимательно присмотревшись к нравам и поступкам, вы замечаете самое настоящее варварство, едва прикрытое возмутительной пышностью.

Я не упрекаю русских в том, что они таковы, каковы они есть, я осуждаю в них притязания казаться такими же, как мы. Пока они еще необразованны — но это состояние по крайней мере позволяет надеяться на лучшее; хуже другое: они постоянно снедаемы желанием подражать другим нациям, и подражают они точно как обезьяны, оглупляя предмет подражания. Видя все это, я говорю: эти люди разучились жить как дикари, но не научились жить как существа цивилизованные, и вспоминаю страшную фразу Вольтера или Дидро, забытую французами: «Русские сгнили, не успев созреть».

В Петербурге все выглядит роскошно, великолепно, грандиозно, но, если вы станете судить по этому фасаду о жизни действительной, вас постигнет жестокое разочарование; обычно первым следствием цивилизации является облегчение условий существования; здесь, напротив, условия эти тяжелы; лукавое безразличие — вот ключ к здешней жизни.

Вы хотите узнать наверняка, что в этом большом городе достойно вашего внимания? Не надейтесь отыскать хоть один путеводитель, кроме Шницлера;[1] ни один книгопродавец не торгует полным перечнем достопримечательностей Петербурга, а просвещенные люди, которых вы станете расспрашивать, не заинтересованы в том, чтобы вы узнали правду, или же не располагают временем, чтобы беседовать с вами; Император, его местопребывание, его планы — вот единственный предмет, занимающий мысли тех русских, кто умеют мыслить. Этого придворного катехизиса им довольно. Все они жаждут угодить своему господину, укрыв от чужестранцев хоть какую-нибудь долю истины. Никто не печется здесь о благе любознательных путешественников; их охотно морочат поддельными документами; чтобы узнать Россию, нужно обладать превосходным критическим чутьем.

[1] **Шницлеру принадлежит лучшее описание истории и географии России.**

ПИСЬМООДИННАДЦАТОЕ

При деспотической власти любопытство — синоним нескромности; империя — это нынешний император; если он в добром здравии, вам не о чем беспокоиться; вам есть чем занять сердце и ум. Если вы знаете, где пребывает и как живет этот зиждитель всякой мысли, этот движитель всякой воли и всякого деяния, то, русский вы или иностранец, не вздумайте спрашивать о чем-нибудь еще, даже о том, как пройти к месту вашего назначения, — а ведь в таких вопросах бывает острая нужда, поскольку на плане Петербурга обозначены только самые главные улицы.

И тем не менее даже этого страшного могущества царю Петру показалось мало; он захотел стать не только разумом, но и душой своего народа; он осмелился вершить судьбами русских в вечности, как командовал их деяниями в земной жизни. Эта власть, не оставляющая человека даже в мире ином, кажется мне чудовищной; монарх, не убоявшийся подобной ответственности и, несмотря на свои длительные колебания, мнимые или подлинные, запятнавший себя столь беззаконным самозванством, принес больше зла всему миру этим покушением на права священнослужителя и свободу совести паствы, нежели добра России своим полководческим даром, талантами государственного деятеля и предприимчивостью. Характер этого императора, послуживший образцом для подражания императорам нынешним, представляет собой причудливое смешение величия и мелочности. Властный, как жесточайшие тираны всех времен и народов, искусный, как лучшие механики его времени; дотошный и грозный, соединяющий в себе льва и бобра, орла и муравья, этот неумолимый монарх является памяти потомков наподобие некоего святого и, словно ему недостаточно было при жизни самовластительно распоряжаться поступками своих подданных, желает из могилы так же самовластительно распоряжаться их мнениями; сегодня высказывать беспристрастные суждения об этом человеке небезопасно даже для 801
иностранца, вынужденного жить в России; здесь это почитается святотатством. Впрочем, я постоянно нарушаю этот запрет, ибо из всех повинностей для меня самая несносная — восхищение по обязанности.[1]

Как ни безгранична власть российских монархов, они до крайности боятся неодобрения или просто откровенности. Из всех людей угнетатель сильнее всех

[1] У господина де Сегюра читаем: «Петр сам допрашивает этих преступников (стрельцов) под пыткой: затем, по примеру Ивана Грозного, он делается их судьей и палачом; он заставляет бояр, сохранивших ему верность, отрубать головы неверным боярам, которых только что приговорил к смерти. С высоты своего трона он бестрепетно наблюдает за казнями; более того, сам он в это время пирует, смешивая с чужими муками собственные наслаждения. Захмелев от вина и крови, держа в одной руке чарку, а в другой топор, он в течение часа сносит собственноручно двадцать стрелецких голов и, гордый своим страшным мастерством, приветствует каждую смерть новым возлиянием. В следующем году в ответ то ли на бунт царевых янычар, то ли на жестокую расправу с ними, во глубине империи разгораются новые восстания. Верные слуги Петра приводят в цепях из Азова в Москву восемьдесят стрельцов, и снова царь собственноручно отрубает им головы, причем бояре его обязаны во время казни держать казнимых за волосы» (История России и Петра Великого, сочинение господина графа де Сегюра. Париж; Бодуэн, 1829.2-е изд. С. 327-328).

страшится правды; для него единственный способ избежать насмешек — наводить ужас и хранить таинственность; отсюда следует, что в России невозможно говорить ни о личностях, ни вообще о чем бы то ни было; под запретом не только *болезни,* приведшие к смерти императоров Петра III и Павла I, но и тайные любовные
801 похождения, которые злые языки приписывают ныне царствующему императору Забавы этого монарха почитаются здесь... не более чем забавами! А раз так, то, какие бы беды ни принесли эти похождения некоторым семействам, о них следует молчать, дабы не навлечь на себя обвинение в величайшем преступлении, какое может вообразить себе народ рабов и дипломатов, — в нескромности.

Мне не терпится увидеть императрицу. Говорят, она очаровательна; впрочем, здесь ее почитают ветреной и надменной. Чтобы вести такую жизнь, какую ей приходится вести, потребны возвышенные чувства и легкий характер. Она ни во что не вмешивается, ничем не интересуется; кто ничего не может сделать, тому всякое знание — обуза. Императрица поступает так же, как все прочие подданные императора: все, кто родились в России или желают здесь жить, дают себе слово молчать обо всем, что видят; здесь никто ни о чем не говорит, и, однако же, все всё знают: должно быть, тайные беседы здесь бесконечно увлекательны, но кто их себе позволяет? Размышлять, исследовать — значит навлекать на себя подозрения.

801 Господин Репнин управлял империей и императором; господин Репнин уже два года как отставлен, и за эти два года ни один русский не произнес имени, которое прежде не сходило с языка у всех здешних жителей. Однажды он низвергся с вершины власти в полную безвестность: никто не осмеливается не только вспоминать о нем, но и верить в его существование, как настоящее, так и прошлое. В России стоит министру потерять должность, как друзья его тотчас глохнут и слепнут. Прослыть впавшим в немилость — значит заживо себя похоронить. Я говорю «прослыть», потому что никто не дерзает сказать о человеке, что он уже впал в немилость, даже если дело к этому идет. Открыто заявить о немилости — значит убить человека. Вот отчего русские не уверены сегодня в существовании министра, правившего ими вчера. При Людовике XV отставка
802 господина де Шуазеля стала его победой; в России отставка господина Репнина стала его смертью.

К кому воззовет однажды народ, устав от немоты вельмож? Каким взрывом ненависти чревато для самодержавия трусливое самоотречение аристократов?
802 Чем заняты русские дворяне? Они обожают императора и становятся соучастниками его злоупотреблений, дабы по-прежнему угнетать крестьян, которых они будут истязать до тех пор, пока их кумир не вырвет кнут из их рук (заметьте, что кумир этот ими же и сотворен). К этой ли роли предназначены дворяне Провидением? Они занимают самые почетные должности в огромной империи. Но что сделали они, чтобы это заслужить? Чрезмерная и постоянно растущая власть монарха — более чем заслуженная кара за слабость дворян. В истории России никто, кроме императора, испокон веков не занимался своим делом; дворянство, духовенство, все сословия общества изменяют своим обязанностям. Если народ живет в оковах, значит, он достоин такой участи; тиранию создают сами нации.

ПИСЬМООДИННАДЦАТОЕ

Или цивилизованный мир не позже чем через пять десятков лет вновь покорится варварам, или в России свершится революция куда более страшная, чем та, последствия которой до сих пор ощущает европейский Запад.

Я замечаю, что вызываю у здешних жителей страх, ибо известно, что писания мои убедительны. Всякий иностранец, ступающий на здешнюю землю, непременно подвергается строгому суду. «Это человек честный, — думают судьи, — а значит, опасный». Вот в чем разница: в стране, где правят адвокаты, честный человек всего-навсего бесполезен! «Французы ненавидят деспотизм, впадая в преувеличения, не имея о нем понятия ясного и просвещенного, — говорят русские, — поэтому их ненависть нам не страшна; но если однажды путешественник, чьему слову верят, ибо сам он — верующий, расскажет о подлинных наших злоупотреблениях, которые непременно бросятся ему в глаза, все увидят нас 803
такими, каковы мы есть. Сегодня Франция лает на нас, толком нас не зная, но если завтра она нас узнает, то непременно искусает».

Разумеется, своей тревогой русские оказывают мне честь, которой я не заслужил, однако озабоченность их очевидна, как ни пытаются они ее скрыть. Не знаю, стану ли я высказывать все, что думаю об их стране, но знаю, что, опасаясь моих правдивых суждений, они оценивают себя по заслугам.

У русских есть названия для всех вещей, но нет самих вещей; они богаты только на словах: прочтите объявления, и вы увидите, что в России имеются цивилизация, общество, литература, театр, изящные искусства, наука, но нет ни единого врача; юному обществу глубокие познания неведомы. Вы больны, у вас жар? лечитесь сами или зовите врача-иностранца. Если вы по случайности пригласите к себе врача, пользующего обитателей вашего квартала, вы подпишете себе смертный приговор, ибо русская медицина еще не вышла из пеленок. За исключением лейб-медика, которого, несмотря на его русское происхождение, 803
мне отрекомендовали как человека весьма ученого, единственные доктора, чей приход не грозит вам смертью, — немцы, пользующие великих князей; однако великие князья не сидят на месте, а выяснить точно, где они находятся в данную минуту, нет возможности; итак, по сути дела, вы не можете рассчитывать на медицинскую помощь. Все это не выдумки, но результат моих многодневных наблюдений, которые я не хочу продолжать, дабы никого не скомпрометировать. Кто станет посылать слугу за двадцать, сорок или даже шестьдесят верст (два французских лье равняются семи верстам), чтобы узнать причину своей болезни? Вдобавок может случиться так, что ваш посланник не найдет врача в резиденции великого князя. В этом случае надеяться вам будет не на что. «Господина доктора нет дома» — другого ответа вы не дождетесь. Что же предпринять? Обратиться с вопросом к кому-нибудь другому? Но в России все покрыто тайной, на всем лежит печать главной здешней добродетели — сдержанности; всякий почитает большой удачей лишний раз выказать свою скромность. Какой русский откажется от этой удачи, если она вдобавок сама идет ему в руки? Никому не следует знать о намерениях и маршрутах вельмож и их приближенных, к числу которых принадлежит и врач; все, о чем эти люди не считают нужным известить официально, должно оставаться в секрете. Здесь молчание — золото; итак, если однажды

вас выпроводили, дав уклончивый и неясный ответ, не вздумайте возвращаться и возобновлять расспросы. Вы больны? Ну и прекрасно: либо вы поправитесь самостоятельно, либо умрете, либо дождетесь возвращения вашего врача.

Вдобавок самый ловкий из этих великокняжеских докторов сильно уступает худшему из наших лекарей; ученейшие знатоки своего дела после многолетнего пребывания при дворе не могут не утратить мастерства. Пусть двор и заменяет петербуржцам все на свете, врачу ничто не может заменить опыт, приобретаемый у постели больного. С живейшим интересом прочел бы я секретные и правдивые записки российского придворного врача, но предписания его выполнять бы не стал; эти люди созданы скорее для того, чтобы сочинять летописи, нежели для того, чтобы лечить больных. Итак, вот мой совет: если вы заболеете во время своего пребывания среди этого якобы цивилизованного народа, самое верное будет признать, что вас окружают дикари, и положиться на волю природы.

Вернувшись домой сегодня вечером, я обнаружил письмо, которое меня приятно удивило. Благодаря ходатайству нашего посла я смогу присутствовать завтра в дворцовой церкви на бракосочетании великой княжны.

Появиться при дворе, не будучи представленным, — значит нарушить все законы этикета; я на это и не надеялся. Но император удостаивает меня этой
803 милости. Граф Воронцов, обер-церемониймейстер, не предупредив меня, послал в Петергоф, находящийся в десяти лье от Петербурга, курьера с письмом, в котором умолял Его Величество решить мою судьбу; я ничего не знал об этом, ибо граф не хотел дразнить меня смутными надеждами. Его любезные хлопоты не остались напрасными. Император ответил, что я смогу присутствовать на бра-
803 косочетании в придворной церкви, а вечером без лишних церемоний представлюсь ему на балу.

Итак, завтра, вернувшись из дворцовой церкви, я продолжу свой рассказ.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Сопоставление двух дат: 14 июля 1789 года — взятие Бастилии, 14 июля 1839 года — свадьба внука господина де Богарне. — Дворцовая церковь. — Первое впечатление от облика императора. — Следствия деспотизма для деспота. — Портрет императора Николая. — Выражение его лица. — Императрица. — Ее болезненный вид. — Всеобщее рабство. — Императрица не имеет права быть больной. — Опасность, которой чреваты для русских подданных путешествия. — Подступы к дворцу. — Смешное происшествие. — Императорская церковь. — Великолепие церемоний и нарядов. — Появление императорской фамилии. — Ошибки против этикета исправляются: кем? — Господин Пален держит венец над головой жениха. — Отступление. — Волнение императрицы. — Ханжество, царящее в современном языке. — Отчего это происходит? — Музыка в придворной церкви. — Старинные греческие песнопения, обработанные некогда итальянскими композиторами. — Чудесное действие этой музыки. — Te Deum. — Архиепископ. — Император целует ему руку. — Невозмутимость герцога Лейхтенбергского. — Его обманчивый вид. — Ложное положение. — Воспоминание из эпохи Террора. — Талисман господина де Богарне. — Нынче им владею я. — Русские не знают, что такое толпа. — Громадность городских площадей. — В стране бескрайних просторов все кажется маленьким. — Колонна Александра. — Адмиралтейство. — Церковь Святого Исаака. — Площадь, огромная, как равнина. — Русским недостает художественного чутья. — Какая архитектура была бы уместна в их стране и при их климате. — Восточный гений реет над Россией. — Гранит не выдерживает петербургских зим. — Триумфальная колесница. — Надругательство над античным искусством. — Русские архитекторы. — Деспотизм не притязает на победу над природой. — Гроза, разразившаяся во время бракосочетания. — Император. — Меняющееся выражение его лица. — Особенности этого лица. — Что означает по-гречески слово «актер». — Император никогда не выходит из роли. — Внушаемая им привязанность. — Русский двор. — Император достоин жалости. — Его беспокойная жизнь. — Жизнь эта губит императрицу. — Влияние этого пустопорожнего времяпрепровождения на воспитание царских детей. — Меня представляют. — Оттенки вежливости. — Слова императора. — Звук его голоса. — Императрица. — Ее приветливость. — Ее речи. — Придворное празднество. — Изумление, с которым придворные

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

вошли во дворец, впервые открытый после пожара. — Влияние атмосферы, царящей при дворе. — Царедворцы на всех ступенях общественной лестницы. — Танцы при дворе. — Полонез. — Большая галерея. — Положительные умы восхищаются деспотизмом. — Условия, какие обязано выполнять каждое правительство. — Франция не похожа на свое правительство. — Удовольствие не является целью существования. — Еще одна галерея. — Ужин. — Киргизский хан. — Грузинская царица. — Ее лицо. — Смешное несчастье. — Внешность не так обманчива, как кажется. — Русский придворный наряд. — Национальный головной убор. — Женевец за императорским столом. — Любезность монарха. — Маленький столик. — Невозмутимость и хладнокровие швейцарца. — Вид из окна на заходящее солнце. — Новое чудо: северные ночи. — Их описание. — Контраст города и дворца. — Неожиданная встреча. — Императрица. — Новый взгляд на внутренний двор Зимнего дворца. — Его заполнил онемевший от восторга народ. — Обманчивая радость. — Заговор против истины. — Реплика госпожи де Сталь. — Бескорыстные радости простонародья. — Философия деспотизма.

ы;4

14 июля 1839 года
(ровно пятьдесят лет после взятия Бастилии 14 июля 1789 года)

Прежде всего взгляните на эти две даты: их соседство кажется мне любо-
804 пытным. Начало нашей революции и свадьба сына Евгения де Богарне произошли в один и тот же день с разницей в пятьдесят лет.

Я только что вернулся из дворцовой церкви, где присутствовал на венчании великой княжны Марии и герцога Лейхтенбергского по греческому обряду. Я по мере сил постараюсь описать вам все увиденное, но вначале хочу рассказать вам об императоре.

На лице его прежде всего замечаешь выражение суровой озабоченности — выражение, надо признаться, малоприятное, даже несмотря на правильность его черт. Физиогномисты справедливо утверждают, что душевное ожесточение пагубно сказывается на красоте лица. Впрочем, судя по всему, это отсутствие добродушия в чертах императора Николая — изъян не врожденный, но благоприобретенный. Обычно мы с невольным доверием взираем на благородное лицо; какие же долгие и жестокие муки должен претерпеть красивый человек, чтобы его лицо начало внушать нам страх?

Хозяин, которому вверено управление бесчисленными частями огромного механизма, вечно страшится какой-нибудь поломки; тот, кто повинуется, страждет лишь в той мере, в какой подвергается физическим лишениям; тот, кто повелевает, страждет, во-первых, по тем же причинам, что и прочие смертные, а во-вторых, по вине честолюбия и воображения, стократ увеличивающих его страдания. Ответственность — возмездие за абсолютную власть.

Самодержец — движитель всех воль, но он же становится средоточием всех мук: чем больший страх он внушает, тем более, на мой взгляд, он достоин жалости. Тот, кто все может и все исполняет, оказывается во всем виноватым: подчиняя

мир своим приказаниям, он даже в случайностях прозревает семя бунта; убежденный, что права его священны, он возмущается всякой попыткой ограничить его власть, пределы которой кладут его ум и мощь. Муха, влетевшая в императорский дворец во время церемонии, унижает самодержца. Природа, считает он, своей независимостью подает дурной пример; всякое существо, которое монарху не удается покорить своему беззаконному влиянию, уподобляется в его глазах солдату, взбунтовавшемуся против своего сержанта в самый разгар сражения; такой бунт навлекает позор на всю армию и даже на ее полководца: император России — ее главнокомандующий, и вся его жизнь — битва.

Впрочем, порой во властном или самовластном взгляде императора вспыхивают искры доброты, и лицо его, преображенное этой приветливостью, предстает перед окружающими в своей античной красе. Временами человеколюбие одерживает в сердце родителя и супруга победу над политикой самодержца. Монарх, позволяющий себе отдохнуть и на мгновение забывающий о том, что его дело — угнетать подданных, выглядит счастливым. Мне весьма любопытно наблюдать за этой битвой между природным достоинством человека и напускной важностью императора. Именно этим я и занимался, покуда длилась брачная церемония.

Император на полголовы выше среднего роста; он хорошо сложен, но немного скован; с ранней юности он взял привычку, вообще распространенную среди русских, туго утягивать живот ремнем; обыкновение это позволяет ему выступать грудью вперед, однако не прибавляет ни красоты, ни здоровья; живот все равно выпирает и нависает над поясом.

Этот изъян, виной которому сам император, стесняет свободу его движений, портит осанку и придает всем его манерам некую принужденность. Говорят, что, когда император распускает пояс, внутренности его мгновенно возвращаются в обычное положение, и это причиняет ему сильнейшую боль. Живот можно замаскировать, но нельзя уничтожить.

У императора греческий профиль, высокий лоб, слегка приплюснутый сзади череп, прямой нос безупречной формы, очень красивый рот, овальное, слегка удлиненное лицо, имеющее воинственное выражение, которое выдает в нем скорее немца, чем славянина.

Император очень заботится о том, чтобы походка и манеры его всегда оставались величавы.

Он ни на мгновение не забывает об устремленных на него взглядах; он ждет их; более того, ему, кажется, приятно быть предметом всеобщего внимания. Ему слишком часто повторяли и слишком много раз намекали, что он прекрасен и должен как можно чаще являть себя друзьям и врагам России.

Большую часть жизни он проводит на свежем воздухе, принимая парады или совершая короткие путешествия; поэтому летом на его загорелом лице заметна белая полоса в том месте, куда падает тень от козырька армейской фуражки; след этот производит впечатление странное, но не тягостное, ибо нетрудно догадаться о его происхождении.

Внимательно вглядываясь в прекрасное лицо этого человека, распоряжающегося по своему усмотрению жизнями стольких людей, я с невольной жалостью

806 замечаю, что, когда глаза его улыбаются, губы остаются неподвижны, если же улыбка трогает его губы, серьезными остаются глаза: это несовпадение выдает постоянную принужденность, которой вовсе не было видно в лице его брата Александра, быть может, менее правильном, но куда более располагающем. Им-
806 ператор Александр был всегда очарователен, но иногда неискренен; император Николай более прям, но неизменно суров, причем суровость эта иногда сообщает ему вид жестокий и непреклонный; в нынешнем самодержце меньше обаяния, но больше силы; впрочем, по этой причине ему чаще приходится пускать эту силу в ход. Обаяние преумножает могущество, предупреждая непокорство: этот способ сберегать силы императору Николаю неведом. Для него главное — повиновение подданных; предшественники его ждали от подданных любви.

Императрица в высшей степени изящна, и, несмотря на необычайную худобу, вся ее фигура дышит неизъяснимым очарованием. Манеры ее отнюдь не надменны, как мне рассказывали; они выказывают гордую душу, привыкшую смирять свои порывы. В церкви она была так взволнована, что, как мне показалось, могла каждую минуту лишиться чувств; несколько раз по лицу ее пробегала судорога, а голова начинала мелко трястись; ее глубоко посаженные нежные голубые глаза выдают жестокие страдания, сносимые с ангельским спокойствием; ее взгляд исполнен чувства и производит впечатление тем более глубокое, что она об этом впечатлении совершенно не заботится; увядшая прежде срока, она — женщина без возраста, глядя на которую невозможно сказать, сколько ей лет;
806 она так слаба, что, кажется, не имеет сил жить: она чахнет, угасает, она больше не принадлежит нашему миру; это тень земной женщины. Она так и не смогла
807 оправиться от потрясения, которое пережила в день вступления на престол: весь остаток своих дней она принесла в жертву супружескому долгу.

Она даровала России слишком много кумиров, а императору — слишком
807 много детей. «Всю жизнь только и делать, что плодить великих князей: жалкий жребий!..» — сказала одна польская дама, не считающая себя обязанной хвалить на словах то, что она ненавидит в душе.

Все кругом видят состояние императрицы; никто о нем не говорит; император любит ее; у нее жар? она не встает с постели? он сам ходит за ней, как сиделка, бодрствует у ее изголовья, готовит и подносит ей питье; но стоит ей встать на ноги, и он снова начинает убивать ее суетой, празднествами, путешествиями, любовью; по правде говоря, если ее здоровье в очередной раз резко ухудшается, он отказывается от своих планов, но предосторожности, принятые заранее, внушают ему отвращение; в России все — женщины, дети, слуги, родители, фавориты — должны до самой смерти кружиться в вихре придворной жизни с улыбкой на устах.

Все должно повиноваться замыслам императора, этого солнца умов; его замысел, замысел одного, становится судьбою всех; чем ближе стоят подданные к монарху, тем сильнее они от него зависят: императрицу эта зависимость губит.

Есть одна вещь, о которой здесь всякий знает, но никто не говорит, ибо здесь вообще никто не произносит ни единого слова о предметах, могущих живо заинтересовать кого бы то ни было: ни один из собеседников, ни тот, кто говорит, ни тот, кто слушает, не должен показывать, что тема их беседы достойна неослабного

внимания и способна возбудить неподдельную страсть. Все могущество языка говорящие пускают в ход ради того, чтобы изгнать из речей мысль и чувство, не подавая притом вида, что скрывают их, ибо это выглядело бы неестественно. Величайшая принужденность, являющаяся следствием этих изумительных стараний — изумительных прежде всего по той тщательности, с которой они скрываются, — отравляет существование русских. Стараниями этими они расплачиваются за добровольный отказ от двух величайших даров Господа, вложившего в человека душу и даровавшего ему слова, чтобы выражать движения этой души, иначе говоря, давшего человеку чувство и свободу.

Чем больше я узнаю Россию, тем больше понимаю, отчего император запрещает русским путешествовать и затрудняет иностранцам доступ в Россию. Российские политические порядки не выдержали бы и двадцати лет свободных сношений между Россией и Западной Европой. Не верьте хвастливым речам русских; они принимают богатство за элегантность, роскошь — за светскость, страх и благочиние — за основания общества. По их понятиям, быть цивилизованным — значит быть покорным; они забывают, что дикари иной раз отличаются кротостью нрава, а солдаты — жестокостью; несмотря на все их старания казаться прекрасно воспитанными, несмотря на получаемое ими поверхностное образование и их раннюю и глубокую развращенность, несмотря на их превосходную практическую сметку, русские еще не могут считаться людьми цивилизованными. Это татары в военном строю — и не более.

Их цивилизация — одна видимость; на деле же они безнадежно отстали от нас и, когда представится случай, жестоко отомстят нам за наше превосходство.

Нынче утром я поспешно оделся и отправился в дворцовую церковь; покуда коляска моя катилась следом за экипажем французского посла, я с любопытством глядел по сторонам. На подступах к дворцу я увидел войска, показавшиеся мне вовсе не столь великолепными, как о том говорят; впрочем, лошади у военных в самом деле превосходные. По огромной площади перед императорским дворцом сновали во всех направлениях экипажи придворных, люди в ливреях и солдаты в разноцветных мундирах. Красивее всех выглядят казаки. Хотя народу собралось много, собравшихся никак нельзя было назвать толпой, они терялись среди здешних просторов.

Молодые государства, особенно те, которыми правят абсолютные монархи, изобилуют безлюдными пространствами; люди, лишенные свободы, обитают в печальных пустынях. Густо населены лишь страны свободные.

Выезды придворных, на мой вкус, вполне приличны, хотя и не слишком элегантны и опрятны. Кареты, дурно выкрашенные и еще более дурно отлакированные, тяжеловесны; в них запряжены четверки лошадей в безмерно длинных постромках.

Лошадьми, идущими в дышле, правит кучер; мальчишка в длинном персидском халате наподобие кучерского *армякЬименуемый, насколько я мог расслышать, фалейтером* (по-видимому, от немецкого Vorreiter), едет верхом на

800 Шницлеру принадлежит лучшее описание истории и географии России.

передней лошади, причем, заметьте, на правой, в противоположность обычаям всех других стран, где форейтор седлает левую лошадь, чтобы оставить свободной правую руку; седло у форейтора очень плотное, мягкое, как подушка, и сильно приподнятое спереди и сзади. Вид русских экипажей поразил меня своей необычностью: живость и норовистость лошадей, не всегда красивых, но неизменно породистых, ловкость кучеров, пышность нарядов — все это вместе предвещает зрелища, о великолепии которых мы не имеем ни малейшего понятия; в России двор — реальная сила, в других же державах даже самая блестящая придворная жизнь — не более чем театральное представление.

Я обдумывал эти различия, а также предавался размышлениям о многих других предметах, навеянным новыми для меня картинами, когда карета моя остановилась перед грандиозной крытой колоннадой и я увидел шумную разряженную толпу, составленную из царедворцев чрезвычайно изысканного вида. Их сопровождали слуги, с виду — да и на деле — весьма дикие, но одетые почти так же роскошно, как и господа.

Стараясь поскорее выйти из коляски, чтобы не отстать от людей, вызвавшихся быть моими провожатыми, я зацепился шпорой за подножку и сильно стукнулся об нее ногой; поначалу я не обратил на это внимания, но вообразите, какой ужас испытал я в тот миг, когда, ступив на нижнюю ступеньку великолепной лестницы Зимнего дворца, увидел, что потерял одну из шпор и, хуже того, каблук одного из сапог, оторвавшийся вместе с нею! Таким образом, я оказался наполовину разут. А между тем я вот-вот должен был предстать перед человеком, слывущим столь же придирчивым, сколь надменным и могущественным: ввиду этого случившееся со мной незначительное происшествие вырастало в подлинную беду! Как быть? Вернуться к выходу и заняться поисками каблука? Но подъезжающие экипажи наверняка уже раздавили его. Отыскать потерянный каблук можно было только чудом, но даже отыщи я его, что бы я стал с ним делать? Понес его во дворец? На что же решиться? Проститься с французским послом и вернуться домой? Но поступить так значило бы сразу привлечь к себе внимание; с другой стороны, показавшись императору без каблука, я рисковал погубить себя в его глазах и в глазах преданных ему царедворцев, а добровольно выставлять себя на посмешище — не в моих правилах. Я слишком хорошо знаю, чем это кончается... Уехать за тысячу лье от дома для того, чтобы по своей воле навлечь на себя неприятности, — это, на мой взгляд, непростительно. Я не выношу людей, которые делают глупости, когда у них есть возможность не делать вовсе ничего.

Краснея от стыда, я решил, что попытаюсь скрыться в толпе, однако толпы в России, как я уже сказал, не существует, особенно же одиноко я чувствовал себя на лестнице нового Зимнего дворца, напоминающей декорацию к опере «Гюстав». Дворец этот, пожалуй, самый просторный и великолепный из всех дворцов в мире. Природная робость моя только возросла по вине случившегося со мной смешного происшествия, но внезапно страх придал мне смелости, и я, хромая, устремился в глубь огромных зал и богато украшенных галерей, великолепие и протяженность которых проклинал в душе, ибо и то и другое отнимало

822

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

у меня всякую надежду укрыться от пристальных взоров придворных. Русские холодны, лукавы, насмешливы, остроумны и, как все честолюбцы, не склонны к излишней чувствительности.

Вдобавок они не доверяют иностранцам, ибо, сомневаясь в их расположении, опасаются их суда, поэтому, еще не узнав путешественника, они сразу смотрят на него враждебно, тая под внешним гостеприимством язвительность и хулу.

Наконец, хотя и не без труда, я добрался до дворцовой церкви, где забыл обо всем, включая свое дурацкое злоключение, тем более что народу в церкви собралось очень много, и никто не мог заметить непорядок с моей обувью. Предвкушение нового для меня зрелища возвратило мне хладнокровие и самообладание. Я краснел, вспоминая о том смущении, в какое повергло меня ущемленное тщеславие царедворца; я вновь вошел в роль простого путешественника, и ко мне вернулось беспристрастие наблюдателя-философа.

Скажу еще несколько слов о своем наряде: накануне он стал предметом серьезных споров; молодые дипломаты, состоящие при французском посольстве, советовали мне надеть мундир национальной гвардии, но, побоявшись, что этот мундир придется императору не по нраву, я остановился на другом: то был мундир штаб-офицера с эполетами подполковника, ибо таков мой чин. 809

В ответ я услышал, что наряд мой будет выглядеть непривычно и вызовет у членов императорской фамилии и у самого императора множество вопросов, иные из которых могут привести меня в замешательство. Одним словом, предмет совершенно незначительный привлек к себе неслыханное внимание.

Венчание по греческому обряду продолжительно и величественно. Пышность религиозной церемонии, как мне показалось, лишь подчеркнула роскошество церемоний придворных.

Стены и потолки церкви, одежды священников и служек — все сверкало золотом и драгоценными каменьями; люди самого непоэтического склада не смогли бы взирать на все эти богатства без восторга. Картина, представшая моему взору, не уступает самым фантастическим описаниям «Тысячи и одной ночи»; при виде ее вспоминаешь поэму о Лалла Рук или сказку о волшебной лампе Аллади- 809
дина — ту восточную поэзию, где ощущения берут верх над чувствами и мыслью.

Дворцовая церковь невелика по размерам; в ее стенах собрались посланцы всех государей Европы и, пожалуй, даже Азии; подле них стояли несколько чужестранцев, которым, подобно мне, было дозволено присутствовать при церемонии вместе с дипломатическим корпусом, супруги послов и, наконец, видные придворные сановники; балюстрада отделяла нас от ограды, окружающей алтарь. Алтарь этот имеет вид довольно низкого квадратного стола. Места перед алтарем, предназначенные для членов императорской фамилии, были пока свободны.

Никогда прежде не случалось мне видеть зрелища столь же великолепного и торжественного, как появление императора в этой сверкающей золотом церкви. Он вошел в сопровождении императрицы; двор следовал за ними; взгляды всех присутствовавших, включая и меня, обратились вначале на высочайшую чету, а затем на прочих членов императорской фамилии, среди которых молодожены затмили всех. Брак по любви между обитателями богатых палат, облаченными

в роскошные одежды, — большая редкость, и это, по всеобщему убеждению, придавало грядущему событию особый интерес. Что до меня, я мало верю в подобные чудеса и невольно ищу во всем, что здесь делается и говорится, политическую подоплеку. Быть может, император и сам искренне верит, что им движет одна лишь отцовская любовь, однако я не сомневаюсь, что в глубине души он надеется рано или поздно извлечь из этого брака какую-нибудь выгоду. С честолюбием дело обстоит так же, как со скупостью: скупцы подчиняются расчету даже в тех случаях, когда думают, что действуют бескорыстно.

Хотя церковь невелика, а придворных на церемонии присутствовало множество, все совершалось в безупречном порядке. Я стоял среди членов дипломатического корпуса, подле балюстрады, отделявшей нас от алтарной части. Вре-
809 мени у нас было достаточно, и мы могли исследовать черты и жесты всех особ, которые пришли сюда, повинуясь чувству долга или любопытству. Ничто не нарушало почтительную тишину. Яркое солнце освещало внутренность церкви, где, как мне сказали, жара дошла до тридцати градусов. В свите императора находился татарский хан — данник России, свободный лишь наполовину; на нем был длинный, расшитый золотом халат и остроконечный колпак, так же сверкающий золотыми блестками. Этот царек-раб, поставленный в двусмысленное положение завоевательной политикой его покровителей, счел уместным явиться на церемонию и просить императора всея Руси принять в *число его пажей* своего двенадцатилетнего сына, которого он привез в Петербург, дабы обеспечить его будущность. Этот падший властитель, оттеняющий славу властителя торжествующего, напомнил мне о Древнем Риме.

Самые знатные придворные дамы и супруги послов всех держав, среди ко-
810 торых я узнал мадемуазель Зонтаг, ныне графиню Росси, стояли полукругом, украшая своим присутствием брачную церемонию; императорская фамилия находилась в глубине, в прекрасно расписанной ротонде. Позолоченная лепнина, вспыхивая в ослепительных лучах солнца, окружала своего рода ореолом головы государя и его детей. Дамские брильянты сверкали волшебным блеском среди азиатских сокровищ, расцвечивающих стены святилища, где царь в своей щедрости, казалось, бросал вызов Богу, ибо, поклоняясь ему, не забывал о себе. Все это прекрасно и, главное, необычно для нас, особенно если вспомнить, что еще не так давно Европа не обращала никакого внимания на свадьбу царской
810 дочери, а Петр I утверждал, что имеет право завещать престол тому, кому сочтет нужным. Какой путь проделан за столь короткое время!

Вспоминая о дипломатических и прочих завоеваниях этой державы, которую правительства цивилизованных стран еще недавно не принимали в расчет, спрашиваешь себя, не грезишь ли ты наяву. Самому императору, кажется, еще в новинку то, что происходит на его глазах, ибо он поминутно отрывается от молитвенника и, делая несколько шагов то вправо, то влево, исправляет ошибки против этикета, допущенные его детьми или священниками. Отсюда я делаю вывод, что и двор в России тоже совершенствуется. Жених стоял не на месте,
810 и император заставлял его то выходить вперед, то отступать назад; великая княжна, священники, вельможи — все повиновались верховному повелению,

не гнушавшемуся мельчайшими деталями; на мой вкус, ему более подобало бы оставить все как есть и, находясь в церкви, думать о Боге, а не об отклонениях от религиозного обряда или придворного церемониала, допущенных его подданными и родственниками. Но в этой удивительной стране отсутствие свободы сказывается повсюду, даже у подножия алтаря. В России дух Петра Великого вездесущ и всемогущ.

Во время венчания по греческому обряду наступает минута, когда молодые супруги пьют из одной чаши. Затем в сопровождении священника, совершающего богослужение, они трижды обходят вокруг алтаря, держась за руки в знак своего соединения в браке и грядущей верности друг другу. Все эти действия тем более величавы, что напоминают об обрядах первых христиан.

Затем над головами жениха и невесты поднимают венцы. Венец великой княжны держал ее брат, наследник престола, которому император, в очередной раз оторвавшись от молитвенника, сделал замечание относительно его позы, причем в лице государя непонятным для меня образом соединились в этот миг добродушие и мелочная требовательность; венец герцога Лейхтенбергского дер- ею
жал граф Пален, русский посол в Париже, сын чересчур прославленного и чересчур усердного друга Александра. Нынче никто в России не говорит, а может быть, и не вспоминает ту давнюю историю, что же до меня, то я не мог не думать о ней, покуда граф Пален с присущей ему благородной простотой исполнял свой долг, вызывая, без сомнения, зависть всех царедворцев, алчущих монарших милостей. По роли, отведенной графу Палену в церемонии венчания, он должен был испрашивать благословения небес для внучки Павла I. Странное сближение, но, повторяю, никто, как мне кажется, о нем не думал, ибо в этой стране политика имеет обратную силу.

Лесть видоизменяет в интересах настоящего даже само прошедшее. Кажется, здесь в чувстве меры нуждаются лишь те, кто не имеет власти. Если бы то воспоминание, что занимало меня, посетило императора, он не поручил бы держать венец над головой своего зятя графу Палену. Но в стране, где никто не пишет и не разговаривает, между сегодняшним и вчерашним днем пролегает пропасть, отчего власти совершают оплошности и попадают впросак, лишний раз доказывая, что ощущают себя в безопасности, которая, однако, не всегда оправдана. Русской политике не помеха ни мнения, ни даже действия подданных; здесь все зиждется на милости властителя; она заменяет тому, кто ее удостоился, заслуги, честь и, более того, невинность; утратив же ее, человек утрачивает решительно все. Мы с неким тревожным восторгом смотрели на неподвижные руки, державшие венцы. Сцена эта длилась долго и, должно быть, тяжело далась ее участникам.

Невеста дышит изяществом и чистотой; у нее белокурые волосы и голубые глаза; лицо ее сияет блеском юности и обличает острый ум и чистое сердце. Эта принцесса и ее сестра, великая княжна Ольга, показались мне прелестнейшими 811
из всех дам, увиденных мною при дворе: они равно отмечены и природой и обществом.

Когда священник подвел молодоженов к их августейшим родителям, те с трогательной сердечностью расцеловали их. Мгновение спустя императрица

бросилась в объятия супруга; этот порыв нежности был бы куда более уместен в дворцовой зале, нежели в церкви, но в России государи везде чувствуют себя как дома, даже в доме Божьем. Вдобавок порыв императрицы был, кажется, совершенно непроизволен и потому не мог никого задеть. Горе тем, кто сочтет смешным проявление искреннего чувства. Подобные порывы заразительны. Немецкая сердечность никогда не исчезает бесследно; впрочем, для того чтобы сохранить подобную непосредственность на престоле, нужно иметь чистую душу.

811 Перед благословением в церкви, по обычаю, выпустили на волю двух серых голубей; они уселись на золоченый карниз прямо над головами молодых супругов и до самого конца церемонии целовались там.

В России голубей очень любят: их почитают священным символом Святого Духа и не разрешают убивать; к счастью, их мясо русским не по вкусу.

Герцог Л ейхтенбергский — высокий, сильный, хорошо сложенный молодой человек; черты его лица вполне заурядны; глаза красивы, а рот чересчур велик, да к тому же неправильной формы; герцог строен, но в осанке его нет благородства; ему удается скрыть природный недостаток изящества с помощью мундира, который очень идет ему, но делает его больше похожим на статного младшего
811 лейтенанта, нежели на принца. Ни один родственник с его стороны не прибыл в Петербург на его свадьбу.

Во время богослужения ему, казалось, не терпелось остаться наедине с женой; что же до всех гостей, то их взгляды невольно обратились к голубкам, ворковавшим над алтарем.

Я не обладаю ни цинизмом Сен-Симона, ни его слогом, ни простодушной веселостью писателей доброго старого времени, поэтому увольте меня от изложения подробностей, как бы забавны они ни были.

В эпоху Людовика XIV авторы изъяснялись вольно оттого, что обращались лишь к людям, говорящим на том же языке и ведущим тот же образ жизни, что и они сами; тогда существовало общество, но не существовало публики. Сегодня у нас есть публика, но нет общества. Во времена наших отцов всякий рассказчик в своем кругу мог позволить себе быть искренним, не опасаясь последствий; сегодня, когда в салонах смешиваются все сословия, говоруны не находят себе доброжелательных слушателей и чувствуют себя неуютно. Откровенность выражений, характерная для старого времени, кажется дурным тоном людям, имеющим иные понятия о французском языке. Щекотливостью буржуа отмечены сегодня и речи французов, принадлежащих к самому отменному обществу; чем к большему числу людей вы обращаетесь, тем большую серьезность следует вам хранить: нация требует к себе большего почтения, чем домашний кружок, как бы изыскан он ни был.

В том, что касается языковых приличий, толпа куда более требовательна, нежели двор: чем больше слушателей у дерзких речей, тем менее они приличны. Вот отчего я не стану рассказывать вам о том, что вызвало улыбку у многих важных господ и добродетельных дам, собравшихся сегодня утром в дворцовой церкви. Но я не мог и вовсе не упомянуть об этом забавном эпизоде, так резко противоречившем величию церемонии и вынужденной серьезности зрителей.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Во время долгого венчания по греческому обряду наступает мгновение, когда все должны пасть на колени. Император, прежде чем сделать это, оглядел присутствующих придирчивым и не слишком ласковым взглядом. Казалось, он хотел убедиться, что никто не нарушил обычая, — излишняя предосторожность, ибо, хотя в церкви находились и католики, и протестанты, ни одному из этих чужестранцев, разумеется, не пришло на мысль уклониться от формального следования всем требованиям греческого обряда.[1] 811

Появление у императора сомнений в благонадежности гостей лишний раз подтверждает то, что я сказал выше о суровой озабоченности, постоянно гложущей императора.

Сегодня, когда бунт, можно сказать, носится в воздухе, даже самодержцы, судя по всему, боятся за свое могущество. Страх этот составляет неприятную и даже пугающую противоположность с понятием самодержца о его правах, которое остается неизменным. Абсолютный монарх, испытывающий страх, слишком опасен.

Видя нервную дрожь, слабость и худобу императрицы, размышляя о том, что пришлось снести этой прелестной женщине во время бунта, совпавшего с ее вхождением на престол, я говорил себе: «За геройство надо платить!!!» Это — проявление силы, но силы губительной.

Я уже сказал вам, что все опустились на колени и последним — император; венчание окончилось, молодые стали мужем и женой, все поднялись с колен, и в этот миг священники вместе с хором затянули Te Deum, а на улице раздались артиллерийские залпы, возвестившие всему городу о завершении церемонии. Не могу передать, какое действие произвела на меня эта небесная музыка, смешавшаяся с пушечными выстрелами, звоном колоколов и доносящимися издалека

[1] Опасения императору, пожалуй, поможет объяснить приводимый ниже рассказ, который прислал мне в январе 1843 года из Рима один из самых правдивых людей, каких мне довелось встречать. «В последний день декабря, — пишет он, — я зашел в церковь дель Джезу, украшенную по случаю праздника великолепными гобеленами. Прекрасный алтарь святого Игнатия, окруженный оградой, сиял огнями. Играл орган, в церкви собрался весь цвет римского общества; слева от алтаря стояли два кресла. Вскоре в церковь вошли великая княгиня Мария, дочь российского императора, и ее супруг герцог Лейхтенбергский в сопровождении свиты и швейцарских гвардейцев; они заняли приготовленные для них кресла, и не подумав опуститься на колени, хотя скамеечки для молитвы стояли перед креслами, и даже не взглянув на святое причастие. Придворные дамы уселись позади принца и принцессы, так что тем, дабы вести светскую беседу, приходилось поминутно оборачиваться. Два камергера остались стоять, как предписывает этикет. Ризничий решил, что эти господа стоят оттого, что им некуда сесть, и поспешил принести стулья; увидев это, принц, принцесса и их окружение разразились совершенно неприличным смехом. Тем временем церковь заполняли кардиналы, один за другим занимавшие свои места; последним явился папа; он опустился на колени и простоял так до конца мессы. Отзвучал Te Deum — песнь благодарности за милость Господню в истекшем году; один из кардиналов благословил верующих. Его Святейшество по-прежнему стоял на коленях; герцог Лейхтенбергский наконец последовал его примеру, но принцесса даже не шевельнулась».

криками толпы. В греческой церкви музыкальные инструменты под запретом, и хвалу Господу возносят здесь при богослужении только человеческие голоса. Суровость восточного обряда благоприятствует искусству: церковное пение звучит у русских очень просто, но поистине божественно. Мне казалось, что я слышу, как бьются вдали шестьдесят миллионов сердец — живой оркестр, негромко вторящий торжественной песни священнослужителей. Я был взволнован: музыка заставляет забыть обо всем, даже о деспотизме.

Я могу сравнить это пение без сопровождения только с Miserere, исполняемым **в Страстную неделю в Сикстинской капелле в Риме, хотя капелла эта нынче — лишь** бледная тень того, чем была прежде. Это руина среди прочих римских руин.

В середине прошедшего столетия, в пору, когда итальянская школа находилась в самом расцвете своей славы, старинные греческие песнопения были очень
812 бережно переделаны композиторами, выписанными для этой цели в Петербург из Рима; чужестранцы эти создали шедевр, ибо все силы своего духа и ума употребили на то, чтобы не повредить древним творениям. Их труд сделался классическим, под стать ему и исполнение: партии сопрано, которые исполняются мальчиками-певчими, ибо женщины в дворцовой церкви не поют, безупречны; басы сильны, чисты и торжественны.

Любителю искусств стоит приехать в Петербург уже ради одного русского церковного пения; piano, forte, самые сложные мелодии исполняются здесь с глубоким чувством, чудесным мастерством и восхитительной слаженностью; русский народ музыкален; тот, кто слышал здешний хор, в этом не усомнится. Я слушал его, затаив дыхание, и горевал о том, что рядом со мной нет нашего ученого друга Мейербера, ибо он один смог бы указать мне источники красот, которые я чувствую, но не понимаю; он же почерпнул бы в них вдохновение, ибо для него единственный способ восхититься образцом — сравняться с ним.

Во время исполнения Te Deum, в то мгновение, когда оба хора слились во-
812 едино, раскрылись алтарные врата, и нашим взорам явились священники в тиарах, усыпанных сверкающими драгоценными камнями, в расшитых золотом одеждах, на которых величественно покоились их серебристые бороды, иные из которых доходят до пояса; так же роскошно, как и священники, была одета и паства. Российский двор великолепен; военные мундиры предстают здесь во всем своем блеске. Я с восторгом наблюдал, как земное общество с его роскошью и богатством приносит дань своего уважения царю небесному. Светская публика слушала священную музыку в молчании и сосредоточении, которые сообщили бы благолепие и менее возвышенным мелодиям. Божье присутствие освящает даже придворную жизнь; все мирское отходит на второй план, и всеми помыслами завладевает небо.

812 Архиепископ, совершавший богослужение, не нарушал величия представшей перед нами картины. Этот старец, сухонький и щуплый, словно ласка, некрасив, однако он кажется усталым и больным, волосы его посеребрил возраст: старый и слабый священник не может не внушать почтения. В конце церемонии император склонился перед ним и почтительно поцеловал ему руку. Самодержец никогда не упустит случая показать пример смирения, если ему это выгодно.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Я восхищенно взирал на несчастного архиепископа, который, казалось, еле-еле держался на ногах в миг своего триумфа, на статного императора, склонявшего голову перед религиозной властью, на молодоженов, на императорское семейство и, наконец, на толпу придворных, заполонивших церковь; будь на моем месте живописец, он нашел бы здесь сюжет, достойный своей кисти.

До богослужения мне казалось, что архиепископ вот-вот лишится чувств; двор, презрев завет Людовика XVIII: «точность — вежливость королей», — заставил себя ждать.

Несмотря на лукавое выражение лица, старец этот внушал мне если не уважение, то жалость: он был так слаб, так терпеливо сносил все тяготы, что вызвал у меня сочувствие. Какая разница, отчего он был терпелив — из благочестия или из честолюбия? Так или иначе, терпение его выдержало серьезное испытание.

Что же до юного герцога Лейхтенбергского, то, сколько бы я ни смотрел на него, я не мог проникнуться к нему симпатией. У этого юноши хорошая армейская выправка, вот и все; облик его доказывает то, что я прекрасно знал и прежде: в наши дни принцев куда больше, чем дворян. Юный герцог, на мой вкус, выглядел бы куда уместнее в императорской гвардии, нежели в семействе императора. Ни одно чувство не отразилось на его лице во время церемонии, которая, однако, показалась трогательной даже мне, стороннему наблюдателю. Я пришел сюда из любопытства, но увиденное заставило меня задуматься, императорский же зять, главное действующее лицо этой церемонии, казался чуждым всему происходящему. У этого юноши нет собственного лица. Можно подумать, что ему совершенно не интересно то, что он делает, а собственная его особа ему в тягость. Видно, что он не ждет доброжелательства от русского двора, где люди расчетливее, чем при любом другом дворе, и где его внезапное возвышение сулит ему не столько друзей, сколько завистников. Уважения добиваются не вдруг: я ненавижу ложные положения и не могу не осуждать — даже сознавая, что я чересчур строг, — человека, который по какой бы то ни было причине соглашается поставить себя в подобное положение. Между тем юный принц имеет некоторое сходство с отцом, чье лицо было изящным и умным; хотя он затянут в русский мундир, столь тесный, что в нем нельзя не выглядеть скованно, у него, как мне показалось, легкая походка истинного француза; проходя мимо меня, он и не подозревал, что я ношу на груди предмет, драгоценный для нас обоих, но гораздо больше — для сына Евгения Богарне. Это арабский талисман, который господин де Богарне, отец вице-короля Италии и дед герцога Лейхтенбергского, подарил моей матери в тюрьме, устроенной в бывшем кармелитском монастыре, накануне казни.

812

За венчанием по греческому обряду должна была последовать вторая, католическая церемония в нарочно отведенной для этого зале дворца. Затем молодоженов и всю императорскую фамилию ждал обед; что же до меня, не приглашенного ни на католическое богослужение, ни на обед, я вместе с большинством придворных последовал к выходу и, вдохнув свежий воздух, выгодно отличавшийся от спертого воздуха внутри церкви, еще раз порадовался тому, что беда, приключившаяся с моим сапогом, осталась незамеченной. Правда, пару раз мне

со смехом указали на несовершенство моего туалета, но этим дело и ограничилось. Хорошее ли, плохое ли, ничто из того, что касается только нас самих, не имеет такого большого значения, как мы думаем.

Вернувшись в гостиницу, я, вместо того чтобы отдыхать, принялся за письмо к вам. Такова жизнь путешественника.

Выйдя из дворца, я без труда отыскал свою коляску; повторяю вам, в России нигде не встретишь большого скопления народа. Она так огромна, что здесь всюду просторно; это — преимущество страны, где нет нации. Первая же давка, которая возникнет в Петербурге, окончится плачевно; в обществе, устроенном так, как это, толпа породит революцию.

Из-за царящей здесь повсюду пустоты памятники кажутся крошечными; они
812 теряются в безбрежных пространствах. Колонна Александра благодаря своему основанию считается более высокой, чем Вандомская колонна; ствол ее высечен из цельного куска гранита — это самое огромное из всех гранитных изваяний в мире. И что же? — эта громадная колонна, возвышающаяся между Зимним дворцом и зданиями, стоящими полукругом на противоположном краю площади, напоминает вбитый в землю колышек, дома же, окружающие площадь, кажутся такими низкими и плоскими, что могут сойти за изгородь. Вообразите себе огороженное пространство, на котором могут провести маневры сто тысяч человек и при этом останется много свободного места: на таких просторах ничто не может выглядеть огромным. Эта площадь, или, точнее сказать, это русское Марсово поле, ограничено Зимним дворцом, фасад которого был недавно восстановлен в том виде, в каком существовал при императрице Елизавете. Фасад этот
812 имеет хотя бы то преимущество, что позволяет глазу отдохнуть от грубых и пошлых подражаний афинским и римским памятникам; он выполнен во вкусе регентства, являющемся не чем иным, как выродившимся стилем Людовика XIV; впрочем, вид его весьма величествен. Напротив дворца стоят полукругом здания, где размещаются некоторые министерства; здания эти построены по большей части в древнегреческом стиле. Что за странная прихоть — возводить храмы во славу чиновников! Рядом с этой площадью расположено и Адмиралтейство; оно живописно: его невысокие колонны, золоченый шпиль и приделы радуют глаз. С этой стороны площадь окаймлена зеленой аллеей, придающей ей некоторое разнообразие. На одном из краев огромного поля высится громада собора Святого Исаака, бронзовый купол которого наполовину закрыт лесами; еще дальше
812 виднеются дворец Сената и другие подражания языческим храмам, в которых, впрочем, размещается военное министерство; тут же, ближе к Неве, глаз видит — или по крайней мере старается увидеть — памятник Петру Великому на обломке гранитной скалы, затерянный среди площади, словно песчинка на морском берегу. Статуя героя снискала незаслуженную славу благодаря шарлатанской
813 гордыне воздвигнувшей ее женщины: статуя эта куда ниже своей репутации. Всех поименованных мною зданий достало бы на застройку целого города, в Петербурге же они не заполняют одну-единственную площадь — эту равнину, где произрастают не хлеба, но колонны. С большим или меньшим успехом подражая прекраснейшим творениям всех времен и народов, русские забывают, что людям

не превозмочь природу. Русские никогда не принимают ее в расчет, и она в отместку подавляет их. Какую область искусства ни возьми, шедевры всегда создавались людьми, которые вслушивались в голос природы и понимали ее. Природа есть мысль Господа, а искусство — отношение человеческой мысли к силе, сотворившей мир и продлевающей его дни. Художник пересказывает земле то, что услышал на небесах: он не кто иной, как переводчик Господа, те же, кто творят по собственному разумению, рождают чудовищ.

В древности архитекторы громоздили памятники на крутых склонах и в ущельях, дабы живописность пейзажей умножала впечатление от творений человеческих. Русские, полагающие, что следуют за древними, а на деле лишь неумело им подражающие, поступают иначе: они рассеивают свои так называемые греческие и римские памятники на бескрайних просторах, где глаз едва их различает. Поэтому, хотя строители здешних городов брали за образец римский форум, города эти приводят на память азиатские степи.[1] Как ни старайся, а Московия всегда останется страной более азиатской, нежели европейской. Над Россией парит дух Востока, а пускаясь по следам Запада, она отрекается от самой себя.

Здания, стоящие полукругом напротив императорского дворца, — не что иное, как неудачное подражание античному амфитеатру; смотреть на них следует издали; вблизи видишь только декорацию, которую каждый год приходится штукатурить и красить, дабы не был так заметен урон, нанесенный суровой зимой. Древние возводили здания из вечных материалов под ласковым небом, здесь же, в губительном климате, люди строят дворцы из бревен, дома из досок, а храмы из гипса; поэтому русские рабочие только и делают, что поправляют летом то, что было разрушено зимой; ничто не может противостоять здешней погоде — даже здания, кажущиеся очень древними, были перестроены не далее как вчера; камень здесь живет столько, сколько в других краях известь. Гранитный ствол колонны Александра, этого поразительного творения человека, уже потрескался от морозов; в Петербурге на помощь граниту следует призывать бронзу — и, несмотря на все это, жители русской столицы неустанно подражают в своих постройках архитектуре южных городов! Северные пустыни покрываются статуями и барельефами, призванными запечатлевать исторические события навеки, — а ведь в этой стране у памятников век даже короче, чем у воспоминаний. 813

Русские занимаются всем на свете и, кажется, еще не кончив одного дела, уже спрашивают: когда же мы примемся за другое? Петербург подобен огромным строительным лесам; леса падут, как только строительство завершится. Шедевр же, который здесь созидается, принадлежит не архитектуре, но политике; это — новый Византий, который русские в глубине души почитают будущей столицей России и мира. 813

[1] Упрек этот относится лишь к памятникам, построенным при Петре I и после него; в средние века, возводя Кремль, русские сумели отыскать архитектурный стиль, подобающий их стране и духу.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Напротив дворца ряд расположенных полукругом псевдоантичных зданий прорезает огромная арка, через которую можно пройти на улицу ***Морскую;*** этот огромный свод с неумеренной пышностью венчает запряженная шестеркой бронзовых коней колесница, управляемая некоей неведомой мне аллегорической или исторической фигурой. Не знаю, можно ли отыскать творение более безобразное, чем эти колоссальные ворота, зияющие на фасаде дома и окруженные со всех сторон постройками, вполне буржуазный вид которых не мешает воротам в силу их колоссальных размеров притязать на звание триумфальной арки. У меня нет ни малейшего желания разглядывать с близкого расстояния этих позолоченных коней, колесницу и возничего; будь они даже изваяны с безупречным мастерством — в чем я отнюдь не уверен, — местоположение их выбрано так неудачно, что они наверняка не вызовут у меня восхищения. Главное для памятника — его общий облик; интересоваться деталями имеет смысл лишь тогда, когда прекрасно целое; что значит тонкость исполнения там, где нет величия замысла? Впрочем, произведениям русского искусства недостает и того и другого. До сего дня искусство это держалось по большей части терпением; секрет
813 его в том, чтобы, худо ли, хорошо ли, подражать другим народам и, не выказывая ни разборчивости, ни вкуса, переносить на свою почву то, что было изобретено в других краях. Архитекторам, желающим повторять античные постройки, следовало бы изготовлять точные копии, да и это уместно, лишь если окружающий пейзаж похож на греческий или римский. Иначе подражания, как бы колоссальны они ни были, выйдут ничтожными: ведь в архитектуре величие созидается не размерами стен, но строгостью стиля.

Скульптуры, установленные в Петербурге под открытым небом, напоминают мне экзотические растения, которые осенью приходится уносить в помещение; ничто так мало не подобает обычаям и духу русского народа, русской почве и климату, как эта фальшивая роскошь. Жителям страны, где разница между летней и зимней температурой доходит до 60 градусов, следовало бы отказаться от архитектуры южных стран. Однако русские привыкли обращаться с самой природой, как с рабыней, и ни во что не ставить погоду. Упрямые подражатели, они принимают тщеславие за гений и видят свое призвание в том, чтобы воссоздавать у себя, многократно увеличивая в размерах, памятники всего мира. Этот
814 город с его гранитными набережными — чудо; но и ледяной дворец, где императрица Елизавета устроила некогда бал, тоже был чудом; он прожил столько, сколько живут снежные хлопья, эти сибирские розы.

Во всех созданиях российских монархов, что мне довелось видеть, просвечивает не любовь к искусству, но человеческое честолюбие.

Русские обожают хвастаться; от многих из них я слышал среди прочего уверения в том, что климат в их стране смягчается. Неужели Господь покровительствует этому тщеславному и алчному народу? Неужели он согласен даровать ему южное небо и южный воздух? Неужели на наших глазах Лапландия обзаведется собственными Афинами, Москва станет Римом, а Финский залив сравняется с Темзой? Разве история народов зависит только от широты и долготы? Разве на разных театрах вечно разыгрываются одни и те же сцены?

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Притязания русских, какими бы смехотворными они ни выглядели, показывают, как далеко простирается честолюбие этих людей.

Коляска моя, удаляясь от дворца, быстро катилась по огромной прямоугольной площади, которую я вам только что описал; внезапно сильный ветер поднял с земли тучи пыли; сквозь эту движущуюся завесу я едва различал экипажи, во всех направлениях бороздившие булыжные мостовые города. Летняя пыль — бич Петербурга; она так ужасна, что я, пожалуй, готов променять ее на зимний снег. Не успел я вернуться в гостиницу, как разразилась гроза, напугавшая всех суеверных обитателей города, которые увидели в ней более или менее ясные предзнаменования; тьма среди бела дня, изнуряющая жара, гром и молния, вслед за которыми не пролилось ни капли дождя, ветер, едва не сорвавший крыши с домов, пыльная буря: вот зрелище, которым порадовало нас небо во время брачного пира. Русские успокаивают себя тем, что гроза продлилась недолго и что воздух после нее стал гораздо свежее, чем прежде. Я рассказываю о том, что вижу, не принимая ничьей стороны; я смотрю на все глазами зеваки, внимательного, но в душе чуждого всему, что свершается в его присутствии. Францию и Россию разделяет китайская стена — славянский характер и язык. На что бы ни притязали русские после Петра Великого, за Вислой начинается Сибирь.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

15 июля

Вчера в семь часов вечера вместе с несколькими другими иностранцами я возвратился во дворец. Нас должны были представить императору и императрице.

Видно, что император ни на мгновение не может забыть, кто он и какое внимание привлекает; он постоянно ***позирует*** и, следственно, никогда не бывает естественен, даже когда высказывается со всей откровенностью; лицо его знает три различных выражения, ни одно из которых не назовешь добрым. Чаще всего на лице этом написана суровость. Другое, более редкое, но куда больше идущее к его прекрасным чертам выражение, — торжественность, и наконец, третье — любезность; два первых выражения вызывают холодное удивление, слегка смягчаемое лишь обаянием императора, о котором мы получаем некоторое понятие, как раз когда он удостаивает нас любезного обращения. Впрочем, одно обстоятельство все портит: дело в том, что каждое из этих выражений, внезапно покидая лицо императора, исчезает полностью, не оставляя никаких следов. На наших глазах без всякой подготовки происходит смена декораций; кажется, будто самодержец надевает маску, которую в любое мгновение может снять. Поймите меня правильно: слово «маска» я употребляю здесь в том значении, которое диктует этимология. По-гречески лицемерами называли актеров; лицемер был человек, меняющий лики, надевающий маски для того, чтобы играть в комедии. Именно это я и хочу сказать: император всегда играет роль, причем играет с великим мастерством.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Лицемер, или комедиант, — слова резкие, особенно неуместные в устах человека, притязающего на суждения почтительные и беспристрастные. Однако я полагаю, что для читателей умных — а только к ним я и обращаюсь — речи ничего не значат сами по себе, и содержание их зависит от того смысла, какой в них вкладывают. Я вовсе не хочу сказать, что лицу этого монарха недостает честности, — нет, повторяю, недостает ему одной лишь естественности: таким образом, одно из главных бедствий, от которых страждет Россия, отсутствие свободы, отражается даже на лице ее повелителя: у него есть несколько масок, но нет лица. Вы ищете человека — и находите только Императора.

На мой взгляд, замечание мое для императора лестно: он добросовестно правит свое ремесло. Этот самодержец, возвышающийся благодаря своему росту над прочими людьми, подобно тому как трон его возвышается над прочими креслами, почитает слабостью на мгновение стать ***обыкновенным человеком*** и показать, что он живет, думает и чувствует, как простой смертный. Кажется, ему незнакома ни одна из наших привязанностей; он вечно остается командиром, судьей, генералом, адмиралом, наконец монархом — не более и не менее.[1] К концу жизни он очень утомится, но русский народ — а быть может, и народы всего мира — вознесет его на огромную высоту, ибо толпа любит поразительные свершения и гордится усилиями, предпринимаемыми ради того, чтобы ее покорить.

Люди, знавшие императора Александра, говорят о нем совсем иное: достоинства и недостатки двух братьев противоположны; они вовсе не были похожи
814 и не испытывали один к другому ни малейшей приязни. У русских вообще нет привычки чтить память покойных императоров, на сей же раз вычеркнуть минувшее царствование из памяти приказывают разом и чувства и политика. Петр Великий ближе Николаю, чем Александр, и на него нынче куда большая мода. Русские льстят далеким предкам царствующих императоров и клевещут на их непосредственных предшественников.

Нынешний император оставляет свою самодержавную величавость лишь в кругу своей семьи. Там он вспоминает, что человеку природой заповеданы радости, не зависимые от обязанностей государственного мужа; во всяком случае, мне хочется верить, что именно это бескорыстное чувство влечет императора к его домашним; семейственные добродетели, без сомнения, помогают ему править страной, ибо снискивают ему почтение окружающих, однако я не думаю, что он чадолюбив по расчету.

Русские почитают верховную власть как религию, авторитет которой не зависит от личных достоинств того или иного священника; российский император добродетелен не по обязанности, а значит, искренен.

Живи я в Петербурге, я сделался бы царедворцем не из любви к власти, не из алчности, не из ребяческого тщеславия, но из желания отыскать путь к сердцу

[1] Однажды некий русский прибыл из Петербурга в Париж: соотечественница спрашивает у него: «Как чувствует себя государь?» — «Прекрасно... А человек? Человека я не видел». Я постоянно твержу себе это словцо: русские согласны со мной, но никогда в этом не признаются.

этого человека, единственного в своем роде и отличного от всех прочих людей; бесчувственность его — не врожденный изъян, но неизбежный результат положения, которое он не выбирал и которого не в силах переменить.

Отречение от власти, на которую притязают другие, иногда становится возмездием; отречение от абсолютной власти стало бы малодушием.

Как бы там ни было, удивительная судьба российского императора внушает мне живой интерес и вызывает сочувствие: как не сочувствовать этому прославленному изгою?

Я не знаю, вложил ли Господь в грудь императора Николая сердце, способное к дружбе, но я чувствую, что надежда убедить в своей бескорыстной привязанности одинокого правителя, не имеющего себе равных в окружающем обществе, разжигает мое честолюбие. В отношении нравственном абсолютный монарх — первая жертва неравенства сословий, и муки его тем более велики, что, являясь предметом зависти обывателей, они должны казаться неизлечимыми тому, кого они терзают.

Сами опасности, подстерегающие меня, лишь умножают мой пыл. Как! — скажут мне — вы намерены прилепиться сердцем к человеку, в котором нет ничего человеческого, к человеку, чье суровое лицо внушает уважение, неизменно смешанное со страхом, чей пристальный и твердый взгляд исключает всякую вольность в обращении и требует покорства, к человеку, у которого улыбка никогда не появляется одновременно на губах и во взоре, наконец к человеку, ни на мгновение не выходящему из роли абсолютного монарха?! А почему бы и нет? Душевный разлад и мнимая суровость — не вина его, а беда. На мой взгляд, все это — следствия принуждения и привычки, но не черты характера, и я, притязающий на постижение скрытой сущности этого человека, на которого вы с вашими страхами и предосторожностями возводите напраслину, я, догадывающийся о том, чего стоит ему исполнение монаршьего долга, не хочу оставлять этого несчастного земного бога на растерзание безжалостной зависти и лицемерной покорности его рабов. Увидеть своего ближнего даже в самодержце, полюбить его как брата — это религиозное призвание, милосердный поступок, священная миссия, одним словом — дело богоугодное.

Чем больше я узнаю двор, тем больше сострадаю судьбе человека, вынужденного им править, в особенности если это двор русский, напоминающий мне театр, где актеры всю жизнь участвуют в генеральной репетиции. Ни один из них не знает своей роли, и день премьеры не наступает никогда, потому что директор театра никогда не бывает доволен игрой своих подопечных. Таким образом, все, и актеры, и директор, растрачивают свою жизнь на бесконечные поправки и усовершенствования светской комедии под названием «Северная цивилизация». Если даже видеть это представление тяжело, то каково же в нем участвовать!.. Я предпочитаю Азию, там жизнь более гармонична. В России вы на каждом шагу поражаетесь действию, какое оказывают новые обычаи на вещи и установления, поражаетесь людской неопытности. Русские старательно скрывают все это, но достаточно путешественнику приглядеться к их жизни повнимательнее, и все тайное становится явным.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

sis Император даже по крови более немец, нежели русский. Красота его черт, правильность профиля, военная выправка и некоторая скованность манер выдают в нем скорее германца, нежели славянина. Его германская натура, должно быть, долго мешала ему стать тем, кем он стал, то есть истинным русским. Кто знает, быть может, он был рожден простодушным добряком!.. Представьте же себе, что он должен был вынести ради того, чтобы всецело соответствовать титулу императора всех славян? Не всякому дано сделаться деспотом; необходимость постоянно одерживать победы над самим собой, дабы править другими, — вот возможный источник неумеренности нового патриотизма императора Николая.

Все это не только не отвращает, но, напротив, притягивает меня. Я не могу не питать сочувственного интереса к человеку, которого страшится весь мир и который по этой причине заслуживает еще большего сострадания.

Стараясь избавиться от налагаемых им на самого себя ограничений, он мечется, как лев в клетке, как больной в горячке; он гуляет верхом или пешком, он устраивает смотр, затевает небольшую войну, плавает по морю, командует морским парадом, принимает гостей на балу — и все это в один и тот же день; главный враг здешнего двора — досуг, из чего я делаю вывод, что двор этот снедаем
815 скукой. Император беспрестанно путешествует; за сезон он преодолевает 1500 лье, не допуская и мысли о том, что не всем по силам такие долгие странствия. Императрица любит мужа и боится его покинуть; она следует за ним, покуда может, и устает до смерти; впрочем, она привыкла к этой суетной жизни. Подобные развлечения необходимы ее уму, но гибельны для тела.

Столь полное отсутствие покоя вредит, должно быть, воспитанию детей — занятию, требующему от родителей степенного образа жизни. Юные великие князья недостаточно удалены от двора, и всегдашнее легкомыслие придворных, отсутствие увлекательных и связных бесед, невозможность сосредоточиться, без сомнения, действуют на их характеры тлетворно. Зная, как проводят они свои дни, приходится удивляться выказываемому ими уму; судьба их вызывает тревогу, подобно судьбе цветка, растущего в неподобающем грунте. Россия — страна мнимостей, где все вызывает недоверие.

816 Вчера вечером я был представлен императору, причем не французским послом, но обер-церемониймейстером. Господин посол предупредил меня о том, что это — воля самого императора. Не знаю, таков ли обычный порядок, но меня представил Их Величествам именно обер-церемониймейстер.

Все иностранцы, удостоившиеся высокой чести, собрались в одной из гостиных, через которую Их Величества должны были проследовать в бальную залу. Гостиная эта расположена перед заново отделанной длинной галереей, которую придворные видели после пожара впервые. Прибыв в назначенный час, мы довольно долго ждали появления государя. Среди нас было несколько французов,
в 17 один поляк, один женевец и несколько немцев. Другую половину гостиной занимали русские дамы, собравшиеся здесь для того, чтобы развлекать чужестранцев.

Император принял всех нас с тонкой и изысканной любезностью. С первого взгляда было видно, что это человек, вынужденный беречь чужое самолюбие и привыкший к такой необходимости. Все чувствовали, что императору довольно

одного слова, одного взгляда, чтобы составить определенное мнение о каждом из гостей, а мнение императора — это мнение всех его подданных.

Желая дать мне понять, что ему не было бы неприятно, если бы я познакомился с его империей, император благоволил сказать, что, дабы составить верное представление о России, мне следовало бы доехать по крайней мере до Москвы и до Нижнего. «Петербург — русский город, — прибавил он, — но это не Россия».

Эта короткая фраза была произнесена тоном, который трудно забыть, до такой степени властно, серьезно и твердо он звучал. Все рассказывали мне о величественном виде императора, о благородстве его черт и стана, но никто не предупредил меня о мощи его голоса; это голос человека, рожденного, чтобы повелевать. Голос этот не является плодом особых усилий или длительной подготовки; это дар Божий, усовершенствованный в ходе длительного употребления.

Лицо императрицы при ближайшем рассмотрении выглядит весьма обольстительно, а голос ее настолько же нежен и проникновенен, насколько властен от природы голос императора.

Она спросила меня, приехал ли я в Петербург как обычный путешественник. Я отвечал утвердительно.

— Я знаю, вы любознательны, — продолжала она.

— Да, государыня, — отвечал я, — меня привела в Россию моя любознательность, и по крайней мере на сей раз я не раскаюсь в том, что покорился страсти к путешествиям.

— Вы полагаете? — переспросила она с очаровательной любезностью.

— Мне кажется, что ваша страна полна вещей столь удивительных, что поверить в их существование можно, лишь увидев их своими глазами.

— Я надеюсь, что вы увидите много интересного.

— Надежда Вашего Величества ободряет меня.

— Если мы вам понравимся, вы скажете об этом, но напрасно: вам не поверят; нас знают очень мало и не хотят узнать лучше.

Слова эти, слетевшие с уст императрицы, поразили меня, ибо обличали озабоченность говорившей. Мне показалось также, что в них она с редкостной любезностью и простотой выразила свою благосклонность ко мне.

Императрица с первого же мгновения внушает почтение и доверие; видно, что, несмотря на вынужденную сдержанность речей и придворные манеры, в ней есть душа, и это несчастье сообщает ей неизъяснимую прелесть. Она больше чем Императрица, она — женщина.

Она показалась мне очень уставшей; худоба ее ужасает. Нет человека, который не признавал бы, что бурная жизнь убивает государыню, однако, веди она жизнь более покойную, она умерла бы от скуки.

Празднество, начавшееся после того, как мы были представлены, — одно из самых пышных, какие мне довелось видеть в своей жизни. Это настоящая феерия, причем холодноватое великолепие обычных балов оживлялось восторженным изумлением, какое вызывали у придворных все залы восстановленного за год дворца; восторги эти придавали происходящему некоторый драматический интерес. Каждая зала, каждая роспись становились предметом удивления для

самих русских, бывших свидетелями пожара и впервые переступивших порог этого великолепного здания с тех пор, как по воле земного бога храм его восстал из пепла. «Какое усилие воли!» — думал я при виде каждой галереи, каждой мраморной статуи, каждого живописного полотна. Хотя все эти украшения были восстановлены не далее как вчера, стилем своим они напоминают то столетие, когда дворец был построен; все, что представало моим глазам, казалось мне уже древним; в России подражают всему, даже времени. Чудеса эти внушали толпе восхищение поистине заразительное; видя триумф воли одного человека и слыша восклицания других людей, я сам начинал уже куда меньше возмущаться ценой, в которую стало царское чудо. Если я поддался этому воздействию по прошествии двух дней, как же снисходительно следует относиться к людям, рожденным в этой стране и всю жизнь дышащим воздухом этого двора!.. — иными словами, России, ибо все подданные этой огромной империи дышат воздухом двора. Я не говорю о крепостных, да, впрочем, и они — постольку, поскольку состоят в сношениях с помещиками, — испытывают влияние мысли государя, единовластно одушевляющей империю; для крестьян их хозяин — воплощение верховного владыки; в России повсюду, где есть люди покорствующие и люди повелевающие, незримо присутствуют образы императора и его двора.

В других краях бедняки либо попрошайничают, либо грабят; в России они непременно низкопоклонничают, ибо здесь низкопоклонники-царедворцы имеются во всех сословиях; вот отчего я говорю, что вся Россия — это двор императора и что между чувствами русских помещиков и чувствами европейских дворян старого времени существует та же разница, что и между низкопоклонством и аристократизмом, между тщеславием и гордостью, — одно убивает другое; впрочем, настоящая гордость повсюду такая же редкость, как и добродетель. Вместо того чтобы проклинать царедворцев, как делали Бомарше и многие другие, следует пожалеть этих людей, которые, что ни говори, тоже люди. Бедные царедворцы!.. Они вовсе не чудовища, сошедшие со страниц современных романов и комедий либо революционных газет; они просто-напросто слабые, развращенные и развращающие существа; они не лучше, но и не хуже других, однако подвергаются большим искушениям. Скука — язва богачей; однако она — не преступление; тщеславие и корысть — пороки, для которых двор служит благодатной почвой, — сокращают жизнь прежде всего самим придворным. Но если царедворцы мучимы более сильными страстями, они ничуть не более порочны, чем все прочие люди, ибо они не искали и не выбирали своего положения. Наши мудрецы сделали бы важное дело, если бы сумели втолковать толпе, что ей следует пожалеть обладателей тех фальшивых благ, которым она завидует.

817

Я видел людей, танцевавших на том месте, где год назад едва не погибли под обломками дворца они сами и где сложили голову многие другие люди — сложили голову ради того, чтобы двор смог предаться увеселениям точно в день, назначенный императором.

Все это казалось мне не столько прекрасным, сколько удивительным; философические размышления непременно омрачают мне любые русские праздники и торжества: в других странах свобода рождает веселость, плодящую иллюзии;

в России деспотизм умножает раздумья, прогоняющие очарование, ибо тот, кто мыслит, не склонен к восторгам.

Наиболее распространенный в этих краях танец не препятствует задумчивости: танцующие степенно прохаживаются под музыку; каждый кавалер ведет свою даму за руку, сотни пар торжественно пересекают огромные залы, обходя таким образом весь дворец, ибо людская цепь по прихоти человека, возглавляющего шествие, вьется по многочисленным залам и галереям; все это называется — танцевать ***полонез.*** Один раз взглянуть на это зрелище забавно, 817
но я полагаю, что для людей, обреченных танцевать этот танец всю жизнь, бал очень скоро превращается в пытку.

Петербургский полонез возвратил меня во времена Венского конгресса 1814 817
года, когда я сам танцевал полонез на большом балу. Тогда на европейских празднествах никто не соблюдал этикета; величайшие государи развлекались бок о бок с простыми смертными. Случай поместил меня между российским императором Александром и его супругой, урожденной принцессой Баденской. Я при- 817
нимал участие в общем шествии, весьма смущенный тем, что невольно оказался вблизи этих августейших особ. Внезапно цепь танцующих пар по непонятной причине остановилась, музыка же продолжала звучать. Император нетерпеливо перегнулся через мое плечо и очень резко сказал императрице: «Двигайтесь же!» Императрица обернулась и, увидев за моей спиной императора в паре с женщиной, за которой он уже несколько лет открыто ухаживал, произнесла с непередава- 818
емой интонацией: «Вежлив, как всегда!» Самодержец взглянул на меня и прикусил губу. Тут пары двинулись вперед — танец возобновился.

Большая галерея, стены которой до пожара были побелены, а теперь целиком покрыты позолотой, восхитила меня. Несчастье сослужило хорошую службу императору, обожающему роскошь... Я хотел назвать ее царской, но слово это не выражает в полной мере здешнего великолепия; слово ***божественная*** лучше передает мнение верховного правителя России о себе самом.

Послы всех европейских держав были приглашены на бал, где могли убедиться в том, какие чудеса творит российское правительство, столь сурово бранимое обывателями и вызывающее столь сильную зависть и столь безудержное восхищение у политиков, людей сугубо практических, которые поражаются в первую очередь простоте деспотического механизма. Громаднейший дворец в мире, восстановленный за один год, — какой источник восторгов для людей, привыкших существовать вблизи трона.

Великих результатов нельзя достичь, не пойдя на великие жертвы; единоначалие, могущество, власть, военная мощь — здесь все это покупается ценою свободы, а Франция купила политическую свободу и промышленные богатства ценою древнего рыцарского духа и старинной тонкости чувств, именовавшейся некогда национальной гордостью. На смену этой гордости пришли иные добродетели, менее патриотические, но более всеобщие: человеколюбие, религия, милосердие. Весь мир признает, что во Франции сегодня куда больше истинно верующих, чем во времена всемогущества церкви. Желая сохранить достоинства взаимоисключающие, мы теряем те достоинства, что годны всегда и всюду. Вот

чего не понимают мои соотечественники, притязающие на то, чтобы все разрушить и одновременно все сберечь. Всякое правительство имеет нужды, с которыми ему следует смириться и которые ему следует уважать, если оно не хочет погибнуть.

Мы же хотим быть коммерсантами, как англичане, свободными, как американцы, ветреными, как поляки в эпоху сеймов, воителями, как русские, и, следственно, не становимся ничем. Здравый смысл нации состоит в том, чтобы угадать и выбрать себе цель в согласии со своим духом, а затем решиться на все жертвы, необходимые для достижения этой цели, поставленной природой и историей. Именно в этом — сила Англии.

Франции недостает здравомыслия в идеях и умеренности в желаниях.

Она великодушна, даже смиренна, но она не умеет пускать в ход и направлять свои силы. Она идет куда глаза глядят. Страна, где со времен Фенелона только и разговоров что о политике, и по сей день не имеет ни власти, ни управления. Все кругом видят зло и оплакивают его, что же до средства от него избавиться, каждый ищет его, повинуясь голосу собственных страстей, и, следственно, никто его не находит: ведь страсти способны убедить лишь того, кто им подвластен.

Тем не менее истинно приятную жизнь можно вести только в Париже; там люди развлекаются, браня все кругом; в Петербурге же люди скучают, все кругом расхваливая; впрочем, наслаждение не является целью жизни; оно не является таковой даже для отдельных личностей, о нациях же не приходится и говорить.

Как ни раззолочена бальная зала Зимнего дворца, но галерея, где был сервирован ужин, показалась мне еще более достойной восхищения. Она пока не совсем отделана, но светильники из белой бумаги, развешанные по случаю бала в царских хоромах, выглядели так фантастично, что пришлись мне по душе. Конечно, волшебному дворцу пристало иное освещение, но сегодня здесь было светло как днем: мне этого довольно. Благодаря успехам промышленности французы забыли, что такое свеча; в России же, как мне показалось, до сих пор употребляют самые настоящие восковые свечи. Стол ломится от яств; все на царском пиру было таким колоссальным, всего было так много, что я не знал, чему дивиться больше: величию целого или обилию частей. Вокруг одного стола, накрытого в одной зале, разместилась тысяча человек.

В число всех этих гостей, более или менее блистающих золотом и брильянтами, входил и киргизский хан, которого я видел утром в церкви вместе с сыном и свитой; заметил я также и старую царицу Грузии, вот уже три десятка лет как лишившуюся трона. Несчастная женщина бесславно прозябает при дворе тех, кто отнял у нее корону. Она внушила бы мне глубочайшую жалость, если бы не походила так сильно на восковую фигуру из музея Курция. Лицо у нее обветренное, как у солдата, проведшего жизнь в походах, а наряд смехотворен. Мы слишком охотно смеемся над несчастьем, когда оно предстает перед нами в уродливом виде; став смешным, несчастье теряет право на сострадание. Слыша о плененной царице Грузии, готовишься увидеть красавицу, видишь же нечто противоположное,

а ведь сердце человеческое очень скоро делается несправедливым к тому, что не нравится глазам: в этом угасании жалости мало великодушия, но, признаюсь, я не мог сохранять серьезность, заметив на голове у царицы нечто вроде кивера, украшенного весьма своеобразной вуалью; остальной наряд был выдержан в том же духе, что и головной убор, причем если все придворные дамы явились на бал в платьях со шлейфами, то восточная царица надела платье укороченное и расшитое без всякой меры. Одеяние ее было настолько безвкусно, лицо выражало такую смесь скуки и низкопоклонства, черты были настолько безобразны, а манеры настолько неловки, что она вызывала разом и смех, и страх. Повторю еще раз: не для того мы ездим так далеко, чтобы принуждать себя сострадать людям неприятным.

Национальный наряд русских придворных дам величественен и дышит стариной. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым. Увы, при русском дворе их немало: старики и старухи так дорожат своими придворными должностями, что ездят ко двору до самой смерти! Вообще, повторяю, в Петербурге красивые женщины встречаются редко, однако в большом свете изящество и обаяние с успехом возмещают недостаточную правильность черт и стройность форм. Впрочем, всеми названными достоинствами обладают некоторые грузинки. Светила эти блистают среди северных женщин, словно звезды среди бездонного южного неба. Парадные платья с длинными рукавами и шлейфом сообщают облику женщин нечто восточное и радуют глаз. 818

Одно странное происшествие помогло мне оценить, сколь безупречна любезность императора.

Во время бала церемониймейстер объяснил нам, иностранцам, впервые присутствующим на придворном празднестве, какие места за столом следует нам занять. «Когда танцы прервутся, — сказал он каждому из нас, — вы пойдете вслед за всеми в галерею; там вы увидите большой накрытый стол; ступайте направо и садитесь на любые свободные места».

В галерее был всего один огромный стол на тысячу персон, предназначенный для дипломатического корпуса, иностранных гостей и русских придворных. Однако у дверей справа стоял маленький круглый стол на восемь персон.

В число гостей-иностранцев входил один женевец, юноша образованный и остроумный; нынче вечером он представился императору в мундире национального гвардейца, который русский государь не слишком жалует; тем не менее юный швейцарец чувствовал себя во дворце как дома; то ли по природной самоуверенности, то ли по республиканской развязности, то ли по простоте душевной он, казалось, вовсе не заботился ни об особах, его окружающих, ни о впечатлении, им производимом. Я завидовал его совершенной непринужденности, мне отнюдь не свойственной. Впрочем, несмотря на разность нашего поведения, оба мы преуспели одинаково: император обошелся с нами обоими равно любезно.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Одна опытная и остроумная особа полушутя-полусерьезно посоветовала мне, если я хочу произвести благоприятное впечатление на государя, смотреть на него почтительно и робко. Совет этот был совершенно излишен, ибо я дик от природы: мне было бы не под силу зайти в хижину угольщика и свести с ним ms знакомство — что же говорить об императоре! Немецкая кровь дает себя знать; итак, сама природа вложила в меня довольно застенчивости и сдержанности, чтобы успокоить тревогу государя, который был бы так велик, как ему хочется, если бы меньше пекся о почтительности подданных. Вот новое подтверждение моей мысли о том, что при русском дворе вся жизнь уходит на генеральные репетиции! Впрочем, тревога эта не всегда владеет императором. Сейчас я приведу вам доказательство природного великодушия российского монарха.

Я уже сказал, что женевец, ничуть не разделявший мою старомодную робость, менее всего заботился о соблюдении приличий. Это понятно: он молод и исповедует идеи своего века; всякий раз, когда император заговаривал с ним, я не без зависти любовался его уверенным видом.

Вскоре, однако, швейцарец подвергнул любезность Его Величества решительному испытанию. Войдя в пиршественную залу, республиканец, согласно полученным нами указаниям, двинулся вправо, увидел маленький круглый стол и бесстрашно уселся за него в полном одиночестве. Несколько мгновений спустя, когда гости заняли свои места за большим столом, император вместе с несколькими офицерами из числа его приближенных сел за маленький стол напротив почтенного национального гвардейца из Женевы. Должен вам сказать, что императрицы за этим столом не было. Путешественник остался на своем месте, сохраняя ту непоколебимую уверенность в себе, которая так восхищала меня в нем и которая в этот миг превратилась в государственную доблесть.

Одного места за маленьким столом недостало, поскольку император не рассчитывал на девятого сотрапезника. Однако с любезностью, безупречная элегантность которой стоит деликатности добрых душ, он тихо приказал слуге при- 818 нести еще один стул и прибор, что и было исполнено без шума и суеты.

Место мое за большим столом находилось неподалеку от маленького стола, за которым сидел император, поэтому поступок его не ускользнул от моего внимания, равно как, впрочем, и от внимания того, кто послужил его причиной. Однако этот счастливец не только не смутился тем, что занял чужое место и нарушил волю государя, но невозмутимо продолжил свой разговор с соседями по столу. Быть может, он поступает так из чуткости, говорил я себе, быть может, он не хочет привлекать к себе внимания и просто-напросто дожидается мгновения, когда император встанет из-за стола, чтобы подойти к нему и объясниться. Ничего подобного!.. Ужин окончился, но мой герой и не подумал попросить прощения, находя, по всей вероятности, оказанную ему честь вполне естественной. Должно быть, вечером, возвратясь домой, он бестрепетной рукой занесет в свой дневник: «ужинал с императором». Впрочем, Его Величество довольно скоро лишил его этого удовольствия: он встал из-за стола прежде гостей и стал прогуливаться за нашими спинами, требуя, однако, чтобы никто не трогался с места. Наследник сопровождал отца: я видел, как он остановился за спиной английского

вельможи маркиза *** и обменялся шутливыми репликами с юным лордом ***, сыном этого маркиза. Англичане, которые, как и все прочие гости, продолжали сидеть за столом, отвечали императору и наследнику, не прекращая трапезы и не поворачиваясь.

Выказав эту английскую вежливость, лорды помогли мне понять, что российский император держит себя проще, чем иные частные лица.

Я никак не ожидал, что на этом балу испытаю наслаждение, никак не связанное с лицами и предметами, меня окружавшими; я говорю о впечатлении, произведенном на меня величественными явлениями природы. Ртутный столбик поднялся до 30 градусов, и, несмотря на вечернюю свежесть, во дворце было очень душно. Выйдя из-за стола, я поспешил укрыться в амбразуре распахнутого окна. Там, совершенно забыв обо всем, что меня окружает, я залюбовался игрой света, какую можно увидеть только на севере, в чудесные по своей ясности белые ночи. Черные, тяжелые грозовые тучи полосовали небо; часы показывали половину первого пополуночи; в это время года ночи в Петербурге так коротки, что их едва успеваешь заметить; утренняя заря уже занималась над Архангельском; ветер стих, и в просветах между неподвижными тучами белело небо; казалось, серебристые клинки рассекают наброшенное на него плотное шитье. Свет небес отражался в невских водах, пребывавших в полной неподвижности, ибо волны залива, все еще волнуемого давешней бурей, шли навстречу течению реки и останавливали его, придавая поверхности Невы сходство с молочным морем или перламутровым озером.

Передо мной простиралась большая часть Петербурга с его набережными и шпилями; то была картина, достойная кисти Брейгеля Бархатного. Краски этой картины не поддаются описанию; главы собора Святого Николая синели на фоне белого неба; над портиком Биржи — греческого храма, с театральной помпезностью возведенного на оконечности одного из островов, в том месте, где река разделяется на два главных рукава, — еще сверкали остатки иллюминации; освещенные колонны здания, безвкусность которого не была заметна в такой час и на таком расстоянии, отражались в реке, рисуя на ее белой поверхности золотистый фронтон и перистиль; весь город, казалось, окрасился в тот же синий цвет, что и собор Святого Николая, и уподобился заднему плану, который часто встречается в картинах старых мастеров; эта фантастическая картина, написанная на ультрамариновом фоне в позолоченной раме окна, каким-то сверхъестественным образом противоречила роскошному убранству и искусственному освещению дворца. Казалось, будто город, небо, море, вся природа, соперничая с дворцом, желали по-своему отпраздновать свадьбу дочери того, кто повелевает всеми этими просторами. Вид неба был настолько поразителен, что человек с воображением мог бы счесть, что во всей Российской империи, от Лапландии до Крыма и Кавказа, от Вислы до Камчатки, царь небесный подает какой-то знак царю земному. Северное небо щедро на предзнаменования. Во всем этом таилось нечто удивительное и даже прекрасное.

Я все глубже и глубже погружался в созерцание, как вдруг нежный и проникновенный голос пробудил меня от грез.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

— Что вы здесь делаете? — спросил голос.

— Сударыня, я восхищаюсь; сегодня я только это и делаю.

Я поднял глаза и увидел императрицу. Мы были одни в амбразуре этого окна, напоминавшего открытую беседку над Невой.

— Что до меня, — сказала императрица, — то я задыхаюсь; это куда менее поэтично. Впрочем, у вас есть все основания восхищаться этим видом; он в самом деле великолепен.

Она принялась смотреть в окно вместе со мной.

— Я уверена, — продолжала она, — что во всем этом дворце мы единственные, кто обращает внимание на эту игру света.

— Все, что я вижу здесь, ново для меня, сударыня; я никогда не прощу себе, что не приехал в Россию, когда был молод.

— Сердце и воображение всегда молоды.

Я не осмелился отвечать, ибо императрица точно так же, как и я, уже вовсе не молода, и мне не хотелось напоминать ей об этом; у меня могло недостать времени и храбрости уверить ее, что бег времени не должен ее печалить, ибо ей есть откуда черпать утешение. Покидая меня, она сказала с присущим ей изяществом: «Я сохраню в памяти этот вечер, когда страдала и восхищалась вместе с вами». Затем она добавила: «Я не ухожу, мы еще увидимся».

818 Я близок с польским семейством, к которому принадлежит женщина, пользующаяся особым расположением императрицы. Баронесса ***, урожденная графиня ***, воспитывавшаяся в Пруссии вместе с дочерью короля, последовала за принцессой в Россию и никогда не разлучалась с нею; она вышла замуж в Петербурге, где живет на положении подруги императрицы. Подобное постоянство чувства делает честь им обеим. По-видимому, баронесса *** сказала обо мне императору и императрице несколько добрых слов, а моя природная скромность — лесть особенно тонкая оттого, что невольная, — довершила мой триумф.

Выходя из пиршественной залы и направляясь в бальную, я снова подошел к окну. На сей раз оно выходило во внутренний двор, и здесь глазам моим предстало зрелище совсем иного свойства, хотя и столь же неожиданное и удивительное, что и заря над Петербургом. То был внутренний двор Зимнего дворца, квадратный, как и двор Лувра. Покуда длился бал, двор этот постепенно заполнялся народом; тем временем сумерки рассеялись, взошло солнце; глядя на эту немую от восхищения толпу — этот неподвижный, молчаливый и, так сказать, завороженный роскошью царского дворца народ, с робким почтением, с некоей животной радостью вдыхающий ароматы господского пира, — я ощутил радость. Наконец-то я увидел русскую толпу; там внизу собрались одни мужчины; их было так много, что они заполнили весь двор до последнего дюйма... Однако развлечения народа, живущего в деспотических странах, не внушают мне доверия, если совпадают с забавами монарха; я убежден, что единственные неподдельные чувства, живущие в груди людей при самодержавном правлении, — это страх и подобострастие у низших сословий, гордыня и лицемерное великодушие — у высших.

На петербургском празднестве я то и дело вспоминал путешествие импе-
319 ратрицы Екатерины в Крым и выстроенные вдоль дороги, в четверти лье одна от

другой, деревни, состоящие из одних раскрашенных фасадов; их возвели здесь из досок, дабы уверить победоносную государыню в том, что в ее царствование посреди пустыни выросли селения. Подобные мысли до сих пор владеют русскими умами; всякий стремится скрыть от взоров победителя свои беды и явить его очам сплошное благоденствие. Дабы угодить тому, кто, по всеобщему убеждению, желает и добивается всеобщего блага, люди ополчаются против истины, грозя ей заговором улыбок. Император — единственный живой человек во всей империи; ведь есть — еще не значит жить!..

Следует, однако, признать, что народ, толпившийся во дворе, оставался там, можно сказать, по доброй воле; мне показалось, что никто не принуждал этих простолюдинов собраться под окнами императора и притворяться веселыми; значит, они и впрямь веселились, но источником их веселья были забавы господ, они веселились ***зело печально,*** как говорит Фруассар. Впрочем, прически женщин из простонародья, ослепительные шерстяные или шелковые пояса мужчин в русских, то есть персидских, кафтанах прекрасного сукна, многообразие красок, неподвижность людей — все это вместе напоминало мне огромный турецкий ковер, которым покрыл двор тот волшебник, что творит все здешние чудеса. Партер из голов — вот прекраснейшее украшение императорского дворца в первую брачную ночь его дочери; российский монарх был того же мнения, что и я, ибо любезно обратил внимание иностранцев на эту молчаливую толпу, одним своим присутствием доказывавшую, что она разделяет с государем его радость. Тень народа преклоняла колени перед невидимыми богами. Их Величества суть божества этого Элизиума, обитатели которого, обрекшие себя на смирение, с восторгом вкушают блаженство, составленное из лишений и жертв. 819

Я замечаю, что веду здесь такие речи, какие в Париже ведут радикалы; в России я стал демократом, но это не помешает мне оставаться во Франции убежденным аристократом; все дело в том, что крестьянин, живущий в окрестностях Парижа, или наш мелкий буржуа куда более свободны, чем помещик в России. Только тот, кто путешествовал, знает, до какой степени подвержено человеческое сердце оптическим обманам. Наблюдение это подтверждает мысль госпожи де Сталь, сказавшей, что всякий француз «либо завзятый якобинец, либо неистовый роялист». 819

Я возвратился к себе, ошеломленный величием и щедростью императора и изумленный бескорыстным восхищением, с каким народ глядит на богатства, которых он не имеет, которых у него никогда не будет и которым он даже не осмеливается завидовать. Если бы я не знал, сколько самовлюбленных честолюбцев плодит ежедневно свобода, я с трудом поверил бы, что деспотизм мог породить столько бескорыстных философов.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

*Примечание. — Суета петербургской жизни. — Никакой толпы. — Истинно русский император. — Императрица, приветливость ее. — Какое значение придают в России мнению чужестранцев. — Сравнение Парижа с Петербургом. — Определение учтивости. — Празднество в Михайловском замке. — Великая княгиня Елена. — Беседа с нею. — Блеск балов, куда мужчины являются в мундирах. — Искусная иллюминация. — Освещенная зелень. — Музыка вдали. — Боскет в галерее замка. — Фонтан в бальной зале. — Экзотические растения. — Убранство из одних зеркал. — Танцевальная зала. — Приют императрицы. — Следствие демократии. — Что подумают на сей счет наши потомки. — Примечательная беседа с императором. — Его склад ума. — Тайна России разгадана. — Работы, предпринятые императором в Кремле. — Участливость его. — Забавный анекдот в примечании. — Английская учтивость. — Бал, данный императрицей в честь семейства Д***. — Портрет одного француза. — Г-н де Барант. — Обер-камергер. — Оплошность одного из его подчиненных. — Суровый выговор, полученный им от императора. — Как затруднительно что-либо осмотреть в России.*

ПРИМЕЧАНИЕ

820 Письмо, которое вы сейчас прочтете, доставил из Петербурга в Париж надежный человек, а мой друг, кому было оно адресовано, сохранил его для меня ввиду некоторых подробностей, показавшихся ему занятными. Тон его, более хвалебный, нежели в тех письмах, какие остались у меня, объясняется тем, что чрезмерная откровенность могла бы в известных обстоятельствах скомпрометировать лицо, любезно вызвавшееся доставить мой отчет по назначению. Оттого я полагал, что в письме этом — но только в нем одном — обязан преувеличить добро и сгладить зло; я почел своим долгом сделать это признание, ибо в сочинении, единственная ценность которого состоит в добросовестности и точности, малейшее притворство было бы просчетом. Вымысел портит рассказ путешественника по той же самой причине, по какой действительный факт уродует вымышленное произведение, будучи включен в него, а значит, более или менее искажен.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Итак, мне бы хотелось, чтобы письмо это вы читали несколько более осмотрительно, нежели другие, а главное — не обошли вниманием примечания к нему, которые служат к его исправлению.

Петербург, 19 июля 1839 года

Поверите ли, уже пять дней как получил я ваше письмо от 1 июля и до сих пор, без преувеличения, не имел ни минуты, чтобы вам ответить. Я мог бы выкроить время только по ночам, но при той изнурительной лапландской жаре, какая теперь стоит, не спать было бы опасно.

Надобно быть русским и даже самим императором, чтобы выдержать утомление от нынешней петербургской жизни: по вечерам тут задают празднества, какие увидишь единственно в России, по утрам принимают поздравления при дворе, устраивают церемонии, приемы или же публичные торжества, морские и сухопутные парады; на Неве в присутствии всего двора, а с ним и всего города, спущен на воду 120-пушечный корабль — вот что поглощает все мои силы и влечет любопытство. Когда дни так насыщенны, становится не до писем.

Я говорю, что весь город и двор собрались посмотреть, как спускают на воду Невы корабль, самый большой, какой бороздил когда-либо эту реку, — но не подумайте, будто из-за этого на морском празднике была толпа. Русским менее всего недостает простора, и он же более всего им вредит; четыре-пять сотен тысяч человек, что живут в Петербурге, не заселяя его, теряются в обширных пределах этого необъятного города с сердцем из гранита и меди, телом из штукатурки и извести и оконечностями из крашеных бревен и гнилых досок. Досками этими, вместо городских стен, обнесено пустынное болото. Этот город — колосс на глиняных ногах; в сказочном великолепии своем он не похож ни на одну из столиц цивилизованного мира, даром что возводился в подражание им всем; но человек напрасно пускается искать для себя образцы на краю света — почва и климат властвуют над ним, понуждая создавать что-то новое, даже если хочется ему всего лишь повторить древних.

Я видел Венский конгресс, но не припомню собрания, которое бы роскошью драгоценностей и платьев, разнообразием и пышностью мундиров либо стройной величавостью целого могло сравниться с празднеством, что устроил император по случаю бракосочетания своей дочери, — вечером, в том самом Зимнем дворце, какой годом раньше сгорел и восстал из пепла по слову одного-единственного человека.

Петр Великий не умер! Нравственная сила его по-прежнему жива и по-прежнему деятельна: Николай — первый истинно русский государь, правящий Россией после основателя ее столицы.

Когда бал, данный при дворе в честь бракосочетания великой княжны Марии, близился к концу, императрица послала дежурных офицеров отыскать меня среди танцующих, но они с четверть часа не могли этого сделать, ибо я, по своему обыкновению, держался в стороне. Я был целиком поглощен красотою неба

и, застыв у того самого окна, где оставила меня императрица, любовался ночью. После ужина я лишь на миг покинул это место, чтобы оказаться на пути следования Их Величеств, но, не будучи замечен ими, возвратился назад и с некоего подобия кафедры созерцал в свое удовольствие поэтическое зрелище — рассвет над огромным городом во время придворного бала. Офицеры, что получили приказ меня найти, наконец обнаружили мое укрытие и поспешили проводить меня к императрице. Она ожидала меня и была столь добра, что произнесла в виду всего двора:

— Я уже очень давно спрашиваю о вас, господин де Кюстин, почему вы бежите меня?

— Я дважды стоял на пути следования Вашего Величества, Ваше Величество меня не видели.

— Вы сами виноваты, я искала вас с тех пор, как вернулась в бальную залу. Мне хочется, чтобы вы непременно все здесь увидали в подробностях, дабы ваше мнение о России перевесило мнение глупцов и недоброжелателей.

— Я далек от того, чтобы приписывать себе подобную власть, государыня; но когда бы впечатления мои могли передаваться другим, скоро Франция взирала бы на Россию как на сказочную страну.

— Вам не следует держаться только внешности вещей, вы должны оценить суть их, вы наделены всеми необходимыми для этого дарованиями. Прощайте, я хотела только пожелать вам покойной ночи, жара меня утомляет; не забудьте сказать, чтобы вас провели по моим новым покоям, их переделали по замыслу императора. Я распоряжусь, чтобы вам все показали самым подробным образом.

После ее ухода я стал предметом всеобщего любопытства и изъявлений благорасположения со стороны присутствующих.

Эта придворная жизнь мне настолько в новинку, что забавляет меня; я словно путешествую во времени: мне кажется, будто я в Версале и перенесся на столетие назад. Великолепная учтивость здесь — естественное свойство человека; как видите, Петербург весьма далеко отстоит от нашей страны, какова она сегодня. В Париже есть пышность, богатство, даже изысканность, но нет более ни величия, ни обходительности; начиная с первой революции, мы живем в завоеванной стране, где укрылись вместе, кто как смог, и грабители, и ограбленные. Для того чтобы быть вежливым, надо иметь что отдавать: вежливость есть искусство жаловать других преимуществами, которыми обладаешь сам, — своим умом, богатством, высоким положением, влиянием и любым иным способом доставлять удовольствие; быть вежливым — значит уметь с приятностью оделять дарами и принимать их; но когда ничто никому не принадлежит наверное, никто ничего не может и дать. Во Франции теперь ничем нельзя обменяться полюбовно, все надо вырывать у людей, одержимых честолюбием или страхом. Ум ценится лишь постольку, поскольку можно извлечь из него выгоду, и даже беседа вдруг прерывается, едва ее перестает оживлять тайный расчет.

Уверенность в своем положении есть первое условие обходительности в общественных отношениях и источник остроумных мыслей в беседе.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Вчера, почти не успев отдохнуть после придворного бала, я побывал еще на одном празднестве — в Михайловском замке, у великой княгини Елены, невестки императора, супруги великого князя Михаила и дочери князя Павла Вюртембергского, живущего в Париже. Она слывет одной из утонченнейших дам в Европе; беседа с нею до крайности увлекательна. Я имел честь быть ей представленным перед балом — в ту первую минуту она сказала мне всего несколько слов, но в продолжение вечера не раз доставила мне случай говорить с нею. Вот что запомнилось мне из ее приветливых речей: 820

— Мне говорили, что у вас и в Париже, и в загородном доме собирается весьма приятное общество. 821

— Да, Ваше Высочество, я люблю остроумных людей, и беседа с ними составляет самое большое мое удовольствие; однако я не мог и предположить, что Вашему Императорскому Высочеству известны такие подробности.

— Мы знаем Париж, и нам известно, что лишь немногие из живущих там глубоко понимают нынешние времена, сохраняя при этом память о прошлом. Должно быть, люди именно такого склада ума и бывают у вас. Многих из тех, кого вы привыкли у себя видеть, мы любим по их сочинениям, особенно госпожу Гэ и ее дочь, госпожу де Жирарден. 821

— Это дамы весьма остроумные и образованные; я имею счастье быть их другом.

— Ваши друзья — люди незаурядного ума.

Почитать своей обязанностью скромничать за других — вещь редчайшая, и все же в тот миг я испытал именно подобное редкостное чувство. Вы скажете, что из всех видов скромности эту выказывать легче всего. Можете потешаться надо мной сколько угодно, я говорю истинную правду: мне казалось, что я поступил бы неделикатно, если бы с излишней откровенностью обрек своих друзей восхищению, выгодному для моего самолюбия. В Париже я бы высказал напрямик все, что думаю; в Петербурге же я боялся выглядеть человеком, который под предлогом, будто воздает по справедливости другим, нахваливает сам себя. Великая княгиня продолжала расспросы:

— Мы с большим удовольствием читаем книги госпожи Гэ, что вы о них думаете?

— Я думаю, Ваше Высочество, что в них изображено общество прошедших времен, и изображено особой, знающей в нем толк.

— Отчего госпожа де Жирарден ничего больше не пишет?

— Госпожа де Жирарден — поэт, Ваше Высочество, а для поэта молчать значит трудиться.

— Надеюсь, что именно такова причина ее молчания, ибо жаль было бы, если бы она, с ее наблюдательностью и прекрасным поэтическим даром, писала отныне лишь статьи-однодневки.[1] 822

В беседе этой мне пришлось взять себе за правило только слушать и отвечать; но я готовился к тому, что великая княгиня назовет другие имена, еще раз

[1] Беседа повторена мною слово в слово.

польстив моей патриотической гордости и подвергнув мою сдержанность касательно друзей новым испытаниям.

Я обманулся в своих ожиданиях; жизнь великой княгини протекает в стране
822 образцового такта, и она, конечно, лучше моего знает, что следует и чего не следует говорить; равно опасаясь смысла и моих слов, и моего молчания, она больше не возвращалась к разговору о нашей современной литературе.

822 Есть имена, самый звук которых способен смутить то душевное равновесие и единообразие в мыслях, к какому принуждает деспотия всякого, кто хочет жить при русском дворе.

Все это я прошу вас прочесть госпоже Гэ и госпоже де Жирарден: у меня нет сил повторить свой рассказ в другом письме, да и времени нет кому-либо писать. Но все же мне хочется, чтобы больше к этому не возвращаться, описать вам те волшебные праздники, на которых мне случается здесь бывать каждый вечер.

У нас балы обезображены унылыми фраками мужчин, тогда как петербургским салонам особенный блеск придают разнообразные и ослепительные мундиры русских офицеров. В России великолепие женских украшений сочетается с золотом военного платья, и кавалеры не кажутся подручными аптекаря или писарями, служащими у адвокатов своих дам.

Наружный фасад Михайловского замка, выходящий в сад, украшен по всей длине портиком в итальянском духе. Вчера, воспользовавшись 26-градусной жарой, меж столбов на этой внешней галерее развесили связки лампионов необычного вида. Лампионы были бумажные и имели форму тюльпанов, лир, ваз... — зрелище изысканное и новое.

Мне говорили, что для каждого своего празднества великая княгиня Елена придумывает нечто нигде более не виданное; подобная слава, должно быть, ей в тягость, ибо поддерживать ее непросто. К тому же княгиня с ее красотой и умом, известным всей Европе изяществом манер и умением вести интересную беседу показалась мне принужденнее и скованнее, чем остальные представительницы императорской фамилии. Иметь при дворе репутацию остроумной женщины — тяжкое бремя. Княгиня изысканна и утонченна, но вид у нее скучающий; быть может, родись она с толикой здравого смысла и невеликим умом, не получи никакого воспитания и останься немецкой принцессой, погруженной в однообразные будни мелкого княжества, ее жизнь сложилась бы счастливее. Меня пугает удел великой княгини Елены — почитать французскую словесность при дворе императора Николая.

Свет от связок лампионов живописнейшим образом отражался в колоннах дворца и падал даже на деревья в саду; там было людно. На петербургских празднествах люди служат украшением, подобно тому как собрание редких растений красит оранжерею. Несколько оркестров в глубине сада играли военную музыку, с восхитительной гармонией перекликаясь вдали. Купы деревьев, подсвеченные фонариками, выглядели прелестно — ничего нет волшебнее освещенной зелени в прекрасную ночь.

Внутренность большой галереи, где были устроены танцы, восхищала пышным убранством; полторы тысячи кадок и горшков с редчайшими цветами

составляли благоухающий боскет. У оконечности залы, в самой гуще зарослей экзотических растений, виднелся бассейн с прохладной, прозрачной водой, откуда била неиссякающая струя. В свете множества свечей водяные брызги блестели, словно алмазная пыль, и освежали воздух, без устали волнуемый огромными, влажными от дождя пальмовыми ветвями и банановыми листьями, посверкивающими росой, — вихрь вальса стряхивал ее жемчуга на мох благоухающего боскета. Все эти чужеземные растения, корни которых были укрыты ковром зелени, казалось, росли здесь на родной своей почве, и вереница танцующих дам и кавалеров Севера чудесным образом прогуливалась под сводами тропического леса. Я не понимал, сон это или явь. Во всем была не просто роскошь — но поэзия. Сияние этой дивной галереи было стократ усилено таким множеством зеркал, какого прежде мне не приходилось видеть нигде. Окна, выходящие на портик, чье искусное освещение я вам уже описывал, были открыты, поскольку в эту летнюю ночь стояла сильнейшая жара; но все проемы, кроме тех, что служили выходом, были забраны огромными позолоченными экранами с цельными зеркалами, основание которых скрывалось среди корзин, полных цветов; размеры этих зеркал в золоченых рамах, оттененных бессчетным количеством свечей, показались мне удивительными. Я словно видел перед собой врата волшебного замка. Зеркала, призванные заслонить отверстия окон, входили в них, подобно кусочкам мозаики; то были брильянтовые занавеси с золотою каймой. Заметьте притом, что галерея весьма значительной высоты и оконные рамы в ней широки чрезвычайно. Зеркала заполняли проемы, но не перекрывали до конца тока воздуха, ибо между экранами и открытыми створками была оставлена щель в несколько дюймов, неприметная для глаза, однако достаточная для того, чтобы в зале стало прохладнее. С противоположной от садовой галереи стороны тоже установили зеркала в золоченых рамах, такой же величины, как и в соответствующих оконных проемах. Зала эта длиною в полдвора. Можете себе представить, какой эффект производит подобное великолепие. Попав сюда, вы переставали понимать, где находитесь; границы залы стерлись, кругом было только пространство, свет, позолота, цветы, отражение, иллюзия; движение толпы и сама толпа умножались до бесконечности. Любой из актеров на этой сцене превращался в сотню — таков был эффект зеркал. Сей хрустальный дворец, не ведающий тени, создан для празднеств; мне казалось, что, как только закончится бал, исчезнут и зала, и танцующие пары. Я никогда не видел ничего прекраснее; однако сам бал походил на все прочие балы и не вязался с необыкновенным убранством здания. Меня удивляло, отчего этот народ танцоров не изобретет чего-нибудь нового и не представит на театре, столь отличном от всех иных мест, где принято танцевать и скучать, делая вид, будто вам очень весело. Мне бы хотелось наблюдать здесь кадрили, сюрпризы, неожиданные выходы, балеты, передвижные театры. По-моему, в средние века воображение играло большую роль в придворных развлечениях. При мне в Михайловском замке танцевали одни полонезы, вальсы да те выродившиеся контрдансы, какие на французско-русском наречии именуются кадрилями; даже мазурки в Петербурге танцуют не так живо и изящно, как в Варшаве.

12 Заказ №2128

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Русской важности никак не ужиться с бойкими, полными самозабвенного пыла истинно польскими танцами.

После каждого полонеза императрица присаживалась отдохнуть в душистой сени галереи, которую я вам описал; там она укрывалась от жары; в эту летнюю грозовую ночь в иллюминированном саду было так же душно, как во дворце.

Во время празднества я на досуге сравнивал две наши страны, и наблюдения мои оказались не в пользу Франции. Демократия по долгу своему разрушает упорядоченность большого собрания людей; празднику же в Михайловском замке особую красоту придавали всевозможные почести и хлопоты, предметом которых была государыня. Для изысканных развлечений королева необходима; но равенство имеет столько других преимуществ, что ради него можно и пожертвовать роскошью удовольствий; именно так и поступаем мы во Франции — похвальное бескорыстие; боюсь только, как бы наши потомки, когда настанет их черед наслаждаться усовершенствованиями, какие уготовили им чересчур великодушные предки, не пришли к иному мнению. Кто знает, не скажут ли про нас эти поколения, очнувшись от заблуждений: «Поддавшись ложному
822 красноречию, они сделались тайными фанатиками и обрекли нас на явное ничтожество»?

Но что бы там ни сталось с американским будущим, которое многие пророчат Европе, я не устану призывать вас восхищаться празднеством в Михайловском замке. Восхищайтесь же им изо всех ваших сил — и тем, что я описываю, и тем, что не умею изобразить.

Перед ужином императрица, восседавшая под балдахином из редкостных растений, сделала мне знак приблизиться, и не успел я повиноваться, как к волшебному бассейну, чья бьющая вверх струя освещала нас бриллиантовой россыпью и освежала благовонными испарениями, подошел сам император. Взяв меня за руку, он подвел меня к креслам своей супруги, остановившись в нескольких шагах от нее; здесь ему было угодно долее четверти часа беседовать со мною о различных интересных предметах: государь этот говорит с вами отнюдь не так, как большинство государей — единственно для того, чтобы все видели, что он с вами говорит.

Первым делом он в нескольких словах похвалил красоту и стройный порядок празднества. Я отвечал, что «удивляюсь, как он, ведя жизнь столь деятельную, умеет найти время для всего, и даже для того, чтобы разделить удовольствия толпы».

— По счастью, — продолжал он, — механизм управления в моей стране весьма прост; когда бы при наших расстояниях, создающих трудности во всем, правление было сложным по форме, для него недостало бы головы одного человека.

Я был поражен и польщен такой откровенностью: император, лучше чем кто-либо понимая, о чем ему не говорят, произнес в ответ на мои мысли:

— Я потому так разговариваю с вами, что знаю — вы можете меня понять;
822 мы продолжаем дело Петра Великого.

— Он не умер, Ваше Величество, его гений и воля по-прежнему правят Россией.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Когда прилюдно беседуешь с императором, вокруг собирается множество царедворцев, но держатся они на почтительном расстоянии, так что никто не может слышать слов повелителя, на которого, однако, устремлены все взоры.

Если государь удостаивает вас беседы, вы попадаете в затруднительное положение, но отнюдь не из-за него, а из-за придворных.

Император продолжал:

— Исполнять эту волю весьма непросто; всеобщая покорность заставляет вас думать, будто у нас царит единообразие — избавьтесь от этого заблуждения; нет другой страны, где расы, нравы, верования и умы разнились бы так сильно, как в России. Многообразие лежит в глубине, одинаковость же — на поверхности: единство наше только кажущееся. Вот, извольте взглянуть, неподалеку от нас стоят двадцать офицеров; из них только двое первых русские, за ними трое из верных нам поляков, другие частью немцы; даже киргизские ханы, случается, доставляют ко мне сыновей, чтобы те воспитывались среди моих кадетов, вон один из них. — С этими словами он указал мне пальцем на маленькую китайскую обезьянку в диковинном бархатном костюме, с ног до головы усыпанную золотом; на голове у юного азиата красовалась высокая прямая шапка с острым верхом и большими, загнутыми кверху круглыми отворотами, похожая на шутовской колпак. — Вместе с этим мальчиком здесь воспитываются и получают образование за мой счет двести тысяч детей.

— В России все делается с размахом, Ваше Величество, здесь все огромно.

— Даже слишком огромно для одного человека.

— Но какой человек был когда-либо ближе к своему народу?

— Вы имеете в виду Петра Великого?

— Нет, Ваше Величество.

— Надеюсь, в своем путешествии вы не ограничитесь только Петербургом. Что еще намерены вы повидать в моей стране?

— Я хотел бы уехать сразу после празднества в Петергофе, Ваше Величество.

— И куда же?

— В Москву и в Нижний.

— Хорошо; однако вы слишком рано отправляетесь в путь: вы уедете из Москвы прежде, чем туда прибуду я, а мне бы доставило большое удовольствие вас видеть.

— Слова Вашего Величества переменят мои планы.

— Тем лучше, мы вам покажем, какие работы предприняты нами в Кремле. 822
Моя цель — сделать эти старинные постройки более подходящими для нынешнего их употребления; слишком маленький дворец стал для меня неудобен; вы получите также приглашение на любопытную церемонию на Бородинском поле: 822
я должен заложить первый камень памятника, который велел возвести для увековечения этой битвы.

Я промолчал, и выражение лица у меня, разумеется, стало серьезным. Император пристально взглянул на меня и продолжал мягко, с тронувшим меня оттенком участия и даже сердечности:

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

— ***По крайней мере***, вам будет интересно посмотреть на маневры.

— Мне все интересно в России, Ваше Величество.

Я видел, как маркиз ***, одноногий старик, танцевал полонез с императрицей; танец этот — не что иное, как торжественная процессия, и маркиз, хоть и весь искалеченный, может его прошагать. Сюда он прибыл с сыновьями; они путешествуют как истинные вельможи: на собственной яхте переправились из Лондона в Петербург, куда доставили для них множество английских лошадей и английских карет. Их экипажи если не самые богатые, то самые изысканные в Петербурге. Здесь этих путешественников принимают с подчеркнутым радушием, они приближены к императорской фамилии; благодаря пристрастию к охоте и воспоминаниям императора, в то время великого князя, о путешествии в Лондон между ним и маркизом *** установились те вольные отношения, какие, сдается мне, приятны скорее государям, нежели персонам, которые сподобились такой милости. Там, где невозможна дружба, близость кажется мне обременительной. Глядя, как обращаются сыновья маркиза с членами императорской фамилии, можно подчас подумать, что они одного со мною мнения на сей счет. Если вдруг людьми, приближенными ко двору, овладеет откровенность, то где же найдет прибежище славословие, а с ним и учтивость?[1]

Вы и представить себе не можете, какую бурную жизнь мы здесь ведем: одного зрелища подобной сумятицы достало бы, чтобы утомить меня.

Юный *** теперь в Петербурге, мы повсюду встречаемся и рады друг другу; он — типичный современный француз, но по-настоящему хорошо воспитан. Он, по-моему, в восторге от всего, и довольство его так естественно, что передается другим, а стало быть, этот молодой человек нравится русским, думаю, в той мере, в какой сам хочет им понравиться; он толковый путешественник, образован, собирает много фактов, но расчисляет их лучше, чем оценивает, ибо в его годы

[1] Спустя несколько дней после того, как было написано это письмо, в домашней жизни двора произошла сценка, позволяющая судить о манерах нынешних молодых английских модников; они ничем не лучше и не хуже самых невежливых любезников Парижа: их своеобразная изысканная грубость весьма далека от учтивости Бэкингемов, Лозенов и Ришелье. — Императрица пожелала задать бал в узком кругу для этого семейства, прежде чем оно покинет Петербург. Для начала она самолично приглашает отца, что так славно танцует на своей деревянной ноге. «Ваше Величество, — отвечает старый маркиз ***, — в Петербурге меня осыпали удовольствиями, но такое обилие их выше моих сил; надеюсь, Ваше Величество позволит мне сегодня вечером откланяться, а завтра с утра перебраться к себе на яхту и возвратиться в Англию; иначе я умру в России от веселья. — Что ж, отступаюсь от вас», — произносит императрица, удовлетворившись сим учтивым ответом, достойным эпохи, когда, должно быть, старый лорд впервые появился в свете; затем, оборотившись к сыновьям маркиза, которые хотели еще задержаться в Петербурге, она говорит старшему: «Я рассчитываю по крайней мере на вас». — «Ваше Величество, — отвечает тот, — как раз в этот день мы отправляемся охотиться на оленей». Императрица, что слывет гордячкой, не отчаивается и приступает к младшему брату со словами: «Вы-то уж, по крайней мере, останетесь со мною». Юноша, не найдя отговорки, не знает, что и сказать; в досаде он подзывает брата и спрашивает его в полный голос: «Так, значит, отдуваться должен я?» Анекдот этот изрядно позабавил весь двор.

цифры даются легче, чем наблюдения. Он весьма силен в датах, мерах, числах и некоторых других позитивных сведениях, поэтому беседовать с ним мне интересно и поучительно. Но какие же разнообразные беседы ведет наш посол! Какой острый у него ум — для делового человека даже чересчур острый, — и какой урон понесла бы литература, если бы время, отданное политике, не оборачивалось изучением жизни, плодами которого еще воспользуется когда-нибудь словесность! Не сыскать человека, который был бы более на своем месте и казался с виду менее озабоченным своею ролью; талант, но без важности — вот, по-моему, в чем сегодня залог успеха для всякого француза, подвизающегося на общественном поприще. Со времен Июльской революции никому лучше г. де Баранта не удавалось исполнять тяжкие обязанности французского посла в Петербурге. Прилагаю к сему ***церемониал,*** который соблюдался во все дни празднования замужества великой княжны Марии. Чтение его вам наскучит — как и чтение всякого церемониала. Но в краях, столь удаленных от наших, любопытно все без исключения. Россия для нас — страна настолько неведомая, что любые описания ее неизменно пробуждают наш интерес. Сходство в одних вещах и различие в других равно удивительно для меня, и сравнение обеих стран, разделенных таким громадным расстоянием, но близких благодаря взаимному влиянию, не может не вызывать живейшего любопытства[1].

824 824 824

---

[1] *Высочайше учрежденный церемониал Бракосочетания Ее Императорского Высочества Государыни Великой Княжны Марии Николаевны с Его Светлостью герцогом Максимилианом Лейхтенбергским.*

В назначенный для бракосочетания день пятью пушечными выстрелами из Санкт-Петербургской крепости дано будет знать городу, что того числа имеет быть брачное торжество Ее Императорского Высочества Государыни Великой Княжны Марии Николаевны с Его Светлостью герцогом Максимилианом Лейхтенбергским.

По учиненным повесткам в час утра съедутся в Зимний дворец: члены Святейшего Синода и прочее знатное Духовенство, Придворные и другие знатные обоего пола особы, чужестранные Послы и Министры. Генералитет, лейб-гвардии Штаб- и Обер-офицеры и прочих полков Штаб-офицеры, Дамы в русском платье, а Кавалеры в парадных мундирах.

Когда Статс-Дамы позваны будут для одевания Высокообрученной Невесты и по окончании сего обряда выйдут из внутренних апартаментов, тогда Церемониймейстер известит о том Высокообрученного Жениха и сопровождает его до внутренних комнат.

Высокообрученная Невеста имеет в сей день на голове корону и сверх платья — малиновую бархатную, подложенную горностаевым мехом мантию с длинным шлейфом, который понесут четыре Камергера, а конец оного исправляющий должность Шталмейстера Двора Ее Высочества.

Их Императорские Величества Государь Император и Государыня Императрица изволят из внутренних покоев шествовать в придворную церковь следующим порядком:

1. Двора Его Императорского Величества Гоффурьеры и Камер-фурьеры.
2. Церемониймейстеры и Обер-церемониймейстер.
3. Двора Его Императорского Величества Камер-юнкеры, Камергеры и придворные Кавалергарды, по два в ряд, младшие напереди.
4. Первенствующие чины Двора, по два в ряд, младшие напереди.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Незадолго до свадьбы скончался обер-камергер.

S2-1 По смерти его должность была пожалована графу Головкину, бывшему послу России в Китае, куда он так и не сумел попасть. Вельможа этот приступил к своим обязанностям по случаю свадебных торжеств и не так опытен, как его предшественник. Один молодой камергер, им назначенный, навлек на себя гнев императора, а на своего начальника — излишне суровый выговор. Это случилось на балу у великой княгини Елены.

---

5. Гофмаршал с жезлом.

6. Обер-камергер и Обер-гофмаршал с жезлом.

7. Их Императорские Величества Государь Император и Государыня Императрица, имея позади Министра Императорского Двора и дежурных Генерал- и Флигель-адъютантов.

8. Его Императорское Высочество Государь Цесаревич Великий Князь Александр Николаевич.

9. Их Императорские Высочества Государи Великие Князья: Константин Николаевич, Николай Николаевич и Михаил Николаевич.

10. Их Императорские Высочества Государь Великий Князь Михаил Павлович и Государыня Великая Княгиня Елена Павловна.

И. Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княжна Мария Николаевна с Высокообрученным Ее Женихом, Его Светлостью Герцогом Максимилианом Лейхтенбергским.

12. Их Императорские Величества Государыни Великие Княжны: Ольга и Александра Николаевны и Мария Михайловна.

13. Его Светлость Принц Петр Ольденбургский с супругою.

За ними, по две в ряд, старшие напереди, госпожи Статс-Дамы, Камер-фрейлины, Ее Императорского Величества и Их Императорских Высочеств Фрейлины и прочие знатные обоего пола особы.

При входе в церковь Их Императорские Величества встречены будут Членами Синода и прочим знатным Духовенством, с Крестом и святою водою.

При начале богослужения, когда запоют: «Господи, силою твоею возвеселится Царь», — Его Величество Государь Император возведет Высокообрученных на приготовленное место; в то же время приблизятся к венчальному месту с обеих сторон особы, назначенные для ношения венцов над головами Высокосочетающихся.

Тогда, по обряду Восточной церкви, начнется бракосочетание, в продолжение которого, после Евангелия, на Ектеньях возглашаемо будет: «О благоверной Государыне Великой Княгине Марии Николаевне и Супруге Ее».

По совершении венчания Высокобракосочетавшиеся изволят приносить благодарение Их Императорским Величествам и станут на свое место. Засим Митрополит с Членами Святейшего Синода начнет благодарственный молебен, и когда запоют: «Тебя Бога хвалим», с Санкт-Петербургской крепости произведется сто один пушечный выстрел.

По окончании всего церковного служения Члены Святейшего Синода и прочее знатное Духовенство приносят Их Императорским Величествам поздравление.

Из церкви Их Императорские Величества со всею Императорскою Фамилиею изволят прежним порядком возвратиться во внутренние апартаменты, где в одной из комнат устроен будет Католический Алтарь. При входе в сию комнату Государь Император изволит подвести Высокобракосочетавшихся к Алтарю, и тогда начнется бракосочетание

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Император беседовал о чем-то с австрийским послом. Юный камергер получает от великой княгини Марии приказ передать от нее этому послу приглашение на танец. Бедный новичок в усердии своем, прорвав описанный мною круг придворных, бесстрашно достигает особы самого императора и на глазах Его Величества говорит австрийскому послу: «Господин граф, госпожа герцогиня Лейхтенбергская приглашает вас танцевать с нею первый полонез». 825

по Католическому обряду, по окончании которого, приняв поздравление от католического духовенства, высочайшие особы возвратятся во внутренние комнаты.

Когда будет готов обеденный стол и особы обоего пола первых трех классов займут назначенные им места, тогда, по донесении о том Их Императорским Величествам, последует Высочайший к столу выход в предшествии Придворных Чинов.

За столом Их Императорским Величествам и всем Высочайшим особам служат Камергеры, а кубки подают: Их Величествам — Обер-Шенки, Высоконовобрачным — в должности Шталмейстера Ее Высочества; Их Высочествам: Государю Наследнику, Великим Князьям, Великой Княгине и Великим Княжнам — Камергеры.

Во время стола играет вокальная и инструментальная музыка.

При питии за здравие произведена будет с Санкт-Петербургской крепости пушечная пальба, а именно:

1. За здравие Их Императорских Величеств — 51 выстрел.
2. Высокобракосочетавшихся — 31 выстрел.
3. Всего Императорского дома — 31 выстрел.
4. Ее Королевского Высочества Герцогини Лейхтенбергской — 31 выстрел.
5. Духовных и всех верноподданных особ — 31 выстрел.

По окончании стола Их Императорские Величества, со всею Высочайшею Фамилиею, тем же порядком возвратятся во внутренние покои.

Ввечеру того дня будет бал, на который съезжаться всем знатным обоего пола особам, чужестранным Министрам и всем, имеющим приезд ко Двору.

Пред окончанием бала назначенные по Высочайшему повелению особы для принятия Высоконовобрачных отходят в Их апартаменты, куда потом Их Императорские Величества, в предшествии придворного штата, изволят сопровождать Высоконовобрачных.

При входе в апартаменты Их Императорские Величества и Высокобракосочетавшиеся встречены будут назначенными особами и последуют во внутренние покои, где находиться будет одна из Статс-Дам для раздевания.

В сей день по всем церквам имеет быть благодарственное молебствие и как в оный, так равно и в следующие два дня будет колокольный звон, а вечером во все помянутые три дня город иллюминован.

4 июля — поздравление Высоконовобрачных: поутру в одиннадцать часов — от знатных обоего пола особ, имеющих приезд ко Двору, а в час пополудни — от Дипломатического корпуса.

Вечером спектакль на Большом театре.

5 июля — большой Бал в Белой зале и ужин.

7 июля — бал у Их Императорских Высочеств Государя Великого Князя Михаила Павловича и Государыни Великой Княгини Елены Павловны.

9 июля — бал у принца Ольденбургского.

10 июля — отъезд Высочайшего Двора в Петергоф.

11 июля — публичный маскарад и иллюминация в Петергофе.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Император, пораженный невежеством нового камергера, произносит, возвысив голос: «Вы недавно назначены на должность, сударь, научитесь же исполнять ее: во-первых, имя моей дочери не герцогиня Лейхтенбергская, ее имя — великая княгиня Мария;[1] во-вторых, вам надлежит знать, что когда я с кем-либо беседую, меня не перебивают».[2]

Новый камергер, получивший сей суровый выговор из уст самого повелителя, был, к несчастью, бедный польский дворянин. Император в строгости своей не ограничился этой короткой речью: он призвал обер-камергера и наказал ему впредь быть осмотрительней, подбирая людей.

Сия сцена напоминает мне те, что случались нередко при дворе императора Наполеона. Русские дорого бы дали, чтобы обзавестись прошлым в несколько веков!

С бала в Михайловском замке я удалился весьма рано; при выходе я остановился на лестнице и хотел бы задержаться там как можно дольше — я попал в цветущую апельсиновую рощу. Ничего великолепнее и соразмернее этого празднества я никогда не видал; но для меня ничего нет утомительнее, нежели слишком долгое восхищение, когда предмет его — не явления природы и не произведения искусства.

Покидаю вас, чтобы отправиться на обед к одному русскому офицеру, юному графу ***; нынче утром он отвел меня в кабинет минералогии, полагаю, прекраснейший во всей Европе, ибо Уральские рудники богаты несказанно. Здесь ничего нельзя повидать одному; всякий раз, как вы удостаиваете посещением какое-нибудь общественное заведение, вас сопровождает кто-то из местных жителей; между тем в году немного выдается дней, благоприятных для обстоятельного осмотра этих заведений. Летом тут штукатурят поврежденные морозом здания; зимой коли не мерзнут, то выезжают в свет и танцуют. В Петербурге, скажу вам, Россию видно не лучше, чем во Франции. Вы подумаете, что я преувеличиваю, но отнимите у этого наблюдения парадоксальную форму — и вы получите чистейшую правду. Чтобы узнать эту страну, конечно, мало только приехать сюда. Без чьего-то покровительства вы не сумеете ни о чем составить представление, покровительство же зачастую оборачивается тиранией и подталкивает вас к неверным представлениям.[3]

825

---

[1] Титул после замужества остался за ней.

[2] Не говорил ли я вам: здесь при дворе все проводят жизнь в генеральных репетициях? Ни один русский император, начиная с Петра Великого, никогда не забывал, что призван сам заниматься обучением своего народа; и все они страшатся, как бы им не выказали недостаточно почтения.

[3] Этого-то все и хотят.

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

Как держатся придворные дамы. — Различные расы. — Финны. — Парадное представление в Опере. — Появление императора и двора в императорской лж - Внушительный вид этого государя. — Его восхождение на престол. — Мужество императрицы. — Рассказ об этой сцене самого императора. — Его благородные чувства. — Внезапный переворот, свершившийся в его характере. — Уловка заговорщиков. — Еще один портрет императора. — Продолжение беседы с ним. — Недуг императрицы. — Мнение императора о трех способах правления: республиканском, деспотическом и представительном. — Искренность его речей. — Праздник у герцогини Ольденбургской. — Великолепие сельского бала. — Ужин. — Принужденное добродушие дипломатов. — Паркет под открытым небом. — Роскошные экзотические цветы. — Борьба русских с природой. — Подруга императрицы. — Из кого состоит в России народная толпа. — Император несколько раз заводит со мною беседу. — Приветливость государя. — Прекрасные слова императора. — Кто тот человек в империи, к кому питаю я наибольшее доверие. — Почему. — Аристократия есть единственный оплот свободы. — Краткий свод различных суждений моих об императоре. —Дух царедворцев. — Вельможи при деспотической власти. — Сравнение автократии и демократии. — Разные способы достигнуть той же цели. — Неразрешимая проблема. — Франция — исключение из правила. — Парадный спектакль. — Артисты в Петербурге. — Всякий подлинный талант национален.

Петербург, 21 июля 1839 года 826

Некоторые из придворных дам по праву слывут красавицами, — но число таковых невелико; другие же пользуются этой славой незаслуженно, благодаря своему кокетству, суетливости и ухищрениям, — все это они позаимствовали у англичанок, ибо русский высший свет всю жизнь занят поисками модных образцов в дальних пределах; случается, русские ошибаются в своем выборе, и тогда из их промашки проистекает весьма странный вид изысканности — изысканность безвкусицы. Если предоставить русского самому себе, он всю жизнь будет маяться приступами неудовлетворенного тщеславия; он станет почитать себя варваром. Ничто так не пагубно для естественности и, следовательно, для духа

народа, как эта беспрестанная озабоченность общественным превосходством других наций. Преисполняться смирения и краснеть за себя от спеси — одна из причуд человеческого самолюбия. Я успел заметить, что в России сей феномен не редкость: здесь характерные черты выскочки можно изучать среди людей всех сословий и рангов.

Во всех классах русской нации красивые мужчины встречаются чаще, чем красивые женщины, — что отнюдь не мешает обнаружить и среди мужчин множество плоских, лишенных выражения физиономий. Представители финской расы скуласты, у них маленькие, тусклые, глубоко посаженные глаза и приплюснутое лицо, словно люди эти при рождении шлепнулись носом оземь; к тому же у них бесформенный рот, а весь облик совершенно невыразителен — настоящая маска раба. Здешние жители походят на финнов, а не на славян.

Мне часто попадались люди с отметинами оспы, что для остальной Европы ныне редкость и свидетельствует о непростительной небрежности русского правительства.

В Петербурге разные расы так перемешаны, что здесь невозможно составить представление об истинном населении России: кровь немцев, шведов, ливонцев, финнов — разновидности лопарей, спустившихся с полюса, — калмыков и иных татарских рас влилась в кровь славян, чья изначальная красота в столичных жителях мало-помалу изгладилась; вот отчего я часто вспоминаю справедливое замечание императора: «Петербург — русский город, но это еще не Россия».

826 В Опере я видел то, что именуется ***парадным*** представлением. Великолепно освещенный зал показался мне большим и прекрасным по форме. Здесь не знают ни галерей, ни балконов; в Петербурге нет буржуазии, которую надо размещать, сковывая тем самым архитектора в его замыслах; поэтому зрительные залы можно возводить по чертежам простым и правильным, как в итальянских театрах, где женщины, не принадлежащие к высшему свету, отправляются в партер.

По особой милости мне досталось на этом представлении кресло в первом ряду партера; в дни парадных спектаклей эти кресла отводятся для самых знатных вельмож, иначе говоря, для высших придворных чинов. Сюда допускают только особ при парадных мундирах, в костюмах, соответствующих чину и месту при дворе.

Сосед мой справа, приметив по одежде, что я иностранец, обратился ко мне по-французски с той гостеприимной учтивостью, какая в Петербурге отличает людей из высших классов общества, а до известной степени и людей из любого класса, ибо здесь учтивы все: знать — из тщеславия, дабы засвидетельствовать свое хорошее воспитание; простонародье — из страха.

Потолковав о вещах незначительных, я спросил у любезного незнакомца, что будут нам представлять. «Сочинение, переведенное с французского, — отве-
826 чал он, — ***"Хромой бес"».***

Тщетно ломал я голову, пытаясь понять, что за драма могла быть переведена под таким заглавием. Судите же, сколь велико было мое изумление, когда я узнал, что ***перевод*** сей — пантомима, рабски повторяющая наш балет «Хромой бес».

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

Спектакль мне не слишком понравился; главным образом меня занимали зрители. Наконец прибыл двор; императорская ложа являет собой блистательный салон, занимающий всю глубину зала; салон этот освещен еще ярче, нежели остальной театр, весь залитый светом.

Появление императора произвело на меня изрядное впечатление. Когда он в сопровождении императрицы, а за ним все члены фамилии и придворные, приближается к барьеру ложи, публика разом встает. В парадном мундире алого цвета император особенно красив. Казацкая форма к лицу лишь очень молодым людям; этот же мундир более подобает мужчине в летах Его Величества; он подчеркивает благородство его черт и фигуры. Прежде чем сесть, император приветствует собравшихся с тем исполненным учтивости достоинством, какое отличает его. Одновременно приветствует зрителей императрица; больше того, даже и свита приветствует публику, что показалось мне не вполне почтительным по отношению к последней. Зал отвечает государям поклоном на поклон и, сверх того, бурно аплодирует им и кричит «ура».

Эти преувеличенные изъявления восторга имели характер официальный, что изрядно их обесценивало. Императору на его родине хлопают из партера его же избранные придворные — экое диво! В России подлинной лестью была бы внешняя независимость. Русские не открыли для себя этот окольный способ понравиться; говоря по правде, временами прибегать к нему было бы небезопасно — невзирая на тоску, которую должна навевать на государя рабская покорность подданных.

Нынешний император сталкивается обыкновенно с вынужденным послушанием людей, и по этой причине он лишь два раза в своей жизни имел удовольствие испытать личную свою власть над собравшейся толпой: то было в дни мятежей. В России есть только один свободный человек — взбунтовавшийся солдат. 826

С того места, где я находился — примерно посредине между двумя театральными действами, сценическим и придворным, — император виделся мне достойным повелевать людьми: так благородно он выглядел, столь возвышенным и величественным был его облик. Мне сразу вспомнилось, как повел он себя при восхождении на престол, и эта прекрасная страница истории отвлекла мое внимание от спектакля, на котором я присутствовал.

Все, что прочтете вы далее, поведал мне несколько дней назад сам император; я не рассказал вам в последнем письме об этой беседе оттого, что бумаги, содержащие такого рода подробности, нельзя доверить ни русской почте, ни даже кому бы то ни было из путешественников.

Николай взошел на трон в тот самый день, когда среди гвардейцев вспыхнуло восстание; получив известие о бунте в войсках, император с императрицей 826
одни спустились в дворцовую церковь и там, преклонив колена на ступенях алтаря, поклялись перед Богом, что умрут как государи, если им не удастся подавить мятеж.

Беда представлялась императору нешуточной: как ему только что сообщили, архиепископ пытался успокоить солдат, но тщетно. Если церковная власть 842
в России терпит неудачу, значит, начались ужасающие беспорядки.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Император осенил себя крестным знамением и вышел к бунтовщикам, дабы усмирить их своим присутствием и спокойной силой своего чела. Сам он описывал эту сцену в выражениях более скромных, нежели те, какими пользуюсь я сейчас. К несчастью, я позабыл первую часть его рассказа, ибо поначалу был несколько смущен тем неожиданным оборотом, какой приняла наша беседа; повторю ее с того момента, с какого помню.

— Ваше Величество почерпнули силу в истинном ее источнике.

— Я не знал, что буду делать и говорить, меня осенило свыше.

— Не всякого осеняет подобным образом, это еще надо заслужить.

— Я не совершал ничего необыкновенного; я сказал солдатам: «Встать
нг7 в строй», а когда делал смотр полку, крикнул: «На колени!» Все повиновались. Минутою раньше я примирился со смертью, и это придало мне силы. Я преисполнен благодарности за свой успех, но не горжусь им, ибо здесь нет никакой моей заслуги.

Вот в каких благородных словах поведал мне император об этой современной трагедии.

Судите сами, сколь интересные темы служат ему пищей для бесед с чужестранцами, которых ему угодно почтить своим расположением; рассказ этот весьма далек от придворных банальностей. По нему вы можете понять, какого рода власть имеет он над нами, равно как над своими народами и своей фамилией. Это славянский Людовик XIV.

Очевидцы уверяли меня, что с каждым шагом навстречу мятежникам он вырастал на глазах. Став государем, он в мгновение ока из молчаливого, при-
нп дирчивого меланхолика, каким казался в юности, превратился в героя. Тут он — полная противоположность большинству принцев, которые подают больше надежд, нежели затем оправдывают.

Император настолько вошел в свою роль, что престол для него — то же, что сцена для великого актера. Перед непокорной гвардией он держался столь внушительно, что, говорят, во время его речи, обращенной к войску, один из заговорщиков **четырежды приближался к нему, чтобы убить, и четырежды мужество покидало этого**
мэг несчастного, как кимвра перед Марием. Знающие люди отнесли мятеж этот на счет влияния тайных обществ, которые вели в России свою работу со времен союзнических кампаний во Франции и частых поездок русских офицеров в Германию.

Я только повторяю то, что здесь говорят, — все это дела темные, и проверить что-либо у меня нет возможности.

Чтобы поднять армию, заговорщики прибегли к смешному обману: был распространен слух, что Николай будто бы узурпировал корону, предназначавшуюся его брату Константину, который, как утверждали, движется на Петербург, дабы с оружием в руках отстоять свои права. А вот способ, посредством которого бунтовщиков убедили кричать под окнами дворца: «Да здравствует конституция!» Зачинщики внушили им, что «конституция» — имя супруги Константина, то есть их предполагаемой императрицы. Как видите, представление о долге глубоко укоренилось в сердце солдат, раз подтолкнуть их к неповиновению удалось только с помощью уловки.

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

На самом деле Константин отказался взойти на престол лишь по слабости: 827
он боялся, что его отравят, вот и вся его философия. Бог и еще, быть может, несколько человек знают, спасся ли он благодаря отречению от опасности, какой 828
думал избегнуть.

Стало быть, обманутые солдаты восстали против своего законного государя во имя законности.

Все отметили, что за все время, пока император находился перед войсками, он ни разу не пустил лошадь в галоп — настолько хладнокровно он держался; однако он был очень бледен. Он впервые испробовал свое могущество, и успех этого испытания покорил его влиянию всю нацию.

Такого человека нельзя судить по меркам, пригодным для обыкновенных людей. Его голос, властный и исполненный значительности, магнетический взгляд, что впивается в предмет, завладевший его вниманием, но зачастую становится холодным и застывает, — не столько из-за обыкновения скрывать свои мысли, ибо он откровенен, сколько из-за привычки сдерживать страсти; его великолепное чело, черты, в которых есть что-то от Аполлона и от Юпитера, его почти неподвижное, внушительное, повелительное лицо, облик, скорее благородный, нежели добросердечный, подобающий более статуе, чем человеку, — все это оказывает неодолимое воздействие на всякого, кто приближается к его особе. Он становится повелителем чужих воль, ибо все видят, что он властен над своей собственной волей.

Вот что еще мне запомнилось из продолжения нашей беседы.

— Должно быть, Ваше Величество, усмирив мятеж, вернулись во дворец в совсем ином расположении, нежели то, в каком вы его покидали, ибо Ваше Величество не только обеспечили себе престол, но и заручились восхищением всего мира и симпатией всех благородных душ.

— Я об этом не думал; впоследствии поступки мои превознесли сверх всякой меры.

Император не сказал, что, возвратившись к супруге, он увидал, как у нее трясется голова, — от этой нервной болезни ей так и не удалось до конца излечиться. Дрожь эта еле заметна; она даже проходит вовсе, когда императрица покойна и находится в добром здравии; но едва что-то начинает ее мучить, морально или физически, как недуг проявляется снова и обостряется. Должно быть, этой великодушной женщине нелегко пришлось в борении с тревогой, покуда супруг ее столь отважно шел навстречу ударам убийц. Когда он вернулся, она, ни слова не говоря, обняла его; однако, приободрив ее, император в свой черед ощутил слабость; став на миг просто человеком, бросился он в объятия одного из самых верных своих слуг, что присутствовал при этой сцене, и воскликнул: «Какое ужасное начало царствования!» 828

Я обнародую эти обстоятельства; людям безвестным полезно их знать, чтобы поменьше завидовать уделу великих.

При внешнем неравенстве, какое в цивилизованном мире установлено законодателями меж людей разного звания, справедливость Божественного Провидения находит себе прибежище в равенстве тайном и неуничтожимом — том,

что родится из нравственных терзаний, которые обыкновенно возрастают по мере того, как убывают физические лишения. В мире нашем меньше неправедного, нежели заложили в него основатели различных наций и нежели это доступно пониманию черни; природа справедливее, чем закон человеческий.

Мысли эти мелькали у меня в голове во время беседы с императором; из них родилось в моем сердце чувство к нему, узнав о котором, он бы, наверное, несколько удивился — необъяснимая жалость. Я как мог постарался скрыть свои переживания, природу которых не дерзнул бы ему раскрыть, а причину — растолковать, и возразил в ответ на его слова о том, что похвалы поведению его во время мятежа преувеличены:

— Одно верно, Ваше Величество: любопытство мое перед приездом в Россию имело среди главных причин желание близко увидеть государя, имеющего
828 столь великую власть над людьми.

— Русские добрый народ, но надобно еще сделаться достойным править ими.

— Ваше Величество постигли лучше любого из своих предшественников, что именно подобает России.

— В России еще существует деспотизм, ибо в нем самая суть моего правления; но он отвечает духу нации.

— Вы останавливаете Россию на пути подражательства, Ваше Величество, и возвращаете к самой себе.

— Я люблю свою страну и, мне кажется, понимаю ее; поверьте, когда невзгоды нашего времени слишком уж донимают меня, я стараюсь забыть о существовании остальной Европы и ищу убежища в глубинах России.

— Дабы припасть к истокам?

— Именно так! Нет человека более русского сердцем, чем я. Скажу вам одну вещь, какой не сказал бы никому другому; но именно вы, я чувствую, поймете меня.

Тут император умолкает и пристально глядит на меня; я, не отвечая ни слова, слушаю, и он продолжает:

829 — Мне понятна республика, это способ правления ясный и честный либо, по крайней мере, может быть таковым; мне понятна абсолютная монархия, ибо я сам возглавляю подобный порядок вещей; но мне непонятна монархия представительная. Это способ правления лживый, мошеннический, продажный, и я скорее отступлю до самого Китая, чем когда-либо соглашусь на него.

— Ваше Величество, я всегда рассматривал представительный способ правления как сделку, неизбежную для некоторых обществ и некоторых эпох; но,
829 подобно всякой сделке, она не решает ни одного вопроса, а только отсрочивает затруднения.

Император, казалось, ждал, что скажу я дальше. Я продолжал:

— Это перемирие, что подписывают демократия и монархия в угоду двум весьма низменным тиранам — страху и корысти; длится оно благодаря гордыне разума, упивающегося красноречием, и тщеславию народа, от которого откупаются словами. В конечном счете это власть аристократии слова, пришедшей на смену аристократии родовой, ибо правят здесь стряпчие.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

— В ваших речах много верного, сударь, — произнес император, пожимая мне руку. — Я сам возглавлял представительную монархию,[1] и в мире знают, чего 829
мне стоило нежелание подчиниться требованиям ЭТОГО ГНУСНОГО способа правления (я цитирую дословно). Покупать голоса, развращать чужую совесть, соблазнять одних, дабы обмануть других, — я презрел все эти уловки, ибо они равно унизительны и для тех, кто повинуется, и для того, кто повелевает; я дорого заплатил за свои труды и искренность, но, слава Богу, навсегда покончил с этой ненавистной политической машиной. Больше я никогда не буду конституционным монархом. Я слишком нуждаюсь в том, чтобы высказывать откровенно свои мысли, и потому никогда не соглашусь править каким бы то ни было народом посредством хитрости и интриг.

Название Польши постоянно всплывало в наших умах, но в ходе этого лю- 830
бопытного разговора не было произнесено ни разу.

На меня он произвел большое впечатление; я был покорен: благородство чувств, что явил предо мною император, и искренность его речей, как мне представлялось, весьма рельефно оттеняли его всемогущество; признаюсь, император ослепил меня!! Человек, которому я, вопреки всем своим представлениям о независимости, готов был простить то, что он — абсолютный монарх шестидесяти миллионов подданных, был в моих глазах существом высшего порядка; однако я не доверялся собственному восхищению, я походил на тех наших буржуа, которые чувствуют, что вот-вот подпадут под обаяние изящества и умения держаться, свойственных людям прежних времен: хороший вкус толкает их отдаться испытываемому влечению, но принципы сопротивляются, и потому они остаются непреклонны и принимают самый бесстрастный вид, на какой только способны. Подобную же борьбу переживал и я. Не в моем характере сомневаться в словах человека в ту самую минуту, когда я их слышу. Говорящий человек есть для меня орудие Божье; только размышление и опыт заставляют меня признать возможность расчета и притворства. Вы скажете: святая простота; быть может, так оно и есть, но эта слабость ума дорога мне, ибо она идет от крепости души; собственное чистосердечие велит мне верить в искренность других — даже в искренность российского императора.

Красота доставляет ему лишний способ быть убедительным, ибо красота эта в равной мере духовная и физическая. Действие ее я отношу не столько на счет правильности черт, сколько на счет правдивости чувств, что рисуются обыкновенно на его лице. Этот любопытный разговор с императором я имел во время празднества у герцогини Ольденбургской. Бал оказался необычным и также заслуживает, чтобы я вам его описал. Герцогиня Ольденбургская, урожденная прин- 831
цесса Нассауская, по мужу состоит в весьма близком родстве с императором; она пожелала устроить вечер по случаю бракосочетания великой княжны Марии, но не могла ни превзойти в пышности предыдущие балы, ни состязаться в богатстве с двором, а потому задумала дать импровизированный сельский бал в своем доме на островах.

[1] В Польше.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

В саду, переполненном гуляющими и оркестрами, что были спрятаны в отдаленных боскетах, собрались эрцгерцог австрийский, прибывший в Петербург два дня назад, дабы принять участие в празднествах, послы со всего мира (невиданные актеры для пасторали!) — в общем, вся Россия в лице знатнейших ее вельмож, старательно принимавших добродушный вид.

На каждом празднике тон задает император; паролем этого дня было: пристойная наивность, или изысканная Горациева простота.

В подобном расположении духа пребывали в этот вечер все, в том числе и дипломатический корпус; мне чудилось, будто я читаю эклогу — но не Феокрита или Вергилия, а Фонтенеля.

До одиннадцати вечера танцы продолжались на свежем воздухе, а затем, когда на головы и плечи юных и пожилых дам, участвовавших в сем торжестве человеческой воли над скверным климатом, пролились изрядные потоки росы, все возвратились в небольшой дворец, что служит обыкновенно летним жилищем герцогине Ольденбургской.

В центре виллы (по-русски — «дачи») находится ротонда, сияющая ослепительным блеском позолоты и свечей; бал продолжался в этой зале, а толпа нетанцующих заполнила остальные помещения. Свет исходил из центра, и яркие блики его изливались наружу — словно солнечные лучи, что, рождаясь, несут тепло и жизнь повсюду в безлюдных глубинах Эмпирея. Ослепительная ротонда представала моему взору орбитой, по которой, озаряя собою весь дворец, вращалась звезда императора.

На террасах второго этажа растянули тенты, дабы под ними разместить императорский стол и стол для приглашенных к ужину. Празднество это было не столь многолюдным, как предыдущие, и на нем царил такой великолепно упорядоченный беспорядок, что оно развлекло меня более других. Если не считать забавного смущения, какое читалось на некоторых физиономиях, принужденных на время напускать на себя сельскую простоту, то вечер оказался совершенно необыкновенным — то было своего рода императорское Тиволи, где все, даже и находясь в присутствии своего безраздельного повелителя, чувствовали себя почти свободно. Когда государь забавляется, он уже не кажется деспотом — а император в тот вечер забавлялся.

Как я уже говорил, прежде чем перейти в ротонду, все танцевали под открытым небом: по счастью, в этом году стоит чрезвычайная жара, благоприятствующая замыслам герцогини. Ее загородный дом находится в прелестнейшей части островов; здесь, среди ослепительных садовых цветов в горшках, что, казалось, сами собою выросли на английском газоне, явлено было еще одно чудо: герцогиня устроила бальную залу на воздухе; на небольшом лужку она велела настлать великолепный салонный паркет, окружив его изящными, увитыми цветами балюстрадами. Эта оригинальная зала, для которой небесный свод служил потолком, изрядно напоминала корабельную палубу, убранную флагами по случаю морского праздника; с одной стороны на нее можно было взойти по нескольким ступеням с лужка, с другой — через крыльцо, пристроенное к парадному входу здания и скрытое под навесами из экзотических цветов. Роскошные редкие цветы

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

в этой стране заменяют собой редко растущие деревья. Люди, что живут здесь, пришли из Азии и, заточив себя в северных льдах, вспоминают восточную роскошь изначальной своей родины; они делают все, что в их силах, дабы возместить бесплодие природы, которая сама по себе порождает в открытом грунте лишь ели да березы. Здесь искусственно, в парниках, выводят бесконечное число кустарников и растений; и поскольку поддельно все, то вырастить какие-нибудь цветы из Америки не сложнее, нежели французские фиалки или лилии. Роскошные дома в Петербурге украшает и делает непохожими друг на друга не первозданное плодородие почвы, но цивилизация, что обращает себе на пользу сокровища всего мира, дабы скрыть от глаз скудную землю и скупое полярное небо. Так что пусть вас не удивляет бахвальство русских: природа для них — еще один враг, которого они одолели благодаря своему упорству; во всех их развлечениях присутствует подспудно радостная гордость победителя.

Императрица, невзирая на свою хрупкость, танцевала на изысканном паркете этого великолепного сельского бала, заданного ее кузиной, с обнаженной шеей и непокрытой головой, не пропуская ни одного полонеза. В России всякий трудится на своем поприще до полного изнеможения. Долг императрицы — развлекаться до упаду, и она исполнит обязанность свою точно так же, как исполняют ее все остальные рабы, — будет танцевать до тех пор, покуда сможет.

Этой немецкой принцессе, жертве легкомыслия, для нее, должно быть, не менее тяжкого, чем цепи для узника, случилось обрести в России счастье, редкое во всех странах и всех сословиях, а в жизни императрицы — исключительное: у нее есть подруга.

Я уже писал вам об этой даме. Это баронесса ***, урожденная графиня ***. 830
Со времени замужества императрицы две эти женщины со столь разными судьбами почти всегда неразлучны. Баронесса со своим открытым нравом и преданным сердцем не извлекла из расположения государыни никакой выгоды для себя; замужем она за армейским офицером, которому император обязан больше, чем кому-либо другому: в день мятежа при его восхождении на престол барон *** выказал преданность, чуждую какого бы то ни было расчета, и, подвергая себя опасности ради своего государя, спас ему жизнь. Расплатиться за подобное мужество нельзя ничем — оно и остается неоплаченным.

Впрочем, государи вообще понимают лишь ту признательность, предметом которой становятся сами, да и тогда нисколько ею не дорожат, всегда предполагая в других неблагодарность. Признательность не столько утешает их в душевных тяготах, сколько сбивает в расчетах ума. Она — урок, получать который они не любят; им кажется удобнее и проще презирать весь род человеческий без изъятия. Это свойство всех властителей, но особенно самых могущественных из них.

В саду смеркалось; оркестру на балу вторила какая-то музыка, доносившаяся издалека, и гармония ее рассеивала ночную печаль — печаль более чем естественную в этих однообразных лесах и климате, враждебном всякому веселью.

Под окнами маленького дворца, где живет герцогиня Ольденбургская, медленно течет, изгибаясь, один из рукавов Невы — вода здесь всегда кажется неподвижной. В тот вечер на реке было множество лодок, набитых любопытными,

а на дороге кишмя кишели пешие зеваки — безымянная толпа, в которой смешивались без всякого различия буржуа, такие же рабы, как крестьяне, и крепостные-рабочие: придворные придворных, пробиравшиеся, толкаясь, среди карет князей и вельмож, чтобы поглазеть на ливрею господина их господ.

Зрелище это показалось мне притягательным и необычным. В России вещи носят те же имена, что везде, но сами они совершенно иные. Нередко я ускользал за ограду, внутри которой продолжался бал, и уходил в парк, под сень деревьев, размышляя о том, сколь печален любой праздник в подобной стране. Однако раздумья мои продолжались недолго, ибо в тот день императору вновь угодно было завладеть моим умом. Ощутил ли он в глубине моих мыслей толику предубеждения против него, — основанного, впрочем, лишь на том, что слышал я прежде, чем меня ему представили, ибо впечатление мое от его личности и речей было всецело для него благоприятным, — находил ли занятным поговорить несколько минут с человеком, непохожим на тех, что всякий день проходят перед его взором; или же госпожа *** расположила его в мою пользу? — я бы не сумел отчетливо объяснить себе, в чем истинная причина подобной милости.

Император не только привык командовать поступками людей, он умеет и властвовать над сердцами; быть может, ему захотелось покорить и мое тоже; быть может, моя холодность, проистекающая из робости, всколыхнула в нем самолюбие — ему свойственно желание нравиться. Заставить другого восхищаться собой — один из способов держать его в повиновении. Быть может, ему захотелось испытать свою власть на иностранце; быть может, наконец, заговорил в нем инстинкт человека, что долгое время не слышал правды и теперь надеется, что раз в жизни встретился ему характер правдивый. Повторяю, истинные его мотивы мне неизвестны; знаю одно: в тот вечер, стоило мне оказаться на пути его следования или даже в уединенном углу залы, где он находился, как он подзывал меня к себе для беседы.

Приметив, что я возвращаюсь в бальную залу, он спросил:

— Что делали вы нынче утром?

831 — Ваше Величество, я осмотрел кабинет естественной истории и знаменитого сибирского мамонта.

— Такого творения природы нет больше нигде в мире.

— Да, Ваше Величество; в России есть много вещей, каких не найдешь больше нигде.

— Вы мне льстите.

— Я слишком чту вас, Ваше Величество, чтобы осмелиться вам льстить, однако уже и не боюсь вас так, как прежде, и высказываю бесхитростно свои мысли, даже когда правда походит на комплимент.

— Ваш комплимент, сударь, весьма тонкий; иностранцы нас балуют.

— Вам, Ваше Величество, было угодно, чтобы я в беседе с вами чувствовал себя непринужденно, и вам это удалось, как удается все, что вы предпринимаете; вы излечили меня от природной робости, по крайней мере на время.

Я вынужден был избегать любого намека на главные политические интересы сегодняшнего дня, а потому мне хотелось вернуться к теме, занимавшей меня, во всяком случае, не меньше, и я добавил:

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

— Всякий раз, как Ваше Величество дозволяет мне приблизиться, я на себе испытываю власть, что повергла врагов к вашим стопам в день вашего восхождения на престол.

— В вашей стране питают против нас предубеждение, и его победить труднее, чем страсти взбунтовавшихся солдат.

— На вас смотрят слишком издалека; когда бы французы узнали Ваше Величество поближе, то лучше бы вас и оценили; у нас, как и здесь, нашлось бы множество ваших почитателей. Начало царствования уже принесло Вашему Величеству заслуженную славу; во времена холеры поднялись вы столь же высоко, и даже выше, ибо в продолжение этого второго бунта выказали то же всевластие, но смягченное благороднейшей приверженностью к человечности; в минуты опасности силы никогда не изменяют вам. 831

— Вы воскрешаете в моей памяти мгновения, что были, конечно, прекраснейшими в моей жизни; однако мне они показались самыми ужасными.

— Понимаю, Ваше Величество; чтобы обуздать естество в себе и в других, нужно совершить усилие...

— И усилие страшное, — перебил император с выражением, поразившим меня, — причем последствия его ощущаешь позже.

— Да; но зато вы явили истинное величие.

— Я не являл величия, я всего лишь занимался своим ремеслом; в подобных обстоятельствах никто не может предугадать, что он скажет. Бросаешься навстречу опасности, не задаваясь вопросом, как ее одолеть.

— Господь осенил вас, Ваше Величество; и когда бы возможно было сравнить две столь несхожие вещи, как поэзию и управление государством, то я бы сказал, что вы действовали так же, как поэты слагают песни, — внимая гласу свыше.

— В моих действиях не было ничего поэтического.

Сравнение мое, я заметил, показалось не слишком лестным, ибо слово «поэт» было понято не в том смысле, какой оно имеет в латыни; при дворе принято рассматривать поэзию как игру ума; чтобы доказать, что она есть чистейший и живейший свет души, пришлось бы затеять спор; я предпочел промолчать — но императору, видно, не хотелось оставлять меня в сожалениях о том, что я мог ему не угодить, и он еще долго удерживал меня при себе, к великому удивлению двора; с чарующей добротой он вновь обратился ко мне: 831

— Каков же окончательный план вашего путешествия?

— После празднества в Петергофе я рассчитываю ехать в Москву, Ваше Величество, оттуда отправлюсь взглянуть на ярмарку в Нижнем, но так, чтобы успеть вернуться в Москву еще до прибытия Вашего Величества.

— Тем лучше, мне было бы весьма приятно, если бы вы ознакомились во всех подробностях с работами, какие я веду в Кремле: тамошние покои были слишком малы; я возвожу другие, более подобающие, и сам объясню вам свой замысел касательно преобразования этого участка Москвы — в ней мы видим колыбель империи. Но вы не должны терять время, ведь вам предстоит одолеть необъятные пространства; расстояния — вот бич России.

— Не стоит сетовать на них, Ваше Величество; это рамы, в которые только предстоит вставить картины; в других местах людям недостает земли, у вас же ее всегда будет в достатке.

— Мне недостает времени.

— За вами будущее.

— Меня обвиняют во властолюбии — но так может говорить лишь тот, кто совсем меня не знает: я не только не желаю еще расширять нашу территорию, но, напротив, хотел бы сплотить вокруг себя население всей России. Нищета и варварство — вот единственные враги, над которыми мне хочется одерживать
831 победы; дать русским более достойный удел для меня важнее, чем преумножить мои владения. Если бы вы только знали, как добр русский народ! сколько в нем кротости, как он любезен и учтив от природы!.. Вы сами это увидите в Петергофе;
831 но мне бы особенно хотелось показать вам его здесь первого января. — Затем, возвращаясь к своей излюбленной теме, он продолжал: — Но стать достойным того, чтобы править подобной нацией, не так легко.

— Ваше Величество успели уже много сделать для России.

— Иногда я боюсь, что сделал не все, что в моих силах.

Христианские эти слова, исторгнутые из глубины сердца, до слез тронули меня; впечатление, произведенное ими, было тем большим, что я говорил про себя: император проницательней, чем я, и если бы слова его продиктованы были каким бы то ни было интересом, он бы почувствовал, что произносить их не нужно. Значит, он попросту выказал передо мною прекрасное, благородное чувство — сомнения, терзающие совестливого государя. Сей вопль человечности, исходящий из души, которую все, казалось бы, должно было исполнить гордыни, внезапно привел меня в умиление. Мы беседовали на людях, и я постарался не показать своего волнения; но император, отвечающий не столько на речи людей, сколько на их мысли (силой прозорливости и держится главным образом обаяние его речей, действенность его воли), заметил произведенное им впечатление, которое я пытался скрыть, и, прежде чем удалиться, подошел ко мне, взял дружелюбно за руку и пожал ее, сказав: «До свидания».

Император — единственный человек во всей империи, с кем можно говорить, не боясь доносчиков; к тому же до сей поры он единственный, в ком встретил я естественные чувства и от кого услышал искренние речи. Если бы я жил в этой стране и мне нужно было что-то держать в тайне, я бы первым делом пошел и доверил свою тайну ему.

Скажу, не заботясь о престиже и требованиях этикета, без всякой лести: он представляется мне одним из первых людей России. По правде говоря, никто другой не удостоил меня такой же откровенности, с какой беседовал со мною император.

Если я прав и в нем действительно более гордости, нежели самолюбия, и более достоинства, нежели высокомерия, то он должен быть доволен теми своими портретами, которые я один за другим рисовал для вас, и в особенности впечатлением, что произвели на меня его слова. По правде сказать, я изо всех сил противлюсь влечению, которое он во мне вызывает. Я, конечно, менее всего революционер, но революция и на меня оказала влияние — вот что значит родиться

во Франции и в ней жить! Я нахожу еще одно, лучшее объяснение тому, отчего почитаю своим долгом сопротивляться влиянию на меня императора. По характеру, равно как и по убеждению, я аристократ и чувствую, что одна лишь аристократия может противостоять и соблазнам, и злоупотреблениям абсолютной власти. Без аристократии и от монархии, и от демократии не остается ничего, кроме тирании, а зрелище деспотизма будит во мне невольный протест и наносит удар по всем моим представлениям о свободе, что коренятся в сокровенных моих чувствах и политических верованиях. Деспотизм родится из всеобщего равенства в той же мере, как и из самодержавия: власть одного человека и власть всех приводит к одинаковому результату. При демократии закон есть некое умственное построение; при автократии закон воплощен в одном человеке — но ведь даже и удобнее иметь дело с одним человеком, чем со страстями всех! Абсолютная демократия — это грубая сила, своего рода политический вихрь, который по глухоте своей, слепоте и неумолимости не сравнится с гордыней какого бы то ни было государя!!! Никто из аристократов не может без отвращения смотреть, как у него на глазах деспотическая власть переходит положенные ей пределы; именно это, однако, и происходит в чистых демократиях, равно как и в абсолютных монархиях.

Сверх того, мне кажется, что когда бы я был государь, мне бы нравилось общество умов, способных видеть во мне сквозь оболочку властителя простого человека, особенно если бы я, избавленный от титулов и сведенный к самому себе, был вдобавок вправе считаться человеком искренним, надежным и честным. Спросите себя со всей серьезностью и признайтесь, показался ли вам император Николай, каким он предстает в моих рассказах, ниже представления, какое сложилось у вас о его характере до чтения моих писем? Если ответ ваш будет искренним, он послужит мне оправданием. 831

Благодаря частым прилюдным беседам с государем я свел здесь знакомство со многими людьми, как известными мне прежде, так и неизвестными. Многие особы из тех, с кем я встречался в других местах, теперь, увидав, что я сделался предметом особенного расположения со стороны повелителя, кидаются мне на шею; особы эти, заметьте, из первых при дворе, но таково уж обыкновение людей светских, и особенно состоящих при должности, — они скупятся на все, кроме тщеславных расчетов. Чтобы жить при дворе и сохранять при этом чувства более высокие, нежели у черни, надобно быть одаренным благороднейшей душой; а благородные души редки. 831

Не устану повторять: в России нет знати, ибо нет независимых характеров; число избранных душ, составляющих исключение, слишком мало, чтобы высший свет следовал их побуждениям; человека делает независимым не столько богатство или хитростью достигнутое положение, сколько гордость, какую внушает высокое происхождение; а без независимости нет и знати.

Эта страна, столь отличная от нашей во многих отношениях, в одном все же походит на Францию: в ней отсутствует общественная иерархия. Благодаря этой прорехе политического устройства в России, как и во Франции, существует всеобщее равенство; поэтому и в одной, и в другой стране основная масса людей испытывает беспокойство ума — у нас ее волнение громогласно, в России же

политические страсти все направлены в одну точку. Во Франции кто угодно может достигнуть всего, если начнет с трибуны; в России — если начнет с двора; последний холоп, коли он сумеет угодить повелителю, назавтра может стать первым лицом после императора. Как у нас в стране стремление к популярности производит дивные метаморфозы, так и здесь милость сего божества — приманка, ради которой честолюбцы совершают настоящие чудеса. В Петербурге становятся законченными льстецами, как в Париже — несравненными ораторами. Какой дар наблюдательности явили русские придворные, обнаружив, что один из способов
832 понравиться императору — это разгуливать зимой по петербургским улицам без сюртука! Сия героическая лесть, обращенная прямо — к погоде, а косвенно — к повелителю, стоила жизни не одному честолюбцу. Но честолюбец — сказано слишком сильно, ибо здесь льстят бескорыстно. Как вы понимаете, в стране, где принято угождать подобным образом, не угодить легко. Две фанатические страсти, простонародная гордыня и рабское самоотречение царедворца, схожи между собою сильнее, нежели представляется с виду, и творят чудеса: первая возносит слово до высот истинного красноречия, вторая дарует силу молчания; но обе влекутся к единой цели. И оттого умы под гнетом безграничного деспотизма пребывают в таком же волнении и терзаниях, как и при республике, с той лишь разницей, что при автократии молчаливое беспокойство подданных ведет к глубокой душевной смуте, ибо честолюбец, желающий преуспеть при абсолютистском способе правления, вынужден таить свою страсть. У нас, чтобы жертвы пошли на пользу, они должны быть публичными; здесь же, напротив, о них никто не должен знать. Самодержец никого так не ненавидит, как подданного, который открыто ему предан; всякое усердие, выходящее за рамки слепого, рабского повиновения, для него несносно и подозрительно; ведь исключения открывают врата для притязаний, притязания превращаются в права, а подданный, полагающий, будто у него есть права, в глазах деспота — бунтовщик.

832 Правоту этих замечаний мог бы подтвердить фельдмаршал Паскевич: его не рискуют вовсе уничтожить, но всеми силами обращают в ничто.

До нынешнего путешествия мои идеи касательно деспотизма были подсказаны наблюдениями, сделанными над австрийским и прусским обществом. Я и не предполагал, что государства эти только называются деспотическими, на самом же деле в них к исправлению государственных установлений служат нравы; я говорил себе: «Тамошние народы, которыми правят деспотически, кажутся мне счастливейшими на земле; стало быть, деспотизм, умеренный мягкостью обычаев, вещь вовсе не такая отвратительная, как утверждают наши философы»; я еще не знал, что такое сочетание абсолютного способа правления и нации рабов.

Нужно приехать в Россию, чтобы воочию увидеть результат этого ужасающего соединения европейского ума и науки с духом Азии; я нахожу союз этот тем более страшным, что продлиться он может еще долго, ибо страсти, которые в иных странах губят людей, заставляя их слишком много болтать, — честолюбие и страх, здесь порождают молчание. Из насильственного молчания этого возникает невольное спокойствие, внешний порядок, более прочный и жуткий, чем любая анархия, ибо, повторяю, недуг, им вызванный, кажется вечным.

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

В политике я признаю лишь несколько основополагающих идей, потому что применительно к способу правления верю более в действенность обстоятельств, нежели в силу принципов; но безразличие мое простирается не настолько, чтобы попустительствовать порядкам, при которых, как мне кажется, в характерах людей истребляется всякое достоинство.

Быть может, независимое правосудие и сильная аристократия привнесли бы покой в умы русских людей, величие в их души, счастье в их страну; не думаю, однако, чтобы император помышлял о подобном способе улучшить положение своих народов: каким бы возвышенным ни был человек, он не откажется по доброй воле от возможности самолично устроить благо ближнего. Впрочем, по какому праву стали бы мы попрекать российского императора его властолюбием? разве тирания революции в Париже уступает чем-то тирании деспотизма в Санкт-Петербурге?

И все же наш долг перед самими собой — сделать здесь одну оговорку и установить различие в общественном устройстве обеих стран. Во Франции революционная тирания есть болезнь переходного времени; в России деспотическая тирания есть непрерывная революция.

Вам очень повезло, что я отвлекся от темы своего письма: приступая к нему, я намеревался описать ярко освещенный театр, парадное представление и разобрать пантомиму — *перевод* (русское выражение) одного французского балета. Когда бы я вспомнил об этом, моя скука передалась бы и вам: помпезность драматического действа утомила меня, но не ослепила, несмотря на золоченые одеяния зрителей; да к тому же без мадемуазель Тальони в петербургской Опере танцуют холодно и окостенело, как на любом европейском театре, когда танец исполняется не первыми в мире талантами; присутствие же двора не подогревало никого, ни актеров, ни зрителей. Как вам известно, рукоплескания при государе запрещены. 832 832

Искусства в Петербурге вымуштрованы и производят на заказ интермедии, годные для того, чтобы развлекать солдат в перерывах военных упражнений. Все это более или менее великолепно, устроено по-королевски, по-императорски... — но не увлекательно. Артисты здесь сколачивают богатство, вдохновение их не посещает: богатство и изысканность полезны для талантов, но действительно необходимы им хороший вкус и свободомыслие публики, которая о них судит.

Русские еще не достигли той точки в развитии цивилизации, когда возможно испытывать подлинное наслаждение от искусства. Энтузиазм их в этой области и поныне есть не что иное, как чистое тщеславие, одно из их притязаний. Пусть народ этот обратится к самому себе, прислушается к своему первородному гению, и — коли небо одарило его чутьем к искусствам — он откажется от копирования и станет производить на свет то, чего от него ожидают Господь и природа; а до тех пор вся помпезность вместе взятая никогда не сравнится для тех редких русских — истинных любителей прекрасного, что прозябают в Петербурге, — с пребыванием в Париже или путешествием в Италию.

Зал Оперы сооружен по чертежам залов в Милане и Неаполе; но те благороднее и производят более гармоническое впечатление, нежели все подобного рода постройки, какие я до сих пор видел в России.

I

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

*Население Петербурга. — Чему следует верить в рассказах русских. — Четверня. — Безлюдность улиц. — Изобилие колонн. — Характер архитектуры при деспотизме. — Французские архитекторы. — Площадь Карусели в Париже. — Площадь Гранду ка во Флоренции. — Невский проспект. — Деревянная мостовая. — Истинные черты славянского города. — Ледоход. — Повторяющийся переворот в природе. — Внутреннее убранство жилищ. — Русская постель. — Как спит прислуга. — Визит к князю ***. — Садовые беседки в салонах. — Красота славян. — Взор мужчин, принадлежащих к этой рас,. — Их необычный вид. — Русские кучера. — Их ловкость. — Их молчаливость. — Кареты. — Упряжь. — Мальчик-форейтор. — Тяжкая участь кучеров и наемных лошадей. — Люди, умирающие от холода. — Суждение на сей счет одной русской дамы. — Цена жизни в этой стране. — Фельдъегерь. — Что он собой воплощает. — Как деспотизм воздействует на воображение. — Что поэтического в этом способе правления. — Контраст между людьми и вещами. — Славянский характер. — Живописная архитектура церквей. — Русские кареты и экипажи. — Шпили крепости и Адмиралтейства. — Бесчисленные колокольни. — Описание городского ансамбля Петербурга. — Особенный вид Невы. — Противоречие, заложенное в вещах. — Красоты сумерек. — Природа прекрасна даже вблизи полюса. — Религиозная идея. — Тевтонские расы антипатичны русским. — Славяне правят Польшей. — Некоторые черты сходства между русскими и испанцами. — Влияние различных рас в истории. — Жара, что стоит нынешним летом. — Как запасаются дровами на зиму. — Повозки, на которые их грузят. — Ловкость русского народа. — Эпоха испытаний для него. — Топливо в Петербурге редкость. — Расточительная вырубка лесов. — Русские повозки. — Скверные орудия труда. — Северные римляне. — В каких отношениях состоят народы со своими правительствами. — Лодки **с** сеном на Неве. — Русский маляр. — Уродство и нечистоплотность женщин-простолюдинок. — Красота мужчин. — Женщины в Петербурге редки. — Память об азиатских нравах. — Неизбежная тоска военного города.*

833 *Петербург, 22 июля 1839 года*

Если верить на слово русским — большим патриотам, то населения в Петер-
833 бурге четыреста пятьдесят тысяч душ, не считая гарнизона; но люди знающие и, следственно, почитаемые здесь злонамеренными заверяют меня, что оно

не достигает и четырехсот тысяч вместе с гарнизоном. Верно одно: сей дворцовый город с его необъятными пустыми пространствами, какие именуются площадями, напоминает разгороженное дощатыми заборами поле. В кварталах, удаленных от центра, преобладают маленькие деревянные домишки.

Русские — выходцы из сообщества племен, которые долгое время были кочевниками и всегда отличались воинственностью; они еще не вполне позабыли бивуачную жизнь. Все народы, недавно переселившиеся из Азии в Европу, стоят в ней лагерем, словно турки. Петербург — это армейский штаб, а не столица нации. Как бы ни был великолепен этот военный город, в глазах западного человека он выглядит голым.

Расстояния — бич России, сказал мне император; справедливость этого замечания можно проверить прямо на петербургских улицах: по ним разъезжают в карете, запряженной четверкой лошадей, с кучером и форейтором, и отнюдь не из любви к роскоши. Нанести визит здесь означает совершить целое путешествие. Русские лошади, нервные и полные огня, уступают нашим в мускульной силе; скверная мостовая их утомляет, двум лошадям было бы трудно тянуть долгое время по петербургским улицам обычную карету; так что четверня есть предмет первой необходимости для всякого, кто хотя бы изредка хочет выезжать в свет.

Право иметь карету с четверкой лошадей получают не все местные жители; это дозволено лишь особам, достигшим определенного положения.

Не успев удалиться от центра города, вы теряетесь среди пустырей, по краям которых стоят бараки, возведенные, как кажется на первый взгляд, для рабочих, что собраны тут временно на какой-то большой стройке. Это фуражные амбары, сараи с одеждой и всякого рода припасами для солдат; чувствуешь себя тут как в минуты смотра или накануне ярмарки, которая не начнется никогда. Так называемые улицы эти заросли травой, они всегда пустынны, ибо чересчур просторны для передвигающегося по ним населения. 834

Столько здесь пристроили к домам перистилей, столько портиков украшают казармы, выдающие себя за дворцы, такой пышностью заемного убранства отмечено было возведение этой временной столицы, что на площадях Петербурга я чаще встречаю колонны, нежели людей; эти площади всегда молчаливы и печальны — по причине обширности своей и, главное, непогрешимой правильности. Угольник и шнур настолько отвечают взгляду на мир абсолютных монархов, что прямые углы стали камнем преткновения деспотической архитектуры. Архитектура живая, если можно так выразиться, возникает не по приказу; она, так сказать, родится из себя самой и проистекает из гения и потребностей народа как будто без участия воли. Создать великую нацию непременно означает и дать начало определенной архитектуре; не удивлюсь, если в конце концов будет доказано, что неповторимых архитектур столько же, сколько естественных языков.

Впрочем, не одни только русские одержимы симметрией. У нас она — наследие империи. Не будь французские архитекторы заражены этим дурным вкусом, мы бы давно уже имели разумный план, как нам украсить и достроить чудовищную площадь Карусели; но потребность в параллельных линиях стопорит все дело. 834

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Когда гениальные художники один за другим, соединяя усилия, превращали площадь Грандука во Флоренции в одно из прекраснейших на свете мест, их не тиранила страсть к прямым линиям и симметричным памятникам, они понимали прекрасное в свободных его проявлениях, вне прямоугольников и квадратов. Строительство Петербурга было подчинено математически точному глазомеру — за отсутствием художественного чувства и свободных творений фантазии, что возрастают на народных задатках и являются их выражением. И потому, проезжая по этой родине бесталанных памятников, нельзя ни на миг забыть, что город сей — порождение одного человека, а не целого народа. Замысел творца кажется узким, хотя размеры творения его громадны: это оттого, что приказу подчиняется все, кроме грации, сестры воображения.

Главная улица Петербурга — Невский проспект, один из трех проспектов, что ведут к дворцу Адмиралтейства. Три эти улицы, расходясь лучами, делят южную часть города на пять правильных частей и придают ей, подобно Версалю, форму веера. Сам город этот частично моложе порта, возведенного Петром I возле островов, и, невзирая на железную волю своего основателя, простерся и на левом берегу Невы; на сей раз страх перед наводнением пересилил страх оказать непослушание, и тирания природы одержала победу над деспотом.

Невский проспект заслуживает того, чтобы я вам описал его достаточно подробно. Это красивая улица длиною в лье и шириною с наши бульвары; кое-где на ней посажены деревья, такие же чахлые, как в Париже; здесь фланируют и назначают свидания все праздные гуляки города. По правде сказать, таких немного, ибо ходят тут вовсе не ради того, чтобы ходить: каждый шаг каждого из прохожих имеет свою, не связанную с удовольствием цель. Передать приказ, засвидетельствовать свое почтение, выказать повиновение господину, кто бы он ни был, — вот мотивы, приводящие в движение бо́льшую часть населения в Петербурге и во всей империи.

Мостовой на этом бульваре, именуемом перспективой, служат отвратительные круглые булыжники. Но здесь, равно как и на некоторых других главных улицах города, по крайней мере вделаны между камней, вровень с ними, деревянные плашки, по которым катятся колеса экипажей; сии отменные пути образуются из мозаики глубоко забитых еловых брусков квадратного или восьмиугольного сечения. Каждый путь состоит из двух полос в два-три фута шириною, разделенных обычными булыжниками, по которым ступает коренник; два таких пути, то есть четыре деревянных полосы, проложены вдоль Невского проспекта, один справа, другой слева, в отдалении от домов, которые отделены от них еще и рядом плит; каменные площадки эти служат тротуарами для пешеходов, прекрасными дорожками для гулянья, ничего общего не имеющими с убогими дощатыми тротуарами, какие и поныне позорят некоторые удаленные улицы. Итак, четыре линии плиток ведут по этому прекрасному, обширному проспекту, который, становясь незаметно все безлюднее и, соответственно, все уродливее и печальнее, продолжается до той неопределенной черты, где кончается жилой город, то есть до самой границы азиатского варварства, от века осаждающего **Петербург, — на оконечности самых роскошных его улиц непременно обнаружишь**

пустыню. Чуть дальше Аничкова моста вам попадается улица под названием Елогная, которая ведет к пустыне, именуемой «Александровская площадь». Сомневаюсь, чтобы император Николай хоть раз в жизни видел эту улицу. Пышный город, возведенный Петром Великим, украшенный Екатериной II, протянутый прямо, как стрела, всеми прочими государями через болотистую, вечно затопляемую песчаную равнину, в конце концов теряется в ужасающей мешанине лавок и мастерских, среди груды безымянных зданий и обширных, непрочерченных площадей; из-за врожденной неорганизованности и нечистоплотности народа, живущего в этой стране, площади последние сто лет загромождены обломками всякой всячины и нечистотами любого свойства. Вся эта дрянь год за годом копится в русских городах, оспаривая притязания немецких государей, что мнят, будто воистину послужили просвещению славянских народов. Как бы сильно ни извратило иго, навязанное этим народам, их первоначальный характер, он обязательно сказывается хоть в каком-нибудь уголке их городов, принадлежащих деспотам, и домов, принадлежащих рабам; да если и есть у них вещи, какие называются городами и домами, то не потому, что эти вещи им нравятся или они ощущают в них нужду, но потому, что им говорят: их надобно иметь либо, скорее, терпеть, дабы шагать в ногу с древними цивилизованными расами Запада; а главное, потому, что когда бы им вздумалось спорить с людьми, которые по-военному наставляют их и ведут за собой, то люди эти, капралы и педагоги одновременно, погнали бы их кнутом обратно на азиатскую родину. Бедные экзотические птицы, оказавшиеся в клетке европейской цивилизации, они — жертвы мании или, вернее сказать, глубоко рассчитанных устремлений честолюбцев-царей, грядущих завоевателей мира: те прекрасно знают, что, прежде чем нас покорить, следует подражать нам всегда и во всем.

Калмыцкая орда, что разбила лагерь в лачугах, окружив скопление античных храмов; греческий город, спешно возведенный для татар, словно театральные декорации, декорации блистательные, но безвкусные, призванные обрамлять собою подлинную и ужасную драму, — вот что сразу же бросается в глаза в Петербурге.

Я писал уже о бедных деревьях, обреченных служить украшением Невскому проспекту; несчастные, чахлые березки едва живы и скоро будут являть зрелище не менее жалкое, чем вязы на бульварах и Елисейских полях в Париже, которые медленно угасают на наших глазах, сраженные прямо в сердце лавочниками, которым они заслоняют свет, иссушенные газом и наполовину погребенные под асфальтом; горестная эта картина предстает каждое лето перед завсегдатаями кафе Тортони и Олимпийского цирка. Удел петербургских деревьев ничем не лучше: летом их разъедает пыль, зимой застилает снег, а потом оттепель сдирает с них кору, губит ветви и корни.

Природа и история никак не затронули русскую цивилизацию; ничто в ней не вышло из почвы или из народа — прогресса не было, в один прекрасный день все ввезли из-за границы. В этом триумфе подражательства больше ремесла, нежели искусства: здесь то же различие, как между гравюрой и рисунком. Дар гравера проявляется только в воплощении чужих идей.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Говорят, ни один чужеземец не в силах представить себе сумятицу, которая царит на улицах Петербурга во время таяния снегов. Нева, вскрывшись, две недели несет громадные льдины; все это время мосты разведены, всякое сообщение между двумя основными частями города на несколько дней прерывается, многие кварталы бывают отрезаны от города. Мне рассказывали, как из-за невозможности в те бедственные дни послать за врачом одно значительное лицо скончалось. Улицы в этот период напоминают русла бурных потоков, и всякий год наводнение, схлынув, оставляет на них баррикады. Мало какой политический кризис сумел бы причинить столько бедствий, как этот периодический бунт природы против неполной и невозможной цивилизации.

Я

С тех пор как мне описали петербургскую оттепель, я перестал бранить мостовые, пусть и никуда не годные, — ведь их приходится восстанавливать каждый год. Воистину это торжество человеческой воли — одиннадцать месяцев в году разъезжать в карете по городу, над которым так основательно потрудились полярные зефиры.

После полудня по Невскому проспекту, большой Дворцовой площади, по набережным и мостам движется довольно много экипажей всякого рода и самых необычных форм; их перемещение слегка оживляет этот обычно тоскливый город, самую однообразную из европейских столиц. Это точная копия какой-нибудь из германских столиц, только в более крупном масштабе.

Внутреннее убранство жилищ тоже тоскливо: несмотря на роскошную обстановку, что вся, на английский лад, громоздится в нескольких комнатах, отведенных для приемов, в темноте дома смутно виднеется и грязь, и исконный, неистребимый беспорядок — напоминание об Азии.

Из домашней мебели меньше всего в ходу у русских кровать. Женская прислуга спит на полатях, похожих на те, какие существовали когда-то во французских привратницких, а мужчины валяются по ночам на полу, на подушках, брошенных на лестнице, в передней и даже, говорят, в гостиной.

Нынче утром был я с визитом у князя ***. Он знатный вельможа, но притом разорившийся, увечный, больной и страждущий водянкой; он настолько немощен, что не в силах подняться, и, однако ж, лечь ему некуда — я хочу сказать,
835 у него нет того, что в странах с древней цивилизацией называется кроватью. Живет он в доме сестры, которая теперь в отлучке. Совсем один в недрах пустынного дворца, он проводит ночи на деревянной лавке, поверх которой положен ковер и несколько подушек. Отнести это насчет прихотливого вкуса данного человека невозможно: во всех русских домах, где мне случалось бывать, я видел, что ширма так же необходима для постели славян, как мускус — для них самих, ибо она отличается той же глубинной нечистоплотностью, отнюдь не всегда исключающей внешний лоск. Иногда здесь заводят парадную кровать, предмет роскоши, который выставляют напоказ в угоду европейской моде, но которым никогда не пользуются.

В жилищах у некоторых русских, которым присущ изысканный вкус, встречается особенное украшение — искусственный садик в углу гостиной. Три длинных ящика с цветами отгораживают одно из окон, и образуется зала из зелени

(альтана), нечто вроде беседки наподобие садовой. Над ящиками сооружен штакетник или перила в высоту человеческого роста, из дорогого, порой позолоченного дерева. Этот маленький открытый будуар оплетен плющом и другими вьющимися растениями; они, карабкаясь вверх по решетке, приятно выглядят посреди обширного, сверху донизу позолоченного и заставленного мебелью помещения: в блестящем салоне глаз отдыхает на островке зелени и свежести, а они в этой стране роскошь. Внутри восседает у стола хозяйка дома; подле нее виднеются несколько стульев — два-три человека самое большее могут одновременно зайти в это убежище, не слишком надежное, но достаточно укромное, чтобы дать простор воображению.

Мне показалось, что этот своеобразный комнатный боскет выглядит приятно, а замысел его разумен в стране, где всякий личный разговор должен оставаться в тайне. Полагаю, что обычай этот перенесен из Азии.

Я не удивлюсь, если искусственный сад из русских гостиных однажды обнаружится в каком-нибудь парижском доме. Он бы не повредил убранству тех жилищ, где обитают самые модные теперь во Франции супруги государственных мужей. Я был бы рад этому нововведению — уже из одного только желания насолить англоманам, которым никогда не прощу зла, причиненного хорошему вкусу и истинно французскому духу.

У славян, когда они красивы, тонкий, изящный стан, от которого, однако, веет силой; у них у всех миндалевидный разрез глаз, а взгляд бегающий и плутоватый, азиатский. Глаза могут быть и черные, и голубые, но они всегда прозрачны и отличаются живостью, переменчивостью и большим обаянием, ибо умеют смеяться.

Народ этот серьезен больше по необходимости, чем от природы, и осмеливается смеяться не иначе как глазами; говорить этим людям не разрешают, но взгляд, одушевленный молчанием, восполняет недостаток красноречия — столько страсти придает он лицу. В нем почти всегда светится ум, иногда кротость и покой, чаще — тоска, доходящая до свирепости; чем-то он напоминает взгляд попавшего в западню зверя.

Люди эти — прирожденные возницы; в них, как в лошадях, которыми они правят, чувствуется порода; благодаря их необычному облику и легкому бегу их коней зрелище петербургских улиц делается весьма занятно. Так что город этот не похож ни на один из европейских городов по милости своих жителей — и вопреки архитекторам.

Русские кучера держатся на сиденьях очень прямо; лошадей они всегда пускают во весь опор, но правят уверенно, хоть и грубовато: у них на удивление точный и быстрый глаз; правя и парой, и четверней, они всегда держат по две вожжи от каждой лошади и сжимают их крепко, обеими руками, которые вытягивают вперед и отставляют весьма далеко от туловища; никакое препятствие их не остановит. Полудикие люди и животные мчатся по улицам города с пугающе бесшабашным видом; но природа наделила их проворством и ловкостью, так что уличные происшествия в Петербурге редки, несмотря на крайнее удальство кучеров. Зачастую у них нет кнута, а когда и есть, то такой короткий, что пользоваться

им невозможно. Не управляют они и голосом, а действуют только вожжами и удилами. Вы можете часами бродить по Петербургу и ни разу не услышать крика. Если пешеходы не спешат посторониться, форейтор (ямщик, который в четверне садится на переднюю ***правую лошадь)*** испускает короткий визг, вроде пронзительных воплей сурка, поднятого в норе; заслышав этот угрожающий звук, что означает: «Посторонитесь!», все расступаются, и вот уже карета, словно по волшебству, летит вдаль, не замедлив ходу.

Экипажи здесь почти всегда безвкусны и дурно содержатся; в них, скверно вымытых, скверно выкрашенных и еще более скверно покрытых лаком, нет подлинного изящества; если же кто заводит английскую карету, она недолго выдерживает петербургские мостовые и побежку русских лошадей. Их сбруя, прочная, легкая и приятная на вид, сделана из отменной кожи; в общем, несмотря на нерадивость конюхов и недостаток воображения у рабочих, все вместе экипажи имеют вид своеобразный и живописный, каковой в известной мере искупает отсутствие тщательного ухода за ними, о котором так пекутся в других странах; поскольку же вся знать выезжает непременно четверней, то придворные церемонии выглядят весьма пышно, даже если глядеть на них с улицы.

В ряд четверку лошадей запрягают только для путешествий и долгих загородных поездок; в Петербурге лошади всегда идут попарно; постромки у них непомерной длины, мальчик, направляющий передних лошадей, одет, равно как и кучер, по-персидски — впрочем, одеяние это, называемое «армяк», подходит только для того, кто сидит на козлах, верхом ехать в нем неудобно; но несмотря на этот изъян в одежде, русский форейтор проворен и смел.

Не в моих силах описать, сколь серьезны, молчаливо горды, ловки и невозмутимо безрассудны эти славянские плутишки; всякий раз, гуляя по городу, радуюсь я их дерзости и сноровке — потому и пишу о них часто и в подробностях; больше того, они выглядят счастливыми — а здесь это встречается реже, чем в других странах.

Испытывать удовлетворение от хорошо исполненного дела есть свойство человеческой природы; русские кучера и форейторы, самые ловкие в мире, могут быть довольны своим положением, весьма, впрочем, тяжелым.

Нужно еще добавить, что те, кто состоит в услужении у знатных особ, пекутся об изяществе своего облика и имеют ухоженный вид, но наемные лошади и убогие возницы будят во мне сострадание — настолько тяжка их жизнь: с утра до вечера остаются они на улице, у ворот своего нанимателя, либо на отведенных полицией местах. Лошадей не распрягают, и кучера всегда сидят на облучке, там же и едят, не отлучаясь ни на минуту. Бедные лошади!.. Людей мне жаль меньше — русский находит вкус в рабстве. Корм и воду лошадям задают в переносных колодах, поставленных на козлы; так что заказывать карету нет нужды: всякий раз, как вы пожелаете куда-нибудь выехать, вы найдете ее уже готовой.

Подобную жизнь, однако, кучера ведут только летом; по зиме для них на самых людных площадях сооружают сараи. Вокруг этих убежищ, поблизости от театров, дворцов и всех тех мест, где бывают празднества, разводятся большие костры, у которых греется прислуга; однако ж в январе месяце ни один бал

не обходится без того, чтобы ночью один-два человека не замерзли на улице насмерть; самые меры предосторожности не столько позволяют отвести опасность, сколько свидетельствуют о ее наличии, а упрямое нежелание русских признавать факт, о котором я вам сообщаю, служит для меня подтверждением его правдивости. 836

Одна женщина, которую я настойчиво расспрашивал на сей предмет, оказалась откровеннее других и отвечала: «Возможно, но мне никогда не доводилось об этом слышать». Такое отпирательство стоит ценного признания. Надо побывать здесь, чтобы узнать, какие размеры может принимать презрение богатого человека к жизни бедняка, и понять, насколько малую ценность вообще имеет жизнь в глазах человека, обреченного жить при абсолютизме.

В России жить трудно всем: император здесь привычен к усталости не меньше последнего из крепостных. Мне показали его постель — наши землепашцы подивились бы жесткости этого ложа. Здесь все вынуждены твердить себе суровую истину — что цель жизни лежит не на земле и удовольствие не тот способ, каким можно ее достигнуть.

Перед вами всякую минуту возникает образ неумолимого долга и покорности, не позволяя забыть о жестоком условии человеческого существования — труде и страдании! В России вам не позволят прожить, не жертвуя всем ради любви к земному отечеству, освященной верой в отечество небесное.

Временами посреди публичного гулянья случается мне встретить несколько зевак, которые заставляют меня впасть в заблуждение и поверить, будто в России, как и повсюду, есть, может статься, люди, что развлекаются ради развлечения, люди, для которых удовольствие — тоже занятие в жизни; но я мигом прихожу в разум при виде фельдъегеря, молча несущегося вскачь на своей телеге. Фельдъегерь есть человек власти; он — слово господина; он — живой телеграф, что везет повеление другому человеку, пребывающему, как и он сам, в неведении относительно замысла, который приводит в движение их обоих; сей второй автомат ожидает его за сотню, тысячу, полторы тысячи лье в императорских владениях. Телега, на какой пускается в путь железный человек, — самая неудобная из всех дорожных карет. Вообразите себе маленькую повозку с двумя обитыми кожей скамейками, без рессор и без спинки; никакой другой экипаж не годится для проселков, какими кончаются покуда все большие дороги, проложенные сквозь эту темную и дикую империю. Передняя скамейка предназначена форейтору или кучеру, что сменяют один другого на каждом перегоне, задняя — курьеру, что путешествует до самой смерти, а она у людей, исполняющих это тяжелое ремесло, наступает рано.

Я вижу, как мчатся они во всех направлениях по прекрасным городским улицам, и в воображении моем тотчас возникают безлюдные просторы, в которые им предстоит углубиться; мысленно я следую за ними, и в конце их пути являются мне Сибирь, Камчатка, солончаки, Китайская стена, Лапландия, Ледовитое море, Новая Земля, Персия, Кавказ; названия эти, исторические, почти сказочные, действуют на ум мой так же, как теряющийся в дымке отдаленный пейзаж; но представьте себе, сколь удручена бывает душа мечтаниями подобного

[1] Английска

рода!.. И тем не менее эти глухие, слепые и немые курьеры появлением своим не устают доставлять воображению чужестранца поэтическую пищу. Человек, рожденный, чтобы жить и умереть в своем возке, и хранящий в своем портфеле судьбы мира, уже сам по себе сообщает печальный интерес мельчайшим жизненным сценкам; перед лицом таких страданий и такого величия в мыслях не остается места для прозы. Деспотизм делает несчастными народы, которые подавляет; но нельзя не признать, что изобрели его для удовольствия путешественников, каковых он всечасно повергает в удивление. При свободе все предается огласке — и забвению, ибо взгляд не задерживается ни на чем; при абсолютистском правлении все скрыто от глаз, но все угадывается, и отсюда родится живой интерес — запоминаешь и примечаешь ничтожнейшие обстоятельства, всякая беседа движима подспудным любопытством и обретает бо́льшую остроту благодаря тайне и благодаря самому отсутствию внешней занимательности; ум здесь прячется под покрывалами, как мусульманская красавица; пусть жители страны с подобным образом правления не могут веселиться от чистого сердца, зато чужестранец, по правде говоря, не может здесь скучать. Чем меньше возможности судить о сущности вещей, тем больше интереса должна вызывать их внешняя оболочка. Сам я чересчур много думаю о том, чего не могу увидеть, чтобы вполне удовлетвориться тем, что вижу; и все же зрелище это хоть и огорчает меня, но кажется захватывающим.

У России нет прошлого, говорят любители древности. Это так, но будущее и простор дают здесь пищу самому пылкому воображению. У философа в России жалкая участь, поэту же здесь может и должно нравиться.

Воистину несчастны лишь те поэты, кто обречен чахнуть при режиме гласности. Когда все могут говорить все что угодно, поэту остается только умолкнуть. Поэзия есть таинство, позволяющее выразить нечто большее, чем слова; ей нет места у народов, утративших стыдливость мысли. Истина в поэзии — это видение, аллегория, аполог; но в странах, где царит гласность, истину эту убивает реальность, которая всегда слишком груба с точки зрения фантазии. Гению там недостает поэтичности: он продолжает творить, исходя из своей природы, но не способен сотворить ничего завершенного.

В душу русских, народа насмешливого и меланхолического, природа, должно быть, вложила глубокое чувство поэтического — ведь им удалось придать неповторимый и живописный облик городам, построенным людьми, что были начисто лишены воображения, к тому же в самой унылой, однообразной и голой стране на свете. Нескончаемые равнины, мрачное, плоское безлюдье — вот что такое Россия. Но когда б я мог показать вам Петербург с его улицами и обитателями таким, каким он предстает передо мной, я бы в каждой строчке описывал жанровую сценку, — столь мощно восстает славянский национальный гений против бесплодной одержимости своего правительства. Это антинациональное правительство продвигается вперед только посредством военных эволюций — 836 оно вызывает в памяти Пруссию при ее первом короле.

Я описал вам город, лишенный собственного лица, скорее пышный, нежели величавый, не столько красивый, сколько обширный, набитый безвкусными зданиями, что не имеют ни стиля, ни исторической ценности. Но для полноты, то есть

правдивости, картины следовало бы одновременно представить вашему взору людей, передвигающихся в этом претенциозном и смешном обрамлении, людей от природы изящных, которые, повинуясь своему восточному гению, сумели освоить город, выстроенный для несуществующего народа, — ибо Петербург создавали люди богатые, чей ум сложился благодаря сравнению различных 836
европейских стран, но не глубокому изучению их. Этот легион путешественников, более или менее утонченных, не столько ученых, сколько набравшихся опыта, являл собою искусственную нацию, подбор образованных, быстрых умов, привлеченных из всех существующих на свете наций; то не был русский народ — русский народ лукав, словно раб, что утешается, посмеиваясь про себя над своим ярмом; он суеверен, хвастлив, отважен и ленив, словно солдат; он поэтичен, музыкален и рассудителен, словно пастух, — ибо обычаи кочевых рас еще долго будут господствовать меж славян; все это не согласуется ни со стилем зданий, ни с расположением петербургских улиц; архитектор тут явно оторван от жителя. Европейские инженеры прибыли сюда учить московитов, как им возвести и отделать столицу, достойную восхищения Европы, а те, привыкнув к военному послушанию, подчинились власти приказа. Петр Великий построил Петербург не так ради русских, как в гораздо большей мере против шведов; однако естество народа нашло себе выход, невзирая на почтение к прихотям повелителя и недоверие к самому себе; именно эта непроизвольная непокорность и наложила на Россию печать неповторимости: изначальный характер ее жителей оказался неистребим; это торжество врожденных свойств над дурно направленным воспитанием — зрелище любопытное для всякого путешественника, способного его оценить.

Счастье для живописца и для поэта, что русские в высшей степени набожны: по крайней мере, их церкви принадлежат только им; незыблемость формы религиозных зданий составляет часть культа, и суеверие обороняет эти богоугодные крепости против мании выстраивать из тесаного камня геометрические фигуры, прямоугольники, плоскости и прямые линии, — иначе говоря, против архитектуры не столько классической, сколько военной; из-за нее любой город в этой стране имеет вид походного лагеря, разбитого на несколько недель, пока продолжаются большие маневры.

Кочевнический дух дает о себе знать и в русских повозках, каретах, упряжи, сбруе. Вообразите себе целые рои, тучи дрожек, что катятся, едва не задевая днищем мостовую, среди весьма приземистых домов, над которыми, однако, высятся шпили множества церквей и нескольких знаменитых исторических зданий; все это в целом если не красиво, то во всяком случае удивительно. Позолоченные или крашеные иглы ломают уныло-ровные линии городских крыш; острия их, пронзающие небо, столь тонки, что глаз с большим трудом различает точку, в которой позолота гаснет в тумане полярного поднебесья. Самые примечательные — шпиль крепости, корня и колыбели Петербурга, и шпиль Адмиралтейства, одетый в золото голландских дукатов, что были подарены царю Петру республикой Соединенных Провинций. По высоте и дерзновенности эти монументальные плюмажи, копирующие, говорят, те азиатские уборы, какие украшают здания

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

в Москве, представляются мне поистине необычайными. Невозможно понять, ни каким образом держатся они в воздухе, ни как их там установили; это истинно русское украшение. Представьте же несметное число соборов о четырех колоколенках, заимствованных у византийцев. Вообразите множество куполов — посеребренных, золоченых, лазурных, звездчатых, и крыши дворцов, покрытые изумрудной или ультрамариновой краской; площади, украшенные бронзовыми статуями в честь главных исторических деятелей и императоров России; поместите картину эту в раму громадной реки, что в ясные дни служит зеркалом для всех предметов, а в бурные — выгодным контрастом для них; прибавьте к этому понтонный Троицкий мост, переброшенный через Неву в самом широком ее месте, между Марсовым полем, в просторах которого теряется статуя Суворова, и крепостью, где в скромных могилах без всяких украшений покоятся Петр Великий с семейством;[1] припомните, наконец, что гладь неизменно полноводной Невы лежит вровень с землей и обтекает остров посередине города, — остров, обрамленный со всех сторон зданиями с греческими колоннами и гранитным фундаментом, что возведены по образцу языческих храмов; и если вам удастся охватить взором весь ансамбль Петербурга, вы поймете, почему город этот бесконечно живописен, несмотря на свою заемную, дурного вкуса архитектуру, несмотря на болотистый оттенок подступающих к нему полей, несмотря на совершенно плоский, не знающий холмов ландшафт и бледность ясных летних дней в тусклом климате севера.

Река, почти неподвижная на подступах к устью, где море зачастую заставляет ее остановиться совсем или даже повернуть вспять, придает особое своеобразие этому пейзажу.

Не нужно уличать меня в противоречиях, я заметил их прежде вас, но не хочу их избегать, ибо они заложены в самих вещах; говорю это раз и навсегда. Как дать вам реальное представление обо всем, что я описываю, если не противореча самому себе на каждом слове? Когда бы я был не так откровенен, то казался бы вам более последовательным; вспомните, однако, что истина и в физическом, и в нравственном мироустройстве есть лишь совокупность контрастов столь кричащих, что можно вообразить, будто природа и общество только для того и созданы, чтобы скрепить элементы, чуждые друг другу и взаимно друг друга исключающие.

Ничего нет печальнее полуденного петербургского неба; но хотя день в этих широтах неяркий, вечер и утро здесь великолепны: на твоих глазах в воздухе и на зеркальной поверхности почти безбрежных, сливающихся с небом вод распространяются какие-то снопы света, огненные букеты и струи, подобных которым мне еще нигде не случалось видеть.

Сумерки продолжаются здесь три четверти человеческой жизни и богаты дивными неожиданностями, летнее солнце, около полуночи скрывающееся на миг под водой, долго плавает на горизонте на уровне Невы и окаймляющих ее низин; от него разливается кругом зарево пожара, способное и самую скудную

[1] По греческому обряду скульптуры в церквях запрещены.

природу сделать прекрасной; зрелище это внушает не восторг, какой рождают краски пейзажей в жарком поясе, но сладостные грезы, неодолимое желание погрузиться в сновидения, полные воспоминаний и надежд. Прогулка по островам в этот час — подлинная идиллия. Конечно, этим ландшафтам, чтобы превратиться в прекрасные, с хорошей композицией картины, многого недостает, но власть природы над воображением человека сильнее власти искусства; непорочный ее вид во всех климатических зонах отвечает потребности в восхищении, которую человек носит в душе, — и возможно ли ему найти лучшее направление для своего чувства? Пусть даже Господь свел землю в окрестностях полюса до совершенно плоской и голой поверхности, — все равно, невзирая на скудость ее, зрелище творения неизменно пребудет для взора человеческого красноречивейшим проявлением замыслов Творца. Разве плешивые головы по-своему не красивы? Что до меня, то ландшафты в окрестностях Петербурга представляются мне более чем прекрасными: они отмечены возвышенной печалью и по глубине впечатления ничем не уступают самым знаменитым пейзажам на свете с их роскошью и разнообразием. Здесь — не парадное, искусственное произведение, какая-нибудь приятная выдумка, здесь — глубины безлюдья, безлюдья грозного и прекрасного, как смерть. Вся Россия, от края до края своих равнин, от одного морского побережья до другого, внимает всемогущему Божьему гласу, который обращается к человеку, возгордившемуся ничтожным великолепием жалких своих городов, и говорит ему: Тщетны твои труды, тебе не превзойти меня! Таков уж результат нашей тяги к бессмертию: более всего занимает жителя земли то, что рассказывает ему о чем-то ином, нежели земля.

Удивительно, как мощно одарены нации от природы: на протяжении более чем столетия благовоспитанные русские — знать, ученые, власти предержащие, только тем и занимались, что клянчили идеи и искали образцов для подражания во всех обществах Европы, — и что же? — смешная фантазия государей и придворных не помешала русскому народу остаться самобытным.[1]

Народ этот умен и по природе своей слишком утончен, слишком тактичен и деликатен, чтобы слиться когда-нибудь с тевтонской расой. Буржуазная Германия и поныне более чужда России, нежели Испания с ее народами, в чьих жилах течет арабская кровь. Медлительность, тяжеловесность, грубость, пугливость, неловкость претят славянскому духу. Славяне легче свыкаются с местью и тиранией; самые добродетели германцев русским ненавистны; а потому русские, несмотря на жестокую религиозную и политическую вражду с Варшавой, за несколько лет сильнее продвинулись в ее общественном мнении, нежели пруссаки со всеми их редкими и основательными достоинствами, какими отличаются тевтонцы; я не говорю, что это благо, я просто отмечаю сам факт: не все братья любят друг друга, но все друг друга понимают.[2]

[1] Упрек этот, обращенный к Петру I и ближайшим продолжателям его дела, служит дополнением к похвальному слову императору Николаю, который взялся остановить сей нескончаемый поток.

[2] См. письма пятое и двадцать девятое.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Что же до некоторого сходства, какое, кажется мне, я нахожу между русскими и испанцами, то оно объясняется связями, которые изначально могли возникнуть между арабскими племенами и отдельными ордами, что двигались через Азию на Московию. Мавританская архитектура чем-то схожа с византийской, образцом для истинно московской архитектуры. Гений азиатских народов, бродивших по Африке, вряд ли мог быть противен гению других восточных наций, только что осевших в Европе; история объясняется успешным влиянием рас друг на друга, такова общественная неизбежность, подобно тому как человеческий характер есть неизбежность личная.

Когда бы не различие религий и не несходство в нравах народов, мне бы казалось, что я нахожусь на одной из самых возвышенных и самых бесплодных равнин Кастилии. Тем более что жара тут стоит африканская; за последние два десятка лет в России не припомнят такого знойного лета.

Несмотря на тропическое пекло, я вижу, как русские уже запасаются дровами. Лодки, груженные березовыми поленьями — единственным топливом, какое здесь в ходу, ибо древесина дуба считается роскошью, — загромождают бесчисленные широкие каналы, что пересекают во всех направлениях этот город, построенный по образцу Амстердама: один из рукавов Невы течет по самому центру Петербурга; зимой вода его скрыта под снегом, а летом — под бесчисленными лодками, теснящимися вдоль набережных, чтобы выгрузить привезенные припасы на берег.

Дрова уже заранее распилены на коротенькие полешки; из лодок их перекладывают на довольно необычные повозки, простые до примитивности. Они состоят из двух жердей, образующих оглобли и предназначенных для соединения передней и задней оси; эти длинные жерди близко сдвинуты — колея у повозки узкая, — и на них нагружают поленья, возводя нечто вроде стены высотой в семь-восемь футов. Со стороны это громоздкое сооружение похоже на движущийся дом. Дрова на повозке связывают цепью, и если она на тряской мостовой расходится, то возница по ходу дела стягивает ее с помощью веревки и палки-рогатки, — причем не останавливая лошади и даже не замедляя ее бега. Видишь, как человек повисает на своем штабеле дров, стараясь с силой пригнать друг к другу все его части, — словно белка, что качается на веревке в клетке или на ветке в лесу; и покуда длится эта безмолвная операция, дровяная стена продолжает безмолвно двигаться своим путем по улице, не встречая никаких препятствий, ибо при здешнем суровом правительстве все происходит без потрясений, без слов и без шума. Ведь страх внушает человеку расчетливое благодушие, более неколебимое и надежное, нежели природная кротость.

Я ни разу не видел, чтобы хоть одна из этих шатких построек рухнула во время опасных и зачастую долгих переездов, какие она совершает через весь город.

Русский народ безмерно ловок: ведь эта людская раса вопреки велениям природы оказалась вытолкнута к самому полюсу из-за человеческих революций и задержалась там из политических потребностей. Тот, кто сумел бы глубже проникнуть в промыслы Провидения, возможно, пришел бы к выводу, что война со стихиями есть суровое испытание, которому Господь пожелал подвергнуть эту

нацию-избранницу, дабы однажды вознести ее над многими иными. Борьба — это школа Провидения. 837

Топливо в России становится редкостью. Дрова в Петербурге не дешевле, чем в Париже. Тут есть дома, отопление которых за зиму обходится в девять-десять тысяч франков. Глядя, как расточительно вырубают леса, с тревогой задаешься вопросом, чем будет обогреваться следующее поколение.

Простите за шутку: мне часто приходит в голову, что было бы весьма предусмотрительно со стороны народов, наслаждающихся прекрасным климатом, поставлять русским топливо для доброго огня. Тогда бы северяне меньше жалели о солнце. 837

Повозки, назначенные для вывоза городских нечистот, малы и неудобны; с подобной машиной человек и лошадь мало что могут сделать за день. Русские обыкновенно проявляют свою сообразительность не столько в старании усовершенствовать дурные орудия труда, сколько в разных способах использовать те, что у них есть. В них мало развита изобретательность, и чаще всего им не хватает механизмов, приспособленных для достижения нужной цели. Народ этот при всем его изяществе и талантах начисто лишен творческого гения: русские и в этом — северные римляне. И те, и другие вынесли свои науки и искусства из-за границы. Они умны, но ум их подражательный, а значит, более иронический, чем плодовитый: такой ум все копирует, но ничего не в силах создать сам.

Насмешка — главная черта характера тиранов и рабов. У всякой угнетенной нации ум склоняется к поношению, сатире, карикатуре; за свое бездействие и унижение она мстит сарказмами. Остается вычислить и сформулировать, в каком отношении находятся нации с теми конституциями, какие они себе избирают сами или какие им навязывают сверху. Мое мнение таково: всякая приобщенная к культуре нация имеет тот единственный способ правления, который только и может иметь. Я не собираюсь ни предлагать, ни даже излагать вам свою теорию — пусть над этим трудятся люди более достойные и ученые; нынешняя моя цель гораздо скромнее: я хочу описать, что поражает меня на улицах и набережных Петербурга.

В нескольких местах поверхность Невы сплошь покрыта лодками с сеном. Эти безыскусные сооружения будут повыше многих домов и с виду живописны и ловко устроены, как и все, чем славяне никому не обязаны, кроме себя. Эти передвижные здания служат жилищем для гребцов; они затянуты соломенными коврами, наподобие плетеных циновок, которые, несмотря на свою грубость, придают им облик восточного шатра или китайской джонки; только в Петербурге довелось мне видеть целые стены из сена, убранные соломенными половиками, и семьи, вылезающие из-под сена, словно звери из логова.

В городе, где дома изнутри подвержены нашествию полчищ паразитов, а снаружи каждую зиму ветшают, особенную важность обретает ремесло маляра. В России любое здание надо всякий год штукатурить заново, иначе оно скоро разрушится.

Любопытен способ, каким русский маляр исполняет свою должность. Для работы на улице ему остается всего три месяца в году, и число рабочих, как вы

понимаете, должно быть достаточно велико — их встречаешь на каждом перекрестке. Эти люди сидят, рискуя жизнью, на дощечке, небрежно привязанной к длинной, свисающей вниз веревке, и качаются на ней, как насекомые, у стен здания, которое заново покрывают побелкой. Нечто похожее есть и у нас: наши рабочие тоже поднимаются и спускаются вдоль стены дома, повисая на узлах веревки. Но во Франции маляров всегда было немного, и они далеко не так отважны, как русские. Человек везде ценит свою жизнь во столько, сколько она стоит.

Представьте себе сотни пауков, что, повиснув на клочке разодранной бурей паутины, спешат починить ее с дивным проворством и усердием, — и вы получите представление о том, как работают маляры коротким северным летом на улицах Петербурга. Дома здесь четырехэтажные, не выше; они белого цвета и выглядят чистыми, но эта их внешность обманчива. Я знаю доподлинно, каковы они изнутри, и потому прохожу мимо блистающих фасадов с почтительным отвращением.

В провинции красят города, через которые должен проезжать император; что это — почесть, какую отдают государю, или желание обмануть его> скрыв нищету, в которой пребывает страна?

Русские по большей части издают неприятный запах, который ощущается даже издали. Люди светские пахнут мускусом, простонародье же — кислой капустой, луком и старыми смазными сапогами. Дух этот устойчив и неизменен.

Как вы можете заключить, те тридцать тысяч подданных, что 1 января приходят поздравить императора прямо во дворец, и те шесть-семь тысяч, что завтра будут вместе с нами толпиться в Петергофе, приветствуя свою императрицу, должны оставить отвратительную вонь.

До сих пор я ни разу не встречал на улице простолюдинки, которая бы показалась мне красивой; подавляющее же большинство их, по-моему, на удивление уродливы и до отвращения нечистоплотны. Странно подумать, что именно они — жены и матери мужчин с такими тонкими и правильными чертами, с греческим профилем, так изящно и гибко сложенных, как видишь это даже в низших классах русской нации. Нет ничего прекраснее русских стариков — и ничего ужаснее старух. Горожанки из среднего сословия мне почти не попадались. Одна из особенностей Петербурга состоит в том, что число женщин, сравнительно с числом мужчин, здесь меньше, нежели в столицах других стран; говорят, что они со-
837 ставляют едва треть от общего населения города.

Оттого, что они редки, им оказывают слишком много внимания; ни одна из них не рискнет находиться сколько-нибудь времени без провожатого на улице в малолюдных кварталах — столь торопливую готовность к услугам им выказывают. Подобная сдержанность кажется мне вполне оправданной в столице насквозь военизированной страны, населенной пристрастившимся к пьянству народом. Русские женщины вообще показываются на людях меньше, чем француженки; в недавнем еще прошлом они проводили всю жизнь взаперти, словно азиатки. И ста лет не прошло с тех пор, как русские держали их под замком. Подобная скрытность русских, память о которой не изгладилась и поныне, заставляет, наряду с множеством иных обычаев, вспоминать о корнях этого народа; из-за нее петербургские празднества и улицы становятся еще тоскливее. Самое

прекрасное, что видишь в этом городе, — это парады: вот насколько верны и справедливы мои слова о том, что всякий русский город, начиная со столицы, есть военный лагерь, чуть более упорядоченный и мирный, нежели походный бивуак.

В Петербурге мало кафе; публичные балы в пределах города не дозволены; на гулянья жители ходят редко, а если и ходят, то принимают удручающе важный вид.

Люди здесь серьезны от страха, но страх же делает их и весьма учтивыми. Я никогда не видел, чтобы множество людей, причем из всех классов общества, так уважительно обходились друг с другом. Кучер с облучка дрожек неизменно приветствует своего товарища, а тот, проезжая мимо, не преминет ответить поклоном на поклон; грузчик приветствует маляра, и все остальные ведут себя так же. Шляпа и палка — крайне значимые в России предметы. Учтивость эта, быть может, наигранна, мне она по крайней мере кажется принужденной; и все ж даже одна только видимость любезности служит к услаждению жизни. Какой же притягательности должна быть исполнена учтивость истинная, идущая от сердца, если лживая учтивость имеет столько преимуществ?

Для путешественника, который верит чужим словам и в то же время не лишен характера, пребывание в Петербурге во всех отношениях приятно. Но характер нужно иметь твердый, иначе невозможно запретить себе бывать на празднествах и отказаться от обедов — а они сущее бедствие русского общества, да и, можно сказать, любого общества, куда допущены иностранцы и откуда, следственно, исключена душевная близость.

Будучи здесь, я очень редко принимал приглашения от частных лиц — любопытство мое привлекали прежде всего придворные торжества; но на них я уже насмотрелся: чудесами, не трогающими сердце, скоро пресыщаешься. Лишь влюбленный может смириться и последовать за любимой женщиной во дворец — пусть и проклиная судьбу, что связывает его с обществом, движимым единственно честолюбием, страхом и тщеславием. Напрасно говорят, что высший свет всюду одинаков; в нынешней России придворные интриги занимают в жизни отдельного человека большее место, чем в любой другой европейской стране.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Празднество в Петергофе. — Народ во дворце своего повелителя. — Что такое в действительности это проявление народной любви. — Одновременное присутствие Азии и Европы. — Притягательность личности императора. — Для чего императрица Екатерина учреждала в России школы. — Тщеславие русских. — Сможет ли император от него излечить? — Ложная цивилизованность. — План императора Николая. — Россия, какой ее показывают иностранцам, и Россия, как она есть. — Воспоминание о поездке императрицы Екатерины в Крым. — Что думают русские о чужеземных дипломатах. — Русское гостеприимство. — Суть вещей. — Скрытность никуда не исчезла. — Иностранцы — соучастники русских. — Что означает всеобщая любовь к русским императорам. — Из кого состоит толпа у допущенная во дворец. — Дети священников. — Мелкое дворянство. — Смертная казнь. — Каким образом ее отменили. — Унылые лица. — Причины, по каким путешественник должен побывать в России. — Разочарования. — Условия жизни человека в России. — Сам император достоин жалости. — Каково вознаграждение за эти тяготы. — Гнет. — Сибирь. — Как должен вести себя чужестранец, чтобы встретить у русских благожелательный прием. — Язвительный русский ум. — Политические воззрения русских. — Опасность, какой подвергается иностранец в России. — Честность мужика, русского крестьянина. — Часы сардинского посла. — Другие кражи. — Как управлять людьми. — Громадная ошибка. — Газета «Журналь де Деба»; почему император ее читает. — Отступление. — Политика императора. — Политика газеты. — Красота ландшафта в Петергофе. — Парк. — Разные углы обзора. — Усилия искусства. — Иллюминации. — Феерия. — Кареты и пешеходы, их число. — Бивуак горожан. — Количество лампионов. — Время, потребное, чтобы их зажечь. — Толпа разбивает лагерь вокруг Петергофа. — Ограды для экипажей. — Истинное достоинство русского народа. — Английский замок. — Как обходятся с дипломатическим корпусом и приглашенными иностранцами. — Где я ночую. — Складная кровать. — Военные бивуаки. — Молчаливость толпы. — Ей недостает веселья. — Принужденный порядок во всем. — Бал. — Апартаменты. — Как император бороздит толпу. — Облик его. — Полонезы. — Иллюминация на кораблях. — Буря. — Несчастные случаи на море во время празднества. — Тайна. — Цена жизни при деспотизме. — Грустные предзнаменования. — Шифр императрицы гаснет. — Во что обходится одному храбрецу желание снова

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

его зажечь. — Распорядок дня императрицы. — Участие в развлечениях неизбежно. — Печальные дни рождения. — Прогулка в линейках. — Описание этой кареты. — Встреча в линейке с одной русской дамой. — Беседа с нею. — Великолепие ночной прогулки. — Озеро Марли. — Воспоминания о Версале. — Дом Петра Великого. — Освещенные гроты и каскады. — Толпа расходится после праздника. — Картина отступления под Москвой. — Император делает смотр кадетскому корпусу. — И снова при дворе. — Что нужно, чтобы вынести подобную жизнь. — Торжество одного кадета. — Эволюции черкесских солдат.

Петергоф, 23 июля 1839 года

Праздник в Петергофе нужно рассматривать с двух разных точек зрения — материальной и нравственной; одно и то же зрелище, если исследовать его в этих двух аспектах, производит различное впечатление.

Я не встречал ничего прекраснее для взора и печальнее для мысли, чем это якобы национальное собрание царедворцев и землепашцев, которые в самом деле собираются в одних и тех же салонах, но не сближаются душевно. Мне это не нравится с точки зрения общественной, ибо я полагаю, что император ради фальшивого блеска своей популярности принижает людей благородных, не возвышая при этом простых. Все люди равны перед Богом, но для русского человека Бог — это его повелитель; сей высший повелитель вознесся столь высоко над землей, что не замечает дистанции между рабом и господином; с тех вершин, где обретается его величие, ничтожные оттенки, какими различаются представители рода человеческого, ускользают от божественных взоров. Так неровности, какими вздыблена поверхность земного шара, изгладились бы в глазах обитателя солнца.

Когда император распахивает, по видимости свободно, двери своего дворца для привилегированных крестьян и избранных горожан, оказывая им честь и допуская к себе засвидетельствовать почтение дважды в году, он не говорит пахарю или торговцу: «Ты такой же, как я», но дает понять вельможе: «Ты такой 838
же раб, как они; а я, ваш бог, равно недосягаем для всех вас». Если оставить в стороне политические домыслы, то моральный смысл празднества именно таков, и именно это портит мне удовольствие от его созерцания. Больше того, я приметил, что повелителю и рабам оно нравится гораздо больше, чем настоящим придворным.

Искать подобия всенародной любви в равенстве других — игра жестокая; эта забава деспота могла бы ослепить людей в иные эпохи истории, но народы, достигнувшие возраста опыта и рассудительности, уже не обманутся ею. Император Николай не первый прибегнул к подобному плутовству; но раз не он изобрел это политическое ребячество, он мог бы, к вящей чести своей, и отменить его. Правда, в России ничего нельзя отменять безнаказанно: народы, которым недостает узаконенных прав, ищут опоры только в привычках. Упорная приверженность обычаю, хранимому с помощью бунта и яда, — один из столпов здешней конституции, и периодическая смерть государей служит для русских доказательством тому, что эта *конституция* умеет заставить себя уважать. Каким 838

образом подобный механизм поддерживается в равновесии — для меня глубокая и мучительная тайна.

Как декорация, как живописное смешение людей разного звания, как смотр великолепных и необыкновенных костюмов праздник в Петергофе выше всяких похвал. Все, что я о нем читал, все, что мне рассказывали, не могло дать мне представления о подобной феерии: воображение оказалось не в силах сравниться с реальностью.

Представьте себе дворец, возведенный на насыпной площадке, которая в стране необозримых равнин, плоской настолько, что с возвышения в шестьдесят футов вы наслаждаетесь зрелищем бескрайнего горизонта, кажется высокой, как настоящая гора; у подножия этого внушительного сооружения начинается обширный парк и тянется до самого моря; там, на горизонте, вы замечаете строй военных кораблей — в праздничный вечер на них должна зажечься иллюминация; это какое-то волшебство: от боскетов и террас дворца вплоть до волн Финского залива загорается, блещет и угасает, подобно пожару, огонь. В парке благодаря лампионам светло как днем. Вы видите деревья, по-разному освещенные множеством солнц всех цветов радуги; фонари в этих садах Армиды исчисляются не тысячами и не десятками тысяч, счет идет на сотни тысяч, и всем этим вы любуетесь из окон дворца, который захвачен народом — столь почтительным, словно он всю жизнь провел при дворе.

838

И все же в этой толпе, где все звания должны были бы сравняться, всякий класс являет себя отдельно, не смешиваясь с другими. Хоть деспотизм и предпринял несколько атак на аристократию, в России по-прежнему существуют касты.

Здесь лишний раз проявляется сходство с Востоком и здесь же заложено не последнее из разительных противоречий общественного устройства, какое возникло из нравов народа в сочетании с принятым в стране способом правления. На празднике императрицы, истинной вакханалии абсолютной власти, открылся мне за видимым беспорядком бала тот же порядок, который царит в государстве. Я встречал все тех же торговцев, солдат, землепашцев, придворных, и все они разнились друг от друга костюмом: одежда, не указывающая на положение человека, равно как и человек, чья ценность в личных заслугах, были бы тут отклонениями от нормы, европейскими выдумками, какие вывезли из-за границы беспокойные поклонники новизны и неосторожные путешественники. Не забывайте, мы находимся у пределов Азии — в моих глазах русский, облаченный во фрак, выглядит иностранцем, хоть он и у себя дома.

Россия расположена на границе двух континентов, и то, что пришло сюда из Европы, по природе своей не может до конца слиться с тем, что было привнесено из Азии. До сих пор здешнее общество приобщалось к культуре лишь насильно, страдая от несходства двух одновременно присутствующих в нем, но попрежнему весьма различных цивилизаций; в этом для путешественника — источник наблюдений если не утешительных, то любопытных.

На балу царит столпотворение; он якобы маскированный, поскольку мужчины носят под мышкой шелковый лоскут, окрещенный венецианским плащом, каковой потешно развевается поверх мундиров. Залы старого дворца, полные

людей, являют собою океан напомаженных голов, над которым высится благородная голова императора: стать его, голос и воля как бы парят над покорным ему народом. Вид этого монарха — свидетельство тому, что он достоин и способен повелевать умами подданных — точно так же, как превосходит он ростом их тела; его личность обладает какой-то притягательной силой; в Петергофе — равно как на параде, на войне, в любой точке империи и во всякую минуту его жизни — вы видите перед собою человека царственного.

Эта непрерывная царственность, которой все непрерывно поклоняются, была бы настоящей комедией, когда бы от этого всечасного представления не зависело существование шестидесяти миллионов человек, живущих потому только, что данный человек, на которого вы глядите и который держится как император, дозволяет им дышать и диктует, как должны они воспользоваться его дозволением; это не что иное, как божественное право в применении к механизму общественной жизни; такова серьезная сторона представления, и из нее проистекают вещи настолько важные, что страх перед ними заглушает желание смеяться.

Сегодня нет на земле другого человека, наделенного подобной властью и пользующегося ею, — нет ни в Турции, ни даже в Китае. Вообразите себе сноровку наших испытанных веками правительств, поставленную на службу еще молодому, хищному обществу; западные правила управления со всем их современным опытом, оказывающие помощь восточному деспотизму; европейскую дисциплину, поддерживающую азиатскую тиранию; внешнюю цивилизованность, направленную на то, чтобы тщательно скрыть варварство и тем продлить его, вместо того чтобы искоренить; узаконенную грубость и жестокость; тактику европейских армий, служащую к укреплению политики восточного двора; представьте себе полудикий народ, который построили в полки, не дав ни образования, ни воспитания, и вы поймете, каково моральное и общественное состояние русского народа.

Как воспользоваться административными успехами европейских наций, чтобы править шестьюдесятью миллионами человек на восточный лад, — вот задача, которую пытаются решить люди, стоящие во главе России, начиная с Петра I.

Царствования Екатерины Великой и Александра лишь продлили вечное детство этой нации, которая и по сей день существует лишь на словах.

Екатерина открывала школы, дабы удовольствовать свое тщеславие, алкавшее похвал французских философов. Однажды московский губернатор, один из ее прежних фаворитов, награжденный за услуги пышной ссылкой в старинную столицу империи, написал ей, что никто не отдает детей в школы; императрица отвечала в таких примерно словах: 838

«Дорогой князь, не надо жаловаться, что у русских нет желания учиться; школы я учреждаю не для нас, а для Европы, ВО МНЕНИИ КОТОРОЙ НАМ НАДОБНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПРИСТОЙНО; в тот день, когда крестьяне наши возжаждут просвещения, ни вы, ни я не удержимся на своих местах».

Письмо это читал человек, достойный всяческого доверия; скорее всего, императрица пребывала в забытьи, когда писала его, но именно из-за подобных

приступов рассеянности она и слыла столь любезной и оказывала столь мощное влияние на умы людей с воображением.

Русские, следуя обычной своей тактике, станут отрицать достоверность этого анекдота; за точность слов я не ручаюсь, но могу утверждать, что в них выражена подлинная мысль государыни. Для вас и для меня довольно будет и этого.

Черточка эта поможет вам понять тот дух тщеславия, какой мучает русских и извращает в самом источнике установленную над ними власть.

Это злосчастное мнение Европы — призрак, преследующий русских в тайниках их мыслей; из-за него цивилизация сводится для них к какому-то более или менее ловко исполненному фокусу.

Нынешний император со своим здравым смыслом и светлым умом заметил этот подводный камень, но удастся ли ему обойти его? Надобно обладать большей силой, нежели Петр Великий, дабы исправить зло, какое причинил первый растлитель русских.

Теперь сделать это вдвойне трудно: разум крестьянина, по-прежнему грубый и варварский, противится культуре, но по привычке и по складу характера он повинуется узде; в то же время ложно-изысканный образ жизни вельмож никак не вяжется с национальным духом, на который нужно было бы опереться, дабы возвысить народ; — как все запутано! кто развяжет сей новый гордиев узел?. .

Я восхищаюсь императором Николаем: задачу, какую возложил он на себя, может исполнить только человек гениальный. Он заметил болезнь, смутно угадал лекарство от нее и изо всех сил старается начать лечение; просвещение и воля — вот что создает великих государей.

Но довольно ли срока одного царствования, чтобы вылечить болезни, возникшие полтора столетия назад?Зло пустило столь прочные корни, что маломальски внимательному иностранцу оно сразу бросается в глаза, — притом что Россия такая страна, где все стремятся обмануть путешественника.

Известно ли вам, что значит путешествовать по России? Для ума поверхностного это означает питаться иллюзиями; но для всякого, чьи глаза открыты и кто наделен хотя бы малейшей наблюдательностью в сочетании с независимым нравом, путешествие — это постоянная и упорная работа, тяжкое усилие, совершаемое для того, чтобы в любых обстоятельствах уметь различить в людской толпе две противоборствующие нации. Две эти нации — Россия, как она есть, и Россия, какой ее желают представить перед Европой.

Император менее чем кто-либо застрахован от опасности оказаться в ловушке иллюзий. Вспомните поездку Екатерины в Херсон — она пересекала безлюдные пустыни, но в полумиле от дороги, по которой она ехала, для нее возводили ряды деревень; она же, не удосужившись заглянуть за кулисы этого театра, где тиран играл роль простака, сочла южные провинции заселенными, тогда как они по-прежнему оставались бесплодны не столько из-за суровости природы, сколько, в гораздо большей мере, по причине гнета, отличавшего правление Екатерины. Благодаря хитроумию людей, на которых возложены императором детали управления, русский государь и поныне

не застрахован от подобного рода заблуждений. Так что случай этот частенько приходит мне на память.

Здешнее правительство с его византийским духом, да и вся Россия всегда воспринимали дипломатический корпус и западных людей вообще как недоброжелательных и ревнивых шпионов. Между русскими и китайцами есть то сходство, что и те и другие вечно полагают, будто чужестранцы им завидуют; они судят о нас по себе.

Оттого столь хваленое московское гостеприимство выродилось в целое искусство и превратилось в весьма тонкую политику; искусство это состоит в том, чтобы удовольствовать гостя с наименьшими затратами искренности. Из путешественников лучше всего относятся к тем, кто дольше и с наибольшим добродушием позволяет водить себя за нос. Учтивость здесь — всего лишь искусство прятать друг от друга двойной страх: страх, который испытывают, и страх, который внушают сами. Под всякой оболочкой приоткрывается мне лицемерное насилие, худшее, чем тирания Батыя, от которой современная Россия ушла совсем не так далеко, как нам хотят представить. Повсюду я слышу язык философии и повсюду вижу никуда не исчезнувший гнет. Мне говорят: «Нам бы очень хотелось обойтись без произвола, тогда мы были бы богаче и сильней; но ведь мы имеем дело с азиатскими народами». А про себя в то же время думают: «Нам бы очень хотелось избавить себя от разговоров про либерализм и филантропию, мы были бы счастливей и сильней; но ведь нам приходится общаться с европейскими правительствами».

Нужно сказать, что русские всех до единого сословий в чудесном согласии споспешествуют торжеству у себя в стране подобной двуличности. Они способны искусно лгать и естественно лицемерить, причем так успешно, что это равно возмущает мою искренность и приводит меня в ужас. Здесь мне ненавистно все, чем я восхищаюсь в других местах, ибо цена этим восхитительным вещам, на мой взгляд, слишком высока: порядок, терпеливость, покой, изысканность, вежливость, почтительность, естественные и нравственные связи, какие должны устанавливаться между создателем замысла и исполнителем его, — в общем, все, в чем состоит ценность и привлекательность правильно устроенного общества, все, что придает некий смысл и цель политическим установлениям, здесь сливается в одно-единственное чувство — страх. Страх в России замещает, то есть парализует, мысль; из власти одного этого чувства может родиться лишь видимость цивилизации; да простят меня близорукие законодатели, но страх никогда не станет душой правильно устроенного общества, это не порядок, это завеса, прикрывающая хаос, и ничего больше; там, где нет свободы, нет ни души, ни истины. Россия — это безжизненное тело, колосс, который существует за счет головы, но все члены которого изнемогают, равно лишенные силы!.. Отсюда — какое-то глубинное беспокойство, неизъяснимое недомогание русских, причем у них, в отличие от новых французских революционеров, недомогание это происходит не от смутности идей, не от заблуждений, не от скуки материального процветания или рожденных конкуренцией приступов ревности; в нем выражает себя неподдельное страдание, оно — признак органической болезни.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

839 В России, по-моему, люди обделены подлинным счастьем больше, чем в любой другой части света. Мы у себя дома несчастны, однако чувствуем, что наше счастье зависит от нас самих; у русских же оно невозможно вовсе. Вообразите бурление республиканских страстей (ибо, повторяю еще раз, при российском императоре царит мнимое равенство) в тиши деспотизма — устрашающее сочетание, особенно в свете того будущего, какое оно предрекает миру. Россия — плотно закупоренный котел с кипящей водой, причем стоит он на огне, который разгорается все жарче; я боюсь, как бы он не взорвался; и тревога моя лишь возрастает оттого, что император сам не раз переживал подобный страх за время своего царствования, полного трудов, — трудов и военных, и мирных, ибо империи в наши дни подобны машинам, которые портятся, если их остановить. Осмотрительность парализует их, бездействие переполняет тревогой.

Итак, народные празднества задаются той самой головой без тела, государем без народа. По-моему, прежде чем принимать изъявления всенародной любви, следовало бы создать сам народ.

Страна эта, говоря по правде, отлично подходит для всякого рода надувательств; рабы есть и в других странах, но, чтобы найти столько рабов-придворных, надо побывать в России. Не знаешь, чему дивиться больше, — то ли безрассудству, то ли лицемерию, которые царят в этой империи; Екатерина II жива,
839 ибо, невзирая на весьма открытый нрав ее внука, Россией по-прежнему правят с помощью скрытности и притворства... В этой стране признать тиранию уже было бы прогрессом.

Иностранцы, что описывали Россию, в этом вопросе, как и в большинстве прочих, обманывают весь свет заодно с русскими. Возможно ли проявить снисходительность более коварную, чем у большинства подобных сочинителей, сбежавшихся сюда со всех концов Европы, дабы умилиться трогательной близости, что царит между российским императором и его народом? Неужели столь сильно обаяние деспотизма, что и люди просто любопытствующие покоряются ему? Либо страну эту живописали до сих пор лишь те, кто по положению своему, по складу характера не мог быть независимым, либо же самые искренние умы, едва оказавшись в России, утрачивают свободу суждений.

Что до меня, то меня спасает от этого воздействия отвращение, какое внушает мне все показное.

Я ненавижу только одно зло, и ненавижу потому, что считаю: оно порождает и предполагает все прочие виды зла; это зло — ложь. Поэтому я стараюсь разоблачать его повсюду, где встречаю; именно ужас перед неискренностью поддерживает во мне желание и мужество описывать это путешествие; я предпринял его из любопытства, поведаю же о нем из чувства долга.

Страсть к истине — муза, заменяющая мне силу, молодость, просвещенность. Чувство это заходит так далеко, что заставляет меня любить время, в которое мы живем; пускай наше столетие отчасти грубовато, но оно по крайней мере откровенней, чем предыдущее; его отличительная черта — доходящее иногда до ненависти неприятие всего напускного; и я эту брезгливость разделяю. Отвращение к лицемерию для меня — факел, с помощью которого я ищу верный путь

в лабиринте мира; все, кто так или иначе обманывает людей, представляются мне отравителями, причем самые высокопоставленные, самые могущественные — виновнее всех. Когда лжет слово, книга, поступок, я их ненавижу; когда, как в России, лжет молчание, я проникаю в его смысл. Пусть это послужит ему наказанием.

Вот что помешало вчера моему уму наслаждаться зрелищем, которым невольно восхищался мой взор; пусть зрелище это не было трогательным, как мне старались его представить, но оно было пышным, великолепным, неповторимым и необычным; однако стоило мне подумать, что передо мною — обман, как оно утратило в моих глазах всякую привлекательность. В России еще не ведают страсти к истине, что владеет ныне сердцами французов.

Да и что такое, в конце концов, эта толпа, которую окрестили народом и которую Европа почитает своим долгом простодушно расхваливать за ее почтительную короткость в обращении к своим государям? Не обольщайтесь — это рабы рабов. Знать посылает чествовать императрицу специально отобранных крестьян, и о них говорят, будто они оказались тут случайно; сей цвет крепостных допускается во дворец и имеет честь представлять народ, которого не существует вне дворцовых стен; они смешиваются в толпе с придворной челядью; еще в этот день ко двору допускаются купцы, известные своим добрым именем и верноподданностью, ибо несколько бород необходимы, чтобы доставить удовольствие любителям русской старины. Вот что такое этот народ, чьи отменные чувства российские правители со времен императрицы Елизаветы ставят в пример другим народам! Кажется, именно в ее царствование было положено начало такого рода празднествам; император Николай, при всем его железном характере, удивительной прямоте намерений и при всей власти, какую обеспечивают ему общественные и личные добродетели, сегодня не сумел бы, наверное, уничтожить этот обычай. Значит, верно, что, каким бы абсолютным ни казался способ правления, людям не под силу одолеть ход вещей. Деспотизм выказывает себя открыто и независимо лишь по временам — когда у власти оказываются безумцы или тираны.

Ничего нет опаснее для человека, сколь бы высоко он ни стоял над остальными, чем сказать нации: «Тебя обманули, и я больше не желаю быть пособником твоего заблуждения». Низкий люд больше держится лжи, даже такой, какая идет ему во вред, нежели истины, ибо гордыня человеческая все, что исходит от человека, предпочитает исходящему от Бога. Это справедливо при любом способе правления, но при деспотизме справедливо вдвойне.

Та независимость, какой пользуются *мужики* в Петергофе, никого не тревожит. Именно такая свобода, именно такое равенство и нужны деспоту! Их можно восхвалять безбоязненно — но попробуйте посоветовать отменить постепенно в России крепостное право, и вы увидите, что с вами сделают и что скажут о вас в этой стране.

Вчера от всех придворных, оказывавшихся подле меня, я слышал похвалы учтивому обращению крепостных. «Попробуйте устроить подобный праздник во Франции», — говорили они. Меня так и подмывало ответить: «Прежде чем сравнивать наши два народа, подождите, пока ваш появится на свет».

839 Одновременно мне на память приходил праздник, который я сам устроил в Севилье для простых людей; притом что было это при деспотическом правлении Фердинанда VII, истинная учтивость простонародья, свободного если не по закону, то по существу, доставила мне предмет для сравнения не в пользу русских.[1]

Россия — империя каталогов; она замечательна, если читать ее как собрание этикеток; но бойтесь заглянуть дальше заголовков! Если вы откроете книгу, то не найдете ничего из обещанного: все главы в ней обозначены, но каждую еще предстоит написать. Сколько здешних лесов — всего лишь топи, где вы не нарежете и вязанки хворосту!.. Все расположенные в удалении полки — только пустые рамки, в них нет ни одного человека; города и дороги только замышляются; сама нация доселе — всего лишь афишка, наклейка для Европы, обманутой неосторожной дипломатической выдумкой.[2] Я не нашел здесь подлинной жизни ни в ком, кроме императора, и естественности нигде, кроме как при дворе.

Торговцы, из которых составится когда-нибудь средний класс, столь немногочисленны, что не могут заявить о себе в этом государстве; к тому же почти все они чужестранцы. Писателей насчитывается по одному-два в каждом поколении, и столько же живописцев, которых за немногочисленность их весьма почитают — благодаря ей им обеспечен личный успех, но она же не позволяет им оказывать влияние на общество. В стране, где нет правосудия, нет и адвокатов; откуда же взяться там среднему классу, который составляет силу любого государства и без которого народ — не более чем стадо, ведомое дрессированными сторожевыми псами?

Я не упомянул одной категории людей, которых не следует числить ни среди знати, ни среди простонародья, — это сыновья священников; почти все они становятся мелкими чиновниками, и этот канцелярский люд — главная язва России:[3] они образуют нечто вроде захудалого дворянства, до крайности враждебного высшей знати, — дворянства, чей дух антиаристократичен в прямом политическом значении этого слова, но которое оттого нисколько не менее обременительно для крепостных; именно эти неудобные для государства люди, плоды схизмы, разрешившей священнику жениться, и начнут грядущую революцию в России.

Ряды этого «низшего» дворянства равным образом пополняют столоначальники, артисты, разного рода чиновники, прибывшие из-за границы, и их дети, пожалованные дворянством; можете ли вы усмотреть во всем этом какие-либо зачатки истинного русского народа, достойного и способного оправдать, оценить по заслугам народолюбие государя?

---

[1] См. «Испанию при Фердинанде VII».

[2] Автор не вычеркивает сию вспышку раздражения, дабы читатель сам оценил ее уместность. Дурное настроение, усилившееся из-за картины показного, невозможного слияния с народом, толкнуло его на бунт против лжи, тем более опасной, что и светлые умы оказались в ее власти.

[3] См. далее письмо тридцать первое, писанное в Ярославле.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Еще раз повторю: в России разочаровываешься во всем, и изящно-непринужденное обращение царя, принимающего у себя во дворце собственных крепостных и крепостных своих придворных, — еще одна насмешка, не более.

Смертная казнь в этой стране отменена для всех преступлений, кроме государственной измены; однако ж есть преступники, которых власти хотят убить. И вот, чтобы примирить мягкость законоуложения и традиционно свирепые нравы, здесь поступают так: когда преступник приговорен к сотне и больше ударов кнута, палач, зная, что означает подобный приговор, третьим ударом из человеколюбия убивает несчастного. Но зато смертная казнь отменена!..[1] Разве обманывать таким образом закон не хуже, нежели провозгласить самую дерзкую тиранию? 839

Тщетно искал я среди шести-семи тысяч представителей сей фальшивой русской нации, что толпились вчера вечером во дворце в Петергофе, хотя бы одно веселое лицо; когда лгут, не смеются.

Вы можете верить тому, что я говорю о результате абсолютистского способа правления: ведь я прибыл изучать эту страну в надежде найти здесь лекарство против болезней, которые грозят нам самим. Если вам кажется, что суждения мои о России слишком суровы, вините в этом только впечатления, какие я невольно получаю каждый день от людей и вещей и какие получал бы на моем месте любой друг человечества, если бы попытался, как я, заглянуть по другую сторону того, что ему показывают.

Империя эта при всей своей необъятности — не что иное, как тюрьма, ключ от которой в руках у императора; такое государство живо только победами и завоеваниями, а в мирное время ничто не может сравниться со злосчастьем его подданных — разве только злосчастье государя. Жизнь тюремщика всегда представлялась мне столь похожей на жизнь узника, что я не устаю восхищаться прельстительной силой воображения, благодаря которой один из этих двоих почитает себя несравненно меньше достойным жалости, чем другой.

Человеку здесь неведомы ни подлинные общественные утехи просвещенных умов, ни безраздельная и грубая свобода дикаря, ни независимость в поступках, свойственная полудикарю, варвару; я не вижу иного вознаграждения за несчастье родиться при подобном режиме, кроме мечтательной гордыни и надежды господствовать над другими: всякий раз, как мне хочется постигнуть нравственную жизнь людей, обитающих в России, я снова и снова возвращаюсь к этой страсти. Русский человек думает и живет, как солдат!.. Как солдат-завоеватель.

Настоящий солдат, в какой бы стране он ни жил, никогда не бывает гражданином, а здесь он гражданин меньше, чем где бы то ни было, — он заключенный, что приговорен пожизненно сторожить других заключенных.

Обратите внимание, что в русском слово «тюрьма» означает нечто большее, чем в других языках. Дрожь пробирает, как подумаешь обо всех тех жутких подземельях, которые в стране этой, где всякий с рождения учится не болтать лишнего,

[1] См. брошюру г. Толстого, озаглавленную «Взгляд на российское законодательство», и т. д. 839

скрыты от нашего сочувствия за стеной вымуштрованного молчания. Нужно приехать сюда, чтобы возненавидеть скрытность; в подобной осмотрительности обнаруживает себя тайная тирания, образ которой повсюду встает передо мною. Здесь каждое движение лица, каждая недомолвка, каждый изгиб голоса предупреждает меня: доверчивость и естественность опасны.

Все, вплоть до внешнего вида домов, обращает мысль мою к мучительным условиям человеческого существования в этой стране.

Когда, перешагнув порог дворца, жилища какого-нибудь знатного вельможи, я вижу, что за его роскошью, никого не способной обмануть, везде проступает плохо скрытая отвратительная грязь; когда я, так сказать, чую паразитов даже и под самой ослепительно-пышной крышей, я не говорю себе: вот недостатки, а значит, вот и искренность!.. — нет, я иду дальше и, не останавливаясь на том, что поражает мои органы чувств, немедля воображаю себе весь тот мусор, каким, должно быть, загажены тюремные камеры в этой стране, где богачи не умеют содержать в чистоте даже самих себя; страдая от сырости в своей комнате, думаю я о несчастных, что погребены в сырости подводных узилищ в Кронштадте, в Петербургской крепости и во множестве иных политических могил, неведомых мне даже по названию; изможденный цвет лица солдат, проходящих мимо по улице, живо рисует мне воровство чиновников, которые обязаны снабжать армию продовольствием; мошенничество этих предателей, уполномоченных императором кормить его гвардию, каковую они объедают, читается в свинцовых чертах и на синюшных лицах несчастных, что лишены здоровой и даже просто достаточной пищи по вине людей, которые думают лишь о том, как бы побыстрей разбогатеть, и не боятся ни опозорить правительство, обкрадывая его, ни навлечь на себя проклятие построенных в шеренги рабов, убивая их; наконец, здесь на каждом шагу встает передо мною призрак Сибири, и я думаю обо всем, чему обозначением служит имя сей политической пустыни, сей юдоли невзгод, кладбища для живых; Сибирь — это мир немыслимых страданий, земля, населенная преступными негодяями и благородными героями, колония, без которой империя эта была бы неполной, как замок без подземелий.

Такие вот мрачные картины рождаются в моем воображении в те минуты, когда нам начинают расхваливать трогательную близость царя со своими подданными. Конечно же, я никоим образом не хочу позволить себя ослепить императорским народолюбием; напротив, я предпочитаю лишиться дружбы русских, но не утратить ту свободу мысли, какая позволяет мне судить об их хитростях и о приемах, что применяют они, дабы обмануть нас и обмануться самим; гнев их меня мало пугает, ибо я отдаю им должное и верю, что в глубине души они судят свою страну еще более сурово, чем я, ибо лучше меня ее знают. Вслух они станут браниться, а про себя отпустят мне грехи; с меня и довольно. Путешественник, всецело доверившийся местным жителям, мог бы проехать всю русскую империю из конца в конец и вернуться домой, не увидав ничего, кроме череды фасадов, — а именно это и требуется, как я погляжу, чтобы понравиться моим хозяевам; но для меня подобная цена за гостеприимство слишком высока; пусть лучше я обойдусь без похвал, чем утрачу истинный и единственный плод моего путешествия — опыт.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Стоит чужестранцу показать себя простодушным и деятельным, рано вставать и поздно ложиться спать, посещать все маневры и не пропускать ни единого бала, словом, вести такую бурную жизнь, которая не оставляет времени для размышлений, — и его будут всюду принимать радушно, к нему отнесутся благожелательно, его станут чествовать; всякий раз, как путешественнику скажет несколько слов или улыбнется император, толпа незнакомых людей примется пожимать ему руку, и по отъезде его провозгласят выдающимся человеком. Мне все кажется, что передо мною мольеровский мещанин во дворянстве, над которым издевается муфтий. Русские придумали отличное французское словцо, обозначающее их политическое гостеприимство; они говорят про иностранцев, которых морочат бесконечными празднествами: их нужно *enguirlander}* Но пусть остережется чужестранец показать, что усердие его и исполнительность идут на спад; при первом же признаке усталости или проницательности, при малейшей неосторожности, что выдавала бы даже не скуку, а саму способность скучать, он увидит, как восстает против него, подобно разъяренной змее, русский ум, самый колкий на свете.[2]

839

Насмешка — это бессильное утешение угнетенных; здесь в ней заключено удовольствие крестьянина, точно так же как в сарказме заключено изящество знатного человека; ирония и подражательство — вот единственные природные таланты, какие обнаружил я в русских. Отведав единожды яду их критики, чужестранцу уже никогда не оправиться; его пропустят сквозь злые языки, как дезертира сквозь строй; униженный, убитый горем, рухнет он в конце концов под ноги сборищу честолюбцев, безжалостней и жестокосердней которых нет на земле. Честолюбцы всегда рады погубить человека. «Удушим его на всякий случай, все одним меньше: ведь человек — это почти соперник, потому что мог бы таковым стать».

Чтобы сохранить какие-то иллюзии на счет восточного гостеприимства, принятого у русских, надо жить не при дворе. Здесь гостеприимство напоминает те старинные припевы, какие в народе распевают даже после того, как сама песня лишается для людей, повторяющих ее, всякого смысла; император задает этому припеву тон, а царедворцы хором подхватывают. Русские придворные производят на меня впечатление марионеток, подвешенных на чересчур толстых нитках.

Еще менее верится мне в честность *мужика.* Меня высокопарно уверяют, что он не украдет и цветка из сада своего царя: тут я не спорю, я знаю, каких чудес можно достигнуть с помощью страха; но я знаю и то, что сии образцовые придворные селяне не упустят случая обворовать своих соперников на один день, знатных господ, ежели те, излишне умилившись присутствием крестьян во дворце и положившись на чувство чести рабов, облагороженных государевой лаской, перестанут на миг следить за движениями их рук.

840

Вчера на императорском и народном балу, во дворце в Петергофе, у сардинского посла весьма ловко вытащили из кармашка часы: их не защитила и предохранительная цепочка. Множество людей лишились под шумок своих носовых

840

[1] Буквально: «увешать гирляндами». *(Прим. перев.)*

[2] См. в конце книги «Краткий отчет о путешествии».

платков и иных предметов. У меня самого пропал кошелек с несколькими дукатами, но я смирился с его потерей, посмеиваясь в душе над господами, что возносили хвалы честности своего народа. Господа эти отлично знают цену своим красивым словам; однако я вовсе не прочь узнать ее так же хорошо, как они сами.

Наблюдая столько бесполезных ухищрений, я ищу тех, кто принимал бы эти ребяческие обманы за чистую монету, и восклицаю вслед за Базилем: «Кто кого здесь проводит за нос? Все в заговоре!»

Что бы ни говорили и что бы ни делали русские, всякий искренний наблюдатель увидит в них всего лишь византийских греков, овладевших современной стратегической наукой под руководством пруссаков XVIII столетия и французов XlX-го.

Любовь русского народа к самодержавному правителю представляется мне столь же подозрительной, сколь и чистосердечие французов, проповедующих абсолютную демократию во имя свободы; кровавые софизмы!.. Покончить со свободой, проповедуя либерализм, значит убивать, ибо любое общество живо правдой; но и вести себя как патриархальный тиран — тоже значит быть убийцей!..

У меня есть одна навязчивая идея: я думаю, что людьми можно и должно управлять без обмана. Если в частной жизни ложь — низость, то в жизни общественной — преступление, причем преступление обязательно неуклюжее. Всякое правительство, если оно лжет, — более опасный заговорщик, чем убийца, которого оно обезглавливает по закону; и вопреки примеру, какой подают отдельные великие умы, испорченные веком остроумцев, преступление, то есть ложь, есть всегда величайшая ошибка: гений, отказавшись от правды, теряет свою власть; при этом происходит странная перемена ролей — именно господин унижает себя перед рабом, ибо обманщик стоит ниже обманутого. Это применимо и к управлению государством, и к литературе, и к религии.

Моя мысль о возможности заставить христианскую искренность служить политике не столь легковесна, как может показаться ловкачам, ибо ее придерживается и император Николай, а его ум самый практический и ясный, какой только бывает на свете. Не думаю, чтобы сыскался сегодня второй государь, который бы так ненавидел ложь и так редко лгал, как этот император.

Он сделался главным поборником монархической власти в Европе, и вы сами знаете, с какой открытостью он играет свою роль. В отличие от некоторых правительств, ему не свойственно проводить в каждой местности свою особую политику, в зависимости от сугубо корыстных интересов; напротив, он повсюду, не делая никаких различий, поддерживает те принципы, что согласуются с его системой взглядов: именно так проявляет он свой абсолютный роялизм. Разве таким образом выказывает Англия свой либерализм, конституционность и приверженность филантропии?

Каждый день император Николай прочитывает сам от первой до последней страницы одну-единственную французскую газету — «Журналь де Деба». Другие он просматривает, только если ему укажут на какую-нибудь интересную статью.

Цель лучших умов во Франции состоит в том, чтобы поддерживать существующую власть ради спасения общественного порядка; ту же мысль проводит

постоянно «Журналь де Деба» и отстаивает ее, являя такое превосходство разума, которое объясняет уважение к этому листку и в нашей стране, и во всей Европе.

Франция страдает болезнью века, и болеет сильнее, чем любая другая страна; болезнь эта — неприятие власти; стало быть, лекарство от нее в том, чтобы укреплять власть, — так думает император в Петербурге и «Журналь де Деба» в Париже.

Но поскольку сходны у них только цели, то, чем больше они, казалось бы, сближаются, тем сильнее враждуют; не так ли выбор средств разделяет зачастую умы, собравшиеся под одним знаменем? При встрече они союзники, при расставании — враги.

Законная власть, обретенная по праву наследования, кажется российскому императору единственным способом достичь своей цели; «Журналь де Деба» отчасти извращает привычный смысл старинного понятия «законная власть» K41 под тем предлогом, что существует иная, более надежная власть — плод выборов, основанных на подлинных интересах страны, — и тем самым во имя спасения общественных установлений возводит свой алтарь в противовес алтарю императора.

Борьба же двух этих законных властей, где одна слепа, как сама необходимость, а другая неуловима, словно страсть, порождает гнев тем более бурный, что у адвокатов обеих систем недостает решительных аргументов и они прибегают к одним и тем же понятиям, дабы прийти к прямо противоположным выводам.

Одно несомненно среди стольких неясностей: всякий, кто представит себе в общих чертах историю России, начиная от истоков империи и особенно с момента восхождения на престол династии Романовых, не может не прийти в изумление, глядя на государя, правящего ныне этой страной и выступающего в защиту монархической догмы законной власти по праву наследования, — в том смысле, какой придавался некогда словам «законная власть» в политической религии Франции, — тогда как оборотившись на себя и припомнив те насильственные методы, с помощью которых многие предки его передавали трон своим преемникам, он бы из самой логики событий постиг преимущество законной власти по «Журналь де Деба». Однако он повинуется своему убеждению, не оборачиваясь на себя.

Я нахожу удовольствие в отступлениях, вы это знаете с давних пор; я не люблю оставлять в стороне те мимолетные мысли, что возникают у меня по тому или иному поводу, — воображение мое влечется ко всему похожему на свободу, и подобного рода беспорядок притягивает его. Меня бы заставила исправиться только необходимость всякий раз извиняться или умножать риторические уловки, дабы внести разнообразие в переходы от одной темы к другой, — тогда труд перевесил бы удовольствие.

Местечко Петергоф — прекраснейшая картина природы, какую я доселе S4i наблюдал в России. Низкий скалистый берег нависает над морем, которое начинается прямо у оконечности парка, примерно на треть лье ниже дворца, возведенного на краю этого невысокого, почти отвесно обточенного природой обрыва; в этом месте устроены были великолепные наклонные спуски; вы сходите

с террасы на террасу и оказываетесь в парке, где взору вашему предстают величественные боскеты, весьма обширные и тенистые. Парк украшают водные струи и искусственные каскады в версальском вкусе; для сада, расчерченного
841 в манере Ленотра, он довольно живописен. Здесь есть несколько возвышений, несколько садовых построек, с которых открывается море, берега Финского залива, вдали — арсенал русского морского флота, остров Кронштадт со своими гранитными крепостными стенами вровень с водой, а еще дальше, правее, в девяти лье — Петербург, белый город, что кажется издалека веселым и блестящим, и под вечер, со своими теснящимися дворцами и крашеными крышами, своими островами, соборами в окружении побеленных колонн, рощами похожих на минареты колоколен, напоминает еловый лес, когда серебристые пирамиды его сияют в зареве пожара.

Отсюда видишь или по крайней мере угадываешь, как из центра этого леса, прорезанного рукавами реки, вытекают разные русла Невы, которая вблизи залива ветвится и впадает в море во всем величии большого речного потока, чье великолепное устье заставляет забыть, что длина его всего восемнадцать лье. И тут
841 одна видимость! Природа здесь, можно сказать, действует заодно с человеком, окружая ошеломленного путешественника иллюзиями. Пейзаж этот плоский, холодный, но весьма впечатляющий, и к унынию его проникаешься почтением.

Растительность не придает сколько-нибудь значительного разнообразия
842 ландшафтам Ингрии; в садах она совершенно искусственна, в сельской же местности это редкие купы берез тоскливо-зеленого цвета и аллеи тех же деревьев, что насажены вместо границ между болотистыми лугами, лесами с чахлыми и узловатыми деревьями и пашней, не родящей пшеницу, — ибо что же может уродиться на шестидесятом градусе широты?

Когда я думаю, сколько препятствий пришлось одолеть человеку, чтобы создать здесь общество, возвести город, сделать это, как говорили Екатерине, медвежье и волчье логово обиталищем не одного государя и содержать их здесь с пышностью, подобающей тщеславию великих правителей и великих народов, то любой латук и любая роза вызывает у меня желание воскликнуть: «О, чудо!» Если Петербург — это раскрашенная Лапландия, то Петергоф — дворец Армиды под стеклянным колпаком. Когда взору моему предстает столько роскоши, изящества и блеска, а при этом я вспоминаю, что несколькими градусами севернее год состоит из одного дня, одной ночи и пары сумерек, каждые в три месяца длиною, я перестаю верить, что нахожусь под открытым небом. И вот тут-то я не могу не приходить в восхищение!!

Торжеством человеческой воли я восхищаюсь всюду, где вижу его, — что отнюдь не ставит меня перед необходимостью восхищаться слишком часто.

По императорскому парку в Петергофе можно проехать в карете целое лье и не попасть дважды в одну и ту же аллею; и вот представьте себе этот парк, весь залитый огнями. Здесь, в стране льдов, лишенной естественного света, иллюминации являют собою настоящее зарево пожара; можно подумать, будто ночь должна вознаградить людей за дневной сумрак. Деревья исчезают в убранстве бриллиантов; лампионов в каждой аллее столько же, сколько листьев: это Азия, только

не реальная, современная Азия, а сказочный Багдад из «Тысячи и одной ночи» или еще более сказочный Вавилон Семирамиды.

Говорят, в день чествования императрицы из Петербурга отправляются шесть тысяч экипажей, тридцать тысяч пешеходов и бессчетное количество лодок, и все эти полчища по прибытии в Петергоф встают вокруг него лагерем. В этот день и в этом месте я единственный раз видел в России толпу. Гражданский бивуак в военной стране — одна из достопримечательностей. Это не значит, что на празднестве не было армии: вокруг местопребывания государя и государыни расквартирована также часть гвардии и кадетский корпус; и все эти люди — офицеры, солдаты, торговцы, крепостные, господа, знать, вместе бродят по рощам, откуда двести пятьдесят тысяч лампионов изгнали ночную тьму.

Мне назвали именно эту цифру, ее я вам и повторяю наугад, ибо, по мне, что двести тысяч, что два миллиона — все едино; глазомера у меня нет, и я знаю только одно: естественное освещение северного дня меркнет перед искусственным светом, который излучает это огненное море. В России император затмевает солнце. В эту летнюю пору ночи снова вступают в свои права, они быстро удлиняются, и вчера, не будь иллюминации, под сводами широких аллей петергофского парка на несколько часов воцарилась бы полная темнота.

Еще говорят, что все лампионы в парке зажигают за тридцать пять минут тысяча восемьсот человек; та часть иллюминации, какая обращена к замку, загорается за пять минут. Она среди прочего охватывает и канал, расположенный напротив центрального балкона дворца и уходящий далеко в парк, по прямой, в направлении моря. Эта перспектива поистине завораживает: водная гладь обрамлена столькими фонарями и отражает столь яркий свет, что сама кажется 842
огненной. Быть может, у Ариосто достало бы блеска и воображения, дабы описать вам на языке волшебства подобные чудеса; все это дивное море света используется здесь со вкусом и выдумкой; разным группам лампионов, удачно разбросанным среди листвы, придана оригинальная форма: тут есть цветы величиною с дерево, солнца, вазы, беседки из виноградных лоз — копии итальянских *pergole*, обелиски, колонны, узорные, на мавританский манер, стены, — словом, у вас перед глазами проходит целый фантастический мир, но взор ваш ни на чем не задерживается, ибо чудеса сменяют друг друга с невероятной быстротой. От огненных крепостных укреплений отвлекают вас драпировки, кружева из драгоценных камней; все сверкает, все горит, все — пламя и брильянт; боишься, как бы это великолепное зрелище не оставило по себе, словно пожар, кучу пепла.

Но самое поразительное, что видно из дворца, это все же большой канал, похожий на застылую лаву в охваченном заревом лесу.

На противоположном конце канала установлена громадная пирамида цветных огней (высотою, я полагаю, футов в семьдесят), которую венчает шифр им- 842
ператрицы, сияющий ослепительно-белым светом и окруженный понизу красными, зелеными и синими лампами; он похож на брильянтовое перышко в обрамлении цветных драгоценных камней. Все это сделано с таким размахом, что вы перестаете верить собственным глазам. Вы скажете, что подобные эффекты — вещь невероятная для праздника, который справляется каждый год; то, что я вижу

перед собою, слишком огромно и потому нереально: это греза влюбленного великана, пересказанная безумным поэтом.

Есть на этом празднике нечто столь же чудесное, сколь и он сам, — это различные побочные сцены, которые он вызывает к жизни. Вся толпа, о которой я говорил, на протяжении двух-трех ночей стоит лагерем вокруг деревни, растекаясь по довольно значительному пространству. Многие женщины укладываются спать в своих каретах, крестьянки ночуют в повозках; экипажи эти сотнями стоят внутри дощатых оград и образуют походные лагеря, по которым весьма занятно пройтись, — они достойны кисти какого-нибудь остроумного живописца.

Импровизированные города-однодневки, какие сооружают русские по случаю праздника, гораздо более занятны и гораздо более национальны по духу, чем настоящие города, возведенные в России иностранцами. В Петергофе все: лошади, хозяева, кучера — ночуют вместе в деревянных загонах; такие бивуаки совершенно необходимы, ибо в деревне не так много сравнительно чистых домов, и комнаты в них стоят от двухсот до пятисот рублей за ночь; бумажный рубль соответствует двадцати трем французским су.

Тяжелое чувство, владеющее мною с тех пор, как я живу среди русских, усиливается еще и оттого, что во всем открывается мне истинное достоинство этого угнетенного народа. Когда я думаю о том, что мог бы он совершить, будь он свободен, и когда вижу, что совершает он ныне, я весь киплю от гнева.

Послы со своими семействами и свитой, равно как иностранцы, представленные ко двору, получают кров и приют за счет императора; для этих целей отведено обширное и очень милое квадратное здание, именуемое Английским дворцом. Расположено оно в четверти лье от императорского дворца, на окраине деревни, в прекрасном парке английской планировки, который столь живописен, что кажется естественным. Привлекательность этому саду придают обильные и красивые водоемы, а также холмистая местность, вещь редкая в окрестностях Петербурга. В этом году иностранцев оказалось более обыкновенного, и им
842 не хватило места в Английском дворце, каковой пришлось отвести для должностных лиц и особ, получивших официальное приглашение; так что ночевать в этом дворце мне не пришлось, но обедаю я там каждый день, вместе с дипломатическим корпусом и еще семью-восемью сотнями человек; стол во дворце отменный. Гостеприимство, без сомнения, поразительное!.. Если вы нашли себе пристанище в деревне, то для того, чтобы отправиться обедать за этим столом, во главе которого восседает один из высших военных чинов империи, надо закладывать лошадей и надевать мундир.

828 На ночь директор императорских театров предоставил мне в театральной зале Петергофа две актерские ложи, и этому моему жилью все завидуют. Я не знаю здесь недостатка ни в чем, разве только в кровати. По счастью, я захватил из Петербурга свою маленькую железную кровать. Для европейца, что путешествует по России и не желает обзаводиться привычкой спать на лавке или на лестнице, завернувшись в ковер, это предмет первой необходимости. Здесь возить с собою собственную кровать — дело такое же естественное, как в Испании носить

плащ!.. Солома в стране, где не родится зерно, редкость, и за недостатком ее я набиваю тюфяк сеном: его можно отыскать почти везде.

Если не хочется обременять себя кроватью, надо по крайней мере иметь при себе чехол для матраца. Я вожу его для своего камердинера, который не больше моего готов смириться с необходимостью спать по-русски. Я обошелся бы без кровати даже скорее, чем он, ибо почти две ночи напролет занят был тем, что писал вам это письмо.

Любительские бивуаки — самое живописное, что есть в Петергофе, ибо в солдатских лагерях царит единообразие во всем. Уланы раскинули бивуак посреди луга, вокруг пруда в окрестностях дворца, поблизости от них разместился полк конных гвардейцев императрицы, а дальше черкесы, чьи казармы находятся на краю деревни, и, наконец, кадеты, которые частью расквартированы по домам, а частью стоят лагерем в поле.

В любой другой стране от такого громадного скопления народа возникла бы невообразимая толчея и сумятица. В России все происходит степенно, все обретает характер церемонии; тишина соблюдается очень строго; надо видеть этих молодых людей, что собрались здесь ради собственного удовольствия или удовольствия чужого и не осмеливаются ни смеяться, ни петь, ни ссориться, ни играть, ни танцевать, ни бегать; можно подумать, что это группа арестантов, готовая отправиться к месту своего заключения. Опять напоминание о Сибири!.. Во всем, что я здесь вижу, недостает, конечно, отнюдь не величия и не пышности, и даже не вкуса и изысканности: недостает веселья; веселиться не прикажешь, наоборот, приказ губит веселье, подобно тому как шнур и ватерпас губят живописные картины. Все виденное мною в России было непременно симметричным и имело упорядоченный вид; здесь не ведают того, что придало бы цену порядку, — разнообразия, из которого родится гармония.

Солдаты на бивуаке подчинены дисциплине еще более суровой, чем в казармах; подобная строгость, выказываемая в мирное время, в чистом поле и в праздничный день, приводит мне на память слова о войне великого князя Константина. «Не люблю войну, — говаривал он, — от нее солдаты портятся, одежда пачкается, а дисциплина падает». 842

Сей принц-воитель говорил не всю правду; у него была и другая причина не любить войну — что и доказало его поведение в Польше. 842

В день, когда имеют быть бал и иллюминация, в семь часов вечера все стекаются в императорский дворец. Всех вперемежку — придворных, дипломатический корпус, приглашенных иностранцев и так называемых людей из народа, допущенных на праздник, вводят в главные покои. Мужчинам, за исключением мужиков в национальных одеждах и купцов, облаченных в кафтаны, строго предписано иметь поверх мундиров «табарро», венецианский плащ — ибо праздник сей именуется балом-маскарадом.

В главных покоях, зажатый в толпе, вы довольно долго ожидаете появления императора и императорской фамилии. Едва солнце дворца, повелитель, возникает на горизонте, как пространство перед ним расчищается; в сопровождении своей благородной свиты он свободно, ни на миг не соприкасаясь с толпой, пересекает

залы, куда минутою прежде нельзя было, казалось, протиснуться ни одному человеку. Едва Его Величество скрывается из виду, волны крестьян смыкаются вновь. Так пенится струя за кормой корабля.

Голова Николая возносится выше всех голов, и благородный облик его накладывает печать почтительности на это волнующееся море — он словно Вергилиев Нептун; нельзя быть более императором, чем он. Два или три часа подряд он танцует полонезы с дамами, принадлежащими к его фамилии и ко двору. В свое время танец этот представлял собою размеренную и церемонную ходьбу, ныне же это просто прогулка под звуки музыки. Император со свитой движутся прихотливыми извивами, а толпа, хоть и не зная, в каком направлении устремится он дальше, тем не менее расступается всегда вовремя и не стесняет поступь императора.

Император говорит что-то нескольким бородачам в русском костюме, то есть одетым в персидское платье, и около половины одиннадцатого, с наступлением глубокой ночи, начинается иллюминация. Я уже писал, с какой волшебной быстротой зажигаются на ваших глазах тысячи лампионов; это настоящая феерия.

Меня заверяли, что обычно в этот праздничный миг к береговой линии подходят многие корабли императорского морского флота, вторя отдаленными орудийными залпами музыке на суше. Вчера из-за скверной погоды мы оказались лишены этого великолепного праздничного эпизода. Должен, однако, добавить, что один француз, давно обосновавшийся в этой стране, рассказывал, будто всякий год непременно случается что-нибудь такое, отчего иллюминации на кораблях не бывает. Выбирайте сами, кому верить, — словам ли местных жителей или уверениям чужестранцев.

Большую часть дня мы уже считали, что иллюминация не состоится. Около трех часов, как раз когда мы обедали в Английском дворце, в Петергофе выпал град; деревья в парке яростно раскачивались, их вершины гнулись на ветру, ветви скребли по земле, но мы, наблюдая это зрелище, были далеки от мысли, что от того самого порыва ветра, на последствия которого мы бесстрастно взирали, гибнут в волнах сестры, матери, друзья огромного числа людей, спокойно сидевших за одним с нами столом. Наше беспечное любопытство было сродни веселью, а в это время множество лодок, плывших из Петербурга в сторону Петергофа, опрокидывались посреди залива. Сейчас одни признают, что утонули двести человек, другие говорят о полутора тысячах, двух тысячах, — правды же не узнает никто, и в газетах о несчастье писать не будут: это значило бы опечалить императрицу и предъявить обвинение императору.

Дневное бедствие хранилось в тайне на протяжении всего вечера; какие-то слухи просочились лишь после праздника, но и на следующее утро двор казался не грустней и не радостней обыкновенного; здешний этикет требует прежде всего, чтобы человек молчал о том, что занимает мысли всех; даже и вне стен дворца признания делаются только вполслова, походя и шепотом. Люди в этой стране привыкли жить уныло потому, что сами почитают жизнь ни за что; каждый чувствует, что бытие его висит на ниточке, и каждый делает свой выбор, так сказать, с рождения.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Подобные происшествия, хоть и не столь масштабные, каждый год омрачают празднества в Петергофе, и когда бы не только я, но и другие задумались о том, во что обходится все это великолепие, оно бы сменилось торжественным трауром и погребальной пышностью; но размышляю здесь я один.

Со вчерашнего дня умы суеверные приметили уже не одно печальное предвестие: три недели здесь стояла прекрасная погода, и как раз в день чествования императрицы она испортилась; шифр государыни никак не загорался — человек, назначенный блюсти эту главную часть иллюминации, поднимается на вершину пирамиды и берется за дело, но по мере того как он зажигает лампионы, ветер их гасит. Человек поднимается вновь и вновь; наконец он оступается, падает с семидесятифутовой высоты и разбивается насмерть. Его уносят; шифр же так и остается зажженным лишь наполовину!..

Предзнаменования эти тем более зловещи, что императрица ужасающе худа, у нее томный вид и тусклый взор. Жизнь, которую она ведет, — каждый вечер празднества, балы! — становится для нее пагубной. Здесь надобно беспрерывно развлекаться, иначе умрешь со скуки.

Раннее утро для императрицы и всех усердных придворных начинается со зрелища смотров и парадов; за ними всегда следует несколько приемов; императрица на четверть часа удаляется в свои внутренние покои, а затем на два часа выезжает на прогулку в карете; вслед за прогулкой она принимает ванну, а потом выезжает снова, на сей раз верхом. Возвратившись опять к себе, она снова принимает визиты и наконец отправляется посетить какие-либо полезные заведения, находящиеся под ее попечительством, или навестить кого-либо из близких; затем она сопровождает императора, когда тот едет в военный лагерь: он тут всегда где-нибудь да сыщется; вернувшись, они танцуют на балу; так проходит день за днем, год за годом, и на это расходуются вместе с жизнью ее силы.

Особы, которым недостает мужества или здоровья, чтобы вести такую же кошмарную жизнь, не пользуются ее благосклонностью.

На днях императрица сказала мне об одной женщине, весьма изысканной, но хрупкой: «Она вечно больна!» По тону, по виду, с каким произнесены были эти слова, я почувствовал, что они решили судьбу целого рода. В мире, где никто не довольствуется благими намерениями, болезнь равносильна немилости.

Императрица отнюдь не считает, что менее других обязана расплачиваться за все собственной особой.

Она не может перенести, чтобы император удалился от нее хотя бы на миг. Государи — люди железные!.. Благородная женщина не желает быть подверженной человеческим недугам и иногда мнит, что ей это удается; но из-за недостатка покоя, физического и морального, отсутствия каких-либо регулярных занятий и дел, нехватки сколько-нибудь серьезных собеседников, постоянно возникающей необходимости предаваться положенным ей по рангу развлечениям, — из-за этого всего ее снедает лихорадка; подобный ужасающий образ жизни стал для нее и пагубен, и неизбежен. Теперь она не может ни оставить его, ни выдержать дальше. Ей грозят чахотка, общее истощение, особенно опасаются

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Подобные происшествия, хоть и не столь масштабные, каждый год омрачают празднества в Петергофе, и когда бы не только я, но и другие задумались о том, во что обходится все это великолепие, оно бы сменилось торжественным трауром и погребальной пышностью; но размышляю здесь я один.

Со вчерашнего дня умы суеверные приметили уже не одно печальное предвестие: три недели здесь стояла прекрасная погода, и как раз в день чествования императрицы она испортилась; шифр государыни никак не загорался — человек, назначенный блюсти эту главную часть иллюминации, поднимается на вершину пирамиды и берется за дело, но по мере того как он зажигает лампионы, ветер их гасит. Человек поднимается вновь и вновь; наконец он оступается, падает с семидесятифутовой высоты и разбивается насмерть. Его уносят; шифр же так и остается зажженным лишь наполовину!..

Предзнаменования эти тем более зловещи, что императрица ужасающе худа, у нее томный вид и тусклый взор. Жизнь, которую она ведет, — каждый вечер празднества, балы! — становится для нее пагубной. Здесь надобно беспрерывно развлекаться, иначе умрешь со скуки.

Раннее утро для императрицы и всех усердных придворных начинается со зрелища смотров и парадов; за ними всегда следует несколько приемов; императрица на четверть часа удаляется в свои внутренние покои, а затем на два часа выезжает на прогулку в карете; вслед за прогулкой она принимает ванну, а потом выезжает снова, на сей раз верхом. Возвратившись опять к себе, она снова принимает визиты и наконец отправляется посетить какие-либо полезные заведения, находящиеся под ее попечительством, или навестить кого-либо из близких; затем она сопровождает императора, когда тот едет в военный лагерь: он тут всегда где-нибудь да сыщется; вернувшись, они танцуют на балу; так проходит день за днем, год за годом, и на это расходуются вместе с жизнью ее силы.

Особы, которым недостает мужества или здоровья, чтобы вести такую же кошмарную жизнь, не пользуются ее благосклонностью.

На днях императрица сказала мне об одной женщине, весьма изысканной, но хрупкой: «Она вечно больна!» По тону, по виду, с каким произнесены были эти слова, я почувствовал, что они решили судьбу целого рода. В мире, где никто не довольствуется благими намерениями, болезнь равносильна немилости.

Императрица отнюдь не считает, что менее других обязана расплачиваться за все собственной особой.

Она не может перенести, чтобы император удалился от нее хотя бы на миг. Государи — люди железные!.. Благородная женщина не желает быть подверженной человеческим недугам и иногда мнит, что ей это удается; но из-за недостатка покоя, физического и морального, отсутствия каких-либо регулярных занятий и дел, нехватки сколько-нибудь серьезных собеседников, постоянно возникающей необходимости предаваться положенным ей по рангу развлечениям, — из-за этого всего ее снедает лихорадка; подобный ужасающий образ жизни стал для нее и пагубен, и неизбежен. Теперь она не может ни оставить его, ни выдержать дальше. Ей грозят чахотка, общее истощение, особенно опасаются

врачи воздействия на нее петербургской зимы; но ничто не заставит ее провести полгода вдали от императора.[1]

Глядя на эту привлекательную, но изнуренную страданием женщину, что бродит, словно привидение, на празднике, который называется ее праздником и который она, быть может, видит в последний раз, я чувствую, как у меня сжимается сердце; и как бы ни ослепляло меня человеческое величие, я обращаюсь мыслью к изъянам нашей природы. Увы, с большой высоты больнее падать. Уже в этом мире люди благородные за один день искупают все лишения бедняка на протяжении всей его долгой жизни.

Неравенство сословий стирается под недолгим, но тяжким гнетом страдания. Время — это всего лишь иллюзия, от которой избавлена страсть; сила чувства, удовольствия или боли — вот мера реальности... Реальность эта рано или поздно приводит к возникновению в самой легкомысленной жизни серьезных идей; но вынужденная серьезность столь же горька, сколь сладостна была бы серьезность иного рода. Будь я на месте императрицы, я бы не согласился, чтобы вчера отмечали мой праздник, — если бы, впрочем, в моей власти было избавить себя от этого удовольствия, навязанного этикетом.

Даже самые высокопоставленные особы не испытывают особого вдохновения, если им положено развлекаться в строго назначенный день. Дата, торжественно отмечаемая каждый год, позволяет лишь острее ощутить ход времени благодаря сравнению прошлого и настоящего. Юбилеи, хоть их и отмечают разного рода празднествами, всегда наводят нас на множество грустных мыслей; едва минет первая молодость, как мы начинаем клониться к упадку; к приходу повторяющегося из года в год торжества у нас всегда оказывается на несколько радостей меньше и на несколько сожалений больше — и сколь же тягостен такой обмен! Разве не лучше было бы позволить дням нашим протекать в тиши? Дни рождения — это тоскливые голоса смерти, эхо времени, что доносит до душевного нашего слуха одни только слова муки.

Вчера по окончании бала, описанного мною, был ужин; потом все, обливаясь потом, ибо в помещениях, где теснилась толпа, жара стояла невыносимая, расселись по придворным каретам, именуемым *линейками,* и поехали в ночной непроглядной тьме, по росе, чья свежесть, по счастью, умерялась горящими лампионами, осматривать иллюминацию. Вы даже представить себе не можете, какая жара струилась по аллеям этого зачарованного леса — настолько нагревают парк бесчисленные фонари, светом которых мы были ослеплены!

Линейки представляют собою экипажи с двумя рядами скамей, на которых удобно рассаживаются спина к спине восемь человек; общий их вид — форма, позолота, античная упряжь лошадей — не лишен величия и оригинальности. Это поистине царская роскошь, что для Европы нынче вещь редкостная.

Количество этих экипажей весьма значительно — в нем также проявляется пышность петергофского празднества; их хватает на всех приглашенных, за

[1] На следующий год эмсские воды вернули императрице здоровье.

исключением крепостных и мещан, что ради торжественного случая расставлены по дворцовым залам.

Церемониймейстер указал мне, в какую *линейку* сесть, но у выхода царил беспорядок и никто не мог попасть на свое место; не обнаружив ни слуги, ни плаща, я в конце концов забрался в одну из последних *линеек* и уселся подле некоей русской дамы, которая не была на балу и приехала сюда из Петербурга, чтобы показать своим дочерям иллюминацию. Дамы эти, казалось, близко знались со всеми придворными семействами; беседа с ними была откровенной и потому нимало не походила на беседу с людьми, состоящими при дворе. Мать сразу же обратилась ко мне; непринужденность тона и хороший вкус выдавали в ней знатную даму. Тут я вновь убедился в том, что успел уже заметить раньше: если русские женщины не притворяются, то речи их не отличаются ни кротостью, ни снисходительностью. Она перечислила мне всех, кто проезжал мимо нас, ибо в продолжение этой волшебной прогулки *линейки* нередко едут друг другу навстречу; половина экипажей движется по одной аллее, тогда как другая половина — по соседней, в противоположную сторону. Аллеи разделены полосою подстриженных деревьев с широкими просветами в форме аркад, так что царственный кортеж производит смотр самому себе.

Когда бы не боязнь утомить вас и, главное, внушить вам своими восторгами известное недоверие, я бы сказал, что никогда не видел ничего изумительнее этих портиков из лампионов; когда вдоль них по парку, столь же заполненному толпой, как минутою прежде были заполнены селянами залы дворца, проезжают в торжественной тишине все придворные экипажи, зрелище это потрясает воображение.

Целый час мы странствовали по зачарованным боскетам; мы объехали вокруг озера, именуемого Марли, что находится у оконечности петергофского парка. Более столетия Версаль и все прочие дивные творения Людовика XIV занимали умы европейских государей. Иллюминация на озере Марли показалась мне изумительнее всех прочих. У самого края водного пространства (я едва не написал «золотого убранства», настолько вода здесь светозарна и блестяща) высится дом, где жил Петр Великий; он тоже освещен фонарями, как и все вокруг. 844

Более всего поразил меня оттенок воды, в которой отражался свет тысяч лампионов, зажженных по берегам этого огненного озера. Вода и деревья сообщают иллюминации дополнительное и необычайное великолепие. Проезжая через парк, мы видели гроты, освещенные изнутри так, что свет преломлялся через пелену воды, падавшую перед входом в сверкающую пещеру; переливы каскада, заслоняющего собою огонь, производили сказочное впечатление. Императорский дворец, возвышаясь над всеми этими удивительными водопадами, предстает как бы их источником; он единственный оставлен неосвещенным; он белый, но благодаря громадному пучку огней, что поднимаются к нему из всех частей парка и отражаются от стен, начинает переливаться разными цветами. В сиянии лучей столь же ослепительных, как лучи солнца, меняют свой цвет камни и зелень деревьев. Ради одного только этого зрелища стоило совершить прогулку в Петергоф. Если когда-нибудь случится мне вновь оказаться на этом празднике, я ограничусь тем, что поброжу пешком по садам.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Прогулка эта, вне всякого сомнения, самое большое удовольствие, какое можно получить на празднике в честь императрицы. Но, повторю еще раз, волшебство еще не веселье: здесь никто не смеется, не поет, не танцует; все говорят тихо и развлекаются с оглядкой; похоже, что подданные русского императора, искушенные в учтивостях, даже и к удовольствию своему относятся с величайшим почтением. Одним словом, в Петергофе, как и повсюду, не хватает свободы.

К себе в комнату, то есть в ложу, я вернулся в половине первого. С наступлением ночи любопытные пустились в обратный путь, и покуда сей бурный поток тек у меня под окнами, я сел писать к вам — все равно уснуть посреди подобного столпотворения невозможно. В России шуметь дозволяется только лошадям. Лавина карет самой разной формы и величины и самого разного сорта продвигалась по дороге в четыре ряда сквозь огромную толпу — пеших женщин, детей и мужиков; после условностей царского празднества начиналась естественная жизнь — словно группа узников сбросила с себя оковы. Народ на большой дороге — уже отнюдь не дисциплинированная толпа в саду. Сей вихрь, вновь обретя изначальную дикость и устремляясь с устрашающей мощью и быстротой в сторону Петербурга, напомнил мне картины отступления под Москвой; эта иллюзия усиливалась оттого, что многие лошади по пути падали замертво.

Едва успел я раздеться и броситься на кровать, как уже снова надо было подниматься и бежать во дворец: ожидалось, что сам император будет производить смотр кадетскому корпусу.

С величайшим удивлением я обнаружил, что весь двор уже на ногах и приступил к исполнению своих обязанностей; женщин украшали свежие утренние туалеты, мужчины вновь облачились в костюмы соответственно своим должностям. Все в условленном месте ожидали императора. Нарядная толпа эта горела желанием выказать свое рвение: всяк был так резов, словно ночное великолепие и усталость ложились бременем лишь на одного меня. Я устыдился своей лени и понял, что не рожден быть добрым русским царедворцем. Пусть цепь и позолочена, от этого она не кажется мне легче.

Едва успел я пробраться сквозь толпу, как появилась императрица; я еще не занял своего места, а император уже обходил ряды своих малолетних офицеров, императрица же, столь утомленная вчерашней церемонией, ожидала его в коляске посреди площади. Мне было больно за нее, — впрочем, от ее подавленности, поразившей меня вчера, не осталось и следа. Так что жалость моя обратилась на меня самого: я чувствовал, что один измучился за всех, и с завистью взирал, как даже самые престарелые из придворных с легкостью несут тяжкий груз, угнетающий меня. Честолюбие здесь — условие жизни; не будь этой дозы показной деятельности, все оставались бы угрюмыми и печальными.

Император громко приказывал ученикам исполнить то или иное упражнение; после нескольких отменных маневров Его Величество выказал удовлетворение: повелев одному из самых юных кадетов выйти из строя и взяв его за руку, он самолично подвел его к императрице, представил ей, а потом поднял ребенка на высоту своей головы, то есть над головами всех окружающих, и прилюдно

поцеловал. Какой прок был императору в этот день являть публике подобное 844
добродушие — этого никто не смог или не захотел мне объяснить.

Я спрашивал у людей, стоящих рядом со мною, кто блаженный отец сего образцового кадета, столь щедро удостоенного государевых милостей. Никто не удовлетворил моего любопытства; в России из всего делают тайну. После этого прилюдного изъявления чувств император и императрица возвратились в петергофский дворец и в главных его покоях принимали всех, кто пожелал засвидетельствовать им свое почтение, а затем, около одиннадцати часов, показались на одном из балконов дворца, перед которым принялись совершать весьма живописные упражнения на восхитительных азиатских лошадях солдаты чер- 844
кесской гвардии. Отменно наряженное, войско это своею красотой довершает военную пышность русского двора, каковой, невзирая на все свои усилия и притязания, по-прежнему остается и долго еще пребудет не столько европейским, сколько восточным. Ближе к полудню, чувствуя, что любопытство мое иссякло, и не обладая для восполнения физических сил тем всемогущим подспорьем, каким является придворное честолюбие, совершающее здесь столько чудес, я улегся в постель и только теперь встал, дабы завершить свой рассказ.

Я рассчитываю остаток дня провести здесь, пока не рассеется толпа; впрочем, в Петергофе меня удерживает надежда получить одно удовольствие, которому я придаю большое значение.

Завтра, если будет время, я поведаю вам, чем увенчались мои интриги.

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

Коттедж в Петергофе. — Неожиданность. — Императрица. — Ее утреннее платье. — Ее обхождение, выражение лица, беседа с нею. — Наследник престола. —Доброта его. — Вопрос, повергший меня в замешательство. — Как отвечает на него вместо меня великий князь. — Молчание императрицы; его истолкование. — Внутреннее убранство коттеджа. — Полное отсутствие предметов искусства. — Семейные пристрастия. — Стеснительная робость. — Великий князь в роли чичероне. — Изысканная учтивость. — Что такое робость. — В наш век люди от нее избавлены. — Высшая степень гостеприимства. — Немая сцена. — Рабочий кабинет императора. — Маленький телеграф. — Дворец в Ораниенбауме. — Грустные воспоминания. — Маленький замок Петра III, то, что от него осталось. — Как здесь всеми силами скрывают правду. — Преимущества людей темных над великими. — Цитата из Рюльера. — Парковые беседки. — Воспоминания о Екатерине II. — Лагерь в Красном Селе. — Возвращение в Петербург. — Ребяческие выдумки.

845 *Петербург, 27 июля 1839 года*

845 В свое время я беспрестанно упрашивал госпожу *** помочь мне осмотреть ***коттедж***[1] императора и императрицы. Это маленький домик, который они построили в новом готическом стиле, по английской моде. Находится он посреди великолепного петергофского парка. «Нет ничего труднее, чем попасть в коттедж, когда Их Величества находятся там, — отвечала мне госпожа ***, — в их отсутствие не было бы ничего легче. Но я все-таки попробую».

Я задержался в Петергофе, ожидая с нетерпением ответа от госпожи ***, но не слишком надеясь на успех. Наконец вчера рано утром получаю от нее коротенькую записку следующего содержания: «Будьте у меня без четверти одиннадцать. В виде особой милости мне было дозволено показать вам коттедж в тот час, когда император вместе с императрицей отправляются на прогулку, то есть ровно в одиннадцать. Их точность вам известна».

[1] **Английская хижина.**

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

Опаздывать на свидание я не собирался. Госпожа *** живет в премилом дворце, расположенном в одном из уголков парка. Она сопровождает императрицу повсюду, однако селится по возможности отдельно, хоть и совсем рядом с различными резиденциями императрицы. Я был у нее в половине одиннадцатого. Без четверти одиннадцать мы садимся в запряженную четверней карету, быстро едем через парк и без нескольких минут одиннадцать подъезжаем к дверям коттеджа.

Это самый настоящий английский дом, стоящий среди цветов и в сени деревьев; построен он по образцу тех прелестнейших жилищ, какие можно видеть под Лондоном, в Туикнеме, на берегу Темзы. Не успели мы миновать небольшую переднюю, к которой ведут несколько ступеней, и, задержавшись на несколько минут, осмотреть салон, где обстановка показалась мне, пожалуй, излишне изысканной в сравнении с домом в целом, как к нам подошел камердинер во фраке и шепнул несколько слов на ухо госпоже ***, которая, как мне показалось, удивилась.

— Что случилось? — спросил я, когда слуга удалился.

— Императрица возвращается обратно.

— Какая досада! — воскликнул я. — Я не успею ничего увидеть!

— Возможно; выходите через эту террасу, спускайтесь в сад и ждите меня у входа.

Не прошло и двух минут, как я увидел императрицу, которая в одиночестве поспешно спускалась с крыльца, направляясь ко мне. Ее высокая, тонкая фигура как-то по-особому изящна; походка у нее живая, легкая и одновременно благородная; некоторые ее жесты, позы, повороты головы поистине незабываемы. Она была в белом; лицо ее, обрамленное белым капотом, казалось отдохнувшим; 845
глаза излучали печаль, кротость и покой; изящно приподнятая вуаль окаймляла ее лицо; прозрачный шарф, красивыми складками ложащийся на плечи, дополнял этот изысканнейший утренний наряд. Никогда еще она не являлась передо мною столь привлекательной: от облика ее мрачные предчувствия, посетившие меня на балу, совершенно рассеялись, императрица показалась мне воскресшей, и я ощутил то успокоение, какое приходит к нам утром после бурной ночи. Должно быть, Ее Величество крепче меня, подумал я, раз после позавчерашнего празднества, вчерашнего смотра и приема поднялась сегодня утром с постели такой ослепительной, какой я вижу ее теперь.

— Я знала, что вы здесь, и потому сократила прогулку, — произнесла она.

— Ах, Ваше Величество! Мог ли я надеяться на такую доброту?

— Я ничего не сказала о своих планах госпоже ***, и она только что выговаривала мне за то, что я застала вас врасплох; она полагает, что я помешаю вам осматривать дом. Значит, вы хотите попасть сюда, чтобы проникнуть в наши тайны?

— Мне бы очень этого хотелось, Ваше Величество; проникая в мысли людей, умеющих сделать столь безошибочный выбор между пышностью и изяществом, нельзя не оказаться в выигрыше.

— Петергофская жизнь для меня невыносима, и я попросила государя выстроить какую-нибудь хижину, где глаза могли бы отдыхать от всей этой массивной

позолоты. В этом доме я счастлива, как нигде больше; но теперь, когда одна из дочерей замужем, а сыновья учатся, он стал слишком велик для нас.

Я молча улыбнулся; я был во власти ее обаяния; мне почудилось, что чувства этой женщины, столь непохожей на ту, в чью честь задан был накануне роскошный праздник, сходны с моими собственными; подобно мне, она ощутила усталость и пустоту, говорил я себе, она осудила лживый блеск всего этого возникшего по приказу великолепия и теперь тоже сознает, что заслуживает лучшей участи. Я сравнивал цветы, окружавшие коттедж, с люстрами во дворце, ясное утреннее солнце с огнями ночных торжеств, тишину сладостного убежища с дворцовым столпотворением, празднество природы с празднеством придворным, женщину с императрицей и восхищался тем, с каким вкусом и умом государыня эта сумела бежать тягот показной жизни, окружив себя всем, что составляет притягательность жизни уединенной. То было какое-то новое для меня волшебство, и его возвышенный характер занимал мое воображение куда сильнее, нежели магия власти и величия.

— Мне не хочется, чтобы госпожа *** оказалась права, — продолжала императрица. — Вы сейчас осмотрите коттедж во всех подробностях, мой сын будет вам провожатым. Я же пока пойду взгляну на свои цветы, а когда вы соберетесь уходить, возвращусь к вам.

Вот какой прием оказала мне эта женщина, слывущая высокомерной не только в Европе, где ее вовсе не знают, но и в России, где она у всех на виду.

В эту минуту к матери приблизился великий князь, наследник престола;
845 с ним была госпожа *** и ее старшая дочь, девушка лет четырнадцати, свежая, как роза, и прелестная той прелестью, какая существовала во Франции времен Буше. Девушка эта — живая модель одного из привлекательнейших портретов кисти сего живописца, за исключением разве что пудреных волос.

Я ждал, когда императрице будет угодно отпустить меня; все мы принялись прохаживаться взад-вперед перед домом, не удаляясь, однако, от входа, у которого остановились с самого начала.

845 Госпожа *** — полячка; императрице известно, что я принимаю участие в ее семье. Ее Величество знает и о том, что один из братьев этой дамы уже много лет живет в Париже. Она свернула разговор на образ жизни этого молодого человека и долго, с подчеркнутым интересом расспрашивала меня о его чувствах, воззрениях, характере, давая тем самым полную возможность высказать без обиняков все, что подскажет мне привязанность, которую я к нему питаю. Слушала она меня с большим вниманием. Когда я умолк, великий князь заговорил на ту же тему и, обращаясь к матери, сказал:

842 — Я встречал его недавно в Эмсе и нахожу, что это человек весьма достойный.

— И тем не менее столь благородному человеку не дают возвратиться сюда из-за того, что после революции в Польше он перебрался в Германию, — воскликнула госпожа *** с сестринской любовью и с той свободой в выражении своих мыслей, какую не смогла в ней истребить даже привычка с детства жить при дворе.

— Но что же такого он совершил? — спросила меня императрица с неподражаемой интонацией, в которой нетерпение переплеталось с добротой.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Я затруднился с ответом на столь прямой вопрос, ибо не мог не затронуть тонкие политические материи, а значит, рисковал все испортить.

Великий князь вновь пришел мне на выручку с таким изяществом и приветливостью, что забыть их было бы неблагодарностью с моей стороны; должно быть, он полагал, что я не осмеливаюсь отвечать из-за того, что знаю слишком много; и вот, предупреждая какую-нибудь отговорку, которая могла бы выдать мое замешательство и опорочить дело, какое мне хотелось защищать, он с живостью воскликнул: «Но, матушка, кто же когда спрашивал у пятнадцатилетнего мальчика, что он совершил в политике?»

Ответ этот, исполненный сердечности и ума, вывел меня из затруднительного положения — но и положил конец беседе. Когда бы я осмелился истолковать молчание императрицы, я бы так передал ее мысли: «Кому нужен нынче в России поляк, которому возвращена императорская милость? Для исконно русских он вечно будет предметом зависти и у новых своих господ не вызовет иных чувств, кроме настороженности. Жизнь свою и здоровье он растратит в испытаниях, каким его подвергнут, дабы убедиться в его верности; а затем, в результате, если все наконец убедятся, что на него можно рассчитывать, его станут презирать именно потому, что на него рассчитывают. Да и что я могу сделать для этого юноши? Влияние мое так мало!» 847

Не думаю, чтобы я сильно ошибался, полагая, что таковы были мысли императрицы — я и сам думал примерно то же самое. Про себя оба мы заключили, что для дворянина, у которого нет больше ни сограждан, ни братьев по оружию, меньшим из двух зол будет оставаться вдали от страны, где он появился на свет: одна только почва не составляет еще отечества, и нет ничего хуже, чем положение человека, который дома живет, словно на чужбине.

По знаку императрицы все мы, великий князь, госпожа * **, ее дочь и я, возвратились в коттедж. В доме этом мне хотелось бы видеть менее роскоши в обстановке и более предметов искусства. Первый этаж похож на любое жилище богатого и элегантного англичанина; но там нет ни одной первоклассной картины, ни одного обломка мрамора, ни одного глиняного горшка, которые бы обнаруживали ярко выраженную склонность хозяев к живописным или скульптурным шедеврам. Я не имею в виду умение сносно рисовать самому; я имею в виду вкус к прекрасному, доказательство того, что вы любите искусство и чувствуете его. Я всегда сожалею, когда эта страсть отсутствует у людей, которым так легко было бы ее удовлетворять.

И не нужно говорить, что слишком ценные статуи или картины были бы неуместны в коттедже; дом этот — излюбленное местопребывание своих владельцев, а если вы устраиваете себе обиталище на свой лад и сильно любите искусство, вы всегда обнаружите свой вкус к нему, пусть даже рискуя нарушить единство стиля, погрешить против гармонии; в придачу в императорском коттедже известный разнобой вполне позволителен.

Однако русские императоры — отнюдь не императоры римские; они не считают, что по положению своему обязаны любить искусство.

По планировке и убранству коттеджа становится ясно, что обустройство и общий замысел этого жилища основывается на семейных привычках и пристрастиях.

Это даже лучше, чем чувство прекрасного, явленное в гениальных творениях. Единственное, что не понравилось мне в расположении и обстановке этого элегантного пристанища — слишком рабское копирование английской моды.

Первый этаж мы осмотрели очень быстро, из боязни наскучить нашему провожатому. Присутствие августейшего чичероне смущало меня. Я знаю, что ничто так не сковывает государей, как наша робость, если только она не напускная, призванная им польстить; знание их нрава лишь усиливает мои затруднения, ибо я убежден, что непременно им не понравлюсь. Они любят со всеми чувствовать себя непринужденно, а единственный способ этого достичь — быть непринужденным самому. Так что я не сомневаюсь, что успеха иметь не буду — и подобного рода убежденность донельзя меня удручает, ибо кому же приятно не нравиться другим?

С государем, умудренным годами, я могу по крайней мере вступить в серьезную беседу, но если государь молод, легок, изящен и весел, то я обречен.

Весьма узкая, но убранная английскими коврами лестница привела нас на второй этаж; там расположена комната великой княжны Марии, где прошла часть ее детства (теперь она пуста); комната великой княжны Ольги, вероятно, недолго будет оставаться жилой. Так что императрица была права, говоря, что коттедж слишком велик. Две эти комнаты почти во всем схожи и отличаются чудесной простотой.

Великий князь остановился на верхней ступени лестницы и обратился ко мне с царственной учтивостью, секрет которой ему известен, несмотря на крайнюю молодость: «Не сомневаюсь, что вы бы предпочли все здесь осмотреть без меня, а сам я столько раз это видел, что, признаюсь, тоже предпочитаю оставить вас в обществе одной госпожи ***; завершайте ваш осмотр, а я вернусь к матери и стану вас ожидать вместе с нею».

На том он сделал нам исполненный изящества поклон и удалился, покорив меня лестной непосредственностью своего обхождения.

Великое преимущество для государя — быть человеком отменно воспитанным! Стало быть, на сей раз я не произвел впечатления, какое произвожу обычно; стеснение, которое я испытывал, не оказалось заразительным. Когда бы он почувствовал ту же неловкость, что и я, он бы остался, ибо робкий способен лишь терпеть мучения, не умея от них избавиться; положение сколь угодно высокое не спасает от приступов робости; жертва, парализованная ею, на какой бы ступени общественной лестницы она ни находилась, не в силах ни противодействовать тому, в чем причина ее стеснения, ни бежать его.

Случается, страдание это рождается из неудовлетворенного и излишне развитого самолюбия. Человек, который боится, что мнение его о самом себе никто не разделяет, делается робок из тщеславия. Но чаще всего робость есть свойство чисто физическое, род болезни.

Бывают люди, которые не могут почувствовать на себе чужого взгляда, не испытав неизъяснимой неловкости. Взгляд этот обращает их в камень: он стесняет их поступь и мысли, мешает им разговаривать и двигаться; это истинная правда, и сам я зачастую испытывал гораздо более сильную физическую робость

в деревнях, где на меня, чужестранца, были направлены все взоры, нежели в самых пышных салонах, где на меня никто не обращал внимания. Я мог бы написать целый трактат о различных видах робости, ибо являю собой совершенный ее образец; никто, как я, не стенал с самого детства от приступов сей неизлечимой болезни, которая, благодарение Богу, людям следующего за мною поколения почти вовсе не ведома — лишнее доказательство того, что робость не только плод физической предрасположенности, но главным образом результат воспитания.

В свете этот физический недостаток принято скрывать, вот и все: нередко застенчивейшими из людей бывают люди самые выдающиеся по рождению своему, званию и даже по своим достоинствам. Я долгое время полагал, что робость — то же самое, что скромность в сочетании с чрезмерной почтительностью к социальным различиям либо к умственным дарованиям; но как тогда объяснить робость у великих писателей и государей? По счастью, в России члены императорской фамилии отнюдь не робки, они принадлежат своему веку; в их обхождении и речах нет и следов замешательства, каким так долго мучились августейшие хозяева Версаля и их придворные — ибо что может стеснять более, чем робкий государь?

Как бы то ни было, но после ухода великого князя я почувствовал величайшее облегчение; про себя я поблагодарил его за то, что он сумел так верно угадать мое желание и так учтиво его исполнить. Человеку полувоспитанному никогда не придет в голову оставить гостя одного, чтобы сделать ему приятное; однако же подчас невозможно доставить гостю большее удовольствие. Умение покинуть гостя, не повергая его в шок, есть вершина обходительности и высшее проявление гостеприимства. Подобная непринужденность в повседневной жизни света — то же, что в политике свобода, не отягощенная беспорядком: все о ней постоянно мечтают, но достигнуть никак не могут.

В тот момент, когда великий князь покидал нас, мадемуазель *** стояла позади своей матери; юный государь, проходя мимо нее, останавливается с весьма важным и чуть насмешливым видом и молча отвешивает ей глубокий поклон. Девушка, понимая, что в приветствии этом скрыта ирония, не произносит ни слова и при всей своей почтительности на поклон не отвечает.

Этот оттенок в отношениях восхитил меня и показался на редкость тонким. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из двадцатипятилетних женщин здесь при дворе проявил столь необычную смелость; одной лишь невинности свойственно сочетать законное чувство собственного достоинства, которое никто не должен терять, с уважением к особам, облеченным властью. Образцовая эта деликатность не прошла незамеченной.

— Ничуть не изменилась! — произнес, удаляясь, великий князь, наследник престола.

Детьми они росли вместе — разница в пять лет не мешала им нередко играть в одни и те же игры. Подобная близость не забывается, даже и при дворе. Немая сцена, которую они разыграли, немало меня позабавила.

Мне было особенно интересно взглянуть на императорскую фамилию изнутри. Чтобы по достоинству оценить этих государей, надобно видеть их вблизи: они

созданы для того, чтобы стоять во главе своей страны, ибо являются во всех отношениях первыми среди своей нации. Из всего виденного мною в России императорская фамилия в наибольшей мере заслуживает восхищения и зависти иностранцев.

Под самой крышей коттеджа находится кабинет императора. Это довольно большая и очень скромно убранная библиотека. С ее балкона открывается вид на море. Не покидая этого наблюдательного пункта, приспособленного для ученых занятий, император может сам командовать своим флотом. Для этих целей у него есть подзорная труба, рупор и маленький переносной телеграф.

Мне хотелось бы изучить эту комнату и все, что в ней находится, во всех подробностях и задать множество вопросов; но я побоялся, как бы мое любопытство не показалось нескромным, и предпочел осмотреть все бегло, нежели выглядеть так, будто явился описывать имущество.

К тому же меня всегда занимает лишь общий порядок вещей: он, как правило, поражает меня сильнее, нежели отдельные детали. Я путешествую, чтобы видеть различные предметы и выносить о них суждение, а не для того чтобы измерять их, пересчитывать и копировать в точности.

Впустив меня в коттедж, можно сказать, в своем присутствии, обитатели его оказали мне милость. Посему я почел своим долгом показать, что достоин этой милости, и, обойдясь без чересчур доскональных разысканий, ограничиться лестно-уважительным изъявлением почтительности.

Поделившись мыслями своими с госпожой ***, которая отлично поняла мою деликатность, я поспешил к императрице и великому князю, наследнику престола, чтобы откланяться.

Мы нашли их в саду; сказав еще несколько любезных слов, они простились со мной. Я остался доволен всем, что увидел, но в особенности был признателен им за доброту и очарован благородством и неповторимым изяществом, с каким меня принимали.

Выйдя из коттеджа, я сел в карету и отправился спешно осматривать Ораниенбаум — знаменитый дворец Екатерины И, возведенный Меншиковым. Сей несчастный был сослан в Сибирь прежде, нежели довершил дивное убранство своего жилища, каковое было сочтено излишне царственным для министра.

848

Ныне дворец принадлежит великой княгине Елене, невестке нынешнего императора. Расположен он в двух-трех милях от Петергофа, в виду моря, на продолжении той же береговой скалы, на которой стоит императорский дворец, и хоть и выстроен из дерева, но вид имеет внушительный; прибыл я туда довольно рано, дабы как следует осмотреть все, что есть в нем любопытного, и обойти его сады. Великой княгини в ту пору не было в Ораниенбауме. Несмотря на неосторожную любовь к роскоши человека, который возвел этот дворец, и на пышность, какой окружали себя те великие, что жили там вместо него, само здание не так уж обширно. Дом соединяется с парком с помощью террас, лестниц, ступеней крыльца, балконов, покрытых апельсиновыми деревьями и цветами, и убранство это служит к украшению и того, и другого; сама по себе архитектура дворца более чем посредственна. Великая княгиня Елена выказала здесь вкус,

проявляющийся во всех ее усовершенствованиях, и превратила Ораниенбаум в прелестное жилище — невзирая на унылые окрестности и неотступное воспоминание о тех драматических событиях, что разыгрались в этих местах.

Выйдя из дворца, попросил я показать мне развалины маленькой крепости, из которой Петра III вывезли в Ропшу, где он был убит. Меня отвели в какое-то 848
сельцо, стоящее на отшибе; я увидел пересохшие рвы, следы фортификаций и груды камней — современные руины, возникшие скорее благодаря политике, чем времени. Однако вынужденное молчание, неестественное уединение, властвующее над этими проклятыми обломками, очерчивают перед нами как раз то, что хотелось бы скрыть; как и повсюду, официальная ложь здесь опровергается фактами; история — это волшебное зеркало, в котором народы по смерти великих людей, оказавших самое большое влияние на ход вещей, видят бесполезные их ужимки. Люди уходят, но облик их остается запечатлен на сем неумолимом стекле. Правду не похоронишь вместе с мертвецами: она торжествует над боязнью государей и над лестью народов, ибо ни боязнь, ни лесть не в силах заглушить вопиющую кровь; правда являет себя сквозь стены любых темниц и даже сквозь могильные склепы; особенно красноречивы могилы людей великих, ибо погребения темных людей лучше, нежели мавзолеи государей, умеют хранить тайну о преступлениях, память о которых связана с памятью о покойном. Когда бы я не знал заранее, что дворец Петра III был разрушен, я мог бы об этом догадаться; видя, с каким рвением здесь стараются забыть прошлое, я удивляюсь другому: что-то от него все-таки остается. Вместе со стенами должны были исчезнуть и самые имена.

Мало было разрушить крепость, следовало бы стереть с лица земли и дворец, расположенный всего в четверти лье отсюда; всякий, прибыв в Ораниенбаум, беспокойно ищет в нем следы той тюрьмы, где Петра III заставили подписать добровольное отречение от престола, ставшее его смертным приговором, ибо, единожды добившись от него этой жертвы, надобно было помешать ему передумать.

Вот как повествует об убийстве сего государя в Ропше г-н де Рюльер в свои- 848
их анекдотах из российской жизни, напечатанных в продолжение его «Истории Польши»: «Солдаты были удивлены содеянным: они не понимали, что за наваждение овладело ими и заставило отнять корону у внука Петра Великого, чтобы передать ее какой-то немке. Почти все действовали без всякого плана и умысла, увлеченные порывом других; а когда удовольствие распоряжаться короной иссякло, каждый, вернувшись в низкое свое состояние, не испытывал ничего, кроме угрызений совести. В кабаках матросы, не вовлеченные в мятеж, прилюдно упрекали гвардейцев в том, что те продали своего императора за кружку пива. Жалость, оправдывающая даже и величайших преступников, заговорила во всех сердцах. Однажды ночью воинская часть, преданная императрице, взбунтовалась из пустого страха; солдаты решили, что "матушка в опасности". Пришлось разбудить императрицу, чтобы они увидели ее собственными глазами. На другую ночь — новый бунт, еще более опасный. До тех пор покуда жив был император, основания для тревоги находились постоянно, и казалось, что покою не бывать.

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

Один из графов Орловых — ибо титул этот им был пожалован с самого первого дня, — тот самый солдат по прозвищу "меченый", что утаил записку княгини Дашковой, и некто Теплов, продвинувшийся из чинов самых низких благодаря особенному искусству устранять соперников, вместе пришли к несчастному государю; войдя, они объявили, что отобедают вместе с ним; перед трапезой, по русскому обычаю, подавали стаканы с водкой. Стакан, выпитый императором, был с ядом. Оттого ли, что они спешили возвестить о победе, оттого ли, что, ужаснувшись деянию своему, решили покончить с ним поскорее, но через минуту они пожелали налить государю второй стакан. Он отказался — внутренности его уже пылали, и свирепые лица вызвали в нем подозрения; они применили силу, чтобы заставить его выпить, он — чтобы их оттолкнуть. Вступив в страшную эту схватку, убийцы, дабы заглушить крики, которые слышны были уже издалека, набросились на императора, схватили за горло, повалили наземь; но поскольку он защищался так, как только может человек, доведенный до крайнего отчаяния, а они избегали наносить ему раны, ибо им приходилось опасаться за свою судьбу, то они призвали на подмогу двух верных офицеров из царской охраны, находившихся в тот миг снаружи, у дверей тюрьмы. То был самый юный из князей, Барятинский, и некто Потемкин семнадцати лет от роду. Участвуя в этом заговоре, они выказали такое рвение, что, несмотря на крайнюю молодость, им было поручено сторожить императора. Они прибежали, трое убийц завязали и стянули салфетку вокруг шеи несчастного государя, в то время как Орлов, став коленями ему на грудь, давил его и не давал дышать; так они наконец его удушили, и он безжизненно повис у них на руках.

В точности неизвестно, каково было участие императрицы в этом событии; но достоверно то, что в день, когда все произошло, государыня в большом веселии приступала к обеду, как вдруг вошел к ней тот самый Орлов, встрепанный, покрытый потом и пылью, в разорванных одеждах и со смятенным лицом, выражавшим ужас и нетерпение. Войдя, сверкающими, тревожными глазами своими искал он взора императрицы. Та молча поднялась и прошла в кабинет, куда он последовал за нею и куда через несколько минут велела она призвать графа Панина, назначенного уже ее министром; она известила его о том, что император скончался. Панин посоветовал переждать ночь и распространить весть назавтра, так, словно она получена ночью. Совет был принят, и императрица, как ни в чем не бывало, возвратившись к столу, продолжала обед с прежней веселостью. Назавтра же, когда всех оповестили, что Петр скончался от геморроидальной колики, она явилась на людях заплаканной и огласила утрату свою посредством указа».

Осматривая парк в Ораниенбауме, обширный и красивый, я посетил многие из беседок, в которых императрица Екатерина назначала любовные свидания; есть среди них великолепные; есть и такие, где владычествуют дурной вкус и ребячество в отделке; в целом архитектуре сих сооружений недостает стиля и величия; но для того употребления, к какому предназначало их местное божество, они вполне пригодны.

Вернувшись в Петергоф, я в третий раз ночевал в театре.

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

Нынче утром, возвращаясь обратно в Петербург, я поехал через Красное Село, где разбит весьма любопытный военный лагерь. Одни говорят, что здесь в палатках либо по окрестным деревням размещаются сорок тысяч человек императорской гвардии, другие говорят — семьдесят тысяч. В России каждый убеждает меня, что его цифра верна, но ничто не привлекает менее моего интереса, нежели сии произвольные подсчеты, ибо нет ничего более лживого. Восхищает меня лишь упорство, с которым здесь стараются вас обмануть относительно подобных вещей. Притворство тут такого рода, что отдает ребячеством.

Народы избавляются от него, когда из детства вступают в зрелость.

Мне доставило удовольствие наблюдать разнообразие мундиров и сравнивать между собою выразительные, дикие лица отборных солдат, свезенных сюда со всех концов империи; длинные ряды белых палаток сверкали под солнцем, повторяя неровности местности, которую издали можно было почесть плоской, но которая, если по ней ходить, оказывается сильно пересеченной и довольно живописной. Всякий миг сожалею я о том, сколь бессильны слова мои изобразить некоторые северные места и в особенности некоторые световые эффекты. Несколько мазков на холсте позволили бы вам лучше представить себе эту унылую, ни на что не похожую страну, нежели целые тома описаний.

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

Политическое суеверие. — Последствия абсолютной власти. — Ответственность императора. — Число утонувших в Петергофе. — Гибель двух англичан. — Их мать. — Отрывок из одного письма. — Рассказ живописца об этом происшествии. — Извлечение из «Журналь де Деба» за октябрь 1842 года. — Пагубная осмотрительность. — Беспорядок на пароходе. — Судно, спасенное одним англичанином. — Что означает в России вести себя тактично. — Чего России недостает. — Следствие здешнего образа правления: что должен испытывать из-за него император. — Дух русской полиции. — Исчезновение горничной. — Замалчивание подобных фактов. — Учтивость простолюдинов. — Что она означает. — Два кучера. — Жестокость фельдъегеря. — Для чего в подобной стране нужно христианство. — Обманчивое спокойствие. — Ссора грузчиков на судне, груженном дровами. — Проливается кровь. — Как действуют полицейские. — Возмутительная жестокость. — Подобное обращение унизительно для всех. — Как смотрят на это русские. — Острота архиепископа Тарантского. — О религии в России. —Два вида цивилизации. — Общество, движимое тщеславием. — Император Николай возводит Александрову колонну. — Реформа языка. — Как придворные дамы обходят повеления императора. — Собор Святого Исаака. — Его необъятность. — Дух греческой веры. — Различие между католической церковью и церквами схизматическими. — Порабощенность греческой церкви — плод насилия, учиненного над нею Петром I. — Беседа с одним французом. — Арестантская повозка. — Какая существует связь между политикой и богословием. — Бунт, вызванный одной фразой императора. — Кровавые сцены на берегу Волги. — Лицемерие русского правительства. — История поэта Пушкина. — Особое положение его как поэта. — Его ревность. — Дуэль со свояком. — Пушкин убит. — Действие, произведенное его смертью. — Как император отдал дань всеобщей скорби. — Юный энтузиаст. — Ода к императору. — Какого вознаграждения она удостоилась. — Кавказ. — Характер пушкинского дарования. — Язык великосветских особ в России. — Злоупотребление иностранными языками. — Последствия маниакального пристрастия к английским гувернанткам во Франции. — Превосходство китайцев. — Смешение языков. — Руссо. — Революция, грозящая французскому вкусу.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Петербург, 29 июля 1839 года 850

Сегодня утром сумел я получить последние сведения о бедствиях, случившихся во время празднества в Петергофе, и они превзошли все мои ожидания. Впрочем, мы никогда не узнаем точно истинных обстоятельств этого происшествия. Всякий несчастный случай считается здесь делом государственной важности — ведь это значит, что господь Бог забыл свой долг перед императором.

Душа этого общества есть политическое суеверие, которое возлагает на государя заботу обо всех невзгодах слабых, терпящих от сильных, обо всех земных жалобах на то, что ниспослано небесами; когда мой пес поранится, он приходит за исцелением ко мне; когда Господь карает русских, они взывают к царю. Государь здесь ни за что не несет ответственности как политик, зато играет роль провидения, которое отвечает за все: таково естественное следствие узурпации человеком прав Бога. Если монарх соглашается, чтобы его считали кем-то большим, нежели простым смертным, он принимает на себя все то зло, какое небо может ниспослать на землю во время его правления; подобного рода политический фанатизм порождает такие щекотливые ситуации, такую мрачную подозрительность, о каких не имеют представления ни в одной другой стране. В довершение 850
всего тайна, которой здешняя полиция почитает нужным окружать несчастья, ни в коей мере не зависящие от воли человека, бесполезна постольку, поскольку оставляет свободу воображению; всякий рассказывает об одних и тех же событиях по-разному, в соответствии со своими интересами, опасениями, в зависимости от своего тщеславия или нрава, от того, какого мнения велит ему держаться должность при дворе и положение в свете; происходит из этого то, что истина в Петербурге становится чем-то умозрительным — тем же, чем стала она во Франции по причинам прямо противоположным: и произвол цензуры, и ничем не ограниченная свобода способны привести к сходным результатам и сделать невозможной проверку простейших фактов.

Так, одни говорят, что позавчера погибло всего лишь тринадцать человек, в то время как другие называют цифру в тысячу двести, две тысячи, а третьи — в сто пятьдесят: судите сами, насколько не уверены мы во всем, если уж обстоятельства происшествия, случившегося, можно сказать, на наших глазах, навсегда останутся неясными даже для нас самих.

Я не перестаю удивляться, видя, что существует на свете народ настолько беззаботный, чтобы спокойно жить и умирать в этой полутьме, дарованной ему неусыпным надзором повелителей. До сих пор я полагал, что дух человека уже не может больше обходиться без истины, как тело его не может обходиться без солнца и воздуха; путешествие в Россию вывело меня из этого заблуждения. Истина — потребность лишь избранных душ либо самых передовых наций; простонародье довольствуется ложью, потворствующей его страстям и привычкам; лгать в этой стране означает охранять общество, сказать же правду значит совершить государственный переворот.[1]

[1] **См. примечание на странице 253.**

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Вот два эпизода, за достоверность которых я ручаюсь.

Семейство, недавно перебравшееся из провинции в Петербург, — господа, прислуга, женщины, дети, в общей сложности девять человек, — опрометчиво погрузились в беспалубную лодку, слишком хрупкую, чтобы выдержать морские волны; налетел град — и больше никого из них не видели; поиски на побережье продолжаются уже три дня, но сегодня утром еще не обнаружено никаких следов этих несчастных, у которых нет родни в Петербурге, и потому заявили об их исчезновении только соседи. В конце концов нашли челнок, на котором они плыли: он перевернулся и был выброшен на песчаную косу недалеко от берега, в трех милях от Петергофа и шести от Петербурга; люди же, и матросы, и пассажиры, исчезли бесследно. Вот уже бесспорных девять погибших, не считая моряков, — а число маленьких лодочек, затонувших, подобно этой, весьма велико. Нынче утром пришли опечатывать двери пустого дома. Он расположен по соседству с моим — когда бы не это обстоятельство, я бы не стал вам рассказывать об этом факте, ибо ничего не знал бы о нем, как ничего не знаю о множестве других. Потемки политики непригляднее черноты полярного неба. А между тем, если все как следует взвесить, гораздо выгоднее было бы сказать правду, ибо когда от меня скрывают хоть малость, мне видится уже не малость, а нечто гораздо большее.

Вот еще один эпизод петергофской катастрофы.

Несколько дней назад в Петербург приехали трое молодых англичан; я знаком со старшим из них; их отец сейчас в Англии, а мать ожидает их в Карлсбаде. В день празднества в Петергофе двое младших садятся в лодку, оставив на берегу старшего брата, который отвечает отказом на их настойчивые приглашения, говоря, что нелюбопытен; и вот он твердо решает остаться, а двое братьев на его глазах отплывают на утлом суденышке, крича ему: «До завтра!»... Тремя часами позже оба погибли, и с ними множество женщин, несколько детей и двое-трое мужчин, находившихся на том же судне; спасся только один, матрос экипажа, отличный пловец. Несчастный брат, оставшийся в живых, едва ли не стыдится того, что не умер, и пребывает в невыразимом отчаянии; он готовится к отъезду — ему предстоит сообщить эту новость матери; та написала им, чтобы они не отказывались взглянуть на празднество в Петергофе, предоставила им полную свободу на тот случай, если им захочется продолжить путешествие, и повторила, что станет терпеливо ожидать их в Карлсбаде. Будь она требовательнее, возможно, она спасла бы им жизнь.

Вообразите, какое множество рассказов, споров, всяческого рода суждений, предположений, воплей вызвало бы подобное происшествие в любой другой стране, и особенно в нашей! Сколько газет объявили бы, сколько голосов стали бы повторять, что полиция никогда не исполняет своего долга, что лодки скверны, лодочники жадны, что власти не только не избавляют от опасности, но, напротив, лишь усиливают ее, то ли по легкомыслию, то ли по скаредности; наконец, что замужество великой княжны праздновалось в недобрый час, как и многие браки государей; и какой поток дат, намеков, цитат обрушился бы на наши головы!.. А здесь — ничего!!! Царит молчание, которое страшнее самой беды!.. Так,

пара строчек в газетке, без всяких подробностей, а при дворе, в городе, в великосветских салонах — ни слова; если же ничего не говорят здесь, то не говорят нигде: в Петербурге нет кафе, где можно было бы обсуждать газетные статьи, да и самих газет не существует; мелкие чиновники еще боязливее, чем вельможи, и если о чем-то не осмеливается говорить начальство, об этом тем более не говорят подчиненные; остаются купцы да лавочники: эти лукавы, как и все, кто хочет жить и благоденствовать в здешних краях. Если они и говорят о вещах важных, а значит, небезопасных, то только на ухо и с глазу на глаз.[1]

Русские дали себе слово не произносить вслух ничего, что могло бы разволновать императрицу; вот так ей и позволяют протанцевать всю жизнь до самой смерти! «Замолчите, а то она расстроится!» И пускай тонут дети, друзья, родные, любимые — никто не дерзнет плакать. Все слишком несчастны, чтобы жаловаться.

Русские — царедворцы во всем: в этой стране всякий — солдат казармы или церкви, шпион, тюремщик, палач — делает нечто большее, чем просто исполняет долг, он делает свое дело. Кто скажет мне, до чего может дойти общество, в основании которого не заложено человеческое достоинство?

Я не устаю повторять: чтобы вывести здешний народ из ничтожества, требуется все уничтожить и пересоздать заново.

На сей раз благочинное молчание вызвано было не просто лестью, но и страхом. Раб боится дурного настроения своего господина и изо всех сил старается,

[1] Думаю, я должен привести здесь отрывок из письма, что написала мне в нынешнем году одна женщина из числа моих друзей; рассказ ее ничего не добавит к тем деталям, о которых вы только что прочли, — разве только невероятная осторожность живописца-иностранца, который, оказавшись в парижском салоне, поведал о событии, случившемся в Петербурге тремя годами ранее, даст вам лучшее представление о подавлении умов в России, нежели мои слова. «Один итальянский живописец, что находился одновременно с вами в Санкт-Петербурге, живет теперь в Париже. Он, как и вы, рассказывал мне о катастрофе, в которой погибло около четырехсот человек. Говорил живописец шепотом. "Что ж, я знаю об этом, — отвечала я, — но отчего вы говорите шепотом?" — "О! оттого что император запретил мне об этом рассказывать". Я восхитилась подобным послушанием, не ведающим ни времени, ни расстояний. Но когда же вы, человек, не способный держать истину под спудом, напечатаете свои путевые заметки?»

Прилагаю к этому также выдержку из прекрасной статьи, напечатанной 13 октября 1842 года в «Журналь де Деба» по поводу книги, озаглавленной «Преследования и муки католической церкви в России».

«В октябре 1840 года машинисты двух поездов, шедших по железной дороге между Санкт-Петербургом и Царским Селом в противоположных направлениях, не смогли заметить друг друга в густом тумане, и поезда столкнулись. Все разлетелось вдребезги. Говорят, что пятьсот человек полегли на месте — убитыми, искалеченными, либо более или менее тяжело раненными. В Санкт-Петербурге же почти ничего не было об этом известно. Назавтра с самого раннего утра лишь несколько любопытных дерзнули отправиться к месту катастрофы; они обнаружили, что все обломки расчищены, погибшие и раненые увезены, и о случившемся напоминают лишь несколько полицейских, которые, допросив любопытных о причине визита, отчитали их за любопытство и грубо приказали разойтись по домам».

чтобы тот пребывал в спасительной веселости. Под рукой у взбешенного царя — кандалы, темница, кнут, Сибирь либо по крайней мере Кавказ, смягченный вариант Сибири, вполне удобный для деспотизма, каковой, в согласии с веком, день ото дня становится умереннее.

Нельзя отрицать, что в подобных обстоятельствах главной причиной беды стала беспечность властей: когда бы санкт-петербургским лодочникам не позволяли перегружать лодки или пускаться в плавание по заливу на слишком легких, не выдерживающих морских волн судах, все остались бы живы... а впрочем, кто знает? Русские вообще скверные моряки, с ними никогда нельзя чувствовать себя в безопасности. Сначала набирают длиннобородых азиатов в длиннополых одеждах, делают из них матросов, а потом удивляются, отчего корабли тонут!

I

В день празднества в Петергоф отплыл пароход, курсирующий обыкновенно между Петербургом и Кронштадтом. Несмотря на свои весьма основательные размеры и устойчивость, он едва не перевернулся, словно самый утлый челнок, и затонул бы, когда бы не один иностранец, находившийся среди пассажиров. Этот человек (англичанин), видя, как гибнет множество лодок совсем рядом с кораблем, и чувствуя, какой опасности подвергается и сам он, и весь экипаж, понял, что капитан толком не командует кораблем, и ему пришла счастливая мысль перерезать собственным ножом канаты тента, натянутого на верхней палубе для приятности и удобства пассажиров. Первая вещь, которую надобно сделать при малейшей угрозе непогоды, — это убрать тент, но русские не подумали о такой простой предосторожности, и, не прояви иностранец присутствия духа, судно бы неизбежно перевернулось. Оно уцелело, но потерпело аварию и вынуждено было, к великому счастью пассажиров, отказаться от дальнейшего плавания и спешно возвратилось в Петербург. Если бы англичанин, что спас его от крушения, не водил знакомства с другим англичанином, из числа моих друзей, я бы никогда не узнал, что этому судну грозила опасность. Я обмолвился о происшествии нескольким весьма осведомленным лицам: они подтвердили мне самый факт, но очень просили держать его в тайне!..

Когда бы в царствование российского императора случился всемирный потоп, то и тогда обсуждать сию катастрофу сочли бы неудобным.

850 Единственная из умственных способностей, какая здесь в чести, — это такт. Вообразите: целая нация сгибается под бременем сей салонной добродетели! Представьте себе народ, который весь сделался осторожен, будто начинающий дипломат, — и вы поймете, во что превращается в России удовольствие от беседы. Если придворный дух нам в тягость даже и при дворе — насколько же мертвяще действует он, проникнув в тайники нашей души!

Россия — нация немых; какой-то чародей превратил шестьдесят миллионов человек в механических кукол, и теперь для того, чтобы воскреснуть и снова начать жить, они ожидают мановения волшебной палочки другого чародея. Страна эта производит на меня впечатление дворца Спящей Красавицы: все здесь блистает позолотой и великолепием, здесь есть все... кроме свободы, то есть жизни.

Император не может не страдать от подобного положения вещей. Конечно, тот, кто рожден, чтобы править другими, любит повиновение; однако повиновение

человека стоит большего, нежели повиновение машины: угодливость столь тесно связана с ложью, что государь, окруженный холуями, никогда не будет знать того, что они вознамерятся от него скрыть; тем самым он обречен сомневаться в каждом слове, питать недоверие ко всякому человеку. Таков жребий абсолютного властелина; тщетно будет он выказывать доброту и стараться жить, как обычный человек, — силою обстоятельств он сделается нечувствительным помимо собственной воли; место, которое он занимает, — место деспота, а значит, он вынужден изведать его участь, проникнуться его чувствами либо по крайней мере играть его роль.

Злостная скрытность простирается здесь еще дальше, нежели вы думаете; русская полиция, столь скорая на мучения людей, весьма неспешна, когда люди эти обращаются к ней, дабы развеять свои сомнения относительно какого-нибудь факта.

Вот один образчик сей расчетливой неповоротливости. Одна моя знакомая во время последнего карнавала разрешила своей горничной отлучиться в воскресенье, на широкую масленицу; к ночи девушка не возвращается. Наутро хозяйка в сильном беспокойстве посылает справиться о ней в полицию.[1]

Там отвечают, что прошлой ночью в Петербурге никаких несчастных случаев не было и исчезнувшая девушка непременно в скором времени найдется, живая и здоровая.

В обманчивой этой уверенности проходит день — о ней ничего не слышно; наконец через день одному родственнику девушки, молодому человеку, довольно близко знакомому с тайными повадками местной полиции, приходит мысль отправиться в анатомический театр, и кто-то из друзей проводит его туда. Едва переступив порог, узнает он труп своей кузины, который ученики готовятся препарировать.

Как истинный русский, он сохраняет довольно самообладания, чтобы не выдать своего волнения.

— Что это за тело?

— Никто не знает; тело этой девушки, уже мертвой, нашли в позапрошлую ночь на такой-то улице; полагают, что она была задушена, когда решилась обороняться против людей, пытавшихся учинить над нею насилие.

— Кто эти люди?

— Мы не знаем; можно лишь строить на сей счет предположения — доказательств нет.

— Как это тело попало к вам?

— Нам его тайно продала полиция, так что помалкивайте об этом, — сей непременный рефрен уже почти превратился в слово-паразит, которым завершается каждая фраза, выговоренная русским либо усвоившим местные обычаи иностранцем. 850

[1] Я счел своим долгом изменить некоторые обстоятельства и не называть имен, по которым можно было бы опознать конкретных лиц; но суть событий сохранена в рассказе самым тщательным образом.

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

Признаю, пример сей не столь возмутителен, как преступление Бёрка в Англии, однако то охранительное молчание, какое свято блюдут здесь в отношении подобного рода злодеяний, — отличительная черта России.

Кузен промолчал, хозяйка жертвы не осмелилась принести жалобу; и теперь, полгода спустя, я, пожалуй, остаюсь единственным человеком, которому она поведала о смерти своей горничной, ведь я иностранец... и далек от писательства — так я ей сказал.

Вот видите, как исполняют свой долг мелкие полицейские агенты в России. Лживые эти чиновники извлекли двойную выгоду из торговли телом убитой: во-первых, выручили за него несколько рублей, а во-вторых, скрыли убийство, которое, когда бы о происшествии этом стало известно, навлекло бы на них суровый выговор.

Упреки же по адресу людей этого класса сопровождаются обычно, как мне кажется, непомерно жестокими расправами, призванными навеки запечатлеть речи упрекающего в памяти несчастного, который их выслушивает.

Русского простолюдина бьют в жизни так же часто, как и приветствуют. Для общественного воспитания сего народа, не столько цивилизованного, сколько приученного соблюдать этикет, в равных дозах и с равной действенностью отвешиваются и розги (в России розги — это нарезанные длинные прутья), и поклоны; быть битым может быть в России лишь человек, принадлежащий к определенному классу, и бить его может лишь человек из другого, тоже определенного класса. Дурное обхождение здесь упорядочено не хуже таможенных тарифов; все это напоминает свод законов Ивана Грозного. Здесь уважают кастовое достоинство, но до сих пор никто не подумал ввести ни в законодательство, ни даже в обычай достоинство человеческое. Вспомните, что я вам писал об учтивости русских из всех слоев общества. Предоставляю вам самому поразмыслить над тем, чего стоит сия воспитанность, и ограничусь лишь пересказом нескольких сцен из тех, что всякий день разворачиваются у меня на глазах.

Идя по улице, я видел, как два кучера дрожек (этого русского фиакра) при встрече церемонно сняли шляпы: здесь это общепринято; если они сколько-нибудь близко знакомы, то, проезжая мимо, прижимают с дружеским видом руку к губам и целуют ее, подмигивая весьма лукаво и выразительно, — такова тут вежливость. А вот каково правосудие: чуть дальше на той же улице увидел я конного курьера, фельдъегеря либо какого-то иного ничтожнейшего правительственного чиновника; выскочив из своей кареты, подбежал он к одному из тех самых воспитанных кучеров и стал жестоко избивать его кнутом, палкой и кулаками, удары которых безжалостно сыпались тому на грудь, лицо и голову; несчастный же, якобы недостаточно быстро посторонившийся, позволял колотить себя, не выказывая ни малейшего протеста или сопротивления — из почтения к мундиру и касте своего палача; но гнев последнего далеко не всегда утихает оттого, что провинившийся тотчас выказывает полную покорность.

Разве не на моих глазах один из подобных письмоносцев, курьер какого-нибудь министра, а может быть, разукрашенный галунами камердинер какого-нибудь императорского адъютанта, стащил с козел молодого кучера и прекратил

избивать его, лишь когда увидел, что лицо у того все залито кровью? Жертва сей экзекуции перенесла ее с поистине ангельским терпением, без малейшего сопротивления, так, как повинуются государеву приговору, как уступают какому-нибудь возмущению в природе; прохожих также нимало не взволновала подобная жестокость, больше того, один из товарищей потерпевшего, поивший своих лошадей в нескольких шагах оттуда, по знаку разъяренного фельдъегеря подбежал и держал поводья упряжки сего государственного мужа, покуда тот не соизволил завершить экзекуцию. Попробуйте в какой-нибудь другой стране попросить простолюдина помочь в расправе над его товарищем, которого наказывают по чьему-то произволу!.. Но чин и одеяние человека, наносившего удары, доставляли ему право избивать, не зная жалости, кучера фиакра, эти удары получавшего; стало быть, наказание было законным; я же на это говорю: тем хуже для страны, где узаконены подобные деяния.

Рассказанная мной сцена происходила в самом красивом квартале города, в час гулянья. Когда несчастного наконец отпустили, он вытер кровь, струившуюся по щекам, спокойно уселся обратно на козлы и снова пустился отвешивать поклоны при каждой новой встрече со своими собратьями.

Каков бы ни был его проступок, из-за него не случилось, однако, никаких серьезных происшествий. Вся эта мерзость, заметьте, здесь совершенно в порядке вещей и происходила в присутствии молчаливой толпы, которая не только не думала защищать или оправдывать виновного, но не осмеливалась даже задержаться надолго, чтобы поглазеть на возмездие. Нация, которой управляют по-христиански, возмутилась бы против подобной общественной дисциплины, уничтожающей всякую личную свободу. Но здесь все влияние священника сводится к тому, чтобы добиваться и от простого народа, и от знати крестного знамения и преклонения колен.

Несмотря на культ Святого Духа, нация эта всегда обнаруживает своего Бога на земле. Российский император, подобно Батыю или Тамерлану, обожествляется подданными; закон у русских — некрещеный.

Всякий день я слышу, как все нахваливают кроткие повадки, мирный нрав, вежливость санкт-петербургского люда. Где-нибудь в другом месте я бы восхищался подобным покоем; здесь же мне видится в нем самый жуткий симптом той болезни, о которой я скорблю. Все так дрожат от страха, что скрывают его за внешним спокойствием, каковое приносит удовлетворение угнетателю и ободрение угнетенному. Истинные тираны хотят, чтобы все кругом улыбались. Ужас, нависающий над каждым, делает покорность удобной для всех: все, и жертвы, и палачи, полагают, что не могут обойтись без повиновения, которое только умножает зло — и то, что чинят палачи, и то, что терпят на собственной шкуре жертвы.

Всем известно, что вмешательство полиции в драку между простолюдинами навлечет на забияк наказание гораздо более страшное, чем те удары, которыми они обмениваются втихомолку; вот все и избегают поднимать шум, ибо вслед за вспышкой гнева является карающий палач.

Вот, кстати, одна бурная сцена, свидетелем которой мне по случайности довелось стать нынче утром.

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

Я шел по берегу канала; его сплошь покрывали груженные дровами лодки. Какие-то люди перетаскивали дрова на землю, дабы возвести из них на своих телегах целые стены — в другом месте я уже описывал это сооружение, нечто вроде движущегося крепостного вала, который лошадь шагом тянет по улицам. Один из грузчиков, носивший дрова из лодки в тачку, чтобы довезти их до телеги, затевает ссору с товарищами; все бросаются в честную драку — точно так же, как наши носильщики. Зачинщик драки, чувствуя, что сила не на его стороне, обращается в бегство и с проворством белки взбирается на грот-мачту лодки; до сих пор сцена казалась мне скорее забавной: беглец, усевшись на рее, дразнит противников, менее ловких, чем он сам. Те же, видя, что их надежды отомстить не оправдались, и забыв, что они в России, переходят все границы привычной вежливости — иначе говоря, осторожности — и выражают свою ярость в оглушительных криках и зверских угрозах.

На всех улицах города стоят на известном расстоянии друг от друга полицейские в мундирах; двое из них, привлеченные воплями драчунов, являются к месту ссоры и требуют, чтобы зачинщик ее слез с реи. Тот отказывается, один из городовых прыгает на борт лодки, бунтовщик вцепляется в мачту, представитель власти повторяет свои требования, мятежник по-прежнему сопротивляется. Полицейский в ярости пытается залезть на мачту сам, и ему удается схватить строптивца за ногу. И что он делает, как вы думаете? Он изо всех сил тянет противника вниз — без всяких предосторожностей, нимало не заботясь о том, как бедняга будет спускаться; тот же, отчаявшись избежать наказания, отдается наконец на волю судьбы: перевернувшись, он падает навзничь, головой вниз, с высоты в два человеческих роста, на поленницу дров, и тело его распластывается на ней, словно куль.

Судите сами, насколько жестоким было падение! Голова несчастного подскочила на поленьях, и звук удара достиг даже моего слуха, хотя я стоял в полусотне шагов. Я считал, что этот человек убит; кровь заливала его лицо; однако ж, оправившись от первого потрясения, бедный, попавший в ловушку дикарь встает на ноги; лицо его, насколько видно под пятнами крови, ужасающе бледно; он принимается реветь, как бык; жуткие эти крики ослабляли отчасти мое сострадание — мне казалось, что теперь это всего лишь зверь, и напрасно я переживал за него, словно за себе подобного. Чем громче выл этот человек, тем сильнее ожесточалось мое сердце — ибо нельзя отрицать, что по-настоящему сочувствовать живому существу и разделять его муки можно, только если существо это хоть отчасти сохраняет чувство собственного достоинства!.. Жалость есть сопереживание — а какой человек, сколь бы ни был он сострадателен, захочет сопереживать тому, кого он презирает?

Грузчик сопротивляется отчаянно и довольно долго, но наконец сдается; быстро подплывает маленькая лодчонка, пригнанная в тот же миг другими полицейскими, арестанта связывают и, стянув ему руки за спиной, швыряют ничком на дно лодки; за этим вторым падением, не менее жестоким, следует целый град ударов; но и это еще не все, предварительная пытка не кончилась — городовой, поймавший его, едва увидев свою жертву поверженной, вспрыгивает на нее

ногами; я подошел ближе и потому рассказываю о том, что видел своими глазами. Палач спустился в лодку и, ступив на спину несчастному, стал пинать ногами этого беднягу пуще прежнего и топтать его так, словно это были виноградные гроздья в давильне. Поначалу дикие вопли узника возобновились с удвоенной силой; но когда по ходу сей ужасающей экзекуции они стали слабеть, я почувствовал, что силы оставляют и меня самого, и поспешно удалился: я не мог ничему помешать, но видел слишком много... Вот что случилось на моих глазах, посреди улицы, в тот самый миг, когда я хотел развеяться на прогулке и хотя бы несколько дней отдохнуть от своего ремесла странствующего писателя. Но как здесь удержаться от негодования? Оно тотчас заставило меня снова взяться за перо.

Что меня возмущает, так это зрелище самой утонченной элегантности, соседствующей со столь отвратительным варварством. Когда бы в жизни света было меньше роскоши и изнеженности, положение простонародья внушало бы мне меньше жалости. Здесь же богатые — не соотечественники бедным. Из-за подобных фактов и всего того, что, как можно догадаться, за ними стоит, я возненавидел бы и прекраснейшую на свете страну — тем более отвратительными предстают мне из-за них выкрашенная степь и оштукатуренное болото. Что за преувеличение! — вскричат русские!.. — экие высокие словеса из-за сущей ерунды! Я знаю, вы считаете подобные вещи ерундой, но именно это я и ставлю вам в упрек; вы привычны к такого рода ужасам, и привычка объясняет ваше к ним равнодушие, но не оправдывает его. Веревки, которыми на ваших глазах связывают человека, имеют для вас не больше значения, чем ошейники, что надевают на ваших охотничьих собак.

Подобные действия, согласен, отвечают вашим нравам, ибо на лицах зрителей этих гнусностей, а среди них были люди всякого сословия, я не уловил ни тени осуждения или ужаса. Если в виде извинения вы сошлетесь на это молчаливое одобрение толпы, то здесь мне возразить нечего.

До смерти забивать человека среди бела дня, на людной улице, прежде, чем он предстанет перед судом, — все это кажется петербургской публике и местным сбирам делом совершенно естественным. Буржуа, вельможи, солдаты, горожане, бедные и богатые, знать и мелкий люд, щеголи и мужики, деревенщина и денди — все как один позволяют, чтобы у них на глазах совершались подобные вещи, нимало не заботясь о том, насколько они законны. В других странах все защищают гражданина от представителя власти, злоупотребляющего ею; здесь же полицейский чиновник всегда защищен от справедливых протестов человека, над которым он надругался. Ведь раб никогда не протестует.

Император Николай создал свод законов! Если факты, о которых я повествую, согласуются с этими законами, то тем хуже для законодателя; если же факты эти противозаконны, то тем хуже для правителя. И в том, и в другом случае ответственность лежит на императоре. Принять на свои плечи бремя, подобающее божеству, будучи всего лишь человеком, — что за несчастье! а ведь он вынужден его принять! Абсолютную власть следует вверять лишь ангелам. 851

На точности фактов, мною описанных, я настаиваю; в рассказе, который вы только что прочли, не прибавлено и не искажено ни единого жеста; я возвратился

домой, дабы добавить его к своему письму, когда сцена эта еще стояла перед моим мысленным взором в мельчайших подробностях.[1]

Когда бы можно было обнародовать в Петербурге подобные детали — с комментариями, необходимыми, дабы их заметили умы, пресыщенные всякого рода зверствами и беззакониями, — они не произвели бы того благотворного действия, на какое можно было бы рассчитывать. Русские власти повелели бы городской полиции выказывать отныне более мягкости в обращении с простонародьем, хотя бы ради того, чтобы потрафить взорам чувствительных иностранцев — вот и все!.. Нравы народа — продукт постепенного воздействия законов на обычаи и обычаев на законы; они не меняются по мановению волшебной палочки. Нравы русских жестоки, несмотря на все претензии этих полудикарей, и еще долго будут таковыми оставаться. Еще не прошло и столетия с тех пор, как они были настоящими татарами; лишь Петр Великий стал принуждать мужчин брать с собой жен на ассамблеи; и многие из этих выскочек цивилизации сохранили под теперешним своим изяществом медвежью шкуру: они всего лишь вывернули ее наизнанку, но стоит их поскрести, как шерсть появляется снова и встает дыбом.[2]

Ныне, когда народ сей миновал эпоху рыцарства, из которой нации Западной Европы в юности извлекли для себя такую пользу, ему нужна была бы религия независимая и победоносная; в России есть вера — но вера политическая не раскрепощает духа человека, она замыкает его в тесном кругу природных страстей; восприми русские католическую веру, они бы восприняли вскоре и те общие идеи, в основании которых лежит разумная образованность и свобода, соответствующая степени просвещенности этого народа; что до меня, то я убежден -- когда бы русские сумели достигнуть этих высот, они возвысились бы над всем миром. Болезнь в России запущена, а лекарства, что применялись до сей поры, воздействовали лишь на поверхность кожи, они не лечили рану, но скрывали ее от глаз. Настоящая цивилизация распространяется из центра на окраины, тогда как цивилизация русская распространилась с окраин в центр: она не что иное, как подкрашенное варварство.

Из того, что дикарь наделен тщеславием светского человека, нимало не следует, что он обладает и соответствующей культурой. Я говорил уже и повторю еще раз, и, быть может, не последний: русские гораздо более озабочены тем, что-
851 бы заставить нас поверить в свою цивилизованность, нежели тем, чтобы стать цивилизованными на самом деле. До тех пор, покуда эта болезнь, тщеславная приверженность ко всему показному, будет разъедать их сердце и извращать ум, у них будет несколько вельмож, способных разыгрывать элегантность и у себя на родине, и за границей, но по сути своей они останутся варварами; к несчастью, у этих дикарей есть огнестрельное оружие.

[1] Нелишне повторить, что письмо это, равно как и почти все остальные, я тщательно хранил в тайне все время, пока был в России.

851 [2] Это слова архиепископа Тарантского, чей весьма занимательный и исчерпывающий портрет недавно создал г-н Валери в своей книге «Итальянские анекдоты и достопримечательности». По-моему, ту же мысль еще более энергично высказывал император Наполеон. Впрочем, она приходит в голову всякому, кто близко наблюдает русских.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Пример императора Николая подтверждает мою оценку; он еще прежде меня подумал о том, что время показной культуры для России прошло и что все здание цивилизации в этой стране требует перестройки; он подвел под общество новый фундамент; Петр, прозванный Великим, не оставил бы от него камня на камне и выстроил заново — Николай действует тоньше. Дабы вернее достигнуть цели, он скрывает ее. Во мне поднимается волна почтения к этому человеку: всю силу своей воли направляет он на потаенную борьбу с тем, что создано гением Петра Великого; он боготворит сего великого реформатора, но возвращает к естественному состоянию нацию, которая более столетия назад была сбита с истинного своего пути и призвана к рабскому подражательству.

Мысль нынешнего императора находит воплощение даже на улицах Петербурга: он не возводит для собственного развлечения скороспелых колоннад из оштукатуренного кирпича; повсюду заменяет он кажущееся на подлинное, повсюду камень вытесняет гипс, а здания мощной, основательной архитектуры изгоняют прельстительное, но ложное величие. Дабы народ смог усвоить истинную цивилизованность и сделался достоин ее, ибо без этого ни одна нация не сможет трудиться для будущего, его следует обязательно вернуть сначала к исконному его характеру; чтобы народ смог произвести все то, на что способен, нужно не заставлять его копировать иностранцев, а развивать его национальный дух во всей его самобытности. Ближе всего к Божеству в этом мире находится природа. Природа зовет русских на великие дела, тогда как во все время их так называемого приобщения к цивилизации их занимали разными безделками; император Николай понял призвание русских лучше своих предшественников, и в царствование его все возвратилось к правде и потому обрело величие.

Над Петербургом высится колонна: это самый большой кусок гранита, когда-либо обработанный человеком, включая и египетские памятники. В один прекрасный день на площадь перед императорским дворцом стеклись, не теснясь, без давки, семьдесят тысяч солдат, двор, весь город и часть пригородных деревень, дабы в благоговейном молчании наблюдать чудесное воздвижение сего 852
памятника, задуманного, исполненного и доставленного на место французом, г-ном де Монферраном — ибо французы все еще нужны русским. Сказочные машины работают исправно; механизмы оживляют камень, и в тот миг, когда, освобождаясь от пут и словно живя своей собственной жизнью, двигаясь сама по себе, колонна поднимается ввысь, все войско, толпа, даже сам император падают на колени, дабы возблагодарить Бога за подобное чудо и вознести ему хвалу за те великие дела, какие он дозволяет им свершать. Вот что такое для меня национальный праздник: это не лесть, слишком похожая на сатиру, как маскарад в Петергофе, это не жанровая сценка, это историческое полотно, и притом в самом высоком стиле. Великое и малое, дурное и возвышенное — нет таких противоположностей, каких не включало бы в себя устройство этой ни на что не похожей страны, а общее молчание не дает кончиться чуду и сломаться отлаженной машине.

Реформа императора Николая затрагивает даже язык его окружения — царь требует, чтобы при дворе говорили по-русски. Большинство светских дам,

особенно уроженки Петербурга, не знают родного языка; однако ж они выучивают несколько русских фраз и, дабы не ослушаться императора, произносят их, когда он проходит по тем залам дворца, где они в данный момент исполняют свою службу; одна из них всегда караулит, чтобы вовремя подать условный знак, предупреждая о появлении императора — беседы по-французски тут же смолкают, и дворец оглашается русскими фразами, призванными ублажить слух самодержца; государь гордится собой, видя, доколе простирается власть его реформ, а его непокорные проказницы-подданные хохочут, едва он выйдет за дверь... Не знаю, что больше поразило меня в зрелище сего громадного могущества — сила его или слабость!

Однако, как всякий истинный реформатор, император наделен той настойчивостью, какая в конце концов всегда приносит успех.

На оконечности огромной, величиной с целое поле, площади, посреди которой высится колонна, перед вашим взором встает гранитная гора — петербургский собор Святого Исаака. Памятник этот не так пышен, не так прекрасен по очертаниям и не так богат украшениями, как собор Святого Петра в Риме, однако не менее удивителен. Он еще не завершен, так что судить о нем в целом невозможно, однако это будет творение, никак не соотносимое с тем, на что дух нашего столетия подвигает нынче другие народы. Материалы его — гранит, бронза и железо, ничего больше. Цвета он впечатляющего, но мрачного; сей дивный храм, заложенный при Александре, вскоре будет завершен при Николае — тем же французом, г-ном де Монферраном, что возвел столп.

Сколько усилий — и все ради церковного культа, изуродованного политикой! Ну так что ж? разве не прозвучит под этими сводами слово Божье? Но с амвонов византийских храмов истина более не возвещается. Пренебрегая заветами Афанасия Великого, Иоанна Златоуста, русские священники не проповедуют религию своим соотечественникам. Греко-московская церковь сокращает число слов в богослужении, протестанты же, напротив, все богослужение сводят к одним словам, — ни те, ни другие не желают внимать Христу, который, сзывая со всех концов земли свою заблудшую паству, с крестом в руках возвещает с кафедры собора Святого Петра: «Придите ко мне все, чистые сердцем, имеющие уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть!..»

Императору помогают целые полчища солдат и художников, но сколько бы он ни напрягал свои силы, ему никогда не наделить греческую Церковь тем могуществом, в каком ей отказано Богом; ее можно сделать карающей, но нельзя сделать апостольской, проповедующей, иначе говоря, *цивилизующей* и торжествующей в мире нравственном — заставить людей подчиняться еще не значит обратить их в истинную веру. В этой Церкви, политической и национальной, нет ни нравственной жизни, ни жизни небесной. Тот, кто лишен независимости, лишен в конечном счете всего. Схизма, разлучив священника с его независимым, вечным владыкой, немедля предала его в руки владыки временного, преходящего: бунт, таким образом, наказывается рабством. Когда бы орудие подавления стало одновременно и орудием освобождения, пришлось бы усомниться в том, что Бог существует.

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

Католическая Церковь и в самые кровавые исторические эпохи не прекращала трудиться над духовным освобождением народов; пастырь-изменник продавал Бога небесного Богу земному, дабы тиранить людей во имя Христово — но сей нечестивый пастырь, даже предавая смерти тело, продолжал просвещать дух: сколь бы ни удалялся он от пути истинного, он, однако, принадлежал к Церкви, наделенной жизнью и светом истины; греческий священник не дарует ни жизни, ни смерти: он сам мертвец.

Крестные знамения, приветствия на улицах, преклонение колен перед часовнями, набожные старухи, простертые ниц на полу церкви, целование руки; а еще жена, дети и всеобщее презрение — вот и все плоды, что пожинает поп за свое отречение; это все, чего сумел он добиться от суевернейшей на свете нации... Каков урок! и каково наказание! Взирайте и преклоняйтесь: в тот самый миг, когда торжествует схизма, пастыря-схизматика поражает бессилие. Когда священник желает захватить в свои руки временную, преходящую власть, он гибнет, ибо взоры его не достигают тех высот, с каких открывается путь, назначенный Господом; когда священник позволяет, чтобы с кафедры его смещал царь, он гибнет, ибо ему не хватает смелости следовать этим путем: оба равно не могут исполнить высшего своего предназначения.

Разве не обременил Петр I свою совесть изрядным грузом ответственности, взвалив на себя и своих наследников то подобие независимости, те остатки свободы, что еще сохраняла за собой несчастная Церковь? Дело, им затеянное, было 854
не под силу человеку; с того момента положить конец схизме стало невозможно, — если, конечно, судить с точки зрения разума и если рассматривать род человеческий с чисто человеческой стороны. 854

Я не препятствую вольному бродяжничеству своей мысли, ибо, позволяя ей перескакивать с предмета на предмет, с идеи на идею, я изображаю Россию всю целиком: будь я последовательнее в своих описаниях, я рисковал бы упереться в слишком кричащие противоречия и, дабы избегнуть упрека в нелогичности, отступлениях от темы или в сбивчивости, лишился бы возможностей представить вам истину так, как предстает она мне, — во всех своих проявлениях разом. Положение простонародья, величие императора, внешний вид улиц, красота архитектурных памятников, отупение умов вследствие вырождения религиозного начала — все это поражает мой взор в единый миг и, так сказать, разом ложится на бумагу под моим пером; и все это — сама Россия, чей главный жизненный принцип открывается моей мысли в связи с предметами, по видимости самыми незначительными.

Это еще не все, я пока не закончил своих сентиментальных странствований. Вчера я прогуливался вместе с одним весьма неглупым французом, хорошо зна- 854
ющим Петербург; место учителя в весьма знатном семействе позволяет ему приблизиться к познанию истины, которую мы, проезжие чужестранцы, тщетно пытаемся понять. Так вот, он полагает, что суждения мои о России слишком лестны. При мысли о тех упреках, какие сделают мне русские, я смеюсь его упрекам и всегда повторяю, что сужу искренне, ибо ненавижу то, что представляется мне дурным, и восхищаюсь тем, что мне кажется хорошим, — как здесь, так и

в любой другой стране. Сей француз постоянно живет среди русских аристократов; это придает его взглядам некий весьма занятный оттенок.

Мы шли куда глаза глядят; оказавшись в середине Невского проспекта, самой прекрасной и людной улицы города, мы замедлили шаг, чтобы подольше задержаться на тротуарах сего блистательного променада; я пребывал в восхищении. Вдруг возникает перед нами черная или темно-зеленая карета — длинная, прямоугольной формы, довольно низкая и запертая со всех сторон. Будто громадный гроб положили на каркас телеги. Воздух и свет проникали в эту движущуюся могилу через четыре крошечных оконца, забранных железными решетками, около шести квадратных дюймов каждое; мальчик лет самое большее восьми-десяти правил парой лошадей, запряженных в это устройство; к моему большому удивлению, за ним следовало довольно много солдат. Я спрашиваю у провожатого своего, для чего может быть нужен столь необыкновенный экипаж — и не успеваю еще окончить вопроса, как ответом мне служит появившееся в одном из окошек этого ящика изможденное лицо: такая карета используется для перевозки заключенных к месту назначения.

— Это у русских арестантская повозка, — говорит мой спутник. — Конечно, нечто подобное есть и в других странах, но там это предмет всеобщей ненависти, и его по возможности прячут с глаз долой; вам не кажется, что здесь его, наоборот, выставляют напоказ? ну и правительство!

— Но не забывайте, с какими трудностями оно сталкивается, — возразил я.

— Ах! вы все еще верите их золоченым словесам; русские власти сделают из вас все, что им угодно, так и знайте.

— Я пытаюсь встать на их точку зрения: ничто не требует таких осторожных оценок, как точка зрения людей, стоящих у власти, ведь они не вольны в своем выборе. Всякое правительство вынуждено исходить из свершившихся фактов; тот порядок вещей, какой призвано энергически защищать и понемногу совершенствовать это правительство, создан не им. Когда бы железная дисциплина, которой повинуется этот еще полудикий народ, на миг перестала всей тяжестью давить на него, все общество перевернулось бы вверх дном.

— Так они вам говорят; но пресловутая эта необходимость всем им на руку, не сомневайтесь: те, кто больше всех жалуется на строгости, к которым, по их словам, они вынуждены прибегать, отказались бы от этих строгостей лишь скрепя сердце; в глубине души им нравится ничем не ограниченная власть — так легче все приводить в движение. Кто же с охотой пожертвует тем, что облегчает ему задачу? Попробуйте потребовать от проповедника, чтобы он, обращая к вере закоренелых грешников, обходился без ада! Ад для богословов — все равно что смертная казнь для правителей:[1] поначалу они прибегают к нему с сожалением, как к необходимому злу, а в конце концов входят во вкус и ремесло свое почитают в том, чтобы проклясть большую часть рода человеческого. Точно так же и со строгостями политическими: прежде чем пустить их в ход, их боятся, но потом, когда видят их действенность, начинают любить; именно так и случается в этой

[1] Не забывайте, пожалуйста, что это не мои слова.

стране на каждом шагу, не сомневайтесь; по-моему, здешние власти сами, по своей охоте, создают поводы посвирепствовать — из опасения утратить к этому привычку. Разве вам не известно, что как раз теперь происходит на Волге? 854

— Я слышал, что там были серьезные волнения, но их быстро подавили.

— Верно, но какой ценой? Да и скажи я вам, что все эти ужасные беспорядки — результат одного только слова, произнесенного императором...

— Я никогда не поверю, что он одобрял подобные ужасы.

— Я совсем не то хочу сказать; однако ж именно его слово — сказанное, согласен, без всякого умысла, — и породило это зло. Вот как было дело. Удел императорских крестьян, несмотря на бесчинства царских управляющих, все же лучше, чем участь прочих рабов-крепостных, и как только государь обзаводится каким-нибудь новым владением, жители приобретенных короной земель становятся предметом зависти со стороны всех своих соседей. В последний раз он купил немалое владение в том самом уезде, что впоследствии взбунтовался; немедля со всех концов уезда отрядили крестьян к новым управляющим императорскими землями — молить императора купить в придачу и окрестные угодья вместе с людьми; посланцы от крепостных были отправлены и в самый Петербург — император их принимает, обходится с ними по-доброму, однако ж, к великому их сожалению, покупать отказывается. Не могу же я купить всю Россию, отвечает он им, но надеюсь, настанет время, когда каждый крестьянин в этой империи будет свободным; если бы все зависело только от меня, русские уже сегодня получили бы волю; я желаю им обрести ее в будущем и ради этого тружусь не покладая рук. 85Г.

— Что ж, мне такой ответ кажется весьма разумным, искренним и человеколюбивым.

— Конечно, но императору следовало бы знать, к кому он обращает свои слова, и не делать так, чтобы из-за его нежных чувств к крепостным те стали резать дворян. От этой речи, пересказанной людьми дикими и завистливыми, заполыхал весь уезд. А потом пришлось наказывать простой народ за преступления, которые его заставили совершить. *«Батюшка* желает нашего освобождения, — возглашают посланцы, вернувшись из столицы на волжские берега. — Он печется лишь о нашем счастье, он сам говорил, а значит, господа и все их приставы — наши враги, они противятся добрым намерениям *Батюшки!* так отомстим же за себя, отомстим за императора!» И вот уже крестьяне набрасываются на своих господ, почитая, будто творят богоугодное дело, и враз истребляют всех дворян и управляющих с семьями в целом уезде. Одного насаживают на вертел и жарят живьем, другого варят в котле, вспарывают животы уполномоченным, убивают любыми способами представителей власти, не щадят ни одного встречного, предают города огню и мечу, в общем, превращают уезд в пустыню — и не во имя свободы, они не ведают, что это такое, но во имя собственного избавления и с криком «Да здравствует император!»: смысл этих слов для них ясен и совершенно определен.

— Быть может, кого-то из этих людоедов мы только что и видели в клетке для узников. Тут, знаете ли, есть от чего уняться нашему филантропическому

возмущению... Вот и попробуйте проявлять в обращении с подобными дикарями то же милосердие, какого вы требуете от западных правительств!

— Надо было постепенно, шаг за шагом, менять умы и души населения, а вместо этого находят более удобным сменить ему жилище: после каждой сцены вроде этой происходит массовое переселение целых деревень и уездов; местные жители никогда не уверены, что их территория останется за ними; в результате подобной системы человек, привязанный к своему клочку земли, даже и в рабстве оказывается лишен единственного утешения, возможного в его положении, — постоянства, привычки, привязанности к своему углу. Какое-то дьявольское сочетание: он постоянно переезжает с места на место, но не ведает, что такое воля. По одному слову государя крестьянина, как дерево, выкорчевывают, вырывают с корнем из родной земли и шлют на погибель или на муки куда-нибудь на край света; что станется с селянином, чья жизнь неотделима от окружающих предметов,[1] если пересадить его в почву, не бывшую свидетельницей его рождения? Крестьянин, которого постоянно сметают ураганы, разражающиеся по воле верховной власти, больше не любит своей хижины — единственного, что он мог бы любить в этом мире; он ненавидит жизнь и небрежет своим долгом, ибо человеку, чтобы он осознал свои обязанности, надобно дать немножко счастья: несчастье учит его только лицемерить и бунтовать. Личный интерес — это, конечно, не основа морали, но хотя бы подпорка ее. Когда бы мне было дозволено пересказать вам те достоверные подробности событий в ***, которые я узнал вчера, вы бы содрогнулись.

— Изменить дух народа очень трудно; это дело не одного дня и даже не одного царствования.

— Но разве кто-то искренне пытается это сделать?

— Думаю, что да, только соблюдая осторожность.

— То, что вы называете осторожностью, я называю притворством; вы не знаете императора.

— Его можно обвинять в непреклонности, но не в притворстве; впрочем, у государя непреклонность — это скорее достоинство.

— Я мог бы это опровергнуть, но не хочу отвлекаться от темы; вы полагаете, будто у императора искренний характер? Припомните, как он себя вел, когда умер Пушкин.

— Я не знаю, как обстояло дело.

Беседуя таким образом, мы дошли до Марсова поля, обширной равнины, с виду пустынной, хоть она и расположена в самом центре города; но размеры ее таковы, что люди на ней теряются — приближение их заметно издалека, и потому разговаривать здесь можно в большей безопасности, нежели в собственной комнате. Мой чичероне продолжает рассказ:

855 — Пушкин, как вы знаете, был величайший поэт России.

— Не нам о том судить.

[1] Русский человек меньше любого другого страдает от такой перемены благодаря однообразию природы в его стране и простоте своих привычек; я показал это в другом месте.

— Мы можем судить об этом хотя бы по его славе.

— Его стиль очень хвалят, но для человека, родившегося в стране непросвещенной, хоть и в эпоху утонченно цивилизованную, это заслуга небольшая: он может подбирать те чувства и идеи, что в ходу у соседних наций, и выглядеть оригинальным у себя на родине. Язык целиком в его власти, ибо совсем еще нов; и чтобы превратиться в историческую фигуру для невежественной нации, живущей в окружении наций просвещенных, поэту достаточно попросту переводить, не мудрствуя лукаво. Он будет подражателем, а прослывет творцом.

— Заслуженна была его слава или нет, но он был знаменит. Он был еще молод и нрав имел гневливый — как вам известно, в жилах его текла унаследованная от матери мавританская кровь. Жена его, большая красавица, внушала ему более страсти, нежели доверия; обладая поэтической душой и африканским нравом, он был склонен к ревности; несчастный впадает в раздражение от мнимой неверности, от ложных, пропитанных ядом доносов, коварством своим напоминающих завязку шекспировской трагедии; русский Отелло теряет всякое чувство меры и хочет заставить человека, который, как он полагает, его оскорбил, драться на дуэли. Человек этот был француз, к тому же его свояк; имя его г-н Дантес. Дуэль в России — дело тем более серьезное, что здесь, в отличие от нашей страны, 856
она не согласуется с общественными нравами, противостоящими закону, и задевает устойчивые представления о морали; эта нация скорее восточная, нежели рыцарская. Дуэль здесь незаконна, как и повсюду, но ей труднее, чем где бы то ни было, опираться на общественное мнение.

Г-н Дантес сделал все возможное, чтобы избежать огласки; под натиском разгневанного супруга он, не теряя достоинства, отказывается дать ему удовлетворение, но не прекращает ухаживаний. Пушкин почти лишается рассудка: неизбежное присутствие в его доме человека, чьей гибели он хочет, кажется ему постоянной жестокой обидой; он идет на все, лишь бы выгнать его; в конце концов дуэль становится неизбежной. И вот свояки стреляются, г-н Дантес убивает Пушкина; человек, виновный в глазах общественного мнения, выходит победителем, а человек невинный, оскорбленный муж, национальный поэт — гибнет.

Смерть его наделала в обществе много шума и вызвала всеобщую печаль. Пушкин, поэт в высшей степени русский, творец прекраснейших од на русском языке, гордость страны, создатель новой славянской поэзии, первый здешний талант, чье имя отозвалось, и довольно громко, в Европе... в Европе!!! наконец, слава настоящего и надежда будущего — и вот все это погибло; идол низвергнут в собственном храме, пал в расцвете сил от руки француза... Какая ненависть, какие страсти тут закипают! Петербург, Москва, вся империя пришла в волнение; ведь всеобщий траур есть свидетельство заслуг покойного и доказательство величия страны, которая может бросить Европе: «У меня был свой поэт!! и для меня честь оплакивать его!»

Император, лучше всех в России знающий русских и лучший знаток по части лести, являет осмотрительность и отдает дань общественной скорби; он велит отслужить панихиду; не знаю, не простерлось ли его благочестивое кокет- 856
ство даже до того, чтобы лично присутствовать на сей церемонии, дабы все видели

его сожаление и сам Господь был свидетелем преклонения его перед национальным гением, прежде времени разлученным со своей славой.

Как бы там ни было, но сочувствие, явленное государем, настолько льстит
851 московскому духу, что пробуждает в сердце одного весьма одаренного юноши благородное чувство патриотизма; сей излишне легковерный поэт, видя августейшее покровительство, оказанное первому из искусств, исполняется энтузиазма — и вот уже дерзновенно полагает, будто его посетило откровение свыше! В порыве простодушной благодарности он осмеливается даже написать оду — какова дерзость! — патриотическую оду с изъявлением признательности импе-
856 ратору — покровителю словесности! В конце этого замечательного стихотворения он возносит хвалы усопшему поэту — ничего больше... Я читал эти стихи и могу поручиться, что намерения автора были самые невинные; разве что вы сочтете преступлением надежду, которая затаилась в глубине его сердца и которая, по-моему, вполне дозволительна юному воображению. На мой взгляд, он, не говоря этого прямо, полагал, что, быть может, однажды Пушкин воскреснет в нем, и сын императора вознаградит второго поэта России, подобно тому как сам император воздал почести первому... Безрассудный храбрец! — жаждать известности, открыто признаваться в желании славы при деспотизме! как если бы Прометей заявил Юпитеру: «Берегись, защищайся, скоро я похищу у тебя небесный огонь». И вот каково было вознаграждение, полученное юным искателем торжества — иными словами, мученичества. Несчастный за одно только то, что без зазрения совести принял на веру показную любовь самодержца к изящным искусствам и словесности, впал в особую немилость и получил ТАЙНЫЙ приказ отправляться для развития своих поэтических дарований на Кавказ — ту же Сибирь, только с чуть более мягким климатом.

Он пробыл там два года и возвратился с подорванным здоровьем, сломленной душой и воображением, решительно исцелившимся от былых грез — исцелившимся прежде тела, которое пока еще страждет от подхваченных в Грузии лихорадок. И после такого поступка вы по-прежнему будете доверять официальным речам императора и его публичным действиям?

Вот что примерно отвечал я на слова соотечественника:

— Император тоже человек, он тоже не лишен человеческих слабостей. Наверное, что-то неприятно поразило его в направлении мыслей вашего юного поэта. Не сомневайтесь, мысли эти были скорее европейскими, нежели национальными. Император ведет себя прямо противоположно тому, как поступала Екатерина И: он не льстит Европе, а дерзит ей; согласен, это ошибка, ибо вызывающее поведение — та же зависимость, с его помощью можно утвердить себя лишь через противоречие; но это ошибка простительная, тем более если вы припомните, какое зло причинили России государи, всю жизнь одержимые манией подражательства.

— Вы неисправимы! — воскликнул адвокат последних бояр. — Вы тоже верите, что можно создать какую-то особенную цивилизацию на русский манер. Все это было хорошо до Петра I, но сей государь уничтожил плод в зародыше. Езжайте в Москву, она самая сердцевина старинной империи, но вы увидите,

что и там все умы обращаются к размышлениям о промышленности и национальный характер сохраняется не больше, чем в Санкт-Петербурге. Ныне император Николай совершает ошибку, похожую на ошибку императора Петра I, только в обратном смысле. Он ни во что не ставит историю целого столетия, века Петра Великого; у истории свои непреложные законы, и прошлое повсюду оказывает влияние на настоящее. Беда государю, который не желает этим законам подчиняться!

Час был довольно поздний; мы распрощались, и я продолжал прогулку в одиночестве, размышляя о том, какое энергичное чувство сопротивления должно зреть в душах людей, живущих при деспотическом режиме и привыкших ни с кем не делиться своими думами. Когда подобный способ правления не притупляет характеры, он их укрепляет.

Я вернулся домой, чтобы продолжить письмо к вам; я занимаюсь этим почти каждый день, и все же пройдет еще немало времени, прежде чем вы получите мои послания, ведь я их прячу, словно планы какого-нибудь заговора, в ожидании надежного человека, который бы вам их передал; но найти такую оказию — дело столь трудное, что, боюсь, придется везти их самому.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

30 июля 1839 года

Вчера, окончив писать, решился я перечитать переводы некоторых стихотворений Пушкина и утвердился в том своем мнении о нем, какое составилось у меня по первому чтению. Человек этот отчасти заимствовал свои краски у новой западноевропейской школы в поэзии. Не то чтобы он воспринял антирелигиозные воззрения лорда Байрона, общественные идеи наших поэтов или философию поэтов немецких, но он взял у них манеру описания вещей. Так что подлинно московским поэтом я его еще не считаю. Поляк Мицкевич представляется мне гораздо более славянином, хоть и он, подобно Пушкину, испытал влияние западных литератур. 856 857

К тому же, появись нынче подлинно московский поэт, он бы мог обращаться только к народу: в салонах его бы не услышали и читать не стали. Там, где нет языка, нет и поэзии, и тем более нет мыслителей. Сейчас все потешаются над тем, что император Николай требует при дворе говорить по-русски; новшество сие кажется прихотью самодержца; грядущее поколение скажет ему спасибо за эту победу здравого смысла над высшим светом.

Как может проявиться дух естественности в обществе, где говорят на четырех языках, не выучив толком ни одного? Неповторимость мысли гораздо тесней, нежели полагают, связана со своеобразием речи. Как раз об этом столетие назад позабыли в России, а несколько лет назад и во Франции. На детях наших еще отзовется то маниакальное пристрастие к боннам-англичанкам, какое овладело у нас всеми *фешенебельными* матерями. 858

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

Во Франции первым и, по-моему, лучшим учителем французского всегда
858 была кормилица — человек должен изучать свой родной язык всю жизнь, но ребенок не должен нарочно учить его, он без всяких уроков воспринимает его с колыбели. Вместо этого нынешние французские малыши с рождения лепечут по-английски и коверкают немецкий, а уже после им, словно иностранный язык, преподают французский.

858 Монтень гордился, что выучил латынь прежде французского; возможно, именно этому преимуществу, которым хвастает создатель «Опытов», мы обязаны самым искренним и самым национальным талантом в нашей древней литературе; ему было чему радоваться, ибо латынь — это корень нашего языка; но народ, который не почитает языка своих отцов, теряет ясность и непосредственность выражений; дети наши говорят по-английски, как слуги носят пудреные парики — вследствие какой-то мании! Я убежден, что почти полное отсутствие своеобразия в современных славянских литературах происходит от того, что начиная с XVIII века русские и поляки взяли за правило нанимать для своих семей чужеземных гувернанток и воспитателей; когда русские, получившие хорошее воспитание, переходят на родной язык, они переводят с иностранного, и заемный этот стиль прерывает полет мысли, нарушая простоту ее выражения.

Почему китайцам удалось сделать для рода человеческого больше, чем русским — и в литературе, и в философии, и в морали, и в законодательстве? Быть может, именно потому, что эти люди всегда исповедовали великую любовь к своему первобытному наречию.

Смешение языков не вредит умам посредственным, напротив, оно помогает им в их ремесле; поверхностное образование, единственно подобающее таким умам, облегчается равно поверхностным изучением живых языков — нетрудным, похожим скорее на игру ума, в совершенстве приспособленную к свойствам мозгов ленивых либо преследующих цели вполне материальные; но если, по несчастью, в одном случае из тысячи, систему эту применяют для воспитания выдающегося дарования, она мешает природе, совращает гениальный ум с истинного пути и сулит ему в будущем бесплодные сожаления или такие труды, каким даже и избранные не имеют досуга и мужества предавать-
858 ся позднее, нежели в ранней юности. Не каждый великий писатель — Руссо: Руссо выучил наш язык как иностранец, и понадобилась вся его гениальная выразительность, все его гибкое воображение вкупе с упорством характера; наконец, понадобилось одиночество его в свете для того, чтобы в конечном счете он заговорил по-французски так, словно никогда не учил его специально. А ведь французский язык жителей Женевы не так далек от языка Сен-Симона и Фенелона, как тот пересыпанный английскими и немецкими словами жаргон, какому учатся нынче в Париже дети людей в высшей степени элегантных. Быть может, родись Руссо во Франции в те времена, когда дети там говорили по-французски, фразы этого великого писателя не звучали бы так натянуто. Смешение языков благоприятствует смутности в мыслях; человек посредственный к этому приспосабливается, человек даровитый негодует и растрачивает себя на переделку инструмента всякого гения — языка. Если не принимать никаких

мер, то через полвека настоящий, старинный французский язык станет языком мертвым.

Бывшее в свое время в ходу изучение древних языков не только не приводило к пагубным результатам, но давало нам единственное средство достигнуть углубленного знания нашего собственного языка, от них происшедшего. Их изучение заставляло нас восходить к истокам, укрепляло в нашей исконной природе, не говоря уже о том, что оно как нельзя лучше отвечало способностям и потребностям ребенка, который прежде всего нуждается в подготовке инструмента его мысли — языка.

В то время как Россия возрождается мало-помалу благодаря государю, что правит ею ныне в согласии с принципами, неведомыми прежним властителям страны, и имеет надежду рано или поздно обрести свой язык, своих поэтов и прозаиков, у нас во Франции щеголи и так называемые просвещенные люди готовят поколение писателей-подражателей и женщин, лишенных независимости ума: они так хорошо будут понимать в оригинале Шекспира и Гёте, что не сумеют уже оценить ни прозу Боссюэ и Шатобриана, ни легкокрылую поэзию Гюго, ни периоды Расина, ни неповторимость и искренность Мольера и Лафонтена, ни ум и вкус госпожи де Севинье, ни силу чувства и божественную гармонию Ламартина! Вот так у них и отнимут способность породить нечто достаточно своеобразное для того, чтобы не увяла слава их языка и чтобы чужестранцы, как встарь, приезжали во Францию постигать тайны хорошего вкуса.

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Каким образом наши представления связаны с внешними предметами, их порождающими. — Драматическая сторона путешествия. — Жестокости нашей революции в сравнении со свирепостью русских. — Разница между преступлениями обоих народов. — Порядок внутри беспорядка. — Особенный характер российских бунтов. — Почтение русских к власти. — Опасность либеральных идей, привитых диким народам. — Отчего русские превосходят нас в дипломатии. — История Теленева.

Петербург, 30 июля 1839 года, одиннадцать часов вечера

Сегодня рано утром меня посетило то самое лицо, о беседе с которым я вам рассказывал во вчерашнем письме. Человек этот принес мне несколько страниц по-французски, написанных юным князем ***, сыном его покровителя. Это отчет о более чем подлинном происшествии, одном из многочисленных эпизодов того не слишком давнего события, которое втайне занимает здесь все чувствительные души и серьезные умы. Можно ли наслаждаться в спокойствии роскошью великолепного дворца, зная, что в нескольких сотнях верст от него твои подданные убивают друг друга и что государство неминуемо бы распалось, когда бы не ужасные способы, которые применяются для его защиты?

Если бы кто-нибудь заподозрил, что автор этой истории — юный князь ***, ему бы не сносить головы. Вот почему он вверяет мне свою рукопись и поручает напечатать ее. Он согласен, чтобы я включил повесть о гибели Теленева в текст моих путевых заметок, и я сделаю это, оговорив источник повести, но никого притом не компрометируя; я с радостью пользуюсь случаем несколько разнообразить свой рассказ. Мне ручаются за точность основных фактов; вы вольны верить им в той, сколь угодно малой, степени, в какой пожелаете; сам я всегда верю тому, что говорят мне люди незнакомые; мысль об обмане приходит мне лишь после того, как я получаю доказательства их нечестности.

В какую-то минуту я подумал, что лучше было бы поместить эту повесть уже после моих писем: я боялся, что, прервав рассказ о подлинных фактах чем-то вроде романа, погрешу против серьезности своих соображений; однако по размышлении я решил, что был не прав.

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Впрочем, правдива история Теленева или нет, связь между картинами реального мира и идеями, которые эти картины пробуждают в любом человеке, имеет свой тайный смысл: сцепление захватывающих нас обстоятельств, стечение поражающих нас событий есть проявление божественной воли, что обращена к нашей мысли и способности суждения. Разве не оценивает всякий человек и вещи, и людей, исходя в конечном счете из тех случайных происшествий, из каких складывается его собственная история? Любой наблюдатель, как выдающийся, так и посредственный, в суждениях обо всех вещах всегда отталкивается только от этого. Мы видим мир в определенной перспективе, и расположение предметов, предоставленных нашим наблюдениям, зависит не от нас. Разум наш обречен на подобное вторжение Бога в нашу умственную жизнь.

А значит, лучшим обоснованием нашего способа суждения всегда будет последовательное изложение тех испытаний, что его породили и обусловили.

Историю Теленева я прочел сегодня, и вы прочтете ее также помеченной сегодняшним числом.

Великий поэт, что правит нашими судьбами, лучше нас знает, как важно должным образом подготовить впечатление от жизненной драмы. Любое путешествие есть драма — по правде сказать, безыскусная и уступающая правилам литературной композиции, но имеющая тем не менее известную философскую и нравственную цель, нечто вроде развязки, что лишена ухищрений, но отнюдь не интереса или пользы; развязка эта наступает исключительно в сознании человека и состоит в проверке целой кучи предрассудков и предубеждений. Путешествующий человек подвергается своего рода нравственной операции, которую благотворное правосудие Божье, являющее себя в зрелище окружающего мира, вершит над его способностью к познанию; человек, описывающий свое путешествие, подвергает этой операции и читателя.

Русский юноша, автор этого отрывка, хотел оправдать зверскую жестокость своих соотечественников, припомнив ужасы нашей революции, и упомянул бесчеловечное деяние, совершенное у нас в стране — кровавое убийство г-на де Бельзенса в Кане. Он мог бы продолжить сей список: мадемуазель де Сомбрёй заставили выпить стакан крови, чтобы выкупить жизнь ее отца; архиепископ Арльский и славные его товарищи по мученичеству героически погибли в кармелитском монастыре в Париже; в Лионе участников восстания расстреливали картечью и — вечный позор усердию революционных палачей!! — стрелки обманными обещаниями понуждали тех из своих жертв, кто остался в живых после первого залпа, снова встать на ноги; в Нанте топили людей — по слову Каррье, справляли республиканские свадьбы; эти и множество иных жестокостей, которые даже не упомянуты историками, могли бы послужить доказательством тому, что и у самых цивилизованных наций зверство в людях не исчезло, а всего лишь задремало; и все же методичная, бесстрастная и неизменная жестокость мужиков отличается от недолговечного бешенства французов. Для последних их война против Бога и человечества не была естественным состоянием: мода на кровь изменила их характер, и поступки их диктовались разгулом страстей — ибо никогда не были они менее свободны, чем в эпоху, когда все у них совершалось во имя свободы.

860

861

861

861

У русских же наоборот: вы увидите, как они убивают друг друга, ни в чем не изменяя своему характеру; они как будто исполняют свой долг.

У этого покорного народа столь велико влияние общественных установлений на все классы, а безотчетно впитанные привычки столь властно подчиняют себе характеры, что даже самые крайние проявления мести, похоже, упорядочены у русских какими-то правилами. Здесь убийство рассчитано и осуществляется размеренно; люди умерщвляют других людей по-военному, скрупулезно, без гнева, без волнения, без слов, и их спокойствие ужаснее любых безумств ненависти. Они толкают друг друга, швыряют наземь, избивают, топчут ногами, словно механизмы, что равномерно вращаются вокруг своей оси. Физическая бесстрастность при совершении самых буйных поступков, чудовищная дерзость замысла, холодность его исполнения, молчаливая ярость, немой фанатизм — вот из чего слагается преступление, так сказать, добросовестное; в этой удивительной стране самые бурные вспышки подчинены какому-то противоестественному порядку; тирания и бунт идут здесь в ногу, сверяя друг по другу шаг.

861 Сама здешняя земля, однообразный вид сельского пейзажа определяют симметрию во всем: полное отсутствие рельефа на повсюду одинаковой и большей частью голой равнине, не слишком разнообразная растительность, которая всегда скудна в северных странах, вечные ровные пространства, совершенно лишенные каких бы то ни было живописных холмов и долин, — на них виднеется селение, похоже, одно-единственное на всю империю и, словно наваждение, всюду преследующее путешественника; в общем, все, что Бог забыл сделать для этой страны, укрепляет и без того неколебимое единообразие политической и общественной жизни ее жителей. Здесь повсюду одно и то же, а потому, невзирая на необъятные просторы, в России от края до края все исполняется с дивной четкостью и согласованностью. Если кому-нибудь когда-нибудь удастся подвигнуть русский народ на настоящую революцию, то это будет смертоубийство упорядоченное, словно эволюции полка. Деревни на наших глазах превратятся в казармы, и организованное кровопролитие явится из хижин во всеоружии, выдвигаясь цепью, в строгом порядке; одним словом, русские точно так же подготовятся к грабежам от Смоленска до Иркутска, как готовятся ныне к парадному маршу по площади перед Зимним дворцом в Петербурге. В результате подобного единообразия естественные наклонности народа приходят в такое согласие с его общественными обычаями, что последствия этого могут быть и хорошими, и дурными, но равно невероятными по силе.

Будущее мира смутно; но одно не вызывает сомнений: человечество еще увидит весьма странные картины, которые разыграет перед другими эта Богом избранная нация.

Русские почти всегда нарушают общественный порядок из слепого почтения к властям. Так, если верить тому, о чем все шепчутся, когда бы император не произнес перед депутацией от крестьян своих знаменитых слов, те не взялись бы за оружие.

Надеюсь, этот факт, равно как и те, что я приводил в других местах, позволит вам понять, сколь опасно прививать либеральные взгляды народам, не подготовленным к их восприятию. Что касается политической свободы, то чем более вы

привержены ей, тем более должны избегать произносить имя ее перед людьми, которые способны лишь скомпрометировать святое дело, защищая его на свой лад; по этой самой причине я сомневаюсь, что император действительно произнес те неосторожные слова, какие ему приписывают. Государь этот лучше, чем кто-либо, знает нрав своего народа, и я не могу себе представить, чтобы он, пускай сам того не желая, спровоцировал крестьянское восстание. Однако ж не могу не добавить, что многие хорошо осведомленные люди держатся на сей счет иного мнения.

Автор «Теленева» описал ужасы мятежа тем более подробно и тщательно, что основное действие разворачивалось как раз в семье этого рассказчика.

Если он и позволил себе несколько облагородить характеры и любовь молодых людей, то лишь по воле своего поэтического воображения; но, даже и приукрасив чувства, он сохраняет за людьми их национальные обычаи; короче говоря, ни факты, ни страсти, ни нравы, изображенные в его небольшой повести, не кажутся мне неуместными в сочинении, чье единственное достоинство — правдивость описаний.

Добавлю, что и по сей день в тех же краях, где был столь ужасающим образом нарушен, а затем восстановлен общественный порядок, вновь вспыхивают то тут, то там кровавые сцены. Как видите, негоже русским попрекать Францию ее политическими беспорядками и делать из них выводы в пользу деспотического правления. Предоставьте русской печати свободу на двадцать четыре часа, и вы узнаете такое, что в ужасе отшатнетесь. Угнетение не может существовать без всеобщего молчания. При абсолютизме иная несдержанность стоит государственной измены.

Среди русских дипломатов есть такие мастера своего дела, каких не сыщешь у самых развитых и цивилизованных народов: это потому, что из наших газет они заранее узнают обо всех наших событиях и замыслах, ибо мы, вместо того чтобы осмотрительно скрывать от них свои слабости, всякое утро страстно разоблачаем их перед всем миром, в то время как их собственная византийская политика вершится в тени и они старательно скрывают от нас свои мысли, поступки и страхи. Мы движемся вперед при ярком свете, они — тайком: игра идет не на равных. Они оставляют нас в слепом неведении, сами же просвещаются за счет нашей искренности; наша слабость в болтливости, их сила — в скрытности; вот главная причина их дипломатического искусства. 861

ИСТОРИЯ ТЕЛЕНЕВА[1]

Вот уже много лет поместье князя *** находилось в руках управляющего; звали его Теленев. Князь *** был поглощен другими делами и вовсе не заботился о собственных владениях; обманувшись в своих честолюбивых ожиданиях, он

[1] Имена людей и названия я выбрал наугад, с единственной целью — скрыть настоящие; там, где я не боялся повредить ясности рассказа, я даже избегал их вовсе; наконец, я позволил себе исправить несколько выражений, чуждых духу нашего языка.

надолго отправился в путешествие — развеивать тоску впавшего в немилость вельможи; потом, устав искать в искусстве и природе лекарство от политических разочарований, он возвратился на родину, дабы, снова приблизившись ко двору, больше его не покидать и попытаться усердием и искательством вернуть расположение государя.

Но покуда жизнь его и состояние растрачивались впустую то на придворные хлопоты в Санкт-Петербурге, то на созерцание древностей на юге Европы он терял привязанность своих крестьян, которых дурное обращение Теленева довело до отчаяния.

В обширных вологодских [1] владениях человек этот был настоящим самодержцем и заслужил проклятия за то, каким образом осуществлял он господскую власть.

Но у Теленева была прелестная дочь по имени Ксения;[2] кротость была врожденным свойством этой девушки, ибо она рано лишилась матери и не получила иного воспитания, кроме того, какое мог дать ей отец. Он научил ее французскому языку, и она, можно сказать, затвердила наизусть сочинения нескольких классиков века Людовика XIV, забытых в вологодской усадьбе отцом князя. Ее любимыми книгами были французская Библия, «Мысли» Паскаля, «Телемак»; когда человек читает немногих, но хорошо отобранных авторов и часто их перечитывает, он получает от чтения большую пользу. Одна из причин легковесности нынешних умов — в обилии книг, заполнивших мир: книг не столько скверно написанных, сколько скверно прочитанных. Мы оказали бы услугу грядущим поколениям, если бы научили их читать, ведь с тех пор, как все выучились писать, сей талант становится все большей редкостью...

В девятнадцать лет Ксения славилась своей *ученостью* и пользовалась заслуженным уважением во всех принадлежащих князю *** землях. К ней приходили за советом из окрестных деревень; Ксения была для бедных крестьян вожатой, опорой в делах, болезнях, горестях.

За свое миротворство нередко выслушивала она гневные упреки отца; но уверенность, что она совершила добро или помешала свершиться злу, была для нее превыше всего. В стране, где влияние женщин, как правило, невелико,[3] она имела власть, которую не мог бы у нее оспорить ни один из уездных мужчин — власть разума над грубыми умами.

Даже ее отец, человек буйный по натуре и по привычке, ощущал на себе благотворное воздействие ее души; нередко он краснел, чувствуя, что боязнь причинить страдание Ксении не позволяет ему дать волю гневу, и, словно тиран-самодержец, корящий себя за милосердие, сокрушался, что чересчур добродушен. Свои бурные вспышки он почитал за праведный суд и ставил их себе в заслугу, однако крепостные князя *** имели о них иное мнение.

---

[1] Этим названием я заменил подлинное.

[2] Это милое имя — имя русской святой.

[3] Всем известно, что вплоть до XVIII века русских женщин держали, так сказать, **взаперти.**

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Отец с дочерью жили в вологодском имении, расположенном на равнине, огромной по размерам, но, по русским понятиям, довольно уютной.

Усадьба стоит на берегу озера, омывающего его с трех сторон. Берега озера плоски, и оно сообщается с Волгой через водоспуски, чье небыстрое и недолгое течение делится на множество рукавов. Ток извилистых ручейков глубоко прорезает обширную поверхность равнины, и глаз, не имея возможности наслаждаться зрелищем этих потайных узоров, безотчетно следит издалека их изгибы, отмеченные купами жалких, худосочных ив и других хилых кустарников, что разбросаны там и сям вдоль глубоких каналов, которые перерезают луг и бороздят его во всех направлениях, не придавая ему ни красоты, ни плодородия, ибо блуждающие воды не улучшают болотистой почвы.

В облике самого здания есть нечто величественное. Из окон его открывается с одной стороны вид на озеро, похожее на море, ибо утром и вечером его ровные песчаные берега тонут в дымке на горизонте, а с другой — на широкие пастбища, изрезанные рвами и покрытые ивняком. Некошеные луга — главное богатство этих мест, а уход за скотом, что привольно пасется на них, — единственное занятие крестьян.

По берегам Вологодского озера пасутся большие стада. Эти группы животных — единственное, что привлекает взор, скользящий по плоским, холодным полям, где непрочерченная линия горизонта и вечно серое, туманное небо ни рисунком своим, ни цветом не оживляют однообразных далей. Суровый климат наложил свою печать на этот скот, малорослый и хилый; и все же, пусть и жалкие на вид, коровы пестротой своей шкуры слегка расцвечивают возвышенности, пересекающие болото, и благодаря этой перемене тонов глаз отдыхает от торфянистых оттенков луга — а скорее лощины, где растут не столько травы, сколько шпажник. Бесспорно, в пейзажах этих нет ничего прекрасного, однако ж они покойны, величавы, необозримы, внушительны, и глубокая их безмятежность не лишена ни царственности, ни поэзии: это Восток, но без солнца.

Однажды утром Ксения вышла из дому вместе с отцом, чтобы присутствовать при пересчете скота: эту процедуру он производил каждый день сам. Стадо, живописно разбросанное перед дворцом на берегу озера, радовало глаз; шкуры животных поблескивали в рассветных лучах; колокол окрестной церквушки сзывал на молитву нескольких женщин, оставшихся без дела из-за своих увечий, и дряхлых стариков, что безропотно вкушали отдых, дарованный годами. Их благородное, увенчанное сединами чело, живые еще краски на лицах, окаймленных серебристыми бородами, свидетельствовали о том, насколько здоров воздух в этой ледниковой зоне и как красива здешняя человеческая порода. О красоте людей, живущих в какой-либо местности, судить следует не по юным лицам.

— Взгляните, батюшка, — сказала Ксения, когда они шли по плотине, соединяющей с лугом полуостров, где стояла усадьба, — взгляните, над избой моего молочного брата развевается флаг.

Русские крестьяне нередко бывают в отлучке: получив разрешение, они отправляются искать приложения своим силам и смекалке куда-нибудь в окрестные

города и доходят до самого Санкт-Петербурга; хозяину они платят оброк, а все заработанное сверх него берут себе. Когда такой странствующий крепостной возвращается к жене, на крыше их хижины воздвигается сосна, наподобие мачты, а на самой верхушке этого дерева возвращения плещется и сверкает хоругвь, дабы жители села и соседних деревень, увидев этот знак веселья, порадовались вместе с супругой.

В согласии с этим старинным обычаем и был вывешен флаг на коньке избы, где жила старуха Елизавета, мать Федора и кормилица Ксении.

— Стало быть, этот негодяй, твой молочный брат, сегодня ночью вернулся? — переспросил Теленев.

— Ах! я так рада, — воскликнула Ксения.

— Еще одним злодеем больше, — возразил Теленев, — а то у нас в уезде своих не хватает.

И без того вечно хмурое лицо управляющего стало еще мрачнее.

— Его нетрудно было бы сделать добрым, — ответила Ксения, — но вы не хотите воспользоваться своим влиянием.

— Ты-то мне и мешаешь, ты с вечной твоей кротостью и неуместными советами вести себя осмотрительно! Ты мне все портишь. Нет, отец мой и дед не так обращались с крепостными отца нашего господина.

— Неужели вы забыли, — возразила Ксения дрожащим голосом, — что детство у Федора было счастливее, чем у обыкновенных крестьян? Так почему же ему быть похожим на других? Поначалу его воспитывали так же заботливо, как и меня.

— Он должен был стать лучшим из лучших, а стал хуже всех: хороши плоды просвещения... Это все ты... Вы с кормилицей вечно зазывали его в замок, а я по доброте своей, желая тебе угодить, забывал и ему позволял забывать о том, что он рожден вовсе не для того, чтобы жить с нами.

— Зато впоследствии вы ему напомнили об этом со всей жестокостью, — со вздохом возразила Ксения.

— У тебя какие-то нерусские мысли в голове; однажды ты наконец поймешь, как надо обращаться с нашими крестьянами, но будет уже поздно. — И продолжал сквозь зубы: — Почему же этот чертов Федор вернулся сюда, невзирая на мои письма князю? Выходит, князь их не читает... А тамошний управляющий мне завидует.

Ксения расслышала реплику Теленева и с горечью поняла, как усилилось раздражение управителя, даже у себя дома не избавленного от дерзостей непокорного крепостного; желая смягчить его сердце, она обратилась к нему с такими разумными словами:

— Два года назад моего бедного молочного брата едва не забили до смерти по вашему приказанию; и чего вы добились, обидев его? Ничего; из уст его не прозвучало ни слова извинения; он предпочел бы отдать Богу душу под розгами, чем унизиться перед вами. А все потому, что наказание было слишком суровым по сравнению с нанесенным оскорблением; если виновный возмущен, он не раскается. Согласна, он ослушался вас; но он был влюблен в Катерину; причина

проступка отчасти искупала вину, вот чего не захотели вы понять. После этой сцены Федор женился и уехал, но все наши крестьяне возненавидели вас так ужасно, что я боюсь за вас, батюшка.

— И оттого-то радуешься возвращению одного из злейших моих врагов? — раздраженно воскликнул Теленев.

— Ах! его я как раз не боюсь; нас поили одним молоком, и он скорее умрет, чем огорчит меня.

— И впрямь, разве он этого не доказал?.. Если б он посмел, он бы первый перерезал мне глотку.

— Вы к нему несправедливы; напротив, Федор защищал бы вас от всех и вся, хоть вы и нанесли ему смертельную обиду; вы ведь постараетесь, чтобы он забыл вашу суровость — правда, батюшка? Он теперь женат, у него маленький сын; счастье должно смягчить его нрав, ведь дети меняют отцовские сердца.

— Замолчи, я с ума сойду от твоих идей, вычитанных из романов! Твои нежные крестьяне и благородные рабы водятся только в книжках. Я лучше тебя знаю, с какими людьми мне приходится иметь дело: они ленивы и мстительны, как и их отцы, и ты никогда не обратишь их к добру.

— Если бы вы мне позволили обращать их, если бы помогли мне, мы бы сделали это вместе. Но вот и милая моя Пахомовна идет с заутрени. — С этими словами Ксения бежит к кормилице и бросается ей на шею: — Вот и счастье к тебе пришло!

— Может быть, — отвечает старуха чуть слышно.

— Он вернулся.

— Но ненадолго; я боюсь...

— Что ты хочешь сказать?

— Они все с ума посходили; только тс-с!

— Что ж, матушка Пахомовна, — произнес Теленев, косо взглянув на старуху, — вот твой негодник сын и вернулся домой... Его жена может быть довольна. А вам всем должно быть ясно, что раз он вернулся, значит, я на него не сержусь.

— Тем лучше, господин управляющий, нам так нужно ваше покровительство... Ведь скоро приедет князь, а мы его не знаем.

— Как? Какой князь? Наш господин? — и, осекшись: — Ах, да, конечно, — воскликнул Теленев, не желая показывать своего удивления перед какой-то крестьянкой, которая, похоже, знала больше него, — конечно, я вам окажу покровительство. К тому же приедет он не завтра; эти слухи идут каждый год об эту пору.

— Простите, господин Теленев, он будет здесь на днях.

Управляющему хотелось засыпать вопросами кормилицу Ксении, но самолюбие не позволяло. Ксения, угадав его замешательство, пришла ему на помощь:

— Скажи-ка, кормилица, откуда это ты так хорошо знаешь, когда и куда едет наш господин князь ***?

— Мне сказал Федор. Ах! мой сын знает и много чего еще! Он стал настоящим мужчиной. Ему двадцать один год, он как раз на год старше вас, девочка моя; но он еще вырос, и если б я посмела... я бы сказала... он такой красивый!., я бы сказала, что вы похожи.

— Замолчи, пустомеля! С чего это моя дочь будет похожа на твоего сына?

— Они сосали одно и то же молоко; люди и не такие близкие тоже бывают похожи; и даже... но нет... когда вы больше не будете над нами главным, я скажу, что думаю про их характеры.

— Когда я больше не буду над вами главным?

— Конечно... Сын видел *Батюшку.*

—Императора?

— Да; и государь император самолично велел передать нам, что скоро мы будем свободными; такова его воля; когда бы все зависело только от него, это бы уже случилось.[1]

Теленев пожимает плечами, потом продолжает:

— А как это Федору удалось поговорить с императором?

— Как?.. Он присоединился к нашим людям, тем, которых послали все наши деревенские и соседские тоже, чтобы они пошли и попросили Батюшку...

Тут Пахомовна вдруг осеклась.

— Попросили о чем?

Старуха, спохватившись, что проболталась, решила прикусить язык, хотя управитель продолжал засыпать ее вопросами. В ее внезапном молчании было нечто непривычное и, быть может, исполненное глубокого смысла.

— Да что же вы тут, в конце концов, против нас замышляете? — в бешенстве вскричал Теленев, схватив старуху за плечи.

— Нетрудно догадаться, — сказала Ксения, делая шаг вперед и вставая между отцом и кормилицей, — как вам известно, прошлой весной государь купил поместье *** по соседству с нашим. С тех самых пор наши крестьяне ни о чем не мечтают, как только о счастье принадлежать короне. Они завидуют соседям, чье положение... как они считают, намного улучшилось, притом что прежде во всем было схоже с их собственным; многие старики, из самых почтенных в уезде, просили у вас под разными предлогами дозволения отправиться в город; после их отбытия я узнала, что их избрали ходоками от других крепостных, чтобы они отправились к императору и молили его купить их, как он купил их соседей. Многие окрестные губернии присоединились к вологодским депутатам, дабы принести государю ту же просьбу. Уверяют, что они вручили ему деньги, необходимые для покупки имения князя *** — земель вместе с людьми.

— Верно, — сказала старуха, — и Федор, мой мальчик, повстречал их в Петербурге и присоединился к ним, чтобы поговорить с Батюшкой; вчера они все вместе вернулись.

— Я не предупредила вас об их попытках, — продолжала Ксения, глядя на изумленного отца, — потому что заранее знала, что из этого ничего не получится.

— Ты была не права, ведь они встретились с Батюшкой.

— Даже сам Батюшка не может сделать того, о чем они просят, иначе ему бы пришлось купить всю Россию.

[1] **Исторический факт.**

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

— Вы только посмотрите, что за хитрецы, — возразил Теленев. — Эти мошенники настолько богаты, что делают подобные подарки императору, а перед нами разыгрывают нищих и имеют бесстыдство утверждать, будто мы лишаем их последнего. Вот если бы у нас было побольше здравого смысла да поменьше доброты, мы бы отняли у них все, включая веревку, на которой они нас вздернут.

— Не успеете, господин управляющий, — произнес очень тихо и очень мягко молодой человек, что незаметно приблизился к ним и стоял теперь с видом диковатым, но отнюдь не робким, держа шапку в руке, перед ивняком, из-за которого он и появился словно по волшебству.

— А, это ты... бездельник! — вскричал Теленев.

— Федор, ты ни слова не говоришь своей молочной сестре, — перебила его Ксения. — А ведь ты столько раз обещал не забывать меня! Я крепче держу слово, чем ты, ведь не было дня, чтобы я не помянула твоего имени в молитве, там, в глубине часовни, перед иконой святого Владимира, которая напоминала мне о тебе. Помнишь? Именно там, в часовне, попрощался ты со мной уже почти год назад.

С этими словами она бросила на брата нежный, укоризненный взгляд, кроткий и строгий разом, противиться его власти было невозможно.

— Разве могу я вас забыть! — воскликнул юноша, воздевая глаза к небу.

Ксения умолкла, испугавшись благоговейного, но чуть свирепого выражения этих глаз, обычно опущенных долу; в них читалось что-то тревожное, что не вязалось с кротостью в голосе, словах и повадках молодого человека.

Ксения была из тех северных красавиц, каких не встретишь больше нигде; черты ее казались почти неземными: чистота их, вызывавшая в памяти Рафаэля, выглядела бы холодной, когда бы на лице девушки, еще не потревоженном страстями, не запечатлелась тончайшая чувствительность. В тот день ей как раз исполнилось двадцать лет, но она не ведала еще сердечных волнений; высокая, тонкая, немного хрупкого сложения, она была наделена какой-то неповторимой грацией, хотя обычно гибкость ее скрывалась за неторопливостью движений; глядя, как ступает она по траве, еще белой от росы, можно было подумать, что это последний лунный луч скользит по недвижному озеру перед зарею. В томности ее было то обаяние, какое отличает лишь здешних женщин — их не назовешь хорошенькими, но если уж они красивы, то красота их безупречна; впрочем таких красавиц редко можно встретить среди простолюдинок, ибо в России красота аристократична, и крестьянки, как правило, не столь щедро одарены природой, как знатные дамы. Ксения же была красива, как царица, и свежа, как поселянка.

Волосы ее, разделенные прямым пробором, окаймляли высокий, цвета слоновой кости лоб; лазурные глаза, прозрачные, словно хрустальный родник, оттенялись длинными, загибающимися вверх черными ресницами, тень от которых падала на свежие, но едва тронутые румянцем щеки; брови, совершенного рисунка, но довольно светлые, были все же темнее волос; чуть крупноватый рот открывал взору зубы такой белизны, что сиянием их озарялось все лицо; розовые губы блистали невинностью, а лицо, почти круглое, но исполненное большого благородства, несло на себе выражение тонкости чувств и набожной нежности, обаяние которого захватывало всех с первого взгляда. Будь у нее серебряный нимб,

она стала бы прекраснейшей из византийских мадонн, изображением которых дозволено украшать русские церкви.[1]

Ее молочный брат был один из красивейших мужчин в этих краях, чьи обитатели славятся красотой, высоким ростом, стройностью, здоровьем и независимым видом. Крепостные из этой части империи — бесспорно, наименее жалкие люди в России.

Изящная крестьянская одежда отлично сидела на нем. Светлые, красиво разделенные на пробор волосы, спадая шелковистыми локонами, обрамляли безупречный овал лица; крепкая, сильная шея оставалась открытой, ибо сзади, на затылке, волосы были пострижены под гребенку, а спереди белый лоб юного землепашца пересекала лента, подобная диадеме, которая сверкая на солнце, придавала юно-
861 ше сходство с Христом кисти Гвидо.

Он был одет в рубаху из крашеного полотна, в тонкую полоску, с неглубоким вырезом и с одной только прорезью на плече, чтобы проходила голова; узкое отверстие застегивалось на две пуговицы, пришитые между плечом и ключицей. Это одеяние русских крестьян, напоминающее греческую тунику, носится навыпуск и закрывает штаны до самых колен. Оно бы походило отчасти на французскую блузу, когда бы не несравненно большее его изящество, каким оно обязано и своему покрою, и безотчетному вкусу его владельцев. Федор был высок, гибок и наделен врожденной элегантностью; голова его, красиво посаженная на плечах — широких, покатых и своей лепкой напоминающих плечи античных статуй, — была достойна самого благородного тела, однако юноша почти все время держал ее склоненной на грудь. На его прекрасном лице читалась какая-то тайная печаль. Несмотря на свой греческий профиль, синие, с поволокой, но сверкающие молодостью и природным умом глаза, несмотря на свой надменный, очерченный точь-в-точь как на античных медалях рот, который венчали золотистые усики, блестящие, словно натуральный шелк, на свою молодую бородку того же оттенка, короткую, вьющуюся, шелковистую и густую, хотя еще вчера на месте ее был детский пушок; наконец, несмотря на свои мускулы циркового борца, ловкость испанского матадора и ослепительно белую кожу северянина, — иначе говоря, несмотря на подобную внешность, при которой любой мужчина стал бы гордым и уверенным в себе, Федор, униженный сознанием, что полученное им воспитание не соответствует его положению в родных местах, а возможно, и страдавший от противоречия между врожденным чувством собственного достоинства и принадлежностью к подлому сословию, держался почти все время как преступник, ожидающий исполнения приговора.

Эта страдание запечатлелось в его чертах с того дня, когда по приказанию Теленева он, девятнадцатилетний юноша, молочный брат дочери управляющего и до тех пор его любимец и баловень, был подвергнут истязанию под тем предлогом, что не повиновался какому-то будто бы важному повелению.

---

854 [1] В греческой церкви культ изображений по-прежнему до известной степени запрещен; истинно верующие допускают лишь живопись условного стиля, покрытую определенными рельефными украшениями из золота и серебра; под этими накладками досто-**инства картины исчезают совершенно. Таковы единственные живописные изображения,** какие терпят в Божьих храмах русские православные.

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Скоро мы увидим, что варварство это вовсе не было простой прихотью, и что истинная его причина была очень серьезной.

Ксения решила, что угадала, почему брат ее совершил столь пагубный для себя проступок; она вообразила, будто Федор влюблен в Катерину, юную красавицу крестьянку из окрестных мест; и едва несчастный залечил свои раны — что произошло лишь через несколько недель, настолько жестокой была экзекуция, — она, сколько от нее зависело, занялась исправлением этого зла; она полагала, что единственный способ помочь делу — это женить брата на девушке, которой он, по ее мнению, увлекся. Едва Ксения поведала Теленеву о своих планах, как ненависть его, казалось, прошла: к великому удовольствию Ксении, свадьбу сыграли со всей поспешностью; Ксения считала, что Федор сумеет, обретя сердечное счастье, забыть глубокую тоску и мстительную обиду.

Она заблуждалась: брат ее был безутешен. Только она угадывала, какой стыд гнетет его; она была его наперсницей, хоть он ничего ей не поверял, ибо никогда не жаловался; впрочем, экзекуция, какой он подвергся, была вещью настолько обычной, что никто не придал ей значения: все местные, кроме него и Ксении, и думать о ней забыли.

На удивление гордый, он инстинктивно избегал всего, что могло бы напомнить ему о пережитом страдании, но с невольной дрожью бежал прочь, когда видел, что кого-то из его товарищей собираются пороть, и бледнел, заметив в чьих-нибудь руках розгу или прут.

Повторим еще раз: начало жизни досталось ему слишком легко; к нему благоволил управляющий, а значит, его поощряли все вышестоящие; ему завидовали товарищи, его почитали самым счастливым, равно как и самым красивым, уроженцем владений князя ***: его боготворила мать, он вырастал в собственных глазах благодаря дружбе Ксении, изобретательной, нежной дружбе восхитительной женщины, ангела, звавшего его своим братом, а потому он оказался совсем не подготовлен к тяготам своей участи — и в один день ему открылась вся ее низость; с тех пор обязанности, неотделимые от своего положения, он почитал несправедливостью; унижение в глазах людей, но особенно в своих собственных, в единый миг превратило его из счастливейшего существа в человека самого жалкого; божество низверглось с алтаря и обернулось скотиной. Кто же вернет ему то блаженство, какого он лишился навеки под розгой палача? Разве способна любовь супруги возвысить горделивую душу такого раба? Нет!., былое благоденствие станет преследовать его повсюду и сделает стыд еще невыносимей. Сестра Ксения решила, что, женившись, он обретет покой, и он повиновался, но из-за этой уступчивости несчастье его лишь возросло, ибо, если человек, желая укрепиться в добродетели, множит свои обязанности, он лишь открывает для себя новые источники угрызений совести.

861

Безутешный Федор слишком поздно ощутил, что Ксения, несмотря на всю свою дружбу, ничем ему не помогла. Не в силах более выносить жизнь в местах, что стали свидетелями его падения, он ушел из родной деревни, покинув жену и своего ангела-хранителя.

Жена его чувствовала себя униженной, но по другой причине: когда супруг несчастлив, супруга его краснеет от стыда; оттого-то она не стала говорить ему,

что беременна: ей не хотелось прибегать к подобным средствам, дабы удержать подле себя супруга, счастье которого она явно не в силах была составить.

Наконец, после годичной отлучки, он возвращается домой. Перед ним снова его **мать, жена, дитя в колыбели — ангел, точь-в-точь похожий на отца; но ничто не может** излечить его от грызущей тоски. Он остается неподвижен и молчалив, даже стоя пе**ред своей сестрой Ксенией, которую теперь не смеет называть иначе чем «сударыня».**

Утреннее солнце озаряло своими лучами благородные фигуры юноши и девушки, схожих, по словам кормилицы, и внешностью, и характерами; кругом паслись стада, готовые, казалось, повиноваться любому их слову, любому их жесту. При виде этой юной пары вспоминались Адам и Ева, писанные Альбрехтом Дюрером. Ксения была спокойна и почти весела, тогда как лицо Федора выдавало жестокое волнение, едва скрытое под маской напускного равнодушия.

На сей раз Ксению, несмотря на ее безошибочный женский инстинкт, обманнуло молчание Федора; печаль брата она относила лишь на счет тягостных воспоминаний, полагая, что самый вид мест, где он страдал, обостряет его боль; она попрежнему рассчитывала, что любовь и дружба окончательно залечат его рану.

Прощаясь с братом, она обещала часто приходить к нему в избу кормилицы.

И все же последний взгляд Федора испугал девушку; было в этом взгляде нечто большее, чем грусть, — в нем была дикая радость, смягченная какой-то необъяснимой заботливостью. Ксения опасалась, как бы он не сошел с ума.

Безумие всегда внушало ей какой-то сверхъестественный ужас, а поскольку боязнь свою она относила на счет смутного предчувствия, то из-за этого суеверия беспокойство ее только возрастало. Когда опасение принимают за предначертание, оно становится неодолимым... Из смутного, беглого предчувствия создается судьба; воображение силою предвидения творит именно то, чего страшится; в конечном счете оно побеждает разум, истину, реальность, даже судьбу, и, дабы воплотить в жизнь свои химеры, подчиняет себе ход событий.

Прошло несколько дней; Теленев часто отлучался из дома. Ксения пребывала в глубокой печали, вызванной той неизлечимой меланхолией, какая, казалось, поразила Федора после его возвращения; она виделась только с кормилицей и думала только о брате.

Однажды вечером она была дома одна; отец с утра уехал, велев передать, чтобы к ночи его не ждали. Ксения, привыкшая к подобным поездкам, нисколько не волновалась из-за отсутствия Теленева; протяженность владений, которыми он управлял, нередко заставляла его совершать длительные переезды с места на место. Она читала. Вдруг перед нею появляется кормилица.

— Что тебе нужно от меня в такой поздний час? — спрашивает Ксения.

— Идемте, попьете у нас чаю, я все приготовила, — отвечала кормилица с бесстрастным видом.[1]

[1] Русские, даже самые бедные, имеют дома чайник и медный самовар и по утрам и вечерам пьют чай в кругу семьи; при этом стены и потолки в их избах — это толстые неструганые сосновые бревна с пазами на концах: вставленные одно в другое, они образуют углы дома; между этими довольно скверно пригнанными брусьями проложен мох и деготь; как видите, деревенская простота жилища образует разительный контраст с изящным и тонким напитком, который в нем пьют.

— Я не привыкла в такое время выходить из дому.

— А сегодня все-таки нужно выйти. Пойдемте со мной; чего вам бояться?

Ксения, привычная к неразговорчивости русских крестьян, решает, что кормилица приготовила ей какой-то сюрприз. Она поднимается и идет следом за старухой.

Деревня была пустынна. Поначалу Ксения решила, что все уже спят; ночь стояла очень тихая и довольно светлая; ветерок не колебал своим дуновением ивы на болоте, не пригибал на лугу высокие травы; на небе, усыпанном бледными звездами, не было ни облачка. Не доносилось издалека ни лая собаки, ни блеяния ягненка; не ржала на скаку кобыла за оградой загона; не ревел больше бык под крышей теплого стойла; пастух не тянул печальную свою мелодию, похожую на долгую ноту, что держит соловей перед каденцией, — какая-то более глубокая, нежели обычно, ночная тишина царила над равниной, томя Ксению и вселяя в ее душу смутный ужас. Словно ангел смерти пролетел над Вологдой, с трепетом думала про себя девушка, но не осмеливалась задавать вопросов.

Внезапно на горизонте возникло какое-то зарево.

— Откуда этот свет? — восклицает перепуганная Ксения.

— Не знаю, — неуверенно отвечает старуха, — может, это последние лучи солнца.

— Нет, — говорит Ксения, — где-то горит деревня.

— Господский дом, — возражает замогильным голосом Елизавета, — теперь пришел черед господ.

— Что ты этим хочешь сказать? — Ксения в испуге хватает кормилицу за руку. — Неужто сбываются ужасные предсказания моего отца?

— Надо поторопиться, прибавьте шагу, я должна отвести вас не в нашу избу, а гораздо дальше, — говорит Елизавета.

— Куда же ты хочешь меня отвести?

— В надежное место; второго такого нет для вас в Вологде.

— Но отец, что будет с ним? За себя мне нечего бояться, но где отец?

— Его спасли.

— Спасли!.. От какой же опасности? кто? что тебе известно?.. Ах! ты просто успокаиваешь меня, чтобы делать со мной все, что тебе заблагорассудится!

— Нет, клянусь светлым Пресвятым Духом, сын спрятал его, и сделал он это ради вас, рискуя жизнью, потому что в нынешнюю ночь всех предателей настигнет смерть.

— Федор спас моего отца! Какое великодушие!

— Я вовсе не великодушен, сударыня, — произнес юноша, подходя к ним, чтобы поддержать готовую лишиться чувств Ксению.

Федор решил проводить мать до ворот усадьбы, но не осмелился войти туда вместе с ней; он не пошел дальше моста, спрятался в некотором отдалении, а потом, чтобы никто не помешал бегству Ксении, двигался далеко позади обеих женщин, не показываясь им на глаза. Смятение чувств, охватившее сестру, вынудило его приблизиться и предстать перед ней, чтобы ей помочь. Но девушка уже снова обрела ту энергию, какую пробуждает опасность в сильных душах.

— Грядут великие события; открой мне тайну, Федор — что происходит?

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

— Происходит то, что русские люди обрели свободу и мстят за себя; но идите же скорее за мной, — повторил он, увлекая ее вперед.

— Мстят за себя?., но кому же? Я, например, никому не причинила зла.

— Это верно, вы ангел... и все же, боюсь, в первый момент они никого не пощадят. Безумцы!! В наших господах и во всей их породе они видят только врагов; настал час резни, так что бежим! Набата вы не слышите потому, что звонить в колокола запрещено, ибо звон мог бы стать предупреждением нашим врагам; впрочем, и разносится он недостаточно далеко; было решено, что последние лучи закатного солнца станут сигналом к поджогу господских домов и к истреблению всех их обитателей.

— Ах!., от твоих слов я вся дрожу!

— Меня поставили, — продолжал Федор, по-прежнему не давая девушке замедлить шаг, — идти в числе самых молодых и храбрых на город ***, где наши должны застигнуть врасплох местный гарнизон: он состоит всего лишь из нескольких ветеранов. Наши силы гораздо больше, и я подумал, что в первой экспедиции можно обойтись и без меня; и вот я сознательно изменил своему долгу, предал святое дело, оставил священный батальон и побежал туда, где, как я знал, находился ваш отец; Теленев, вовремя получив мое предупреждение, спрятался в одной избе, расположенной в государевых владениях. Но теперь меня бросает в дрожь при мысли о том, что мы можем опоздать с вашим спасением, — говорил он, все так же увлекая ее к приготовленному убежищу. — Надеясь спасти вашего отца, я потерял время, драгоценное для вас; я полагал, что исполняю вашу волю, и думал, что вы не станете упрекать меня за опоздание; впрочем, вы не подвергаетесь такой опасности, как Теленев, надеюсь, мы вас еще спасем.

— Да, но ты сам, ты же пропал, — произнесла мать страдальческим голосом, который прозвучал еще более страстно от того, что она долго заставляла себя молчать.

— Пропал! — перебила ее Ксения. — Мой брат пропал из-за меня!

— Разве не стал он дезертиром в час сражения? — продолжала старуха. — Он виновен, и его убьют.

— Я заслужил смерть.

— И я буду причиной подобного горя! — восклицает Ксения. — Нет, нет, мы убежим, ты спрячешься вместе со мной.

—Никогда.

Пока беглецы все быстрее шагали вперед, в тишине разгоралось зарево пожара: занявшись поначалу где-то на горизонте, оно охватило уже все небо; ни вскрик, ни выстрел, ни звяканье колокола не выдавали приближения мятежа — резня была безмолвной. Этот дивный ночной покой, пособник стольких убийств, этот вдвойне поразительный сговор — поразительный и потому, что замышлялся [1] в глубокой тайне, и потому, что природа, казалось, взяла сторону мятежников и с удовольствием наблюдала за приготовлениями к бойне, — вселяли в душу ужас. То был словно Божий суд. В наказание людям Провидение позволило действовать им самим.

[1] **Исторический факт.**

— Ты не оставишь свою сестру, — говорила Ксения; ее била дрожь.

— Не оставлю, сударыня; но когда я буду спокоен за вашу жизнь, я пойду и сдамся сам.

— Я пойду с тобой, — возразила девушка, судорожно сжимая его руку, — я тебя не брошу. Или ты считаешь, что дороже жизни для меня ничего нет?

И тут беглецы увидели, как в свете звезд перед ними возникла вереница молчаливых, устрашающих теней. Фигуры двигались самое большее в сотне шагов от Ксении. Федор остановился.

— Что это такое? — спрашивает шепотом девушка.

— Тише, — отвечает Федор почти неслышно, вжимаясь в дощатую стену, укрывшую их в своей непроглядной тени; затем, когда последний призрак пересек дорогу, поясняет: — Это отряд наших людей, они идут тихо, чтобы застать врасплох графа *** в его усадьбе. Здесь небезопасно, идемте быстрее.

— Но куда же ты меня ведешь?

— Сначала к матушкиному брату, это в четырех верстах[1] от Вологды; дядя уже старик, выживший из ума, он все равно что невинный младенец и нас не выдаст. Там вы как можно быстрее переоденетесь, потому что вас могут узнать по платью; у меня с собой другая одежда для вас; матушка останется у брата, а я надеюсь до утра отвести вас в то убежище, где спрятал Теленева. В нашем несчастном уезде нет ни единого надежного места, но там вы все же меньше всего можете опасаться неожиданностей.

— Ты хочешь вернуть меня к отцу, спасибо тебе; но что будет, когда я окажусь с ним? — с тревогой спрашивает девушка.

— Когда вы окажетесь с ним... я с вами распрощаюсь.

—Никогда.

— Нет, нет, Ксения права, ты останешься с ними, — восклицает бедная мать.

— Теленев не позволит, — с горечью возражает молодой человек.

Ксения чувствует, что сейчас не время спорить. Трое беглецов в молчании продолжают свой путь и без происшествий добираются до избы старого крестьянина.

Дверь была не заперта; они вошли, осторожно откинув щеколду. Старик спал, завернувшись в черную баранью шкуру, расстеленную на одной из лавок, что стояли вдоль стен комнаты. Над головой его горела лампадка, подвешенная перед иконой греческой богоматери, почти не видной из-под накладных серебряных пластин, которыми был обозначен головной убор и одеяние Девы. На столе остался самовар, полный кипятка, чайник с заваркой и несколько чашек. Незадолго до появления Пахомовны с сыном жена Федора покинула дядину избу: она вместе с ребенком укрылась у своего отца. Федора уход жены, казалось, не удивил и не рассердил: он не велел его дожидаться, ему не хотелось, чтобы кто-нибудь знал, где прячется Ксения.

Он зажег лампу от лампады и отвел мать с молочной сестрой в маленькую комнатку-светелку, расположенную прямо над сенями. Дома всех русских крестьян устроены одинаково.

[1] Верста соответствует примерно четверти французского лье.

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Оставшись один, Федор уселся на нижней ступеньке короткой лестницы, по которой только что взошла его сестра; еще раз посоветовав ей не терять ни минуты, он уронил голову на руки и погрузился в глубокую задумчивость.

Из своей каморки Ксения могла слышать все, что происходит в комнате; она отвечала брату, что не заставит его долго ждать.

Едва она успела развернуть сверток с новым платьем, как Федор вскакивает с крайне встревоженным видом и тихим свистом подзывает мать.

— Что тебе? — шепотом отвечает та.

— Потушите лампу, я слышу шаги, — говорит юноша еще тише. — Так что погасите лампу, ее видно через щели, а главное — не шевелитесь.

Свет наверху гаснет, все погружается в тишину. Проходит несколько секунд тревожного ожидания; дверь отворяется, Ксения затаила дыхание, и вот входит человек, весь в поту и крови.

—А, это ты, кум Василий, — произносит Федор, идя навстречу незнакомцу. — Ты один?

— Нет; я здесь с отрядом наших людей, они ждут меня за дверью... Посветить нечем?

— Сейчас принесу, — отвечает Федор, поднимаясь по лестнице; сразу же спустившись, он зажигает от лампады, горевшей перед богоматерью, лампу, взятую из дрожащих материнских рук; он всего лишь приоткрыл дверь, к которой приникли обе женщины, чтобы лучше слышать.

— Хочешь чаю, кум?

—Хочу.

— Держи.

Гость принялся мелкими глотками опорожнять поднесенную Федором чашку.

На груди у этого человека был знак командира; одет он был так же, как остальные крестьяне, но вооружен окровавленной саблей без ножен; пышная рыжая борода придавала ему жестокий вид, и взгляд дикого зверя нимало не смягчал это выражение лица. Такой бегающий взгляд часто встречается у русских — кроме тех, кого рабство превратило в полных скотов: у тех есть глаза, но нет взгляда. Василий был невысок, коренаст, курнос, с выпуклым, но низким лбом; скулы у него были сильно выступающие и красные — признак неумеренного пристрастия к крепким напиткам. Узкий рот, открываясь, обнажал белые, но острые и редкие зубы; то была пасть пантеры; густую, спутанную бороду, казалось, покрывали хлопья пены; руки были в крови.

— Откуда у тебя сабля? — спросил Федор.

— Я вырвал ее из рук одного офицера, я убил этого барина его же оружием. Мы победили, город *** — наш... Эх, и попировали мы там... да и пограбили на славу!.. Кто не желал присоединиться к нашему войску и грабить вместе с нами, всех прикончили, и женщин, и детей, и стариков, в общем всех!.. А некоторых сварили живьем в гарнизонном котле, на главной площади...[1] Мы грелись у того самого огня, на котором варились наши враги; это было здорово!

[1] **Исторический факт.**

Федор не ответил.

— Ты молчишь?

— Я думаю.

— И о чем же ты думаешь?

— Я думаю о том, что мы затеяли опасную игру... Город был беззащитен: долго ли вывести из строя полторы тысячи жителей да с полсотни ветеранов, когда на них нападают врасплох две тысячи крестьян; но чуть дальше стоят большие военные силы; мы поторопились, нас разобьют в пух и прах.

— Ну-ну!.. а Божья справедливость? а воля императора?! Ты что, молокосос, не понимаешь, что теперь нам все равно деваться некуда? После всего, что случилось, надо либо победить, либо умереть... Ты не вороти голову-то, послушай лучше... Мы всё пожгли и залили кровью, слышишь? После такой бойни нам пощады не будет. Город мертв; можно подумать, там неделю шел бой. Уж если мы за дело беремся, так раз-два и готово... Ты, похоже, недоволен, что мы победили?

— Не люблю, когда убивают женщин.

— Надо уметь раз и навсегда if: сбавляться от дурной крови.

Федор не отвечает. Василий, отхлебнув чаю, спокойно продолжает свои речи:

— Что это у тебя невеселый вид, сынок?

Федор по-прежнему молчит.

— И все-таки тебя сгубила твоя безумная любовь к дочке Теленева, нашего заклятого врага.

— Чтобы я любил свою молочную сестру?! Да вы сами-то подумайте! Конечно, я питаю к ней дружеские чувства, но...

— Ну-ну... интересная у тебя дружба!.. Кому другому рассказывай!

Федор встает и хочет закрыть ему рот рукой.

— Ты чего, парень? Разве нас кто-то подслушивает? — продолжает Василий прежним тоном.

Федор, смешавшись, застывает, как вкопанный, а крестьянин все не умолкает:

— Ты мне-то голову не морочь; ее папаша Теленев тоже не дурак, оттого с тобой так и обошелся... сам знаешь; ты ведь не забыл, что он с тобой сделал перед женитьбой.

Федор опять хочет его перебить.

— Да что такое, ты дашь мне говорить или нет?! Ты не забыл, и я не забыл, что однажды он велел тебя выпороть. И наказал он тебя не за невесть какую провинность, которую сам же и выдумал, а за то, что ты тайно любил его дочь; просто он ухватился за первый попавшийся предлог, чтобы никто не понял, что у него на уме. Он хотел, чтобы ты убрался отсюда, покуда зло не стало непоправимым.

Федор в сильнейшем волнении шагал взад-вперед по комнате, не произнося ни слова. В приступе бессильной ярости он кусал себе руки.

— Вы заставляете меня вспоминать не лучший день моей жизни, кум; поговорим о чем-нибудь другом.

— Про что хочу, про то и говорю; не хочешь отвечать, дело твое, я как раз хочу поговорить сам; но перебивать себя я не позволю, еще раз повторяю. Я тебя

старше, я крестный твоего новорожденного сына и твой начальник... Видишь знак у меня на груди? Это знак моего звания, которое я получил в нашей армии: а стало быть, у меня есть право говорить тебе, что хочу... а скажешь хоть слово, так у меня там, на улице, люди отдыхают! Стоит мне свистнуть, и дом будет окружен, а его и поджечь недолго, гореть будет что твой смоляной факел... только скажи!., так что терпи... мы ждем, покуда колос получше созреет... а ты терпи!

Федор садится, напустив на себя самый беззаботный вид.

— В добрый час! — ворчит сквозь зубы Василий. — Ах, так я тебе напоминаю не слишком приятные вещи? В том-то и дело, сынок, ты эти вещи слишком скоро забыл! — и, повысив голос, продолжает: — Я хочу тебе рассказать твою же историю; это будет забавно; по крайней мере, увидишь, что я могу и мысли читать, и если вдруг надумаешь стать предателем...

Тут Василий опять умолкает, отворяет форточку и что-то шепчет на ухо человеку, возникшему у окна; там в темноте смутно виднеются фигуры пяти других крестьян, вооруженных так же, как и он.

Федор хватается за кинжал — и снова затыкает его за пояс: речь идет о жизни Ксении, малейшая его оплошность — и дом сожгут, и все, кто в нем находится, погибнут!.. Он сдерживается; ему хочется снова увидеть сестру... Кто может объяснить все тайны любви? Тайну его жизни только что раскрыли Ксении, и не по его вине; и в эту ужаснейшую минуту он испытывал лишь огромную радость!.. Пусть короток миг высшего блаженства, так что ж? Разве не вечно оно, покуда его испытываешь?.. Впрочем, для людей, неспособных любить, эти могущественные заблуждения сердца так и останутся непостижимыми. Истинная любовь неподвластна времени, мера ее чужда всему земному... холодный человеческий разум не в силах расчесть ее причуды.

После недолгого затишья сладкий и мучительный экстаз Федора был прерван крикливым голосом Василия:

— Но раз ты не любил жену, так зачем ты на ней женился? Тут ты плохо рассчитал!

Вопрос этот вновь поразил молодого человека в самое сердце. Сказать, что он любит жену, означало бы потерять все, что он едва успел обрести...

— Я думал, что люблю ее, — возразил он, — мне говорили, что надо жениться, разве я знал, что у меня на душе? Мне хотелось угодить дочери Теленева, я повиновался, не раздумывая; что, разве кто-то из нас когда-нибудь поступал иначе?

— Ничего себе! Ты утверждаешь, будто сам не знал, чего тебе хочется! Ну что ж, тогда я тебе скажу: ты хотел просто-напросто помириться с Теленевым...

— Ах, вы меня плохо знаете!

— Я тебя знаю, быть может, лучше, чем ты сам; ты подумал: куда же нам деваться от своих тиранов, и потому уступил, чтобы заслужить теленевское прощение; по правде сказать, мы все бы вели себя на твоем месте точно так же; а вот за что я тебя корю, так это за то, что ты хотел меня обмануть — меня, который знает все! Нельзя было иначе снова завоевать расположение отца, как только успокоив его насчет последствий твоей любви к его дочке; вот так ты и женился и не обращал внимания на горести своей бедной жены, которую ты

обрек вечно быть несчастной и которую не побоялся покинуть в тот момент, когда она готовилась подарить тебе сына.

— Когда я уходил, я этого не знал, она скрывала от меня, что ждет ребенка; я и на этот раз действовал без всякого умысла; я привык, что меня во всем направляет молочная сестра; она такая умная!

— Да, это жаль...

-Что?!

— Я говорю, жалко ее; для наших краев это будет потеря.

— И вы сможете!..

— Мы сможем уничтожить ее точно так же, как всех остальных... Или ты считаешь, что мы такие дурачки и не прольем до последней капли кровь Теленева, кровь нашего злейшего врага?

— Но она всегда была так добра к вам!

— Она его дочь, этого достаточно!.. Папашу мы отправим в ад, а дочку в рай. Вот и вся разница.[1]

— Вы не сделаете вещи настолько ужасной!

— Кто же нам помешает?

-Я.

— Ты, Федор? Ты, предатель? Ты, мой пленник, ведь именно ты дезертировал из армии своих братьев в час битвы за...

Закончить он не смог.

Уже несколько секунд Федор готовился нанести удар: то была его последняя надежда на спасение; юноша набрасывается на кума, словно тигр, и, метя точно между ребер, вонзает ему кинжал в самое сердце. Одновременно он заглушает подвернувшейся под руку шубой единственный слабый вскрик; последние хрипы умирающего не пугают Федора: они совсем тихие, и снаружи их не слышно. Бросив пару ободряющих слов матери, он собирается вернуть ей лампу, чтобы Ксения снова начала готовиться к побегу; но в то мгновение, когда он проходит мимо спящего старика, тот внезапно просыпается.

— Кто ты, юноша? — спрашивает он, не узнавая племянника, и с силой хватает его за руку. — Что тут за вонь! и кровь! — Потом, с ужасом оглядев комнату: **—Покойник!**

---

[1] Несколько лет назад, во время знаменитого мятежа в военном поселении под Великим Новгородом, в пятидесяти лье от Петербурга, солдаты, возмутившись придирками одного из командиров, решили истребить офицеров вместе с семьями; они поклялись, что убьют всех без исключения, и сдержали слово, уничтожив равно и тех, кого **любили, и тех, кого ненавидели. Окружив жилище одного из этих несчастных, они вывели** наружу его жену и дочерей и первым делом потихоньку прирезали их на его глазах, а после взялись за него самого. «Вы лишили меня всего, — сказал он им, — оставьте мне жизнь; зачем отнимать ее у меня? Вам никогда не приходилось на меня жаловаться». — «Это верно, — возразили палачи очень ласково, — ты храбрец, мы всегда любили тебя и сейчас любим, но другие получили свое, и мы не можем поступить несправедливо, сделав тебе поблажку. Прощай же, батюшка!..» И вспороли ему живот точно так же, как **и его товарищам, — из чувства справедливости.**

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ;

Федор потушил лампу, но лампадка по-прежнему горела.

— Убивают!., убивают!., помогите! сюда! сюда! — кричит старик громовым голосом.

Федор не мог прервать его крики: старик был до смерти перепуган, еще очень силен и кричал без остановки; бедный юноша тщетно пытался найти выход из положения... Бог отвернулся от него!.. Сидящие в засаде бойцы Василия слышат крики старика; прежде чем Федору удалось вырваться из крепких объятий несчастного безумца, которого он, сохраняя остатки почтительности, не мог лишить жизни, шестеро мужиков с веревками в руках, вооруженные вилами, кольями и косами, ворвались в избу; схватить Федора, разоружить и связать его было минутным делом; его волокут прочь.

— Куда вы меня ведете?..

— В Вологодскую усадьбу, чтобы ты там сгорел вместе с Теленевым; как видишь, предательство тебе не помогло. — Слова эти произнес самый старый из воинов. Федор не ответил, и тот спокойно продолжал: — Ты не ожидал, что мы победим так скоро и разобьем их наголову, но наша армия обрушивается на всех сразу, словно наводнение, словно кара господня, от нас никто не ускользнет, наши враги попались в свои же собственные ловушки; с нами Бог; тебе мы не доверяли и не спускали с тебя глаз; ты отвел Теленева в убежище, а мы выследили его там и схватили; вы умрете вместе, усадьба уже полыхает.

Федор молча поникает головой и следует за палачами; он думает, что, быстро уводя их от роковой хижины, еще может спасти Ксению.

Шестеро крестьян несут перед ним тело Василия, шестеро других идут позади с факелами; все остальные движутся за ними в полном молчании. Мрачная процессия беззвучно шествует по охваченным пожаром полям. Кажется, что горизонт с каждой минутой сужается: равнина лежит в огненном кольце. Горит Вологда, горит город ***, горят усадьбы, поместья князя *** и многие окрестные деревни; горят даже леса; резня идет повсюду. Пожар высвечивает потайные уголки чащоб; безлюдье лишилось темноты, его больше нет, а значит нет и спасения — как скрыться на равнине, когда леса в огне? от огненной бури, разливающейся отовсюду, нет надежного укрытия, везде царит смертельный ужас; тьма, изгнанная из пламенеющих лесных зарослей, рассеялась, ночь отступила, — но и солнце не поднялось!

Процессия, увлекавшая пленного Федора, разрасталась: в нее вливались все рыскавшие по округе мародеры. Наконец большая толпа останавливается на площадке перед замком.

Что за картина предстала взору пленника!

Вологодская усадьба, выстроенная целиком из дерева, превратилась в гигантский костер, пламя которого вздымалось прямо к небу! Крестьяне, обступившие со всех сторон старинное поместье и подпалившие его, думают, что Ксения сгорела прямо в жилище отца.

Кольцо наземной блокады замыкается на озере тесно стоящими полукругом лодками. Войско мятежников окружает усадьбу, а посредине привязан к столбу несчастный Теленев; его силой извлекли из убежища и приволокли сюда, на

площадь, где и должна была состояться казнь. Со всех сторон к дворцу стекается толпа победителей, предвкушающих любопытное зрелище.

Войско, только что доставившее сюда живых жертв, кольцом обступало добычу, выставляя напоказ в зареве пожара свои отвратительные знамена — Боже милостивый, что за стяги! — то были окровавленные останки прежних жертв, их несли на саблях и пиках. Видны были женские головы с развевающимися волосами, обрубки насаженных на вилы тел, изувеченные дети, отвратительнейшие скелеты... Казалось, эти жуткие призраки вырвались из ада, чтобы попасть на вакханалию, устроенную последними обитателями земли.

Это так называемое торжество свободы являло собою картину конца света. Языки пламени и звуки, доносившиеся из усадьбы, очага пожара, вызывали в памяти извержение вулкана. Народная месть — словно лава, что долго вскипает в земных недрах перед тем, как излиться наружу с вершины горы. Смутный ропот катится по толпе, но отдельные голоса неразличимы, слышен лишь голос жертвы, и ее проклятия веселят палачей. Все эти нелюди большей частью настоящие красавцы, лица их от природы благородны и кротки: это свирепые ангелы, демоны с небесными чертами. Федор и сам красотою схож со своими преследователями. Между всеми русскими, если они чистокровные славяне, существует как будто фамильное сходство; и даже когда они истребляют друг друга, видно, что это братья — отчего резня становится ужаснее. Вот во что может превратиться естественный человек, когда отдается на волю страстей, пробужденных в нем лживой цивилизацией.

Но тогда это уже не естественный человек, это человек, чья природа извращена его мачехой — общественной жизнью. Естественный человек существует только в книгах; он — тема для философствований, некий идеальный тип человека, о котором моралисты рассуждают примерно так же, как математики используют при некоторых расчетах мнимые величины, а затем сокращают их, чтобы получить положительный результат. Для человека, как первобытного, так и уже переродившегося, природой становится то или иное общество, и, что там ни говори, чем оно цивилизованней, тем все-таки лучше.

Роковое кольцо размыкается на миг, пропуская Федора и сопровождающую его омерзительную процессию; Теленев был повернут так, что поначалу не заметил своего юного освободителя. Казнь его вот-вот должна была начаться, как вдруг шелест ужаса пронесся над толпой.

— Привидение!., привидение!., это она!.. -- восклицают со всех сторон. Кольцо людей снова расступается и рассеивается; палачи бегут перед призраком!.. Жестокость нередко ходит рука об руку с суеверием.

Однако несколько одержимых удерживают беглецов:

— Вернитесь, вернитесь; это же она, это Ксения; она не умерла!

— Остановитесь! остановитесь! — душераздирающе вскрикивает женский голос, чей звук отзывается во всех сердцах, но особенно в сердце Федора. — Пропустите меня, я хочу их видеть! Это мой отец! мой брат!.. Вы не помешаете мне умереть вместе с ними.

ПИСЬМОВОСЕМНАДЦАТОЕ

И с этими словами Ксения, простоволосая и растрепанная, падает без чувств к ногам Федора. Несчастный юноша стоит, как громом пораженный; он забывает о своих узах.

Мы чувствуем, что нужно сократить описание этой ужасающей сцены. Она продолжалась долго, мы изложим ее в нескольких словах — но все-таки изложим, ведь дело происходит в России. Заранее просим прощения за то, что предстоит нам изобразить.

Мы оставили Ксению в избе; поначалу она дала себя уговорить и молчала, боясь навлечь еще большую опасность на Федора, который, увидев ее в руках убийц, потерял бы всякую меру и выдержку; кроме того, она боялась выдать кормилицу. Но как только женщины остались одни, девушка убежала, желая разделить участь своего отца.

Пытка Теленева началась. Боже милосердный, что за пытка! Чтобы смерть для несчастного стала еще ужаснее, перед ним первым делом посадили связанных Федора и Ксению, спешно соорудив для этого чуть поодаль грубые подмостки... а потом... потом ему в несколько приемов отрезали одну за другой ноги и руки, и когда этот обрубок почти истек кровью, его оставили умирать, хлеща по щекам его же собственными руками и, чтобы заглушить дикие крики, заткнув ему рот его же ногой.

Женщины из предместья Кана, съевшие сердце г-на де Бельзенса на Воксельском мосту, были образцом человечности по сравнению с теми, кто спокойно созерцал смерть Теленева.[1]

Вот что происходило пару месяцев назад в нескольких днях езды от пышного города, куда ныне стекается вся Европа, дабы повеселиться на прекраснейших в мире празднествах — празднествах столь великолепных, что страна, где их задают, могла бы снискать славу самой цивилизованной на свете — когда бы не замечать в ней ничего, кроме дворцов.

Доведем же до конца наш труд.

Когда отец отмучился, то, согласно программе этой вакханалии, настал черед дочери; кто-то из мучителей подходит к Ксении, собираясь схватить ее за разметавшиеся по плечам волосы, но она остается неподвижной и холодной; ни во время, ни после истязания отца она не шевельнулась и не проронила ни звука.

В Федоре совершается какой-то сверхъестественный переворот, к нему вдруг снова возвращаются силы и присутствие духа; он каким-то чудесным образом рвет свои путы, освобождается из рук стражников, бросается к возлюбленной сестре, сжимает ее в объятиях, поднимает с земли и надолго прижимает к сердцу; затем, снова положив ее с почтением на траву, обращается к палачам — спокойно, с тем напускным спокойствием, какое свойственно восточным людям даже в самые трагические минуты их жизни:

— Ее вы не тронете, Господь простер над нею свою длань, она сошла с ума.

— Сошла с ума! — вторит суеверная толпа. — С нею Бог!

---

[1] **Ссылка эта не удивит тех, кто знает, насколько досконально известна русским наша история.**

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

— Это он, предатель, он, ее любовник, посоветовал ей прикинуться сумасшедшей! Нет, нет, пора покончить со всеми врагами Божьими и человеческими, — кричат самые остервенелые, — к тому же мы связаны клятвой! Исполним же наш долг, этого хочет ***Батюшка,*** он нас вознаградит.

— Подойдите, если посмеете, — тоже кричит Федор в припадке отчаяния, — она же позволила мне обнять ее и не сопротивлялась. Вы сами видите, что она сошла с ума!! Но она что-то говорит: слушайте!

Все подступают ближе и слышат одну только фразу:

— Так, значит, он любил меня!

Лишь Федор понимает смысл ее слов; возблагодарив Бога, он падает на колени и разражается рыданиями.

Палачи с невольной почтительностью отступают от Ксении. «Сошла с ума!» — шепотом твердят они...

С того дня она каждую минуту все твердила одни и те же слова: «Так, значит, он любил меня!..»

Многие, видя, как она спокойна, сомневаются в ее безумии: они полагают, что любовь Федора, в которой тот невольно признался, пробудила в сердце сестры невинную и страстную нежность, которую бедная девушка давно уже питала к нему, хоть они оба о том и не ведали, и что это запоздалое прозрение разбило ей сердце.

И поныне никакие увещевания не в силах помешать ей повторять эти слова, механически слетающие с ее уст с поразительной легкостью и без передышки: «Так, значит, он любил меня!»

Ее мысль, ее жизнь остановились, сосредоточившись на невольном любовном признании Федора, и мозг, продолжающий свою деятельность, так сказать, по инерции, повинуется, словно во сне, тому последнему остатку воли, что повелевает ему снова и снова повторять загадочную, священную фразу, которая продлевает жизнь несчастной жертвы.

Федора не убили вслед за Теленевым, но спасение пришло к нему не из-за усталости палачей, а из-за усталости зрителей, ибо человек бездействующий утомляется преступлением быстрее, нежели человек, который его совершает: толпа, насытившись кровью, потребовала, чтобы казнь юноши была отложена до завтрашней ночи. За это время со всех сторон подоспели значительные военные силы. Уже с раннего утра уезд, где зародилось восстание, был окружен; по всем деревням наказали каждого десятого; наиболее виновных приговорили не к смерти, а к ста двадцати ударам кнута, и они погибли; остальных затем сослали в Сибирь. Однако ж обитатели соседних с Вологдой краев не смирились; всякий день мы видим, как крестьян из разных губерний в массовом порядке, целыми сотнями, отправляют в сибирскую ссылку. Помещики, владеющие этими опустошенными деревнями, теперь разорены, ибо здесь богатство хозяев здесь измеряется количеством их крестьян. Богатые владения князя *** превратились в пустыню.

Федору с матерью и женой пришлось вслед за другими жителями своей обезлюдевшей деревни отправиться в Сибирь.

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Ксения присутствовала при отправке ссыльных, но даже не попрощалась, ибо новая эта беда ни на миг не вернула ей рассудка.

В ту роковую минуту жестокие страдания Федора и его семьи еще усилились из-за неожиданного происшествия. Жена его и мать уже сидели на телеге; он готов был вот-вот присоединиться к ним и навсегда покинуть Вологду; однако он ничего не видел, кроме Ксении, его сердце обливалось кровью из-за сестры, сироты, которая утратила все чувства, или по крайней мере память, и которую он вынужден был оставить одну на неостывшем пепелище родной деревни. Ей теперь все время нужна помощь, думал он, а защиты искать будет не у кого, кроме чужих людей; и слезы его иссякали от отчаяния. Тут с телеги доносится душераздирающий крик, Федор бросается к жене и находит ее без чувств: кто-то из солдат охраны только что унес его ребенка.

— Что ты делаешь? — кричит отец, обезумев от боли.

— Хочу положить его тут, у дороги, пусть кто-нибудь похоронит; он же умер, ты что, не видишь? — отвечает казак.

— А я хочу увезти его с собой!

—Нечего.

В эту минуту сбегаются на шум другие солдаты и хватают Федора; уступая насилию, он поначалу впадает в оцепенение, потом плачет, умоляет:

— Он не умер, он просто в забытьи, позвольте мне его поцеловать, — твердит он, рыдая, — обещаю, что если сердце у него не бьется, я не возьму его с собой. Может быть, и у вас есть сын, и у вас есть отец, так сжальтесь надо мною, — просит несчастный юноша, сраженный столькими ударами судьбы.

Смягчившись, казак отдает ему ребенка; но стоит отцу прикоснуться к его ледяному телу, как волосы его встают дыбом; он оглядывается кругом, взгляд его встречается с одушевленным свыше взором Ксении — ничто на свете, ни горе, ни несправедливость, ни смерть, ни безумие не в силе воздвигнуть преграду между двумя сердцами, рожденными, чтобы понимать друг друга: то Божья воля.

Федор делает Ксении знак, солдаты почтительно расступаются перед бедной сумасшедшей, та подходит и принимает из рук отца тельце ребенка, но по-прежнему не произносит ни слова. Дочь Теленева молча снимает с себя платок, отдает его Федору, а потом сжимает в объятиях младенца. Благоговейно держа свою ношу, она стоит неподвижно до тех пор, покуда ее возлюбленный брат, сидящий между плачущей матерью и умирающей женой, не скрывается из виду навсегда. Она долго провожает глазами обоз ссыльных мужиков; наконец, когда последняя повозка исчезает на дороге, ведущей в Сибирь, и она остается одна, она уносит с собой ребенка и принимается играть с его хладными останками и ухаживать за ними с величайшей изобретательностью и нежностью.

— Значит, он не умер! — говорили окружающие. — Он воскреснет, она его воскресит!..

О сила любви!., кто положит тебе предел?

Мать Федора не уставала винить себя за то, что не сумела удержать Ксению в хижине сумасшедшего старика.

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

— По крайней мере ей бы не пришлось смотреть на казнь отца, — твердила добрая Елизавета.

— Вы бы сохранили ей рассудок, и она страдала бы еще больше, — отвечал матери Федор, и оба снова погружались в угрюмое молчание.

Бедная старуха долго и, казалось, безропотно сносила все; ни резня, ни пожар не исторгли из груди ее ни единой жалобы; но когда ей, вместе с другими жителями Вологды, пришлось в наказание ехать в ссылку, покинув избу, где родился ее сын, где умер отец ее сына, когда ее разлучили с умалишенным братом, мужество оставило ее: вконец обессилев, она цеплялась за бревна избы, целовала их, в отчаянии вырывала из щелей пропитанный дегтем мох. Женщина эта потеряла все не ропща, но разлука с семейным очагом сделала ее безутешной. В конце концов ее оттащили и привязали к телеге, где, как мы видели, оплакала она новорожденного сына своего дорогого Федора.

Трудно поверить, но заботы Ксении, ее животворное дыхание, быть может ее молитва вернули к жизни ребенка, которого Федор считал погибшим. Благодаря этому чуду нежности или набожности чужаки-северяне, присланные, чтобы заселить пустынные развалины Вологды, почитают Ксению как святую.

Даже те, кто считает ее сумасшедшей, никогда бы не осмелились забрать у нее ребенка брата; никому и в голову не приходит отнимать у нее драгоценную, у смерти похищенную добычу. Это чудо, сотворенное любовью, послужит утешением ссыльному отцу, и сердце его еще откроется для счастья, когда он узнает, что сын его спасен, и спасен ею!!

По пятам за Ксенией ходит коза; она кормит ребенка. Иногда можно видеть словно ожившую картину: дева-мать сидит на солнышке близ черных развалин родной усадьбы и братски улыбается сыну своей души, ребенку ссыльного.

С чисто девичьей грацией она качает малыша на коленях, и воскресшее дитя с ангельской радостью обращает к ней свою чудесную улыбку. Сама о том не подозревая, Ксения перешла от милосердия к любви, от любви к безумию, а от безумия к материнству; Бог хранит ее; ангел и безумная целуются, паря над юдолью плача — так перелетные птицы встречаются за облаками.

Иногда душу ее, кажется, посещает какое-то воспоминание, сладостное и печальное разом: тогда бесчувственные уста ее, эхо минувших дней, машинально шепчут загадочные слова, единственное и высшее выражение ее жизни, и смысла этих **слов не постичь никому из новых обитателей Вологды: «Так, значит, он любил меня!»**

КОНЕЦ ИСТОРИИ ТЕЛЕНЕВА

Ни русский поэт, ни я не остановились перед тем, чтобы отнести к Ксении слова «дева-мать»; ни он, ни я не считаем, что чем-либо оскорбили возвышенный стих католического поэта:

О дева-мать, дочь своего же сына [1]

или осквернили глубочайшую тайну, обозначенную им в столь кратких словах.

[1] Данте. «Рай», песнь XXXIII, 1-й стих.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Петербург в отсутствие императора. — Погрешности архитекторов. — Женщины редки на петербургских улицах. — Государево око. — Волнение придворных. — Метаморфозы. — Особенный склад русского честолюбия. — Военный дух. — Необходимость, которой подчиняется даже император. — Чин. — Дух сего установления. — Петр I. — Его понимание чина. — Россия превращается в полк. — Дворянство уничтожено. — Николай более русский, чем Петр I. — Чин разделяется на четырнадцать классов. — В чем преимущество человека, принадлежащего к последнему классу. — Соответствие гражданских классов воинским званиям. — Продвижение по службе зависит единственно от воли императора. — Удивительная сила честолюбия. — Его последствия. — Мысль, подчинившая себе русский народ. — Различные мнения относительно будущего этой империи. — Взгляд на характер русского народа. — Сравнение между простолюдинами в Англии, во Франции и в России. — Бедственное положение русского солдата. — Опасность, которой подвергается Европа. — Русское гостеприимство. — Какова его цель. — Затруднения, какие вызывает желание осмотреть что-либо самостоятельно. — Формальности, считающиеся изъявлением учтивости. — Память о Востоке. — Ложь по необходимости. — Воздействие способа правления на национальный характер. — Родство русских с китайцами. — Оправдание неблагодарности. — Манеры людей, приближенных ко двору. — Предубеждение русских против иностранцев. — Различие между русским и французским характером. — Всеобщая недоверчивость. — Слова Петра Великого о характере своих подданных. — Византийцы. — Суждение Наполеона. — Самый искренний человек во всей империи. — Испорченные дикари. — Маниакальная приверженность к путешествиям. — Ошибка Петра Великого, которую повторяли и его преемники. — Император Николай единственный попытался ее исправить. — Дух его царствования. — Острота г-на дела Ферронне. — Удел государей. — Бессмысленная архитектура. — Красота и польза петербургских набережных. — Описание Петербурга, сделанное Вебером в 1718 году. — Три площади, сливающиеся в одну. — Собор Святого Исаака. — Отчего государи чаще, нежели народы, ошибаются, выбирая место для городов. — Казанский собор. — Греческое суеверие. — Церковь в Смольном. — Женская конгрегация с военным уставом. — Таврический дворец. — Античная Венера. — Дар папы Климента XI Петру I. —

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Соображения по этому поводу. — Эрмитаж. — Картинная галерея. — Императрица Екатерина. — Портреты, написанные г-жой Лебрен. — Устав кружка, собиравшегося в Эрмитаже, который был составлен императрицей Екатериной II.

Петербург, 1 августа 1839 года 863

Когда я последний раз писал вам, я обещал, что не вернусь во Францию, покуда не доберусь до Москвы; с тех пор вы не можете думать ни о чем другом, кроме этого легендарного города — легендарного вопреки историческим фактам.[1] И в самом деле, пускай название «Москва» звучит весьма современно и вызывает в памяти достовернейшие события нашего столетия, — удаленность бывшей столицы и величие этих событий придают ей поэтичность, как никакому другому городу. В этих эпических сценах есть нечто величественное и странным образом контрастирующее с духом нашего века, века геометров и торговцев ценными бумагами. Так что я с огромным нетерпением жду, когда окажусь в Москве: такова теперь цель моего путешествия; я выезжаю через два дня, однако в эти дни буду писать вам прилежней, чем когда-либо, ибо непременно хочу представить сколько возможно полную картину сей обширной и ни на что не похожей империи.

Вы не можете даже вообразить, насколько печальное зрелище являет собой Петербург в отсутствие императора; город сей, по правде говоря, и в другое время не назовешь веселым; но, лишившись двора, он превращается в пустыню, — к тому же, как вы знаете, ему постоянно грозит гибелью морская стихия. И вот нынче утром, прогуливаясь по его безлюдным набережным и опустевшим променадам, я говорил себе: «Значит, Петербург скоро затопит; люди бежали из него, и вода возвратится на свое законное место — на болото; на сей раз природа воздала по заслугам ухищрениям искусства». Ничего подобного: Петербург вымер, потому что император отбыл в Петергоф — вот и все.

Море выталкивает воды Невы, и они поднимаются так высоко, а берега ее так низки, что широкое, с бесконечным множеством рукавов устье похоже на застывшее наводнение, на трясину, — рекой Неву называют за недостатком более точного определения. Нева в Петербурге — это уже море; выше по течению это водоспуск длиною в несколько лье, сток Ладожского озера, воды которого текут по нему в Финский залив.

В ту пору, когда возводились петербургские набережные, у русских царила мода на низкие здания — мода весьма неразумная для страны, где высота стен уменьшается на шесть футов из-за снега, покрывающего землю восемь месяцев в году, и где ни одна возвышенность не сообщает пейзажу живописности и не нарушает ровного круга — недвижной линии горизонта, обрамляющей города, плоские, как морская гладь.

Серое небо, стоячая вода, пагубный для жизни климат, топкая почва бесплодной, слякотной низины, монотонная, плоская равнина, где земля похожа на

[1] **Слова эти — ответ на письмо, полученное из Парижа.**

воду чуть более темного оттенка, — лишь поборов все эти неприятные обстоятельства, человек мог придать живописность Петербургу и его окрестностям. Без сомнения, только прихоть, прямо противоположная чувству прекрасного, могла понудить кого-то расположить рядами на ровной поверхности очень плоские сооружения, едва выступающие из болотного мха. В юности я приходил
862 в восторг, стоя у подножия гористых берегов Калабрии: передо мной был пейзаж, все линии которого, за исключением моря, были вертикальными. Здешняя же земля, наоборот, — плоскость, очерченная абсолютно горизонтальной линией, что проведена между небом и водой. Дома, дворцы и присутственные места, стоящие по берегам Невы, кажется, почти сливаются с землей, или, вернее, с морем; среди них есть и одноэтажные, а самые высокие — в три этажа: на вид все они как будто расплющены. Корабельные мачты вздымаются выше крыш; крыши эти крыты железом и покрашены, отсюда их чистота и легкость; но их сделали очень плоскими, на итальянский манер — и снова вопреки здравому смыслу! Для стран, где много снега, годятся лишь островерхие крыши. В России вас на каждом шагу поражают последствия непродуманного подражательства.

Меж четырехугольных зданий якобы романской архитектуры взору вашему открываются обширные проемы, прямые и пустынные; они именуются улицами; с виду они нисколько не похожи на южные, несмотря на обрамляющие их классические колоннады. Ветер беспрепятственно гуляет по этим дорогам, спрямленным и широким, словно аллеи внутри военного лагеря.

Печальный вид города еще усиливается от того, что здесь редко встретишь женщин. Те, что недурны собой, никогда не ходят пешком. Люди богатые, если им захочется пройтись, не преминут взять с собой лакея, чтобы он сопровождал их, — обычай, имеющий в основании осмотрительность и необходимость.

Одному императору под силу заселить это скучное место, один только он способен создать толпу на этом бивуаке, что немедля опустеет, как только его покинет господин. В механизмы вдыхает он живописную страсть и мысль; короче, это чародей, чье присутствие пробуждает Россию, а отсутствие погружает в сон: едва двор покидает Петербург, как великолепная столица превращается в зрительный зал после спектакля. Император — это зажженная лампа. По возвращении из Петергофа я не узнаю Петербург; четыре дня назад я уезжал из совсем другого города — но когда бы нынче ночью император возвратился, наутро все то, что теперь нагоняет скуку, пробуждало бы живейший интерес. Надобно быть русским, чтобы понимать могущество государева ока: это нечто совсем
863 иное, нежели око влюбленного, о котором говорил Лафонтен.

Вы думаете, девушка в присутствии императора думает о своих сердечных делах? Вы ошибаетесь: она думает, как добиться повышения для брата; старуха, едва ощутив близость двора, забывает о своих недугах; пускай у нее нет семьи и ей не о ком печься — неважно, ведь царедворством занимаются ради удовольствия, раболепствуя бескорыстно, так, как игрок бескорыстно любит игру ради самой игры. У лести нет возраста. И вот, стряхнув с себя бремя прожитых лет, эта морщинистая кукла утрачивает и достоинство, отличающее старость: никто не сжалится над суетливой дряхлостью, ибо она смешна. Под конец жизни

следовало бы особенно прилежно исполнять то, чему учит нас время, — а оно учит нас великому искусству отречения. Блаженны люди, с юных лет умевшие извлечь пользу из этих наставлений!., отречение есть доказательство душевной силы: отказаться по своей воле, прежде чем потерять по чужой — вот в чем кокетство старости.

У придворных оно не в ходу, так что в Петербурге к нему прибегают реже, чем где бы то ни было. Резвые старушки представляются мне настоящим бедствием для русского двора. Солнце государевой милости слепит честолюбцев, и особенно честолюбцев в юбке; из-за него они не видят истинной своей выгоды, а она в том, чтобы, скрывая убожество души, не уронить своего достоинства. Русские же придворные, подобно святошам, не знающим ничего, кроме Бога, похваляются нищетою духа: они ничем не гнушаются и в открытую занимаются своим ремеслом. В этой стране льстец играет, выложив карты на стол и, что самое удивительное, используя всем известные приемы, умудряется еще и выигрывать! В присутствии императора больной водянкой начинает дышать, парализованный старик обретает проворство, не остается ни одного больного, ни единого подагрика, ни пылкого влюбленного, ни падкого до развлечений юноши, ни острого на язык мыслителя — человека не остается вообще!!! Это пощечина всему роду человеческому. Душу этим подобиям людей заменяют остатки скупости и тщеславия, поддерживающие их вплоть до самой кончины; двумя этими страстями живет любой двор, однако здесь они вовлекают своих жертв в какое-то военное состязание — все этажи общества объяты упорядоченным соперничеством. Подняться еще на ступень в ожидании лучшего — вот единственный помысел этой увешанной ярлыками толпы.

Но какой же наступает всеобщий упадок сил, когда звезда, приводящая в движение все эти атомы, заходит за горизонт! Перед вами словно ночная роса, падающая в пыль, или монахини Роберта Дьявола, что возвращаются в свои гробницы — ждать сигнала к новому хороводу. 863

Поскольку ум у всех и каждого направлен на продвижение по службе, любая беседа становится невозможной: глаза великосветских русских — дворцовые подсолнухи; русские говорят с вами, не придавая произносимым словам никакого значения, — взор же их остается по-прежнему прикован к солнцу монаршей милости.

Не думайте, что в отсутствие императора беседа становится более свободной: он всегда стоит перед внутренним взором, так что в подсолнух превращаются не глаза, но мысль. Одним словом, для этого несчастного народа император — это Господь Бог, это сама жизнь и сама любовь. Именно в России следовало бы без устали твердить молитву мудреца: «Господи, храни меня от власти пустяков!»

Можете ли вы себе представить, чтобы вся жизнь человека свелась к надежде поклониться государю в благодарность за один его взгляд? Бог вложил чересчур много страстей в сердце человеческое для того употребления, какое этому сердцу находят здесь.

Если случается мне поставить себя на место того единственного человека, за кем тут признают право жить свободным, я трепещу за него. Что за ужасная

роль — играть роль провидения для шестидесяти миллионов душ! Это божество, порождение политического суеверия, стоит перед выбором из двух возможностей: либо доказать свою человеческую природу и дать себя уничтожить, либо двинуть членов своей секты на завоевание мира, дабы подтвердить свою божественность; оттого-то в России вся жизнь становится школой честолюбия.

Но какой же путь пришлось проделать русским, дабы достигнуть подобного самоотречения? Каким из имеющихся у человека средств можно было получить такой политический результат? каким? вот каким: это средство — *чин;* чин есть гальванизирующая сила, видимость жизни тел и умов, это страсть, что переживет любую другую!.. Я показал вам воздействие чина, теперь самое время объяснить, что он собой представляет.

Чин — это нация, разделенная на полки, это военное положение, на которое переведено все общество, и даже те его классы, что освобождены от воинской службы. Одним словом, это деление гражданского населения на классы, соответствующие армейским званиям. С тех пор как была установлена эта иерархия званий, человек, в глаза не видевший учений, может сделаться полковником.

Петр Великий, к которому неизменно приходится обращаться, чтобы понять нынешнюю Россию, — так вот, Петр Великий, наскучив некоторыми национальными предрассудками, в чем-то походившими на аристократизм и мешавшими ему в осуществлении его планов, пришел однажды к мысли, что паства его чересчур много думает и чересчур независима; в стремлении устранить сию помеху — наиболее досадную для ума активного и прозорливого в своей области, но слишком узкого, чтобы осознать преимущества свободы, какую бы пользу ни приносила она нациям и даже правителям их, — сей великий мастер по части произвола, со своим глубоким, но ограниченным пониманием вещей, не придумал ничего лучшего, как поделить стадо, то есть страну, на различные классы, не зависящие от имени отдельного человека, его происхождения и славы его рода; так, чтобы сын самого знатного в империи вельможи мог быть причислен к низшему классу, а сын кого-нибудь из принадлежащих ему крестьян — возведен в один из первых классов, буде на то случится воля императора. При таком разделении народа всякий человек получает место по милости государя; вот как Россия превратилась в полк из шестидесяти миллионов человек, вот это и есть чин — величайшее из творений Петра Великого.

Видите, как сей государь, причинивший своей поспешностью столько зла, избавился в один день от вековых оков. Сей тиран, насаждавший добро и возжелавший обновить свой народ, не ставил ни во что ни природу, ни историю, ни прошлое людей, ни их характеры и жизнь. Подобные жертвы позволяют без труда достичь великих результатов; Петр I достиг их, но крайне дорогой ценой, а дела столь великие редко бывают добрыми. Он отлично понимал, он лучше чем кто-либо знал, что, покуда в обществе существует дворянское сословие, деспотическая власть одного человека никогда не станет в нем абсолютной; и тогда он сказал себе: чтобы осуществить мой способ правления, нужно уничтожить феодальный режим без остатка, а лучший способ этого достигнуть — превратить дворян в карикатуры, подкупить знать, заставить ее зависеть от меня, то есть

уничтожить; и тотчас дворянство было если не разрушено, то по крайней мере превращено в нечто совсем иное: новое учреждение отменило его, заместив, но не восполнив утраты. В этой иерархии есть такие касты, в которые достаточно попасть, чтобы обрести потомственное дворянство. Таким-то образом Петр Великий — которого я бы охотнее назвал Петром Сильным, — более чем на полвека опередив современные революции, разделался с феодальной знатью. Она была у него, по правде сказать, не такая могущественная, как у нас, и очень скоро пала под тяжестью полугражданского-полувоенного учреждения, из которого выросла нынешняя Россия. Петр I обладал умом проницательным, но недальновидным. А потому, воздвигнув свою власть на одних развалинах, он не нашел ничего лучшего, как использовать приобретенную необъятную силу для того, чтобы с большей легкостью обезьянничать, копируя европейскую цивилизацию.

Творческий ум, прибегнув к тому образу действий, что усвоил себе этот государь, сотворил бы совершенно иные чудеса. Но русская нация, позже других взошедшая на великую сцену мира, гением своим избрала подражательство, а орудием — подмастерье плотника! Будь во главе ее кто-нибудь менее добросовестный, менее погруженный в детали, нация эта заставила бы о себе говорить — правда, несколько позднее, зато для пущей своей славы. Власть ее, будь она основана на внутренних потребностях, принесла бы миру пользу; покуда она его только удивляет.

Наследники сего законодателя в римском сагуме за столетие добавили к беспомощной привычке подражать своим соседям еще и тщеславное намерение их покорить. И вот ныне император Николай наконец постиг, что России пришло время отказаться от заимствования чужеземных образцов ради господства над миром и его завоевания. Он первый истинно русский государь, правящий Россией начиная с Ивана IV. Петр I, русский по своему характеру, не был русским в политике; Николай, природный немец, — русский по расчету и по необходимости.

Чин состоит из четырнадцати классов, причем каждый класс имеет свои особенные привилегии. Четырнадцатый — самый низкий класс.

Ниже его находятся только крепостные, и единственное его преимущество в том, что числятся в нем люди, именуемые свободными. Свобода их заключается в том, что их нельзя побить, ибо ударивший такого человека преследуется по закону. Зато всякий, кто принадлежит к этому классу, обязан написать на двери номер своего класса, дабы не ввести в искушение либо в заблуждение кого-либо из вышестоящих; тот, кто, пренебрегши этим извещением, нанесет побои свободному человеку, становится преступником и должен понести наказание.

Четырнадцатый класс состоит из низших правительственных чиновников — почтовых служащих, посыльных и прочих подчиненных, в чьи обязанности входит передавать либо исполнять приказания вышестоящих начальников; он соответствует званию унтер-офицера в императорской армии. Люди, включенные в этот класс, служат императору, это уже не крепостные; у них есть чувство собственного достоинства — общественного, ибо человеческое достоинство, как вы знаете, в России неведомо.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Поскольку всякий класс чина соответствует воинскому званию, армейская иерархия оказывается, так сказать, параллельной тому порядку, которому подчинено государство в целом. Первый класс расположен на вершине пирамиды и состоит сейчас из одного-единственного человека — фельдмаршала Паскевича, наместника царства Польского.

Продвижение каждого отдельного человека в чине зависит, повторяю, единственно от воли императора. Так что человек, поднявшись со ступени на ступень до самого высокого положения в этой искусственно устроенной нации, может по смерти удостоиться военных почестей, никогда не служив ни в одном роде войск.

О милости повышения в чине никогда не просят, но домогаются ее всегда.

Именно в этом состоит страшная сила брожения, которой пользуется глава государства. Врачи жалуются, что не могут вызвать лихорадку у некоторых пациентов, дабы излечить их от хронических болезней, — царь же Петр привил лихорадку тщеславия всему своему народу, дабы сделать его податливее и править им по собственному усмотрению.

Английская аристократия тоже не зависит от рождения, ибо зиждится на двух вещах, которые можно купить, — должности и земле. Но если даже эта безвольная аристократия до сих пор наделяет корону громадной властью, то каково же должно быть могущество господина, от которого зависят все эти вещи вместе, и на бумаге, и на деле?

Из подобного общественного устройства проистекает столь мощная лихорадка зависти, столь неодолимый зуд честолюбия, что русский народ должен утратить способность ко всему, кроме завоевания мира. Я все время возвращаюсь к этому намерению, ибо тот избыток жертв, на какие обрекает здесь общество человека, не может объясняться ничем иным, кроме подобной цели. Беспорядочное честолюбие иссушает человеческое сердце, но оно в равной мере может истощить и ум, отбить у нации способность к суждению настолько, чтобы она пожертвовала свободой ради своей победы. Не знай я этой задней мысли, пусть не высказываемой вслух, — мысли, которой, быть может не отдавая себе в том отчета, повинуется множество людей, я бы почел историю России за необъяснимую загадку.

Тут возникает главный вопрос: что такое эта мысль о завоевании, составляющая тайную жизнь России, — приманка ли, способная более или менее долго соблазнять грубый народ, или же в один прекрасный день ей суждено воплотиться в действительность?

Сомнение это не покидает меня ни на минуту, и, несмотря на все свои усилия, ответа я не нашел. Все, что я могу сказать, — это то, что с тех пор как я в России, будущее Европы видится мне в черном цвете. Однако же совесть велит мне не скрывать и того, что люди весьма мудрые и весьма опытные придерживаются иного мнения.

Люди эти говорят, что я преувеличиваю могущество России, что каждому обществу предначертана своя судьба, что удел общества русского — распространить свои завоевания на Восток, а затем распасться самому. Умы, упорно не желающие верить в блестящее будущее славян, признают, как и я, что народ этот даровит и любезен; они соглашаются, что он восприимчив ко всему живописному;

они отдают должное его врожденной музыкальности и приходят к выводу, что подобные склонности могут до определенной степени способствовать развитию изящных искусств, но их недостаточно для того, чтобы осуществились притязания на мировое господство, которые я приписываю русским или подозреваю у их правительства. «Русские лишены научного гения, — добавляют эти мыслители, — в них никогда не проявлялась способность к творчеству; ум их от природы ленив и поверхностен, и если они и усердствуют в чем, то скорее из страха, чем из увлечения; страх придает им готовность пойти на все, набросать начерно что угодно, но он же и мешает им продвинуться далеко по какой бы то ни было стезе; гений, подобно геройству, по природе отважен, он живет свободой, тогда как царство и сфера действия у страха и рабства ограничены — как и у посредственности, орудием которой они выступают. Русские — хорошие солдаты, но скверные моряки; они, как правило, более покорны, чем изобретательны, более склонны к религии, чем к философии, в них больше послушания, нежели воли, и мысли их недостает энергии, как душе их — свободы.[1] Самое для них трудное и наименее естественное — это чем-то всерьез занять свой разум и на чем-то сосредоточить свое воображение, так, чтобы найти ему полезное применение; вечные дети, они смогут на какой-то миг одолеть всех с помощью меча, но никогда с помощью мысли; а народ, которому нечего передать другим народам, тем, кого он хочет покорить, недолго будет оставаться сильнейшим.

Даже французские и английские крестьяне физически крепче, нежели обитатели России: русские более проворны, чем мускулисты, более свирепы, чем энергичны, и более хитры, чем предприимчивы; в них есть некая созерцательная храбрость, но им недостает дерзости и настойчивости; их армия, блистающая на парадах отменной дисциплиной и выправкой, состоит, за исключением нескольких избранных частей, из людей, которых публике предъявляют в красивой форме, а за стенами казарм содержат в грязи. Цвет лица изможденных солдат выдает их страдания и голод — ибо поставщики обворовывают этих несчастных, а те получают слишком скудное жалованье, чтобы, тратя его частично на лучшую пищу, удовлетворять свои потребности; обе турецкие кампании достаточно ясно явили всем слабость этого колосса: короче говоря, у общества, не вкусившего при рождении своем свободы, не знавшего иных политических потрясений, кроме навеянных чужеземным влиянием, общества, неспокойного в самой сердцевине своей, нет долговечного будущего...» 863

Из всего этого делается вывод, что Россия, мощная в своих собственных пределах, наводящая страх, покуда она борется лишь с азиатами, сломает себе шею в тот самый миг, когда ей захочется сбросить маску и объявить войну Европе—в подтверждение своей высокомерной дипломатии.

Таковы, насколько я знаю, самые сильные доводы, что выдвигают против моих опасений политические оптимисты. Я нисколько не ослаблял аргументацию моих противников; меня они обвиняют в том, что я преувеличиваю опасность. Говоря по правде, есть люди, и люди ничуть не менее достойные, которые

[1] См. портрет русских в письме тридцать втором, из Москвы. 863

разделяют мое мнение и неустанно корят оптимистов за слепоту, уговаривая их признать зло, покуда оно еще не стало непоправимым. Я представил вам обе стороны вопроса; теперь слово за вами — ваше суждение будет иметь в моих глазах большой вес; однако же предупреждаю: если ваш приговор будет отличен от моего, я все равно долго и упорно, покуда хватит сил, буду отстаивать свое мнение, пытаясь найти наилучшие доводы для его подкрепления. Я вижу этого колосса вблизи, и мне трудно себе представить, чтобы сие творение божественного Промысла имело целью лишь ослабить азиатское варварство. Мне представляется, что главное его предназначение — покарать дурную европейскую цивилизацию посредством нового нашествия; нам непрестанно угрожает извечная восточная тирания, и мы станем ее жертвами, коли навлечем на себя эту кару своими чудачествами и криводушием.

Вы не ждете от меня исчерпывающего отчета о путешествии; я не пишу вам о множестве знаменитых либо просто интересных вещей, потому что они не произвели на меня сильного впечатления; мне хочется остаться свободным и описывать лишь то, что живо меня поражает. Обязательные описания отбили бы у меня вкус к путешествиям: на свете довольно каталогов, и мне необязательно прибавлять к такому количеству цифр еще и собственные перечни.

Здесь ничего нельзя осмотреть без церемоний и предварительной подготовки. Отправиться куда бы то ни было, когда вам придет охота это сделать, — вещь невозможная; предвидеть за четыре дня, куда вас увлечет ваша фантазия, — все равно что вовсе не иметь фантазии, однако, живя здесь, с этим в конце концов приходится смириться. Русское гостеприимство, ощетинившееся формальностями, осложняет жизнь даже тем иностранцам, к которым здесь больше всего благоволят; оно лишь приличный предлог, чтобы стеснить путешественника в передвижениях и ограничить свободу его наблюдений. Вас чествуют, так сказать, по русскому обычаю, и из-за этой прескучной учтивости наблюдателю нельзя никуда пойти и ничего рассмотреть без провожатого; он никогда не остается один, а потому ему труднее судить обо всем самостоятельно — но именно этого и не хотят ему позволить. Въезжая в Россию, надо свою свободную волю оставить вместе с паспортом на границе. Вам хочется взглянуть на достопримечательности какого-нибудь дворца? К вам приставят камергера, который заставит вас отдать должное всему дворцу, сверху донизу, и присутствием своим вынудит разглядывать всякую вещь в подробностях — то есть на все смотреть его глазами и восхищаться всем без разбору. Вам хочется пройтись по военному лагерю, весь интерес которого для вас — в расположении бараков, в живописных мундирах, в красивых лошадях, в солдатах, что устроились по своим палаткам? Вас будет сопровождать офицер, а то и генерал; в госпитале вашим проводником будет главный врач; крепость вам покажет — вернее, вежливо ее от вас скроет — комендант; директор или инспектор школы либо иного публичного учреждения, уведомленный заранее о вашем визите, встретит вас во всеоружии и отлично подготовится к ответам на все вопросы, чтобы не бояться вашего осмотра; архитектор, выстроивший здание, сам проведет вас по всем его частям и сам объяснит все, о чем вы не спрашивали, — дабы утаить то, что вам интересно узнать.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Все эти восточные церемонии приводят к тому, что, дабы не тратить все свое время на испрашивание разрешений, вы отказываетесь от мысли повидать очень многое из того, что хотели: вот вам и первое их преимущество!.. Либо, если любопытство ваше настолько сильно, что заставляет упорно досаждать людям, вы по крайней мере будете вести свои разыскания под таким пристальным наблюдением, что они не принесут никакого результата; вы будете иметь дело только с начальниками так называемых публичных заведений, и только официально; вам оставят только свободу изъяснять законной власти свое восхищение, продиктованное вежливостью, осмотрительностью и благодарностью, до которой русские весьма ревнивы. Вам ни в чем не отказывают, но повсюду сопровождают: вежливость здесь превращается в разновидность слежки.

Вот так вас и тиранят, под тем предлогом, что оказывают вам честь. Таков удел избранных путешественников. Что же до путешественников, не имеющих покровителей, то они вовсе ничего не видят. Страна эта так устроена, что ни один иностранец не может разъезжать по ней не только беспрепятственно, но даже просто безопасно без прямого вмешательства представителей власти. Надеюсь, вы узнаёте восточные нравы и восточную политику, что скрываются здесь под маской европейской воспитанности. Союз Запада и Востока, с последствиями которого сталкиваешься на каждом шагу, — отличительная черта русской империи.

Недоцивилизация везде создает формальности; цивилизация утонченная уничтожает их; это как высшая учтивость, которой чужда всякая натянутость.

Русские до сих пор верят в действенность лжи; и мне странно видеть это заблуждение у людей, столько раз к ней прибегавших... Не то чтобы их ум был недостаточно тонок или проницателен; но в стране, где власть до сих пор не поняла преимуществ свободы даже для себя самой, люди подвластные поневоле пугаются ближайших последствий искренности, создающей иной раз некоторые неудобства. Не могу не твердить каждую минуту: все здесь, и народ, и сильные мира сего, вызывают в памяти византийцев.

Быть может, я не испытываю достаточной благодарности за те показные заботы, какими русские окружают всякого известного чужестранца; просто я вижу их потаенные мысли и, сам того не желая, говорю себе: все это усердие — проявление не столько благожелательства, сколько скрытого беспокойства.

Они хотят, следуя благоразумному предписанию Мономаха,[1] чтобы *чужеземец удалился из страны довольный.*

863

Не то чтобы русскую нацию в целом заботило, что о ней говорят и думают, нет; но несколько самых влиятельных родов снедаемы ребяческим желанием перекроить европейскую репутацию России.

Заглядывая еще дальше, приоткрывая завесу, какой любят здесь окутывать любые предметы, я обнаруживаю вкус к тайне ради самой тайны; это результат привычки и сложившихся нравов... Сдержанность здесь в порядке вещей — как неосторожность в Париже.

[1] **См. эпиграф к книге и «Краткий отчет о путешествии».**

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

В России повсюду властвует секрет — административный, политический, общественный; скрытность, полезная и бесполезная, умолчание об излишнем ради того, чтобы умолчать о необходимом, — таковы неизбежные плоды исконного характера этих людей, упроченного воздействием здешнего образа правления. Всякий путешественник нескромен; за иностранцем с его вечным любопытством надобно наивежливейшим образом приглядывать — иначе он, чего доброго,
863 увидит вещи такими, каковы они есть, ведь это было бы в высшей степени неприлично. Короче, русские — это переряженные китайцы; они не желают сознаваться, что питают отвращение к наблюдателям из дальних стран, но если бы, подобно настоящим китайцам, осмелились пренебречь упреком в варварстве, въезд в Петербург был бы нам заказан точно так же, как в Пекин: русские принимали бы к себе только мастеровых людей, стараясь затем не отпустить работника обратно на родину. Вы сами видите, отчего хваленое русское гостеприимство кажется мне не столько лестным или трогательным, сколько досадным; под предлогом покровительства меня связывают по рукам и ногам; но из помех разного рода невыносимее всего кажется мне та, на которую жаловаться я не вправе. Благодарность, которую я испытываю за усердную заботу, предметом коей себя ощущаю, есть благодарность насильно завербованного солдата: я, человек прежде всего независимый, то есть путешественник, все время чувствую на себе иго — моим мыслям стараются придать определенное направление... Здесь не ведают
863 ничего, кроме учений, и умы совершают маневры наподобие солдат; всякий вечер, возвращаясь к себе, я себя ощупываю, чтобы понять, какой на мне мундир, и делаю смотр своим мыслям, выясняя их звание, ибо в этой стране все идеи разбиты на классы в зависимости от положения человека: находясь в определенном звании, человек видит — или притворяется, что видит, — вещи определенным образом, и чем выше этот человек поднимается, тем меньше он думает, иными словами, тем меньше осмеливается говорить.

;((I Я всеми силами избегал завязывать с вельможами дружеские узы и рассмотрел как следует только двор; мне не хотелось утратить свои права независимого и нелицеприятного судьи, я боялся обвинений в неблагодарности или в неверности; более же всего я боялся, как бы ответственность за мои личные мнения не легла на местных жителей. Но при дворе я произвел смотр всему обществу.

Первое, что поразило меня, — это приверженность французскому тону при отсутствии духа французской беседы. Я прекрасно видел за этим тоном русский ум, колкий, саркастический, насмешливый; в непринужденной беседе он показался бы мне забавным, но никогда не внушил бы мне ни чувства безопасности, ни расположения к себе. Однако ум свой русские также скрывают от иностранцев. Поживи я здесь подольше, я бы сорвал маски с этих кукол: мне тошно смотреть, как они повторяют все французские ужимки. В моем возрасте у притворства уже ничему не научишься; только одна правда интересна всегда, ибо дает знание; только она всегда нова.

Потому-то я и старался как можно реже прибегать к гостеприимству людей из высшего света; с меня вполне хватило неизбежного гостеприимства чиновников и служащих всякого звания; мне отвратительна их слежка, которую они

пытаются приукрасить патриархальным названием, — это чистое лицемерие. Скажите, ведь есть же страны, где гостеприимство еще не превратилось в неизбежный налог! Когда его оказывают там, оно ценится как особая милость.

Я с самого начала приметил, что всякий русский простолюдин, от природы подозрительный, ненавидит чужестранцев по невежеству своему, вследствие 864
национального предрассудка; затем я обнаружил, что всякий русский из высшего сословия, не менее подозрительный, боится их, потому что почитает за врагов; он заявляет: «Все эти французы и англичане уверены, будто превосходят остальные народы», — русскому для ненависти к иностранцу достаточно одной этой причины; подобным образом во Франции провинциал опасается парижанина. Большинством русских в их отношениях с жителями других стран движут дикая ревность и ребяческая зависть, которые, однако, ничем нельзя обезоружить; и поскольку эту нерасположенность к общению вы ощущаете повсюду, то в конце концов, хоть и не без сожаления, сами начинаете испытывать то же недоверие, какое внушаете другим. Вы заключаете, что если доверие неизменно остается односторонним, то это уже смахивает на обман, и с этой минуты становитесь холодны и сдержанны, подобно людям, в сердцах которых вы читаете помимо своей и их воли.

Во многих отношениях русский характер — полная противоположность немецкому. Именно поэтому русские утверждают, что они похожи на французов; но подобие здесь чисто внешнее: души их, в глубине своей, нисколько не близки. Вы можете, коли вам так нравится, восхищаться в России восточной пышностью и величием, можете изучать греческое коварство, — но остерегайтесь искать там галльской непосредственности, общительности, любезности, естественной для французов; признаюсь, еще меньше обнаружите вы здесь германского чистосердечия, основательности в знаниях, отзывчивости. В России вы встретите доброту, ибо она есть повсюду, где живут люди, — но никогда не встретите добродушия.

Всякий русский — с рождения подражатель, а значит, прежде всего человек наблюдательный; скажу честно, нередко сей дар, свойственный народам в их детском возрасте, вырождается у русских в довольно подлое шпионство; отсюда докучливые, невежливые вопросы, которые они задают и которые в устах людей, что сами неизменно замкнуты и отвечают одними лишь увертками, кажутся 865
совершенно неуместными. Я бы сказал, что здесь даже в дружбе есть что-то от слежки. Как же не быть начеку, имея дело с людьми столь осмотрительными и скрытными во всем, что касается их самих, и столь дотошно выпытывающими все о других? Когда б они заметили, что вы обходитесь с ними естественнее, нежели они с вами, они бы решили, что им удалось вас обмануть; остерегайтесь же обнаруживать перед ними свою непосредственность, выказывать им доверие: люди, лишенные чувств, развлекаются, наблюдая за переживаниями других; но я не люблю, когда меня используют для подобного рода забав. Смотреть, как мы живем, — для русских величайшее удовольствие; если им позволить, они бы наслаждались, читая в наших сердцах, разбираясь в наших чувствах — словно на представлении в театре.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Чрезвычайная недоверчивость всех, с кем имеете вы здесь дело, независимо от сословия, — напоминание о том, что вам следует держаться настороже: по страху, внушаемому вами, вы можете судить об опасности, которой подвергаетесь.

На днях один трактирщик в Петергофе потребовал с наемного слуги, собиравшегося отнести скверный ужин в мою актерскую ложу, деньги вперед. Заведение сего предусмотрительного человека находится, заметьте, в двух шагах от театра. Одной рукой вы подносите еду ко рту, а другой должны за нее заплатить; если вы закажете что-нибудь у купца, не дав задатка, он решит, что вы шутите, и ничего для вас не сделает; никто не вправе выехать из России, не предупредив
865 о своих планах всех кредиторов, иначе говоря, не объявив о своем отъезде через газеты трижды, с перерывом в неделю. Следят за этим строго — правда, если заплатить полиции, этот срок можно сократить, но одно или два объявления в печати появиться должны непременно. Без свидетельства властей, удостоверяющего, что вы никому ничего не должны, вам не дадут почтовых лошадей.

Подобные предосторожности выдают царящую в стране всеобщую недоверчивость; а поскольку до сих пор русским редко лично приходилось общаться с чужестранцами, обучиться хитрости им было не у кого, кроме себя самих. Опыта они набрались в общении друг с другом. Эти люди не дадут нам забыть остроту, произнесенную их любимым государем Петром Великим: «Чтобы обмануть од-
865 ного русского, потребны три жида».

Здесь вы на каждом шагу сталкиваетесь с теми византийскими интригами в политике, что были описаны историками времен крестовых походов и снова обнаружены императором Наполеоном в императоре Александре, про которого
865 он частенько говаривал: «Настоящий византиец!..»

С людьми, чьи наставники и образцы для подражания всегда были враждебны рыцарству, не следует по возможности вести вообще никаких дел; умы их — рабы собственной корысти, зато безраздельные господа своему слову; не устаю повторять: до сих пор во всей Российской империи лишь один-единственный человек показался мне искренним — государь император.

Говоря по правде, самодержцу откровенность обходится дешевле, нежели его подданным. Изъясняясь без обиняков, он являет свою власть; если абсолютный монарх лжет, он от власти отрекается.

Но ведь несть числа тем, кто небрег в этом отношении и всесилием своим, и достоинством! Души подлые никогда не считают, что ложь ниже их достоинства, а значит, даже человеку всемогущему нужно быть благодарным за его искренность. В императоре Николае откровенность сочетается с учтивостью; два этих качества, взаимоисключающие у простонародья, отлично подкрепляют друг друга у государя.

У тех из вельмож, кто имеет хорошие манеры, доведены они до совершенства: в этом можно всякий день убедиться в Париже и в иных местах. Но светский русский, не достигший настоящей учтивости, то есть легкости в изъявлении неподдельной любезности, душою настолько груб, что из-за ложного изящества его поведения и речей это возмущает вдвойне. Русские эти, дурно воспитанные, но уже хорошо обученные, хорошо одетые, решительные, самоуверенные, следуют по

пятам за европейцами и превращают их изысканность в карикатуру, ибо не ведают, что изысканность в привычках ценна лишь постольку, поскольку возвещает нечто лучшее в сердцах людей, ею наделенных; ученики в мастерской моды, они принимают видимость вещи за нее саму; глядя на этих дрессированных медведей, я сожалею о медведях диких — русские покуда еще не просвещенные люди, но уже испорченные дикари.

Раз уж Сибирь существует, и ей по временам находится известное вам употребление, то мне бы хотелось переселить туда молодых скучающих офицеров и красавиц с расстроенными нервами. «Вы испрашиваете паспорт в Париж, так вот вам паспорт в Тобольск».

Я бы хотел, чтобы император прописал именно такое лекарство от мании путешествовать, которая с пугающей быстротой распространяется в России среди подпоручиков с воображением и ипохондрических дам.

Когда бы он одновременно перенес столицу империи в Москву, он бы исправил зло, причиненное Петром Великим, — насколько один человек в силах умерить заблуждения нескольких поколений.

Петербург был возведен не так для России, как против шведов, и должен был стать всего лишь одним из морских портов, русским Данцигом; вместо этого Петр I выстроил для своих бояр ложу с видом на Европу; заперев в бальной зале своих скованных по рукам и ногам вельмож, он позволил им издали и с завистью взирать в лорнет на цивилизацию, усвоить которую им было запрещено: ведь заставлять копировать — значит мечтать сравняться с оригиналом! Потом он заявил им: «Под страхом смертной казни вы будете называть меня *Петром Великим,* ибо это я принес вам цивилизацию — ценою жизни моего народа и моего сына!» 866

Во всех предприятиях своих Петр Великий совершенно небрег человечностью, временем и природой. Подобное заблуждение, отличающее упрямую и всевластную посредственность, другими словами, тиранию, чьей печатью заблуждение это неизбежно отмечено, непростительно для человека, почитаемого своим народом за гения-творца. Чем дольше всматриваешься в Россию, тем крепче утверждаешься во мнении, что государя этого превозносили сверх меры все, даже и иностранцы; избыток восхищения может лишить потомков чувства справедливости. Когда бы царь Петр был так превосходен, как рассказывают, он избегнул бы неверного пути, на который толкнул свой народ, он бы предвидел, какой легковесности в мыслях и поверхностности в образовании обрек он его на века, и возненавидел бы эти роковые свойства. Возможно ли простить ему издержки его деспотического правления — ему, повидавшему Европу XVIII столетия?

Своими преимуществами он воспользовался не столько как законодатель, сколько как тиран, перемесив всю нацию по прихоти своей воли. К несчастью, то оказалась воля скорее кудесника, нежели человека обширного и основательного ума. Великие люди отнюдь не отменяют прошлого ради созидания будущего; они считаются с прошлым, дабы в чем-то изменить его последствия. Русским надобно не обожествлять, как прежде, этого ненавистника их натуры, а осыпать его упреками, ибо по его вине они лишены какого-либо характера; именно его

влияние, затянувшееся из-за бездумного восхищения потомков, и поныне мешает им породить в области искусств и наук такого человека, чья слава прогремела бы среди чужеземных народов.[1] Законодатель вроде Конфуция не мог прийти на смену такому реформатору, каков был саардамский плотник и придирчивый путешественник, на чье варварство тогдашняя Европа взирала с ужасом, хотя и восхищаясь той сверхъестественной силой, что скрывалась под этой грубой оболочкой. Сей венценосный миссионер на какой-то миг подчинил себе природу, ибо это он умел, но этим его умения и исчерпывались... Когда бы он и в жизни был тем, чем предстал в истории из-за народных суеверий и писательских преувеличений, как бы он поступил? Он бы выждал... и терпеливостью своей заслужил звание великого человека. Петр же предпочел обзавестись сим званием загодя и заставить при жизни причислить себя к лику святых.

Все идеи его, равно как и недостатки характера, из которых идеи эти вытекали, были раздуты еще сильнее в последующие царствования; император Николай первым начинает идти против течения, возвращая русских к самим себе. Мир придет в восхищение от подобного предприятия, когда поймет, сколь мощный и несокрушимый ум замыслил его. Воссоздавать из той России, какой оставил ее император Александр, после таких царствований, каковы были царствования Екатерины и Павла, — русскую империю, говорить и думать по-русски, признаваться, что ты русский душою, оставаясь притом во главе двора, где вельможи наследуют фаворитам *Северной Семирамиды,* — это ли не доблесть!.. Осуществится подобный план или нет, он принесет славу тому, кто его начертал.

У царских придворных нет никаких признанных, обеспеченных прав, это верно; однако в борьбе против своих повелителей они неизменно берут верх благодаря традициям, сложившимся в этой стране; открыто противостоять притязаниям этих людей, выказывать на протяжении длительного уже царствования то же мужество перед лицом лицемерных друзей, какое явил он перед лицом взбунтовавшихся солдат, есть, бесспорно, деяние превосходнейшего государя; эта борьба повелителя одновременно против свирепых рабов и надменных придворных — красивое зрелище: император Николай оправдывает надежды, зародившиеся в день его восхождения на престол; а это дорогого стоит — ведь ни один государь не наследовал власти в более критических обстоятельствах, никто не встречал опасности столь неминуемой с большей решимостью и большим величием духа!..

После мятежа 13 декабря г-н де Л а Ферронне воскликнул: «Я сейчас видел цивилизованного Петра Великого!» — слова его имели немалое значение, ибо в них была немалая доля истины; наблюдая, как тот же человек настойчиво и неустанно развивает у себя при дворе идеи национального возрождения, притом без всякого чванства, без всякого шума и насилия, можно с еще большим правом воскликнуть: «То возвратился Петр Великий, дабы исправить зло, причиненное Петром Слепым».

Намереваясь судить о государе этом со всей возможной беспристрастностью, я обнаружил в нем столько похвального, что не позволяю говорить о нем ничего такого, что могло бы поколебать меня в моем восхищении.

[1] Русские во всем поверхностны и глубоко овладели лишь искусством притворства.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Бедные правители подобны статуям: их изучают столь придирчиво и тщательно, что малейшие недостатки, поименованные критикой, затмевают в них самые редкие и неподдельные достоинства. Но чем сильнее восхищаюсь я императором Николаем, тем несправедливее становлюсь, быть может, в отношении царя Петра. Однако ж я, как могу, стараюсь оценить те усилия воли, благодаря которым он сумел поставить на болоте, замерзающем на восемь месяцев в году, такой город, как Петербург. Впрочем, едва, на свою беду, вижу я перед собой какой-нибудь из тех жалких ***пастишей,*** которыми одарила Россию страсть Петра к классической архитектуре, разделяемая и его преемниками, как чувства мои и вкус восстают и все, чего я достиг посредством рассуждений, идет насмарку. Античные дворцы служат казармами для финнов; римские колонны, карнизы, фронтоны и перистили из белого гипса разбросаны под полярным небом, и притом каждый год их все надобно полностью обновлять, — согласитесь, что от такой пародии, от такой Греции и Италии без мрамора и солнца во мне вполне может снова вспыхнуть гнев; впрочем, я с тем большим смирением отказываюсь называться беспристрастным путешественником, что убежден, что имею на это право. 867

Грозите мне хоть Сибирью, я все равно не устану повторять: когда постройке в целом недостает здравого смысла, а отдельным деталям ее — законченности и соразмерности, это невыносимо. В архитектуре гений призван отыскать наикратчайший и наипростейший способ приспособить здания к тому употреблению, к какому они предназначаются. Так скажите же на милость, чего ради в стране, где девять месяцев в году жить можно лишь при герметически закупоренных двойных стеклах, некие здравомыслящие люди нагромоздили такое количество пилястров, аркад и колоннад? В Петербурге надо было бы гулять, укрываясь за крепостными валами, а не за воздушными колоннадами. Не лучше ли вам построить туннели и сводчатые галереи? — они бы служили вашим дворцам прихожей, передовым укреплением, защитой.[1] Небо враждебно вам, так избегайте самого его вида; вам не хватает солнца — живите при свете факелов; оборонительные укрепления и казематы принесут вам более пользы, нежели открытые всем ветрам гульбища. Со своей южной архитектурой вы являете всем притязание на теплый климат, и от этого еще невыносимей становятся для меня ваши летние дожди и ветры, не говоря уж о тех ледяных иголках, какие вдыхаешь, стоя вашей нескончаемой зимой на вашем великолепном крыльце.

Петербургские набережные — одна из прекраснейших вещей в Европе; почему так? потому что роскошь их состоит в прочности. Благодаря гранитным плитам, уложенным на мелководье взамен земли, благодаря вечному мрамору, что противостоит разрушительной мощи мороза, у меня возникает представление о какой-то разумной силе и величии. Великолепные парапеты, в которые заключена Нева, и защищают Петербург от реки, и служат ему украшением. Раз нет у нас почвы под ногами, мы соорудим каменную мостовую и на ней воздвигнем столицу; от этих тягот у нас погибнет сто тысяч человек — а нам и дела нет: зато мы получим европейский город и станем называться великим народом.

[1] См. описание Москвы.

И здесь, по-прежнему сожалея о том, что слава эта добыта столь бесчеловечной ценой, я не могу помешать восхищаться ею — и восхищаюсь сам, хоть и поневоле!.. Еще меня приводят в восхищение виды, открывающиеся с площади перед Зимним дворцом. Дворец сей возведен на так называемом Адмиралтейском острове; ныне это самый красивый квартал в городе. Вот описание его, сделан-
867 ное Вебером году, кажется, в 1718-м, — читал я его только у Шницлера, а он не указывает точной даты. «Квартал, смежный с Летним садом, ниже по течению Невы, есть так называемый Адмиралтейский остров, он же *Немецкая слобода,* ибо там поселилось большинство иностранцев. Первым делом здесь видишь (там, где Мойка вытекает из Невы) большой почтовый двор и здание, построенное для персидского слона, где, однако, позже поместили глобус из Готторпа. В этой части острова, именуемой также *Finnische Scheeren,* ибо населяют ее по большей части ссыльные из Финляндии и Швеции, находится лютеранская церковь, принадлежащая финнам, и церковь католическая, обе деревянные. Унылые хижины этого квартала походят более на клетки, нежели на дома. Найти здесь нужного вам человека затруднительно, принимая в расчет, что ни одна улица не имеет названия и все они обозначаются по имени какой-либо из живущих на них знаменитостей. Однако ж дома на Миллионной и на набережной Зимнего дворца уже красивы с виду».[1]

Вот что являл собою чуть больше столетия назад самый красивый квартал нынешнего Петербурга.

Несмотря на то, что и самые большие здания в этом городе теряются на пространстве, более достойном называться равниной, нежели площадью, сам дворец выглядит внушительно, стиль его архитектуры, восходящий к эпохе Регентства, не лишен благородства, а песчаник, из которого выстроены его стены, приятен для глаз. Александрийская колонна, Главный штаб, Триумфальная арка в глубине полукругом расположенных зданий, кони, колесницы, Адмиралтейство со своими изящными небольшими колоннами и золоченым шпилем, Петр Великий на скале, министерства — те же дворцы, наконец удивительный храм Святого Исаака, что расположен напротив одного из трех перекинутых через Неву мостов, — все эти памятники, затерянные на просторах одной-единственной площади, выглядят некрасиво, но на удивление величественно... Это застроенное замкнутое пространство и есть так называемая Дворцовая площадь, которая на
867 самом деле состоит из трех сведенных в одну громадных площадей — Петровской, Исаакиевской и площади Зимнего дворца.[2] Я вижу здесь много такого, что заслуживает критики, однако ансамбль этих зданий, хоть и затерянных на просторах площади, вместо того чтобы ее обрамлять, приводит меня в восхищение.

---

[1] См. «Россию, Польшу и Финляндию» г-на Ж.-А. Шницлера. Париж, изд. Жюля Ренуара, 1835, с. 193. — Должен раз и навсегда заявить, что это прекрасное и полезное сочинение, получившее одобрение в Петербурге, до крайности пристрастно, во всяком случае по форме своего языка: это необходимое условие для человека, желающего, чтобы в России снисходительно отнеслись к тому, что он пишет об этой стране.

[2] Перечень памятников, их размеры и всю техническую сторону дела можно найти у Шницлера, с. 200.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Я поднимался на медный купол собора Святого Исаака. Церковь эта — из самых высоких в мире; одни леса ее — уже памятник архитектуры. Строительство еще не закончено, поэтому я не могу составить себе представление о том, как она будет выглядеть целиком.

Оттуда виден весь Петербург и прилегающие к нему равнины; везде, сколько хватает глаз, одно и то же; чтобы здесь жить, человек должен постоянно делать над собой усилие. Результат сих невиданных затей, печальный и пышный, отбил у меня вкус к рукотворным чудесам; надеюсь, он послужит уроком для тех государей, которые, выбирая место для возведения своих городов, снова вознамерятся не посчитаться с природой. Нация в целом никогда не впадает в подобные заблуждения, они, как правило, суть плод самодержавной гордыни. Самодержцы полагают, будто в их власти создать нечто великое там, где Провидению не угодно было создавать вовсе ничего; лесть они принимают за чистую монету и мнят себя творцами всего сущего. Менее всего государи опасаются пасть жертвой собственного себялюбия; они не доверяют никому, кроме себя самих.

Я заходил в несколько храмов; церковь Троицы красива, но внутри стены ее 867
голы, как и в большинстве греческих церквей, которые я здесь видел; снаружи соборы, наоборот, выкрашены в лазурный цвет и усыпаны ослепительными золотыми звездами. Казанский собор, выстроенный Александром, обширен и 867
красив; но, для того чтобы соблюсти религиозный закон, по которому греческий алтарь должен быть непременно развернут на восток, вход в него сделан с угла. Поскольку улица, именуемая Проспектом, имеет не то направление, какое требуется по этому правилу, церковь поставили наискось; люди искусства потерпели поражение, верх взяли правоверные, и один из красивейших памятников России оказался испорчен в угоду суеверию.

Самая большая и богатая из петербургских церквей — Смольная; принадле- 867
жит она общине, своего рода капитулу, состоящему из дам и девиц и основанному императрицей Анной. Размещаются все эти женщины в нескольких громадных зданиях. Когда обходишь по периметру этот благородный приют, монастырь величиной с целый город, притом с архитектурой, какая пристала больше военному учреждению, нежели духовному ордену, перестаешь понимать, где находишься: перед вашим взором не дворец и не монастырь, это — женская казарма.

В России все подчинено военному положению; армейская дисциплина царит и в Смольном, этом дамском капитуле.

Неподалеку виден небольшой Таврический дворец, выстроенный за несколь- 868
ко недель Потемкиным для Екатерины; дворец этот изящен, но заброшен, а все заброшенное в этой стране скоро ветшает, ибо здесь даже камни крепки лишь до тех пор, покуда за ними ухаживают.

Боковая часть здания целиком отведена под зимний сад; нынче лето, и эта великолепная теплица пустует; думаю, она пребывает в запустении и в остальные времена года. Здесь все дышит старинным изяществом, лишенным, однако, того величия, каким время отмечает все истинно древнее; старинные люстры служат свидетельством тому, что во дворце этом устраивали празднества, что здесь когда-то танцевали, ужинали. Думаю, что бал по случаю бракосочетания

великой княгини Елены, супруги великого князя Михаила, — последний из тех, что видел и когда-либо увидит Таврический дворец.

868 В одном из залов в углу стоит Венера Медицейская — говорят, настоящий ***антик;*** вы знаете, что римляне часто воспроизводили этот тип статуи. На пьедестале ее взору вашему предстает надпись, сделанная по-русски:

Дар Папы Климента XI
Императору Петру I
1717 или 1719

Статуя Венеры, посланная папой римским государю-схизматику, да еще известным образом одетая, — дар необыкновенный, что и говорить!.. Царь, издавна замышлявший увековечить схизму, отобрав у русской Церкви последние свободы, должно быть, улыбнулся, когда получил сей знак благорасположения со стороны римского епископа.[1]

ой 8 Еще я видел картины, собранные в Эрмитаже, но описывать их не стану, оттого что завтра мне ехать в Москву. Эрмитаж! не правда ли, несколько претенциозное название для царского жилища, расположенного в центре столицы, подле обычного дворца? Из одного дворца в другой попадают по мосту, перекинутому через улицу.

Вам, как и всем, известно, что там собраны сокровища главным образом голландской школы. Но... я не люблю смотреть живопись в России, точно так же, как не люблю слушать музыку в Лондоне, ибо величайшие таланты и возвышеннейшие шедевры там принимают так, что у меня пропадает вкус к искусству. В такой близости от полюса освещение неблагоприятно для картин, а поскольку зрение у всех слабое либо из-за белизны снега, либо из-за слепящих, косых лучей незаходящего солнца, никто здесь не способен наслаждаться волшебными оттенками мастерского колорита. Зал Рембрандта, конечно, восхитителен, и все же мне больше нравятся те полотна этого мастера, что я видел в Париже и в других местах.

Кроме того, заслуживают упоминания полотна Клода Лоррена, Пуссена и несколько картин итальянских мастеров, особенно Мантеньи, Джамбеллини, Сальватора Розы.

Однако собрание это весьма проигрывает из-за большого числа посредственных картин, о которых следует забыть, чтобы получать удовольствие от шедевров. Приобретая картины для галереи Эрмитажа, создатели ее не скупились на имена великих мастеров, но это нимало не мешает подлинным их произведениям быть здесь редкостью; и подобные пышные крестины весьма заурядных полотен исполняют любопытных нетерпения, но не возбуждают у них восторга. Когда в собрании произведений искусства прекрасное соседствует с прекрасным, они подчеркивают друг друга, дурное же соседство наносит шедевру вред: заскучавший судья неспособен выносить суждение — от скуки всякий делается несправедливым и жестоким.

[1] См. письмо двадцать третье.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Картины Рембрандта и Клода Лоррена производят в Эрмитаже некоторое впечатление только потому, что в залах, где они вывешены, больше ничего нет.

Галерея эта прекрасна, однако, как мне кажется, теряется в городе, где слишком мало людей могут наслаждаться ею.

Неизъяснимая печаль царит во дворце, превратившемся в музей после смерти той, что одушевляла его своим присутствием и умела жить в нем с толком. Самодержица эта лучше чем кто-либо знала цену приватной жизни и нескованной беседе. Не желая мириться с одиночеством, на которое обрекает всякую государыню бремя ее положения, она смогла сочетать уступчивость в частном разговоре с самовластием в управлении государством — иначе говоря, соединять два взаимоисключающих преимущества; боюсь, однако, что этот своеобразный подвиг принес больше пользы императрице, чем ее народу.

Самый прекрасный из существующих ее портретов висит в одном из залов Эрмитажа. Еще я отметил для себя портрет императрицы Марии, супруги Павла I, кисти госпожи Лебрен. Есть здесь античный гений, пишущий на щите, той же художницы. Полотно это — одно из лучших у живописца, чей колорит, не боящийся ни здешнего климата, ни времени, делает честь французской школе. 868

При входе в один из залов обнаружил я за зеленым занавесом то, что вы прочтете чуть ниже. Это распорядок кружка, собиравшегося в Эрмитаже, и предназначался он для тех, кто был допущен царицей в сию обитель имперской свободы...

Я велел дословно перевести мне сей внутренний устав, пожалованный этому некогда сказочному месту по прихоти государыни; его переписывали для меня на моих глазах.

ПРАВИЛА, КОИХ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬСЯ ВЗОШЕДШЕМУ 868

1.

Всяк, взойдя сюда, да оставит у дверей чины свои и звание, как оставляет он шляпу и шпагу.

2.

Все притязания, в основании коих лежит превосходство в рождении, гордыня либо иные подобного же рода чувства, также за порогом должны быть оставлены.

3.

Веселитесь; однако ж ***ничего не бейте и не портите.***

4.

Сидите, стойте, ходите, делайте все что вам заблагорассудится и ни на кого внимания не обращайте.

5.

Говорите воздержно и не чересчур много, дабы не мешать остальным.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

6.

Споря, не гневайтесь и не горячитесь.

7.

Удаляйте от себя *вздохи и зевоту,* дабы не нагонять скуки и никому не быть в тягость.

8.

Коли один из членов общества предложит сыграть в невинную игру, другие должны согласиться.

9.

Ешьте не спеша и *с аппетитом,* пейте воздержно, дабы всякий уходил отсюда своими ногами.

10.

Оставьте все ссоры за дверью; прежде, нежели переступить порог Эрмитажа, *все, что входит в одно ухо, следует выпустить в другое.* Буде кто нарушит вышеуказанный распорядок и два человека будут тому свидетели, то за каждую провинность принужден будет выпить *стакан простой воды (не исключая и дам);* независимо от того, прочтет он вслух целую страницу из «Телемахиды» (поэма Тредиаковского); тот же, кто в протяжении одного вечера нарушит три статьи сего распорядка, обязан будет выучить наизусть шесть строк из «Телемахиды». Тот же, кто нарушит десятую статью, навеки изгнан будет из Эрмитажа.

Прежде чем прочесть это произведение, я полагал, что ум у императрицы Екатерины был не таким тяжеловесным. Если оно не более чем шутка, то шутка скверная, ибо шутки всегда чем короче, тем лучше. Не менее, нежели безвкусица, явленная статьями этого устава, удивила меня та бережность, с какой здесь хранят его, словно некую драгоценность.

Но больше всего насмешило меня в этом своде правил, под стать тем урокам учтивости, что давали своим подданным император Петр I и императрица Елизавета, употребление, какое делается в нем поэме Тредиаковского. Горе поэту, увековеченному государем!

Послезавтра я еду в Москву.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

Военный министр граф Чернышев. — Я испрашиваю у него разрешения осмотреть Шлиссельбургскую крепость. — Его ответ. — Как расположена эта крепость. — Разрешение взглянуть на шлюзы. — Формальности. — Помехи; намеренно обременительная учтивость. — Игра воображения. — Ссылка поэта Коцебу в Сибирь. — Сходство в нашем положении. — Мой отъезд. — Фельдъегерь; как сказывалось присутствие его в моей карете. — Фабричный квартал. — Влияние фельдъегеря. — Обоюдоострое оружие. — Берега Невы. — Деревни. — Дома русских крестьян. — Русская venta. — Описание фермы. — Заводской жеребец. — Сарай. — Внутреннее убранство хижины. — Крестьянский чай. — Крестьянская одежда. — Характер русского народа. — Скрытность, необходимая, чтобы жить в России. — Нечистоплотность северян. — Как пользуются баней. — Деревенские женщины. — Их манера одеваться, их стать. — Скверная дорога. — Дощатые участки пути. — Ладожский канал. — Дом инженера. — Жена его. — Неестественность северянок. — Шлиссельбургские шлюзы. — Исток Невы. — Шлиссельбургская крепость. — Расположение замка. — Прогулка по озеру. — Знак, по которому в Шлиссельбурге узнают о наводнении в Петербурге. — К какой уловке я прибегнул, чтобы попасть в крепость. — Какой прием нам оказали. — Комендант. — Его жилище; жена, беседа через переводчика. — Я настоятельно прошу показать мне темницу Ивана. — Описание построек в крепости, внутренний двор. — Убранство церкви. — Цена церковных мантий. — Могила Ивана. — Государственные преступники. — Комендант обижается на это выражение. — Комендант распекает инженера. — Я отказываюсь от мысли увидеть камеру узника царицы Елизаветы. — Каково отличие русской крепости от крепостей в других странах. — Неуклюжая скрытность. — Подводные темницы в Кронштадте. — Зачем здесь рассуждают. — Пропасть беззакония. — Кажется, виновен один лишь судья. — Торжественный обед у инженера. — Его семейство. — Средний класс в России. — Буржуазный дух одинаков повсюду. — Беседа о литературе. — Неприятная откровенность. — Врожденная язвительность русских. — Их враждебное отношение к иностранцам. — Не слишком учтивый диалог. — Намеки на порядок вещей, сложившийся во Франции. — Ссора моряков прекращается при одном появлении инженера. — Беседа; госпожа деЖанлис; «Воспоминания Фелиси»;моя семья. — Влияние французской литературы. — Обед. — Современные книги в России запрещены. — Холодный суп; русское

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

*рагу; квас, род пива. —Мой отъезд. — Язаезжаю в имение * * *. — Лицо, принадлежащее к высшему свету. — Разница в тоне. — Вполне обоснованные притязания. — В чем преимущество людей забавных. — Большой свет и свет малый. — Я возвращаюсь в Петербург в два часа ночи. — Чего требуют от животных в стране, где людей не ставят ни во что.*

Петербург, 2 августа 1839 года

Во время празднества в Петергофе я спросил у военного министра, каким образом можно получить разрешение посетить Шлиссельбургскую крепость.

Сия важная персона — граф Чернышев: блестящий адъютант, изысканный посланник Александра при наполеоновском дворе превратился ныне в серьезного, влиятельного человека и одного из самых занятых министров в империи — всякое утро он непременно работает вместе с императором. «Я доложу императору о вашем желании», — отвечал он мне. Тон, в котором к осторожности примешивалось легкое удивление, заставил меня обратить особенное внимание на этот ответ. Пусть мне моя просьба казалась совсем простой, однако в глазах министра она выглядела отнюдь не пустяком. Помышлять о том, чтобы посетить крепость, ставшую исторической со времени заточения и смерти в ней Ивана VI, что приключилось в *царствование императрицы Елизаветы* — какая неслыханная дерзость!.. Я понял, что, сам того не подозревая, задел какую-то чувствительную струну, и умолк.

Несколько дней спустя, а именно позавчера, готовясь уже к отъезду в Москву, получил я послание от военного министра; в нем сообщалось, что мне разрешено осмотреть Шлиссельбургские *шлюзы.*

Эта древняя шведская крепость, которую Петр I назвал ключом к Балтийскому морю, расположена как раз у истоков Невы, на одном из островов Ладожского озера, водоспуском которого, собственно говоря, и является река: она своего рода естественный канал, по нему воды озера перетекают в Финский залив. Но, кроме того, канал этот, Неву, питает обильный водный поток, который и считается единственным источником реки; в Шлиссельбурге видно, как ключ этот бьет под накрывающими его водами озера, прямо под стенами крепости, и озерные волны, стекая по водостоку, сразу мешаются с водами источника, вбирают их в себя и увлекают за собой; это одна из величайших природных достопримечательностей, какие есть в России; а здешний пейзаж, хоть и совсем плоский, как и вообще русские пейзажи, все же один из любопытнейших в окрестностях Петербурга.

Спускаясь по шлюзам, корабли избегают опасности: они проходят вдоль озера, не проплывая над источником Невы, и, не пересекая озера, попадают в реку примерно в полу лье ниже его.

Вот это-то прекрасное сооружение мне и разрешили изучить во всех подробностях — я просился в государственную тюрьму, а в ответ получаю шлюзы. В конце своей записки военный министр сообщал, что генерал-адъютант, начальник над всеми путями сообщения в империи, получил приказание проследить, чтобы мое путешествие прошло без всяких затруднений.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

Без затруднений!., о Боже! на какую докуку обрек я себя своим любопытством! и какой получил урок осмотрительности, претерпевая все эти церемонии, что выдавались за учтивость! Не воспользоваться разрешением, когда по всем дорогам разосланы относительно меня приказы, значило бы заслужить упрек в неблагодарности; осмотреть же с русской дотошностью шлюзы, даже не повидав Шлиссельбургского замка, означало по доброй воле попасться в западню и потерять целый день — потеря немаловажная, учитывая, что близился конец лета, а я намеревался еще многое повидать в России, не оставаясь, однако, здесь зимовать.

Я только излагаю факты: выводы вы сделаете сами. Свободно обсуждать беззакония, творившиеся в царствование Елизаветы, здесь покуда не дозволено; все, что наводит на размышления о законности нынешней власти, почитается за богохульство; стало быть, мою просьбу надобно было представить пред очи императора; тот не желает ни удовлетворить мою просьбу, ни отказать в ней; он меняет ее содержание и дозволяет мне восхищаться чудом техники, о котором я и не помышлял; от императора разрешение это вновь спускается к министру, от министра к главноуправляющему путями сообщений, от него к главному инженеру и, наконец, к унтер-офицеру, которому поручено меня сопровождать, служить мне проводником и отвечать за мою *безопасность* в продолжение всего путешествия — *милость,* отчасти напоминающая турецкий обычай в виде почести приставлять к иностранцам янычара... Сей знак покровительства слишком походил на проявление подозрительности, а потому не столько льстил, сколько сковывал, так что я, скрывая досаду и комкая в руках рекомендательное письмо министра, говорил себе: «Князь ***, которого я встретил на корабле в Травемюнде, был совершенно прав, восклицая, что Россия — это страна бессмысленных формальностей».

Я отправился к генерал-адъютанту, главноуправляющему путями сообщений, и т. д. и т. п. — просить об исполнении высочайшего повеления. 871

Начальник то ли не принимал, то ли его не случилось дома; мне велят прийти завтра, я, не желая терять лишний день, проявляю настойчивость, и мне говорят, чтобы я приходил вечером. Я прихожу и застаю наконец сию важную персону; он принимает меня с той учтивостью, к какой я уже приучен здешними должностными лицами, и после четвертьчасового визита я удаляюсь, снабженный всеми необходимыми приказаниями, адресованными, заметьте, не коменданту замка, а шлиссельбургскому инженеру! Проводив меня до передней, хозяин дома обещал, что назавтра в четыре утра у дверей гостиницы меня будет ожидать унтер-офицер. 871

Я не уснул ни на минуту; я был поражен одной идеей, которая вам покажется безумной, — идеей, что благодетель мой может оказаться палачом. А что, если этот человек не отвезет меня в Шлиссельбург, за восемнадцать лье от Петербурга, а вместо этого по выезде из города предъявит приказ препроводить меня в Сибирь, дабы я искупал там свое неподобающее любопытство — что я тогда буду делать, что скажу? для начала надобно будет повиноваться; а потом, когда доберусь до Тобольска, если доберусь, я стану протестовать... Учтивость меня

не успокаивает, напротив: я ведь отнюдь не забыл, как один из министров, об-
871 ласканный Александром, был схвачен фельдъегерем прямо на пороге кабинета императора, который отдал приказ отправить его в Сибирь из дворца, не дав ни на минуту заехать домой. Множество других примеров подобного же рода наказаний подкрепляли мои предчувствия и будоражили воображение.

То, что я иностранец, нимало не гарантирует мне безопасность:[1] я воскре-
871 шал в памяти обстоятельства пленения Коцебу, который в начале нашего столетия также был схвачен фельдъегерем и единым духом, как и я (себя я почитал уже в пути), препровожден в Тобольск.

Конечно, ссылка немецкого поэта длилась всего полтора месяца, так что в юности я смеялся над его жалобами; но в эту ночь мне было не до смеха. То ли вероятное сходство наших судеб заставило меня переменить точку зрения, то ли возраст прибавил мне справедливости, но мне от всего сердца было жаль Коцебу. Нельзя оценивать подобную пытку по ее продолжительности: путешествие на телеге по дороге длиною в тысячу восемьсот лье, мощенной бревнами, да еще в этом климате, — физическая мука, нестерпимая для очень многих; но даже если не брать ее в расчет, кто не посочувствует бедному иностранцу, оторванному от друзей, от семьи и в течение полутора месяцев считающему, что ему суждено кончить дни свои в безымянных, безграничных пустынях, среди злоумышленников и их тюремщиков, да хоть бы и среди более или менее высокопоставленных чиновников? Подобная перспектива хуже смерти, ее вполне достаточно, чтобы умереть либо по крайней мере помутиться рассудком.

Посол потребует моего освобождения; да, но полтора месяца я буду чувствовать, что для меня началась вечная ссылка! Прибавьте к этому, что, невзирая ни на какие протесты, коли здесь усмотрят высший интерес в том, чтобы от меня избавиться, то распустят слух, будто лодка, в которой я катался по Ладожскому озеру, перевернулась. С такими вещами сталкиваешься каждый день. Станет ли французский посол извлекать меня со дна этой бездны? Ему скажут, что тело мое искали, но безуспешно, и поскольку достоинство нашей нации не пострадает, он будет удовлетворен, а я — уничтожен.

Чем провинился Коцебу? Его стали бояться, потому что он открыто выражал свои взгляды, а в России сочли, что не все они равно благоприятны в отношении установившегося здесь порядка вещей. Но кто убедит меня, что я не заслуживаю точно такого же упрека либо — этого уже достаточно — такого же подозрения? Вот что говорил я себе, не в силах оставаться в постели и шагая взад-вперед по комнате. Разве не одержим я той же манией — думать и писать? Если я посею малейшее сомнение в себе, разве могу я рассчитывать на то, что со мной обойдутся почтительнее, нежели со множеством людей, куда более влиятельных и заметных, чем я? Напрасно твердил я всем, что не стану ничего публиковать об этой стране: словам моим, скорее всего, тем меньше веры, чем больше восторгаюсь я всем, что мне показывают; как ни обольщайся, нельзя же думать,

[1] См. ниже историю о том, как один француз, г-н Перне, был в Москве посажен в тюрьму.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

что все мне нравится в равной мере. Русские — знатоки по части осмотрительности и лжи... К тому же за мной следят, как следят здесь за всяким иностранцем — а значит, им известно, что я пишу письма и храню их; известно им и то, что, уезжая из города даже на день, я всегда беру с собой эти загадочные бумаги в большом портфеле; быть может, им придет в голову узнать настоящие мои мысли. Мне устроят засаду где-нибудь в лесу; на меня нападут, ограбят, чтобы отнять бумаги, и убьют, чтобы заставить молчать.

Вот такие страхи одолевали меня всю позавчерашнюю ночь, и хотя вчера я без всяких приключений осмотрел Шлиссельбургскую крепость, они все же не настолько нелепы, чтобы я освободился от них до конца путешествия. Напрасно твердил я себе, что русская полиция, осторожная, просвещенная, хорошо осведомленная, позволяет себе чрезвычайные меры лишь тогда, когда считает это необходимым; что я придаю слишком много значения своим заметкам и своей особе, если воображаю, будто могут они обеспокоить людей, правящих этой империей, — все эти и еще многие другие причины чувствовать себя в безопасности, от описания которых я воздержусь, представляются мне скорее благовидными, нежели обоснованными; по опыту мне слишком хорошо известна мелочная придирчивость, свойственная весьма и весьма влиятельным лицам; для того, кто хочет скрыть, что господство его основано на страхе, нет ничего маловажного; а тот, кто придает значение чужому мнению, не может пренебрегать мнением человека независимого и пишущего: правительство, которое живо тайной и сила которого в скрытности, чтобы не сказать в притворстве, впадает в ярость от любого пустяка; все ему кажется существенным; одним словом, тщеславие мое вкупе с размышлениями и воспоминаниями убеждают, что здесь я подвергаюсь известной опасности.

Я потому так подробно останавливаюсь на своих тревогах, что они дадут вам понятие об этой стране. Можете считать мои страхи лишь игрой воображения; я хочу сказать одно — подобная игра воображения, несомненно, могла смутить мне рассудок только в Петербурге или в Марокко. Однако все мои опасения исчезают бесследно, едва приходит пора действовать; призраки бессонной ночи покидают меня, когда я отправляюсь в путь. Малодушен я только в мыслях, а в поступках смел; для меня труднее энергично размышлять, нежели энергично действовать. Движение придает мне храбрости — точно так же, как неподвижность заставляла быть мнительным.

Вчера утром, в пять часов, выехал я из дому в коляске, запряженной четверкой лошадей; когда у русских отправляются в деревню или путешествуют на почтовых, кучера запрягают лошадей по-старинному, в ряд, и правят такой четверкой ловко и смело.

Фельдъегерь мой расположился впереди, на облучке, рядом с кучером, и мы очень быстро промчались по Петербургу, оставив позади сначала богатую его часть, затем квартал мануфактур, где находится, среди прочего, великолепная стекольная фабрика, потом громадные бумагопрядильни и еще множество 873
других заводов, управляемых по большей части англичанами. Эта часть города похожа на колонию: здесь обитают фабриканты.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

Человека здесь ценят лишь по тому, в каких отношениях он состоит с властями, а потому присутствие в моем экипаже фельдъегеря производило действие неотразимое. Сей знак высочайшего покровительства превращал меня в важное лицо, и мой собственный кучер, что возит меня все то время, какое я нахожусь в Петербурге, казалось, вдруг возгордился достоинством хозяина, дотоле ему неведомым; он взирал на меня с таким почтением, какого никогда прежде не изъявлял; можно было подумать, что он взялся возместить мне все почести, каких до сих пор по неведению меня лишал. Пешие крестьяне, кучера дрожек, извозчики — на всех оказывал магическое действие мой унтер-офицер; ему не было нужды грозить своей камчой — одним мановением пальца, словно по волшебству, он устранял любые затруднения; и толпа, обычно неподатливая, становилась похожа на стаю угрей на дне садка: они свиваются в разные стороны, стремглав уворачиваются, делаются, так сказать, незаметными, издалека заметив острогу в руке рыбака, — точно так же вели себя люди при приближении моего унтер-офицера.

Я с ужасом наблюдал чудесное могущество этого представителя власти и думал, что, получи он приказ не защищать меня, а уничтожить, ему повиновались бы с той же аккуратностью. Проникнуть в эту страну трудно, это вызывает у меня досаду, но почти не пугает; куда больше поражает меня, насколько трудно отсюда уехать. Простые люди говорят: «Как входишь в Россию, так ворота широки, как выходишь, так узки». При всей необъятности этой империи мне в ней мало простора; тюрьма может быть и обширной — узнику всегда будет в ней тесно. Согласен, это очередной плод воображения, но возникнуть он мог только здесь.

Под охраной своего солдата я быстро ехал вдоль берега Невы; из Петербурга выезжаешь по чему-то вроде деревенской улицы, чуть менее однообразной, чем те дороги, по которым мне приходилось ездить в России до сих пор. Вид на реку, на миг открывавшийся и кое-где сквозь березовые аллеи; череда довольно многочисленных фабрик и заводов, работающих, судя по всему, на полную мощность; бревенчатые деревушки — все это отчасти оживляло пейзаж. Не думайте, будто речь идет о природе, живописной в обычном понимании этого слова, — просто в этой части города местность не такая убогая, как в другой, вот и все. Впрочем, унылые виды чем-то особенно влекут меня; в природе, от созерцания которой погружаешься в мечты, всегда есть какое-то величие. В качестве поэтического пейзажа берега Невы нравятся мне больше, нежели склон Монмартра со стороны равнины Сен-Дени или тучные нивы в Бос и Бри.

Я был удивлен внешним обликом некоторых деревень: их отличает неподдельное богатство и даже своего рода сельская изысканность, приятная для взора; все дома здесь деревянные; они стоят в ряд вдоль единственной улицы и выглядят вполне ухоженными. По фасаду они покрашены, а украшения на коньке их крыш, можно сказать, претенциозны — ибо, сравнивая всю эту внешнюю роскошь с почти полным отсутствием удобных вещей и с той нечистоплотностью, какая бросается вам в глаза внутри этих игрушечных жилищ, вы сожалеете о народе, еще не ведающем необходимых вещей, но уже познавшем вкус к излишествам. При ближайшем же рассмотрении видишь, что на самом деле сараи эти весьма скверно построены. Почти неотесанные бревна, с вырезом в виде полукруга на

обоих концах, вставленные одно в другое, образуют углы хижины; между этими толстыми, плохо пригнанными балками остаются щели, тщательно законопаченные просмоленным мхом, резкий запах которого ощущается по всему дому и даже на улице.

Крыши избушек украшены чем-то наподобие деревянного кружева; эта раскрашенная резьба похожа на узорные бумажки из кондитерских. Это доски, прибитые к щипцу крыши, который неизменно повернут в сторону улицы; с конька они спускаются вниз. Все пристройки находятся на устланном досками дворе. На слух это звучит красиво, не правда ли, но на глаз выглядит унылым и грязным. Тем не менее, когда я гляжу снаружи на эти хижины, столь разукрашенные с улицы, они развлекают меня; но я не в силах поверить, что их назначение — служить жилищем для крестьян, которых я вижу в полях. Со всей своей невероятной отделкой из досок, высверленных насквозь и сверкающих тысячью красок, они напоминают увитые цветочными гирляндами клетки, а обитатели их представляются мне эдакими ярмарочными торговцами, чьи шатры уберут, как только кончится праздник.

Повсюду тот же вкус ко всему, что бьет в глаза! С крестьянином господин его обращается так же, как и с самим собой; и те и другие полагают, что украсить дорогу естественнее и приятнее, чем убрать свой дом изнутри; все здесь живут тем, что внушают другим восхищение, а быть может, зависть. Но где же удовольствие, настоящее удовольствие? Сами русские, если бы задать им этот вопрос, пришли бы в большое замешательство.

В России изобилие — предмет непомерного тщеславия; я же люблю великолепие, только когда оно существует не для видимости, и мысленно проклинаю все, что здесь пытаются сделать предметом моего восхищения. Нации украшателей и обойщиков не удастся внушить мне ничего, кроме опасения быть обманутым; ступая на эти подмостки, в это царство декораций, я испытываю одно-единственное желание — попасть за кулисы, мной владеет искушение приподнять уголок холщового задника. Я приезжаю, чтобы увидеть страну, — а попадаю в театр.

Я велел приготовить мне перемену лошадей в десяти лье от Петербурга, и в одной из деревень меня поджидала свежая, в полной упряжи четверка. Там я обнаружил нечто вроде русской *venta* и зашел внутрь. Когда я путешествую, 872
то не люблю упускать ничего из первых впечатлений; я для того и разъезжаю по свету, чтобы испытать их, а описываю, чтобы освежить их в памяти. Итак, я вышел из коляски, чтобы взглянуть на русскую ферму. Впервые передо мною крестьяне у себя дома. Петергоф — это еще не настоящая Россия: сгрудившаяся там праздничная толпа меняла обычный облик местности, перенося в деревню городские привычки. Так что в сельской местности я оказываюсь в первый раз.

Обширный, весь из дерева сарай; с трех сторон дощатые стены, под ногами доски, над головой тоже доски — вот что первым делом бросается мне в глаза; я ступаю под крышу этого громадного склада, занимающего большую часть деревенского жилища, и, несмотря на сквозняки, в нос мне бьет запах лука, кислой капусты и старых смазных сапог, который испускают все деревни и их обитатели в России.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

Внимание нескольких человек целиком поглощал заводской жеребец, привязанный к столбу: они подковывали его, что было не так-то легко. В руках у этих людей были веревки, чтобы стреножить буйное животное, куски шерсти,
872 чтобы закрыть ему глаза, капцун и завертка, чтобы обуздать его бешеный нрав. Эта отменная лошадь — с конного завода соседнего барина, сказали мне; в глубине того же сарая крестьянин, стоя на очень маленькой, как все русские повозки, телеге, мечет на чердак не связанную в снопы солому, вилами поднимая ее над головой; другой крестьянин подхватывает ее и уминает под крышей. Человек восемь по-прежнему возятся вокруг лошади — все они отличаются ростом и внешностью и приметно одеты. Однако ж в областях, прилегающих к столице, население некрасиво; собственно, его даже нельзя назвать русским, ибо здесь множество представителей финской расы, напоминающих лапландцев.

Говорят, что во внутренних землях Российской империи мне снова встретятся те люди, схожие обликом с греческими статуями, которые попадались мне несколько раз в Петербурге: столичные господа из высшего общества набирают себе прислугу из уроженцев своих отдаленных владений. К огромному сараю, о котором я веду речь, примыкает низкое, не слишком просторное помещение; я вхожу — и словно попадаю в главную каюту какой-нибудь плывущей по реке плоскодонки или же внутрь бочки; стены, потолок, пол, скамейки, стол — все здесь деревянное и все являет собою груду балок и бочарных досок разной длины, но равно грубо отесанных. По-прежнему воняет кислой капустой и смолой.

В этом закутке, душном и темном, поскольку двери в нем низкие, а окошки не больше чердачных, вижу я старуху, разливающую чай четырем-пяти бородатым крестьянам, которые одеты в бараньи шубы мехом внутрь (уже несколько дней, с 1 августа, стоят довольно сильные холода); люди эти, по преимуществу низкорослые, сидят за столом; их меховые шубы выглядят на каждом по-разному, у них есть свой стиль, но гораздо больше от них вони — ничего нет хуже ее, кроме разве господских духов. На столе сверкает медный самовар и заварочный чайник. Чай и здесь такой же хороший, умело заваренный, а если вам не хочется пить его просто так, везде найдется хорошее молоко. Когда столь изящное питье подают в чулане, обставленном, словно гумно — «гумно» я говорю из вежливости, — мне сразу вспоминается испанский шоколад. Это всего лишь один из тысячи контрастов, поражающих путешественника на каждом шагу, который делает он, оказавшись в гостях у двух этих народов, равно необычных, но отличающихся друг от друга столь же сильно, сколь и климат, в каком они живут.

Мне снова представляется случай повторить: русские живописны от природы; художник нашел бы среди окружавших меня людей и животных сюжет для не одной прелестной картины.

Красная либо голубая крестьянская рубаха с застежкой на ключице, стянутая на чреслах поясом, на который верх этого своеобразного военного плаща спадает античными складками, тогда как нижняя его часть разлетается, словно туника, закрывая собой штаны (его в них не заправляют);[1] длинный, на персидский

[1] См. в письме восемнадцатом описание костюма Федора князем *** в истории Теленева.

манер кафтан, зачастую не застегнутый, который носят поверх блузы в часы досуга; длинные волосы, падающие на щеки и разделенные надо лбом пробором, но сзади, чуть повыше затылка, коротко остриженные и открывающие мощную шею, — не правда ли, все это вместе образует убор неповторимый и изящный?.. Кроткий и вместе свирепый облик русских крестьян не лишен изящества; статность, сила, не нарушающая легкости движений, гибкость, широкие плечи, кроткая улыбка на устах, та смесь нежности и свирепости, что читается в их диком, печальном взоре, — все это придает им вид, настолько же отличный от вида наших землепашцев, насколько места, в которых обитают они, и земли, которые они возделывают, отличны от остальной Европы. Для иностранца все здесь вновь. В здешних людях есть какая-то явная, но неизъяснимая прелесть, сочетание восточной томности с романтической мечтательностью северных народов, — и все это облечено в первозданные, неотшлифованные, однако благородные формы, отчего обретает ценность врожденных дарований. Народ этот внушает к себе участие, но не доверие — вот еще один оттенок чувств, который я познал в России. Здешние простолюдины — забавные пройдохи. Их можно было бы многому научить, но тогда их не нужно обманывать; когда же крестьяне видят, что господа либо прислужники господ лгут чаще, чем они сами, то продолжают еще сильнее коснеть в хитрости и низостях. Чтобы суметь привнести цивилизованность в народ, надобно чего-то стоить самому: варварство раба обличает испорченность господина.

Если вас удивляет неприязненность моих суждений, удивлю вас еще больше и прибавлю, что всего лишь выражаю общее мнение: я только простодушно произношу вслух то, что все здесь скрывают из осторожности, которую вы бы перестали презирать, когда бы видели, как я, насколько сия добродетель, исключающая множество других, необходима всякому, кто хочет жить в России.

В этой стране нечистоплотно все и вся; однако в домах и одежде грязь бросается в глаза сильнее, чем на людях: себя русские содержат довольно хорошо; по правде говоря, их парные бани выглядят отталкивающе: в них моются испарениями горячей воды — я бы предпочел просто чистую воду, и побольше; однако ж этот кипящий туман омывает и укрепляет тело, хоть и старит прежде времени кожу. Благодаря привычке к этим баням вам нередко встречаются крестьяне с чистой бородой и волосами, чего не скажешь об их одежде. Теплые вещи стоят дорого, поэтому их по необходимости носят долго, и они становятся грязными на вид гораздо раньше, чем истреплются; комнаты, призванные служить лишь защитой от холода, проветриваются, естественно, реже, чем жилища южан. Как правило, неопрятность у северян, вечно запертых в доме, глубже и отвратительнее, чем у народов, живущих на солнце: девять месяцев в году русским недостает очистительного воздуха.

В некоторых губерниях работный люд носит на голове картуз темно-синего сукна в форме мяча. Он похож на головной убор бонз; русские знают и множество иных способов покрывать голову, и все эти шляпы и колпаки довольно приятны на взгляд. Сколько в них вкуса — по сравнению с вызывающей небрежностью простонародья в окрестностях Парижа!

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

Когда русские работают с непокрытой головой, то длинные волосы могут стать им помехой; чтобы избавить себя от этого неудобства, они придумали венчать себя диадемой,[1] иначе говоря, завязывать вокруг головы ленту, тесьму, камышинку, стебель тростника, кожаный ремешок; эта диадема, грубая, но всегда изящно повязанная, идет через лоб и не дает растрепаться волосам; молодым людям она к лицу, а поскольку у мужчин этой расы голова, как правило, овальная и приятной формы, то из рабочей прически они сделали себе украшение.

Но что вам сказать о женщинах? Все те, что встречались мне до сих пор, выглядели отталкивающе. В этой своей поездке я надеялся увидеть хоть несколько красивых селянок. Однако здесь, как и в Петербурге, они толсты, низкорослы, а платье подпоясывают под мышками, повыше груди, которая свободно болтается у них под юбкой — омерзительное зрелище! Прибавьте к этому бесформенному облику, принятому по доброй воле, большие мужские сапоги из вонючей, жирной кожи и нечто вроде кожуха из бараньей шкуры, наподобие той, из которой сшиты шубы их мужей, и у вас составится представление о существе вполне непривлекательном; к несчастью, представление это будет абсолютно точным. В довершение уродства меховая одежда у женщин не такого изящного покроя, как полушубок у мужчин, и к тому же обычно сильней изъедена червями — что, вероятно, объясняется похвальной бережливостью; это в буквальном смысле лохмотья!.. Таков женский убор. Без сомнения, ни в одной стране прекрасный пол так не отвергает всякое кокетство, как крестьянки в России (говорю о том уголке страны, который видел); и тем не менее женщины эти приходятся матерями солдатам, гордости императора, и тем красавцам кучерам, которых видишь на петербургских улицах и на которых так ладно сидит армяк и персидский кафтан.

По правде говоря, большинство женщин, встречающихся в окрестностях Петербурга, принадлежат к финской расе. Меня уверяли, что в глубинных областях страны, куда я еще отправлюсь, есть крестьянки редкой красоты.

872 Дорога, что ведет из Петербурга в Шлиссельбург, на некоторых участках довольно скверная: то попадаешь на ней в глубокий песок, то в жидкую грязь, поверх которой набросаны доски, ничем не помогающие пешеходам и создающие препятствия для карет; эти дурно пригнанные куски дерева, раскачиваясь, обдают вас брызгами даже в глубине коляски — и это еще самое малое из неудобств, какие испытываешь на этой дороге; тут есть кое-что и похуже досок: я говорю о круглых нерасколотых бревнах, которые так, необработанными, положены поперек дороги на некоторых болотистых участках, какие вам приходится время от времени пересекать: их зыбкая почва поглотила бы любой другой материал, кроме бревен. На беду, сей грубый, ходящий ходуном паркет, положенный поверх грязи, составлен из плохо пригнанных и неравных по величине кусков дерева; и все это шаткое сооружение пляшет под колесами в вечно раскисшей почве, не имеющей дна и проседающей при малейшем нажиме. При тех скоростях, на каких путешествуют в России, карета на подобных дорогах вскоре разлетается на куски; люди ломают себе кости, и на каждой версте из колясок со всех сторон

[1] См. историю Теленева в письме восемнадцатом.

вылетают болты; железные ободья колес раскалываются, рессоры разлетаются; из-за этого всего экипажи по необходимости сводятся к своему простейшему обличью, к чему-то вполне примитивному, вроде телеги.

Если не считать знаменитого шоссе между Петербургом и Москвой, дорога на Шлиссельбург — одна из тех, где меньше всего этих устрашающих кругляков. И все же по пути я насчитал множество скверных дощатых мостов, один из которых показался мне просто опасным. В России человеческая жизнь не ставится ни во что. Как можно испытывать отцовские чувства, имея шестьдесят миллионов детей?

В Шлиссельбурге меня ждали, и я был принят инженером, руководившим работами на шлюзах.

Ладожский канал в теперешнем своем виде идет вдоль той части озера, что 872
расположена между городом Ладога и Шлиссельбургом; сооружение это великолепно; служит оно для того, чтобы предохранить корабли от тех опасностей, каким они некогда подвергались из-за бурь на озере; ныне лодки огибают это бурное море, и ураганы больше не угрожают навигации, которая в свое время слыла чрезвычайно рискованной среди даже самых отчаянных моряков.[1]

Погода была облачная, холодная, ветреная; едва успел я выйти из коляски перед домом инженера, добротным деревянным жилищем, как он сам препроводил меня во вполне приличную гостиную и, предложив слегка перекусить, со своеобразной супружеской гордостью представил молодой красивой женщине; то была его жена. Она поджидала меня в одиночестве, сидя на канапе, и не встала, когда я вошел; она все время молчала, потому что не знала по-французски, и не осмеливалась пошевелиться, уж не знаю почему; быть может, она принимала неподвижность за изъявление учтивости, а натянутый вид за свидетельство хорошего вкуса; принимая меня у себя дома, она оказывала мне честь по-своему — не позволяя себе ни единого движения; казалось, она старательно изображает передо мною статую гостеприимства, облаченную в белый с розовым подбоем

[1] «Соединив каналом Мету с Тверью, Петр I установил сообщение между Каспий- 873
ским морем и Ладожским озером, иначе говоря, между берегами Персии и Балтийского моря; однако на озере часто случались бури, и оно щетинилось подводными камнями, отчего Россия всякий год теряла изрядное число кораблей. Император Петр I замыслил избавить торговые суда от этого пагубного прохода по озеру, соединив посредством нового канала Волхов и Неву Он приступил к работам, но помощники у него оказались скверные. Инженеры, вошедшие к нему в доверие, допустили ошибку и обманули его самого; они дурно провели нивелировку, и сие полезное сооружение было завершено лишь в царствование Петра И» («История России и основных наций Российской империи» Пьера-Шарля Левека, 4-е издание, подготовленное Мальте-Бреном и Деппингом). 873

Я привожу этот отрывок из чувства справедливости. Я сужу о Петре I иначе, нежели большинство людей пишущих, и почел, что в связи с работами, сделавшими честь последующим царствованиям, уместно привести черточку, которая наглядно показывает проницательность ума основателя нынешней Российской империи. Он ошибся в общей направленности своей внутренней политики, однако в деталях управления обнаруживал безошибочность суждений и тонкий такт.

муслин; наряд ее был скорее прихотлив, нежели элегантен; разглядывая ее затканную узорами юбку на шелковой подкладке, открытую спереди, и все те помпоны, которые она навесила на себя, чтобы ослепить иностранца, — глядя, повторяю, на эту восковую фигуру, розовую, бесстрастную, расположившуюся на большой софе, от которой она словно не в силах была оторваться, я представлял ее греческой мадонной на алтаре; для полной иллюзии ей недоставало лишь не таких розовых губ и не таких свежих щек, оклада да золотых и серебряных накладок. Я молча ел и грелся; она же глядела на меня, едва осмеливаясь отвести взгляд, направленный куда-то выше моей головы — это значило бы пошевелить глазами, а неподвижная поза была ею принята столь твердо, что самый взор ее словно застыл. Когда бы я заподозрил, что причиной сего необыкновенного приема была застенчивость, я бы проникся к ней некоторой симпатией; но я не почувствовал ничего, кроме удивления, а в подобных случаях чутье никогда меня не обманывает — в застенчивости я разбираюсь отлично.

Хозяин предоставил мне созерцать сколько душе угодно этого занятного фарфорового болванчика, который стал для меня лишним подтверждением того, что я уже знал, — а именно, что северянки редко бывают естественными и что наигранность их, случается, выдает себя даже и без слов; славный инженер был, казалось, польщен впечатлением, произведенным его *супругою* на иностранца: изумление мое он приписывал восхищению; однако ж, стремясь исполнить долг свой честь по чести, он в конце концов сказал: «Сожалею, но я вынужден поторопить вас, у нас не так много времени, чтобы осмотреть работы, которые мне было велено показать вам во всех подробностях».

Я заранее был готов к этому удару и, не в силах отразить его, принял со смирением и позволил провожать себя от шлюза к шлюзу, неотступно и с бесполезным сожалением думая о крепости, усыпальнице юного Ивана, к которой меня не желали подпускать. Я ни на минуту не забывал об этой цели своей поездки, хоть и скрывал ее; скоро вы узнаете, как мне удалось ее достигнуть.

Вас совершенно не интересует число кусков гранита, которые я видел за это утро, щитов, вставленных в желоба, что выточены посредине гранитных глыб, гранитных же плит, какими выложено дно канала, — и слава Богу, ибо сообщить его я бы не смог; знайте только, что за первые десять лет работы шлюзы ни разу не потребовали ремонта. Для такого климата, как на Ладожском озере, где самый крепкий гранит, булыжник, мрамор выдерживают лишь несколько лет, подобная прочность поразительна.

Великолепная постройка эта предназначена для того, чтобы выравнивать уровень воды Ладожского канала и русла Невы у ее истока, на западной оконечности водоспуска, который через несколько сливов соединяется с рекой. Чтобы сделать навигацию, которая из-за суровых зим открывается всего на три-четыре месяца в году, сколько возможно легкой и быстрой, число водоспусков было умножено с расточительностью, достойной восхищения.

Использовались все возможности для того, чтобы выполнить работы надежно и точно; где только представлялся случай, для мостов, парапетов и даже, повторяю с восхищением, для русла канала брали финский гранит; деревянные

постройки по тщательности своей отвечают этому роскошному материалу, — короче, здесь пустили в дело все изобретения, все достижения современной науки, и в Шлиссельбурге был исполнен труд, настолько совершенный в своем роде, насколько позволяют здешняя суровая природа и неблагодарный климат.

Внутренняя навигация в России достойна того, чтобы привлечь к себе пристальное внимание всех специалистов; это один из главных источников богатства страны; благодаря колоссальной, как все, что вершится в этой Империи, системе каналов здесь со времен Петра Великого сумели соединить Каспийское море с Балтийским через Волгу, Ладогу и Неву, избавив корабли от опасностей. Тем самым воды, связующие север с югом, текут через всю Европу и Азию. Из идеи этой, дерзкой по замыслу и дивной по осуществлению, родилось на свет одно из чудес цивилизованного мира: знать об этом прекрасно и полезно, однако я нашел, что смотреть на это весьма скучно, особенно под водительством одного из исполнителей сего шедевра; специалист питает к своему творению почтение, которого оно, бесспорно, заслуживает, но у простого зеваки вроде меня восхищение гаснет под грузом ничтожных подробностей, от которых я вас избавляю. Вот еще подтверждение тому, о чем я уже имел случай вам писать: когда в России путешественник предоставлен сам себе, он не видит ничего; когда ему покровительствуют, иначе говоря, дают сопровождающих и не спускают с него глаз, он видит слишком много — что в конечном счете одно и то же.

Наконец я счел, что потратил и времени, и похвал ровно столько, сколько заслуживают те чудеса, какие пришлось мне осмотреть благодаря так называемой милости, мне оказанной, и обратился к первоначальной цели своего путешествия, скрывая ее, дабы тем вернее достигнуть; я с невинным видом попросил показать мне исток Невы. Коварство мое не помогло мне вовсе скрыть нескромность моего желания, и поначалу инженер мой вовсе ушел от ответа, сказав: «Источник находится под водой, на выходе из Ладожского озера, на дне глубокого канала, которым озеро отделено от острова, где возведена крепость».

Это я знал.

— Здесь одна из достопримечательностей русской природы, — настаивал я. — Нет ли способа взглянуть на этот источник?

— Сейчас слишком сильный ветер; мы не увидим, как бурлит источник; чтобы глаз мог различить струю воды, бьющую под волнами, нужна тихая погода; однако я сделаю все, что в моих силах, дабы удовлетворить ваше любопытство.

С этими словами инженер подозвал красивую лодку с шестью изящно одетыми гребцами, и мы отправились — будто бы взглянуть на исток Невы, а на самом деле чтобы приблизиться к стенам крепости, а вернее, заколдованной тюрьмы, попасть в которую мне не давали на редкость ловко и учтиво; но препятствия лишь разжигали мой пыл; если бы мне предложили освободить оттуда какого-нибудь несчастного узника, даже и тогда нетерпение мое не могло бы стать сильнее.

Шлиссельбургская крепость построена на плоском острове, вроде скалы, лишь немного возвышающемся над уровнем воды. Утес этот делит реку пополам; еще он отделяет реку от собственно озера, указывая, где именно их воды

смешиваются между собой. Мы обогнули крепость, дабы, говорили мы друг другу, подойти как можно ближе к истоку Невы. Вскоре челнок наш оказался как раз над водоворотом. Гребцы бороздили волны столь искусно, что, несмотря на дурную погоду и малые размеры нашего суденышка, мы едва ощущали качку, притом что валы в этом месте вздымались, словно в открытом море. Не сумев различить бурление источника, скрытого от нас неспокойными, сносящими нас волнами, мы сначала совершили прогулку по озеру, а затем, на обратном пути, когда ветер слегка притих, разглядели на довольно большой глубине какие-то клочки пены — это и был пресловутый исток Невы, над которым мы проплывали.

Когда при западном ветре на озере бывает отлив, канал, что служит водоспуском для этого внутреннего моря, почти пересыхает, и этот прекрасный источник выходит на поверхность. Моменты такие весьма редки — по счастью, ибо жители Шлиссельбурга тогда понимают, что в Петербурге наводнение, и с часу на час ожидают вестей о новом бедствии. Весть эта неизменно доходит до них на следующий день, ибо тот самый западный ветер, что выталкивает воды Ладожского озера и обнажает русло Невы поблизости от истока, вызывает при известной силе прилив воды из Финского залива в устье Невы. Река немедленно останавливает свое течение, и вода, чей ток перегорожен морем, ищет обходного пути, затопляя Петербург и его окрестности.

Вдоволь навосхищавшись видами Шлиссельбурга, рассыпавшись в похвалах сей природной достопримечательности, наглядевшись в подзорную трубу
873 на позиции батареи, с которых Петр Великий вел обстрел шведской крепости, наконец, навосторгавшись всем, что мне было совершенно не интересно, я произнес с самым непринужденным видом:

— Давайте посмотрим на крепость изнутри; по-моему, она расположена очень живописно, — добавил я уже не так ловко, ибо, когда дело касается хитрости, нельзя делать ничего лишнего. Русский бросил на меня испытующий взгляд, и я понял, что он означал; математик на глазах превратился в дипломата и возразил:

— Крепость эта для иностранца совсем не интересна, сударь.

— Это неважно, в такой любопытной стране, как ваша, интересно все.

— Но если комендант не ждет нас, нас туда не пустят.

— Вы испросите у него разрешения впустить в крепость путешественника; впрочем, я думаю, он нас ждет.

И действительно, нас впустили по первому слову инженера, что навело меня на мысль о том, что о визите моем предупредили — если не объявили о нем положительно, то во всяком случае намекнули на его возможность.

Нас приняли с военными почестями и, препроводив через довольно скверно защищенные ворота во двор, поросший травой, провели через него в... тюрьму,
873 думаете вы? — отнюдь нет, в апартаменты коменданта. По-французски он не знал ни слова, но оказал мне вполне достойный прием; сделав вид, что визит мой он принимает за изъявление учтивости по отношению лично к нему, он заставил инженера переводить мне слова благодарности, которую не мог выразить сам. Лукавые его комплименты показались мне не столько приятными, сколько занятными. Пришлось принять светский тон и для виду поболтать с женой коменданта, тоже

не знавшей по-французски; пришлось выпить шоколаду — короче, заниматься чем угодно, кроме как осматривать тюрьму Ивана, сказочную награду за все труды, хитрости, вежливые слова и тяготы этого дня. Никому и никогда так страстно не хотелось попасть в волшебный замок, как мне — в эту темницу.

Наконец, когда я почел, что время, приличествующее визиту, истекло, то спросил у моего провожатого, можно ли осмотреть крепость изнутри. Комендант и инженер быстро обменялись несколькими словами и взглядами, и мы вышли из комнаты.

Мне казалось, что я у цели; ничего живописного в Шлиссельбургской крепости нет; это пространство, обнесенное низкими шведскими стенами и внутри напоминающее сад, по которому разбросаны разные строения, все очень приземистые, а именно: церковь, жилище коменданта, казарма и, наконец, неприметные для взгляда темницы — их скрывают башни, по высоте не больше крепостного вала. Ничто здесь не указывает на насилие, тайна заключена в сути вещей, а не во внешнем их облике. По-моему, эта с виду почти безмятежная государственная тюрьма устрашает скорее ум, нежели глаз. Решетки, подъемные мосты, амбразуры — в общем, все те пугающие и несколько театральные сооружения, что украшали собой средневековые замки, здесь отсутствуют. Когда мы покинули гостиную коменданта, мне для начала стали показывать *великолепное убранство церкви!* Если верить тому, что удосужился сообщить мне комендант, четыре церковные мантии, торжественно развернутые передо мною, обошлись в триста тысяч рублей. Устав от всего этого кривлянья, я напрямую заговорил о могиле Ивана VI; в ответ мне показали пролом, сделанный в стенах крепости пушкой Петра Великого, когда он лично вел осаду этого шведского укрепления, ключа к Балтике.

— Но где же могила Ивана? — повторил я, не давая себя сбить.

На сей раз меня отвели за церковь, к бенгальскому розовому кусту, и сказали:

— Она здесь.

Я заключил, что у жертв в России нет своих могил.

— А где камера Ивана? — продолжал я с настойчивостью, которая для хозяев, должно быть, казалась столь же необычайной, как для меня все их беспокойство, утайки и виляния.

Инженер отвечал мне вполголоса, что камеру Ивана показать невозможно, ибо находится она в той части крепости, где ныне содержат государственных преступников.

Объяснение показалось мне законным, я был к нему готов; но что меня поразило, так это гнев здешнего коменданта: то ли он понимал по-французски лучше, чем говорил, то ли притворялся, будто не знает нашего языка, чтобы меня обмануть, то ли, наконец, угадал смысл данного мне объяснения, но он сурово отчитал моего провожатого, добавив, что несдержанность может однажды дорого ему обойтись. Об этом, улучив удобный момент, рассказал мне сам инженер, задетый выговором, и прибавил, что комендант весьма выразительно предупредил его, чтобы впредь он воздерживался от высказываний об *общественных делах,* а также не водил иностранцев в государственную тюрьму. У этого инженера

есть все задатки, чтобы стать настоящим русским, просто он еще молод и не знает всех тонкостей своего ремесла... Я вовсе не инженерное ремесло имею в виду.

Я почувствовал, что придется уступить; я был слабее их всех, я признал себя побежденным и отказался от посещения камеры, где несчастный наследник русского престола умер, лишившись рассудка, — оттого, что кто-то решил, что удобнее сделать из него идиота, чем императора. Усердие, с каким служат русскому правительству его агенты, повергло меня в бесконечное удивление. Мне вспоминалось выражение лица военного министра, когда я в первый раз осмелился выразить желание посетить замок, ставший историческим благодаря тому преступлению, что было в нем совершено во времена императрицы Елизаветы, — и я с восхищением, к которому примешивался ужас, сравнивал сумятицу идей, царящую у нас, с тем отсутствием всякой мысли, всякого личного мнения, с тем слепым подчинением, в котором состоит главное правило поведения людей, возглавляющих русскую администрацию, равно как и служащих, им подчиненных; столь прочный союз чиновников и правительства внушал мне страх; с содроганием любовался я на молчаливый сговор начальников и подчиненных, имеющий целью истребить любые идеи и даже самые факты. Насколько минутою прежде я горел нетерпением сюда попасть, настолько же теперь мне хотелось отсюда уйти; ничто не в силах было более привлечь мое внимание в крепости, где мне соизволили показать одну лишь церковную утварь, и я попросил доставить меня обратно в Шлиссельбург. Я боялся, как бы меня насильно не сделали одним из обитателей сей юдоли тайных слез и никому не ведомых страданий. Тревога моя все возрастала, я всем сердцем хотел только одного — двигаться, дышать полной грудью; я забыл, что вся страна здесь — та же тюрьма, и тюрьма тем более страшная, что размеры ее гораздо больше и достигнуть ее границ и пересечь их гораздо труднее.

873 Русская крепость!!! При слове этом воображение рисует совсем иные картины, нежели при посещении укрепленных замков у народов подлинно цивилизованных и непритворно гуманных. Те ребяческие меры предосторожности, какие берут в России, желая не выдать так называемой государственной тайны, сильнее любых актов неприкрытого варварства укрепляют меня во мнении, что здешний образ правления есть всего лишь лицемерная тирания. С тех пор как я попал в русскую государственную тюрьму и на себе испытал, насколько невозможно там говорить о вещах, ради которых, собственно, всякий иностранец и приезжает в подобные места, я говорю себе: за такой скрытностью непременно прячется глубочайшая бесчеловечность; добро так тщательно не маскируют.

Когда бы, вместо того чтобы пытаться рядить правду в одежды учтивой лжи, меня просто отвели в те места, какие показывать не запрещено; когда бы мне откровенно отвечали на вопросы о деянии, свершившемся столетие назад, меня бы гораздо меньше занимало то, чего я не сумел увидеть; но чересчур хитроумный отказ убедил меня не в том, что мне пытались внушить, а в прямо противоположном. В глазах искушенного наблюдателя все эти тщетные уловки превращаются в разоблачения. То, что люди, прибегающие в беседах со мною к подобным увертками, могли поверить, будто я обманусь их детскими хитростями, привело меня

в негодование. Из достоверного источника я знаю, что в кронштадтских подводных казематах среди прочих государственных преступников содержатся несчастные, что были отправлены туда еще в царствование Александра. Бедняги лишились разума от пытки столь жестокой, что ей нет ни оправдания, ни прощения; когда бы они явились теперь из-под земли, то воздвиглись бы, словно призраки мщения, и в ужасе отшатнулся бы перед ними сам деспот, и рухнуло бы здание деспотизма; с помощью красивых слов и даже здравых суждений можно обосновать что угодно; ни одна из точек зрения, раздирающих на части мир политики, литературы и религии, не ведает недостатка в аргументах; но говорите что хотите: режим, который основан на таком принуждении и требует для своего поддержания подобного рода средств, есть режим глубоко порочный. 873

Жертвы этой гнусной политики утратили человеческий облик: несчастные, выпавшие из области общественного права, гниют во мраке заточения, чуждые миру, всеми забытые, покинутые даже самими собой, и безумие их — плод нескончаемой тоски и последнее утешение в ней; они потеряли память и почти лишились разума, этого светоча человечности, который никто не вправе гасить в душе ближнего. Они позабыли даже свое имя, тюремщики же, жестоко и всегда безнаказанно издеваясь над ними, потехи ради спрашивают, как их зовут, — в глубинах этой пропасти беззакония царит такой беспорядок, а потемки в ней столь непроглядны, что в них нельзя различить никаких следов правосудия. 873

О некоторых узниках неизвестно даже, какое преступление они совершили, однако их по-прежнему держат под стражей, потому что никто не знает, кому их вернуть, и все считают, что обнародовать злодеяние неудобнее, нежели позволять ему длиться дальше. Здесь боятся, что запоздалое проявление справедливости вызовет неподобающую реакцию, и усугубляют зло, чтобы не оправдываться за его избыток... Жестокое это малодушие именуется соблюдением *приличий,* осмотрительностью, послушанием, мудростью, жертвой на благо общества или государственных интересов и уж не знаю как еще. На словах деспотизм скромен — ведь всякую вещь в человеческом обществе можно назвать поразному! И вот нам на каждом шагу твердят, что в России нет смертной казни. Похоронить человека заживо не означает его убить! Когда думаешь, что с одной стороны существует столько горя, а с другой — столько несправедливости и лицемерия, перестаешь считать виновным кого-либо из тех, кто посажен в тюрьму: преступником выглядит только судья, и, что для меня всего страшнее, я понимаю: сей судья неправедный вовсе не получает удовольствия от собственной свирепости. Вот что может сотворить дурной образ правления с людьми, заинтересованными в его устойчивости!.. Однако Россия исполняет свое предназначение — и этим все сказано. Если мерить величие цели количеством жертв, то нации этой, бесспорно, нельзя не предсказать господства над всем миром.

По возвращении из этой печальной поездки меня поджидала новая беда: торжественный обед у инженера с людьми, принадлежащими к среднему классу. В мою честь инженер созвал к себе нескольких окрестных помещиков и родственников жены. Мне показалось бы любопытным наблюдать подобное общество, когда бы с самого начала не было ясно, что я не узнаю ничего для себя нового.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

В России не так много буржуа; однако здесь место нашей буржуазии занимает класс мелких чиновников и землевладельцев, весьма темного происхождения, хоть и возведенных во дворянство. Люди эти завидуют высшим чинам, но и сами являются предметом зависти для нижестоящих; они, даром что зовутся дворянами, находятся точно в таком же положении, в каком оказались французские буржуа накануне революции: одинаковые предпосылки повсюду приводят к одинаковым результатам.

Я почувствовал, что людьми этими правит плохо скрываемая враждебность по отношению ко всему истинно великому и изысканному, где бы оно ни произрастало. Нелюбезные их манеры и неприязненные чувства, что прорывались сквозь слащавый тон и вкрадчивый вид, слишком явственно напомнили мне, в какую эпоху мы живем — имея в России дело лишь с придворными, я успел об этом подзабыть. Теперь я был среди честолюбцев-подчиненных, озабоченных тем, что могут о них подумать, а эти люди везде одинаковы.

Мужчины со мной не заговаривали и, казалось, почти не обращали на меня внимания: по-французски они знают ровно настолько, чтобы читать, да и то с трудом; сойдясь все вместе в углу комнаты, они болтали между собой по-русски. Одна-две родственницы хозяйки дома несли на себе все бремя беседы на французском языке. К своему удивлению, я обнаружил, что им известны все произведения нашей литературы, кроме тех, каким русская полиция не позволяет проникать в страну.

874

В нарядах дам — все они, за исключением хозяйки дома, были уже в летах, — как мне показалось, недоставало изящества; костюмы мужчин были еще небрежнее: вместо национальной одежды они носили длинные, почти до полу коричневые сюртуки, которые, однако, заставляли с сожалением вспомнить о русском платье; но еще больше, нежели небрежность в одежде, меня поразил в людях из этого общества колкий, вечно с кем-то спорящий тон разговора и нелюбезность речей. Русский образ мысли, который люди из высшего света умело скрывали за тактичностью, здесь обнаруживал себя во всей своей наготе. Это общество было откровеннее придворного и не такое учтивое, и я отчетливо увидел то, что прежде только смутно ощущал, а именно: что в отношениях русских с иностранцами царит дух испытующий, дух сарказма и критики; они ненавидят нас — как всякий подражатель ненавидит образец, которому следует; пытливым взором они ищут у нас недостатки, горя желанием их найти. Уяснив для себя направление их умов, я почувствовал, что вовсе не склонен к снисходительности. Быть может, думалось мне, из этого самого общества выйдут люди, которые составят будущее России. Класс буржуазии в этой империи только зарождается, и, как мне кажется, именно он призван править миром.

Я почел своим долгом попросить прощения у дамы, что поначалу взяла на себя труд беседовать со мной, за свое незнание русского языка; в завершение своей речи я сказал, что всякий путешественник должен был бы знать язык той страны, куда он направляется, поскольку для приезжего естественнее изъясняться так, как люди, к которым он прибыл, чем вынуждать их говорить так, как он.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

В ответ мне было сказано недовольным тоном, что придется тем не менее смириться и слушать, как русские коверкают французский язык, а иначе я буду вынужден путешествовать в полном молчании.

— Как раз об этом я и сожалею, — возразил я, — когда бы я умел как следует коверкать русский язык, вам бы не пришлось из-за меня отказываться от своих привычек и говорить на моем языке.

— В свое время мы иначе как по-французски и не говорили.

— Это была ошибка.

— Не вам нас попрекать.

— Я прежде всего стараюсь говорить правду.

— А разве во Франции правда еще на что-то годится?

— Не знаю; знаю только, что правду надо любить бескорыстно.

— Такая любовь не для нашего века.

— В России?

— Где бы то ни было; а особенно в стране, где всем заправляют газеты.

Я был того же мнения, что и дама, и оттого мне захотелось сменить тему разговора: я не желал ни говорить того, чего не думал, ни присоединяться к мнению особы, которая при всем сходстве нашего образа мыслей изъясняла свою точку зрения столь язвительно, что способна была отвратить меня от моей собственной. Не забуду прибавить, что говорила эта особа певучим, неестественным голосом, до крайности слащавым и неприятным, словно заранее выставив щит против французской насмешливости и скрывая за ним собственную враждебность.

Одно происшествие, подвернувшееся как нельзя кстати, отвлекло нас от беседы. Шум доносившихся с улицы голосов заставил всех подойти к окну — там бранились перевозчики; они, казалось, были в бешенстве, ругань грозила превратиться в кровопролитие; но вот инженер выходит на балкон, и от одного вида его мундира происходит нечто невероятное. Ярость этих грубых людей стихает, причем для этого не понадобилось ни единого слова; самый поднаторевший в криводушии придворный и тот не сумел бы лучше скрыть свое раздражение. Подобная учтивость деревенщины привела меня в изумление.

— Что за славный народ! — воскликнула дама, с которой я беседовал.

«Бедняги, — подумал я, усаживаясь на место, — я никогда не стану восхищаться чудесами, сотворенными страхом», — однако же осмотрительно промолчал.

— У вас, должно быть, так порядок не восстановишь, — продолжала неутомимая моя врагиня, сверля меня обличающим взором. Подобная невежливость была для меня внове; как правило, я видел русских, которые держались даже чересчур обходительно, тая лукавые мысли за вкрадчивыми речами; здесь передо мною было согласие между чувствами и их изъявлением — и это оказалось еще неприятнее.

— Наша свобода имеет некоторые издержки, но у нее есть и преимущества, — возразил я.

— Какие же?

— В России их не понять.

— Обойдемся и без них.

— Как обходитесь без всего, что вам неизвестно.

Уязвленная противница моя, стараясь скрыть досаду, немедля переменила тему разговора.

— Не о вашем ли семействе рассказывает так подробно госпожа де Жанлис в «Воспоминаниях Фелиси» и не о вас ли говорит в своих мемуарах?

Я отвечал утвердительно, но выразил удивление, что эти книги известны в Шлиссельбурге.

— Вы нас держите за лапландцев, — отвечала дама с глубокой язвительностью, которую мне никак не удавалось в ней победить и под действием которой я в конце концов сам принял такой же тон.

— Нет, сударыня, я держу вас за русских, у которых есть дела и поважнее, чем тратить свое время на сплетни французского света.

— Госпожа де Жанлис вовсе не сплетница.

— Разумеется; но мне казалось, что те из сочинений ее, где она всего лишь мило пересказывает пустячные анекдоты из светской жизни своего времени, могут заинтересовать только французов.

— Вы не хотите, чтобы мы ценили вас и ваших писателей?

— Я хочу, чтобы нас уважали за наши истинные заслуги.

— Отними у вас то влияние, какое оказал на всю Европу ваш светский дух, и что тогда от вас останется?

Я почувствовал, что имею дело с сильным противником.

— От нас останется наша славная история и даже отчасти история России, ибо империя ваша по-новому влияет на Европу только благодаря той мощи, с какой она отомстила за взятие французами своей столицы.

— Никто не спорит, вы, хоть и сами того не желая, оказали нам отличную услугу.

— Вы потеряли на этой ужасной войне кого-то из близких?

— Нет, сударь.

Я надеялся, что смогу объяснить отвращение к Франции, сквозившее в каждом слове этой суровой дамы, вполне законной досадой. Я обманулся в своих ожиданиях.

Беседа наша, которая не могла стать общей, вяло текла вплоть до самого обеда; велась она все в том же обвинительном, язвящем тоне с одной стороны и в принужденном и по необходимости сдержанном — с другой. Я был полон решимости оставаться в должных рамках, и мне это удавалось, за исключением тех случаев, когда гнев во мне брал верх над осторожностью. Я попытался свернуть беседу на нашу новую школу в литературе; здесь знают одного Бальзака, которым бесконечно восхищаются и о котором судят весьма верно... Почти все книги наших современных писателей в России запрещены: свидетельство того, какую силу воздействия им приписывают. Быть может, кто-то из них все же известен в России, ибо таможня, случается, делает послабления; просто считается, что упоминать этих авторов неосмотрительно. Впрочем, это уже чистые домыслы.

— Обойдемся и без них.

— Как обходитесь без всего, что вам неизвестно.

Уязвленная противница моя, стараясь скрыть досаду, немедля переменила тему разговора.

— Не о вашем ли семействе рассказывает так подробно госпожа де Жанлис
в «Воспоминаниях Фелиси» и не о вас ли говорит в своих мемуарах?

Я отвечал утвердительно, но выразил удивление, что эти книги известны в Шлиссельбурге.

— Вы нас держите за лапландцев, — отвечала дама с глубокой язвительностью, которую мне никак не удавалось в ней победить и под действием которой я в конце концов сам принял такой же тон.

— Нет, сударыня, я держу вас за русских, у которых есть дела и поважнее, чем тратить свое время на сплетни французского света.

— Госпожа де Жанлис вовсе не сплетница.

— Разумеется; но мне казалось, что те из сочинений ее, где она всего лишь мило пересказывает пустячные анекдоты из светской жизни своего времени, могут заинтересовать только французов.

— Вы не хотите, чтобы мы ценили вас и ваших писателей?

— Я хочу, чтобы нас уважали за наши истинные заслуги.

— Отними у вас то влияние, какое оказал на всю Европу ваш светский дух, и что тогда от вас останется?

Я почувствовал, что имею дело с сильным противником.

— От нас останется наша славная история и даже отчасти история России, ибо империя ваша по-новому влияет на Европу только благодаря той мощи, с какой она отомстила за взятие французами своей столицы.

— Никто не спорит, вы, хоть и сами того не желая, оказали нам отличную услугу.

— Вы потеряли на этой ужасной войне кого-то из близких?

—Нет, сударь.

Я надеялся, что смогу объяснить отвращение к Франции, сквозившее в каждом слове этой суровой дамы, вполне законной досадой. Я обманулся в своих ожиданиях.

Беседа наша, которая не могла стать общей, вяло текла вплоть до самого обеда; велась она все в том же обвинительном, язвящем тоне с одной стороны и в принужденном и по необходимости сдержанном — с другой. Я был полон решимости оставаться в должных рамках, и мне это удавалось, за исключением тех случаев, когда гнев во мне брал верх над осторожностью. Я попытался свернуть беседу на нашу новую школу в литературе; здесь знают одного Бальзака, которым бесконечно восхищаются и о котором судят весьма верно... Почти все книги наших современных писателей в России запрещены: свидетельство того, какую силу воздействия им приписывают. Быть может, кто-то из них все же известен в России, ибо таможня, случается, делает послабления; просто считается, что упоминать этих авторов неосмотрительно. Впрочем, это уже чистые домыслы.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

Наконец смертоносное ожидание кончилось, и все уселись за стол. Хозяйка дома, по-прежнему выступавшая в роли статуи, совершила за весь день только одно движение — перенесла себя с канапе в салоне на стул в столовой, не шевельнув при этом ни глазами, ни губами; внезапное это перемещение убедило меня в том, что у фарфорового болванчика имеются ноги.

Обед прошел довольно принужденно, но оказался недолгим и, по-моему, вполне хорошим, за вычетом супа, своеобразие которого переходило всякие границы. Это был холодный суп с кусочками рыбы, плававшими в уксусном бульоне, очень крепком, переперченном и переслащенном. Не считая этого адского рагу и кислого кваса, местного напитка, всех остальных блюд и напитков я отведал с аппетитом. Подали отменное бордо и шампанское; но я прекрасно видел, что меня очень сильно стесняются, и оттого мучился сам. Вины инженера в этой принужденности не было: он был весь поглощен своими шлюзами и дома совершенно тушевался, предоставляя теще принимать гостей; вы могли составить представление, как мило она это делала. 875

В шесть часов вечера мы расстались с хозяевами с обоюдным и, надо признать, нескрываемым удовольствием, после чего я отправился в имение ***, где меня ждали.

Откровенность этих буржуазок примирила меня с жеманством некоторых светских дам: ничего нет хуже неприятной искренности. С наигранностью есть надежда справиться; отталкивающее же естество непобедимо — точно так же, как естество привлекательное.

Таково было мое первое знакомство со средним классом, и так я впервые отведал столь хваленого в Европе русского гостеприимства.

Когда я приехал в ***, всего в шести-восьми лье от Шлиссельбурга, было еще светло; остаток вечера я провел, гуляя в сумерках по парку, весьма красивому для этих мест, катаясь в маленькой лодочке по Неве, а главное, наслаждаясь изысканной и учтивой беседой с человеком из высшего общества. Мне необходимо было отвлечься от воспоминаний о буржуазной вежливости, или скорее невежливости, которую я только что испытал на себе. В этот день я понял, что наихудшие притязания не являются самыми необоснованными; все те, что обрушились на мою голову, были вполне оправданными, и я с забавной досадой это признавал. Женщина, с которой я разговаривал, притязала на хорошее знание французского языка — она и в самом деле говорила неплохо, хоть и умолкая надолго после каждой фразы и с акцентом в каждом слове; она притязала на знание Франции — и действительно рассуждала о ней довольно верно, хоть и с предубеждением; она притязала на любовь к своей родине — и любила ее даже слишком сильно; наконец, она хотела показать, что способна без ложного самоуничижения принять в доме своей дочери парижанина — и подавила меня грузом своего превосходства: несокрушимым апломбом, гостеприимными словесами, не столько учтивыми, сколько церемонными, но так или иначе безукоризненными в глазах безвестной русской провинциалки.

Я пришел к выводу, что те забавные бедняги, над которыми так часто смеются, случается, все же на что-то годны — хотя бы на то, чтобы вернуть душевный

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

покой тем, кто полагает, будто его лишен; люди же, с которыми я повстречался в Шлиссельбурге, были отталкивающе враждебны. Однако беседа с ними была тягостной только для меня и нимало не вызывала желания посмеяться над собеседниками, как, бывает, потешаются в других странах при подобных же обстоятельствах над простодушными, наивными людьми; здесь люди бдительно и неуклонно следили и за собой, и за мной, и я убедился, что для них ничто не могло стать неожиданностью; все их представления сложились двадцать лет назад; из-за этой убежденности я в конце концов почувствовал себя одиноким в их присутствии, одиноким настолько, что пожалел о тех простодушных умах — я едва не сказал: легковерных дураках, — которых так не трудно взволновать и утешить!., вот до чего довело меня чересчур явное недоброжелательство русских провинциалов. После того, с чем я столкнулся в Шлиссельбурге, я уже не стану искать случая снова попасть под такой допрос, какому подвергли меня в тамошнем обществе. Подобные салоны похожи на поле брани. Большой свет со всеми его пороками предпочтительнее для меня этого малого света со всеми его добродетелями.

В Петербург я возвратился за полночь, проделав за день немногим меньше тридцати шести лье по песчаным и грязным дорогам на двух почтовых упряжках.

Требования, какие предъявляют здесь к животным, вполне согласуются с отношением к людям: русские лошади не выдерживают дольше восьми-десяти лет. Надо признать, что петербургская мостовая пагубно действует на животных, на кареты и даже на людей; едва вы сворачиваете с деревянной мозаики, которой выложено очень небольшое число улиц, как голова у вас начинает раскалываться. Правда, русские, которые все вещи делают дурно, но не без роскоши, выкладывают на своих отвратительных мостовых красивые узоры из больших булыжников, но украшения эти только усугубляют зло, ибо улицы из-за них становятся еще более тряскими. Когда колеса попадают на эти стыки камней, с виду похожие на рисунок паркета, и карета, и те, кто в ней сидит, получают сокрушительный толчок. Но разве для русских важно, чтобы сделанная ими вещь служила по своему назначению? Во всех вещах они ищут лишь одного: известного внешнего изящества, кажущейся роскоши, показного богатства и величия. Работу цивилизации они начали с излишеств; когда бы таков был способ продвинуться далеко вперед, то стоило бы воскликнуть: *«Да здравствует тщеславие! Долой здравый смысл!»* Чтобы достигнуть своей цели, им придется пойти другим путем.

Послезавтра я уже наверное еду в Москву; подумайте только, в Москву!

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Прощанье с Петербургом. — Сходство между ночью и разлукой. — Плоды воображения. — Петербург в сумерках. — Контраст неба на востоке и на западе. — Ночная Нева. — Волшебный фонарь. — Картины природы. — Местность помогает мне понять мифологию народов Севера. — Бог во всем. — Баллада Кольриджа. — Стареющий Рене. —Худшая из нетерпимостей. — Условия, необходимые для жизни в свете. — Из чего складывается успех. — Заразительность чужих мнений. — Салонная дипломатия. — Изъян одиноких умов. — Лесть читателю. — Мост через Неву ночью. — Символический смысл картины. — Петербург в сравнении с Венецией. — Опасность Евангелия. — В России не читают проповедей. —Двуликий Янус. — Так называемые «польские заговоры». — Что из этого следует. —Доводы русских. — Убийства на волжских берегах. — Лафонтенов волк. — Уверенность в будущем, неуверенность в настоящем. — Неожиданный визит. — Интересное сообщение. — История князя и княгини Трубецких. — Мятеж во время восшествия императора на престол. — Преданность княгини. — Четырнадцать лет в уральских рудниках. — Что такое жизнь на каторге. — Суд человеческий. — Лесть деспота. — Мнение многих русских об участи сосланных в рудники. — 18 фруктидора. — Сорокаградусный мороз. — Первое письмо после семи лет каторги. —Дети каторжников. — Ответ императора. — Российское правосудие. — Что представляет собой колонизация Сибири. — Клеймо на детях. — Отчаяние и унижение матери. — Второе письмо за четырнадцать лет. —Доказательства существования вечности. — Ответ императора на второе письмо княгини. — Как следует расценивать такие чувства. — Что нужно понимать под отменой смертной казни в России. — Семья ссыльных. — Мать семейства молит императора о милости. — Воспитание, которое она невольно дает своим детям. — Цитата из Данте. — Перемены в моих планах и чувствах. — Предположения. — Я принимаю решение прятать свои письма. — Средство обмануть полицию. — Заметка о смертной казни. — Цитата из брошюры Я. Толстого. — О чем она говорит.

Петербург, 2 августа 1839 года, полночь 876

Нынче вечером я в последний раз гулял по этому необыкновенному городу; я прощался с Петербургом... Прощанье! Это магическое слово! Оно наполняет местность и людей неизъяснимым очарованием. Отчего сегодня Петербург

показался мне особенно красивым? Оттого, что я видел его в последний раз. Значит, сила воображения, коим одарена наша душа, способна преобразить мир, чей облик неизменно является для нас не более чем отражением нашего внутреннего мира? Те, кто утверждают, что вне нас ничто не существует, быть может, правы; но я, философ, метафизик, чья единственная цель — естественно и непринужденно высказывать все, что приходит мне на ум, вечно задаюсь неразрешимыми вопросами и безуспешно пытаюсь проникнуть в тайну этого очарования. Мучительные раздумья, самый большой изъян моего стиля, происходят из желания выразить невыразимое: в погоне за невозможным тают мои силы, тускнеют слова, истощаются чувства и страсти... Нашим мечтам, нашим грезам так же далеко до ясных мыслей, как сияющей на горизонте гряде облаков — до уходящего в небо горного хребта, на который она издали похожа. Никакими словами не передать мимолетных причуд фантазии, они ускользают от пера писателя, как сверкающие жемчужины стремительного потока — от сетей рыбака.

Объясните мне, каким образом мысль о предстоящем отъезде может изменить облик местности. Когда я думаю о том, что смотрю на эти края в последний раз, мне кажется, будто я вижу их впервые.

Существование наше полно бурного движения, если сравнить его с неподвижностью окружающих нас предметов, и все, что напоминает о краткости нашей жизни, приводит нас в восхищение. Мы быстро несемся по течению и мним, будто все, что остается на берегу, неподвластно времени; вода в потоке должна верить в бессмертие древа, дарящего ей сень; мир кажется нам вечным — столь мимолетно наше существование.

Быть может, жизнь путешественника так богата переживаниями оттого, что складывается из приездов и отъездов, а отъезд есть репетиция смерти. Несомненно, люди потому и видят в розовом свете то, что они покидают; впрочем, у этого обстоятельства есть еще одна причина, о которой я сейчас решаюсь упомянуть лишь вскользь.

В иных душах любовь к независимости доходит до страсти; боязнь всяческих уз заставляет человека привязываться лишь к тому, что ему суждено вскоре покинуть, ибо ввиду близкой разлуки нежные чувства ни к чему его не обязывают. Он может восторгаться безнаказанно: ведь завтра он уезжает! Разве отъезд не проявление свободы? Расставанье освобождает от пут чувства; человек может, не подвергаясь ни малейшей опасности, всласть восхищаться тем, чего он никогда больше не увидит; он всецело предается своим сердечным склонностям без страха и стесненья: он знает, что за спиной у него крылья! Но когда, вдоволь насладившись умением расправлять и складывать их, он начинает чувствовать, что силы его на исходе; когда он замечает, что путешествие уже не столько просвещает, сколько утомляет его, значит, пришло время вернуться домой и отдохнуть; я вижу, что этот день скоро наступит и для меня.

Была ночь: мрак, как и разлука, имеет свое очарование, он, как и разлука, располагает к догадкам; поэтому на закате дня ум предается грезам, сердце дает волю нежности, сожалениям; когда все видимое исчезает, остаются одни лишь чувства; настоящее меркнет, прошлое возвращается; смерть, земля отдают похищенное,

и ночная мгла набрасывает на предметы покров, который прибавляет им величия и трогательности; тьма, подобно разлуке, пленяет мысль неопределенностью, она призывает поэтическую туманность на помощь своим чарам; ночь, разлука и смерть — волшебницы, и могущество их — тайна, так же как и все, что воздействует на воображение. Даже самым изощренным, самым возвышенным умам не дано верно описать отношения природы и фантазии. Чтобы дать четкое определение воображению, нужно подняться к истокам страстей. Воображение, этот источник любви, эта движущая сила жалости, эта пружина гения — не что иное, как сила Творца, которую он вложил в свое бренное творение, опаснейший из даров, ибо он делает человека новым Прометеем; человек получает эту силу, но не знает ей меры; она в нем, но ему не принадлежит.

Когда песня замолкает, когда радуга бледнеет, — знаете ли вы, куда исчезают звуки и краски? Знаете ли вы, откуда они взялись? То же и с чарами воображения, только их гораздо больше, они гораздо разнообразнее, гораздо мимолетнее и прежде всего гораздо сильнее!.. Я всю жизнь с ужасом сознавал это, но что толку — у меня больше воображения, чем нужно: я должен был совладать с этим даром, но остался его игрушкой и в конце концов пал его жертвой.

Пучина желаний и противоречий побуждает меня скитаться по белу свету и привязывает к городам, где я оказался, в тот же самый миг, когда зовет продолжить путь. О иллюзии! Как коварно вы обольщаете нас и как жестоко бросаете на произвол судьбы!..

Шел одиннадцатый час: я возвращался домой после прогулки по островам. В эту пору облик города исполнен особенной прелести; никакими словами не передать красоту этой картины, ибо она заключается не в очертаниях, — ведь местность совершенно плоская, — но в магии туманных северных ночей; нужно самому увидеть белые ночи, чтобы понять их поэтическое величие.

На западе город тонул во мгле; дрожащая линия горизонта делала его похожим на вырезанный из черной бумаги силуэт, наклеенный на белый фон: этот фон — закатное небо, где сумерки после захода солнца еще долго излучают свет, озаряющий далекие дома на другом берегу, которые выделяются светлыми пятнами на фоне неба, более матового и темного на востоке, чем на западе, где сверкает закатный нимб. Из этого противопоставления следует, что на западе город погружен во мрак, а небо светлое, меж тем как на востоке здания освещены и белеют на фоне темного неба; этот контраст являет глазам зрелище, о котором слова дают лишь очень слабое представление. Сумерки сгущаются медленно, словно борясь против наступающей темноты и тем самым продлевая день, что сообщает всей природе таинственное движение: низкие берега Невы с невысокими постройками словно бы колышутся между небом и землей: кажется, будто они вот-вот канут в пустоту.

Петербург отчасти похож на Голландию, где, впрочем, климат лучше, а природа живописнее, — но похож только днем, ибо северные ночи полны чудесных видений.

Многие башни и колокольни увенчиваются, как я уже говорил в другом месте, острым шпилем, придающим им сходство с корабельными мачтами; ночью

эти позолоченные по русскому обыкновению султаны на памятниках плывут в безбрежном воздушном океане под небом, которое нельзя назвать ни темным, ни светлым, и не чернеют на нем, но сверкают, подобно переливчатым чешуйкам ящерицы.

Сейчас начало августа; в этих широтах лето уже на исходе, и все же маленький уголок неба остается светлым всю ночь; это перламутровое сияние на горизонте отражается в Неве, которая в погожие дни выглядит спокойным озером; этот свет придает реке сходство с гигантской металлической пластиной, и эту серебристую равнину отделяет от неба, такого же белесого, как и она, лишь силуэт города. Этот клочок суши, который кажется оторванным от земли и дрожащим на воде, словно пена в половодье, эти крохотные, едва заметные черные точки, разбросанные как попало между белым небом и белой рекой, — ужели это столица огромной империи или все это только мираж, обман зрения? Фон картины — полотно, на нем движутся тени, на мгновение ожившие в свете волшебного фонаря, сообщающего им призрачное существование, меж тем недолго им вести на просторе свой молчаливый хоровод: скоро лампа погаснет и город вновь исчезнет — сказка закончится.

Я видел, как темнеет в белесом небе шпиц собора, где покоятся останки последних государей России; эта стрела взметнулась над крепостью и старой частью города; выше и острее, чем пирамида кипариса, на фоне жемчужно-серых далей, она казалась слишком резким и смелым мазком кисти подвыпившего художника; размашистость, которая приковывает взгляд, портит живописное полотно, но украшает действительность; Бог творит по иным законам. Это было прекрасно... все замерло, воцарился торжественный покой, вдохновляющая неопределенность. Все шумы, все волнения обыденной жизни утихли; люди скрылись, земля осталась во власти мистических сил: есть в этом гаснущем дне, в этом мерцающем свечении белых ночей тайны, которые я не в силах разгадать и которые дают ключ к мифологии северных народов. Теперь я понимаю все суеверия жителей Скандинавии. Для одних народов Бог прячется в северном сиянии, для других — проявляется в ослепительном тропическом дне. Что же до мудреца, желающего видеть в творении лишь Творца, то для него хороши все широты, все климаты.

Куда бы ни занесло меня беспокойное сердце, я всюду поклоняюсь одному Богу, всюду слышу один голос. Куда бы человек ни опустил свой благочестивый взор, он видит, что природа есть тело, чья душа — Бог.

876 Вы несомненно знаете балладу Кольриджа, где английскому матросу привиделся скользящий по морю корабль: я вспомнил ее, глядя на призрачный спящий город. Эти ночные видения для жителей северных широт то же, что
873 Фата Моргана в разгар дня для жителей юга: краски, линии, часы другие, но иллюзия та же.

С умилением созерцая края, где природа самая скудная и, по слухам, самая невзрачная, я утешаюсь мыслью о том, что Господь уделил каждой точке земного шара довольно красот, чтобы чада его всюду находили явные приметы, доказывающие: он здесь — и благодарили его, куда бы ни забросила их судьба.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Лик Создателя запечатлелся во всех уголках земли, и это делает ее священной в глазах людей.

Мне хотелось бы провести в Петербурге целое лето единственно ради того, чтобы каждый вечер гулять, как нынче.

Когда я встречаю в стране или в городе красивые места, я привязываюсь к ним страстно, я посещаю их каждый день в урочный час. Это без конца повторяемый припев, в котором нам всякий раз слышится нечто новое. Места имеют свою душу, как поэтически выразился Жослен; мне никогда не надоедают края, 876
которые о многом говорят моей душе; я черпаю в их наставлениях мудрость, и этого мне довольно для счастья в моей скромной жизни. Любовь к путешествиям для меня не дань моде, не жажда славы и не утеха. Я родился путешественником, как другие рождаются государственными деятелями: отчизна для меня — везде, где я поклоняюсь Господу, где узнаю Творца в его творениях; ведь из всех творений Господа внятнее всего мне природа в ее близости произведениям искусства. Бог открывается моему сердцу в неизъяснимых отношениях между Его вечным Словом и преходящей мыслью человеческой: я нахожу здесь благодатную пищу для размышлений. Созерцание, всегда одинаковое и всегда новое, дает мне пищу для раздумий, это моя тайна, оправдание моей жизни; оно забирает мои нравственные и умственные силы, поглощает мое время, занимает мой ум. Да, в меланхолическом, но сладостном одиночестве, на которое обрекает меня призвание паломника, любопытство заменяет мне честолюбие, стремление к власти, к положению в обществе, к чинам... я знаю, такая мечтательность мне не по летам; господин де Шатобриан был великий поэт и потому не стал описывать старость Рене. Юношеское томление пробуждает участие, у человека молодого — все впереди; но смирение седовласого Рене отнюдь не располагает к красноречию; моя же участь, участь бедняги, подбирающего колоски на ниве поэзии, состоит в том, чтобы показать вам, как стареет человек, созданный, чтобы умереть молодым, — предмет скорее грустный, нежели занимательный, неблагодарнейшая из задач! Но я говорю вам все без утайки, без стеснения, ибо я никогда не притворяюсь. 876

Склад моего характера, побуждающий меня не столько жить самому, сколько смотреть, как живут другие, определил мою судьбу, и если вы откажете мне в праве мечтать оттого, что я слишком долго предаюсь упоению, а это позволительно лишь детям да поэтам, вы сократите тот срок существования, который отмерил мне Господь.

Дух реакции на христианские учения привел к тому, что в свете принято, особенно в последние сто лет, восхвалять честолюбие, выдавая его за лекарство против эгоизма; как будто дочь честолюбия, самая жестокая и беспощадная из страстей — зависть, не является одновременно причиной и следствием эгоизма и как будто государству постоянно грозит нехватка гордых талантов, алчных сердец, властных умов! Люди, придерживающиеся подобных взглядов, убеждены, что вожди народов имеют право творить любые беззакония; что до меня, то я не вижу никакой разницы между несправедливыми притязаниями народа-захватчика и грабежом разбойника! Единственное отличие преступлений

народа от злодеяний отдельных людей в том, что одни приносят большое, а другие малое зло.

Но что сталось бы с обществом, скажете вы, если бы все поступали, как я, и говорили то, что говорю я? Это внушает слугам века особый страх! Они вечно боятся, что люди отвернутся от их кумира. Я далек от мысли их переубеждать; тем не менее я позволю себе напомнить этим светлым умам, что худшая из нетерпимостей есть нетерпимость философская.

Я не могу жить в свете, потому что интересы общества, его цели и даже средства, которые оно употребляет для защиты своих интересов и достижения своих целей, не пробуждают во мне спасительного духа соперничества, без которого человек обречен на поражение в борьбе честолюбий или добродетелей, составляющих жизнь общества. Чтобы добиться успеха, нужно выполнить две совершенно различные задачи: победить соперников и заставить их признать во всеуслышание вашу победу. Вот почему успех так нелегко снискать один раз, так трудно — чтобы не сказать невозможно — закрепить его надолго...

Я отказался от этого даже прежде, чем приходит пора уныния. Коль скоро мне суждено однажды прекратить борьбу, я предпочитаю ее не начинать: именно это подсказывало мне сердце, приводя на память прекрасные слова проповедника, обращенные к светским людям: «Все конечное так быстротечно!» Так что я без зависти и презрения покидаю ристалище, оставляя светскую жизнь людям, которые полагают, что коль скоро они отдали себя свету, то и свет отдан в их распоряжение.

Увольте меня от всего этого и не бойтесь, что в ваших битвах не хватит солдат, позвольте мне извлечь всю возможную выгоду из моей праздности и безразличия; впрочем, разве вы не видите, что бездействие — лишь видимость и ум пользуется свободой, дабы внимательнее наблюдать и сосредоточеннее размышлять?

Человек, который смотрит на общества со стороны, более проницателен в своих суждениях, нежели тот, кто подчиняет всю свою жизнь движению политической машины; ум тем яснее различает механизмы, управляющие всем в этом мире, чем меньше он подвергается их трению; тот, кто взбирается на гору, не видит ее очертаний.

Люди деятельные наблюдают по памяти и начинают описывать то, что они видели, лишь после того, как удаляются от дел; но тогда, озлобленные немилостью или чувствующие приближение конца, утомленные, разочарованные или испытывающие приливы несбыточных надежд, крушение которых является неиссякаемым источником уныния, они почти никогда и ни с кем не делятся своим драгоценным опытом.

Вы думаете, если бы я приехал в Петербург по служебной надобности, я угадал бы, увидел бы оборотную сторону вещей так, как я ее вижу, и вдобавок за такое короткое время? Вращаясь исключительно в кругу дипломатов, я смотрел бы на страну их глазами; принужденный беседовать с ними, я должен был бы прилагать все силы, чтобы за разговорами решать дела; во всем же прочем мне было бы выгодно уступать им, дабы снискать их расположение; не думайте, что эти уловки

проходят даром и не влияют на суждения того, кто вменяет их себе в обязанность. В конце концов я убедил бы себя, что во многих отношениях разделяю их мнения, хотя бы ради того, чтобы оправдать в собственных глазах свое малодушие, заставляющее меня соглашаться с ними. Мнения, которые вы не смеете оспорить, какими бы превратными они вам ни казались, в конце концов изменяют ваши взгляды: когда учтивость доводит нас до того, что мы слепо принимаем на веру все, что нам говорят, мы предаем самих себя: чрезмерная учтивость туманит взор наблюдателя, каковой должен представлять нам вещи и людей не такими, какими нам хотелось бы их видеть, но такими, какими мы их видим на самом деле.

Кроме того, несмотря на всю мою независимость в суждениях, которой я так горжусь, мне часто приходится в целях личной безопасности льстить самолюбию этой обидчивой нации, ибо всякий полуварварский народ недоверчив и жесток. Не думайте, что мои соображения о России и русских удивляют тех иностранных дипломатов, у которых был досуг, желание и возможность узнать эту империю; можете быть уверены: они разделяют мои взгляды; но они не признаются в этом во всеуслышание... Счастлив наблюдатель, чье положение таково, что никто не вправе упрекнуть его в злоупотреблении чужим доверием!

Однако я отдаю себе отчет в неудобствах моей свободы: дабы служить истине, мало видеть ее самому; надо открывать ее другим. Недостаток одиноких умов в том, что они слишком часто меняют мнения, ибо постоянно меняют угол зрения; ведь одиночество предает ум человека во власть воображения, а воображение сообщает ему гибкость.

Но вы-то можете и даже должны воспользоваться моими явными противоречиями, дабы воссоздать точный облик людей и вещей сквозь мои изменчивые и сбивчивые описания. Скажите мне спасибо: немного есть писателей, которые находят в себе смелость переложить на плечи читателя часть своего бремени, но я предпочитаю заслужить упрек в непоследовательности, чем бессовестно хвастать незаслуженным достоинством. Когда наступает утро и разрушает выводы, к которым я пришел накануне вечером, я не боюсь в этом признаться: я проповедую искренность, и мой путевой дневник становится исповедью: люди пристрастные — воплощение порядка, педантичности, и это позволяет им избежать придирчивой критики; но те, кто, как я, смело говорят то, что чувствуют, не смущаясь тем, что раньше они говорили и чувствовали по-иному, должны быть готовы к расплате за свою непринужденность. Эта простодушная и суеверная любовь к точности должна льстить читателю, но бег времени делает подобную лесть опасной. Поэтому порой мне начинает казаться, что мир, в котором мы живем, не достоин доброго слова. Итак, я сделаю то, чего не осмеливается сделать никто, — я все поставлю на карту во имя любви к истине, и в моем неосторожном рвении, принося жертву низвергнутому божеству, принимая аллегорию за действительность, я не сумею снискать славы мученика и прослыву человеком ничтожным. Ведь в обществе, поощряющем ложь, прямодушие не в чести!.. В мире для каждой истины есть свой крест.

Я долго стоял на большом мосту через Неву, размышляя об этих и многих других материях: я хотел навсегда запомнить две совершенно различные картины, которыми мог наслаждаться, поворачивая голову, но не двигаясь с места.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

На востоке темное небо, брезжущая во мраке земля; на западе светлое небо и тонущая во мгле земля: в противопоставлении двух этих ликов Петербурга был символический смысл, который я, как мне кажется, постиг: на западе — старый, на востоке — новый Петербург; так и есть, говорил я себе: старый город в ночи — это прошлое; новый, освещенный город — будущее... Наверно, я долго простоял так и стоял бы по сю пору, если бы не спешил вернуться в гостиницу, чтобы поделиться с вами, покуда не забыл, мечтательным восхищением, которое я испытал, глядя на меркнущие краски этой зыбкой картины. Совокупность вещей лучше осмыслять по памяти, но описывать некоторые подробности лучше по свежим следам.

Зрелище, которое я вам описал, наполняло меня благоговением, которое я боялся утратить. Было бы ошибкой полагать, будто все, что человек остро чувствует, существует на самом деле; дожив до моих лет, человек не может не знать: ничто так быстро не проходит, как сильные чувства, которые кажутся вечными.

Петербург, на мой взгляд, не так красив, как Венеция, но зато в нем больше удивительного. Это два колосса, воздвигнутые страхом: Венеция — произведение чистого страха: последние римляне предпочитают бегство смерти, и плодом страха этих исполинов античности становится одно из чудес современного мира; Петербург также плод страха, но не просто страха, а богобоязненности, ибо русская политика сумела возвести повиновение в закон. Русский народ слывет очень набожным, допустим: но что такое вера, которой запрещено учить? В русских церквах никогда не услышишь проповеди. Евангелие открыло бы славянам свободу.

Эта боязнь объяснить людям хотя бы отчасти то, во что они должны верить, для меня подозрительна; чем больше разум, наука сужают область веры, тем больше света проливает божественный источник на все сущее: чем меньше вещей принимается на веру, тем вера сильнее. Крестное знамение — не доказательство благочестия; поэтому мне кажется, что, несмотря на стояние на коленях и все внешние проявления набожности, в своих молитвах русские обращаются не столько к Богу, сколько к императору. Этому народу, боготворящему своих господ, потребен, как японцам, еще один властитель: духовный государь, указующий путь на небо. Мирской правитель слишком привязывает народ к земному. «Разбудите меня, когда речь зайдет о Боге», — говорил убаюканный императорской литургией иностранный посол в русской церкви.

Порой я готов разделить предрассудки этого народа. Энтузиазм заразителен, когда он всеобщий или кажется таковым; но в тяжелые минуты я вспоминаю о Сибири, этой необходимой пособнице московской цивилизации, и сразу вновь обретаю покой и независимость.

Политическая вера здесь крепче веры в Бога; единство православной Церкви — всего лишь видимость: секты, принужденные молчать и ловко замалчиваемые господствующей церковью, уходят в подполье; но невозможно вечно затыкать рот народу: рано или поздно он скажет свое слово: религия, политика — все возвысят голос, все захотят в конце концов объясниться. Ведь как только этот безмолвный народ заговорит, поднимется столько споров, что весь мир удивится

и подумает, будто вернулись времена Вавилонского столпотворения: именно религиозные распри приведут однажды Россию к общественному перевороту.

Когда я оказываюсь вблизи императора и вижу его величавое достоинство, его красоту, я восхищаюсь этим чудом; человек на своем месте — всюду редкость, но на троне — это феникс. Я рад, что мне довелось жить в эти дивные времена, ибо есть люди, которые любят хулить, я же люблю хвалить.

Однако я с пристальным вниманием изучаю предметы моего почтения; поэтому когда я приближаюсь к этому единственному на земле человеку, мне чудится, будто у него два лика, как у Януса, и что слова «гнет», «ссылка», «подавление» или заменяющее их слово «Сибирь» запечатлелись на том лике, который мне не виден. 878

Мысль эта преследует меня неотступно, даже когда я с ним говорю. Напрасно я пытаюсь думать лишь о своих словах, воображению моему невольно представляется путь из Варшавы в Тобольск, и одно только слово «Варшава» пробуждает во мне недоверие.

Знаете ли вы, что в этот час дороги Азии снова запружены ссыльными, оторгнутыми от родного очага, которые пешком идут искать смерти, как скот покидает пастбище и идет на бойню? Монарший гнев обрушился на них после так называемого польского заговора, заговора «молодых безумцев», которые стали бы героями, если бы он удался; впрочем, обреченность их попыток, мне кажется, лишь подчеркивает их нравственное величие. Сердце мое обливается кровью при мысли о ссыльных, об их семьях, об их родине!.. Что станется, когда притеснители выселят из этого уголка земли, где еще недавно процветало рыцарство, цвет старой Европы, самых благородных и отважных ее сынов, в Татарию? Тогда они кончат набивать свой политический ледник и насладятся победой сполна: Сибирь станет царством, а Польша — пустыней. 879

Можно ли произносить слово «либерализм» и не краснеть от стыда при мысли, что в Европе существует народ, который был независимым, а ныне не знает иной свободы, кроме свободы отступничества? Когда русские обращают против Запада оружие, которое они с успехом применяют против Азии, они забывают, что средства, способствующие прогрессу у калмыков, являются преступлением по отношению к народу, далеко ушедшему по пути цивилизации. Вы видите, как старательно я избегаю слова «тирания», хотя оно напрашивается: ведь оно дало бы оружие против меня людям, от которых все и без того страдают. Эти люди всегда готовы кричать о «подстрекательстве к бунту». На доводы они отвечают молчанием, этим доводом сильного; на возмущение — презрением, этим правом слабого, узурпированным сильным; зная их тактику, я не хочу вызывать у них улыбку... Но о чем мне тревожиться? Ведь полистав мою книгу, они не станут ее читать; они изымут ее из обращения и запретят всякое упоминание о ней; эта книга не будет существовать, они сделают вид, словно для них и у них она и не существовала; их правительство, подобно их Церкви, защищается, притворяясь немым; такая политика процветала доселе и будет процветать и впредь в стране, где расстояния, оторванность людей друг от друга, болота, леса и зимы заменяют тем, кто отдает приказания, совесть, а тем, кто эти приказания исполняет, — терпение. 879 879 879

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Я не устаю повторять: революция в России будет тем ужаснее, что она свершится во имя религии: русская политика в конце концов растворила Церковь в Государстве, смешала небо и землю: человек, который смотрит на своего повелителя как на Бога, надеется попасть в рай единственно милостью императора.

Бунты на Волге продолжаются, причем эти ужасы приписывают провока-
879 циям польских эмиссаров: такое обвинение вызывает в памяти суд Лафонтенова волка. Все жестокости, все беззакония, творимые той и другой стороной, — предвестие развязки, и, видя их, можно представить себе, какова она будет. Но в народе, который так угнетают, страсти долго кипят, прежде чем происходит взрыв; опасность час от часу приближается, зло не отступает, кризис запаздывает; быть может, даже наши внуки не увидят взрыва, но мы уже сегодня можем предсказать, что он неизбежен, хотя и не знаем, когда именно он произойдет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ПИСЬМА

Петербург, 3 августа 1839 года

Мне не судьба уехать отсюда, Господь против меня!.. Новая отсрочка, на сей раз вполне оправданная, я тут ни при чем... Я уже собирался сесть в карету, но тут мне доложили, что меня спрашивает один из моих друзей. Он входит. Он требует, чтобы я немедленно прочел письмо. Какое письмо, Боже правый!.. Оно
879 написано княгиней Трубецкой и обращено к кому-то из ее родных; она просит этого человека показать письмо государю императору. Я хотел переписать его, дабы обнародовать, не изменив в нем ни единого слова, но мне не позволили этого сделать.

— Такое письмо, если его опубликовать, обойдет весь свет, — говорил мой друг, потрясенный впечатлением, которое оно на меня произвело.

— Тем больше оснований сделать его достоянием гласности, — ответил я.

— Это невозможно. Ведь от него зависит жизнь нескольких особ, мне дали его только затем, чтобы я вам показал, под честное слово и с условием, что через полчаса я его верну.

Несчастная страна, где всякий иноземец кажется толпе угнетенных спасителем и олицетворяет правду, гласность, свободу в глазах народа, лишенного всех этих благ!

Прежде чем рассказать вам, что написано в этом письме, я должен поведать в нескольких словах одну печальную историю. Главные ее события вам известны, но смутно, как все, что известно об этой далекой стране, которая вызывает лишь холодное любопытство: эта смутность делает вас жестоким и безразличным — таким был и я до своего приезда в Россию; читайте же и краснейте, да, краснейте, ибо тот, кто не восстает всеми силами против политики страны, где творятся подобные несправедливости и где смеют утверждать, что они необходимы, является до некоторой степени их соучастником и несет за них ответственность.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Под предлогом внезапного недомогания я приказываю фельдъегерю отправить лошадей обратно и сказать на почте, что поеду завтра; спровадив этого шпиона, всюду сующего свой нос, я сажусь за письмо к вам.

Князь Трубецкой был приговорен к каторжным работам четырнадцать лет тому назад за то, что принимал весьма активное участие в восстании 14 декабря.

Речь шла о том, чтобы обмануть солдат и убедить их в том, что Николай I незаконно взошел на престол. Главы заговорщиков надеялись воспользоваться суматохой, чтобы совершить военный переворот; к счастью или к несчастью для России, в ту пору одни они чувствовали необходимость смены государственного строя. Сторонников реформ было слишком мало, чтобы вызванные ими волнения могли привести к желаемым результатам: это были беспорядки ради беспорядков.

Заговор провалился благодаря присутствию духа у императора, вернее, благодаря неустрашимости его взгляда; решимость, которую этот государь выказал в день своего вступления на престол, предопределила его могущество.

После подавления мятежа требовалось покарать виновных. Князь Трубецкой, один из самых деятельных участников заговора, был осужден и отправлен в уральские рудники на 14 или 15 лет, а затем сослан на вечное поселение в Сибирь в одну из отдаленных губерний, которые заселяются преступниками. 880

У князя была жена, принадлежащая к одному из самых родовитых семейств России; никто не мог отговорить княгиню ехать вслед за мужем на верную смерть.

«Это мой долг, — говорила она, — и я его исполню; не в человеческой власти разлучить мужа и жену; я хочу разделить судьбу моего мужа». Эта благородная женщина добилась милостивого позволения заживо похоронить себя вместе с мужем. Как ни удивительно это для всякого, кто, как я, увидел Россию и прозрел дух, который царит в этом государстве, остаток стыда заставил власть уважить эту самоотверженную просьбу. Понятно, почему патриотические подвиги в чести у начальства — оно использует их в своих целях; но терпеть высшую добродетель, которая идет вразрез с политическими взглядами государя, — непростительная забывчивость. Вероятно, боялись друзей Трубецких: аристократия при всей своей мягкотелости всегда сохраняет тень независимости, и этой тени довольно, чтобы смутить деспотизм. Ужасное русское общество изобилует контрастами: многие люди говорят между собой так свободно, словно они живут во Франции: эта тайная свобода — их утеха, с ее помощью они вознаграждают себя за явное рабство, которое составляет позор и несчастье их отечества.

Итак, страх восстановить против себя влиятельные семьи заставил власти уступить своего рода осторожности и милосердию: княгиня поехала вслед за мужем-каторжником; поразительнее всего то, что она добралась до места. Невероятно долгая дорога сама по себе была ужасным испытанием. Вы знаете, что на каторгу едут на телеге — маленькой открытой повозке без рессор; от сотен, тысяч миль, преодоленных таким образом, повозка ломается, а у ездока ломит все тело. Несчастная женщина стойко перенесла все тяготы пути, а затем множество других тягот: я представляю себе, сколько лишений и страданий она испытала, но не могу вам их описать, ибо не знаю подробностей и не хочу ничего выдумывать: правда в этом рассказе для меня священна.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Подвиг княгини покажется вам еще более героическим, когда вы узнаете, что до того, как разразилось несчастье, супруги относились друг к другу довольно холодно. Но не может ли страстная самоотверженность заменить любовь? И не есть ли эта самоотверженность сама любовь? У любви много источников, и самопожертвование — богатейший из них.

881 В Петербурге у Трубецких не было детей; в Сибири их родилось пятеро!

Преданность жены возвеличила этого человека и окружила в глазах всех, кто был близок к нему, ореолом святости. Кто не проникся бы почтением к предмету столь возвышенной привязанности!

Как бы ни было велико преступление князя Трубецкого, прощение, в котором император, вероятно, будет отказывать ему до самого конца, ибо он полагает своим долгом перед народом и перед самим собой безжалостную суровость, давно уже даровано виновному царем царей; беспримерные добродетели княгини могут смирить Божий гнев, но не смогли смягчить человеческий суд. Ибо Господь поистине всемогущ, меж тем как российский император лишь мнит себя таковым.

Будь он воистину великим человеком, он давно бы простил князя Трубецкого; но, вменив себе в обязанность играть заранее отведенную роль, он чужд милосердия, ибо оно не только противоречит его природному характеру, но еще и кажется ему слабостью, недостойной его сана; привыкнув измерять свою силу страхом, который он внушает, он считает жалость нарушением кодекса политической морали.

Что же до меня, то я сужу о власти человека над другими людьми лишь по тому, как он властвует собой, и думаю, что могущество его укрепилось бы лишь
881 в том случае, если бы он был способен прощать; Николай I смеет лишь карать. Дело в том, что Николай I, знающий толк в лести, ибо ему всю жизнь льстят шестьдесят миллионов подданных, наперебой убеждая его, что он выше всех людей, почитает своим долгом вернуть поклоняющейся ему толпе несколько крупиц ладана, и этот отравленный ладан вселяет в нее жестокость. Прощение было бы опасным уроком для столь черствого в глубине души народа, как русский. Правитель опускается до уровня своих дикарей подданных; он так же бессердечен, как они, он смело превращает их в скотов, чтобы привязать к себе: народ и властитель состязаются в обмане, предрассудках и бесчеловечности. Отвратительное сочетание варварства и малодушия, обоюдная жестокость, взаимная ложь — все это составляет жизнь чудовища, гниющего тела, в чьих жилах течет не кровь, а яд: вот неизбежная сущность деспотизма!..

Супруги четырнадцать лет жили, так сказать, рядом с уральскими рудника-
881 ми, ибо княжьи руки плохо приспособлены для работы заступом; он там, потому что он должен быть там... вот и все; но он каторжник, этого довольно... Дальше вы увидите, что означает этот удел для человека... и для его детей!!!

881 В Петербурге нет недостатка в благонамеренных людях, и я встречал таковых; они считают, что жизнь в рудниках вполне сносная, и жалуются на то, что «нынешние краснобаи» преувеличивают страдания заговорщиков на каторге.
882 Впрочем, они признают, что запрещено посылать осужденным деньги. «Но зато

родные получили разрешение посылать им съестные припасы и одежду: так что у них есть и платье и пища»... Съестные припасы!.. Что можно везти в этом климате за тридевять земель и что не испортится за время пути? Несмотря на все лишения, на все страдания осужденных, истинные патриоты безоговорочно одобряют политическую каторгу русского изобретения. Этим ласкателям палачей кара все еще кажется слишком мягкой для такого тяжкого преступления. 882

18 фруктидора французские республиканцы использовали то же средство: одного из пяти членов Директории, Бартелеми, сослали в Кайенну вместе со значительным числом людей, обвиненных и уличенных в том, что они без особого восторга встретили филантропические идеи партии большинства; но этих несчастных хотя бы не унижали, с ними обращались как с побежденными врагами, но не лишали их гражданских прав. Республика отправляла их умирать в края, где воздух тлетворен для европейцев, но, губя их, чтобы от них избавиться, она не превращала их в парий общества. Что бы ни говорили о прелестях Сибири, пребывание на уральских рудниках подточило здоровье княгини Трубецкой: трудно понять, как женщина, привыкшая к благодатным краям, к роскоши большого света, смогла так долго выносить всевозможные лишения, на которые добровольно себя обрекла. Она хотела жить — и жила: она зачала, родила, вырастила детей в местах, где долгая холодная зима, кажется, убивает всякую жизнь. 882

Температура опускается каждый год до тридцати шести — сорока градусов мороза: одной этой стужи довольно, чтобы истребить род человеческий... Но этой подвижнице не до погоды — ей хватает других забот.

После семи лет ссылки, увидев, что дети подрастают, она сочла своим долгом написать родным в надежде вымолить у государя императора позволение отправить детей в Петербург или какой-нибудь другой большой город, дабы они могли получить подобающее воспитание.

Прошение было подано государю, и достойный преемник Ивана IV и Петра I ответил, что дети каторжников тоже каторжники и не нуждаются в образовании.

Получив этот ответ, родные, мать, осужденный хранили молчание еще семь лет. Лишь попранные человеколюбие, честь, христианское милосердие, вера пытались вступиться за них, но совсем тихо; никто не возвысил голос, чтобы восстать против подобной «справедливости».

Однако нынче их бедственное положение стало еще тяжелее, и это исторгло последний крик из глубин бездонной пропасти.

Князь отбыл свой срок на каторге, и теперь ссыльные, по слухам, должны образовать вместе со своими семьями колонию в одном из наиболее отдаленных уголков пустыни. Место их нового поселения, нарочно выбранное самим государем императором, столь глухое, что оно даже не обозначено на картах русского генерального штаба, самых точных и подробных картах, какие только существуют на свете.

Как вы понимаете, участь княгини (я говорю лишь о ней) с тех пор, как ей дозволили жить в этой глуши (заметьте, что на этом языке угнетенных, толкуемом угнетателем, дозволения нельзя не исполнить), стала еще плачевнее; в рудниках она обогревалась под землей; там по крайней мере эта мать семейства имела

товарищей по несчастью, немых утешителей, свидетелей своего героизма: она встречала взгляды людей, которые видели и почтительно оплакивали ее бесславное мученичество — это обстоятельство делало его еще более возвышенным. Там находились сердца, которые в ее присутствии начинали биться сильнее; наконец, даже не имея нужды разговаривать, она не чувствовала себя одинокой, ибо сколь бы ни были жестоки правители, везде, где есть люди, есть и сострадание.

Но как разжалобить медведей, пройти сквозь дремучие леса, растопить вечные льды, одолеть топкие вересковые заросли на бесконечных болотах, защититься от лютой стужи в лачуге? Наконец, как жить с мужем и пятью детьми в сотне или больше миль от ближайшего человеческого жилья, не считая домика надзирателя, обязанного следить за поселенцами? Ведь именно это называется в Сибири колонией!..

Меня восхищает не только смирение княгини, но и ее умение найти в своем сердце красноречивые, нежные слова, которые помогли ей побороть сопротивление мужа и убедить его, что она будет менее несчастна, оставаясь в Сибири рядом с ним, чем живя в Петербурге и утопая в роскоши, но без него. Когда я думаю о ее жертве и таланте убеждения, заставившем князя эту жертву принять, я немею от восхищения; самоотвержение восторжествовало и увенчалось успехом, потому что было исполнено такой любви, какая кажется мне чудом сострадания, силы и чувства; умение жертвовать собой — редкий и благородный дар; умение заставить другого человека принять такую жертву — подвиг...

Ныне эти отец и мать, лишенные всякой поддержки, удрученные столькими горестями, сломленные несбывшимися надеждами и тревогой за будущее, затерянные в глуши, уязвленные в своей гордости, ибо их несчастье скрыто от всех взоров, наказанные в детях, чья невинность лишь усугубляет терзания родителей, ныне эти мученики бесчеловечной политики уже не знают, как им жить дальше и как растить детей. Дети их — каторжники от рождения, парии императорской России с номерами вместо имен, без роду без племени — все же имеют от природы тело, которое надо кормить и одевать: может ли мать, при всей своей гордости, при всех своих высоких помыслах, смотреть, как гибнет плод ее чрева и не молить о пощаде? Нет, и вот она униженно просит, но на сей раз не из христианской добродетели; в минуты отчаяния материнские чувства берут верх над супружескими; Господа можно молить лишь о вечном спасении, она же молит человека о хлебе насущном... да простит ей Бог!.. Она видит, что дети ее больны, и не в силах помочь им, у нее нет никакой возможности облегчить их страдания, вылечить их, спасти им жизнь... В рудниках все-таки был врач; в новом изгнании у них нет никого и ничего. В крайней нужде она думает лишь о горестной судьбе своих детей; отец, чье сердце потрясено столькими несчастьями, не вмешивается в ее действия; одним словом, прощая (ведь просить пощады — значит простить)... с героическим великодушием прощая первый жестокий отказ, княгиня пишет из своего захолустья второе письмо; она посылает это письмо родным, но обращается в нем к императору. Это значило пасть в ноги своему врагу, это значило отступить от своих правил; но кто посмел бы бросить камень в несчастную мать?.. Бог призывает своих избранников приносить всяческие жертвы,

призывает их поступиться даже законной гордостью; Господь милостив, и доброта его беспредельна... О, человек, который представляет себе жизнь без вечности, увидел бы лишь приглядную сторону вещей! Он жил бы иллюзиями — этого ждали и от меня во время моего путешествия по России.

Письмо княгини дошло по назначению, император прочел его; это письмо меня и задержало; но я не жалею о том, что отложил отъезд, я никогда не читал ничего более простого и трогательного; такие поступки говорят сами за себя; героизм княгини дает ей право не тратить много слов и быть краткой, даже тогда, когда речь идет о жизни ее детей... Свое положение она обрисовывает в нескольких строках, без громких фраз и слезных жалоб. Она выше словесных ухищрений, за нее говорят события; в заключение она молит о единственной милости: о позволении жить там, где есть хоть какая-то медицинская помощь, чтобы облегчить страдания детей, когда они болеют... Окрестности Тобольска, Иркутска или Оренбурга показались бы ей раем. В конце письма она уже не обращается к государю, она забывает обо всем, кроме своего мужа, она с нежностью и достоинством, которые одни могут искупить самое ужасное злодеяние, — но ведь она ни в чем не виновата, а государь, к которому она обращается, всемогущ и один Бог ему судья!.. — так вот, в заключение она с нежностью и достоинством высказывает свою заветную мысль: я очень несчастна, говорит она, и все же, если бы мне суждено было начать все сначала, я поступила бы так же.

Среди родных этой женщины нашелся человек, у которого достало смелости (тот, кто знает Россию, не может не оценить это проявление христианского милосердия) передать это письмо государю и даже смиренно молить об удовлетворении просьбы опальной родственницы. В присутствии российского императора о ней говорят с ужасом, как о преступнице, меж тем как в любой другой стране гордились бы родством с этой благородной жертвой супружеского долга. Что я говорю? Это гораздо больше, чем долг жены, это энтузиазм ангела.

Но героизм не в счет, и приходится с трепетом просить о снисхождении к добродетели, которой открыты небесные врата; в то время как все мужья, все сыновья, все жены, весь род человеческий должен был бы воздвигнуть памятник этой идеальной супруге, пасть к ее ногам и петь ей хвалы, причислить ее к лику святых, при императоре боятся произносить ее имя!.. Зачем же существует государь, если не для того, чтобы вознаграждать за добрые дела? Что до меня, то когда бы она вернулась в свет, я поспешил бы ее увидеть, и если бы не мог подойти и поговорить с ней, то удовольствовался бы тем, что пожалел бы ее, позавидовал ей и пошел за ней, как идут под священным знаменем.

Но нет, в течение четырнадцати лет подвергая несчастную жертву гонениям, он так и не утолил свою жажду мести... Ах, дайте мне излить мое негодование: стесняться в выражениях, рассказывая о подобных событиях, значило бы предавать святое дело! Пусть русские не согласятся со мной, если посмеют: я предпочитаю, чтобы меня обвиняли в непочтении к деспотизму, чем в неуважении к чужому горю. Подданные императора раздавят меня, если смогут, зато Европа узнает, что человек, которого шестьдесят миллионов подданных без устали уверяют в его всемогуществе, унижается до мести!.. Да, такая расправа

называется не иначе как местью! Итак, через четырнадцать лет у Николая I не нашлось для этой женщины, стойко перенесшей столько невзгод, других слов, кроме тех, которые вы сейчас прочтете и которые я услышал от особы, знающей их из первых рук: «Удивляюсь, что меня снова беспокоят... (второй раз за пятнадцать лет!) из-за семьи, глава которой участвовал в заговоре против меня». Вы можете не верить, что государь ответил именно так, я хотел бы и сам усомниться в этом, но у меня есть доказательства, свидетельствующие: это правда. Особа, которая пересказала мне его ответ, заслуживает полного доверия; вдобавок события говорят сами за себя: письмо нимало не изменило участи ссыльных.

И Россия еще гордится отменой смертной казни![1] Умерьте ваше рвение, отмените хотя бы ложь, которая царит во всем, искажает и отравляет все у вас, — и вы тем самым сделаете довольно для блага человечества.

883 Родные ссыльных, семья Трубецких, родовитая знать, живут в Петербурге и бывают при дворе!!! Вот дух, достоинство, независимость русской аристократии. В этой империи насилия страх оправдывает все!., более того, он всегда в почете. Страх, пышно именуемый осторожностью и умеренностью, — единственная заслуга, которая никогда не остается незамеченной.

[1] Для чего служат установления в стране, где правительство не подчиняется никаким законам, где народ бесправен и правосудие ему показывают лишь издали, как достопримечательность, которая существует при условии, что никто ее не трогает: так собаке показывают лакомый кусок и бьют, когда она хочет к нему приблизиться. Кажется, будто спишь и видишь сон, когда, зная о существовании столь жестокого произвола, читаешь в брошюре Якова Толстого «Взгляд на российское законодательство», включающей беглый обзор правления в этой стране, смехотворные слова: «Именно она (императрица Елизавета) издала указ об отмене смертной казни; Елизавета решила этот трудный вопрос, который тщетно изучали, опровергали и обсуждали со всех сторон самые просвещенные публицисты, криминалисты и правоведы почти сто лет тому назад в стране, которую не перестают называть землею варваров». Автор произносит свое похвальное слово совершенно непринужденно, и этот гимн дает нам представление о том, как русские понимают цивилизацию. На самом деле до сих пор Россия осуществляла прогресс в области политики и законности только на словах; судя по тому, как соблюдаются в этой стране законы, их можно безбоязненно смягчить. Таким же образом благодаря противоположной системе их ужесточали в Западной Европе в средние века — и тоже без толку! Надо бы сказать русским: для начала издайте указ, позволяющий жить, а потом уже будете мудрить с уголовным правом.

882 В 1836 году какой-то молодой человек соблазнил сестру некоего господина Павлова и отказался на ней жениться, несмотря на предупреждение брата. Узнав, что соблазнитель собирается взять в жены другую барышню, господин Павлов пришел к его дому и, когда свадебный кортеж возвратился из церкви, заколол обидчика. Назавтра Павлов был разжалован и выслан; однако, узнав все обстоятельства дела, император отменил свой первоначальный приговор!.. Через день убийца был оправдан.

882 Когда слушалось дело Алибо, один русский, отнюдь не крестьянин, а племянник одного из самых мудрых и влиятельных людей в России, возмущался французским правительством: «Что за страна! — восклицал он. — Судить такое чудовище!.. Почему его не казнили на следующий же день после покушения!» Вот каково представление русских о почтении, с которым следует относиться к государю и к правосудию.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Здесь находятся люди, которые обвиняют княгиню Трубецкую в глупости. «Разве она не может одна вернуться в Петербург?!» — восклицают они. Мелкая низость, подлая трусливая месть! Бегите страны, где закон запрещает убивать, но зато разрешает сживать со свету целые семьи во имя политического фанатизма, который служит для того, чтобы оправдывать любую жестокость.

Сомнений больше нет; все решено: я вынес наконец суждение о Николае I... 883
Это человек с твердым характером и непреклонной волей — без этих качеств невозможно стать тюремщиком третьей части земного шара; но ему не хватает великодушия: его злоупотребления властью слишком убедительно мне это доказывают. Да простит ему Бог; к счастью, я больше его не увижу! Я высказал бы ему все, что думаю об этой истории, а это было бы чрезвычайной дерзостью... Впрочем, своей неуместной отвагой я еще больше отягчил бы положение несчастных, в чью защиту самочинно выступил бы, и погубил бы себя.[1]

Какое сердце не обольется кровью при мысли о добровольной пытке бедной матери? Боже мой! Если Ты уготовил самой возвышенной добродетели такую участь на земле, то открой ей путь на небо, распахни райские врата до срока!.. Можно ли вообразить себе, что испытывает эта женщина, глядя на своих детей

Маленькая брошюра Якова Толстого — не что иное, как гимн в прозе деспотизму, 882
который он без конца то ли преднамеренно, то ли по простоте душевной путает с конституционной монархией; это произведение ценно признаниями, которые облечены в нем в форму похвал: впрочем, оно выдержано в официальном тоне, как все, что публикуют русские, не желающие навлечь на себя неприятности в своем отечестве. Вот несколько примеров невинного ласкательства, которое в другой стране сочли бы оскорблением: но здесь процветает неприкрытая лесть. Автор превозносит Николая I за реформы в российском законодательстве. Благодаря этим усовершенствованиям, говорит он, «впредь ни одного дворянина не имеют права заковать в кандалы, каков бы ни был приговор». Эта заслуга законодателя при сопоставлении с деяниями императора и в особенности с событиями, о которых вы только что прочитали, показывает, в какой мере можно доверять законам этой страны и тем людям, которые гордятся то их мягкостью, то их действенностью. В другом месте тот же самый придворный... простите! писатель — продолжает петь хвалы тому, что он принимает за конституцию своей несчастной страны, и превозносит это государственное устройство в следующих выражениях: «В России закон, который исходит непосредственно от государя, приобретает больше силы, нежели те, которые приняты сенатом, по той причине, что народ с *благоговением* относится ко всему, что коренится в царской власти, ибо император — *прирожденный глава духовенства в этой стране;* и народ, которого еще не коснулись богоубийственные учения, считает священным все, что проистекает из этого источника».

Уверенность, с какой высказана эта лесть, делает всякие замечания излишними, никакая сатира не могла бы нанести более верный удар, чем такая похвала. Точка зрения, избранная писателем, человеком светским, остроумным, толковым, больше говорит о законности в стране, вернее о путанице в религиозных, политических и правовых вопросах, которую называют в России общественным порядком, о жизни, духе, мнениях и нравах русских, чем все, что я мог бы вам изложить в нескольких томах моих размышлений.

[1] Издавая мои путевые заметки, я этого не боюсь, ибо, откровенно высказывая свое мнение обо всем, что вижу, не могу вызвать подозрения в том, что говорю по чьему-либо наущению.

и вместе с мужем пытаясь восполнить им недостающее образование? Образование!.. Для нумерованного скота это настоящий яд! И однако, будучи светскими людьми, получившими такое же воспитание, как мы, могут ли отец и мать покориться и преподать своим детям лишь то, что тем следует знать, дабы быть счастливыми в сибирской колонии? Могут ли они отречься от всех своих воспоминаний, всех своих привычек, чтобы скрыть от ни в чем не повинных жертв супружеской любви их горестное положение? Не внушит ли врожденное благородство этим юным дикарям желаний, которым не суждено осуществиться? Какая опасность, какие терзания для них и какая смертная мука для их матери! Эта нравственная пытка, вкупе со столькими физическими страданиями, кажется мне страшным сном, от которого я никак не могу очнуться; со вчерашнего утра этот кошмар неотступно преследует меня; я каждую минуту думаю: что делает сейчас княгиня Трубецкая? Что говорит она своим детям? Какими глазами смотрит на них? Чего просит она у Бога для этих созданий, проклятых еще до рождения тем, кто является для России наместником Бога на земле? Ах, эта пытка, которая обрушивается на невинное потомство, позорит весь народ!

В заключение я приведу цитату из Данте, она здесь весьма к месту. Заучивая эти стихи наизусть, я и не подозревал, что однажды они прозвучат для меня зловещим намеком:

О Пиза, стыд пленительного края,
Где раздается si! Коль медлит суд
Твоих соседей, — пусть, тебя карая,

Капрара и Горгона с мест сойдут
И устье Арно заградят заставой,
Чтоб утонул весь твой бесчестный люд!

Как ни был бы ославлен темной славой
Граф Уголино, замки уступив, —
За что детей вести на крест неправый!

Невинны были, о исчадье Фив,
И Угуччоне с молодым Бригатой,
И те, кого *я* назвал, в песнь вложив.

(Пер. М. Лозинского)

Я продолжу путешествие, но не поеду в Бородино, не буду присутствовать при торжественном въезде императорского двора в Кремль, не стану вам больше рассказывать о Николае I: что я могу сказать о государе, которого вы знаете теперь так же хорошо, как и я? Чтобы получить представление о положении людей и вещей в этой стране, подумайте о том, что там случается множество историй, подобных той, которую вы только что прочли, просто о них никто не знает и никогда не узнает; мне повезло: стечение обстоятельств, в котором мне

видится перст судьбы, открыло мне события и подробности, о которых совесть не позволяет умолчать.[1]

Я соберу все письма, которые написал для вас со времени приезда в Россию и которые не отправлял из осторожности; я прибавлю к ним это письмо и надежно запечатаю всю пачку, после чего отдам ее в верные руки, что не так-то легко сделать в Петербурге. Потом я напишу вам другое, официальное письмо и отправлю его с завтрашней почтой; все люди, все установления, которые я здесь вижу, будут превознесены в нем сверх всякой меры. Вы прочтете в этом письме, как безгранично я восхищен всем, что есть в этой стране и что в ней происходит... Забавнее всего то, что я уверен: и русская полиция, и вы сами поверите моим притворным восторгам и безоглядным и неумеренным похвалам.[2]

Если обо мне не будет ни слуху ни духу, значит, меня сослали в Сибирь: только это вынужденное путешествие может помешать путешествию в Москву, которое я не стану больше откладывать; фельдъегерь уже доложил мне, что завтра утром почтовые лошади будут ждать меня у подъезда.

---

[1] Когда первое издание этой книги вышло в свет, одна особа, служившая во французском посольстве в то время, когда умер Александр I, рассказала мне историю, произошедшую у нее на глазах. 884

После мятежа, сопровождавшего его восшествие на престол, Николай I приговорил к смерти пятерых зачинщиков заговора; их должны были повесить в два часа пополуночи у крепостной стены, на краю рва глубиной двадцать пять футов. Смертников поставили под виселицей на скамью высотой в несколько футов. Когда все приготовления были закончены, руководивший казнью граф Чернышев, нынешний военный министр, дал условный сигнал; под барабанную дробь скамью выбивают из-под ног преступников: вдруг три веревки рвутся, две жертвы падают на дно рва, третья остается на краю... Те, кому довелось присутствовать при этой мрачной сцене, приходят в волнение, сердца их сильно колотятся от счастья и признательности, ибо они думают, что император избрал это средство, дабы примирить устремления человеколюбия с интересами политики. Но граф Чернышев приказывает продолжать барабанный бой, заплечных дел мастера спускаются в ров, извлекают оттуда двух несчастных, из которых один переломал ноги, а другой раздробил челюсть: палачи снова подводят приговоренных к виселице, снова накидывают им веревку на шею, тем временем третий осужденный, который остался невредимым и которому также надевают петлю на шею, собирается с силами и с героической яростью кричит, заглушая барабанный бой: «Несчастная страна, где и повесить-то не умеют!» Он был душою заговора; его звали Пестель. 884

Сила побежденного и варварство победителя — вот вся Россия!

[2] Я справедливо полагал, что эти обстоятельные льстивые речи, будучи перехвачены на границе, позволят мне спокойно продолжать путешествие.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

*Дорога из Петербурга в Москву. — Быстрая езда. — Чем вымощен тракт. — Парапеты мостов. — Упавшая лошадь. — Слова моего фельдъегеря. — Портрет этого человека. — Побитый ямщик. — Императорский поезд. — Угнетение русских. — Чего стоит народам честолюбие. — Самое надежное средство править страной. — Для чего должна служить неограниченная власть? — Слова Евангелия. — Несчастье славян. — К чему Господь предназначает человека. — Встре*ча с русским путешественником. — Его предсказание о судьбе моей коляски. — Пророчество сбывается. — Русский ямщик. — Сходство русского народа с испанскими цыганами. — Деревенские женщины. — Их головной убор, платье, обувь. — Жизнь крестьян не такая тяж:елая, как у остальных русских. — Благотворность землепашества. — Здешние края. — Хилый скот. — Вопрос. — Почтовая станция. — Ее убранство. — Расстояния в России. — Унылый пейзаж. — Сельские жилища. — Валдайские горы: преувеличения русских. — Головной убор крестьян; павлиньи перья. — Плетеные башмаки. — Редкость женщин. — Их наряд. — Встреча с русскими дамами. — Их дорожное платье. — Маленькие русские городки. — Озерцо; монастырь на романтическом островке. — Голые леса. — Унылые равнины. — Торжок. — Расшитая кожа, сафьян. — История куриных котлет. — Облик города. — Его окрестности. —Двойная дорога. — Стада коров. — Повозки. — Запруженная дорога.*

Померания, почтовая станция
в восемнадцати лье от Петербурга,
3 августа 1839 года

886

Ехать на почтовых из Петербурга в Москву значит целыми днями испытывать чувство, какое испытываешь, скатываясь с «Русских гор» в Париже. Стоит привезти в Петербург английскую коляску хотя бы ради удовольствия прокатиться на настоящих мягких рессорах (рессоры в русских колясках — одно название) по этой знаменитой дороге, которую русские, да, я думаю, и иностранцы, называют лучшим трактом в Европе. Надо признать, что он содержится в порядке, но вымощен такой твердой породой, что даже щебень образует шероховатости и расшатывает болты, так что один или два болта непременно выпадают, покуда едешь от одной почтовой станции до другой; поэтому на станции вы

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

поневоле теряете все то время, которое выиграли в пути, когда мчались с головокружительной быстротой, поднимая пыль столбом. Английская коляска очень удобна поначалу, но со временем начинаешь испытывать потребность в русском экипаже, лучше приспособленном к быстрой езде, которую любят ямщики, и твердой дороге. У мостов красивые решетчатые парапеты, украшенные императорским гербом, их поддерживают квадратные гранитные столбы; все это проносится перед глазами ошеломленного путника, мелькает, словно бредовые видения больного.

Этот тракт более широк, чем английские дороги, он такой же гладкий, хотя и не такой мягкий, а лошади маленькие, но жилистые.

Мнения, повадка, облик моего фельдъегеря все время напоминают мне о духе, который царит в его стране. После второго перегона одна из четырех наших лошадей зашаталась и упала прямо под колеса. По счастью, кучер, уверенный в остальных трех, резко остановил коляску; несмотря на то, что лето на исходе, в середине дня еще стоит палящий зной; все живое изнемогает от пыли и духоты. Я решил, что у лошади солнечный удар и, если ей тотчас же не пустить кровь, она умрет; я кликнул фельдъегеря и, достав из дорожной сумки ветеринарный ланцет, подал ему, призывая скорее им воспользоваться, чтобы спасти несчастное животное. Он, не беря в руки инструмент, который я ему протягивал, и не глядя на лошадь, с насмешливой невозмутимостью ответил мне: «В этом нет нужды, мы уже подъехали к станции».

И вместо того, чтобы помочь бедному ямщику распрячь лошадь, он пошел в соседнюю конюшню и велел заложить нам свежую четверню.

Русским далеко до принятия закона, защищающего животных от дурного обращения людей, какой существует у англичан; у русских в защите нуждаются прежде всего люди, а не собаки и не лошади, как в Лондоне. Мой фельдъегерь просто не поверил бы в существование такого закона.

Этот человек, ливонец по происхождению, на мое счастье, говорит по-немецки. Он носит маску казенной вежливости и ведет угодливые речи, но в мыслях его просвечивает много дерзости и упрямства. Он тщедушен, белобрыс, его можно было бы принять за подростка, если бы не суровое выражение лица и не лживый жестокий взгляд; у него серые, опушенные белесыми ресницами глаза, крутой, но низкий лоб, тускло-желтые густые брови, сухое лицо, белая кожа, задубевшая от мороза и ветра; говорит он, не разжимая губ. Зеленый, как у всех русских, опрятный, ладно скроенный мундир с застежкой спереди, перепоясанный кожаным ремнем, придает ему щеголеватый вид. У него легкая походка, но чрезвычайно медлительный ум.

Хотя он отлично вымуштрован, сразу видно, что он не русского происхождения: наполовину шведское, наполовину тевтонское племя, которое заселяет южный берег Финского залива, сильно отличается от славян и финнов, которые преобладают в петербургской губернии. Коренные русские изначально были достойнее, чем метисы, которые охраняют ныне подступы к этой северной стране.

Мой фельдъегерь не внушает мне доверия; официально он считается моим защитником, моим провожатым; но я вижу в нем переодётого шпиона и думаю,

что он в любой момент может получить приказ стать моим сбиром или тюремщиком... Подобные мысли портят удовольствие от путешествия; но я вам уже сказал, что они приходят мне в голову только тогда, когда я берусь за перо: в пути я полностью поглощен быстрой ездой и мельканьем предметов.

Я вам сказал также, что русские состязаются между собой в учтивости и грубости; все раскланиваются друг с другом и все всласть друг друга колотят: вот еще один пример этой вежливости и дурного обращения. Ямщика, который привез меня на почтовую станцию, откуда я пишу вам это письмо, при отъезде наказали за какую-то провинность; ему было привычнее терпеть побои, чем мне видеть подобное обращение с человеком. Итак, ямщик, совсем еще мальчик, перед тем, как везти меня дальше, был жестоко избит своим товарищем, начальником конюшни. Тот изо всех сил колотил беднягу кулаками; я издалека слышал, как гудит под ударами его грудь. Когда истязатель, этот поборник справедливости с почтовой станции, утомился, несчастный ямщик молча встал: запыхавшийся, дрожащий, он пригладил волосы, поклонился начальнику и, подбодренный полученной трепкой, легко вскочил на козлы, после чего наша тройка понеслась со скоростью четыре с половиной или пять лье в час. Император ездит со скоростью семь лье в час. Железнодорожный поезд с трудом поспел бы за его каретой. Сколько надо избить людей, сколько загнать лошадей, чтобы мчаться с такой удивительной быстротой, да еще все сто восемьдесят лье кряду!.. Говорят, столь быстрая езда в открытой коляске опасна для здоровья: мало у кого такая крепкая грудь, что ей не вредит постоянно рассекать воздух с такой силой. Благодаря своему могучему сложению император весьма вынослив, но сын его, более хилый, уже чувствует, как эти физические упражнения подтачивают его здоровье. Если нрав его таков, как позволяют предположить его манеры, наружность и речи, то великий князь, верно, страдает в родной стране не только телом, но и душой. Тут на память приходят слова Шамфора: «В жизни человека неминуемо наступает пора, когда сердце должно либо закалиться, либо разбиться». Русский народ, как мне кажется, народ одаренный, но способности его остаются без применения, ибо русские считают, что их удел — творить насилие; как все жители Востока, русские обладают врожденным чувством прекрасного, иными словами, природа наделила этих людей тягой к свободе, но вместо этого господа делают их орудием угнетения. Едва выбившись из грязи, человек тотчас получает право, более того, ему вменяется в обязанность помыкать другими людьми и передавать им тумаки, которые сыплются на него сверху; он причиняет зло, дабы вознаградить себя за притеснения, которые терпит сам. Таким образом дух беззакония спускается вниз по общественной лестнице со ступеньки на ступеньку и до самых основ пронизывает это несчастное общество, которое зиждется единственно на принуждении, причем на принуждении, заставляющем раба лгать самому себе и благодарить тирана; и из такого произвола, составляющего жизнь каждого человека, рождается то, что здесь называют общественным порядком, то есть мрачный застой, пугающий покой, близкий к покою могильному; русские гордятся, что в их стране тишь да гладь. Раз человек не захотел ходить на четвереньках, надо же ему чем-нибудь гордиться, хотя бы ради того, чтобы

886

сохранить свое право на титул человеческого создания... Если бы мне сумели доказать, что несправедливость и насилие нужны для важных политических целей, я заключил бы отсюда, что патриотизм вовсе не гражданская добродетель, как утверждали доселе, но преступление против человечества.

Русские оправдывают себя в собственных глазах тем, что образ правления в их стране благоприятен для их честолюбивых устремлений; но всякая цель, которая может быть достигнута только такими средствами, дурна. Это прелюбопытный народ; наблюдая, как разговаривают люди из низшего сословия, я, хотя и не понимаю слов, замечаю, что они не лишены ума, движения их обличают **гибкость и проворство, лицо — чувствительность, меланхолию, приветливость, —** все это свойства людей незаурядных, а их взяли да превратили в рабочую скотину. Неужели меня станут убеждать, что надо веками зарывать останки этого человеческого скота в землю, дабы удобрить почву, прежде чем на ней вырастут поколения, достойные той славы, которую Провидение обещает славянам? Провидение запрещает творить малое зло даже во имя самого большого блага.

Это не значит, что можно и должно править сегодня Россией так, как правят другими странами Европы; но я уверен, что можно было бы избежать многих бед, если бы человек, находящийся у кормила власти, подал пример смягчения нравов. Но чего ждать от народа льстецов, которому льстит его государь? Вместо того, чтобы поднять народ до себя, он сам опускается до его уровня.

Если учтивость, принятая при дворе, влияет на поведение людей из низших сословий, то разве пример милосердия, поданный всесильным властителем, не пробудил бы любовь к ближнему у всех его подданных!

Относитесь с суровостью к тем, кто употребляет свою власть во зло, и со снисхождением к тем, кто страдает, и вскоре вы преобразите ваше стадо в нацию... без сомнения, это не так-то легко; но разве не для того вы поставлены и облечены властью здесь, на земле, чтобы исполнить то, что не в силах сделать другие? Наместник Бога на земле может все, не может он лишь творить зло. Коль скоро он взял в свои руки такую власть, он должен быть так же справедлив, как Провидение.

Если неограниченная власть не более чем вымысел, который льстит самолюбию одного человека в ущерб достоинству целого народа, ее надо упразднить; если она существует на самом деле, но не приносит пользы, то это слишком дорогое удовольствие.

Вы хотите править всей землей, как то бывало встарь, путем завоевания; вы утверждаете, что с оружием в руках покорите все страны, какие захотите, и потом станете притеснять весь остальной мир. Вы мечтаете подчинить себе все и вся, это и безумно, и безнравственно; и если Бог это допустит, то на горе всему миру.

Я слишком хорошо знаю: земля не то место, где торжествует высшая справедливость. Тем не менее основной закон остается незыблем, зло всегда зло, независимо от его последствий: губит ли оно народ или возвеличивает, приносит ли человеку счастье или бесчестье, вес его на весах вечности неизменен. Провидение никогда не одобряло ни порочности какого-либо человека, ни преступлений какого-либо правительства. Но если дурные дела Богу не угодны, то ему

всегда угодны их последствия, ибо божественная справедливость всегда приемлет плоды преступления, для него неприемлемого. Бог занимается воспитанием рода человеческого, а всякое воспитание — череда испытаний.

Завоевания Римской империи не пошатнули христианскую веру; гнет в России не помешает той же вере жить в сердцах праведников. Вера будет жить на земле, покуда существует необъяснимое и непостижимое.

В мире, где все тайна, начиная от величия и падения народов и до появления и исчезновения былинки, где микроскоп так же неопровержимо свидетельствует нам о всевластии Бога в природе, как телескоп — о его всевластии на небесах, а слава — в истории, вера укрепляется с каждым днем, ибо это единственный свет, который нужен существу, блуждающему в потемках и жаждущему уверенности, но самой природой обреченному на сомнение.

Если нам суждено пережить позор нового завоевания, торжество победителей будет, на мой взгляд, свидетельствовать лишь об одном: об ошибках побежденных.

В глазах мыслящего человека успех не доказывает ничего, кроме того, что жизнь человека не ограничивается его земным существованием. Оставим евреям их корыстную веру и вспомним слова Иисуса Христа: «Царство мое не от мира сего».

Слова эти, столь непривычные для человека из плоти и крови, в России приходится повторять на каждом шагу; при виде стольких неминуемых страданий, стольких неотвратимых жестокостей, стольких безутешных слез, стольких осознанных или неосознанных несправедливостей (несправедливость здесь просто носится в воздухе) — при виде всех этих несчастий, обрушивающихся не на одну семью, не на один город, но на целое племя, на целый народ, населяющий треть земного шара, душа в растерянности отворачивается от земли и восклицает: «Боже мой, воистину царство твое не от мира сего!»

Увы! Отчего слова мои бессильны? Отчего не могут они искупить преизбыток несчастий преизбытком жалости! Зрелище этого общества, все пружины которого оттянуты, как у готового к бою орудия, так страшно, что у меня голова идет кругом.

С тех пор, как я живу в этой стране и знаю, что представляет собой на самом деле человек, который ею правит, меня всего трясет, и я горжусь этим, ибо если в отравленном тиранией воздухе я задыхаюсь, если ложь вызывает мое негодование, значит, я родился для чего-то другого, потребности моей натуры слишком благородны для обществ, подобных тому, какое я наблюдаю здесь, и я создан для лучшей доли. Господь не дал нам способностей, которые пропадают втуне. Божественный промысел указует нам наше место в вечности; все зависит от нас — будем ли мы достойны славы, которую он нам готовит, и места, которое он нам предназначает, или нет. Все, что в нас есть лучшего, восходит к нему.

Знаете ли вы, почему осуждены читать все эти размышления? У меня поломалась коляска, и покуда ее чинят, я от нечего делать пишу вам все, что мне приходит в голову.

Два часа назад я встретил знакомого русского; он побывал в одном из своих имений и возвращался в Петербург. Мы на минуту остановились, чтобы обменяться

несколькими словами; взглянув на мою коляску, мой знакомец начал смеяться и указал мне на круговую подушку, ось, скобы, чеку, оглобли и одну из упорных стоек рессоры.

— Видите все это? — спросил он меня. — Все эти части не доедут в целости и сохранности до Москвы. Иностранцы, которые упорно желают ездить по России в своих колясках, выезжают, как и вы, а возвращаются дилижансом.

— Даже если едут только до Москвы?

— Даже если едут только до Москвы.

— Русские говорили мне, что это лучшая дорога в Европе: я поверил им на слово.

— Не везде есть мосты, некоторые участки дороги нуждаются в починке; приходится то и дело сворачивать с тракта и проезжать по шатким мосткам, где доски настелены как попало, и при нерадивости наших ямщиков иностранные коляски в таких случаях всегда ломаются.

— У меня английская коляска, приспособленная к долгим путешествиям.

— Нигде не ездят так быстро, как у нас; когда лошади мчатся во весь опор, коляску болтает, как корабль в сильный шторм, то есть начинаются килевая и бортовая качка разом; выдержать такую долгую тряску на гладкой, но твердой дороге могут, повторяю вам, только местные экипажи.

— Вы еще не изжили старый предрассудок и считаете, что тяжелые, громоздкие коляски — самые прочные.

— Доброго пути! Напишите мне, если благополучно доберетесь в вашей коляске до Москвы.

Не успел я распроститься с этим горевестником, как круговая подушка сломалась. Случилось это недалеко от почтовой станции, где я и застрял. Обратите внимание, что я проехал всего восемнадцать лье из ста восьмидесяти... Придется мне впредь быть осмотрительнее и отказаться от быстрой езды; я стараюсь выучить, как сказать по-русски «тише», другие путешественники, наоборот, подгоняют ямщиков.

Русский ямщик, одетый в толстый суконный кафтан, а в теплые дни, как сегодня, в цветную домотканую рубаху, похожую на хитон, с первого взгляда кажется жителем Востока; в том, как он вскакивает на облучок, заметно азиатское проворство. Русские правят лошадьми только из повозки, разве что коляска очень тяжелая и запряжена шестеркой или восьмеркой лошадей, но даже в этом случае главный ямщик сидит на козлах. Этот ямщик, или кучер, держит в руках целую связку веревок: это восемь вожжей от четверки лошадей, запряженных в ряд. Изящество и легкость, быстрота и надежность, с какими он правит этой живописной упряжкой, живость малейших его движений, ловкость, с какой он соскакивает на землю, его гибкая талия, его стать, наконец весь его облик вызывают в памяти самые грациозные от природы народы земли и в особенности испанских цыган. Русские — светловолосые цыгане.

Я уже встретил нескольких крестьянок, они не так безобразны, как те, которых я встречал на петербургских улицах. Они полноваты, но у них приветливые лица и румянец во всю щеку; в это время года они покрывают голову платком,

завязывая его сзади узлом, а концы платка с присущей этому народу грацией спускают на спину. Иногда они надевают коротенький, обрезанный по колено редингот, перетянутый в талии поясом; спереди у него разрез, закругленные полы распахиваются и под ними видна юбка. Фасон этот не лишен изящества, но что портит здешних женщин, так это их обувь — кожаные сапоги на толстой подметке с закругленными носами. Внизу сапоги широкие, стоптанные, а голенища собраны в гармошку, так что совершенно не видно, стройные ли ноги у русских женщин; так и кажется, будто они надели обувь своих мужей.

Дома похожи на те, которые я описывал вам по пути из Шлиссельбурга, но не такие красивые. Села являют собой унылое зрелище, село — это всегда два более или менее длинных ряда деревянных домов, равномерно отстоящих друг от друга и расположенных вдоль тракта, но не у самой дороги, ибо деревенская улица, посреди которой проходит колея, шире, чем проезжая часть. Каждый домишко, сложенный из грубо обтесанных бревен, повернут коньком к тракту. Все избы похожи одна на другую, но, несмотря на их тоскливое единообразие, мне показалось, что в деревнях царят достаток и даже зажиточность. Они не живописные, но все же это не то что города, здесь владычествует покой, свойственный жизни на лоне природы, — это особенно отрадно после Петербурга. Деревенские жители не кажутся мне веселыми, но нельзя сказать, что вид у них несчастный, как у солдат или государственных чиновников; крестьяне меньше всех страдают от отсутствия свободы; они больше всех порабощены, но зато у них меньше тревог.

Землепашество способно примирить человека с общественным строем, каков бы он ни был; сельские работы прививают крестьянину терпение, он готов сносить все, что угодно, лишь бы его не лишали невинных деревенских радостей и не мешали ему заниматься делами, которые сообразуются с его природой.

Местность, по которой я ехал до сих пор, — болота да перелески, где, насколько хватает глаз, видны лишь карликовые березы да чахлые сосны, разбросанные по бесплодной равнине. Не видать ни тучных нив, ни дремучих щедрых лесов; взгляд встречает лишь скудные поля да убогие рощицы. Наибольшие выгоды здесь приносит скотоводство, однако местный скот хил и плох. Климат здесь угнетает животных, как деспотизм угнетает человека. Природа и общество словно бы объединили свои усилия, чтобы сделать жизнь как можно более трудной. Когда задумываешься о том, каковы исходные данные, послужившие для образования такого общества, то удивляешься только одному: каким образом народ, так жестоко обделенный природой, сумел так далеко уйти по пути цивилизации.

Неужели верно, что единомыслие и незыблемость устоев вознаграждают за самое бесстыдное угнетение? Что до меня, то я так не думаю, а если бы мне стали доказывать, что этот строй — единственный, при котором могла возникнуть и на котором зиждется Российская империя, я ответил бы простым вопросом: так ли важно для судеб рода человеческого, чтобы финские болота были заселены и чтобы несчастные люди, которых туда согнали, построили дивный город, поражающий взор, но в сущности являющийся не более чем подражанием городу западному? Укрепление мощи москвитян принесло цивилизованному миру

лишь страх нового вторжения да образец безжалостного и беспримерного деспотизма, подобные которому мы находим разве что в древней истории. И будь еще этот народ счастлив!.. Но ведь он первый пал жертвой честолюбия, которое питает гордыню его господ.

Я пишу вам из дома, который изяществом своим разительно отличается от 886
унылых домишек в окрестных деревнях; это разом почтовая станция и трактир, и здесь почти чисто. Дом похож на жилище какого-нибудь зажиточного помещика; подобные станции, хотя и менее ухоженные, чем в Померании, построены вдоль всей дороги на определенном расстоянии друг от друга и содержатся за счет правительства; стены и потолки здесь расписаны в итальянском стиле; первый этаж, состоящий из нескольких просторных комнат, напоминает французский провинциальный ресторан. Мебель обита кожей; стулья с плетеными сиденьями имеют опрятный вид; всюду стоят широкие диваны, на которых можно спать, но я по горькому опыту знаю, как опасно на них ложиться; я не решаюсь на них даже сидеть; в русских гостиницах, не исключая самых дорогих, деревянная мебель с мягкими подушками кишит клопами.

Я всюду вожу с собой кровать — шедевр русской промышленности. Если моя коляска еще раз поломается, у меня будет случай воспользоваться ею и порадоваться собственной предусмотрительности; но без нужды не стоит останавливаться по пути из Петербурга в Москву. Дорога красивая, но вокруг ничего примечательного; так что только необходимость может заставить путника выйти из кареты и прервать путешествие.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ ПИСЬМА

Едрово, между Великим Новгородом и Валдаем,
4 августа 1839 года

В России нет далеких расстояний — так говорят русские, а вслед за ними повторяют все путешественники-иностранцы. Я принял это утверждение на веру, но на собственном опыте убедился в обратном. В России — сплошь далекие расстояния: на этих голых равнинах, простирающихся покуда хватает глаз, нет ничего, кроме расстояний; два или три местечка, которые стоит посетить, расположены в сотнях лье друг от друга. Эти необъятные просторы — пустыни, лишенные живописных красот; почтовый тракт разрушает поэзию степей; остаются только бескрайние дали да унылая бесплодная земля. Все голо и бедно, но вовсе не похоже ни на землю, прославленную ее обитателями, опустошенную историей и ставшую поэтическим кладбищем народов — такую, как Греция или Иудея; не похоже это и на девственную природу; здешний пейзаж не отличается ни величием, ни мощью, он просто-напросто невзрачен; это равнина, местами засушливая, местами болотистая, и только два эти вида бесплодности разнообразят пейзаж. Редкие деревеньки, все более и более заброшенные по мере того, как удаляешься от Петербурга, не радуют, но лишь удручают взор. Дома в них не что

иное, как нагромождение бревен, впрочем довольно прочно скрепленных, с дощатой крышей, поверх которой на зиму иногда кладут слой соломы. В этих хибарках, наверно, тепло, но облик их наводит грусть: они похожи на солдатские времянки, только в солдатских времянках не так грязно.

Комнаты в этих хижинах смрадные, черные, душные. Кроватей нет: летом люди спят на лавках, стоящих вдоль стен, а зимой на печи либо на полу вокруг печи, таким образом русский крестьянин всю жизнь живет как на бивуаке. Слово «жительствовать» предполагает благоустройство, домашность, неведомые этому народу.

Проезжая через Великий Новгород,[1] я крепко спал и не видел ни одной из древних построек этого города, который долго был республикой и стал колыбелью Российской империи; если я вернусь в Германию через Вильну и Варшаву, я
886 не увижу ни Волхова, этой реки, в которой нашли свою смерть столько граждан беспокойной республики, не щадившей жизни своих детей, ни церкви Святой
886 Софии, с которой связана память о самых славных событиях русской истории до разграбления и окончательного порабощения Новгорода Иваном IV, предтечей всех современных тиранов.

886 Мне много рассказывали о Валдайских горах, которые русские пышно именуют московской Швейцарией. Я приближаюсь к Валдаю и уже в тридцати лье от города замечаю, что местность становится неровной, хотя и не холмистой, она изрезана неглубокими оврагами, где дорога проложена так, что подъемы и спуски не замедляют бега лошадей; меня по-прежнему везут очень быстро, но я по-прежнему теряю время на почтовых станциях: русские ямщики очень лениво запрягают лошадей.

Местные крестьяне носят шапку широкую, приплюснутую сверху, но плотно охватывающую голову: этот головной убор похож на гриб; иногда его украшает павлинье перо, заткнутое за повязку вокруг лба: если человек в шляпе, то перо прикреплено к обвивающей тулью ленте. Обувь их по большей части из
886 тростника, они сами плетут ее и привязывают к ногам веревками, заменяющими шнурки. Такой обувью приятнее любоваться на античных статуях, нежели видеть ее в обыденной жизни. Античные изваяния доказывают нам, что этот вид обуви существовал еще в глубокой древности.

Крестьянок по-прежнему мало:[2] на десяток мужчин встречается одна женщина; платье их обличает полное отсутствие кокетства: это подобие длинного, до полу, и очень широкого пеньюара с глухим воротом. Такой балахон, застегнутый впереди на ряд пуговиц, полностью скрывает фигуру; костюм крестьянок довершает длинный передник, держащийся на двух скрепленных за плечами бретелях, уродливых и похожих на лямки заплечного ранца. Почти все ходят босиком; лишь у самых зажиточных на ногах грубые сапоги, которые я уже

[1] Описание того, что осталось от этого знаменитого города, см. в главе «Изложение дальнейшего пути», написанной по возвращении из Москвы.

[2] Прошло немногим более ста лет с тех пор, как русские женщины перестали жить **замкнуто.**

описывал. Они повязывают голову ситцевой косынкой или полотняным платком. Национальный головной убор русские женщины надевают лишь по праздникам: нынче его носят еще и придворные дамы: это своего рода кивер, открытый сверху, вернее, высокая диадема, охватывающая голову. Она украшена каменьями у знатных дам и золотым и серебряным шитьем у крестьянок. Этот венец не лишен благородства и не похож ни на один головной убор в мире — если он что и напоминает, то башню Кибелы.

Но не только крестьянки ходят неприбранными. Я видел русских *дам,* которые путешествуют в самом неприглядном виде. Сегодня, остановившись на почтовой станции, чтобы пообедать, я встретил целое семейство, с которым недавно свел знакомство в Петербурге, где оно живет в роскошном дворце из тех, что русские с гордостью показывают иностранцам. Там эти дамы блистали нарядами, сшитыми по последней парижской моде. Но в гостинице, где они нагнали меня из-за новых неприятностей, постигших мою коляску, я увидел совершенно других людей; с ними произошла столь разительная перемена, что я едва их узнал; феи обернулись ведьмами. Вообразите себе юных особ, которых вы видели прежде в свете и которые вдруг явились вашему взору в костюме Золушек, хуже того, в мятых полотняных косынках сомнительной белизны, без шляп и чепцов, в перепачканных платьях, с замусоленными, похожими на тряпки платками на шее, в старых, стоптанных башмаках: так и кажется, будто вы оказались во власти злых чар.

Ужаснее всего было то, что путешественниц сопровождала многочисленная прислуга. Эта челядь, мужчины и женщины, выряженные в старье и рванье, еще более мерзкое, чем у хозяек, сновали туда-сюда, производили адский шум и довершали сходство происходящего с шабашем. Они орали, бегали в разные стороны; они пили, ели, они поглощали припасы с жадностью, которая отбила бы аппетит у самого голодного человека. Однако эти дамы не преминули громко посетовать на то, что на почтовой станции грязновато, словно у них было право замечать чье-то нерадение; мне показалось, я попал в цыганский табор, с той лишь разницей, что цыганки не столь взыскательны.

Я человек неприхотливый в путешествиях, чем горжусь, и я нахожу, что на почтовых станциях, поставленных правительством, то есть императором, на этой дороге, довольно удобств: там пристойно кормят; там можно даже спать, если обходиться без кровати: как вы помните, этот кочевой народ знает только ковер да баранью шкуру либо просто циновку, брошенную на лавку в палатке, деревянной ли, оштукатуренной или полотняной: славянские народы до сих пор живут, как на бивуаке, они еще не усвоили, что для сна нужна особая мебель; европейская кровать кончается на Одере.

Порой на озерцах, которыми усеяно гигантское болото, именуемое Россией, виднеется город, то есть нагромождение серых деревянных домиков, которые отражаются в воде и выглядят довольно живописно. Я проехал через два или три таких человеческих улья, но запомнил только город Зимогорье. Эта довольно круто поднимающаяся в гору улица, вдоль которой стоят деревянные дома, тянется на целое лье, а незабываемой ее делает открывающийся оттуда вид на

ин7 романтический монастырь на другой стороне одноименного озерца; белые башни монастыря живописно вырисовываются над еловым бором, который показался мне более высоким и густым, чем все, какие я до сих пор встречал в России. Когда думаешь, сколько древесины потребляют русские, ради того ли, чтобы построить дома, ради того ли, чтобы их обогреть, то удивляешься, как они еще не свели все леса.

Все леса, какие я видел здесь доселе, лишены деревьев. Их называют лесом, но на самом деле это заросли кустарника, топкие и сирые, над которыми кое-где возвышаются неказистые сосны да редкие березы, чья чахлая поросль только мешает обрабатывать землю.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ ПИСЬМА

Торжок, 5 августа 1839 года

На равнинах не видно вдаль, потому что всегда что-нибудь мешает; куст, урочище, дворец скрывают от глаз просторы вместе с завершающей их линией горизонта. Впрочем, ни один пейзаж здесь не запечатлевается в памяти, ни один ландшафт не привлекает взора; никаких живописных очертаний, ровные участки редки, лишены разнообразия, ничем не пересекаются, поэтому они все совершенно одинаковы; чтобы придать очарование открытой местности, нужны хотя бы яркие краски южного неба, но они отсутствуют в этой полосе России, где природы, можно сказать, нету вовсе.

То, что называют Валдайскими горами, — цепь холмов, таких же унылых, как торфяники Новгорода.

Город Торжок славится своими кожевенными фабриками; здесь изготовляют красивые, хорошо выделанные сапоги, расшитые золотом и серебром туфли, отраду всех европейских щеголей, особенно тех, кто любит диковинки, привезенные издалека. Путешественники, которые проезжают через Торжок, платят за кожаные изделия, сделанные в этом городе, гораздо дороже, чем в Петербурге или Москве.

Красивый сафьян, русская душистая кожа, производится в Казани, и, по слухам, ее можно дешево купить на ярмарке в Нижнем, выбрав в груде кож то, что нравится.

887 Торжок имеет еще одно, как нынче говорят, фирменное изделие — куриные котлеты. Когда император однажды остановился в Торжке в маленькой харчевне, ему подали на удивленье вкусные куриные котлеты. И торжокские котлеты сразу прославились на всю Россию. Вот история их происхождения.[1] Одна местная трактирщица радушно приняла и сытно накормила несчастного француза.

[1] Нет ничего, что российский император не мог бы ввести в моду в своей стране;
879 в Милане, наоборот, если вице-король покровительствует актеру, дело плохо: того безжалостно освистывают.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Перед отъездом он сказал ей: «Заплатить мне нечем, но я помогу вам разбогатеть» — и научил ее стряпать куриные котлеты. Благосклонной судьбе было угодно, чтобы император первым отведал блюдо, приготовленное по новому рецепту. Трактирщица из Торжка уже умерла, но заведение ее, перейдя к детям, пользуется прежней славой.

Когда Торжок неожиданно встает перед взором путешественника, едущего из Петербурга, он производит впечатление лагеря, разбитого посреди пшеничного поля. Его белые дома, башни, особняки напоминают восточные минареты. Видны позолоченные шпицы куполов, самые разные колокольни: круглые и квадратные, высокие и низкие, все зеленого или синего цвета; некоторые украшены маленькими колоннами; одним словом, этот город — предвестник Москвы. Вокруг него раскинулись поля, засеянные рожью; эта картина мне гораздо милее, нежели вид увечных лесов, которые уже два дня удручают мой взор: возделанная почва хотя бы приносит плоды: земля может не иметь живописных красот, если она щедра; но бесплодная земля, не обладающая величием пустыни, — самое тоскливое зрелище для путешественника.

Я забыл упомянуть об одной довольно странной вещи, поразившей меня в начале пути.

Между Петербургом и Новгородом я заметил еще одну дорогу, идущую параллельно главной на небольшом расстоянии от нее. 888 На этой проселочной дороге есть заставы, ограды, деревянные мосты, чтобы переправляться через речки и болота; одним словом, здесь есть все, что нужно, хотя она не такая красивая и гораздо более ухабистая, чем почтовый тракт. Доехав до станции, я приказал спросить у смотрителя, в чем тут дело; мой фельдъегерь перевел мне объяснение этого человека; вот оно: запасная дорога предназначена для ломовых извозчиков, скота и путешественников в те дни, когда император или члены императорской фамилии едут в Москву. Это разделение позволяет избежать пыли и заторов, которые причинили бы неудобства и задержали августейших путешественников, если бы тракт во время их поездки оставался доступен для простых смертных. Не знаю, не посмеялся ли надо мной смотритель, но он говорил с весьма серьезным видом и, как мне показалось, считал совершенно естественным, что в стране, где государь — это все, царь имеет в своем распоряжении целую дорогу. Король, который говорил «Франция — это я», останавливался, чтобы пропустить стадо овец, 888 и во времена его правления любой путник, пеший или конный, любой крестьянин, шедший по дороге, повторял принцам крови, которых встречал по пути, нашу старую поговорку: «Дорога принадлежит всем»; важны не столько сами законы, сколько способы их применения.

Во Франции нравы и обычаи всегда смягчали политические установления; в России они, наоборот, ужесточают их, и это приводит к тому, что следствия становятся еще хуже, чем самые принципы.

Впрочем, должен сказать, что двойная дорога доходит только до Новгорода; вероятно, власти решили, что существование двух дорог создаст сильную давку на подступах к столице, а быть может, сочли, что вторая дорога вообще не нужна, и не стали ее достраивать.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Надо признать, что при любви русских к быстрой езде стада коров, которые вы поминутно встречаете на тракте, равно как и длинные обозы, управляемые одним возчиком, могут стать причиной серьезных и частых несчастных случаев. Так что здесь двойная дорога, быть может, нужнее, чем в другом месте: но зачем дожидаться, чтобы опасность угрожала жизни императора либо членов императорской фамилии; не лучше ли устранить ее загодя? Такая непредусмотрительность противоречит духу Петра Великого, который, нанимая дрожки, брал у петербургских купцов деньги в долг, чтобы расплатиться с кучером; однако, узнав, что один из его парков хотят закрыть для публики, он воскликнул: «Вы что же
888 думаете, я потратил столько денег ради себя одного?»

Прощайте; если мое путешествие продолжится благополучно, мое следующее письмо будет из Москвы. Каждое свое послание я складываю без адреса и прячу как можно надежнее. Но все мои предосторожности окажутся тщетными, если меня арестуют и обыщут мою коляску.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Госпожа графиня ОДоннелл. — Юные ямщики. — Их манера править лошадьми. — Лошади мчатся как вихрь. — Воспоминания о древнем цирке. — Пиндар. — Поэтическая езда. — Чудесная ловкость. —Дороги, запруженные ломовыми извозчиками. — Одноконные повозки. — Природная грация русского народа. — Его умение придавать изящество окружающим предметам. — Особый интерес России для людей мыслящих. — Женский костюм. — Купчихи из Торжка. — Их наряд. — Качели. — Тихие забавы. — Смелость русских. — Красота крестьянок. — Красивые старцы. — Безупречная красота. — Русские хижины. — Крестьянские лавки. — Сельские бивуаки. — Наклонность к воровству. — Учтивость, набожность. — Народная пословица. —Мой фельдъегерь обсчитывает ямщиков. — Речи знатной дамы. — Несходство духа, царящего в великосветских салонах во Франции и в России. — Статс-дамы. — Дипломатия, двойная игра женщин в политике. — Беседы русских дам. — Отсутствие у крестьян нравственного чувства. — Ответ работника своему хозяину. — Счастье русских рабов. — Что следует об этом думать. — Что делает человека членом общества. — Поэтическая истина. — Следствия деспотизма. — Права путешественника. — Относительность добродетелей и пороков. — Отношения между Церковью и главой государства. — Отмена патриаршества в Москве. — Цитата из «Истории России» господина Левека. — Рабский дух русской церкви. — Основное различие между национальными вероисповеданиями и мировой Церковью. — Евангелие — орудие переворота в России. — История жеребенка. — На чем зиждутся добродетели. — Ответственность за преступления: в древности она внушала больше страха, чем нынче. — Грезы наяву. — Волга. — Воспоминание о русской истории. — Сравнение Испании и России. — Пагубное воздействие северной росы.

ГОСПОЖЕ ГРАФИНЕ О'ДОННЕЛЛ [1] 889

Клин, маленький городок
в нескольких десятках лье от Москвы
6 августа 1839 года 889

Опять остановка и опять по той же причине! Моя коляска ломается каждые двадцать лье. Положительно, русский офицер из Померании был литейщик!..

[1] Милан, 1 января 1842 г.

Прошло меньше трех лет с того дня, когда было написано это письмо, а госпожи графини О'Доннелл, к которой оно обращено, уже нет в живых; едва дойдя до середины

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Бывают минуты, когда, несмотря на мои требования и повторение слова
889 «тише», у меня захватывает дух от быстрой езды; видя, что настояния мои бесполезны, я молчу и закрываю глаза, чтобы избежать головокружения. Впрочем, среди стольких ямщиков я не встретил ни одного увальня, а некоторые были просто на удивление ловкими. Неаполитанцы и русские — лучшие кучера в мире; самые проворные из них — старики и дети; особенно меня поражают дети. В первый раз, когда я увидел, как мою коляску и мою жизнь доверяют десятилетнему мальчишке, я восстал против такой неосторожности; но мой фельдъегерь стал уверять меня, что в этом нет ничего страшного, и поскольку он подвергался такой же опасности, как и я, мне ничего не оставалось, как поверить ему на слово; итак, четверка лошадей, чей горячий норов и гордый вид отнюдь не успокаивали меня, поскакала галопом. Мальчишка, обладающий большим опытом, не пытался их остановить, напротив, чтобы лошади не понесли, он пустил их во весь

земного пути, она внезапно заболела и покинула нас, не успев приуготовить родных и друзей к горькой утрате.

Мы так надеялись, что когда-нибудь она будет искусно и заботливо утешать нас в горестях, которые старость неизбежно приносит с собой! Неужели мы заслужили эту печальную участь — видеть, как молодая, любимая, окруженная друзьями, она раньше нас сходит по склону, по которому однажды сойдем и мы, старые, никому не нужные, на каждом шагу сожалея об отсутствии поддержки, которую сулили нам ее великодушное сердце и пленительный ум?

Увы, впредь я не рискую скомпрометировать ее, обращаясь к ней в своих письмах и излагая ей мои суждения об удивительной стране, которую я описываю, ведь имя ее укры-
889 вает могильная сень. Поэтому в моих письмах из России будет упомянуто только это имя.

Оно принадлежало одной из самых любезных, самых остроумных женщин, каких я знал; в то же время она была особой, в высшей степени достойной подлинной дружбы, и сама была в высшей степени верным другом. Она умела разом решительно направлять и ненавязчиво скрашивать жизнь своих друзей; твердый разум подсказывал ей самые мудрые советы, сердце подсказывало самые благородные, самые смелые решения, а ее жизнерадостный ум облегчал существование людей самых несчастных; смеясь над настоящим, невозможно предаваться отчаянию при мысли о будущем.

У нее был серьезный нрав, живой, острый ум, отличающийся быстротой и независимостью суждений; ум, полный энергии, ошеломительный, как обстоятельства, вызывающие его остроты; ум, неизменно отзывчивый и умеющий в случае нужды встать на защиту оскорбленного.

Она видела людей насквозь, но, будучи противницей всякого притворства, снисходила к слабости; она с разбором пользовалась оружием, которое давала ей в руки природная проницательность; справедливая даже в шутках, беспристрастная даже в запальчивости, она высмеивала лишь те недостатки, от которых можно избавиться; одаренная здравым смыслом и притом лишенная всякой педантичности, она излечивала людей от заблуждений с незаметным и потому особенно действенным мастерством; если бы не искреннее чувство, которое руководило ею в этом благодетельном труде, ее чутье, ее непогрешимый вкус можно было принять за искусство — так ловко удавалось ей исправлять мелкие недостатки и даже большие изъяны, никого не обижая. Но искусство это проистекало от доброты. Проницательность неизменно служила ей для того, чтобы исполнять желания ее благородного сердца.

опор, и коляска мчалась как вихрь. Эта хитрость, более сообразующаяся с темпераментом животных, нежели с темпераментом седоков, длилась весь перегон; но пробежав версту, лошади устали, и роли переменились: теперь уже ямщик все нетерпеливее погонял измученных лошадей; едва лошади пытались замедлить бег, человек хлестал их, покуда они не начинали бежать так же быстро, как прежде; благодаря соперничеству, которое легко возникает между четырьмя резвыми лошадьми, бегущими рядом, мы мчались с бешеной скоростью до конца перегона. Каждая лошадь стремилась обогнать трех других и готова была бороться не на жизнь, а на смерть. Оценив норов этой породы лошадей и видя, какую пользу извлекают из этого люди, я скоро понял, что слово «тише», которое я так старательно учился произносить, в этом путешествии ни к чему, и если я буду упорно добиваться того, чтобы лошади бежали не так резво, как они привыкли, может произойти несчастный случай. У русских есть дар, даже талант равновесия; люди

Когда она считала своим долгом наставить друга на путь истинный, она высказывала суровую правду, не оскорбляя самолюбия, ибо прямота ее была доказательством участия, а что могло быть более лестно, чем заслужить ее участие, ведь душа ее была слишком возвышенна, чтобы не быть независимой; не сообразуясь с чужим мнением в своих привязанностях, она не любила слепо, ибо обладала на редкость трезвым умом — достоинство, без которого все прочие ничего не стоят.

Явные свойства ее характера были приятными, потаенные — привлекательными; ей всегда было присуще желание творить добро, но обыкновенно она признавалась лишь в желании развлекать и нравиться.

Чем меньше старалась госпожа О'Доннелл произвести впечатление, тем больше простодушия, изысканности, непринужденности было в ее поведении; она любила расточать свой ум, как богач — золото. Она говорила, что ее больше радует чужой талант, ибо ее собственный талант заключается лишь в умении ценить талант других.

Жизнь в отчем доме являла ей множество примеров и давала массу возможностей для развития врожденной способности искренне радоваться чужим произведениям (госпожа О'Доннелл была дочерью госпожи Софи Гэ и сестрой госпожи Дельфины де Жирарден), способности, которую она сумела обратить впоследствии на пользу всем своим друзьям.

Однако было бы ошибкой полностью доверять ее природной скромности: ум, столь щедрый на тонкие замечания, на оригинальные и живописные выражения, блестящий из блестящих, сметливый, как сказал бы Монтень, равноценен таланту: это ум, рожденный парижской светской беседой золотого века, но призванный судить нашу эпоху, которую г-жа О'Доннелл понимала как философ и отражала как зеркало. Столько различных достоинств, такой твердый характер, такая доброта сердца, такая гибкость ума, такое счастливое сочетание разума и веселости относило ее к тому типу французских женщин, которые благодаря своей энергии, скрытой под прелестью, секретом которой владеют они одни, становятся либо обольстительными кокетками, либо героинями — смотря в какие времена им доведется жить. Революции испытывают сердца и обнаруживают скрытые в них добродетели. 889

Любезная от природы, г-жа О'Доннелл больше радовалась добру, которое творила сама, чем услугам, которые оказывали ей, и притом — редкий дар! — она подняла дружбу на такую высоту, что научилась не только давать, но и брать; значит, чувство ее достигло совершенства.



и кони не удержали бы равновесия при мелкой рыси; их манера ездить была бы для меня приятным развлечением, будь моя коляска прочнее; но на каждом повороте мне кажется, что наш экипаж, того гляди, развалится на части, и опасения мои имеют под собою немало оснований, ибо коляска постоянно ломается. Без камердинера итальянца, который служит мне каретником и плотником, мы бы уже давно застряли где-нибудь в глуши; и все же я не устаю восхищаться беспечным видом, с каким наши ямщики вскакивают на козлы. Они садятся боком, с прирожденной грацией, гораздо более пленительной, чем заученная элегантность вышколенных кучеров. Когда дорога идет под уклон, они вдруг вскакивают на ноги и правят стоя, слегка нагнувшись, вытянув руки вперед и натянув все восемь вожжей. В этой позе античного барельефа они похожи на цирковых наездников. Кони рассекают воздух, клубы пыли, словно брызги бушующих волн,

---

Наблюдавшая вблизи и издали за своими друзьями, но никогда не докучавшая им просьбами; неизменно строгая к себе и снисходительная к другим; смирившаяся с их **несовершенствами как с неизбежностью, старательно облекавшая, в противоположность** женщинам заурядным, глубокую мудрость в форму легкой болтовни, она видела людей в их истинном свете, а события с их лучшей стороны. Те, кто был с ней знаком, не хуже меня знают, сколько философской глубины и смелости было в ее манере просто и быстро подчиняться обстоятельствам, сколько милосердия, возвышенности, проникновения было в ее суждениях о нравах.

Не обольщаясь относительно близких людей, она любила их вопреки их недостаткам, которые пыталась скрыть только от глаз света, она любила их в пору успехов и **в пору невзгод, ибо была чужда зависти и—достоинство еще более редкое и прекрасное —** умела в то же время удержаться от всякого показного благодушия.

Ее поведение с друзьями, которых постигло несчастье, казалось плодом не столько строгих правил, диктуемых добродетелью, сколько тихого вдохновения; ничто в ней **не обличало принужденность, все имело прелесть естественности: мать, дочь, сестра, подруга — она тратила жизнь единственно на то, чтобы делать добро дорогим ей людям, и не** только не кичилась своей преданностью, но была последней, кто отдавал себе отчет в собственных жертвах; она не требовала похвал, и за это ее ценили; наконец, ей прощали **то, что ненавидели в других: ревность; она была ревнива... но ревновала только к привязанностям** и никогда — к выгодам, ибо в ней не было корысти; ее ревность — тревожное **чувство, чуждое взыскательности и тщеславия, — обезоруживала самые гордые сердца** и не возмущала их, но наполняла нежностью; зависть внушает презрение, ревность, подобная той, какую испытывала г-жа О'Доннелл, заслуживает сострадания.

Вот какова была женщина, которой я писал это письмо по дороге в Москву; если бы **в те поры кто-нибудь сказал мне, что, прежде чем его опубликовать, мне придется сопроводить** его таким грустным примечанием, то омрачил бы мне весь остаток пути.

Все так любили ее, она была так полна жизни, что невозможно поверить в ее смерть, даже оплакивая ее. Она продолжает жить в нашей памяти; всякая наша радость, всякое наше горе воскрешают ее в нашем воображении, и отныне мы будем постоянно обращаться к ней в мыслях, продлевая ее жизнь, которая не должна была угаснуть так рано.

Словом «мы» я обозначаю здесь не одного себя, я говорю от имени всех, кто ее знал и любил, что в сущности одно и то же, ибо все, кто ее близко знал, очень любили ее, от имени ее семьи, особенно матери, которая на нее похожа, и я уверен, что, хотя все эти люди сейчас далеко, они разделяют мои чувства.

вздымаемые кораблем, прочерчивают путь коней, которые летят, почти не касаясь земли. Тогда благодаря английским рессорам кузов коляски качает, как лодку, унесенную свирепым ветром, чью силу смиряет встречное течение; кажется, будто столкновение стихий вот-вот разрушит колесницу, и все же она мчится вперед; кажется, будто ты перечитываешь Пиндара, кажется, будто видишь сон, 889
ибо принято считать, что столь молниеносная быстрота возможна лишь в воображении; устанавливается некое согласие между волей человека и разумом животного. От этого согласия зависит жизнь всех; экипаж мчится вперед не только благодаря механическому импульсу, но благодаря обмену мыслями и чувствами между кучером и конями; тут действует некая животная магия, подлинный магнетизм. Местная манера править лошадьми кажется мне поистине чудесной. Удивление путешественника еще больше возрастает, когда возница резко останавливает либо поворачивает в нужную сторону четверку лошадей, которыми правит как одной лошадью, и животные слушаются его, словно по волшебству. По мановению его руки лошади бегут то бок о бок — тогда четверка лошадей занимает места не больше, чем парная упряжка, то так широко, что занимают половину тракта. Это игра, это война, которая все время держит в напряжении ум и чувства. Что касается цивилизации, в России все незакончено, потому что все ново; на самой прекрасной дороге в мире всегда что-нибудь недоделано; вам на каждом шагу приходится сворачивать с тракта, который чинят, и ехать по перекидному или временному мостику; тогда ямщик на всем скаку поворачивает квадригу и направляет ее в сторону крупным галопом, как ловкий наездник — верхового коня. Но даже если нет нужды съезжать с тракта, экипаж никогда не движется по нему прямо, ибо почти все время приходится ловко и быстро лавировать между множеством повозок, запрудивших дорогу, потому что по крайней мере десятком из этих телег правит один ломовой извозчик, и этот единственный человек не в силах удержать на одной линии столько повозок, каждую из которых везет норовистая лошадь. Независимость в России — привилегия животных.

Итак, дорога обязательно загромождена повозками, и если бы не сноровка русских ямщиков, умеющих пробираться в этом движущемся лабиринте, почтовым лошадям пришлось бы плестись вслед за ломовиками, то есть шагом. Эти повозки похожи на большие бочки, разрезанные пополам вдоль и положенные на продольные брусья, скрепленные осями; это своего рода утлые суденышки, отчасти напоминающие наши повозки из Франш-Конте, но только своей легкостью, ибо устройство повозок и манера запрягать в России другие. На них возят съестные припасы, которые не отправляют по воде. В повозку впряжена одна небольшая лошадка, которая везет столько клади, сколько ей по силам; это доблестное напористое животное тащит немного, но зато энергично и долго, идет напролом и не останавливается, покуда не упадет; поэтому жизнь его столь же коротка, сколь и самоотверженна; двенадцатилетняя лошадь в России — редкость.

Нет ничего более своеобразного, более непохожего на все, что я видел в других местах, чем повозки, люди и животные, которые встречаются на дорогах этой страны. Русский народ наделен природным изяществом, грацией, благодаря которой все, что он делает, все, к чему прикасается или что надевает на себя,

приобретает неведомо для него и вопреки ему живописный вид. Если людей менее тонкой породы поселить в русских домах, нарядить в русское платье и заставить пользоваться русской утварью, то все эти предметы покажутся просто уродливыми; здесь они представляются мне странными, диковинными, но примечательными и достойными описания. Если обрядить русских в платье парижских рабочих, то платье это станет радовать взор; впрочем, русские никогда не придумали бы одежду, настолько лишенную вкуса. Жизнь этого народа занятна — если не для него самого, то по крайней мере для наблюдателя; изобретательный ум человека сумел победить климат и преодолеть все преграды, которые природа воздвигла в пустыне, начисто лишенной поэзии, дабы сделать ее непригодной для общественной жизни. Противоположность слепого повиновения крепостного народа в политике и решительной и последовательной борьбы того же самого народа против тирании пагубного климата, его дикое непокорство перед лицом природы, всякий миг проглядывающее из-под ярма деспотизма, — неиссякаемые источники занимательных картин и серьезных размышлений. Чтобы дать полное представление о России, потребовалось бы соединить талант Ораса
889 Берне и Монтескье.

Никогда еще я так не жалел, что я плохой рисовальщик. Россия хуже известна, чем Индия, ее меньше описывали и реже рисовали: и все же она не менее любопытна, чем Азия, прежде всего в отношении истории, но даже и в отношении искусства и поэзии.

Для всякого ума, всерьез занятого идеями, зреющими в мире политики, очень полезно близкое знакомство с этим обществом, управляемым в основном в духе государств, которые раньше всех вошли в анналы истории, но при этом уже насквозь пронизанным идеями, которые зреют в уме самых революционно настроенных современных народов... Патриархальная тирания азиатских правителей в соединении с теориями современной филантропии, нравы народов Востока и Запада, несовместимые по своей природе и притом нераздельно слившиеся друг с другом в полуварварском обществе, где порядок держится на страхе, — это зрелище можно увидеть лишь в России; и, конечно, никакой мыслящий человек не пожалеет о том, что проделал трудный путь и приехал в эту страну посмотреть на все своими глазами.

Общественное, умственное и политическое положение России в настоящий момент — результат и, так сказать, резюме царствования Ивана IV, которого сами русские прозвали Грозным, Петра I, которого люди, кичащиеся своим подражанием Европе, прозвали Великим, и Екатерины И, которую народ, мечтающий о мировом господстве и заискивающий перед нами в ожидании, пока он сможет нас завоевать, обожествляет; таково опасное наследство, доставшееся императору Николаю I... Одному Богу ведомо, как он им распорядится!.. Это узнают наши внуки, ибо в событиях нашей жизни грядущие поколения будут так же сведущи, как нынче Провидение.

Мне по-прежнему время от времени встречались довольно красивые крестьянки; но я не устаю сокрушаться об уродливом покрое их платья. Этот нелепый наряд не дает представления о свойственном русским чувстве изящного.

ПИСЬМОДВАДЦАТЬЧЕТВЕРТОЕ

Он испортил бы, мне кажется, самую совершенную красоту. Вообразите себе подобие пеньюара без пояса, бесформенный мешок вместо платья, присборенный прямо под мышками: я думаю, это единственные женщины в мире, которым взбрело в голову сделать талию над грудью, а не под нею, нарушая обычай, подсказанный природой и принятый всеми другими женщинами; это издержки нашей моды времен Директории: не то чтобы русские женщины подражали француженкам из Ганноверского павильона, которых Давид и его ученики нарядили в греческие одежды; но, сами того не подозревая, они являют собой карикатуры на античные статуи, которые прогуливались по парижским бульварам после эпохи Террора. У русских крестьянок получается талия, которую даже нельзя назвать талией, ведь она, как я вам уже сказал, до того завышена, что проходит над грудью. В результате женщина напоминает большой тюк, и невозможно понять, где какая часть тела, вдобавок этот наряд стесняет движения. Но он имеет еще и другие неудобства, которые довольно трудно описать; одно из самых серьезных, несомненно, то, что русской крестьянке, верно, приходится спускать платье с плеча, чтобы дать ребенку грудь, как готтентоткам. Таково неизбежное уродство, произведенное модой, которая не сообразуется с грацией тела; черкешенки лучше понимают женскую красоту и умеют сохранить ее; они с юных лет носят пояс на талии и никогда с ним не расстаются. 889 890

Я заметил в Торжке новшество в женском туалете; мне кажется, о нем стоит упомянуть. Мещанки носят здесь короткую накидку, нечто вроде присборенной пелерины, которую я нигде больше не встречал: воротник ее отличается тем, что спереди он глухой, а сзади имеет вырез, открывающий шею и часть спины, причем углы его оказываются где-то между лопаток; это прямая противоположность обычным воротничкам, концы которых расположены спереди. Представьте себе черную бархатную, шелковую или суконную оборку шириной восемь — десять дюймов, которая прикреплена к платью под лопаткой, идет вдоль горловины, укрывая человека, как короткая мантия епископа, и пристегивается к платью у другой лопатки, причем края этой своеобразной занавески не соединяются и не перекрещиваются за спиной. Это не столько красиво или удобно, сколько необычно; но для стороннего наблюдателя довольно и того; в путешествии мы ищем доказательств, что находимся очень далеко от дома, а русские никак не хотят этого понять. Тяга к подражанию в них так сильна, что они простодушно обижаются, когда слышат, что их страна не похожа ни на какую другую: своеобычность, которая кажется нам достоинством, представляется им пережитком варварства; они воображают себе, что, не поленившись приехать на край света, чтобы посмотреть на них, мы должны безмерно обрадоваться, найдя за тридевять земель от дома дурное подражание тому, что мы покинули из любви к переменам. 890

Любимое развлечение русских крестьян — качели; это сооружение развивает чувство равновесия, присущее жителям этой страны. Примите в рассуждение, что занятие это тихое и спокойное — такие развлечения под стать народу, в котором страх воспитал осторожность.

Во время всех праздников в русской деревне стоит тишина. Крестьяне много пьют, мало говорят и еще меньше кричат: они молчат либо поют хором гнусавыми

голосами грустные песни, высокие ноты которых сливаются в негромкие, но изысканные аккорды. Русские народные песни заунывны; удивило меня то, что почти всем этим мелодиям не хватает простоты.

Если мне случалось проезжать через многолюдные деревни в воскресенье, я видел, как несколько девушек, обычно от четырех до восьми, тихонько раскачивались на досках, подвешенных на веревках, а в нескольких шагах от них, повернувшись к ним лицом, раскачивалось столько же юношей; их немая игра продолжается долго, у меня никогда не хватало терпения дождаться конца. Это тихое покачивание — своего рода передышка, отдых между настоящим, сильным раскачиванием на качелях. Это очень мощное, даже пугающее зрелище. К высоким столбам четырьмя веревками привязана доска, она висит в двух футах от земли, на концах ее помещаются два человека; эта доска и четыре поддерживающих ее столба расположены так, что качаться можно как угодно: в длину или в ширину

Когда на качелях раскачиваются всерьез, на них, сколь я мог заметить, не бывает больше двух человек разом; эти два человека — мужчина и женщина, двое мужчин либо две женщины — всегда стоят на ногах один на одном краю доски, другой — на другом и изо всех сил держатся за веревки, на которых она подвешена, чтобы не потерять равновесие. В этой позе они взлетают на страшную высоту, и при каждом взлете наступает момент* когда качели, кажется, вот-вот перевернутся, и тогда люди сорвутся и упадут на землю с высоты тридцати или сорока футов; ибо я видел столбы, которые были, я думаю, вышиной добрых двадцать футов. Русские, обладающие стройным станом и гибкой талией, на удивление легко сохраняют равновесие: это упражнение требует недюжинной смелости, а также грации и ловкости.

Я несколько раз останавливался в деревнях, чтобы посмотреть, как состязаются юноши и девушки, и наконец встретил несколько женщин, восхитивших меня своей совершенной красотой. У них нежные, белые лица; румянец, так сказать, просвечивает сквозь чрезвычайно тонкую и прозрачную кожу. У них ослепительно белые зубы и — большая редкость! — идеально правильной формы рот, изящно очерченные, как у античных статуй, губы; глаза у них чаще всего голубые, но раскосые; они слегка навыкате и выражают лукавство и врожденную непоседливость, свойственные славянам, которые обычно хорошо видят то, что находится сбоку и даже за спиной, не поворачивая головы. Все это полно очарования; но то ли по прихоти природы, то ли из-за наряда все эти достоинства у женщин заметны реже, чем у мужчин. На сотню крестьянок лишь одна хорошенькая, меж тем как среди мужчин многие могут похвастать красиво вылепленной головой и правильными чертами лица. Мне встречались старики с розовыми щеками, большой лысиной, обрамленной серебристыми волосами, и длинной шелковистой седой бородой. Глядя на эти прекрасные лица, думаешь, что время придает им величие в награду за утраченную юность; их головы достойнее кисти живописца, чем те, что я видел на полотнах Рубенса, Риберы или Тициана; но я не встретил ни одной старухи, с которой бы стоило писать портрет.

Порой случается, что правильный греческий профиль сочетается с чертами столь тонкими, что их совершенство не лишает лицо выразительности; тогда

столбенеешь от восхищения. Однако и в мужских и в женских лицах преобладает калмыцкий тип: выдающиеся скулы и приплюснутый нос. Женщины большие домоседки, чем в Западной Европе; живут они замкнуто, их нечасто встретишь на улице, разве что в воскресенье да в дни ярмарок; но даже и тогда они выходят из дому реже, чем их мужья. Русские плотнее закрывают свои хижины, чем наши крестьяне, поэтому путник, которого любопытство завело туда, горько раскаивается: такие там зловоние и темнота.

Я не раз заходил в эти душные лачуги в час, когда крестьяне отдыхают; кроватей там нет: мужчины и женщины спят вповалку на деревянных лавках, стоящих вдоль стен; но грязь, царящая на этом бивуаке, неизменно пугала меня, и я отступал; однако вместо того, чтобы уйти тотчас же, я всякий раз мешкал, и в наказание за свою нескромность непременно уносил в складках одежды какую-нибудь живность на память.

Лето здесь короткое, но жаркое, и чтобы спастись от зноя, иные крестьяне устраивают подле своих лачуг как бы комнату на свежем воздухе — широкий крытый балкон без боковых стен; эта своего рода терраса окружает дом, и его обитатели спят здесь, иногда прямо на голой земле. Все в этой стране напоминает Восток.

На всех почтовых станциях, где мне пришлось ночевать, я встречал черные овечьи шкуры, лежащие на улице вдоль домов. Эти шкуры, которые я принимал за брошенные на землю бурдюки, были люди, — они спали под открытым небом, чтобы насладиться прохладой. Нынешним летом в России стояла такая жара, какой здесь не бывало с незапамятных времен.

Тулупы из овечьих шкур служат русским крестьянам не только одеждой, но и постелью, коврами и палатками. Работники, которые, пока стоит дневная жара, спят посреди поля, снимают свое одеяние и делают себе из него живописный навес, чтобы защититься от солнечных лучей: с изобретательностью и сноровкой, которая отличает их от жителей Западной Европы, они продевают оглобли своей повозки в рукава шубы, а затем поворачивают эту подвижную крышу против солнца, чтобы сделать себе навес и спокойно спать в тени. Шуба эта очень теплая и весьма изящного покроя; она выглядела бы красиво, если бы не была всегда старой и засаленной; бедные крестьяне не могут часто покупать себе новое платье, это слишком дорого; они изнашивают одежду до дыр.

Русский крестьянин предприимчив, он умеет найти выход из любого положения; он никогда не выходит из дому без топора — это небольшое железное орудие в умелых руках жителя страны, где еще есть леса, может творить чудеса. Если вы заблудились в лесу и при вас есть русский слуга, он в несколько часов построит хижину, где можно переночевать, причем с большим удобством и уж наверняка в большей чистоте, чем в старой деревне. Но если у вас есть кожаные изделия, берегите их: ловкость присуща русским во всем, в том числе и в воровстве, так что поясам, кожаному фартуку коляски, ремням ваших чемоданов грозит опасность, — впрочем, привычка брать все, что плохо лежит, не мешает тем же самым людям быть очень набожными. 904

Не было ни одного перегона, когда бы мой ямщик не перекрестился раз двадцать при виде каждой, даже самой маленькой часовенки; затем, так же исправно

соблюдая долг вежливости, он снимал шапку, приветствуя всех встречных извозчиков, а сколько их было, знает один Бог!.. Отдав дань приличиям, мы приезжали на почтовую станцию, где неизменно оказывалось, что набожный и учтивый плут, запрягая либо распрягая лошадь, что-нибудь да стащил: сумку с инструментами, кожаный ремень, чехол для чемодана, на худой конец свечу от фонаря, гвоздь, болт; у них не принято возвращаться домой «с пустыми руками».

При всей своей алчности эти люди не смеют жаловаться на то, что им мало платят. В последние дни это часто случалось с теми, кто нас вез, потому что мой фельдъегерь безжалостно обсчитывал ямщиков, пользуясь тем, что я еще в Петербурге выдал ему все деньги вперед, в том числе и плату за лошадей. В пути я заметил, что он мошенничает, и доплачивал из своего кармана несчастным ямщикам, чтобы не разочаровывать их и не уменьшать мзды, на которую они надеялись, зная нравы путешественников, а плут-фельдъегерь, видя мою тороватость (именно так он назвал справедливость), стал бесстыдно сетовать и грозить, что не отвечает за мою безопасность, если я не перестану мешать ему исправлять его обязанности.

Впрочем, стоит ли удивляться, что в стране, где власть имущие считают самую обыкновенную честность законом, который годится лишь для того, чтобы управлять мещанами, но никак не распространяется на их собственное сословие, большинство людей не отличается тонкостью чувств? Не подумайте, что я преувеличиваю: я говорю только о том, что вижу своими глазами; вельможная спесь, прямо противоположная истинной чести, царит во многих влиятельных семействах России. Недавно одна знатная дама в простоте душевной сделала невольное признание; ее речи меня так поразили, что я запомнил их слово в слово; подобные чувства, довольно распространенные здесь среди мужчин, редко встречаются у женщин, ибо они лучше, чем их мужья и братья, сумели сохранить исконный благородный образ мыслей. Вот почему мне особенно странно было слышать эти речи из уст дамы.

«Для нас, — говорила она, — совершенно немыслим ваш общественный строй; меня уверяют, что нынче во Франции самого знатного вельможу могут посадить в тюрьму за двести франков долга; это возмутительно; посмотрите, у нас все совершенно по-иному: во всей России не найдется ни одного поставщика, ни одного купца, который посмел бы отказать нам в кредите на любой срок; вы с вашими аристократическими взглядами, — добавила она, — должны чувствовать себя у нас как дома. Мы больше похожи на французов старого времени, чем другие европейские народы».

И в самом деле, я встречал в России стариков, имеющих репутацию талантливых сочинителей стихов на случай.

Но не могу вам передать, чего мне стоило смолчать и не сказать ей резко и решительно, что ни о каком сходстве наших народов не может быть и речи. Однако несмотря на то, что мне приходится соблюдать осторожность, я не мог сдержаться и заметил ей, что человек, который прослыл бы нынче среди нас рьяным аристократом, вполне мог бы попасть в Петербурге в разряд самых ярых либералов; и под конец добавил: «Мне не верится, что в ваших семьях полагают, будто нет никакой нужды думать о долгах».

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

«Напрасно; многие из нас владеют огромным состоянием, но они разорились бы, если бы вздумали расплатиться со всеми кредиторами».

Поначалу я счел эти слова шуткой дурного тона или даже ловушкой, рассчитанной на мою доверчивость; но позже я расспросил сведущих людей и убедился, что дама говорила правду.

Чтобы я понял, до какой степени знатные особы в России прониклись французским духом, та же самая дама рассказала мне, как однажды в доме у ее родственников разыгрывали водевили, и хозяин, в ответ на куплеты, спетые в его честь, тотчас сложил стихи и спел их на тот же мотив. «Вот видите, насколько мы французы», — добавила она с гордостью, вызвавшей у меня улыбку. «Да, даже больше, чем мы», — ответил я, и мы заговорили о другом. Я представил себе, как удивилась бы эта русская француженка, придя в Париже в салоны[1] госпожи *** и ожидая от нашей современной Франции того, что ушло вместе с эпохой Людовика XV.

Во времена Екатерины II во дворце и в домах многих придворных особ беседовали, как в парижских салонах; нынче речи наши серьезнее или по крайней мере смелее, чем у любого другого европейского народа, и в этом отношении русским далеко до сегодняшних французов, ибо мы свободно говорим обо всем, меж тем как русские не говорят ни о чем.

Царствование Екатерины оставило в памяти иных из русских дам глубокий след; эти дамы, притязающие на то, чтобы вершить судьбами государства, обладают политическим талантом, и поскольку многие из них сочетают с этим даром нравы, свойственные XVIII веку, то по Европе разъезжает целый рой императриц — они производят много шума своим распутством, но скрывают под циничным поведением глубокий государственный ум и наблюдательность. Благодаря умению этих северных Аспазий плести интриги, в Европе почти не осталось столиц, где не было бы двух, а то и трех русских посланников: рядом с послом гласным, чрезвычайным и полномочным, действуют послы тайные и не несущие никакой ответственности; эти дипломаты в юбках и чепцах исполняют обязанности неофициальных послов, а заодно шпионят в интересах послов официальных.

Во все эпохи женщины с успехом принимали участие в политических интригах; многие из современных революционеров прибегали к услугам женщин, чтобы искуснее, надежнее и в большей тайне плести нити заговора; в Испании некоторые из этих несчастных проявляли чудеса храбрости, сохраняя преданность своему избраннику, ибо храбрость испанки зависит прежде всего от любви, и были жестоко покараны за свой героизм. У русских женщин, наоборот, любовь на втором месте. В России существует целая сеть женской дипломатии, и Европа, быть может, недооценивает этот особый способ влиять на политику. Благодаря своей армии двойных агентов, политических амазонок, чье оружие — тонкий мужской ум и коварные женские речи, русский двор собирает сведения, получает донесения и предупреждения, которые в случае огласки пролили бы свет на множество тайн, разъяснили бы многие противоречия, обнаружили бы много низостей. 890

[1] Салоны госпожи такой-то!!! — Это выражение великосветское общество недавно заимствовало у кабатчиков. 890

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Занятия политикой лишают беседу большинства русских женщин занимательности, делают ее скучной. Эта незадача чаще всего постигает самых утонченных дам, ибо их, естественно, одолевает крайняя рассеянность, когда беседа не касается предметов серьезных; между их мыслями и их речами пролегает пропасть: слова, которые они произносят, обманчивы, ибо ум их далеко; они всегда говорят одно, а думают другое — отсюда проистекает несообразность, принужденность, одним словом — утомительная двойственность, мешающая в повседневной жизни. Политика по природе своей занятие не из веселых; с ее тяготами мирятся из чувства долга, поэтому блестящие мысли все-таки оживляют иногда беседу государственных мужей; но жульническая, расчетливая политика — бич беседы. Ум, который сознательно предается этому корыстному занятию, опускается, уничижается и безвозвратно утрачивает свой блеск.

Меня уверяют, что русские крестьяне почти полностью лишены нравственного чувства и плохо разбираются в семейных обязанностях; мой каждодневный опыт подтверждает рассказы, которые я слышу из уст самых сведущих особ.

Некий вельможа рассказал мне, что один из его людей, искусный в каком-то ремесле, я запамятовал, в каком, был отпущен на заработки и приехал попытать счастья в Петербург: проработав два года, он получил отпуск на несколько недель и отправился в родную деревню к жене. В назначенный срок он вернулся в Петербург.

— Ты доволен, что повидал семью? — спрашивает его хозяин.

— Очень доволен, — простодушно отвечает работник. — Пока меня не было, жена родила мне еще двоих детей, и я был очень рад на них взглянуть.

У этих несчастных нет ничего своего: ни лачуги, ни жены, ни детей, ни даже сердца; они не завистливы: чему завидовать? чужому несчастью?.. То же и с любовью... Таково существование самых счастливых людей в России — рабов!.. Я часто слышал, как сановные особы завидуют их участи, и, быть может, недаром.

«У них нет никаких забот, — говорят они, — мы печемся о них и об их семьях (один Бог знает, как они это делают, когда крестьяне становятся старыми и немощными!); они уверены, что у них и их потомков будет все, что им нужно, и в сто раз меньше достойны жалости, чем ваши свободные крестьяне».

Я молча слушал этот панегирик рабству, думая про себя: если у них нет никаких забот, то нет и никакой собственности, а следовательно, ни привязанностей, ни счастья, ни нравственного чувства — никакого противовеса материальным тяготам жизни; ибо общественного человека формирует частная собственность, на ней одной зиждется семья.

Факты, которые я привожу, как мне кажется, не совсем согласуются с поэтическими чувствами, выраженными автором «Теленева». В мою задачу не входит примирять противоречия, я должен только изображать контрасты: пусть тот, кто может, объяснит их.

Впрочем, русские поэты, как вообще все поэты, имеют исключительное право на вымысел: давая волю воображению, эти избранники мысли более правдивы, нежели историки.

ПИСЬМОДВАДЦАТЬЧЕТВЕРТОЕ

Единственная истина, заслуживающая нашего поклонения, есть истина нравственная, и все усилия ума человеческого, какова бы ни была область его разысканий, направлены на то, чтобы ее обрести.

Если в моих путевых записках я стремлюсь изобразить мир таким, каков он есть, то единственно ради того, чтобы оживить во всех сердцах, и прежде всего в своем, сожаление о том, что мир не таков, каким должен быть. Я делаю это ради того, чтобы пробудить в душах чувство бессмертия, ради того, чтобы при каждой несправедливости, при каждом превышении власти, неизбежном на земле, мы вспоминали слова Иисуса Христа: «Царство мое не от мира сего».

Никогда мне не случалось так часто повторять эти слова Христа, как теперь, когда я путешествую по России; они, можно сказать, не выходят у меня из головы; при деспотизме все законы призваны способствовать притеснению, то есть чем больше у угнетенных причин жаловаться, тем меньше у них на это прав и тем труднее им на это решиться. Надо признать, что перед Богом дурной поступок гражданина более тяжкий грех, нежели дурной поступок раба и даже несправедливость рабовладельца, ведь в такой стране, как Россия, варварство носится в воздухе. Всевышний принимает в рассуждение, что человек, очерствевший от вечного торжества несправедливости, теряет совесть.

Зло всегда зло, — возразят мне, — и человек, который крадет в Москве, такой же вор, как парижский жулик. Но я с этим не согласен. Ведь именно от общего воспитания, которое получает народ, в большой степени зависит нравственность каждого отдельного человека; Провидение установило страшную, таинственную круговую поруку провинностей и заслуг между правительствами и подданными, и рано или поздно в истории общества наступает время, когда государство судят, выносят ему приговор и предают смерти, как и отдельного человека.

Я не устаю повторять: добродетели, пороки, преступления рабов отнюдь не то же самое, что добродетели, пороки, преступления свободных людей: поэтому, глядя на русский народ, я могу с достоверностью утверждать — я не порицаю за это русских, как порицал бы французов, — что ему, как правило, не хватает гордости, тонкости и благородства и что взамен этих достоинств он обладает терпением и хитростью: таково мое право повествователя, право всякого правдивого наблюдателя; но, признаюсь, прав я или не прав, я на этом не останавливаюсь; я хулю либо хвалю все, что вижу; мне мало рисовать, я хочу судить; если вы считаете, что я пристрастен, никто не мешает вам самим проявлять в суждениях больше сдержанности.

Беспристрастие — добродетель, легко доступная читателю, меж тем как она всегда с трудом давалась, если вообще давалась, писателю.

Одни говорят: «русский народ кроток»; на это я отвечу: «В том нет никакой его заслуги, это всего лишь привычка повиноваться...» Другие говорят: «русский народ кроток только оттого, что не смеет открыть свое сердце: в основе его чувств и мыслей лежат суеверие и жестокость». Я отвечу на это: «Бедный народ! Он получил такое дурное воспитание».

Вот почему мне так жаль русских крестьян, хотя они самые счастливые, то есть наименее достойные жалости люди в России. Русские не согласятся со мной

и станут искренне возражать против моих преувеличений, ибо нет зла, которое не смягчалось бы привычкой и незнанием того, что есть благо; но я тоже чистосердечен, и мое положение стороннего наблюдателя позволяет мне, хотя и мельком, замечать вещи, которые ускользают от притупившегося взора местных жителей.

Из всего, что я вижу в этом мире и в особенности в этой стране, следует, что человек живет здесь, на земле, вовсе не для счастья. Смысл его существования совершенно иной, религиозный: нравственное совершенствование, борьба и победа.

Но со времени, когда главенствующую роль стала играть мирская власть, христианская вера в России изменила своему предназначению: она превратилась в один из винтиков деспотизма, только и всего. В этой стране, где — и это нимало не удивительно — ничто не имеет четких определений, трудно понять современные отношения Церкви с главой государства, который стал также негласным владыкой в вопросах веры; он присвоил духовную власть и пользуется ею, но не смеет узаконить свое право на эту власть; он сохранил Синод: это последняя честь, отданная тиранией Царю Царей и его разоренной Церкви. Вот как
890 описывает этот религиозный переворот Левек, которого я давеча листал.

Я вышел из коляски и ждал на почтовой станции, покуда найдут кузнеца, чтобы починить одну из задних скоб; желая скоротать время, я проглядывал «Историю России»; переписываю для вас слово в слово отрывок из нее:

* * *

«1721 г. После смерти Адриана[1] Петр,[2] казалось, медлил с согласием на избрание нового патриарха. За те двадцать лет, что он раздумывал, благоговение народа к главе Церкви незаметно угасло.

Император решил, что может наконец объявить об упразднении этого сана. Он разделил церковную власть, которую прежде осуществлял один патриарх, и сделал высшим органом духовной власти новый совет — Святейший Синод.

891 Он не назвал себя главой Церкви; но он стал им на деле благодаря присяге, которую приносили ему члены новой духовной коллегии. Вот она: "Клянусь быть верным и покорным слугой и подданным моего исконного и истинного владыки... ***Я признаю его верховным судией духовной коллегии***".

Синод состоит из председателя, двух вице-председателей, четырех советников и четырех асессоров. Эти сменяемые судьи, вершащие церковные дела, вместе взятые обладают гораздо меньшей властью, чем обладал один патриарх, а прежде пользовался митрополит. Их никогда не приглашают на заседания Сената; им никогда не дают на подпись указы, изданные верховной властью; даже в областях, которые находятся в их ведении, они подчиняются государю. Поскольку внешне они ничем не отличаются от других духовных лиц, власть их

[1] Последний патриарх московский.
[2] Император.

кончается, как только они перестают занимать место в Синоде; наконец, поскольку сам Синод не имеет большой власти, народ относится к ним без особого почтения».

(Пьер-Шарль Левек. «История России и основных народов, населяющих Российскую империю». Издание четвертое, опубликованное Мальте-Бреном и Деппингом, том 5, с. 89-90. Париж, 1812 г. Продается у Фурнье, улица Пупе, д. 7; и у Ферра, улица Гранз-Огюстен, д. 11.)

Мне то и дело приходится останавливаться и чинить коляску, но я утешаюсь, говоря себе, что эти задержки благотворны для моих трудов.

В наши дни русский народ самый набожный из всех христианских народов: я только что показал вам главную причину, по которой его вера приносит мало плодов. Когда Церковь отказывается от свободы, она утрачивает моральную силу; будучи сама рабой, она порождает только рабство. Я не устаю повторять: единственная подлинно независимая Церковь — Церковь католическая, она одна сохранила запас истинного милосердия; все остальные Церкви являются составной частью государств, которые используют их в политических целях, дабы поддержать свое могущество. Эти Церкви — превосходные пособницы правительств; снисходительные к власть имущим, князьям или сановникам, строгие к подданным, они призывают Всевышнего на помощь полиции; это сразу приносит свои плоды: в обществе торжествует порядок; но католическая Церковь, обладая не меньшей политической властью, поднимается выше и идет дальше. Национальные Церкви пестуют граждан, мировая Церковь пестует людей.

В России еще и поныне почтение к власти — единственная движущая сила общества; конечно, без почтения к власти не обойтись, но дабы глубоко просвещать сердца людей, мало учить их слепому повиновению.

В день, когда сын Николая I (я говорю «сын», потому что это благородное дело осуществит не отец, все силы которого уходят на укрепление старой воинской дисциплины, на которой держится вся власть в Москве), — итак, в день, когда сын императора внушит всем сословиям этого народа правило, что всякий начальник должен относиться с уважением к своим подчиненным, в России произойдет нравственный переворот, и орудием этого переворота станет Евангелие.

Чем дольше я нахожусь в этой стране, тем яснее вижу, что презрение к слабому заразительно; это чувство становится здесь таким естественным, что самые рьяные защитники угнетенных в конце концов начинают разделять его. Я сужу по себе.

Быстрая езда в России из необходимости превращается в страсть, которая служит поводом для всякого рода жестокостей. Мой фельдъегерь разделяет эту страсть, и от него она передается мне; это приводит к тому, что часто я невольно становлюсь соучастником его несправедливостей. Он сердится, если кучер соскакивает с козел, чтобы поправить упряжь, или останавливается в пути по какой-нибудь другой причине.

Вчера вечером нас вез мальчик, которого мой фельдъегерь не раз грозился побить за медлительность, и я разделял нетерпение и ярость этого человека; вдруг из-за ограды выскочил жеребенок, которому было всего несколько дней от роду

и который хорошо знал мальчика: он принял одну из кобыл в нашей упряжке за свою мать и с ржаньем побежал за моей коляской. Маленький ямщик, которого и без того ругали за нерасторопность, хочет тем не менее остановиться вновь и помочь жеребенку, ибо видит, что коляска может задавить его. Мой курьер властно запрещает ему спрыгивать на землю; мальчик как истинно русский человек подчиняется и застывает на козлах, словно окаменев, не произнося ни единого слова жалобы, а кони по-прежнему мчат нас галопом. Я одобряю суровость моего курьера. «Надо поддерживать власть, даже когда она неправа, — убеждаю я себя, — таков дух русского правления; мой фельдъегерь и так не больно-то ретив, а если я его одерну, когда он ревностно исполняет свой долг, он пустит все на самотек и от него не будет никакого проку; впрочем, таков обычай: почему я должен меньше торопиться, чем другие? Надо ехать быстро, чтобы не ронять своего достоинства; не торопиться — значит лишиться уважения; в этой стране для пущей важности надо делать вид, будто спешишь». Пока я размышлял об этом, а также о многом другом, настала ночь.

Я больше виноват, что проявил черствость, чем русский фельдъегерь, ибо меня не оправдывают усвоенные с детства привычки; я заставил страдать бедного жеребенка и несчастного мальчика; один громко ржал, другой тихо плакал, — таким образом, у животного было явное преимущество перед человеком. Мне следовало вмешаться и прекратить эту двойную пытку; но нет, я смотрел и безразличием своим потакал издевательству. Это продолжалось долго, перегон был длиною шесть лье; мальчик, который хотел спасти жеребенка, но вместо этого был принужден мучить его, переносил страдание со смирением, которое тронуло бы меня, если бы сердце мое уже не ожесточилось за время моего пребывания в этой стране; всякий раз, завидев издали крестьянина, шедшего нам навстречу, мальчик надеялся освободить своего любимца; он делал знаки, пытался заговорить, он кричал за сто шагов до того, как мы поравняемся с пешим путником, но не смел замедлить нещадный бег наших лошадей и поэтому его не успевали вовремя понять. Если же какой-нибудь крестьянин, более сообразительный, чем другие, сам догадывался, что надо помочь жеребенку, он не мог подойти, потому что коляска мчалась очень быстро, и жеребенок, прижавшийся к одной из наших кобыл, пробегал мимо растерянного человека так, что тот не мог до него дотянуться: то же случалось и в деревнях; под конец наш ямщик настолько пал духом, что уже перестал звать прохожих на помощь своему любимцу. У этого мужественного животного, которому, по словам ямщика, была неделя от роду, хватило сил пробежать шесть лье галопом.

На станции наш раб — я говорю о ямщике, — освободившись наконец от тяжкого ярма дисциплины, созвал всю деревню на помощь жеребенку; сила благородного животного была такова, что, несмотря на усталость после быстрого бега, несмотря на неокрепшие разбитые копыта, он не давался в руки людям. Его поймали, только загнав в конюшню вслед за кобылой, которую он принял за мать. На него накинули недоуздок и подвели к другой кобыле, чтобы покормить; но у него уже не было сил сосать. Одни говорили, что жеребенок поест позже, другие — что он надорвался и умрет. Я начинаю чуть-чуть понимать по-русски;

услышав суровый приговор из уст старейшины деревни, наш маленький ямщик подумал, что такая же участь ждет и его, вдобавок он представил себе, какое наказание ждет его товарища, недоглядевшего за жеребенком, и огорчился, словно побои грозят ему самому. Я никогда не видел более глубокого отчаяния на лице ребенка; но он ни единым взглядом, ни единым движением не выразил возмущения жестокостью фельдъегеря. Такое владение собой, такая сдержанность в столь юном возрасте пробудили во мне страх и жалость.

Меж тем курьер, ни секунды не думая о жеребенке и ни разу не взглянув на безутешного мальчика, со всей серьезностью приступил к своим обязанностям и с подобающим случаю важным видом отправился за новой упряжкой.

На этой дороге, главной и самой людной в России, в деревнях при почтовых станциях живут крестьяне, обслуживающие почту: когда приезжает коляска, начальник станции посылает из дома в дом искать свободных лошадей и ямщика: иногда дома отстоят друг от друга довольно далеко, и путникам приходится терять четверть часа и даже больше; я предпочел бы, чтобы лошадей меняли побыстрее, а ездили помедленнее. Покидая загнанного жеребенка и несчастного мальчика, я не чувствовал угрызений совести. Они пришли позже, когда я стал обдумывать свое поведение и особенно когда сел писать это письмо: стыд пробудил раскаяние. Как видите, человек прямо на глазах становится хуже, дыша отравленным воздухом деспотизма... Да что я говорю! В России деспотизм на троне, но тирания — везде.

Если принять в рассуждение воспитание и обстоятельства, нельзя не признать, что даже русский барин, привыкший к беззаконию и произволу, не может проявить в своем поместье более предосудительной бесчеловечности, чем я, молчаливо попустительствовавший злу.

Я, француз, считающий себя человеком добрым, гордящийся своей принадлежностью к древней культуре, оказавшись среди народа, чьи нравы я внимательно и скрупулезно изучаю, при первой же возможности проявить ненужную свирепость поддаюсь искушению; парижанин ведет себя как варвар! поистине здесь сам воздух тлетворен...

Во Франции, где с уважением относятся к жизни, даже к жизни животных, если бы мой ямщик не позаботился о том, чтобы спасти жеребенка, я велел бы остановить коляску и сам позвал бы крестьян, там я не тронулся бы в путь, пока не убедился бы, что опасность миновала; здесь я безжалостно молчал, и молчание мое было роковым. Можно ли гордиться добродетелями, когда приходится признать, что они зависят не столько от нас, сколько от обстоятельств! Русский барин, который в приступе ярости не забил насмерть своего крепостного, заслуживает похвал, он поступил гуманно, меж тем как француз, который не вступился за жеребенка, проявил жестокость.

Я всю ночь не спал, размышляя о серьезной проблеме относительности добродетелей и пороков, и пришел к выводу, что в наши дни один весьма важный вопрос политической морали остался без должного внимания. Это вопрос о том, какова доля ответственности самого человека за свои поступки и какова доля ответственности взрастившего его общества. Если общество гордится великими

свершениями своих питомцев, оно должно считать себя в ответе за преступления, совершаемые другими его сынами. В этом отношении древние пошли дальше нас: козел отпущения, существующий у евреев, показывает нам, насколько народ боялся ответственности за преступления. С этой точки зрения смертная казнь была не только более справедливой или менее справедливой карой, постигающей виновного, она была публичным искуплением, протестом общества против всякого участия в злодеянии и злоумышлении. Это помогает нам понять, как человек, живущий в обществе, мог присвоить себе право распоряжаться жизнью себе подобного; око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь; одним словом, закон возмездия имел политическую силу; общество, которое хочет жить, должно извергнуть преступника из своего лона: когда пришел Христос и заменил суровую справедливость Моисея милосердием, он хорошо понимал, что сокращает срок земных царств; но он открыл людям царство Божие... Без идеи вечности и бессмертия души от христианства было бы больше вреда, чем пользы. Вот о чем я размышлял, лежа ночью без сна.

Вереница неясных, призрачных мыслей медленно тянулась в моем полусонном мозгу; бег уносивших меня лошадей казался мне более быстрым, чем работа моего неповоротливого ума; у тела выросли крылья, мысль налилась свинцом; я, так сказать, опережал ее, мчась в облаке пыли стремительнее, чем воображение преодолевает расстояния: степи, болота с чахлыми соснами и корявыми березками, села, города мелькали у меня перед глазами, словно фантастические видения, и я не мог понять, что привело меня на этот стремительный спектакль, где ощущения сменяются так быстро, что душа не поспевает за телом!.. Эти перевернутые представления о природе, эти заблуждения ума, имеющие материальную природу, этот оптический обман, переместившийся в область идей, этот сдвиг жизни, эти грезы наяву плавно переходили в заунывные песни ямщиков; их грустные мелодии напоминают мне пение псалмов в наших церквах, вернее даже, гнусавые голоса старых евреев в немецких синагогах. Вот к чему сводятся покамест для меня хваленые русские напевы. Говорят, народ этот весьма музыкален: посмотрим; пока я не слышал ничего достойного внимания: ночная беседа кучера с лошадьми была мрачной; это прерывистое бормотание, как бы греза, которую человек декламирует нараспев, поверяя свои горести единственному верному другу — коню, наполняла мне душу глубокой печалью.

В одном месте дорога вдруг круто обрывается вниз, к понтонному мосту, опустившемуся едва ли не на самое дно, потому что от засухи река обмелела. Эта река, все равно широкая, хотя и ставшая уже из-за летнего зноя, носит великое имя: Волга; на берегу этой знаменитой реки передо мной в лунном свете встает город: его белые стены мерцают в ночи, больше похожей на сумерки, а сумерки — благодатное время для миражей; свежевымощенная дорога вьется вокруг свежепобеленного города, где я на каждом шагу встречаю римские фронтоны и оштукатуренные колоннады, столь любимые русскими, которые надеются с их помощью показать, что они разбираются в искусстве; по этой запруженной дороге можно ехать только шагом.

ПИСЬМОДВАДЦАТЬЧЕТВЕРТОЕ

Город, мимо которого я проезжаю, кажется мне огромным: это Тверь, чье имя вызывает в моей памяти бесконечные семейные распри, наполнявшие русскую историю до татарского нашествия: я слышу, как брат проклинает брата; раздается боевой клич; я вижу резню, вижу, как воды реки окрашиваются кровью; из недр Азии приходят калмыки, пьют эту воду и обагряют Волгу другой кровью. Но я-то зачем полез в эту кровожадную толпу? Чтобы совершить новое путешествие и рассказать вам о нем: словно картина страны, где природа не создала ничего, а искусство произвело только наброски да копии, может заинтересовать вас после описания Испании, этой земли, где самый своеобразный, самый веселый, самый независимый по духу и даже самый свободный если не по закону, то на деле [1] народ ведет глухую борьбу против самого мрачного правительства, где все вместе танцуют, где все вместе молятся, ожидая, когда начнется всеобщая резня и разграбление церквей: вот картина, которую надо затмить живописанием равнины, тянущейся на несколько тысяч лье, и рассказом об обществе, где своеобразно только то, что тщательно укрыто от взора стороннего наблюдателя... Задача не из легких.

Даже Москва не стоит того, чтобы терпеть ради нее столько тягот. Махнем рукой на Москву, прикажем ямщику поворотить оглобли и помчимся во весь опор в Париж! На этой мысли меня застало утро. Коляска моя оставалась открытой всю ночь, а я в полудреме не замечал коварного действия северной росы: платье мое намокло, волосы стали влажными, как от пота, все кожаные ремни коляски пропитались вредоносной сыростью. У меня болели глаза, я видел все как в тумане; я вспоминал князя ***, который, проведя ночь в открытом поле, через сутки ослеп. Это было в Польше, а она находится в той же полосе.[1]

Слуга докладывает мне, что коляску починили, я трогаюсь в путь, и если меня не околдовали, если какая-нибудь новая поломка не задержит меня, если мне не суждено въехать в Москву на телеге или войти пешком, мое следующее письмо будет из священного для русских людей города, куда я надеюсь прибыть через несколько часов.

Посмотрели бы вы, как старательно прячу я свои писания, ибо любого моего письма, даже того, которое показалось бы вам самым невинным, довольно, чтобы меня сослали в Сибирь. Садясь писать, я запираю дверь, и когда мой фельдъегерь или кто-нибудь из почтовых служащих стучится ко мне, то прежде, чем открыть, я убираю бумаги и делаю вид, что читаю. Это письмо я спрячу за подкладкой моей шляпы: надеюсь, эти предосторожности излишни, но все же я их неукоснительно соблюдаю: одного этого довольно, чтобы дать вам представление о российских порядках.

---

[1] Во времена абсолютной монархии в двадцати милях от Мадрида кастильский пастух даже не подозревал о том, что в Испании существует правительство.

[2] Эта участь, которой я надеялся избежать, едва не постигла и меня. Болезнь глаз, только начинавшаяся, когда я писал это письмо, во время моего пребывания в Москве усугубилась и еще долго не проходила; наконец после Нижегородской ярмарки она превратилась в хроническое воспаление глаза, от которого я страдаю и поныне.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Первое впечатление от Москвы. — Город плывет над землей. — Главы православных церквей, их традиционное число. — Символический смысл этой архитектуры. — Описание крыш и башенок, металлические украшения церквей. — Петровский замок. — Его архитектурный стиль. — Въезд в Москву. — Привилегия искусства. — Облик Кремля. — Цвет неба. — Храм Василия Блаженного издали. — Французы в Москве. — Анекдот о походе нашей армии на Смоленск. — Сундук военного министра. — Битва под Москвой. — Кремль как крепость. — Происхождение титула «царь». — Центр Москвы. — Постоялый двор госпожи Говард. — Меры предосторожности, которые она принимает, чтобы поддерживать у себя чистоту. — Вечерняя прогулка. — Описание ночного города. — Кремль в лунном свете. — Пыль на улицах; множество дрожек. — Летний зной. — Жители Москвы. — Иллюминация. — Размышления. — Аллея под стенами Кремля. — Крепостные валы. — Что такое Кремль. — Воспоминание об Альпах. — Иван III. — Подвесная дорога. — Чары ночи и архитектуры. — Бонапарт в Кремле.

892

Москва, 7 августа 1839 года

Вам никогда не случалось видеть на подступах к какому-нибудь порту на берегу Ла-Манша или Бискайского залива лес мачт за невысокими дюнами, которые полностью закрывают от вас город, пристани, набережные и само море с кораблями, стоящими на рейде? Над песчаной грядой возвышаются только голые бревна с ослепительно белыми парусами, реями, пестрыми флагами, развевающимися вымпелами, яркими разноцветными хоругвями; и вы застываете от изумления при виде этой стоящей на суше эскадры: так вот, такое же впечатление произвела на меня Москва, когда я увидел ее впервые: над облаком дорожной пыли сверкало множество колоколен, а сам город тонул в этом вихре, и линия горизонта размывалась в мареве, неизменно заволакивающем летом небо в этих краях.

Бугристая, почти необитаемая, плохо обработанная, неплодородная на вид равнина похожа на дюны с тощими купами елей и редкими рыбачьими хижинами, жалкими, но все же дающими убогий приют. Посреди этой пустыни передо мной

вдруг возникло множество разноцветных куполов и усыпанных звездами главок, но основания их оставались скрыты от взора: это был город; низкие дома еще прятались за пригорками, меж тем как взметнувшиеся ввысь шпицы церквей, причудливой формы башни, дворцы и старые монастыри уже привлекали мой взгляд, как стоящий на якоре невидимый флот с его плывущими в небе мачтами.[1]

Это первое явление моему взору столицы славянской империи, которая блистает среди холодных пустынь христианского Востока, невозможно забыть.

Перед путником расстилаются унылые, но безбрежные, как океан, просторы, и посреди этой пустыни встает поэтичный город, не похожий ни на один город в мире, город, чья архитектура не имеет ни имени, ни подобия. 892

Чтобы как следует представить себе особенность картины, вам надо вспомнить облик всякой православной греческой церкви; эти храмы неизменно увенчаны несколькими башенками различной формы и размеров, башенок этих не меньше пяти, а иногда гораздо больше. Самая высокая — средняя главка, ее почтительно окружают четыре другие, пониже. Они бывают разной формы: эти символические башни часто заканчиваются подобием островерхого колпака; можно сравнить большую башенку некоторых церквей, раскрашенную и позолоченную, с митрой епископа, с усыпанной каменьями тиарой, с китайской пагодой, с минаретом, с шапкой бонзы; часто это просто-напросто маленький круглый купол, заканчивающийся острием; все эти более или менее причудливые главки увенчаны большими медными позолоченными крестами ажурной работы, сложным узором напоминающими филигрань. Число и расположение этих башенок всегда имеет сакральный смысл; они символизируют ступени церковной иерархии. Это патриарх в окружении священников, дьяконов и иподьяконов радостно поднимает голову к небу. В очертаниях этих причудливо изукрашенных кровель проявляется все богатство фантазии, но первоначальный замысел, теологическая идея всегда старательно сохраняется. Блестящие на солнце металлические цепи, позолоченные или посеребренные, соединяют кресты на нижних главках с крестом на главной башне, и эта металлическая сеть, опутывающая целый город, производит впечатление, которое невозможно передать даже красками, а тем более словами, ибо слова бессильны передать краски, так же как и музыку. Итак, попытайтесь представить себе, какое впечатление производит это священное воинство куполов, которое, хотя и не изображает людей, все же гротескным образом напоминает толпу, собравшуюся на крышах церквей и часовен: это сонм призраков, которые реют над городом. 892

Но я еще не назвал вам главную особенность русских церквей: их таинственные купола одеты, так сказать, в кольчугу — такой тонкой работы их покрытие.

[1] Шницлер в своей статистике так описывает земли Московской губернии; я переписываю слово в слово:

«Почти везде почва тощая, болотистая и неплодородная, и хотя почти половина земель обработана, этого совершенно недостаточно для населяющих ее жителей; урожай в здешних краях очень скудный и голодный» и т. д. (Ж.-А. Шницлер, «Россия, Польша и Финляндия». Париж, издано у Ж. Ренуара, 1835, с. 37).

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Они словно в золотой и серебряной оправе, и наблюдатель теряет дар речи от изумления, видя, как искрится на солнце множество узорчатых, чешуйчатых, покрытых глазурью, усыпанных блестками, разрисованных продольными или поперечными полосами, ярких и переливающихся всеми цветами радуги кровель.

Самые заметные здания города выглядят так, словно их сверху донизу укрывают богатые ковры: благодаря этому их каменные громады выделяются на зеленоватом фоне безлюдной местности. Пустыня, так сказать, расцвечена этой волшебной сетью карбункулов, сверкающей на металлическом фоне песка. Игра света, отраженного этим парящим в воздухе городом, кажется сказкой, обманом средь бела дня и напоминает блеск драгоценных камней в лавке ювелира: эти мерцающие огни делают Москву не похожей ни на один крупный европейский город. Вы можете вообразить себе небо над таким городом: это сияние, как на картинах старинных живописцев, сплошное золото.

Не премину напомнить вам, как много в этом городе церквей. Шницлер на
892 пятьдесят второй странице своего труда говорит, что в 1730 году Вебер насчитал в Москве тысячу пятьсот церквей и что в те времена местные жители хотели
892 довести это число до тысячи шестисот, но добавляет, что это преувеличение. Кокс
892 в 1778 году насчитал четыреста восемьдесят четыре церкви. Лаво также приводит эту цифру. Что до меня, то я ограничиваюсь описанием облика вещей; я любуюсь, а не пересчитываю, и потому отсылаю любителей каталогов к книгам, состоящим единственно из цифр.

Надеюсь, я сказал довольно, чтобы вы поняли и разделили мое изумление при виде Москвы: вот все, чего я хотел. Вы еще больше поразитесь, если вспомните то, что написано во всех книгах: город этот — целая страна, и поля, реки и озера, находящиеся на его территории, разделяют украшающие его здания большими расстояниями. Такая разбросанность лишь усиливает иллюзию: вся равнина тонет в серебристой дымке; три или четыре сотни далеко отстоящих друг от друга церквей раскинулись перед глазами гигантским полукругом; поэтому когда впервые подъезжаешь к городу на закате и небо хмурое, то кажется, будто над московскими церквами встала огненная радуга: это ореол святого города.

Но когда до города остается меньше одного лье, чары рассеиваются, путник
892 останавливается перед весьма реальным Петровским замком, громоздким дворцом из необожженного кирпича, построенным Екатериной II по современным чертежам, замысловатым, перегруженным украшениями, которые резко выделяются своей белизной на красном фоне стен. Эти украшения, мне кажется, не каменные, а гипсовые, в готическом стиле, но это не настоящая готика, а вычурное подражание. Здание квадратное, как куб; такая правильность плана не придает его облику ни внушительности, ни легкости. Здесь останавливается государь перед торжественным въездом в Москву. Я сюда еще вернусь, ибо здесь устроили летний театр, разбили сад и построили бальную залу, своего рода публичное кафе, где встречаются городские бездельники в теплое время года.

После Петровского замка разочарование усугубляется настолько, что, въезжая
893 в Москву, путник уже не верит тому, что он видел издали — ему приснился сон, а проснувшись, он увидел вокруг все, что есть самого прозаического и скучного

на свете: большой город без памятников, то есть без единого произведения искусства, которое было бы всерьез достойно восхищения; глядя на эту грузную, неуклюжую копию Европы, вы спрашиваете себя, куда девалась Азия, явившаяся на мгновение вашему взору? Когда смотришь издали, Москва в своей целокупности кажется созданием сильфов, миром химер; когда видишь ее вблизи, в подробностях, она оборачивается большим торговым городом, беспорядочным, пыльным, плохо вымощенным, плохо застроенным, мало населенным; чувствуется, что его сотворило существо могучее, но явно лишенное чувства прекрасного, а без него создать шедевр невозможно. У русского народа есть сила в руках, он может много, но ему не хватает силы воображения.

Не имея архитектурного дара, не имея таланта и вкуса ваятеля, можно нагромождать камни, возводить гигантские сооружения, но невозможно создать ничего гармоничного, ничего замечательного своей соразмерностью. Счастливое преимущество искусства!.. Шедевры переживают себя; разрушенные временем, они еще много веков продолжают жить в памяти людей; вдохновение, которое воплотилось в них и одухотворяет даже их развалины, делает бессмертной создавшую их мысль, меж тем как уродливые громады при всей своей прочности будут забыты даже прежде, чем их разрушит время. Искусство, достигая совершенства, одушевляет камень, **в этом его тайна. Так было в Греции, где каждая деталь усиливает воздействие скульп-**туры в целом. В архитектуре, как и в других искусствах, чувство прекрасного рождается из совершенства малейших частичек и их умелого соотношения с целым. Во всей России нет ничего, что производило бы подобное впечатление.

Тем не менее в этом хаосе из штукатурки, кирпича и досок, именуемом Москвой, две точки неизменно приковывают все взоры: это храм Василия Блаженного — я вам его сейчас опишу — и Кремль, который не смог взорвать даже Наполеон.

Кремль со своими неровными стенами, своими разной высоты зубцами — белокаменное чудо, это целый город, имеющий, по слухам, около лье в окружности. Когда я въезжал в Москву, день клонился к закату и причудливые громады дворцов и церквей, находящихся в этой крепости, белели на фоне подернутого дымкой пейзажа, четких линий, голых далей, необъятных просторов, окрашенных в холодные тона, что не мешало нам изнывать от зноя, задыхаться от пыли и страдать от комаров. Южным городам долгое лето дарит яркие краски; на Севере лето чувствуется, но его не видно; как бы ни нагревался порой воздух, земля по-прежнему остается бледной, бесцветной.

Я никогда не забуду трепета, охватившего меня, когда я впервые увидел колыбель современной Российской империи: ради Кремля стоит совершить путешествие в Москву.

У стен этой крепости, но снаружи, как утверждает мой фельдъегерь, — сам я туда еще не добрался, — возвышается храм Василия Блаженного; другое его название — Покровский собор. В православии церквам щедро жалуют титул собора: в каждом квартале, в каждом монастыре есть свой собор, в каждом городе их несколько; собор Василия Блаженного, без сомнения, если не самая красивая, то уж во всяком случае самая своеобразная постройка в России. Я видел его лишь

издали и совершенно очарован. Вообразите себе скопище маленьких, разной высоты, башенок, составляющих вместе куст, букет цветов; вернее, вообразите себе корявый плод, весь усеянный наростами, дыню-канталупу с бугристыми боками, или, еще лучше, разноцветный кристалл, ярко сверкающий своими гладкими гранями в солнечных лучах, как бокал богемского или венецианского стекла, как расписной дельфтский фаянс, как лаковый китайский ларец: это чешуйки золотых рыбок, змеиная кожа, расстеленная поверх бесформенной груды камней, головы драконов, шкура хамелеона, сокровища алтарей, ризы священников; и все это увенчано переливчатыми, как шелка, шпицами; в узких просветах между нарядными щеголеватыми башенками сияет сизая, розовая, лазурная кровля, такая же гладкая и сверкающая на солнце; эти пестрые ковры слепят глаза и чаруют воображение. «Нет сомнения, что страна, где подобное здание предназначено для молитвы, — не Европа, это Индия, Персия, Китай, и люди, которые приходят поклониться Богу в эту конфетную коробку, — не христиане!» Такое восклицание вырвалось у меня, когда я впервые увидел необычную церковь Василия Блаженного; с тех пор, как я в Москве, единственное мое желание — как следует рассмотреть этот причудливый шедевр, который столь необычен, что отвлек меня от Кремля в миг, когда этот грозный замок впервые явился моему взору.

Но вскоре мысли мои устремились по другому руслу, я оторвался от того, что поражало мой взор, и попытался представить себе события, свершившиеся в этих местах. Какой француз мог бы сдержать порыв почтения и гордости... (в несчастье есть своя гордость, и это вполне естественно) въезжая в единственный город, где в наше время произошло событие, не уступающее библейским, свершилось грандиозное деяние, достойное величайших подвигов древней истории?

Средство, которое предпринял азиатский город, чтобы отразить врага, есть выражение высшего отчаяния, и отныне имя Москвы роковым образом связано с именем крупнейшего полководца нового времени; священная птица греков предпочла сгореть, дабы избежать когтей орла, и, подобно фениксу, мистическая голубка также возрождается из пепла.

В этой славной битве гигантов равно отличились и победители, и побежденные! !! Огонь подо льдом, орудие дантовских чертей: вот что Бог дал русским, чтобы отразить и разгромить нас! Армия смельчаков может гордиться, что продвинулась так далеко, пусть даже себе на погибель.

Но что оправдывает военачальника, чья непредусмотрительность ввергла его в неравную борьбу? В Смоленске Бонапарт мог диктовать условия мира, а в Москве ему даже не предложили подписать мир. Он надеялся на победу, но надеялся напрасно. Таким образом страсть коллекционера помутила рассудок великого политика, он принес свою армию в жертву ребяческому желанию покорить еще одну столицу!.. Отвергнув самые мудрые предостережения, он не внял голосу разума и пришел, чтобы завоевать крепость царей, как прежде занимал дворцы почти всех правителей Европы: в погоне за суетной победой храбрый полководец утратил всю свою власть.

Страсть брать столицы привела к поражению лучшей армии во Франции и в мире, а через два года — к падению Империи.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Вот не известный у нас, но, ручаюсь, совершенно достоверный факт, подтверждающий мое мнение о том, что поход на Москву — непростительная ошибка Наполеона. Впрочем, в этом мнении нет ничего примечательного, ведь нынче так думают самые просвещенные и самые беспристрастные люди всех стран.

Русские считали Смоленск крепостным валом своей страны; они надеялись, 893
что наша армия ограничится захватом Польши и Литвы и не отважится пойти дальше; но когда они узнали, что этот город, ключ Империи, взят, со всех сторон раздался вопль ужаса; двор и страна были потрясены; русские решили, что все кончено. Ужасная новость застала Александра I в Петербурге.

Его военный министр разделял общее мнение; желая спасти от врага все 893
самое ценное, он сложил изрядное количество золота, драгоценности, брильянты, а также важные бумаги в сундук и приказал одному из своих секретарей, единственному человеку, которому он мог доверить столь ценный груз, отвезти его на Ладогу. Там он велел секретарю ждать новых распоряжений, предупредив, что скорее всего придется доставить сундук в Архангельск, а затем переправить в Англию. Все с тревогой следили за ходом событий; прошло несколько дней, гонцы не появлялись; наконец министр получил известие о походе французской армии на Москву. Не колеблясь ни минуты, он посылает на Ладогу за секретарем и сундуком и с торжествующим видом предстает перед императором. Александру I уже доложили новость. «Ваше величество, — сказал ему министр, — возблагодарите Провидение; если вы не отступите от принятого решения, Россия будет спасена: завоевателей ждет судьба Карла XII. 893

— Но как же Москва? — возразил император.

— Ее надо оставить, Ваше величество: вступать в бой опасно — а вдруг мы потерпим поражение? Отступить, уничтожив все на своем пути, — значит погубить врага, ничем не рискуя. Голод и разруха начнут его истребление, зима и пожар довершат; спалим Москву и спасем мир».

Александр I несколько изменил этот план. Он приказал совершить последнее усилие, чтобы сохранить столицу.

Все знают, как храбро сражались русские на Москве-реке. Эта битва, получившая название Бородинской, принесла им победу, но она принесла победу и нам, ибо их благородные усилия не смогли помешать нам войти в Москву.

Господь хотел подарить газетчикам нашего века, самого прозаического из всех, какие видел мир, сюжет для эпопеи. Москва была сознательно принесена в жертву, и пламя этого благодетельного пожара стало сигналом революции в Германии и освобождения Европы.

Народы наконец почувствовали, что получат покой только после того, как уничтожат этого ненасытного завоевателя, который хотел достигнуть мира посредством непрекращающихся войн.

Таковы воспоминания, которые теснились у меня в голове, когда я впервые увидел Кремль. Чтобы достойно наградить Москву, российский император должен был перенести свою резиденцию в этот вдвойне священный город.

Кремль — не такой дворец, как другие, это целый город-крепость, и этот город-крепость — исток Москвы; он служит границей двум частям света, разделяет

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Запад и Восток: здесь присутствуют старый и новый мир; при наследниках Чингисхана Азия в последний раз ринулась на Европу; отступая, она топнула ногой — и на земле появился Кремль!

Государи, которые владеют нынче этим священным прибежищем восточного деспотизма, считают себя европейцами, потому что изгнали из Московии калмыков, своих братьев, тиранов и учителей; не в обиду им будь сказано, никто не был
894 так похож на ханов из Сарая, как их противники и последователи, московские цари, позаимствовавшие у них все, вплоть до титула. Русские называли татарских
894 ханов царями. Карамзин говорит по этому поводу в томе VI на странице 438:

«Сие имя не есть сокращение латинского Caesar, как многие неосновательно думали, но древнее восточное, которое сделалось у нас известно по славянскому переводу Библии и давалось императорам византийским, а в новейшие времена ханам монгольским, имея на языке персидском смысл ***трона*** или верховной власти; оно заметно также в окончании собственных имен монархов ассирийских и вавилонских: Фалласcяр, *Набонассар* и проч.». — И в качестве примечания он добавляет: «См. Баера в "Origin. Russ". — В нашем переводе Священного писания вместо Caesar говорится ***Кесарь***; а Царь есть совсем иное слово».

В черте города я пересек ничем не примечательный бульвар, затем спустился по пологому склону и оказался в довольно красивом квартале с прямыми как стрела улицами и каменными домами; наконец меня отвезли на Дмитровку: там находится превосходный английский постоялый двор, где меня ждала прелестная уютная комнатка. Еще когда я был в Петербурге, меня рекомендовали госпоже Говард, которая в ином случае не сдала бы мне комнату. Я далек от мысли упрекать ее за щепетильность, ибо благодаря такой осторожности в ее доме можно спать спокойно.

Вы желаете узнать, какой ценой добилась она чистоты, ведь чистота редкость везде, в России же — настоящее чудо? Она построила во дворе отдельный флигель, и русские слуги спят там. Эти люди входят в главное здание лишь по приказанию хозяев. Госпожа Говард идет в своих предосторожностях еще дальше. Она не принимает почти никого из русских; поэтому ни мой ямщик, ни мой фельдъегерь не знали, где находится ее постоялый двор; мы разыскали его не без труда: на доме даже нет вывески, хотя это лучший постоялый двор не только в Москве, но, пожалуй, во всей России.

Устроившись, я решил отдохнуть и сел вам писать. Приближается ночь, светит луна; я прерываю письмо и пойду поброжу по городу; когда вернусь, я расскажу вам о моей прогулке.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ПИСЬМА

Москва, 8 августа 1839 года, 1 час пополуночи

Я вышел около десяти часов вечера, один, без провожатого, и по привычке пошел куда глаза глядят; я бродил по длинным широким улицам, плохо вымощенным, как все улицы в русских городах, да вдобавок еще и ухабистым; но эти мерзкие улицы проложены регулярно. В архитектуре этой страны нет недостатка

в прямых линиях; однако прямоугольная планировка испортила Москву не так сильно, как Петербург. Там глупые тираны современных городов начинали на пустом месте, а здесь им приходилось бороться с неровностями почвы и старинными постройками — национальной гордостью: благодаря этим непреодолимым препятствиям, воздвигнутым историей и природой, Москва сохранила облик древнего города; это самый живописный из всех городов Империи, которая по-прежнему признает Москву своей столицей вопреки нечеловеческим усилиям Петра I и его преемников; так сила вещей побеждает волю самых могущественных людей!

Лишенная религиозных почестей, утратившая своего патриарха, покинутая своими властителями и самыми близкими ко двору боярами, не имеющая иных достоинств, кроме своего героизма, проявленного слишком недавно, чтобы его могли по заслугам оценить современники, Москва стала, за неимением лучшего, торговым и промышленным городом; говорят, здесь хорошая шелковая фабрика!.. Но история и архитектура обеспечивают Москве неотъемлемое право на политическое главенство. Русское правительство покровительствует заводам: не в силах остановить стремительное течение века, оно предпочитает дать народу богатство, но только не освободить его. 894

Когда я вышел из дому, было около десяти часов вечера; день угасал, и в сумерках вставала сияющая сквозь пыль вдохновенная луна полуночных широт. Шпицы монастырей, иглы колоколен, башни, крепостные валы, дворцы и все неправильной формы величественные громады Кремля были озарены случайными лучами света, окружающими их золотой бахромой, меж тем как сам город погрузился в тень; блики закатного солнца, которые скользили, тускнея, с одной черепицы на другую, с одного медного купола на другой, постепенно гасли, а их светящиеся волны порхали и таяли на позолоченных цепях и металлических кровлях, образующих небосвод Москвы: все эти постройки, яркие, как богатые ковры, празднично блистали на фоне голубеющего неба. Закатное солнце словно не хотело покидать город, не попрощавшись; это расставание дня с зачарованными замками древней российской столицы было великолепно. В ушах у меня звенели тучи комаров, глаза жег песок, беспрестанно вздымаемый копытами лошадей, которые мчат во все стороны множество экипажей.

Самые многочисленные и самые живописные из них — дрожки: эта поистине национальная повозка — летние сани. Поскольку они могут перевозить зараз с удобством только одного человека, их должно быть бесконечно много, дабы удовлетворять нужды деятельного, многочисленного, но затерянного в гигантском городе населения, постоянно стекающегося со всех окраин к центру. Московская пыль чрезвычайно докучлива; мелкая, как зола, легкая, как рои мошек, с которыми она смешивается в это время года, она застилает взор и затрудняет дыхание. Днем стоит палящий зной, а ночи слишком коротки, и пагубная роса не умеряет засушливую утреннюю жару; это пекло остывает лишь поздно вечером. Даже сами русские удивляются такой нестерпимой и долгой жаре.

Не подчинила ли себе империя славян, это солнце, встающее на политическом небосклоне и притягивающее взоры всей земли, не подчинила ли она себе

и Божье солнце? Местные жители утверждают и любят повторять, что климат в России становится все мягче. Поразительна сила человеческой цивилизации, чьи успехи, похоже, изменили все, вплоть до температуры земного шара!.. Относительно московских и петербургских зим не знаю, но лето мало где так неприятно, как в этих двух городах. Теплое время года — самая мерзкая пора в северных странах.

Первое, что поразило меня на московских улицах, — люди, которые кажутся более бойкими, более открытыми и веселыми, чем жители Петербурга: здесь чувствуются веяния свободы, неведомые всей остальной империи; именно этим объясняется для меня скрытая неприязнь государей к Москве — городу, которому они льстят, которого они побаиваются и избегают.

Николай I как истый русский утверждает, что очень любит Москву: однако я не вижу, чтобы он живал здесь чаще, чем его предшественники, ненавидевшие этот древний город.

Нынче вечером на нескольких улицах я увидел иллюминацию, правда довольно убогую; лампионов было немного, и некоторые из них стояли прямо на земле. Трудно уразуметь любовь русских к иллюминации, ведь в ту недолгую пору, когда можно наслаждаться такого рода украшениями, даже в Москве, не говоря уж о Санкт-Петербурге, почти не бывает темноты.

По пути домой я спросил, по какому поводу происходят эти скромные торжества. Мне ответили, что иллюминацию устраивают в дни рождения и в дни тезоименитства всех членов императорской фамилии, так что увеселения никогда не прекращаются. В России подобные праздники столь часты, что их почти никто не замечает. Это безразличие русских доказывает мне, что страх бывает неосторожен и не всегда умеет так ловко льстить, как хотелось бы. Искусный льстец — только любовь, потому что ее хвалы, даже самые чрезмерные, искренни. Вот истина, которую совесть подсказывает деспотам, но, увы, безуспешно.

Неуспех совести в делах человеческих, как в больших, так и в малых, кажется мне самой непостижимой тайной этого мира, ибо доказывает мне существование мира иного. Господь ничего не делает без умысла; поэтому коль скоро он наделил совестью всех людей и коль скоро этот внутренний свет не находит применения на земле, значит, его предназначение — не здесь; страсти наши порождают несправедливости этого мира, совесть наша будет блюсти неподкупную справедливость мира иного.

Я медленно брел за гуляющими и, преодолев несколько подъемов и спусков вслед за толпой бездельников, которые невольно сделались моими проводниками, пришел в центр города, на пустынную площадь, от которой начинается аллея; эта аллея показалась мне совершенно замечательной: издали доносилась музыка, сверкало множество огней, открытые кафе напоминали Европу; но меня не занимали увеселительные заведения: я был под стенами Кремля, этой гигантской горы, созданной во имя тирании руками рабов. В наше время вокруг стен древней московской крепости насадили аллею для народных гуляний, своего рода английский сад.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Знаете ли вы, что такое кремлевские стены? Слово «стены» вызывает у нас в памяти нечто чересчур заурядное, чересчур ничтожное, оно обманывает вас; кремлевские стены — горная цепь... Эта цитадель, построенная на границе Европы и Азии, так же не похожа на обыкновенную крепость, как Альпы не похожи на наши холмы: Кремль — это Монблан среди крепостей. Если б великан, который зовется Российской империей, имел сердце, я сказал бы, что Кремль — сердце этого чудовища: но сердца у России нет, значит, Кремль — ее голова...

Я хотел бы дать вам представление об этой каменной громаде, ступенями уходящей в небо. Странное противоречие!.. Это прибежище деспотизма было воздвигнуто во имя свободы, ибо Кремль стал валом, который защищал русских от набегов калмыков: его стены имели два назначения: они стояли на страже государственной независимости и укрепляли власть государя. Стены эти смело повторяют неровности почвы; когда склон становится слишком крутым, стена спускается уступами; эти ступени, которые ведут с земли на небо, огромны, это лестница гигантов, бросивших вызов богам.

В эту первую цепь построек врезаются фантастические башни, высокие, мощные и замысловатые, словно прибрежные скалы и сверкающие ледники; в темноте предметы, конечно, казались больше, чем на самом деле, их очертания и тона изменились; я говорю «тона», ибо ночь, как гравюра, имеет свой колорит... Не знаю, почему я ходил как зачарованный, но зато я твердо знаю, что меня охватил тайный ужас... когда смотришь, как дамы и господа, одетые по парижской моде, гуляют у подножия этого сказочного дворца, кажется, будто спишь и видишь сон!.. Я видел сон. Что сказал бы Иван III, восстановитель, можно даже 894
сказать основатель Кремля, если бы увидел, как у стен священной крепости москвитяне, бритые, завитые, во фраках и белых панталонах, в желтых перчатках, непринужденно сидят перед ярко освещенными кафе, кушают сладкое мороженое и слушают музыку? Он сказал бы то же, что и я: не может быть!.. И тем не менее летом это можно наблюдать теперь в Москве каждый вечер.

Итак, я прогулялся по саду, разбитому у крепостного вала древней цитадели царей, я видел башни, за ними другие башни, уступы стен, за ними еще уступы, и взор мой парил над зачарованным городом. Слово «феерия» слишком слабо и не передает великолепия открывшейся мне картины!.. Только юность с ее красноречием, юность, которую всё удивляет и поражает, могла бы найти подходящие слова для этого чуда. Над длинным сводом, под которым я только что прошел, я заметил подвесную дорогу, по которой в священную кре- 894
пость входят пешеходы и въезжают коляски. Картина эта показалась мне непостижимой: кругом одни лишь башни, ворота, террасы, громоздящиеся одна над другой в разных направлениях; всюду крутые скаты, арки, которые подпирают дороги, ведущие из нынешней Москвы, Москвы заурядной, в Кремль, в Москву историческую, в Москву чудесную. Эти акведуки без воды поддерживают этажи еще более фантастических построек; на одной из этих подвесных дорог я увидел низкую, круглую башню, всю ощетинившуюся зубцами острыми, как пики: это необыкновенное украшение выделяется своей ослепительной белизной на фоне кроваво-красной стены: кричащий контраст, заметный даже

в полупрозрачной мгле северной ночи. Эта башня — великан, стоящий на страже форта, и голова его возвышается над укреплениями. Вдоволь насладившись этими грезами наяву, я стал искать обратную дорогу; вернувшись домой, я сел писать вам письмо — занятие, мало способствующее успокоению. Но я переутомился и не могу отдыхать; чтобы спать, нужны силы.

Чего только не увидишь ночью в лунном свете, обходя вокруг Кремля! Все здесь таинственно и чудесно; так и кажется, будто бродишь среди призраков: кто мог бы приблизиться без благоговейного ужаса к этому священному крепостному валу, камень из которого, вывороченный Бонапартом, долетел до самого острова Святой Елены, дабы настигнуть дерзкого победителя среди океана... Прошу прощения, я родился в эпоху пышных фраз.

895 Самая новая из новых литературных школ окончательно изгоняет их из словесности и упрощает язык, ибо народы, начисто лишенные воображения, паче всего боятся проявлений этого недоступного им дара. Я могу восхищаться пуританским стилем в устах высокоталантливых людей, способных искупить его однообразие, но я не в силах ему подражать.

После всего, что я увидел нынче вечером, мне следовало бы вернуться прямо к родным пенатам: большего потрясения я в этом путешествии уже не испытаю.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

Кремль при свете дня. — Его исконные хозяева. — Характер его архитектуры. — Символический смысл. — Размеры русских церквей. — Человеческая история как средство описывать места. — Влияние Ивана IV. — Высказывание Петра I. — Преступное долготерпение. — Подданные Ивана IV и нынешние русские. — Иван IV в сравнении со всеми тиранами, упомянутыми в истории. — Источник, откуда я почерпнул рассказанные сведения. — Брошюра князя Вяземского. — Почему следует доверять Карамзину.

Москва, 8 августа 1839 года SJ6

Офтальмия, которую я приобрел между Петербургом и Москвой, беспокоит и мучит меня. Но, несмотря на боль, мне захотелось повторить сегодня вчерашнюю вечернюю прогулку, чтобы сравнить Кремль при свете дня с фантастическим ночным Кремлем. Тьма увеличивает, сдвигает с места предметы, но солнце возвращает им их истинные формы и пропорции.

Когда я снова увидел эту крепость царей, она снова поразила меня. Лунный свет увеличивал и выпячивал одни каменные громады, но скрывал от меня другие, и, замечая свои заблуждения, признавая, что мне примерещилось слишком много сводов, слишком много крытых галерей, слишком много подвесных дорог, портиков и подземелий, я все же увидел их довольно, чтобы оправдать мой энтузиазм.

В Кремле есть все: это пейзаж в камне.

Стены его крепче скал; на территории его столько построек и столько достопримечательностей, что это просто чудо. Этот лабиринт дворцов, музеев, башен, церквей, тюрем наводит ужас, как архитектурные сооружения на полотнах 896
Мартина; все здесь так же грандиозно и еще более запутанно, чем в творениях английского художника. Таинственные звуки раздаются из глубины кремлевских подземелий; такие жилища не для обычных людей. Перед внутренним взором встают самые удивительные картины, и человек трепещет при мысли, что картины эти отнюдь не плод воображения. Голоса, которые там слышишь, кажутся замогильными; в Кремле начинаешь верить в чудеса.

ПИСЬМОДВАДЦАТЬЧЕТВЕРТОЕ

Запомните, московский Кремль вовсе не то, чем его принято считать. Это не дворец, это не национальная святыня, где хранятся древние сокровища империи; это не русская крепость, это не чтимый народом приют, где почиют святые, защитники родины; Кремль и меньше и больше этого; он просто-напросто обиталище призраков.

Нынче утром, снова отправившись гулять без провожатого, я добрался до самой сердцевины Кремля и зашел в несколько церквей, являющихся украшением этой твердыни благочестия, столь почитаемой русскими как за священные реликвии, так и за светские драгоценности и военные трофеи, которые там хранятся. Я сейчас слишком взволнован, чтобы описывать вам все в подробностях; позже я осмотрю сокровищницу внимательнее и поведаю вам обо всем, что там увижу.

Издали Кремль показался мне княжеским градом, стоящим на холме посреди города простолюдинов. Этот замок тиранов, эта гордая каменная громада встает над жилищем простого люда во всю высоту своих скал, стен и куполов и, в противоположность тому, что случается с памятниками обычных размеров, чем ближе подходишь к этой твердыне, тем больше восхищения она вызывает. Подобно скелетам гигантских древних животных, Кремль доказывает нам, что мир, в реальности которого мы все еще продолжаем сомневаться, даже находя его останки, все же существует. Этому чудесному творению сила заменяет красоту, вычурность — изящество; это мечта тирана, мощная, страшная, как мысль человека, который властвует над мыслью народа; здесь есть нечто несоразмерное: я вижу оборонительные сооружения на случай войны, но теперь таких войн уже не бывает; эта архитектура не соответствует нуждам современной цивилизации.

Наследие сказочных времен, когда всюду безраздельно властвовала ложь: тюрьма, дворец, святилище; крепостной вал для защиты от иноземцев, укрепленный замок для защиты от черни, оплот тиранов, тюрьма народов — вот что такое Кремль!

Своего рода северный Акрополь, варварский Пантеон, эта национальная
896 святыня заслуживает имени славянского Алькасара.

Таково излюбленное обиталище старых московских правителей, и все же эти грозные стены не могли успокоить Ивана IV, и чувство ужаса не оставляло его.

Страх человека всемогущего — самое ужасное, что есть в этом мире, поэтому к Кремлю невозможно приблизиться без трепета.

Башни всех форм: круглые, квадратные, островерхие, башни штурмовые, подзорные, караульные башни и башенки, какие-то сторожки на минаретах, колокольни разной высоты, всех цветов, видов и сортов; дворцы, соборы, наблюдательные вышки, зубчатые стены с амбразурами; обычные бойницы, галереи с навесными бойницами, валы, всевозможные укрепления, какие-то причудливые сооружения, непонятные выдумки, беседка под стенами собора; все обличает беспорядок и произвол, все выдает постоянную тревогу странных созданий, которые обрекли себя на жизнь в этом фантастическом мире, за свою безопасность. Но эти бесчисленные памятники гордыни, прихоти, сластолюбия, славы,

благочестия, несмотря на кажущееся разнообразие, выражают одну-единственную мысль, которая подчиняет себе все: эта мысль — вечный страх, порождающий воинственность. Кремль бесспорно есть творение существа сверхчеловеческого, но злобного. Прославление рабства — такова аллегория, запечатленная в этом сатанинском памятнике, столь же необычном для зодчества, сколь видения апостола Иоанна необычны для поэзии: это жилище под стать действующим лицам Апокалипсиса.

Хотя у каждой башенки есть свое лицо и свое назначение, все они выражают одну идею: ужас, понуждающий браться за оружие.

Одни башни похожи на архиерейскую митру, другие на пасть дракона, третьи на обнаженный меч: эфес внизу, острие наверху; иные напоминают формой и даже цветом экзотические плоды; иные имеют вид царской короны с острыми зубцами, украшенными каменьями, как корона венецианского дожа; у иных обычные венцы, и все эти разнообразные башни крыты глянцевой черепицей; все эти металлические купола, все эти пестрые, позолоченные, лазурные, серебристые своды сверкают на солнце, как эмали на этажерке, вернее, как колоссальные сталактиты в соляных копях, которые встречаются в окрестностях Кракова. Эти громадные столбы, эти всевозможные главки — пирамидальные, круглые, остроконечные, но всегда отдаленно напоминающие человеческое лицо, — возвышаются над городом и страной.

Когда глядишь издалека, как они сияют в небе, кажется, будто тут собрались на совет главы держав в богатых одеждах и при всех регалиях: это собрание старейшин, царский совет, заседающий на могилах; это призраки, которые бдят на вершине дворца.

Жить в Кремле — значит не жить, но обороняться; угнетение ведет к бунту, а раз возможен бунт, нужно принять меры предосторожности; предосторожности в свой черед усугубляют опасность мятежа, и из этой длинной цепи действий и противодействий рождается чудовище, деспотизм, который построил себе в Москве цитадель: Кремль! Вот и все. Если бы великаны, жившие в допотопные времена, вернулись на землю, чтобы посмотреть, как живет хилое племя, пришедшее им на смену, они могли бы найти здесь пристанище.

В архитектуре Кремля все, вольно или невольно, имеет символический смысл: на самом же деле, когда, преодолев первый приступ страха, вы вступаете в лоно этого дикарского великолепия, взору вашему предстает не что иное, как скопище тюрем, пышно именуемых дворцами и соборами. Впрочем, русские зря стараются: как ни исхитряйся, а тюрьма все равно тюрьма.

Даже климат в их стране — пособник тирании. Холод не позволяет строить здесь просторных церквей, в них люди просто закоченели бы во время молитвы; здесь дух не поднимается к небу посредством прекрасных соборов; в этой полосе человек может посвящать Богу лишь мрачные башни. Темные низкие своды и толстые стены делают кремлевские соборы похожими на подземелья, это раскрашенные тюрьмы, а дворцы суть позолоченные застенки.

О чудесах этой пугающей архитектуры можно сказать то же, что говорят путешественники, оказавшись в Альпах: эта красота наводит ужас.

ПИСЬМОДВАДЦАТЬЧЕТВЕРТОЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО

Вечер того же дня

Мне все сильнее и сильнее жжет глаз, я давеча послал за доктором, и он велел мне три дня не выходить из дому и наложил повязку. По счастью, другой глаз видит нормально, и я могу писать.

Я намереваюсь за эти три дня вынужденного отдыха закончить работу, которую начал в Петербурге и забросил из-за превратностей моей жизни в этом городе. Это краткий рассказ о царствовании Ивана IV, тирана из тиранов и души Кремля. Не он построил эту крепость, но он здесь родился, здесь умер, сюда он возвращается, здесь витает его дух.

План Кремля был задуман и осуществлен его предком Иваном III и его единомышленниками, и я хочу рассказать об этих исполинских фигурах; в них, как в зеркале, отразился Кремль, который я не в силах описать словами, ибо здесь слова мои не соответствуют вещам. Впрочем, эта иносказательная манера, по-моему, не только нова, но и верна; доселе я делал все, что от меня зависит, чтобы описать вам место само по себе, теперь я хочу показать вам его под другим углом зрения, то есть через историю людей, которые в нем жили.

Если по убранству дома мы можем судить о нраве особы, которая в нем живет, нельзя ли таким же образом, исходя из характера людей, вообразить себе облик зданий, которые были для них построены? Наши страсти, наши привычки, наш дух очень сильны и неизгладимо запечатлеваются во всем, вплоть до камней наших жилищ.

Несомненно, если существует памятник, к которому приложим этот способ описания, то это Кремль... В нем воочию видны Европа и Азия и объединяющий их дух византийских греков.

Принимая все в расчет и рассматривая эту крепость как в отношении чисто историческом, так и с точки зрения поэтической и живописной, можно сказать, что это самый национальный и, следовательно, самый интересный для русских и для иноземцев памятник в России.

Как я вам уже говорил, Иван IV вовсе не возводил Кремль: это святилище
896 деспотизма было перестроено в камне при Иване III, в 1485 году, итальянскими зодчими Марко и Пьетро Антонио, выписанными в Москву ***великим князем,*** который хотел укрепить деревянные стены крепости, основанной при Дмитрии Донском.

Но если дворец этот и не творение Ивана IV, то он воплощение его мысли. Ибо благодаря пророческому дару великий царь Иван III воздвиг дворец для своего внука-тирана. Итальянские зодчие работали повсюду: нигде они не создали ничего подобного тому, что построили в Москве. Добавлю, что и в других странах были правители, имевшие неограниченную власть, и в других странах на трон восходили несправедливые, властные самодуры, однако царствование ни одного из этих чудовищ не похоже на царствование Ивана IV: одно и то же семя, взошедшее в разных широтах и на разных почвах, приносит плоды одного

вида, но различной величины и облика. На земле нет и не будет ни шедевра деспотизма, равного Кремлю, ни народа такого суеверного и терпеливого, каким был народ Московии в легендарное царствование своего тирана.

Последствия этого чувствуются по сю пору. Если бы вы путешествовали вместе со мной, вы, так же как и я, заметили бы неизбежные опустошения, которые произвел в душе русского народа абсолютный произвол; прежде всего это дикое пренебрежение к святости данного слова, к истинности чувств, к справедливости поступков; затем это торжествующая во всех делах и сделках ложь, это все виды бесчеловечности, недобросовестности и обмана, одним словом, притупление нравственного чувства.

Мне кажется, я воочию вижу, как из всех ворот Кремля выходят пороки и заполоняют Россию.

Петр I говорил: чтобы обмануть одного русского, нужны три еврея; нам нет 896
нужды стесняться в выражениях, как императору, поэтому мы понимаем его слова так: один русский перехитрит трех евреев.

Другие народы терпели гнет, русский народ его полюбил; он любит его по сей день. Не характерна ли эта фантастическая покорность? Впрочем, нельзя не признать, что подчас эта всеобщая мания кротости становится основой возвышенных поступков. В этой бесчеловечной стране общество исковеркало человека, но не умалило его: удивительное перерождение душевных способностей! Человек здесь порой поднимает низость до героизма; он лишен доброты, но лишен и мелочности: то же можно сказать и о Кремле. Он не радует взор, но внушает страх. Он не прекрасен, он ужасен, ужасен, как царствование Ивана I V.

Такое царствование навеки делает душу народа, безропотно пережившего его, слепой; даже последние отпрыски этих людей, заклейменных именем палачей, будут носить на себе отпечаток преступлений своих отцов: преступление против человечества сказывается вплоть до самого отдаленного потомства. Это преступление состоит не только в том, чтобы творить несправедливость, но и в том, чтобы ее терпеть; народ, который, провозглашая смирение первейшей добродетелью, завещает потомкам тиранию, пренебрегает собственными интересами; более того, он не исполняет своего долга.

Слепая покорность подданных, их безропотность, их верность безумным хозяевам — не достоинства, а недостатки: повиновение похвально, неограниченная власть почтенна лишь постольку, поскольку они становятся средством, охраняющим права человека. Когда царь не признает их, когда он забывает, на каких условиях человеку дозволено властвовать над себе подобными, граждане подчиняются только Богу, своему вечному владыке, который освобождает их от клятвы верности владыке мирскому.

Вот чего русские никогда не допускали и не понимали; однако эти условия необходимы для развития истинной цивилизации; без них наступил бы час, когда жизнь в обществе стала бы для человечества не полезной, а вредной, и софисты без труда вернули бы человека в лесную чащу.

Хотя такие взгляды — не более чем приложение к жизни Священного писания, они при всей их умеренности слывут в Петербурге бунтарскими. Итак,

нынешние русские — достойные потомки подданных Ивана IV. Это одна из причин, побуждающих меня кратко изложить вам историю его царствования.

Во Франции я не помнил об этих событиях, но в России приходится вспоминать ужасные подробности. Я посвящу этому следующее письмо; не бойтесь, оно не будет скучным: никогда еще рассказ не был столь увлекательным или по меньшей мере любопытным.

Этот безумец, так сказать, перешел границы, в которых творение Божье получило от Бога под именем свободной воли дозволение творить зло: никогда человек не простирал свою длань так далеко. Иван IV был кровожаднее и свирепее всех Тибериев, Неронов, Каракалл, Людовиков XI, Педро Жестоких, Ричардов III, Генрихов VIII, наконец всех древних и современных тиранов с их самыми неподкупными судьями во главе с Тацитом.

Поэтому, прежде чем излагать подробности невероятных бесчинств, я должен доказать вам, что мои сведения достоверны. Я ничего не стану цитировать по памяти: пускаясь в путь, я нагрузил карету необходимыми книгами, и главный источник, откуда я черпал сведения, — это Карамзин, автор, которого русские не могут обвинить в очернительстве, ибо ему ставят в упрек, что он не сгустил, но, напротив, смягчил краски, заботясь о славе своего народа. Чрезвычайная осмотрительность, доходящая до пристрастности, — таков изъян этого автора; российский патриотизм неизменно грешит снисходительностью. Всякий русский писатель — царедворец, таков был и Карамзин: я нахожу тому доказательства в маленькой брошюре, изданной другим царедворцем, князем Вяземским: это рассказ о пожаре Зимнего дворца в Петербурге, рассказ, написанный исключительно во славу государя, который, по счастью, на сей раз заслужил расточаемые ему похвалы. Там есть следующие слова:

«Разве найдется в России хоть одно знатное семейство, у которого нет какого-либо славного воспоминания, связанного с этими стенами?[1]

Наши отцы, наши деды, все наши государственные, общественные, военные знаменитости получили здесь из государевых рук от имени отечества высокие награды за свои труды, заслуги, доблесть. Именно здесь звучала национальная лира в руках Ломоносова и Державина, здесь Карамзин читал ***страницы своей "Истории"*** перед августейшей аудиторией.[2] Этот дворец был палладием нашей славы; то был Кремль нашей современной истории» (Князь Вяземский. Пожар Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Париж, у Ж. Г. Дантю, в Пале-Руаяле, с. 11).

Можно и даже нужно верить Карамзину, когда он рассказывает чудовищные подробности жизни Ивана IV. Заверяю вас, что все события, которые вы читаете в моем кратком изложении, подробно рассказаны этим историком в его книге «История государства Российского», переведенной Жоффре и законченной господином Дивольфом, действительным статским советником и камергером российского императора; одиннадцать томов in-8 Париж, в галерее Боссанжа-отца, улица Ришелье, д. 60. 1826.

[1] Зимний дворец в Петербурге сгорел 29 декабря 1837 года.

[2] Карамзин, без сомнения, не пытался преувеличивать то, что могло вызвать неудовольствие таких судей.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Биография Ивана IV. — Цитата из брошюры г-на Толстого. — Начало царствования Ивана IV. — Действие его деспотической власти на русских. — Одна из причин жестокости Ивана. — Осада Казани. — Взятие Астрахани. — Как царь обошелся со своими старыми друзьями. — Воспоминания его детства. — Изменения в его нравственном и физическом облике. — Его женитьба. — Ложь и тирания неразлучны. — Изощренная жестокость царя. — Пытки, совершавшиеся по его приказу и в его присутствии. — Участь Новгорода. — Как далеко заходила мстительность царя. — Живые часы. — Кровавая ирония. — Отречение. — Как поступили в этом случае русские. — Тайная причина русского раболепства. — Иван возвращается на престол. — На каких условиях. — Александровская слобода. — Опричнина, или избранники. — Портрет Ивана IV, нарисованный Карамзиным. — Разные отрывки из творений этого автора. — Последствия опричнины. — Трусость Ивана IV. — Его поведение во время пожара Москвы. — Как он обошелся с Ливонией. — Покорение Сибири. — Благорасположение Ивана к Елизавете Английской. — Письмо Елизаветы Ивану. — План бракосочетания Ивана с Марией Гастингс, родственницей английской королевы. — Иван и его сотрапезники меняют платье. — Причины низкопоклонства Ивановых подданных. — Религиозное смирение. — Русская церковь в цепях. — Какова та единственная церковь, что остается свободной. — Русский священник. — Участь, ожидающая всякую схизматическую церковь. — Католический священник. — Продолжение цитат из Карамзина. — Бессердечный поступок великого князя Константина. — Сходство нынешних русских с их предками. — Еще один отрывок из Карамзина: посол русского самодержца и жертва, обреченная на казнь. — Переписка царя с Грязновым. — Иван уступает Ливонию Баторию. — Последствия этого предательства. — Смерть царевича, сына Ивана. — Трагедия. — Бог призывает юношу. — Величие человеческой души. — Смерть Ивана IV. — Его последнее злодеяние. — ПРИЛОЖЕНИЕ. — Кремль. — Новые отрывки из Карамзина. — Чем можно извинить деспотизм. — Что следовало бы русским думать и говорить о Карамзине. — Что означает потребность в справедливости, живущая в человеческом сердце. — Христианская духовность. — Память русского народа об Иване IV. — Портрет Ивана III, нарисованный Карамзиным. — Сходство Петра Великого с Иванами. — Фрагменты из книги господина де Сегюра. — Как обошелся со своим сыном царь Петр I. — Казнь Глебова. — Смерть царевича Алексея.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

898 *Москва, 11 августа 1839 года*

Если вам не доводилось изучать историю России, вы сочтете главу, которую вам предстоит прочесть, чудовищным вымыслом; меж тем я всего лишь изложил подлинные факты.

Впрочем, когда вглядываешься в долгое царствование Ивана IV, прежде всего обращаешь внимание не на все его злодейства, засвидетельствованные истори• ей, но больше всего напоминающие сказки. Нет, предмет, ставящий в тупик философа, вечный источник изумления и опасных раздумий, — действие, которое оказала эта беспримерная тирания на истребляемый народ; жертвы не только не восстали против деспотической власти, но, напротив, прониклись к ней безграничным почтением. Это чудесное обстоятельство проливает, как мне кажется, новый свет на тайны человеческого сердца.

Иван IV вступил на престол еще ребенком, в 1533 году; коронован он был
898 семнадцати лет от роду, 16 января 1546 года, а умер в Кремле, в своей постели, 18 января 1584 года, в возрасте шестидесяти четырех лет; он правил своей державой пятьдесят один год и после кончины был оплакан всеми подданными без исключения, в том числе и детьми убиенных им жертв. Впрочем, летописи ничего не сообщают о том, как приняли смерть Ивана московские матери: сомнительно, чтобы они разделили всеобщую скорбь.

При дурном правлении женщины развращаются не так быстро, как мужчины, выполняющие приказания властей и потому в большей степени подверженные воздействию общественных предрассудков своей эпохи и страны. Как бы там ни было, следует признать, что чудовищное царствование Ивана так сильно заворожило русских, что они научились находить предмет для восхищения даже в бесстыдстве своих правителей; политическая покорность сделалась для русских культом, религией.[1]

---

[1] Г-н Толстой, на которого я уже ссылался, излагает политическую доктрину своих соотечественников следующим образом: «И пусть мне не говорят, что человек, правящий единолично, может не проявить должной твердости, что его заблуждения могут привести к серьезным катастрофам, особенно если он не несет никакой ответственности за свои действия...

Возможно ли допустить отсутствие патриотического чувства в человеке, которому Провидение вверило власть над ему подобными? Такой государь явился бы чудовищным исключением из правила.

Что же до ответственности (ее не существует в странах, где даже самые страшные злоупотребления тирании получают всеобщее благословение), то разве не должен государь бояться проклятия народов и резца истории, навечно запечатлевающего на ее скрижалях злодеяния сильных мира сего? Что сталось бы сегодня с Россией, если бы Петр Великий не правил ею самовластно?

Что сталось бы с русскими, если бы их депутаты собирались ежегодно, чтобы шесть месяцев подряд обсуждать меры, в которых большинство из них ровно ничего не смыслят? Ведь наука правления не принадлежит к числу врожденных знаний; что же сталось бы со всеми нами, не управляй Россией монарх, чья мудрая и энергическая, *ничем*

ПИСЬМОДВАДЦАТЬЧЕТВЕРТОЕ

Насколько мне известно, нет другой страны, где бы жертвы боготворили своих палачей!.. Разве римляне падали к ногам Тиберия или Нерона, умоляя их не отрекаться от абсолютной власти и по-прежнему жечь и грабить Рим, проливать кровь его жителей и бесчестить их детей? А москвичи в самый разгар деспотического царствования Ивана IV поступили, как вы скоро убедитесь, именно таким образом.

Тиран пожелал покинуть престол, но русские, надеясь перехитрить своего 898
повелителя, упросили его не отрекаться от царской короны и полностью предали себя в его власть. Оправданный и обнадеженный своим народом, Иван вновь принялся зверствовать. Для него царствовать значило убивать; он истреблял людей из страха и из чувства долга, причем эту незамысловатую хартию скрепили согласие всей России и скорбные рыдания всей нации, оплакавшей смерть тирана!.. Решившись, подобно Нерону, сбросить бремя славы и добродетели, дабы править исключительно с помощью страха, Иван не ограничивается зверствами, каких не знало человечество ни до ни после него, он осыпает несчастные жертвы оскорблениями; алча чужих мучений, он не брезгует ничем, вплоть до насмешек; в его уме, безжалостном и сатирическом, жуткое уживается с бурлескным. Ему мало терзать тела: издевательскими речами он разрывает сердца; объятый страхом и гордыней, он подвергает себе подобных адским мукам, причем жестокость его слов превосходит в изощренности даже бесчеловечность его деяний.

Сказанное не означает, что и для тела он не изобрел таких мучительных и продолжительных казней, каких не знал никто до него: его правление было царством пытки.

Воображение отказывается поверить, что подобный нравственный и политический феномен мог быть столь долговечным. Впрочем, я только что сказал и повторяю еще раз: подобно сыну Агриппины, Иван начал со свершений благо- 898
родных и с таких подвигов, какие, быть может, даже скорее чем добродетель, способны снискать герою любовь нации честолюбивой и суетной, — а именно с завоеваний. В эту пору своей жизни, умерив кровожадность и грубость, присущие ему с детства, он вверился советам мудрых и суровых друзей.

Стараниями набожных советников и осмотрительных наставников начало Иванова царствования сделалось одной из блистательнейших и счастливейших эпох московской истории; но эпоха эта долго не продлилась, а происшедшая с царем перемена оказалась стремительной, ужасной и всеобъемлющей.

В 1552 году, после достопамятной осады, Казань, этот грозный форпост азиатского мусульманства, пала под ударами юного царя; мощь этого государя

не скованная мысль печется не о чем ином, как о счастье России?» («Взгляд на российское законодательство», с. 143,144).

Сказанного, я полагаю, довольно, чтобы доказать, что политические идеи самых просвещенных из наших русских современников немногим отличаются от тех взглядов, которые исповедовали подданные Ивана IV, и что в своем монархическом идолопоклонничестве они не отличают безграничный деспотизм от монархии, ограниченной конституцией.

поразила противостоявших ему полуварваров. Он отстаивал свои военные замыслы с упорством героя и прозорливостью мудреца, сокрушая многоопытных полководцев и завоевывая в конце концов их восхищение.

В начале своей воинской карьеры Иван действовал с отвагой, исключавшей всякую мысль об осторожности; но прошло немного времени, и он сделался столь же пуглив и раболепен, сколь смел был в юности: трусость его возрастала одновременно с жестокостью, ибо у него, как почти у всех злодеев, бесчеловечность являлась следствием страха. До конца дней своих он не мог забыть о том, что претерпел в юности, — о деспотизме бояр. Их распри угрожали его жизни в ту пору, когда он был слишком слаб, чтобы постоять за себя; кажется, будто в зрелом возрасте им овладело единственное желание — отомстить за отроческую беспомощность.

Но ужасная жизнь этого человека содержит урок, исполненный глубокого нравственного смысла: теряя добродетель, он терял и отвагу.

Неужели, вкладывая сердце в грудь человека, Творец сказал ему: «Ты останешься храбр лишь до тех пор, пока останешься милосерден!»?

Будь это истиной и не опровергай этого утешительного правила чересчур многочисленные и чересчур прославленные примеры, вера в Бога оказалась бы делом чересчур легким: мы получили бы основания думать, что Господь вмешивается в жизнь каждого из своих творений так же решительно, как вмешивался он, в чем мы имеем возможность удостовериться, в жизнь такого человека, как Иван IV. Этот монарх, чья история и характер единственные в своем роде, был храбр, как лев, до тех пор, пока хранил великодушие; стоило ему утратить сострадание к людям, как он сделался труслив, словно раб. Хотя в анналах рода человеческого такой итог — редкостное исключение, он кажется мне драгоценным и утешительным, и я счастлив, что могу извлечь такую мораль из столь чудовищной истории.

Благодаря упорству юного героя, осужденному поначалу всеми его совет-
898 никами, судьба Казани постигла еще один город — Астрахань. Освобожденная от соседства со своими прежними повелителями, татарами, Россия испустила вопль радости; однако русский народ, рожденный для повиновения, избавился от одного ига лишь для того, чтобы покориться другому, и, в робкой гордыне вольноотпущенника, возвел своего юного царя в сан божества. В ту пору Иван был столь же красив, сколь и мужествен: русские боготворили его.

Но внезапно утомленный царь решает предаться отдыху и в расцвете славы оставляет оружие; наскучив благословенными добродетелями, изнемогши под тяжестью лавровых венков и пальмовых ветвей, он навсегда отрекается от святых деяний. Он избирает иную участь: никому не доверять и, вместо того чтобы внимать мудрым советам своих друзей, карать их за тот страх, который они ему внушают. Однако безумие поселяется только в его сердце: разум остается здрав-.Сколь бы сумасбродные поступки он ни совершал, речи его блистают рассудительностью, а письма — логичностью; их язвительный тон обличает коварство его души, но делает честь проницательности и ясности ума.

Первыми гибнут от руки Ивана его многолетние советники; он видит в них учителей, а следственно — предателей. Он приговаривает к ссылке или к смерти

этих преступников, замахнувшихся на самодержавную власть, этих министров, имевших наглость долгое время почитать себя мудрее царя, — и вся нация соглашается с приговором. Советам этих неподкупных людей он обязан своей славой, но груз признательности ему не по силам; дабы его не упрекнули в неблагодарности, он убивает своих спасителей... Тогда зажигается в его груди дикая ярость; детские страхи пробуждают жестокость во взрослом муже; память о раздорах и неистовстве старших, оспаривавших друг у друга честь охранять его колыбель, ни на минуту не покидает душу Ивана, заставляя его видеть повсюду предателей и заговорщиков.

Поклонение самому себе со всеми вытекающими из него последствиями — вот на чем, с согласия всей России, зиждились государственная политика царя и его правосудие. Несмотря на свои злодеяния, Иван IV был любимцем нации; повсюду, кроме Московии, на него смотрели бы как на чудовище, извергнутое адом.

Устав лгать, в своем цинизме он доходит до того, что избавляет себя от необходимости притворяться, этой последней предосторожности заурядных тиранов. Он не скрывает своей кровожадности и, дабы не краснеть более при виде чужой добродетели, отдает последних неподкупных друзей на растерзание новоявленным фаворитам, не страдающим излишней щепетильностью.

Царь и его приспешники начинают состязаться в злодеяниях, о которых невозможно слышать без содрогания, причем — ибо Господь еще раз являет себя в этой почти сверхъестественной истории — лишь только наступает новая эпоха в нравственном бытии Ивана, изменяется и его внешность: если в ранней юности он был прекрасен, то, став преступником, немедля утрачивает прежнюю красоту.

Он теряет супругу — верх совершенства — и женится на другой, столь же кро- 898
вожадной, сколь и он сам; она также умирает. К ужасу Греческой церкви, не разрешающей сочетаться браком более двух раз, он женится в третий раз, а затем в четвертый, пятый, шестой и седьмой!!! Точное число его женитьб покрыто мраком. Он прогоняет своих жен, убивает их, забывает об их существовании; ни одна женщина не может долго сопротивляться ни его ласкам, ни его гневу, а он, несмотря на подчеркнутое равнодушие к предметам своей давнишней страсти, мстит за их смерть с мелочной злобой, так что уход из жизни царской жены неизменно вселяет ужас в души всех его подданных. Меж тем чаще всего в смертях, служащих предлогом для стольких казней, виновен сам царь: иной раз он убивает жену собственноручно, иной раз отдает приказ наемным убийцам. В трауре он видит лишь случай пролить чужую кровь и исторгнуть чужие слезы.

Рассказывая всем и каждому, что благочестивая царица, прекрасная царица, несчастная царица была отравлена царскими министрами, царскими советниками или приближенными к царю боярами, он называет имена тех, от которых ему хотелось избавиться.

Взгляните на него. Маска приросла к его лицу; он лжет по привычке, если не по необходимости, ведь ложь и тирания неразлучны! Ложь — пища развращенных душ и бесчестных правительств, подобно тому как истина — пища душ возрождающихся и обществ, устроенных разумно.

ПИСЬМОДВАДЦАТЬЧЕТВЕРТОЕ

Никто не смел сомневаться в справедливости Ивановых наветов; яд его речей поражал людей насмерть, трупы громоздились вокруг него, но смерть была наименьшим из зол, грозивших его врагам. В жестокости своей он измышлял пытки, заставлявшие несчастных ждать смерти как избавления. Многоопытный палач, он наслаждался, с адской искусностью продлевая пытки, и в своей беспощадной предупредительности настолько же сильно опасался гибели своих жертв, могущей положить конец их мукам, насколько сильно сами они ее желали. Смерть — единственная милость, какою он жаловал своих подданных.

Мой долг — описать вам некоторые из новейших казней, изобретенных Иваном для так называемых преступников:[1] по его приказу людям обваривали часть тела кипятком, одновременно обливая остальные члены ледяной водой; с людей заживо сдирали кожу ***в присутствии царя,*** а затем бичевали их обнаженную, трепещущую плоть ремнями; глаза изверга наслаждались зрелищем их конвульсий, уши жадно впитывали их стоны; иной раз он сам приканчивал несчастных ударом кинжала, но чаще всего старательно оберегал голову и сердце, дабы продлить пытку; он приказывал отрубать жертвам члены так искусно, чтобы не затронуть туловище, а затем швырял обрубки голодным псам, которые жадно вырывали друг у друга эту жалкую плоть на глазах у наполовину изрубленных мучеников.

Прислужники царя тщательно, умело, с безжалостной сноровкой поддерживали трепещущие туловища, дабы жертвы могли как можно дольше присутствовать на этом собачьем пиру, где угощением служили их собственные члены, пиру, устроенном по приказу царя, в кровожадности не уступавшего тигру...

Палачи падали с ног от усталости; священники не успевали отпевать покойников. Для примерного наказания изверг избрал Новгород Великий. Весь город был обвинен в переходе на сторону поляков, но истинная вина новгородцев состояла в том, что они долгое время вели жизнь независимую и покрыли себя славой; поэтому прямо в стенах залитого кровью города свершилось множество беззаконных казней; бесчисленные трупы, брошенные без погребения, гнили, отравляя течение Волхова; вдобавок, словно казни унесли недостаточно жизней, смертоносная эпидемия, истребляя тех новгородцев, что избегли эшафота, действовала заодно с палачами, утоляя ярость ***батюшки,*** — это нежное имя или, точнее, титул русские, добродушные в своем низкопоклонстве, присваивают машинально всем своим могущественным и обожаемым государям, каков бы ни был их нрав.

Во время этого безумного царствования ни один человек не следует естественному течению своей жизни, ни один не проживает ее до положенного природой конца: человек в нечестии своем притязает на роль Бога; сама смерть, низведенная до прислужницы палача, теряет свою грозность постольку, поскольку жизнь теряет цену. Тиран низвергнул ангела, и земля, напоенная слезами и кровью, безропотно смотрит, как посланец небес послушно следует за наемниками

[1] Карамзин, из книги которого я почерпнул эти сведения, подтверждает свой рассказ документами.

земного владыки. При Иване смерть становится рабыней человека. Этот всемогущий безумец поставил себе на службу саму чуму, которая с покорностью капрала истребляет целые страны, обреченные на гибель по прихоти монарха. Источник радости этого человека — чужое горе; источник его власти — убийства; жизнь его — бесславная война, война мирного времени, война против созданий, не способных защищаться, нагих, безвольных и отданных Господом под его священное покровительство; закон, которым он руководствуется, — ненависть к роду человеческому, владеющая им страсть — ужас, причем ужас двуединый: тот, какой ощущает он сам, и тот, какой он внушает окружающим.

Если он берется мстить, то его справедливый суд обрекает на гибель всех родственников виновного вплоть до самых дальних; истребляя целые семейства, убивая юных дев и стариков, беременных женщин и младенцев, он, не в пример заурядным тиранам, не ограничивается уничтожением нескольких подозрительных личностей, нескольких родов; подражая иудейскому Богу, он стирает с лица земли обитателей целых областей, не щадя никого: все, что жило, расстается с жизнью, — все, вплоть до зверей и рыб, ибо — возможно ли в это поверить? — он отравляет реки и озера. Он заставляет сыновей казнить... собственных отцов!.. И находятся такие, кто соглашается!!! Оказывается, любовь к жизни может заставить человека убить того, кто ему эту жизнь даровал.

Превращая человеческие тела в часы, Иван изобретает яды, оказывающие свое действие через строго определенные промежутки времени, и таким образом измеряет свой день чужими смертями; жертвы сходят в могилу, которую царь постоянно отверзает перед ними с веселящей убийцу безупречной точностью. Разве, назвав это веселье адским, мы погрешим против истины? Разве способен человек самостоятельно изобрести подобные источники наслаждения? Разве посмел бы он осквернить священное слово «правосудие», применив его к этой нечестивой игре? Кто, читая подобные истории, может усомниться в том, что ад существует?

Царь-изверг самолично присутствует при пытках, совершаемых по его приказу; льющаяся кровь пьянит его, но не насыщает; чем больше людей гибнет и мучится на его глазах, тем большей радости он исполняется.

Ему доставляет удовольствие — да что там, он почитает своим долгом — оскорбить жертву, и жало его насмешек оказывается острее лезвия его кинжалов.

И что же? Видя все это, Россия молчит!.. Впрочем, подождите; скоро вы увидите, как она взволнуется, как поднимет свой голос. Не подумайте, однако, что она встанет на защиту поруганного милосердия; нет, она бросится отстаивать свое право жить под властью государя, только что нами описанного.

Казалось бы, народ должен хорошо знать изверга, столько раз являвшего миру свою кровожадность, — и народ его знает. Внезапно, то ли для того, чтобы позабавиться, испытывая терпение русских, то ли под действием христианского чувства (он притворялся, будто уважает святую веру; лицемерие могло в иные мгновения его сверхъестественной жизни оборачиваться истинной религиозностью, ибо благодать, этот божественный яд, проникает постепенно даже в сердца величайших преступников, и конец этому кладет только смерть, произносящая

свой обвинительный приговор)... итак, под действием раскаяния или страха, из каприза, из слабости или из хитрости, но однажды Иван оставляет свой скипетр, а вернее сказать, свой топор, и бросает наземь царский венец. Тогда — единственный раз за все долгое царствование злодея — империя приходит в волнение; нация, которой грозит освобождение, просыпается; русские, дотоле остававшиеся немыми свидетелями, безвольными исполнителями стольких зверств, возвышают голос, и голос этот — глас народа, притязающий на звание гласа Божьего, — как это ни удивительно, оплакивает потерю государя-тирана!.. Быть может, подданные Ивана сомневались в его искренности и справедливо опасались, что, поверив его поддельному отречению, будут жестоко наказаны; кто знает, не была ли вся их любовь к государю порождена исключительно страхом перед тираном! Русские отточили страх до того, что он принял форму любви.

898 Москве угрожает чужеземное нашествие (царь верно выбрал время для покаяния); люди боятся анархии, иначе говоря, русские предвидят миг, когда им больше не удастся избегать свободы и придется думать и желать самостоятельно на благо самим себе; придется показать себя мужчинами и, что гораздо труднее, гражданами: то, что составило бы счастье другого народа, приводит этот в отчаяние. Одним словом, затравленная, ослабевшая от длительного бездействия Россия, не помня себя, падает к ногам Ивана, которого боится меньше, чем самой себя; она молит этого неотвратимого победителя принять окровавленный венец и скипетр, она подбирает их с земли и вручает ему, выпрашивая у него дозволения вновь склонить голову под тем железным ярмом, которое ей никогда не надоест носить.

Если это — смирение, то оно чрезмерно даже для христиан, если это — трусость, то она непростительна, если это — патриотизм, то он нечестив. Когда человек смиряет гордыню, это — благо, когда он любит рабство, это — зло; религия укрощает, рабство унижает; между ними такая же разница, как между святостью и зверством.

Как бы там ни было, русские, принудив свою совесть к молчанию, ставят монарха выше Бога и почитают за добродетель принести все, что имеют, в жертву империи... ненавистной империи, чье существование зиждится исключительно на пренебрежении человеческим достоинством!!! Ослепленные монархическим идолопоклонством, преклонив колени перед политическим кумиром, которого они сами же и изваяли, русские, как в наш век, так и в век Ивана, забывают, что для человечества, включая и славян, уважение к истине и справедливости важнее судьбы России.

Здесь в античную драму вновь вмешивается сила сверхъестественная. Какое же будущее уготавливает Провидение обществу, платящему за продление своего бытия такую страшную цену? — этот вопрос повергает меня в трепет.

Как я уже многократно говорил, под пеплом Греческой империи тлеет в России новая империя — империя Римская. Страх сам по себе не способен внушить людям столь безграничное терпение. Нет, поверьте моему предчувствию, русскими владеет страсть, которая не была свойственна в такой степени никому, кроме римлян, и страсть эта зовется честолюбием. Честолюбие принуждает их,

подобно Бонапарту, жертвовать всем, решительно всем, потребности длить свое существование.

Именно этот верховный закон предал нацию во власть Ивана IV; они согласны поклоняться тигру вместо бога — лишь бы не погибла их империя; такой политики придерживались русские во время царствования, положившего начало России, и в политике этой — стихийной или обдуманной, не важно, — долготерпение жертв пугает меня даже больше, чем неистовость тирана. Больше того, я с ужасом замечаю, что, как бы ни изменялись обстоятельства, те же взгляды русские исповедуют по сей день, так что, роди русская земля второго Ивана IV, все повторилось бы вновь.

Итак, полюбуйтесь картиной, равной которой не найти в мировой истории: русские с отвагой и низостью людей, алчущих господства над миром, в слезах молят Ивана, чтобы он продолжал править ими... вы уже знаете, каким образом, и чтобы он сохранил тот порядок, который вызвал бы ненависть у любого другого народа, не опьяненного фанатическим предчувствием грядущей славы.

Большие и малые, бояре и купцы, сословия и частные лица — словом, вся нация рыдает, заверяет царя в своей любви и клянется повиноваться ему во всем, лишь бы он не покинул ее, ибо для русских действовать по собственному усмотрению — такое страшное испытание, о каком они с их подлым патриотизмом боятся даже помыслить: ведь следствием этого испытания не может не стать хаос, гибельный для империи рабов. В низости, достигшей подобных пределов, есть нечто величественное; это — римская добродетель, залог нерушимости Государства, но какого Государства, Боже милостивый!.. В этом случае средство бесчестит цель!

Между тем хищник, растрогавшись, соглашается исполнить просьбу пожираемых им жертв; он обещает стадам снова приняться за их истребление, он снова берет власть в свои руки, не только не посулив народу никаких послаблений, но, напротив, выставив абсурдные условия, направленные исключительно к удовлетворению его неистовой гордыни, и эти условия народ, мечтающий о рабстве, как другие мечтают о свободе, народ, алчущий собственной крови и готовый умереть ради забавы государя, принимает как великую милость: ведь он, этот народ, тревожится и трепещет, стоит ему вздохнуть свободно.

С этой поры тирания забирает над русскими все права и при этом продолжает быть столь кровавой, что подобной ей мы не найдем во всей мировой истории, ибо здесь равно безумны были и гонители, и гонимые. И государь, и нация — вся империя впала в неистовство, и последствия этого помрачения ума не изжиты и по сей день.

Грозный Кремль со всеми его красотами, с железными воротами, сказочными подземельями, неприступными крепостными стенами, уходящими далеко в небо, с галереями, бойницами и башнями кажется обезумевшему монарху, жаждущему уничтожить половину своих подданных, дабы мирно править другой половиной, недостаточно надежным убежищем. В его сердце, которое развращает само себя тем сильнее, чем больше злодеяний и преступлений совершает его обладатель, в сердце, где зверства и рождаемый ими страх творят каждый

день новые опустошения, непостижимая, не имеющая видимой или, по крайней мере, положительной причины недоверчивость соединяется с бесцельной жестокостью; таким образом, самая постыдная трусость питает самую слепую кровожадность. Новый Навуходоносор, царь превращается в тигра.

898 Вначале он удаляется во дворец, расположенный неподалеку от Кремля, и устраивает из него неприступную крепость, а затем поселяется в ***пустыни*** — Александровской слободе. Это место становится его постоянной резиденцией, Здесь из самых развращенных, самых беспутных своих рабов он выбирает тысячу человек, призванных служить в особом войске — опричнине. Этому адскому полчищу он вверяет на целых семь лет благосостояние и жизнь русского народа; я сказал бы: благосостояние, жизнь и честь, если бы слово «честь» имело какой-нибудь смысл применительно к людям, которым нравится, чтобы правители затыкали им рот кляпом.

Вот как Карамзин в девятом томе своей истории описывает Ивана в 1565 году, на девятнадцатом году его царствования:

898 «Он был велик ростом, строен; имел высокие плечи, крепкие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, нос римский, глаза небольшие, серые, но светлые, проницательные, исполненные огня, и лицо некогда приятное. В сие время он так изменился, что нельзя было узнать его: на лице изображалась мрачная свирепость; все черты исказились, взор угас, а на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса от неизъяснимого действия ярости, которая кипела в душе его. Снова исчислив вины бояр и подтвердив согласие остаться царем, Иоанн много рассуждал о должности венценосцев блюсти
898 спокойствие держав, брать все нужные для того меры — о кратковременности жизни, о необходимости видеть далее гроба, и предложил устав ***опричнины:*** имя, дотоле неизвестное! Иоанн сказал, что он для своей и государственной безопасности учреждает особенных телохранителей. Такая мысль никого не удивила: знали его недоверчивость, боязливость, свойственную нечистой совести; но обстоятельства удивили, а следствия привели в новый ужас Россию... Царь выбирал тысячу телохранителей из князей, дворян, детей боярских [1] и давал им поместья в сих городах, а тамошних вотчинников и владельцев переводил в иные места. В самой Москве он взял себе иные улицы, откуда надлежало выслать всех дворян и приказных людей, не записанных в царскую тысячу... Как бы возненавидев славные воспоминания кремлевские и священные гробы предков, не хотел жить в великолепном дворце Иоанна III; указал строить новый... и подобно крепости оградить высокою стеною. Сия часть России и Москвы, сия тысящная дружина Иоаннова, сей новый двор как отдельная собственность царя, находясь под его непосредственным ведомством, были названы ***опричниною».***

Далее в том же томе описаны мучения, которым продолжали подвергаться бояре при Иване IV:

---

899 [1] Боярские дети — владельцы земель, пожалованных царем; эта новая знать, числом до трехсот тысяч, была создана дедом Ивана IV Иваном III.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

«4 февраля Москва увидела исполнение ***условий,*** объявленных царем духовенству и боярам в Александровской слободе. Начались казни мнимых изменников, которые будто бы вместе с Курбским умышляли на жизнь Иоанна, покойной царицы Анастасии и детей его. Первою жертвою был славный воевода, князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, потомок Святого Владимира, Всеволода Великого и древних князей суздальских, знаменитый участник в завоевании Казанского царства, муж ***ума глубокого,*** искусный в делах ратных, ревностный друг отечества и христианин. Ему надлежало умереть вместе с сыном, Петром, семнадцатилетним юношею.[1] Оба шли к месту казни без страха, спокойно, держа друг друга за руку. Сын не хотел видеть казни отца, и первый склонил под меч свою голову; родитель отвел его от плахи, сказав с умилением: "да не зрю тебя мертвого!" Юноша уступил ему первенство, взял отсеченную голову отца, поцеловал ее, взглянул на небо и с лицом веселым отдал себя в руки палача. Шурин Горбатого, Петр Ховрин (родом грек), окольничий Головин, князь Иван Сухой-Кашин, и кравчий, князь Петр Иванович Горенский, были казнены в тот же день, а князь Дмитрий Шевырев посажен на кол. Пишут, что сей несчастный страдал целый день, но, укрепляемый верою, забывал муку и пел канон Иисусу. Двух бояр, князей Ивана Куракина и Дмитрия Немого, постригли; у многих дворян и детей боярских отняли имение; других с семействами сослали».

Набирая воинов в свою новую гвардию, царь отнюдь не ограничивался объявленною первоначально тысячью и вербовал опричников далеко не в одних только высших сословиях.

«Приводили, — пишет Карамзин, — молодых детей боярских, отличных не достоинствами, но так называемым удальством, распутством, готовностью на все... Иоанн предлагал им вопросы о роде их, о друзьях и покровителях: требовалось именно, чтобы они не имели никакой связи со знатными боярами; неизвестность, самая низость происхождения вменялась им в достоинство. Вместо тысячи царь избрал шесть тысяч и взял с них присягу служить ему верою и правдою, доносить на изменников, не дружиться с ***земскими*** (то есть со всеми, не записанными в опричнину),[2] не водить с ними хлеба-соли, не знать ни отца ни матери, знать единственно государя. За то государь дал им не только земли, но и домы и всю движимую собственность старых владельцев (числом двенадцать тысяч), высланных из пределов опричнины с голыми руками, так, что многие из них, люди заслуженные, израненные в битвах, с женами и детьми шли зимою пешком в иные отдаленные, пустые поместья».

О результатах этих адских установлений рассказано у того же Карамзина. Но подробностям, какими сопровождает свое повествование историк, не место в узких пределах нашей книги.

---

[1] Их казнили сразу — милость, которой могли бы позавидовать многие несчастные подданные Ивана.

[2] Таким образом, земскими были все русские, за исключением шести тысяч разбойников, состоявших в царской службе.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Стоило Ивану спустить с цепи свору опричников, как на страну обрушился шквал грабежей и убийств; новые любимцы тирана обирали соотечественников совершенно безнаказанно. Купцы и бояре с их крепостными, горожане, одним словом, все, кто не принадлежали к ***избранному*** кругу опричников, становились добычей царевых ***избранников.*** Это страшное воинство сливалось, кажется, в некое единое существо, чьей душою был сам царь.

Г

Грабители совершают ночные набеги на Москву и ее окрестности; всякое достоинство: добродетель, высокий род, богатство, очарование — губит его обладателя; женщины и девушки, блистающие красотою и имеющие несчастье слыть целомудренными, попадают в лапы насильников и становятся игрушкою царских фаворитов. Царь удерживает несчастных в своем логове, а когда они наскучивают ему, отправляет тех из них, кого не сгубил в подземельях нарочно для них изобретенными пытками, назад к мужьям или родителям. Вырвавшиеся из когтей тигра женщины возвращаются домой, где чахнут, не в силах снести позор.

Этого мало: не довольствуясь теми гнусностями, которые творит он сам, царь требует, чтобы в оргиях принимали участие его сыновья, и тем отнимает у своих бессильных подданных последнюю отраду — надежду на будущее.

Ожидание лучшего завтра для Ивана равносильно заговору против сегодняшнего монарха. Вдобавок, будь его сын не так развращен, не так подл, он, чего доброго, мог бы возвысить голос против отца? Впрочем... кто способен измерить глубину той бездонной пропасти, какую являла собою душа Ивана? Ему нравилось растлевать: ведь это все равно что убивать. Устав кромсать тела, он губил души, переходя от одного способа уничтожать к другому. Каждый развлекается по-своему.

В делах этот изверг представлял собою непостижимую смесь мощи и трусости. До тех пор, пока он считает себя сильнее противника, он угрожает ему; потерпев поражение — плачет и молит; он пресмыкается, позорит себя, свою страну, свой народ — и никто не противится этому, никто не возмущается подобной низостью!!! Даже стыд — та кара, что последней настигает нации, изменившие самим себе, не отверзает русским глаза!..

899 Крымский хан сжигает Москву, царь спасается бегством; вернувшись, он находит на месте столицы одни развалины; его появление пугает горюющих на пепелище жителей больше, чем нашествие врага. Однако никто ни единым словом не напоминает монарху о том, что покидать свой пост в минуту опасности — недостойно мужчины.

Поляки и шведы убеждаются поочередно то в его крайней спесивости, то в его безграничной трусости. Во время переговоров с крымским ханом он опус-
899 кается так низко, что предлагает татарам Казань и Астрахань, некогда отвоеванные у них с такой славой. Славу он чтит ничуть не больше, чем все остальное.

890 Позже он уступит Стефану Баторию Ливонию, ради завоевания которой его народ в течение нескольких столетий потратил столько сил, пролил столько крови; и все же, несмотря на бесконечные предательства самодержца, русские, чье подобострастие не имеет, кажется, предела, ни на мгновение не раскаиваются в своей покорности, столь же разорительной, сколь и унизительной: отвага

обошлась бы этой ополчившейся против самой себя нации куда дешевле. Даже Карамзин, наш современник, считает своим долгом описать постыдное поведение русского монарха в словах, призванных смягчить неизбежное, казалось бы, негодование: «Мы писали о ратных учреждениях сего деятельного Царствования: своим ***малодушием*** *срамя* наши знамена в поле, Иоанн оставил России войско, какого она не имела дотоле: лучше устроенное и многочисленнейшее прежнего». Последнее утверждение бесспорно, однако как не прибавить к нему несколько слов в защиту человеколюбия и славы отечества?

Именно в царствование Иоанна была, можно сказать, открыта и завоевана отважными русскими искателями приключений Сибирь. Ивану IV было суждено оставить в наследство своим потомкам это средство угнетения.

Иван питает безотчетное благорасположение к Елизавете Английской: два тигра издали угадывают, узнают друг друга; различие обстоятельств, в которых действуют два монарха, не может скрыть родства их натур. Иван — тигр на воле, Елизавета — тигр в клетке.

По-прежнему пребывая во власти вымышленных страхов, московский царь пишет послание жестокосердой дочери Генриха VIII, удачливой сопернице Марии Стюарт, прося, на случай, если удача отвернется от него, убежища в ее владениях. Елизавета отвечает письмом пространным и нежным. Карамзин цитирует по-английски лишь отдельные его фрагменты, которые я перевел дословно; оригинал, по словам историка, хранится в русских архивах:

«Господин брат наш царь и великий князь
Иван Васильевич, повелитель всея Руси!

Если бы когда-либо постигла вас, господин брат наш, такая несчастная случайность, по тайному ли заговору, по внешней ли вражде, что вы будете вынуждены покинуть ваши страны и пожелаете прибыть в наше королевство и во владения наши с благородною царицею, супругою вашею, и с любезными вашими детьми, князьями, — мы примем и будем содержать ваше высочество с такими почестями и учтивостями, какие столь высокому государю приличествуют, и будем усердно стараться все устроить в угодность желанию вашего величества, к свободному и спокойному провождению жизни вашего высочества со всеми теми, которых вы с собою привезете; вам, царь и великий князь, предоставлено будет исполнять христианский закон, как вам будет угодно; и мы не посягнем ни в каком отношении на оскорбления вашего величества или кого-либо из ваших подданных, не окажем никакого вмешательства в веру и закон вашего высочества, ниже отлучим ваше высочество от ваших домочадцев или допустим насильное отнятие от вас кого-либо из ваших. Сверх того назначим мы вам, царь и великий князь, в нашем королевстве место для содержания на ***вашем собственном счете*** на все время, пока будет вам угодно оставаться у нас. Обещаем сие по силе сей грамоты и словом христианского государя, в свидетельство чего и в большее укрепление сей грамоты мы, королева Елизавета, подписываем оную собственною нашею рукою в присутствии нижепоименованных вельмож наших и советников:

899 Великого канцлера Николая Бэкона (отца знаменитого философа), лорда Уильяма Парра, маркиза Нортгемптонского, кавалера ордена Подвязки, Генри, графа Арондела, кавалера сказанного ордена, Роберта Дедлея, графа Лейчестерского, нашего конюшего и кавалера ордена Подвязки. Далее следуют еще несколько имен, из коих последним — кавалер Сесил, первый секретарь».

В заключение королева добавляет: «Обещаем совместными усилиями сражаться против общих наших врагов и хранить верность всем данным здесь обещаниям до той поры, пока Господу не угодно будет прибрать нас к себе, чему порукою королевское слово и честь.

В нашем дворце Хэмптон-Корт, 18 мая двенадцатого года нашего царствования и 1570 года от Рождества Христова».

Дружба эта длилась до самой смерти царя, который даже подумывал одно время о вступлении в восьмой брак — с Марией Гастингс, родственницей королевы Англии: однако слава Ивана IV, покорившая мужественный ум Елизаветы, оставила равнодушной английскую невесту; к счастью, далеко не все сердца пленяются жестокостью.

Переговоры касательно этого брака были начаты английским лейб-медиком Робертом Якоби, которого Елизавета послала ко двору *своего друга* неза-
899 долго до смерти этого последнего; Якоби вез с собою письмо следующего содержания: «Мужа искуснейшего в целении болезней уступаю тебе, *моему брату кровному,* не для того, чтобы он был не нужен мне, но для того, что тебе нужен. Можешь смело вверить ему свое здравие. Посылаю с ним, в угодность твою, аптекарей и цирюльников, *волею и неволею,* хотя мы сами имеем недостаток в таких людях».

Подобные послания позволяют вполне постичь характер уз, какими наклонность к деспотизму и торговые интересы, для англичан первейшие из всех, связывали двух властителей. Довершим наш очерк Ивановой тирании.

899 Однажды ему взбрело на ум облачиться в монашеское платье; так же нарядил он и своих пособников, однако и переодетый монахом, царь продолжал устрашать небо и землю бесчеловечностью и чудовищным распутством. Злодеяния Ивана притупляют у народов способность к возмущению; как ни истощай самодержец их терпение, ему не видно конца! На ненасытную жестокость выжившего из ума повелителя рабы отвечают безграничным смирением: русские хотят жить под властью этого монарха, они любят его, как бы неистов и развращен он ни был; жалея царя за его страхи, они охотно расстаются с жизнью ради его спокойствия. Им не нужно большего счастья, большей независимости, большего уважения — лишь бы Иван оставался царем и правил ими. Ничто не утоляет вечную жажду этих смиренных мучеников пребывать в рабстве; никогда еще скоты не были более великодушны, вернее сказать, более слепы в своей покорности... Нет, послушание, доведенное до таких размеров, это уже не терпение, это страсть!

Нации юные так истово веруют в повсеместное присутствие Бога, в его способность вмешиваться в малейшие земные происшествия, что им никогда

не приходит на мысль объяснить движение человеческой истории действиями самого человека; по их понятиям, все, что свершается, свершается по Господней воле: нет таких бренных благ, от каких истинный верующий не отказался бы с радостью. Для того, кто алчет блаженства избранных, жизнь — пустяк. Чья бы рука ни прекратила течение ваших дней, она сотворит благо, а не зло. Вы поступитесь малым ради великого, вы претерпите минутное страдание ради вечного блаженства; что значит власть над всей землей сравнительно с добродетелью — тем единственным сокровищем, какое тиран не в силах отнять у человека, ибо палач стократно умножает святость жертв, с набожным смирением глядящих в глаза смерти?!

Так рассуждают народы, чье призвание — покорно сносить любые испытания; однако нигде эта опасная религия не рождала столько фанатиков, сколько их встречалось и встречается по сей день в России.

Невозможно без трепета слышать о том, каким целям служат в этой стране религиозные истины; услышав же, остается лишь преклонить колени и молить Господа об одной-единственной милости — чтобы толкователями его верховной мудрости были люди свободные; ведь священник-раб — это всегда лгун и вероотступник, а иногда еще и палач. Всякая *национальная* Церковь — плод раскола и, следственно, лишена независимости. Святилище, однажды осквернённое бунтом, превращается в лабораторию, откуда под видом лекарства исходит яд. Истинный священник — гражданин мира и паломник в страну небесную. Покоряясь как человек законам своей страны, как проповедник он не должен признавать над собою иного судьи, кроме первосвященника — единственного независимого прелата, какой существует на земле. Именно независимость земного главы Церкви сообщает пастырское достоинство всем католическим священникам, и в ней же — зарок нерушимости той власти, какою обладает папа римский. Все прочие священники возвратятся в лоно матери-Церкви, если признают святость своей миссии, а признав, оплачут свое позорное отступничество. Тогда светская власть не сумеет уже отыскать пастырей, готовых оправдать ее нападки на власть духовную. Церкви схизматические и еретические, исповедующие национальные религии, уступят место Католической Церкви, религии рода человеческого; ведь, согласно превосходному выражению господина де Шатобриана, протестантизм — религия князей. 899

Впрочем, я обязан отметить, что, несмотря на общеизвестную робость русского духовенства, во время непостижимого царствования Ивана IV именно Церковь больше всех противилась деспотизму. Позже Петр I и Екатерина II сполна отомстили ей за смелость, выказанную при их предшественнике. Свершилось: русский священник, бедный, униженный, развращенный, лишенный всякого авторитета, всякого сверхъестественного могущества, обыкновенный человек из плоти и крови, влачится за триумфальной колесницей своего врага, которого по-прежнему именует своим повелителем; он стал тем, чем пожелал сделать его этот повелитель: ничтожнейшим из рабов самодержавия; Иван IV мог бы порадоваться твердости Петра I и Екатерины И. Нынче вся Россия, от края и до края, твердо знает, что гласу Божьему не заглушить голоса императора. 890

Это — пропасть, куда неизбежно скатятся рано или поздно все национальные Церкви; обстоятельства, возможно, изменятся — нравственное раболепство останется неизменным; везде, где священник отрекается от своих прав, их присваивает Государство. Создать секту — значит лишить священство свободы. Там, где Церковь отпала от основного древа, совесть пастыря — не больше чем иллюзия; там вера утрачивает былую чистоту, а милосердие, этот небесный огонь, сжигающий сердца святых, угасает в людских душах!!!

На смену подаянию приходят приюты для бедных, на смену благодати — разум, который в делах веры — не что иное, как лицемерный пособник материи.

Вот в чем причина глубочайшей ненависти, которую питают пасторы и вообще все сектанты к католическому священнику. Все они сходятся на вражде к нему, ибо священник — только он; другие разглагольствуют, он учит.

Дабы дополнить портрет Ивана IV, следует вновь обратиться к Карамзину; завершая свой рассказ, я приведу самые характеристические отрывки из девятого тома его «Истории»:

900 «Сие местничество оказывалось и в службе придворной (как видите, во чреве хищного зверя царил своеобразный этикет): любимец Иоаннов, Борис Годунов,[1] новый кравчий (в 1578 году), судился с боярином, князем Василием Сицким, которого сын не хотел служить наряду с ним за столом государевым; несмотря на боярское достоинство князя Василия, Годунов царскою грамотою был объявлен выше его ***многими местами,*** для того, что дед Борисов в старых разрядах стоял выше Сицких. — Дозволяя Воеводам спорить о первенстве, Иоанн не спускал им оплошности в ратном деле: например, знатного сановника, князя Михаила Ноздроватого, ***высекли на конюшне*** за худое распоряжение при осаде Шмильтена».

Вот как почитал царь достоинство дворянства и армии. Описанный Карамзиным случай, происшедший в 1577 году, напоминает мне другой эпизод рус-
300 ской истории, совсем недавний, ибо случился он в наши дни. Я нарочно сталкиваю разные эпохи, чтобы доказать, что разница между прошлым и настоящим этой страны не так велика, как кажется. Дело происходило в Варшаве при великом князе Константине; Россией правил император Александр, человеколюбивейший из царей.

Однажды Константин командовал смотром гвардии; желая похвалиться перед неким знатным иностранцем дисциплиной, царящей в русской армии, он спрыгивает с коня, подходит к одному из генералов... ГЕНЕРАЛОВ!., и, ни в чем его не упрекая, хладнокровно пронзает ему ногу шпагой. Генерал не шевельнулся и не испустил ни единого стона: его унесли после того, как великий князь вытащил шпагу из раны. Этот рабский стоицизм подтверждает изречение абба-
900 та Гальяни: «Отвага — не что иное, как очень сильный страх!»

Зрители, наблюдавшие эту сцену, также не проронили ни слова. Напоминаю: это случилось в XIX столетии, на площади посреди Варшавы.

Как видите, нынешние русские достойны подданных Ивана IV, и дело тут вовсе не в безумии Константина. Положим даже, что он в самом деле был

[1] **Тот самый, что позже зарезал наследника и захватил престол.**

умалишенным, — ведь поступки его неизменно оскорбляли общественные приличия. Но позволять человеку, так много раз выказывавшему несомненные признаки безумия, командовать армией, править царством — значит расписываться в отвратительном презрении к человечеству, длить издевательства над людьми, столь же пагубные для власть имущих, сколь и оскорбительные для их жертв. Впрочем, лично мне не кажется, что великий князь Константин был не в своем уме; я вижу в его поступках лишь необузданную жестокость.

Я много раз слышал, что безумие — наследственная болезнь членов русской императорской фамилии: на мой взгляд, те, кто так говорят, просто льстят Романовым. Я полагаю, что виной всему не дурное здоровье индивидов, а порочное устройство самого общества. Абсолютная власть, если она в самом деле абсолютна, способна в конце концов расстроить самый здравый рассудок; деспотизм ослепляет людей; испив из чаши тирании, хмелеют и государь и народ. История России, на мой взгляд, доставляет неопровержимые доказательства этой истины.

Продолжим наши выписки из Карамзина, который, в свою очередь, цитирует ливонского летописца. На сей раз перед нами предстанут раболепный посол и боярин, подвергаемый пыткам, причем оба в равной степени боготворящие своего повелителя и палача.

«Но сии люди, — пишет историк ливонский, — ни от казней, ни от бесчестия не слабели в усердии к их монарху. Представим достопамятный случай. Чиновник Иоаннов, князь Сугорский, посланный (в 1576 году) к императору Максимильяну, занемог в Курляндии. Герцог, из уважения к царю, несколько раз наведывался о больном чрез своего министра, который всегда слышал от него сии слова: ***жизнь моя ничто: лишь бы государь наш здравствовал!*** Министр изъявил ему удивление. ***«Какможете вы,*** — спросил он, — ***служить с такою ревностию тирану?»*** Князь Сугорский ответствовал: ***«Мы,русские, преданы царям, и милосердым, и жестоким».*** В доказательство больной рассказал ему, что Иоанн незадолго пред тем велел, ЗА МАЛУЮ ВИНУ, ***одного из знатных людей*** посадить на кол; что сей несчастный жил целые сутки, в ужасных муках говорил с своею женою, с детьми и беспрестанно твердил: ***Боже! помилуй царя!..*** [1] То есть (добавляет от себя Карамзин) россияне славились тем, чем иноземцы укоряли их: слепою, неограниченною преданностию к монаршей воле в самых ее безрассудных уклонениях от государственных и человеческих законов».

Не дерзая выписывать эти удивительные эпизоды страница за страницей, я стараюсь выбирать наиболее выразительные. Поэтому здесь я ограничусь фрагментами из переписки царя с одним из его ставленников.

«Один из любимцев Иоанновых, Василий Грязной, был взят крымцами в разъезде на Молошных Водах: хан предлагал Царю обменять сего пленника на мурзу Дивия. Иоанн не согласился, хотя и жалел о судьбе Грязного, хотя и писал к нему ***дружественные письма,*** в коих, по своему характеру, милостиво издевался над его заслугами, говоря: «Ты мыслил, что воевать с крымцами так же легко, как шутить за столом моим. Они не вы: не дремлют в земле неприятельской

[1] Эта преданность жертвы тирану — род фанатизма, присущий азиатам и русским.

и не твердят беспрестанно: ***время домой!*** Как вздумалось тебе назваться знатным человеком? Правда, что мы, окруженные боярами изменниками, должны были, удалив их, приближить вас, низких рабов, к лицу нашему; но не забывай отца и деда своего! Можешь ли равняться с Дивием? Свобода возвратит тебе мягкое ложе, а ему меч на христиан. Довольно, что мы, жалуя рабов усердных, готовы искупить тебя нашею казною».

Ответ слуги не уступает письму хозяина; мало того, что в нем высказалось сердце человека подлого, — по нему можно составить представление о шпионстве, которому с той поры и по сей день подвергаются в России иностранцы. Конечно, далеко не все русские были бы способны на такие преступления, как Грязной, но я не в силах удержаться от мысли, что многие из них охотно начертали бы послания, похожие, по крайней мере по характеру выраженных в них
901 чувств, на письмо этого презренного существа; вот его текст: «Нет, государь; я не дремал в земле неприятельской: ***исполняя приказ твой, добывал языков для безопасности Русского царства;*** не верил другим: сам день и ночь бодрствовал. Меня взяли израненного, полумертвого, оставленного робкими товарищами. В бою я ***губил*** врагов христианства, ***а в плену твоих изменников:*** никто из них не остался здесь в живых; ***все тайно пали от руки моей!..***[1] ***Шутил я за столом государевым, чтобы веселить государя; ныне же умираю ЗА БОГА и ЗА ТЕБЯ; еще дышу, но единственно по особенной милости Божией, и то из усердия к твоей службе, да возвращуся вновь тешить Царя моего.*** Я телом в Крыму, а душою у ***Бога*** и у ***тебя.*** Не боюся смерти: боюся только опалы».

Такую ***дружескую*** переписку вел царь со своим ставленником.

Карамзин добавляет: в таких-то людях Иван имел нужду «для своей забавы и (как он думал) безопасности».

Однако все происшедшее во время этого удивительного царствования, удивительного прежде всего своей продолжительностью и спокойствием, бледнеет перед самым ужасным злодеянием царя.

Мы уже сказали, что, объятый подлым страхом, трепеща при одном упоминании Польши, Иван почти без боя уступил Баторию Ливонию — область, которую русские уже несколько столетий пытались отвоевать у шведов, поляков, ливонцев, а главное, у завоевавших ее и ею правивших рыцарей-меченосцев. Для
901 России Ливония была воротами в Европу, средством сообщения с цивилизованным миром; с незапамятных времен о ней мечтали русские цари, за них проливали кровь их подданные: под действием необъяснимого приступа страха спесивейший и одновременно трусливейший из монархов оставляет вожделенную добычу противнику без боя, без всякой видимой причины, одним росчерком пера, имея в своем распоряжении огромную армию и неисчислимые богатства; послушайте же, каково оказалось первое следствие этого предательства.

Царевич, любимый сын Ивана IV, которого он всегда баловал, которого воспитывал своим примером, приучая вершить злодеяния и предаваться самому

890 [1] При дворе императора Николая можно всякий день увидеть вельможу, прозванного «отравителем»; слыша это свое прозвище, он улыбается.

грязному распутству, ощущает при виде бесчестного отступления царя-отца прилив стыда; он не смеет возражать, ибо знает Ивана, но, тщательно избегая любых слов, в которых можно было бы расслышать несогласие, просит позволения отправиться на войну против поляков.

«Тебе не по нраву моя политика — стало быть, ты предатель! — восклицает царь. — Кто знает, может быть, ты уже замыслил поднять бунт против отца?»

Охваченный внезапной яростью, он хватает свой посох и что есть мочи ударяет сына по голове; один из приближенных хочет удержать руку тирана; Иван бьет еще раз — царевич падает: рана его смертельна! 901

Тут разыгрывается единственная в жизни Ивана IV трогательная сцена. Природа не знает ничего подобного: лишь поэзии по силам изобразить добродетели настолько величественные, что они выходят за рамки человеческого понимания.

Агония царевича длилась несколько дней; царь, едва постигнув, что он собственной рукою уничтожил самое дорогое ему существо, впал в отчаяние, Столь же буйное и бешеное, сколь бешеной была его ярость; он катался в пыли, испуская дикие вопли, он смешивал свои слезы с кровью сына, целовал его раны, молил небо и землю сохранить несчастному царевичу жизнь, которую сам отнял, призывал к себе докторов, колдунов, сулил им богатства, почет, власть, лишь бы они возвратили ему наследника престола, средоточие его нежных чувств... нежных чувств Ивана IV!..

Все тщетно! Неизбежная смерть приближается; отец поднял руку на сына; Господь вынес приговор обоим: сын умрет!.. Но пытка окончится не сразу; Иван узнает, что такое сострадать чужой боли.

Четыре дня юноша, полный жизни, боролся со смертью.

Как же провел он эти четыре дня? Как, по-вашему, этот отрок, развращенный отцом, — не забудьте об этом! — несправедливо заподозренный в предательстве, оскорбленный и смертельно раненный им, — как отомстил он за утрату всех надежд и четырехдневную пытку, на которую обрекло его небо, дабы преподать урок всем живущим на земле и, если возможно, наставить на путь истинный его убийцу?

Он провел эти четыре дня в молитвах: он просил небо за царя, он утешал своего губителя, ни на минуту не расставшегося с ним, оправдывал его, твердил ему, выказывая тонкость чувств, достойную сына лучшего отца, что возмездие, каким бы суровым оно ни казалось, справедливо, ибо сын, ропщущий, пусть даже тайком, против решений венценосного родителя, заслуживает смерти. А ведь смерть была уже у дверей, и говорящим владел не страх, но предрассудок, политическая вера.

Чуя приближение своего последнего часа, царевич тревожится лишь о том, чтобы скрыть свои ужасные мучения от убийцы, которого он почитает, как почитал бы лучшего из отцов и величайшего из царей: он умоляет Ивана удалиться.

Когда же царь, вместо того чтобы уступить просьбам умирающего, бросается в припадке раскаяния на постель сына, а затем падает на колени, дабы попросить запоздалого прощения у своей жертвы, этот юноша — героический образец

сыновней почтительности — черпает сверхъестественную мощь в сознании своего долга; стоя одной ногой в могиле, он каким-то чудом еще на мгновение продлевает свое земное бытие, дабы повторить еще более убедительно и торжественно, что он виновен, что гибель его справедлива и даже чересчур легка; сила духа, сыновняя любовь и уважение к царской власти помогают ему скрыть от отца муки юного тела, гибнущего в неравной борьбе со смертью. Уходя в мир иной, гладиатор прощает своему гонителю не из низкой гордыни, но из милосердия — единственно ради того, чтобы смягчить угрызения совести, терзающие преступного родителя. До последнего вздоха царевич уверяет отца в своей преданности законному правителю России и наконец, целуя убившую его руку, благословляя Господа, свою страну и своего отца, засыпает вечным сном.

Здесь гнев мой переходит в благочестивое изумление; я восхищаюсь чудесными дарами человеческой души, памятующей о своем божественном происхождении повсюду, даже там, где царят самые порочные обычаи и установления... Но я не дерзаю продолжать: страшно помыслить, что рабская покорность не покинула славного мученика даже у врат рая.

Но нет! смерть чуждается лести везде, даже в России; нет, нет, этот случай убеждает нас лишь в той прекрасной мысли, что самое растленное общество не способно извратить первоначальный замысел Провидения и что человек, яв-
902 ляющийся, по Платону, падшим ангелом, всегда может сделаться святым.

Царевич испускает дух в подмосковном логове тирана, именуемом Александровской слободой. Какая трагедия! Ни языческий Рим, ни Рим христианский не зрели сцен, подобных прощанию Ивана IV с его великодушным отпрыском.

Хотя русские и не умеют быть человечными, иногда им удается воспарить выше всего человечества. Они опровергают общеизвестную поговорку: «Кто на многое горазд, тому и малое нипочем».

902 Карамзин, судя Ивана более строго, чем я, сомневается в непритворности его горя. В самом деле, горевал царь недолго — но, как кажется мне, искренно.

Впрочем, нужно признать, что испытание это не смягчило характер изверга, и он продолжал до конца своих дней упиваться кровью невинных и коснеть в самом гнусном разврате.

Перед смертью царь не раз приказывал отнести себя в дворцовую кладовую. Там он жадно обводил угасающим взором свои сокровища — бесполезные богатства, ускользавшие из его рук вместе с жизнью!

На пороге смерти дикий зверь становится сатиром и в припадке отврати-
902 тельного любострастия оскорбляет собственную невестку, юную и ангельски чистую супругу своего второго сына Федора, ставшего после смерти царевича Ивана наследником престола. Молодая женщина приближается к смертному одру царя, дабы утешить его в предсмертных муках... но внезапно отшатывается и убегает, испустив вопль ужаса.

Так умер Иван IV в Кремле и... как ни трудно в это поверить, был оплакан, горько оплакан всей нацией: вельможами и крестьянами, горожанами и духовенством — так, как если бы он был лучшим из монархов. Эти проявления скорби, вольные или невольные, не слишком утешительны для тех монархов, чья

жизнь представляет собою цепь благодеяний. Повторим же еще и еще раз, что ничем не сдерживаемый деспотизм одурманивает ум человеческий. Сохранить рассудок после двадцатилетнего пребывания на российском престоле может либо ангел, либо гений, но еще с большим изумлением и ужасом я вижу, как заразительно безумие тирана и как легко вслед за монархом теряют разум его подданные; жертвы становятся старательными пособниками своих палачей. Вот урок, какой преподает нам Россия.

Подробная и совершенно достоверная история этой страны оказалась бы, вероятно, поучительнейшей из книг, однако создать ее было невозможно. Карамзин, попытавшийся это сделать, льстил своим героям; вдобавок он не дошел до воцарения династии Романовых. Впрочем, даже моего короткого и приглаженного рассказа довольно, чтобы дать вам понятие о событиях и людях, к которым путешественник невольно обращает мысленный взор при виде страшных кремлевских стен.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заключая очерк русской истории, написанный мною уже после возвращения в Петербург, я хочу еще раз повторить, что искусство не способно выразить впечатление, производимое архитектурой этой адской крепости; стиль дворцов, тюрем и часовен, именуемых здесь соборами, не похож решительно ни на что из виденного мною прежде. Кремль не имеет образца: он выстроен не в мавританском, не в готическом, не в античном и даже не в византийском вкусе, он не напоминает ни Альгамбру, ни египетские пирамиды, ни греческие храмы (какую бы эпоху мы ни взяли), ни архитектурные памятники Индии, Китая, Рима... Это, с позволения сказать, царская архитектура. 902

Иван — идеальный тиран. Кремль — идеальный дворец тирана. Царь — житель Кремля; Кремль — жилище царя. Я не любитель новых слов, особенно если сам еще не привык к ним, но царская архитектура — словосочетание, необходимое любому путешественнику; никакие другие слова не способны выразить впечатления от Кремля; кто знает, что такое царь, поймет меня.

Вообразите себе однажды, в горячечном бреду, что вы прогуливаетесь по обиталищу людей, которые только что жили и умерли на ваших глазах, и вы сразу мысленно перенесетесь в Москву — город великанов посреди города людей, город, где здания громоздятся одно на другое, где приют палачей соседствует с приютом жертв. История помогает уяснить, как они возникли и как случилось, что один из них разместился внутри другого.

В своем описании города, населенного допотопными гигантами, господин де Ламартин, не видевший Кремля, угадал его облик. Несмотря на скорость, с какою было сочинено «Падение ангела», а быть может, благодаря этой скорости, приближающей поэму к импровизации, в ней есть первоклассные красоты; «Падение ангела» — фреска, французская же публика принялась рассматривать ее в лупу; она стала сравнивать свежий плод вдохновения с завершенными произведениями поэта; публика ошиблась — это иной раз случается и с публикой. 902

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Признаюсь, мне самому для того, чтобы оценить по достоинству этот эпический набросок, пришлось добраться до стен Кремля и перелистать кровавые страницы «Истории государства Российского». Как ни робок Карамзин, чтение его книги поучительно, ибо, несмотря на всю осторожность историка, несмотря на его русское происхождение и предрассудки, привитые воспитанием, книга эта написана честным пером. Господь призвал Карамзина отомстить за поруганных соотечественников, — быть может, помимо его и их воли. Не допускай он тех недомолвок, в которых я его упрекаю, ему не позволили бы писать: в этой стране честность кажется бунтом, а моя искренность будет объявлена предательством. «В подобных словах отзываться о стране, где вас так прекрасно приняли!» Что же сказали бы они, если бы принимали меня дурно? Что моя книга — низкая месть. Я предпочитаю прослыть неблагодарным. Из всех этих соображений, не имеющих отношения к существу дела, можно извлечь один-единственный вывод: говорить о России правду дозволено лишь тому, кто вообще не был там принят.

Прибавлю к уже сказанному отрывки, которые, как мне кажется, разительно подтверждают то мнение о русских и об их стране, какое составилось у меня в ходе моего путешествия.

Начну с извинений, которые Карамзин счел своим долгом принести деспотической власти после того, как осмелился изобразить власть тираническую; смесь отваги и боязни, заметная в этом фрагменте, внушит вам, как внушила мне, восхищение, смешанное с состраданием к историку, которому обстоятельства до такой степени препятствуют изъяснять свои мысли.

902 «Сверх ига монголов, Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя: устояла с любовию к Аристократии,[1] ибо верила, что Бог посылает и язву, и землетрясение, и тиранов; не преломила железного скиптра в руках Иоанновых, и двадцать четыре года[2] сносила губителя, вооружаясь единственно молитвою и терпением, чтобы, в лучшие времена, иметь Петра Великого, Екатерину Вторую (история не любит именовать живых). В смирении великодушном
902 страдальцы умирали на лобном месте, как греки в Термопилах,[3] за отечество, за веру и верность, не имея и мысли о бунте.[4] Напрасно некоторые чужеземные историки, извиняя жестокость Иоаннову, писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею: сии заговоры существовали единственно в смутном уме царя, по всем свидетельствам наших летописей и бумаг государственных. Духовенство, бояре, граждане знаменитые не вызвали бы зверя из вертепа слободы Александровской, если бы замышляли измену, возводимую на них столь же нелепо, как

902 [1] Я подозреваю, что это ошибка переводчика, и вместо Аристократии следовало бы написать Автократии (Самодержавию), однако я цитирую перевод дословно.

[2] Таким сроком ограничил Карамзин тиранию Ивана IV, хотя в общей сложности этот царь правил пятьдесят лет.

[3] Истинно русское сравнение, показывающее, как мало пользы приносит изучение истории, если из нее извлекаются столь натужные выводы. Впрочем, повторю еще раз, Карамзин был человек выдающегося ума; однако он родился и жил в России.

[4] И вы смеете называть этих низкопоклонников страдальцами, мучениками!

и чародейство.[1] Нет, тигр упивался кровию агнцев — и жертвы, издыхая в невинности, последним взором на бедственную землю требовали справедливости, умилительного воспоминания от современников и потомства!

Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна, Героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, ***есть для ума загадка, и мы усомнились бы в истине самых достоверных о нем известий, если бы летописи других народов не являли нам столь же удивительных примеров».***

Продолжая свою защитительную речь, Карамзин прибегает к сравнениям, слишком лестным для Ивана IV, и называет имена Калигулы, Нерона и Людовика XI, а затем восклицает: «Изверги вне законов, вне правил и вероятностей ao2
рассудка: сии ужасные метеоры, сии блудящие огни страстей необузданных озаряют для нас, в пространстве веков, бездну возможного человеческого разврата, да видя содрогаемся! Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истиною дееписатель может, в правлении Самодержавном, выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои исступления».

Далее следует похвальное слово извергу. Все эти нравоучительные увертки, все эти риторические предосторожности незаметно оборачиваются кровавой сатирой; подобная робость стоит смелости, ибо звучит как разоблачение — разоблачение еще более разительное оттого, что невольное.

Тем не менее русские, вдохновляемые одобрением императора, гордятся 902
талантом Карамзина и восхищаются им из послушания, хотя гораздо правильнее с их стороны было бы вышвырнуть его книгу из всех библиотек и выпустить другое, исправленное ее издание, объявив первое апокрифом, а всего лучше — сказать, что этого первого издания никогда не существовало и первым вышло в свет издание второе.

Разве не так поступают русские со всякой неприятной для них истиной? В Санкт-Петербурге опасным людям затыкают рот, а неудобные факты изображают небывшими; благодаря этому власти могут позволить себе все что угодно. Если русские не примут мер, чтобы защитить деспотизм от ударов, наносимых ему книгою Карамзина, история почти наверняка отомстит им, ибо в этой книге хотя бы отчасти приоткрыта правда о России.

Европейцы, напротив, должны произносить имя Карамзина с благодарностью: разве чужестранцу дозволено было бы производить разыскания среди тех бумаг, к каким получил доступ русский сочинитель, проливший свет на некоторые эпизоды самой темной из историй? Уже одного этого обстоятельства

[1] **Переписываю перевод слово в слово.**

довольно для того, чтобы осудить деспотическое правление. Деспот может властвовать только в безмолвии и в потемках!!!

Кажется, однако, Господу угодно, чтобы эта удивительная страна пребывала под пятою деспотов: ослепляя народ, писателей и вельмож, он, однако, — я вынужден это признать — учит абсолютных монархов умерять жар огня в пек-
902 ле; тирания сделалась нынче менее тягостной, хотя принципы ее не изменились и по сей день слишком часто приводят к ужасающим последствиям: вспомним Сибирь... вспомним подземелья Петровской крепости в Петербурге, московские тюрьмы, крепость Шлиссельбург и многие другие, не известные мне, немые темницы, вспомним Польшу...

Пути Господни неисповедимы: люди исполняют его волю, не понимая ее... Однако, несмотря на свое ослепление, человек вечно испытывает потребность в истине и справедливости: потребность эта, которую ничто не способно вытравить из сердец, — залог бессмертия, ибо не в этом мире суждено ей найти удовлетворение. Она живет в нашей душе, но истоки ее — не на земле, а в небе, куда она нас и влечет.

Спиритуализм, в котором ныне упрекают христиан те люди, что тщатся отыскать в Евангелии подтверждение своей политики и желают положить удовольствие в основание религии, зиждущейся на самоотречении, — этот спиритуализм, представляемый нам благочестивой выдумкой наших священников, остается между тем единственным лекарством, дарованным нам Господом для врачевания неизбежных недугов, которые умножает наша жизнь по его и нашей воле.

Русский народ — тот из цивилизованных народов, чьи понятия о справедливости наиболее зыбки и расплывчаты; присвоив Ивану IV прозвище Грозный, каким прежде был награжден за подвиги его предок Иван III, русские не оценили по достоинству ни славного монарха, ни жестокосердого тирана; даже после смерти этого последнего они продолжали ему льстить — разве эта деталь не характеристична? Неужели правда, что в России тирания бессмертна? Вновь отсылаю вас к Карамзину:

902 «В заключение скажем, что ***добрая*** слава Иоаннова пережила его ***худую славу в народной памяти:*** стенания умолкли, жертвы истлели, и ***старые предания затмились новейшими;*** но имя Иоанново блистало на Судебнике и напоминало приобретение трех царств монгольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь, как живые монументы царя-завоевателя; чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл имя ***Мучителя,*** данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой отныне именует его только ***Грозным,*** не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа!»

Как видите, обоих, и великого правителя, и изверга именуют ***Грозными!..*** Именуют не кто иные, как потомки! Вот праведный суд русского образца; само
903 время в этой стране — пособник несправедливости. Лекуэнт Лаво в своем «Путеводителе по Москве», описывая царский дворец в Кремле, не постыдился вызвать

тень Ивана IV и дерзнул сравнить его с Давидом, оплакивающим заблуждения юности. Книга Лаво написана для русских.

Не могу отказать себе в удовольствии познакомить вас с последней цитатой из Карамзина; это — описание характера князя, которым Россия гордится. Только русский может говорить об Иване III так, как говорит Карамзин, и при этом полагать, что произносит монарху хвалу. Только русский может описывать царствование Ивана IV так, как описывает Карамзин, и закончить свой рассказ словами, извиняющими деспотизм. Вот подлинное мнение историка об Иване III, великом предке Ивана IV:

«Гордый в сношениях с царями, величавый в приеме их посольств, любил 903
пышную торжественность; уставил обряд ***целования*** монаршей руки в знак лестной милости; хотел и всеми наружными способами возвышаться пред людьми, чтобы сильно действовать на воображение; одним словом, разгадав тайны самодержавия, сделался как бы земным Богом для россиян, которые ***с сего времени*** (подчеркнуто Карамзиным или его переводчиком) начали удивлять все иные народы своею беспредельною покорностию воле монаршей. Ему первому дали в России имя Грозного, но в похвальном смысле: грозного для врагов и строптивых ослушников. Впрочем, не будучи тираном, подобно своему внуку, Иоанну Васильевичу Второму, он без сомнения имел природную жестокость во нраве, умеряемою в нем силою разума. Редко основатели монархий славятся нежною чувствительностию, и твердость, необходимая для великих дел государственных, граничит с суровостию. Пишут, что робкие женщины падали в обморок от гневного, пламенного взора Иоаннова; что просители боялись идти ко трону; что вельможи трепетали и на пирах во дворце не смели шепнуть слова, ни тронуться с места, когда Государь, утомленный шумною беседою, разгоряченный вином, дремал по целым часам за обедом: все сидели в глубоком молчании, ожидая нового приказа веселить его и веселиться. Уже заметив строгость Иоаннову в наказаниях, прибавим, что самые знатные чиновники, светские и духовные, лишаемые сана за преступления, не освобождались от ужасной торговой казни: так (в 1491 году) всенародно секли кнутом Ухтомского князя, дворянина Хомутова и бывшего архимандрита Чудовского, за подложную грамоту, сочиненную ими на землю умершего брата Иоаннова.

История не есть похвальное слово и не представляет самых великих мужей совершенными. Иоанн как человек не имел любезных свойств ни Мономаха, ни Донского, но стоит как государь на вышней степени величия. Он казался иногда боязливым, нерешительным, ибо хотел всегда действовать осторожно. Сия осторожность есть вообще благоразумие: оно не пленяет нас подобно великодушной смелости; но успехами медленными, как бы неполными, дает своим творениям прочность. Что оставил миру Александр Македонский? славу. Иоанн оставил М-?
государство, удивительное пространством, сильное народами, еще сильнейшее духом правления, то, которое ныне с любовию и гордостию именуем нашим любезным отечеством».

Похвалы историка-царедворца царю-герою кажутся мне нисколько не менее выразительными, нежели его робкие упреки царю-тирану. Явное сходство

панегирика славному правителю с приговором извергу позволяет оценить, насколько смутны идеи и чувства, владеющие лучшими русскими умами. В этом неразличении добра и зла — напоминание о том, как велика пропасть, отделяющая Россию от Европы.

Истинным основателем Российской империи в том виде, в каком она существует и поныне, был именно Иван III; он же приказал выстроить на месте деревянного Кремля каменный. Вот еще один грозный хозяин этих стен, еще один дух, имеющий полное право посещать этот дворец и опускаться на верхушки его башен!!!

Иван III, нарисованный Карамзиным, вполне мог бы произнести приписываемые ему слова: «Я оставлю Россию тому, кому захочу». Так он ответил боярам, когда те потребовали, чтобы он назначил своим наследником внука, меж тем как он хотел оставить престол своей второй жене; к слову сказать, русские
903 цари до сих пор распоряжаются короной по своему усмотрению. Какова же должна быть участь сословия, именуемого знатью, в стране, управляемой подобным образом?

Петр Великий последовал примеру Ивана III и также поставил наследование престола в зависимость от царского каприза. Этот государь-преобразователь уподобился предшественнику-тирану, убив собственного сына и его так называемых сообщников. Фрагмент из книги господина де Сегюра, с которым я вас сейчас познакомлю, доказывает, что великий реформатор был гораздо большим злодеем, чем утверждали историки прежде. Французский писатель рассказывает о законах, изданных Петром Великим, о коварном обращении этого монарха с его несчастным сыном, о казнях священников и других особ, поддерживавших юного царевича в его борьбе против заимствованной у Запада цивилизации, которую беспощадный основатель новой Российской империи предписывал своим подданным чтить как святыню.

«Устав воинский, из двух частей и девяноста одной главы состоящий, публиковавшийся начиная с 1716 года.

Начало его замечательно: то ли из искренней набожности, то ли из соображений политических и желания сохранить такое действенное орудие влияния на подданных, как религия, царь начинает с утверждения, что из всех истинных христиан воин — тот, чьи нравы должны быть самыми честными, достойными и христианскими; ратник-христианин должен быть всегда готов предстать перед Богом, иначе он не будет способен с полным бесстрашием в любую минуту отдать жизнь за отечество. В заключение Петр приводит слова Ксенофонта о том, что в сражениях те, кто больше всего боятся богов, меньше всего боятся людей! Он предусматривает наказания за малейшие преступления против Господа, нравственности и чести, за нарушения дисциплины и даже приличий, как если бы он желал превратить свою армию в нацию внутри нации, сделать ее образцом для всех остальных подданных.

Но именно на этом поприще с ужасающей легкостью расцвел его деспоти-
903 ческий гений! — Все государство, — говорил он, — заключено в государе, все в государстве должно совершаться на благо ему, абсолютному и деспотическому

монарху, который не обязан давать отчет в своих деяниях никому, кроме Бога! — Поэтому всякое оскорбление его особы, всякое непристойное суждение о его поступках и намерениях должны караться смертью.

Ставя себя таким образом вне и выше всяких законов в 1716 году, царь словно готовился к ужасному государственному перевороту, каким запятнал свою славу в году 1718». (История России и Петра Великого, сочинение господина графа де Сегюра. Второе издание. Бодуэн, Париж, книга XI, глава VI, с. 489,490.)

Далее господин де Сегюр пишет: «В сентябре 1716 года царевич Алексей, 903
желая спастись от нарождающейся русской цивилизации, ищет убежища в лоне цивилизации европейской. Он отдает себя под покровительство Австрии и тайно поселяется с любовницей в Неаполе.

Петр раскрывает тайну его местопребывания. Он пишет царевичу письмо, начинающееся обоснованными упреками и кончающееся исчислением ужасных бедствий, которые грозят Алексею, если тот ослушается приказаний отца.

Вот главная мысль этого письма: «Буде же побоишься меня, то я тебя обна- 904
деживаю и обещаю Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься».

Поверив этой торжественной клятве отца и государя, Алексей 3 февраля 1718 года возвращается в Москву и на следующий же день его лишают оружия и свободы, допрашивают, с позором отнимают у него и его потомков право наследовать российский престол; если же он когда-либо посмеет притязать на корону, его ждет проклятие.

Хуже того: его бросают в крепость. Там ежедневно и еженощно венценосный отец, поправ свою клятву, законы природы, а равно и законы государственные, собственноручно им писанные,[1] допрашивает чрезмерно доверчивого сына; устроенное Петром политическое судилище не уступает в коварстве и жестокости религиозным судилищам времен инквизиции. Он мучает пугливый ум несчастного царевича рассказами о всевозможных небесных и земных карах; он вынуждает его доносить на друзей, родственников и даже на собственную мать, наконец, заставляет его сознаться, что он виновен, недостоин жить и заслуживает смерти.

Это злодеяние вершится в течение пяти долгих месяцев. Высылка и лише- 904
ние имущества многих вельмож, отрешение от наследства престола сына, заключение в темницу сестры, заточение в монастырь и бичевание кнутом первой жены, казнь шурина — всего этого царю мало.

Генерал Глебов, уличенный в любовной связи с бывшей царицей, посажен на кол посреди эшафота, в четырех углах которого выставлены на всеобщее обо- 904
зрение головы одного епископа, одного боярина и двух сановников, колесованных и обезглавленных в тот же самый день.[2] Этот ужасный эшафот в свой черед окружен кольями, на которые насажены головы более чем пяти десятков священников и других граждан.

[1] См. в его Своде законов, гл. IV, параграфы 1 и 2.

[2] См. у Брюса. 890

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Такова была чудовищная месть царя тем, чьи интриги и предрассудки вынудили непреклонного монарха принести сына в жертву империи! Однако тот, кто обрушил на людей все эти кары, был стократ более виновен: ибо что может служить оправданием стольким жестокостям? Хуже того: по всему судя, под действием той подозрительности, что присуща правителям, попирающим природный порядок, Петр упорно искал и находил заговоры там, где их не было; люди, которых он подозревал в мятеже, просто-напросто втайне противились его реформам, ничего не предпринимая и возлагая все надежды на его смерть.

Меж тем даже за столь ужасное кровопролитие царь удостоился льстивых похвал! Герой Полтавы сам гордился этим злодеянием, как победой в битве. «Когда огонь найдет солому, — говорил он, — то ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает». С этими словами он хладнокровно прохаживался среди казнимых. Говорят даже, что, гонимый кровожадностью и тревогой, он продолжал допрашивать Глебова на эшафоте, и тот, знаком попросив своего мучителя приблизиться, плюнул ему в лицо.

Вся Москва оказалась узницей; выехать из ее пределов без ведома монарха значило совершить непростительное преступление. Жителям города предписывалось под страхом смерти шпионить за соседями и доносить на них.

Однако главная жертва Петра — его сын, обездоленный, сломленный гибелью близких, — был еще жив. Царь решил перевезти его из московской темницы в петербургскую.

Тут он принимается терзать душу сына, вырывая у него признания во всех, даже самых ничтожных, проступках; всякий день он с ужасающей дотошностью записывает воспоминания царевича о выказываемых им раздражении, непокорстве или строптивости; радуясь всякому новому открытию, собирая воедино все стоны и слезы, он подводит им итог, в бесчестности своей стараясь представить все эти печали и робкие попытки неповиновения тяжким грехом, который и ляжет на чашу весов царского правосудия [1].

Когда же, истолковав слова царевича в нужном ему духе, он утверждается в мысли, что создал из ничего нечто, он спешит созвать преданнейших своих рабов. Он посвящает их в свой дьявольский план, раскрывает перед ними свой свирепый и деспотический замысел с варварским простодушием, с наивностью тирана, ослепляемого всевластием и мнящего, что его воля выше правосудия, а его цель — к счастью, великая и полезная — оправдывает любые средства.

Жертву, приносимую интересам политическим, он хочет объяснить интересами правосудия. Он желает оправдать себя за счет погубленного им сына и заставить замолчать докучающие ему голоса совести и природы.

Уверясь, что составленный им обвинительный акт неопровержим, абсолютный монарх созывает своих приближенных. Они, восклицает он, «ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего». Один лишь царь вправе судить преступника, однако

[1] Разве в этом эпизоде Петр Великий не более отвратителен, чем Иван IV Грозный — если, конечно, возможно быть более отвратительным?

он просит помощи, ибо «боится Бога, дабы не погрешить», вдобавок же «с клятвою суда Божия письменно обещал оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил...». Следственно, им, приближенным царя, предстоит произнести царевичу приговор, невзирая на его звание и помышляя лишь о спасении отечества. Впрочем, к этому приказу, недвусмысленному и страшному, он прибавляет с грубым лукавством, что судьям надобно постановить без лести и страха, не достоин ли его сын лишь легкого наказания.

Рабы поняли хозяина: они угадали, о какой ужасной услуге он их просит. Священники, сославшись на Писание, привели равное число выписок в пользу прощения и в пользу осуждения и не посмели отдать предпочтение первому, а о царской клятве побоялись даже упомянуть.

Сановники же, число которых в Верховном суде достигало ста двадцати четырех человек, повиновались царю. Они единогласно и беспрекословно высказались за смерть царевича; впрочем, приговор этот осуждает их самих куда более сурово, чем их жертву. Отвратительно видеть старания этой толпы рабов оправдать хозяина-клятвопреступника; их подлая ложь, прибавляясь к лжи Петра, лишь усугубила его вину!

Царь непреклонен: ничто не может остановить его: ни время, усмиряющее гнев, ни угрызения совести, ни раскаяние несчастного царевича, ни его слабость, покорство, мольбы! Одним словом, все, что обычно смягчает и обезоруживает даже судей, имеющих дело с посторонними, с врагами, не трогает сердце отца, решающего участь собственного сына.

Больше того: не довольствуясь ролью судьи и обвинителя, Петр становится царевичу палачом. 7 июля 1718 года, на следующий день после объявления приговора, он вместе со свитой приходит в темницу: проститься с сыном и оплакать его; можно подумать, что сердце царя наконец дрогнуло, но в эту самую минуту он посылает за ***крепким питьем,*** которое приготовил собственноручно! Не в силах сдержать нетерпения, он торопит гонца и удаляется — впрочем, в большой печали,[1] — лишь напоив несчастного, который все еще молит его о прощении, отравой. 904
А затем приписывает гибель царевича, спустя несколько часов испустившего дух в страшных мучениях, ужасу, который внушил ему смертный приговор! Царь довольствуется этим топорным оправданием, полагая, что оно отвечает грубым нравам его приближенных; впрочем, он велит им молчать, и они ***исполняют приказание так старательно, что если бы не записки чужестранца (Брюса), свидетеля и даже участника этой отвратительной драмы, ее страшные подробности остались бы навсегда скрыты от потомков».*** (История России и Петра Великого, сочинение господина графа де Сегюра, книга X, глава III, с. 438-444.) 904

[1] Оплакивать собственную жертву — истинно русская черта.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Английский клуб. — Новое посещение кремлевской кладовой. — Особенности московской архитектуры. — Восклицание госпожи де Сталь. — Преимущество безвестного путешественника. — Китай-город — купеческий квартал. — Иверская Богоматерь. — Русские чудеса, засвидетельствованные итальянцем. — Памятник Минину и Пожарскому. —Храм Василия Блаженного. — Как царь Иван отблагодарил зодчего. — Святые ворота. — Почему, входя в них, нужно непременно обнажать голову. — Преимущества веры перед сомнением. — Контрасты в облике Кремля. — Успенский собор. — Чужеземные мастера. — Отчего пришлось выписать их в Москву. — Фрески. — Колокольня Ивана Великого. — Церковь Спаса-на-Бору. — Огромный колокол. — Чудов и Вознесенский монастыри. — Могила царицы Елены, матери Ивана IV. — Шапка Мономаха. — Сибирская,корона. — Польская корона. — Размышления. — Чеканные чаши. — Стеклянная посуда редкостной красоты. — Носилки Карла XII. — Цитата из Монтеня. — Удивительная историческая подробность. — Сравнение русских великих князей с современными им монархами. — Парадные кареты царей и патриарха московского. —Дворец нынешнего императора в Кремле. — Прочие дворцы. — Угловой дворец. — Особенности его архитектуры. — Новые постройки, начатые в Кремле по приказу императора. — Осквернение святыни. — Ошибка императора Петра и императора Николая. — 1де подобает находиться столице Российской империи. — Чем могла бы стать Москва. — Пожар петербургского дворца — небесное знамение. — Замысел Екатерины II, частично осуществленный Николаем. — Вид с кремлевского холма на вечернюю Москву. — Закат солнца. — Ход в подземелье. — Московская пыль ночью. — Воробьевы горы. — Воспоминания о французской армии. — Слова императора Наполеона. — В России опасно быть заподозренн ъм в героизме. — Борьба посредственностей. — Долг абсолютных монархов. — Ростопчин. — Он боится прослыть великим человеком. — Его брошюра. — Какие выводы можно из нее извлечь. — Падение Наполеона: к чему оно привело в конечном счете. — ЛюдовикX.IV. — Исторический феномен.

915 *Москва, 11 августа 1839 года, вечер*

Глаз мой болит меньше, и вчера, покинув свою темницу, я отправился пообе-
905 дать в Английский клуб. Это особый ресторан, куда гости допускаются лишь по рекомендации одного из завсегдатаев, принадлежащих к избранному московскому

обществу. Заведение это, устроенное, как и наши парижские кружки, по английскому образцу, открылось сравнительно недавно. Я расскажу вам о нем в другой раз.

В нынешней Европе способы сообщения между странами облегчились настолько, что отыскать самобытные нравы или обычаи, служащие выражением характеров, сделалось решительно невозможно. Привычки всех современных народов суть следствие множества заимствований: смешение всех национальных характеров в ступе всемирной цивилизации сообщает нравам однообразие, малоприятное для глаза путешественника; между тем никогда еще путешествия не были в такой моде. Все дело в том, что большинство людей трогаются с места не столько из любви к просвещению, сколько из скуки. Я не принадлежу к числу странников такого рода; любознательность моя беспредельна, и каждый день я на собственном опыте убеждаюсь, что разнообразие — самая редкостная вещь на этом свете, однообразие же впечатлений — бич путешественника, ибо ставит его в положение глупца — положение самое неприятное именно оттого, что самое распространенное.

Люди отправляются путешествовать, дабы на время покинуть тот мир, где прожили всю свою жизнь, — и не достигают цели: нынче цивилизация достигла отдаленнейших уголков земного шара. Род человеческий переплавляется в единое целое, различия между языками стираются, наречие, на котором мы пишем, исчезает, нации отрекаются от самих себя, философия низводит религию до внутреннего дела каждого верующего, и этот вялый католицизм будет служить людям вплоть до того дня, когда его новый расцвет ознаменует рождение нового общества. Кто может сказать, когда завершится это преображение рода человеческого? Нельзя не узреть во всем происходящем ныне волю Провидения. Вавилонское смешение языков скоро уйдет в прошлое; нации начнут понимать одна другую, несмотря на все, что их разобщает.

Сегодня я начал день с подробного и основательного осмотра Кремля в обществе г-на ***, к которому имел рекомендательное письмо; да, я снова отправился в Кремль! Для меня Кремль — это вся Москва, вся Россия! Кремль — целый мир! Местный слуга с утра пошел в Оружейную палату предупредить хранителя, и тот уже ждал нас. Я думал, что увижу заурядного привратника, но нас принял офицер, человек просвещенный и учтивый. 905

Кремлевская кладовая — предмет законной гордости русских; она могла бы заменить России летописи, ибо это ее история, написанная драгоценными камнями, подобно тому, как римский форум — история, писанная камнями тесаными.

Золотые чаши, доспехи, старинная мебель — все эти вещи выставлены здесь не только за их красоту; всякая из них служит напоминанием о каком-нибудь славном, удивительном, достопамятном событии. Но прежде чем изобразить или, вернее, коротко перечислить вам сокровища, хранящиеся в арсенале, которому, я полагаю, нет равных в Европе, я хочу, чтобы вы мысленно проделали вместе со мною тот путь, каким я шел к этому святилищу, достойному поклонения русских и восхищения чужестранцев.

Выехав с Большой Дмитровской, я пересек, как давеча, несколько площадей, на которые выходят крутые, но прямые улицы; в крепость я въехал через

ворота, пользующиеся здесь такой славой, что местный слуга не счел нужным спросить моего мнения, велел кучеру остановить карету, дабы я мог насладиться их видом!.. Ворота эти проделаны в башне, столь же диковинной, что и все постройки в старом центре Москвы.

воз Я не бывал в Константинополе, но полагаю, что после него Москва — поразительнейшая из всех европейских столиц. Это — сухопутный Византий. Благодарение Богу, площади древней столицы не так огромны, как петербургские, среди которых потерялся бы даже римский собор Святого Петра. В Москве памятники стоят не так далеко один от другого и потому производят куда большее впечатление. Здесь история и природа не позволяют разгуляться деспотизму прямых линий и симметричных планов; Москва прежде всего живописна. Небо над Москвой хотя и не безоблачно, но радует глаз серебристым блеском; образцы архитектуры всех сортов громоздятся на улицах без всякого порядка и плана; ни одна постройка не может быть названа совершенной, но все они вместе вызывают если не восхищение, то изумление. Неровности почвы умножают прекрасные виды. Церкви, увенчанные куполами, которых нередко больше, чем предписывает православное учение, сверкают волшебным блеском. Бесчисленные золоченые пирамиды и колокольни в форме минаретов устремляют свои вершины в лазурное небо; восточная беседка, индийский купол переносят вас в Дели, донжоны и башенки возвращают в Европу времен крестовых походов, часовой на верху сторожевой башни напоминает муэдзина, сзывающего мусульман на молитву; наконец, окончательно спутывают ваши мысли блистающие повсюду кресты, повелевающие народу пасть ниц перед Словом; кажется, будто кресты эти спустились в азиатскую столицу с неба, дабы указать здешним жителям узкий путь к спасению: должно быть, именно эта поэтическая картина внушила госпоже де Сталь восклицание: «Москва — это северный Рим!»

Восклицание не слишком справедливое, ибо между этими двумя городами нет решительно ничего общего. Москва приводит на память скорее Ниневию, Пальмиру, Вавилон, нежели шедевры европейского искусства, будь то творения языческие или христианские; история и религия этой страны также не располагают к тому, чтобы уподоблять ее столицу Риму. Между Москвой и Римом сходства куда меньше, чем между Москвой и Пекином, однако госпожа де Сталь,
906 попав в Россию, менее всего интересовалась этой страной; она стремилась в Швецию и Англию, дабы обратить свой гений и свои идеи на борьбу с врагом всяческой свободы мысли — Бонапартом. Долг великого мыслителя, явившегося в незнакомую страну, — нарисовать ее изображение, и госпожа де Сталь произнесла по поводу России те несколько слов, какие от нее требовались. Несчастье знаменитостей состоит в том, что они обязаны изъясняться афоризмами, если же они уклоняются от исполнения этой обязанности, им приписывают афоризмы, сочиненные другими.

Я доверяю лишь отчетам безвестных путешественников; вы скажете, что я говорю так из корысти; не стану отрицать, вы правы — во всяком случае, мне моя безвестность на руку: она позволяет мне искать и находить истину. С меня довольно, если я буду иметь счастье избавить от предубеждений и предрассудков

такого читателя, как вы, а также избранный круг людей, вам подобных. Как видите, притязания мои весьма умеренны: ведь нет ничего легче, чем исправлять заблуждения умов выдающихся. Мне кажется, что даже тот, кто ненавидит деспотизм не так сильно, как я, возненавидит деспотов за их деяния и вопреки их чарам, когда прочтет правдивое описание, предлагаемое мною вниманию публики.

Массивная башня с двумя живописными арками, у подножия которой местный слуга предложил мне выйти из кареты, отделяет Кремль от его продолжения, называемого Китай-городом, — купеческого квартала старой Москвы, основанного матерью царя Ивана Васильевича в 1534 году. Нам эта дата кажется не слишком отдаленной, но для русского народа, самого молодого из всех европейских народов, это — глубокая древность.

Китай-город, своего рода приложение к Кремлю, — это огромный базар, целый город, изобилующий темными сводчатыми улочками, напоминающими подземелья; впрочем, эти купеческие катакомбы менее всего походят на кладбище; в лабиринте галерей, которые уступают парижским в изяществе и блеске, но зато выигрывают в основательности, шумит вечная ярмарка. Архитектура Китай-города приспособлена к здешнему климату: на Севере крытые улицы помогают бороться с непогодой; странно, что они здесь так редки. Продавцы и покупатели спасаются здесь от ветра, снега, холода и весеннего разлива рек; напротив, легкие ажурные колоннады и воздушные портики выглядят в России смехотворной бессмыслицей: русским зодчим следовало бы брать пример не с греков и римлян, но с кротов и муравьев. Арабы лучше поняли необходимость соотносить законы искусства с природными условиями. Ульи Альгамбры — архитектура, подобающая почве и климату Испании, равно как и нравам ее обитателей.

В Москве вы на каждом шагу видите какую-нибудь часовню — предмет поклонения для простонародья и почитания для всех жителей города. Часовни эти, как правило, представляют собою ниши с застекленным изображением Божьей матери, возле которого всегда горит лампада. Рядом несет караул старый солдат. Ветераны в России служат привратниками не только у вельмож, но и у самого Господа Бога. Их неизменно встречаешь у входа в богатые дома, куда они не впускают посторонних, и в церкви, откуда они выметают мусор. Не будь на свете богачей и священников, старым русским солдатам пришлось бы прозябать в нищете.

Над двухпроездными воротами, через которые я вошел в Кремль, помещается икона Божьей матери, написанная в греческом стиле и почитаемая всеми жителями Москвы.

Я заметил, что все, кто проходят мимо этой иконы — господа и крестьяне, светские дамы, мещане и военные, — кланяются ей и многократно осеняют себя крестом; многие, не довольствуясь этой данью почтения, останавливаются; хорошо одетые женщины склоняются перед чудотворной Божьей матерью до земли и даже в знак смирения касаются лбом мостовой; мужчины, также не принадлежащие к низшим сословиям, опускаются на колени и крестятся без устали; все эти действия совершаются посреди улицы с проворством и беззаботностью, обличающими не столько благочестие, сколько привычку.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Мой слуга, нанятый в Москве, — итальянец; нет ничего смешнее той смеси самых различных предрассудков, которая образовалась в голове этого несчастного иностранца, уже много лет живущего в Москве, на своей названой родине; воспитание, полученное в детские годы в Риме, заставляет его верить в то, что святые и Богоматерь вмешиваются в земную жизнь, поэтому, не вдаваясь в обсуждение богословских тонкостей, он, за неимением лучшего, принимает на веру все истории о чудесах, творимых мощами и образами греческой Церкви. Этот бедный католик, ставший ревностным поклонником московской Божьей матери, доказал мне, что религиозные верования повсюду зиждутся на одном и том же основании; единство их, всемогущее, хотя и мнимое, производит неотразимое действие. Слуга все время твердил мне с итальянской словоохотливостью: «Signor, creda a me: questa madonna fa dei miracoli, ma dei miracoli veri, veri verissimi; поп è come da noi altri; in questo paese tutti gli miracoli sono veri»[1].

Этот итальянец, привезший в империю осмотрительности и безмолвия простодушную живость своего отечества, чрезвычайно забавлял, но одновременно и пугал меня: его вера в иноземную религию выдавала безграничный политический террор, царящий в России!

В этой стране болтун — редкость, драгоценное исключение из правила; путешественник, окруженный сдержанными и осторожными уроженцами здешних мест, испытывает нужду в нем на каждом шагу. Дабы разговорить моего итальянца, что, впрочем, не составляло большого труда, я рискнул выразить некоторые сомнения в подлинности чудес, сотворенных московской Божьей матерью: я меньше оскорбил бы набожного римлянина, усомнись я в духовном авторитете папы.

Слушая, как бедный католик старается уверить меня в сверхъестественном могуществе греческой иконы, я лишний раз убедился: если что и разделяет нынче две Церкви, то это отнюдь не богословие. Из истории христианских наций мы знаем, как использовали государи упорство, хитроумие и диалектические таланты священников для разжигания религиозных споров.

Выйдя из ворот, увенчанных знаменитой мадонной, на небольшую площадь, видишь бронзовый памятник, изваянный в очень скверном, так называемом псевдоклассическом вкусе. Мне показалось, будто я попал в Лувр, в мастерскую посредственного скульптора времен Империи. Памятник изображает в виде двух римлян Минина и Пожарского, спасителей России, которую они освободили от господства поляков в начале XVII века: нетрудно догадаться, что римская тога — не самый подходящий костюм для подобных героев!.. Нынче эта пара в большой моде. Что предстает взору затем? Чудесный собор Василия Блаженного, вид которого так поразил меня сразу по приезде в Москву, что напрочь лишил покоя. Стиль этого причудливого памятника на удивление несхож с классическими изваяниями освободителей Москвы. Гуляя по этому городу в одиночестве, я еще не имел возможности рассмотреть как следует этот храм в змеиной коже,

[1] Поверьте мне, синьор: эта мадонна творит чудеса, причем настоящие, самые настоящие чудеса, не то что у нас: в этой стране все чудеса настоящие (ит.).

именуемый Покровским собором. Теперь он был прямо передо мной, но какое разочарование!!! Множество луковиц-куполов, среди которых не найти двух одинаковых, блюдо с фруктами, дельфтская фаянсовая ваза, полная ананасов, в каждый из которых воткнут золотой крест, колоссальная гора кристаллов — все это еще не составляет памятника архитектуры; увиденная с близкого расстояния, церковь эта сильно проигрывает. Как почти все русские храмы, она невелика; бесформенная ее колокольня хороша только издали, а неизъяснимая пестрота скоро наскучивает внимательному наблюдателю; довольно красивая лестница ведет на крыльцо, откуда богомольцы попадают внутрь храма — тесного, жалкого, ничтожного. Этот несносный памятник стоил жизни его создателю. Его начали строить в 1554 году, в память о взятии Казани, по приказу Ивана IV, любезно прозванного ***Грозным.*** Государь этот, оставаясь, как вы сейчас поймете, верным себе, отблагодарил архитектора, украсившего Москву, по-своему: он приказал выколоть бедняге глаза, дабы тот никогда уже не смог создать второго такого храма.

Не преуспей несчастный в строительстве, его бы наверняка посадили на кол, однако результат его трудов превзошел все ожидания великого монарха, поэтому несчастный всего-навсего лишился глаз: обнадеживающая перспектива для художников!

От Покровского собора мы направились к священным вратам Кремля; дабы 907
не нарушить обычая, истово соблюдаемого русскими, я прошел под этими сводами, впрочем, не весьма широкими, с обнаженной головой. Обычай этот восходит, как мне объяснили, ко временам последнего нашествия калмыков, которым лишь чудесное заступничество сил небесных помешало проникнуть в крепость. Святым тоже случается зазеваться, но в тот день они были начеку, Кремль остался цел и невредим, русские до сих пор снимают шапки в знак благодарности к своим славным покровителям.

В подобных публичных проявлениях религиозного чувства заметно больше практической философии, чем в безверии народов, которые мнят себя просвещеннейшими племенами земли оттого, что, исчерпав силы ума, наскучив простыми истинами, во всем сомневаются и в гордыне своей призывают соседей брать с них пример, словно их колебания достойны подражания!.. Видите, говорят они, как мы жалки; поступайте же, как мы!.. Вольнодумцы — мертвецы, обволакивающие могильным холодом всех, кто их окружает; эти опасные умники отнимают у наций способность действовать; они разрушают, не умея созидать, ибо любовь к роскоши и удовольствиям рождает в душе не более чем лихорадочное волнение, мимолетное, как сама человеческая жизнь. В своем шатком бытии материалисты слушаются скорее биения крови, нежели просвещенной мысли, и вечно пребывают во власти сомнений, ибо ум самого честного человека, будь то первый мудрец страны, будь то сам Гёте, ни на что, кроме сомнений, не способен, сомнения же располагают сердце к терпимости, но

[1] Так утверждает Лаво. У другого автора я прочел, что храм этот выстроен при 890
Василии Блаженном, и он-то и отдал тот бесчеловечный приказ, в котором Лаво обвиняет Ивана IV.

отвращают от жертвенности. Между тем в искусствах, науках и политике всякое значительное творение, всякое возвышенное стремление зиждутся именно на жертвенности. Нынче же идти на жертвы никто не желает: христианство упрекают в том, что оно проповедует самоотречение — добродетельным людям это не по нраву. Христианские священники указывают дорогу, которую прежде избирали только избранные, толпе!! Кто отгадает, куда приведут народ столь коварные наставники?

Я не устаю любоваться общим видом Кремля: его причудливыми постройками, мощными крепостными стенами, множеством стрельчатых арок, сводов, башенок, колоколен, тайников, бойниц и проемов; все эти колоссальные диковины, громоздящиеся одна подле другой, рождают в душе путешественника массу впечатлений и никогда не наскучивают. Внешняя крепостная стена, которая опоясывает Кремль и, следуя за неровностями холмистой местности, то поднимается вверх, то опускается вниз; обилие зданий удивительной архитектуры, возведенных едва ли не впритык одно к другому, — все здесь создает одну из самых оригинальных и поэтических картин, какие существуют на свете; изобразить подобные чудеса под силу только живописцу; слова не в силах передать производимое ими впечатление: есть вещи, внятные только взору.

Но как выразить изумление, охватившее меня, когда, оказавшись внутри этого волшебного города, я подошел к современному зданию, именуемому Оружейной палатой, и увидел маленький прямоугольный дворец с греческими фронтонами и коринфскими колоннами?

Это холодное и пошлое подражание античности, к которому мне следовало бы уже привыкнуть, показалось мне настолько смешным, что я отступил на несколько шагов назад и попросил у своего спутника позволения отложить осмотр кладовой и вначале посетить несколько церквей. С тех пор, как я в России, я видел уже немало самых бессмысленных и безвкусных творений имперских архитекторов, но на сей раз несообразность была столь разительна, что потрясла меня заново.

Итак, мы начали знакомство с Кремлем, отправившись в Успенский собор. В храме этом находится одно из тех изображений Девы Марии, которые православные христиане всего мира приписывают кисти апостола Луки. Сам храм больше похож на саксонские или нормандские постройки, нежели на наши готические соборы. Создан он в XV веке итальянским архитектором, которого правивший тогда великий князь пригласил в Москву, ибо русские в ту пору не могли обойтись в строительстве без помощи иноземцев. Здание, которое они возводили собственными силами, несколько раз рушилось, погребая под своими останками невежественных рабочих, исполнявших приказы еще более невежественных зодчих; наконец, после двухлетних неудачных попыток пришлось прибегнуть к услугам итальянцев: архитектор, явившийся в Москву, подчинился господствовавшему здесь вкусу и употребил свое мастерство лишь на то, чтобы сделать храм прочным. Своды его высоки, стены толсты, но здание не назовешь ни величественным, ни светлым, ни красивым.

Мне неизвестны предписания греко-русской Церкви касательно поклонения образам, но при виде этой церкви, чьи стены сплошь покрыты безвкусными

фресками, выполненными в той однообразной и грубоватой манере, что именуется современным греческим стилем, потому что в основе ее лежит подражание византийским образцам, я то и дело спрашивал себя: какими же изображениями запрещено украшать русские церкви? Вероятно, решил я, в сии святилища благочестия закрыт доступ лишь творениям превосходным.

Когда мы приблизились к Богоматери святого Луки, мой чичероне-итальянец заверил меня, что она в самом деле принадлежит кисти апостола; с истинно мужицким благочестием он твердил мне: «Signore, signore, ё il paese dei miracoli! Это страна чудес!» Охотно верю: страх — первый чудотворец! Что за удивительное путешествие я совершил: в две недели отдалился от Европы на четыре столетия! Впрочем, у нас в средние века чувство собственного достоинства было развито куда больше, чем в России сегодня. У нас хитрые и двуличные государи, правившие Россией из Кремля, никогда не заслужили бы имени великих. 907

Иконостас Успенского собора, идущий от пола до высокого сводчатого потолка, роскошен и блистает позолотой. Иконостас — это живописная перегородка, отделяющая алтарь, располагающийся за закрытыми дверями, от нефа церкви, где находятся верующие; в Успенском соборе перегородка эта грандиозна и пышна. Собор почти квадратной формы, очень высок, но не слишком просторен, так что, обходя его, чувствуешь себя так, будто меряешь шагами темницу.

В соборе похоронены многие патриархи; здесь также хранятся богато украшенные раки и прославленные святыни, привезенные из Азии; каждая деталь по отдельности производит крайне унылое впечатление, но в целом памятник выглядит довольно внушительно. Очутившись внутри, испытываешь если не восхищение, то печаль, а это уже немало; печаль предрасполагает душу к благочестию: к кому, как не к Господу, прибегнуть в страдании? Однако великие храмы, воздвигнутые во славу католической религии, навевают не одну лишь грусть; в них запечатлена триумфальная песнь победившей веры.

В ризнице хранятся достопримечательности, исчислением которых я не стану утомлять ваш слух; не ждите от меня ни перечня московских сокровищ, ни каталога тамошних памятников. В Москве все любопытно издали, но несносно вблизи. Я рассказываю лишь о том, что меня поразило, что же до всего остального, то я отсылаю вас к Лаво и Шницлеру, а главное, к нашим преемникам, которые справятся со своей задачей лучше меня. Без сомнения, вскоре в Россию устремятся многочисленные путешественники, ибо стране этой недолго осталось пребывать в безвестности.

Еще одна кремлевская диковина — колокольня Ивана Великого. Это — самое высокое здание в городе; купол его, по русскому обычаю, покрыт червонным золотом. Мы миновали эту роскошно украшенную башню причудливого вида, свято чтимую московскими простолюдинами. В Москве всякий памятник — святыня: так велика потребность в благоговении, живущая в сердце русского народа!

Мне показали издали церковь Спаса-на-Бору — самую древнюю в Москве, 908
и колокол с отбитым куском — насколько я мог понять, самый большой колокол в мире; он стоит на земле и по величине не уступает церковному куполу; говорят, в царствование императрицы Анны он свалился на землю при пожаре, а затем был

отлит заново. Господин де Монферран, французский архитектор, возводящий ныне собор Святого Исаака в Санкт-Петербурге, сумел вытащить этот колокол из ямы, куда он наполовину провалился. Успешное завершение этой операции, потребовавшей нескольких попыток и стоившей немалых денег, делает честь нашему соотечественнику. Посетили мы и два монастыря, также расположенные внутри кремлевской ограды: Чудов, где в двух соборах хранятся мощи святых, и Вознесенский, где похоронены многие царицы, в том числе Елена, мать Ивана Грозного; мать была достойна сына: столь же безжалостная, она во всем руководствовалась исключительно расчетом; здесь же похоронены и некоторые из жен этого монарха. Соборы Вознесенского монастыря поражают иностранцев своей роскошью.

Наконец я превозмог себя и, стараясь не обращать внимания на греческие перистили и коринфские колонны — этих безвкусных драконов, стерегущих царские сокровища, вошел в прославленную Оружейную палату, где, словно в музее древностей, собраны самые любопытные достопримечательности русской истории.

Какое собрание доспехов, чаш, драгоценностей! Какое обилие корон и тронов в стенах одного здания! Расположение всех этих предметов лишь усиливает производимое ими впечатление. Невозможно не восхищаться художественным вкусом, а еще более — политическим умом, с которым устроители музея выставили на обозрение посетителей все ордена и трофеи — выставили, разумеется, не без гордости, но патриотическая гордость — законнейшая из всех. Страсть, вдохновляющая на подобные свершения, простительна. В царской кладовой вещи служат символами глубокой идеи.

Короны возлежат на подушках, в свой черед покоящихся на особых подножиях; троны стоят вдоль стен также на специальных пьедесталах. Для полноты картины недостает лишь людей, по заказу которых были изготовлены все эти предметы. Их отсутствие стоит красноречивейшей проповеди о тщете всего сущего. Кремль без царей — это театр, где погасили свет и откуда ушли актеры.

Наибольшего почтения, если не наибольшего восхищения, заслуживает корона Мономаха; ее доставили ему в Киев из Византии в 1116 году.

Другая корона также считается Мономаховой, хотя многие полагают, что она создана задолго до царствования этого князя.

В Оружейной палате хранятся короны, принадлежавшие некогда властителям держав, покоренных Россией. Среди них — венцы казанского и астраханского ханов, грузинского царя; вид этих спутников императорского светила, держащихся в почтительном удалении от него, производит изумительное действие; в России всё — эмблемы, Россия — страна поэтическая... поэтическая, как скорбь! Что может быть красноречивее слез, сдерживаемых человеком и омывающих его сердце? Выставлена среди прочих и сибирская корона; она изготовлена в России нарочно для кладовой и помещена рядом с другими венцами в память о великом подвиге, свершенном бесстрашными купцами и солдатами в царствование Ивана IV, когда была не открыта, но завоевана Сибирь. Все короны усыпаны драгоценными камнями исключительной величины. Недра этой скорбной земли отверзлись, дабы потешить гордость правящих ею деспотов.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Польский трои и польская корона также сияют на великолепном императорском небосклоне... Бесчисленные сокровища, заключенные в столь тесном пространстве, ослепительны, словно павлиний хвост! Какое кровавое тщеславие! — твердил я себе всякий раз, когда провожатые мои принуждали меня остановиться перед очередным сокровищем... 908

Особенно поразили меня короны Петра I, Екатерины I и Елизаветы: сколько золота, брильянтов... и праха! Царские державы, троны, скипетры — все собранное здесь призвано свидетельствовать о величии вещей и ничтожестве людей, сознав же, что бренны не только люди, но и сами империи, решительно перестаешь понимать, куда укрыться от потока времен.

Как можно дорожить миром, где жизнь — форма, формы же преходящи? Не создай Господь рая, на земле нашлись бы души достаточно могучие, чтобы восполнить этот пробел... Читая у Платона о существовании мира вечного и сугубо духовного — идеального прообраза всех миров, я верю, что мир этот — не вымысел. Разве вправе мы предположить, что Бог менее обилен, менее щедр, менее могуществен и справедлив, нежели мозг человека? Разве могут плоды нашего воображения быть богаче творений Господа, наделившего нас способностью мыслить? Нет, это невозможно... в этом заключалось бы явное противоречие. Говорят, что это человек создал Бога по своему подобию: так ребенок играет в войну, сталкивая полки оловянных солдатиков; однако ведь сама эта детская игра доказывает, что наша история — не выдумка. Не существуй на свете Тюренна, Фридриха II и Наполеона, разве затевали бы наши дети игрушечные сражения? 908

Сосуды, украшенные чеканкой в манере Бенвенуто Челлини, чаши, усыпанные драгоценными камнями, оружие и доспехи, расшитые золотом ткани, стеклянная посуда всех стран и веков, — этими сокровищами, на перечисление которых недостало бы, пожалуй, целой недели, поражает взоры истинно любознательных посетителей восхитительная коллекция, собранная в царской кладовой. Помимо тронов и тронных кресел, принадлежавших русским государям разных эпох, здесь выставлены конские чепраки, царские одежды, мебель: все эти более или менее роскошные, более или менее редкостные вещи слепили мой взор. Описание мое напоминает страницы «Тысячи и одной ночи» — что ж, у меня не нашлось иного способа изобразить вам этот сказочный — если не волшебный—дворец. 908

Вдобавок всем этим чудесам придает дополнительный интерес история: сколько любопытных событий воплощено здесь в живописных и достойных благоговения реликвиях!.. Начиная с искусно выделанного шлема Александра Невского и кончая носилками, в которых покоился Карл XII во время Полтавской битвы, каждый предмет напоминает о трогательном происшествии, об удивительном случае. Поистине эта кладовая — альбом кремлевских великанов.

Заканчивая осмотр горделивых обломков российского прошедшего, я вдруг, словно по наитию, вспомнил отрывок из Монтеня, который сообщаю вам, дабы дополнить — по контрасту — свое описание московских сокровищ: «Великий князь Московский в старые времена должен был оказывать татарам такой почет: когда от них прибывали послы, он выходил к ним навстречу пешком и предлагал им 908

чашу с кобыльим молоком (этот напиток они почитают самым сладостным), а если, выпивая его, они проливали хоть несколько капель на конскую гриву, он обязан был слизать их языком.[1]

Войско, посланное в Россию султаном Баязетом, было застигнуто такой ужасной снежной бурей, что для того чтобы укрыться от нее и спастись от холода, многие решали убить своих лошадей, вспарывали им животы и залезали туда, согреваясь их животной теплотой».

Я привожу эту последнюю подробность, потому что она напоминает великолепное и ужасное описание поля московского сражения, сделанное господином де Сегюром в «Истории русской кампании». В другом своем труде — «Истории России и Петра Великого» — Сегюр сообщает о том же проявлении раболепства, о каком говорит Монтень.

Дело в том, что император всея Руси со всеми своими тронами и всей своей гордыней — не кто иной, как наследник тех великих князей, что еще в XVI веке сносили непомерные унижения; впрочем, даже на это наследство права его небесспорны: не говоря уже об интригах семейства Романовых и их приверженцев, отнявших престол у избранных на царство Трубецких, напомню, что потомки Екатерины II заняли русский трон лишь благодаря преступлениям нескольких поколений монархов. Таким образом, правители России отнюдь не без причины скрывают русскую историю от русских и охотно скрыли бы ее также и от иностранцев. Несомненно, твердость политических принципов государя, занимающего престол, который покоится на подобных основаниях, — одна из удивительнейших особенностей нашего времени. В ту пору, когда московские великие князья преклоняли колена под позорным игом монголов, в Европе, а в особенности в Испании, где проливались потоки крови во имя чести и независимости христианства, торжествовал дух рыцарства. Несмотря на все варварство средневековых нравов, я не думаю, что в Западной Европе нашелся бы хоть один король, способный обесчестить монархическую власть принятием таких условий, на каких с разрешения повелителей-татар правили своей страной в XIII, XIV и XV столетиях московские великие князья. Лучше потерять корону, нежели унизить королевское достоинство — вот что сказал бы король Франции, Испании или любой другой державы старой Европы. Но в России понятие о славе так же молодо, как и все прочее. Татарское нашествие разделило историю этой страны на две совершенно различные эпохи; между независимыми славянами и русскими, которых три века рабского существования приучили повиноваться тирании, пролегла пропасть, а у обоих этих народов нет, по правде сказать, ничего общего, кроме названия, с теми древними племенами, что стали нацией благодаря варягам.

На первом этаже Оружейной палаты выставлены парадные кареты российских императоров и императриц; в эту коллекцию входит также старая карета

[1] См. «Записки о Московии» шведа П. Петрея, напечатанные по-немецки в 1620 году в Лейпциге (ч. И, с. 159). В это своеобразное рабство русские попали в середине XIII столетия, продлилось же оно около двухсот шестидесяти лет. (Примечание Коста к «Опытам» Монтеня, кн. I, гл. 48).

последнего патриарха, с роговыми стеклами; эта реликвия принадлежит к числу 909
интереснейших достопримечательностей, которыми богата славная кремлевская кладовая.

Мне показали также маленький дворец, где поселяется император, когда 909
приезжает в Москву, но я не обнаружил в нем ничего достойного внимания, кроме картины, изображающей последние выборы польского короля. Бурный сейм, посадивший на трон Понятовского и обрекший Польшу ярму, нарисован 909
французским художником в весьма любопытной манере.

Видел я и много других чудес: сенат, императорские дворцы, древний дворец патриарха; впрочем, все они представляют интерес только благодаря своим названиям, чего нельзя сказать о маленьком Грановитом дворце — игрушке, 909
драгоценности, отчасти напоминающей шедевры мавританской архитектуры и блистающей своим изяществом среди окружающих массивных глыб, словно карбункул в оправе из булыжников; во дворце этом несколько этажей, окаймленных галереями, причем каждый следующий уже предыдущего, а самый верхний — совсем крохотный домик; благодаря этому здание приобретает живописную пирамидальную форму. Облицовано оно фаянсовыми изразцами, покрытыми лаком на арабский манер; к сожалению, украшения эти, хотя и выполнены с большим вкусом, имеют очень современный вид. Недавнего происхождения и внутреннее убранство Грановитого дворца; впрочем, мебель, витражи и краски подобраны не без изящества.

Смогу ли я выразить, что чувствует путешественник, когда видит среди множества различных построек, теснящихся в центре огромного города, этот маленький дворец, недавно отремонтированный, но сохранивший свой древний полуготический, полуарабский стиль? Тут греческие храмы, там готические формы, дальше индийские башенки и китайские беседки, а кругом всего этого — циклопическая ограда; как изъяснить вам словами все эти контрасты, предстающие взору?

Слова способны живописать предметы лишь с помощью пробуждаемых ими воспоминаний; меж тем ни одно из воспоминаний, дремлющих в вашей душе, не поможет вам вообразить Кремль. Эта архитектура внятна только русским.

В великолепном маленьком дворце, о котором я веду речь, свод нижнего этажа покоится на одном-единственном столпе. Здесь расположен тронный зал, который удостаивают своим присутствием императоры после венчания на царство. Здесь все напоминает о древнем великолепии московских царей, и воображение поневоле переносится во времена Иванов и Алексеев. Стены расписаны, как мне показалось, с большим вкусом, хотя и совсем недавно; росписи эти напомнили мне пекинскую фарфоровую башню, изображение которой мне довелось видеть.

Эта группа памятников превращает Кремль в изумительнейшую театральную декорацию, однако по отдельности ни одно из зданий, загромождающих русский форум, — как, впрочем, и постройки, что разбросаны по городу, — не заслуживает восхищения. С первого взгляда Москва кажется чудом; для курьера, скачущего галопом мимо ее церквей, монастырей, дворцов и крепостей, которые

не отличаются безупречным вкусом, но издали напоминают приют существ сверхъестественных, это — прекраснейший город в мире.

К несчастью, нынче в Кремле возводят для удобства императора новый дворец; приходило ли кому-нибудь на ум, что это нечестивое новшество испортит несравненный облик древней священной крепости? Не спорю, теперешнее жилище государя имеет жалкий вид, однако для того, чтобы исправить положение, строители разрушают национальную святыню: это недопустимо. На месте императора я предпочел бы вознести новый дворец на облака, лишь бы не вынимать ни единого камня из древних кремлевских стен.

В Петербурге император сказал мне, когда речь зашла об этих работах, что он желает сделать Москву еще краше: сомнительное намерение, подумал я, — все равно как если бы он захотел приукрасить историю. Разумеется, древняя крепость выстроена против правил искусства, но в ней — выражение нравов, деяний и мыслей народа и эпохи, навсегда ушедших в прошлое и оттого священных. На всех этих памятниках лежит отпечаток силы, которая могущественнее человека, — силы времени. Однако в России для правительства нет ничего невозможного. Император, без сомнения, прочтя на моем лице сожаление и упрек, поспешил удалиться, заверив меня перед уходом, что новый его дворец будет просторнее и удобнее прежнего. В стране, как эта, подобная причина кажется вполне уважительной.

Меж тем, готовя двору более удобное пристанище, строители уже окружили оградой маленькую церковь Спаса-на-Бору. Это святилище, насколько мне известно, самое древнее в Кремле и во всей Москве, скоро, к великому огорчению всех, кто любит древние здания и живописные виды, исчезнет за белыми гладкими стенами.

Более же всего претит мне смехотворный трепет, с каким свершается это осквернение святыни: предметом неподдельной гордости служит тот факт, что старинный памятник не сровняют с землей, но похоронят заживо в дворцовой ограде. Вот каким образом примиряют здесь официальный культ прошлого
910 с пристрастием к комфорту, недавно заимствованному у англичан. Подобные действия вполне достойны Петра Великого. Разве недостаточно, что этот государь покинул старую столицу ради новой, им основанной? Теперь его наследники разрушают эту древнюю столицу, видя в этом лучший способ ее приукрасить.

Дабы покрыть свое имя славой, императору Николаю следовало бы не влачиться по дороге, проложенной другими, но покинуть петербургский Зимний дворец, ставший жертвой пожара, и навсегда обосноваться в Кремле, ничего здесь не меняя, впоследствии же выстроить для нужд своего двора и для больших праздненств столько дворцов, сколько потребуется, но вне священных кремлевских пределов. Тем самым он исправил бы ошибку царя Петра, который увлекал своих бояр в театральную залу, возведенную для них на берегу Балтийского моря, вместо того чтобы просвещать их в родных краях, пользуясь их великолепными природными богатствами — богатствами, которые Петр отверг с презрением и легкомыслием, недостойными такого выдающегося человека, каким был в некоторых отношениях этот император. Чем дальше отъезжаешь от Петербурга и чем

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

ближе подъезжаешь к Москве, тем глубже постигаешь величие бескрайних и изобильных просторов России и тем больше разочаровываешься в Петре I. Мономах, живший в XI веке, был истинно русский князь, Петр же, живший в столетии XVIII, по причине своего ложного представления о способах совершенствования нации, сделался не кем иным, как данником иностранных держав, подражателем голландцев, с дотошностью варвара копирующим чужую цивилизацию. Либо Россия не выполнит того назначения, какое, по моему убеждению, ей предначертано, либо в один прекрасный день Москва вновь станет столицей империи: ведь в этом городе дремлют семена русской самобытности и независимости. Корень древа в Москве, и именно там должно оно принести плод; никогда привою не сравняться мощью с подвоем.

В тот день, когда российский престол будет с подобающими почестями перенесен в сердце империи, в Москву, в тот день, когда петербургская известь и позолота рассыплются в прах и рухнут в гибельную топь, на которой был воз- 910
двигнут этот город, а сам он сделается тем, чем ему следовало бы оставаться всегда, — заурядным военным портом с гранитными набережными, превосходным складом товаров, каким торгуют меж собой Россия и Запад, подобно тому как Казань и Нижний служат перевалочными пунктами в торговле России с Востоком, — в этот день я скажу: «Наконец-то справедливая гордость славян восторжествовала над суетным тщеславием их вождей, наконец-то русский народ сможет зажить собственной жизнью; он заслужил то воздаяние, какого алчет его честолюбие: Константинополь ждет его; тамошние искусства и богатства вознаградят нацию, тем более достойную величия и славы, что многие годы она прозябала в безвестности и предавалася самоуничижению».

Вообразите себе величие столицы, расположенной в середине равнины, простирающейся на многие тысячи лье во все стороны света, равнины, которая тянется от Персии до Лапонии, от Астрахани и Каспийского моря до Урала и 910
Архангельска — порта на берегу Белого моря; равнины, которую омывает Балтийское море с двумя портами-арсеналами — Санкт-Петербургом и Кронштадтом — и которая раскинулась от Вислы до Босфора, где русских ждет Константинополь — связующее звено между Москвой, святыней русских, и миром!!! Разумеется, такая столица не уступила бы самым могущественным городам мира и доказала бы, что недаром хранит в своей кладовой роскошные царские венцы.

Император Николай, несмотря на свое здравомыслие и глубокую проницательность, не отгадал наилучшего способа достичь этой цели; он наезжает 910
в Кремль время от времени: этого недостаточно; ему следовало бы понять, что он обязан обосноваться здесь навсегда, если же он это понимает, но не находит в себе сил решиться на подобную жертву, он совершает ошибку. При Александре русские сожгли Москву, дабы спасти империю; при Николае Господь сжег дворец в Петербурге, дабы напомнить России о ее призвании, но Николай не внял зову Провидения. Россия все еще ждет!.. Вместо того чтобы, подобно кедру, пустить корни в той единственной почве, которая для этого создана, император рыхлит и переворачивает эту почву, дабы воздвигнуть на ней конюшни и дворец. По его словам, он хочет благоустроить свое временное пристанище и ради

этой жалкой цели забывает о коренных москвичах, для которых каждый камень национальной святыни — предмет поклонения или, во всяком случае, должен служить таковым. Пристало ли государю, приучившему свой богобоязненный народ к беспрекословному повиновению, колебать святотатственным деянием почтение москвичей к их единственному поистине национальному памятнику? Кремль — творение русского гения, однако ныне этой причудливой, но живописной жемчужине, гордости стольких веков, грозит опасность погибнуть под гнетом современного искусства; в России до сих пор господствует вкус Екатерины И.

Женщине этой, которая при всем ее уме ничего не смыслила ни в изящных искусствах, ни в поэзии, мало было покрыть всю империю бесформенными памятниками, скопированными с шедевров античности, — стремясь придать Кремлю более правильный вид, она начертала план его перестройки, нынче же ее внук вознамерился привести часть этого чудовищного плана в исполнение; белые гладкие поверхности, прямые линии и прямые углы заменяют извивы и закоулки, рождавшие игру света и тени; террасы, лестницы и перила, ниши и выступы, рождавшие великолепные контрасты и неожиданности, радовавшие взор и погружавшие в мечтательность ум; раскрашенные стены, фасады, облицованные мавританской плиткой, дворцы из дельфтского фаянса, пленявшие воображение, — все обречено на гибель. Разрушат все это, погребут под землей или перекрасят — неважно; главное, что на месте всех этих сокровищ вырастут прекрасные ровные стены с аккуратными квадратными окнами и монументальными широкими дверями... нет, Петр Великий не умер: под командою своего царя, который, подобно предку, любит путешествия и подражает Европе, чьи достижения он презирает, но копирует, азиаты продолжают его варварское дело, именуемое делом цивилизации; они верят на слово новому повелителю, чей девиз — единые для всех помыслы, а эмблема — единый для всех мундир.

Выходит, в России нет художников, нет архитекторов: ведь всем людям, в чьей груди живет хоть малейшее понятие о прекрасном, следовало бы пасть к ногам императора и умолять его сберечь Кремль. То, чего не сделал противник, делает император: он разрушает святыню, которую пощадили Бонапартовы снаряды.

А я — неужели, попав в Кремль, стану я свидетелем гибели этого исторического памятника, увижу, как свершается кощунство, и не издам ни единого стона, не взмолюсь во имя истории, искусства и вкуса о спасении старинных зданий, обреченных погибнуть ради того, чтобы на их месте выросли бездарные поделки современных архитекторов! Нет, я буду протестовать, однако не раньше, чем попаду во Францию, пока же я скорблю об этом покушении на национальное чувство и хороший вкус, об этом пренебрежении историей — но скорблю вполголоса; иной раз среди остроумнейших и ученейших русских людей находятся такие, которые осмеливаются меня выслушать, однако смелость не идет дальше того, чтобы невозмутимо ответствовать мне: «Императору угодно, чтобы его новая резиденция выглядела более *прилично,* нежели прежняя; на что же вы жалуетесь? (Вы ведь знаете, что понятие «приличия» — краеугольный камень русского деспотизма.) Он приказал возвести новое здание на том самом месте, где стоял дворец его предков; Кремль ничуть не пострадает».

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Вот до какой бессмыслицы доводит самых выдающихся людей страх, вот во что он превращает их мужество! Я храню хладнокровие и ничего не отвечаю на такие речи: ведь я иностранец и должен держаться осторожнее, чем местные жители. Однако будь я русским, я вступался бы за каждый камень из древних стен и волшебных башен этой крепости, возведенной Иванами, и согласился бы провести остаток дней в темнице, омываемой невскими водами, или в ссылке — лишь бы не ощущать себя немым пособником этого имперского вандализма!!! Мученик, пожертвовавший собою ради хорошего вкуса, достоин занять почетное место чуть ниже святых мучеников, пострадавших за веру: изящные искусства — религия, причем религия, обладающая в наши дни не самой малой мощью и пользующаяся не самым малым авторитетом.

Вид, открывающийся с кремлевского холма, великолепен, особенно вечером; после утренней прогулки я, уже без спутников, возвратился к подножию колокольни Ивана Великого, самого высокого здания в Кремле, а может быть, и во всей Москве, чтобы полюбоваться закатом солнца; я намерен еще не раз прийти сюда, ибо в Москве ничто не интересует меня так сильно, как Кремль.

Молодые деревья, несколько лет назад посаженные под стенами Кремля, служат древнерусскому Алькасару прекрасным украшением и в то же время оживляют вид современного купеческого города. Зелень сообщает старинным укреплениям дополнительную живописность. Внутри огромных сказочных башен, чьи своды поражают дерзостью замысла и прочностью исполнения, извиваются лестницы, чья крутизна и высота потрясают воображение; в уме зрителя воскресает целая череда мертвецов, которые спускаются по пологим склонам, выходят на орудийные площадки, опираются о балюстрады; тени эти обводят окрестности холодным и презрительным взором — взором смерти; чем дольше я смотрю на неровные и бесконечно разнообразные очертания кремлевских зданий, тем большее восхищение пробуждают в моей груди эти библейские постройки и их поэтические обитатели.

Я видел, как солнце, уже почти скрывшееся за окружающим Кремль парком, бросает свой последний луч на верхушки дворцовых башенок и на купола церквей, блистающие вместе с колокольнями на фоне темнеющей небесной лазури: зрелище это обладает колдовской притягательностью.

Посреди окружающего крепостные стены парка есть арка, о которой я вам уже рассказывал; нынче она поразила меня так сильно, словно я увидел ее в первый раз; она ведет в чудовищное подземелье. Покинув расположенный на холмах город, город, ощетинившийся башнями, чьи верхушки устремляются к небу, вы бредете под темными сводами по длинной, круто поднимающейся вверх дороге; достигнув ее конца, вы выходите на свет божий и оказываетесь на холме, откуда открывается вид на новую для вас часть города; пыльная и шумная, она с ее улицами и бульварами простирается у ваших ног, омываемая наполовину высохшей из-за летней жары рекой Москвой; когда последние лучи солнца озаряют ее русло, жалкий ручеек вспыхивает, словно охваченный пламенем. Вообразите себе это естественное зеркало в раме прелестных холмов — впечатление неизгладимое! Вдали виднеются Воспитательный дом и другие благотворительные

заведения, приюты, школы — каждый из этих памятников огромен, как целый город. Вообразите себе реку, через которую перекинут небольшой каменный мост, вообразите старые монастыри с их бесчисленными куполами, которые, возвышаясь над Москвой, возносят к небесам вечную молитву за ее благоденствие, вообразите их негромкий звон, проникнутый в этой стране удивительной гармонией, — этот благочестивый шепот, так идущий к шелесту здешней толпы — покойной, хотя и густой, оживленной, но не обращающей ни малейшего внимания на лошадей и экипажи, которых в Москве так же много, как и в Петербурге, и которые снуют по улицам быстро и бесшумно, — вообразите все это, и вы поймете, что такое закат солнца над пыльной древней столицей. Летним вечером Москва — город, которому нет равных; это не Европа и не Азия, это Россия, самое ее сердце.

За извилистой лентой Москвы-реки, над яркими крышами в блестках пыли взору предстают Воробьевы горы. Именно с их вершины наши солдаты в первый раз увидели Москву...

Что за воспоминание для француза!! Обводя взглядом все кварталы этого огромного города, я напрасно искал хоть каких-нибудь следов пожара, разбудившего Европу и погубившего Бонапарта. Войдя в Москву завоевателем, победителем, он вышел из этого священного для русских города беглецом, обреченным вечно сомневаться в собственной удаче, прежде ему никогда не изменявшей.

910 Фраза Наполеона, сообщенная аббатом де Прадтом, — фраза, в подлинности которой мы не имеем оснований сомневаться, — обличает, на мой взгляд, всю жестокость, какая таится подчас в неумеренном честолюбии солдата. «От великого до смешного один шаг!» — воскликнул в Варшаве герой без армии. Как! В этот роковой миг он думал лишь о том, что скажут о нем газеты!.. Значит, трупы стольких людей, погибших ради его славы, были смешны, и не более! Только император Наполеон с его колоссальным тщеславием мог разглядеть смешную сторону в этой катастрофе, которую народы мира будут до скончания веков вспоминать с содроганием и которая вот уже три десятка лет отвращает европейские державы от войны. Думать о себе в столь торжественный час — это не эгоизм, это преступление. Фраза, приведенная мехельнским архиепископом, — крик души себялюбца, на мгновение завладевшего целым миром, но не сумевшего совладать с самим собой. Такая бесчеловечность, проявленная в такую минуту, войдет в историю, когда история наконец сделается справедливой.

Я хотел бы представить себе обстановку, в какой произошла эта эпическая сцена, одна из удивительнейших сцен в нашей недавней истории: однако здесь все силятся предать великие подвиги забвению; народ-раб страшится собственного героизма; русская нация, по природе и по необходимости сдержанная и осмотрительная, состоит из людей, чье главное желание — скрыться в тени, в безвестности. Здесь каждый делает все возможное для того, чтобы исчезнуть, испариться; если в других краях честолюбцы упрекают друг друга в низостях, то здесь соперникам и врагам припоминают их благородные поступки и героические деяния. Я не нашел в России ни одного человека, который согласился бы ответить на мои вопросы, касающиеся патриотических подвигов и великодушия русских в славнейшую пору их истории.

454 По своему усмотрению, сколько угодно *(лат.)*.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Я, напоминая иностранцам о таких эпизодах французской истории, как русская кампания, не чувствую себя ущемленным в моей национальной гордости. Размышляя о том, какой ценой этот народ отстоял свою независимость, я радуюсь, и радость моя нимало не оскорбляет праха наших солдат; по силе защиты можно судить о мощи нападения; история засвидетельствует, что одно стоило другой, но, будучи неподкупной, добавит, что справедливость была на стороне защищавшихся.

Ответственность за все это лежит на императоре Наполеоне; в ту пору Франция подчинялась одному-единственному человеку; она действовала, но не мыслила; ее пьянила слава, как нынче русских пьянит послушание; держать ответ за события должны те, кто берутся думать за весь народ. В России же нынче обо всех этих великих событиях стараются забыть, а если и вспоминают, то не с гордостью, а с извинениями.

Ростопчин, прожив много лет в Париже и даже перевезя туда свою семью, 911
вздумал вернуться на родину. Однако, опасаясь славы спасителя отечества, сопутствующей — заслуженно или нет — его имени, он предварил свое возвращение ко двору императора Александра публикацией брошюры, написанной исключительно ради того, чтобы доказать: Москва загорелась сама собою, без всякой предварительной подготовки. Таким образом, Ростопчин употребил весь свой ум на то, чтобы убедить русских, что он не совершал того героического поступка, в котором обвиняет его Европа, изумлявшаяся сначала величию, а затем ничтожеству этого человека, достойного служить лучшему правительству!.. Каковы бы ни были в действительности заслуги Ростопчина, несомненно одно: он скрывал, отрицал свой мужественный поступок и горько жаловался на неслыханную клевету, превращавшую его из безвестного генерала в освободителя отечества!

Со своей стороны император Александр не переставал повторять, что никогда не отдавал приказа сжечь свою столицу.

Это соперничество за право считаться самым ничтожным характеристично: невозможно не изумляться грандиозности драмы, зная, какие актеры в ней играли. Когда еще исполнители так горячо старались убедить зрителей в том, что они ровно ничего не понимают в том, что делают?

Начав читать Ростопчина, я тут же поймал его на слове; человек, который так боится прослыть великим, сказал я себе, именно таков, как он утверждает. В подобных делах людям должно верить на слово; ложная скромность выдает истинную сущность человека даже против его воли; она — патент на ничтожество; ведь люди выдающиеся ничего не делают напоказ; они отдают себе должное вполголоса, а если им приходится говорить о себе в обществе, делают это без гордыни, но и без лживого самоуничижения. С тех пор как я прочел эту удивительную брошюру, прошло уже много времени, но я никак не могу забыть ее, ибо она открыла мне глаза на дух русского правительства и русской нации.

Я ушел из Кремля, когда уже почти совсем стемнело; московские здания, многие из которых огромны, как целые города, и отдаленные холмы окутал сумрак; тишина и ночь спустились на город; изгибы Москвы-реки почти исчезли из глаз, потому что сверкающие солнечные лучи уже не отражались от поверхности

этого наполовину высохшего потока; пылающий западный край неба догорел, погас, окрасился в коричневые тона: сердце мое сжималось при виде этого грандиозного пейзажа, пробуждающего столько воспоминаний; мне чудилось, будто я вижу, как Иван IV, Иван Грозный, поднимается на самую высокую из башен своего опустевшего дворца и с помощью своей сестры и подруги Елизаветы Английской пытается утопить в луже крови императора Наполеона!.. Казалось, эти два призрака рукоплещут падению великана, которому рок судил, погибнув, позволить двум своим врагам сделаться еще могущественнее, чем они были при его жизни.

911 Англия и Россия имеют основания быть благодарными Бонапарту и потому не вовсе отказывают ему в признательности. Не таковы были для Франции итоги царствования Людовика XIV. Вот отчего ненависть Европы пережила великого короля на полтора столетия, великий же полководец был после своего падения возведен в ранг божества, и даже его тюремщики, за редким исключением, не боятся присоединить свои неуместные дифирамбы к хору голосов, восхваляющих его во всех концах Европы; этот феномен, подобного которому, я полагаю, не сыщется ни в одной национальной истории, объясняется исключительно духом противоречия, охватившим сегодня все цивилизованные нации. Впрочем, господство этого духа подходит к концу, и у нас есть надежда прочесть вскоре
911 сочинения, авторы которых оценят Бонапарта беспристрастно, не уснащая свои суждения язвительными намеками на нынешних правителей Франции или любой другой страны.

Я надеюсь, что настанет день, когда этому человеку, потрясающему воображение не только поступками, какие он совершил при жизни, но и страстями, какие он возбуждает после смерти, будет вынесен справедливый приговор. Пока луч истины не поднялся выше подножия этой фигуры, которую по сей день защищает от сурового осуждения потомков двойной ореол неслыханных удач и столь же неслыханных бедствий.

Все же внукам нашим небесполезно будет узнать, что изобретательности у него было больше, чем благородства, и что он лучше умел пользоваться благосклонностью судьбы, чем бороться с ее превратностями. Тогда, и только тогда, страшные последствия его политической безнравственности и его лживого, вероломного правления прекратят оказывать свое тлетворное воздействие.

Спустившись с кремлевских холмов, я вернулся домой разбитый, как человек, только что ставший свидетелем ужасной трагедии, или, скорее, как больной, который видел кошмарный сон и проснулся в горячке.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

Восточный облик Москвы. — Связь между архитектурой этого города и характером его обитателей. — Что отвечают русские, когда их упрекают в непостоянстве. — Шелковые фабрики. — Видимость свободы. — На чем она основывается. — Английский клуб. — Затерянность Москвы среди огромного континента. — Русское благочестие. — Беседа на эту тему с человеком острого ума. — О том, что Англия умеет извлекать выгоду из ханжества. — Об англиканской церкви. — О ее непоследовательности. — Честные богомольцы и государственные мужи. — Заблуждение либералов, отвергающих католицизм. — Политика Англии. — На что она опирается. — Безотказный способ побороть Англию. — Священная власть газет. — Более ли она нравственна, нежели власть духовенства? — Греко-русская церковь. — Ее безгласность. — Отсутствие проповедников. — Отсутствие публичного религиозного образования. — Многочисленные секты. — В них господствует кальвинизм. — Скверная политика. — Секта, поощряющая многоженство. — Купеческое сословие. — Праздник в монастыре на Девичьем поле. — Чудотворная икона Божьей матери. — Могилы цариц и царевен. — Кладбище. — Толпа простолюдинов. — Особенность пейзажей. —Деревья посреди города. — Пьянство — русский порок. — Что его извиняет. — Эмблема нации и ее правительства. — Площадь, где происходило празднество. — Местоположение монастыря. — Особенность этого праздника. — Облик народа. — Скрытая поэзия. — Пение донских казаков. — Мелодия, напоминающая «Испанские безумства». — Музыка северных народов. — Казаки. — Их характер. — Недостойные уловки, к которым прибегают офицеры. — Выторгованное мужество. — «Упряжка» — перевод польской басни.

Москва, 12 августа 1839 года 915

Перед тем как приехать в Россию, я прочел, кажется, большую часть описаний Москвы, сделанных путешественниками, которые бывали здесь прежде; однако я не представлял себе, до какой степени удивителен вид этого города на холмах, внезапно, словно по волшебству, вырастающего из-под земли среди огромного гладкого пространства. Москва напоминает театральную декорацию. Место, где она выстроена, — едва ли не единственная возвышенность, какой

может похвастать центр России... Конечно, это не Швейцария и не Италия, а просто пересеченная местность. Однако контраст этих неровностей почвы с бескрайними пространствами, среди которых глаз теряется, словно среди американской саванны или азиатских степей, производит потрясающее впечатление. Москва — город панорам. Со своими пышными ландшафтами и причудливыми постройками, которые могли бы послужить моделями для фантастических полотен Мартина, она воскрешает в уме те представления, которые неведомо
9:2 как сложились у нас о Персеполисе, Багдаде, Вавилоне, Пальмире — романтических столицах баснословных держав, чья история — поэзия, а архитектура — греза; одним словом, попав в Москву, вы забываете Европу. Вот чего я не знал, находясь во Франции.

Следственно, мои предшественники не выполнили своего долга. Особенно непростительно, на мой взгляд, упущение одного из них, проведшего в России немало времени. Ни одно описание не стоит полотен художника, чьи работы выразительны и верны действительности, — такого, как Орас Берне. Кто лучше его умеет ощутить и дать ощутить другим дух окружающего мира? Правда живописи коренится в облике предметов; Берне постигает ее как поэт, а воспроизводит как художник: поэтому всякий раз, когда я чувствую, что мне недостает слов, я впадаю в ярость и сожалею о том, что не могу сказать: «Взгляните на полотна Ораса Берне, и вы поймете, что такое Москва»; будь у меня такая возможность, я без труда достиг бы своей цели, теперь же я трачу очень много труда, но цели не достигаю.

Москва — царство пейзажей. Искусство мало помогло этому городу, прихоти же строителей и сила вещей сотворили здесь чудеса. Изумительные группы зданий, массивные громады построек поражают воображение. По правде говоря, наслаждение, которое доставляет вид Москвы, — низшего сорта: этот город не является детищем гения, и знатоки не находят в нем ни одного памятника, достойного внимательного изучения; не отнесешь Москву и к числу тех величественных пустынь, где время в тишине разрушает то, что создала природа; Москва — город, покинутый населявшими его некогда великанами — племенем, стоящим посередине между Богом и человеком; Москва — творение циклопов. Ее нельзя сравнить с другими европейскими городами; в городе, где ни один великий художник не оставил отпечатков своей мысли, испытываешь удивление, и не более; меж тем удивление быстро истощается, и душе наскучивает его высказывать.

Впрочем, я извлекаю некоторый урок даже из того разочарования, каким сменяется здесь первое потрясение; дело в том, что облик всякого города теснейшим образом связан с характером его обитателей. Русские любят все, что блестит, они пленяются внешностью и сами пленяют ею же; вызвать зависть, чего бы это ни стоило, — вот предел их мечтаний! Англию снедает гордыня, Россию мучит тщеславие.

Здесь мне придется напомнить вам, что обобщения всегда выглядят несправедливыми. Однако постоянное возвращение к этой риторической предосторожности, должно быть, столь же скучно для вас, сколь утомительно для меня; поэтому я хочу раз и навсегда оговориться, что всякое правило знает исключения,

и заверить, что я полон почтения к достоинствам и прелестям частных лиц, никоим образом не заслуживших моей критики. В конце концов, мы ведь не в палате депутатов, и я не докладчик, вносящий проект закона, нуждающегося в поправках.

Путешественники, побывавшие в России прежде меня, уже отмечали, что 912
чем меньше знаешь русского, тем любезнее его находишь; им отвечали, что эти слова свидетельствуют против них и что охлаждение, на которое они жалуются, доказывает не что иное, как их собственную незначительность. «Мы приняли вас учтиво, — говорили русские, — потому что от природы гостеприимны; переменились же к вам лишь потому, что вначале были о вас более высокого мнения, чем вы заслуживаете». Такой ответ выслушал много лет назад один француз, человек небесталанный, но выказывавший в силу занимаемого им положения чрезмерную сдержанность; я не хочу называть здесь ни его имени, ни заглавия его книги, в которой, несмотря на всю ее осторожность и бесцветность, автору удалось приоткрыть истину, что и вызвало крайнее неудовольствие русских. Стоило ли смирять свой ум ради людей, которым невозможно угодить ни лестью, ни беспристрастностью? С таким же успехом можно пренебречь их интересами, что я, как видите, и делаю. Уверенный в том, что суждения мои в любом случае придутся русским не по нраву, я хочу, по крайней мере, высказать всю правду без изъятия.

Москва гордится своими фабриками; русский шелк соперничает с восточным и западным. Купеческий квартал, именуемый Китай-городом, так же как и Кузнецкий мост — улица, где расположены самые лучшие модные лавки, — принадлежат к числу московских достопримечательностей. Я упоминаю о них потому, что предвижу серьезные политические следствия, какие может иметь для Европы желание русского народа перестать зависеть от промышленности других стран.

Свобода, царящая в Москве, иллюзорна, однако невозможно отрицать, что жители этого города движутся, действуют и мыслят по собственной воле, не дожидаясь чужого приказа. В этом Москва разительно отличается от Петербурга.

Дело тут, на мой взгляд, в первую очередь в огромных размерах Москвы и разнообразии ее ландшафта. Неравенство (в любом значении этого слова) вкупе с простором — составные части свободы; напротив, абсолютное равенство — 912
синоним тирании, при которой меньшинство стонет под игом большинства; свобода и равенство несовместимы; не искажайте и не смягчайте смысла этих двух понятий, и вы поймете, что одно исключает другое.

Москва как бы похоронена в глубине России. Отсюда — печать самобытности, лежащая на ее постройках, отсюда — свободный вид, отличающий ее обитателей, отсюда, наконец, — нелюбовь царей к этому городу, сохраняющему независимость. Цари — древние тираны, чей деспотизм чуть умерен модой, превратившей их в императоров, более того, в людей светских, — избегают Москвы. Несмотря на все его недостатки, они предпочитают Петербург, ибо испытывают потребность постоянно сообщаться с европейским Западом. Та Россия, какую создал Петр Великий, не умеет ни жить, ни учиться, полагаясь на самое себя. В Москве русская знать не смогла бы уже через неделю узнавать все дрянные парижские

анекдоты и быть постоянно в курсе всех европейских сплетен, касающихся светского общества и литературных однодневок. Подробности эти, как ни жалки они на наш вкус, более всего интересуют русский двор, а следственно, и всю Россию.

Если бы снежные заносы и талые воды не препятствовали русским в течение шести — восьми месяцев ездить по железным дорогам, русское правительство обогнало бы все прочие нации в прокладке этих дорог, сокращающих расстояния, ибо оно больше, чем любое другое, страдает от невозможности быстро преодолеть огромные пространства. Но сколько ни строй железных дорог, сколько ни увеличивай скорость поездов, громадные размеры России были и будут величайшим препятствием для распространения идей, ибо твердая земля — не море, по которому можно разъезжать в любом направлении; вода, которая на первый взгляд кажется разлучницей, на самом деле сближает жителей разных континентов. Вот чудесное противоречие: пленник Господа, человек остается, однако, царем природы.

Конечно, будь Москва морским портом или хотя бы центром, откуда расходятся во все стороны железные колеи — электрические проводники человеческой мысли, призванные, кажется, удовлетворить некоторые из нетерпеливых желаний того века, в каком нам довелось жить, здесь невозможно было бы наблюдать такие картины, как та, что предстала мне вчера в Английском клубе: военные всех возрастов, щеголи, важные господа и легкомысленные юнцы, на несколько мгновений прервав беседу, осеняли себя крестом, прежде чем сесть за стол, причем дело происходило не дома, не в кругу семьи, но на людях, в обществе, состоящем из одних мужчин. Люди, воздерживающиеся от исполнения этого религиозного долга (их было немало), следили за действиями соседей без удивления; как видите, Париж недаром отделяют от Москвы добрых восемьсот лье.

Дворец, в котором обосновался клуб, показался мне просторным и красивым; он устроен и обставлен подобающим образом, и в нем можно найти почти все, что имеется в других клубах. Это меня не удивило, но вот благочестием русских я был искренне восхищен, о чем и сообщил особе, введшей меня в клуб. 913

Мы беседовали наедине, удалившись в глубь сада; дело происходило после обеда. «Не стоит судить о нас по видимости», — отвечал мой собеседник, один из просвещеннейших подданных Российской империи, в чем вы скоро убедитесь. «Однако, — возразил я ему, — именно эта видимость и внушает мне уважение к вашей нации. У нас все боятся только ханжества, а ведь цинизм куда более губителен для общества». — «Да, но он менее отвратителен для великодушных сердец». — «Не спорю, — продолжал я, — но отчего выходит, что громче всех обличают святотатство именно безбожники, которые поднимают шум, стоит им только заподозрить, что в сердце человека чуть меньше благочестия, чем он выказывает в поступках и словах? Будь наши философы последовательны, они увидели бы в ханжестве одну из опор государственной машины. Верующие куда более покладисты, чем безбожники». — «Я не ждал от вас апологии ханжества». — «Я ненавижу его как отвратительнейший из пороков, но утверждаю, что ханжество, не причиняющее человеку вреда ни в чем, кроме его отношений с Господом, менее опасно для общества, чем наглое безбожие, и настаиваю на

том, что именовать его осквернением святыни вправе лишь особы истинно благочестивые. Людям неверующим, государственным мужам, исповедующим философические убеждения, следовало бы относиться к ханжеству снисходительно и даже использовать его как мощное средство воздействия на политику, однако французы избирали этот путь очень редко, ибо галльское чистосердечие отказывается править людьми с помощью лжи; напротив, наши расчетливые соперники научились извлекать пользу из спасительной лжи куда лучше, чем мы. Разве Англия, страна, где царит дух сугубо практический, не получила щедрого вознаграждения за богословскую непоследовательность и религиозное лицемерие? Англиканская церковь, вне всякого сомнения, подверглась реформам в гораздо меньшей степени, нежели церковь католическая; после того как Тридентский собор удовлетворил законные требования князей и народов, сделалось 913
невозможным выдвигать в качестве предлога для разрушения церковного единства борьбу со злоупотреблениями, которые иные люди, присвоившие себе роковое право создавать секты, осуждают на словах и умножают на деле; меж тем Церковь, зиждущаяся на очевидных противоречиях и созданная благодаря незаконному присвоению чужих прав, по сей день помогает своей стране покорять мир, страна же платит ей лицемерным покровительством; способ этот может показаться отвратительным, но он безотказен. Поэтому я утверждаю, что непоследовательные и ханжеские деяния, чудовищные с точки зрения людей истинно религиозных, не должны оскорблять ни философов, ни государственных мужей». — «Не хотите же вы сказать, что среди прихожан англиканской церкви нет ни одного искренне верующего христианина?» — «Нет, я допускаю, что в этом случае, как и во всех прочих, правило знает исключения, однако я убежден, что большинство тамошних христиан действуют непоследовательно, что, впрочем, никак не мешает мне, французу, завидовать религиозной политике англичан; равным образом восхищаюсь я и благочестивым смирением русских. У французов всякий священник, пользующийся доверием народа, кажется угнетателем тем вольнодумцам, что вот уже сто тридцать лет управляют страной 913
и либо открыто, посредством своего революционного фанатизма, либо тайно, посредством своего философического равнодушия, погружают ее в хаос».

Мой истинно просвещенный собеседник, казалось, глубоко задумался; после продолжительного молчания он сказал: «Мои взгляды не так далеки от ваших, как вы думаете; путешествуя по Европе, я никогда не мог постичь одного обстоятельства, представляющегося мне необъяснимым: я говорю о враждебности либералов — даже тех, кто именуют себя христианами, — католической религии. Неужели эти люди (а среди них есть такие, которые рассуждают весьма здраво и доводят свои рассуждения до логического конца) не видят, что, отрекаясь от римской религии, они лишают себя покровительницы, способной защитить их от деспотизма, свойственного правительству любой страны, какие бы убеждения оно ни исповедовало?» — «Вы совершенно правы, — отвечал я, — но миром правит привычка; в течение многих столетий самые светлые умы так громко бранили нетерпимость и алчность Рима, что никто у нас еще не успел изменить точку зрения и понять, что папа как духовный глава Церкви есть

незыблемая опора религиозной свободы во всем христианском мире, а как светский владыка — досточтимый правитель, викарий Иисуса Христа, несущий свое двойственное бремя и отстаивающий свою независимость с превеликим трудом, ибо политика его, бессильная внутри страны, уже давно не страшна никому за ее пределами.

Как не разглядеть с первого же взгляда, что всякая нация, безоговорочно принимающая католическую веру, неизбежно становится противницей Англии,[1] чья политическая мощь зиждется исключительно на ереси? Если Франция поднимает и защищает всею силою своих убеждений знамя Католической Церкви, она уже одним этим объявляет во всех концах света страшную войну Англии. Все это — истины, которые в наше время, кажется, не могут не быть очевидными для всех, между тем по сей день над ними еще не задумался никто, кроме нескольких особ — заинтересованных и потому не пользующихся доверием: ведь особенность нашей эпохи заключается в том, что французы воображают, будто человек, сколько-нибудь заинтересованный в том, чтобы говорить правду, непременно лжет: здравый смысл вызывал бы больше доверия, будь доподлинно
913 известно, что он решительно бесполезен... Таково смятение, царящее в умах после полувека, отданного революциям, и сотни с лишним лет, прошедших под знаком философского и литературного цинизма. Разве нет у меня оснований завидовать вашей вере?»

«Однако ваша религиозная политика призвана побудить всю нацию преклонить колени перед священниками».

«Преувеличенное благочестие, на мой взгляд, — не самая страшная из опасностей, грозящих нашему веку, однако будь даже благочестие истово верующих людей силой устрашающей, я не отступил бы по этой причине от своих убеждений; всякий человек, который желает добиться в этой жизни чего-нибудь положительного, неминуемо, если воспользоваться вашим выражением, преклоняет колени перед кем-либо».

«Согласен, однако я скорее стану льстить газетчикам, нежели священникам; свобода мысли таит в себе больше преимуществ, чем невыгод».

«Имей вы возможность наблюдать ту тиранию мысли, к какой приводит произвол людей, управляющих французской прессой, так близко, как наблюдал ее я, вы не произнесли бы этой красивой фразы: получи вы свободу мысли, вы очень скоро узнали бы, что газетчики правят миром так же пристрастно, но куда менее добродетельно, нежели священники. Забудьте на мгновение о политике и попытайтесь определить, чем руководствуются газетчики, создавая репутацию тем или иным лицам... Нравственность власти зависит от той школы, которую проходят люди, на эту власть притязающие. Не думаете же вы, что чувство собственного достоинства и независимости развито у газетчиков больше, нежели у священников? А ведь вопрос именно в этом, и сегодняшняя Франция призвана решить его, а равно и множество других вопросов, в духе времени; впрочем, какое бы мнение ни взяло верх, я знаю наверное, что Господь никогда не дозволяет

913 [1] См. наше предисловие к книге.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

человеческой логике безраздельно распоряжаться земным миром и что люди с непреклонной душой и фанатическими идеями недолго удерживают в руках незаконно похищенную ими власть... Однако оставим общие рассуждения и поговорим о состоянии религии в вашей стране; скажите мне, каковы те люди, что проповедуют и толкуют Евангелие в России?»

Вопрос мой, пусть даже обращенный к человеку высокого ума, в Петербурге прозвучал бы нескромно; в Москве же я дерзнул задать его, ибо здесь царит загадочная свобода, которой местные жители пользуются безотчетно, не умея ее определить и не зная ее причин; иным людям, пленившимся ею, случается дорого поплатиться за свою доверчивость, и все же свобода эта — не выдумка, а быль.[1] Вот что ответил мне философически настроенный русский (слово «философический» я употребляю в самом лестном смысле). Вы уже знаете характер его убеждений: после многолетнего пребывания в Европе он возвратился в Россию, исповедуя воззрения либеральные, но весьма здравые. Вот вкратце его речь:

«В греческих церквах проповеди всегда были весьма кратки, у нас же политические и религиозные власти больше чем где бы то ни было противились богословским спорам; как только нашлись люди, пожелавшие обсуждать разногласия Рима и Византии, им предписали молчание. Предметы разногласий столь ничтожны, что споры могут продолжаться лишь благодаря невежеству сторон. Во многих учебных заведениях для девочек и мальчиков воспитатели, по примеру иезуитов, давали детям начатки религиозного образования, но власти терпят подобные уроки лишь в виде исключения, время от времени накладывая на них запрет; вот факт, могущий показаться вам невероятным, но тем не менее абсолютно достоверный: публичного религиозного воспитания в России не существует.[2] Отсюда — обилие сект, существование которых правительство тщательно скрывает. 913

Одна из них поощряет многоженство; другая идет еще дальше: она проповедует общность жен и мужей и претворяет свои теории в жизнь.

Нашим священникам запрещено писать что бы то ни было, даже летописи; крестьяне толкуют Библию, вырывая фразы из контекста, что приводит к образованию новых ересей, по преимуществу кальвинистских. Когда деревенский поп спохватывается, выясняется, что ересь уже заразила большую часть местных жителей и даже благодаря упорству невежд распространилась среди обитателей соседних деревень; если поп бьет тревогу, еретиков-крестьян немедленно ссылают в Сибирь, поэтому помещик, чтобы не лишиться крепостных и не разориться, самыми разными способами принуждает попа к молчанию; когда же, несмотря на все предосторожности, слухи о новой секте наконец доходят до высших властей, число еретиков становится так велико, что любые меры оказываются бесполезны: насилие может привести к огласке, но не способно искоренить зло; опровержение веры, исповедуемой сектантами, породит дискуссию, а это в глазах русского правительства — страшнейшее из зол; таким образом, единственным

[1] Беззаконный арест француза, о котором я рассказываю ниже, доказывает опасность подобных иллюзий.

[2] *8 НИН нитип* ппрж| I р *и* ужр *писал, nf ЭТОМ.*

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

средством, к которому прибегают власти, остается молчание, скрывающее недуг, но не лечащее, а, напротив, усугубляющее его.

Именно религиозные распри погубят русскую империю; вы завидуете силе нашей веры оттого, что судите о нас понаслышке!!»

Таково мнение одного из самых проницательных и искренних людей, каких я видел в России...

Один вполне заслуживающий доверия иностранец, уже много лет живущий в Москве, рассказал мне нынче, что недавно ему случилось обедать у петербургского купца, тайного приверженца одной из новых сект, в обществе его *трех* жен: не любовниц, а именно законных супруг. Не думаю, чтобы государство признало детей, прижитых им от этих трех супруг, законными, но его совесть христианина может оставаться спокойной.

913 Узнай я об этом случае от местного жителя, я не стал бы рассказывать вам о нем, ибо среди русских есть такие, которые охотно морочат голову чересчур любопытным и легковерным путешественникам и тем затрудняют им добросовестное исполнение долга важнейшего, но труднейшего — долга наблюдателя.

Купеческое сословие — самое могущественное, древнее и уважаемое сословие в Москве; богатые торговцы ведут жизнь, подобную той, какой наслаждаются азиатские негоцианты: это еще раз доказывает схожесть московских нравов с восточными обыкновениями, столь живописно изображенными в арабских сказках. Между Москвой и Багдадом столько общего, что, путешествуя по России, утрачиваешь желание видеть Персию: поездка туда не сулит ничего нового.

Я побывал на народном празднике около монастыря на Девичьем поле. Действующими лицами в этом представлении служили солдаты и мужики, зрителями — светские люди, также не оставившие без внимания эту забаву. Шатры и палатки, где продают спиртное, разбиты подле кладбища; поклонение мертвым служит народу поводом для веселья. Праздник был посвящен не вспомню какому святому, на мощи и образа которого простолюдины исправно молились между кружками кваса. В тот вечер они истребили сказочное количество этого национального напитка.

В монастыре на Девичьем поле восемь церквей; в одной из них хранится чудотворная икона Смоленской Божьей матери, которую некоторые русские считают всего лишь копией.

К концу дня я вошел в главный собор монастыря; он произвел на меня сильное впечатление: полумрак сообщал ему особенное величие. В обязанность монахинь входит украшение алтарей в приделах, и эту обязанность — впрочем, легчайшую из всех, какие предписывает их состояние, — они исполняют с большим тщанием, обязанностями же более трудными пренебрегают, ибо, как говорят особы весьма осведомленные, поведение московских монахинь не назовешь безупречным.

В соборе похоронены несколько цариц и царевен, в частности честолюбивая царевна Софья, сестра Петра Великого, и царица Евдокия, первая жена это-
914 го монарха. Эта несчастная женщина, впавшая в немилость, если я не ошибаюсь, в 1696 году, была вынуждена принять постриг в Суздале.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Католическая церковь питает такое великое почтение к неразрывным узам брака, что позволяет замужней женщине уходить в монастырь лишь в том случае, если супруг ее в то же самое время принимает постриг или становится священником. Таково правило, однако у нас, как и везде, законы нередко подчиняются людским интересам; тем не менее известно, что католическое духовенство и по сей день лучше всех в мире умеет охранять священную независимость религии от посягательств политики.

Императрица-монахиня скончалась в Москве, в Новодевичьем монастыре, в 1731 году. 913

Внутренний двор собора частично занят весьма красивым кладбищем. Вообще русские монастыри больше походят на скопище небольших домов, на городской квартал в каменной ограде, чем на обитель веры. Многажды разрушавшиеся и перестраивавшиеся, они имеют весьма современный вид; в краю, где нет ничего долговечного, ни одно здание не может противостоять действию климата и злобе стихий. Все очень скоро приходит в негодность и переделывается наново: поэтому вся страна кажется поселением, основанным не далее как вчера. Один Кремль, 913
кажется, не боится зимних морозов и готов стоять невредимым столько, сколько просуществует империя, чьей эмблемой и оплотом он является.

Впрочем, хотя русские монастыри и не отличаются красотой архитектуры, воплощаемая ими идея неизбежно сообщает им величие. Выйдя за ограду Новодевичьего монастыря, я постарался отдалиться от толпы, чей шум начал мне докучать. Тьма уже окутала купола церквей, когда я принялся осматривать один из красивейших кварталов Москвы — города, где нет недостатка в живописных видах. Идя по улице, вы не замечаете ничего, кроме стоящих на ней домов, но ступайте на широкую площадь, поднимитесь на горку, даже совсем невысокую, откройте окно, выйдите на балкон или террасу — и вашим глазам предстанет новый, огромный город, раскинувшийся на холмах, между которыми пролегают пашни, **пруды, даже леса; город-деревня, окруженный полями, зыблющимися, словно море,** которое, в свой черед, даже в непогоду издали всегда напоминает равнину.

Москва — город, созданный для мастеров жанра, архитекторам же, скульпторам и создателям исторических полотен здесь не на что смотреть и нечего делать. Группы зданий, затерянные среди огромных просторов, образуют множество прелестных и смелых передних планов для величественных пейзажей, которые сообщают древней столице России неповторимый облик, ибо в мире нет другого города, который, разрастаясь, сохранял бы всю живописность сельской местности. В Москве столько же проселочных дорог, сколько и улиц, столько же вспаханных полей, сколько и холмов, застроенных домами, столько же запустелых оврагов, сколько и шумных площадей. В двух шагах от центра города вы можете увидеть деревенские дома на берегу пруда и в окружении лесов: взору вашему предстают то величественные монастыри со множеством устремленных в небо соборов и колоколен, то дома на холмах, то колосящиеся поля, то почти совсем пересохшая из-за летнего времени река; переведите взгляд чуть подальше — и вы увидите острова городских построек, столь же необычных, сколь и разнообразных, увидите театры с античными перистилями, а рядом деревянные дворцы — единственные

творения национального архитектурного гения, пригодные для житья, причем все это будет наполовину скрыто от вас зеленью; не забудьте также, что над поэтической декорацией, которую я только что описал, царит древний Кремль с его зубчатыми стенами и изумительными башнями, чьи верхушки напоминают заснеженные вершины вековых дубов. Этот славянский Парфенон правит Москвой и охраняет ее; он подобен венецианскому дожу, восседающему среди сената.

Палатки, где толпились участники гулянья на Девичьем поле, к вечеру пропитались нестерпимым зловонием; воздух отравляли запахи юфти, спиртных напитков, крепкого пива, кислой капусты, казацких сапог, мускуса и амбры, которыми благоухали несколько дворян, забредших сюда от нечего делать и, кажется, из аристократической гордыни решивших во что бы то ни стало проскучать здесь весь день; что до меня, я очень скоро начал задыхаться.

Для русских простолюдинов главное удовольствие — хмель, иначе говоря, забвение. Бедняги! чтобы стать счастливыми, им нужно впасть в забытье; впрочем, о добродушном нраве русских мужиков свидетельствует то, что, захмелев, эти люди, как бы грубы они ни были, смягчаются и, вместо того чтобы по примеру пьяниц всего мира лезть в драку и избивать друг друга до полусмерти, плачут и целуются: что за трогательная и забавная нация!.. Как отрадно было бы сделать ее счастливой. Однако задача эта нелегкая — чтобы не сказать невыполнимая. Укажите мне способ удовлетворить смутные желания великана — юного, ленивого, невежественного, честолюбивого и связанного по рукам и ногам!.. Мне ни разу еще не случалось пожалеть здешний народ, не посочувствовав одновременно всемогущему человеку, этим народом управляющему.

Я отошел от питейных заведений и стал прохаживаться по площади: толпы гуляющих вздымали здесь тучи пыли. В Афинах лето длится долго, но дни там коротки, а воздух благодаря ветру, прилетающему с моря, не теплее, чем в Москве быстротечным северным летом. В России же в это время года стоит невыносимая жара: впрочем, скоро она прекратится, наступит ночь, а вслед за ней и зима, которая вынудит меня сократить пребывание в этой стране, как ни любопытно было бы пожить здесь подольше.

Замерзнуть в Москве невозможно, твердят в один голос все защитники русского климата; быть может, они и правы, однако русская зима — это восемь месяцев взаперти, меха, двойные стекла и предосторожности, каких требует свирепый мороз (а ртутный столбик опускается здесь до 15, а то и до 30 градусов ниже нуля), — тут есть над чем подумать, не так ли?

Монастырь на Девичьем поле стоит на высоком берегу Москвы-реки; ярмарочное поле, как говорят в Нормандии, а иными словами, — площадь, где происходит празднество, — это огромный пустырь, спускающийся, порой полого, а порой и круто, к реке, которая в этом году больше походит на песчаную дорогу то и дело меняющейся ширины, по середине которой струится тоненький ручеек. С одной стороны поля вздымаются ввысь башни монастыря, с другой — виднеются вдали здания старой Москвы; поля и луга вперемежку с окаймленными зеленью домами, серые доски хижин рядом с гипсом и известью роскошных дворцов, сосновые леса, окружающие столицу траурным поясом, медленно догорающий

вдали закат — все здесь сообщает однообразному северному пейзажу величавую красоту. Здесь взору предстают картины печальные, но грандиозные. Здесь все проникнуто поэзией, написанной на незнакомом нам, таинственном языке: попирая эту угнетенную землю, я вслушиваюсь, не понимая слов, в плач безвестного Иеремии; деспотизм не может не рождать пророков: будущее сулит райскую жизнь рабам и адские муки тиранам! По долетающим до моего слуха мелодиям горестных песен, по косым, хитрым, брошенным украдкой лицемерным взглядам я пытаюсь угадать мысль, дремлющую в душе этого народа, однако лишь время и молодость, которая, сколько бы на нее ни клеветали, больше располагает к учению, нежели зрелый возраст, позволили бы мне проникнуть во все тайны этой поэзии скорби.

Вместо того чтобы заниматься серьезными исследованиями, я — за неимением документов — забавляюсь, рассматриваю лица простолюдинов, их полувосточные, получухонские наряды; я радуюсь, что посетил этот праздник — невеселый, но так сильно отличающийся от всего виденного мною прежде.

Среди тех, кто гулял и выпивал на площади, было множество казаков. Собравшись в кружок, они молча слушали нескольких певцов, которые пронзительными голосами грустно выводили под негромкую, но весьма мелодичную музыку казачью народную песню. Пожалуй, она похожа на старинную песню «Испанские шалости», но звучит гораздо печальнее, нежнее и проникновеннее; кажется, будто слышишь доносящуюся из глубины ночного леса соловьиную трель. Слушатели иногда подтягивали хором последние слова куплетов.

Вот дословный прозаический перевод, сделанный для меня одним русским.

Юный казак

Они бьют тревогу,
Конь мой роет землю;
Я слышу его ржанье,
Не удерживай меня.

Юная дева

Пусть другие рвутся в бой,
Ты слишком юн и нежен;
Останься в нашей хижине,
Не езди за Дон.

Юный казак

Враг, враг, к оружию!..
Вызываю тебя на бой;
Нежный с тобой, надменный с врагом,
Я молод, но отважен;

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Старый казак покраснеет от стыда и гнева,
Если уедет без меня.

Юная дева

Посмотри, как плачет твоя мать.
Как дрожат ее колени;
Твоя пика поразит ее и меня
Прежде, чем пронзит врага.

Юный казак

Бойцы, повествуя о битве,
Назовут меня трусом;
Если же я погибну, братья прославят мое имя,
И это утешит тебя.

Юная дева

Нет, мы ляжем в одну могилу;
Если ты умрешь, я умру вслед за тобой;
Ты уедешь один, но погибнем мы вместе.
Прощай, у меня больше нет сил плакать.

Слова этой песни звучат, на мой вкус, вполне современно, мелодия же придает им аромат старины и простоты, благодаря которому я мог бы без скуки слушать ее часы напролет.

С каждым куплетом она производит на слушателя все более глубокое впечатление: много лет назад в Париже танцевали русский танец под сходную музыку, однако в стране, где она родилась, музыка трогает душу куда сильнее.

В песнях северных народов больше грусти, чем страсти, однако они надолго врезаются в память, меж тем как более яркие впечатления от южных песен вскоре забываются. Грусть долговечнее страсти. После того как я прослушал казачью песню несколько раз, она показалась мне уже не столь монотонной и куда более яркой; с музыкой незамысловатой это случается часто: повторение лишь увеличивает ее выразительность. Уральские казаки поют совсем иначе; жаль, что мне не довелось их слышать.

Это племя достойно специального изучения, на которое, однако, у торопливого иностранца нет времени; казаки, по большей части семейные, — это воинский род, не столько регулярная армия, сколько укрощенная орда. Привязанные к своим вождям, как собака к своему хозяину, они исполняют приказания с большим пылом и меньшим раболепством, чем другие русские солдаты. В стране, где ничто не определено раз и навсегда, они почитают себя союзниками, но не рабами императора. Они проворны, привычны к кочевому образу жизни; кони

их быстры и горячи, терпеливы и ловки, как и они сами, так же легко преодолевают усталость и лишения. Невозможно без восхищения думать об этих дикарях-разведчиках, которые благодаря своему географическому чутью находят дорогу в любой незнакомой местности, как в самой пустынной и бесплодной, так и в самой цивилизованной и населенной. Разве на войне само слово «казак» не вселяет ужас в душу врага? Генералы, умеющие с толком использовать эту легкую кавалерию, получают в свое распоряжение такое мощное средство атаки, какого нет у полководцев, возглавляющих самые дисциплинированные армии мира.

Говорят, у казаков от природы мягкий нрав; они более чувствительны, чем можно было бы ожидать от столь грубого народа, однако безграничность их невежества вызывает у меня сочувствие и к ним, и к их повелителям.

Когда я думаю о выгоде, какую извлекают здешние офицеры из доверчивости солдат, все во мне восстает против правительства, опускающегося до подобных уловок и не наказывающего тех своих подчиненных, что осмеливаются к ним прибегать.

Я знаю из надежного источника, что в 1814-1815 годах командиры, выводя свои отряды за пределы отечества, говорили казакам: «Убивайте как можно больше врагов, уничтожайте противника, ничего не опасаясь. Погибнув в бою, вы через три дня возвратитесь домой, к женам и детям; вы воскреснете во плоти 914
и крови, душой и телом; чего вам бояться?»

Люди, привыкшие почитать приказы офицеров за волю Бога-Отца, понимали эти обещания буквально; вы знаете, как отважно они сражались: до тех пор, пока возможно было избежать опасности, они удирали, как последние мародеры, но, увидев, что гибель неминуема, встречали ее как настоящие солдаты.

Что до меня, я убежден: если бы мне пришлось прибегать к этим или подобным способам ради того, чтобы вести за собою несчастных простаков, я и неделю бы не согласился носить офицерские погоны; обманывать людей, пусть даже ради того, чтобы делать из них героев, кажется мне задачей, недостойной и их и меня; я готов пользоваться храбростью подчиненных мне бойцов, но при этом хочу иметь право восхищаться ими; пробуждать мужество солдат законными средствами — долг командира; толкать их на смерть, скрывая от несчастных их удел, — обман, лишающий подвиг благородства, а преданность — нравственного величия; армейское лицемерие ничем не лучше лицемерия религиозного. Если бы война извиняла любую неправду, как полагают иные люди, что извиняло бы войну?

Можно ли, однако, без ужаса и отвращения вообразить себе нравственное состояние нации, чья армия не далее чем двадцать пять лет назад управлялась подобным способом? Конечно, действие всякого обмана ограничено, однако государственной машине хватает одной выдумки на военную кампанию: у каждой войны своя ложь.

Закончу басней, сочиненной, кажется, нарочно к этому случаю. Мысль принадлежит поляку, епископу Вармийскому, жившему во времена Фридриха II и прославившемуся своим остроумием; французское подражание написано графом Эльзеаром де Сабраном: 914

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

УПРЯЖКА

Искусный кучер правил экипажем;
Попарно четверню в него он впряг.
И, зная, как ее ускорить шаг,
Такую речь держал (мы перескажем):
«Беда, коль первые уйдут от вас вперед», —
Вторую поучал он пару.
«Беда, коль задняя вас пара обойдет
Или хотя б нагонит: больше жару!» —
Передних лошадей он торопил,
И те бежали, не жалея сил.
Прохожий, слыша назиданье это,
Сказал: «Морочите вы лошадей своих».
А кучер: «Точно, я морочу их,
Но катит хорошо моя карета».

(Перевод М. Гринберга)

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

*Татарская мечеть. — Как живут в Москве потомки монголов. — Их внешность. — Размышления о судьбе различных племен, составляющих род человеческий. — Унизительная терпимость. — Живописные картины. — Вид на Кремль издали. — Цитата из Лаео. — Сухарева башня. — Просторный водоем. — Византийская архитектура. Общественные заведения. — Вездесущий император. — Несовместимость славянского и немецкого характеров. — Большой московский манеж. — Дворянское собрание. — Что понимают русские под цивилизацией. — Указы Петра I касательно этикета. — Пристрастие русских к мишуре. — Обыкновения вельмож. — Разрушительное действие скуки на общество, подобное московскому. — Русские кафе. — Наряд тамошних слуг. — Смиренность бывших крепостных. — Их религиозные верования. — Московское общество. — Загородные дома в черте города. — Деревянные дома. — Обед под навесом. — Истинная учтивость. — Русский характер. — Презрение русских к милосердию. — Император поощряет это чувство. — Изящные манеры русских. — Их умение пленять собеседника. — Порождаемые им иллюзии. — Сходство русского и польского характеров. — Жизнь знатных гуляк в Москве. — Чем объясняется их вольное поведение. — Беспримерная ветреность. — Что служит оправданием деспотизму. — Нравственные последствия этого образа правления. — Безбожие губительно даже для людей безнравственных. — Размышления о нашей нынешней литературе. — Уважение к слову. — Великосветский пьяница. — Дотошность и неучтивость русских. — Портрет князя * * *. — Его свита. — Убийство в женском монастыре. — Любовные приключения. — Разговор за табльдотом. — Кремлевский ловлас. — Бурлескное прошение. — Современное ханжество. — Загородная поездка. — Прощание с князем * * * во дворе трактира. — Описание этой сцены. — Элегантный кучер. — Нравы московских мещан. — Снисходительное отношение к распутникам в этих краях. — В чем его причина. — Плод деспотизма. — Общее заблуждение касательно последствий, к каким приводит самодержавие. — Положение крепостных. — Что составляет действительную силу самодержавия. — Ложный путь. — Результаты политики Петра I. — Истинная мощь России. — На чем зиждилось величие царя Петра. — Его влияние заметно и по сей день. — Каким образом я прячу свои письма. — Петровское. — Пение русских цыган. — Революция в музыке, совершенная Дюпре. — Облик цыганок. — Русская*

убеждаешься в том, что участь их зависит от исповедуемых ими религий; религия — залог долговечности общества, ибо, лишь веруя в сверхъестественное, люди могут проститься с так называемым естественным состоянием — состоянием, рождающим только насилие и несправедливость; несчастья угнетенных племен суть не что иное, как кара за их неверие или добровольные заблуждения в области веры; к таким выводам я пришел в продолжение моих долгих странствий. Всякому путешественнику приходится быть философом и даже более чем философом, ибо хладнокровно наблюдать жизнь различных племен, рассеянных по земному шару, и размышлять, не впадая в отчаяние, о Божием Суде, этом таинственном источнике человеческих невзгод, может только христианин...

Вот о чем думал я в мечети, где молились потомки Батыя, ставшие париями в отечестве своих бывших рабов...

Сегодня положение татарина в России хуже положения московского крепостного.

Русские гордятся своей терпимостью по отношению к вере их древних угнетателей, однако, на мой взгляд, в терпимости этой больше показного блеска, чем истинной философской мудрости; для народа же, которому оказывают подобное снисхождение, оно попросту унизительно. На месте потомков безжалостных монголов, так долго правивших Россией и наводивших ужас на весь мир, я предпочел бы молиться Богу в глубине души, лишь бы не вступать под своды мечети, милостиво пожалованной мне моими бывшими данниками.

Прогуливаясь по Москве без цели и без провожатых, я полагаюсь на случай, и он меня еще ни разу не подвел. Разве может наскучить город, где в конце каждой улицы, позади каждого дома открывается неожиданный вид на город, возведенный, кажется, не людьми, а духами, город в кольце кружевных, зубчатых, изрезанных стен, венчаемых множеством сторожевых площадок, башен и шпилей, — одним словом, на Кремль — крепость с поэтической наружностью и историческим именем... Кремль постоянно влечет меня к себе, как влечет нас все, что живо поражает наше воображение; однако прошу вас не забывать, что эту обнесенную оградой гору, на которой беспорядочно громоздятся памятники, не следует рассматривать с близкого расстояния. Утонченного вкуса, иначе говоря, умения отыскать единственную совершенно точную форму для выражения оригинальной мысли, русским недостает, но когда великаны берутся за подражание, они создают копии, не лишенные очарования; плоды рук гения величественны, творения силача велики по размерам, но и это не пустяк.

Для меня Кремль — это вся Москва. Знаю, что я не прав, но не желаю слушать возражений моего разума: мне интересна только эта державная цитадель, исток империи и сердце города.

Вот как описывает древнюю столицу России автор лучшего путеводителя по Москве, Лекуэнт Лаво: «Москва, — говорит он, — обязана своей самобытной красотой зубчатым стенам Китай-города и Кремля,[1] своеобразной архитектуре своих церквей, своим золоченым куполам и многочисленным садам; потратьте миллионы

[1] Китай-город — купеческий квартал (см. его описание в нашем 27-м письме).

915 на возведение баженовского дворца, сровняйте с землей кремлевские стены,[1] возведите на фоне ажурных колоколен и пятиглавых соборов храмы, исполненные по всем правилам новейшего архитектурного искусства, застройте, повинуясь современной мании, сады домами, — и вы получите вместо Москвы европейский город, большой, но ничем не интересный любознательным путешественникам».

В этих строках выражены мысли, очень мне близкие и потому поразившие меня своей справедливостью.

Дабы ненадолго забыть о грозном Кремле, я отправился взглянуть на Сухареву башню, выстроенную на возвышенности подле одной из городских застав. Второй этаж ее — просторное помещение, где устроен огромный водоем, по которому впору кататься на лодке; отсюда поступает питьевая вода во все кварталы Москвы. Вид этого озера, заключенного в четырех стенах и поднятого на большую высоту, производит странное впечатление. Архитектура здания, впрочем довольно современная, тяжеловесна и уныла; однако аркады и украшения в византийском стиле вкупе с широкими перилами лестниц сообщают башне некоторое величие. В Москве много построек в византийском стиле; употребленный с умом, стиль этот мог бы положить начало единственной возможной у русских национальной архитектуре; рожденный в умеренном климате, он близок и потребностям северян, и привычкам южан. Внутренность византийского храма напоминает разукрашенное подземелье; благодаря толщине его массивных стен и царящему под его сводами полумраку такой храм спасает и от холода, и от зноя.

Мне показали университет, Кадетское училище, институты Святой Екатерины и Святого Александра, Вдовий дом и, наконец, Воспитательный дом; все это просторные, великолепные здания; русские гордятся обилием общественных заведений, которые можно предъявлять иностранцам; что до меня, я предпочел бы, чтобы заведения такого рода были менее роскошны, ибо нет ничего скучнее осмотра этих белых дворцов, похожих один на другой как две капли воды, — дворцов, где царит военная дисциплина, а жизнь человеческая, кажется, уподобляется монотонному движению маятника. Пусть другие описывают вам, что происходит в этих грандиозных питомниках, где пестуют офицеров, матерей семейств и учительниц; от меня вы об этом не услышите ни слова; скажу лишь, что эти полуполитические, полублаготворительные заведения показались мне образцом порядка, заботливости и чистоты; заведения эти делают честь как их устроителям, так и верховному правителю империи.

Невозможно ни на мгновение забыть об этом единственном в своем роде человеке, который мыслит, судит и живет за всю Россию: человек этот воплощает в себе знание и сознание собственного народа, предвидит, оценивает, повелевает и определяет, в чем нуждаются и на что имеют право притязать его подданные, которым он заменяет разум, волю, воображение, страсть, ибо под его тяжелой пятой ни одному существу не дозволено ни дышать, ни страдать, ни любить вне пределов, очерченных заранее верховной мудростью, предусматривающей — или, во всяком случае, обязанной предусматривать — все потребности своей державы.

[1] Замысел Екатерины И, частично осуществляемый сегодня.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Мы, французы, пресыщенные вольностями и разнообразием, попав в Россию, приходим в отчаяние от царящих здесь однообразия и холодного педантизма, неотделимых от идеи порядка и внушающих ненависть к тому, что, вообще говоря, достойно любви. Вся Россия, нация-дитя, — не что иное, как огромный 915
коллеж; здешняя жизнь напоминает военное училище, с той лишь разницей, что учеба длится до самой смерти.

Немецкий склад ума, отличающий российских правителей, противен славянскому характеру; если бы русские — этот восточный, беспечный, капризный, поэтический народ — высказали вслух свои тайные мысли, они горько пожаловались бы на Алексея, Петра Великого, Екатерину II и их потомков, насаждавших и насаждающих в России германскую дисциплину. Как ни старайся императорская фамилия, она все равно остается чересчур немецкой по духу для того, чтобы безмятежно повелевать русскими и чувствовать себя на троне совершенно уверенно,[1] она не правит русскими, но подавляет их. Не сознают этого одни лишь крестьяне.

Я так далеко зашел в исполнении обязанностей путешественника, что согласился посетить манеж — полагаю, самый большой во всем мире; свод его поддерживают легкие железные арки весьма смелой конструкции, придающие зданию довольно любопытный вид. Дворянское собрание в это время года пустует, но для очистки совести я побывал и там. В центральной зале установлена статуя Екатерины И. Залу эту, вмещающую до трех тысяч человек, украшают колонны и расположенная в глубине полуротонда. Зимой здесь задают, как я слышал, блестящие балы; я легко могу поверить, что московские балы роскошны; русские вельможи превосходно умеют разнообразить монотонные развлечения, предписываемые этикетом; когда дело доходит до празднеств, они не жалеют ни денег, ни выдумки; пышность они принимают за цивилизацию, мишуру за элегантность, из всего этого я делаю вывод, что они еще более невежественны, чем мы думаем. Немногим более ста лет назад Петр Великий начал обучать их правилам хорошего тона, приличествующим разным сословиям. Он устраивал ассамблеи по образцу европейских балов и собраний и силой заставлял русских задавать такие же балы, какие задавали жители западных стран; он принуждал своих подданных брать в гости жен и обнажать голову перед тем, как войти в комнату. Однако, преподавая московским боярам и купцам мелочную науку общежительности, этот великий воспитатель своего народа сам опускался до подлейших занятий, вплоть до ремесла палача; ему случалось собственноручно отрубать в течение одного вечера более двадцати голов, а затем хвастать своею ловкостью; он гордился той беспримерной жестокостью, с какой покарал виновных, но потому еще более несчастных стрельцов: этот-то достойный наследник Иванов наставлял русских, его они почитали как бога, в нем видели непревзойденный образец русского монарха — и все это немногим более ста лет назад, в то самое время, когда в Париже представляли «Гофолию» и «Мизантропа». 915

[1] Романовы по происхождению пруссаки, вдобавок, с тех пор как родоначальник 915
этой династии занял трон, представители ее — в отличие от московских князей — женились чаще всего на немецких принцессах.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Русские — неофиты, недавно приобщенные к цивилизации, — по сей день не утратили свойственной выскочкам привязанности ко всему, что блестит, пленяя взор.

Дети и дикари любят мишуру; русские — дети, которые свыклись с несчастьями, но не извлекли из них никаких уроков. Отсюда, заметим походя, отличающая их смесь легкомыслия и язвительности. Жизнь ровная, покойная, посвященная частным привязанностям и радостям умной беседы, им бы скоро наскучила.

Я не хочу сказать, что знатные господа вовсе не чувствительны к удовольствиям утонченным; однако для того чтобы насытить этих кичливых и легкомысленных сатрапов, переменивших лишь платье, для того чтобы поразить их взбалмошное воображение, потребны впечатления более резкие. Любовь к игре, невоздержанность, распутство и утехи тщеславия с трудом могут заполнить пустоту этих пресыщенных сердец. Божьи творения не в силах занять эти беззаботные, утомленные бесплодием и праздностью умы, развлечь этих несчастных богачей; в своей ничтожной гордыне они призывают себе на помощь дух разрушения.

Вся современная Европа скучает; свидетельство тому — образ жизни нынешней молодежи; однако Россия страдает от этого зла больше других стран, ибо русские ни в чем не знают меры; я не берусь описать вам все опустошения, какие производит в сердцах москвичей их пресыщенность. Нигде еще болезни души, порожденные скукой — этой страстью людей бесстрастных, — не казались мне столь опасными и столь распространенными, как в Москве: можно подумать, что здесь общество родилось одновременно со злоупотреблениями. Когда порок оказывается уже не в силах помочь сердцу человеческому избавиться от гложущей его скуки, человек идет на преступление. Скоро я вам это докажу.

Внутренность русского трактира весьма необычна: представьте себе дурно освещенную комнату с низким потолком, расположенную, как правило, на втором этаже. Еду и питье подают слуги в похожих на туники белых рубашках навыпуск, перетянутых в талии, а если изъясняться менее возвышенно — в блузах, из-под которых виднеются такие же белые брюки. Волосы у трактирных слуг длинные и гладкие, как у всех русских простолюдинов; наряд же их вызывает
915 в памяти теофилантропов эпохи французской революции или жрецов, действовавших на оперной сцене во времена моды на язычество. Слуги молча подают превосходный чай, какого не найдешь ни в какой другой стране, кофе и ликеры; торжественность и таинственность, с какой они держатся, далека от шумного веселья, какое царит в парижских кафе. В России все народные развлечения исполнены меланхолии, радость здесь — привилегия, поэтому она, по моим наблюдениям, почти всегда преувеличена, наиграна, неестественна и производит куда более тяжкое впечатление, чем печаль.

В России смеются только комедианты, льстецы или пьяницы.

Я слышал, что некогда русские крепостные крестьяне в своем простодушном самоотречении верили, будто попасть на небо суждено только их хозяевам: как ужасно это смирение обездоленных! Вот христианские уроки, какие преподает народу греческая Церковь.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ ПИСЬМА

Москва, 15 августа 1839 года, вечер

Московское общество не лишено приятности; смешение старинных патриархальных традиций с современной европейской непринужденностью выглядит весьма необычно. Гостеприимство древней Азии и изысканность цивилизованной Европы соединились в этой точке земного шара, дабы сделать здешнюю жизнь легче и сладостнее. Москва, выстроенная на границе двух частей света, в центре материка, — пересадочный пункт на пути между Лондоном и Пекином. Дух подражания не окончательно уничтожил здесь национальный характер; вдали от образца копия выглядит почти оригинальной.

В Москве иностранцу довольно нескольких рекомендательных писем, чтобы свести знакомство с множеством особ, замечательных либо огромным богатством, либо высоким положением, либо острым умом. Следовательно, первые шаги в Москве путешественнику даются легко.

Недавно меня пригласили отобедать в загородном доме. Расположен он в черте Москвы, однако дорога туда идет то берегом уединенного пруда, то полями, похожими на степи; проехав целое лье и приблизившись наконец к усадьбе, вы видите позади сада темный и густой еловый лес, окаймляющий город. Кто бы, подобно мне, не пленился этой величественной сенью, этой истинной пустынью внутри города? Кому не пригрезились бы в этом месте варварская орда, военный бивак — все что угодно, только не столица, могущая похвастать всей роскошью, всеми достижениями современной цивилизации? Подобные контрасты весьма характерны для Москвы: ни в каком другом городе их не встретишь.

Еще одна странность: дом, в котором меня принимали, — деревянный. В Москве богачи, как и мужики, живут в бревенчатых хоромах; и те и другие спят под крышей, сколоченной из тех же тесаных досок на манер первобытных хижин. Живи я в Москве, я предпочел бы иметь деревянный дом. Это — единственное жилище в национальном стиле и, что еще важнее, единственное, которое соответствует здешнему климату. Коренные москвичи почитают деревянный дом более теплым и удобным, чем каменный. Тот, в котором побывал я, показался мне комфортабельным и изящным; впрочем, владелец его проводит здесь только лето, а на зиму возвращается в другой свой дом, расположенный в центре столицы.

Обедали мы в саду, причем, для довершения оригинальности, стол был накрыт под навесом. Хотя гости, сплошь мужчины, держались весьма оживленно и вольно, беседа не выходила за рамки приличий: вещь редкая даже у народов, почитающих себя в высшей степени цивилизованными. В число гостей входили особы, много видевшие, много читавшие: их суждения о различных предметах показались мне справедливыми и тонкими; в светском общежитии русские, как правило, — подражатели, однако непринужденная беседа позволяет разглядеть в тех из них, кто мыслит (таковых, впрочем, единицы), греков, от природы тонких и проницательных.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Обед длился довольно долго, но время для меня пролетело незаметно; заметьте, что всех гостей я видел первый раз в жизни, а хозяина дома — во второй.

Это весьма существенно: ведь только в обществе людей истинно учтивых чужестранец может чувствовать себя так непринужденно. Воспоминание об этом обеде — одно из самых приятных моих российских впечатлений.

Перед тем как покинуть Москву, где я вторично окажусь лишь проездом, я почитаю не лишним поговорить с вами о характере людей, населяющих Россию — страну, где я пробыл недолго, но где неотрывно и внимательно наблюдал за множеством людей и вещей, а также с превеликим тщанием сопоставлял множество сведений. Разнообразие предметов, проходивших перед взором любознательного путешественника, которому обстоятельства благоприятствуют так же, как и мне, отчасти возмещает недостаток досуга, омрачающий мою поездку. Как я вам уже многократно говорил, я обожаю восхищаться; зная эту особенность моей натуры, можно быть уверенным, что если уж я чем-то не восхищаюсь, то не потому, что я чересчур придирчив.

Вообще мне не показалось, что жители России страдают избытком великодушия; они не верят в эту добродетель и отрицали бы ее существование, достань у них на это смелости; нынче же они ее презирают, ибо она им совершенно чужда. В них больше хитрости, чем деликатности, больше мягкости, чем чувствительности, больше гибкости, чем непринужденности, больше приятности, чем нежности, больше проницательности, чем изобретательности, больше ума, чем воображения, больше наблюдательности, чем ума, более же всего в них расчетливости. Трудятся они не для того, чтобы принести пользу окружающим, но для того, чтобы получить вознаграждение, огонь созидания в их груди не горит, воодушевления, рождающего возвышенные плоды, они не ведают, чувства, не требующие иных оценок и иных наград, кроме тех, что исходят из собственного сердца творца, им неизвестны. Лишите их таких движителей, как корысть, страх или тщеславие, и они предадутся бездействию; в изящных искусствах они выказывают себя рабами, прислуживающими во дворце; священное одиночество гения им недоступно; чистая любовь к прекрасному их не насыщает.

С их свершениями в сфере практической дело обстоит точно так же, как с их творениями в мире мысли: там, где бал правит хитрость, благородство кажется обманом.

Величие души, я в этом убежден, не нуждается в наградах: однако, ничего не требуя, великая душа ко многому обязывает, ибо стремится сделать людей лучше: в России же она сделала бы их хуже, ибо здесь великодушие почитают притворством. У народа, ожесточенного постоянным страхом, милосердие слывет слабостью; с таким народом можно справиться, лишь запугивая его; неумолимая суровость ставит его на колени, мягкость же, напротив, позволила бы ему поднять голову; его нельзя убедить, но можно принудить к покорству, он не умеет быть гордым, но может становиться дерзким: он бунтует против снисходительной власти и повинуется безжалостной, ибо принимает злобу за силу.

Все это объясняет, хотя, на мой взгляд, и не оправдывает поведение императора: этот государь знает, как нужно добиваться послушания, и добивается его,

однако в политике меры, вызванные необходимостью, не пробуждают во мне восхищения. В других странах дисциплина — только средство, здесь она — цель; меж тем мне хотелось бы видеть правительства наставниками наций. Хорошо ли, что государь смиряет добрые порывы своего сердца только оттого, что почитает опасным выказывать чувства, слишком резко отличающиеся от чувств его народа? На мой взгляд, страшнейшая из слабостей та, которая делает человека безжалостным. Кто краснеет за свое великодушие, тот признает себя недостойным высшей власти. 916

Народы нуждаются в том, чтобы им постоянно напоминали: есть нечто превыше земных радостей; что же поможет им поверить в Бога, как не милосердие? Осторожность — добродетель лишь постольку, поскольку она не исключает добродетелей куда более возвышенных. Если в сердце императора не больше великодушия, чем он выказывает в своей политике, мне жаль русских; если же чувства его благороднее деяний, мне жаль императора.

Когда русские держатся любезно, они пленяют вас, как бы сильно вы ни были предубеждены против них: сначала вы не замечаете, что очарованы, а потом не можете и не хотите избавиться от этих чар; определить, отчего это происходит, так же невозможно, как объяснить работу фантазии или проникнуть в тайну колдовства; власть русских над нами — могучая, хотя и непонятная — коренится, возможно, в природной прелести славян — том даре, который в обществе заменяет все прочие дары, а сам не может быть заменен ничем, ибо прелесть — это, пожалуй, и есть то единственное достоинство, которое позволяет обойтись без всех остальных.

Вообразите себе французскую учтивость прежних времен, воскресшую во всем своем великолепии, вообразите любезность безупречную и безыскусную, самозабвение невольное и натуральное, простодушное следование правилам хорошего вкуса, инстинктивную верность выбора, элегантный и чуждый уныния аристократизм, непринужденность без примеси дерзости, сознание собственного превосходства, смягчаемое тем благородством, что неотрывно от истинного величия... Я тщетно пытаюсь приискать слова для исчисления всех этих едва уловимых оттенков; их нельзя описать — их можно только почувствовать; их нужно угадывать — определения им противопоказаны; как бы там ни было, знайте, что все эти, а также многие другие достоинства отличают манеры и речь недюжинных русских людей, причем в наибольшей степени обладают ими те русские, что не бывали за границей, но, живя в России, имели сношения с просвещенными иностранцами. 916

Эти чары, это обаяние даруют русским безраздельную власть над сердцами: до тех пор, пока вы пребываете в обществе этих незаурядных созданий, вы покоряетесь их власти, становящейся вдвое сильнее оттого, что вы воображаете, будто русские смотрят на вас так же, как вы на них, и это позволяет им торжествовать над вами. Вы забываете о времени и окружающем мире, вы не помышляете ни о делах, ни о заботах, ни о долге, ни о наслаждениях, вы живете настоящим, вы видите только нынешнего вашего собеседника, к которому питаете самые нежные чувства. Люди, у которых потребность нравиться ближним развилась

до столь крайних степеней, нравятся непременно; их отличают безупречный вкус, утонченнейшая элегантность и абсолютная естественность; в их безграничной любезности нет ничего фальшивого, она — талант, ищущий применения; дабы продлить иллюзию, во власти которой вы пребываете, достаточно было бы, возможно, насладиться обществом русских подольше, но вы уезжаете, и все исчезает, кроме остающегося в вашей душе воспоминания. Уезжайте-уезжайте — это надежнее.

Русские — отличные актеры; они умеют играть и без сцены.

Все путешественники обвиняют их в непостоянстве; упрек этот более чем основателен: стоит русским проститься с вами, и они тотчас же вычеркивают вас из сердца; я объясняю этот изъян не только их легкомыслием и ветреностью, но и недостатком образованности. Русские предпочитают поскорее распроститься с иностранным гостем, потому что опасаются сколько-нибудь продолжительного существования бок о бок с ним: оттого-то их пылкое увлечение приезжими так стремительно оборачивается безразличием. Это мнимое непостоянство — лишь предосторожность, продиктованная верно понятыми интересами тщеславия и достаточно распространенная среди великосветских особ во всем мире. Тщательнее всего скрывают люди не порок, но пустоту; человек стыдится не своей развращенности, но своей ничтожности; следуя этому правилу, русские вельможи охотно выставляют напоказ те свойства ума и характера, которые пленяют с первого взгляда и позволяют в течение нескольких часов поддерживать увлекательную беседу; однако попытайтесь заглянуть за поразившие вас декорации — и гостеприимные хозяева преградят вам путь как нескромному соглядатаю, дерзнувшему приоткрыть дверь в спальню, изящно отделанную только снаружи. Принимают нас русские из любопытства, а отталкивают — из осторожности.

Так поступают и мужчины, и женщины, и в дружбе, и в любви. Изображая одного русского человека, вы изображаете всю нацию; так по одному солдату под ружьем можно составить представление обо всем полку. Нигде единообразие в управлении государством и образовании юношества не ощущается так сильно, как здесь. В этой стране все умы затянуты в одинаковый мундир. О! как, должно быть, тяжко существу юному, чувствительному и простодушному жить среди этого народа, чье сердце холодно, а ум изощрен природой и обществом! Стоит мне вообразить, что происходит, когда сентиментальные немцы, доверчивые и взбалмошные французы, постоянные в своих привязанностях испанцы, страстные англичане, непринужденные и добродушные, как в доброе старое время, итальянцы сталкиваются с прирожденным кокетством русских, как меня охватывает жалость к этим незадачливым чужестранцам, способным хоть на мгновение поверить, что им по плечу роли в здешнем спектакле. В сердечных делах русские — нежнейшие из хищников, их тщательно спрятанные когти, увы, ничуть не уменьшают их привлекательности.

Кроме России, действие подобных чар мне случилось испытать, пожалуй, только в Польше — еще одно проявление связи русского и польского народов! Какие бы гражданские распри ни разделяли русских и поляков, природа объединяет эти две нации против их воли. Не будь одна из них вынуждена из политических

соображений угнетать другую, они прониклись бы взаимной любовью и признательностью.

Поляки — русские, исполненные рыцарственного духа и исповедующие католическую веру, с той лишь разницей, что в Польше живут, а точнее сказать, командуют женщины, а в России — мужчины.

Однако эти же самые люди, столь любезные, столь одаренные и очаровательные, иногда вовлекаются в такие заблуждения, каких избегнули бы люди самые заурядные.

Вы и представить себе не можете, какую жизнь ведут иные московские юноши, выходцы из знатных семейств, известных всей Европе. Они предаются возмутительным бесчинствам; без устали вкушают они удовольствия, достойные то ли константинопольского сераля, то ли парижского рынка.

До конца дней они ведут жизнь, какую трудно выдержать в течение полугода, выказывая постоянство, которое было бы угодно небу, покойся оно на добродетели. Они словно нарочно созданы для прижизненного ада — так называю я существование многоопытного московского распутника.

В физическом отношении климат, в нравственном — правительство истребляют в этих краях всех слабых и немощных; все, кто не отличается ни могучим телосложением, ни тупым умом, гибнут; выживают лишь скоты либо сильные натуры, умеющие творить и добро и зло. Россия дает жизнь бешеным страстям либо беспомощным характерам, мятежникам либо автоматам, заговорщикам либо тупицам; промежуточные стадии между тираном и рабом, безумцем и скотом русским неведомы; о золотой середине не может быть и речи: она неугодна природе; избыток холода, как и избыток тепла, толкает людей на крайности. Я не хочу сказать, что сильные души встречаются в России реже, чем в других странах; напротив, здесь они более заметны, ибо выделяются на фоне вялой толпы. Далеко не все честолюбивые помыслы русских подкреплены соответствующими способностями: страсть к преувеличениям — признак слабости.

Впрочем, несмотря на контрасты, которые я только что обрисовал, в одном отношении все русские похожи: все они легкомысленны, все живут сегодняшними интересами, забывая наутро о планах, родившихся накануне вечером. Можно сказать, что сердце их — царство случая; с обезоруживающей легкостью они соглашаются на любое дело и так же легко от этого дела отказываются. Они — отражения, они грезят и навевают грезы, они не земные существа, а призраки; они живут и умирают, не успев заметить, что жизнь — серьезная штука. Ни добро ни зло для них не имеют большого веса; они умеют плакать, но не умеют чувствовать себя несчастными. Дворцы, горы, великаны, сильфы, страсти, уединение, блестящая толпа, высшее блаженство, безмерное горе: побеседуйте с ними четверть часа, и перед вами промелькнет целая вселенная. Их быстрый и пренебрежительный взгляд хладнокровно обегает творения человеческого ума, чей возраст исчисляется столетиями; они думают, что, все презирая, над всем возвысятся; их похвалы суть оскорбления; они превозносят, тоскуя от зависти, они простираются ниц перед теми, кого почитают модными кумирами, скрепя сердце. При первом же порыве ветра картина преображается — до следующей перемены

погоды. Прах и дым, хаос и бездна — вот все, что могут произвести на свет эти непостоянные умы.

Ничто не может укорениться в столь зыбкой почве. Здесь все различия стираются, все способности уравниваются: туманный мир, в котором русские существуют сами и предоставляют существовать нам, появляется и исчезает по мановению руки этих бедных уродцев. С другой стороны, в столь изменчивой атмосфере ничто не прекращается навсегда; дружба или любовь, которые мы считали безвозвратно потерянными, оживают от одного взгляда, одного слова в то самое мгновение, когда мы меньше всего этого ожидаем, — с тем, впрочем, чтобы снова пропасть, лишь только мы уверуем в их прочность. Русские — колдуны: под действием их волшебной палочки жизнь превращается в непрерывную фантасмагорию; игра эта утомительная, но разоряются в ней лишь растяпы, ибо там, где все плутуют, никто не остается в проигрыше: одним словом, если употребить поэтическое выражение Шекспира, чьи широкие мазки помогают постичь самую суть природы, русские лживы, как вода. 117

Все это объясняет мне, отчего по сей день русские, кажется, обречены Провидением повиноваться деспотической власти: монархи угнетают их столько же по привычке, сколько из сострадания.

Адресуй я свой рассказ лишь такому философу, как вы, мне следовало бы привести здесь эпизоды из летописи нравов, о каких вам наверняка не доводилось читать даже во Франции, где, однако, пишут обо всем и описывают все без исключения; но за вашей спиной я различаю публику, и эта мысль меня останавливает: поэтому воображение дорисует вам все, о чем я умолчу; впрочем, я не прав: воображение ваше здесь бессильно. Больше того, поскольку о злоупотреблениях деспотизма — причине царящей здесь нравственной анархии — вы знаете лишь понаслышке, вы можете не поверить тому, что я расскажу вам о ее последствиях.

Где недостает законной свободы, там изобилует свобода беззаконная; где на употребление наложен запрет, там господствуют злоупотребления; отрицая право, вы покровительствуете обману, отринув правосудие, облегчаете жизнь пороку. С некоторыми политическими установлениями и общественными строгостями дело обстоит как с цензурой, в которую стараниями таможенников поступают только вредные книги: ведь никто не дает себе труда рисковать из-за книг безобидных.

Отсюда следует, что Москва — тот европейский город, где великосветский шалун чувствует себя всего вольготней. Правительство российское достаточно просвещенно, чтобы понимать, что абсолютная власть не исключает мятежей; оно предпочитает, чтобы мятежи эти свершались не в политике, но в нравственности. Вот причина распутства одних и терпимости других. Впрочем, вольность нравов порождена в России и некоторыми другими обстоятельствами, исследовать которые я не имею ни времени, ни средств.

Впрочем, вот одно из них, на которое я обязан обратить ваше внимание. Дело в том, что множество особ хорошего рода, но дурной славы, впав в немилость из-за своих пороков, покидают Петербург и селятся в Москве.

482 По своему усмотрению, сколько угодно *(лат.)*.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

После того, как современные литераторы живописали нам во всех подробностях — хотя, если верить им, с самыми благородными намерениями — разнузданнейшие из оргий, мы, казалось бы, должны почитать себя знатоками разврата. О Боже! Я готов признать, что подобные сочинения приносят пользу, я обязуюсь выслушивать подобных проповедников, но я не верю в действенность их проповедей, ибо если дурна литература безнравственная, то еще страшнее литература подлая; тот, кто под предлогом ускорения благотворных перемен в низших сословиях развращает вкусы высших, поступает бесчестно. Заставлять женщин говорить на языке табажни или хотя бы выслушивать речи на этом языке, внушать светским людям любовь к сальностям — значит причинять нравам нации зло, какого не исправит ни одна политическая реформа. Литература наша обречена на гибель, потому что остроумнейшие из наших авторов, забыв о поэзии и уважении к прекрасному, ублажают пассажиров омнибусов и жителей предместий и, вместо того чтобы возвышать этих новоявленных судей до людей благородных и деликатных, сами опускаются до невежд, которым привычка к грубой пище мешает находить вкус в наслаждениях утонченных. Сочинители эти заменяют литературу эстампами, потому что вместе с чувствительностью утратили простодушие; этот порок куда страшнее, чем все изъяны старинных законов и нравов; это — еще одно следствие современного материализма, ищущего повсюду одну только пользу, пользой же почитающего лишь самые непосредственные, самые положительные плоды сказанного слова. Горе стране, где художники низводят себя до помощников полицейского префекта!!! Если писатель почитает своим долгом живописать порок, ему следует, по крайней мере, удвоить попечение о вкусе и, рисуя самые вульгарные фигуры, держать в уме идеальную истину. Однако чаще всего негодование создателей наших романов — моралистов, а точнее сказать, морализаторов, — обличает не столько любовь к добродетели, сколько цинизм и безразличие людей, не имеющих ни убеждений, ни вкуса. Их романам недостает поэзии, потому что их сердцам недостает веры. Тот, кто облагораживает изображение порока так, как это сделал Ричардсон, рисуя Ловласа, тот не развращает души, но, напротив, остерегается смутить 917
воображение, обесчестить ум. Подобные изображения, исполненные нравственного смысла и уважения к чувствам читателя, представляются мне куда более насущными для цивилизованных обществ, нежели точное исчисление гнусных проделок разбойников и беспримерных добродетелей проституток! Да простят мне читатели этот экскурс в область литературной критики; я спешу возвратиться к добросовестному исполнению нелегких обязанностей правдивого путешественника — обязанностей, которые, к несчастью, слишком часто вступают в противоречие с законами литературной композиции, о которых я только что напомнил вам из уважения к моему языку и моей родине.

Сочинения самых дерзких из наших нравоописателей — суть не что иное, как слабые подражания тем оригиналам, которые постоянно предстают передо мною в России.

Вероломство губительно во всем, в особенности же в делах торговых; меж тем в этой стране оно простирается так далеко, что даже распутники, заключающие

между собою тайные сделки, не могут быть уверены в добросовестности сообщников.

Постоянные изменения денежного курса благоприятствуют множеству обманов; из уст русского вы не услышите точного слова, ясного и четкого обещания, причем неопределенность его речей всегда идет на пользу его кошельку. Эта вечная путаница затрудняет даже сообщение между любовниками, ибо каждый из них, зная наперед лживость другого, желает получить плату вперед, и из этого взаимного недоверия проистекает невозможность договориться до чего бы то ни было, несмотря на добрую волю договаривающихся сторон.

Крестьянки в России куда хитрее жительниц города; иногда эти юные дикарки, развращенные вдвойне, нарушают первейшие заповеди своего ремесла, чтимые любой проституткой, и убегают со своей добычей, даже не исполнив того постыдного долга, за который получили плату.

В других странах разбойники держат данное слово; они блюдут свои воровские законы, русские же куртизанки или падшие женщины, ведущие себя так же порочно, как и разбойники, не имеют ничего святого и не уважают даже той религии разврата, что сулит успех их делу. Недаром ведь говорится, что в самых постыдных делах потребна своего рода честность.

Один офицер, человек знатного рода и большого ума, рассказал мне нынче утром, что некогда получил и оплатил дорогой ценой столь памятные уроки, что теперь ни одна сельская красавица, какой бы простодушной и неразвитой она ни казалась, не может добиться от него ничего, кроме обещаний. «Ты не веришь мне, а я — тебе!» — вот фраза, которую он невозмутимо противопоставляет всем домогательствам.

В других краях цивилизация возвышает души, здесь — развращает. Русские были бы нравственнее, оставайся они более дикими; просвещать рабов — значит подрывать устои общества. Дабы приобщиться к культуре, человеку потребен некоторый запас добродетели.

Стараниями своего правительства русский народ сделался молчалив и плутоват, хотя от природы он мягок, весел, послушен, миролюбив и красив; все это, конечно, замечательные свойства, однако без чистосердечия цена им невелика. Монгольская алчность этого племени и его неискоренимая подозрительность выказывают себя как в самых пустяковых, так и в самых значительных жизненных обстоятельствах. В латинских странах обещание почитается вещью священной, а слово — залогом, которым дорожат в равной мере и тот, кто дает обещание, и тот, кому его дают. У греков же и их учеников — русских слово не что иное, как воровская отмычка, служащая для того, чтобы проникнуть в чужое жилище.

По любому поводу креститься на образа прямо на улице, а также садясь за стол и вставая из-за стола (как поступают здесь даже великосветские господа) — вот и все, чему учит греческая религия; остальное отгадать нетрудно.

Неумеренность (я говорю не только о простолюдинах, многие из которых — горькие пьяницы) доходит здесь до таких пределов, что один московский весельчак, душа общества, ежегодно пропадает из города месяца на полтора,

не более и не менее; если же вы поинтересуетесь, что с ним сталось, то получите исчерпывающий ответ: «Он запил!..»

Русские слишком легкомысленны, чтобы быть мстительными; они — элегантные моты. Я с удовольствием повторю: они в высшей степени любезны, но учтивость их, как бы вкрадчива она ни была, нередко утрачивает меру и становится утомительна. В таких случаях я начинаю мечтать о грубости: она, по крайней мере, естественна. Первое правило того, кто желает быть учтивым, — произносить лишь те комплименты, которые собеседник вправе принять; все остальные суть оскорб**ления. Настоящая учтивость — свод речей, исполненных лести, но лести, тщательно** скрываемой; нет ничего более лестного, чем сердечность, ибо для того, чтобы ее выказать, надо проникнуться к человеку подлинной симпатией.

Среди русских есть люди весьма учтивые, но есть и совсем невоспитанные; эти последние держатся с оскорбительной нескромностью; по примеру дикарей они осведомляются ни с того ни с сего о самых важных вещах так, словно это самые ничтожные пустяки; они засыпают вас вопросами, какие задают только дети и шпионы; они досаждают вам ребяческими или бесцеремонными просьбами, интересуются мельчайшими подробностями вашей жизни. Природа создала славян любознательными, и лишь хорошему воспитанию и светским привычкам под силу обуздать их пытливость; те же, кто обделен этими преимуществами, ни за что не упустят возможности подвергнуть вас допросу: их интересуют цель и результаты вашего путешествия; задавая вопрос за вопросом до тех пор, пока им не надоест, они безо всякого стеснения спрашивают, «предпочитаете ли вы Россию другим странам, находите ли вы Москву городом более красивым, чем Париж, петербургский Зимний дворец строением более великолепным, чем замок Тюильри, Царское Село резиденцией более просторной, чем Версаль», причем каждое новое лицо, с которым вас знакомят, заставляет вас вновь принимать участие в этом диалоге, где национальное тщеславие обрекает на лицемерное дознание чужестранную общежительность. Это плохо скрытое тщеславие тем более раздражает меня, что оно всегда рядится в маску слащавой, хотя и грубоватой скромности, призванной обмануть собеседника. Мне кажется, будто я разговариваю с хитрым, но невежественным школьником, который нисколько не смущается своей нескромности, ибо сам имеет дело исключительно с людьми учтивыми, не умеющими ни в чем ему отказать.

Меня познакомили с неким юношей, судя по рассказам, человеком весьма 917
любопытным; это князь ***, единственный сын очень богатого отца; впрочем, сын этот проматывает вдвое больше, чем имеет, транжиря не только свое состояние, но также свой ум и здоровье. Восемнадцать часов в сутки он проводит в кабаке; кабак — его вотчина; там он царит, там, на этом подлом театре, выказывает совершенно естественно и непроизвольно манеры самые величественные и благородные; вид у него умный и очаровательный, что полезно везде, даже в стране, где чувство прекрасного развито очень слабо; он добр и неглуп; говорят, ему случалось совершать поступки благодетельные и даже трогательные.

Воспитанный старым французом-аббатом, человеком весьма почтенным, он превосходно образован: его живой ум на редкость проницателен, шутки всегда

самобытны, но речи и поступки исполнены цинизма, который показался бы нестерпим в любом городе, кроме Москвы; лицо его, приятное, но беспокойное, обличает противоречие между натурой и поведением; он храбро предается разврату, который, вообще говоря, не располагает к храбрости.

Распутная жизнь оставила на челе повесы печать преждевременного одряхления; однако следы эти — плод не времени, но безрассудства — не лишили £го благородные и правильные черты выражения почти ребяческого. Врожденная прелесть оставляет человека лишь вместе с жизнью, и, как ни старайся человек, исполненный такой прелести, истребить ее, она все равно его не покинет. Ни в одной другой стране не найдете вы человека, подобного юному князю ***... Но здесь таких, как он, немало.

Его вечно окружает толпа молодых людей, его учеников и подражателей, которые, уступая ему в уме и сердечности, имеют с ним некоторое сходство: впрочем, все они — русские, и с первого взгляда ясно, что никакому другому племени они принадлежать не могут. Вот отчего я ограничусь изложением лишь нескольких эпизодов их жизни... Однако перо заранее выпадает у меня из рук, ибо говорить мне придется о связях этих повес не с девицами легкого поведения, но с юными монахинями, очень дурно, как вы скоро убедитесь, разумеющими свой долг; я робею, приступая к рассказу об этих происшествиях, отдаленно напоминающих нашу революционную литературу 1793 года; вы почувствуете себя на представлении «Монахинь» в театре Фейдо и поинтересуетесь у меня, зачем я решился приподнять покрывало и обнажить непотребное зрелище, которое следовало бы, напротив, всеми силами стараться утаить от посторонних взоров? Быть может, любовь к истине ослепляет меня, но я убежден, что до тех пор, пока зло остается тайным, оно торжествует, разглашение же этих тайн — залог нашей победы; к тому же разве я не обещал вам нарисовать правдивую картину русской жизни? Я не сочиняю, но описываю увиденное с как можно большей полнотой. Я отправляюсь в путешествие, чтобы изобразить общества такими, каковы они есть, а не такими, каковы они должны быть. Единственное ограничение, которое я взял себе за правило из деликатности, касается намеков на особ, пожелавших остаться неизвестными; я свято чту их волю. Что же до человека, которого я избрал, дабы на его примере познакомить вас с жизнью бесстыднейших московских распутников, вы скоро убедитесь, что он до такой степени презирает мнение окружающих, что, по его собственным словам, желает, чтобы я описал его, ничего не опуская, и был, насколько я могу судить, весьма раздосадован, когда я отвечал, что не собираюсь ничего писать о России. Я привожу здесь лишь те из слышанных от него рассказов, достоверность которых мне подтвердили и другие мои собеседники. Я не желаю обманывать вас патриотическими баснями благонамеренных русских, ибо не хочу, чтобы вы в конце концов поверили, будто греческая церковь воспитывает свою паству более строго и с большим успехом, чем некогда католическая церковь во Франции и в других странах.

Поэтому, когда волею судеб мне доводится узнать об ужасном, кровавом преступлении, подобном тому, о котором вы сейчас услышите, я почитаю себя

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

обязанным не держать его в тайне. Да будет вам известно, что речь идет не о чем ином, как о гибели некоего юноши, убитого в монастыре *** самими монахинями. Я услышал об этом убийстве вчера за табльдотом, в присутствии многих почтенных особ преклонного возраста, занимающих высокие должности, — все они внимали этой и другим, столь же безнравственным историям, с изумительным спокойствием; заметьте, что они не потерпели бы ни малейшей шутки, оскорбляющей их достоинство. Вот почему я полагаю, что этот случай, достоверность которого подтвердили несколько молодых людей из окружения князя ***, не выдуман.

Я окрестил этого удивительного юношу ветхозаветным Дон Жуаном, ибо, по моему разумению, его безрассудство и дерзость выходят далеко за рамки современного бесстыдства; не устаю повторять: в России нет ничего маленького и умеренного; если это и не страна чудес, как уверял меня мой итальянский чичероне, это безусловно страна великанов!..

Итак, вот слышанный мною рассказ: юноша, тайно проведший целый месяц в женском монастыре ***, наконец пресытился своим счастьем и пресытил святых дев, которым и был обязан как своими радостями, так и последовавшей затем скукой. Он совершенно обессилел; тогда монахини, желая избавиться от него, но боясь, что он умрет, вышедши от них, и разгорится скандал, решили покончить с ним сами. Сказано — сделано... через несколько дней труп несчастного, разрубленный на куски, был найден на дне колодца. Огласки дело не получило. 918

Из тех же источников мне известно, что во многих московских монастырях иноки и инокини ведут жизнь отнюдь не монашескую; один из друзей юного князя *** вчера хвастался в моем присутствии перед целой толпой повес четками, которые, по его словам, забыла у него в спальне некая юная послушница; другой выставлял напоказ молитвенник, полученный, если верить ему, от монахини, принадлежащей к общине *** и слывущей истинной святой... и речи эти были встречены рукоплесканиями.

Вознамерься я посвятить вас во все истории такого рода, слышанные мною за табльдотом, я никогда не довел бы свой рассказ до конца; каждый имел в запасе собственный скандальный анекдот и излагал его под громкий смех окружающих; всеобщую веселость подогревало вино Аи, лившееся рекою в широкие кубки, куда лучше способные утолять жажду невоздержанных москвичей, нежели наши старинные бокалы для шампанского; очень скоро все окончательно захмелели; рассудка не потеряли только двое: князь *** и я; он — оттого, что может перепить любого, я — оттого, что вовсе не умею пить и не выпил ни капли.

Внезапно кремлевский ловлас с торжественным видом поднялся и властно, как подобает человеку, имеющему огромное состояние, славное имя, очаровательное лицо, а главное, незаурядный ум и характер, попросил всех замолчать; к моему удивлению, все повиновались. Казалось, языческий бог из древней эпической поэмы одним словом смиряет бушующие волны. Юный бог предложил своим друзьям, тотчас притихшим от его серьезного тона, присоединиться к прошению на имя московских властей, в котором здешние распутницы смиренно указали бы на то, что старинные женские монастыри, самым предосудительным

образом соперничая с «мирскими общинами», лишают жриц любви прибыли, причем поскольку, почтительно заметили бы эти девицы, расходы их уменьшаются вовсе не так же сильно, как доходы, они надеются, что господа такие-то и такие-то, решив дело по справедливости, вытребуют у вышеупомянутых монастырей необходимые суммы, в противном же случае затворницы, пребывающие в обителях, будут постоянно отбивать хлеб у затворниц, живущих в миру. Предложение было поставлено на голосование и одобрено единогласно, а затем юный сумасброд, вооружившись пером и бумагой, с величием, достойным государственного мужа, составил на прекрасном французском языке бумагу, слишком скандальную и бурлескную, чтобы я позволил себе переписать ее здесь слово в слово. Копию ее я сохранил, но нам с вами вполне довольно и того, что вы теперь прочли.

По просьбе присутствующих автор немедля ясным и громким голосом продекламировал свой шедевр; чтение повторилось трижды под одобрительные возгласы всей компании.

Вот что произошло на моих глазах в трактире ***, одном из самых бойких московских заведений такого рода, вчера, на следующий день после того, как я обедал в прелестной усадьбе ***. Как видите, хотя по закону в Российском государстве царит единообразие, природа, алчущая пестроты, любой ценой отстаивает свои права.

Учтите, прошу вас, что я избавил вас от множества подробностей и смягчил те, без которых не смог обойтись. Будь я более правдив, меня бы не стали читать; если бы Монтень, Рабле, Шекспир и многие другие великие авторы жили в наше время, они куда тщательнее выбирали бы слова; нам же, имеющим гораздо меньше прав презирать мнение публики, и подавно приходится щадить ее чувства.

Невежды, говоря на скользкие темы, находят слова вполне невинные, ускользающие от многоопытных людей нашего века, чье ханжество вызывает не столько почтение, сколько тревогу. Добродетель краснеет, лицемерие звереет — это куда страшнее.

Главарь банды распутников, стоящих лагерем в трактире *** (эти люди не живут оседло, как прочие, но кочуют), так элегантен, так изыскан, держится так любезно, сохраняет столько хорошего вкуса даже в сумасбродствах; лицо его выражает такую доброту, а манеры и даже самые рискованные речи исполнены такого благородства, что этого знатного вертопраха не столько осуждаешь, сколько жалеешь. Он — не ровня своим сообщникам; кажется, что он вовсе не создан для разврата, и невозможно не сострадать ему, невозможно не проникнуться к нему сочувствием, хотя он в большой мере ответствен за грехи своих подражателей; превосходство, пусть даже в злых делах, всегда вызывает уважение; какие таланты, какие способности пропадают втуне! — думал я, слушая его...

Нынче он пригласил меня поехать с ним за город на пару дней. Однако я посетил утром его *бивуак* и, сославшись на необходимость ускорить свой отъезд в Нижний, получил свободу.

Прежде чем расстаться с этим безрассудным повесой, я хочу изобразить вам нашу последнюю встречу. Вот картина, ждавшая меня во дворе трактира, где

мне довелось насладиться зрелищем орды распутников, снимающейся с места. Прощание превратилось в подлинную вакханалию.

Вообразите себе дюжину полупьяных молодцов, с шумными спорами рассаживающихся в три запряженные четверней кареты: главарь усмирял их жестами, голосом, мимикой. Толпа зевак, составленная из хозяина трактира, лакеев и конюхов, взирала на него с восхищением, завистью, а иной раз и с насмешкой, но если кто и посмеивался, то потихоньку, вполголоса. Что же до предводителя повес, то он, стоя в открытом экипаже, играл свою роль с серьезностью, в которой не было заметно ничего нарочитого, и на голову превосходил свою свиту; у ног его располагалось ведро, а точнее сказать, большой чан со льдом, полный бутылок шампанского. Этот переносной погреб содержал дорожные припасы; поскольку дорога предстоит очень пыльная, толковал вертопрах, надобно иметь чем промочить горло. Перед самым отъездом один из его адъютантов, которого он окрестил «пробочным генералом», уже откупорил две или три бутылки, и юный сумасброд щедро потчевал всех желающих напитком поистине драгоценным — лучшим шампанским из всех, какие можно купить в Москве. Пробочный генерал, самый ревностный из его соратников, постоянно наполнял две чаши, находившиеся в руках повесы, но чаши эти вновь и вновь оказывались пусты. Одну он выпивал сам, а другую протягивал кому-нибудь из окружающих. Люди его были одеты в парадные ливреи; исключение составлял только кучер — юный крестьянин, лишь недавно привезенный из деревни. Наряд этого юноши, на первый взгляд совсем простой, но поразительно изысканный, резко выделялся на фоне обшитых галунами ливрей остальных лакеев. Молодой кучер был одет в рубашку из шелка-сырца — драгоценной персидской ткани, собранной едва заметными складками, и полураспахнутый на груди кафтан из тончайшего казимира, обшитый первоклассным бархатом. У петербургских денди принято по праздникам одевать самых юных и очаровательных из слуг подобным образом. Остальные детали наряда не уступали в роскоши уже названным: кожаные сапоги из Торжка, расшитые великолепными золотыми и серебряными цветами, своим блеском приводили в изумление самого обутого в них мужлана, который вдобавок был надушен так щедро, что, даже находясь на свежем воздухе и стоя в нескольких шагах от кареты, я не мог не почувствовать благоухания, которое источали его волосы, борода и платье. У нас элегантнейший из аристократов не носит такого прекрасного платья, каким щеголял этот образцовый кучер. 918

Напоив весь трактир, главарь вертопрахов забавы ради наклоняется к разряженному крестьянину и подает ему пенящуюся чашу. «Пей!» — приказывает он. Бедный мужик, не имеющий никакого опыта в подобных делах, не знал, на что решиться... «Пей же, — повторил ему хозяин (мне перевели его слова), — пей, негодяй: я даю тебе шампанского не ради тебя, а ради твоих лошадей: если кучер не будет пьян, он не сможет заставить их всю дорогу мчаться вскачь!» На что все присутствующие ответили хохотом, криками «ура!» и рукоплесканиями. Убедить кучера не составило труда; он допивал третью чашу, когда его хозяин подал знак трогать и вновь с безупречной учтивостью заверил меня в том, что отказ мой искренно его огорчил. Тон у моего собеседника был настолько

изысканный, что, слушая его, я на мгновение забыл, где происходит наш разговор, и решил, что оказался в Версале времен Людовика XIV.

Наконец мой повеса уехал в поместье, где собирается провести три дня. Приятели его именуют это развлечение летней ***охотой.***

Нетрудно догадаться, чем забавляются эти вертопрахи в деревне; они проводят время по меньшей мере так же, как и в Москве: сцены повторяются прежние, но с новыми актрисами. С собой они везут целые пачки гравюр, воспроизводящих самые прославленные полотна французских и итальянских мастеров; они собираются разыгрывать их в лицах, слегка изменив костюмы.

Деревни и все, кто в них проживают, безраздельно принадлежат этим знатным распутникам; можете не сомневаться в том, что права сеньора в России простираются гораздо дальше, чем на сцене парижской Комической оперы.

Трактир ***, открытый для всех желающих, расположен на одной из самых больших московских площадей, в двух шагах от кордегардии, где расквартированы казаки, чья безупречная выправка вкупе с грустным и строгим видом внушают чужестранцу мысль, что в стране, куда он попал, никто не осмеливается смеяться даже над самыми невинными предметами.

Поскольку я вменил себе в обязанность изобразить вам Россию такой, какой увидел сам, я вынужден рассказать еще кое-что о разговорах тех людей, с забавами которых я вас только что познакомил.

Один хвастает тем, что и он, и его братья — дети гайдуков и кучеров своего отца, и поднимает бокал за здоровье всех этих родителей... впрочем, неведомых! Другой ставит себе в заслугу родство — по отцу — со всеми горничными своей матери.

Не все из этих гнусностей соответствуют действительности, многие, разумеется, суть чистой воды бахвальство, однако сам факт, что люди кичатся столь подлыми выдумками, свидетельствует о глубочайшей развращенности умов, которая, на мой взгляд, куда опаснее деяний этих повес, как бы безрассудны они ни были.

918 Судя по рассказам господ вертопрахов, московские мещанки ведут себя ничуть не более благонравно, нежели знатные дамы.

Пока мужья их торгуют на Нижегородской ярмарке, офицеры местного гарнизона в свое удовольствие проводят время в городе. Свидания в эту пору незатруднительны: красавицы являются на них в сопровождении почтенных родственниц, чьему попечению доверили их при отъезде предусмотрительные мужья. Дело доходит до того, что за снисходительность и молчание эти дуэньи получают плату; то, что происходит при их покровительстве, нельзя назвать любовью: любви не бывает без целомудрия — таков приговор веков тем женщинам, которые ищут счастье не там, где нужно, и вместо того, чтобы возвышаться до нежности, опускаются до распутства. Защитники русских утверждают, что московские женщины не имеют любовников; не стану спорить: ***друзья,*** которых они заводят в отсутствие мужей, достойны какого-нибудь иного наименования.

Повторяю, я склонен сомневаться в правдивости подобных историй, однако у меня нет оснований сомневаться в том, что радостный и горделивый вид,

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

какой принимают русские, пересказывая эти истории всякому иностранцу, означает: «Ed anch'io son pittore!»[1] — и мы тоже люди цивилизованные! 916

Чем больше я узнаю об образе жизни этих знатных распутников, тем меньше понимаю, отчего, несмотря на все их грехи, они сохраняют здесь, выражаясь современным языком, то общественное положение, какое утратили бы в любой другой стране, где перед ними закрылись бы двери всех салонов. Мне неизвестно, как относятся к этим греховодникам, не стыдящимся своего беспутства, их родные, но я могу засвидетельствовать, что в обществе их встречают с распростертыми объятиями; при появлении этих вертопрахов всех охватывает веселье, присутствие их доставляет удовольствие даже особам более зрелого возраста, которые, разумеется, не берут с них примера, но поощряют их своей терпимостью. Все заискивают перед ними, стремятся пожать им руку, шутливо осведомиться об их *приключениях,* наконец, все стремятся выказать им — за неимением уважения — свой восторг.

Видя прием, оказываемый им повсюду, я задаюсь вопросом, что же нужно совершить в этой стране, чтобы утратить уважение общества.

Если у свободных народов по мере того, как демократия завоевывает себе все большую и большую власть, нравы делаются более невинными — пусть не по сути, но хотя бы по видимости, то здесь свободу путают с развращенностью, отчего знатные шалопаи снискивают здесь такой же успех, каким у нас пользуется горстка людей безупречных.

Юный князь *** сделался повесой вследствие трехлетнего пребывания в ссылке на Кавказе; тамошний климат испортил его здоровье. Из Петербурга он был выслан сразу по окончании учебы за то, что разбил стекла в нескольких столичных лавках; правительство усмотрело в невинной проказе политическое злоумышление и своей неумеренной суровостью превратило юного шалопая в зрелого распутника, погибшего для отечества, семейства и себя самого.[2]

Таково ослепление, на которое обрекает умы деспотическая власть, безнравственнейшая из всех.

В России всякий бунт кажется законным, даже бунт против разума, против Бога! Ничто из того, что служит угнетателям, не считается здесь достойным почтения, даже то, что во всех других странах именуют святым. Там, где порядок лежит в основе угнетения, люди идут на гибель ради беспорядка; там все, что ведет к мятежу, принимается за самоотверженность. Ловлас и Дон Жуан предстают в такой стране освободителями исключительно оттого, что преступают закон; когда правосудие не пользуется уважением, в почете оказывается злодейство!.. Вся вина в этом случае возлагается на судей! Злоупотребления правительства так велики, что всякое повиновение ему встречается в штыки, в презрении к добронравию здесь признаются точно таким тоном, каким в любом другом месте сказали бы: «Я ненавижу деспотизм!»

[1] И я тоже художник! (ит.)

[2] Впрочем, я слышал, что после моего отъезда из России он женился и остепенился.

1

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Я приехал в Россию, находясь во власти одного предрассудка, от которого нынче освободился; вслед за многими неглупыми людьми я полагал, что самодержавие черпает свою силу прежде всего из равенства между всеми подданными самодержца; однако это равенство — не более чем иллюзия; я говорил себе и слышал от других: «Когда одному человеку позволено все, все остальные равны, то есть равно ничтожны; это — если и не удача, то утешение». Рассуждение мое было чересчур логичным, и жизнь, естественно, его опровергла. На этом свете абсолютной власти не существует, однако существуют власти деспотические и капризные; впрочем, какими бы злоупотреблениями они ни грешили, им никогда не удается поработить всех подданных настолько, чтобы уравнять их между собою полностью.

Российскому императору позволено все. Однако, если это всемогущество государя и приучает к терпению иных вельмож, убаюкивая гложущую их зависть, толпа, уверяю вас, питает совсем иные чувства. Император не совершает всего, что может, ибо, поступай он всегда в соответствии со своими желаниями, он очень скоро лишился бы трона; меж тем, пока он не станет делать всего, на что имеет право, положение помещика, наделенного немалой властью, будет решительно отличаться от положения порабощенных этим помещиком мужиков или мелких торговцев. Я убежден, что сегодня в России действительное неравенство сословий куда больше, чем в любой другой европейской стране. Равенство под ярмом здесь — правило, а неравенство — исключение, но там, где правит прихоть, исключения преобладают.

Человеческие деяния слишком сложны для того, чтобы подчинить их строгому математическому расчету, поэтому между кастами, стоящими в общественной иерархии ниже императора, царит вражда, проистекающая исключительно из злоупотреблений, допускаемых чиновниками, легендарного же равенства, о котором мне столько рассказывали, нет и в помине.

Вообще люди разговаривают здесь с величайшим жеманством; самым слащавым тоном они уверяют вас, что русские крестьяне — счастливейшие существа в мире. Не слушайте их, они лгут; в отдаленных областях многие крестьяне голодают; многие умирают от нищеты и дурного обращения; все люди в России влачат жалкое существование, но людям, которых продают вместе с землей, приходится тяжелее других; однако, возражают мне, у них есть право получать предметы первой необходимости — увы, обманчивое это право не имеет ни малейшего отношения к жизни действительной.

Помещикам, говорят мне также, выгодно заботиться о нуждах крестьян. Однако всякий ли человек хорошо понимает собственную выгоду? У нас тот, кто поступает безрассудно, теряет состояние, и тем дело ограничивается; здесь же состояние одного человека — это жизнь множества людей, и тот, кто плохо управляет своим имением, обрекает на голодную смерть целые деревни. Правительство, заметив слишком очевидные злоупотребления, — а одному Богу известно, сколько времени должно пройти, чтобы оно их заметило, — учреждает над имением дурного помещика опеку, надеясь таким образом исправить зло, однако **мера эта—неизменно запоздалая — не может воскресить мертвых. Представляете**

ли вы себе, сколько безвестных страданий и несправедливостей порождают такие нравы при таком правлении и в таком климате? Сердце замирает, как подумаешь об этих нестерпимых мучениях.

Русские равны, но не перед законами, которые не имеют в их стране ровно никакого веса, а перед капризом самодержца, который, однако, что бы там ни говорили, совершает далеко не все, что ему угодно; иными словами, за десять лет ему случается доказать существование этого равенства всех его подданных от силы один раз. Меж тем, не смея часто употреблять гремушку вместо скипетра, самодержец сам сгибается под тяжестью абсолютной власти; слабый человек, он зависит от огромных расстояний и незнания фактов, от местных обычаев и нравов подданных.

Заметьте, однако, что каждый помещик в своем узком мирке сталкивается с теми же трудностями, с теми же соблазнами, которым ему, впрочем, гораздо труднее противостоять, ибо, пользуясь гораздо меньшей известностью, нежели император, он куда более равнодушен к мнению Европы и своих соотечественников: из этого общественного порядка, а вернее сказать, беспорядка, зиждущегося на незыблемых основаниях, проистекают несообразности, несправедливости и неравенство, чуждые обществам, где отношения людей меж собой вправе менять лишь закон.

Следственно, неверно утверждать, что сила деспотизма коренится в равенстве его жертв; источник ее — не что иное, как неведение свободы и боязнь тирании. Абсолютная власть — чудовище, всегда готовое произвести на свет чудовище еще более страшное — тиранию народа.

Впрочем, говоря откровенно, демократическая анархия недолговечна, тогда как порядок, устанавливаемый самодержавной властью со всеми ее злоупотреблениями, длится из века в век, порождая своею мнимою благотворностью моральную анархию — худшее из зол, и материальную покорность — опаснейшее из благ: гражданский строй, скрывающий подобный нравственный беспорядок, — строй лживый.

Военная дисциплина в управлении государством также является могущественным средством угнетения; именно на ней, а не на мнимом равенстве, зиждется неограниченная власть российского монарха. Однако не оборачивается ли нередко эта страшная сила против того, кто пускает ее в ход? Вот две опасности, грозящие России постоянно: народная анархия, доведенная до крайних степеней, — в том случае, если нация поднимет бунт; в противном же случае — укрепление тиранической власти, угнетающей эту нацию более или менее жестоко, в зависимости от времени и места.

Дабы правильно оценить политическое положение России, следует помнить, что месть ее жителей будет особенно страшной по причине их невежества и многотерпеливости, которой рано или поздно может наступить конец. Правительство, которое ничего не стыдится, ибо притворяется, что ни о чем не ведает, и черпает силу в этом мнимом неведении, не столько прочно, сколько жутко: страдания нации, отупение армии, ужас власть имущих, особенно тех из них, кто сами наводят наибольший страх, раболепство церкви, лицемерие знати,

невежество и нищета простолюдинов, угроза ссылки, нависшая над всеми без исключения, — вот страна, какой создали ее нужда, история, природа и Провидение, чьи пути испокон веков неисповедимы...

И с этими-то хилыми средствами великан, едва покинувший свою древнюю азиатскую колыбель, желает нынче нарушить равновесие европейской политики! ..

В каком ослеплении государство, чьи нравы годны самое большее для того, чтобы цивилизовать бухарцев и киргизов, осмеливается притязать на руководительство миром? Вскоре Россия возжаждет не только уравняться в правах с прочими нациями, но и вознестись превыше их. Ни во что не ставя успехи, достигнутые европейской дипломатией за последние тридцать лет, она пожелает, она уже желает предводительствовать в западных собраниях. В Европе дипломатия положила себе за правило быть искренней, русские же уважают искренность лишь в поведении других и считают ее полезной лишь для того, кто сам ею не пользуется.

В Петербурге солгать — значит исполнить свой гражданский долг, а сказать правду, даже касательно предметов на первый взгляд совершенно невинных, — значит сделаться заговорщиком. Разгласив, что у императора насморк, вы попадете в немилость, а друзья вместо того, чтобы вас пожалеть, станут говорить:
919 «Надо признаться, он был страшно неосторожен».[1] Ложь — это покой, порядок; законопослушный подданный — наилучший из патриотов!.. Россия — больной, которого лечат ядом.

Понятно, что Европа, созревшая в трехсотлетних более или менее свободных спорах и омоложенная полувековой эпохой революций, должна дать решительный отпор тайному натиску подобной державы. Вы знаете, как исполняет она этот долг!

Но, спрошу я себя еще раз, что же могло побудить столь скверно вооруженного колосса явиться на поле битвы без доспехов, ринуться в бой за идеи, его не волнующие, за интересы, для него по сей день не существующие (ибо промышленность в России еще не родилась).

Побуждает его исключительно прихоть самодержцев и мелкое тщеславие иных вельмож-путешественников. И вот юный народ в союзе с дряхлым правительством

---

919 [1] Именно такая судьба постигла в нынешнем году князя Долгорукова, автора невинной брошюры «Заметка о главных родах России». В брошюре этой сочинитель, за которого заступилась «Журналь де Деба», дерзнул предать печати то, что известно всему свету, а именно, что род Романовых уступает в знатности роду Долгоруковых, что избрание Романовых на российский престол в начале XVII века не вполне законно, ибо его оспаривали Трубецкие, избранные первыми, и многие другие боярские семейства. Романов был признан царем лишь в обмен на некоторые либеральные перемены в устройстве государства. Весь мир свидетель тому, до чего эти послабления, отмененные вскоре Петром I, довели Россию. И за подобное преступление в наши дни знатный дворянин может
920 быть сослан в Сибирь, в Вятку! Пока он еще не приговорен к ссылке, император лишь посоветовал (см. «Франкфуртскую газету» и «Аугсбургскую газету») ему отправиться туда. Столь патриархальный способ изгнания возможен лишь при отеческой самодержавной власти, царящей в России.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

очертя голову бросается в схватку, не пугаясь препятствий, которые останавливают современные общества, с жалостью вспоминающие о тех временах, когда люди вели войны сугубо политические. Злосчастные выскочки, жертвы собственного тщеславия! — вы пребывали в безопасности, но сами без всякой нужды обрекли себя на муки.

Как ужасны последствия политического тщеславия, обуявшего горстку людей!.. Эта страна, жертва честолюбия, сущность которого едва внятна ей самой, страна бурлящая, кровоточащая, обливающаяся слезами, желает внушить соседям, что в ее пределах царит совершенный покой, и тем умножить свое могущество; как бы она ни была изранена, она прячет свои язвы!.. И какие язвы? Обличающие, что тело больного изъедено страшной раковой опухолью! Правительство, обремененное народом, который либо изнемогает под гнетом, либо бунтует против любой узды, не дрогнув, выступает против врагов, в которых само же и возбуждает ненависть безо всяких к тому оснований, оно выходит на бой со спокойным и гордым челом, оно настаивает, грозит или, по крайней мере, намекает на свою грозность... оно ломает эту политическую комедию, а тем временем сердце его гложет червь.

921

О! как жаль мне голову, управляющую движениями столь тяжко больного тела и зависящую от этих движений!.. Какую роль ей приходится играть! Ее удел — защищать с помощью бесконечных обманов славу, зиждущуюся на выдумках или в лучшем случае на надеждах! Как подумаешь, что ценою куда меньших усилий можно было бы воспитать истинно великий народ, истинно великих людей, подлинных героев, сердце заливает жалость к несчастному предмету страхов и зависти всего мира — императору России, как бы его ни звали — Павел, Петр, Александр или Николай!

Больше того, жалость моя простирается на всю нацию в целом; я страшусь, как бы это общество, ослепленное безрассудной гордыней его вождей, не упилось допьяна цивилизацией еще прежде, чем стать цивилизованным; с народом дело обстоит так же, как и с отдельным человеком: чтобы снять урожай, гению надобно прежде вспахать землю; чтобы достойно снести бремя славы, ему следует начать с глубоких уединенных исследований.

Подлинное могущество, могущество благодетельное, не нуждается в хитростях. Отчего же вы хитрите без устали? Оттого, что в жилах ваших течет яд, который вы даже не удосуживаетесь скрывать от окружающих. Сколько уловок, сколько неловких обманов, сколько покровов, на поверку оказывающихся прозрачными, приходится вам пускать в ход, чтобы утаить хотя бы часть ваших целей и оставить за собою незаконно присвоенную роль! Вы намерены вершить судьбами Европы?! Мыслимое ли это дело? Еще недавно вы были ордой, скованной страхом, еще недавно повиновались приказам дикарей, едва выучившихся учтивым речам, — а нынче вы вознамерились отстаивать цивилизацию от народов сверхцивилизованных! О! эту задачу решать опасно; она выше человеческих сил. Отыскивая корень зла, понимаешь, что все названные заблуждения — не что иное, как неизбежный плод фальшивой цивилизации, которую полтора столетия назад принялся насаждать Петр I. Россия дольше будет ощущать

последствия гордыни этого человека, нежели восхищаться его славой; мне он кажется личностью скорее обыкновенной, чем героической, и многие из здравомыслящих русских разделяют это мнение, хотя и не решаются высказать его вслух.

Если бы российские государи, вместо того чтобы, подобно Петру I, забавы ради одевать медведей обезьянами или, подобно Екатерине II, заниматься философией, постигли, что приобщать русский народ к цивилизации следует исподволь, медленно развивая те великолепные задатки, которые Господь вложил в сердца здешних жителей, последних выходцев из Азии, — если бы они постигли это, тогда, не так сильно поражая Европу, они зато завоевали бы славу долговечную, всемирную, тогда сегодня на наших глазах русский народ продолжал бы исполнять свое предназначение, одерживая верх над древними азиатскими правительствами. Даже европейская часть Турции испытала бы на себе влияние России, а другие державы не смогли бы жаловаться на рост этого подлинно благодетельного влияния, — напротив, ныне Россия сильна лишь постольку, поскольку мы признаем за ней силу, иначе говоря, она имеет вид выскочки, стремящегося, худо ли, хорошо ли, вычеркнуть из памяти окружающих свое происхождение и состояние и убедить всех в своем мнимом могуществе. Власть над народами более дикими и рабскими, нежели она сама, принадлежит России по праву; эта власть — ее удел, она, простите мне это выражение, начертана в книге ее будущего; что же до влияния России на народы более просвещенные, оно весьма сомнительно.

Впрочем, нынче эта нация *выбилась из колеи* [1] на великой дороге цивилизации, и никто не в силах ей помочь. Один Бог знает, что ее ждет: я предчувствовал это в Петербурге, а попав в Москву, убедился, что предчувствия меня не обманули.

Повторяю, Петр Великий или, точнее сказать, Нетерпеливый, стал первым виновником этой ошибки; наследники этого полугения, скорее заклятого врага шведов, нежели преобразователя России, по сей день слепо им восхищаются и потому коснеют в тех же политических заблуждениях, какими грешил он сам. Вечно подражать другим народам, дабы казаться просвещенными, не став ими на деле, — вот что завещал России Петр I.

Не стану спорить, непосредственный результат деяний Петра похож на чудо. Как директор театра царь Петр не имеет себе равных; однако действительное воздействие этого гения, варварского и бессердечного, хотя и более образованного, нежели те рабы, которых он приучал к порядку, было медленным и пагубным; плоды Петровой политики сказываются лишь теперь, и лишь мы вправе вынести о них окончательное суждение. Мир не забудет, что две палаты — единственные учреждения, которые могли дать жизнь русской свободе, — были уничтожены именно этим государем.

Все великое, в искусстве ли, в науках ли, в политике ли, познается в сравнении. Вот отчего в иные века и в иных странах великим человеком сделаться совсем нетрудно. Царь Петр взошел на престол в один из таких веков и в одной из

921 [1] **См. Рабле, книга III, глава 3.**

таких стран; не то чтобы он не был одарен возвышенным характером и необычайной силой, но мелочный ум ограничивал его горизонты и сковывал его волю.

Зло, сотворенное царем, пережило его: он принудил своих наследников разыгрывать без устали ту же комедию, какую ломал он сам. Когда законы лишены человечности и, что еще хуже, практическое их применение лишено гибкости, государь рискует стать жертвой собственного правосудия; впрочем, это не мешает русским горделиво твердить по всякому поводу, что у них отменена смертная казнь; отсюда нам предлагается сделать вывод, что из всех европейских держав Россия — самая цивилизованная... с юридической точки зрения.

Эти люди, доверяющие лишь мнимостям, забывают о кнуте ad libitum[1] и его сто одном ударе! Они в своем праве: ведь Европа не видит этой казни. В царстве фасадов, неведомых горестей, беззвучных криков и бесплодных просьб сама юриспруденция превратилась в обольщение честолюбия и вносит свой вклад в создание того великолепного оптического обмана, той декорации, какую предъявляют иностранцам под именем Российской империи. Вот как низко могут пасть политика, религия, правосудие, милосердие, святая истина, если народ столь неудержимо стремится как можно скорее явиться на древнем театре мира, отказывается прозябать в плодотворной безвестности и предпочитает быть ничем — лишь бы не ждать, лишь бы немедля произвести впечатление на соседей! Солнечные лучи помогают созреть плоду, но испепеляют зерно.

Завтра я уезжаю в Нижний, иначе мне не поспеть на знаменитую ярмарку, которая уже подходит к концу. Я закончу это письмо нынче вечером, по возвращении из Петровского, где мне предстоит услышать русских цыган.

Я выбрал комнату на постоялом дворе, которая останется за мной во все время моего отсутствия: мне удалось устроить в ней тайник, где я оставлю свои бумаги, ибо не рискну пуститься в путь по Казанской дороге со всем, что написал после отъезда из Петербурга, а здесь я не знаю никого, кому мог бы довериться. В России точность в изложении фактов и независимость в суждениях — одним словом, правда — кажется в высшей степени подозрительной; именно она приводит в Сибирь... так же, впрочем, как кражи и убийства, что обрекает политических преступников на еще большие муки и вводит в заблуждение соседние народы.

Полночь того же дня

Я только что вернулся из Петровского, где видел прекрасную танцевальную залу; называется она, если не ошибаюсь, Waux-Hall. Перед началом бала, показавшегося мне довольно унылым, я смог послушать русских цыган. Их дикое и страстное пение имеет отдаленное сходство с пением испанских gitanos. Северные мелодии менее пылки и живы, нежели андалузские, но печаль их кажется куда более глубокой. Иные из этих мелодий призваны внушить веселость, но звучат еще грустнее остальных. Московские цыгане поют без сопровождения

[1] **По своему усмотрению, сколько угодно** *(лат.)*.

хоровые песни, не лишенные самобытности, — впрочем, не понимая слов этих выразительных народных напевов, много теряешь.

92! Дюпре отвратил меня от пения, воздействующего лишь с помощью звуков; его манера выделять музыкальные фразы и подчеркивать слова сообщает музыке исключительную выразительность; страстное исполнение стократ умножает силу чувства, а мысль, парящая на крыльях мелодии, взмывает ввысь, достигая крайних пределов человеческой чувствительности, берущей начало на границе между душой и телом; те, кто обращаются лишь к одному уму, добиваются куда меньшего. Вот заслуга Дюпре: он создал лирическую трагедию, которую так долго тщились подарить Франции люди, не имевшие для этого довольно таланта; ведь для того, чтобы произвести революцию в искусстве, нужно сначала овладеть своим ремеслом так, как им не владеет никто. Тот, кому довелось наслаждаться таким чудом, как пение Дюпре, становится переборчив и часто бывает несправедлив ко всему остальному. Есть тьма голосов, которые, на мой вкус, не уступают инструментам. Пренебрегать словом как средством музыкального выражения — значит не видеть, сколько поэзии таит в себе вокальная музыка, значит добровольно лишить себя того могущества, о каком французская публика узнала лишь
92) после того, как Дюпре воскресил «Вильгельма Телля».

92! Новая итальянская школа пения, которую сегодня возглавляет Ронкони, также обращается к старинной музыке, черпающей силу в поэзии, и обязаны этим итальянцы именно Дюпре, блестяще дебютировавшему на неаполитанской сцене: ведь он творит на всех языках и покоряет своим искусством все народы.

Цыганки, певшие в хоре, — настоящие дочери Востока; глаза у них необычайно красивые и блестящие. Самые юные показались мне очаровательными; остальные, с их темными лицами, покрытыми преждевременными морщинами, и черными косами, просились на полотно. Песни их разнообразны и выражают целую гамму чувств; восхитительнее всего удается им гнев. Мне сказали, что тот цыганский хор, который я смогу услышать в Нижнем, считается одним из лучших в России. Свое мнение об этих бродячих виртуозах я выскажу вам после, что же до московского хора, то он доставил мне большое удовольствие, особенно некоторыми мелодиями, весьма сложными и исполненными, на мой взгляд, весьма искусно.

О национальной опере я могу сказать только одно: это отвратительное пред-
92; ставление, разыгранное в прекрасной зале; мне довелось увидеть спектакль «Бог и баядера» в переводе на русский!.. Стоит ли пускать в ход родной язык ради того, чтобы исполнить перековерканное парижское либретто?

Есть в Москве и французский театр, где господин Эрве, сын актрисы, некогда пользовавшейся в Париже кое-какой известностью, весьма непринужденно
92! исполняет роли Буффе. Я видел его в «Мишеле Перрене» — пьесе по новелле г-жи Бауер: он держался просто и естественно, чем доставил мне большое удовольствие, хотя я прекрасно помню спектакль на сцене «Жимназ». Неподдельно остроумную пьесу можно играть по-разному: в чужой стране блекнут лишь те сочинения, авторы которых, в отличие от господ Мельвиля и Дюверье, требуют, чтобы актер умом и характером был абсолютно похож на своего героя.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Не знаю, до какой степени понятны русским наши пьесы; я не слишком доверяю тому радостному виду, с каким они следят за представлением французских комедий; у них такое изощренное чутье на моду, что они угадывают ее веления еще прежде, чем веления эти будут провозглашены во всеуслышание; это избавляет их от унизительного признания в том, что они ей следуют. Тонкость их слуха, разнообразие гласных и согласных и обилие шипящих в их языке — все это с детства приучает их преодолевать любые трудности в произношении. Даже те, кто знают по-французски всего несколько слов, произносят их точно так же, как и мы. Тем самым они вселяют в нас коварную иллюзию: мы думаем, что они так же хорошо понимают наш язык, как и говорят на нем, а это совершенно неверно. Только горстке русских, побывавших за границей или родившихся в знатных семьях, где принято давать детям превосходное образование, внятны все тонкости парижского наречия; толпе же неясны ни наши шутки, ни наши намеки. Мы не доверяем остальным иностранцам, потому что их акцент нам неприятен либо смешон, однако, как ни трудно им разговаривать на нашем языке, суть дела они схватывают гораздо лучше, чем русские, чья непритязательная и нежная ***кантилена*** сразу пленяет нас и вводит в заблуждение, хотя на деле чаще всего оказывается, что наши понятия об их идеях, чувствах и сметливости иллюзорны. Заставьте русских разговориться, рассказать историю, выразить собственные впечатления — туман рассеется и тайное станет явным. Конечно, русские мастерски умеют скрывать собственную ограниченность, но при близком знакомстве сей дипломатический талант скоро наскучивает. 421

Вчера один русский похвастался передо мной своей дорожной библиотекой, показавшейся мне образцом превосходного вкуса. Я подошел поближе к полке, чтобы рассмотреть один из томов, имевший необычный вид; то была арабская рукопись в старинном пергаментном переплете. «Счастливец, вы знаете арабский?» — спросил я у хозяина дома. «Нет, — отвечал он, — но я стараюсь окружать себя самыми разными книгами; это очень украшает комнату».

Не успели эти простодушные слова сорваться с его уст, как по моему изменившемуся выражению лица он почувствовал, что разоткровенничался некстати. Тогда, будучи уверен в моем невежестве, он стал декламировать мне второпях придуманные отрывки из этой рукописи с беглостью, плавностью и красноречием, достойными латыни из «Лекаря поневоле»; проворство его ввело бы меня в заблуждение, не будь я настороже; однако я ясно видел, что он хочет исправить свою неосмотрительность и ***походя*** внушить мне, что признание его было просто шуткой. Хотя и мастерски придуманная, хитрость эта не удалась. 422

И вот детские забавы, которым предаются народы по воле оскорбленного самолюбия, заставляющего их соперничать в просвещенности с древнейшими из наций!..

Нет такого ухищрения, нет такого обмана, на который не пошли бы русские, движимые всепоглощающим тщеславием, ради исполнения своей заветной мечты: чтобы, вернувшись домой, мы сказали, что их напрасно зовут северными варварами. Это определение не выходит у них из головы; они поминутно напоминают о нем иностранцам с ироническим самоуничижением, не замечая, что сама эта обидчивость дает преимущество их недругам.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Более же всего изумило меня в том коротком эпизоде, о котором я только что рассказал, непоколебимое хладнокровие моего собеседника. На лице русского, если он следит за собой, не отражается ровно ничего, а всякий русский следит за собой почти постоянно. С юных лет всякий русский — я говорю о русской знати — пребывает во власти двух стихий — страха и корысти; на свинцовом или даже медном лице, бесстрастном, точно камень, невозможно прочесть ни одного чувства, волнующего сердце; вы не можете понять, любит вас человек, с которым вы говорите, или ненавидит, слушает он вас с удовольствием или с насмешкой; самому опытному наблюдателю не удалось бы, ручаюсь, разгадать, что скрывают эти черты, не способные ни на одно невольное движение, черты, которые иногда немы, как смерть, а иногда лживы, как искусство; черты эти показывают лишь то, что угодно их хозяину, а ему угодно уверить вас в том, что он почти никогда — а может быть, и совсем никогда — не грешит против истины. Добро русский делает напоказ, зло — исподтишка; главный его талант — талант притворщика, причем лучше всего ему удается роль человека совершенно искреннего: ее он играет с пленительным изяществом; мягкость его повадок даже чрезмерна — он похож на кота, который старается сожрать мышь, даже не поцарапав.

Что же удивительного в том, что народ, одаренный подобными талантами, постоянно рождает ловких дипломатов?

Для поездки в Нижний я нанял местный экипаж; впрочем, тарантас на рессорах [1] немногим прочнее моей коляски, которую я таким образом хочу уберечь от тряски; только что меня предупредил об этом один москвич, присутствовавший при моих сборах.

— Вы пугаете меня, — отвечал я ему, — мне вовсе не хочется чинить экипаж на каждой станции.

— Для долгой поездки я посоветовал бы вам приискать что-нибудь попрочнее, если бы, конечно, в Москве в это время года можно было найти что-нибудь попрочнее, но для такого короткого пути подойдет и тарантас.

Этот короткий путь насчитывает четыреста лье туда и обратно с учетом крюка, который я собираюсь сделать, дабы заехать в Троицу и Ярославль, причем из четырехсот лье сто пятьдесят мне, судя по рассказам очевидцев, придется проделать по отвратительной дороге; меня ждут гать из круглых бревен, торф, откуда торчат пни, зыбучие пески и проч. Слыша отзывы русских о расстояниях, лишний раз убеждаешься, что они живут в стране, которая — без Сибири — равняется всей Европе.

Одна из самых пленительных черт, отличающих русских, это, на мой вкус, их способность пренебрегать любыми возражениями; для них не существует ни
922 трудностей, ни препятствий. Они умеют желать. В этом простолюдины не отли-
чаются от дворян с их почти гасконским нравом; русский крестьянин, воору-
922 женный неизменным топориком, выходит невредимым из множества затрудни-
тельных положений, которые поставили бы в тупик наших селян, и отвечает согласием на любую просьбу.

[1] Настоящий тарантас, как я вам уже говорил, это кузов, поставленный без рессор на две дроги, соединяющие переднюю ось с задней.

ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

Отъезд из Москвы в Нижний. — Дороги во внутренних областях России. — Усадьбы, деревенские дома. — Облик селений. — Однообразие ландшафта. — Пастушеский быт крестьян. — Деревенские женщины опрятно одеты и красивы. — Красота русских стариков. — Особый вид, который придают они селениям. — Дорожная встреча. — Изощренная хитрость, приписываемая полякам. — Ночь на постоялом дворе в Троице. — Что такое нечистоплотность. — Песталоцци. — Внутренность монастыря. — Паломники. — Кибитка. — Преподобный Сергий. — Патриотические воспоминания. — Образ преподобного Сергия. — Гробница Бориса Годунова. — Монастырская библиотека: монахи не хотят ее показывать. — Неудобство езды по внутренним областям России. — Дурное качество воды по всей России. — Зачем люди ездят по этой стране. — Что такое в России страсть к воровству.

В Троицкой лавре,
в двадцати лье от Москвы,
17 августа 1839 года 923

Если верить русским, летом у них хороши все дороги, даже и не только большие тракты; по-моему же, они все дурны. Неровная колея, то шириною с поле, то совсем узкая, пролегает по пескам, где лошади вязнут выше колен, задыхаются, рвут постромки и через каждые двадцать шагов встают; стоит же выбраться из песка, как попадаешь в грязь, а в ней то и дело натыкаешься на крупные камни и огромные коряги, которые, выскакивая из-под колес, разбивают экипаж и пачкают грязью седоков; таковы дороги этой страны во всякую пору, исключая те времена года, когда по ним и вовсе невозможно ездить либо из-за морозов, своею суровостью делающих путешествие опасным для жизни, либо из-за распутицы и паводков, когда коловращение бессточных вод на два-три месяца в году — шесть недель на исходе зимы и шесть недель на исходе лета — превращает низменную равнину в озеро... остальное же время там просто болото. Все эти дороги сходны между собой, и местность вдоль них всегда одинаковая. Две шеренги деревянных домиков, кое-как украшенных цветною резьбой и неизменно глядящих фасадом на улицу, словно солдаты по команде «на караул»; сбоку каждого домика — длинная постройка вроде крытого дворика или же трехстенного сарая: таковы русские селенья! Всегда и всюду поражает это единообразие! 923

ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

Чем населённее губерния, тем ближе стоят села; только часто ли, редко ли они встречаются, а все равно повторяют друг друга; так и ландшафт — одна и та же
923 всхолмленная равнина, то с болотистою, то с песчаною почвой; кое-где, вблизи или вдали от дороги, поля и пастбища, окаймленные сосновыми лесами, иногда цветущие, обыкновенно же чахлые и тощие; вот и вся природа сей обширной страны!! Изредка встречаются дома и усадьбы довольно красивой внешности; эти барские имения, к которым ведут широкие березовые аллеи, радуют глаз путника, словно оазисы в пустыне.

В иных губерниях хижины строятся из глины, но и тогда видом своим, еще более нищенским, они все равно походят на деревянные избы; большинство же сельских построек от края до края империи сооружается из длинных толстых бревен, грубо отесанных и тщательно проконопаченных мхом и смолою. Исключение составляет Крым — край совсем южный; однако в сравнении с общею протяженностью империи он образует лишь точку, затерянную среди бескрайних просторов.

Единообразие — верховное божество в России; впрочем, и единообразие не лишено известной прелести для душ, способных находить усладу в уединении. **Эти неизменные просторы полны глубокого покоя, который порой, посреди пустынной** равнины, ограниченной лишь пределами нашего зрения, исполняется величия.

Пусть эти дальние леса лишены разнообразия и красоты, зато кто измерит их глубину? Стоит лишь вспомнить, что они не кончаются до самой Китайской стены, и вас охватит почтительное чувство; природа, подобно музыке, мощь свою отчасти черпает в повторах. Странно и таинственно! Однообразием своим она множит наши впечатления; если сверх меры стремиться к новым эффектам, то впадаешь в пошлость и тяжеловесность, — именно так выходит у современных музыкантов, когда им не хватает гениальности; если же художник, напротив, не боится простоты, его искусство делается великим, как сама природа. Классический стиль — слово это употребляется здесь в своем старинном значении — лишен многообразия.

Пастушеский быт всегда пленителен; его мирные и размеренные труды сообразны начальной поре человечества, в них надолго сохраняется молодость расы. Пастухи, никогда не покидающие своих родных мест, — вот, бесспорно, те из русских, кто менее всего достоин жалости. Сама их красота, особенно поразительная с приближением к Ярославской губернии, свидетельствует в пользу их образа жизни.

Для меня в новинку было встречать в России весьма привлекательных крестьянок — светловолосых, белолицых, с едва заметным загаром на нежной коже, с глазами бледно-голубыми и вместе с тем выразительными благодаря азиатскому разрезу и томности взора. Будь у этих юных дев, чертами своими напоминающих богородиц на православных иконах, осанка и живость испанок, прелестней их не было бы на свете. Как мне показалось, многие женщины в этой губернии хорошо одеты. Поверх полотняной юбки они носят отороченный мехом сюртучок; эта короткая шубка, не доходя до колен, плотно охватывает талию и придает изящество всей фигуре.

ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

Нигде более, чем в этой части России, не видал я столько прекрасных старческих лиц — и безволосых, и седых. Лики Иеговы, непревзойденно писанные первым учеником Леонардо да Винчи, — творения не столь идеальные, как думалось мне при виде фресок Луини в Лайнате, Лугано, Милане. Здесь такие лики 923
встречаются вживе на пороге любой хижины; эти красавцы старики — румяные, круглощекие, с блестящими голубыми глазами, с умиротворенным выражением на лице, с серебристою, переливающеюся на солнце бородой, оттеняющею безмятежно-благожелательную улыбку на устах, — они напоминают идолов-хранителей, стоящих на деревенской околице. Величественно восседая посреди родной земли, эти благородные старцы приветствуют проезжих — точь-в-точь древние статуи, символы гостеприимства, которым поклонился бы язычник; христианин же взирает на них с невольным почтением, ибо в старости красота перестает быть телесною — это торжествующая песнь победившей плоть души...

Надобно побывать среди русских селян, чтобы постичь чистый образ патриархального общества и возблагодарить Господа за тот блаженный удел, что даровал он, невзирая на все ошибки правительств, этим кротким созданиям, между рождением и смертью которых пролегает лишь долгая череда лет, прожитых в невинности.

Ах, да простит мне ангел или же демон промышленности и просвещения, но как не найти великую прелесть в неведении света, когда видишь плод этого неведения на божественных лицах старых русских крестьян!

Словно патриархи нашего времени, они на склоне лет своих величаво вкушают 923
покой; как работник, после трудового дня сбросивший с плеч тяжкую ношу, они, избавившись от барщины, с достоинством усаживаются на пороге своей хижины — вероятно, не раз уже отстроенной ими заново, ибо в здешнем суровом климате человеческое жилище менее долговечно, чем сам человек. Если б из своего путешествия в Россию я привез одно лишь воспоминание об этих безмятежных старцах, сидящих у незапирающихся дверей, — я и тогда не пожалел бы о тяготах поездки, в которой повидал людей, столь непохожих на крестьян любой другой страны. Благородство сельских хижин всегда внушает мне глубокое почтение.

Всякое устойчивое правление, как бы дурно оно ни было, имеет свое благое действие, и всякому народу, живущему в условиях гражданского порядка, есть чем вознаграждать себя за жертвы, несомые им ради общественной жизни.

Однако ж сколько произвола таится в этой тишине, которая меня так влечет и восхищает! сколько насилия! сколь обманчива эта устойчивость!..[1]

[1] Уже по выходе в свет первого издания этой книги мне сделалось известно следующее происшествие, способное умерить восхищение, которое внушают патриотические добродетели русских селян. Привожу извлечение из «Gazette de Saint-Pétersbourg» от 4/16 марта 1837 года: «Состоящий в должности Рязанского гражданского губернатора 923
донес г-ну министру внутренних дел, что крестьянка Ряжского уезда, села Ухолова Марья Никифорова представила начальству полученные ею от сына своего, служащего в Тамбовском внутреннем гарнизонном баталионе рядовым Ивана Никифорова, письма, в коих он уведомлял ее о намерении своем бежать, и что потом, когда он действительно бежал, она дала знать сельскому начальству о прибытии его к ней. Г-н министр внутренних дел

ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

Пока я писал это письмо, на почтовую станцию в Троице прибыл один мой
924 знакомец, словам которого можно доверять. Он выехал из Москвы на несколько часов позже меня; зная, что мне придется здесь ночевать, он попросил о встрече со мною, пока ему будут перепрягать лошадей. Он подтвердил то, что я уже знал: совсем недавно в Симбирской губернии, вследствие крестьянского бунта, сожже-
921 но было ***восемьдесят*** деревень. Русские приписывают эти беспорядки польским интригам. «Какая же выгода полякам от пожаров в России?» — спросил я рассказчика. — «Да хотя бы та, — отвечал он, — что они надеются навлечь на себя гнев русского правительства; они ведь боятся одного — что их оставят в покое». — «Вы мне напоминаете, — воскликнул я, — те шайки поджигателей, которые в начале первой нашей революции винили аристократов в том, что те сами жгут свои замки». — «Напрасно вы мне не верите, — возразил русский, — я за этим слежу и знаю по опыту, что всякий раз, как государь император склоняется к милосердию, поляки устраивают новые козни: засылают к нам переодетых лазутчиков, если же действительных преступлений не хватает, то создают видимость заговоров; а все лишь затем, чтоб распалить в русских ненависть и навлечь новые кары на себя и своих сограждан; словом, их более всего страшит прощение — ведь от мягкости русского правительства могли бы перемениться чувства польских крестьян к ***врагу*** и, получая от него благодеяния, они в конце концов могли бы его полюбить». — «По-моему, это какой-то героический макиавеллизм, — отвечал я, — только мне в него трудно поверить. Да и отчего бы вам тогда не простить их, чтоб вернее покарать? Так вы превзошли бы их сразу и в хитрости и в великодушии. Однако же вы их ненавидите; а оттого мне скорей думается, что русские винят во всем свою жертву, чтоб оправдать собственное злопамятство, и во всех несчастных происшествиях у себя дома ищут предлог, чтоб отягчить ярмо на шее своего противника, непростительно провинившегося пред ними своею былою славой; тем более что польская слава, согласитесь, была весьма громкою». — «Как и французская... — лукаво подхватил мой приятель (я знавал его еще в Париже), — да только вы превратно судите о российской политике, потому что не знаете ни русских, ни поляков». — «Это всякий раз твердят ваши соотечественники, когда кто-то решится сказать им неприятную правду; поляков-то узнать нетрудно — они ведь говорят без умолку, а я скорее доверяю говорунам, которые высказывают все, что у них на уме, нежели молчунам, которые высказывают лишь то, что никому и не интересно знать». — «Однако же мне вы как будто доверяете». — «Лично вам — да; но стоит мне вспомнить, что вы русский, и я, даже зная вас уже десять лет, начинаю корить себя за неосмотрительность, то есть за откровенность». — «Предвижу, как распишете вы нас, когда вернетесь домой». — «Да, если б я стал о вас писать; но раз вы

сообщил об этом г-ну военному министру, который ныне уведомляет его, г-на министра, что государь император, по докладу его императорскому величеству об означенном поступке этой крестьянки, высочайше повелеть соизволил: крестьянку Никифорову, за таковой похвальный поступок ее, наградить серебряной медалью, с надписью «За усердие», на Анненской ленте, для ношения на груди».

Вот для чего служат в России награды.

говорите, что я не знаю русских, то я воздержусь судить наобум о вашей непроницаемой нации». — «Лучше вы и не могли бы поступить». — «Ладно же; только не забывайте, что даже самый осторожный человек, однажды уличенный в скрытности, тем самым все равно что разоблачен». — «Для таких варваров, как мы, вы слишком сатиричны и слишком проницательны». С этими словами мой бывший друг сел в экипаж и умчался прочь, а я вернулся к себе в комнату, чтобы записать для вас нашу с ним беседу. Свои последние письма я прячу среди оберточной бумаги, ибо все время боюсь какого-нибудь скрытого или даже открытого обыска с целью дознаться до моих тайных мыслей; надеюсь, что, не найдя ничего ни в письменном приборе, ни в портфеле, они успокоятся. Я уже говорил в другом месте, что, собираясь писать, непременно стараюсь отослать фельдъегеря; сверх того я распорядился, чтоб он никогда не входил ко мне в комнату, не спросивши моего разрешения через Антонио. Итальянец в хитрости не уступит русскому, а этот человек служит мне уже пятнадцать лет, он смышлен, как современные римляне, и благороден душою, как римляне древние. С обыкновенным слугой я бы не решился ехать в эту страну или же воздержался бы от записей; Антонио же, препятствуя шпионству фельдъегеря, обеспечивает мне кое-какую свободу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

Троица, 18 августа

Если бы мне пришлось извиняться за свои повторы и монотонность изложения, то я должен был бы просить прощения за то, что вообще путешествую по России. Всякий добросовестный путешественник вынужден часто возвращаться к одним и тем же впечатлениям, но в России это более неизбежно, чем где-либо... Желая дать вам как можно более точное представление о стране, по которой езжу, я вынужден подробно, час за часом, рассказывать обо всем пережитом; только так могу я подкрепить те мысли, что придут мне в голову впоследствии. Притом каждый новый предмет, внушающий прежние мысли, подтверждает их справедливость; всякому правдивому рассказу о путешествии присуща несвязность. Методическое изложение уберегло бы меня от критики, зато отняло бы читателей.

Троица составляет в России самое главное и часто посещаемое место паломничества, за исключением Киева. Я решил, что в этой исторической лавре, расположенной в двадцати лье от Москвы, стоит задержаться на день и ночь, чтоб подробней осмотреть святыни, чтимые русскими христианами.

Нынче утром, однако, для выполнения моего замысла пришлось мне насиловать себя: ибо после подобной ночи уже не испытываешь любопытства ни к чему, все перебивается физическим омерзением.

В Москве люди, слывущие беспристрастными, уверяли меня, что в Троице я найду сносное пристанище. В самом деле, странноприимный дом — нечто вроде гостиницы при монастыре, но за чертою освященной земли, — здание весьма просторное, и комнаты в нем на вид довольно пригодны для жилья; однако стоило мне лечь, как выяснилось, что всегдашние мои предосторожности не помогают;

ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

I

по обыкновению, я не тушил света, и вся ночь для меня прошла в борьбе с полчищами насекомых; были среди них и черные, и коричневые, всякого вида и, должно быть, всякой породы. Разгорелся жаркий бой; гибель одного из них словно возбуждала мщение соплеменников, и они устремлялись на меня, к тому месту, где пролилась кровь; отчаянно отбиваясь, я в ярости восклицал: «Еще бы им крылья — и был бы сущий ад!» Оставленные паломниками, что стекаются в Троицу со всех концов империи, насекомые эти кишмя кишат под сенью мощей преподобного Сергия, основавшего сию знаменитую лавру. Небесная благодать проливается и на их благоденствие, и в этой святой обители они плодятся более, чем где-либо еще на свете. Видя, как на меня наступают все новые и новые их полчища, я упал духом и страдал от страха еще больше, нежели от действительной боли; меня не покидало подозрение, что в этом гнусном воинстве таятся невидимые глазу отряды, которые объявятся лишь при свете дня. Я с ума сходил при мысли, что от моих розысков они предохранены цветом своей амуниции; кожа моя горела, кровь бурлила, я чувствовал, как меня пожирают незримые враги; и в тот миг, будь у меня выбор, я, вероятно, предпочел бы сражаться с тиграми, нежели с этим ополчением, которым так богаты нищие; действительно, мы бросаем нищему деньги из страха получить от отвергнутого бедняка некий дар в натуре. Этим ополчением частенько славятся и святые угодники, соединяя крайнюю аскетичность с нечистоплотностью, — нечестивое сочетание, которое не может не возмущать настоящих приверженцев Господа. Что же будет со мною, грешным, которого паломничьи паразиты язвят без всякой пользы для небес? — так говорил я себе с отчаянием, которое вчуже счел бы комичным; я вставал, шагал по середине комнаты, открывал окна, на миг это меня успокаивало; но напасть настигала меня всюду. Стулья, столы, потолок, пол, стены — все кишело живностью; я не решался ни к чему подойти, боясь потом занести заразу в свои собственные вещи. Слуга мой явился раньше условленного часа; ему пришлось испытать такие же страдания, и даже худшие, ибо он, бедняга, дабы не отягощать нашего багажа, не взял с собою кровати; свой тюфяк он укладывает прямо на пол, избегая местных диванов и прочих лежанок со всем их содержимым. Я так подробно распространяюсь об этих неудобствах, чтобы показать вам, чего стоит тщеславие русских и на какой высоте находится материальный быт у обитателей благополучнейшей части империи. Вид бедняги Антонио с заплывшими глазами и распухшим лицом говорил сам за себя; я не стал докучать ему расспросами, а он, ни слова не говоря, показал мне свой плащ, который за ночь из синего сделался бурым. Растянутый на стуле, этот плащ, казалось, колыхался, он был словно расшит цветными узорами, напоминающими персидский ковер; при сем зрелище нас обоих объял страх; были пущены в дело все подвластные нам стихии — воздух, вода, огонь; но в подобной войне мучительна и сама победа; наконец, как можно тщательней почистившись и одевшись, я съел подобие завтрака и отправился в лавру, где поджидало меня новое полчище врагов; но эта легкая кавалерия, укрывшаяся в складках ряс православных монахов, уже ничуть меня не страшила — незадолго перед тем я выдержал натиск куда более грозных воинов; после ночной битвы гигантов дневные стычки и вылазки фланкеров казались сущею забавой; а говоря без обиняков, укусы

клопов и страх перед вшами настолько закалили меня, что целые тучи блох, взметаемые нашими шагами в церквах и монастырских сокровищницах, уже беспокоили меня не больше дорожной пыли или печной золы. Равнодушие мое было так велико, что я сам его стеснялся; бывают напасти, смиряться с которыми постыдно — ты как будто признаешь, что их заслужил... Нынешним утром и прошлого ночью я вновь ощутил острую жалость к тем злосчастным французам, что остались в русском плену после московского пожара и отступления нашей армии. Паразиты, составляющие неизбежное следствие нищеты, — один из тех физических недугов, что вызывают во мне самое глубокое сострадание. Когда о ком-нибудь говорят «он так бедствует, что ходит неопрятным», — сердце мое разрывается. Нечистоплотность — нечто большее, чем кажется; в глазах внимательного наблюдателя она обличает нравственный упадок, который хуже любых телесных недугов; будучи в известной степени добровольною, эта парша тем лишь отвратительней; явление это относится сразу и к нравственной, и к физической нашей природе; оно проистекает одновременно от душевной и телесной немощи; это порок и вместе с тем болезнь.

Не раз в путешествиях моих приходилось мне вспоминать проницательные наблюдения Песталоцци — великого практического философа, который задолго до Фурье и сен-симонистов взялся за образование мастеровых; из наблюдений его над бытом простонародья следует, что из двух человек, имеющих одинаковые привычки, один может жить чистоплотно, а другой нет. Телесная опрятность зависит от их здоровья и темперамента в не меньшей степени, чем от того, насколько они следят за собою. Разве не встречаются в свете люди весьма изысканные и, однако же, весьма нечистоплотные? Как бы то ни было, среди русских царит самая гадкая неряшливость; просвещенной нации не подобает так безропотно это терпеть; русские же, по-моему, приучили насекомых выживать даже в горячей бане.

Несмотря на скверное настроение, я все же тщательно осмотрел внутренность Троицкой лавры, составляющей гордость русских. Видом она менее внушительна, чем наши старинные готические монастыри. Хотя к святым местам ездят и не ради архитектуры, но все же если б славные эти святыни стоили того, чтоб их обозреть, то они нимало не потеряли бы в святости, а паломники — в благочестивом рвении.

На низеньком холме возвышается городок, опоясанный мощною зубчатою стеной, — это и есть лавра. Подобно московским монастырям, она украшена шпилями и золочеными куполами, которые блеском своим, особенно по вечерам, издалека возвещают паломникам о цели их набожного странствия.

В летнюю пору окрестные дороги полны бредущих чередою странников; в деревнях кучки богомольцев едят или спят, лежа в тени берез; эти крестьяне, обутые в подобие сандалий из липовой коры, встречаются на каждом шагу; часто рядом с мужиком идет и баба, неся свои башмаки в руке и прикрываясь зонтиком от солнечных лучей, которых летом московиты опасаются более, чем жители южных стран. Следом за этою пешею четой идет шагом лошадь, впряженная в кибитку, — в ней везут принадлежности для сна и для приготовления чая!

ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

Русская кибитка, должно быть, походит на повозки древних сарматов. Экипаж этот отличается первобытною простотой — кузов колесницы составляет большая бочка, распиленная пополам вдоль и поставленная на две оглобли с осями наподобие пушечного лафета; иногда снабжена она еще и верхом, то есть огромною опрокинутою вверх дном деревянного миской. Обычно эту диковатую на вид кровлю устанавливают продольно сбоку на оглобли, и она закрывает половину повозки, как империал швейцарского шарабана.

Деревенские мужики и бабы, умеющие спать где угодно, кроме кровати, путешествуют, лежа в полный рост в сей легкой и живописной повозке; бывает, один из паломников, присматривая за спящими, садится свесив ноги на краю кибитки и навевает уснувшим своим спутникам патриотические сновидения. Он затягивает глухую и жалобную песню, где звучит скорее печаль, чем надежда, — печаль унылая, а не страстная; в душе этого народа, по натуре своей беспечно-веселого, но воспитанного в молчаливости, все сдавлено и несмело. Если б я не считал, что судьба каждой расы начертана на небесах, то сказал бы, что славяне рождены были жить на земле более благодатной, нежели та, где они осели, придя из Азии — великого рассадника народов.

Выйдя из монастырской гостиницы и пересекши площадь, попадаешь в святую обитель. Сперва идешь по древесной аллее, затем навстречу попадаются несколько небольших церквей, именуемых *соборами,* высокие колокольни, стоящие отдельно от храмов, к которым они относятся, и еще несколько часовен, не считая многочисленных жилых строений, разбросанных там и сям без плана и порядка; в этих постройках, не имеющих ни стиля, ни характерного облика, живут нынешние последователи преподобного Сергия.

924 Сей знаменитый пустынник основал в 1338 году Троицкий монастырь, чья история не раз сливалась с историей всей России; во время войны с ханом Мамаем святой инок помог советом князю Дмитрию Ивановичу, и тот, одержав победу, в благодарность щедро одарил хитроумных монахов; позднее их монастырь был разрушен новыми ордами татар, однако мощи преподобного Сергия, чудесно обретенные под развалинами, придали новую славу этой обители молитв, отстроенной Никоном на благочестивые царские дары; еще позднее, в 1609 году, монастырь, где укрылись защитники отечества, шестнадцать месяцев осаждали поляки; неприятель так и не смог взять приступом святую крепость и принужден был снять осаду к вящей славе преподобного Сергия и к радости его набожных преемников, сумевших извлечь выгоду из своих действенных молитв. По монастырской стене тянется крытая галерея; я обошел ее кругом — стены имеют в окружности примерно половину лье и оснащены башнями. Из патриотических воспоминаний,
933 коими славна эта обитель, любопытнее всего, по-моему, история бегства Петра Великого и его матери от буйных стрельцов; мятежные солдаты гнались за ними от Москвы до самого Троицкого собора, до алтаря преподобного Сергия, но там при виде десятилетнего героя вынуждены были сложить оружие.

Все православные церкви похожи одна на другую; росписи в них всегда византийские, то есть ненатуральные, безжизненные и оттого однообразные; скульптуры нет нигде, ее заменяют резьба и позолота, лишенные стиля — богатые, но

некрасивые; говоря коротко, видны одни лишь рамы, в которых теряются картины, — великолепно, но безвкусно.

Все видные деятели российской истории охотно множили богатства лавры, и сокровищница ее полна золота, алмазов и жемчуга; эта груда драгоценностей, собранных со всего света, слывет великим дивом; я, однако, дивлюсь на нее скорее недоуменно, чем восхищенно. Цари, императрицы, набожные вельможи и истинные святые состязались в щедрости, дабы умножить, каждый по-своему, сокровища Троицы. В этом великолепном собрании исторических даров бросаются в глаза своею сельскою простотой грубые ризы и деревянные чаши преподобного Сергия, достойно оттеняя пышные церковные облачения, преподнесенные князем Потемкиным, который также не обошел своим вниманием Троицу.

Гробница преподобного Сергия в Троицком соборе блистает ослепительною роскошью. Этот монастырь мог бы стать богатою добычей для французов; ведь с XIV века он ни разу не был захвачен врагами.

Он включает в себя девять храмов, ярко сияющих своими куполами и колокольнями; однако все они невелики и теряются, разбросанные на обширном пространстве.

Мощи святого хранятся в раке из позолоченного серебра; ее накрывает серебряный балдахин на серебряных столбах — дар императрицы Анны. Образ 924
преподобного Сергия слывет чудотворным; Петр Великий возил его с собою в кампаниях против Карла XII.

Неподалеку, под сенью мощей святого отшельника, покоится тело узурпатора и убийцы Бориса Годунова вместе с останками нескольких его родственников. Есть в лавре и много других знаменитых могил. Вида они все бесформенного; искусство здесь пребывает одновременно в детстве и в дряхлости.

Я осмотрел дом архимандрита и царские палаты. Здания эти ничем не любопытны. Число монахов ныне, как мне сказали, достигает лишь сотни; раньше 924
их было более трехсот.

Несмотря на мои долгие и упорные просьбы, мне так и не захотели показать 925
библиотеку; переводчик мой всякий раз отвечал одно и то же: «Не велено!..»

Странно было видеть такую застенчивость монахов, утаивающих сокровища науки, но зато выставляющих напоказ сокровища мирской суеты. Я заключил отсюда, что на их драгоценностях меньше пыли, чем на их книгах.

Тем же вечером в Дерниках,
деревушке по дороге из уездного городка Переяславля
в Ярославль — столицу одноименной губернии

Странная, право, манера — находить удовольствие в том, чтобы развлечения ради путешествовать по стране, где нет ни больших дорог,[1] ни трактиров, ни кроватей, ни даже соломы для тюфяка (ибо свой матрац, как и матрац моего

[1] То, что зовется этим именем во всей остальной части Европы, в России проложено пока лишь от Петербурга до Москвы и отчасти от Петербурга до Риги.

слуги, мне приходится набивать сеном), ни белого хлеба, ни вина, ни питьевой воды, где не полюбуешься ни живописным пейзажем в пути, ни творениями искусства в городах; где зимой, если не соблюдать осторожность, можно обморозить себе щеки, нос, уши, голову, ноги; где в летнюю пору днем приходится жариться на солнце, а ночью дрожать от холода; и вот за такими-то увеселениями и забрался я в самое сердце России!

Будь в том нужда, я легко мог бы привести подтверждение всем своим жалобам. Оставим пока в стороне дурной вкус, что царит здесь в искусствах. Я уже говорил и еще буду говорить в других местах о византийском стиле в живописи, который словно игом гнетет воображение художников, делая из них ремесленников; ограничусь ныне только наблюдениями над материальным устройством жизни... Ни перепаханное поле, ни изрытый ямами луг, ни песчаная колея, ни бездонная прорва грязи, с чахлым редколесьем по бокам, — все это нельзя назвать дорогою; а еще по временам встречается бревенчатая гать, этакий сельский паркет, вдребезги разбивающий повозки вместе с седоками, которые скачут вверх и вниз как на качелях, — столько упругости заключено в этих колодах. Таковы дороги. Обратимся к жилищам. Назовете ли вы трактиром рассадник насекомых, кучу мусора? Меж тем дома, стоящие вдоль этой дороги, ничего иного собою не представляют: из каждой поры их стен сочатся гады; днем вас кусают там мухи, ибо решетчатые ставни почитаются южною роскошью и почти никому не ведомы в сих краях, где перенимают лишь то, что блестит; ночью же... вам уже известно, что за враги подстерегают путешественника, решившегося спать не у себя в экипаже... Хотя пшеница в здешнем климате растет на славу, в селах не знают белого хлеба. Вино в трактирах — обыкновенно белое и именуемое «сотерном» — встречается редко, стоит дорого, а качества дурного; вода почти во всех частях России скверная — можно потерять здоровье, если пить ее, положившись на заверения местных жителей и не обезвреживая ее шипучими порошками. Правда, во всех крупных городах найдете вы сельтерскую воду — изысканное заграничное питье, чем и подтверждается все сказанное выше о скверном качестве местной воды.

Эта сельтерская вода, конечно, изрядно выручает, но ею приходится запасаться порой весьма надолго, что очень неудобно. «Зачем же вы делаете остановки? — говорят русские. — Поступайте как мы: мы ездим не останавливаясь». Хорошенькое удовольствие — проехать по вышеописанным дорогам сто пятьдесят, двести, триста лье кряду, ни разу не выйдя из кареты!

Что до пейзажей, то в них немного разнообразия; жилища же настолько схожи на вид, что кажется, будто на всю Россию есть только одна деревня и один крестьянский дом. Расстояния тут немереные; правда, русские их сокращают своею манерой путешествовать; из экипажа они выходят лишь по прибытии на место, а все время пути спят, как будто у себя в постели; их удивляет, что нам не по нраву такой способ кочевать во сне, позаимствованный ими от предков-скифов. Не следует верить, будто ездят они всегда так уж скоро: добравшись до места, эти северяне по-гасконски умалчивают о задержках, что случались в дороге. Когда можно, ямщики едут быстро, но их останавливают или, во всяком случае,

часто сдерживают сильнейшие помехи, что не мешает русским нахваливать приятности, ожидающие путешественника в их стране. Они словно все сговорились — соревнуются во лжи, чтоб обольстить чужеземцев и превознести свое отечество во мнении дальних народов.

Сам я обнаружил, что даже по тракту от Петербурга до Москвы ехать приходится то быстро, то медленно; оттого в итоге поездки времени сберегается немногим больше, чем в других странах. В стороне же от тракта неудобства возрастают стократ, сменных лошадей не хватает, а от дорожных ухабов рвется вся упряжь; так что к вечеру в пору пощады просить; а поскольку твоя единственная цель — повидать страну, то начинаешь мнить себя безумцем, чинящим себе попусту множество неудобств, и смущенно задумываешься, чего ради забрался ты в такой дикий край, притом лишенный поэтического величия пустыни. Таким-то вопросом я и задавался нынче вечером. Темнота застала меня на дороге вдвойне неудобной, так как она полузаброшена из-за пересекающего ее через каждые пятьдесят шагов недостроенного тракта; ежеминутно то съезжаешь с этой кое-как проложенной широкой колеи, то вновь на нее въезжаешь; для съезда и въезда устроены временные бревенчатые мостки — разболтанные, как клавиши старого фортепиано, неровные и опасные, так как часто в них недостает самых главных звеньев; и вот как ответил на мой вопрос некий внутренний голос: «Чтоб заехать сюда так, как ты, без определенной цели, без нужды, надобно иметь стальное телосложение и шальное воображение».

Услышав сей ответ, решился я сделать остановку и, к великому негодованию ямщика и фельдъегеря, выбрал себе ночлегом крестьянскую избушку, откуда сейчас вам и пишу. Пристанище это не столь мерзостно, как постоялый двор; в такой глухой деревушке не останавливается ни один проезжий, и в деревянных стенах избы скрываются лишь те насекомые, что занесены из лесу; комната моя — чердак, на который ведет деревянная лестница в дюжину ступенек, — напоминает квадратный ящик длиной и шириной в девять или десять футов и высотой в шесть или семь; эта ничем не отделанная каморка похожа на каюту на нижней палубе судна и приводит мне на память хижину умалишенного в истории Теленева; весь дом построен из еловых бревен, а щели между ними, как корпус шлюпки, законопачены пропитанным смолою мхом; мне мешает запах, который исходит от этой смеси и соединяется со зловонием кислой капусты и неизменно господствующим в российских деревнях ароматом дубленых кож; но лучше уж страдать от головной боли, чем от тошноты, и такой ночлег нравится мне куда больше, чем та большая свежеоштукатуренная зала, которую снимал я на постоялом дворе в Троице.

Однако ж кроватей ни в этом, ни в других домах нет; крестьяне спят, завернувшись в свои овчины, на лавках вдоль стен нижней комнаты. Наверху для меня только что разложили мою железную кровать и набили тюфяк свежим сеном, от запаха которого еще сильней болит голова.

Антонио ночует в коляске и вместе с фельдъегерем, не оставившим своего сиденья, сторожит ее. Большие дороги в России довольно безопасны; зато в деревнях славянские крестьяне почитают повозки и их принадлежности своею

законною добычей, и если не стеречь коляску самым тщательным образом, то наутро я вполне могу обнаружить ее без верха и вообще обобранною — без пасов, без штор, без фартука, одним словом, превращенною в незатейливый тарантас, в обыкновенную телегу; и во всем селе ни одна душа не ведала бы, куда делась украденная сбруя; если бы, после долгих розысков ее обнаружили у кого-нибудь в сарае, то разбойник отговорился бы тем, что нашел-де ее да принес! Такое оправдание в ходу среди русских; воровство укоренилось в их нравах; а потому воры живут с совершенно чистою совестью, и физиономия их до конца дней выражает безмятежный покой, способный обмануть даже ангелов. На память мне то и дело приходит наивно-характерная поговорка, непрестанно звучащая у них в устах: «И Христос бы крал, кабы за руки не прибили».[1]

Не думайте, будто пороком воровства поражены одни лишь крестьяне: воровство имеет столько же видов, сколько есть ступеней в общественной иерархии. Всякий губернатор знает, что ему, как и большинству его собратьев, грозит провести остаток своих дней в Сибири. Если, однако, за время своего губернаторства он исхитрится наворовать довольно, чтобы в нужный момент защитить себя в суде, то он выпутается; если же (случай невозможный) он остался бы честен и беден, то пропал бы. Замечание это не мое, мне доводилось слышать его от нескольких русских, которых я считаю достойными доверия, но воздержусь называть их имена. Рассудите сами, насколько следует верить их рассказам.

Кригс-комиссары обкрадывают солдат и наживаются на их голоде; вообще, среди здешних чиновников честность была бы так же опасна, как сатира, и так же смешна, как глупость.

Завтра я надеюсь доехать до Ярославля; это главный город губернии; остановлюсь там на день-два, чтобы найти наконец в глубине страны настоящих русских; на сей предмет я еще в Москве озаботился запастись несколькими рекомендательными письмами в столицу этой губернии — одной из самых любопытных во всей империи, как по положению своему, так и по промыслам своих обитателей.

[1] «Ликург считал, что для того, чтобы украсть какую-нибудь вещь у своего соседа, нужно проявить сметливость, проворство, смелость и ловкость; с другой стороны, он полагал, что для общества будет полезно, если каждый будет тщательно охранять свое добро; поэтому он решил, что воспитание обоих этих качеств — умения нападать и умения защищаться — принесет богатые плоды при обучении военному делу (являвшемуся главной наукой и добродетелью, которые он хотел привить своему народу) и что это возместит тот ущерб и ту несправедливость, которые вызываются присвоением чужой вещи». («Опыты Монтеня», кн. 2, глава XII, «Апология Раймунда Сабундского», с. 299. Париж, издание братьев Дидо, 183(6).

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

*Значение Ярославля для внутренней торговли. — Мнение одного из русских об архитектуре своей страны. — Смешные претензии народа-выскочки. — Вид Ярославля. — Набережный бульвар у Волги. — Вид из города на сельские окрестности. — Еще раз о пристрастии русских к рабскому подражанию классической архитектуре. — Сходство Ярославля с Петербургом. — Красота сел и их жителей. — Однообразие ландшафта. — Пение волжских матросов вдали. — Саркастичность светских людей. — Еще один взгляд на характер русских. — Первобытные дрожки. — Обувь крестьян. — Древние статуи. — Русские бани недостаточны для поддержания чистоты. — Визит к ярославскому губернатору. — Два мальчика: русский и немецкий. — Салон губернатора. — Я в изумлении. — Воспоминания о Версале. — Г-жа де Полиньяк. — Невероятная встреча. — Изысканная учтивость. — Влияние нашей литературы. — Поездка в Преображенский монастырь. — Набожность князя * * *, моего провожатого. — В современной России продолжаются традиции византийского искусства. — Мелочность православной церкви. — Нелепые разграничения. — Спор о том, как давать благословение. — Закуска, легкое кушанье, подаваемое перед самым обедом. — Стерлядь, волжская рыба. — Русская снедь. — Обед длится недолго. — Хороший вкус в беседе. — Память о старой Франции. — Вечер в семейном кругу. — Разговор с дамой-француженкой. — В России жены превосходят своих мужей. — Оправдание божественного промысла. — Розыгрыши благотворительной лотереи. — Во Франции светский тон искажен политикою. — Глубокая пропасть между богатыми и бедными в России. — Отсутствие благодетельной аристократии. — Кто в действительности правит Россией. — Сам император стеснен в отправлении своей власти. — Русская бюрократия. — Поповичи. — Влияние Наполеона на государственное управление в России. — Его макиавеллизм. — План императора Николая. — Правительство иностранцев. — Проблема, требующая разрешения. — Об одном особенном затруднении.*

Ярославль, 18 августа 1839 года 922

То, что предрекали мне в Москве, уже сбывается, а меж тем я едва проделал четверть своего пути. К прибытию в Ярославль ни одна часть моей коляски не осталась в целости; ее будут теперь чинить, но вряд ли она довезет меня до конца пути.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Погода стоит осенняя; здесь говорят, что такою она и должна быть об эту пору; за один день всю летнюю жару смыло холодным дождем. Теперь, говорят, жарко уже не будет до будущего года; но я настолько привык к неудобствам летнего зноя — пыли, мухам, комарам, — что мне даже не верится, чтобы одна-единственная гроза могла избавить меня от всех этих напастей... слишком похоже на волшебство... Нынешний год необыкновенно засушлив, и я убежден, что мы еще застанем дни жаркие и душные, ибо на Севере зной бывает не столько резкий, сколько давящий.

Город, куда я прибыл, служит важною перевалочною станцией во внутренней торговле России. Через него Петербург сообщается также и с Персией, Каспийским морем и всею Азией. Здесь протекает Волга — великий и оживленный природный путь, и Ярославль служит национальною столицей водных сообщений, умело налаженных и образующих предмет гордости русских и один из главных источников их благосостояния. К Волге примыкает обширная сеть каналов, составляющих богатство России.

Город Ярославль, столица одной из самых примечательных губерний во всей империи, заметен уже издалека, как и предместья Москвы. Подобно всем провинциальным городам в России, он обширен и кажется безлюдным. Обширность его — не столько от многочисленности обитателей и домов, сколько от огромной ширины улиц и площадей и оттого, что здания здесь обычно расположены далеко друг от друга, так что жителей почти и не видать. От края до края империи царит один и тот же архитектурный стиль. Вот вам пример того, насколько ценят сами русские свои псевдоклассические здания.

В Москве некий остроумец говорил мне, что в Италии он не увидал ничего такого, что показалось бы ему внове.

— Вы серьезно это говорите? — воскликнул я.

— Совершенно серьезно, — отвечал он.

— Мне, однако же, кажется, — возразил я, — что когда впервые спускаешься по южному склону Альп, то вид местности просто не может не совершить переворота в твоей душе.

— Отчего же? — спросил русский, тоном своим и видом выражая пренебрежение, которое так часто принимают здесь за примету образованности.

— Как же, — отвечал я, — а новизна всего пейзажа, которому архитектура служит главным украшением? А ровные склоны холмов, засаженные лозою, тутом и оливами и перемежающиеся монастырями, дворцами, селеньями? А эти длинные ряды белых столбов, поддерживающих виноградные шпалеры под названием pergola и доносящих красоту архитектуры даже в сердце самых суровых гор? А вся эта пышность природы, напоминающей более парк, разбитый Ленотром для королевских прогулок, нежели возделанные нивы, дающие хлеб насущный землепашцу? И вам не показались внове все эти творения человеческой мысли, украшающие собою замысел Божий? А изящные очертания храмов, в чьих колокольнях распознается классический вкус, преобразованный феодальными нравами, а множество необыкновенных и величественных зданий, что разбросаны в этом роскошном естественном парке, подобно тому как посреди

природного ландшафта нарочно, чтоб оттенить его красоты, расставляют мельницы, — все это вас нимало не удивило?

Но ведь один лишь вид этих картин способен внушить нам чувство истории! Повсюду новые здания высятся на грандиозных руинах древности, дороги проходят по аркадам, прочным, хотя на вид и легким;[1] повсюду холмы служат опорою для монастырей, дворцов и селений, напоминая, что в стране этой искусство властно правит природою. Горе тому, кто способен ступать по земле Италии, не распознав по величественности ее пейзажей и зданий, что страна эта — колыбель цивилизации.

— Я рад, что ничего этого не увидал, — иронически возразил мой собеседник, — коль скоро моя ненаблюдательность дает вам повод явить свое красноречие.

— Неважно, если восторг мой показался вам смешным, — продолжал я уже спокойнее, — лишь бы мне удалось пробудить в вас чувство прекрасного... Прирожденный художественный талант народа видится мне уже в выборе живописных мест для блистающих красотою селений, монастырей и большинства городов Италии; а как распорядились люди накопленными сокровищами в тех краях, где богатство их приумножалось торговлею, — например, в Генуе, Венеции или у подножия всех главных альпийских перевалов? Они выстроили вдоль озер, рек, морских берегов, горных ущелий зачарованные дворцы, фантастические набережные, мраморные стены, сложенные словно по волшебству; и чудеса эти можно созерцать не только на берегах Бренты: за каждою горною грядой встречаешь новые красоты. Множество храмов, высящихся один над другим, привлекают любопытных своим изяществом и величественным стилем своих росписей; множество мостов изумляют взор дерзостью и прочностью своего строения; каждый монастырь, город, замок, селение, вилла, отшельничий скит, обитель покаяния или же приют наслаждения, богатства и неги — все настолько поражает воображение роскошною архитектурой, что завораживает и глаза и мысли путешествующего по сей славнейшей из стран. Величественные громады, гармонические линии — все это ново для северянина; иноземцу в Италии прибавляет радостей знание истории, но и одного лишь вида местности довольно, чтоб возбудить в нем интерес... Даже Греция, с ее дивными, но слишком немногочисленными святынями, не так изумляет большинство паломников, потому что после долгих веков варварства она кажется опустошенною, и, чтоб оценить ее по достоинству, требуется ее изучить; Италию же, напротив, довольно увидеть...

— Неужто вы думаете, — воскликнул, потеряв терпение, русский, — что нас, жителей Петербурга и Москвы, итальянская архитектура может удивить так, как вас? Разве не встречаете вы ее образцы на каждом шагу в самых малых наших городах?

При сей вспышке национального тщеславия я умолк; я находился в Москве, и как ни одолевало меня желание расхохотаться, отдаться ему было бы опасно;

[1] Примерами тому город Бергамо, озера Маджоре и Комо и проч., а также все южные долины Альп.

лишь с трудом сохранил я благоразумие — вот вам лишний пример того влияния, какое оказывает здешнее правительство даже на иностранца, притязающего ни от кого не зависеть.

Это решительно то же самое, думал я про себя, как если бы вы не захотели смотреть в Риме Аполлона Бельведерского, потому что видали раньше его гип-
129 совые слепки, или отказались бы посетить Рафаэлевы Станцы, потому что Ватикан уже был вам представлен в декорациях Оперы. Да, влияние на вас монголов оказалось долговечнее их владычества!! Неужто вы прогнали завоевателей лишь затем, чтобы следовать их вкусам? Хуля других, не продвинешься далеко ни в искусствах, ни вообще в просвещенности. В наблюдениях своих вы недоброжелательны по недостатку чувства современной красоты. Вам не сравняться со своими образцами, пока вы не перестанете им завидовать. Да, империя ваша огромна; но чем в ней можно восхититься? Не могу же я любоваться колоссом, изваянным обезьяной. На беду ваших художников, в основания обществ, предназначенных просвещать род людской, Бог заложил отнюдь не только повиновение да державную власть.

Я подавил в себе этот приступ гнева, но сильные переживания читаются у нас на челе; должно быть, о них догадался и путешественник-верхогляд, ибо больше он ничего мне не сказал, лишь заметил небрежно, что оливы он видал в Крыму, а тутовые деревья — в Киеве.

Могу лишь радоваться, что приехал в Россию ненадолго; от более длительного пребывания в этой стране у меня пропало бы мужество, да и желание говорить правду о том, что я здесь вижу и слышу. Деспотизм внушает безразличие и уныние даже тем, кто полон решимости бороться с его вопиющими злоупотреблениями.

Презрение ко всему, чего не знаешь, — это, по-моему, преобладающая черта в характере русских. Вместо того чтобы попытаться понять непонятное, они норовят его высмеять. Если однажды им удастся в чем-то проявить свой настоящий талант, то окажется, к удивлению света, что это талант карикатуры. Изучая образ мышления русских и разъезжая по России, последнею из всех государств вписавшей свое имя в великую книгу европейской истории, я убеждаюсь, что вздорные причуды выскочек способны овладеть множеством людей и сделаться достоянием целого народа.

Цветные и золоченые главы ярославских церквей, которых здесь немногим меньше, чем домов, видны путнику издалека, как и в Москве, но сам город менее живописен, нежели старая столица империи. Рядом с ним протекает Волга, и со стороны реки город заканчивается высоким, обсаженным деревьями набережным бульваром. Ниже этого широкого бульвара пролегает подъездной путь, спускаясь от города к реке и пересекая под прямым углом бечевую тропу. Этот необходимый для хозяйственных и торговых нужд путь не прерывает собою набережной, переходящей в красивый мост. Скрытый под прогулочного аллеей, мост этот заметен лишь снизу; в целом получается недурная картина, которая имела бы внушительный вид, будь в ней еще и движение и свет; однако город, несмотря на свое торговое значение, настолько плосок, настолько правильно расчерчен, что кажется вымершим; в нем пусто, печально и тихо; впрочем, другой, сельский берег

реки, который виден с набережной, еще более пуст, тих и печален. Я почитаю своим долгом представлять вам воочию все, что вижу сам, — и потому опишу этот пейзаж, рискуя показаться неоригинальным и навеять вам тоску, какую испытываю я сам при его созерцании.

Огромная серого цвета река, с берегами крутыми, словно утесы, но песчаными, невысокими, а наверху переходящими в бескрайнюю серую равнину с пятнами сосновых и березовых лесов, — другие деревья на здешней холодной почве не растут; серо-металлическое небо, где сквозь монотонные свинцовые тучи, отражающиеся в жестяного цвета воде, местами проглядывают серебристые полоски, продуваемые ветром и дождем; вот такие холодные и суровые картины ожидали меня в окрестностях Ярославля!.. Впрочем, край этот наилучшим образом возделан, и русские хвалят его как самый богатый и живописный во всей империи, за исключением Крыма; последний, правда, по словам достойных доверия путешественников, далеко уступает горным карнизам Генуи и побережью Калабрии; да и что значит Крым в сравнении с обширными равнинами этой страны? Говорят, что красивы степи в окрестностях Киева, но такая красота быстро утомляет.

Внутреннее устройство русских жилищ весьма разумно; внешний же их вид, а равно общий план городов этой разумности лишены. Разве не высится в Ярославле колонна наподобие петербургской, а напротив нее — несколько зданий с аркой внизу, подражающих Генеральному штабу в СТОЛИЦЕ? Все это отличается самым дурным вкусом и странно не соответствует строению церквей и колоколен; здания эти словно принадлежат не тому городу, для которого их возводили.

Чем ближе подъезжаешь к Ярославлю, тем более поражает красота местных жителей. Села здесь богаты и добротно отстроены; я даже видал в них несколько каменных домов, но они еще слишком малочисленны, чтоб разнообразить облик местности, монотонность которого не нарушается ни единым предметом.

Волга — это российская Луара, только вместо радующих глаз холмов Турени, на которых гордо высятся прекрасные замки средних веков и Возрождения, здесь все время тянутся ровные берега, образующие естественные пристани, а на них стоят серые дома, выстроенные в ряд, словно лагерные шатры, и не столько оживляющие собою пейзаж, сколько делающие его еще скуднее; таков край, которым русские советуют нам любоваться.

Прогуливаясь давеча вдоль Волги, я был принужден идти против северного ветра, который в этих местах царит всевластно и разрушительно, — три месяца в году буйно метет пыль, а остальное время снег. Нынче вечером между порывами ветра, когда этот противник мой словно переводил дух, до меня доносилось издали пение матросов на реке. На таком расстоянии гнусавые звуки, обезображивающие русскую народную песню, пропадали, и я слышал лишь невнятно-жалобную мелодию, смысл которой угадывал сердцем. Несколько человек сплавляли по родной своей Волге длинный плот, умело им управляя; поравнявшись с Ярославлем, они решили сойти на сушу; увидав, что туземцы эти причалили к берегу и направляются ко мне, я остановился; они прошли мимо, не взглянув на чужестранца, даже словом не перемолвившись между собою. Русские молчаливы

и нелюбопытны; мне это понятно — то, что они знают, отвращает их от того, что им неизвестно.

Я любовался их тонкими лицами и благородными чертами. Повторяю уже в который раз: если не считать женщин калмыцкой расы, горбоносых и скуластых, русские чрезвычайно красивы.

Другая свойственная им приятная черта — это мягкий голос; он звучит всегда густо и звонко, без усилия. Русские делают музыкальным язык, который становится грубым и шипящим, когда на нем говорят чужие; мне кажется, это единственный язык в Европе, который в устах людей благовоспитанных нечто теряет. Уху моему приятнее уличный русский говор, чем салонный; на улицах это язык родной, в салонах же и при дворе — свежезаимствованный на стороне и предписанный придворным политикою государя.

Самое обыкновенное состояние духа в этой стране — печаль, скрытая под иронией; особенно в салонах, ибо там более чем где-либо приходится таить свою грусть; отсюда саркастично-язвительный тон, ради которого насилуют себя и говорящие, и слушающие. Простонародье топит свою тоску в молчаливом пьянстве, а знать — в пьянстве шумливом. Так один и тот же порок принимает разные формы у раба и господина. У господ есть еще и другое средство от тоски — честолюбие, опьянение духа. Вообще же в народе этом, во всех его классах, царит некая врожденная грация, природная утонченность: изначальное преимущество, которого не отняли у него ни варварство, ни цивилизация — даже та, в которую он рядится.

Однако же следует признать, что ему недостает другого, более существенного качества — способности любить. Способность эта менее всего господствует в его сердце; оттого в повседневных, мелких делах русским совершенно чуждо добродушие, а в делах крупных — добросовестность; изящный эгоизм, вежливое безразличие — вот что обнаруживается в них при ближайшем рассмотрении. Такое бессердечие составляет здесь принадлежность всех классов общества и проявляется в различных формах в зависимости от положения наблюдаемого человека; суть же повсюду одна. Столь редкие среди русских чуткость и участливость преобладают у немцев, которые называют их Gemiith. Мы назвали бы это сочувственностью, сердечностью, если б имели надобность определить то, что и у нас самих немногим более распространено, чем у русских. Зато тонкую и простодушную французскую шутливость заменяют здесь враждебная наблюдательность, лукавая приметливость, завистливая колкость, наконец унылая язвительность, которая кажется мне куда опасней нашего смешливого легкомыслия. В здешних краях суровый климат, принуждающий человека к постоянной борьбе, непреклонное правительство и привычка к шпионству делают характер людей желчным, недоверчиво-самолюбивым. Здесь вечно кого-то или чего-то опасаются; и, что хуже всего, опасливость такая небезосновательна; прямо в ней не сознаются, но и скрыть ее не скроешь, особенно от наблюдателя мало-мальски внимательного и привыкшего, как я, сопоставлять разные народы между собой.

Малодоброжелательное расположение русских к иностранцам кажется мне до известной степени простительным. Еще не зная нас, они встречают нас

с видимою предупредительностью, ибо они гостеприимны, как жители Востока, и томимы скукой, как европейцы, но, принимая нас с более показною, чем сердечною приветливостью, они вслушиваются в самые незначительные наши слова, подвергают придирчивому рассмотрению малейшие наши поступки, а поскольку при этом им неизбежно открывается в нас много достойного порицания, то они, внутренне торжествуя, говорят себе: «Вот, значит, каковы те, кто считает себя во всем выше нас!»

Надобно прибавить, что исследования такого рода им по нраву, ибо в природе их больше изощренности, чем чувствительности, а оттого им ничего не стоит держаться с иностранцами начеку. Такое отношение не исключает ни известной любезности, ни своеобразного изящества, но оно противоположно настоящей учтивости. Быть может, долгими стараниями кто-то и может вызвать у них к себе некоторое доверие; но я лично сомневаюсь, чтобы при всех усилиях сумел когда-либо этого добиться, ибо русские — одна из самых ветреных и вместе самых непроницаемых наций на свете. Что сделала она, чтобы способствовать развитию человеческого духа? Она еще не имела ни философов, ни моралистов, ни законодателей, ни ученых, чьи имена остались бы в истории; зато никогда не было и не будет у ней недостатка в отменных дипломатах, хитроумных политиках; низшие же классы если и не дают изобретательных мастеров, зато изобилуют превосходными подмастерьями; наконец, если здесь недостает слуг, способных облагородить свою профессию высотою души, то во множестве найдутся отличные шпионы.

Я вожу вас по лабиринту противоречий, то есть показываю здешнюю жизнь такой, какой она представляется на первый-второй взгляд; ваше дело обобщать мои замечания, соотносить их между собою, дабы из личных моих мнений составить мнение общее. Намерение мое осуществится, если вы, сопоставляя и отбрасывая множество неосновательных и скороспелых суждений, сумеете образовать мнение твердое, беспристрастное и зрелое. Сам я этого не сделал, потому что больше люблю путешествовать, чем трудиться; писатель, в отличие от путешественника, не свободен; и вот я описываю свое путешествие, а завершение книги предоставляю вам.

Те новые соображения о русском характере, которые вы только что прочли, навеяны мне несколькими визитами, которые сделал я по прибытии в Ярославль. Этот город в сердце страны я рассматривал как один из примечательнейших пунктов на своем пути; и потому, прежде чем выехать из Москвы, запасся сюда несколькими рекомендательными письмами.

Завтра вы узнаете итог моего визита к главному лицу здешнего края, ибо я только что отправил письмо губернатору. В различных домах, где был я принят нынче утром, мне наговорили о нем много дурного, вернее, на многое намекнули. Ненависть, вызываемая им к себе, внушает мне доброжелательное любопытство. Мне кажется, мы, чужеземцы, должны судить о людях справедливей местных жителей. Завтра я составлю себе мнение о первом лице в Ярославской губернии, и мнение это сообщу вам откровенно и безбоязненно. А пока займемся простонародьем.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Русские крестьянки обыкновенно ходят босыми; мужчины же чаще всего носят нечто вроде башмаков, грубо сплетенных из тростника; издали обувь эта отчасти походит на античные сандалии. Одеты они в широкие штаны, складки которых, перехваченные у щиколотки повязкой на античный лад, заправлены в башмаки. Такой наряд совершенно напоминает статуи скифов, исполненные римскими ваятелями. Женщин же варварских в их одежде эти художники, кажется, никогда не изображали.

Пишу вам из скверного трактира; во всей России лишь два трактира чего-то стоят, и оба держат иностранцы — английский пансион в Санкт-Петербурге и заведение госпожи Говард в Москве.

Нередко случается, что я с содроганием сердца усаживаюсь на диван даже в частном доме.

В Петербурге и Москве видел я несколько общественных бань; моются в них по-разному; некоторые заходят в камеру, прогретую до совершенно нестерпимого, на мой взгляд, жара; в ней просто задыхаешься от прохватывающего пара; в других помещениях голые люди моют с мылом других голых, лежащих на раскаленных полках; у людей изысканных, как и повсюду, есть дома ванны; но все же в заведения эти стекается столько народу, столько насекомых питается постоянно поддерживаемым там влажным паром, столько гадов ютится среди снимаемой одежды, что редко случается оттуда уйти, не унеся на себе некое неопровержимое доказательство безобразной нечистоплотности русского народа. Одно лишь это воспоминание и вызванная им постоянная опаска заставляют меня сурово судить о всей стране в целом.

Прежде чем мыться самим, те люди, что пользуются общественными банями, могли бы подумать о том, как отмыть дочиста дом банного заведения, банщиков, полки, белье, да и все прочее, что приходится трогать, видеть и вдыхать в этих вертепах, куда истые москвичи ходят якобы для поддержания чистоты тела, но на деле лишь приближают свою старость, злоупотребляя паром и без меры потея.

Сейчас десять часов вечера; губернатор только что сообщил, что за мною заедет в карете его сын; отвечаю извинениями и благодарностями; пишу, что уже лег спать и не могу нынче вечером воспользоваться любезностью г-на губернатора, но что следующий день проведу в Ярославле и поспешу выразить ему свою признательность. Охотно воспользуюсь этим случаем для углубленного изучения провинциального русского гостеприимства.

Итак, до завтра.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

Ярославль, 19 августа 1839 года, после полуночи

Нынче утром, около одиннадцати часов, губернаторский сын, совсем еще мальчик, в роскошном мундире, приехал за мною в купе, запряженном четверкою лошадей и управляемом кучером и *фалейтером,* который восседает на передней правой

лошади; выезд совершенно такой же, как у петербургских придворных. Столь изысканное явление у ворот трактира меня смутило; я сразу почувствовал, что буду иметь дело не с исконно русскими людьми, что ожидания мои вновь окажутся обмануты; это не чистокровные московиты, не настоящие бояре, — подумал я. Я боялся вновь оказаться среди европейских путешественников, александровских придворных, космополитических вельмож.

— Мой отец хорошо знает Париж, — сказал мне юноша, — он будет очень рад принять у себя француза.

— Когда же бывал он во Франции?

Юный русский промолчал; вопрос, казалось, поставил его в тупик, хотя и был как будто очень прост; сперва я не мог объяснить себе его смущение и понял лишь потом, воздав должное этому свидетельству душевной тонкости — чувства редкостного среди людей всех стран и всех возрастов.

Г-н ***, ярославский губернатор, находясь в свите императора Александра, 926
воевал во Франции в кампанию 1813-1814 годов, и об этом-то его сын не хотел мне напоминать. Такая тактичность напоминает мне другой, совсем иной случай: как-то в одном германском городке обедал я у посланника другого немецкого княжества; хозяин дома, представляя меня жене, сказал, что я француз...

— Значит, он наш враг! — перебил их сын, лет тринадцати-четырнадцати.

Этот мальчик никогда не ходил в русскую школу.

Войдя в просторный и богатый салон, где ожидал меня губернатор с женою и многочисленным семейством, я очутился словно в Лондоне или, вернее, в Петербурге, ибо хозяйка дома сидела по русскому обычаю на небольшом закрытом возвышении, которое занимает угол гостиной и называется «альтаною»; к нему 927
ведут несколько ступенек — и все это похоже на увитую зеленью сцену домашнего театра. В другом месте я уже описывал вам эту великолепную живую решетку, столь же своеобычную, сколь и изящную на вид. Губернатор встретил меня учтиво; затем, представив нескольким женщинам и мужчинам из числа своей родни, проводил в эту зеленую беседку, где я увидел наконец его жену.

Едва пригласив меня сесть в глубине своего алтаря, она с улыбкою спросила: «А что, господин де Кюстин, Эльзеар по-прежнему сочиняет басни?»

Мой дядя, граф Эльзеар де Сабран, еще в детстве славился в Версале своим поэтическим даром и был бы славен также среди публики, если б друзьям и родственникам удалось уговорить его издать сборник басен — настоящий свод поэтической мудрости, обогащенный временем и опытом, ибо любые житейские обстоятельства, любые общественные или частные происшествия, любые возникшие в душе мечтания побуждают его написать новую притчу, всякий раз замысловатую, а порой и глубокую, особенно прелестную от изящно-легких стихов и самобытно-острого слога. Входя в дом ярославского губернатора, я и не думал об этом вспоминать, поглощенный своею надеждой (столь редко сбывающеюся) отыскать наконец в России настоящих русских. 927

Я отвечал губернаторше изумленной улыбкой, означавшею: «Это прямо сказка об Алине; объясните же, в чем здесь секрет». 928

Объяснение не заставило себя ждать.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

— Я была воспитана, — продолжала губернаторша, — одною из подруг г-жи де Сабран, вашей бабушки; она часто рассказывала мне о природной прелести и изяществе ума г-жи де Сабран, об уме и талантах вашего дядюшки, вашей матушки; нередко она упоминала и о вас, хоть и уехала из Франции еще до вашего рождения; ее зовут г-жа де ***; она эмигрировала в Россию вместе с семейством Полиньяк, а после смерти герцогини де Полиньяк уже не расставалась со мною.

С этими словами г-жа *** представила меня своей гувернантке — пожилой женщине, которая лучше меня говорила по-французски, а лицом своим выражала тонкость ума и мягкость сердца.

Я понял, что с мечтою о боярах на сей раз придется расстаться — о чем не мог не жалеть при всей глупости этой мечты; однако обманутые мои надежды были вознаграждены. Г-жа ***, жена губернатора, происходит из знатного рода, основатель которого был выходцем из Литвы; она урожденная княжна ***. Помимо учтивости, общей почти для всех особ ее положения во всех странах, она еще и усвоила вкус и тон французского света лучших времен и, несмотря на молодость, благородною простотой обращения напоминает мне манеры пожилых дам, которых знал я в детстве. Все это старинные традиции двора: безупречное соблюдение приличий, хороший вкус, доведенный до совершенства — до доброты, до естественности; одним словом, лучшие черты парижского большого света той эпохи, когда наше общественное превосходство было неоспоримо; когда г-жа де Марсан могла жить на скромный пенсион, добровольно заточив себя в монастыре Успения и заложив на десять лет свои огромные доходы, чтобы заплатить долги брата, принца де Гемене, и благородным своим самопожертвованием по возможности приглушить скандал от разорения этого вельможи.

«Мне ничего здесь не узнать о стране, по которой езжу, — думал я, — но от такого удовольствия тоже грех отказываться, ведь ныне оно, пожалуй, выпадает куда реже, чем просто возможность удовлетворить привлекшее меня сюда любопытство».

Я как будто вновь очутился в комнате своей бабушки,[1] где, правда, не было ни шевалье де Буфлера, ни г-жи де Куален, ни даже самой хозяйки, ибо сии блестящие образцы того особенного остроумия, что расточалось некогда во Франции в светской беседе, безвозвратно исчезли даже в России; зато я находился в избранном кругу их друзей и учеников, которые словно собрались в их доме и ждут, когда отлучившиеся ненадолго хозяева вернутся назад. Казалось, они вот-вот появятся вновь.

К подобному переживанию я был не готов; право, из всех неожиданностей путешествия эта стала для меня самою внезапною.

Хозяйка, разделявшая мое чувство, рассказала, как она накануне изумилась сама, увидав мое имя внизу записки, с которого я препровождал губернатору свои рекомендательные письма из Москвы. Столь необычная встреча в стране, где я считал себя никому не ведомым, как китаец, сразу же придала непринужденный,

[1] Графини де Сабран, позднее маркизы де Буфлер, скончавшейся в Париже в 1827 году, семидесяти восьми лет.

почти дружеский тон общей беседе, которая и дальше шла приятно и легко. Я подивился, с каким видимо неподдельным, ненаигранным удовольствием меня принимали. Встреча оказалась неожиданною для обеих сторон — прямо как в театре. В Ярославле меня никто не ждал: отправиться этою дорогой я решился лишь накануне своего отъезда из Москвы и, при всем мелочном самолюбии русских, в глазах человека, у которого я в последний момент попросил несколько рекомендательных писем, вряд ли был настолько важною особой, чтобы тот стал посылать вперед меня нарочных.

У губернаторши есть брат — князь ***, который превосходно пишет на нашем языке. Его стихотворные сочинения были изданы по-французски, и он любезно преподнес мне один из своих сборников. Раскрыв книгу, я нашел в ней следующий стих, полный искреннего чувства (он содержится в пьесе, озаглавленной «В утешение матери»):

928

928

Les pleurs sont la fontaine où notre âme s'épure.[1]

Это, несомненно, удача — так хорошо выразить свою мысль на иностранном языке.

Правда, в русском большом свете все, особенно сверстники князя ***, владеют двумя языками; но эту роскошь нельзя считать настоящим богатством.

Все члены семейства *** наперебой приглашали меня посетить их дома, осмотреть городские достопримечательности.

Меня осыпали хитроумно иносказательными похвалами по поводу моих книг, пересказывая их с множеством подробностей, которые я сам уже успел позабыть. Непринужденно-деликатная манера, с какою приводились эти подробности, понравилась бы мне, если бы не так мне льстила. Мне хотелось бы быть принятым в этом изысканном кругу, пусть даже в нем чествовали бы кого-то другого. Немногочисленным иностранным книгам, которые, будучи допущены цензурою, попадают в эти отдаленные края, суждена здесь долгая жизнь. Должен сказать (не своей славы ради, но в похвалу нынешним временам), что в странствиях своих по Европе я бывал по-настоящему благодарен лишь за тот прием, который оказывали мне из-за моих сочинений; в чужих краях книги эти доставили мне немногих безвестных друзей, которые гостеприимством своим всякий раз немало поддерживали мою прирожденную страсть к путешествиям и к поэзии. Если столь много дает мне даже то малозначительное место, что занимаю я во французской литературе, то легко вообразить себе, какое влияние должны оказывать вдали от родины настоящие таланты, властители дум нашего общества. В этом апостольском призвании наших писателей и заключается истинное могущество Франции; но разве не влечет оно за собою и великую ответственность? По правде сказать, с этою должностью происходит то же, что и со всякою иной: стремясь ее добиться, забывают о том, сколь опасно ее отправлять. Что же до меня, то в жизни моей я сознавал и ощущал лишь одно стремление — посильно участвовать в руководстве умами,

[1] В фонтане твоих слез омоется душа *(фр.)*.

которое стоит настолько же выше политической власти, насколько электричество выше пороха.

Хозяева мои много говорили о «Жане Сбогаре»; узнав же, что я имею счастье быть лично знакомым с автором, меня засыпали вопросами о нем; жаль, что я не умел отвечать на них с тем совершенным даром рассказчика, каким обладает он сам!

Один из зятьев губернатора свозил меня в Преображенский монастырь, который служит резиденцией ярославскому архиепископу. Как и все православные монастыри, обитель эта представляет собою приземистую крепость, заключающую внутри себя несколько церквей и мелких зданий во всяком вкусе, кроме хорошего. Все вместе это нагромождение построек, якобы посвященных Богу, выглядит жалко — на большом зеленом лугу разбросано множество белых строений; единого целого они не составляют. То же самое замечал я и во всех русских монастырях.

Более всего при осмотре обители поразила меня необычайная набожность моего проводника, князя ***, то, с каким рвением прикладывался он устами и челом ко всем выставленным для поклонения верующих святыням; а поскольку в монастыре имеется несколько разных святилищ, то проделывал он это раз двадцать. Казалось, его светский тон менее всего предвещал такую монашескую истовость. Напоследок он предложил и мне самому облобызать мощи святого, гробницу которого растворил нам один из монахов; на моих глазах он перекрестился... не единожды, но раз пятьдесят кряду, потом раз двадцать приложился к образам и реликвиям — одним словом, в наших обителях ни одна монахиня не стала бы так часто опускаться на колени, кланяться и падать ниц перед церковным алтарем, как это делал в Преображенском монастыре на глазах у иностранца русский князь, в прошлом военный и адъютант императора Александра.

В православных церквах стены покрыты фресками в византийском стиле. Иностранец сперва почтительно взирает на эти росписи, считая их древними, но стоит ему приметить, что такова и по сей день манера русских иконописцев, как благоговение сменяется глубокою скукой. Храмы, которые кажутся нам самыми старинными, на самом деле перестроены и заново расписаны не далее как вчера; образа в них, даже совсем недавнего происхождения, подобны тем, что были завезены в Италию в конце средних веков и возродили там живописный вкус. Но итальянцы с тех пор ушли вперед; воспламененные завоевательным духом римской церкви и питаясь воспоминаниями о древности, они гением своим постигли и сделали своею целью великое и прекрасное; во всех родах искусства они дали высочайшие произведения, какие видывал свет. Меж тем византийские греки, а следом за ними и русские, продолжали точно копировать свои иконы VIII века.

Восточная церковь никогда не благоприятствовала искусствам. И после раскола, и до него она своими богословскими тонкостями лишь притупляла умы. Еще и поныне верующие люди в России серьезнейшим образом спорят меж собой, можно ли писать лицо святой девы естественным телесным тоном или же следует и дальше, как на так называемых иконах святого Луки, красить его

в совершенно противный правде темно-бурый цвет; заботит их и то, как изображать остальную часть ее фигуры: вряд ли тело ее следует писать красками, лучше уж запечатлеть его в металле и облечь в резную кирасу, из-под которой выглядывает одно лицо или даже одни глаза да запястья. Попробуйте-ка объяснить, почему железная фигура кажется православным священникам благопристойнее, нежели холст, окрашенный в цвет женского платья.

И это еще не все: некоторые вероучители (их набирается целая секта) нарочно отмежевались от матери-церкви из-за того, что в ней ныне засели безбожные новозаконники, разрешающие попам давать святое благословение тремя перстами, тогда как истинный обряд требует, чтобы в излиянии на верующих 929
небесной благодати участвовали только указательный и средний пальцы пастыря, которые освящаются при его рукоположении.

Вот какие вопросы волнуют сегодня греко-русскую церковь, и не думайте, будто их считают пустяками; от них распаляются страсти, возникают ереси и зависит участь целых народов как на том, так и на этом свете. Если бы я лучше знал эту страну, то набрал бы для вас и много других документов. Но вернемся к моим гостеприимным хозяевам.

В провинции русская знать, на мой взгляд, любезнее, чем при дворе.

У жены ярославского губернатора как раз гостила вся родня — сестры с мужь- 929
ями и детьми; к своему столу губернаторша пригласила главных чиновников, служащих под началом ее мужа и живущих в городе; наконец, сын ее (тот, что приезжал за мною в экипаже) еще в том возрасте, когда ему требуется воспитатель; итак, на семейный обед нас собралось за столом двадцать человек.

На Севере принято перед основною трапезой подавать какое-нибудь легкое кушанье — прямо в гостиной, за четверть часа до того как садиться за стол; это предварительное угощение — своего рода завтрак, переходящий в обед, — слу- 929
жит для возбуждения аппетита и называется по-русски, если только я не ослышался, «закуска». Слуги подают на подносах тарелочки со свежею икрой, какую едят только в этой стране, с копченою рыбой, сыром, соленым мясом, сухариками и различным печением, сладким и несладким; подают также горькие настойки, вермут, французскую водку, лондонский портер, венгерское вино и данцигский бальзам; все это едят и пьют стоя, прохаживаясь по комнате. Иностранец, не знающий местных обычаев и обладающий не слишком сильным аппетитом, вполне может всем этим насытиться, после чего будет сидеть простым зрителем весь обед, который окажется для него совершенно излишним. В России едят много, и в хороших домах угощают вкусно; правда, здесь слишком любят рубленое мясо, фарш, а также пирожки с мясом и рыбой по-немецки, по-итальянски или же на французский манер — горячие.

Стерлядь, одну из самых нежных на свете рыб, ловят в Волге, где она водится в изобилии; в ней есть нечто и от морской и от пресноводной рыбы, хотя она и не походит ни на одну из тех, что едал я в других краях; она крупная, с мягким легким мясом, кожа у нее восхитительна на вкус, а особенно лакомою считается остроносая, вся в хрящах голова; подают это чудо-юдо с изысканными, не слишком пряными приправами, под соусом, имеющим вкус одновременно вина, бульона

и лимонного сока. Это национальное блюдо нравится мне более всех прочих местных кушаний; особенно отвратителен холодный кислый суп; это какой-то ледяной рыбный бульон — русские любят им потчевать. Готовят здесь и супы со сладким уксусом, которых я отведал, чтобы больше к ним не прикасаться.

Обед у губернатора был вкусен и хорошо сервирован, без излишеств, без ненужных изысков. К моему удивлению, подавались в изобилии вкусные арбузы; оказывается, их выращивают в окрестностях Москвы, а я-то думал, что их привозят издалека, чуть ли не из Крыма, где арбуз растет лучше, чем в средней России. В этой стране принято с самого начала обеда выставлять на стол десерт, а затем подавать блюдо за блюдом. У такой методы есть и свои достоинства и свои недостатки; по-моему, она вполне хороша лишь для парадных обедов.

Обедают в России не слишком долго, и, встав из-за стола, почти все гости расходятся. Одни имеют обыкновение после обеда отдыхать на восточный лад; другие идут гулять или, выпив кофе, возвращаются к делам. Обедом здесь трудовой день не завершается; поэтому, когда я прощался с хозяйкою дома, она любезно пригласила меня вечером зайти вновь; я согласился — отказываться было бы явно неучтиво; все приглашения здесь делаются столь изящным тоном, что даже при всей усталости и желании уединиться, чтоб написать вам письмо, я не в силах отстаивать свою свободу; подобное гостеприимство — род мягкой тирании, и я чувствую, что было бы невежливо совсем его не принимать; мне предоставляют экипаж с четверкою лошадей, в моем распоряжении целый дом, все семейство старается меня развлечь, показать здешние места; всяк спешит меня чем-нибудь попотчевать; и все это происходит без натужной лести, без пустых уверений, без назойливого усердия, с совершенною простотой; противиться столь приятному обхождению, пренебрегать столь изящными манерами я не приучен; невозможно не уступить хотя бы из патриотического чувства, ведь в основе этой обходительности — трогательная и подкупающая память о старой Франции; я словно заехал на самый край цивилизованного света лишь затем, чтоб обрести здесь часть наследства, завещанного нам Францией XVIII века, — тот дух ее, который мы сами давно утратили. Это невыразимое очарование хороших манер и безыскусного языка приводит мне на память парадокс, принадлежащий одному из умнейших людей, которых я знал. «Нет такого дурного поступка или дурного чувства, — говорил он, — которые не коренились бы в недостатке благовоспитанности; а потому подлинная учтивость — это и есть добродетель, в ней все добродетели сходятся воедино». Более того, он утверждал, что нет на свете и иного порока, кроме неотесанности.

Вечером, в девять часов, я вновь приехал к губернатору. Сначала мы слушали музыку, потом была устроена лотерея.

929 Один из братьев хозяйки дома с большою приятностью играет на виолончели; на фортепьяно ему аккомпанировала жена, чрезвычайно милая особа. Благодаря этому дуэту, а также отличавшемуся хорошим вкусом пению народных песен вечер пролетел для меня быстро.

Скоротать его мне немало помогла и беседа с г-жой де ***, дружившей некогда с моею бабушкой и с г-жой де Полиньяк. Эта дама уже сорок семь лет живет

в России; она много здесь повидала и судит о русских тонко и справедливо, рассказывая правду без предвзятости, но и без обиняков; для меня такая прямота оказалась внове; она резко отлична от скрытности, соблюдаемой большинством русских. Умная француженка, прожившая среди них всю жизнь, надо думать, знает их лучше, чем они знают себя сами, — ибо они для пущего обмана сами себя морочат. Г-жа де *** несколько раз говорила, что в стране этой чувство чести живет в одних лишь женских сердцах; женщины здесь свято блюдут верность слову, презирают ложь, хранят щепетильность в денежных делах и независимость в делах политики; наконец, большинству из них, по словам г-жи де ***, присуще качество, какого недостает здесь большинству мужчин, — порядочность во всех жизненных положениях, даже в самых маловажных. Вообще женщины в России мыслят больше мужчин, поскольку живут в бездействии. Всюду в этой стране развитию характера и ума способствует досуг — неотъемлемое преимущество женского образа жизни; женщины более образованны, менее раболепны, более энергичны и отзывчивы, чем мужчины. Подчас даже и героизм дается им непринужденно и легко. Княгиня Трубецкая — не единственная жена, поехавшая вслед за мужем в Сибирь; многие ссыльные получили от супруг своих это высшее доказательство преданности, которое ничуть не теряет в цене оттого, что встречается чаще, чем я полагал; к сожалению, имена их мне неизвестны. Где сыскать для них летописца и поэта? Именно ради таких никем не знаемых добродетелей 929
следует верить в Страшный суд. От прославления праведников еще на земле терпела бы ущерб Божья справедливость. Добродетель на то и добродетель, что воздание ей — не от людей. Знай она, что ее непременно оценят и вознаградят на земле, она потеряла бы в совершенстве: не достигая сверхъестественных высот, добродетель была бы неполна. Не будь зла, откуда бы взялись святые? Для победы нужна борьба, а победителя принужден увенчать сам Бог. Великолепное сие зрелище оправдывает собою божественный промысел, который, дабы явить его зорким очам небес, попускает мирским заблуждениям. Да впрочем... так должно быть хотя бы уже потому, что так есть.

К концу вечера, прежде чем мне позволили удалиться, состоялось торжество, к которому полгода готовилось все семейство и которое в мою честь было устроено на несколько дней раньше задуманного, — розыгрыш благотворительной лотереи; все выигрыши, состоявшие из вещей, собственноручно изготовленных хозяйкою дома и ее родными и друзьями, были красиво разложены на столах; тот, что выпал мне, — не могу сказать «по воле случая», так как билеты мои были тщательно подобраны, — представлял собою прелестную записную книжку в лаковой обложке. Я тут же записал в ней число и год и прибавил в качестве заметок несколько памятных слов. Во времена отцов наших в подобном случае следовало бы сочинить импровизированные стихи; но ныне, когда все вокруг заполонила импровизация публичная, мода на салонные экспромты миновала. В свете теперь ищут лишь отдохновения для ума; результаты налицо. Ученые речи, сиюминутные писания, политика не оставили места ни для эпиграмм, ни для песен, ни даже для личных писем, которые теперь принимают форму газет, фельетона. Мне недостало выдумки, чтоб написать

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

хоть один куплет; но справедливости ради должен прибавить, что мне этого и не хотелось.

Простившись с моими любезными хозяевами, которых я еще раз должен повидать на Нижегородской ярмарке, возвратился я в трактир, весьма довольный своим вышеописанным днем. Крестьянская изба, где нашел я пристанище (вам известно, какое) позавчера, — и сегодняшний салон; Камчатка и Версаль в трех часах езды друг от друга — такова Россия. Я жертвую сном, чтоб описать вам эту страну, какою ее вижу. Письмо еще не кончено, а уже светает.

Различия между людьми в этой стране столь резки, что кажется, будто крестьянин и помещик не выросли на одной и той же земле. У крепостного свое отечество, у барина — свое. Государство здесь внутренне расколото, и единство его лишь внешнее; знать по образованности своей словно предназначена жить в иных краях; а крестьянин невежествен и дик, будто покорствует таким же господам, как он сам.

Изъян русского образа правления видится мне не в чрезмерном аристократизме, а скорее в отсутствии признанной аристократии, права которой точно определялись бы конституциею. Мне всегда представлялось, что политически узаконенная аристократия — благотворна, тогда как аристократия, зиждущаяся на одних лишь химерах да несправедливых привилегиях, — вредоносна, поскольку права ее неопределенны и дурно упорядочены. Действительно, русские помещики — полновластные, даже слишком полновластные господа у себя в имениях; отсюда проистекают произвол и насилие, боязливо и лицемерно прикрываемые человеколюбивыми фразами, чей слащавый тон обманывает путешественников, а нередко и самих правителей страны. Но, по правде сказать, хотя эти люди и всевластны в своих поместьях, далеких от средоточия политических дел, в государстве они никто; у себя дома они творят всяческие бесчинства и ни в грош не ставят императора, подкупая или же запугивая исполняющих его волю второстепенных чиновников; однако же страною правят вовсе не они; всемогущие в мелких злодействах, творимых тайно от верховной власти, они бессильны и безвластны в общем руководстве государством. В России даже носитель самой громкой фамилии не представляет собою ничего, кроме себя самого, не пользуется никаким почетом помимо своих личных заслуг, о которых судит исключительно император, и, каким бы знатным вельможей он ни был, власть он имеет лишь ту, что сам себе беззаконно присвоит в своих поместьях. Зато он обладает влиянием, и оно может стать огромным, если он умеет им ловко пользоваться, продвигаясь в чинах при дворе и благодаря двору;[1] угодничество — промысел не хуже других. Но любой промысел, а этот в особенности, доставляет лишь шаткое благополучие; в жизни царедворца нет места высоким чувствам, духовной независимости, истинно человеколюбивым и патриотическим воззрениям и великим политическим замыслам — они всецело принадлежат такому аристократическому классу, который законно утвержден в рамках государства, призванного простирать вширь

930

[1] Смотри письмо девятнадцатое.

свое господство и обеспечивать себе долгую жизнь. С другой стороны, нет места в ней и справедливой гордости человека, составившего себе богатство собственным трудом; итак, в ней соединяются недостатки демократии и деспотизма и отсутствует все, что есть доброго в этих двух общественных устройствах.

Здесь имеется особый класс людей, соответствующий нашей буржуазии, но **не имеющий ее твердого характера—следствия независимости, и ее опытности —** следствия свободы мысли и образованности ума; это класс низших чиновников, как бы второе дворянство. По взглядам своим эти люди большею частью сторонники нововведений, тогда как по поступкам они самые жестокие деспоты в этом деспотическом государстве; выходцы из народных училищ, вступившие в статскую службу, они правят империей вопреки императору. Каждый из этих людей — чаще всего сын иностранца — получает дворянство вместе с крестом в петлицу, причем награды может присваивать не только император; обретя сей магический знак, они делаются землевладельцами, получают в собственность имения и крестьян; и новоиспеченные эти помещики, добившись власти, но не унаследовав от отцов привычку распоряжаться, а с нею и хозяйское великодушие, — употребляют власть как истые выскочки. Они притязают просвещать народ, а сами тем временем лишь смешат старых и малых; их чудачества стали притчей во языцех; все, кто имеет дело с этими полудворянами, которых должность и положение возвели в чин, доставляющий земельную собственность, платят им за спесивое обращение злыми остротами. Свои феодальные права люди эти осуществляют с такою суровостью, что вызывают к себе ненависть злосчастных крестьян. Диковинное дело! В здешнем обществе деспотическое правление оказывается нестерпимо благодаря либеральному, подвижному началу, внесенному в его устройство! «Будь у нас одни старые помещики, нам бы не на что было жаловаться», — говорят крестьяне. Эти новые люди, столь ненавистные своим немногочисленным крепостным, властвуют и над самою верховною властью, ибо во множестве случаев они навязывают императору свою волю; именно они подготавливают в России революцию сразу **двумя путями — прямым, через свои воззрения, и косвенным, через ту ненависть** и презрение, что возбуждают они в народе к аристократии (ведь до нее могут возвыситься подобные люди!) и к крепостному праву, окончательно утвердившемуся в России в то самое время, когда в старой Европе феодальный строй уже начал разрушаться. Что за сочетание двух зол — здесь командуют подчиненные, здесь под самодержавною тиранией кроется тирания республиканская!..

Таких-то врагов добровольно сотворили себе российские императоры, не доверяя старинной знати; а ведь аристократия признанная, исстари укорененная в стране, чьи нравы и обычаи смягчились благодаря общественному прогрессу, — разве не была бы она лучшим орудием просвещения, чем лицемерно-послушная и все разлагающая армия приказчиков, в большинстве своем иностранцев по происхождению, в глубине души сплошь более или менее проникнутых революционными идеями и в тайных своих мыслях столь же дерзких, сколь подобострастны они в словах и повадках?

Из своих канцелярий эти незаметные тираны, эти деспотичные пигмеи безнаказанно угнетают страну, даже императора, стесняя его в действиях; тот хоть

и понимает, что не столь всемогущ, как о нем говорят, но, к удивлению своему (которое желал бы сам от себя скрыть), порой не вполне знает, насколько ограничена его власть. Болезненно ощущая этот предел, он даже не осмеливается сетовать, а ставит ему этот предел бюрократия, страшная всюду, ибо злоупотребление ею именуют любовью к порядку, но в России более страшная, чем где-либо. Видя, как тирания чиновников подменяет собою деспотизм императора, содрогаешься от страха за эту страну, где, ничем не уравновешенная, утвердилась та система правления, что распространилась в Европе при Французской империи.

В России отсутствовали и демократические нравы — плод социальных и юридических перемен, свершившихся во Франции, — и пресса, плод и вместе зачаток политической свободы, которую она поддерживает, сама же ею порожденная. Российские императоры, равно заблуждаясь и в доверии своем и в недоверчивости, видели в знати лишь соперников себе, а в тех, кого ставили своими министрами, желали иметь лишь рабов; итак, в двояком своем ослеплении, они безбоязненно предоставили высшим чиновникам и их подчиненным полную свободу опутывать сетями беззащитную страну. Отсюда возник рой мелких служак, которые норовят править страною согласно чуждым ей понятиям, не способным удовлетворить ее действительные нужды. Этот чиновничий класс, в глубине души враждебный тому строю, которому он служит, пополняется по большей части поповичами,[1] пошлыми честолюбцами, бездарными выскочками — ведь, чтоб заставить государство заняться собою, им не требуется заслуг; они сближаются с людьми всякого звания, но своего звания не имеют; в душе разделяют все предрассудки простонародья и все предубеждения знати, не обладая ни энергией первых, ни мудростью вторых; словом, сыновья священников в России — это революционеры, по должности своей обязанные поддерживать существующий строй.

Как вам понятно, такие чиновники становятся бедствием для страны.

Полуобразованные, соединяющие либерализм честолюбцев с деспотичностью рабов, напичканные дурно согласованными между собою философскими идеями, совершенно неприменимыми в стране, которую называют они своим отечеством (все свои чувства и свою полупросвещенность они взяли на стороне), — люди эти подталкивают Россию к цели, которой они, быть может, и сами не ведают, которая неизвестна императору и к которой вовсе не должны стремиться истинные русские, истинные друзья человечества.

Говорят, что их многолетний заговор восходит ко временам Наполеона. Этот политик предчувствовал, сколь опасным может быть могущество России; и вот, желая ослабить противника мятежной Европы, он сперва прибегнул к силе идей. Воспользовавшись дружескими отношениями с императором Александром и природного расположенностью сего государя к либеральным установлениям, он заслал в Петербург, якобы для помощи в осуществлении замыслов императора,
934 множество политических агентов — целую переодетую армию, призванную тайно

[1] Сыновьями православных священников.

проложить путь нашим солдатам. Эти ловкие проныры должны были проникнуть в правительство и, прежде всего овладев народным образованием, внушать молодежи учения, противные политическим верованиям страны. Так великий наш полководец, наследник Французской революции и враг свободы на всем свете, издалека забрасывал сюда семена смуты, видя в единстве деспотического строя грозную опору военного правления, образующего мощь Российской державы. С тех пор и начали создаваться тайные общества, которые после походов во Францию и участившихся сношений русских с Европою настолько широко охватили Россию, что их незримую власть многие рассматривают как причину неотвратимой революции. 930

Ныне Российская империя пожинает плоды неторопливой и глубоко продуманной политики своего противника — казалось бы, он повержен, но его макиавеллическая хитрость не исчезла и по его смерти, пережив неслыханные в истории войн поражения.

Революционные идеи, вызревающие во многих семействах и даже в полках русской армии, в немалой мере объясняются именно невидимым влиянием этих разведчиков нашей армии, а также их детей и учеников; прорываясь наружу, такие идеи порождали мятежи, которые до сих пор, как мы видели, разбивались, сталкиваясь с силою правительства. Быть может, я и ошибаюсь, но мне думается, что нынешний император сумеет одолеть эти идеи, покарав или же выслав всех до последнего людей, которые их отстаивали.

Отнюдь не ожидал я встретить в России такие последствия нашей политики и услыхать от русских упреки, сходные с теми, что вот уже тридцать пять лет обращают к нам испанцы. Если те лукавые умыслы, что приписывают русские Наполеону, действительно существовали, то их нельзя оправдать никаким политическим интересом, никаким патриотизмом. Нельзя спасать одну страну, обманывая другую. Насколько восхищает меня наша религиозная пропаганда — ибо господство католической церкви согласуется с любою формой правления и любою степенью просвещенности, возвышаясь над ними так же недостижимо, как душа над телом, — настолько же ненавистно мне миссионерство политическое, то есть узколобое завоевательство, а точнее сказать, дух захватов, ловко извиняемый софистикою славы; узкокорыстное притязание это, вместо того чтоб объединить род людской, разделяет его; единство может родиться лишь от возвышенности и широты идей; меж тем внешняя политика всегда мелочна, свободолюбие ее лицемерно или же тиранично; благодеяния ее всегда обманчивы — ведь всякий народ в себе самом должен черпать средства для потребного ему совершенствования. Знание истории других стран полезно теоретически, но вредно, когда оно ведет к принятию чужих политических учений; таким образом истинную веру подменяют суеверием.

Повторю вкратце: задача, которая не людьми, но событиями, чередою обстоятельств, самым порядком вещей ставится перед любым российским императором, — способствовать развитию просвещения в своем народе, дабы ускорить освобождение крепостных, причем добиваться этой цели смягчением нравов, любовью к человечеству, к свободе и законности, одним словом, ради смягчения

судеб людей исправлять их сердца — таково непременное условие, без которого ныне никто не может царствовать, даже в Москве; особенная же обязанность, лежащая на российских императорах, заключается в том, что к этой цели им должно идти, не поддаваясь, с одной стороны, молчаливой и хорошо налаженной тирании революционного чиновничества, а с другой — высокомерию и злоумышлениям знати, которая тем недоверчивей и опасней, чем неопределеннее границы ее власти.

Следует признать, что ни один самодержец еще не справлялся с такою тяжкою задачей столь твердо, вдохновенно и счастливо, как император Николай.

Первым из российских правителей нового времени он наконец понял: чтобы принести благо русским, нужно самому быть русским. История, вероятно, скажет о нем: то был великий государь.

Спать уже некогда, лошади мои запряжены в коляску, и я выезжаю в Нижний.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ

Вид волжских берегов. — Как русские ездят на повозках по крутым дорогам. — Сильная тряска. — Почтовая станция. — Русский переносной замок. — Кострома. — Память обАлексее Романове. — Паром через Волгу в Кинегиме. —Добродетель, переходящая в порок. — Вынужденная остановка в лесу. — Цивилизация повредила русским. — Подтверждение идей Руссо. — Отличительные черты характера и облика русских. — Происхождение слова «сиромед». — Выражение Тацита. — Тонкая натура крестьян. — Их промыслы. — Мужицкий топор. — Тарантас. — Простодушие русского крестьянина. — Его отличие во взглядах от крестьян других стран. — Характер народных песен. — Музыка-обличительница. — Неосмотрительность правительства. — Чем заменить сломанное колесо. — Сибирский тракт. — Русские крестьяне. — Берега Волги. — Встреча с тремя ссыльными. — Шпионство моего фельдъегеря. — Последние станции перед Нижним. — Трудная дорога.

Юрьевец-Повольский, городок 931
между Ярославлем и Нижним Новгородом,
21 августа 1839 года 931

Дорога наша идет вдоль Волги. Вчера я пересек реку в Ярославле, а сегодня — еще раз в Кинешме. Берега ее во многих местах несхожи друг с другом; с одной 931
стороны тянется необъятная равнина, подходящая вровень к воде; с другой — крутой обрыв. Этот природный вал имеет порой сто — сто пятьдесят футов высоты; сплошною стеной он возвышается над рекою, а с другой стороны переходит в поросшее кустарником плоскогорье, пологим склоном уходящее вдаль. Кое-где эту твердыню, ощетиненную ветвями ив и берез, пробивают притоки великой реки; прорываясь сквозь береговой откос, чтоб влиться в Волгу, они образуют в нем весьма глубокие теснины. Сам же береговой вал, как уже сказано, настолько широк, что напоминает настоящее горное плато, лесистую возвышенность, тогда как расселины, прорытые в нем водами притоков, — настоящие долины, примыкающие к главному руслу Волги. Когда едешь вдоль берега реки, эти пропасти невозможно объехать стороною: пришлось бы каждый раз делать крюк в целое лье, если не более; оттого оказалось легче проложить дорогу так, что она спускается с кручи до дна поперечных расселин; пересекши текущую там речку,

она вновь поднимается по противоположному склону, продолжающему собою вал, что воздвигнут природою вдоль главной русской реки.

Русские ямщики, или, точнее сказать, возчики, на равнине весьма искусные, становятся крайне опасны на крутизне. Дорога, которою мы едем вдоль Волги, подвергает испытанию и их осторожность, и мое хладнокровие. Лошадьми в этой стране правят так, что беспрерывные подъемы и спуски, будь они длиннее, грозили бы бедою. В начале склона возница пускает коней шагом; когда позади остается треть высоты (обычно это самое крутое место) и ямщику и мало привычным к узде коням надоедает осторожность, коляска разгоняется во весь опор и несется все быстрее до самой середины моста из толстых брусьев — непрочных, дурно пригнанных, неровных и шатких, поскольку они не закреплены, а просто уложены на опоры и накрыты жердями, которые еле-еле огораживают по бокам все это содрогающееся сооружение; а уж дальше повозка, если только кузов, колеса, рессоры и пасы в ней еще держатся вместе (до людей дела никому нет), катится, сотрясаясь, помедленнее. Подобный мост имеется на дне каждой расселины; если б кони, пущенные галопом, не проскочили его строго по прямой, то экипаж опрокинулся бы, и неизвестно, что сталось бы с животными и людьми; это настоящий цирковой номер, от исполнения которого зависит жизнь путников. Стоит лошади споткнуться, стоит где-то выпасть гвоздю или лопнуть постромке — и все пропало. Жизнь ваша держится на ногах четырех храбрых, но слабосильных и усталых коней.

При третьем повторении этой азартной игры я потребовал тормозить, но оказалось, что коляска моя, нанятая в Москве, не имеет тормозного башмака; при отъезде меня заверяли, что в России в нем никогда не бывает надобности. Взамен тормоза пришлось выпрячь одну из четырех лошадей и, пустив ее на волю, держать за постромки. К великому изумлению ямщиков, я заставлял их повторять эту операцию всякий раз, когда склоны по высоте и крутизне своей казались опасными для коляски; в непрочности же ее я уже довольно убедился. Как ямщики ни удивлялись, они ни разу не перечили странным моим прихотям и никак не противились приказам, которые я передавал им через фельдъегеря; но мысли их читались у них на лицах. Благодаря присутствию правительственного чиновника мне всюду оказывают почтение, в моем лице уважают волю того, кто дал мне такого заступника. Подобный знак благосклонности властей делает меня предметом народного почтения. Ни одному столь малоопытному, как я, иностранцу я бы не посоветовал пускаться в путь по российским дорогам без такого проводника, особенно если он хочет добраться до мало-мальски удаленных от столицы губерний.

Спустившись до дна расселины, нужно затем вновь вскарабкаться на кручу с противоположной стороны; возница, который любой косогор одолевает только с лету, поправляет упряжь и снова пускает свою четверку вперед во весь опор. Русские кони умеют скакать не иначе как галопом; и если подъем не затяжной, крутизна коротка, а повозка легка, то вы взъезжаете наверх единым порывом; но если, как часто случается, склон песчаный или же длиннее, чем лошади могут осилить не переводя духа, то они скоро встают, задыхаясь и поводя боками, на его середине; под ударами кнута они упрямятся, брыкаются и непременно пятятся

назад, грозя опрокинуть экипаж в канаву; зато при каждой такой задержке я насмешливо вспоминаю похвальбу русских: в России-де не существует расстояний!

Такая манера ехать рывками всегда отвечает характеру здешних людей, близка по нраву лошадям и почти всегда согласна с особенностями рельефа. И все же если вдруг случится вам ехать по сильно неровной местности, то вы на каждом шагу будете застревать из-за горячности коней и неопытности ямщиков. Последние ловки и расторопны, но смышленость не возмещает им недостатка знаний; рожденные для равнин, они не умеют толком приучить коней к езде по горам. При малейшей неуверенности все седоки слезают на землю, слуги толкают колеса экипажа, через каждые три шага приходится делать остановку, чтоб дать упряжке отдышаться; повозку при этом удерживают на месте, подкладывая сзади толстый чурбан; потом, чтоб двинуться дальше, коней нахлестывают вожжами, подгоняют возгласами, похлопывают по бокам, тянут за морду, натирают им ноздри уксусом, чтоб легче дышалось; наконец, с помощью всех этих средств, а также диких криков и ударов кнута, раздаваемых обычно на удивление точно, вы кое-как добираетесь до вершины грозного утеса, куда в другой стране поднялись бы, даже сами не заметив.

Дорога из Ярославля в Нижний — одна из самых овражистых дорог во всех внутренних губерниях России; однако даже в тех местах, где возвышенный берег Волги глубже всего прорезан ее притоками, эта природная стена от уровня воды до гребня вряд ли превышает пяти-шестиэтажный парижский дом. Береговая гряда, сквозь которую пробиваются к реке притоки, выглядит внушительно, но уныло: этот кряж мог бы служить основою для великолепной дороги, но раз огибать овраги невозможно, то она должна была бы либо преодолевать их по арочным мостам (которые обошлись бы так же дорого, как сводчатые акведуки), либо спускаться на дно каждой такой узкой расселины; а поскольку спуски не устроены пологими, то порой они небезопасны из-за крутизны уклона.

Русские расписывали мне радостный и разнообразный вид местности, который открывается, когда едешь вдоль берега Волги; на самом деле это все тот же самый ландшафт, что в окрестностях Ярославля, да и погода все та же.

Если и есть нечто непредвиденное в поездках по России, то, конечно же, не облик местности; чего ни вы, ни я не могли бы предположить заранее, так это одна опасность — сейчас скажу какая: разбить себе голову о кузов собственной коляски. Не смейтесь — это в самом деле грозная беда; мосты, а часто и сама дорога, вымощены здесь бревнами, от которых экипаж так трясет, что неопытный ездок может вылететь из него вон, если коляска открытая, или же размозжить себе череп, если в ней поднят кузов. В России, стало быть, лучше пользоваться такими экипажами, у которых верх поднимается как можно выше. Толчки столь сильны, что в сундуке под моим сиденьем только что разбилась бутыль сельтерской воды, хоть и была тщательно обложена сеном (да и сами эти бутыли, как вам известно, прочные).

Вчера я ночевал на почтовой станции, где испытывал недостаток решительно во всем; коляска такая жесткая, а дороги такие тряские, что почти невозможно проехать более двадцати четырех часов кряду, не заработав сильной головной

боли; и тогда, предпочитая скверное пристанище воспалению мозга, я делаю остановку где придется. Труднее всего на этих стоянках, да и вообще в России, раздобыть чистое белье. Как вам известно, я вожу с собою кровать, но много белья захватить не смог, а полотенца, которые дают на почтовых станциях, всегда несвежие; не знаю, кто имел честь их запачкать. Вчера в одиннадцатом часу вечера станционный смотритель послал для меня за чистым бельем в село, расположенное более чем за лье от его дома. Я бы воспротивился такому чрезмерному рвению фельдъегеря, да сам узнал о нем лишь наутро. В окошко своей конуры, сквозь сумерки, которые называются в России ночью, я мог в свое удовольствие созерцать непременный римский портик с беленым известкою фронтоном и лепными колоннами, что украшают со стороны конюшни фасады русских почтовых станций. Неуклюжая эта архитектура — неотвязный кошмар, преследующий меня по всей империи. Классическая колонна сделалась в России знаком любого казенного здания.

Непременная предосторожность при поездках в России — иметь при себе одну вещь (вам ни за что не догадаться какую): русский замок о двух кольцах, устройство простое и одновременно хитрое. Вы приезжаете в трактир, полный людей разного пошиба; вам уже известно, что русские крестьяне воруют — если не на большой дороге, так дома; свою поклажу вы оставляете у себя в комнате, а сами намереваетесь прогуляться. Однако ж перед уходом желаете вы, и не без причины, запереть дверь и забрать с собою ключ — но ключа нет! нет даже и замка! разве что щеколда, гвоздь с веревочкой, то есть все равно что ничего; какой-то пещерный золотой век... Один из ваших людей стережет коляску; и вот, дабы не ставить второго охранять комнату — что и не очень надежно (ибо, усевшись, караульный засыпает), и не очень человечно, — вы можете воспользоваться следующим средством: в дверной наличник ввинчивается железное кольцо, второе такое же кольцо — в дверь, как можно ближе к первому; а затем в эти два кольца, служащие скобами, продевается дужка навесного замка, который также снабжен винтом; винт, которым замок открывается и закрывается, служит ему ключом; вы берете его с собою, и дверь ваша надежно заперта; ибо кольца, ввинченные в дверь, можно вывинтить обратно лишь поодиночке, а это невозможно, пока они скованы вместе замком. Запор действует довольно быстро и весьма удобно; ночуя в подозрительном доме, можно мгновенно обезопасить себя с помощью этого хитроумного изобретения — достойного страны, которая кишмя кишит крайне пронырливыми и наглыми ворами! Преступлений здесь совершается так много, что правосудие не решается быть строгим к преступникам, да и вообще все здесь делается не по правилу, а по прихоти! Такой капризный государственный строй, к сожалению, весьма согласен со своенравными представлениями народа, равнодушного и к истине, и к справедливости.

Вчера утром я посетил монастырь в Костроме, где мне показали покои Алексея Романова и его матери; из этого пристанища отправился он, чтобы воссесть 931
на престол и основать правящую поныне династию. Монастырь походил на все прочие; по зданию меня водил молодой монах, который явно не изнурял себя постами и издалека пахнул крепким вином; такие упитанные молодые иноки

нравятся мне менее, чем седобородые старцы монахи или же безволосые попы. Сокровища монастыря также походят на виденные мною в других местах. Знаете, что такое Россия, в двух словах? Россия — это страна, где повсюду видишь одно и то же, встречаешь одних и тех же людей. Это настолько верно, что по приезде куда-либо всегда чудится, будто перед тобою те же предметы и лица, с которыми расстался в другом месте.

В Кинешме вновь переправились мы через Волгу на ненадежном пароме — суденышко это так мало выступает из воды, что от любого пустяка может перевернуться. Печально было глядеть на этот городок под серым небом; погода стояла сырая и холодная, лил дождь, из-за чего все жители сидели по домам; дул резкий ветер; если б волнение на реке усилилось, переправляться стало бы совсем опасно. Мне вспомнилось, как в Петербурге, если человек упадет в Неву, никто 931
и не думает его вытаскивать; и я говорил себе: «Коли я стану тонуть в Волге у Кинешмы, ни один человек не бросится в воду ко мне на помощь... ни один возглас сочувствия не раздастся на этих берегах, которые густо заселены, но кажутся безлюдными — столько уныния и молчаливости в этих городах и небесах, в этой земле и в ее обитателях». У русских такой тоскливый вид, что кажется, будто они безразличны не только к чужой жизни, но и к своей собственной.

Одно лишь чувство собственного достоинства, одна лишь свобода заставляет человека дорожить собою, своим отечеством, вообще чем бы то ни было; здесь же люди живут в такой нужде, что, мнится, всякий втайне питает желание куда-нибудь переселиться — и не может этого сделать. У знати нет паспортов, у крестьян — денег, и человек живет как есть, с терпеливостью отчаяния, равнодушный и к жизни своей, и к смерти. Смирение, которое во всех прочих краях является добродетелью, в России становится пороком, ибо поддерживает порядок вещей жестокий и косный.

Я говорю не о политической вольности, но о личной независимости, о незатрудненности передвижения, да хоть бы даже о беспрепятственном излиянии своих естественных чувств; все это недоступно в России никому, исключая верховного властелина. Рабы даже бранятся друг с другом вполголоса; право гневаться составляет здесь одну из привилегий власти. Чем больше я убеждаюсь, что люди при таком строе хранят наружное спокойствие, тем больше мне их жаль; безгласность или кнут — таков здесь человеческий удел! Для знати же вместо кнута — Сибирь!! Да и сама Сибирь — та же Россия, только еще страшнее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

В лесу, вечером того же дня

Вот мы и застряли на песчаной, мощенной бревнами дороге; песок так глубок, что даже самые толстые бревна в нем тонут. Мы завязли посреди леса, в нескольких лье от всякого жилья. В коляске, хоть она и русская, случилась поломка, не выпускающая нас из этой глуши, и вот камердинер мой, с помощью

какого-то посланного нам Богом крестьянина, исправляет повреждение — я же, подавленный тем, как мало от меня пользы в таких обстоятельствах, чувствуя, что буду лишь мешать работе, если вздумаю ей помочь, начинаю писать вам письмо, дабы доказать, как бесполезна образованность, когда человек, лишившись всех благ цивилизации, принужден один на один, располагая лишь собственными силами, бороться с дикою природой, которая по-прежнему сильна первозданною силой, полученною от творца. Вы это знаете лучше моего, но вы этого не чувствуете так, как чувствую ныне я.

Русские крестьянки редко бывают привлекательны — я это твержу каждый день; но у тех, что красивы, красота безупречная. Их миндалевидные, необыкновенно выразительные глаза имеют разрез чистый и четкий, а замутненною голубизной зрачков нередко напоминают описание сарматов у Тацита, который говорит, что глаза у них *цвета морской воды;* этот оттенок, заволакивая взор, придает ему неотразимо чарующую нежность и невинность. В них есть вместе и тонкость воздушных красавиц Севера, и сладострастие женщин Востока. Добросердечным своим видом эти чудные создания вызывают странное смешанное чувство почтения и доверия. Заехав в глубину России, понимаешь, сколь много достоинств у первобытного человека и сколь много он потерял из-за утонченностей общественной жизни. Я уже говорил, повторяю вновь и готов повторять впредь в споре с любым философом: в патриархальной этой стране человека портит цивилизация. Славянин от природы смышлен, музыкален, едва ли не сострадателен к людям; просвещение сделало русского двуличным, деспотичным, подражательным и тщеславным. Чтоб привести здесь национальные нравы в согласие с новейшими европейскими идеями, потребуется века полтора, да и то при условии, что все это долгое время русскими будут править одни лишь просвещенные государи — как теперь говорят, поборники прогресса. В ожидании же сих блаженных перемен резкая несходность классов делает общественную жизнь в России жестокою и безнравственною; кажется, будто именно эта страна навеяла Руссо первый очерк его системы, — ибо нет даже нужды в чудном его красноречии, чтобы доказать, что искусства и науки принесли русским больше зла, чем добра. Будущее покажет свету, сумеет ли этот народ возместить себе воинскою и политическою славой то счастье, которого лишают его общественное устройство и непрестанное подражание чужеземцам.

Чистокровных представителей славянской расы отличает природное изящество. В характере их пленительно смешаны простодушие, мягкость и чувствительность; порой прибавляется к тому еще и изрядная доля иронии и толика притворства, но в здоровых натурах подобные изъяны делаются обаятельны — от них остается лишь неподражаемо хитроватое выражение лица; чувствуешь себя во власти неведомых чар — нежной, без горечи, печали и кроткого страдания, почти всегда порожденного тайным недугом, который человек, чтоб надежней спрятать от чужих глаз, скрывает от себя самого. Короче говоря, русские — народ смиренный... простым этим словом сказано все. Человек, лишенный свободы — здесь она означает его природные права, его истинные потребности, — даже будь у него все прочие блага, похож на растение, которому не хватает воздуха;

сколько ни поливай водою его корни, на стебле все равно появятся разве несколько чахлых листков без цветов.

У настоящих русских есть нечто особенное в умонастроении, в выражении лица и в манерах. Походка у них легкая, и все движения выказывают незаурядность натуры. Глаза у них глубоко посаженные, прорисованные в форме удлиненного овала; во взгляде почти у всех есть отличительная черта, придающая лицу выражение лукавой чувствительности. Греки на своем поэтическом языке называли обитателей здешних краев «сиромедами», что значит «ящероглазые»; 932
отсюда произошло латинское слово «сарматы». Итак, эта отличительная черта во взгляде поражала всех внимательных наблюдателей. Лоб у русских не очень высок и не очень широк; но форма его чиста и изящна; в характере у них есть одновременно и осторожность и наивность, и плутовство, и ласковость; и все эти противоположности пленительно соединяются; затаенная чувствительность русских скорее доверительна, чем общительна, она открывается лишь при душевной близости; ибо любовь к себе они внушают непроизвольно, несознательно, без слов. В отличие от большинства северян, они не грубы и не вялы. Поэтичные, как сама природа, они наделены воображением, которое сказывается во всех их привязанностях; любовь для них сродни суеверию и переживается скорее тонко, чем ярко; всегда утонченные даже в страстях своих, они, можно сказать, умны чувством. Все эти неуловимые оттенки и выражаются в их взгляде, столь верно определенном греками.

Действительно, древние греки обладали редкостным даром схватывать достоинства людей и вещей и давать им живописные имена; благодаря этому язык их неслыханно богат, а поэзия — божественно прекрасна.

С моим очерком характера русских крестьян хорошо согласуется их пристрастие к чаю, выказывающее тонкость натуры. Чай — напиток изысканный. В России же это питье сделалось первою необходимостью. Желая вежливо попросить немного денег, простолюдин здесь говорит «на чай», подобно тому как в других странах говорят «на стаканчик вина».

Такой инстинктивный хороший вкус не зависит от образования; он не исключает ни варварства, ни жестокости, но исключает даже намек на пошлость.

То, что вижу я сейчас перед собою, подтверждает истинность не раз мною слышанного суждения о чрезвычайной ловкости и смышлености русских.

Русский крестьянин правилом себе полагает не считаться ни с какими препонами — только не в желаниях своих, бедный слепец! — но в выполнении господской воли. Вооружившись топором, который всюду носит с собой, он превращается в настоящего волшебника и сотворяет в мгновение ока любую вещь, какой не найти в глуши. Он сумеет доставить вам среди пустыни все блага цивилизации; он исправит вашу коляску; он найдет замену даже сломанному колесу, вместо него ловко пропустив под кузовом жердь, так чтобы один конец был привязан к поперечине, а другой волочился по земле; если же, несмотря на эти ухищрения, телега ваша не сможет ехать, то он мгновенно построит вам вместо нее другую, с чрезвычайною ловкостью употребляя обломки старой для сооружения новой. В Москве мне советовали ездить в тарантасе, и лучше бы мне последовать этому

совету, ибо в таком экипаже никогда нет опасности застрять в пути!.. Любой русский крестьянин способен его исправить и даже соорудить заново.

Если вы решили заночевать в лесу, этот мастер на все руки возведет вам дом для ночлега; и наскоро сметанная хижина будет лучше любого городского трактира. Поместивши вас со всевозможным удобством, сам он закутается в вывернутую овчину и ляжет спать на пороге вашего нового жилища, охраняя вход в него, подобно верному псу; или же, устроив для вас кров, усядется напротив под деревом и, глядя в небо, будет развеивать вашу тоску пением народных песен, которые печалью своею вторят самым сладостным порывам вашего сердца, ибо еще одним достоянием этой одаренной, но обездоленной расы является также и врожденный музыкальный талант... и никогда не придет ему в голову, что по всей справедливости он и сам бы мог занять место рядом с вами в той хижине, которую только что для вас соорудил.

Долго ли еще эти избранные люди будут оставаться скрыты в глуши, где держит их провидение... и ради какой цели? Это ведомо лишь ему одному!.. Когда пробьет для них час освобождения и, более того, господства? Сие — божья тайна.

Меня восхищает простота их понятий и чувств. Бог — властелин небес, царь — властелин земли; вот и вся теория; а вся практика — барские приказы, а то и прихоти, подкрепляемые покорством раба. Русский крестьянин считает себя телом и душою принадлежащим своему помещику.

Соответственно таким социальным верованиям, живет он безрадостно, но и не без гордости; а человеку достаточно гордиться, чтобы жить на свете; гордость — нравственное начало ума. Формы она принимает самые разные, вплоть до униженности, до религиозного самоумаления, открытого христианами.

Русский не понимает, как можно перечить барину, представителю двух неизмеримо могущественнейших господ — Бога и императора, — и весь свой ум, всю доблесть свою прилагает к тому, чтоб справиться с теми мелкими житейскими трудностями, которыми с преувеличенным почтением отговариваются заурядные люди других народов: ибо те пользуются подобными препятствиями в отместку богатым, видя в них врагов и называя счастливцами мира сего.

Русские настолько лишены всех жизненных благ, что не могут быть завистливы; кто доподлинно достоин участия, сам уже не ропщет; завистниками становятся неудачливые честолюбцы, и Франция, где благополучие легкодоступно, где обогащаются очень быстро, служит их рассадником; меня неспособны разжалобить злобные стенания подобных людей, чья душа изнурена житейскими усладами; зато терпеливость здешнего народа внушает мне сочувствие — я чуть было не сказал: глубокое почтение. В политике самоуничижение русских низко и возмутительно; в делах же домашних их смирение благородно и трогательно. Что для нации порок, то для частного человека становится добродетелью.

Русские песни поражают всех иностранцев своею грустью; однако музыка их не просто печальна, но еще и искусно-замысловата; вдохновенно мелодичная, она в то же время содержит весьма изысканные гармонические сочетания, каких в иных краях добиваются лишь ученьем и расчетом. Нередко, проезжая через какую-нибудь деревню, я останавливаюсь послушать, как поют песню — на

три-четыре голоса и с такою точностью и музыкальным чутьем, каким я не устаю изумляться. Исполнители этих сельских квинтетов наитием постигают законы контрапункта, правила композиции, гармонию, эффекты различных голосов; пением же в унисон они пренебрегают. Одно за другим извлекают они изысканно-непривычные созвучья, перемежая их руладами и изящными украшениями. Однако же, несмотря на тонкость своих органов, они не всегда поют совершенно верно; это и неудивительно, когда за трудные пьесы берутся люди с усталыми хриплыми голосами; зато когда певцы молоды, то впечатление, которое они производят, умело исполняя такие сложные места, выходит, по-моему, гораздо сильнее, чем от народных песен любой другой страны.

Песни русских крестьян поются жалобно-гнусаво, что малоприятно при исполнении на один голос; при исполнении же хором эта жалобная песнь приобретает некую религиозную серьезность и производит поразительные гармонические эффекты. На театре мы бы назвали их, несмотря на их грубость, или же благодаря ей, замысловатыми созвучьями. Взаимоналожение разных партий, неожиданное следование аккордов, композиционный рисунок, введение новых голосов — все это трогательно и всегда незаурядно; только здесь я в народных песнях во множестве слыхал рулады. Такого рода украшения всегда дурно исполняются крестьянами и неприятны для слуха! — и все же в общем звучание этих сельских хоров своеобычно и даже красиво.

Я полагал, что русская музыка завезена в Московию из Византии, но здесь меня уверяют, что она, напротив, местного происхождения; возможно, этим и объясняется глубокая печаль таких мелодий, особенно тех, которые своею живостью и подвижностью изображают веселье. Не умея восстать против угнетения, русские зато умеют томиться и стенать.

На месте императора я бы не только запрещал подданным жаловаться, но не позволял бы им и петь, ибо пение их — скрытая жалоба; эти звуки, полные боли, составляют признание и могут стать обличением — действительно, при деспотическом правлении даже искусства, бытуя в народе, не могут считаться чем-то невинным; в них скрывается возмущение. 932

Отсюда, вероятно, и происходит склонность русского правительства и двора к иностранным книгам, авторам и художникам: ведь заемная поэзия мало укоренена в народе. В стране рабов опасаются глубоких переживаний, порождаемых **патриотическими чувствами; оттого все национальное, даже музыка, делается здесь** оружием оппозиции. Такова музыка в России, в самых удаленных и пустынных уголках которой голос человека обращает к небу свои песни мести и печали, прося себе у Бога хоть частицу того блаженства, в коем отказано ему на земле... Итак, обладая достаточным могуществом, чтоб угнетать людей, должно быть и достаточно последовательным, чтоб сказать им: «Не смейте петь».

Ничто так не обнаруживает каждодневных страданий народа, как печальность его забав. Русские же вообще забав не имеют, у них есть лишь утехи. Удивительно, **как еще никто до меня не остерег власти от той неосторожности, какую они совершают**, позволяя русским отводить душу в занятии, изобличающем их несчастье и по**казывающем всю степень их смирения; столь глубокое смирение — это бездна боли.**

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

22 августа 1839 года,
на последней станции перед Нижним

Г

Доехали мы сюда на трех колесах и с волочащимся по земле еловым шестом вместо четвертого. Не перестаю дивиться хитроумной простоте этого дорожного приема: жердь легко приделывается к передней оси, будучи вставлена в паз и привязана веревкою, и волочится так, проходя под заднею осевою подушкой и заменяя недостающее заднее колесо; с потерею одного из передних колес справиться было бы сложнее.

В значительной своей части дорога из Ярославля в Нижний представляет собою широкую парковую аллею; прочерченная почти всюду по прямой линии, дорога эта шире главной аллеи Елисейских полей в Париже, а по бокам ее идут две другие аллеи, покрытые естественным газоном и обсаженные березами. Езда здесь нетряская, ибо катишь почти все время по траве, кроме болотистых низин, которые мы переезжаем по зыбким настилам — своего рода плавучему паркету, непривычному и неудобному. Такая гать из неровных бревен опасна и для лошадей и для повозок. Раз на дороге так густо растет трава — значит, по ней мало ездят, то есть ее легче содержать в порядке. Вчера, перед поломкой, мы мчались во весь опор, и мне вздумалось похвалить красоту этой дороги своему фельдъегерю. «Известно, красиво, — отвечал мне этот тщедушный человечек с осиною талией, с прямою военною выправкой, с подвижными серыми глазами, с поджатыми губами, от природы белокожий, но обветренный, загорелый и красный от привычки к езде в открытых повозках, на вид и робкий и грозный, как подавленная страхом злоба. — Известно, красиво... Это же Сибирский тракт!»

От слов его я весь похолодел. Я-то, подумалось мне, еду этою дорогой для собственного удовольствия; а с какими мыслями и чувствами брели по ней прежде множество несчастных? И вновь стали мучить меня эти мысли и чувства, рожденные воображением. Чтобы развлечься, развеяться, я езжу по следам чужого отчаяния... Сибирь!.. Все время предо мною этот ад России... И от призраков его я весь цепенею, словно птица под взглядом василиска!.. Что за страна!.. Природа здесь ничто, ибо приходится забыть о природе на этой бескрайней бесцветной равнине, где нет ни переходов, ни линий, не считая неизменно ровной линии, очерченной свинцовым кругом небес на стальной поверхности земли!! По такой-то равнине, лишь кое-где всхолмленной, и еду я с тех самых пор, как отправился из Петербурга: вечные болота, иногда перемежаемые полями овса или ржи, которые растут вровень с камышом; иногда, ближе к Москве, квадратики огородов, с огурцами, дынями и разными другими овощами, не нарушающие собою однообразия местности; а вдали — чахлые сосновые леса или же хилые узловатые березы; наконец, вдоль дороги — серые деревни с приземистыми деревянными избами, через каждые двадцать, тридцать или пятьдесят лье — чуть более высокие, хоть и столь же приземистые, города, где люди затеряны среди просторных улиц, напоминающих воинский лагерь, выстроенный на один день

маневров; такова, повторюсь уже в сотый раз, Россия, как она есть. Прибавьте к этому разные прикрасы, позолоту и множество на словах льстивых, а в душе насмешливых людей, и вот вам Россия, как нам ее хотят показать; скажем прямо — здесь все время присутствуешь на пышных представлениях. Знаете, что такое русские воинские учения? Это настоящие походы, словно на войне, правда, без славы, зато с большими издержками, так как невозможно кормить войско за счет неприятеля.

Среди безликой этой местности протекают огромные, но бесцветные реки; разливаясь на сероватой равнине, среди песчаных пустошей, они исчезают из виду за холмами, высотою не превосходящими наших дамб и темнеющими топким лесом. Северные реки унылы, как небо, которое в них отражается; вдоль берегов Волги кое-где стоят села, слывущие зажиточными, но и эти штабеля серых досок под замшелыми крышами не оживляют вид местности. Над всеми ландшафтами как будто витают зима и смерть; от тусклого света и северного климата все предметы имеют какую-то могильную окраску; поездивши здесь несколько недель, с ужасом чувствуешь, будто ты заживо похоронен; хочется порвать свой саван и бежать прочь с бескрайнего кладбища, простирающегося сколько хватает глаз, из последних сил приподнять свинцовый покров, отделяющий тебя от живых людей. Не вздумайте ездить на Север ради удовольствия — разве что удовольствие вы находите в науке, ведь для науки здесь непочатый край.

Итак, ехал я, разочарованный, *Сибирским трактом,* как вдруг заметил издали группу военных, остановившихся на одной из боковых аллей у дороги.

— Что здесь делают эти солдаты? — спросил я курьера. 932

— Это казаки, — отвечал он, — они ведут ссыльных в Сибирь!!

Итак, то был не сон, не газетные небылицы; я видел пред собою подлинных горемык, настоящих изгнанников, которые тяжко брели пешком в края, где суждено им умереть забытыми всем светом, вдали от всего им дорогого, наедине с Богом, не на такую муку их сотворившим. Быть может, я уже встречал или еще встречу их матерей, их жен; то были не преступники — о нет, то были поляки, 932
беззаветные и злосчастные герои; слезы навернулись мне на глаза с приближением этих страдальцев, рядом с которыми я даже не решался остановиться, дабы не вызвать подозрений своего стража. Ах!., при виде таких бедствий чувство бессильного сострадания было мне унизительно, и растроганность в моем сердце заглушалась гневом! Хотелось оказаться вдали от этой страны, где ничтожный холоп, служащий мне посыльным, может забрать себе такую силу, чтобы присутствие его вынуждало меня таить самые естественные душевные порывы. Напрасно твердил я себе, что наши французские каторжники, пожалуй, достойны сострадания поболее сибирских поселенцев; ведь в столь дальней ссылке есть и нечто поэтическое, суровость законов окрашивается в ней всемогущим воображением, и бесчеловечное это сочетание дает потрясающий итог. Впрочем, наших каторжников судят серьезным судом; когда же проживешь несколько месяцев в России, то перестаешь верить в силу закона.

Ссыльных было шестеро, и узники эти, хоть и закованные в кандалы, были в моих глазах невинны, ибо при деспотизме нет иного преступника, кроме палача.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ

Шестерых узников вели двенадцать конных казаков. Кожух моей коляски был закрыт, и чем ближе мы подъезжали, тем внимательней наблюдал за моим лицом фельдъегерь: он в меня так и вперился. Поразительно, как силился он убедить меня, что встреченные нами люди были обычными злодеями и что среди них не было ни одного политического арестанта. Я хранил угрюмое молчание; с каким же знаменательным старанием, думалось мне, отвечает он на мою мысль — значит, он прочел ее у меня на лице или же угадал по своим собственным мыслям.

Ужасная проницательность подданных деспотической власти! Здесь все шпионят, пусть даже по-любительски и безвозмездно.

Последние перегоны на дороге в Нижний долги и трудны из-за все более глубокого песка,[1] в котором увязаешь чуть ли не с головой; а в песке под колесами и под копытами лошадей ворочаются огромные камни и деревянные колоды; похоже на песчаный пляж, усеянный обломками. Дорогу здесь обступают леса, а в них через каждые пол-лье стоят казачьи заставы для охраны купцов, едущих на ярмарку. Такое обустройство не столько ободряет, сколько поражает своею дикостью — как будто ты попал в средние века.

Колесо мое починено, его как раз устанавливают на место, так что надеюсь прибыть в Нижний еще до вечера. Последний перегон составляет восемь лье по вышеописанной неудобной дороге; еще раз о том напоминаю, ибо слов не хватает описывать эти вещи, которые отнимают у меня столько времени.

[1] Из Москвы в Нижний прокладывают мощеный тракт; скоро он будет завершен.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Местность, где расположен Нижний Новгород. — Замечание императора Николая. — Особенная любовь этого государя к Нижнему. — Нижегородский кремль. — Народы, съехавшиеся со всех концов света на здешнюю ярмарку. — Множество иностранцев. — Нижегородский губернатор. — Губернаторский павильон на ярмарке. — Мост через Оку. — Суда, перегородившие реку. — Общий вид ярмарки. — Трудность в подыскании жилья. — Я останавливаюсь на ночлег в кофейне. — Неведомые доселе насекомые. — Высокомерие фельдъегеря. — Местонахождение ярмарки. — Облик различных народностей. — Расположение ярмарки. — Подземный город. — Превосходная клоака: грандиозность этого сооружения. — Необычный облик женщин. — Окрестности ярмарки. — Чайный городок. — Ветошный городок. — Городок каретного леса. — Городок сибирского железа. — Происхождение Нижегородской ярмарки. — Персидский поселок. — Соленая рыба из Каспийского моря. — Кожи. — Меха. — Северные лаццарони. — Внутренность ярмарки. — Дурной выбор места. — Торговый кредит российских крепостных. — Народный способ счета. — Добросовестность крестьян. — Как помещики обманывают крепостных. — Борьба самодержавия и аристократии. — Цены товаров на Нижегородской ярмарке. — Бирюза, привозимая бухарцами. — Киргизские кони: их неразлучность. — Ярмарка после захода солнца. — Вереницы ломовых возчиков, едущих стоя на оси. — Серьезность русских. — Еще о русских песнях.

Нижний Новгород,
22 августа 1839 года, вечером 933

Место, где расположен Нижний, — красивейшее из всех виденных мною в России; здесь уже не просто низкие утесы, приземистым валом тянущиеся вдоль берега великой реки, не просто волнообразные складки местности посреди обширной равнины, именуемые холмами; здесь целая гора, настоящая гора, образующая мыс у слияния Волги и Оки — двух равно полноводных рек, ибо в устье своем Ока кажется столь же широкою, что и Волга, и название свое она утрачивает здесь лишь оттого, что течет не так издалека. Нижегородский верхний город, построенный на этой горе, возвышается над необъятною, словно море, равниной;

у подножия этого мыса открывается целый бескрайний мир, по соседству же с ним устраивается крупнейшая в мире ярмарка; ежегодно в течение шести недель у слияния Волги и Оки встречаются купцы обеих богатейших частей света. Место это поистине картинно; до сей поры в России я любовался подлинно живописными видами лишь на московских улицах да вдоль петербургских набережных, но те ландшафты были созданы человеком; здесь же прекрасна сама природа; а между тем древний нижегородский посад, вместо того чтобы стоять лицом к обеим рекам, пользуясь ими для своего обогащения, остается совершенно скрыт за горою; теряясь вдали от берега, он словно избегает того, что могло бы составить его славу и процветание; столь неудачное его расположение поразило императора Николая, который воскликнул, впервые увидав здешние места: «В Нижнем природа сделала все необходимое, люди же все испортили». Дабы исправить ошибку основателей Нижнего Новгорода, ныне под обрывом, на одном из двух мысов, разделяющих Волгу и Оку, строится новое предместье в виде набережной. Предместье это с каждым годом разрастается, становится значительней и многолюдней самого города; старинный же нижегородский кремль (каковой есть в каждом русском городе) отделяет старый Нижний от нового, расположенного на правом берегу Оки.

Ярмарка помещается на другом берегу той же реки, на низменной треугольной площадке между нею и Волгой. Эта земля сложена из речных наносов в той самой точке, где сливаются два потока, то есть одною своею стороной она служит берегом Оке, а другою — Волге; то же относится и к нижегородскому утесу на правом берегу Оки. Два этих берега соединены понтонным мостом, ведущим из города на ярмарку; он показался мне таким же длинным, как мост через Рейн у Майнца. Два мыса, разделенные лишь водным пространством, сильно отличны друг от друга; один горою вздымается над гладью равнины, имя коей Россия, и походит на исполинский пограничный столб, на природою сложенную пирамиду; этот нижегородский утес величественно высится посреди окрестных просторов; другой же мыс, ярмарочный, ютится вровень с водою, которая ежегодно его затопляет; необыкновенная красота такого контраста не ускользнула от взора императора Николая; государь, с присущею ему прозорливостью, почувствовал, что Нижний — одна из важнейших точек его империи. Он питает особенную любовь к этому срединному городу, которому благоприятствует сама природа и в котором сходятся и собираются вместе народности самых дальних краев, влекомые властным торговым интересом. В своей неусыпной заботливости император не забывает ни о чем, лишь бы сделать город краше, обширней и богаче; по его воле ведутся земляные работы, строятся набережные, всего роздано подрядов на семнадцать миллионов, и следит за исполнением лично государь. В пользу короны и губернии была изъята Макарьевская ярмарка, которая некогда устраивалась во владениях одного боярина на двадцать лье ниже по течению Волги, ближе к Азии; позднее император Александр перенес ее в Нижний. Мне жаль той азиатской ярмарки, проходившей в вотчине старомосковского князя: должно быть, она была живописней и своеобразней, хоть и не столь грандиозною и упорядоченною, как увиденная мною здесь.

934

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Я уже писал вам, что в каждом русском городе есть свой кремль — так в каждом испанском городе есть свой алькасар; нижегородский кремль имеет в окружности около полулье, с непохожими одна на другую башнями и зубчатыми стенами, змеящимися по горе, куда более высокой, нежели холм московского Кремля.

Завидев эту крепость издалека, путник не может не прийти в изумление; блестящие шпили и белые контуры твердыни по временам открываются ему поверх чахлых сосен; она словно маяк, на который он держит путь среди песчаных пустошей, затрудняющих подъезд к Нижнему со стороны Ярославля. Эта национальная архитектура производит сильное впечатление; затейливые башни, своего рода христианские минареты, которыми непременно оснащен всякий кремль, кажутся здесь еще краше благодаря необычному рельефу местности — кое-где рядом с этими творениями зодчих разверзаются настоящие пропасти. Внутри укреплений, как и в Москве, проложены лестницы, по которым можно, идя вдоль крепостных зубцов, подняться до верхнего гребня утеса, увенчанного высокою стеной; эти огромные ступени, с башнями по бокам, с наклонными подъемами, с поддерживающими их сводами и аркадами, образуют живописную картину, откуда ни посмотри.

На Нижегородской ярмарке, которая ныне стала крупнейшею на свете, встречаются самые чуждые друг другу народы, то есть самые несхожие по облику, по одежде и языку, по верованиям и нравам своим. Жители Тибета и Бухары — стран, соседствующих с Китаем, сходятся здесь с персами, финнами, греками, англичанами, парижанами; здесь словно собрались на Страшный суд купцы со всего света. Число иностранцев, постоянно находящихся в Нижнем на всем протяжении ярмарки, составляет двести тысяч; образующие это множество люди несколько раз сменяются, но количество остается примерно одинаковым; в иные же дни этого съезда негоциантов в Нижнем бывает одновременно до трехсот тысяч человек; средний расход хлеба в сем мирном лагере — четыреста тысяч фунтов в день; по окончании же промышленно-торговых сатурналий город вымирает. Вообразите, сколь странно выглядит столь резкий переход!.. Девять месяцев в году, пока ярмарка пустует, в Нижнем едва ли набирается двадцать тысяч жителей, затерянных среди его обширных улиц и безлюдных площадей.

Во время ярмарки не случается особых беспорядков; в России беспорядок вещь немыслимая — то был бы даже прогресс, ибо беспорядок — плод свободы; любовь же к наживе и потребность в роскоши, непрестанно возрастающие всюду вплоть до варварских племен, ведут к тому, что даже полудикие народы, вроде тех, что приезжают сюда из Персии и Бухары, находят свою выгоду в общественном спокойствии и добросовестности; надобно к тому же прибавить, что магометанам вообще свойственна честность в денежных делах.

Я всего несколько часов в этом городе и уже успел повидать губернатора; мне дали на его имя несколько весьма внушительных рекомендательных писем; для русского он показался мне гостеприимным и общительным. Мне будет вдвойне любопытно увидеть Нижегородскую ярмарку под его руководством и с его точки зрения — во-первых, ознакомиться с ходом дел, почти неизвестным французу,

а во-вторых, проникнуть в образ мыслей тех людей, которые служат русскому правительству.

Губернатор этот носит имя, с давних пор славное в российской истории: он зовется Бутурлин. Бутурлины — старинный боярский род; ныне столь знатное происхождение встречается редко. Завтра расскажу вам о приезде своем в Нижний, о том, как трудно было мне найти пристанище и как я в конце концов устроился, ежели только вообще можно сказать, что я устроился.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

23 августа 1839 года, утром

В Нижнем на мосту через Оку мне впервые в России встретилась толпа народу; действительно, узкий этот переход составляет единственный путь из города на ярмарку; по нему же попадают в Нижний со стороны Ярославля. При въезде на ярмарку нужно свернуть направо на мост, оставив слева ярмарочные лавки и павильон губернатора, который по утрам покидает свой особняк в верхнем городе и обосновывается здесь, дабы с этого наблюдательного поста власти вершить надзор и управу над всеми рядами, всеми лавками и всеми делами ярмарки.

Слепящая глаза пыль, оглушительный шум, повозки, пешеходы, солдаты, выставленные для поддержания порядка, — все это затрудняет переезд по мосту, а поскольку судов на реке так много, что не видать воды, то спрашиваешь себя — а к чему этот мост, когда речное русло кажется сухим. При слиянии Волги и Оки лодки составлены так плотно, что Оку можно перейти пешком, перешагивая с джонки на джонку. Этим китайским словом я пользуюсь потому, что большая часть судов, прибывающих в Нижний, служит для доставки на ярмарку товаров из Китая, особенно чая. Все это пленяет мое воображение; не нахожу, однако, чтобы в равной мере был удовлетворен и мой взор. На ярмарке, состоящей сплошь из новостроек, недостает живописных картин.

Вчера, при въезде в город, казалось мне, что наши кони задавят человек двадцать, прежде чем мы доберемся до набережной Оки; набережная эта — новое предместье Нижнего, которое через несколько лет должно разрастись. Длинный ряд домов тянется между Окой, приближающеюся к своему устью, и обрывистым берегом, теснящим с этой стороны речное русло; гребень обрыва ощетинился крепостными стенами, образующими внешний обвод нижегородского кремля; стены и гора полностью скрывают от взора верхний город. Ступивши наконец на желанный берег, я столкнулся с новыми затруднениями: нужно было прежде всего где-то поселиться, а трактиры оказались переполнены. Мой фельдъегерь стучался во все двери, но каждый раз возвращался с одинаковою неподвижно злою улыбкой, говоря, что не сумел найти ни единой комнаты. Он советовал мне просить гостеприимства у губернатора; я же этого делать не желал.

Наконец, доехав до крайней оконечности этой длинной улицы, где начинается дорога, крутым подъемом ведущая в старый город и проходящая под темною

аркой в толстой зубчатой крепостной стене, а сама улица сужается, идя дальше между прибрежным молом и подошвою утеса, заметили мы кофейню, что стояла ближе всего к Волге. Приблизиться к ней мешал рынок — небольшие крытые ряды, источавшие запахи менее всего благовонные. Тут велел я остановиться и проводить меня в кофейню, заключавшую в себе не один зал, но также целое торжище, занимавшее длинный ряд помещений. Хозяин принял меня с почетом и учтиво проводил сквозь шумную толпу, заполнявшую всю эту череду комнат; дойдя вместе со мною до последней залы, как и прочие заставленной столами, за которыми сидели посетители в шубах и пили чай и крепкие напитки, он показал, что не имеет ни единой комнаты, которая бы пустовала.

— Эта зала находится в углу дома, — сказал я ему, — есть в ней особый вход?

-Да.

— Ну так заприте дверь, что отделяет ее от других зал кофейни, и отдайте его мне для ночлега.

Воздух в этой комнате был такой спертый, что я тотчас стал задыхаться: то была отвратительная смесь всевозможных выделений: жирный смрад овчин, мускусный запах дубленых кож (так называемой русской кожи), запахи смазных сапог, кислой капусты (главной пищи крестьян), кофе, чая, ликеров, водки — все это сгущало атмосферу. Я вдыхал настоящую отраву — но что делать? — то была последняя возможность. К тому же я надеялся, что, как только комнату освободят и хорошенько вымоют, дурные запахи рассеются вместе с толпою посетителей. Итак, я заставил фельдъегеря растолковать хозяину кофейни мое предложение.

— Я потеряю в деньгах, — отвечал тот.

— Я заплачу столько, сколько потребуете; найдите только какое-нибудь пристанище моему камердинеру и курьеру.

Сделка наша состоялась, и я был немало горд этою завоеванною с бою вонючею комнатенкой, за которую взяли с меня дороже, чем за лучшие апартаменты в парижском «Отеле принцев». Хоть я и понес убыток, но утешался мыслью об одержанной победе. Только в России, стране, где человек, почитаемый могущественным, не ведает преград своим прихотям, можно в мгновение ока превратить зал кофейни в спальню.

Фельдъегерь велел посетителям выйти вон; они удалились без малейших возражений и были кое-как рассажены в соседней зале, дверь которой заперли на тот самый замок, что описан мною выше. Вдоль стен комнаты стояло штук двадцать столов; мгновенно налетела целая туча попов в рясах, то бишь трактирных половых в длинных рубахах, и вынесла всю обстановку. Но что я вижу? — из-под каждого стола, из-под каждого табурета вылезают полчища тварей, каких я еще ни разу не видывал, — черных насекомых длиною в полдюйма, довольно толстых, рыхлых, ползучих, липких, вонючих и весьма проворных. Этот зловонный гад известен в некоторых странах Восточной Европы, на Волыни и Украине, в России, а также, кажется, и в великой Польше; называют его там как будто «персика», поскольку занесен он из Азии; какое имя давали ему половые из нижегородской кофейни, я не расслышал. Увидев, что полы в моем пристанище

933

сплошь усеяны этими кишащими тварями, которых половые умышленно и нечаянно давили даже не сотнями, но тысячами, особенно же ощутив дополнительное зловоние, производимое при их истреблении, я пришел в отчаяние, опрометью выскочил из комнаты и помчался прочь из этой улицы представляться губернатору. В гнусное мое пристанище вернулся я лишь после того, как меня не единожды заверили, что оно вычищено самым тщательным образом. Кровать моя, набитая якобы свежим сеном, стояла посреди зала, все четыре ее ножки были поставлены в миски с водою, и я всю ночь провел при свете. Несмотря на все эти предосторожности, пробудившись наутро после тяжелого, беспокойного сна, я обнаружил у себя на подушке двух-трех «персик». Твари эти безвредны; но невозможно передать, какое отвращение они мне внушают. Присутствие подобных насекомых в людских жилищах говорит о такой неопрятности и нерадивости, что я невольно пожалел о своей затее — ездить по здешним краям. На мой взгляд, подпускать к себе нечистых тварей есть нравственное унижение; физическая брезгливость тут оказывается сильней любых доводов рассудка.

Теперь, сознавшись вам в своем несчастье и описавши свои злоключения, более я говорить о них не стану. Для полноты картины скажу только, что окна в комнате, отвоеванной мною у кофейни, занавешены скатертями, прикрепленными к рамам железными вилками; внизу они схвачены бечевками; два чемодана, накрытых персидским ковром, служат мне диваном; и все прочее в том же роде.

Нынче утром меня посетил московский купец, хозяин одного из самых богатых и крупных на ярмарке магазинов шелковых тканей: он желает показать мне здесь все по порядку и в подробностях; об итогах этого осмотра расскажу вам после.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

24 августа 1839 года, вечером

Здесь опять стало по-южному пыльно и удушливо жарко, а потому на ярмарку мне посоветовали ехать непременно в экипаже; но в Нижнем теперь такой наплыв иностранцев, что нанять себе экипаж я не смог; пришлось воспользоваться тою же самою коляской, в которой я приехал из Москвы, и запрячь в нее лишь двух лошадей, что меня раздосадовало так сильно, как будто я превратился в русского; в этой стране отнюдь не из тщеславия все ездят четверкою; местная порода лошадей — горячая, но слабосильная; они могут долго скакать, когда ничего не везут, в упряжке же быстро устают. Как бы там ни было, ездить в коляске с парою лошадей оказалось удобно, хотя и не слишком изящно; так я и катался весь день по ярмарке и по городу.

Садясь в эту коляску вместе с купцом, любезно вызвавшимся меня проводить, и с его братом, я велел фельдъегерю следовать за мною. Тот, не колеблясь, не спрашивая позволения, решительно вскочил в экипаж и с поразительною самоуверенностью уселся рядом с братом г-на ***, который, несмотря на мои просьбы, захотел ехать на переднем сиденье.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

В этой стране нередко можно видеть, как хозяин экипажа, даже если рядом с ним нет женщины, занимает задние места, в то время как друзья его сидят впереди. Такая неучтивость, у нас позволительная лишь при очень тесном знакомстве, никого здесь не удивляет.

Опасаясь, что ехать бок о бок с курьером будет зазорно для моих любезных провожатых, я счел своим долгом ссадить этого человека и очень мягко предложил ему залезть на передок, рядом с кучером.

— Не буду я этого делать, — отвечал мне фельдъегерь с невозмутимым хладнокровием.

— Почему вы не слушаетесь? — спросил я еще спокойнее, зная, что, общаясь с этою полувосточною нацией, следует для поддержания своего авторитета никому не уступать в бесстрастии.

Мы разговаривали по-немецки.

— Мне это было бы неприлично, — ответил мне русский все тем же тоном. Тут мне вспомнились боярские споры о местах в думе, последствия которых во времена царей Иванов бывали столь серьезны, что им отведено множество страниц российской истории.

— Что значит неприлично? — спросил я. — Разве это не то место, которое вы занимали с самого нашего отъезда из Москвы?

— Да, сударь, это мое место в дороге, на прогулке же я должен сидеть внутри. Я ведь ношу мундир.

Мундир его, описанный мною в другом месте, — просто-напросто одежда почтового рассыльного.

— Я, сударь, ношу мундир, у меня есть чин; я не лакей, я слуга императора.

— Мне мало дела до того, кто вы такой; да я и не говорил, что вы лакей.

— Я бы так выглядел, если б сел на это место во время прогулки по городу. Я служу уже не первый год, в награду за примерное поведение мне обещают дворянство; и я хочу получить его, у меня есть свое честолюбие.

Меня ужаснуло такое смешение наших старинных аристократических понятий с новейшим тщеславием, которое недоверчивый деспот внушает болезненно завистливым простолюдинам. Передо мною был образец погони за отличиями в самом худшем ее виде, когда выслуживающийся напускает на себя вид уже выслужившегося.

Мгновение помолчав, я заговорил вновь:

— Одобряю вашу гордость, если она обоснованна; но, будучи мало сведущ в обычаях вашей страны, я хочу, прежде чем дозволить вам сесть в коляску, сообщить о вашем притязании господину губернатору. Я намерен спрашивать с вас не более того, что вы обязаны, согласно полученным вами приказам; коль скоро появилось сомнение, то на сегодня освобождаю вас от службы; я поеду без вас.

Мне самому был смешон тот внушительный тон, каким я говорил; но я полагал, что такая напускная важность необходима, чтоб оградить себя от неожиданностей до конца поездки. Нет такого комизма, который бы не извинялся условиями и неизбежными последствиями деспотизма.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Этот человек, притязающий на дворянство и тщательно блюдущий дорожный этикет, при всей гордости своей обходится мне в триста франков *жалованья* ежемесячно; при последних моих словах он покраснел и, не ответив ни слова, вылез наконец из коляски, в которой до тех пор столь непочтительно восседал; молча вернулся он в дом. Не премину вкратце рассказать губернатору о вышеизложенном разговоре.

Место, где размещается ярмарка, очень обширно, а живу я весьма далеко от моста, который ведет к этому городку, заселяемому на один месяц в году. Пришлось признать, что я правильно поступил, поехав в коляске, я бы выбился из сил, еще не добравшись до ярмарки, если б был принужден проделать этот путь пешком по пыльным улицам, по открытой набережной и по мосту, где солнце палит целый день, а дни пока еще длятся примерно по пятнадцать часов, хотя с наступлением осени они скоро начнут стремительно убывать.

На ярмарке встречаются люди из всех стран мира, в особенности из дальних краев Востока; однако люди эти более необычны именами, нежели обликом. Все азиаты походят друг на друга, или, во всяком случае, их можно поделить на два разряда: у одних обезьяньи лица (калмыки, монголы, башкиры, китайцы), у других греческий профиль (черкесы, персы, грузины, индийцы и проч.).

Нижегородская ярмарка располагается, как я уже говорил, на огромном треугольнике песчаной, совершенно плоской суши, образующем мыс между Окою и широким руслом Волги, куда эта река впадает. С обеих сторон эта площадка примыкает, таким образом, к одной из рек. Земля, на которой скапливается столько богатств, почти не возвышается над уровнем воды; потому вдоль берегов Оки и Волги стоят одни лишь сараи, лачуги и товарные склады, сам же ярмарочный городок помещается заметно дальше от воды, у основания образуемого двумя реками треугольника; со стороны бесплодной равнины, простирающейся на запад и северо-запад, к Ярославлю и Москве, он ограничен лишь теми пределами, что пожелали поставить ему люди. Этот обширный торговый городок состоит из широких, длинных и совершенно прямых улиц; такое расположение вредит живописности целого; над лавками возвышается около дюжины павильонов причудливого стиля, называемых китайскими, но их недостаточно, чтоб скрасить унылое однообразие общего вида ярмарки. Этот прямоугольный базар кажется безлюдным, настолько он велик: стоит углубиться в ряды его лавок, как толпы уже больше не видать, в то время как у подходов к этим улицам теснятся целые орды. Ярмарочный городок, как и все современные города России, слишком просторен для своего населения, а между тем вам уже известно, что численность этого населения составляет в среднем двести тысяч душ ежедневно; правда, в столь огромное количество приезжих следует включить и всех тех, что рассеяны по рекам, по судам, дающим кров целому народу водоплавающих существ, а также по палаточным лагерям, что окружают ярмарку как таковую. Дома купцов стоят поверх другого, подземного города — это превосходная сводчатая клоака, огромный лабиринт, где без опытного проводника можно заблудиться. Каждому ярмарочному ряду соответствует подземная галерея, которая тянется под ним на всю его длину и служит стоком для нечистот. Эти стоки, выложенные

тесаным камнем, несколько раз в году промываются с помощью многочисленных насосов, качающих воду из ближних рек. В подземные галереи можно проникнуть по широким лестницам, сложенным из отличного камня. Если кто-то вздумает сорить на улицах базарного городка, то наблюдающие за порядком на ярмарке казаки вежливо приглашают его спуститься в эти катакомбы для нечистот. Это одно из самых грандиозных сооружений, виденных мною в России. Здесь есть образцы, которым могли бы следовать строители парижских стоков. По своей величине и прочности это напоминает Рим. Подземелья были построены императором Александром, который по примеру предшественников своих вознамерился победить природу, устроив ярмарку на участке, шесть месяцев в году затапливаемом водою. Он расточил многие миллионы, чтоб устранить последствия своего неосмотрительного решения перенести в Нижний Макарьевскую ярмарку.

При впадении в Волгу Ока раза в четыре шире Сены; река отделяет постоянный город от ярмарочного городка; на ней стоит столько судов, что на протяжении половины лье из-за них не видно воды. На судах, превращенных в шатры плавучего бивуака, каждую ночь кое-как ютятся сорок тысяч человек. Этот водоплавающий люд может примоститься где угодно — на мешке, на бочке, на лавке, на доске, на дне лодки, на ящике, на полене, на камне, на свернутом парусе; любая постель им впору, и спят они не раздеваясь; выбрав себе лежанку, расстилают на ней овчинный тулуп и ложатся на нем как на матраце. Скопление судов словно покрывает реку подвижным паркетом. По вечерам из этого водного городка доносятся глухие голоса, людская молвь, сливающаяся с бурлением волн; порой с необитаемого на вид островка, составленного из лодок, слышатся песни; действительно, особенно примечательно то, что на внешний взгляд суда, откуда раздаются звуки, пусты — по крайней мере днем; их обитатели лишь ночуют на них, да и то залезая в трюмы и скрываясь под водой, как муравьи под землей. Точно такие же скопления лодок образуются и на Волге близ устья Оки, встречаются они также и по течению Оки значительно выше нижегородского понтонного моста. Одним словам, куда ни бросишь взгляд, он всюду падает на ряды судов, иные из которых отличаются странною формой и расцветкой; над всеми суденышками возвышаются мачты, и все это вместе похоже на американские болота — это затопленный лес, заселенный людьми, съехавшимися со всех уголков земли и одетыми столь же причудливо, сколь странны их облик и физиономия. Более всего поразили меня на этой огромной ярмарке именно населенные людьми реки, напоминающие описания тех китайских городов, где реки становятся улицами и люди, по нехватке места на суше, живут на воде.

В этой части России крестьяне часто носят белые с красной вышивкой рубахи навыпуск; такой костюм заимствован у татар. Днем он блестит на солнце, а ночью белая ткань привидением выступает из тьмы; в целом ярмарка имеет вид чрезвычайно картинный, но слишком уж обширный и плоский; она не позволяет обозреть себя с первого взгляда и тем обманывает мое любопытство. Нижегородская ярмарка хоть и необыкновенно примечательна, но отнюдь не живописна: так чертеж отличается от рисунка; здесь больше дела для человека, занимающегося

политическою экономией, промышленностью, арифметикой, нежели для поэта или художника; ведь здесь происходит торговый обмен между двумя главными частями света — не больше и не меньше. Повсюду в России я вижу, как ее по-голландски мелочное правительство ханжески заглушает природные качества своего народа — сообразительных, веселых, поэтических жителей Востока, прирожденных художников.

На просторных улицах ярмарки можно найти вместе любые товары со всего света, однако все они как-то затеряны; самый редкий товар — покупатели; что бы я ни видел в этой стране, я всякий раз восклицаю: «Слишком много места и слишком мало людей». Здесь все иначе, чем в странах с древним прошлым, где для цивилизации не хватает земли. Самые изящные и изысканные лавки на ярмарке — французские и английские; там ты словно попадаешь в Париж или Лондон; но не эта левантийская Бонд-стрит, не этот степной Пале-Руаяль составляют истинное богатство нижегородского рынка; чтобы верно понять значение ярмарки, надо вспомнить о ее происхождении, о том, где устраивалась она первоначально. До Макарьева она располагалась в Казани; в Казань съезжался народ с обоих концов Старого Света: Западная Европа и Китай встречались вместе в древней столице русской Татарии, чтобы обменяться своими изделиями. То же самое происходит ныне в Нижнем; но составить полное представление об этом рынке, куда посылают свои изделия два континента, нельзя, не отойдя прочь от прямолинейных торговых рядов и изящных «китайских» павильонов, что украшают базар, заложенный Александром; нужно прежде всего осмотреть стойбища, обступающие с разных сторон благоустроенную ярмарку. Линейка и шнур архитектора вслед за торговлею доходят до этих окраин, составляющих как бы задний двор замка или же ферму при нем; сколь бы пышным и блестящим ни было основное здание, в хозяйственных постройках царит вечный беспорядок — плод врожденной неряшливости и неизбывной нужды.

Осмотреть даже бегло эти окраинные склады — немалый труд, ибо величиною они не уступают целым городам. В них происходит непрерывное, поистине впечатляющее движение — хаос купли-продажи, где можно заметить такое, во что трудно поверить, пока не увидишь своими глазами либо не услышишь рассказы серьезных и достойных веры людей, сопровождаемые расчетами.

Начнем с чайного городка: это азиатское стойбище раскинулось по берегам обеих рек, на самой стрелке у их слияния. Чай доставляется в Россию через Кятку, расположенную в глубине Азии; при этой первой перевалке его обменивают на товары; отсюда его везут в тюках, похожих на ящики-кубики, величиною около двух футов в каждую сторону; тюки эти состоят из остова, обтянутого кожей, и покупатели протыкают их особыми щупами, чтобы, вытащив свой зонд, узнать качество товара. Из Кятки чай по суше перевозится до Томска; там его загружают на суда и везут по нескольким рекам, главные из которых Иртыш и Тобол; так он прибывает в Турмин, откуда едет вновь по суше до сибирского города Пермь, оттуда по реке Каме вниз до Волги и затем опять вверх до Нижнего; каждый год Россия получает от семидесяти пяти до восьмидесяти тысяч ящиков чая, из которых половина остается в Сибири и перевозится в Москву зимой на санях, а вторая половина поступает на здешнюю ярмарку.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Этот маршрут записал для меня крупнейший чаеторговец России. Не ручаюсь ни за орфографию, ни за географию этого богача; но чаще всего миллионщики бывают правы, ибо они покупают чужую ученость.

Как видите, этот знаменитый караванный чай, якобы столь тонкий на вкус оттого, что перевозится по суше, на самом деле почти всю дорогу путешествует по воде; конечно, вода эта пресная, и речные туманы воздействуют на него куда слабей морских... А впрочем, если я не в силах что-либо объяснить, то ограничиваюсь тем, что просто отмечаю это.

Сорок тысяч ящиков чая — это легко сказать, но невозможно себе представить, сколько времени уходит на их осмотр, даже если просто, не считая, ходить вдоль сваленных грудою тюков. В нынешнем году их продали за три дня тридцать пять тысяч. Я посмотрел навесы, под которыми они сложены; четырнадцать тысяч из них купил один человек — мой купец-географ — за десять миллионов рублей серебром (бумажных рублей больше нет), с оплатою частью на месте, а частью через год.

Ценою на чай определяются цены на все прочие товары ярмарки; до тех пор пока она не сделается известна, остальные сделки заключаются лишь условно. Другой ярмарочный городок, столь же большой, но не такой изысканный и благоухающий, как чайный, — это ветошный городок. Сюда сносят тряпье со всей России — хорошо еще, что предварительно его отбеливают. Этот товар, необходимый для производства бумаги, вошел в такую цену, что русская таможня с чрезвычайною строгостью запрещает вывозить его за границу.

Еще один городок привлек мое внимание среди всех прилегающих к ярмарке торгов: там продают столярную древесину. Подобно предместьям Вены, эти ярмарочные пригороды крупнее самого города. В том, о котором я толкую, идет торговля сибирской древесиной для тележных колес и конских дуг. Это тот самый полукруг, что закрепляется столь самобытным и живописным манером на конце оглобель и возвышается над головой коренника; делают его из цельного куска дерева, гнутого под паром, также из цельных кусков изготовляют и колесные ободья; запасы ошкуренной древесины, потребные, чтобы обеспечить всю Западную Россию дугами и ободьями, громоздятся здесь горами, которым наши парижские лесные дворы не составляют даже слабого подобия.

Еще одно ярмарочное предместье, пожалуй обширнейшее и любопытнейшее из всех, служит складом сибирского железа. На четверть лье тянутся здесь навесы, под которыми живописно разложены железные прутья всех сортов, за ними идут решетки, за ними скобяные изделия; целые пирамиды сложены из орудий земледелия и домашнего быта. Есть тут и дома, заставленные чугунными горшками, — настоящее царство металла; здесь понимаешь, как много он значит для богатства всей империи. Богатство это внушает ужас. Сколько же требуется осужденных, чтоб разрабатывать такие рудники! А если преступников недостает, **приходится нарочно их множить — вернее, множить несчастных; в подземном мире,** где добывают железо, гибнет политика прогресса, торжествует деспотизм — государство же процветает!! Любопытно было бы изучить — если б только это дозволялось иностранцам, — какому обращению подвергаются уральские рудокопы;



только надобно осматривать все самолично, не полагаясь на писаные бумаги. Исполнить сие намерение для западного европейца было бы столь же сложно, как христианину побывать в Мекке.

Все эти торговые городки, примыкающие к главному, образуют лишь внешнюю окружность; они беспорядочно роятся вокруг самой ярмарки; если же охватить их одною общею городскою чертой, то длина ее окажется как в крупной европейской столице. Чтоб обойти все эти наскоро построенные предместья, служащие спутниками основной ярмарке, недостало бы и целого дня. Невозможно повидать все в этой бездне богатств; приходится выбирать; да к тому же духота последних жарких дней, пыль, давка и дурные запахи отнимают всякие телесные силы и притупляют работу мысли. Тем не менее я смотрел во все глаза, как будто мне двадцать лет — так же точно все примечая, хоть и с меньшим любопытством.

Буду рассказывать вкратце — в России привыкаешь к однообразию, такова здесь жизнь, но вы-то будете читать мои письма во Франции, и я не вправе надеяться, что вы окажетесь столь же уступчивы, как я здесь. Вы и не обязаны быть терпеливым — вы ведь не проехали тысячу лье, чтобы учиться этой добродетели побежденных.

Забыл сказать о городке кашмирской шерсти. Глядя на эту запыленную, противную на вид кудель, связанную в огромные кипы, я думал о прелестных плечах, которые она однажды укроет, о великолепных нарядах, которые она со-
933 бою украсит, превратившись в шали на мануфактурах барона Терно и других.

Повидал я также меховой городок и городок поташный; я намеренно пользуюсь словом «городок» — только оно передает, как широко раскинулись различные хранилища вокруг ярмарки, придавая ей грандиозность, какой не знают ярмарки в других странах.

Подобное коммерческое чудо могло возникнуть только в России; чтоб создать Нижегородскую ярмарку, нужна была сильнейшая тяга к роскоши в полудиких народах, живущих непомерно далеко друг от друга, без быстрых и легких средств сообщения; нужна была такая страна, где из-за сурового климата каждое селение часть года оказывается отрезанным от всего мира; соединение этих обстоятельств, а также, должно быть, и иных, которых я не сумел распознать, необходимо было для того, чтобы купцы сей изобильной империи не могли вести свою торговлю повседневно и понемногу и принуждены были тратить силы и деньги на ежегодный своз всех богатств земли и промышленности в одно время и в одну точку страны. Можно предсказать, что в будущем — думается, довольно скором, — с развитием материальной цивилизации в России Нижегородская ярмарка утратит былую мощь. Сегодня же, повторяю, это крупнейшая ярмарка на свете.

В одном из ярмарочных предместий, за рукавом Оки, помещается персидский поселок, все лавки в котором заполнены только товарами из Персии; среди наиболее примечательных предметов, привезенных издалека, особенно восхитили меня ковры, на вид просто великолепные; а также свертки шелка-сырца и термоламы — нечто вроде шелкового кашемира, который якобы вырабатывают

только в Персии. Впрочем, меня бы не удивило, если бы сами русские изготовляли эту ткань у себя, выдавая ее за привозной товар. Но это всего лишь предположение, и никакими фактами подкрепить его я не могу.

Лица персиян производят немного впечатления в здешних краях, где местные жители — сами азиаты и хранят отпечаток своего происхождения.

Меня провели по городку, отведенному единственно для сушеной и соленой рыбы, которую привозят с Каспийского моря, чтоб есть во время русских постов. Православные во множестве поглощают эти морские мумии. За четыре месяца своего воздержания московиты обогащают магометан из Персии и Татарии. Рыбный городок располагается на самом берегу; выпотрошенные морские чудища частью разложены на суше, частью лежат навалом в трюме судов, которые их привезли; если бы рыбных туш не насчитывалось здесь миллионы, то вся картина была бы похожа на музей естественной истории. Называют их, кажется, «сордак». Даже на открытом воздухе от них исходит неприятный запах.

Еще один городок — кожевенный, который в Нижнем чрезвычайно велик, ибо сюда свозят кожи для удовлетворения нужд всей Западной России. Другой городок — меховой, здесь можно найти шкуры всевозможных зверей, начиная от соболя, голубого песца и дорогих медвежьих шкур, шуба из которых обходится в двенадцать тысяч франков, и до обыкновенной лисы и волка, которые идут за бесценок; сторожа этих сокровищ на ночь сооружают себе шатры из своего товара — живописные пристанища дикарей. Люди эти, хоть и обитают в холодных краях, довольствуются малым: одеты они дурно, спят в ясную погоду под открытым небом, а в дождь забираются в норы под кипами товаров; они прямо-таки северные лаццарони — не столь веселые, острые на язык и подвижные лицом, как лаццарони неаполитанские, зато еще более неопрятные, так как нечистота тела соединяется у них с нечистотою одежды, которую им невозможно с себя снять.

Вышепрочитанного будет вам довольно, чтоб составить себе представление о внешнем окружении ярмарки; внутренность же ее, повторяю, куда менее любопытна; своим видом она резко и неприятно отличается от внешних городков. Там, снаружи, разъезжают повозки, ручные тележки, там сумятица, шум, давка, крики, пение — в общем, вольность! Здесь же, внутри, снова правильный порядок, тишина, безлюдье и полиция — одним словом, Россия!

Бесконечные ряды домов, вернее лавок, стоят здесь между длинных широких улиц, которых всего то ли двенадцать, то ли тринадцать и в конце которых располагаются русская церковь и двенадцать китайских павильонов. Если обойти всю ярмарку, пройдя по каждой улице, от лавки до лавки, то придется покрыть десять лье. Так мне сказали, но я с трудом могу в это поверить. Имейте в виду, что здесь речь идет только об основном ярмарочном городке, — мы покинули шум и гам его предместий, чтоб очутиться в тиши базара, охраняемого казаками, которые серьезностью и скованностью движений и строгой исполнительностью — по крайней мере в служебное время — не уступают немым прислужникам сераля.

Император Александр, выбрав для ярмарки новое место, распорядился о необходимых для его благоустройства работах; сам он никогда ярмарки не видал

и потому не знал, сколь огромные расходы придется добавить к прочим тратам казны и уже после его смерти зарыть в землю на этой площадке, слишком низменной для назначенного ей применения. Благодаря неслыханным трудам и громадным расходам ярмарка теперь пригодна для жилья в летнее время; для торговли большего и не надобно. Тем не менее размещена она дурно: в солнечную погоду здесь пыльно, а в дождливую — грязно; к тому же при любой погоде место это нездоровое — немалое неудобство для купцов, принужденных на протяжении полутора месяцев ночевать в верхних этажах своих лабазов.

При всей любви русских к прямым линиям многие здесь считают, что лучше было бы разместить ярмарку по соседству со старым городом, на гребне горы; для подъема туда можно было бы проложить отличные дороги с нечувствительно пологим наклоном и с великолепным видом на окрестности; внизу же, на берегах Оки, складывали бы лишь самые тяжелые и громоздкие грузы, которые трудно затаскивать на холм. Таким образом, железо, лес, шерсть, тряпье, чай оставались бы близ судов, на которых привезены, а торги велись бы со всем блеском на просторной возвышенности у ворот верхнего города; место во всех отношениях более удобное, чем нынешнее! Только вообразите себе высокий берег, заселенный сразу всеми народами Азии и Европы! Такая многоязыкая гора производила бы чудное впечатление; болото же, где копошатся теперь все эти кочевые племена, впечатляет мало.

Современные инженеры, столь искусные во всех странах, нашли бы здесь применение своим дарованиям; поклонники механики удовлетворяли бы свое любопытство видом разнообразных машин, которые пришлось бы изобрести для подъема товаров на гору; а поэты, художники, любители красот и живописных видов, просто любопытные путешественники, что составляют целое племя в наш век, в изобилии рождающий не только деловых людей, но и фанатиков праздности, — все эти люди, полезные обществу благодаря деньгам, которые они тратят, наслаждались бы чудесным местом для гулянья, куда более привлекательным, нежели то, что отведено им на нынешнем базаре, где нет никакого обзора, а дышать приходится зловонием; наконец, заслуживает внимания и то, что императору это обошлось бы в куда меньшую сумму, чем потратил он на свою прибрежную ярмарку — городок, заселенный один месяц в году, плоский как скатерть, летом раскаленный как саванна, зимою же сырой как погреб.

Главными купцами на этой невиданной ярмарке выступают русские крестьяне. Между тем закон запрещает крепостному просить, а вольным людям предоставлять ему кредит более чем на *пять рублей.* И вот с иными из них заключают сделки под честное слово на двести — пятьсот тысяч франков, причем сроки пла-
9зз тежа бывают весьма отдаленными. Эти рабы-миллионщики, крепостные Агуадо, не умеют даже читать. Действительно, в России человек порой возмещает свое невежество необыкновенными затратами сообразительности. В странах просвещенных даже тупицы в десятилетнем возрасте знают то, что в отсталом обществе постигают только люди великого ума, да и то лишь к тридцати годам.

Народ в России не знает арифметики; все расчеты он от века выполняет с помощью деревянной рамки, внутри которой помещены ряды подвижных

шариков. Каждый ряд окрашен в свой цвет, означающий единицы, десятки, сотни и так далее. Это надежный и скорый способ счета.

Не забывайте, что владелец такого крепостного миллионщика хоть завтра может отнять у него все, что тот имеет; он обязан лишь позаботиться о его пропитании; правда, случаи подобного насилия редки, но они возможны.

Никто не помнит, чтобы хоть один купец, доверившийся честному слову крестьян, в торговой сделке был обманут: поистине в любом обществе, если только оно устойчиво, развитием нравов возмещаются изъяны учреждений.

Впрочем, мне рассказали о том, как отец ныне живущего — я чуть не сказал «царствующего» — графа Шереметева однажды пообещал крестьянскому семейству вольную за чудовищно большую сумму в пятьдесят тысяч рублей. Деньги он получил, после чего оставил обобранное им семейство своими крепостными.

Такова школа честности и добросовестности, в которой учатся русские крестьяне, — их угнетает деспотизм аристократов вопреки государственному деспотизму самодержцев, причем последний зачастую бессилен против своего соперника. Надменные императоры довольствуются словами, внешними формами, цифрами, тогда как властительные аристократы метят в действительные вещи, а словеса ценят недорого. Ни один окруженный лестью правитель не встречал так мало повиновения и не бывал так часто обманут, как якобы безраздельный властелин Российской империи; конечно, прямо ослушаться его опасно, но ведь страна велика, а из глуши не доносится ни одна весть.

Нижегородский губернатор г-н Бутурлин любезно пригласил меня обедать с ним во все те дни, что рассчитываю я пробыть в Нижнем; завтра он обещал разъяснить мне, почему такие дела, как ложное обещание графа Шереметева, которые и всегда-то случались редко, сегодня повториться в России не могут. Я изложу вам эту беседу, если только сумею извлечь из нее какой-то толк; до сих пор слыхал я от русских лишь речи совершенно невнятные. Что это — непривычка к логике или намеренное стремление запутать иностранца? Думаю, и то и другое. Стараясь скрыть правду от людей, начинаешь и сам видеть ее сквозь какую-то пелену, которая с каждым днем делается плотнее. Старики в России морочат вас чистосердечно, сами того не замечая; ложь слетает с их уст так же простодушно, как откровенное признание. Хотелось бы мне знать, с какого возраста в их глазах обман перестает быть грехом. Те, кто живет в страхе, рано начинают лгать самим себе.

На Нижегородской ярмарке ничто не продается дешево — разве лишь то, что никому не нужно. Прошло время, когда цены сильно разнились в разных местах; теперь везде известно, что почем; даже татары, приезжающие в Нижний из Средней Азии, чтобы за большие деньги — иначе невозможно — купить парижские и лондонские предметы роскоши, привозят в обмен товары, прекрасно зная им цену. Купцы еще могут пользоваться безвыходным положением покупателя, но уже не могут его обмануть. Они не вздувают цену, как принято говорить в лавках, но еще менее они ее сбавляют — просто невозмутимо требуют слишком дорого; и честность их заключается в том, чтоб ни в коем случае не отступаться от самых преувеличенных своих запросов.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Я не видал в Нижнем никаких шелковых тканей из Азии, разве что несколько штук скверного китайского атласа, ненатуральной окраски, неплотной выделки и к тому же мятого, как старая ветошка. В Голландии встречал я атлас куда лучший, а этот стоит здесь дороже лучших лионских тканей.

В финансовом отношении вес Нижегородской ярмарки возрастает с каждым годом, но она все менее привлекает необычностью своих товаров и причудливым обликом людей. В целом ярмарка обманывает ожидания тех, кто охоч до живописного и забавного; в России все выглядит угрюмо и натянуто, и даже умы у русских расчерчены по линейке — правда, наступает день, и они всё посылают к черту. В такие мгновения долго сдерживавшийся инстинкт свободы вырывается наружу; и тогда крестьяне насаживают на вертел своего помещика и поджаривают на медленном огне или же заставляют его жениться на крепостной; это ад кромешный, но дальнего отклика такие редкие возмущения не имеют, о них никто не говорит; большие расстояния и деятельность полиции позволяют скрыть от народа подобные разрозненные факты; бунты бессильны возмутить повседневный порядок, он зиждется на всеобщей осторожности и молчаливости, которые равнозначны тоске и забитости.

Во время прогулки по лавкам основной ярмарки видал я бухарцев. Народ этот обитает в одном из уголков Тибета, по соседству с Китаем. Бухарские купцы приезжают в Нижний торговать драгоценными камнями. Я купил у них бирюзы, так же дорого, как и в Париже, и притом без уверенности, что она не поддельная; все сколько-нибудь ценные камни идут здесь очень дорого. Бухарцы весь год проводят в пути, так как, по их словам, им требуется более восьми месяцев лишь на дорогу в два конца. Ни лицом, ни одеянием они не показались мне особенно примечательны. Я не очень верю, что нижегородские китайцы — действительно из Китая; впрочем, любопытство мое удовлетворяют татары, персияне, киргизы и калмыки.

Кстати, о киргизах и калмыках: эти варвары пригоняют сюда из своих степей, чтобы продать на Нижегородской ярмарке, табуны низкорослых диких коней, которые отличаются хорошею статью и нравом, только что виду не имеют; они превосходно годятся для седла и ценятся за свой характер. Бедные животные! Сердце у них добрее, чем у многих людей; они так нежно и горячо любят друг друга, что их невозможно разлучить. Пока они остаются вместе, им нет дела до чужбины и неволи, как будто они по-прежнему в родном краю; чтобы продать коня, приходится сбивать его с ног и силой волочить на веревках из загона, где заперты его собратья, меж тем как те на протяжении этой экзекуции все время пытаются вырваться или взбунтоваться, мечутся внутри ограды с горестными стонами и ржанием. В наших краях лошади никогда, насколько мне известно, не выказывали столько чувствительности. Не часто бывал я тронут так, как вчера, при виде отчаяния этих несчастных животных, отторгнутых от степной воли и насильственно разлученных со своими любезными; если угодно, можете ответить мне изящным стишком Жильбера:

934

И слезы горько льет над бабочкой в беде, —

можете подтрунивать надо мною, неважно; уверен, что будь вы сами свидетелем этих жестоких торгов, напоминающих другой торг, еще более богопротивный, то вы разделили бы мою растроганность. Тому, что закон признает преступлением, найдутся в нашем мире и судьи; тогда как дозволенная жестокость карается одним лишь состраданием порядочных людей к ее жертвам, да еще, надеюсь, божьим судом. Именно при виде этого варварства, терпимого обществом, сожалею я о том, что мое красноречие имеет свои пределы; такой писатель, как Руссо или даже Стерн, уж наверно заставил бы вас зарыдать над судьбою бедных киргизских лошадок, которым предназначено отправиться в Европу и возить на себе людей — таких же рабов, как они сами, но часто все же менее достойных жалости, чем лишенные свободы животные.

К вечеру вид равнины становится величавым. Горизонт застилают легкая пелена тумана, позднее выпадающего росою, и пыль от нижегородской земли — мелкого бурого песка, окутывающего небо красноватою дымкой; эти световые эффекты еще более подчеркивают величественный облик всей местности. Из потемок проступают призрачные огоньки, зажигается множество ламп на разбитых вокруг ярмарки биваках; отовсюду слышится говор и гул; из далекого леса доносятся голоса, и внимательный слух различает звуки человеческой жизни даже посреди реки, где расположены плавучие селенья. Что за грандиозное людское сборище! Что за смешение языков, что за резкие отличия в привычках!.. Но какое же единообразие в чувствах и мыслях!.. В этом огромном скопище людей каждый стремится лишь заработать немного денег. В других странах жажда наживы скрадывается народным весельем; здесь же торгашество ничем не прикрыто, и бесплодное стяжательство купца преобладает над легкомыслием любопытного; здесь нет ничего поэтического, здесь все исполнено корысти. Нет, я не прав: в этой стране во всем таится поэзия страха и боли; только где же тот голос, что дерзнет ее высказать...

Впрочем, кое-какие живописные картины все же тешат здесь воображение и дают отдохновение взору.

По дорогам, ведущим к различным становищам купцов, которыми окружена ярмарка, по мостам, по песчаным берегам, по спускам к реке тянутся бесконечные вереницы странных повозок, целые обозы порожняком. Эти тележки состоят из пары колес, соединенных осью; они возвращаются с лесных дворов, куда на них отвозили длинные стволы строительного леса. При перевозке бревна были уложены сразу на две или даже три пары колес, теперь же, на обратном пути, каждая тележка отцеплена от остальных и катит сама по себе, запряженная одною лошадью с одним возницей. Возница этот, стоя прямо на оси и сохраняя равновесие, правит своим еле приручeнным рысаком с дикарским изяществом и ловкостью, какие встречал я только среди русских. Эти неотесанные Франкони напоминают мне византийских цирковых возничих; одеты они в греческую тунику — прямо на античный лад. Приехав в Россию, попадаешь в Византийскую империю, так же как в Испании — в Африку, а в Италии — в Древний Рим и Афины!..

934

Бродя в сумерках по окрестностям ярмарки, даже издалека поражаешься тому, как сверкают харчевые лавки, балаганы, трактиры и кофейни!.. Но среди

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

всего этого сияния слышен лишь глухой шум, и есть что-то колдовское в людском безмолвии на фоне ярких огней; ты словно очутился среди людей, завороженных волшебною палочкой чародея. Важные и молчаливые азиаты сохраняют серьезность даже в развлечениях, а русские и есть азиаты, пообтесавшиеся, но вряд ли цивилизованные.

Не устаю слушать их народные песни. В этом месте, где сто разных народов сошлись ради общего торгового интереса, но разделены своими языками и верованиями, музыка обретает двойную цену. Когда речь способна лишь разобщать людей, для взаимопонимания им приходится петь. Музыка составляет противоядие от софизмов. Оттого-то в Европе влияние этого искусства непрестанно растет. В мужицких хорах на берегах Волги есть нечто необыкновенное; мелодии их не назовешь ни сладостными, ни вдохновенными, и все же на нас, людей Запада, они своим множеством далеких несогласных голосов производят впечатление глубокое и свежее. Окружающий пейзаж не смягчает пронизывающей их печали. С обеих сторон обзор ограничен плотным лесом корабельных мачт, местами даже прикрывающих небосвод; остальную же часть картины занимает сплошная безлюдная равнина, окаймленная бескрайними еловыми лесами; постепенно огни блекнут и наконец угасают вовсе; и темнота, еще более сгущая вековое безмолвие этих тусклых краев, являет душе новое диво, ибо ночь — мать изумления. Все те сценки, что несколько мгновений назад еще оживляли собою безлюдье, изглаживаются из памяти, лишь только померкнет свет; живое движение уступает место смутным воспоминаниям; и путешественник остается наедине с русскою полицией, которая делает мрак вдвойне пугающим; все виденное кажется сном, и, возвращаясь в свой приют, чувствуешь, как душа твоя полнится поэзией, то есть неясным страхом и горестным предчувствием.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Особенность финансового устройства. — Серебро здесь замещает бумажные деньги. — Реформа по велению императора. — Как нижегородский губернатор побуждает купцов к повиновению. — Умение подданных действовать наперекор властям, не показывая виду. — Почему они так поступают. — Их честность: указ о денежной системе. — Показная щедрость. — Что делается с духом правосудия и консерватизма при деспотическом правлении. — Работы для украшения Нижнего по велению императора. — Мелочность. — Странность отношений между крепостным и помещиком. — Мнение нижегородского губернатора о деспотическом строе. — Мягкость российских властей. — Как наказывают помещиков, злоупотребляющих своею властью. — Путешественнику трудно дознаться до истины. — Прогулка в экипаже с губернатором. — Вид на ярмарку с верхушки китайского павильона. — Общая стоимость ее товаров. — Предрассудки, внушаемые народу правительством. — Портреты нескольких французов: как нелепо выглядят они в чужой стране. — Встреча с французом, приятным в обхождении. — Общество, собравшееся па обеде у губернатора. — Русские женщины; жена губернатора. — Английская причуда. — Анекдот, рассказанный польскою дамой. — В чем польза простых манер. — Прогулка с губернатором. — Беседа с ним. — Мелкие чиновники: какова их роль в империи. — Две аристократии: новая и старинная. — Какая из них ненавистней народу. — Мой фельдъегерь. — Стяг Минина. — Недобросовестность правительства. — Церковь, перенесенная на новое место, хоть в ней и находилась гробница Минина. — Петр Великий. — Заблуждение народов. — Характер французов. — В чем истинная слава народов. — Размышления о политике. — Нижегородский кремль. — Распродажа мебели из императорского дворца в московском Кремле. — Женский монастырь. — Воинский лагерь нижегородского губернатора. — Страсть к воинским учениям. — Пение солдат. — Строгановская церковь в Нижнем. —

Водевиль на русском языке.

Нижний, 25 августа 1839 года 935

Этим летом, при открытии ярмарки, губернатор собрал к себе умнейших российских купцов, съехавшихся в те дни в Нижний, и подробно рассказал им о несообразностях существующей в империи денежной системы, которые давно уже выяснились и вызывают множество жалоб.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Как вам известно, в России есть два вида денежных знаков, заменяющих S3E собою товары, — бумажные деньги и серебряная монета; но вам, быть может, неизвестно, что последняя (случай, кажется, единственный во всей истории финансов) все время меняет свое достоинство, тогда как ассигнации остаются неизменны; странность эта, объяснить которую можно было бы лишь при доскональном исследовании истории и политической экономии страны, влечет за собою необычное следствие: в России серебро замещает собою бумажные деньги, при том что последние и возникли, и существуют по закону лишь затем, чтоб замещать серебро.

Объяснив слушателям сию неправильность и показав все неприятности, из нее вытекающие, губернатор присовокупил, что государь в неусыпной своей заботе о благополучии народа и благоустройстве империи решился наконец устранить такой непорядок, углубление коего грозило нанести тяжкий вред внутренней торговле. Было признано, что есть одно лишь действенное средство — окончательно и бесповоротно установить достоинство серебряного рубля. Преобразование сие было совершено, по крайней мере на словах, императорским указом, который вы можете прочесть ниже (я сохранил номер «Journal de Pétersbourg», где он помещен); для претворения же его в жизнь губернатор в заключение речи своей сказал, что указ по воле государя вводится в действие незамедлительно, и, как надеются высшие государственные чиновники (в частности, он сам, нижегородский губернатор), никакие соображения частной выгоды не возобладают над долгом беспромедлительно повиноваться высочайшей воле.

Купечество, к мнению которого обратились в столь важном вопросе, отвечало, что мера эта, сама по себе благая, способна расстроить самые крепкие торговые состояния, если будет применена к ранее заключенным сделкам, которые на нынешней ярмарке должны были лишь совершиться окончательно. *Благословив* высочайшую мудрость Государя и выразив *восхищение* ею, купцы смиренно указали губернатору, что те из них, кто продал свои товары по цене, исчисленной по старой стоимости серебра, и добросовестно договорился об условиях расчета из того соотношения бумажного и серебряного рубля, что существовало в пору прошлогодней ярмарки, — окажутся теперь беззащитны против оправдываемой новым законом нечестности при расплате; а поскольку такой дозволенный обман лишит их прибыли или по крайней мере значительно сократит тот барыш, на который они вправе рассчитывать, то если настоящему указу будет придана обратная сила, они могут разориться: ведь указ вызовет множество мелких частных банкротств, а те не замедлят повлечь за собою и крупные.

Губернатор с мягкостью и спокойствием, которые господствуют в России при всех административных, финансовых и политических словопрениях, отвечал, что он *совершенно* входит в положение почтеннейших представителей купечества, имеющих свой интерес на ярмарочных торгах; но что, в конце концов, прискорбные последствия, коих они опасаются, грозят лишь некоторым частным лицам, *которые к тому же остаются под защитою существующих суровых законов* против банкротов, тогда как задержка в применении указа неизбежно имела бы вид известного ослушания, и подобный пример, будучи подан крупнейшим торговым

городом империи, имел бы куда опаснейшие последствия для страны, нежели разорение нескольких купцов, ибо такое разорение в конечном счете причинит вред лишь немногим лицам, тогда как неповиновение указу, одобренное и, прямо скажем, оправданное чиновниками, которые доселе пользовались доверием правительства, явилось бы посягательством на почтение к верховной власти, на государственное и финансовое ***единство*** России, то есть на жизненные устои всей империи; нет сомнения, добавил он, что почтеннейшее купечество, учтя сии решительные соображения, со всем усердием соблаговолит отвести от себя ***чудовищный*** упрек в заботе о частной своей выгоде вопреки государственным интересам и что даже тень преступного небрежения своим долгом подданных окажется для них страшнее любых денежных потерь, каковые им придется достойно перенести в своем добровольном повиновении и патриотическом рвении.

В итоге такого ***миролюбивого*** собеседования на другой день, при открытии ярмарки, было торжественно объявлено об ***обратной силе*** нового указа, который одобрили и обязались исполнять первейшие негоцианты империи.

Рассказал мне об этом, повторяю, сам губернатор, желая показать, сколь мягко действует механизм деспотического правления, облыжно осуждаемый в странах с либеральными учреждениями.

Я позволил себе спросить у этого милого и любезного наставника в тонкостях восточной политики, к чему же привела правительственная мера, а равно та бесцеремонность, с какою сочтено было уместным ввести ее в действие.

«Итог превзошел все мои надежды, — ответил губернатор с довольным видом. — Ни одного банкротства!.. Все новые сделки заключались по новой системе; но куда более удивительно другое: ни один должник, выплачивая старые долги, не воспользовался данною ему законом возможностью обмануть своих заимодавцев».

Признаться, поначалу такой итог показался мне ошеломительным, но потом, поразмыслив, я распознал в нем обыкновенную хитрость русских: изданному закону повинуются... лишь на бумаге; правительству же того и довольно. Действительно, его нетрудно удовлетворить, поскольку оно прежде всего и любою ценой добивается безропотности. Политическое состояние России можно кратко определить так: это страна, где правительство говорит все что пожелает, потому что только оно и вправе говорить. Так, в нашем случае правительство объявляет: «закон вошел в силу», — на самом же деле заинтересованные стороны по своему соглашению отменяют несправедливое применение этого закона к старым долгам. В другой стране, где власть не рубит сплеча, правительство остерегалось бы подвергать честного человека опасности потерять часть причитающихся денег по вине мошенников; изданный им закон, по всей справедливости, касался бы лишь будущих сделок. А здесь то же самое следствие получено из другой посылки, иными средствами. Для достижения этой цели необходимо было, чтобы взбалмошное безрассудство властей возмещалось изворотливостью подданных, оберегающею страну от выходок правительства.

Как бы неумеренно ни увлекались правители выдуманными теориями, некая скрытая сила почти всегда препятствует безрассудному применению теорий

ИЙ

на практике. Русским в высокой степени присущ торговый дух; ярмарочные купцы почуяли, что настоящий негоциант живет одним лишь кредитом, ради которого можно пойти на жертвы — они окупятся вдвойне. И это еще не все — была, очевидно, и другая причина, которая остановила людей нечестных и заставила умолкнуть слепую страсть к наживе. Поползновения их к банкротству пресекались просто-напросто страхом, этим подлинным властелином России. В данном случае неблагонамеренные купцы, должно быть, думали, что если дело дойдет до судебной тяжбы или просто получит слишком громкую огласку, то на них обрушатся и суд, и полиция, и уж тут-то так называемый закон будет применен со всею строгостью. Их могли посадить в тюрьму, избить палками, да мало ли что еще? быть может, и хуже! Вот по таким-то причинам, вдвойне веским при обычном для России общественном безгласии, они и выказали сей замечательный пример деловой честности, которым столь тщеславился передо мною нижегородский губернатор. На деле поразить меня ему удалось лишь на миг, ибо я не замедлил понять, что если русские купцы не разоряют друг друга, то такое их взаимное расположение имеет ту же подоплеку, что и благодушие ладожских матросов или петербургских крючников и извозчиков, — те тоже сдерживаются не из любви к ближнему, а из опаски, что в их дела вмешается начальство. Я промолчал, глядя, как г-н Бутурлин наслаждается моим изумлением.

— Невозможно понять все величие государя, — продолжал он, — не повидавши содеянного им, и особенно здесь, в Нижнем, где он сотворил настоящие чудеса.

— Прозорливость государя чрезвычайно восхищает меня, — отвечал я.

— Когда мы с вами осмотрим работы, которые выполняются здесь по велению его величества, вы восхититесь еще более. Как видите, благодаря энергическому его характеру и верному взгляду на вещи у нас словно по волшебству произошло упорядочение денежной системы, которое в иной стране потребовало бы бесчисленных предосторожностей.

Верноподданный чиновник скромно промолчал о своей собственной хитрости, проявленной в этом деле; также не дал он и мне времени пересказать ему то, что непрестанно твердят мне втихомолку злые языки, — а именно что всякая финансовая мера наподобие принятой нынче российским правительством предоставляет выгоды и для самой верховной власти, — о чем хорошо известно, но не говорится вслух при самодержавном правлении; не знаю, какие именно уловки использовались в сем случае; но, чтобы представить их себе, вообразим человека, которому некто доверил значительную сумму. Если он имеет власть по своему хотению утроить стоимость каждой из монет, составляющих эту сумму, то он, очевидно, может полностью возвратить владельцу доверенные ему деньги и вместе с тем две трети их оставить себе. Не утверждаю, что именно таков был итог принятой по указу императора меры, но, в числе прочего, допускаю и это — я стараюсь понять сплетни, быть может и клеветнические, распространяемые недовольными. Подобные люди также говорят, что прибыль от внезапно осуществленной по высочайшему указу реформы — отъятия у бумажных денег части их прежней стоимости и соответственно повышения достоинства серебряного рубля — предназначена была возместить личной казне государя расходы, которые

ой понес, когда взялся перестраивать Зимний дворец *за свой счет* и, дабы восхитить Европу и Россию своим великодушием, отклонил подношения от многих 936
городов, частных лиц и крупнейших негоциантов, которые рвались принять участие в обновлении этого государственного здания, служащего резиденцией главе всей империи.

На этом примере самовластного мошенничества, о котором я счел своим долгом рассказать во всех подробностях, можете вы судить о том, как низко ценится здесь правда, как немного стоят благороднейшие чувства и высокопарнейшие фразы, наконец о том, какая путаница в понятиях проистекает от такого вечного лицедейства. Чтобы жить в России, мало скрытности, требуется еще и притворство. Таиться — полезно, лицемерить же — необходимо; словом, предоставляю вам самому догадываться и судить о том, какие усилия вынуждены делать над собою благородные души и независимые умы, чтобы свыкнуться с таким правлением, где за покой и порядок платят унижением человеческого слова — этой священнейшей из способностей, дарованных небом человеку... В обычном обществе простой народ толкает вперед всю нацию, а правительство 936
его осаживает; здесь же правительство погоняет, а народ его сдерживает, ибо для поддержания политического механизма где-то обязательно должен присутствовать дух консерватизма. До сих пор в одной лишь России видел я пример столь странного политического явления, как указанная перемена понятий. При самодержавном деспотизме революционным оказывается правительство, потому что «революция» означает произвольное правление и насильственную власть.[1]

Губернатор сдержал свое обещание: он показал мне во всех подробностях работы, которые ведутся в Нижнем по велению государя, дабы всемерно украсить этот город и исправить ошибки его основателей. От берега Оки в верхний город (отделенный, как уже сказано, от нижнего весьма высокою кручей) должна быть проложена превосходная дорога, здесь засыплют овраги, сделают пологий спуск; прямо в толще горы пророю великолепные проемы, городские площади, здания и улицы будут опираться на мощные фундаменты; такие сооружения достойны крупного торгового города. Выемки в береговом откосе, мосты, эспланады, террасы однажды превратят Нижний в один из красивейших городов империи; во всем этом есть нечто грандиозное — но есть и нечто мелочное. Поскольку его величество взял город Нижний под свое особое попечительство, то, всякий раз как возникает хотя бы легкое затруднение при сооружении какой-нибудь стены, всякий раз как собираются обновить фасад старинного дома или же построить новый дом на одной из нижегородских улиц или набережных, — губернатор обязан изготовлять чертеж и представлять сей вопрос на разрешение государя. «Что за человек!» — восклицают русские. «Что за страна!» — воскликнул бы я, если б осмелился подать голос!!

По дороге г-н Бутурлин, чья любезность и гостеприимство выше всяких похвал и благодарностей, сообщил мне любопытные сведения о государственном

[1] Смотри в конце этого письма указ о денежной системе, взятый из «Journal de Pétersbourg» за 23 июля 1839 года.

управлении в России и об усовершенствованиях, каждодневно вводимых в положение крестьян благодаря развитию нравов.

Ныне крепостной может даже владеть землями от имени своего помещика, причем тот не вправе отступиться от *морального* обязательства, которое должен выдать своему рабу-богачу. Отнять у этого крестьянина плоды его трудов и промыслов было бы поступком бесчинным, и в царствование императора Николая на это не осмелился бы даже самый властительный боярин; но кто поручится, что он не решится на такое при другом государе? Кто поручится хотя бы за то, что и при нынешнем правлении, несмотря на достославное возвращение к справедливости, не найдется алчных и небогатых помещиков, которые сумеют, не обирая вассалов своих открыто, а лишь ловко сочетая угрозы с послаблениями, вымогать у раба по частям те богатства, что не решаются они отнять разом?

Только побывав в России, понимаешь всю ценность установлений, обеспечивающих народную свободу независимо от нрава вельмож. И впрямь: обедневший боярин может пожаловать свое имя владениям разбогатевшего вассала... а тому государство не дает права владеть ни пядью земли, ни даже заработанными им деньгами!! Но ведь такое двусмысленное, официально не узаконенное покровительство1зависит единственно от прихоти покровителя.

Как странны отношения между помещиком и крепостным! В них есть что-то ненадежное. Трудно рассчитывать на долговечность установлений, породивших столь диковинное устройство; а между тем установления эти живут прочно.

В России ничто не называется точным словом; любое сообщение здесь — обман, которого следует тщательно остерегаться. По идее все правила здесь так непреложны, что кажется, будто при таком строе и жить-то невозможно; а в действительности имеется так много исключений, что говоришь себе — при такой путанице противоречивых обычаев и привычек совершенно невозможно управлять государством. Чтоб верно представить себе состояние общества в России, нужно найти решение этой двойной задачи, то есть ту точку, в которой совпадают идея и ее воплощение, теория и практика.

Если верить достопочтенному нижегородскому губернатору, то все очень просто: от привычки к власти формы управления делаются мягкими и необременительными. В них крайне редко встречаются ныне самодурство, произвол, злоупотребления — оттого именно, что общественный строй зиждется на чрезвычайно суровых законах; всякий понимает, что обеспечить соблюдение этих законов, пренебрежение которыми привело бы в расстройство все государство, можно лишь применяя их редко и осмотрительно. Разглядывая вблизи действия деспотического правительства, убеждаешься в его мягкости (разумеется, по словам нижегородского губернатора); если власть и сохраняет в России какую-то силу, то лишь благодаря умеренности отправляющих ее людей. Постоянно находясь между аристократией, которой тем удобней злоупотреблять своими правами, что эти права нечетко определены, и народом, который тем охотней не считается со своим долгом, что требуемое от него повиновение не облагорожено нравственным чувством, — государственные чиновники для поддержания почтения к верховной власти вынуждены как можно реже пользоваться насильственными мерами;

такие меры вполне показали бы силу правительства, но оно полагает более уместным скрывать, а не обнажать имеющиеся у него средства. Если помещик совершит что-либо предосудительное, то губернатор несколько раз негласно предостережет его, прежде чем подвергнуть официальному порицанию; если же предупреждений и внушений окажется недостаточно, то в дворянском суде виновнику пригрозят взятием в опеку, и в дальнейшем, буде помещик не одумается, угроза осуществится.

Такая непомерная осторожность очень мало меня обнадеживает относительно участи крепостного, который успеет сто раз умереть под кнутом своего барина, прежде чем барина этого, осторожно предупредив и должным образом пожурив, потребуют наконец к ответу за чинимые им несправедливости и жестокости. Правда, и помещик, и губернатор, и судьи в любой день могут потерять свое положение и отправиться в Сибирь; но мне здесь видится скорее воображаемое утешение для несчастного народа, нежели подлинная и действенная мера защиты от произвола низшего начальства, всегда склонного злоупотреблять вверенною ему властью.

Простолюдины в частных своих распрях друг с другом очень редко обращаются в суд. Этот их зоркий инстинкт представляется верным признаком неправедности судей. Если люди редко затевают тяжбы, то тому могут быть две причины — либо справедливость подданных, либо несправедливость судей. В России почти все тяжбы прекращаются по решению властей, которые обычно со ,-***ют*** сторонам пойти на разорительную для обеих мировую; те, однако, предпочитают взаимно поступиться частью своих притязаний и даже самых бесспорных своих прав, лишь бы не вести опасную тяжбу наперекор чиновнику, которого наделил властью сам император. Теперь вам ясно, отчего русские могут хвалиться тем, как редко люди у них судятся друг с другом. Страх повсюду производит одно и то же благо — тишину, но без спокойствия.

Так неужели вам не жаль путешественника, очутившегося в обществе, где дела убеждают ничуть не более слов? Своим бахвальством русские производят на меня действие прямо противоположное тому, на какое рассчитывали: я сразу вижу, что меня пытаются морочить, и держусь настороже; оттого получается, что из беспристрастного наблюдателя, каким я был без их похвальбы, я невольно превращаюсь в наблюдателя враждебного.

Губернатор пожелал показать мне всю ярмарку; но на сей раз мы лишь быстро объехали ее в экипаже; я полюбовался превосходным ее видом, не хуже чем в панораме, — чтобы насладиться этою великолепною картиной, нужно подняться на верхушку одного из китайских павильонов, которые возвышаются над всем временным городком. Более всего поразило меня, какое огромное множество богатств ежегодно свозится сюда, в этот очаг промышленности, особенно если учесть, что он как бы затерян среди пустынь, окружающих его со всех сторон, сколько хватает глаз и воображения.

По словам губернатора, все товары, доставленные в этом году на Нижегородскую ярмарку, стоят более ста пятидесяти миллионов, судя по декларациям самих купцов, которые, в силу восточной недоверчивости, всегда занижают

стоимость привезенного ими. Хотя на Нижегородскую ярмарку присылают дань своих полей и промыслов все страны мира, однако значением своим это ежегодное торжище обязано прежде всего продовольствию, драгоценным камням, тканям и мехам, привозимым из Азии. Оттого иностранцы, привлеченные славою ярмарки, более всего дивятся, как много наезжает сюда татар, персиян, бухарцев; и все же, повторяю, сколь бы ни был велик размах торговли на ярмарке, мне, простому любопытствующему, она кажется менее значительною, чем ее расписывают. На это мне возразят, что в живописности она потеряла по вине императора Александра; действительно, он выпрямил и расширил ее улицы между торговых рядов, и прямизна их выглядит уныло. Только ведь в России угрюмо-безмолвным предстает все и вся; взаимным недоверием правительства и подданных отовсюду изгоняется радость. Даже умы здесь расчерчены по линейке, даже чувства взвешены, расчислены, соизмерены друг с другом, как будто любая страсть, любое удовольствие должны отвечать за свои последствия перед строгим исповедником в полицейском мундире. Всякий русский — словно поднадзорный школяр. В огромной этой школе под названием «Россия» жизнь течет размеренно и взвешенно, до тех пор пока нужда и тоска не сделаются совсем уж невыносимы, и тогда все сразу обрушивается. В такие дни наступают политические сатурналии. Однако ж, повторяю, отдельные ужасные происшествия такого рода не нарушают общего порядка. Порядок этот тем устойчивей и тем незыблемей, чем более он походит на смерть; ведь истреблять можно только живое. В России почтение к деспотической власти сливается с мыслью о вечности.

В Нижнем сейчас находятся несколько французов. Несмотря на горячую свою любовь к Франции — стране, которую я столько раз покидал, досадуя на вздорные затеи ее людей и клянясь никогда не возвращаться, и куда я, однако, всякий раз возвращаюсь и где надеюсь умереть; несмотря на такую безотчетно-патриотическую тягу к родным корням, которая во мне сильнее рассудка, я все же в странствиях своих, встречая в дальних краях множество соотечественников, не перестаю подмечать смешные черты французской молодежи и поражаться, сколь явственно выступают наши недостатки в окружении чужеземцев. Я потому толкую здесь о молодежи, что в этом возрасте душевные черты еще не так стерты под действием обстоятельств и характеры являются более отчетливо. Итак, следует признать, что наши молодые соотечественники выставляют себя на посмешище, простодушно пытаясь пустить пыль в глаза наивным обитателям других стран. В их представлениях столь прочно утвердилось превосходство всего французского, что оно даже не подлежит обсуждению и кажется им аксиомою, на которую впредь можно опираться без предварительных доказательств. Их непробиваемая самоуверенность, полнейшее самодовольство и самонадеянность, которая была бы искренно-простодушною, если б не сочеталась с известным остроумием, — ужасная смесь, порождающая чванство, зубоскальство и злословие; их образованность, обычно оторванная от воображения и превращающая человеческий ум в чердак, где кое-как сложены даты и факты для сухих, обесценивающих всякую истину ссылок, — ибо без души можно быть точным, но истину постичь нельзя; их вечная забота о своем тщеславии, заставляющая

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

в любой беседе выслеживать всякую высказанную или не высказанную другим мысль, чтобы обратить себе на пользу, — какая-то гонка за похвалами, где всегда побеждает тот, кто бесстыдней всех хвалит себя сам, кому каждое свое или чужое слово или дело приносит выгоду; их пренебрежение к людям, порой унизительное в своем простосердечии, когда бахвал даже не замечает, как оскорбляет окружающих своим самомнением (выдавая его вслух или втайне за справедливую оценку своих заслуг); их манера постоянно взывать к учтивости ближнего, которая в конечном счете есть не что иное, как совершенная неучтивость к нему; их нечувствительность и обидчивость, язвительный задор, возводимый в патриотический долг, способность чувствовать себя задетым даже при наилучшем к себе отношении и неспособность исправиться даже после самого сурового урока; наконец, непомерное любование собою, которым глупость, как щитом, прикрывается от правды, — все эти черты, к которым вы куда лучше меня сумеете прибавить и кое-какие другие, видятся мне в том поколении французов, что десять лет тому назад были молоды, а ныне превратились в зрелых людей. Подобные характеры подрывают уважение к нам среди чужеземцев; в Париже образцы таких причуд столь многочисленны, что на них больше не обращают внимания, и особого впечатления эти люди не производят, теряясь в толпе себе подобных, как звуки разных инструментов сливаются в оркестре; но стоит им предстать порознь, на фоне общества, где царят иные страсти и умственные навыки, чем те, что волнуют французский свет, как их изъяны делаются удручающе явными для всякого путешественника, который подобно мне любит свою страну. Судите же сами, как рад я был встретить здесь, на обеде у губернатора, г-на ***, одного из тех, кто в наши дни более всего способен дать иностранцам благоприятное представление о молодой Франции. Правда, по происхождению он принадлежит к Франции старой; но именно соединению новых взглядов со старинными преданиями обязан он отличающими его изящными манерами и верностью суждения. Он много повидал и хорошо о том рассказывает, о себе же самом думает не лучше, чем думают о нем другие, — быть может, даже чуть хуже; оттого было мне весьма поучительно и увлекательно услыхать после обеда его рассказ о повседневном опыте своей жизни в России. Обманутый некою петербургскою кокеткой, он нашел утешение от любовных разочарований в том, чтобы с удвоенным вниманием изучать эту страну. Он человек ясного ума, зоркий наблюдатель, точный рассказчик, что не мешает ему слушать других и даже — тут вспоминаются лучшие дни французского света — самому побуждать их высказываться. Беседуя с ним, поневоле проникаешься убеждением, будто изящное общество по-прежнему зиждется у нас на отношениях взаимной любезности; забываешь о том, что нынешние наши салоны заполнил грубый и неприкрытый эгоизм, и веришь, что светская общительность, как и прежде, выгодна для всех; но стоит задуматься, как старомодное это заблуждение развеивается, оставляя тебя во власти унылой действительности, где воры крадут мысли и остроты, где литераторы предают друг друга — одним словом, где царят законы войны, с наступлением мира единовластно возобладавшие в изящном свете. Не могу избавиться от таких печальных сближений, слушая приятную речь г-на ***

и сравнивая ее с речью его современников. Именно о манере беседовать, в еще
936 большей степени, чем о стиле книг, можно сказать, что это сам человек. Письменная речь поддается приукрашиванию, устная же нет — если ее приукрашивать, то от того больше потеряешь, чем выгадаешь; ибо в разговоре наигранность служит не личиной, а уликой.

Общество, собравшееся вчера на обед у губернатора, являло собою странное соединение противных начал; кроме молодого г-на ***, чей портрет набросан выше,
937 был там и еще один француз, некто доктор Р ***, который, как мне рассказали, плавал на государственном корабле к полюсу, зачем-то сошел на берег в Лапландии и из Архангельска прибыл прямо в Нижний, не заезжая даже в Петербург, — утомительное и бесполезное путешествие, которое способен вынести лишь человек железного сложения; действительно, вид у него как у бронзовой статуи; уверяют, что это ученый натуралист; лицо у него примечательное, в нем есть что-то неподвижное и вместе таинственное, захватывающее воображение. Что же до его рассказов — жду, когда он вернется во Францию, ибо в России он не рассказывает ничего. Русские хитрее его; они все время что-нибудь да говорят, правда, совсем не то, чего от них ожидают, но все же довольно, чтобы не выглядеть совсем бессловесными; наконец, присутствовало на обеде целое семейство молодых изысканных англичан из самого высшего круга, за которыми я неотвязно следую с самого своего приезда в Россию — повсюду их встречаю, никак не могу избежать этих встреч, но до сих пор так и не имел случая прямо свести с ними знакомство. Все это общество вкупе с местными чиновниками и другими местными жителями, которые открывали рот лишь для еды, разместилось за губернаторским столом. Нечего говорить, что в подобном кругу общей беседы быть не могло. Чтобы развлечься, оставалось только наблюдать пеструю смесь имен, физиономий и народностей. Женщины в русском обществе достигают естественности лишь путем тщательного воспитания; речь у них искусственная, взятая из книг; и чтоб избавиться от книжного педантства, им требуется зрелый опыт, знание людей и вещей. Нижегородская губернаторша все еще слишком провинциальна, слишком верна себе и своему русскому происхождению, одним словом, слишком правдива, чтоб казаться непринужденною, подобно придворным дамам; к тому же она не очень бегло говорит по-французски. Вчера, в салоне, ее роль ограничивалась тем, чтобы принимать гостей, выказывая похвальнейшее стремление к учтивости; но она ничего не делала для того, чтоб они чувствовали себя уютно, чтоб им легче было общаться между собой. Оттого был я весьма рад, вставши от стола, потолковать в уголке наедине с г-ном ***. Разговор наш близился к концу, так как все гости губернатора собирались расходиться, когда к соотечественнику моему подошел
935 знакомый с ним молодой лорд *** и церемонно попросил его представить нас друг другу. Сия лестная просьба была высказана юным англичанином с присущею его стране учтивостью, которая хоть и неизящна, но, несмотря на то или, пожалуй, благодаря тому, не лишена своеобразного благородства, состоящего в сдержанности чувств и холодности манер.

— Я уже давно, милорд, — отвечал я, — желал найти случай свести с вами знакомство и признателен вам за то, что вы сами это предлагаете. Нам в этом

году словно судьбою определено часто встречаться: надеюсь, в будущем я сумею лучше воспользоваться случаем, нежели удавалось мне до сих пор.

— Весьма жаль с вами расстаться, но я прямо сейчас уезжаю, — ответил англичанин.

— Мы еще увидимся в Москве.

— Нет, я еду в Польшу; карета уже у подъезда, и я выйду из нее только в Вильне.

Я чуть не рассмеялся, видя по лицу г-на ***, что он думает о том же, о чем и я: после того как мы целых три месяца — при дворе, в Петергофе, в Москве, да вообще повсюду — виделись с молодым лордом, ни разу не заговорив друг с другом, он мог бы и не доставлять сразу трем людям докуку светского знакомства, бесполезного для него и для нас. Казалось, после совместного обеда он при желании мог бы и поболтать с нами хоть четверть часа — ничто не мешало ему принять участие в нашем разговоре. Щепетильно-церемонный англичанин оставил 937
нас в недоумении от своей запоздалой, стеснительной и никчемной учтивости; сам же он, удаляясь, казался равно доволен и тем, что свел знакомство со мною, и тем, что никак не воспользовался этим *преимуществом,* если только то было преимущество.

Его неловкий поступок приводит мне на память другой случай, приключившийся с одной дамой.

Дело было в Лондоне. Главную роль в этой истории сыграла одна пленительная и остроумная полька, которая сама мне ее и рассказала. Изящество речей, глубина познаний, не говоря уже о родовитости, позволяют ей блистать, если даже не первенствовать, в высшем свете, несмотря на несчастья ее страны и семейства. Я намеренно говорю «несмотря»: ибо, что бы ни думали и ни утверждали любители громких фраз, несчастье ничем не помогает даже и в лучшем обществе; напротив, оно многому мешает. Однако же даме, о которой идет речь, оно не мешает слыть как в Париже, так и в Лондоне одною из изысканнейших и любезнейших женщин нашего времени. Будучи приглашена на большой званый обед, она скучала, сидя за столом между хозяином дома и каким-то незнакомцем; скучать ей пришлось долго — хотя в Англии и начинает проходить мода на бесконечные обеды, они все же до сих пор тянутся там дольше, чем в других странах; терпеливо снося эту муку, дама пыталась разнообразить круг своего общения, и как только хозяин на миг оставлял ее в покое, оборачивалась к своему соседу справа; но всякий раз она видела перед собою каменное лицо, и такая неподатливость ее обескураживала, несмотря на всю ее аристократическую непринужденность и живое остроумие. Так, в унынии, и прошел этот обед; но и после него все хранили мрачную серьезность; безрадостное выражение столь же неотъемлемо от лица англичан, как мундир от солдата. Вечером мужчины вновь встретились с женщинами в салоне, и тут, не успела рассказчица этой истории заметить своего соседа слева, столь непроницаемого за обедом, как тот, даже не взглянувши на нее, устремился через всю комнату к хозяину и с торжественным видом попросил представить его любезной иностранке. Когда совершились все требуемые церемонии, сосед наконец-то открыл

рот и, набравши полную грудь воздуху, произнес с почтительным поклоном: «Мне ***не терпелось,*** сударыня, познакомиться с вами».

От такой ***нетерпеливости*** дама чуть было не расхохоталась, совладав с собою лишь благодаря светской опытности; в конце концов она обнаружила, что церемонный гость на самом деле человек образованный и даже обаятельный, — так мало значат внешние формы в стране, где заносчивость делает большинство людей нерешительными и необщительными.

Это доказывает нам, что непринужденность манер, легкость в беседе, одним словом, истинная элегантность, требующая добиваться для любого встреченного в салоне человека такого же удовольствия, как и для себя, — что все это отнюдь не пустое и неважное дело, как считают те, кто судит о свете лишь понаслышке, но полезный и даже необходимый навык для жизни в высшем обществе, где дела или же развлечения непрестанно сводят вместе незнакомых между собою людей. Если б для знакомства с ними требовалось всякий раз затрачивать столько же терпения, сколько понадобилось мне или же польской даме, чтобы получить право обменяться парою слов с англичанином, то пришлось бы просто отказываться от таких знакомств... которые зачастую бывают весьма познавательны или занятны.

Нынче утром губернатор, чья любезность не знает устали, заехал за мною, чтобы показать достопримечательности старого города. При нем были слуги, что избавило меня от необходимости вторично испытывать послушание своего фельдъегеря, с притязаниями которого губернатор склонен считаться.

Этот мой курьер, не желающий более выполнять свою работу, поскольку уже предвкушает чаемые им дворянские привилегии, — прекомичный образец той породы людей, какую я описал выше и какой не встретишь нигде, кроме России.

Хотел бы я описать вам его тонкую талию, ухоженное платье — ухоженное не затем, чтобы иметь лучший вид, но в качестве знака, показывающего, что человек достиг почтенного положения в обществе; выражение его лица — хитрое, жесткое, сухое и низменное, которому еще предстоит сделаться надменным; наконец, весь характер этого глупца, живущего в стране, где глупость отнюдь не безобидна, как у нас, ибо в России она всегда пробьет себе путь, если только призовет на помощь угодливость; однако этот малый ускользает от всякого описания, как уж ускользает от взгляда... Меня этот человек пугает, словно некое чудовище; он порождение двух политических сил, внешне совершенно противоположных, но на деле во многом близких и в сочетании своем особенно ужасных, — деспотизма и революции!! Я не решаюсь заглядывать в его глаза мутно-голубого цвета с белобрысыми, почти бесцветными ресницами; не могу видеть его лица, загорелого на солнце и потемневшего от кипящей в душе постоянно сдерживаемой злобы; не могу видеть его бледных поджатых губ, не могу слушать его жеманную и вместе отрывистую речь, чья интонация прямо противоречит смыслу сказанного, — всякий раз мне думается, что это приставленный ко мне шпион-провожатый, с которым считается даже сам нижегородский губернатор; при мысли этой мне хочется взять почтовых лошадей и бежать прочь из России, не останавливаясь до самой границы.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Могущественный нижегородский губернатор не осмелился принудить самолюбивого курьера сесть на передок моей коляски; в ответ на жалобу мою этот важный и могущественный чиновник, представляющий здесь верховную власть, лишь посоветовал мне быть терпеливым!! Так кто же обладает силою в подобном государстве?

Как вы сейчас увидите, даже смерть не дает прочного покоя в этой стране, беспрестанно потрясаемой деспотическими прихотями.

В Нижнем похоронен Минин, тот самый крестьянин-герой, освободитель России, чью память стали особенно чтить после французского нашествия. Гробницу его можно видеть в городском соборе рядом с гробницами нижегородских великих князей.

Именно из Нижнего в ту пору, когда страна была захвачена поляками, раздался призыв к освобождению.

Простой крепостной крестьянин Минин пришел к знатному дворянину Пожарскому; речи его были полны воодушевления и надежды. Воспламененный суровым и святым словом Минина, Пожарский собрал небольшую дружину; своим мужеством эти благородные герои привлекли к себе других, ополчение двинулось походом на Москву, и Россия была освобождена.

После отступления поляков стяг Пожарского и Минина неизменно был у русских предметом почитания; его берегли как общенародную реликвию крестьяне одного из сел между Ярославлем и Нижним. Однако в 1812 году, стремясь поднять дух солдат, власти решили оживить исторические воспоминания, в особенности память о Минине, и испросили у хранителя мининского стяга сей палладиум, дабы новейшие освободители отечества несли его во главе войска. Блюстители национального сокровища согласились расстаться с ним лишь из любви к родине и под клятвенное обещание вернуть им стяг после победы покрытым славою новых триумфов. Итак, стяг Минина преследовал нашу отступавшую армию; затем он был привезен в Москву, однако законным владельцам его не вернули; пренебрегая торжественными клятвами, его поместили в сокровищницу Кремля; а в ответ на справедливые жалобы крестьян, лишенных своего достояния, им послали копию чудесного знамени — как сказали им с насмешливой снисходительностью, в точности похожую на подлинник.

Таковы уроки нравственности и добросовестности, которые русское правительство преподает своему народу. Впрочем, в другой стране такое же правительство вело бы себя иначе: плуты всегда точно знают, с кем имеют дело; между обманщиком и обманутым существует совершенное сходство, и различаются они лишь силою.

Мало того, сейчас вы убедитесь, что в этой стране с исторической правдой считаются не больше, чем с клятвенным обещанием; здесь так же невозможно определить подлинность священных камней, как и достоверность слов и документов. В каждое новое правление исторические здания преображаются заново, словно бесформенная глина, по воле государя; и благодаря нелепой страсти, громко именуемой прогрессивным развитием цивилизации, ни одно здание не остается стоять на том месте, где было поставлено при основании; даже могилы не защищены от бурь

императорской прихоти. В России и мертвые должны повиноваться причудам того, кто царит над живыми. Так и императору Николаю, который ныне ничтоже сумняшеся занялся архитектурою и перестраивает Кремль в Москве, подобные дела уже не впервой; ему уже случалось заниматься ими в Нижнем.

Войдя нынче утром в городской собор, я был взволнован его видимою ветхостью; я думал, что коль скоро здесь находится гробница Минина, то, значит, здание это стоит в неприкосновенности более двухсот лет; от такой уверенности я находил вид его еще более величественным.

Губернатор подвел меня к усыпальнице героя; его могила неотличима от надгробий старинных владетелей Нижнего, и император Николай, придя посетить ее, в патриотизме своем изволил спуститься прямо в подземелье, где покоится тело.

— Вот один из самых красивых и примечательных храмов, какие мне довелось видеть в вашей стране, — сказал я губернатору.

— Это я его выстроил, — отвечал г-н Бутурлин.

— Как? Что вы хотите сказать? Вы, вероятно, восстановили его?

— Да нет; старый храм совсем обветшал; государь счел за лучшее не чинить его, а отстроить целиком заново; еще менее двух лет назад он стоял на пятьдесят шагов дальше и выступал из ряда прочих зданий, так что портил план нашего кремля.

— А как же кости Минина, его останки? — воскликнул я.

— Их выкопали вместе с останками великих князей, похороненных прежде; теперь все они в новой усыпальнице — вот под этим камнем.

Мне невозможно было бы ответить нижегородскому губернатору, не перевернув все понятия в голове человека, столь истово преданного долгу; молча последовал я за ним смотреть небольшой обелиск на площади и огромные крепостные стены этого кремля.

Теперь вы знаете, как понимают здесь уважение к праху мертвых, почитание памятников старины и поклонение изящным искусствам! Притом император, зная, что старина заслуживает почтения, пожелал, чтоб церковь-новостройку чтили наравне с прежнею: как же он поступил? объявил ее старинною, и она такою стала; так власть берет здесь на себя роль божества. Новый храм Минина в Нижнем является старинным, а ежели вы сомневаетесь в сей истине, то вы просто бунтовщик.

Единственное искусство, в котором преуспели русские, — это искусство подражать зодчеству и живописи Византии; лучше всякого другого современного народа они умеют изготовлять старину, — оттого-то сами ее и не имеют.

Везде и всюду здесь один и тот же порядок, учрежденный Петром Великим и продолженный его преемниками, которые всего лишь учились у него. Сей железный человек счел и доказал, что волею московского царя можно заменить все — законы природы, правила искусства, истину, историю, человечность, кровные узы, религию. Почитая и поныне этого бесчеловечного человека, русские выказывают себя более тщеславными, нежели рассудительными. «Поглядите, — говорят они, — чем была Россия для Европы до пришествия великого государя и чем стала она после его царствования; вот чего может добиться гениальный

властитель...» Подобным способом нельзя оценивать славу народа. Надменное стремление оказывать влияние на чужую жизнь — это материализм в политике. В числе цивилизованнейших стран мира есть государства, имеющие власть только над своими собственными подданными, да и то немногочисленными; в мировой политике государства эти ничего не значат; их правительства по праву добились всеобщей признательности не кровавыми завоеваниями и не угнетением других народов, но лишь благим примером, мудрыми законами, просвещенным руководством. Обладая такими достоинствами, небольшой народ может сделаться не захватчиком и не угнетателем, но светочем для всего мира, что стократ предпочтительнее.

Приходится лишь сожалеть, что эти простые, но мудрые понятия еще столь чужды даже самым лучшим, самым блестящим умам, и не только в России, но и во всех странах, особенно же во Франции. Мы по-прежнему заворожены войною и захватами, мы по-прежнему не внемлем урокам, получаемым и от Бога небесного, и от бога земного, имя которому — выгода; и все же я не теряю надежды, ибо при всех заблуждениях наших мыслителей, при всей циничности нашего языка и при всей привычке клеветать на самих себя мы все-таки остаемся народом глубоко верующим... Право же, тут нет парадокса: мы беззаветнее всех на свете преданы своим идеям; а разве для христианских народов идеи не заменяют собою кумиров? 937

К несчастью, в наших предпочтениях мы недостаточно разборчивы и независимы; прежнего кумира, ставшего презренным, мы не умеем отличить от того, которому должно поклоняться. Надеюсь дожить до той поры, когда у нас будет разбит кровавый идол войны, грубой силы. Народу всегда хватает и могущества и земли, когда у него есть мужество жить и умирать за правду, неустанно преследуя заблуждение, проливая кровь в борьбе против лжи и несправедливости и по праву славясь сими высокими добродетелями! Афины были ничтожною точкой на земле; но точка эта сделалась светилом всей древней цивилизации; и в то время как светило это сияло ярким блеском, сколь много других народов, могучих своею численностью и обширностью земель, жили войнами и захватами и умирали от никчемного и безвестного истощения! Перегной людских поколений дает урожай лишь на почве, взрыхленной просвещением. Что бы значила сейчас Германия, господствуй повсюду устарелые понятия завоевательной политики? А между тем, несмотря на свою раздробленность, на материальную слабость составляющих ее мелких государств, Германия ныне благодаря своим поэтам, мыслителям, ученым, благодаря разнообразию в государственном строе ее частей, где есть и князья и республики, соперничающие не в могуществе, но в просвещенности, в высоте чувств, в проницательности ума, — по уровню цивилизации стоит никак не ниже самых передовых стран мира. 938

Народы обретают право на признательность человечества не тогда, когда алчно поглядывают на соседей, а когда обращают все силы свои на себя, добиваясь высших достижений как в духовной, так и в материальной цивилизации. Подобная заслуга настолько же почетней, чем доблесть, насаждаемая мечом, насколько вообще добродетель стоит выше славы...

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Устарелое выражение «первостепенная держава», применяемое в политике, еще долго будет причиною наших бед. Самолюбие — привычка, глубже всех укорененная в человеке; а потому Бог, основавший учение свое на смирении, — истинный Бог даже со здраво политической точки зрения, ибо только он один указал нам путь бесконечного прогресса, прогресса всецело духовного, то есть внутреннего; однако свет вот уже восемнадцать столетий никак не поверит его слову; и все же слово это, сколько бы его ни отрицали и ни оспаривали, составляет для нас источник жизни; как же много дало бы это слово неблагодарному свету, будь оно принято всеми с верою? Применить евангельскую мораль в международной политике — такова задача будущего! Европа, с ее старыми, глубоко цивилизованными народами, послужит тем святилищем, откуда сияние веры
938 вновь разольется по вселенной.

Мощные укрепления нижегородского кремля извиваются вдоль обрыва гораздо более высокого и крутого, чем холм Кремля московского. Ступенчатые стены, зубцы, откосы, арки этих укреплений представляют множество живописных видов; и все же, несмотря на красоту местности, напрасно было б ожидать здесь того волнения, что вызывает московский Кремль — священная крепость, самый облик которой заслуживает исторического описания; там история запечатлена в камне. Московский Кремль — вещь неповторимая, единственная в России и во всем мире.

Кстати, мне хотелось бы добавить здесь одну подробность, упущенную в прежних письмах.

Как вы помните из моего описания, старый царский дворец в Кремле, со своими уступчатыми этажами, рельефными украшениями и азиатскою росписью, напоминает индийскую пирамиду. Мебель во дворце загрязнилась и обветшала; и вот в Москву были посланы искусные краснодеревцы и обойщики, сделавшие *точные копии* старинных предметов. Эта мебель, оставшаяся *прежнею,* хоть и полностью изготовленная заново, украшает теперь обновленный, свежеоштукатуренный и расписанный и вместе с тем оставшийся старинным дворец — сущее чудо! Так вот, когда заново построенная старая мебель разместилась в обновленном дворце, то остатки подлинной старой мебели были там же, в Москве, проданы с молотка у всех на виду. В стране, где почтение к верховной власти является священным, не сыскалось никого, кто пожелал бы уберечь предметы царской обстановки от участи заурядной рухляди или же просто возмутился бы такою вопиющею непочтительностью. Когда здесь говорят «держать у себя старинные вещи», то это значит, что новым изделиям даются старые названия; починять предметы старины — значит делать из их остатков современные вещи; на мой взгляд, такая «починка» есть просто варварство.

Мы посетили красивый женский монастырь; сами монахини выглядят бедно, но в доме у них царит примернейшая чистота. Вслед за сим приютом благочестия губернатор повез меня смотреть свой воинский лагерь: здесь всюду господствует страсть к воинским упражнениям, парадам и бивуакам. Губернаторы живут так же, как и император, — играют в солдатиков, командуя полковыми учениями; и чем большее собирается при этом войско, тем более они гордятся

сходством своим с государем. В нижегородском воинском лагере стоят полки, собранные из солдатских сыновей; был уже вечер, когда подъехали мы к их палаткам; они размещены на равнине, продолжающей собою возвышенный берег, на котором стоит старый город.

Вдали, на открытом воздухе, шестьсот человек разом пели молитву, и этот военно-религиозный хор производил поразительное впечатление: как будто под чистым и глубоким небом величественно подымалось ввысь благовонное облако; молитва, исторгающаяся из человеческой души, полной страданий и страстей, подобна столбу огня и дыма, что вздымается из развороченного кратера вулкана и достигает небосвода. И кто знает — не в том ли смысл огненного столпа, который видели сыны Израилевы в бесконечных своих блужданиях по пустыне? Голоса бедных славянских солдат издалека звучали мягче и как бы с высоты; когда до слуха нашего донеслись первые созвучья, их палатки еще были скрыты складкою равнины. Эти небесные голоса отзывались слабым эхом на земле, и музыка их прерывалась воинственным оркестром — ружейными залпами, что раздавались в отдалении, звуча, казалось, не громче барабанов в Опере, и притом куда уместнее. Когда же взору нашему открылись хижины, откуда неслись столь гармонические звуки, то опалившие палаточный холст лучи заходящего солнца прибавили к очарованию звуков еще и волшебство красок.

Губернатор, видя, с каким удовольствием слушаю я эту музыку под открытым небом, дал мне вволю ею насладиться, наслаждаясь и сам, ибо этого истинно гостеприимного человека ничто так не радует, как возможность порадовать гостей. Лучший способ засвидетельствовать ему свою признательность — показать, что вы довольны.

Из нашей поездки воротились мы уже в сумерках и, снова попав в нижний город, остановились у церкви, которая привлекала мой взор с самого приезда в Нижний. Это настоящий образец русской архитектуры — не в древнегреческом, не в греко-византийском стиле, а вроде фаянсовой игрушки, как московский Кремль или же храм Василия Блаженного, только не столь пестрый по расцветке и формам. Здание это, частью кирпичное, частью оштукатуренное, украшает собою нижнюю улицу, красивейшую во всем городе; впрочем, оно покрыто такими причудливыми лепными узорами, таким множеством ложных колонок, цветов, розеток, что при виде столь богато изукрашенного храма невольно приходит на ум большая настольная ваза саксонского фарфора. Этот шедевр прихотливого стиля построен недавно, от щедрот семейства Строгановых — знатных вельмож, ведущих род свой от первых русских купцов, которых обогатило завоевание Сибири при Иване IV. Тогдашние братья Строгановы сами набрали войско бесстрашных завоевателей, которые и присоединили к России целое царство. Их солдаты были словно сухопутные флибустьеры.

Внутренность Строгановской церкви не отвечает ее внешности, и все же в целом я решительно предпочитаю это причудливое сооружение тем неловким копиям римских храмов, что громоздятся на площадях Петербурга и Москвы.

День наш завершился посещением оперного театра на ярмарке, где давали русский водевиль. Подобные водевили опять-таки не что иное, как переводы

с французского. Местные жители, кажется, весьма горды этою заграничного новинкой. О воздействии представления на души зрителей судить я не мог, поскольку зал был в полном смысле слова пуст. Помимо чувства скуки и жалости к незадачливым актерам, игравшим без публики, спектакль этот вновь возбудил во мне то неприятное впечатление, какое всегда производит на наших театрах смешение разговорных и музыкальных сцен; вообразите же себе это варварство, но без французской остроты и колкости; не будь рядом губернатора, я бы сбежал еще в первом акте; однако пришлось терпеть до конца представления.

Чтоб развеять скуку, я целую ночь писал вам письмо, но от таких усилий сделался совсем болен. Меня лихорадит, ложусь спать.

МАНИФЕСТ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

Мы, Николай Первый, милостью Божьей император и самодержец, и т. д.

Разные перемены, временем и силою обстоятельств в нашей денежной системе произведенные, имели последствием не только присвоение государственным ассигнациям, вопреки первоначальному их назначению, первенства над серебром, составляющим основную империи нашей монету, но и возрождение, чрез то самое, многообразных лажей, в каждой местности различных.

Убеждаясь в необходимости положить, без всякого отлагательства, конец сим колебаниям, нарушающим единство и стройность нашей монетной системы и влекущим за собою потери и затруднения разного рода для всяких сословий в государстве, мы, во всегдашней попечительности о пользах наших верноподданных, признали за благо принять решительные меры к пресечению происходящих от сего неудобств и к упреждению оных на будущее время.

Вследствие того, по подробном обсуждении всех принадлежащих сюда вопросов в Государственном совете, постановляем нижеследующее:

1. В восстановление правила Манифеста блаженной памяти императора Александра 1-го 20 июня 1810 года, серебряная российского чекана монета отныне впредь установляется главною государственною платежного монетою, а серебряный рубль, настоящего достоинства и с настоящими его подразделениями, главною, непременяемою законною мерою (монетною единицею) обращающихся в государстве денег; соответственно чему все подати, повинности и сборы, а также разные платежи и штатные расходы, в свое время имеют быть исчислены на серебро.

2. При таковом установлении серебра главною платежного монетою, государственные ассигнации, согласно первоначальному их назначению, остаются вспомогательным знаком ценности, с определением им отныне впредь единожды навсегда постоянного и неприменяемого на серебро курса, считая серебряный рубль, как в крупной, так и в мелкой монете, в три рубля пятьдесят копеек ассигнациями.

3. По сему постоянному и неприменяемому курсу предоставляется на волю плательщиков вносить как серебряною монетою, так и ассигнациями: а) все казенные подати и повинности, земские, мирские и другие сборы и все вообще казною предназначенные и ей следующие платежи; б) все платежи по особым таксам, как

наприм. почтовые и весовые деньги, прогоны, за соль, за откупные напитки, гербовую бумагу, паспорта, бандероли (табачные) и проч., и в) все платежи, следующие государственным кредитным установлениям, приказам общественного призрения и частным, правительством учрежденным, банкам.

4. Равным образом и все штатные расходы, а равно все вообще платежи из казны и кредитных установлений и проценты по билетам Государственного казначейства и по государственным фондам, на ассигнации исчисленным, будут производимы по тому же самому постоянному курсу, серебром или ассигнациями, соображаясь с наличностию того или другого рода денег.

5. Все платежи и выдачи вышепоименованные имеют быть производимы по означенному курсу со дня обнародования настоящего манифеста. Но курс податный, который на нынешний год — в ожидании принятия окончательных по сему предмету мер — оставлен был в 360 копеек, как уже утвержденный, сохраняет сей размер свой и впредь по 1840 год в отношении собственно податей, повинностей и других платежей, в ст. 3, лит. *а и б*, означенных, равно как и по всем штатным и тому подобным определительным из казны выдачам. На том же основании, по неудобству для торгового сословия всякой перемены в середине года, оставляется по 1840 год и настоящий курс таможенный.

6. Все счеты, условия и вообще всякого рода сделки, как в делах казны с частными лицами и обратно частных лиц с казною, так и во всех вообще делах частных людей между собою, отныне имеют быть производимы и совершаемы единственно на серебряную монету. Поелику же, по обширности империи, правило сие не может воспринять действия своего вдруг на всем ее пространстве, то оное делается во всей своей силе обязательным с 1 января 1840 года, и с того времени ни присутственные места, ни маклера и нотариусы не должны принимать к совершению и засвидетельствованию никаких сделок на ассигнации, под собственною их в том ответственностию. Но самые платежи по всем, как прежним, на ассигнации совершенным, так и новым, на одно лишь серебро постановляемым обязательствам, сделкам и условиям, дозволяется производить без различия серебром и ассигнациями, по курсу, выше во 2 статье постановленному, и никто не имеет права отказаться от приема, по сему курсу, того или другого рода денег без различия.

7. Размер ссуд из государственных кредитных установлений (под залог помещичьих земель) отныне определяется равномерно на серебро, полагая по семидесяти пяти, шестидесяти и сорока рублей серебром на ревизскую мужеского пола душу.

8. Для открытия всех путей к свободному размену вменяется уездным казначействам в обязанность производить, по мере находящихся в них налицо сумм, обмены по тому же курсу, в 3 р. 50 к., ассигнаций на серебро и обратно серебра на ассигнации, каждому приносителю суммою в одни руки до ста рублей серебром, ассигнациями же в соразмерности тому.

9. Засим присвоение ассигнациям какого-либо иного курса, кроме вышепостановленного, равно и надбавка на серебро и на ассигнации какого-либо лажа, или употребление при новых сделках так называемого счета на монету строжайше воспрещается. Биржевой же вексельный курс, а равно всякого рода показания

в биржевых ярлыках, прейскурантах и проч. означать отныне на серебро, и курса ассигнациям на биржах впредь вовсе уже не отмечать.

10. Золотая монета в казну и в кредитные установления принимается и под них выдается 3% выше нарицательной ее ценности, именно: империал в 10 р. 30 к. и полуимпериал в 5 р. 15 к. серебром.

11. Дабы устранить всякий повод к стеснениям, казначействам и кредитным установлениям поставляется в обязанность отнюдь не отказывать приносителям в приеме монеты российского, как старого, так и нового чекана, под одним предлогом неясности знаков или легковесности, если только распознать можно наружные изображения штемпеля, возвращая одну монету обрезанную, проколотую или испиленную.

12. Медной, находящейся ныне в обращении монете, впредь до передела оной по счету на серебро, присвояется хождение на следующем основании: а) в отношении к серебру считать три с половиною копейки медью (как 36, так и 24-рублевого в пуде достоинства) за одну копейку серебром, и б) монету сию принимать казне — в подати, повинности и во все прочие платежи, по-прежнему, во всяком количестве, кроме тех только платежей, где количество вноса сей монеты определено именно в самых контрактах; кредитным установлениям — не более как на десять копеек серебром, а между частными лицами по обоюдному в отношении количества соглашению.

Дано в Санкт-Петербурге, первого числа июля месяца года от Рождества Христова тысяча восемьсот тридцать девятого, от царствования же нашего начала четырнадцатого.

Подпись: Николай

В тот же день его императорское величество соизволил направить следующий указ правительствующему Сенату:

По представлению министра финансов, в Государственном совете рассмотренному, повелеваем: для умножения легкоподвижных знаков учредить с 1-го января 1840 года при Государственном коммерческом банке особую Депозитную кассу серебряной монеты, на следующем основании:

1. В кассу сию принимать от приносителей для хранения вклады серебряною монетою российского чекана.

2. Поступающую в Депозитную кассу монету хранить неприкосновенно и отдельно от сумм Коммерческого банка, под ответственностию сего банка и под наблюдением особых директоров из членов Совета государственных кредитных установлений, и ни на какой иной расход, как только для обратного промена, не употреблять.

3. Взамен вкладов Депозитная касса выдает билеты под названием «билеты Депозитной кассы», на первый раз достоинством в три, пять, десять и двадцать пять рублей серебром; впоследствии же, по ближайшему усмотрению надобности, могут выпускаемы быть билеты в один, пятьдесят и сто рублей серебром.

4. Билеты сии изготовляются по особой форме, с подписью товарища управляющего Коммерческим банком, одного директора и кассира и с означением на обороте извлечения из правил о депозитных вкладах. Министр финансов образцы

сих билетов представит в свое время правительствующему Сенату и разошлет во все министерства, главные управления и казенные палаты. Они должны быть прибиты и на всех купеческих биржах.

5. Билетам Депозитной кассы присвояется хождение по всей империи наравне с серебряною монетою, без всякого лажа, по всем внутренним платежам и обязательствам как частных лиц с казною и кредитными установлениями, и взаимно казны и кредитных установлений с частными лицами, так равно сих последних между собою.

6. По предъявлении билетов в Депозитную кассу предъявителю выдается немедленно, без малейшей остановки и без всякого вычета за обмен и хранение, подлежащее количество серебряною монетою.

7. Выплаченные билеты хранятся отдельно и, в случае годности к обращению, выпускаются опять под новые депозиты или на обмен ветхих билетов, в кассу предъявленных.

8. Пересылка билетов Депозитной кассы чрез почту производится с платежом страховых денег и весовых с пакетов.

9. За подделку их поступают по тем же узаконениям, какие существуют насчет подделки государственных бумаг.

Примечание. Прием в Коммерческий банк драгоценных металлов в слитках и посуде на хранение оставляется на основании действующих о том правил.

10. Для производства дел Депозитной кассы, равно как и по вносимым на хранение драгоценным металлам в слитках и посуде (ст. 9), учреждается при Коммерческом банке, по прилагаемому при сем штату, особая экспедиция Депозитной кассы, под общим наблюдением управляющего банком и под ближайшим заведованием товарища управляющего, из двух директоров: старшего и младшего, и двух избираемых от купечества, с определенным числом чиновников и с обращением издержек на счет прибылей банка.

11. Постановление подобных правил, как по устройству внутреннего порядка производства письменных и счетных дел, так равно по хранению сумм и по всем вообще действиям Депозитной кассы и ее экспедиции, предоставляется министру финансов, по применению к подобным правилам, для кредитных установлений существующим, и по предварительному соглашению с Государственным контролером, с тем чтобы о сделанных распоряжениях доведено было, в свое время, до сведения Совета государственных кредитных установлений.

12. Для поверки действий Депозитной кассы, сверх внутреннего контроля, учреждается еще другой высший, со стороны Совета кредитных установлений, а для наблюдения за целостным хранением вкладов Совету сему избирать ежегодно из среды своей по одному депутату от дворянства и от купечества, которые должны участвовать в ежемесячных свидетельствах сумм и оборотов и делать внезапные ревизии. Операции Депозитной кассы входят в отчет Коммерческого банка.

Санкт-Петербург, 1 июля 1839 года
Подпись: Николай

(Прилагаются штаты и расходы Депозитной кассы.)

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

Убийство немца-помещика. — До чего доходит неприязнь русских к нововведениям. — Мелкие бунты и их последствия. — Влияние правительства: порочный круг. — Бескорыстное раболепство крестьян. — Противоречие между установлениями и обычаями. — Заблуждение русских крепостных. — Ссылка в Сибирь г-на Гибаля. — Рассказ о ведьме. — Слова одного вельможи, крестьянского внука. — Как русские друзья выхаживали от болезни молодого иностранца. — Случай с француженкой, провалившейся в люк. — Любовь к ближнему у русских. — Привязанность русской дамы к могилам своих мужей. — Тщеславная причуда разбогатевшего офицера. — Последние дни моего пребывания в Нижнем. — Пение цыганок на ярмарке. — Воздаяние низшим классам и униженным народам. — Главная идея драм Виктора Гюго. — Вечерняя гроза в Нижнем. — Недуг, вызванный нижегородским воздухом. — Я отказываюсь от поездки в Казань. — Совет врача. — Фельдъегерь и слуга. — Что думают русские о состоянии Франции. — Владимир. — Его окрестности. — Оскудение лесов. — Почему трудно путешествовать без фельдъегеря. — Ложная деликатность, которую русские пытаются навязать иностранцам. — Вредная централизация власти. — Встреча с большим черным слоном, которого послал императору персидский шах. — Мне грозит опасность. — Мой камердинер-итальянец не теряет присутствия духа. — Описание слона. — Возвращение в Москву. — Прощание с Кремлем. — Как действует приближение императора. — Заразительность примера. — Военные торжества в Бородине. — Временные городки. — Каким образом император повелел разыгрывать представление Московского, или Бородинского, сражения. — Почему я ослушался императора. — Памятник в честь князя Багратиона; князь Витгенштейн позабыт. — Действие лжи. — Императорский приказ. — Перекрашивание истории.

Владимир, между Нижним и Москвою,
939 *2 сентября 1839 года*

I

В Нижнем некто г-н Жаман рассказал мне, что недавно у себя в имении — по соседству с владениями г-на Мерлина, еще одного иностранца, благодаря которому история эта и сделалась известна, — был убит новый помещик-немец, известный знаток земледелия и рьяный проповедник новых способов севооборота, до сих пор неупотребительных в здешних краях.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

К помещику явились двое якобы для покупки лошадей, вечером вошли к нему в комнату и убили его. Как утверждают, все это подстроили принадлежавшие убитому крестьяне в отместку за нововведения в возделывании полей, которым иностранец пытался их научить. Народ в этой стране питает неприязнь ко всему нерусскому. Мне не раз говорили, что в один прекрасный день он перережет всех безбородых от края до края империи: русские опознают друг друга по бороде.

В глазах крестьян, если русский бреет себе подбородок, то он изменник, продавшийся иноземцам, и сам достоин разделить их участь. Как же, однако, наказать устроителей такой «московской вечерни»? Ведь всю Россию в Сибирь не сошлешь. Можно выселить обитателей одной деревни, но невозможно отправить в ссылку целую губернию. Кстати, по отношению к крестьянам такого рода наказание бьет мимо цели. Для русского родина — всюду, где долго тянутся зимы; снег везде выглядит одинаково — как белый саван, укутывающий землю, будь он в толщину шести дюймов или шести футов; оттого русский чувствует себя как дома, куда бы его ни сослали, лишь бы ему дали там построить себе сани и избу. В пустынях Севера создать себе новую родину стоит недорого. Для человека, не видавшего в жизни ничего, кроме мерзлых равнин, поросших более или менее чахлыми хвойными деревьями, всякая холодная и пустынная страна кажется родною. К тому же обитатели здешних широт и по нравам своим — кочевники, они от природы склонны к перемене мест.

939

Случаи беспорядков в деревнях делаются все чаще; каждый день слышишь о каком-нибудь новом злодеянии; но вести о преступлениях доходят с опозданием, что притупляет впечатление от них; оттого даже столь многочисленные злодейства не нарушают глубоко тихую жизнь страны. Я уже писал, что спокойствие в этом народе поддерживается благодаря медленности и затрудненности сообщений, а также с помощью гласных и негласных действий правительства, которое мирится со злом ради сохранения бытующего порядка. Кроме того, общественная безопасность обеспечивается слепым повиновением войск; их покорность проистекает от совершенного невежества сельских жителей. Но вот ведь какое дело — подобное лекарство оказывается одновременно и первейшею причиной недуга! И непонятно, как русскому народу выйти из порочного круга, куда загнали его обстоятельства. До сих пор добро и зло, гибель и спасение имели для него один общий источник — разобщенность и невежество, которые взаимно обусловливают, воспроизводят и увековечивают друг друга.

Вам невозможно представить себе, как встречают крестьяне своего нового владельца — помещика, прибывающего в только что приобретенное имение; жителям наших краев такое раболепство покажется невероятным: все — мужчины, женщины, дети — падают на колени перед новым барином, все целуют ему руки, бывает даже что ноги; более того — что за унижение! что за кощунство! — те из них, кто по возрасту своему способен грешить, добровольно исповедуются в грехах своих помещику, видя в нем образ и посланца Божьего на земле, олицетворяющего сразу и царя небесного и государя! Такой рабский фанатизм, такое восторженное холопство рано или поздно неизбежно вводят в заблуждение

самого барина, особенно если он лишь недавно достиг этого состояния; ослепленный переменою в своем положении, он уверяется, будто принадлежит к иному разряду существ, чем эти люди, которые перед ним распростерты и которыми он оказался вдруг вправе повелевать. Отнюдь не ради парадокса утверждаю я, что одна лишь наследственная аристократия могла бы смягчить участь русских крепостных, и рядом плавных, нечувствительных перемен подготовить их к благодетельному освобождению. Ныне же крепостное состояние при господах-выскочках для крестьян просто невыносимо. Старинные господа с самого рождения стоят выше их, и это сносить тяжело, но зато они растут рядом с крестьянами, вместе с крестьянами, и это сносить легче; да и вообще господа так же привычны к власти, как крепостные — к неволе, а привычкою все притупляется и смягчается; ею умеряется несправедливость сильных, ею облегчается ярмо слабых; вот почему в стране, живущей в условиях крепостничества, переменчивость в богатстве и общественном положении людей производит действие поистине чудовищное; тем не менее именно такая переменчивость делает устойчивым нынешний строй в России, так как привлекает к нему в союзники множество людей, умеющих ею пользоваться; опять пример того, как лекарство черпают в том же источнике, откуда проистекает недуг. Ужасный круг, где обречены вращаться все народы необъятной империи!.. Подобное состояние общества — словно коварная сеть, каждая ячейка которой стягивается узлом, когда пытаешься из нее выпутаться. За что так почитают, так обожают крестьяне своего нового помещика? За то, что он нажил много денег и ловкими интригами сумел купить землю, к которой прикованы все эти люди, падающие пред ним ниц. В стране, где человек составляет имущество другого человека, где богач, можно сказать, вправе распоряжаться жизнью и смертью бедняка, — в такой стране богатый выскочка кажется мне просто чудовищным. Сочетаясь в одном и том же обществе, развитие промышленности и косность крепостничества приводят к возмутительным последствиям; однако же деспот ласкает выскочек — ведь это он их породил!.. Представляете, в каком положении находится здесь новоявленный помещик? Вчера еще нынешний его раб был ему равен; и вот благодаря более или менее честным промыслам, более или менее низкому и ловкому угодничеству он оказался в состоянии купить известное число своих товарищей, которые теперь — его крепостные. Стать рабочим скотом у равного себе — мука поистине невыносимая. Однако же именно к этому может привести в народе богопротивное сочетание самовластных обычаев и либеральных — вернее сказать, неустойчивых — установлений; ведь в других странах разбогатевший человек не заставляет своих побежденных соперников лобызать себе ноги. В основе государственного устройства России заложена вопиющая несообразность.

Заметьте кстати, какое странное смешение понятий производит в умах русского народа строй, при котором он живет. При этом строе человек крепко привязан к земле, поскольку его продают с нею заодно; однако, вместо того чтоб признать, что сам он закрепощен, а земля свободно продается, то есть понять и осознать, что он принадлежность земли, посредством которой другие люди деспотически им распоряжаются, — он, напротив, мнит, будто земля принадлежит

ему. По сути, такая ошибка представляет собою просто обман зрения: ведь, полагая себя владельцем земли, крестьянин не берет в соображение, что землю-то можно продать и без живущих на ней людей. А потому, попадая к новому помещику, он не считает, что этому новому владельцу продали землю; в его представлении продали прежде всего его самого собственною персоной, а уж в придачу отдали и землю — землю, на которой он родился, которую возделывает и от которой кормится. Вот и попробуйте дать свободу таким людям, по пониманию общественных законов стоящим примерно вровень с деревьями и травами!..

Г-н Гибаль (всякий раз, когда мне позволено назвать чье-то имя, я этим позволением пользуюсь), сын школьного учителя, был без причин — по крайней мере без объяснений, не будучи даже в состоянии догадаться, в чем его обвиняют, — сослан в сибирскую деревню близ Оренбурга. Чтоб развеять тоску, он сложил песню; услышанная сперва исправником, а затем переданная губернатору, она привлекла к себе внимание сей высокопоставленной особы; к ссыльному был послан адъютант, дабы справиться о его деле, о его состоянии и поведении и решить, не пригодится ли он для чего-нибудь. Бедняга сумел внушить адъютанту сочувствие, и тот, вернувшись в город, составил весьма благоприятное для Гибаля донесение. Последний был немедленно возвращен из ссылки, так и не узнав, в чем заключалась подлинная причина его бедствий, — быть может, то была другая, ранее сложенная песенка.

От таких-то обстоятельств может зависеть в России судьба человека!..

939

А вот еще одна история, в ином роде.

Во владениях князя ***, к востоку от Нижнего, жила крестьянка, слывшая ведьмой; слава о ней быстро распространилась окрест. Рассказывали, что женщина эта творит чудеса, да вот только муж ее недоволен: хозяйство забросила, на работу не ходит. Управляющий в своем докладе подтверждал обвинение крестьянки в колдовстве.

В то время в поместье приехал сам князь, его владелец; сразу по прибытии он первым делом осведомился о знаменитой колдунье. Поп сообщил ему, что бабе все хуже, она уже не может говорить, и он намерен изгнать из нее бесов. Обряд сей был свершен в присутствии помещика, но безуспешно; тогда князь, решившись дознаться до разгадки этого необычного дела, прибег к чисто русскому целебному средству — велел высечь одержимую розгами. Такое лечение не замедлило возыметь действие.

После двадцать пятого удара баба запросила пощады, поклявшись рассказать всю правду. Она объяснила, что замужем за нелюбимым и притворилась одержимою, чтоб не работать на мужа.

Притворством своим она доставляла себе праздную жизнь, а заодно и возвращала здоровье множеству страждущих, которые приходили к ней с надеждой и доверием и уходили назад исцеленными.

Колдуны нередко встречаются среди русских крестьян, заменяя им врачей: эти плуты излечивают многих людей, в том числе и в трудных случаях, как признают сами лекаря.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Вот бы торжествовал Мольер! И что за бездна сомнений разверзается перед нами!.. Воображение!.. Кто знает, не образует ли оно тот рычаг в деснице Божьей, посредством которого Господь возвышает тварь, закованную в рамки плоти? О себе скажу, что меня сомнение заводит далеко — назад к вере, ибо мнится мне, наперекор рассудку, что у колдуна есть неопределимая, но бессомненная сила, позволяющая исцелять даже тех, кто в нее не верит. Посредством слова «воображение» ученые наши снимают с себя обязанность объяснять те явления, которых не могут ни отрицать, ни понять. У иных метафизиков «воображение» становится чем-то вроде «нервов» у иных врачей.

Необыкновенное зрелище здешнего общественного устройства понуждает ум человеческий к непрестанным размышлениям. На каждом шагу в этой стране восхищаешься тем, как много выигрывает государство, добиваясь от подданных беспрекословного повиновения; но столь же часто сожалеешь, не видя тех выгод, что получила бы власть, основав повиновение на высоких нравственных чувствах.

Кстати припоминается мне одно высказывание, которое подтвердит вам, как я прав, когда утверждаю, что иных — и даже довольно многих — людей способно обмануть обожествление помещика крепостными. Настолько властна над нашими сердцами лесть, что в конечном счете даже самые неловкие из всех льстецов — страх и выгода — не хуже самых хитрых находят способ достичь своего и заставить к себе прислушаться; оттого-то многие русские и считают себя принадлежащими к иной породе, чем обычные люди.

Один баснословно богатый русский — хотя, видимо, и искушенный в тяготах роскоши и власти, ибо семейное его состояние образовалось уже два поколения тому назад, — ехал из Италии в Германию; в каком-то городке он довольно серьезно заболел и велел позвать к себе лучшего врача в округе; поначалу он следовал предписаниям лекаря, но недуг все усугублялся, и после нескольких дней лечения больной наскучил своим повиновением и в гневе встал с постели; порвав покровы цивилизации, в которые считал нужным облачаться в обычной жизни, он вновь стал самим собою и, меряя шагами комнату, вскричал: «Не пойму, как это меня тут лечат; уже три дня пичкают снадобьями без малейшего улучшения; что за лекаря вы мне привели? Он что, не знает, кто я таков?»

Раз уж я начал это письмо с анекдотов, то вот вам еще один, не столь забавный, но все же способный вам помочь составить верное представление о характере и привычках великосветских людей в России. Здесь любят только удачливых, и такая избирательная любовь порой порождает смешные сцены.

Один молодой француз пользовался большим успехом в обществе сельских помещиков. Все его привечали — звали то на обед, то на прогулку, то на охоту, то на домашнее представление; наш иностранец был совершенно очарован. Всем встречным он расхваливал русское гостеприимство и учтивые манеры несправедливо оболганных «северных варваров»! Через некоторое время восторженный юноша, находясь в соседнем городе, заболел; недуг его затягивался и делался все тяжелее, меж тем даже ближайшие друзья ничем не давали о себе знать. Миновали недели, прошло целых два месяца, и разве что изредка кто-нибудь

посылал о нем справиться; наконец молодость взяла свое, и путешественник, вопреки местному лекарю, выздоровел. Едва он поправился, как к нему нахлынул поток гостей, чтоб отпраздновать его исцеление, как будто в продолжение всей его болезни они только о нем и думали; надо было видеть радость тех, кто раньше его принимал, — казалось, они сами только что воскресли из мертвых!.. Все уверяют его в своем сочувствии, вновь зовут на всякие развлечения, ласкают его по-кошачьи — спрятав коготки своего легкомыслия, себялюбия и забывчивости; садятся играть в карты рядом с его креслом, с притворною заботой предлагают прислать диванчик, варенья, вина... с тех пор как он больше ни в чем не нуждается, все в его распоряжении... Он, однако, не поддался на эту старую приманку, сел поскорее в карету и уехал, торопясь, по его словам, бежать из страны, где гостеприимство расточают только людям счастливым, забавным или же полезным!..

Одна француженка-эмигрантка, пожилая и умная, поселилась в русском провинциальном городе. Как-то раз она отправилась в гости к некоей особе из числа местных жителей. В некоторых русских домах лестницы снабжены люками, и ходить по ним небезопасно. Француженка, не заметив одной такой западни, провалилась с высоты пятнадцати футов на деревянные ступени. Как же поступила хозяйка дома? Нелегко вам будет отгадать. Не пожелав даже убедиться, жива или мертва злосчастная женщина, не кинувшись ее осмотреть, не позвав на помощь, не послав хотя бы за лекарем, она бросила пострадавшую и набожно поспешила в домашнюю часовню, чтобы помолиться святой деве за бедную покойницу... может, погибшую, а может, и раненую, на то уж воля Божья. Между тем пострадавшая, которая осталась живой и даже не получила переломов, успела встать на ноги, подняться обратно в прихожую и уехать к себе домой, прежде чем богомольная подруга ее вышла из часовни. До той еле дозвались в ее убежище, крича через дверь, что происшествие не имело никаких тяжких последствий, что француженка вернулась домой и хоть и легла в постель, но лишь на всякий случай. Тут-то в сокрушенном сердце набожной русской дамы проснулось чувство деятельной любви к ближнему, и она, благодаря Бога, услышавшего ее молитву, услужливо поспешила к подруге, добилась, чтоб ее впустили, ринулась к одру больной и не менее часа осыпала ее изъявлениями сочувствия, не давая ей отдыху, в котором несчастная так нуждалась.

Об этом ее вздорном поведении рассказала мне та самая особа, с которою приключилась беда. Если б она сломала себе ногу или потеряла сознание, она могла бы так и умереть там, где бросила ее благочестивая подруга.

Стоит ли после этого удивляться, что никто и не думает помочь людям, тонущим в Неве, что никто даже не осмеливается рассказать об их гибели!

В русской великосветской среде в изобилии встречаются всяческие странности чувств, ибо умы и сердца здесь слишком всем пресыщены.

В Петербурге живет знатная дама, которая несколько раз была замужем; 935
лето она проводит в великолепной сельской усадьбе в нескольких лье за городом, где весь сад занят могилами ее мужей, — как только они умрут, она начинает страстно их любить; в их память она строит мавзолеи, часовни, проливает слезы

над их прахом... словом, поклоняется мертвым, оскорбляя тем живых. Таким образом парк при ее доме сделался настоящим кладбищем Пер-Лашез; и всякому, кто не испытывает, подобно благородной вдове, нежной любви к покойным мужьям и их могилам, место это кажется весьма мрачным.

Никакая бесчувственность или, что то же самое, слезливость не должна удивлять в народе, который учится тонкости чувств так же старательно, как искусству войны или управлению государством. Вот пример того, с каким серьезным интересом воспринимают русские самые пустые вещи, если только вещи эти касаются их лично.

В подмосковном селе жил пожилой и богатый помещик из старинного боярского рода. В доме его стоял отряд гусар со своими офицерами. Наступила Пасха. У русских праздник этот отмечается с особою торжественностью. На церковной службе, которая в этот день отправляется ровно в полночь, собираются все члены семьи, их друзья и соседи.

Помещик, о котором идет речь, будучи самым значительным лицом в округе, ожидал в пасхальную ночь наплыва гостей, тем более что как раз в том году он с большою пышностью обновил церковь в своем селе.

За два-три дня до праздника его разбудил ночью шум от лошадей и экипажа, катившего по плотине рядом с его домом. Усадьба, как это делается обыкновенно, расположена на берегу небольшого пруда; церковь же стоит на противоположном берегу, так что плотина служит дорогою из усадьбы в село.

Удивившись такому необычному шуму среди ночи, помещик подбежал к окну, и каково же было его изумление, когда при свете множества факелов увидал он отличную коляску четверней в сопровождении двух верховых курьеров.

Он узнал эту новенькую коляску, да и владельца ее; то был один из гусарских офицеров, живших на постое у него в доме, — изрядный сумасброд, незадолго до того получивший богатое наследство; этот кичливый повеса как раз недавно купил себе лошадей и коляску и привез их в усадьбу. Старик помещик, видя, как офицер в полном одиночестве, среди ночи, в безлюдной сельской глуши, красуется в своей открытой коляске, решил, что тот спятил; глядя вслед изящному экипажу и его свите, он увидел, как они стройно подъезжают к церкви и останавливаются у ее врат; там владелец коляски с важным видом из нее вышел, дождавшись, чтобы слуги отворили ему дверцу и помогли спуститься, хотя офицер, такой же молодой и еще более проворный, чем они, наверно мог бы обойтись и без их услуг.

Едва ступив на землю, он вновь неспешно и величественно залез в коляску, проехал обратно по плотине, опять вернулся к церкви и вместе со своею челядью начал заново ту же церемонию, что и прежде. Такая комедия продолжалась до самого рассвета. Повторив все в последний раз, офицер велел тихо, шагом воротиться в усадьбу. Еще через несколько минут все улеглись спать.

Наутро помещик первым делом поспешил расспросить своего гостя, гусарского ротмистра, что бы такое значила его ночная езда и зачем слуги так суетятся вокруг коляски и его особы. «Пустяки, — отвечал молодой офицер, нимало не смутившись, — просто слуги у меня неопытные, а на Пасху у вас соберется много

народу, приедут со всей округи и даже издалека; и я решил устроить репетицию *своего подъезда к* храму».

Что до меня, то мне остается рассказать вам о своем отъезде из Нижнего; как вы увидите, блеску в нем было меньше, чем в ночных прогулках гусарского ротмистра.

В тот вечер, когда я вместе с губернатором смотрел представление на русском языке в совершенно пустом зале, встретился мне по выходе из театра один знакомец и повел в трактир с цыганками, расположенный в наиболее оживленной части ярмарочного городка; близилась полночь, но внутри было еще людно, шумно и светло. Цыганские женщины показались мне очаровательны; одеяние их, внешне то же самое, что и у других русских женщин, выглядит как-то необычно; во взгляде и чертах у них есть нечто колдовское, в движениях же изящество сочетается с величавостью. Одним словом, у них есть своеобразный стиль, как у сивилл Микеланджело.

940

Пели они примерно так же, как и московские цыгане, но, на мой вкус, еще выразительней, сильней и разнообразней. Говорят, что душа у них гордая; они страстны и влюбчивы, но не легкомысленны и не продажны и зачастую с презрением отвергают выгодные посулы.

Чем дальше, тем больше в своей жизни я дивлюсь, как сохраняется толика добродетели даже в тех, кто ее лишен. Нередко люди самого презренного состояния походят на народ, униженный своим правительством, но полный скрытых великих достоинств; и напротив, у людей знаменитых с неприятным изумлением обнаруживаешь слабости, а у народов, якобы живущих под благим правлением, — **вздорный характер. Чем обусловлена человеческая добродетель — это почти** всегда тайна, непроницаемая для нашего ума.

940

На эту идею воздаяния падшим, лишь бегло намеченную здесь мною, проливает яркий свет один из самых дерзких и талантливых умов нашего времени, да и всех времен вообще. Виктор Гюго, пожалуй, все драмы свои посвятил тому, чтоб явить свету человеческое, то есть божественное, начало, сохраняющееся в душах тех божьих созданий, что более всего отвержены нашим обществом; высоконравственная, мало того — благочестивая задача! Расширять рамки нашей сострадательности — значит творить богоугодное дело; толпа часто бывает жестока по бездумности, по привычке, по убеждению, еще чаще просто по недомыслию; тот, кто по мере возможности исцеляет эти раны в неоцененных сердцах, не раня притом еще глубже иные сердца, также заслуживающие сочувствия, тот действует в согласии с замыслом провидения, ширит царство Божье на земле.

Из трактира с цыганками мы вышли уже поздно ночью; тем временем на землю пролилась ливнем грозовая туча, отчего в воздухе внезапно похолодало. Длинные широкие улицы обезлюдевшей ярмарки были затоплены большими лужами, и лошади, скакавшие не сбавляя хода по этим топям, образовавшимся в размокшей земле, забрызгивали нас грязью прямо в кузове моей открытой коляски; черные тучи грозили новыми дождями до утра, а резкие порывы ветра то и дело окатывали нас водою, хлеставшею из сточных желобов.

— Вот и лето прошло, — сказал мой проводник.

— Да уж вижу, — отвечал я. Мне было зябко, словно зимой. Я был без плаща; утром выезжал в удушливую жару, а вернулся в пронизывающий холод; два часа писал вам письмо, затем лег спать весь закоченевший. Наутро, попытавшись подняться, ощутил головокружение и упал обратно в постель, не в силах одеться и выйти.

Эта неприятность оказалась мне тем досаднее, что как раз в тот день собирался я ехать в Казань; желая хоть ногою ступить на землю Азии, я нанял лодку, чтоб спуститься на ней вниз по Волге, фельдъегерь же должен был без меня доставить в Казань мой экипаж для возвращения в Нижний вверх вдоль берега. Правда, с тех пор как нижегородский губернатор не без гордости показал мне рисунки Казани, я уже не так горячо туда рвался. Оказалось, это все тот же самый город, что и повсюду в России, от одного ее края до другого: были здесь и казарма, и соборы в форме языческих храмов; я уже чувствовал, что ради этой вечно повторяющейся архитектуры не стоит ехать лишние двести лье. Но все же хотелось побывать на границе Сибири и взглянуть на город, который некогда осаждал Иван IV. Теперь же пришлось отказаться от этой поездки и целых четыре дня тихо сидеть дома.

Губернатор с великою учтивостью навестил меня на одре недуга; на четвертый день, чувствуя, что мне делается все хуже, решился я позвать врача. Лекарь сказал:

— Лихорадки у вас нет, и вы еще не больны, но разболеетесь тяжело, если хотя бы на три дня задержитесь в Нижнем. Я знаю, как здешний воздух действует на людей известного темперамента; уезжайте — уже через десять лье вы почувствуете облегчение, а через день и вовсе поправитесь.

— Но ведь я не могу ни есть, ни спать, ни стоять, ни двигаться — начинается сильная головная боль, — возразил я, — что же со мною будет, если случится застрять в дороге?

— Велите отнести себя в коляску; начинаются осенние дожди; повторяю, я не ручаюсь за вашу жизнь, если вы задержитесь в Нижнем.

Доктор был учен и опытен; он несколько лет провел в Париже, а перед тем получил основательное образование в Германии. Я положился на его верный глаз и по его совету на следующий день под проливным дождем и ледяным ветром сел в свой экипаж; погода способна была обескуражить даже самого бодрого путешественника. Однако уже после второй станции предсказание доктора сбылось: я начал дышать свободнее, хоть и чувствовал себя совсем разбитым. Заночевать пришлось в какой-то скверной лачуге... а наутро я был здоров.

Все время, пока я лежал в постели в Нижнем, мой шпион-покровитель томился затянувшимся пребыванием на ярмарке и собственным вынужденным бездельем. Как-то утром он пришел к моему камердинеру и спросил по-немецки:

— Когда же мы уезжаем?

— Не знаю: хозяин ведь болен.

— Он правда болен?

— А по-вашему, он ради удовольствия не встает с постели и никуда не выходит из той квартиры, что вы ему тут приискали?

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

— А что с ним?

— Понятия не имею.

— Отчего он болен?

— Господи! Да спросите у него.

Это «отчего» кажется мне заслуживающим упоминания.

Он никак не может простить мне сцену с коляской.

С того дня он переменился и в поведении, и в выражении лица; это доказывает, что даже в самых скрытных характерах всегда остается нечто естественное и непритворное. Я даже отчасти доволен его злопамятством. Я-то думал, он вовсе не способен на непроизвольные переживания.

Русским, как и всем новичкам в цивилизованном мире, свойственна крайняя обидчивость; они не выносят даже общих суждений, все относя на свой счет; нигде так плохо не отзываются о Франции; менее всего в России понимают свободу мысли и слова; как я слыхал от тех, кто с напускною рассудительностью говорит о нашей стране, они не могут понять, как это король не наказывает парижских писак, которые каждодневно его бранят.

— Однако же это так, убедитесь сами, — я возражаю.

— Да, на словах-то говорят о терпимости, — отвечают они с лукавым видом, — но это все для толпы да для иностранцев; а втайне слишком дерзких журналистов все же наказывают.

Когда же я повторяю, что во Франции все предается гласности, они хитро смеются в ответ, вежливо умолкают и не верят ни одному моему слову.

Город Владимир часто упоминается в истории; с виду это все тот же самый неизменный русский город, чей облик вам уже более чем хорошо знаком. Местность, которою я ехал из Нижнего, также походит на то, что вам уже известно о России: лес, где не видно деревьев, да изредка город, где не видно движения. Вообразите себе солдатские казармы, стоящие среди болот или же вересковых пустошей — в зависимости от почвы; оживляет их один лишь дух муштры!! Если я говорю русским, что леса у них дурно содержатся и что так в стране скоро не останется дров, то они смеются мне в лицо. У них высчитано, сколько миллионов лет понадобилось бы, чтоб свести леса, занимающие огромную часть империи, и этим подсчетом всякий раз и отговариваются. Здесь, как и во всем прочем, русские довольствуются словесами. В реестрах, посылаемых в столицу каждым губернатором, *записано,* что в такой-то губернии имеется столько-то десятин леса! Далее статистика выполняет свою арифметическую работу; да только счетчик, прежде чем вывести общую сумму, не проверяет на месте, из чего состоят обозначенные на бумаге леса. Чаще всего ему встретились бы вместо них одни кустарники, годные разве на хворост, или же бескрайние пустоши, кое-где поросшие камышом и папоротником! Между тем уже начинает ощущаться обмеление рек; и это тревожное явление, угрожающее судоходству, может объясняться лишь тем, что очень много леса вырубается у истоков и вдоль берегов, откуда его легче сплавлять. Однако русские, благо портфель наполнен успокоительными донесениями, мало тревожатся разбазариванием единственного природного богатства своей земли. Из министерских кабинетов леса кажутся

бескрайними... и русским того довольно. Благодаря такой безмятежности чиновников можно предвидеть время, когда печи придется топить старыми бумагами, скопившимися в канцеляриях; это-то богатство возрастает с каждым днем.

Слова мои весьма дерзки и даже возмутительны, хоть это и не очевидно; щепетильное самолюбие русских предъявляет иностранцам такие требования, которым я не подчиняюсь, а вы о них даже не подозреваете. В глазах здешних людей искренность моя делает меня преступником. Экая неблагодарность! Министр дал мне фельдъегеря, который одним видом своего мундира избавляет меня от дорожных хлопот — стало быть, считают русские, я обязан все одобрять в их стране. «Этот иноземец, — думают они, — нарушил бы все законы гостеприимства, если б **позволил себе порицать страну, где к нему так предупредительны...» Да что за бред! ..** Я по-прежнему считаю, что волен описывать и оценивать то, что вижу!! А раз так, то они будут кричать, что это недостойно... Нет, пускай деньги или же рекомендательные письма помогли мне заполучить курьера для разъездов по стране, но я все же хочу, чтобы вы знали: если б я отправился в Нижний с обычным слугою, даже говорящим по-русски, как я по-французски, то мы бы застревали на каждой мало-мальски удаленной почтовой станции из-за проделок и каверз смотрителей. Сперва нам бы отказали в лошадях, потом, в ответ на наши настояния, стали бы водить из стойла в стойло, показывая, что они пусты; нас это больше злило бы, чем удивляло, так как мы бы заведомо знали — хотя пожаловаться тут невозможно, — что смотритель сразу по прибытии нашем на станцию поспешил спрятать всех лошадей в недоступное для иностранцев укрытие. Через час переговоров нам бы привели якобы свободную упряжку, и крестьянин, которому она якобы принадлежит, милостиво уступил бы ее нам за плату в два-три раза большую, чем на государственной почте. Сперва мы бы отказались и отослали ее вон; но потом, не выдержав, стали бы слезно умолять привести назад этих драгоценных кляч и заплатили бы хозяевам все, что они запросят. То же самое повторялось бы на каждой станции. Таково ездить в этой стране иностранцам, не имеющим опыта и высокого покровительства. Между тем всюду известно и признано, что почтовые лошади в России стоят очень недорого и ездят на них очень быстро.

Не кажется ли вам, как и мне, что, оценивши по справедливости любезность, оказанную мне главноуправляющим путями сообщения, я вправе рассказать вам, от каких докук он избавил меня своим одолжением?

Русские все время остерегаются правды, ибо она их страшит; я же прибыл из страны, где жизнь течет на виду у всех, где все предается гласности и публично обсуждается, и вовсе не смущаюсь щепетильностью здешних людей, ничего не высказывающих напрямую. В России говорить вслух — признак дурного воспитания; чтоб засвидетельствовать вам свой такт и хороший тон, люди шепчут вам на ухо какие-нибудь бессмысленные звуки, заканчивая самую пустую фразу просьбой хранить в тайне даже то, что вовсе не было сказано... В стране этой, где не только запрещено выражать свое мнение, но возбраняется излагать даже самые удостоверенные факты, всякое точное и ясное слово становится целым событием; французу остается лишь отметить эту забавную привычку, усвоить ее для него невозможно.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

В России есть порядок; одному Богу ведомо, когда в ней появится цивилизация.

Государь, нисколько не полагаясь на силу убеждения, берется за все дела самолично, выставляя в качестве предлога необходимость сильной центральной власти в такой необъятной империи, как Россия; пожалуй, подобное устройство составляет закономерное дополнение к принципу слепого повиновения; иное, сознательное подчинение опровергло бы ложную идею всеобщей упрощенности, которая уже более века преобладает в умах преемников царя Петра и даже в умах их подданных. Когда все столь безмерно упрощается, то это не могущество, а смерть. Самодержавная власть, имея дело с условными подобиями людей, сама перестает быть реальною и превращается в призрак.

Россия лишь тогда станет настоящею нацией, когда ее государь по своей доброй воле исправит зло, совершенное Петром I. Но найдется ли в такой стране властитель, которому достанет мужества признать, что он всего лишь человек?

Только побывавши в России, понимаешь, сколь трудна такая политическая реформа и какая сила характера потребна, чтоб ее осуществить.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

На почтовой станции
между Владимиром и Москвою,
3 сентября 1839 года

940

Вам ни за что не догадаться, какой опасности подвергся я нынче утром. Можете перебирать все происшествия, способные поставить под угрозу жизнь путника на большой дороге в России, — ни знаний, ни воображения не хватит вам, чтоб угадать, отчего я сегодня чуть не погиб. Угроза была столь велика, что если бы не ловкость, сила и хладнокровие моего слуги-итальянца, то приключение, о котором вы сейчас прочтете, пришлось бы излагать уже не мне.

Надо же было случиться, чтоб у персидского шаха появилась нужда в дружеском союзе с императором российским, и с этою целью, считая, что дар чем больше, тем ценнее, он послал царю одного из самых громадных азиатских черных слонов; надо же было, чтоб эта ходячая башня оказалась покрыта великолепным ковром, который служит гиганту попоною и издалека напоминает развевающуюся на ветру соборную драпировку; надо же было, чтоб чудовище шло в сопровождении вереницы всадников, похожих на стаю саранчи, а за ним выступал караван верблюдов, казавшихся не больше ослов рядом с этим слоном, который далеко превосходит всех мною виденных и является одним из самых крупных на свете; да еще надо же было, чтоб на верхушке этого живого монумента виднелся смуглокожий человек в восточных одеждах, держащий над собою раскрытый зонтик от солнца и восседающий в странной позе, скрестив ноги, на площадке, что устроена на спине у громадины; надо же было, наконец, чтобы в то самое время, когда этого властелина пустынь вели пешим ходом по направлению к Москве и Петербургу,

где благодаря местному климату он скоро окажется в собрании мастодонтов и мамонтов, сам я ехал на почтовых из Нижнего в Москву по Владимирскому тракту, причем выехал в одно время с персиянами, так что в определенной точке безлюдной дороги, по которой они движутся так же неспешно, как шествует царственное животное, я не мог их не нагнать, и моим скачущим галопом русским коням пришлось проехать мимо исполина; так вот, надобно было ни много ни мало, как стечение всех этих обстоятельств, чтобы породить гомерический испуг моих рысаков при виде живой пирамиды, которая словно по волшебству движется среди целого отряда причудливых на вид людей и животных.

Издалека испугавшись этого колосса, у которого ноги металлического цвета, а на спине пурпурный покров, моя четверня задрожала всем телом, начала громко ржать, поводить ноздрями и не хотела везти дальше. Вскоре, однако, кучер-ямщик, крича и нахлестывая коней кнутом и рукою, обуздал их и заставил обогнать фантастического зверя, которого они так боялись; они повиновались, содрогаясь и вздыбив гриву; но как только один страх победил другой, кони, насилу приблизившись к чудищу и неторопливым аллюром проехав мимо его громадной туши, словно устыдились собственной храбрости; подавленный ужас вырвался наружу, и тут уж крики и вожжи возницы стали бессильны. Человеческая воля была побеждена в тот самый миг, когда она, казалось, возобладала; едва почуяв чудище у себя за спиною, кони закусили удила и понесли во весь опор, не разбирая, куда влечет их слепой порыв. Это бешенство испуга могло стоить нам жизни; огорошенный и бессильный что-либо сделать ямщик сидел на козлах, не двигаясь и отпустив поводья; фельдъегерь рядом с ним пребывал в таком же остолбенелом бездействии. Мы с Антонио в закрытой из-за неустойчивой погоды и моего нездоровья коляске побледнели и онемели; в тарантасе нашем нет дверей, он как лодка — чтобы влезть или вылезть, нужно перешагивать через борт, а при поднятом и пристегнутом к переднему сиденью кожухе это становится довольно трудно; внезапно кони, совсем ошалев, съехали с дороги и помчались вверх по почти отвесному откосу, где одно из передних колес завязло в щебне; две лошади, не порвавши постромок, уже взобрались на самый верх; я видел их копыта вровень с нашими головами; еще рывок, и коляска подастся; но так как взъехать наверх она не сможет, то опрокинется, разобьется, и обломки ее вместе с нами кони потащат в разные стороны, пока не погибнут сами и не погубят нас; я уже думал, что с нами все кончено. Казаки, сопровождавшие могучего странника, который стал причиною беды, видя, в каком отчаянном положении мы оказались, осмотрительно воздержались скакать за нами вслед, чтоб не раззадорить еще больше наших коней, — только такая осторожность нам и требовалась! Я, не помышляя даже о том, чтоб выскочить из коляски, уже вручал Богу душу, как вдруг Антонио исчез... я думал, он погиб; все происходившее было скрыто от меня кожухом и кожаными шторами; но в тот же миг я ощутил, что кони встали. «Мы спасены!» — крикнул Антонио; меня тронуло это «мы», ибо сам-то он оказался вне опасности, как только сумел благополучно выбраться наружу. Благодаря редкому хладнокровию ему удалось улучить единственный подходящий миг, чтобы выпрыгнуть с наименьшим риском;

затем, выказывая необычайную ловкость, возникающую от сильных чувств и все же не объяснимую ими, он очутился, сам не зная как, наверху обрыва, впереди двух лошадей, что взобрались туда и своими отчаянными рывками грозили все разнести вдребезги. Коляска уже вот-вот должна была опрокинуться, когда коней удалось остановить; тут уж и ямщик с курьером, ободренные примером Антонио, в свой черед успели соскочить на землю; ямщик в мгновение ока схватил под уздцы двух задних лошадей, застрявших на дороге и отставших от передней пары из-за лопнувшего нашильника дышла, а курьер тем временем удерживал 940
экипаж. Почти в тот же самый миг казаки, что были при слоне, припустили своих коней и примчались нам на выручку; они высадили меня из повозки и помогли моим людям сдержать наших коней, которые все еще рвались вперед. Невозможно побывать ближе к непоправимой беде, но невозможно и избежать несчастья с меньшими потерями: не пропало ни единого гвоздя в коляске и, что еще удивительнее, ни единого ремня из упряжи; лопнул один из нашильников, кое-где порвалась кожа, разорвались вожжи, у одной из лошадей сломались удила; вот и все, что требовало починки.

Через четверть часа Антонио уже снова спокойно сидел со мною на заднем сиденье, а еще через четверть часа уже спал, как будто и не спас нам всем жизнь.

Пока поправляли упряжь, мне захотелось подойти поближе к первопричине всех бед. Погонщик из осторожности отвел слона в лес поблизости от боковой колеи тракта. Грозное животное показалось мне еще крупней, с тех пор как из-за него я претерпел такую опасность; хобот, которым оно шарило по верхушкам берез, казался удавом боа, обвившимся вокруг пальмовых ветвей. Я начинал понимать своих коней — и впрямь было отчего сильно перепугаться. В то же время слон смешил меня тем пренебрежением, которое внушали ему, должно быть, наши крохотные тела; высоко подняв свою мощную голову, он рассеянно поглядывал на людей умными и подвижными глазами; рядом с ним я был как муравей; устрашившись такого превращения, поспешил я прочь от этого дива, благодаря Бога за то, что он избавил меня от ужасной гибели, которая в какой-то миг уже казалась мне неизбежною.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

Москва, 5 сентября 1839 года, вечером МО

В Москве уже несколько месяцев подряд царит сильнейшая жара; по возвращении я застал здесь ту же погоду, что была и при отъезде; нынешнее лето — из ряда вон выходящее. От засухи над самыми людными городскими кварталами поднимается к небу красноватая пыль, которая вечером окрашивает небо в фантастические цвета, словно свет бенгальских огней; точь-в-точь как облака в Опере. Нынче на закате я решил полюбоваться этим зрелищем от стен Кремля, обойдя снаружи вокруг них с чувством такого же восхищения и почти такого же изумления, что и в первый раз.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

Сияющий ореол, словно на полотне Корреджо, отделял людской град от дворца великанов; здесь восхитительно соединились чудеса живописи и поэзии.

Последние солнечные лучи падали на Кремль — самую возвышенную точку всей картины, — тогда как остальная часть города уже окутывалась ночною дымкой. Исчезли, казалось, все преграды для воображения; бесконечность Вселенной, сам Бог принадлежали в тот миг поэту, лицезревшему сие величественное зрелище... то была словно живопись Мартина, или, вернее, то была живая модель самых чудных его полотен. Сердце у меня билось боязливо и восхищенно; предо мною, казалось, вставали из-под земли потусторонние обитатели Кремля; фигуры их сияли, словно демоны, писанные на золотистом фоне; пылая, они направлялись во владения ночи и вот-вот должны были прорвать ее покров; я ждал только, что вот-вот сверкнет молния: такая это была грозная красота.

От белых нестройных масс дворца равномерно отражались косые лучи ветреного заката; различия в оттенках проистекали от неровного наклона стен и от чередования сплошных поверхностей и пустот, в котором и состоит вся красота этой варварской архитектуры, дерзкими своими причудами если и не чарующей наш взор, то дающей великолепную пищу для ума. Все это было столь поразительно, столь красиво, что я не удержался еще раз рассказать вам о Кремле.

Но не беспокойтесь, здесь я с ним прощаюсь. Иногда с площадок, полускрытых за строительными лесами, раздавались и отзывались эхом в стенных бойницах унылые песни мастеровых; они неслись вдоль сводов, зубчатых стен, рукотворных обрывов и отражались от них прямо мне в сердце, полное невыразимой печали. В глубине окон царских палат мелькали блуждающие огоньки; по пустынным галереям, по длинным пролетам между зданий, мимо пустых бойниц и смотровых щелей далеко разносились людские голоса, странно звучавшие в такой час среди безлюдных дворцов, и ночные птицы, потревоженные в тайных своих соитиях, летели прочь от света факелов, на самый верх колоколен и крепостных башен, чтоб прокричать оттуда весть о каком-то неслыханном бедствии.

Вся эта сумятица вызвана была работами, которые велись по велению ***государя***
940 ***императора,*** накануне торжественного прибытия ***государя императора;*** приезжая в Москву, он сам себе устраивает торжественный прием и иллюминацию в Кремле; покамест лишь в углублении над одними из главных ворот святого дворца ожидала его Богоматерь с неугасимою лампадой; но вот, по мере наступления сумерек, город начал освещаться; как по волшебству, выступили из мрака его лавки, кофейни, ули-
941 цы, театры. В тот день как раз была годовщина венчания государя на царство — лишний повод для праздничной иллюминации; русским приходится за год справлять столько праздников, что на их месте я бы вообще не гасил лампионов.

Приближение великого чародея уже начинает ощущаться: три недели назад Москва была населена одними лишь купцами, разъезжавшими по своим делам на дрожках; теперь же на украшенных улицах полно великолепных рысаков, карет, что запряжены четвернею цугом, раззолоченных мундиров; в театрах и у театральных подъездов толпятся знатные господа и слуги. «Государь уже в тридцати лье; а вдруг он вот-вот приедет; государь может приехать уже нынче ночью; возможно, государь будет в Москве завтра; говорят, государь был здесь уже

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

вчера инкогнито; а что, если он и сейчас здесь?» Эти сомнения, надежды, воспоминания волнуют сердца, от них оживляется весь город, всё принимает новый облик — речи людей, выражение их лиц. Москва, город купеческий и деловой, нынче взволнована и смущена, словно скромная горожанка, ожидающая в своем доме знатного вельможу. Дворцы, обычно стоящие пустыми, открыты и освещены; всюду прихорашиваются сады; цветы и факелы соревнуются в блеске деланной веселости; угодливый шепоток пробегает по толпе, в умах пробуждаются еще более угодливые и еще более сокровенные мысли; все сердца бьются от непритворной радости, ибо люди, жаждущие отличий, обольщают сами себя и переживают те удовольствия, что изображают притворно, почти всерьез.

Меня ужасает такое колдовское действие власти, я боюсь сам ощутить на себе ее чары и сделаться угодником — пусть не по расчету, а просто по пристрастию к чудесам.

Российский император прибывает в Москву, словно ассирийский царь в Вавилон.

Говорят, еще большие чудеса готовятся к его прибытию в Бородине, где в мгновение ока возник целый город, и этому новоявленному городку среди лесов предстоит просуществовать всего неделю; там даже насажены сады вокруг дворца; деревья, обреченные скорой гибели, привезены издалека и с большими издержками, дабы изображать собою вековые кущи; что усерднее всего подделывают в России, так это старинный возраст; в этой стране, не имеющей прошлого, люди терзаются всеми муками самолюбия, свойственными выскочке, который знает жизнь и прекрасно понимает, что думают окружающие о его внезапном обогащении. В этом заколдованном мире, чтобы изобразить вечное, пользуются самым что ни на есть преходящим: вместо векового дерева — дерево, выкопанное с корнями!., вместо дворцов — богато убранные балаганы, вместо садов — разрисованные холсты. На Бородинском поле сооружено несколько театров, и воинские представления там будут перемежаться комедией; мало того, по соседству с военным городком императора вырос из праха еще и городок мещанский. Впрочем, хозяева наскоро выстроенных там трактиров терпят убытки, так как полиция с большой неохотой допускает в Бородино любопытных.

Празднество должно заключаться в точном повторении той битвы, которую мы называем Московскою, а русские нарекли Бородинским сражением; дабы все было как можно ближе к действительности, из самых дальних уголков империи созвали ветеранов 1812 года — всех тех участников дела, кто еще жив. Представьте же себе изумление и недоумение этих бедных стариков-героев, которых внезапно оторвали от их сладких воспоминаний и унылого покоя и заставили из далекой Сибири, с Камчатки, с Кавказа, из Архангельска, с лапландских границ, из кавказских долин, с каспийских берегов съехаться сюда, где на театре их славы разыгрывается представление, призванное, как им внушают, довершить их торжество. Здесь им придется заново разыграть ужасную комедию битвы, где они стяжали себе не богатство, но славу — жалкое вознаграждение за сверхчеловеческую верность долгу; усталость и безвестность — вот все, что получили они за свое повиновение, которое власть именует славным, чтоб подешевле от них

откупиться. К чему ворошить эти вопросы и воспоминания? к чему дерзко вызывать из небытия столько забытых и немых призраков? Это словно Страшный суд, куда призваны души солдат 1812 года. Кто пожелал бы создать сатиру на военную жизнь, не сыскал бы лучшего средства, чем это; так Гольбейн в своей пляске мертвецов создал карикатуру жизни человеческой. Иные из этих людей, внезапно пробужденных от предсмертной дремы, уже много лет не садились на коня, ныне же их заставляют, для забавы никогда не виденного ими властелина, заново играть свою роль, хоть ремесло свое они давно позабыли; несчастные так боятся обмануть ожидания своенравного государя, потревожившего их старость, что, по их словам, представление битвы страшит их более, чем страшила сама битва. Это ненужное торжество, эта потешная война окончательно добьет старых солдат, уцелевших в бою и за долгие годы после него; жестокие забавы, достойные преемника того царя, что запустил живых медведей на маскарад, устроенный по случаю свадьбы своего шута; царем этим был Петр Великий. Все подобные развлечения имеют источником одну и ту же мысль — пренебрежение к жизни человека.

941

Вот до чего способна дойти власть человека над другими людьми; разве может сравняться с нею власть закона над гражданином? Между ними всегда будет огромное расстояние.

Меня удивляет, сколько измышлений требуется, чтоб согласить между собою тот народ и то правительство, какие существуют в России. От таких хитростей, от таких побед над здравым смыслом затеявшая подобную борьбу страна может преждевременно погибнуть; да только кто же способен рассчитывать далекие последствия чуда?

В свое время император позволил мне — то есть повелел — посетить Бородино. Теперь я думаю, что недостоин подобной милости; во-первых, вначале я не учел, сколь затруднительна будет роль француза в этом историческом представлении; во-вторых, тогда я еще не видел чудовищных работ по перестройке Кремля, которые мне пришлось бы хвалить; наконец, я еще не знал историю княгини Трубецкой, которую был бы не в состоянии позабыть, а еще менее того — затронуть в разговоре; взявши в расчет все эти доводы вместе, решился я не напоминать о себе. Это легко, ибо как раз в противном случае я доставил бы себе немало хлопот, судя по тому, как суетятся — и притом тщетно — множество французов и прочих иностранцев, домогаясь позволения ехать в Бородино.

Полицейские порядки в воинском лагере внезапно сделались чрезвычайно суровыми; такую удвоенную бдительность объясняют какими-то вновь открывшимися тревожными сведениями. Повсюду под золою свободы тлеет огонь мятежа. Не знаю даже, удалось ли бы мне в нынешних обстоятельствах воспользоваться обещанием, которое дал мне император в Петербурге, а затем повторил в Петергофе, при последней встрече: «Мне было бы приятно видеть вас на Бородинских торжествах, где мы заложим первый камень памятника в честь генерала Багратиона». То были его последние слова.[1]

[1] Позже, в Петербурге, я узнал, что был отдан приказ допустить меня в Бородино и что меня там ждали.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Я уже встречал здесь людей приглашенных, но так и не допущенных в лагерь; в разрешении отказывают всем, кроме некоторых высокопоставленных англичан да иных представителей дипломатического корпуса, назначенных быть зрителями этой грандиозной пантомимы. Все прочие — старики и молодые, военные и дипломаты, иностранцы и русские — воротились в Москву, измученные бесплодными хлопотами. Я написал одной из особ императорского дома, что, к сожалению, не могу воспользоваться милостью, оказанною мне его величеством, который позволил мне присутствовать при воинских эволюциях, — в оправдание же свое выставил недолеченную болезнь глаз.

В лагере, как говорят, невыносимо пыльно даже и для здоровых людей; я же от такой пыли могу лишиться зрения. Герцог Лейхтенбергский, надо думать, наделен изрядным равнодушием, коль может хладнокровно присутствовать на готовящемся представлении. Как утверждают, во время потешной битвы император должен командовать корпусом принца Евгения — отца молодого герцога.

Я сожалел бы о своем отсутствии на зрелище столь любопытном в отношении нынешних нравов и обстоятельств, если б только мог созерцать его как посторонний наблюдатель; но хоть я и не принужден заботиться здесь о воинской славе своего отца, я сын Франции и чувствую, что мне не подобает забавляться этою дорогостоящею военного репетицией, призванною единственно распалить национальную гордость русских за счет бедствий нашей страны. Само же зрелище мне нетрудно **себе вообразить — в России я довольно насмотрелся прямых линий. К тому же ни на** парадах, ни на потешных сражениях вечно ничего не видать за тучей пыли.

Если б еще актеры, разыгрывающие историю, были на этот раз верны правде!.. Но разве можно надеяться, что люди, всю жизнь привыкшие ни в грош не ставить истину, вдруг начнут ее блюсти?

Русские по праву гордятся исходом кампании 1812 года; однако ж генерал, начертавший ее план и первым предложивший постепенно отводить русскую армию в глубь империи, заманивая туда изнуренных походом французов; одним словом, тот, чьему гению Россия обязана своим избавлением, — князь Витгенштейн — не будет участвовать в грандиозном представлении; дело в том, что он, на беду свою, еще жив... Он живет у себя в имении, в полуопале; итак, имя его не будет произнесено на Бородинской годовщине, зато перед ним воздвигнется памятник вечной славы генералу Багратиону, павшему на поле брани.

При деспотическом правлении мертвые воины имеют преимущество перед живыми; так и здесь героем кампании объявлен человек, который храбро погиб в эту кампанию, но не возглавлял ее.

Такая историческая недобросовестность, когда один-единственный человек по своему произволу навязывает всем свои взгляды и предписывает народам свои суждения даже о событиях общенациональной важности, представляется мне возмутительнейшим из беззаконий самовластного правления!! Казните и мучайте тело человека, но не уродуйте хотя бы его дух; дайте людям судить обо всем по воле Провидения, по своей совести и разуму. Нечестивыми должно считать те народы, которые смиренно терпят такое постоянное неуважение к тому, что есть самого святого в глазах Божьих и людских, — к истине.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

Москва, 6 сентября 1839 года

Мне прислали отчет о бородинских военных упражнениях, и от него гнев мой отнюдь не утихает.

О Московской битве читали все, и история числит ее среди тех, что выиграны нами: император Александр затеял ее наперекор мнению своих генералов как
942 последнюю попытку спасти столицу, которая спустя четыре дня была все-таки взята; однако героический пожар Москвы в сочетании с морозом, смертоносным для людей, рожденных в более мягком климате, наконец недальновидность нашего вождя, ослепленного на сей раз непомерною верой в свою счастливую звезду, — все это решило дело к нашей беде; и вот теперь, благо кампания закончилась удачно, российскому императору угодно считать поражение своей армии в четырех переходах от столицы победою! Поистине, деспотизм злоупотребляет здесь тою свободой произвольно переиначивать факты, которую он себе присвоил; ради подтверждения своего вымысла император, якобы воспроизводя
942 битву тщательно и точно, совершенно извратил ее картину. Взгляните, как опроверг он историю на глазах у всей Европы.

В тот момент сражения, когда французы, громимые огнем русской артиллерии, бросаются на разящие их батареи, дабы, как вам известно, смело и удачно захватить неприятельские пушки, император Николай, вместо того чтоб дать им выполнить сей знаменитый маневр, который справедливости ради должен он был допустить, а ради собственного достоинства — сам скомандовать, — император Николай, льстя ничтожнейшим своим подданным, заставил отступить на три лье тот корпус нашей армии, которому мы в действительности обязаны были поражением русских, победным маршем на Москву и ее взятием. Судите же сами, как я благодарю Бога, что мне хватило ума отказаться присутствовать при подобной лживой пантомиме!..

Эта военная комедия дала повод для императорского приказа, который про-
943 изведет скандал в Европе, если только будет там обнародован в том виде, в каком мы прочли его здесь. Невозможно более резко отрицать достовернейшие факты и более дерзко издеваться над совестью людей, а прежде всего над своею собственною. Согласно этому любопытному приказу, излагающему понятия своего автора, но отнюдь не подлинные события кампании, «русские преднамеренно отступили за Москву, а значит, не проиграли Бородинское сражение (но тогда зачем они его давали?), и, — говорится в приказе, — кости дерзких пришельцев, разметанные от святой столицы до Немана, свидетельствуют о торжестве защитников отечества».

Не дожидаясь торжественного въезда императора в Москву, я через два дня уезжаю в Петербург.

Здесь заканчиваются мои дорожные письма; нижеследующее изложение заключает собою мои заметки; оно писалось в разных местах — сперва в Петербурге в 1839 году, затем в Германии и еще позднее в Париже.

ИЗЛОЖЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ

Обратная дорога из Москвы в Берлин через Санкт-Петербург. — История одного француза, г-на Луи Перне. — Его арестовывают в трактире посреди ночи. — Необыкновенная встреча. — Крайняя осторожность второго француза, спутника арестованного. — Французский консул в Москве. — Его равнодушие к судьбе узника. — Мои бесплодные ходатайства. — Действие воображения. — Разговор с влиятельным русским. — Что он мне присоветовал в отношении узника. — Отъезд в Петербург. — Медленность езды. — Новгород Великий. — Что уцелело от древнего города. — Воспоминания об Иване IV. — Последние остатки новгородской славы. — Прибытие в Петербург. — Мой рассказ г-ну Баранту. — Примечание. — Завершение истории г-на Перне. — Внутренность московских тюрем. — Обещание, данное арестанту русским генералом. — Мои последние дни в Петербурге. — Поездка в Колпино. — Великолепный арсенал. — Бесцельная ложь. — Анекдот, рассказанный мне в карете. — Происхождение российского семейства Лаваль. — Пример отзывчивости императора Павла. — Сбитый герб. — Академия живописи. — Ее ученики-рекруты. — Пейзажисты. — Исторический живописец Брюллов, его картина «Последний день Помпеи». — Великолепные снимки Брюллова с картин Рафаэля. — Влияние севера на дух художников. — Поэзия меньше живописи теряет под небом Севера. — Мадемуазель Тальони в Петербурге. — Влияние здешней жизни на художников. — Упразднение униатства. — Преследования, претерпеваемые католическою церковью. — Несомненные преимущества представительного правления. — Я выезжаю из России; переправа через Неман; Тильзит. — Откровенное письмо. — Случай с немцем и англичанином. — Почему я не стал возвращаться в Германию через Польшу.

Берлин, в первых числах октября 1839 года

Перед самым отъездом из Москвы все мое внимание привлекло одно чрезвычайное происшествие, заставившее меня повременить с отбытием.

Я заказал себе почтовых лошадей на семь часов утра; к великому моему удивлению, камердинер разбудил меня, когда не было еще и четырех; я спросил о причине такой поспешности, и он ответил, что хотел поскорее известить меня

о происшествии, о котором сам только что узнал и которое кажется ему достаточно серьезным, чтоб обязательно доложить мне без промедления. Вот вкратце его рассказ:

946 Некий француз, г-н Луи Перне, несколько дней назад прибывший в Москву и живший в трактире Коппа, только что был арестован посреди ночи (этой самой ночи); его схватили, забрали все бумаги и отвезли в городскую тюрьму, где посадили в одиночную камеру; все это рассказал моему слуге лакей из нашего трактира, который говорит по-немецки. Порасспросив еще, камердинер узнал также, что этот г-н Перне — молодой человек лет двадцати шести, что здоровья
947 он слабого, отчего еще более приходится за него опасаться; что в прошлом году он уже бывал в Москве и даже жил здесь вместе со своим русским другом, который потом повез его к себе в деревню; сейчас этого русского здесь нет, и единственная опора злосчастного арестанта — француз по имени г-н Р***, вместе
947 с которым он, как говорят, только что вернулся из поездки по северу России. Живет этот г-н Р*** в том же трактире, что и арестованный. Имя его сразу меня поразило, ибо так звали человека-статую, с которым обедал я за несколько дней до того у нижегородского губернатора. Как вы помните, меня еще сильно озадачило выражение его лица. То, что этот господин оказался теперь замешан в происшествиях нынешней ночи, было словно какою-то сценой из романа; я с трудом верил услышанному. Мне подумалось, что рассказ Антонио — вымысел, что все это сочинили нарочно, чтоб меня испытать; тем не менее я поспешил встать и расспросить сам трактирного лакея, чтоб убедиться в верности всей истории и в точности имени г-на Р***, чью личность хотел установить прежде всего. Лакей объяснил, что, имея поручение к одному иностранцу, уезжавшему из Москвы той ночью, он явился в трактир Коппа как раз тогда, когда туда нагрянула полиция, и добавил, что г-н Копп сам рассказал ему об этом деле примерно в тех же выражениях, в каких Антонио изложил его мне.

Я оделся и немедленно отправился к г-ну Р***. Оказалось, что это действительно человек-статуя из Нижнего. Правда, в Москве он был уже не так бесстрастен и казался встревоженным. Я застал его уже поднявшимся с постели; мы сразу узнали друг друга, и, когда я объяснил ему причину столь раннего своего визита, он заметно смутился.

— Я действительно путешествовал вместе с г-ном Перне, — сказал он, — но так вышло случайно; мы встретились в Архангельске и ехали оттуда вместе; сложения он хилого, и в дороге его слабое здоровье внушало мне опасения; я заботился о нем, как требует человечность, вот и все; я с ним вовсе не дружен, даже не знаком.

— Я знаком с ним еще меньше, — возразил я, — но мы все трое французы и обязаны помогать друг другу в стране, где свобода наша и жизнь в любой момент могут оказаться под угрозой, — ведь власть здесь дает о себе знать лишь карающими ударами.

— Возможно, г-н Перне навлек на себя эту неприятность каким-то неосторожным шагом, — продолжал г-н Р***. — Я здесь тоже иностранец, влияния не имею, что же я могу поделать? Если он невиновен, его арест останется без

последствий; если же виновен, то его накажут. Я ничем не в силах ему помочь, ничем ему не обязан, да и вам, сударь, советую быть весьма сдержанным, коли станете за него хлопотать, а равно и говорить об этом.

— Да кто же определит, виновен он или нет? — вскричал я. — Прежде всего надо бы повидать его, узнать, чем он сам объясняет свой арест, и спросить, что можно сделать и как замолвить за него слово.

— Вы забываете, в какой мы стране, — сказал г-н Р***. — Он же в одиночной камере, как до него добраться? Это невозможно.

— Невозможно другое, — отвечал я вставая, — чтобы французы, мужчины, оставили в отчаянном положении своего соотечественника, даже не выяснив, чем вызвано его несчастье.

Выйдя от этого сверхосторожного попутчика, начал я понимать, что дело сложнее, чем полагал сперва, и решил, что если хочу точно узнать о положении узника, то должен обратиться к французскому консулу. В ожидании часа, когда 947
прилично будет отправиться к этой особе, велел я привести себе наемных лошадей — к великому неудовольствию и недоумению фельдъегеря, ибо, когда я давал это новое распоряжение, во дворе трактира уже стояли для меня почтовые лошади.

Около двух часов я поехал изложить уже известную вам историю г-ну французскому консулу. Сей официальный заступник французов оказался столь же осторожен и еще более холоден, чем доктор Р***. С тех пор как он поселился в Москве, французский консул сам стал почти русским. Я не смог распознать, были ли его ответы мне внушены обоснованною опаской, происходящею от знания местных обычаев, или же чувством задетого самолюбия, дурно понятого собственного достоинства.

— Г-н Перне, — сказал он, — полгода прожил в Москве и в окрестностях и за все это время так и не посчитал нужным хоть как-то заявить о себе французскому консулу. Раз так, то ныне, чтобы выпутаться из положения, в которое попал по своей беспечности, г-н Перне должен рассчитывать только сам на себя. «Беспечность» — слово, быть может, даже слишком мягкое, — добавил консул; в заключение он повторил, что не может, не должен и не хочет вмешиваться в это дело.

Напрасно убеждал я его, что в качестве консула Франции он обязан оказывать покровительство всем французам, невзирая на лица, в том числе даже и тем, кто нарушает законы этикета; что речь сейчас идет не об учтивости, не об условных церемониях, но о свободе, а то и жизни одного из соотечественников наших; что перед лицом такой беды всякая обида должна умолкнуть, по крайней мере до тех пор, пока не минует опасность; я так и не добился от него ни слова, ни жеста в пользу узника; тогда я стал просить его принять во внимание неравенство двух сторон, поскольку вина г-на Перне, не нанесшего г-ну французскому консулу положенного визита, никак не идет в сравнение с наказанием, которому тот его подвергает, оставляя в темнице и не интересуясь причинами такого беззаконного ареста, не пытаясь предотвратить еще более тяжкие последствия, какие может повлечь за собой безжалостность властей; в заключение я сказал, что

в подобных обстоятельствах мы должны думать не о том, в какой мере г-н Перне достоин нашего сочувствия, но о достоинстве Франции и о безопасности всех французов, которые ездят или еще будут ездить в Россию.

Уговоры мои не возымели никакого действия, и из этого второго визита я извлек так же мало проку, как и из первого.

Тем не менее казалось мне, что хотя я даже по имени не знаю г-на Перне и не имею никакой личной причины о нем заботиться, но раз уж я по воле случая узнал о его несчастье, долг мой требует оказать ему всяческую помощь, какую я в состоянии ему предложить.

В тот миг меня сильно поразила истина, которая, вероятно, всем часто приходила в голову, но мне до тех пор являлась лишь смутно и бегло, — а именно, что сострадание в нас делается отзывчивее и острее благодаря воображению. Мне даже подумалось, что человек, полностью лишенный воображения, был бы и бессердечен. Весь творческий дух, какой есть во мне, невольно силился представить мне злосчастного незнакомца, одолеваемого теми призраками, какие рождаются одиночеством и неволей; я страдал вместе с ним, испытывал те же чувства, те же страхи; я видел, как он, всеми брошенный, оплакивает свою оторванность от людей и понимает, что она непоправима, ибо кому есть дело до арестанта в столь далекой и чуждой нам стране, в обществе, где друзья сходятся вместе лишь в благополучии и расходятся в беде? Мысли эти лишь сильнее разжигали во мне сострадание! «Ты считаешь, что ты один в целом свете, но ты несправедлив к Провидению, которое посылает тебе друга и брата», — вот что твердил я про себя и еще многое другое, как бы обращаясь к несчастному.

Между тем, думал я, бедняга, не надеясь ни на чью выручку, все глубже погружается в отчаяние, по мере того как текут часы в ужасном однообразии, в неизменном безмолвии; скоро придет ночь, а с нею череда призраков; сколько страхов, сколько сожалений станут его терзать! Как хотелось мне дать ему знать, что отныне ему должно рассчитывать не на вероломных заступников, а на старания неведомого друга! Но у меня не было никаких средств с ним снестись; и от такой невозможности его утешить я чувствовал себя вдвойне обязанным ему помогать; среди бела дня меня преследовали зловещие видения темницы; воображение мое, заключенное под мрачные своды, застило мне сияние небес над головою и лишало меня свободы, вновь и вновь являя видения темных подземелий и крепостных башен; в смятении своем забывая, что русские даже тюрьмы строят в классическом стиле, я мнил себя заточенным под землею; мне чудились не римские колоннады, но готические каменные мешки; я сам чувствовал себя заговорщиком, покаранным и сосланным преступником, я сходил с ума вместе с узником... вовсе мне незнакомым! Так вот, если бы воображение не так живо рисовало мне все эти картины, я бы не так деятельно, не так настойчиво хлопотал за беднягу, который, кроме меня, не имел никакой поддержки и уже тем самым вызывал мое сочувствие. Меня словно преследовал призрак, и, чтоб избавиться от него, я готов был прошибить стены; от отчаяния и бессильной ярости я страдал, пожалуй, не меньше злосчастного арестанта; пытаясь прекратить его муки, я сам их терпел.

ИЗЛОЖЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ

Добиваться пропуска в тюрьму было бы затеей сколь опасною, столь и бесполезною. После долгих и тягостных сомнений остановился я на иной мысли: в Москве я свел знакомство с кое-какими влиятельными лицами, и хотя уже два дня как со всеми распрощался, но все же решился обратиться к одному из тех, кто внушал мне более всего доверия.

Здесь я не только не должен называть его имя, но и вообще могу говорить о нем лишь самым неопределенным образом.

Когда я входил к нему в комнату, он уже знал, что за причина меня привела; и не успел я объяснить ему эту причину, как он сказал, что по странной случайности сам лично знаком с г-ном Перне, считает его ни в чем не повинным и не представляет, чем объяснить приключившееся с ним; он, однако, уверен, что подобный арест мог быть вызван только политическими соображениями, ибо русская полиция всегда, когда может, действует негласно; по всей вероятности, до сих пор предполагалось, что в Москве никто не знает о приезде этого иностранца; теперь же, когда дело уже сделано, его друзья, объявившись, способны лишь навредить — как только выяснится, что у него есть покровители, его положение сразу поспешат усугубить, переведя куда-нибудь подальше во избежание объяснений и жалоб; потому, добавил мой знакомец, для блага самого пострадавшего при защите его требуется сугубая осмотрительность. Стоит ему попасть в Сибирь — и Бог весть, когда он оттуда вернется!» — воскликнул мой советчик; после чего стал внушать мне, что его самого подозревают в наклонности к либеральным воззрениям, и достаточно только ему вступиться за подозрительного француза или даже просто сказать, что он с ним знаком, как несчастного тут же ушлют на край света. В заключение он сказал: «Вы ему не родственник и не друг; судьба его заботит вас лишь постольку, поскольку вы полагаете это долгом своим перед каждым соотечественником, перед каждым человеком, попавшим в беду; все, чего требовало от вас это похвальное чувство, вы уже выполнили — переговорили со спутником арестанта, с вашим консулом, со мною; теперь же, поверьте мне, воздержитесь от любых дальнейших хлопот; что бы вы ни стали делать, это не пойдет впрок, вы лишь скомпрометируете себя без всякой пользы для человека, которого бескорыстно взяли под защиту. Он вас не знает, ничего от вас не ждет — так уезжайте же; вам нечего опасаться, что вы обманете его надежды, — он на вас и не надеется; за делом его я прослежу — самому мне вмешиваться нельзя, но у меня есть средства стороною узнать, как оно идет, и в известной мере повлиять на его ход; обещаю вам употребить эти средства наилучшим образом; еще раз повторяю — послушайтесь меня и уезжайте».

— Если б я уехал, то не знал бы ни минуты покою, — воскликнул я, — меня бы мучила совесть при мысли о том, что, кроме меня, некому было помочь этому бедняге, а я его бросил в беде, ничего для него не сделав.

На это мне возразили:

— Оставаясь здесь, вы ведь не можете даже утешить его, потому что о присутствии вашем он не ведает, равно как и о вашем к нему сочувствии, и неведение это будет длиться до тех пор, пока его держат в заключении.

— Значит, нет никакого средства проникнуть к нему в камеру? — вновь спросил я.

— Никакого, — начиная уже терять терпение, отвечал тот, чьей помощи считал я своим долгом столь настойчиво добиваться. — Будь вы ему хоть братом, вы все равно не сумели бы здесь сделать для него больше, чем уже сделали. А вот находясь в Петербурге, вы могли бы быть полезны г-ну Перне. Сообщите все, что знаете об этом аресте, г-ну французскому послу — ибо из донесений вашего консула он вряд ли узнает о случившемся. Если столь высокопоставленное лицо, как ваш посол, да еще человек с таким характером, как у г-на Баранта, заявит обо всем министру, то это более способно помочь вызволению вашего соотечественника, чем все хлопоты, какие могли бы предпринять в Москве вы, я и еще хоть двадцать человек.

— Но ведь император со своими министрами находится в Бородине или же в Москве, — возразил я, все никак не давая себя выпроводить.

— Не все министры сопровождают его величество в этой поездке, — отвечали мне учтивым тоном, хотя и с нарастающим, не без труда скрываемым недовольством. — Ну, а в худшем случае придется дождаться их возвращения. Повторяю, другого пути у вас нет, если только вы не желаете вреда человеку, которого пытаетесь спасти, себе же самому притом — больших неприятностей, а то и чего-нибудь похуже, — было добавлено с многозначительным видом.

Если б лицо, к которому я обращался, находилось на службе, мне уже мерещилось бы, что меня забирают казаки и ведут в такую же темницу, в какую заключен г-н Перне.

Чувствовалось, что терпение моего собеседника на исходе; я и сам был смущен и не знал, что возразить на его доводы; итак, я удалился, пообещав уехать и со всею признательностью поблагодарив за данный мне совет.

Коль скоро выяснилось, что здесь я ничего не могу сделать, надо немедленно ехать, решил я. Остаток утра отняли у меня проволочки фельдъегеря, который, вероятно, должен был составить обо мне последнее донесение; получить вновь почтовых лошадей удалось лишь к четырем часам пополудни — четверть пятого я уже ехал по Петербургскому тракту.

Недобросовестность моего курьера, всевозможные неурядицы, происходившие не то случайно, не то по злой воле, повсеместная нехватка подставных лошадей, которых держали только для императорского двора и армейских офицеров, а также для курьеров, непрестанно разъезжавших между Бородином и Петербургом, — все это сделало переезд медленным и тягостным; в нетерпении я не желал останавливаться на ночлег, но торопливостью этою ничего не выиграл, ибо отсутствие лошадей — действительное или мнимое — вынудило меня на целых шесть часов задержаться в Новгороде Великом, за пятьдесят лье до Петербурга.

Я мало был расположен осматривать остатки этого города, где зародилась империя славян и нашла себе могилу их свобода. В знаменитом храме Святой
947 Софии находятся здесь гробницы Владимира Ярославича, умершего в 1051 году, матери его Анны, одного из константинопольских императоров, а также еще не-

сколько любопытных захоронений. Храм походит на все русские церкви; возможно, и он не более подлинный, чем «старинный» собор в Нижнем Новгороде, где покоится прах Минина; я не доверяю больше возрасту ни одного из памятников старины, которые мне показывают в России. Названиям рек я пока еще верю; при виде Волхова представились мне ужасные сцены осады города-республики, который был дважды взят и опустошен Иваном Грозным. Мне виделось, как эта венценосная гиена, улегшись на развалинах, ликует при виде войны, мора и расправы, а из заваленной мертвецами реки, казалось, выступали кровавые трупы подданных царя, напоминая мне об ужасах гражданских войн и об исступлении, до которого доходят общества, именуемые цивилизованными — потому лишь, что злодеяния расцениваются в них как дело доблести и вершатся со спокойною совестью. Среди дикарей страсти столь же разнузданны, даже еще более грубы и жестоки; однако там они не имеют такого размаха; человек там, располагая обычно лишь своею личною силою, творит зло в меньших размерах; к тому же безжалостность победителей если и не извиняется, то объясняется жестокостью побежденных; в упорядоченных же государствах разрыв между ужасом творимых деяний и расточением красных слов делает преступление особенно возмутительным и показывает нам человечество в особенно прискорбном виде. Слишком часто здесь некоторые склонные к оптимизму умы, а равно и другие, из выгоды, политического расчета либо самообмана льстящие массам, принимают всякое движение за прогресс. Мне представляется примечательным, что грозную месть, от которой тридцать тысяч жителей погибли в боях либо стали безвинными жертвами придуманных царем и приведенных в исполнение под его началом пыток и казней, навлекли на Новгород сношения архиепископа Пимена и нескольких знатных горожан с поляками. В те дни на глазах у царя казнили до шестисот человек в день; и все эти ужасы совершались в качестве возмездия за **преступление, с тех самых пор каравшееся самым беспощадным образом, — за связь** с поляками. Случилось все это около трехсот лет назад, в 1570 году.

После этого потрясения Новгород Великий так и не оправился; он мог бы восполнить свои потери, но не пережил упразднения демократических установлений; на городских стенах, покрашенных с тем тщанием, с каким русские всюду стремятся под покровом ложного обновления скрыть излишне правдивые следы истории, — на стенах этих нет больше пятен крови; они как будто отстроены лишь вчера; но на широких прямолинейных улицах безлюдно, а три четверти старинных развалин разбросаны за пределами тесной крепостной стены и теряются среди окрестных равнин, окончательно разрушаясь вдали от нынешнего города — не более чем тени прежнего, с которым его роднит одно название. Вот и все следы знаменитой средневековой республики. Несколько полустертых воспоминаний о славе, о могуществе — призраки, навсегда ушедшие в небытие. Каков же плод революций, непрестанно орошавших кровью эту почти пустынную ныне землю? Чей успех стоит тех слез, что проливались в этом краю из-за политических страстей? Ныне все здесь безмолвствует, словно до начала исторических времен. Как же часто Бог напоминает нам, что люди, обманываясь своею гордыней, принимают за достойную цель усилий то, что на деле позволяет

просто дать выход избыточной силе, кипящей в волнении молодости. В этом — глубинный смысл многих героических поступков.

Ныне Новгород Великий — это более или менее знаменитая груда камней среди бесплодной на вид равнины, на берегу унылой, узкой и неспокойной реки, похожей на канал для осушения болот. А ведь здесь жили люди, прославленные своею любовью к буйной вольнице; здесь происходили трагические сцены; блестящие судьбы прерывались внезапными катастрофами. От всего этого грохота, крови, вражды остался ныне дремотно скучный гарнизонный город, не любопытный более ни к чему на свете — ни к миру, ни к войне. В России прошлое отделено от настоящего бездною!

Уже триста лет как вечевой колокол [1] не созывает более на совет жителей некогда славнейшего и непокорнейшего русского города; по воле царя в сердцах задушено даже сожаление, стерта даже сама память о его былой славе. Несколько лет назад в военных поселениях, размещенных вокруг новгородских руин, происходили жестокие столкновения между казаками и местными жителями. Но бунт был подавлен, и все опять вошло в обычную колею — повсюду воцарились могильная тишь и покой. Турция ничем не уступает Новгороду.[2]

Я вдвойне рад был — за московского узника и за себя самого — оставить эти места, некогда знаменитые своею разнузданною вольностью, ныне же опустошенные так называемым «порядком», который здесь равнозначен смерти.

Как ни торопился, в Петербург я прибыл лишь на четвертый день; и, едва выйдя из коляски, сразу поспешил к г-ну де Баранту.

Он еще не знал об аресте г-на Перне и был, казалось, удивлен, что узнает о нем от меня, тем более что я затратил на дорогу почти четыре дня. Он еще больше удивился, когда я поведал ему о своих бесплодных беседах с консулом, о попытках уговорить этого официального заступника французов похлопотать за арестанта.

Внимательность, с какою выслушал меня г-н де Барант, его обещания предпринять все необходимое для выяснения дела и ни на минуту не упускать его из виду, не распутав весь узел интриги; важность, которую он, казалось, придавал малейшим происшествиям, затрагивающим достоинство Франции и безопасность наших сограждан, — все это успокоило совесть мою и развеяло призраки,
947 рожденные моим воображением. Судьба г-на Перне была теперь в руках его естественного покровителя, чей ум и твердость давали несчастному более надежную поддержку, нежели мои старания и бессильные ходатайства.

Я почувствовал, что сделал все возможное и должное, чтобы вызволить человека из беды и, по мере сил не выходя за пределы, поставленные моим положением простого путешественника, защитить честь своей страны. «Безумное» мое воображение сыграло благую роль. Поэтому я счел разумным в те двенадцать или пятнадцать дней, что провел еще в Петербурге, не произносить более имени г-на Перне в присутствии г-на посла и уехал из России, не зная,

[1] Колокол народного собрания.

[2] Смотри письмо восемнадцатое, историю Теленева.

как развивалась далее история, в начале своем столь сильно меня озаботившая и взволновавшая.

Но, скоро и вольно держа свой путь во Францию, я не раз мысленно возвращался в московскую темницу. Если б я знал, что там происходило в те дни, я бы тревожился еще сильнее.[1]

[1] Чтоб не оставлять читателя в неведении относительно судьбы московского узника, о которой я сам ничего не знал почти полгода, расскажу здесь то, что узнал лишь по возвращении во Францию об аресте и освобождении г-на Перне.

Однажды, в конце зимы 1840 года, доложили мне о приходе какого-то незнакомца, который желает со мною переговорить; я спросил его имя; он отвечал, что скажет его только мне лично. Я отказался его принять; он настаивал, я вновь отказал. Тогда, не желая отступаться, он написал мне несколько слов без подписи, говоря, что я не могу не выслушать человека, обязанного мне жизнью и желающего лишь отблагодарить меня.

Такие слова были для меня неожиданны, и я велел впустить незнакомца. Войдя в комнату, он сказал: «Сударь, я вчера только узнал ваш адрес и сегодня же поспешил к вам: меня зовут Перне, и я хотел бы выразить вам свою признательность, ибо в Петербурге мне сказали, что именно вам обязан я свободою, а значит и жизнью».

После первых бурных чувств, которых не могли не вызвать во мне эти речи, я начал рассматривать г-на Перне; то был один из многих молодых французов, по облику и складу ума напоминающих южан; черноглазый и черноволосый, скуластый, с гладким и бледным лицом; невысокого роста, худой, хрупкого сложения и болезненного вида, но болезненного от страданий скорее нравственных, чем физических. Оказалось, я знаю кое-кого из его родственников, которые живут в Савойе и принадлежат к числу достойнейших людей в том краю, где порядочны все люди без исключения. Он рассказал мне, что по образованию он адвокат и что в Москве его три недели продержали в тюрьме, в том числе четыре дня в одиночной камере. Из повести его вы увидите, как обращаются в этом заведении с арестантами. В воображении своем я не смог даже приблизиться к действительности.

Первые два дня ему не давали есть; можете себе представить, какие муки он терпел! Никто его не допрашивал, он был совершенно один; в течение сорока восьми часов он думал, что ему суждено так и умереть от голода, забытым в своем узилище. Единственный шум, доносившийся до него, были удары розг, которыми с пяти часов утра и до самого вечера секли несчастных крепостных, отправленных туда своими господами для наказания. Прибавьте к этим ужасным звукам рыдания, плач и вой жертв, угрозы и брань палачей, и вы можете составить себе приблизительное представление о том, каким нравственным пыткам подвергался наш злосчастный соотечественник в течение четырех томительных дней, сам не зная за что.

Проникнув таким образом, отнюдь не по своей воле, в сокровенные тайны русских тюрем, он вполне оправданно счел, что обречен кончить здесь свои дни, небезосновательно рассудив: «Если б меня собирались выпустить, то не посадили бы в такое место — ведь эти люди больше всего боятся, что их скрытые от посторонних взглядов жестокости получат огласку».

Одна лишь тонкая и легкая перегородка отделяла тесную каморку г-на Перне от внутреннего двора, где происходили экзекуции.

Розги, которые благодаря смягчению нравов заменили собою недоброй памяти монгольский кнут, представляют собою расщепленный натрое тростник; при каждом ударе орудие это рвет кожу; после пятнадцатого удара наказуемый обычно уже не в силах

ИЗЛОЖЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ

Последние дни своего пребывания в Петербурге я употребил на посещение некоторых учреждений, которые не смог повидать при первом приезде в этот город.

Князь *** показал мне в числе прочих достопримечательностей огромный Колпинский завод — главный русский арсенал, расположенный в нескольких лье от столицы. На этом заводе изготовляется все необходимое для императорского флота. Ехать в Колпино семь лье, причем вторая половина дороги очень

кричать: ослабевший голос его издает лишь глухие протяжные стоны; этот ужасный хрип казнимых разрывал сердце узнику и предвещал ему участь, о какой не осмеливался он даже помыслить.

Г-н Перне понимает по-русски; ему сразу пришлось стать свидетелем множества незримых для него и никем не знаемых мучений; в тюрьму привели двух девушек, работавших у знаменитой в Москве модистки; несчастных секли прямо на глазах у хозяйки — та обвиняла их в том, что они имеют любовников и настолько забываются, что приводят их в дом... к ней, владелице модной лавки!! экое безобразие! При этом злобная женщина еще и велела палачам сечь побольнее; одна из девушек запросила пощады; было ясно, что она при смерти, вся в крови, — неважно!., она имела дерзость сказать, что сама хозяйка ведет себя похуже ее, отчего та рассвирепела вдвое пуще прежнего. Как утверждал г-н Перне (добавляя притом, что я, конечно, не поверю его словам), каждая из несчастных получила в несколько приемов по сто восемьдесят плетей. «Мне слишком больно было их считать, — сказал мне бывший арестант, — чтобы я мог сбиться!!»

Когда присутствуешь при таких ужасах и ничего не можешь сделать, чтобы помочь жертвам, то начинаешь сходить с ума.

Затем стали сечь крестьян, присланных управляющим какого-то помещика; дворового слугу из городской усадьбы, наказываемого по просьбе барина; сплошная череда жестоких и неправедных возмездий, череда людей, чье отчаяние неведомо свету (см. в конце этого тома извлеченный из книги Лаво список лиц, содержавшихся в московской тюрьме в течение 1836 года; см. также в приложении к «Американским заметкам» Диккенса выдержки из американских газет, касающиеся обращения с рабами в Соединенных Штатах; налицо примечательное сходство между бесчинствами деспотизма и злоупотреблениями демократии.) Бедный арестант ждал ночи, так как вместе с темнотою наступала и тишина; но тогда его начинали жечь каленым железом собственные мысли; и тем не менее жестокие муки воображения он предпочитал мукам от более чем действительных страданий преступников или же невинных жертв, которых приводили на тюремный двор в течение дня. Попавшего в настоящую беду не так страшит мысль, как действительность. Одни лишь сытые и спящие в мягкой постели любители помечтать уверяют, будто мнимые мучения сильнее действительно испытываемых.

Наконец, после этой четырехдневной пытки, ужас которой вряд ли подвластен усилиям нашего воображения, г-н Перне, по-прежнему без всяких объяснений, был переведен из своей камеры в другую часть тюрьмы.

Оттуда он написал г-ну де Баранту, передав письмо через генерала ***, на дружбу которого он, как полагал, мог рассчитывать.

Письмо по назначению не дошло, а когда позднее написавший его попросил у вероломного генерала объяснений, тот ответил отговорками и в конце концов поклялся г-ну Перне на Евангелии, что письмо его не было и никогда не будет передано министру полиции! Таково было высшее изъявление преданности, какого сумел добиться узник от своего друга. Вот во что превращаются лучшие людские чувства, пройдя через горнило деспотизма.

скверная. Заводом управляет англичанин, г-н Вильсон, удостоенный генеральского звания (в России все носят мундир);[1] он добросовестно, как истый русский инженер, показал нам свои машины, не давая пропустить ни единого гвоздя или гайки; в сопровождении его мы обошли около двадцати цехов огромного размера. Со стороны управляющего такая чрезвычайная любезность заслуживала, вероятно, сугубой признательности; я же восхищался весьма сдержанно, да и то выказывал больше энтузиазма, чем действительно ощущал: усталость делает неблагодарным, почти так же, как и скука.

Самое замечательное, что встретилось нам во время поневоле долгого осмотра колпинских механизмов, — это машина Брамаха, посредством которой 948
испытывают на прочность якорные цепи для наиболее тяжелых кораблей; могучие стальные звенья, устоявшие против усилий этой машины, смогут удержать

Три недели прошли во все нарастающем беспокойстве, ибо, казалось, опасаться можно чего угодно, а надеяться не на что.

По истечении этого срока, который г-ну Перне показался целою вечностью, он был освобожден без всякого суда, так и не узнав, в чем состояла причина его заточения.

Неоднократные запросы, направленные им в Москве директору департамента полиции, ничего не прояснили: ему отвечали, что его освобождения требовал посол, и приказали покинуть Россию. Он испросил и получил разрешение ехать через Петербург.

Ему хотелось поблагодарить французского посла за свободу, которою он ему обязан. Он желал также дознаться, почему с ним так обошлись. Тщетно г-н де Барант отговаривал его от затеи идти объясняться с г-ном Бенкендорфом, министром полиции. Освобожденный узник испросил себе аудиенции; ему ее предоставили. Он сказал министру, что не ведает, за что был наказан, и, прежде чем покинуть Россию, желает узнать, в чем заключалось его преступлениё. Министр кратко отвечал, что г-ну Перне лучше не заниматься далее расследованиями на сей счет, после чего отослал его восвояси, повторив приказание безотлагательно покинуть империю.

Вот и все сведения, что я сам смог получить от г-на Перне.

У молодого человека, как и у всех, кто хотя бы недолгое время провел в России, появился таинственно-скрытный тон, от которого иностранцы, живущие в тех краях, так же не могут избавиться, как и сами местные обитатели. В России все умы словно придавлены секретностью.

В ответ на мои расспросы г-н Перне наконец сказал мне, что при первой поездке в Россию ему поставили в паспорте звание негоцианта, при второй же поездке — адвоката: он прибавил и нечто более серьезное: еще до прибытия в Петербург, плывя на пароходе по Балтийскому морю, он откровенно высказался против русского деспотизма в присутствии нескольких незнакомых людей.

На прощание он заверил меня, что не припоминает никаких иных обстоятельств, которые могли бы объяснить то обращение, какому он подвергся в Москве.

С тех пор я его не видал; лишь два года спустя, по случайности столь же странной, 948
как и обстоятельства, заставившие меня вмешаться в эту историю, я повстречал одну особу, принадлежащую к его семейству, она сказала мне, что знает, какую услугу оказал я ее юному родственнику, и поблагодарила меня. Должен прибавить, что особа эта держится консервативных религиозных взглядов; еще раз повторю, что она сама и вся ее семья пользуются всеобщим уважением и почетом в Сардинском королевстве. 948

[1] Напомню сказанное выше о «чине» (письмо девятнадцатое). 948

и судно при самых резких порывах ветра и ударах волн. В машине Брамаха для измерения прочности железа остроумно используется давление воды; это изобретение меня восхитило. Осмотрели мы также шлюзы, предназначенные для спуска избыточной воды при особо мощных паводках. Эти необычные шлюзы действуют главным образом весной; иначе ручей, вращающий машины, не приводил бы в движение весь завод, а чинил бы неисчислимые разрушения. Дно каналов и шлюзовые опоры покрыты толстыми листами меди, так как этот металл якобы лучше гранита переносит зиму. Нас уверяли, что подобного не увидишь больше нигде.

Колпино вновь поразило меня тою неумеренною грандиозностью, что присуща всем полезным сооружениям, построенным русским правительством. Это правительство почти всегда присовокупляет к необходимому немало излишнего. У него так много действительной мощи, что низкие уловки, посредством которых оно обычно пускает пыль в глаза иностранцам, не должны вызывать в нас только презрение; такая хитрость совершенно бескорыстна, ее следует отнести к прирожденным склонностям национального характера: ведь люди лгут не только по малодушию, но часто и оттого, что от природы наделены даром искусно лгать; это особый талант, а любой талант желает выказать себя.

Когда мы сели в экипаж, чтоб ехать назад в Санкт-Петербург, уже стемнело и похолодало. Обратный путь был сокращен приятною беседой; особенно запомнилась мне следующая история. Она помогает понять, насколько всевластен над действительностью абсолютный монарх. До сих пор я видел, как русский деспотизм повелевает мертвецами, храмами, историческими событиями, каторжниками, арестантами — вообще всеми теми, кто не может заговорить и воспротивиться злоупотреблениям власти; на сей раз мы увидим, как император российский навязал одной из знатнейших семей Франции такое родство, о котором она и не думала.

948 В царствование Павла I жил в Петербурге француз по имени то ли Лаваль, то ли Ловель; будучи молод и приятен собою, он понравился одной весьма богатой девице, в которую сам был влюблен; семейство юной особы находилось тогда в немалой силе и почете; оно воспротивилось браку с незнатным и небогатым иностранцем. В отчаянии двое влюбленных решились на средство, достойное романа. Они подкараулили императора, когда тот проезжал по улице, бросились ему в ноги и попросили его заступничества. Павел I — который бывал добр, когда не бывал безумен, — пообещал добиться согласия семьи и убедил ее такое согласие дать — убедил, надо думать, различными доводами, но особенно же следующим: «Барышня ***, — сказал он, — выходит замуж за *господина графа де Лаваля,* молодого французского эмигранта, отпрыска знатного рода и обладателя значительного состояния».[1]

[1] После выхода в свет первого издания этой книги я получил письмо от госпожи
948 графини Коссаковской, дочери петербургского графа де Лаваля; в нем она указывает на ошибки, к распространению коих я оказался причастен, рассказавши сей анекдот так, как сам его услыхал. Она признает тем не менее, что петербургский г-н де Лаваль не

Получив таким образом — хотя, конечно, лишь на словах — изрядное приданое, молодой француз женился на барышне ***, родственники которой, разумеется, не стали перечить императору.

В подтверждение слов государя новоявленный граф де Лаваль гордо велел изваять свой герб на подъезде родового *особняка,* где поселился с молодою супругой.

К несчастью, случилось так, что через пятнадцать лет, уже при Реставрации, в Россию приехал кто-то из рода Монморанси-Лаваль; увидав нечаянно герб на подъезде, он стал наводить справки; ему рассказали историю г-на де Лаваля.

По его требованию император Александр немедленно распорядился убрать герб Лавалей, и подъезд остался голым.

На другой день после поездки в Колпино я подробно осмотрел Академию живописи — великолепное пышное здание, где хранится пока немного хороших 948
работ; да и чего можно ожидать от искусства в стране, где молодые художники носят мундир? Лучше бы уж просто отказаться от всякого труда, для коего потребно воображение. Все воспитанники Академии, как оказалось, состоят на службе, соответственно одеты, выполняют команды, словно кадеты морского училища. Уже это одно говорит о глубоком презрении к тому, чему здесь якобы покровительствуют, или, вернее, о совершенном непонимании законов природы и таинств искусства; даже в открытом равнодушии к художеству было бы не так много варварства; в России свободно лишь то, до чего нет дела правительству; до искусства же ему слишком много дела, да только оно не ведает, что искусство нуждается в свободе и тесная связь между гениальностью творчества и независимостью творца уже сама по себе служит залогом благородства художественной профессии.

Пройдясь по многочисленным мастерским, нашел я неплохих пейзажистов; их композиции отличаются воображением и даже удачными красками. Особенно любовался я картиною г-на Воробьева, изображающею Санкт-Петербург лет- 948
нею ночью: это красиво, как сама природа, поэтично, как сама правда. Я стоял перед этой картиной, и мне чудилось, будто я только что прибыл в Россию; мысленно я перенесся в то время года, когда летние ночи состояли из переходящих одна в другую вечерней и утренней зари; на картине как нельзя лучше передан эффект этого неугасающего света, который пробивается сквозь тьму, словно лучи лампы, прикрытой легким флером.

принадлежит к прославленному французскому роду, благодаря брачным узам соединившему имя свое с именем Монморанси, и в доказательство даже прибавляет, что титул 941
графа де Л аваля ему пожаловал Людовик XVIII; один этот факт удостоверяет, что Лавали, обосновавшиеся в Петербурге со времен эмиграции, не имеют ничего общего ни со старинным домом Лавалей, ни вообще со старинною французскою знатью. Однако же заслугами своими они никому не уступят; имя их вошло в историю благодаря недавнему достославному событию — петербургский граф де Л аваль приходится отцом княгине Трубецкой, добровольно отправившейся в сибирскую ссылку.

Издавая свою книгу, я не знал, что героический поступок этой святой жертвы супружеского долга покрывает славой также и Францию.

С сожалением отошел я от этого полотна, где природа точно схвачена человеком, которому воображение помогает воспроизводить увиденное. Своими работами он напомнил мне мои первые впечатления при виде Балтийского моря. Мне виделось не обычное живописное освещение, но бледный свет полярных стран. Столь верно передать своеобразные явления природы — заслуга немалая.

Много толков в России вызывает талант Брюллова. Говорят, что своим «Последним днем Помпеи» он наделал шуму в самой Италии. Огромное это полотно составляет ныне гордость русской школы в Санкт-Петербурге; не смейтесь — я сам видел, осматривая Академию живописи, как на дверях одного из залов начертаны эти слова — «Русская школа»!!! На мой взгляд, в картине Брюллова неверны краски; правда, избранный художником сюжет способен скрыть этот изъян, ибо кто может знать, какого цвета были здания в последний день Помпеи? Почерк живописца резкий, мазок жесткий, но в нем есть творческая сила; замыслы его не лишены ни воображения, ни самобытности... Лица у него разнообразны и правдивы; владей он искусством светотени, он, возможно, и заслужил бы когда-нибудь ту славу, которою здесь пользуется; сейчас же ему недостает непринужденности, колорита, легкости и изящества, да и чувство прекрасного ему несвойственно; он не чужд своеобразной дикой поэзии, и все же общий вид его картин неприятен для взора, а натянутостью стиля своего, хоть и не лишенного мощи, он напоминает подражателей школы Давида; рисунок выполнен тщательно, словно по гипсовой модели, а расцвечен как придется.

На картине «Успение», которою принято восхищаться в Петербурге, так как это работа *знаменитого* Брюллова, заметил я тучи столь тяжелые, что в пору их отдать в Оперу для изображения скал.

Тем не менее в «Помпее» выражение некоторых лиц говорит об истинном таланте. Картина эта, при всех недостатках композиции, выиграла бы в виде гравюры; ибо более всего она грешит по части красок.

Говорят, что, вернувшись в Россию, автор уже изрядно растерял свою увлеченность искусством. Как мне его жаль — он повидал Италию и должен был возвращаться на Север! Работает он мало, ему ставят в заслугу легкость кисти, но она, к сожалению, слишком явственно проступает в его работах. Только упорными, усиленными занятиями мог бы он избавиться от жесткости рисунка и резкости красок. Великие живописцы знают, скольких трудов стоит отучиться рисовать кистью, обрести умение писать ослабленными тонами, умение стирать на полотне линии, которых в природе нет нигде, и показывать зато воздух, который разлит в ней повсюду, умение скрывать свое искусство и, воспроизводя действительность, непрестанно ее облагораживать. Похоже, что русский Рафаэль не подозревает об этой тяжкой задаче художника.

Как говорят, жизнь свою он проводит более в попойках, нежели в трудах; я его не столько порицаю, сколько жалею. Все средства здесь хороши, чтоб согреться; в России вино — замена солнца. Если вы, на беду свою, не только русский, но еще и чувствуете себя художником, вам нужно уезжать за границу. Разве не ссылка для живописцев — жить в этом городе, где три месяца в году темно, а снег сверкает ярче солнца?

ИЗЛОЖЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ

Кто-нибудь из жанровых живописцев, усердно воспроизводя особенности быта под здешними широтами, еще мог бы снискать себе почет и завоевать местечко на паперти храма искусств, в сторонке от всех; исторический же живописец, если он желает развить свои полученные от неба наклонности, должен бежать прочь из этого климата. Что бы ни говорил и ни творил Петр Великий, природа ставит предел человеческим затеям, хотя бы даже двадцать царей узаконили их своими указами.

Одна из виденных мною работ г-на Брюллова действительно великолепна; это, без сомнения, лучшая картина современной живописи, какая есть в Санкт-Петербурге; правда, это лишь снимок с достаточно старого шедевра — а именно с «Афинской школы». Размером она не уступает подлиннику. Художник, спо- ад
собный так воспроизвести, быть может, самое неподражаемое творение Рафаэля после его мадонн, обязан возвратиться в Рим, чтоб научиться там писать нечто лучшее, чем «Последний день Помпеи» и «Успение Божьей матери».[1]

Соседство с полюсом противно искусствам, исключая поэзию, которой зачастую не надо ничего, кроме человеческой души; тогда это словно вулкан, скованный льдами. Зато музыка, живопись, танец — все чувственные удовольствия, в известной мере независимые от мысли, в суровом этом климате вместе с потребными для них органами лишаются и своих чар. Что мне проку от Рембрандта ночью или же от Корреджо, Микеланджело и Рафаэля в темной комнате? У Севера, конечно, есть своя красота, но во дворце этом не хватает света. Любовь здесь свободней от чувственности и рождается не столько из телесных вожделений, сколько из потребностей сердечных; но, не в обиду будь сказано пустой роскоши богатства и власти, юность с ее чарующею свитой игр, грации и смеха не идет дальше тех благословенных краев, где солнечные лучи не скользят, едва касаясь земли, но согревают и оплодотворяют почву, озаряя ее с высоты небес.

В России все печально вдвойне — от страха власти и от отсутствия солнца!.. Народные танцы походят здесь на хоровод теней, который уныло тянется в слабом свете нескончаемых сумерек; а если пляшут их бойко — то на упражнения, которые делаются из боязни задремать и замерзнуть во сне. Даже мадемуазель Тальони, и та... увы!.. 940

Ведь даже мадемуазель Тальони в Санкт-Петербурге превратилась просто в превосходную танцовщицу! Какое падение для нашей Сильфиды!.. Вспоминается легенда об Ундине, ставшей обыкновенною женщиной... А когда она ходит по улицам — ибо теперь она ходит пешком! — за нею идут лакеи в парадной ливрее с золотым шитьем и с кокардами на шляпе, а в газетных статьях ее каждое утро осыпают нелепейшими похвалами, какие мне только доводилось читать. Вот как русские, при всем своем уме, могут обращаться с искусством и художниками. Художник должен быть рожден небесами, понят публикою, вдохновлен обществом... Вот что ему необходимо; награды же — дело необязательное; как сказано в Евангелии, 949
это все приложится. Но напрасно искать этих необходимых вещей в империи,

[1] Г-н Брюллов написал несколько весьма примечательных снимков с работ Рафаэля; но этот поразил меня своей красотой более всех прочих.

народ которой, силою загнанный чуть ли не на границу Лапландии, силою же был приобщен Петром I к порядку. Чтобы узнать, на что способны русские по части изящных искусств и цивилизации, я буду ждать, пока они дойдут до Константинополя.

Лучший способ покровительствовать искусствам — иметь непритворную потребность в удовольствиях, ими доставляемых; если народ достиг такой степени цивилизованности, ему недолго придется зазывать к себе художников из-за границы.

В то время, когда собирался я уезжать из Санкт-Петербурга, некоторые осо-
949 бы втайне оплакивали упразднение униатства [1] и рассказывали о самовластных мерах, загодя подготовлявших сие безбожное деяние, прославляемое здесь как торжество русской церкви. Тайные гонения, которым подверглись несколько униатских священников, способны возмутить даже самые равнодушные сердца; однако в стране, где большие расстояния и секретность способствуют произволу и всякий раз содействуют самым тиранническим деяниям, любые насилия остаются под спудом. Мне это напоминает выразительное присловье, столь часто повторяемое русскими, за которых некому заступиться: «До Бога высоко, до царя далеко!»[2]

951 Итак, православные стали мучить людей за веру. Где же та религиозная терпимость, которою кичились они перед теми, кто не знает Востока? Сегодня славные поборники католической веры томятся в монастырях-тюрьмах, и о борьбе их, восхищающей небеса, не ведает даже сама церковь, за которую они столь благородно ратуют на земле, — матерь всех церквей, единственная на свете всемирная церковь, ибо одна лишь она не заражена духом местной ограниченности, одна лишь она остается свободною и не принадлежит никакой стране!![3]

Когда над Россией взойдет солнце гласности, весь мир содрогнется от высвеченных им несправедливостей — не только старинных, но и творимых каждодневно и поныне. Да только слабым будет это содрогание, ибо такова уж судьба правды на земле: народы не ведают ее, когда им нужнее всего ее знать, а когда ее узнают, оказывается, что она им уже больше не нужна. Злоупотребления низвергнутой власти вызывают лишь вялые возгласы; повествующие о них слывут людьми озлобленными, бьющими уже поверженного противника, — пока же эта неправедная власть стоит на ногах, ее бесчинства тщательно скрываются, ибо мощь свою она употребляет прежде всего на то, чтобы заглушить стоны своих жертв; истребляя и губя людей, она старается не выказывать гнева, да еще и сама себе рукоплещет за незлобивость — ведь она позволяет себе одни лишь неизбежные жестокости. Однако нечего ей хвалить свою мягкость: когда тюрьма глухо непроницаема, как могила, то нетрудно обойтись и без эшафота!..

Днем и ночью не давала мне покоя мысль, что я дышу одним воздухом со столькими людьми, несправедливо угнетенными и отрезанными от всего света. Я уезжал из Франции в ужасе от бесчинств обманувшей нас свободы, возвращаюсь же домой в уверенности, что представительное правление пусть и не самое

---

[1] Униаты — православные, присоединившиеся к католической церкви и с тех пор рассматриваемые церковью православною как раскольники.

948 [2] Смотри книгу «Преследования и муки католической церкви в России» и превосходные статьи в «Журналь де Деба» за октябрь 1842 года.

947 [3] Ведь целых три года потребовалось, чтобы вопль этих страдальцев донесся до Рима!

нравственное с логической точки зрения, но все же на деле мудрее и умереннее, чем другие; когда видишь, что оно предохраняет народы, с одной стороны, от разнузданной демократии, а с другой — от кричащих злоупотреблений деспотизма, тем более мерзких, чем выше материальная цивилизация в терпящем их обществе, — когда видишь это, задаешься вопросом, не следует ли заглушить свою неприязнь и безропотно снести эту политическую необходимость, которая приготовленным к ней народам в конечном счете приносит больше добра, чем зла.

Правда, до сих пор такая новая и сложная форма правления утверждалась лишь посредством узурпации. Быть может, эта конечная узурпация становилась неизбежною из-за всех прегрешений, допущенных прежде; на такой религиозно-политический вопрос ответит потомкам нашим лишь время, мудрейший из 952
исполнителей воли Бога на земле. Мне вспоминается здесь глубокая мысль, высказанная одним из просвещеннейших и образованнейших умов Германии — 952
г-ном Варнгагеном фон Энзе. «Я долго доискивался, — писал он мне однажды, — какими людьми совершаются революции, и после тридцати лет размышлений пришел к выводу, о котором думал еще в молодости, — что в конечном счете они совершаются теми самыми, против кого они направлены».

Никогда не забуду чувств своих при переправе через Неман у Тильзита; тутто я понял всю правоту моего любекского трактирщика. Даже птица, вырвавшаяся из клетки или же из-под воздушного колокола, не была бы так счастлива. «Я могу говорить и писать что думаю, я свободен!..» — воскликнул я. Первое мое откровенное письмо в Париж послано было с этой границы; кажется, оно наделало шуму в узком кругу моих друзей, до тех пор обманутых официальными моими посланиями.

Вот список с этого письма:

«Тильзит, четверг, 26 сентября 1839 года

«Надеюсь, прочесть эту географическую помету доставит вам не меньше удовольствия, чем мне доставило ее написать: вот я и выбрался из империи, где царят единообразие, мелочность и неестественность. Здесь уже можно говорить свободно, и ты словно захвачен вихрем радости; ты в мире, который влечется новыми идеями к ничем не скованной свободе. Меж тем я нахожусь в Пруссии; но, выехав из России, вновь видишь дома, начертанные не рабом по приказу неумолимого господина, дома пусть и бедные, но построенные вольно; видишь пригожие, вольно возделанные поля (не забывайте, что речь идет о Прусском 952
герцогстве), и от такой перемены сердце радуется. В России несвобода ощущается не только в людях, но даже и в прямоугольно вытесанных камнях, в правильно выпиленных стропилах... Наконец-то можно вздохнуть!., можно писать вам без риторических прикрас, которые все равно не обманут полицию, ибо в русском шпионстве столько же самолюбивой щепетильности, сколько и политической бдительности. Россия — самая унылая страна на свете, населенная самыми красивыми людьми, каких я видывал; не может быть веселою страна, где почти не заметны женщины... И вот наконец я выехал из нее, и без всяких происшествий! Двести пятьдесят лье я покрыл за четыре дня — по дорогам местами

скверным, местами превосходным, ибо русский дух хоть и стремится к единообразию, но настоящего порядка добиться не в силах; государственному управлению здесь свойственны нерешительность, небрежность и продажность. Возмущает мысль, что со всем этим можно свыкнуться, и, однако, люди свыкаются. Человек искренний в этой стране слыл бы безумцем.

Теперь я дам себе отдых, путешествуя в свое удовольствие; до Берлина мне отсю-да еще двести лье, зато на ночь везде есть постели, везде хорошие трактиры и ровная, широкая, ухоженная дорога — все это делает переезд настоящею прогулкой».

Все казалось мне непривычным и чарующим: чистые постели и комнаты, порядок, поддерживаемый в доме хозяйками... Более всего поразили меня вольный вид крестьян и веселость крестьянок: их благодушность чуть ли не пугала; я боялся, что им дорого встанет их независимость, — ведь я совсем от нее отвык. Здесь видишь города, возникшие сами по себе; ясно, что строились они без всякого правительственного плана. Разумеется, Пруссия не слывет страною вольности, но все же, проезжая по улицам Тильзита, а затем Кенигсберга, я словно присутствовал на венецианском карнавале. Тут мне вспомнилось, как один мой знакомый немец, проведя несколько лет по делам в России, наконец уезжал из этой страны навсегда; вместе с ним был его друг; и едва ступили они на палубу поднимавшего якорь английского корабля, как у всех на глазах обнялись, восклицая: «Слава Богу, можно теперь свободно дышать и говорить что думаешь!..»

Вероятно, многие путешественники испытывали те же чувства; так отчего же никто их не высказал? Изумление и недоумение охватывают меня при мысли о том, сколь многие умы прельщает русское правительство. Мало того, что оно принуждает к молчанию своих подданных, оно добивается к себе почтения даже на расстоянии — от иностранцев, вырвавшихся из-под его железной плети. Все его хвалят или же по меньшей мере молчат — разгадать эту загадку я не умею. Если когда-либо мне в том поможет обнародование моего путешествия, то у меня появится лишний повод порадоваться моей искренности.

Возвращаться из Петербурга в Германию я собирался через Вильну и Варшаву. Но затем передумал.

Несчастья, подобные тем, что переживает Польша, нельзя относить на счет
952 рока; когда злоключения длятся так долго, в них всегда нужно видеть как действие обстоятельств, так и человеческую вину. Народы, подобно частным людям, начинают до известной степени соучаствовать в преследующей их судьбе; они как бы сами несут ответственность за преследующие их поражения, ибо при внимательном рассмотрении оказывается, что их участь — лишь развитие их характера. Видя, к чему приводят ошибки народа, понесшего за них столь суровую кару, я бы не смог удержаться и высказал бы некоторые соображения, каких сам же и устыдился бы; говорить правду в лицо угнетателям — обязанность по-своему радостная; взявши ее на себя, находишь опору в сознании собственного мужества и благородства, связанных с выполнением тяжкого, а то и опасного долга; но попрекать жертву, бичевать угнетенного — пусть даже бичом истины, — до подобной экзекуции никогда не унизится писатель, который не хотел бы презирать свое перо.

952 Вот почему я отказался от мысли повидать Польшу.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ Г-НУ * * *

Возвращение в Эмс. — Что характерно для завистников. — Осень в долине Рейна. — Сравнение русского и германского пейзажа. — Воспоминание о «Рене». — Молодость души. — Г-жа Санд. — Что такое мизантропия. — Тайна жития святых. — Просчет путешественника, отправившегося в Россию. — Краткий отчет о путешествии. — Заключительный портрет русских. — Конечная цель всех их усилий. — Тайна их политики. — Обзор христианских церквей. — Сколь опасно в России говорить правду о православной церкви. — Сопоставление Испании и России.

На водах в Эмсе, 22 октября 1839 года

Я уже привык не пропускать много времени, не напомнив вам о себе; человек, подобный вам, становится необходимым для всех, кто смог однажды его оценить и умеет пользоваться его просвещенностью без боязни. В ненависти, внушаемой талантом людям мелкого ума, больше страха, чем зависти: что бы они делали, будь они талантливы сами? Зато им постоянно приходится опасаться влияния таланта и проницательности гения. Им невдомек, что умственное превосходство, помогающее познать суть вещей и понять их необходимость, побуждает к снисхождению; просвещенная снисходительность божественна, как само Провидение; да только мелкие умы не признают ничего божественного.

Выехав из Эмса в Россию пять месяцев назад, я вновь вернулся в это красивое селение, покрыв несколько тысяч лье. Весной жизнь на водах была мне неприятна из-за всегдашнего наплыва желающих пить целебную воду и купаться в ней; сегодня она кажется мне восхитительною — я в буквальном смысле один, время свое провожу, наблюдая за наступлением погожей осени среди чарующе печальных гор, собираясь с воспоминаниями и ища покоя, надобного мне после стремительно проделанного пути.

Что за резкая перемена! В России я был лишен зрелища природы — там ее нет; конечно, вид этих неживописных равнин тоже по-своему красив, однако величие без прелести быстро утомляет; что за удовольствие скитаться по бескрайнему голому пространству, где всюду, сколько хватает глаз, видишь одни только пустые просторы? От такого однообразия езда делается еще утомительнее, так как получается, что устаешь ты зря. Путешествие радует и увлекает нас, помимо прочего, своими неожиданностями.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Я рад вновь, в конце курортного сезона, оказаться здесь, где природа многолика и сразу поражает взор своими красотами. Не могу передать словами, с каким очарованием блуждал я только что по могучему лесу, засыпанному, словно снегом, опавшими листьями, под которыми скрылись и стерлись все тропинки. Вспоминались описания природы в «Рене»; сердце билось сильнее, как давным-давно при чтении этой горько-возвышенной беседы человеческой души с природою.

Эта проза, полная веры и лиричности, ни в чем не утратила надо мною своей власти, и я говорил себе, удивляясь собственной растроганности: так, значит, молодость не проходит никогда!

Время от времени сквозь поредевшую после первых изморозей листву я видел вдали долину Лана, впадающего неподалеку в прекраснейшую реку Европы, и любовался тишиною и красотою пейзажа.

Лощины, по которым стекают вниз притоки Рейна, являют собою многообразные виды, тогда как виды берегов Волги все похожи один на другой; зато плоскогорья здешние, именуемые горами, потому что они подняты над местностью и разделены глубокими долинами, обычно имеют вид холодный и однообразный. И все-таки даже это холодное однообразие кажется живым, огненно-подвижным рядом с бескрайними топями и безлесными степями Московии; нынче утром вся природа была залита сверкающими лучами солнца, стоял один из последних погожих дней, придающих этим северным пейзажам, которые благодаря осенним туманам утратили сухость своих очертаний и резкие изломы линий, облик поистине южный.

Поражает покой, царящий в эту пору в лесу; он оттеняет собою хлопотливые работы в полях, которые человек спешит завершить, предвидя за осеннею тишью скорое наступление зимы.

Зрелище это, поучительное и торжественное, ибо длиться оно будет столько же, сколько и весь мир, влечет меня так, словно я только что родился или же должен вот-вот умереть; дело в том, что вся умственная жизнь наша есть сплошная череда открытий. Если душа не растратила своих сил на наигранные чувства, столь обыкновенные для светских людей, то в ней сохраняется неисчерпаемая способность удивляться и любопытствовать; всё новые силы побуждают ее ко все новым стремлениям; ей мало земного мира — она призывает и постигает мир бесконечного; ее мысль зреет, но не старится, суля нам нечто, лежащее по ту сторону всего зримого.

Жизнь наша разнообразится силою чувств; глубоко пережитое всякий раз предстает новым, и эта вечная свежесть впечатлений сказывается в языке; каждое новое переживание придает особенную гармонию словам, предназначенным его выразить; вот почему яркостью стиля верней всего измеряется свежесть, то есть **искренность, чувств. Можно позаимствовать идеи, можно скрыть их источник, один** ум может обмануть другой, но гармония речей не лжет никогда; ею надежно, как невольным признанием, доказывается чувствительность души; она исходит прямо из сердца и прямо в сердце попадает, ее лишь отчасти способна подменить искусность, она рождается из сердечного волнения; наконец, эта музыкальность речи говорит больше, чем любые идеи; она составляет самое безотчетное, самое истинное,

самое плодотворное, что только есть в выражении наших мыслей; вот отчего г-жа Санд столь быстро завоевала у нас ту известность, которою заслуженно пользуется.

Святая любовь к уединению, ты всего лишь острая потребность в реальности!.. Свет настолько лжив, что всякий, кто по натуре своей влечется к истинному, должен быть склонен и к бегству от общества. Мизантропия — чувство, несправедливо оклеветанное: это ненависть ко лжи. На самом деле никаких мизантропов нет, есть только души, предпочитающие бегство притворству.

В глуши, наедине с Богом, человек делается искренним и оттого смиренным; здесь он безмолвием и размышлениями искупает все удачные плутни мирских умов — их торжествующее двуличие, их тщеславие, их неразоблаченные, а нередко и вознагражденные измены; его здесь не обманут, и он не желает никого обманывать сам, он добровольно жертвует собою, скрывая свою жизнь так же тщательно, как модные царедворцы выставляют ее на вид; в том и заключается, без сомнения, тайна жития святых — проникнуть в тайну легко, последовать их примеру трудно. Будь я святым, я бы не имел более охоты к путешествиям и еще меньше того к повествованию о них; святые уже обрели то, что я только ищу.

В своих поисках я объездил Россию; я желал повидать страну, где царит покой уверенной в своих силах власти; но, побывавши там, я понял, что там царит одно лишь безмолвие страха, и зрелище это научило меня совсем не тому, чему я приехал учиться. Это целый мир, почти совершенно неведомый чужестранцам: путешествующие русские, стремясь из него бежать, издалека платят дань своему отечеству лукавыми похвалами, а большинству наших путешественников, описавших этот мир, угодно было найти в нем лишь то, за чем они туда ехали. Если ставить свои предвзятые мнения выше очевидной действительности, то к чему путешествовать? Решившись видеть чужие народы такими, какими хочется их видеть, можно не покидать своего дома.

Посылаю вам краткий отчет о своем путешествии, написанный по возвращении в Эмс; все время, что я над ним трудился, меня не покидала мысль о вас, и потому мне позволительно направить его вам. 953

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ПУТЕШЕСТВИИ 953

Что бы ни окружало вас в России, что бы ни поражало взор ваш — все имеет вид устрашающей правильности; при виде такого симметрического порядка на ум путешественнику сразу приходит мысль, что столь полную единовидность, столь противную естественным наклонностям человека регулярность нельзя ни ввести, ни поддерживать без насилия. Воображение взывает хоть о каком-то разнообразии... вотще; так птица в клетке напрасно расправляет крылья. При подобном строе человек с первого же дня своей жизни может знать (и вправду знает), что будет он видеть и делать до последнего своего дня. На языке официальном эта жестокая тирания именуется любовью к порядку, и для умов педантических сей горький плод деспотизма столь драгоценен, что за него, считают они, не жаль заплатить любую цену.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Живя во Франции, я и сам полагал, что согласен с этими людьми строгого рассудка; теперь же, когда пожил под грозною властью, подчиняющею население целой империи воинскому уставу, — теперь, признаться, мне милее умеренный беспорядок, выказывающий силу общества, нежели безупречный порядок, стоящий ему жизни.

В России правительство над всем господствует и ничего не животворит. Народ в этой огромной империи если и не смирен, то нем; над головами всех витает здесь смерть и разит жертв по своей прихоти; впору усомниться в господнем правосудии; человек здесь дважды лежит в гробу — в колыбели и в могиле. Матерям здесь следовало бы оплакивать рождение детей более, чем их смерть.

Вряд ли здесь широко распространены самоубийства: исстрадавшись сверх меры, трудно убить себя. Странно сложена душа человека: когда в жизни его царит страх, он не ищет смерти, он уже знает, что это такое.[1]

Впрочем, если бы число самоубийц в России и было велико, его бы никто не ведал. Располагать цифрами — исключительное право русской полиции, не знаю, доходят ли они в точности до самого императора; знаю лишь, что при нынешнем царствовании ничье несчастье не может быть обнародовано без высочайшего дозволения: ведь эти свидетельства власти провидения унизительны для власти земной. Гордыня деспотизма столь велика, что он соперничает даже с могуществом Божьим. Чудовищная завистливость!!! в какие только заблуждения не вводила она царей и подданных! Кем же должен стать народ, чтобы государь его стал более чем человеком?

Попробуйте же любить и защищать истину в стране, где основа государственного устройства — поклонение идолу! Ведь человек, который может все, — это ложь, увенчанная царскою короной.

---

[1] Об этом пишет Диккенс: «Самоубийства среди заключенных здесь редки — в сущности, почти неизвестны. Но из этого отнюдь нельзя сделать логический вывод в пользу самой системы (системы одиночного заключения), хотя на этом часто настаивают. Все, кто посвятил себя изучению душевных болезней, прекрасно знают, что человек может впасть в такую предельную подавленность и отчаяние, которые изменят весь его характер и убьют в нем всякую душевную гибкость и способность сопротивляться, — и однако же он остановится перед самоуничтожением. Это обычная история» («Филадельфия и ее одиночная тюрьма». — «Американские заметки» Чарльза Диккенса).

953

«Suicides are rare among the prisoners: are almost indeed unknown. But no argument in favour of the system can reasonably be deduced from this circumstance, although it is very often urged. All men who have made diseases of the mind, their study, know perfectly well that such extreme depression and despair as to change the whole character and beat down all its powers of elasticity and self resistance, may be at work within a man, and yet stop short of self destruction. This is a common case». *(Philadelphia and its solitary prison. American notes for general circulation,* by Charles Dickens).

Большой писатель, глубокий знаток нравов, христианский философ, у которого взял я эти строки, не только обладает даром власти над стилем и запечатлевает мысли свои словно на медных скрижалях; он еще и тщательно изучил свой предмет, так что мнение его по сему поводу непререкаемо.

Как вы понимаете, речь у меня сейчас не об императоре Николае, но о российском императоре вообще. У нас много толкуют о том, что власть его ограничена обычаем; я же был поражен чрезмерностью власти и не увидел от нее никакой защиты.

Конечно, для человека государственного, для всех людей практической складки законы сами по себе не так важны, как думается нашим строгим логистам и политическим мыслителям; в конечном счете жизнь народов зависит от того, как законы применяются. Это верно, и все же у русских жизнь безотраднее, чем у любого другого народа Европы; причем говоря «народ», я разумею не одних лишь крепостных крестьян, но и всех, кто населяет империю.

Так называемая сильная власть, везде и всюду требующая неукоснительного повиновения, неизбежно обрекает людей на жалкую участь. Себе на службу деспотизм способен поставить любое общественное устройство, независимо от господствующих с его дозволения монархических или демократических мнимостей. Всюду, где государственный механизм действует с неумолимой точностью, есть деспотизм. Лучше всех та власть, которая менее всего ощутима; но забыть о ярме можно лишь благодаря высшей мудрости гения или же через некоторое ослабление общественного гнета. Государственная власть всегда благотворна в пору юности народов, когда полудикие люди чтут всё, удаляющее их от беззаконного состояния; она вновь делается благотворною в нациях стареющих. В эту эпоху рождаются государства со смешанным строем. Но подобная власть, основанная на согласии опыта и страсти, годится только для народностей уже утомленных, для обществ, чьи движители уже изработались в революциях. Отсюда приходится заключить, что такая власть не самая прочная, зато самая мягкая; однажды установленная, она, подобно бодрой старости, уже не слишком долговечна. Для государства, как и для человека, старость — самая мирная пора, когда ею увенчивается славная жизнь; средний же возраст нации всегда нелегок — а его-то и переживает Россия.

В стране этой, непохожей на все прочие, сама природа сделалась сообщницею прихотей человека, который, поклоняясь единообразию, умертвил всякую вольность. Она тоже повсюду одинакова: болотистые или песчаные равнины, заросшие, сколько хватает глаз, чахлыми и редкими деревьями двух пород, березой и сосной, — вот и вся естественная растительность Северной России, то есть окрестностей Петербурга и близлежащих губерний, охватывающих огромные пространства страны.

Где укрыться от общественных невзгод, если климат позволяет жить на лоне природы всего три месяца в году? Да и что это за природа! К тому же в течение шести наиболее холодных месяцев никто, кроме разве русского крестьянина, не в состоянии пробыть на открытом воздухе больше двух часов в день. Вот какую среду сотворил для людей Бог в этих краях!

А что за среду создал себе сам человек? Санкт-Петербург, бесспорно, одно из чудес света, Москва — тоже город весьма живописный, но какой же вид имеют провинции!

В письмах моих вы увидите, сколь непомерное однообразие порождается неумеренным единовластием. Во всей империи один лишь человек вправе иметь

желания — следовательно, только он и живет своею собственною жизнью. Во всем здесь сказывается бездушность, на каждом шагу чувствуется, что народ здесь лишен независимости. По любой дороге через двадцать — тридцать лье встретится вам один-единственный город — всякий раз одинаковый. Тирания изобретает только средства для укрепления своей власти, ее мало заботит художественный вкус.

Пристрастие русских государей и зодчих к языческой архитектуре, к прямой линии, к приземистым постройкам и широким улицам противоречит законам природы и потребностям жизни в холодной и туманной стране, беспрестанно продуваемой сильными ветрами, от которых стынет лицо. За все время путешествия так и не мог я постичь, как страсть эта обуяла жителей краев столь отличных от тех, где возникла пересаживаемая в Россию архитектура. По-видимому, и для самих русских это так же непостижимо, как и для меня, ибо во вкусах своих они властны не более, чем в поступках. Так называемые изящные искусства были им вменены в обязанность приказом, словно воинские упражнения. Образец всего их общества — армейский полк с его мелочною дисциплиной.

Климату и обычаям России более подошли бы высокие крепостные стены, тесно составленные здания и извилистые улицы средневековых городов, нежели карикатуры на античность; но влиятельные лица в Петербурге менее всего думают о той стране, которою правят, менее всего считаются с ее духом и нуждами.

В пору, когда Петр Великий вводил по всей империи, от Татарии до Лапландии, свои цивилизаторские установления, в Европе творения средних веков давно уже вышли из моды; русские же, даже те из них, кому присвоено прозвище ***великих,*** всегда умели только плестись за модою.

Такая подражательность плохо согласуется с завоевательным духом, который мы в них усматриваем, — ведь над теми, с кого берешь пример, нельзя господствовать. Однако в характере этого поверхностно развитого народа вообще все противоречиво; более же всего он отличается неизобретательностью. Чтоб изобретать, ему нужна была бы независимость; даже в страстях его есть какое-то обезьянство: он желает выйти, в свой черед, на сцену мировой политики, но не затем, чтобы дать выход своим способностям, мучающим его в бездействии, а только затем, чтобы проиграть заново историю других славных государств. Завоевательный дух его порожден не мощью, а лишь претензией; весь его талант — мериться с другими; весь его гений — подражательство; если все же кажется, будто есть в нем некая самобытность, то потому только, что еще ни один народ на свете не имел такой нужды в образцах для подражания; от природы наблюдательный, он становится самим собою, лишь перенимая чужие создания. Вся его самобытность — дар подделки, которым он наделен больше всякого другого народа. Единственная его врожденная способность — умение воспроизводить иностранные изобретения. Ему суждено остаться в истории так же точно, как остается в литературе искусный переводчик. Призвание русских — переводить европейскую цивилизацию для азиатов.

Дар подражания, присущий той или иной нации, может пойти ей на пользу и даже вызвать восхищение, но только если он развился поздно; явившись прежде

всех прочих талантов, он их убивает. Россия — общество подражателей, а всякий, кто умеет лишь копировать других, неизбежно впадает в карикатурность.

За четыре века колебаний между Европой и Азией Россия до сих пор так и не сумела оставить делами своими след в истории человеческого духа, ибо национальный ее характер изгладился под толщею заимствований.

Примкнув к греческой схизме и тем отделив себя от Запада, она много веков спустя, с непоследовательностью уязвленного самолюбия, вновь обратилась к нациям, сложившимся в лоне католицизма, дабы перенять у них цивилизацию, до которой не допускала ее сугубо политическая религия. Перенесенная из дворца в воинский стан, чтобы поддерживать там порядок, эта византийская религия не отвечает высочайшим потребностям души человеческой; она помогает полиции морочить народ — и только.

Из-за нее народ этот изначально стал недостоин той степени образованности, к какой он стремится.

Чтобы в душах струилось религиозное чувство, необходима независимость церкви, ибо развитие благороднейшей из народных способностей, способности верить, зависит от уважения, каким пользуется духовенство. Человек, призванный сообщать другому человеку божественные откровения, должен иметь свободу, какая не ведома ни одному священнослужителю, восставшему против своего духовного владыки. Оттого первое наказание за ересь — униженное состояние служителей культа; вот почему во всех странах, захваченных схизмою, священники презираемы народом — несмотря на царское покровительство, а вернее, по причине такого покровительства, которое ставит их в зависимость от государя даже в делах божественного призвания.

Народ, сознающий себя свободным, никогда не станет чистосердечно повиноваться зависимому духовенству.

Недалеко то время, когда признают, что главное в делах религии — не добиваться свободы для паствы, но обеспечить ее пастырю.

Осознав это, человечество сделает большой шаг вперед.

Толпа всегда будет повиноваться, всегда будет следовать за особыми людьми; зовите их священнослужителями, книжниками, поэтами, учеными, тиранами — все равно сознание народа в руках у его вождей. Потому свобода вероисповедания для масс — химера, для спасения же душ важно, чтоб свободен был человек, призванный творить для них церковную службу; а на свете есть только один свободный священнослужитель — католический.

Пастыри-рабы способны руководить только неплодными душами, православный поп будет учить народ только повергаться ниц перед силою!! Не спрашивайте же более у меня, почему русские лишены воображения, почему они умеют лишь подражать, ничего не совершенствуя...

Когда на Западе потомки варваров с поклонением, близким к обожанию, изучали древних греков и римлян, они переиначивали их, приноравливая к своей жизни: легко ли распознать Вергилия в Данте, Гомера в Тассо или даже Юстиниана и римское право в феодальных кодексах средневековья? Подражание учителям, ничего не имевшим общего с новыми нравами, помогало утончению

умов, развивая язык, но не ограничивалось бесплодным воспроизведением образцов. Благоговейный восторг перед прошлым не глушил, но возбуждал гений европейцев; русские же воспользовались нами иначе.

Когда подделываются под форму общества, не проникаясь его животворным духом; когда за уроками цивилизации обращаются не к древним наставникам духа человеческого, но к чужеземцам, завидуя их богатствам и не считаясь с их характером; когда подражают с враждебным чувством и притом с ребяческою буквальностью, заимствуя у соседа (с деланным презрением) все, вплоть до привычек домашнего быта, одежды, языка, — тогда нельзя самому не сделаться сколком с чужой жизни, чужим эхом или отражением, не утратить собственный облик.

Средневековые народы, одушевленные своими обновленными верованиями, сильные своими незаемными нуждами, могли обожать античность, не рискуя впасть в пародию, ибо творческая сила, если она есть, никогда не пропадает втуне, к чему бы человек ее ни применил...

Как много вольного воображения в учености XV и XVI веков!!

Уважение к образцам — знак творческого духа.

Оттого на Западе в эпоху Возрождения изучение классиков повлияло большею частью лишь на изящную словесность и искусства; успехи же промышленности, торговли, естественных и точных наук — дело рук единственно новой Европы, и здесь она почти все почерпнула из себя самой.

Долгое суеверное преклонение перед литературою язычников не мешало ей иметь свою собственную политику, религию, философию, формы правления, военные обычаи, понятия о чести, нравы, ум, навыки общежития.

Одна лишь Россия, поздно приобщившись к цивилизации, по нетерпеливости правителей своих так и не узнала благодетельно глубинного созревания, постепенного и ненасильственного развития. В России не происходило той внутренней работы, которая образует великие нации и приуготовляет один народ быть господином, то есть просветителем, прочих; не раз я замечал, что в этой стране общество, каким его создали самодержцы, — не что иное, как огромная
953 теплица, полная прелестных диковинных растений. Каждый цветок напоминает здесь о дальней своей отчизне, но спрашиваешь себя — где же жизнь, где природа, где туземные создания в этом собрании памятных образцов; такое собрание выказывает более или менее удачный отбор, сделанный любознательными путешественниками, но не составляет серьезного творения свободной нации.

Русский народ вечно будет терпеть последствия этой несамобытности, которою страдал он в пору своего политического пробуждения. Для него потерянною оказалась юность — возраст усердных трудов, когда человеческий дух принимает на себя всю ответственность за свой независимый склад. Его правители, и прежде всего Петр Великий, насильственно исторгли его из детства и перенесли прямо в зрелость. Едва избавленному от чужеземного ига, ему казалось свободою все что угодно, кроме монгольского владычества; оттого в радости своей и неискушенности он даже крепостное рабство принял как освобождение, потому что оно исходило от его законных государей. Униженный завоевателями,

народ чувствовал себя счастливым и независимым уже оттого, что новый его тиран носил русское имя, а не татарское.

Действие этого заблуждения длится и поныне. Русскую землю покинул дух своеобычности; уроженцы ее, привычные к рабству, до сих пор всерьез разумеют только язык страха и честолюбия. Как понимают они моду? — как элегантную цепь, которую носят только при людях... Сколь изысканною ни казалась бы нам русская вежливость, в ней больше жеманства, чем естественности, ибо подлинная учтивость — это цвет, распускающийся лишь на вершине общественного древа. Такую ветвь нельзя привить, она питается своими собственными корнями, и ствол, ее поддерживающий, вырастает столетиями, подобно стволу алоэ; должно умереть многим поколениям полудиких обитателей страны, прежде чем из верхних слоев социальной почвы родятся люди действительно учтивые; для воспитания цивилизованного народа нужна многовековая память; только ум младенца, рожденного от учтивых родителей, способен созреть настолько быстро, чтоб усвоить действительную суть учтивости. Суть эта — в незримом обмене добровольными жертвами. Нет ничего более утонченного и, в сущности, ничего более нравственного, чем принципы, лежащие в основе манер безупречно изящных. Чтобы устоять против напора страстей, такая учтивость должна быть сродни благородству чувств, которое не приобретается человеком в одиночку, — ведь в раннем детстве воспитание воздействует в основном на душу; одним словом, истинная учтивость наследственна; в глазах нашего века долгий ход времени ничего не значит, для творящей же природы он значит многое.

Жители Южной Руси некогда отличались известною тонкостью вкуса, и благодаря сношениям с Константинополем, которые издревле, даже в самые варварские века, поддерживали киевские князья, в этой части славянского государства царила любовь к искусствам; в то же время предания Востока помогали сберечь там чувство величественного и сохранить известную сноровку в художествах и ремеслах. Однако достоинства эти — плоды старинной связи с передовыми народами, наследниками античной цивилизации, — были утрачены при нашествии монголов.

Это потрясение как бы заставило первобытную Русь забыть свою историю; рабское состояние порождает низменность души и исключает подлинную учтивость — ведь в ней нет ничего холопского, в ней выражаются высочайшие и тончайшие чувства. Цивилизованным же народ может называться только тогда, когда учтивость становится для всех его представителей до единого как бы расхожею монетой. Тогда первобытная грубость и животное себялюбие, свойственные человеческой природе, уже с колыбели сглаживаются теми уроками, что каждый получает в семье; в детстве человек, где бы он ни родился, отнюдь не сострадателен, и никогда не станет он действительно учтивым, если еще в начале жизни его не отвлечь от жестоких наклонностей. Учтивость не что иное, как закон сострадания, применяемый в повседневных общественных отношениях; он учит прежде всего сострадать больному самолюбию; и это самое всеобщее, самое удобное и самое действенное из найденных по сей день средств против эгоизма.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Как ни суди, но подобная утонченность, естественно вырабатывающаяся со временем, неведома нынешним русским; им памятен не столько Византий, сколь-
95! ко ордынский Сарай, и за немногими исключениями они пока еще лишь прилично одетые варвары. Они походят на портреты, дурно писанные, но покрытые превосходным лаком. Чтобы стать подлинно учтивым, нужно долго учиться человечности, а уж потом вежливости.

Петр Великий с безоглядностью непросвещенного гения, с нетерпеливою дерзостью человека, почитаемого всемогущим, с настойчивостью своего железного характера вознамерился разом похитить у Европы готовые плоды цивилизации, вместо того чтобы смиренно высевать ее зерна в свою собственную землю. Все созданное этим без меры прославленным человеком оказалось ненатуральным; добро, сотворенное его варварским гением, было на удивление преходяще, тогда как зло — непоправимо.

Какой прок России от того, что она оказывает давление на Европу, на европейскую политику? Ненатуральные интересы! суетные устремления! Для нее важно было бы в себе самой иметь и развивать жизненное начало; мертв тот народ, у которого нет ничего своего, кроме покорства. Перед русским народом распахнуто окно — он смотрит, слушает, ведет себя как зритель на представлении;
954 когда же прекратится эта игра?

Следовало бы остановиться и начать все сызнова, но возможно ли такое усилие? Как перестроить до самого основания столь обширное здание? Как бы искусственно оно ни было, недавнее приобщение к цивилизации уже принесло Российской империи реальные плоды, которых не отменить никакой земной власти; невозможным представляется мне вершить будущее народа, не ставя ни в грош его настоящее. Но когда настоящее насильственно оторвано от прошлого, оно предвещает лишь беду. Избавить Россию от этих бед, восстановить связь страны с ее древнею историей, обусловленною ее исконным характером, — такою будет отныне неблагодарная, сулящая более пользы, чем славы, задача тех, кто призван править страною.

Император Николай своим царственно практическим и глубоко национальным гением постиг сию задачу; но сможет ли он решить ее? Не думаю — он слишком охотно вмешивается во все сам, слишком часто полагается на себя и слишком редко на других. К тому же в России, чтобы сделать добро, желания самодержца еще недостаточно.

Друзьям человечества приходится здесь бороться не против тирана, но против тирании. В бедах империи и пороках правительства несправедливо было бы винить императора: не по силам людским задача, стоящая пред государем, который вдруг возжелал бы человечно царствовать над нечеловечным народом.

Надобно побывать в России, увидать вблизи происходящее там, чтобы понять: далеко не все может сделать человек, обладающий властью сделать все, — особенно когда он хочет сделать добро.

Досадные последствия деяний Петра I еще более усугубились в великое или, точней сказать, долгое царствование женщины, которая правила своим народом лишь ради удовольствия изумлять Европу... Европа, опять Европа!! а где же Россия? 1

Петр I и Екатерина II преподали всему свету великий и полезный урок, за который расплачивается Россия: они показали нам, что деспотизм страшнее всего тогда, когда пытается делать добро, своими намерениями оправдывая самые возмутительные свои дела, — а если зло выдает себя за целебное средство, то ему уже больше нет удержу. Откровенное злодейство торжествует недолго, ложные же доблести обрекают народный дух на непоправимые заблуждения. Ослепленные блестящими атрибутами преступления, размахом иных злодеяний, оправданных своим результатом, народы приходят к выводу, что есть два рода злодейства и две морали, что необходимость, или, как говорили прежде, государственная надобность, снимает вину со знатных преступников, если только они сумели согласовать бесчинства свои со страстями всей страны.

Неприкрытая тирания страшила бы меня меньше, чем гнет под видом любви к порядку. Вся сила деспотизма заключается в личине, которую носит деспот. Стоит заставить государя отказаться от лжи — и народ его станет свободен; оттого и не знаю я на свете иного зла, кроме лжи. Если вас пугает только грубый и откровенный произвол — побывайте в России, и вы научитесь бояться пуще всего лицемерной тирании.[1]

Не могу отрицать, что отправился в путешествие с одними воззрениями, а вернулся — совсем с другими.

Оттого ни с чем на свете не сравнится горечь, которую оно мне принесло; свой отчет о нем я отдаю в печать потому именно, что по многим вопросам пришлось мне переменить свои взгляды; прежние мои взгляды известны всем моим читателям, но им неизвестно постигшее меня разочарование; мой долг предать его гласности.

Отправляясь в Россию, я рассчитывал на сей раз не вести записок; меня утомляет моя метода — по ночам записывать для друзей то, что запомнилось за прошедший день. Во время этой работы, похожей на исповедь, в мыслях моих присутствуют и читатели, но лишь в туманной дали... такой туманной, что я стараюсь о них не думать; оттого в напечатанных моих письмах сохраняется простой и вольный тон, какой всегда присущ частной переписке.

Такая работа может вам показаться очень легкой, но я уже не настолько молод, чтобы выполнять ее играючи. Однажды взявшись за дело, я стараюсь довести его до конца, не позволяя себе ни праздности, ни небрежения; такой труд тяжек. Потому и тешил я себя мыслью, что на сей раз смогу путешествовать только для своего удовольствия, спокойно осматривая все, что достойно внимания. Оказалось, однако, что русские, от самых высокопоставленных особ до незначительных частных лиц, весьма озабочены моим приездом, и так смог я понять, за какую важную особу меня принимают, по крайней мере в Петербурге. «Что вы думаете о нас? Вернее, что вы станете о нас рассказывать?» — таков был тайный 954
смысл всех бесед со мною. Это заставило меня отрешиться от бездеятельности;

[1] «По-моему, персы были правы, утверждая, что второй порок — лгать, а первый — быть должным. Ведь обыкновенно долги и ложь тесно между собою связаны» (Рабле. 961
Третья книга, гл. V).

из равнодушия, а возможно, и из робости я поначалу держался скромно; вообще, Париж учит человека смирению, если только не внушает, напротив, крайнего высокомерия; итак, я имел причины сомневаться в себе самом, но беспокойное самолюбие русских пошло на пользу моему собственному самолюбию.

В новом своем решении я был укреплен все более растущим чувством обманутых ожиданий. Разочарование это имело, конечно же, причину глубокую и серьезную: ведь отвращение охватило меня среди самых блестящих пиров, когда-либо мною виденных, оно завладело мною вопреки баснословному гостеприимству русских. Но я сразу заметил, что в расточаемых ими любезностях больше желания выглядеть предупредительными, чем подлинной сердечности. Сердечность незнакома русским — ее они у немцев не позаимствовали. Они ни на минуту вас не оставляют, всячески развлекают, поглощая все ваше внимание, подавляя своими заботами; осведомляются, чем вы заняты каждый день, с присущею только им одним настойчивостью расспрашивают вас обо всем и непрестанными пирами мешают разглядеть свою страну. Цель этого обманчиво любезного обращения с иностранцами они обозначают особым французским словом — enguirlander.[1] Увы, в настойчивых своих заботах они напали на человека, которого празднества всегда более утомляли, чем развлекали. Заметив же, что впрямую подействовать на ум чужеземца не удается, они выбирают окольные пути: стремясь уронить путешественника в глазах просвещенных читателей, русские с поразительною ловкостью начинают морочить ему голову. Чтобы представить вещи в превратном свете, они возводят ложные хулы на свою страну, так же как прежде, рассчитывая на благожелательную доверчивость слушателя, расточали ей ложные похвалы. Не раз я замечал, как в одной и той же беседе со мною один и тот же человек дважды или трижды менял тактику. Не льщу себя мыслью, что всегда умел распознать истину, несмотря на искусно соединенные усилия тех, чье ремесло — ее утаивать; но немало уже и того, что я понимал, когда меня обманывают; пускай я и не вижу правды, но я вижу, что ее от меня скрывают;[2] не умея разведывать, я умею быть начеку.

954

Ни при одном дворе не встретишь веселья — но при дворе санкт-петербургском не дозволяется даже скучать. Всевидящий император принимает деланную оживленность приближенных за знак особенного почтения; это напоминает мне фразу Талейрана о Наполеоне: «Государь не шутит — он желает, чтобы все были веселы».

Пускай я задену чье-то самолюбие и своею неукоснительною искренностью навлеку на себя упреки; но моя ли вина, если я отправился в страну неограниченной монархии за новыми доводами против нашего собственного деспотизма, против беззакония, нареченного свободою, — а увидел лишь разительные злоупотребления самодержавной власти, этой тирании, которую величают именем законного порядка? Русский деспотизм — это лжепорядок, так же как наш республиканизм — лжесвобода. Я сражаюсь против лжи, где бы ее ни распознал,

[1] Смотри письмо пятнадцатое.

954 [2] Смотри рассказ о поездке в Шлиссельбург.

но она бывает разноликою; прежде я забывал о той, что порождена неограниченной властью, — ныне я подробно о ней рассказываю, ибо, повествуя о своих путешествиях, всегда бесхитростно излагаю то, что вижу.

Мне ненавистны лживые предлоги — а я увидел, что в России порядок служит предлогом для угнетения, так же как во Франции свобода предлог для зависти. Одним словом, мне по душе подлинная свобода — та, что возможна лишь в обществе, не чуждом изящества; итак, я не демагог и не деспот — я аристократ в самом широком смысле слова. В том изяществе, какое мне хотелось бы сохранить в обществе, нет ничего легкомысленного; в нем нет и ничего жестокого, ведь оно подчиняется вкусу, не допускающему злоупотреблений, — он лучше всего предохраняет от них, ибо чурается всякой чрезмерности. Без изящества невозможны искусства, а искусства спасают мир, так как именно через их посредство народ приобщается к цивилизации, в них она обретает свое выражение и драгоценнейший плод. Среди всего, чем славится нация, они выделяются особенным преимуществом — успехами своими они доставляют отраду и пользу всем классам общества.

Аристократия, как я ее понимаю, не только не вступает в союз с тиранией ради государственного порядка (в чем облыжно винят ее демагоги), но и вообще не уживается с произволом. Ее миссия — защищать, с одной стороны, народ от деспота, а с другой — цивилизацию от революции, опаснейшего из тиранов. Варварство принимает разные обличья — сраженное в форме деспотизма, оно возрождается в форме анархии; подлинная же свобода, хранимая подлинною аристократией, не терпит ни насилия, ни беззакония.

К сожалению, сегодня в Европе поборники умеренной аристократии в ослеплении дают своим противникам оружие против себя; из ложных опасений они обращаются за подмогою к врагам всякой политической и религиозной свободы, как будто угроза может исходить от одних лишь новейших революционеров; между тем самовластительные государи — в прошлом сами захватчики не менее страшные, чем нынешние якобинцы.

Феодальной аристократии больше нет, хотя немеркнущим блеском будут вечно сиять ее великие имена, прославленные историей; но в обществах, желающих жить далее, средневековую знать сменит, как это давно уже случилось у англичан, наследственное должностное сословие; эта новая аристократия, наследница всех прежних, составленная из нескольких разных элементов (так как зиждется она на должности, происхождении и богатстве), обретет к себе доверие лишь при опоре на свободную религию; а я уже говорил и повторяю при каждом случае: единственная свободная религия — та, какой учит католическая церковь, свободнейшая церковь на свете, ибо только она одна не зависит ни от какой светской власти, папская же власть ныне призвана лишь защищать независимость духовенства. Аристократия — образ правления духовно независимых людей, а католицизм, не устану твердить, — религия свободных священнослужителей.

Как вам известно, узревши истину, я тотчас же высказываю ее вслух, не рассчитывая последствий, ибо зло, по убеждению моему, происходит не от истин

провозглашаемых, а от истин утаиваемых; оттого всегда казалось мне пагубною пословица наших отцов — «не всякую правду полезно говорить».

Когда из истины каждый выбирает себе то, что отвечает его страстям, опасениям, раболепию, корысти, — тогда-то истина и становится вреднее заблуждения; итак, путешествуя, я не делаю разбора между накопленными фактами, не отбрасываю и тех, коими оспариваются мои заветнейшие верования. Когда я веду свой рассказ, у меня одна лишь религия — культ правды; я не пытаюсь быть судьею и даже живописцем — ведь живописцы следуют правилам композиции; я стремлюсь превратиться в зеркало — то есть быть прежде всего беспристрастным, а в таком деле одного намерения уже довольно (по крайней мере, для умного читателя; не могу и не желаю признаться себе, что бывают и иные, ибо тогда писательство сделалось бы нестерпимо скучным).

Всякий раз, когда приходилось мне знакомиться с новыми людьми, первой моей мыслью всегда было, что люди эти умнее меня, искуснее в защите, в речах и поступках. Вот чему до сих пор учил меня опыт; итак, я ни к кому не отношусь с пренебрежением, и тем более далек я от пренебрежения к своим читателям. Именно потому я никогда им не льщу.

Если к кому-то мне и трудно быть справедливым, то разве только к тем, кто мне скучен; но с такими я почти не знаюсь, ибо избегаю людей праздных.

Как я уже говорил, в России все города одинаковы; точно так же в Петербурге одинаковы все салоны — это всегда и всюду императорский двор или отдельные его партии. Переходя из дома в дом, вы остаетесь в одном кругу людей, где под запретом любые беседы о чем-либо любопытном; я нахожу, однако, что изъян этот восполняется изощренным умом женщин, отлично умеющих намеками внушить то, чего не произносят вслух.

Во всех краях женщины — наименее покорные из рабов, так как, искусно пользуясь своею слабостью и превращая ее в силу, они лучше нас умеют не повиноваться дурным законам; поэтому всюду, где отсутствует политическая свобода, они призваны хранить свободу личную.

Свобода — это ведь не что иное, как обеспечение прав слабого, роль которого в обществе сама природа судила играть женщинам. Во Франции ныне многие гордятся тем, что все решается мнением большинства; экое диво!!! вот когда я увижу, что и требования меньшинства принимаются в расчет, — тогда я тоже закричу: «Да здравствует свобода!»

Скажем прямо: те, кто сегодня слабее, были сильнее прежде, и тогда они очень часто сами подавали пример тех злоупотреблений силою, на которые я нынче сетую! И все же один грех не извиняет другого.

Несмотря на тайное влияние женщин, Россия все еще отстоит дальше от свободы, нежели большинство других стран на свете, — не от слова «свобода», а от того, что им обозначается. Клич «да здравствует свобода!» может хоть завтра раздаться даже и у границ Сибири во время кровавого бунта, при зареве пожара; слепой и жестокий народ может перерезать своих господ, восстать против темных самодуров, обагрить кровью воды Волги, только свободней он не станет — на нем ярмом тяготеет варварство.

Поэтому лучший способ дать людям волю — не провозглашать торжественно их раскрепощения, но сделать рабство невозможным, развивая в народных сердцах чувство человечности; его-то в России и недостает. Толковать ныне русским любого звания о свободолюбии было бы преступно; наш долг — проповедовать им всем без исключения человечность.

Надо прямо признать, что русский народ еще не имеет правосудия.[1] Так, мне однажды рассказали как о заслуге императора Николая, что некий незнатный частный человек выиграл тяжбу против больших господ. В рассказе этом восхищение характером государя звучало для меня сатирою на все общество. Превозносимый на все лады, сей казус положительно убедил меня, что справедливость в России — не более чем исключение из правила.

По зрелом размышлении я бы не советовал всему, как говорили у нас в старину, мелкому люду обольщаться успехом этого истца; быть может, ему оказали исключительную милость, дабы безнаказанными оставались несправедливости, творимые каждодневно (вспомним историю с мельницей в Сан-Суси, на которую, как на образец справедливости, любят указывать законники, когда их винят в продажности и угодливости).

Другой факт, из которого должны мы сделать вывод малоблагоприятный для русского судейства, — это то, что в России почти никто и не судится; каждый знает, к чему это ведет; будь судьи справедливей, люди чаще прибегали бы к помощи закона. По той же причине здесь не бывает ни ссор, ни уличных драк — все боятся тюрьмы и кандалов, которые чаще всего ждут и правых и виноватых.

Хоть я и рисую здесь одни печальные картины, в России все же есть две вещи и один человек, ради которых ее стоит посетить. Нева в Петербурге в пору белых ночей, московский Кремль при лунном свете и император Николай — такова Россия в отношении живописном, историческом и политическом. Все прочее лишь утомляет и нагоняет ничем не искупаемую скуку; вы убедитесь в том, читая мои письма.

Кое-кто из друзей уже писал мне, что считает за лучшее письма эти не печатать.

Когда я собирался уезжать из Петербурга, один русский спросил меня (подобно всем русским), что я стану рассказывать об их стране. «Меня слишком хорошо в ней принимали, чтоб я мог о ней говорить», — отвечал я.

Теперь это признание обращают против меня самого, хотя я рассчитывал заключить в нем чуть прикрытую любезностью эпиграмму. «После такого приема вы уж наверное не сумеете говорить правду, — пишут мне, — а поскольку иначе как правдиво вы писать не умеете, то лучше уж вам просто промолчать». Так полагают иные из тех, к кому я привык прислушиваться. Их мнение во всяком случае не очень лестно для русских.

Сам я все-таки считаю возможным и благопристойным говорить об общественных делах и деятелях откровенно, с должною деликатностью и уважением к людям, его заслуживающим, и с необходимым всегда самоуважением; надеюсь, что

[1] Смотри брошюру г-на Толстого, выдержки из которой приводились в моих путевых записках.

сумел найти для этого способ. Полагают, что одна лишь правда бывает оскорбительна, — возможно, и так; но говорящему правду никто, по крайней мере во Франции, не вправе и не в силах зажать рот. Никто не сочтет, что в возмущенном моем голосе тайно выказывается уязвленное тщеславие. Если б я прислушивался только к своему самолюбию, оно велело бы восхищаться всем увиденным; сердце же мое не осталось довольно ничем.

Ежели любой рассказ о России и ее обитателях оказывается оскорблением личности — тем хуже для русских; это неизбежное зло, так как, сказать по правде, ничто не существует в России само по себе, но возникает и исчезает по благоусмотрению одного человека; не путешественники тому виною.

Император, кажется, мало склонен поступиться частью своей власти; пускай же и ответственность за свое всемогущество он несет единолично — с этого начинается расплата за политическую ложь, которая являет одного-единственного человека безраздельным владыкою целой страны, всесильным повелителем мыслей целого народа.

Богопротивность подобной теории нельзя извинить никакими послаблениями в ее применении. В России мне открылось, что принцип неограниченной монархии, будучи осуществлен неукоснительно и непреклонно, ведет к последствиям чудовищным. И на сей раз, при всем своем политическом квиетизме, не могу не признать: от некоторых форм правления народы должны быть избавлены навсегда.

955 Император Александр, доверительно беседуя с госпожой де Сталь о предполагавшихся им усовершенствованиях, сказал ей: «Вы хвалите мои человеколюбивые намерения — благодарю вас, однако ж в истории России я лишь счастливая случайность». Сей государь говорил правду: как бы ни превозносили русские мудрую попечительность тех, кто ими правит, тем не менее основу основ их государства составляет самовластие; при подобном порядке император либо сам издает, либо велит издать, либо допускает издать и пустить в ход такие законы (простите, что называю сим священным именем неправедные повеления, но я лишь пользуюсь тем словом, какое в ходу в России), которые, например, позволяют объявить законных детей, рожденных в законном браке, не имеющими ни отца, ни фамилии — не людьми, а цифрами.[1] Как же мне не предать суду Европы государя, который, при всех своих достойных и превосходных качествах, согласен царствовать, не отменяя подобного закона?!

В мстительных своих чувствах он неумолим; столь пылко ненавидя, еще можно быть великим государем, но не великим человеком. Великий человек милосерд, политик же злопамятлив; возмездие принуждает покоряться, прощение побуждает уверовать.

Вот все, что хотел я вам сказать о государе; тому, кто знает страну, где обречен он царствовать, нелегко его судить, ибо люди там настолько зависимы от обстоятельств, что ни наверху, ни внизу общества не с кого спросить ответа. И в такой-то стране знатные господа полагают себя похожими на французов!!

[1] Смотри историю княгини Трубецкой.

Во времена варварства французские короли нередко рубили голову своим знатным вассалам; один из них, достопамятный своим тиранством, в изощренной жестокости даже повелел, чтобы кровь отца пролилась на детей, помещенных под эшафотом. Однако эти самовластные государи, безжалостно убивая недруга, лишая его владений, остерегались все же неразумным приговором унижать в его лице все семейство, сословие или область; от подобного бесчестия даже в средние века возмутился бы весь народ Франции. Русский же народ переносит и не такое... Вернее сказать, русского народа еще и нет — есть только императоры, имеющие рабов, и вельможи, также имеющие рабов; народа все они не образуют. 955

Средний класс, до сих пор малочисленный в сравнении с прочими, состоит почти исключительно из иностранцев; его начинают понемногу пополнять богатые крестьяне, выкупившиеся на волю, и мелкие чиновники, выслужившиеся в чине; будущее России зависит от этих новых буржуа, по происхождению столь различных, что им почти невозможно сойтись в своих воззрениях; для соединения их трудятся тайные общества.

Император пытается ныне создать русскую нацию, но одному человеку это нелегко. Зло быстро творится, зато медленно исправляется; сам испытывая к деспотизму отвращение, деспот, должно быть, часто отдает себе отчет в пороках неограниченной власти. Готов поверить — однако совестливость угнетателя не извиняет угнетения, и хотя мне жаль творящих эти преступления (зло всегда достойно сожаления), но еще большую жалость внушают мне страдания угнетенного. Какова бы ни была в России видимость, под нею всегда таятся насилие и произвол. Устрашая подданных, тирания обрела покой — только тем власть и сумела по сей день облагодетельствовать свой народ.

И вот, когда случай сделал меня свидетелем неслыханных бедствий, переживаемых людьми в государстве, одно из начал которого непомерно преувеличено, — что же, опасение задеть чью-то щекотливость заставит меня молчать об увиденном? Да я был бы недостоин иметь зрение, если б уступил этой малодушной предвзятости, которую мне пытаются теперь представить как уважение к общественным приличиям; как будто совесть моя не требует к себе уважения в первую очередь. А если б меня пустили в тюрьму и я бы понял, что скрывается за молчанием запутанных узников, — что же, я не посмел бы поведать об их мучениях из страха быть обвиненным в неблагодарности, потому как тюремщики весьма любезно водили меня по своим застенкам? Подобная сдержанность была бы вовсе не добродетельною; итак, заявляю: я внимательно всматривался, чтоб разглядеть утаиваемое, внимательно вслушивался, чтоб расслышать умалчиваемое, внимательно старался распознать все лживое в том, что мне говорили, и ныне без преувеличения уверяю вас, что в Российской империи люди бедствуют больше всего на свете, страдая от тягот варварства и цивилизации одновременно. Сам я почитал бы себя вероломным подлецом, если бы, уже нарисовав со всею вольностью духа картину большой части Европы, отказался дополнять ее из боязни переменить некоторые прежние свои мнения и оскорбить некоторых особ правдивым изображением страны, которую никогда еще не показывали

в подлинном виде. Скажите на милость, отчего должен я проявлять уважение к дурному? Разве скован я какою-либо иною цепью, кроме любви к истине?

На мой взгляд, в русских очень много житейского такта и хитрости, но мало чувствительности; об этом я уже говорил. Чрезвычайная обидчивость в соединении с изрядною долей черствости составляет, полагаю, основу их характера; об этом я тоже говорил. Тщеславная прозорливость, холопская проницательность, язвительное лукавство — таковы главные свойства их ума; все это я также говорил и повторяю вновь, ибо недостойною уловкой было бы щадить самолюбие тех, кто сам столь немилосерден к другим (обидчивость не есть деликатность). Пора бы этим людям, столь зорким к порокам и нелепостям нашего общества, привыкнуть к тому, что и о них самих говорят не обинуясь; окружая их дипломатическим молчанием, мы лишь вводим их в заблуждение, расслабляем их ум; если русские хотят быть признаны народами Европы и иметь с нами дела на равных, пускай сперва научатся слушать суждения о себе. Такому суду подвергаются все народы и не придают тому особенного значения. С каких это пор немцы принимают у себя англичан под тем лишь условием, что те станут хорошо отзываться о Германии? У всякого народа есть веские причины быть таким, каков он есть; и самая веская из них та, что иным он быть и не может.

Правда, к русским такое оправдание не подходит, во всяком случае к тем из них, кто умеет читать. Коль скоро они все на свете перенимают, то могли бы и сделаться иными; именно потому, что это возможно, правительство их и отличается такою подозрительностью, доходящею до свирепства!.. Ему хорошо известно, что людям-отражениям ни в чем доверять нельзя.

Меня могло бы остановить более сильное побуждение — боязнь обвинений в отступничестве. «Он так долго ополчался против либерального витийства, — станут говорить, — а ныне уступает течению и ищет ложной популярности, которую прежде презирал».

Возможно, я и не прав, но чем более размышляю, тем менее допускаю, чтобы такой упрек мог меня уязвить или даже чтобы кому-то пришло в голову мне его бросить.

Уже с давних пор умами русских владеет страх, что иноземцы станут их бранить. В странном этом народе крайняя хвастливость сочетается с чрезвычайною неуверенностью в себе; наружное самодовольство и беспокойное самоуничижение внутри — такое замечал я в большинстве русских. Их тщеславие не знает ни устали, ни удовлетворения, так же как надменность англичан; оттого в русских не бывает простоты. «Наивность» — французское слово, точный смысл которого не передаваем ни на одном языке, кроме нашего, ибо само это качество присуще лишь нам; наивность — это простодушие, способное сделаться и лукавым; это дар остроумия, которое рождает смех, не нанося обид; это пренебрежение ораторскими уловками, больше того, готовность дать собеседникам оружие против себя; это непредубежденность в суждениях, нечаянная меткость в выражениях, отказ от самолюбия во имя истины; одним словом, это галльская прямота — русским же она неведома. Народ-подражатель никогда не будет наивен, искренность у него всегда будет убита расчетом.

В завещании Мономаха мне попались любопытные мудрые поучения, обращенные к сыновьям; особенно поразило меня одно место — это признание весьма полезно запомнить: «Всего же более чтите гостя, и знаменитого и простого, и купца и посла; если не можете одарить его, то хотя брашном и питием удовольствуйте: ***ибо гости распускают в чужих землях и добрую и худую об нас славу»*** (из поучения Владимира Мономаха своим сыновьям в 1126 году). Князь этот назван был в крещении Василием (Карамзин. История государства Российского, перевод гг. Сен-Тома и Жоффре. Париж, 1820. Т. II, с. 205).

Согласитесь, что такими самолюбивыми ухищрениями гостеприимство изрядно обесценивается. Оттого не раз во время путешествия приходило мне на память то, что называется расчетливою любовью к ближнему. Речь не о том, чтоб отнять у людей воздаяние за добрые дела, но безнравственно, гнусно выставлять эту награду как первейшее побуждение к добродетели.

Вот еще несколько отрывков из того же автора, подкрепляющих собственные мои наблюдения.

Сам Карамзин рассказывает о пагубном влиянии монгольского нашествия на характер русского народа; кто найдет мои суждения слишком суровыми, тот может убедиться, что они удостоверены мнением серьезного историка, склонного притом скорее к снисходительности.

«Забыв гордость народную, — пишет он, — мы выучились низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых; ***обманывая татар, более обманывали и друг друга; откупаясь деньгами от насилия варваров, стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иноплеменных тиранов»*** (Из того же сочинения. Т. V, гл. 4, с. 447 и след.).

Несколько далее:

«Может быть, самый нынешний характер россиян еще являет пятна, возложенные на него варварством монголов...

Но заметим, что вместе с иными благородными чувствами ***ослабела в нас тогда и храбрость,*** питаемая народным честолюбием...

Власть народная также благоприятствовала силе бояр, которые, действуя чрез князя на граждан, могли и чрез последних действовать на первого: сия опора исчезла. Надлежало или повиноваться государю, или быть изменником, бунтовщиком; ***не оставалось средины и никакого законного способа противиться князю. — Одним словом, рождалось самодержавие».***

Закончу эти выписки двумя отрывками о царствовании Ивана III; они также взяты у Карамзина (т. VI, с. 351).

Рассказав о том, как царь Иван III колебался в выборе престолонаследника между сыном своим и внуком, историк продолжает: «К сожалению, летописцы не объясняют всех обстоятельств сего любопытного происшествия (здесь говорится о раскаянии государя, возвратившего свою нежность супруге и сыну и отдалившего от себя внука, которого сам же венчал на царство), сказывая только, что Иоанн возвратил наконец свою нежность супруге и сыну, велел снова исследовать бывшие на них доносы, узнал козни друзей Елениных и, считая себя обманутым, явил ужасный пример строгости над знатнейшими вельможами, князем Иваном

Юрьевичем Патрикеевым, двумя его сыновьями и зятем, князем Симеоном Ряполовским, обличенными в крамоле: осудил их на смертную казнь...»

Этот Иван III, казнивший смертью за *крамолу*, почитается у русских как один из величайших людей.

Такие же или почти такие же вещи происходят в России и поныне. Из-за всевластия самодержцев здесь нет уважения к судебному приговору; император, став лучше осведомлен о деле, всегда может отменить то, что решил он, будучи осведомлен плохо.[1]

Признания Карамзина показались мне вдвойне значительны в устах столь льстивого и робкого историка, как он. Я мог бы умножить подобные выдержки, но, думается, привел их довольно, чтобы отстоять свое право высказывать не обинуясь мои соображения, ведь они подтверждаются мнением даже такого автора, которого упрекают в пристрастном взгляде.

В стране, где умы с детских лет приучаются к скрытности и ухищрениям восточной политики, естественность поневоле встречается реже, чем где-либо; когда же она есть, то обладает особым очарованием. Я видел в России несколь-
955 ких человек, которые стыдятся безжалостно давящего их гнета власти, будучи принуждены под ним жить и не осмеливаясь даже жаловаться; такие люди бывают свободны только пред лицом неприятеля, и они едут сражаться в теснинах Кавказа, ища там отдыха от ярма, которое приходится им влачить дома; от такой печальной жизни на челе их остается печать уныния, которая плохо вяжется с их воинскими манерами и беспечностью их возраста; юные морщины изобличают глубокую скорбь и внушают искреннюю жалость; эти молодые люди взяли у Востока глубокомыслие, а из мечтаний Севера — смутность духа и наклонность к грезам; в несчастье своем они очень привлекательны; ни в одной стране нет на них похожих.

В русских есть изящество, а значит, должен быть и какой-то особый род естественности, которого я, впрочем, не сумел разглядеть; возможно, он вообще неуловим для чужеземца, проехавшегося по России столь быстро, как я. Ни один народ не имеет столь трудноопределимого характера, как этот.

У русских не было средневековья, у них нет памяти о древности, нет католицизма, рыцарского прошлого, уважения к своему слову;[2] они доныне остаются византийскими греками — по-китайски церемонно вежливыми, по-калмыцки грубыми или, по крайней мере, нечуткими, по-лапонски грязными, ангельски красивыми и дико невежественными (исключая женщин и кое-кого из дипломатов), по-жидовски хитрыми, по-холопски пронырливыми, по-восточному покойными и важными в манерах своих, по-варварски жестокими в своих чувствах; они презрительно насмешливы от безысходности, побуждаемые к язвительности вместе и природою, и ощущением собственной приниженности; они легкомысленны, но лишь на внешний вид — по сути своей русские расположены

955

[1] Смотри выше историю Павлова и множество других подобных случаев.

[2] Несмотря на все сказанное выше, нелишне, быть может, пояснить, что это относится лишь к народным массам, которым в России ведома только власть страха и силы.

к серьезным делам; все они довольно умны, чтоб развить в себе необыкновенно тонкий житейский такт, но ни у кого недостает великодушия, чтобы подняться выше хитрости; они внушили мне отвращение к этой способности, без которой у них не проживешь. Следящие за каждым своим шагом, они кажутся мне самыми жалкими людьми на свете. Прискорбное это достоинство — такт житейских условностей, узда, накинутая на вольное воображение, принуждающая беспрестанно жертвовать своим чувством ради чужого; с отрицательным этим достоинством несовместны иные, положительные и высшие, достоинства; это ремесло честолюбивого льстеца, всегда готового исполнять чужую волю, постоянно следящего и отгадывающего, к чему ведет дело хозяин, — вздумай он сам дать делу толчок, его тут же прогонят вон. Чтобы дать делу толчок, нужна гениальность; для сильного гениальность и есть его такт, для слабого же такт составляет всю его гениальность. В русских нет ничего, кроме такта. Гений зовет к действию, а такт — лишь к наблюдению; чрезмерная же наблюдательность приводит к неуверенности, а значит, к бездействию; гений может сочетаться с большою искусностью, но не с крайнею тонкостью такта, ибо в коварной этой льстивости — высшей доблести холопа, который чтит врага-господина, не решаясь его сразить, — всегда есть доля притворства. Благодаря такой изощренности, достойной сераля, русские непроницаемы для чужого взгляда; всегда, правда, заметно, что они нечто скрывают, но что именно — неизвестно, а им того и довольно. Еще хитрее и опаснее станут они тогда, когда научатся скрывать самое свою хитрость.

Некоторые из них этого уже достигли — то высшие представители нации, как по занимаемому положению, так и по могуществу ума, с каким вершат они свою власть. Здраво судить об них я могу только задним числом, при встречах же бывал заворожен их обаянием.

Но, Бог мой, к чему же столько уловок?

Какою целью объясняется все это притворство?

Что за обязанность или корысть понуждает людей к столь долгому и утомительному ношению личин?

Быть может, все эти приемы предназначены лишь защищать действительную и законную власть?.. Но такая власть в них не нуждается — истина сама обороняет себя. Или же так удовлетворяются ничтожные тщеславные притязания? Возможно. Однако ж доставлять себе столько хлопот, чтоб получить столь скудные плоды, — труд недостойный тех серьезных людей, что им заняты; замысел их представляется мне глубже; иная, важнейшая цель видится мне, — в ней и усматриваю я причину их удивительной скрытности и терпеливости.

В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям — одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унизительным покорством у себя дома заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

В лице императора Николая подданные обожают не человека, но честолюбивого вождя еще более честолюбивой нации. В страстных своих устремлениях русские скроены по образу древних; все напоминает у них о Ветхом завете; их чаяния и терзания столь же велики, сколь и их империя.

Ни в чем не знают они пределов — ни в муках, ни в наградах, ни в жертвах, ни в упованиях; они могут достичь огромной власти, но лишь тою ценой, какою азиатские народы покупают незыблемость своего правления, — ценою счастья.

Россия видит в Европе свою добычу, которая рано или поздно ей достанется вследствие наших раздоров; она разжигает у нас анархию, надеясь воспользо-
956 ваться разложением, которому сама же способствовала, так как оно отвечает ее замыслам; сделанное с Польшей затевают вновь, в большем размере. Париж уже
957 не первый год читает возмутительные газеты — возмутительные во всех смыслах, — оплачиваемые Россией. «Европа идет тою же дорогой, что и Польша, — говорят в Петербурге, — напрасным либерализмом она сама себя ослабляет, тогда как мы остаемся могущественны потому именно, что не свободны; потерпим же под ярмом, за свой позор мы отыграемся на других».

Невнимательному взгляду раскрытый мною здесь план может показаться химерическим; всякий же, кто посвящен в ход европейских дел и в тайны министерских кабинетов за последние двадцать лет, признает его верным. Здесь ключ ко многим загадкам, здесь простое объяснение тому, что лица, весьма серьезные по характеру своему и положению, полагают чрезвычайно важным, чтоб иностранцы видели их только с благоприятной стороны. Если бы русские были, как они утверждают, опорою порядка и законной монархии, разве стали бы они использовать людей и, хуже того, средства, ведущие к революции?

Одною из жертв наваждения, против которого хотел бы я предостеречь всех
957 нас, является Рим, с его противоестественным доверием к России.[1] Рим и весь католический мир не имеют большего и опаснейшего врага, нежели император российский. Рано или поздно в Константинополе, под покровительством православных самодержцев, единовластно воцарится схизма; тогда-то христианскому миру, расколотому на два лагеря, станет ясно, сколько вреда принесла рим-
Гб7 ской церкви политическая слепота ее главы.

Сей владыка, устрашившись расстройства, в котором очутились наши страны в пору его восшествия на папский престол, ужасаясь нравственному ущербу, который причинили Европе наши революции, не имея поддержки, растерявшись в окружении равнодушного или насмешливого света, — всего более боялся народных восстаний, от которых уже пострадали и он сам, и его современники; тогда-то, поддавшись пагубному влиянию ограниченных умов, последовал он советам житейской осмотрительности и стал действовать с мирскою мудростью, с земною ловкостью — в глазах же Бога был слеп и слаб; так дело католицизма
-;т в Польше осталось без естественного своего защитника, возглавляющего на земле истинную церковь. Много ли сегодня наций, готовых отдать Риму своих солдат? И вот папа, будучи всеми оставлен и отыскав народ, еще готовый ради него

[1] Писано в 1839 году.

на смерть... отлучил его!! Единственный из земных владык, обязанный оставаться с народом этим до конца, он отлучил его в угоду повелителю схизматиков! Правоверные католики в ужасе вопрошали себя, куда девалась неустанная прозорливость святейшего престола; отлученные мученики видели, что Рим жертвует католическою верой ради православной политики, и Польша, павши духом в священной борьбе, приняла свой удел, не в силах его понять.[1]

Ужели наместник Бога на земле еще не признал, что со времен Вестфальского мира все войны в Европе — войны религиозные? Какие опасения плоти помутили его взор настолько, что в делах небесных обратился он к средствам, годным для земных царей, но недостойным владыки всех владык? Их престолы воздвигаются и рушатся, его же престол пребудет вечно — да, вечно, ибо даже в катакомбах первосвященник был бы выше и прозорливей духом, чем восседая ныне в Ватикане. Обманутый хитроумными мирянами, он не разглядел сути вещей и, сбитый с верного пути своею политикой страха, забыл, что ему есть где черпать силу — в политике веры.[2] 957

Но терпение — развязка назревает, скоро все вопросы будут поставлены ясно, и истина при поддержке законных своих защитников вновь обретет свою власть над умами народов. Быть может, протестантам близящаяся схватка даст понять одну важнейшую истину, которую я уже не раз высказывал, но не перестаю повторять, ибо она представляется мне единственно необходимою для скорейшего воссоединения всех исповеданий христианской веры, — а именно то, что во всем мире подлинно свободен только католический священник. Всюду, кроме католической церкви, священнослужитель подчинен иным законам, иным понятиям, чем законы и понятия его совести и вероучения. Потрясает непоследовательность англиканской церкви, и содрогание вызывает униженность православной церкви в Петербурге; как только в Англии прекратится власть ханжества, большая часть королевства вновь сделается католической. Римская церковь в одинокой своей борьбе спасла чистоту веры, отстаивая по всей земле, с возвышенным благородством, с героическим терпением и несгибаемою убежденностью, независимость духовенства против посягательства всех и всяческих мирских властей. Где найти церковь, которая не дала бы тем или иным земным правителям

[1] Упреки эти, не выходящие, на мой взгляд, за рамки почтительности, нашли себе подтверждение в последних эдиктах римской курии.

[2] Невежество в делах религии настолько велико в наши дни, что один католик, весьма умный человек, которому я читал эти строки, перебил меня: «Какой же вы после этого католик — вы браните самого папу!» Как будто папа так же безупречен в делах мирских, как непогрешим он в вопросах веры! Да и эту непогрешимость сторонники галликанства ограничивают известными оговорками, при всем том считая себя католиками. Разве Данте когда-нибудь обвиняли в ереси? А между тем как обходится он с папами, которых поместил в свой ад! Лучшие умы нашего времени впадают в путаницу, которая в прежние века рассмешила бы любого школяра. Отвечая своему критику, я отослал его к Боссюэ, который в своем изложении католического учения, всегда встречавшем поддержку, одобрение и похвалу от римской курии, дает достаточное оправдание моим принципам. 961

принизить себя до положения духовной полиции? Такая церковь только одна — католическая; ценою крови мучеников она сберегла себе свободу, вечный источник жизни и могущества. Будущее всего мира принадлежит ей, ибо она сумела остаться беспримесно чиста. Пусть суетится протестантизм — такова его природа; пусть волнуются и спорят друг с другом разные секты — такова их обычная забава; католическая церковь ждет своего часа!!!

Русское православное духовенство всегда являло и будет являть собою своего рода ополченцев, лишь мундиром своим несколько отличных от светских войск империи. Подчиненные императору попы и их епископы составляют особый полк клириков — только и всего.

Удивительно, как сильно отдаленность России от Западной Европы до сих пор помогала русским скрывать все это от нас. Лукавая греческая политика боится правды, обладая несравненным умением извлекать выгоду из лжи; но меня поражает, как удается ей так долго поддерживать господство этой лжи.

Вам понятно теперь, какую важность имеет чье-то суждение, насмешливая фраза или письмо, шутка или улыбка, не говоря о целой книге, в глазах этого правительства, пользующегося доверчивостью своего народа и угодливостью всех иностранцев.

Одно лишь слово правды, брошенное в Россию, — все равно что искра, упавшая в бочонок с порохом.

Что за дело тем, кто правит Россией, до нищеты императорских солдат, до их бескровных лиц? На этих живых призраках — красивейший в Европе мундир; что за важность, если на зимних квартирах эти раззолоченные тени кутаются в грубошерстные балахоны?.. Пусть в тайне сохраняются их убожество и грязь, а на виду будет один только блеск — ничего более от них не требуется и ничего иного им не дается. Богатство русских — покров, наброшенный на нищету; все заключается для них в видимости, и видимость у них обманывает чаще, чем где-либо еще. Оттого любой приподнявший край покрова навсегда погиб во мнении Петербурга.

Общественная жизнь в этой стране — сплошные козни против истины.

Всякий, кто не дает себя провести, считается здесь изменником; посмеяться над бахвальством, опровергнуть ложь, возразить против политической похвальбы, ***мотивировать свое повиновение*** — является здесь покушением на безопасность державы и государя; такого преступника ждет участь революционера, заговорщика, врага государственного порядка, преступника, виновного в оскорблении величества... участь поляка; а вам известно, сколь жестока эта участь! Щекотливость, проявляющаяся таким образом, более пугает, чем смешит; столь придирчивый надзор правительства, согласный со столь же ревнивым тщеславием народа, — это уже не забавно, а страшно.

Волей-неволей приходится быть осторожным, имея государем своим человека, который не милует ни одного врага, не оставляет без кары ни малейшего ослушания и, таким образом, долгом своим почитает возмездие. Для такого человека, воплощающего в себе государство, простить значило бы отречься от веры своей, быть милосердным — уронить себя, выказать человечность — пренебречь

своим величием... да что там, своею божественностью! Отказаться от поклонения, которым он окружен, не в его власти.

Русская цивилизация еще так близка к своему истоку, что походит на варварство. Россия — не более чем сообщество завоевателей, сила ее не в мышлении, а в умении сражаться, то есть в хитрости и жестокости.

Своим последним восстанием Польша отсрочила взрыв уже заложенной мины, готовые к бою батареи остались в укрытии; ей никогда не простят этой необходимости таиться — таиться не от нее самой (ибо ее-то безнаказанно умерщвляют), но от ее друзей, которых приходится и далее дурачить, чтоб не спугнуть их человеколюбивых чувств. Соучастником такой мести, великодушной и яростной (заметьте оба этих обстоятельства), пытаются сделать и того, кто несет передовую стражу против новоявленной Римской империи, которая будет именоваться греческою, — и вот самый осмотрительный, но и самый слепой из 958
европейских государей [1] начинает в угоду соседу своему и повелителю религиозную войну... Подвигнутый на сей путь, он уже не скоро остановится; а коли сбили с толку его, то совратят и многих других...

Прошу принять в рассуждение, что, если русские когда-либо добьются господства над Западом, они не станут править им, сами оставаясь дома, как монголы в старину; напротив, они поспешат покинуть свои заледенелые равнины; они не последуют примеру бывших своих повелителей — татар, вымогавших дань у славян издалека (ибо климат Московии страшил даже монголов); едва лишь перед московитами откроются дороги в чужие края, как они толпами устремятся вон из своей страны.

Сейчас они толкуют о своей умеренности, открещиваются от замыслов 958
завоевания Константинополя; они-де боятся любого расширения империи, где и так уж большие расстояния стали сущим бедствием; подумать только, до чего они осмотрительны — даже опасаются жаркого климата!.. Погодите, скоро вы увидите, чем обернутся все эти опасения.

Повстречав столько лжи и столько бед, нам грозящих, как же мне не оповестить о них?.. Нет-нет, лучше уж обознаться, но рассказать, чем верно все разглядеть и смолчать. Пусть даже, излагая свои наблюдения, я буду дерзок — скрывши их, я был бы преступен. 958

Русские не станут мне отвечать — они скажут: «За четырехмесячную поездку 958
он слишком мало повидал».

Действительно, я мало повидал, но многое угадал.

Если же меня удостоят опровержением, то отрицать будут факты — это исходный материал всякого рассказа, а в Петербурге их привыкли не ставить ни во что; прошлым, как и будущим и настоящим, распоряжается там самодержец; повторю вновь: единственное достояние русских — покорность и подражание, руководство же их умом, мнениями и свободною волей принадлежит государю. История составляет в России часть казенного имущества, это моральная собственность венценосца, подобно тому как земля и люди являются

[1] Писано при жизни покойного короля Пруссии, в 1839 году.

там его материальною собственностью; ее хранят в дворцовых подвалах вместе с сокровищами императорской династии, и народу из нее показывают только то, что сочтут нужным. Память о том, что делалось вчера, — достояние императора; по своему благоусмотрению исправляет он летописи страны, каждый день выдавая народу лишь ту историческую правду, которая согласна с мни-
958 мостями текущего дня. Так в пору нашествия Наполеона внезапно извлечены были на свет и сделались знамениты уже два века как забытые герои Минин и Пожарский: все потому, что в ту минуту правительством дозволялся патриотический энтузиазм.

Однако ж столь непомерная власть вредит сама себе, и Россия не вечно будет ее терпеть — в армии теплится дух мятежа. Я согласен с императором — русские слишком много ездили по свету; народ сделался охоч до знаний; а против мысли бессильна таможня, ее не истребить войсками, не остановить крепостными стенами — она пройдет и под землею. Идеи носятся в воздухе, проникают всюду, а идеями изменяется мир.[1]

Из всего сказанного явствует, что будущность, которая мечтается русским столь блестящею для их страны, от них самих не зависит; у них нет своих идей, и судьба этого народа подражателей будет решаться там, где у народов есть свои собственные идеи; если на Западе утихнут страсти, если между правительствами и подданными установится союз, то жадные завоевательные чаяния славян сделаются химерой.

Нелишне повторить, что говорю я без всякой враждебности, что я описал положение вещей, никого не обвиняя лично, и что, делая свои выводы из некоторых пугающих меня фактов, я старался брать в расчет и силу необходимости. Я не обвиняю, а просто повествую.

Уезжая из Парижа, я полагал, что лишь тесный союз Франции и России способен внести мир в европейские дела; но, увидав вблизи русский народ и узнав истинный дух его правительства, я почувствовал, что этот народ отделен от прочего цивилизованного мира мощным политическим интересом, опирающимся на религиозный фанатизм; и мне думается, что Франция должна искать себе поддержку в лице тех наций, которые согласны с нею в своих нуждах. Союзы не основывают на мнениях вопреки интересам. У кого же в Европе согласные
959 друг с другом нужды? У французов и немцев, а также у тех народов, которым природою суждено следовать за двумя этими великими нациями. Судьбы нашей цивилизации, открытой, разумной и идущей вперед, будут решаться в сердце Европы; благотворно все способствующее скорейшему согласию между немецкою и французскою политикой; пагубно все задерживающее этот союз, пусть даже под самыми благовидными предлогами.

---

959 [1] Ныне, уже после того как я это написал, император позволяет множеству русских жить в Париже. Быть может, он думает излечить от грез сторонников реформ, показав им Францию вблизи: ему представляют ее как революционный вулкан, как страну, побывав в которой русские навсегда потеряют охоту к политическим преобразованиям; он **заблуждается.**

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ПУТЕШЕСТВИИ

Грядет война между философией и верой, между политикой и религией, между протестантизмом и католическою церковью — и от того, чей стяг подымет Франция в этой борьбе гигантов, будет зависеть судьба всего мира, судьба церкви и прежде всего судьба Франции.

Правильность такой системы союзов, к которой я стремлюсь, будет подтверждена — наступит день, и у нас уже не окажется иного выбора.

Как иностранец, и особенно как иностранный литератор, я был осыпан изъявлениями учтивости со стороны русских; однако любезность их ограничивалась одними обещаниями — никто так и не помог мне заглянуть в существо дел. Многие тайны остались непроницаемы для моего разумения.

Проживи я в России целый год, я узнал бы немногим больше, тогда как суровости зимы тем более меня беспокоили, чем более уверяли меня местные жители, что она не так уж страшна. Закоченелые члены и обмороженные лица для них ничто; между тем я бы мог привести вам не один пример такого рода несчастий, приключавшихся даже со светскими дамами — как иностранками, так и русскими; причем, однажды обморозившись, человек ощущает последствия этой беды всю жизнь; рискуя по меньшей мере получить неизлечимые невралгические боли, я решил не подвергаться понапрасну этим опасностям, а равно и скуке, от которой приходится страдать, чтоб избежать их. Вообще в этой империи безмолвия, с ее бескрайними пустыми просторами, с голыми равнинами, с редкими городами, с замкнутыми лицами, чья неискренность делает пустым и все общество, меня одолевала тоска, я бежал не только от мороза, но и от сплина. Что бы ни говорили, но кто решится провести зиму в Петербурге, тот должен на шесть месяцев позабыть о живой природе и сидеть взаперти среди людей, лишенных чувств живых и естественных.[1]

Сказать откровенно, я провел в России ужасное лето, ибо лишь малую толику увиденного удалось мне по-настоящему понять. Я надеялся добраться до разгадок, привез же вам одни загадки.

Особенно жалею я, что не сумел проникнуть в одну тайну — понять, отчего в России столь малым влиянием обладает религия.

Разве православная церковь, несмотря на политическую свою порабощенность, не могла сохранить хоть какую-то нравственную власть над народом? Однако она вовсе ее не имеет. Откуда столь ничтожное положение церкви, которой всё, казалось бы, споспешествует в ее делах? Вот в чем вопрос. Может быть, православной церкви вообще свойственно цепенеть в неподвижности, довольствуясь одними наружными знаками почтения? Или такой исход неизбежен всюду, где духовная власть впадает в полную зависимость от власти светской? Сам я так и считаю, но хотел бы уметь доказать вам это посредством документов

[1] В недавно напечатанных письмах леди Монтегю я обнаружил максиму турецких царедворцев, применимую ко всем угодникам, но особенно к угодникам русским — то есть ко всем русским вообще; она помогает уяснить, что между Турцией и Московией немало схожего: «Будь ласков с фаворитами, избегай опальных и не доверяйся никому» (Lady Mary Wortly Montegu's Letters, p. 159,1.11).

961

и фактов. Изложу все же в нескольких словах вывод из своих наблюдений над отношениями русского духовенства с верующими.

Я увидел в России христианскую церковь, которая не подвергается ничьим нападкам, которую все, по крайней мере внешне, чтят; все способствует этой церкви в отправлении ее духовной власти, и, однако ж, она не имеет никакой силы в сердцах людей, порождая одно лишь ханжество да суеверие.

В странах, где религию не уважают, она ни за что и не в ответе; здесь же, где священнослужитель в служении своем поддержан всею мощью неограниченной власти, где вероучение никем не оспаривается ни письменно, ни устно, где церковные обряды сделались как бы государственным законом, где все обычаи поддерживают веру (у нас же они ей противоречат), — здесь мы вправе упрекнуть церковь в бесплодности ее усилий. Церковь эта мертва и вместе с тем, судя по происходящему в Польше, способна устраивать гонения, не имея ни высоких добродетелей, ни великих талантов, чтоб завоевывать умы; одним словом, русской церкви недостает того же, чего недостает этой стране повсеместно, — свободы, без которой меркнет свет и отлетает дух жизни.

В Западной Европе не знают, какое место занимает в политике России религиозная нетерпимость. Только что, после долгих глухих преследований, упразднен греко-католический культ; но известно ли католической Европе, что среди русских более нет униатов? Ослепленная своею философическою просвещенностью, знает ли она вообще, кто такие униаты?[1]

Вот один случай, который покажет вам, сколь опасно в России высказывать свое мнение о православной церкви и о недостатке у нее нравственного влияния.

960 Несколько лет назад один весьма умный человек, всеми любимый в Москве, благородного происхождения и характера, но, на беду свою, одержимый любовью к истине (опасная повсюду, в его стране эта страсть смертельна), решился заявить в печати, что католическая религия более благоприятствует развитию умов и расцвету искусств, чем русско-византийская; имея на сей счет то же мнение, что и я, он осмелился его высказать — непростительное преступление
960 для русского. Вся жизнь католического священника, пишет он в своей книге, воспаряет над земным естеством (по крайней мере, должна над ним воспарять); это каждодневный добровольный отказ от грубых наклонностей человеческой природы; это вновь и вновь предъявляемое безбожному свету действенное доказательство того, что дух выше материи; это жертвоприношение на алтарь веры, непрестанно повторяемое, дабы убедить самых нечестивых, что человек не вполне подвластен могуществу плоти и что вышний властелин может дать ему силу не повиноваться законам материального мира. Затем он добавляет: «Благодаря преобразованиям, которые осуществило время, католическая

960 [1] С тех пор как это было писано, несколько газет поместили обращение папы к кардиналам по вышеуказанному поводу. Обращение это, исполненное высочайшей мудрости, показывает, что святого отца наконец осведомили об опасностях, против которых я предостерегаю, и что теперь истинные интересы веры возобладали в Риме над соображениями светской политики. >

религия способна ныне употреблять свои скрытые возможности только во благо»; словом, он утверждал, что в исторических судьбах славянской расы недостало католицизма, ибо в нем одном соединены вместе постоянство энтузиазма, совершенство любви к ближнему и ясность рассудка; мнение свое он подкреплял множеством доводов, стараясь показать преимущества независимой, то есть всемирной, религии перед религиями местными, то есть стесненными рамками политики; в общем, он держался того взгляда, какой я и сам непрестанно отстаиваю изо всех моих сил.

Даже в недостатках характера русских женщин писатель этот усматривает вину православной религии. По его словам, женщины в России оттого столь легкомысленны, оттого не сумели сохранить тот авторитет в семье, какой надлежит иметь супруге и матери, что они никогда не получали настоящего религиозного воспитания.

Книга эта, ускользнув благодаря какому-то чуду или чьей-то уловке от бдительности цензуры, воспламенила всю Россию: в Петербурге и в святой Москве раздались вопли ярости и смятения, и наконец совесть верующих настолько помутилась, что со всех краев империи стали требовать покарать неосмотрительного защитника матери всех христианских церквей (последнее не мешало клеймить дерзкого писателя за склонность к вредным новшествам; это лишь одна из непоследовательностей духа человеческого, который в мирских комедиях едва ли не всегда противоречит себе; действительно, боевой клич всех сектантов и раскольников — «нужно чтить родную веру»; сию истину совершенно позабыли Лютер и Кальвин, которые в религии произвели то, что многие герои республиканцы желали бы произвести в политике, — добились власти себе на пользу); дтак, ни кнут, ни Сибирь, ни галеры, ни рудники, ни крепости, ни ссылка в саше глухие углы России — ничто не казалось довольным для того, чтобы обезшасить Москву с ее византийским православием от происков Рима, коим слукило нечестивое учение человека, изменившего Богу и отечеству!

Все беспокойно ждало приговора, который решил бы участь столь великого феступника; решение дела затягивалось, и в пору было уже отчаяться в верховюм правосудии, но тут император в бесстрастном милосердии своем объявил, [то нет ни причин для наказания, ни преступника, коего должно покарать, а есть [ишь безумец, коего должно держать взаперти; больной, добавил он, *будет препоручен заботам лекарей.*

Сей новый род пытки был незамедлительно применен, да с такою суровотью, что объявленный безумцем едва не оправдал нелепого приговора, вынеенного самодержавным главою церкви и государства. Мученик истины близок ыл к тому, чтоб и впрямь потерять рассудок, отрицаемый в нем высочайшим овелением. *В течение трех лет* неукоснительно подвергавшийся жестокому унизительному лечению, несчастный великосветский богослов лишь недавно ачал пользоваться известною свободой; но — вот диво! — ныне сам он сомневагся в своем разуме и, доверяясь слову императора, признает себя умалишеным!.. Осуждающее слово государя равносильно сегодня в России папскому отягчению в средние века!!

961

961

961

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Говорят, что теперь этому лже-безумцу позволено общаться кое с кем из друзей; когда я был в Москве, мне предложили посетить несчастного в его уединении; но я был остановлен страхом и даже отчасти жалостью, ибо любопытство мое могло показаться ему обидным. Какое наказание понесли цензоры выпущенной им книги, мне не сказали.

Вот вам свежий пример того, как вершатся ныне в России дела совести. Спрашиваю в последний раз: вправе ли путешественник, имевший несчастье или же счастье собрать такие сведения, оставить их неизвестными? В подобных обстоятельствах достоверное помогает разобраться в предполагаемом, и из того и другого вместе образуется убежденность, которою человек обязан, если может, поделиться со светом.

Свой рассказ я вел без личной ненависти, но и никого не боясь и не сдерживаясь; я был готов даже показаться скучным.

Страна, где побывал я ныне, настолько же мрачна и однотонна, насколько изображенная мною прежде была ярка и многообразна. Писать верную ее картину — значит отрешиться от надежды доставить кому-либо удовольствие. Жизнь в России столь же тускла, сколь весела она в Андалузии; русский народ угрюм, испанский полон жара. В Испании политическая несвобода возмещалась личною независимостью, пожалуй нигде не развитою столь сильно, независимостью поразительною по своим последствиям; в России и та и другая свобода равно неизвестны. Испанец живет по любви, русский по расчету; испанец обо всем рассказывает, а если рассказать не о чем, то выдумывает; русский все скрывает, а если скрывать нечего, то молчит, чтоб не выглядеть болтливым или даже без всякого расчета, просто по привычке; Испания кишит разбойниками, но воруют там только на большой дороге; в России дороги безопасны, зато вас непременно обворуют дома; Испания полна исторических воспоминаний и руин всех веков; Россия возникла лишь вчера, и история ее богата одними посулами; в Испании громоздятся горы, и путник на каждом шагу видит новые пейзажи; в России от края до края ее равнин вид местности один и тот же; Севилья залита солнцем, светом которого животворится все на Иберийском полуострове; в петербургском пейзаже небо вдали всегда затянуто туманом и даже в ясные летние вечера остается тусклым; итак, две эти страны во всем противоположны одна другой, как день и ночь, как пламень и лед, как Юг и Север.

Только пожив в этой пустыне, где нет покоя, в этой тюрьме, где не бывает досуга, — начинаешь чувствовать, насколько же свободно живется в других странах Европы, какое бы правление ни было в них принято. В России, не устану повторять, свободы нет ни в чем — разве что, как мне говорили, в одесской торговле. Оттого-то император, наделенный пророческим чутьем, недолюбливает тот независимый дух, что царит в этом городе, обязанном своим процветанием уму и неподкупности француза;[1] это, однако ж, единственный город во всей обширной империи, где люди могут искренне благословлять нынешнее царствование.

[1] Г-на герцога де Ришелье, министра при Людовике XVIII.

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ПУТЕШЕСТВИИ

Если сын ваш будет недоволен Францией, последуйте моему совету — скажите ему: «Поезжай в Россию». Такое путешествие пойдет на благо каждому европейцу; повидав своими глазами эту страну, всякий станет доволен жизнью в любом другом месте. Всегда полезно знать, что есть на свете государство, где нет никакого места счастью, — ведь человек, по закону природы своей, не может быть счастлив без свободы.

Память о таком государстве побуждает быть не слишком придирчивым; вернувшись к родному очагу, путешественник может сказать о своей отчизне то, что один умный человек говорил о себе самом: «Оценивая сам себя, я скромен; сравнение с другими делает меня гордым».

ПРИЛОЖЕНИЕ

История гг. Жирара и Грассини, попавших в плен в России. — Рассказ г-на Жирара. — Моя беседа с г-ном Грассини. — Официальная история заключения в России и отправления в Данию принцев и принцесс Брауншвейгских в царствование Екатерины II (извлечено из первой части «Записок Российской императорской академии»). — Отрывок из «ОписанияМосквы» Лекуэнта де Лаво. —Московские тюрьмы.

Ноябрь 1842 года

В нынешнем году случай свел меня с двумя людьми, которые служили в нашей армии во время кампании 1812 года и, попавши в плен в России, прожили там несколько лет. Один из них — француз, ныне учитель русского языка в Париже,
963 по имени г-н Жирар; второй — итальянец, г-н Грассини, брат носящей ту же фамилию знаменитой певицы, которая поразила Европу своею красотой, а сценическим своим талантом способствовала славе современной итальянской школы.[1]

Эти двое сообщили мне некоторые сведения, взаимно подтверждающие друг друга и, как представляется, довольно любопытные и заслуживающие обнародования.

Поскольку беседу свою с г-ном Грассини я записал дословно, то и передам ее здесь со всею точностью, подробности же, сообщенные г-ном Жираром, я записать не озаботился и могу передать их лишь в кратком изложении. Оба рассказа настолько похожи, что могут показаться списанными один с другого; такая схожесть еще более укрепляет доверие, которое внушили мне оба лица, сообщившие нижеследующие сведения. Заметьте, что эти люди совершенно незнакомы между собою, никогда не встречались и даже не знают имен друг друга.

Начну с того, что рассказал мне г-н Жирар.

[1] Всем старым любителям музыки памятно то несравненное впечатление, что производила она в дивных ариях Майера, Цингарелли и Паэзиелло, и особенно в непременных речитативах. Составив целую эпоху в истории искусства, она послужила образцом крупнейшим талантам нашего времени благодаря своей трагической выразительности, неподдельному, подлинно итальянскому благородству тона, нестесненному стилю исполнения и энергической декламации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Его взяли в плен во время отступления и сразу отправили в глубину России в сопровождении отряда казаков. Колонна, в которой шел бедняга, насчитывала три тысячи французов. Мороз день ото дня крепчал, а пленных, невзирая на зимнее время, повели через Москву еще дальше, чтобы рассеять по внутренним губерниям.

Смертельно голодные и измученные, они часто вынуждены были останавливаться от усталости; их тут же щедро угощали сильными палочными ударами, чтобы таким образом прибавить им сил и заставить идти дальше, до самой смерти. На каждом переходе несколько человек из числа этих несчастных, худо одетых и дурно кормленных, лишенных всякой помощи и страдавших от жестокого обращения, оставались лежать в снегу; упавши, они сразу примерзали к земле и больше не поднимались. Сами палачи были устрашены их крайнею нуждой...

Их кусали насекомые, их снедали лихорадка и нищета, они всюду несли с собою заразу и вызывали ужас у крестьян, к которым их помещали на постой. Под палками брели они к месту, предназначенному для отдыха; но и там их встречали тоже палками, не позволяя ни приближаться к людям, ни заходить в дома. Иные, дойдя до крайности, в неистовстве отчаяния бросались друг на друга с кулаками, вооружались поленьями и камнями, ища в убийстве товарища последний источник пропитания, ибо уцелевшие в драке пожирали потом ноги убитых!!! К таким ужасным злодеяниям толкала наших соотечественников бесчеловечность русских.

Мы не забыли, что в то же самое время иные примеры подавала христианскому миру Германия. Франкфуртские протестанты до сих пор помнят о самоотверженности епископа Майнцского, который, не боясь заразиться, сам со всем клиром приезжал на речном судне во Франкфурт и забирал оттуда в Майнц несчастных наших солдат, чтоб их лечить или хотя бы ухаживать за ними до смерти; а итальянские католики благодарно вспоминают о том, как помогали им протестанты в Саксонии. 953

Ночью на стоянках люди, почуяв приближение смерти, в ужасе поднимались на ноги, чтобы бороться с агонией стоя; схваченные морозом в последних своих корчах, они так и замирали, прислонившись к стене, окоченелые и застылые. На их исхудалых членах замерзал смертный пот; глаза их навсегда оставались отверстыми, а тело сохраняло позу тех судорог, в которых объял их гибельный мороз. Так эти трупы и стояли, пока их не отрывали от земли, чтобы сжечь; и легче было не подошву отделить от опоры, а лодыжку от ступни. На рассвете их товарищи, поднимая голову, видели себя в кольце стражи из едва охладелых изваяний, расставленных вокруг лагеря словно передовые дозорные мира иного. Невозможно выразить весь ужас подобных пробуждений.

Каждое утро, перед отправкой колонны, русские сжигали мертвецов, а иногда — возможно ли сказать? — иногда сжигали и еще умирающих!..

Вот что испытал г-н Жирар, вот какие страдания выпали ему на долю; благодаря своей молодости и счастливой звезде он сумел их перенести.

Факты эти, как бы ужасны они ни были, кажутся мне не более чудовищными, чем множество других рассказов, записанных историками; но чего я никак

не могу объяснить, чему мне даже поверить трудно, — почему молчал о них сам француз, вырвавшийся из этой бесчеловечной страны и навсегда вернувшийся к себе на родину.

Г-н Жирар никак не хотел обнародовать рассказ о перенесенных им муках — по его словам, из почтения к императору Александру; тот около десяти лет продержал его в России, и он, выучив местный язык, служил учителем французского в казенных училищах. Как много жестокого произвола, как много лжи и обмана навидался он в этих многолюдных школах! Но ничто не могло заставить его нарушить молчание и поведать Европе о столь вопиющих безобразиях!

Император отпустил его во Францию, встретив однажды при осмотре какой-то провинциальной гимназии. Сказав ему несколько любезных слов по поводу желания покинуть Россию, которое пленник уже давно изъявлял своему начальству, император наконец пожаловал ему много раз испрошенное разрешение вернуться во Францию; он даже распорядился выдать ему денег на дорогу. Государю, вероятно, пришлась по нраву кроткая наружность г-на Жирара.

Так спустя десять лет, чудом спасшись от смерти, бедняга дождался окончания своего плена. Покидая страну палачей и тюремщиков, он громко восхвалял русских и изъявлял признательность за проявленное ими гостеприимство.

— И вы ничего этого не записали? — спросил я, внимательно выслушав его повесть.

— У меня было намерение рассказать все, что знаю, — отвечал он, — но я человек неизвестный и не нашел бы себе ни издателя, ни читателя.

— Правда рано или поздно сама пробьет себе путь, — сказал я.

— Мне не хотелось бы говорить ее в ущерб этой стране, — возразил г-н Жирар, — ведь император был ко мне так добр!

— Да... — продолжал я, — только до чего же легко в России прослыть добрым.

— Когда я получал паспорт, мне посоветовали быть сдержаннее.

Вот как десятилетнее пребывание в этой стране способно подействовать на ум человека, рожденного во Франции, смелого и честного. Исходя из этого рассчитайте сами, что за нравственное чувство передается из поколения в поколение среди самих русских...

В феврале 1842 года, будучи в Милане, повстречал я г-на Грассини, рассказавшего мне, что в 1812 году, находясь в армии вице-короля Италии, он во время отступления попал в плен в окрестностях Смоленска. После этого он два года прожил в глубине России. Вот наш разговор с ним; воспроизвожу его со всею возможною точностью, так как записал его в тот же день.

— Вам, должно быть, пришлось много выстрадать в этой стране от бесчеловечности жителей и суровости климата? — спросил я.

— От мороза — да, — отвечал он, — но из этого не следует, что русские лишены человечности.

— Ну, а если они и в самом деле бесчеловечны, — что же за беда в том, чтобы сказать это вслух? Зачем позволять русским кичиться добродетелями, которых у них нет?

ПРИЛОЖЕНИЕ

— В глубине страны мы встретили неожиданную помощь. Простые крестьянки и знатные дамы присылали нам одежду от мороза, лекарства от болезней, пищу и даже белье; иные из них приходили выхаживать нас прямо в лагерь, пренебрегая заразою, которую мы несли с собою, — ведь из-за лишений среди нас свирепствовали страшные болезни, которые распространялись после нас всюду, где пролегал наш путь. Чтобы прийти к нам на стоянку, требовалось не легкое сострадание, но большое мужество, настоящая добродетель; это я и называю человечностью.

— Не хочу утверждать, что в общем жестокосердии, которое заметил я у русских, не бывает исключений. Всюду, где есть женщины, есть и чувство жалости; в любой стране встречаются женщины, способные к героическому состраданию; все же верно, что в России и законы, и привычки, и нравы, и характеры отмечены жестокостью: несчастные наши пленные столько от нее настрадались, что нам трудно так уж славить человечность тамошних жителей.

— Я настрадался, как и другие, и даже больше многих, ведь я возвратился на родину почти слепым; уже тридцать лет я безуспешно пытаюсь всеми средствами вылечить себе глаза; я наполовину потерял зрение; утренние росы в России, даже в жаркое время года, пагубны для всякого, кто спит под открытым небом.

— Вас заставляли ночевать лагерем?

— Иначе было нельзя во время похода, который нам пришлось проделать.

— Значит, при морозе в двадцать или тридцать градусов у вас не было никакой крыши над головой?

— Да, но мучились мы на этих вынужденных стоянках из-за жестокости климата, а не людей.

— А не случалось ли, что и люди добавляли к жестокости природы свою неоправданную жестокость?

— Действительно, мне приходилось быть свидетелем жестоких поступков, достойных дикого народа. Но я отвлекался от этих ужасов своею сильною любовью к жизни; я говорил себе — если поддаться возмущению, это только удвоит опасность: либо я сам задохнусь от гнева, либо меня прибьет стража, защищая честь своей страны. В людском самолюбии столько странностей — бывает, люди способны убить человека, чтоб доказать другим свою человечность.

— Да, вы правы... Но от того, что вы говорите, я не могу изменить своего мнения о характере русских.

— Нас заставляли идти отрядами; ночевали мы за околицею деревень, входить же в них нам запрещалось из-за лихорадки, которую мы несли с собою. Вечером мы укладывались на земле, завернувшись в плащ, меж двух больших костров. Наутро, перед тем как снова выступить в путь, стражники сосчитывали умерших и не хоронили их (на это потребовалось бы слишком много времени и труда из-за толстого и твердого покрова снега и льда), а сжигали на костре; таким образом они пытались остановить распространение заразы; сжигали вместе и тела, и одежду; но — поверите ли? — не раз случалось, что в пламя бросали и еще живых людей! На миг придя в чувство от боли, эти несчастные довершали свою агонию в криках и муках на костре!

— Какой ужас!

— Совершались и другие жестокости. Каждую ночь наши ряды косил свирепый мороз. Если удавалось при вступлении в город найти какую-нибудь пустующую постройку, мы захватывали эту лачугу, чтоб в ней укрыться. В таких пустых домах нас набивали на все этажи. Но мерзли мы там почти так же сильно, как и на биваке, потому что внутри здания можно было разводить огонь лишь в определенных местах, а ночуя под открытым небом, мы все-таки устраивали костры вокруг всей стоянки. Оттого многие умирали от холода в комнатах, не имея возможности согреться.

— Но зачем вас гнали по стране в разгар зимы?

— Из-за нас могла начаться чума в окрестностях Москвы; я часто видел, как русские солдаты вытаскивали мертвецов с верхнего этажа здания, где мы останавливались; тела волокли за ноги, обвязав веревкой за лодыжки; а голова болталась сзади, подскакивая и стуча по лестничным ступеням с самого верха и до первого этажа. «Им не больно, — приговаривали при этом, — они покойники!»

— И, по-вашему, это очень человечно?

— Я рассказываю, что видел, сударь; случались вещи и похуже — я видел, как таким образом приканчивали еще живых, и от их разбитой головы на ступенях оставался кровавый след, ужасное доказательство жестокости русских солдат; должен сказать, что иногда при таких свирепых расправах присутствовал и офицер; но все эти ужасы допускались лишь в надежде остановить заразу, ускоряя смерть тех, кто уже охвачен недугом. Вот что я видел, и товарищи мои видели это каждый день, не возмущаясь, — до такой степени бедствия отупляют людей!.. Завтра так случится и со мною, думал я; из-за того, что опасность грозила всем, совесть моя оставалась покойна, и мне легко было хранить бездействие.

— Мне кажется, это чувство вы сохраняете и до сих пор, раз вы смогли быть свидетелем подобных вещей и молчать о них целых двадцать восемь лет.

— Все два года плена я подробнейшим образом вел свои записки; из фактов, примечательностью и невероятностью своей превосходящих все напечатанное на сей счет, я составил целых два тома; я описал, какому произволу мы подвергались; как участь нашу отягощала жестокость дурных помещиков, в грубости своей превосходящих простонародье; какое утешение и помощь получали мы от добрых помещиков; я рассказал, как жизнь пленных, а равно и местных жителей зависела от случая и людской прихоти; в общем, я все там рассказал!

— И что же?

— Что же! Когда мне разрешили возвратиться в Италию, я сжег свой отчет, прежде чем перейти русскую границу.

— Но это же преступление!

— Да ведь меня обыскивали; если бы у меня нашли эти бумаги и прочли их, то меня высекли бы кнутом и сослали до скончания дней в Сибирь, и страдания мои там не больше послужили бы человечеству, чем мое молчание здесь.

— Не могу простить вам такой покорности.

— Вы забываете, что она спасла мне жизнь, а смерть моя никому не принесла бы пользы.

— Но, по крайней мере, по возвращении на родину вы могли бы заново записать свою повесть.

— Я бы уже не мог это сделать с такою же точностью; я более не верю собственной памяти.

— Где же вы жили два года своего плена?

— В первом же городе, где мне удалось найти штаб-офицера, я испросил дозволения вступить на службу в русскую армию, так можно было избежать отправления в Сибирь; мое прошение было принято, и через несколько недель меня послали в Тулу, где я получил место домашнего учителя у градоначальника; у этого человека я и прожил два года.

— И как вам жилось у него в доме?

— Учеником моим был двенадцатилетний мальчик, я его любил, и он, хоть и ребенок, тоже сильно ко мне привязался. Он рассказал мне, что отец его овдовел и купил себе в Москве крестьянку, которую сделал своею наложницей,[1] и что из-за этой женщины жить в доме стало неприятно.

— Что за человек был этот градоначальник?

— Настоящий тиран из мелодрамы. Свое достоинство он усматривал в молчаливости; за те два года, что я обедал с ним за одним столом, мы ни разу с ним словом не перемолвились. Он держал вместо шута одного слепца, которого во все время обеда заставлял петь и в моем присутствии бранить французов, их армию, их пленных; я довольно знал по-русски, чтоб отчасти понимать его непристойные и грубые шутки, а ученик мой окончательно растолковывал мне их смысл, когда мы с ним удалялись в свою комнату.

— Экая невоспитанность! А еще принято хвалить русское гостеприимство! Вы только что упомянули о дурных помещиках, которые еще более ухудшали положение пленных; вам приходилось таких встречать?

— До прибытия в Тулу я шел с отрядом пленных; вел нас один весьма достойный старый сержант. Как-то вечером мы остановились на ночлег в имении некоего барона, чьей жестокости боялась вся округа. Этот буян хотел собственноручно нас перебить, и сержант, которому поручено было сопровождать нас в переходе, с трудом защитил нашу жизнь от патриотического неистовства старого боярина.

— Что за люди! Настоящие потомки опричников Ивана IV. Разве не прав я, возмущаясь их бесчеловечностью? И много ли денег платил вам отец вашего ученика?

— Попавши в его дом, я был совершенно оборван; чтоб меня одеть, он щедро повелел портному вывороти ть один из своих старых сюртуков; он не постеснялся обрядить воспитателя своего родного сына в обноски, которые в Италии отказался бы напялить на себя лакей.

— А ведь русские стараются слыть расточительными.

— Да, но дома у себя они скаредны; если через Тулу проезжал какой-нибудь англичанин, то в домах, где его должны были принимать, все переворачивали

[1] Как говорят в России, новыми законами более не дозволяется продавать людей без земли; но говорят также, что всегда есть способы обойти строгий закон.

964

вверх дном. Сальные свечи на каминах заменяли восковыми, чистили комнаты, старались принарядить слуг; словом, менялись все жизненные привычки.

— То, что вы говорите, вполне подтверждает мои собственные суждения; вижу, что в конечном счете вы, сударь, думаете так же, как я, мы лишь по-разному выражаемся.

— Надобно признать, что, когда проживешь два года в России, хочется на все махнуть рукой.

— Да, я вижу это по вас; и такое настроение свойственно всем?

— Почти всем; ясно, что тираническая власть сильнее слов и что против подобных деяний гласность бессильна.

— Надо думать все же, что у ней есть своя сила, раз русские настолько ее опасаются. Простите, но именно вы, а равно и другие ваши единомышленники, недопустимою своею бездеятельностью поддерживаете слепоту Европы и всего света и предоставляете угнетателям свободу действий.

— Они б ее и так имели, несмотря на все наши книги и вопли. Чтоб доказать вам, что не я один так считаю, расскажу вам историю одного из своих товарищей по несчастью; он был француз.[1] Однажды вечером этот молодой человек добрел до привала больным; ночью он потерял сознание, и наутро его вместе с другими мертвецами отволокли к костру, но в огонь кидать не стали, поскольку еще не собрали все трупы. На минуту солдаты оставили его лежать на земле, а сами пошли за другими телами, валявшимися поодаль. Его положили одетым на спину, лицом к небу; он еще дышал, даже слышал все, что делалось вокруг; сознание к нему вернулось, но он не мог подать никакого признака жизни. Тут к несчастному нашему товарищу подошла одна молодая женщина, пораженная красотою черт и трогательным выражением лица этого покойника; она поняла, что он еще жив, позвала на помощь, велела забрать иностранца, стала лечить и исцелила его — воскресила из мертвых. И вот он, вернувшись во Францию после нескольких лет плена, также не стал записывать свою историю.

— Но вы-то, сударь, человек образованный и независимый, отчего вы не предали гласности рассказ о своем пленении? Такого рода сведения, надежно удостоверенные, привлекли бы внимание всего света.

— Сомневаюсь; люди так заняты самими собою, что чужие страдания мало их трогают. К тому же у меня есть семья, известное положение, я завишу от своего правительства, которое состоит в добрых отношениях с правительством русским, и ему не доставит удовольствия узнать, что один из его подданных обнародовал происшествия, скрываемые в той стране, где они случились.[2]

— Убежден, сударь, что вы клевещете на свое правительство; простите, но виновны здесь только вы сами с вашею чрезмерною осторожностью.

---

[1] Г-н Грассини так и не пожелал назвать мне имя этого пленника.

964

[2] Каким чудом русское правительство, по сути своей революционное, сумело внушить всем правительствам Европы, что оно воплощает собою антиреволюционное начало в мире? Этому диву я до сих пор тщетно ищу объяснения. До чего бы мы дошли, если б общественный порядок считался возможным только при деспотическом правлении?

— Может быть; только никогда не стану я печатать, что у русских нет человечности.

— Хорошо, что я сам провел в России всего несколько месяцев, ибо замечаю, что даже самым прямодушным людям, самым независимым умам, прожившим несколько лет в этой удивительной стране, всю оставшуюся жизнь кажется, будто они по-прежнему находятся там или же им грозит туда возвратиться. Вот чем и объясняется то неведение, в котором до сих пор нас держали относительно всего там происходящего. Истинный характер тех, кто обитает в глубине этой огромной и опасной империи, — загадка для большинства европейцев. Раз по тем или иным причинам все побывавшие там сговорились, вроде вас, молчать, не высказывая этому народу и его правительству неприятной правды, — тогда и Европе неоткуда узнать, как расценивать сие образцовое узилище. Восхвалять мягкость деспотизма, даже будучи вне его досягаемости, — осторожность, на мой взгляд, преступная. Поистине, есть тут какая-то необъяснимая тайна; пусть я не проник в нее, но по крайней мере не подпал под наваждение страха и докажу это искренностью своего повествования.

В заключение этих долгих рассказов я считаю нужным познакомить читателей с одним документом, который полагаю подлинным. 964

Мне не позволено сказать, каким образом я его заполучил; ибо хотя излагаемые в нем происшествия составляют ныне достояние истории, но в Петербурге было бы опасно признаваться, что они занимают твое внимание; во всяком случае, это было бы расценено как *неприличие* — таким условным понятием осторожно обозначается здесь заговор. Да ведь это же общеизвестно, говорят русским. Да, отвечают они, но об этом никогда не говорилось. В царствование доброго и великого государя Ивана III люди всходили на эшафот за крамолу;[1] так и сегодня человек вполне может попасть в Сибирь за свое преступное *неприличие.*

Сейх документ, переведенный с русского языка лицом, которое мне его предоставило, является отчетом о заключении и об отправлении в Данию в царствование Екатерины II принцев и принцесс Брауншвейгских — братьев и сестер шлиссельбургского узника Ивана VI. С содроганием читаешь свидетельства отупения этих несчастных, у которых все понятия о жизни свелись к тюремным привычкам и которые, однако ж, чувствовали, кто они такие. Престол, принадлежавший им по праву, занят был супругою Петра III, наследницею собственной жертвы, — впрочем, тот и сам царствовал лишь благодаря узурпации.

Перед этим правдивым рассказом помещаю генеалогию дома Романовых,[2] доказывающую, что узники происходили по прямой линии от царя Ивана V. Семейство герцога Брауншвейгского стало жертвою тех самых государей, что лишили его власти; ибо в российской истории право наказуемо, а преступление вознаграждаемо.

[1] Смотри краткий отчет о путешествии.

[2] Смотри генеалогическую таблицу на с. 674. *(Ред.).*

ПРИЛОЖЕНИЕ

Чтоб по достоинству оценить лицемерие царицы по отношению к своим пленникам, не следует забывать, что настоящий отчет писан для самой императрицы, а следовательно, каждое обстоятельство излагается в нем под самым благопристойным углом зрения, и вместе с тем к вящему удовольствию великодушной Екатерины II. Рассказ этот следует читать как канцелярскую бумагу, как официальный документ, а не как беспристрастное и простодушное повествование.

Это эпизод царствования Екатерины II, изложенный по высочайшему повелению с целью доказать человечность Северной Семирамиды.

ОТПРАВЛЕНИЕ БРАУНШВЕЙГСКОЙ ФАМИЛИИ ИЗ ХОЛМОГОР

Из первой части трудов Императорской российской академии

I

Долго томилась Брауншвейгская фамилия в заточении. Последним местом ее пребывания в России были Холмогоры, древний город Архангельской губернии, построенный на Двинском острове, в 72 верстах от Архангельска. Она помещалась в отделенном от других жилищ доме, назначенном собственно для нее и для приставленных к ней чиновников и служителей. Прогулка и пользование воздухом позволялись ей только в саду, который находился при самом доме.

Несчастный отец, Антон Ульрих Брауншвейгский, лишенный супруги своей, бывшей правительницею государства Российского, и потерявший наконец
965 зрение, умер 4 мая 1774 года, не дожив до свободы, которой испрашивал со слезами. Тогдашние политические обстоятельства не позволяли исполнить его желание. Он оставил после себя двух сыновей и двух дочерей.

Старшая из них, принцесса Екатерина, родилась в Санкт-Петербурге до постигшего родителей ее несчастия; принцесса Елисавета в Динаминде; принцы Петр и Алексей в Холмогорах. Рождение последнего сопровождено было смертию матери. Для наблюдения за ними был определен военный штаб-офицер с командою; для их услуг назначено несколько человек из простого звания. Всякое сообщение
96г, с'посторонними было им запрещено. Один архангельский губернатор имел повеление навещать их по временам, чтобы осведомляться о их состоянии. Воспитанные вместе с простолюдинами, они не знали другого языка, кроме русского.

На содержание Брауншвейгской фамилии и на жалованье приставленным к ней людям, также на пристройки и починки дома, который она занимала, не было определенной суммы; но отпускалось из архангелогородского магистрата ежегодно от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Вещи на платье для фамилии присылались из императорского гардероба, а жалованье и мундирные вещи на воинскую команду из кригс-комиссариата.

II

Императрица Екатерина II вскоре по восшествии на престол, обратив милосердное внимание на заключенных, смягчила условия их содержания. Удостоверясь наконец, что освобождение детей Антона Ульриха не может иметь

никаких важных последствий, она вознамерилась отправить их в датские владения и поручить в покровительство родной сестры их отца, вдовствовавшей королевы датской Юлианы Марии. Желая совершить свое намерение без постороннего участия, императрица начала с нею непосредственную переписку. Первое собственноручное о том письмо государыни послано было 18 марта 1780 года. Екатерина предлагала королеве поселить Брауншвейгскую фамилию в Норвегии.

С чувством признательности и с изъявлением особенного удовольствия приняла королева предложение императрицы и отвечала ей, что и король, сын ее, 965
совершенно согласен на все предложения ее величества, касающиеся до Брауншвейгской фамилии.

Король сам писал к императрице, уверяя ее в готовности своей исполнить все ее желания. Но впоследствии королева уведомила императрицу, что в Норвегии нет ни одного места, которое не имело бы порта и не было бы при море. Признано за лучшее перевезти Брауншвейгскую фамилию внутрь Ютландии, в уезд, равно удаленный и от моря и от больших дорог. Небольшой город Горсенс избран был для ее пребывания, и король купил там для нее два дома.

III

Между тем как происходила переписка с королевою, делались приготовления к отправлению Брауншвейгской фамилии. Императрица желала исполнить свое предположение сколь возможно тайным образом, чтоб не произвести огласки в народе и не подать повода к ложным и пустым толкам. Для того дело об отправлении фамилии возложено на попечение немногих. Главным производителем этого дела был находившийся тогда при императрице бригадир Безбородко, бывший впоследствии действительным тайным советником первого класса и канцлером.

В то время назначен был генерал-губернатором ярославским, вологодским и архангелогородским действительный тайный советник Мельгунов. Ему велено ехать из Санкт-Петербурга прямо к городу Архангельску, под видом ближайшего осмотра вверенного ему края. Вместе с тем поручено ему узнать лично принцев и принцесс, стараться купить или построить вновь хорошее речное судно, под предлогом собственной его в нем потребности для плавания по рекам Архангельской губернии; после того купить надежный купеческий корабль; если же хорошего не отыщется, приказано построить вскорости на Онеге трехмачтовое купеческое судно, будто для опытов, препорученных ему императрицею в северных морях, и приискать старых и заслуженных матросов с искусным морским офицером.

IV

Мельгунов, приехав в Архангельск, отобрал предварительно от бывшего там 965
губернатора Головцына все сведения о Брауншвейгской фамилии и потом немедленно отправился в Холмогоры.

При входе Мельгунова в дом, где жили принцы и принцессы, все они встретили его в передней с приметною робостию; кланялись ему почти в ноги и просили его о неоставлении их. Мельгунов, стараясь их ободрить, сказал, что он по высочайшей воле императрицы поставлен начальником Архангельской губернии и,

обязанный знать о всем в тамошней стороне, рассудил и их посетить. К тому он прибавил, что, сколько ему известно, государыня имеет об них попечение. При этих словах все они пали на землю, и обе сестры проливали слезы. Меньшая сказала, что с самого начала царствования государыни они воскресли милостию ее величества, а до того времени очень во всем нуждались, и униженно просила Мельгунова изъявить ее величеству при случае наичувствительнейшую их благодарность.

Пробыв в Холмогорах шесть суток, Мельгунов посещал ежедневно принцев и принцесс; всякий день обедал у них с губернатором, а иногда и ужинал за общим столом; после обеда просиживал он с ними большую половину суток, проводя время в карточной игре, называемой тресетдля него, как он говорит,[2] 965 очень скучной, а для них веселой и обыкновенной.

В продолжение этого времени, согласно с данным ему предписанием, он старался узнать о состоянии их здоровья, нравах и умственных способностях.

Вот как описывает Мельгунов особ Брауншвейгской фамилии:

965 «Старшая сестра Екатерина имеет от роду 38 лет; сухощава и небольшого росту; белокура и похожа на отца. В молодых летах потеряла слух и так косноязычна, что слов ее нельзя почти разуметь. Братья и сестра объясняются с нею знаками. При всем том имеет столько понятия, что, когда братья и сестра, не делая никаких знаков, говорят ей что-нибудь шепотом, она понимает их по одному движению губ и отвечает им сама, иногда тихо, иногда довольно громко, 965 так что и не привыкший к такому разговору может разуметь ее. Из обхождения ее видно, что она робка, уклонна, вежлива и стыдлива; нрава тихого и веселого; увидя, что другие в разговорах смеются, хотя и не знает тому причины, смеется вместе с ними. Впрочем, она сложения здорового; только от цинготной болезни почернели у нее зубы и несколько из них уже выкрошилось.

965 Меньшой сестре Елисавете 36 лет. От падения с каменной лестницы, с самой верхней ступени до низу, на 10-м году возраста, она расшибла голову, отчего часто подвержена головной боли, а особенно в переменные погоды и ненастье. 965 Для предупреждения боли сделан ей на правой руке фонтанель. Она подвержена также частым припадкам по слабости желудка. Ростом и лицом похожа на мать. Словоохотливостию, обхождением и разумом Елисавета далеко превосходит братьев своих и сестру. Все они ей повинуются и исполняют все, что она ни прикажет; она большею частию за всех их говорит, за всех отвечает и поправляет иногда ошибки в их словах. В 1777 году, от приключившейся ей горячки и других женских немощей, она была несколько месяцев в помешательстве; но после оправилась и теперь в совершенном уме. Нельзя, однако же, сказать, чтобы Елисавета имела в себе что-нибудь чрезвычайное. Выговор ее, так как и братьев, соответствует наречию того места, где они родились и выросли.

Большой брат Петр 35 лет. Поврежденный в детстве, он имеет спереди и сзади небольшие и с первого взгляда почти неприметные горбы. Правый бок у него

[1] Род фараона, ныне позабытый.

965 [2] В донесении императрице Екатерине И.

несколько крив; ногами косолап, и одна также крива. Он очень прост, робок, застенчив и молчалив. Все приемы его, так же как и меньшего брата, приличны только малым детям. Нрава он слишком веселого: смеется и хохочет, когда совсем нет ничего смешного. Временами бывают у него геморроидальные припадки; впрочем, он сложения здорового; но боится даже до обмороку, когда заговорят о крови. Такую сильную боязнь приписывает он тому, что мать его, бывши им беременна, чрезвычайно испугалась от пореза своего пальца и течения крови.

Меньшой брат Алексей 34 лет. С такою же простотою, как и старший его брат, он кажется, однако же, несколько связнее, смелее и осторожнее его. Сложение имеет здоровое и нрав довольно веселый. — Оба брата росту небольшого, белокуры и лицом похожи на отца.

Как братья, так и сестры живутлмежду собою дружелюбно и притом незлобивы и человеколюбивы. — Летом работают в саду, ходят за курами и утками и кормят их, а зимою бегаются взапуски на лошадях по пруду, находящемуся в саду их, читают церковные книги и играют в карты и шашки. Девицы сверх того занимаются иногда шитьем белья. В том состоят все их упражнения».

V

Заметив, что Елисавета умнее своих братьев, Мельгунов обратил на нее более внимания и чаще входил с нею в разговоры. Между прочим она говорила Мельгунову, что сперва сам покойный их отец, а когда он лишился зрения, то они утруждали государыню просьбами, которые и теперь повторили бы, но не 565
осмеливаются и боятся, не прогневили ли они своими просьбами ее величество. На вопрос Мельгунова: «В чем состоят их просьбы?» Елисавета отвечала: «Отец и мы, когда были еще очень молоды, просили дать нам вольность; когда же отец наш ослеп, а мы вышли из молодых лет, то испрашивали позволения проезжаться; но ни на что не получили ответа».

Мельгунов, уверив Елисавету, что она напрасно думает, будто императрица на них прогневалась, спросил ее: «Куда же отец ваш намерен был с вами ехать?» Елисавета сказала: «Отец наш намерен был ехать в свою землю. Тогда для нас было очень желательно жить в большом свете. По молодости своей мы надеялись еще научиться светскому обращению. Но в теперешнем положении не остается нам ничего больше желать, как только того, чтоб жить здесь в уединении. Здесь по милости государыни, нашей воскресительницы, мы всем довольны. Рассудите сами, можем ли мы пожелать чего-нибудь, кроме этого. Мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и застарели. Теперь большой свет не только для нас не нужен, но и будет тягостен; мы даже не знаем, как обходиться с людьми, а научиться тому уже поздно. Но просим вас, — продолжала она со слезами и поклонами, — исходатайствовать нам у ее величества милость, чтоб позволено нам было выезжать из дому на луга для прогулки; мы слыхали, что там есть цветы, каких в нашем саду нет. Подполковник и офицеры, которые теперь при нас, имеют жен; мы просим позволить им ходить к нам, а нам к ним, для препровождения времени, а то иногда нам одним бывает скучно. Просим еще дать нам такого портного, который мог бы на нас шить платье. По милости государыни

присылают к нам из Петербурга корсеты, чепчики и токи; но мы их не употребляем для того, что ни мы, ни девки наши не знаем, как их надевать и носить. Сделайте милость, пришлите такого человека, который бы умел наряжать нас. Баня в саду стоит близко к нашим деревянным покоям; мы боимся, чтоб нас не сожгли, прикажите отнести ее подалее». Наконец Елисавета просила со слезами о прибавке жалованья находящимся при них служителям и служительницам, кормилицыным детям, и о дозволении им иметь свободный выход из дому, так, как и другим тут же служащим дозволено. К этому она прибавила: «Если вы исходатайствуете нам все это, то мы будем очень довольны, ни о чем больше утруждать не станем, ничего больше не желаем и рады оставаться в таком положении навек».

Мельгунов убеждал Елйсавету написать прошение к императрице и изъяснить в нем все ее желания. Но она никак на то не согласилась, а написала только в своей просьбе, что она приносит государыне «достодолжную рабскую благодарность за высочайшие милости, а наиболее за то, что поручили их великому человеку, наместнику ее величества Алексею Петровичу Мельгунову, и осмеливается повергнуть просьбу свою к стопам государыни; в чем же просьба состоит, донесет Алексей Петрович».

В последний день пребывания Мельгунова у принцев и принцесс, когда он стал с ними прощаться, они плакали, провожая его, бросались ему в ноги, и меньшая сестра именем всех умоляла его не забыть их просьбы.

VI

Между тем Мельгунов делал распоряжения вследствие данных ему приказаний. По открытой невозможности построить суда на Онеге Мельгунов решился возложить изготовление судов на главного командира архангельского порта, генерал-майора Врангеля, не открывая ему, однако же, настоящего их назначения. Речное судно поспело ко времени; а вместо нового мореходного императрица позволила употребить для отвоза Брауншвейгской фамилии один из находившихся у города Архангельска фрегатов, именуемый «Полярная звезда». Командиром фрегата избран был отставной флота капитан Степанов; но по приключившейся ему тяжкой болезни Мельгунов взял на его место другого, не меньше надежного и опытного офицера, отставного капитана 1 ранга Михаила Арсеньева, служившего в то время председателем ярославской гражданской палаты. Он признан способным к исполнению этого поручения потому более, что сделал на море многие кампании, проходил четыре раза Северный мыс и знал то место, куда предположено было отправить Брауншвейгскую фамилию.

Принцы и принцессы воспитаны были в греко-российском исповедании, и потому приготовлена для них походная церковь со всею принадлежащею к ней утварью. К церкви, которая должна была остаться в Горсенсе, определены священник и два церковника. Жалованье велено производить им по окладам, установленным для миссий Стокгольмской и Копенгагенской. В то же время приискан для Брауншвейгской фамилии искусный лекарь с одним учеником.

Для безнуждного содержания принцев и принцесс в Горсенсе императрица назначила им пенсию по смерть их, определив каждому брату и каждой сестре

по 8000 рублей, а всем вообще по 32 ООО рублей на год, считая по тогдашнему 965
курсу рубля в 50 штиверов голландских.

Притом велела снабдить их всеми потребностями приличным состоянию их образом.

Для надзирания за принцами и принцессами и для наблюдения, чтобы они были совершенно охранены во время морского путешествия, императрица назначила шлиссельбургского коменданта полковника Циглера и вдову лифляндского ландрата Лилиенфельда с двумя ее дочерьми, повелев им быть при Брауншвейгской фамилии до самого ее прибытия в Норвегию и сдачи тому, кто к принятию ее будет уполномочен от датского двора.

После того дозволено им возвратиться в Россию. На снабжение себя и содержание в пути пожалована им достаточная сумма.

Из находившихся при Брауншвейгской фамилии людей Мельгунов выбрал к отправлению с ними трех служителей и четырех служительниц, из которых пятеро родились в Холмогорах и выросли вместе с принцами и принцессами, а две взяты из крестьянок. Все они были поведения хорошего. Таким образом, 965
все было устроено по желанию и с утверждения императрицы. Оставалось только употребить старание, чтоб не встревожить Брауншвейгскую фамилию внезапным объявлением о предстоящем ей отъезде. По данным Мельгунову от им- 965
ператрицы наставлениям приняты к тому приличные меры.

VII

Полковник Циглер вместе с губернатором Головцыным поехал в Холмогоры. Явившись к принцам и принцессам, он сказал им от имени Мельгунова, что Алексей Петрович, в бытность свою у двора, не упустил доложить государыне о их просьбе и что ее величество повелела прибавить жалованье служителям их, позволяет жене находящегося при них подполковника Полозова ходить к ним для беседы и приказала снабдить их всем, в чем они имеют нужду. Между прочим он им заметил, что они скоро увидят, сколь далеко простирается попечение о них ее величества. Чрез несколько времени послана к принцам и принцессам с таким же обнадеживанием вдова Лилиенфельд. Когда полковник Циглер и жена 965
подполковника Полозова явились к ним, радость их была чрезвычайна, особливо же когда они услышали о монаршем к ним благоволении.

Вскоре и сам Мельгунов приехал в Холмогоры. Подтвердив сперва принцам и принцессам слова полковника Циглера, объявил им наконец о их состоянии, о намерении императрицы дать им свободу и отправить их в датские владения под покровительство тетки их и о всех милостях, которые государыня предположила им сделать. Неожиданная весть о перемене их участи была для них благовестием небесным. Они услышали, что Екатерина, уже воскресившая их услаждением 965
их затворничества, дарует им еще новую, счастливейшую жизнь. Объятые внезапным восторгом и удивлением, они не могли промолвить ни слова; говорили только сердца их в трепете радости. Этот сердечный голос не был слышан; но взоры их, возводимые к небу, потоки слез, из глаз струящиеся, и частые коленопреклонения свидетельствовали более всяких слов нелестную их признательность

к благодеющей им монархине. Тогда Мельгунов дал им почувствовать, сколько они должны быть благодарны императорскому дому, получая свободу и такое изобильное состояние, каким пользуются немногие из равных им породою. К тому он прибавил, что если они забудут благодеяния государыни или, следуя ухищренным наущениям и советам, не захотят иметь пребывания в областях датских, то не только лишатся определенного им пенсиона, но потеряют всякое право и на малейшую от императрицы помощь и покровительство.

Елисавета отвечала ему со слезами: «Боже нас сохрани, чтоб мы, получив такие великие милости, были когда-нибудь неблагодарны. Верьте мне, — сказала она с видом твердым, — мы никогда из воли ее величества не выступим. Она наша мать и покровительница. Мы на одну только ее и надеемся; так возможно ли, чтоб мы осмелились когда-нибудь прогневать ее велцнество и лишиться навеки ее милостей». Потом спросила она Мельгунова: «К себе ли возьмет нас тетка или оставит в каком городе? Мы желали бы лучше жить в каком-нибудь маленьком городке; а то рассудите сами, как нам быть при дворе. Мы совсем не умеем обходиться с людьми; да притом и не разумеем их языка». Мельгунов отвечал ей, что они могут по приезде туда попросить об этом свою тетку, и обещал постараться и с своей стороны, чтоб желание их было исполнено.

Успокоив таким образом принцессу, Мельгунов был чрезвычайно доволен, что нашел их, против своего ожидания, беспрекословно и с веселым видом соглашающихся на все его предложения. Одна только поездка водою устрашала их, особливо принцесс, которые от рождения своего не только не езжали по воде, но и не видывали, как ходят суда. Хотя Мельгунов уверял их, что нет никакой опасности и что он сам поедет с ними сто верст, однако же и затем оказывали они робость, говоря так: «Вы мужчины, и вам бояться нечего; а вот ежели бы поехала с нами ваша супруга, то и мы бы, глядя на нее, охотнее взошли на судно».

Мельгунов принужден был дать им слово, что возьмет с собою и жену. Они
965 приняли это тем с большим удовольствием, что вдова Лилиенфельд и ее дочери также не езжали по воде и не меньше их боялись.

VIII

В назначенный к отъезду день Мельгунов, пригласив с собою жену, посадил принцев и принцесс на речное судно со всеми особами, определенными для препровождения их, и с принадлежащими к ним служителями и пустился к Новодвинской крепости с 26 на 27 июня 1780 года пополуночи в час. При попутном ветре прибыли они к крепости 28 июня пополуночи в 3 часа, переехав 90 верст с небольшим за сутки.

В то самое время принцы и принцессы пробудились от сна. Но каким ужасом были они поражены, увидев крепость. Они вообразили, что тут будет их жилище и что все уверения Мельгунова были не что иное, как обман. Приезд в то самое время кабинетского курьера еще более утвердил их в этом мнении. Они подумали, что курьер привез повеление оставить их в Новодвинской крепости, когда, напротив того, он был прислан к Мельгунову с подтверждением

прежних об них приказаний. Чтобы разуверить их и истребить в них напрасный страх, Мельгунов, поместив их в комендантском доме, дал им свободу гулять по валу и приходить к нему на речное судно.

День прибытия их в Новодвинскую крепость был днем восшествия императрицы на престол. По просьбе их отправленный с ними священник отслужил в крепостной церкви, после литургии, благодарственный молебен.

Фрегат «Полярная звезда» был уже готов к отплытию. Принцы и принцессы, также принадлежащие к ним люди взведены на фрегат. Прощаясь с ними, Мельгунов сделал им новые внушения о признательности, сказав наконец, что они вечно будут несчастны, если окажут себя неблагодарными. Слыша это, они проливали слезы и падали на колени. Меньшая принцесса именем всех говорила: «Бог нас накажет, если мы забудем милости нашей матери. Мы вечно будем рабы ее величества и никогда из воли ее не выступим. Она мать наша и воскресительница; мы на одну ее надеемся, а больше ни на кого». После того она просила Мельгунова ходатайствовать у престола ее величества о продолжении к ним монарших милостей и покровительства. 965

Расставшись с ними, Мельгунов приказал сняться с якоря, поднять паруса и следовать в предназначенный путь. Фрегат отправился в два часа пополуночи на 30-е число, под купеческим флагом и названием. Мельгунов провожал их глазами до тех пор, пока фрегат скрылся из глаз.

IX

При отправлении принцев и принцесс императрица наделила их царскою рукою. (Следует перечень одежды, мехов, чайных приборов, часов, перстней и т. п., подаренных каждому из принцев.) Сверх всего этого дано полковнику Циглеру, для вручения принцам и принцессам по прибытии в Берген, 2000 голландских червонных на карманные им деньги.

Параграф заканчивается следующей фразой: «В Дании удивились щедрости и великодушию, с которыми наделена была Брауншвейгская фамилия. Сама королева отзывалась о том с признательностию».

X

Параграф X ничем не примечателен, разве что следующей фразой: «Императрица чрезвычайно была довольна Мельгуновым, который исполнил повеления ее с примерным усердием и успехом. Сделала ему только замечание, что он напрасно, и сверх данных ему предписаний, брал жену свою на речное судно с Брауншвейгскою фамилиею».

XI

Плавание фрегата «Полярная звезда» было продолжительно от противных ветров и сильных бурь. Императрица, не получая долго уведомления о путешественниках, начинала об них беспокоиться. Наконец пришло сюда известие о прибытии фрегата к Бергену 10 сентября нового штиля. Датский военный корабль «Марс», под начальством командора Лютхена, давно уже дожидался его

у Бергена. На другой день Брауншвейгская фамилия сдана бергенскому главно-
965 му бальифу Шубену, а 12-го числа пересажена на военный корабль. Но против-
ные ветры задержали корабль в 4 милях от Бергена до 23 сентября. После того
он должен был бороться с жестокою бурею, которая продолжалась беспрерывно
965 30 сентября и 1 октября. Не прежде 5 октября мог он пристать к Фланстранду.
Расстроенные непогодами и утомленные трудным и беспокойным плаванием
принцы и принцессы высажены были в Аальборге, где и оставались три дня для
отдохновения. Скоро, однако ж, оправились и приехали в Горсенс 13 октября,
здоровые и веселые, благословляя императрицу за дарование им свободы и устро-
ение для них нового и изобильного существования. Между тем фрегат «Полярная звезда» за поздним временем остался зимовать в Бергене. По прибытии в этот порт принцесса-Елисавета из пожалованных ей 500 червонных раздала 30 ООО рублей, из которых подарила капитану Арсеньеву 1000 рублей.

Выбор приставленных к Брауншвейгской фамилии особ был счастлив. Полковник Циглер и вдова Лилиенфельд, хотя и короткое время находились при принцах и принцессах, умели, однако же, снискать любовь и уважение их. Мень-
966 шая принцесса особенно довольна была поступками Циглера...

XII

Между императрицею и королевою продолжалась частая переписка о Брауншвейгской фамилии. Королева всегда отзывалась с удовольствием о поведении принцев и принцесс и хвалила их за добросердечие и кротость.

Королева желала видеть принцев и принцесс и писала о том Екатерине. Императрица предоставила это совершенно на ее волю. Но впоследствии королева отменила свое намерение, как ни желали представиться ей сами принцы и принцессы.

Между прочим королева спрашивала императрицу: как должно поступать с принцами и принцессами и какие титулы можно им давать? Императрица отвечала, что с тех пор, как они находятся в распоряжении датского двора, она считает их свободными особами знатного происхождения; но за поступками их должно иметь наблюдение для их собственного спокойствия и счастия, по причине их неопытности, воспитания и других обстоятельств, препятствующих им жить в большом свете. Жизнь, удаленную от всех светских тревог, она считала для них самою приличною. Что же касается до титулов, то императрица заметила, что нет никакой причины лишать их титула, который дарован им Богом и принадлежит им по рождению, то есть титула принцев и принцесс Брауншвейгского дома.

Королева находила за лучшее удалить русских служителей от принцев и принцесс под предлогом, чтобы, отстранив все прежние их сношения, скорее приобучить их к новому роду жизни. Императрица охотно на то согласилась. Все русские люди, кроме священника и церковников, возвращены в Россию, и при Брауншвейгской фамилии составился тогда небольшой двор из одних датчан. Горько и тяжело было принцам и принцессам это разлучение. И неудивительно! Они выросли и были воспитаны вместе со своими служителями; в них они привыкли иметь единственных своих собеседников и поверенных.

Принцы и принцессы при расставании с ними пролили несколько слез сожаления и о Холмогорах.

На обзаведение для Брауншвейгской фамилии в Горсенсе, покупку домов и проч. употреблено до 60 ООО талеров. Датский двор предположил уделять на уплату этой суммы из пожалованного Брауншвейгской фамилии пенсиона, и таким образом заплачено было 20 ООО талеров. Но императрица, узнав о том, не хотела, чтобы принцы и принцессы пользовались не вполне ее щедротами, не хотела также быть в тягость датскому двору и повелела заплатить остальные 40 ООО талеров из своей казны.

XIII

В тишине и дружественном согласии между собою жили принцы и принцессы в Горсенсе. Сами они никогда не подавали повода к жалобам на них со стороны приставленных к ним от датского двора особ; но не всегда были довольны распоряжениями последних.

Елисавета, так как и в Холмогорах, была руководительницею братьев своих и сестры; не делала, однако же, ничего без их общего согласия. Впрочем, во всех случаях, пока она была жива, они обыкновенно следовали ее мнению и советам.

Однажды датский принц Фердинанд посетил Брауншвейгскую фамилию 965
в Горсенсе. Свидание их было трогательно. Лишь только принцы и принцессы узнали, что он едет, они поспешили в дом, для него назначенный, чтобы встретить его там в кабинете. Принц вошел в кабинет один, обнял старшую принцессу, и в ту же минуту трое других его окружили, целовали его руки и плакали от радости, не выпуская его долго из своих объятий.

Он пробыл там двое суток, завтракал и обедал с ними. На третий день обещал приехать к ним проститься; но, чтобы избавить себя и их от новых слез, уехал в семь часов утра, послав к ним на память пакет с двумя табакерками и двумя перстнями.

Недолго пользовалась Елисавета новою жизнию. Жестокая болезнь, продолжавшаяся две недели, прекратила дни ее 20 октября 1782, на 39-м году от рождения.

Чрез пять лет после нее умер младший принц Алексей 22 октября 1787-го. Незадолго до своей кончины он занемог, но скоро оправился. После того вдруг вообразил себе, что не переживет того дня, в который умерла его сестра. Эта
мысль, как ни старались ее рассеять, так вкоренилась в его воображение, что 966
сделалась для него пагубною. За несколько дней до назначенного им времени он опять стал жаловаться на нездоровье. С ним сделался обморок; он казался заснувшим и более не пробуждался.

Принц Петр умер 30 января 1798 года.

Легко можно себе представить, как горестно было положение Екатерины. Лишенная всех близких к ее сердцу, окруженная людьми, для которых она была вовсе чужою, она не имела и того утешения, чтоб видеть к себе сострадание какой-нибудь чувствительной души. Тетки ее уже не было в живых. Приставленные

к ней, кажется, думали больше о своих выгодах, нежели о доставлении ей тех удобностей, на которые она имела всякое право по милости российского двора, давшего ей к тому все способы. До самой ее кончины определенная принцам и принцессам пенсия производилась вполне, несмотря на постепенное уменьшение Брауншвейгской фамилии.

Горсенская жизнь так наскучила Екатерине, что она желала возвратиться опять в Россию и постричься в монахини. Единственную отраду она находила в присутствии при службе Божией и в молитвах. Но пред кончиною забыла нанесенные ей огорчения и писала к императору Александру о пожаловании пенсии находившимся при ней людям. Просьба ее была уважена. Чиновникам и служителям, бывшим при горсенском дворе долгое время, повелено производить в пенсион из российской казны полные получаемые ими оклады, а после их смерти женам их; тем же, которые находились при Екатерине короткое время, выда-
966 ны единовременно годовые оклады жалованья.

Она оставила после себя завещание, которым назначила датского наслед-
966 ного принца Фридриха и потомков его наследниками всего своего движимого и недвижимого имущества.

Принцесса Екатерина скончалась 9 апреля 1807 года и погребена в Горсенсе вместе с братьями и сестрою. С нею пресеклось потомство царя Иоанна Алексеевича, замечательное в русской истории превратностями судьбы своей.

В. Поленов

ОТРЫВОК ИЗ «ОПИСАНИЯ МОСКВЫ»

Ж. Лекуэнта де Лаво

967 **Московские тюрьмы в 1836 году**

«Из лиц, арестованных полицией, 1110 взято было за беспаспортность, 78 за дезертирство; кроме того, 8354 мошенника, 586 воров, 2328 за брань, 866 за драки, 117 за укрывательство беглых и 2475 за различные мелкие нарушения. Из этого числа заключено было в острог 122 мужчины за святотатство и 45 женщин за то же преступление; 2 человека за оскорбительные высказывания о правительстве, 24 убийцы, 31 мошенник, 34 фальшивомонетчика и 4 фалыпивомонетчицы; 10 поджигателей и воров на пожарах, а равно 2 женщины по тому же обвинению; 12 человек за нанесение смертельных ран, 25 за ***покушения на самоубийство!!!!*** 7 за непредумышленное причинение смерти, 33 за причинение тяжких телесных повреждений; 177 мужчин и 83 женщины за разврат; 112 мужчин и 23 женщины за пьянство и распутное поведение, 95 за подлог; 676 мужчин и 364 женщины за бродяжничество; 46 мужчин и 27 женщин за укрывательство подозрительных; 824 вора и скупщика краденого, а также 310 скупщиц и воровок; 46 человек за ложный донос; 75 мужчин и 12 женщин за ношение ложных имен; 2 ростовщика; 50 человек за хищение казенных денег; 143 мужчины и 8 женщин за оставление службы и за побег от помещика; 558 мужчин и 105 женщин за попрошайничество; 199 мужчин и 31 женщина за проживание по поддельным паспортам».

ПРИЛОЖЕНИЕ

(С. 335 и 335 первого тома «Описания Москвы» Ж. Лекуэнта де Лаво, 2-е издание. Москва, в типографии Августа Семена, 1835.)

Находилось во временном заключении в 1834 году обвиняемых:	**М**	**Ж**	**Оправдано**	
			М	**Ж**
В святотатстве	**3**	–	–	–
В участии в бунте	**1**	–	–	-
В убийстве	**5**	-	-	-
В соучастии в убийстве	**2**	–	-	–
В преднамеренном поджоге	**10**	–	-	-
Во взяточничестве	8	–	–	–
В изнасиловании малолетних	**1**	–	-	–
В похищении детей	**1**	–	–	–
В драке	**1**	-	-	-
В членовредительстве	**4**	–	–	-
В краже провизии	**2**	-	-	-
лошадей	**56**	-	-	-
одежды	**2**	–	–	–
разных предметов	**561**	**22**	**42**	**5**
денег и имущества	**13**	**1**	**3**	-
денег	**16**	**2**	–	–
В присвоении чужого имущества	4	-	-	-
В получении краденого	23	-	-	-
В укрывательстве краденого	4	-	-	-
В укрывательстве подозрительных	И	–	**6**	–
В подлоге	**16**	–	–	–
В проживании по подложному паспорту	**14**	-	-	-
В пьянстве и распутной жизни	**126**	4	**27**	–
В прелюбодеянии	**126**	**1**	-	**1**
В ложном доносе	**6**	–	–	–
В хищении казенных денег	4	-	-	-
В проживании под чужим именем	**6**	-	-	-
В содействии побегу заключенных	3	-	-	-
В потворстве побегу заключенных	**1**	–	-	–
В самовольной отлучке со службы	2	–	–	–
от помещика	**327**	28	**77**	2
В побеге из Сибири	**15**	-	-	-
из воинской части	43	-	-	-
из-под ареста	**5**	-	-	-
В бродяжничестве	**15**	-	-	-
В беспаспортности	**441**	4	**29**	–
В утере паспорта	**12**	**1**	–	–
В несвоевременном обмене паспорта	**52**	–	**13**	-
В мошенничестве	**13**	–	2	–
В незаконном нищенстве	**112**	2	18	–
В недоказанных проступках	**674**	**22**	**65**	-
	2741	87	282	8

ПРИЛОЖЕНИЕ

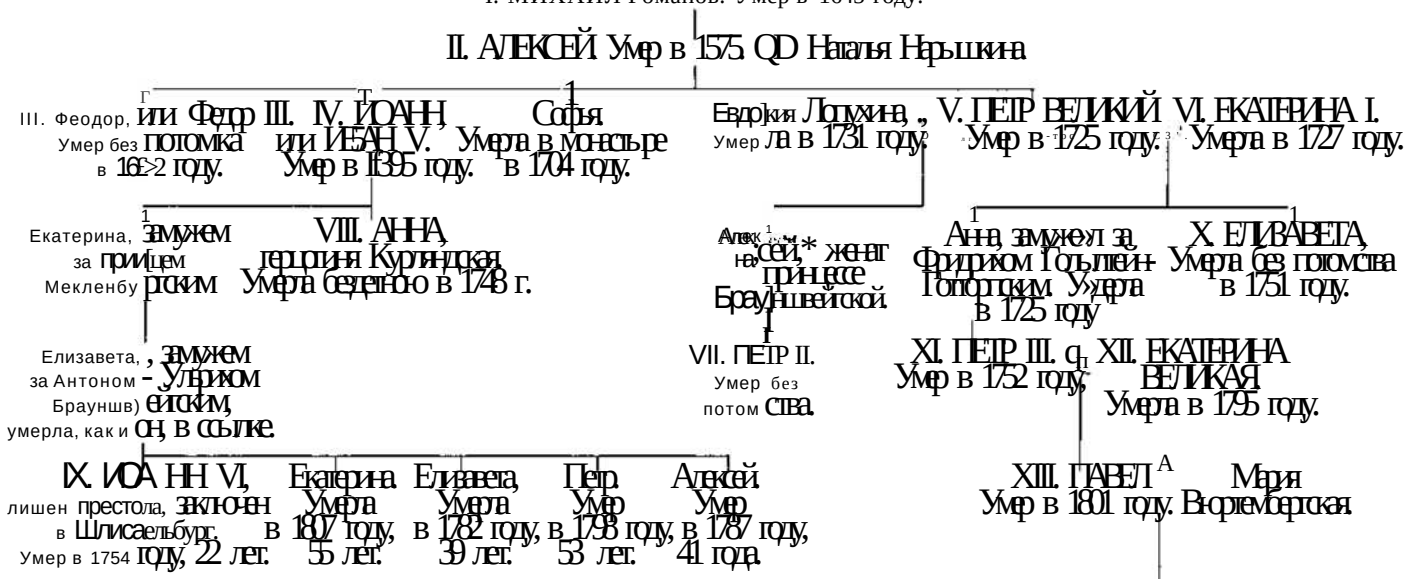
Заключенные, поступившие в 1834 году в московскую государственную тюрьму, в просторечии именуемую «острогом»

Причины ареста	Осуждено		Отдано под надзор		Оправдано	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Поджог	14	2	–	–	2	–
Святотатство	6	2	–	–	3	–
Вероотступничество	-	1	-	-	-	-
Неповиновение властям	19	7	1	–	–	–
Участие в бунте	42	-	-	-	–	-
Убийство	6	–	–	–	–	–
Соучастие в убийстве	3	-	1	-	1	-
Недонесение об убийстве	2	-	-	-	-	-
Непреднамеренное убийство	1	-	-	-	-	-
Нанесение смертельных ран	5	-	-	-	1	-
Отравление	3	1	1	1	1	-
Покушение на самоубийство	2	-	-	-	-	-
Присвоение имущества	7	-	-	-	-	-
Изготовление фальшивых денег	И	3	-	-	-	-
Владение чужим имуществом	4	-	-	-	-	-
Изнасилование малолетних	2	–	–	–	–	–
Сокрытие ребенка	4	4	-	-	-	-
Клевета	1	–	–	–	–	–
Намеренное членовредительство	14	-	-	-	3	-
Кража лошадей и имущества	156	57	56	13	52	18
Кража на пожаре	4	-	-	-	2	-
Кража денег	16	2	-	-	25	3
Объявление себя владельцем чужого имущества	14	3	2	1	4	2
Получение краденого	17	4	5	2	12	3
Укрывательство краденого	5	3	1	1	3	5
Предоставление убежища ворам	16	4	4	1	7	3
Подделка частных бумаг	24	-	2	-	3	-
Проживание по поддельному паспорту	22	18	3	1	8	7
Буйство, пьянство и распутная жизнь	14	9	2	1	17	5
Безнравственное поведение	4	16	-	-	2	15
Прелюбодеяние	3	12	-	-	2	4
Ложные доносы	6	1	–	–	2	1
Ростовщичество	2	–	1	–	1	–
Обман, совершенный стряпчим	3	-	-	-	1	-
Хищение казенных денег	2	–	–	–	1	–

ПРИЛОЖЕНИЕ

Причины ареста	Осуждено		Отдано под надзор		Оправдано	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Проживание под чужим именем	23	9	2	1	12	4
Способствование побегу заключенного	1	-	-	—	1	–
Потворство побегу заключенного	1	-	—	—	—	—
Отлучка со службы	8		-	-	4	-
от помещика	–	–	—	—	60	42
Побег из Сибири	32	2				
из заключения	3	1	—	—	—	-
Бродяжничество	18	45	-	—	9	7
Беспаспортные	13	2	—	–	28	75
Утерявшие паспорт	12	8	-	—	23	17
Не возобновившие своевременно паспорт	7	9		-	38	26
Мошенничество	И	—	4	4	2	–
Незаконное нищенство	18	43	—	—	23	102
Неустановленные проступки	3	5			5	4
Угрозы	7	1			2	
Повреждение в рассудке	2	–	-		3	1
Нежелание избрать себе образ жизни	3	4		-	1	2
ВОЗРАСТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЮРЬМЕ В 1835 ГОДУ						
Не достигшие 16 лет	38	12	–	—	67	23
От 16 до 20 лет	92	28	8	3	53	21
От 20 лет до 30 лет	102	55	28	6	46	52
От 30 лет до 40 лет	126	68	25	7	59	45
От 40 лет до 50 лет	87	59	12	4	52	48
От 50 лет до 60 лет	56	33	8	1	64	42
От 60 лет до 70 лет	22	18	1	—	59	61
От 70 лет до 80 лет и старше	5	2	-	-	38	32
Неустановленного возраста	48	14	3	1	15	27

ГЕНЕАЛОГИЯ ПРИНЦЕВ И ПРИНЦЕСС БРАУНШВЕЙГСКИХ



NB. *Со смертью этих пяти принцев и принцесс угасла ветвь Иоанна V.*

ПЕРЕЧЕНЬ ЦАРЕЙ, НАЧИНАЯ С ИОАННА IV

Иоанн IV	Алексей	Иоанн VI
Федор I	Федор III	Елизавета
Борис Годунов	Иоанн V	Петр III
Федор II	Петр I	Екатерина II
Димитрий V	Екатерина I	Павел
Василий V	Петр II	Александр
МИХАИЛ РОМАНОВ	Анна	Николай I

ДОПОЛНЕНИЯ

1. ЗАМЕТКА АВТОРА О ТРЕТЬЕМ ИЗДАНИИ (1846)

Автор сделал все от него зависящее, чтобы это, третье издание «России в 1839 году» стало самым полным и правильным; завершая предпринятые с этой целью труды, он считает своим долгом выразить признательность тем особам, чья благожелательная критика помогла ему усовершенствовать книгу.

Даже русские заслужили благодарность, ибо из их опровержений, или, говоря точнее, из их отрицаний, автор узнал правильное написание многих русских слов и исправил drowska на drochki, mugik на mougik, и проч., и проч. Улучшениями этими, к которым, впрочем, французские читатели останутся в большинстве своем равнодушны, автор обязан лишь дотошности, с какой русские сочли необходимым исследовать книгу, смутившую их политическое идолопоклонничество, умерившую их амбиции и уязвившую их тщеславие; меж тем все последовавшие затем события не только подтвердили все сказанное в книге, но, надо признать, и затмили ее. В самом деле, происшествия, случившиеся в России и сделавшиеся известными на Западе со времени первого издания этих писем, до такой степени превзошли все ожидания пишущего эти строки, что он опасается, как бы чрезвычайная умеренность его рассказа не навлекла на него обвинения в низкопоклонстве перед деспотической властью и он не утратил репутацию повествователя, чтящего правду. Автор надеется, что читатели внимательные и беспристрастные оправдают его от подобных наветов, но это не вполне успокаивает его, ибо, если таковые читатели и отыщутся, они по причине своей малочисленности не смогут задавать тон в обществе. 967

Что же делать другу истины, навлекшему на себя по причине своей правдивости упреки самых противоположных партий? Молчать и смиряться; по правде говоря, самоотречение это не столь мучительно, как кажется на первый взгляд, ибо надежду человек не теряет никогда: она просто делается чище и бескорыстнее.

Автор не станет утверждать, что не знал о бедствиях более тяжких, злоупотреблениях более отвратительных, чем те, какие он описал; однако он счел своим

долгом умолчать о них; позже вести о неслыханных злодеяниях, немыслимых, но подлинных зверствах поселили в его душе раскаяние и заставили пожалеть о дани, заплаченной им, с позволения сказать, почтению к человечеству. Быть может, в выборе предметов для описания он был чересчур осторожен, но тем не менее рассчитывает на снисхождение, ибо настроение умов во Франции в ту пору, когда он сочинял свою книгу, было таково, что, преодолей он свою робость, дерзни он сказать больше, чем он сказал, французы не поверили бы его разоблачениям, и написанная им книга, оставшись неизвестной широкой публике, была бы прочтена лишь несколькими особами, знающими изображенные в ней материи куда глубже автора; публика произнесла бы приговор сочинителю, даже не выслушав его. Итак, дабы завоевать расположение публики, приходилось хранить сдержанность.

Вот и все, что автор позволяет себе сказать в свою защиту, ибо единственное, чего он не смог бы снести, это упрека в том, что он из слабости поступился правдивостью рассказа и независимостью взгляда, какие пристали настоящему путешественнику.

967 Предуведомление и предисловие, следующие ниже, выдают заботы иного свойства; именно поэтому автор счел уместным воспроизвести их и в этом, третьем издании; они показывают, каким испытаниям подвергается добросовестный человек, уверившийся, что его долг — сообщить окружающим о своих убеждениях.

2. К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 1846 г. (ФИНАЛ ГЛАВЫ «ИЗЛОЖЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ»)

Эти отрывки, касающиеся мер, взятых Екатериной II и ее наследниками против униатов, подтверждают даже с излишней яркостью факты, которые я уже привел, и выводы, на которые эти факты меня натолкнули.

HI T ***Отрывки из книги «Злоключения католической церкви обоих обрядов в Польше и в России», переведенной с немецкого графом де Монталамбером***

968 «Нет такой жестокости, которой не подвергали бы этих несчастных (униатов), дабы принудить их перейти в ряды схизматиков; если они отказывались покидать свои храмы, их выгоняли оттуда кнутом и истязали до тех пор, пока боль не заставляла их согласиться на требования мучителей. Но это еще не все: у несчастных отнимали имущество, лишали их скотины, составлявшей все их богатство, а иногда, словно и этого было недостаточно, отрезали им носы и уши, вырывали волосы и выбивали зубы ударами ружейных прикладов» (т. I, с. 196).

968 «Если императрица, принимая свои законы, добивалась, чтобы никто не чинил препятствий тем, кто по доброй воле захочет принять православие, отчего же запрещать священникам-униатам пользовать души тех, кто хочет сохранить верность религии своих отцов? Нет, не этого желала императрица, которая

столько раз во всеуслышание заявляла о своей терпимости по отношению к любой вере, которая так торжественно пообещала униатам, что никогда не будет посягать ни на их религию, ни на связанные с нею права, и которая, наконец, обещала сохранить за ними их церкви» (т. I, с. 198).

«Смерть настигла Екатерину как будто нарочно для того, чтобы спасти униатскую церковь. Императрица умерла в ноябре 1796 года; если бы не это, очень скоро хилые остатки этой церкви были бы полностью уничтожены, и Екатерина избавила бы своих наследников (императора Николая I) от печальной необходимости брать на себя перед Богом и людьми вину за преступление, которое навсегда запятнает его имя» (т. I, с. 200—201).[1]

«Гонения на униатов были жестокими при Екатерине II, но при нынешнем царствовании жестокость эта только возросла. Екатерина II, по крайней мере, оставляла священникам-униатам и их пастве возможность нерадостного выбора: либо перейти в католичество, либо пополнить ряды схизматиков. Благодаря деятельному усердию большого числа кюре, принявших католичество, многие приходы остались в лоне Церкви. Нынешнее правительство не только запрещает священникам переходить в католичество, но, напротив, принуждает всех тех униатов, которые при Екатерине II, Павле I и Александре приняли латинскую веру, возвратиться к вере схизматической.

Указ Екатерины И, подписанный в 1789 году, был вновь введен в действие в году 1833-м, со многими очень жестокими добавлениями; согласно этому указу, подлежит наказанию, как мятежник, всякий католик, священник или мирянин, происхождения высокого или низкого, который воспротивится на словах или на деле распространению главенствующей религии или помешает каким-либо образом вхождению в лоно русской церкви отдельных семей или целых деревень.

Опираясь на этот ужасный закон, правительство посылает священников во владения тех помещиков, которые славятся своей привязанностью к католической церкви: эти священники, посланные в качестве носителей слова Божия, употребляют все возможные средства для того, чтобы принудить крестьян принять схизматическую веру; задача, стоящая перед ними, не слишком сложна: ведь всякого, кто будет противиться их воле или призывать своих единоверцев не предавать католическую религию, можно немедленно объявить бунтовщиком и бросить в тюрьму Но и этот закон, несмотря на всю его деспотическую жестокость, не способен совладать с ревностным стремлением верующих сохранить веру своих отцов. Выберем из множества примеров один-единственный. В 1836 году русские священники прибыли в имение г-на Маковецкого, богатого помещика

[1] Польский поэт Немцевич рассказывает о том, каким удивительным образом объявил ему о смерти Екатерины тюремщик той крепости, в которой Немцевич содержался более трех лет по приказу императрицы. Человек этот сказал ему однажды утром: «Да будет вам известно, что наша бессмертная императрица изволила умереть». См.: «Заметки о моем тюремном заключении в Петербурге в 1794,1795 и 1796 годах», сочинение Юлиана Урсына Немцевича.

965

Витебской губернии, и приступили к выполнению своей миссии; крестьяне, поддерживаемые своим господином, оказали им решительное сопротивление. Русские священники (попы) известили об этом правительство, и император немедленно отдал приказ лишить г-на Маковецкого всех его владений и сослать в Сибирь; при поддержке войск священники продолжают свое дело; несмотря на неслыханные жестокости, несчастные крестьяне упорствуют в течение двух лет, но затем наконец соглашаются принять схизматическую веру. Тогда император посылает министру внутренних дел, <Дмитрию> Николаевичу Блудову, указ следующего содержания, исполненный горькой насмешки: «Верните Маковецкому свободу и поместья, ведь все его крестьяне теперь — православные».

Подобные сцены происходили и в униатских приходах Радомском и Озимекском. Жители Радома с редкостным героизмом три дня и три ночи обороняли от русских солдат свой храм, но наконец, вынужденные подчиниться превосходящей силе противника, сдались и приняли религию схизматиков. Озимекский помещик г-н Мирский был лишен имения и сослан в Сибирь за то, что отказался отдать ключи от церкви даже после того, как крестьян его обычными насильственными методами вынудили переменить веру.

Русских священников часто посылают в поместья тех дворян, которые исповедуют католическую веру; там эти посланцы с величайшей жестокостью принуждают крестьян принять веру схизматиков: ведь согласно весьма своеобразной диалектике русского правительства помещики-католики не имеют никаких прав на крестьян-униатов. В деревнях, жители которых, дабы сохранить свою веру, еще при Екатерине II перешли в католичество, русские священники предъявляют указ 1833 года, гласящий: «Все семейства, которые при Екатерине II и ее *святых* наследниках, императорах Павле I и Александре I, приняли латинскую веру, ныне считаются принадлежащими к русской православной церкви». Во исполнение этого указа целые деревни оказываются вынуждены переходить из католичества в православие. Русские попы и агенты правительства претворяют этот указ в жизнь с величайшей жестокостью. Вот один из примеров: «Некто г-н Бурачек, униат, предки которого были православными, пожелал взять в жены девицу, исповедующую ту же веру, что и он, и получил ее согласие, однако ни один из священников-униатов не решился обвенчать жениха и невесту; все ссылались на императора, запрещающего подобные браки; переезжая из города в город, жених наконец нашел в окрестностях Смоленска священника-униата, который, тронутый такой верностью религии отцов, тайно обвенчал молодых. Правительство, узнав обстоятельства заключения этого брака, объявило его недействительным. Г-на Бурачека и священника лишили имущества и выслали в Сибирь.

9S8 Русское правительство пыталось оправдать эти жестокости, утверждая, что объявлять ту или иную семью, того или иного человека православным не значит ущемлять свободу совести, что таким образом этих людей просто-напросто возвращают к религии их предков, религии, которую они якобы оставили по невежеству и не имея на то никакого права» (т. I, с. 240-242).

«Сходные и даже более жестокие акты насилия осуществлялись агентами русского правительства в военных поселениях, где большинство составляли поляки и русины, исповедующие католическую веру. Достаточно упомянуть лишь о том, что произошло в 1835 году в Старосельском военном поселении Витебской губернии. Однажды командир собрал всех солдат и объявил, что им предстоит принять ту же веру, какую исповедует император, ибо такова его воля, повиноваться которой — их священный долг. Большинство солдат сказали, что им легче умереть, чем предать свою веру, но не успели они произнести эти слова, как русские солдаты того же полка по приказу командира бросились на своих товарищей и обрушили на них палочные и сабельные удары, от которых многие из несчастных вскоре умерли» (т. I, с. 244-245).

«Более 160 священников заплатили жизнью за героическую верность своей религии: их подвергли различным унижениям, а затем сослали в Сибирь, где большинство из них умерло» (т. I, с. 249).

«Выслушаем победную песнь, которую затянуло после того, как униаты 968
изменили своей вере, русское правительство; вот что писала по этому поводу "Северная пчела", газета официальная:

"В сем дивном событии всяк видел подтверждения неоспоримой истины, что все стремится к своему началу и воссоединение бывшей греко-униатской церкви с православной не представило, в сущности своей, ничего нового для обеих: родное возвратилось к родному, законное достояние к законной власти. Ныне духовенство обеих, или, точнее говоря, одной и той же церкви, приносит совокупную бескровную жертву Всемогущему, по всему пространству воссоединенных епархий, там, где некогда падали несчастные жертвы лютого изуверства. Богопротивным средствам злополучного прежнего времени противопоставлены были меры убеждения, и сколь ужасно было отторжение детей от лона матери, столь ныне везде легко и радостно их возвращение к ней. Древние язвы исцелены, догматы Веры утверждены, дух и совесть успокоены, целая отрасль церкви российской от так называемой Унии возвращена к истинному единству Вселенскому, и Россия, преуспевающая в делах Веры мудрыми попечениями и благочестивым примером августейшего монарха, стремится, подобно ему, излить благодарные чувства перед Небесным виновником сего мирного торжества своего, которого благие последствия неисчислимы. Отныне можно смело сказать, что, кроме лишь собственно так называемой Литвы и Жмуди, все основное население западных областей Им- 968
перии есть не только русское, но и православное; и напрасно было бы усилие врагов ее утверждать противное вопреки исторической истине и действительной сущности вещей. Их мнение не найдет себе отголоска в коренных тамошних жителях, воспомнивших свое начало, свой язык и свою древнюю Веру"» (т. I, с. 267-268).

«Еще один указ, от 2 января 1839 года, сулит всякому католику, приговоренному за убийство или другое преступление к наказанию кнутом, к каторжным работам или тюремному заключению, прощение, если он перейдет в православие. Вероотступники получают разрешение носить на анненской ленте медаль в память о своем отречении от веры отцов. Так католическая церковь теряет паству, имущество и права» (т. I, с. 333).

ДОПОЛНЕНИЯ

3. ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ (1854)

15 июня 1854

Эту книгу постигла судьба, какая всегда постигает истину: первое ее издание поразило многих читателей; затем люди предубежденные обрушились на нее с решительным осуждением; наконец, еще позже, некоторые беспристрастные судьи встали на ее защиту и сказали о ней немало лестных слов. Они разглядели в ней новые картины (новым был в пору появления книги сам ее предмет), откровенные замечания, рассказы смелые в силу их искренности: этого довольно для того, чтобы заслужить снисхождение людей выдающихся. Я счастлив, что могу выразить здесь признательность всем, кто мне покровительствовал. Благодаря поддержке этих властителей дум мои письма о России сделались известны всей Европе. По правде говоря, успеху книги немало способствовал гнев императора Николая и протесты русских, почитавших своим долгом вторить своему повелителю. «Эта книга — сущее бедствие», — сказал император Николай и, разорвав ее, швырнул себе под ноги. Все дело в том, что она полна лестных замечаний, которые делают еще более суровыми замечания осуждающие; благодаря им критика превращается из расчетливой сатиры в признания, вырванные у автора против его воли, а они стоят куда дороже. Истина никогда не бывает так могущественна, как когда ее провозглашают, можно сказать, невзначай. Дабы все могли ее усвоить, говорящий не должен навлекать на себя ни малейшего подозрения в пристрастности, да и вообще в том, что им движут страсти. В наши дни все так хорошо знают цену духу партий, что доверия к нему никто не питает: даже если бы охваченным им людям случилось сказать нечто справедливое, им бы, пожалуй, все равно никто не поверил. Дух партий несовместен с истиной: он непременно преувеличивает ее и тем ослабляет.

Один из тех литераторов, чьи суждения имеют особенно большой вес, г-н Сен-Марк Жирарден, начал свою весьма благожелательную статью в «Журналь де Деба» со слов: «Эти путевые заметки больше, чем книга; это — событие».

Благодаря столь счастливому стечению обстоятельств книга расходилась гораздо лучше, чем можно было ожидать. Особы, утверждающие, что хорошо осведомлены о результатах работы комиссии, призванной определить величину убытков, которые причинили французским издателям брюссельские «пиратские» перепечатки, уверяли меня, что в Бельгии разошлось больше 160 тысяч экземпляров моего «Путешествия»; таким образом, получается, что, вкупе с переводами на английский, немецкий и шведский, за границей было продано около 200 тысяч экземпляров моей книги. Подобная конкуренция не могла не повредить печатанию книги в Париже, и тем не менее здешние издания следовали одно из другим с большой быстротой.

Казалось бы, теперь, когда книга эта уже произвела свое действие, она больше не должна никого интересовать, так что останется она в литературе или канет в Лету, зависит только от времени. Однако в течение десяти лет, прошедших со дня ее выхода в свет, мир не стоял на месте и развивался так быстро, что те

наблюдения, которые в пору выхода книги вызывали споры, ныне признаны фактами неопровержимыми. Я, разумеется, ни в малейшей мере не притязаю на звание пророка, но почитаю своим долгом сказать вслух и как можно громче: Россия в самом деле такова, какой увидел ее я и какой по самым разным причинам не желали ее видеть многие другие люди. Имей любознательные путешественники доступ в эту страну, сегодня всякий разглядел бы там то же, что и я.

Доблесть моя заключалась лишь в том, что в эпоху, когда принято было изображать вещи такими, какими они должны быть, я дерзнул показать их такими, каковы они в действительности. В ту пору Россия представала перед Европой в ореоле лжи; лишь нынешней войне оказалось под силу разрушить эти чары: вот, на мой взгляд, вывод, который позволительно и полезно сделать. Не имея оснований пренебрегать собственными достоинствами, осмелюсь поставить себе в заслугу еще одно: мне удалось разглядеть истинное лицо государя, который носит самую непроницаемую маску в мире, ибо правит народом, для которого лицемерие — вторая натура.

Император Николай прежде всего — уроженец своей страны, страна же эта не может вести честную политику, ибо судьба постоянно увлекает ее на путь завоеваний, свершаемых на благо деспотизма, подобных которому нет в мире, ибо он весьма искусно притворяется цивилизованным. Только люди бесконечно доверчивые или бесконечно недобросовестные могли искать в этой стране лекарство от опасностей, грозящих Европе.

Теперь, когда завеса частично сорвана, настала, я полагаю, пора сорвать ее целиком; теперь я обращаюсь уже не к людям, у которых много свободного времени, не к профессиональным читателям: я хочу быть услышанным всем миром, и потому решился выпустить дешевое издание моей книги, издание для народа. 968
Нынче во Франции народ не просто читает, но и понимает прочитанное; он, пожалуй, скорее, чем многие литераторы, способен встать на точку зрения автора. Какие бы притязания ни питали индивиды, массы всегда будут сохранять известную простоту; именно от них ожидаю я нового суждения о своей книге; суждение это будет беспристрастным, ибо они меня не знают! Люди, которые нас знают, никогда не относятся к нам безразлично; между тем безразличные читатели едва ли не нужнее писателю, чем остроумные друзья; в конечном счете они-то и составляют его истинную публику, ту, с которой он мечтает говорить. Именно на них я и рассчитываю. Я не принадлежу к тем, кто думают или, по крайней мере, говорят, что успех ничего не доказывает. Когда его добиваешься, выясняется, что он доказывает очень многое, а предчувствие, что он обойдет тебя стороной, не вызывает ничего, кроме ужаса.

Мне, однако, придает силы религиозная мысль, пронизывающая мою книгу: когда в дело вмешивается вера, писательское самолюбие успокаивается довольно скоро. Смириться с поражением автору помогает сознание выполненного долга. Полтора десятка лет назад я предсказывал неминуемый поединок католической церкви с русской *православной* церковью; борьба — борьба вооруженная, борьба страшная — уже началась; чем-то она закончится? Господь вершит свой суд, не объявляя людям, для какой цели пускает он в ход их силы; он 961

скрывает свою тайну от земли и держит зерцало истины повернутым к небу. Человек предполагает, а Бог располагает, гласит великая мудрость. Никогда еще не получали эти слова такого ослепительного подтверждения, как в нынешнюю эпоху. Творит ее историю Господь, напишет же тот, у кого достанет сил. Когда еще вмешательство Провидения в борьбу сил человеческих было столь явным? Доказать толпе сверхъестественную природу свершающихся ныне событий — вот миссия, которую должен стараться исполнить, по мере своих способностей, всякий добросовестный автор. Скромные повествования путешественников суть материалы, на основании которых грядущие историки произнесут свой приговор. Дела человеческие — не что иное, как череда судебных процессов, на которых судьей всегда выступает потомство. Я же сочту, что трудился не напрасно, если смогу льстить себя надеждой, что на грядущем суде приготовленные мною документы помогут докладчику изложить существо сегодняшних прений. Возможно, намерение мое не свободно от честолюбия, но, не владей мною это чувство, мне недостало бы сил продолжать мой труд, каков бы он ни был.

СОДЕРЖАНИЕ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ИЗДАТЕЛЯ О ВТОРОМ ИЗДАНИИ (1843) 7

ПРЕДИСЛОВИЕ ... 10

ПИСЬМО ПЕРВОЕ 20

Прибытие в Эмс цесаревича. — Отличительные черты русских царедворцев. — Их поведение в присутствии повелителя и в его отсутствие. — Портрет цесаревича. — Его облик, его болезненный вид. — Портреты его отца и дяди в его возрасте. — Кареты цесаревича. — Неряшливый выезд. — Скверно одетые слуги. — Превосходство англичан в вещах материальных. — Закат над Рейном. — Река, затмевающая красотой свои берега. — Невыносимая жара.

ПИСЬМО ВТОРОЕ. 23

Успехи материальной цивилизации в Германии. — Прусский протестантизм. — Музыка как средство обучения крестьян. — Поклонение искусству приуготовляет душу к поклонению Богу. — Пруссия под властью России. — Связь между немецким характером вообще и характером Лютера. — Французский посол в Пруссии. — Письма моего отца, хранящиеся в архиве французского посольства в Берлине. — Мой отец в 1792 году, в двадцать два года, получает назначение французским посланником при брауншвейгском и прусском дворах. — Господин де Сегюр. — Удар ножом. — Нескромность императрицы Екатерины. — Неизвестный анекдот, касающийся Пильницкой декларации. — Мой отец заменяет господина де Сегюра. — Его успехи при прусском дворе. — Отца уговаривают изменить Франции. — Он возвращается на родину, несмотря на подстерегающие его там опасности. — В качестве добровольца он участвует в двух кампаниях под командой своего отца. — Письма господина де Ноая, в ту пору французского посла в Вене. — Моя мать. — Ее поведение во время суда над генералом Кюстином, ее свекром. — Она присутствует рядом с ним на всех заседаниях. — Опасность, которой она при этом подвергается. — Лестница Дворца правосудия. — Каким образом моей матери удается избежать смерти. — Две матери. — Смерть генерала. — Его благочестивое мужество. — Камеру моего деда в Консьержери занимает королева. — Воспоминания о Версале у подножия эшафота. — Мой отец печатает речь в защиту генерала де Кюстина. — Его арестовывают. — Матушка пытается

помочь ему бежать из тюрьмы. — Самоотверженность дочери консьержа. — Героизм пленника. — Газета. — Трагическая сцена в тюрьме. — Мой отец — жертва собственного человеколюбия. — Последнее свидание в Консьержери. — Странное происшествие. — Первые впечатления моего детства. — С гувернером моего отца, прочитавшим в газете о смерти его воспитанника, случается апоплексический удар.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ 37

Продолжение рассказа о жизни моей матери. — Враждебное отношение к ней всех партий. — Она собирается эмигрировать. — Ее арест. — Плохо спрятанные бумаги. — Матушка чудом избегает опасности. — Разоренный дом. — Самоотверженность моей няни Нанетты. — Ее неосторожное поведение на могиле Марата. — Поклонение новоявленному святому. — Жизнь моей матери в тюрьме. — Госпожа де Ламет, госпожа д'Эгийон и госпожа де Богарне, в будущем императрица Жозефина. — Характеры этих молодых женщин. — Портрет матушки. — Неизвестные анекдоты той эпохи. — Полишинель-аристократ. — Женщина из народа делит тюремный кров со знатными дамами. — Характер этой женщины. — Ее казнят вместе с мужем. — Бег взапуски. — Конец декады в тюрьме. — Обыски. — Шутка Дюгазона. — Допрос. — Горбатый председатель-сапожник. — Черта характера. — Башмачок из английской кожи. — Каменщик Жером. — Страшный путь к спасению. — Роковая папка. — 9 термидора. — Окончание Террора. — Ухищрения иных историков, рассуждающих о нраве Робеспьера. — Тюрьмы после падения якобинцев. — Прошение Нанетты, подписанное рабочими. — Канцелярия Лежандра. — Избавление. — Матушка возвращается домой. — Нищета. — Благородный поступок каменщика Жерома. — Здравомыслие этого человека. — Его смерть. — Матушка отправляется в Швейцарию. — Ее встреча с госпожой де Собран, моей бабушкой. — Романс о розе, присланный в тюрьму. — Суждение Лафатера о характере моей матери. — Ее жизнь при Империи. — Ее друзья. — Второе путешествие в Швейцарию в 1811 году — Она умирает в 1826 году в возрасте пятидесяти шести лет.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ 56

Разговор с любекским трактирщиком. — Его мысли о русском характере. — Различия в настроении русских, покидающих родину и возвращающихся назад. — Поездка из Берлина в Любек. — Безосновательное огорчение. — Мысли обретают реальность. — Дурно употребленное воображение. — Местоположение Травемюнде. — Особенность северных пейзажей. — Образ жизни голштинских рыбаков. — Удивительное величие равнинных пейзажей. — Северные ночи. — Цивилизация учит наслаждаться красотами природы. — Я еду в Россию, чтобы увидеть степи. — Кораблекрушение «Николая I». — Благородное поведение француза — сотрудника датского посольства. — Имя его остается неизвестным. — Нечаянная неблагодарность. — Император разжалует капитана «Николая I». — Дорога из Шверина в Любек. -- Черта характера одного дипломата. — Немцы — прирожденные царедворцы. — Хозяйка травемюндской купальни. — Картина нравов. — Десять лет спустя. — Юная девица стала матерью семейства. — Размышления.

С ОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМО ПЯТОЕ **65**

Полярная ночь. — Влияние климата на человеческую мысль. — Монтескье и его теория. — Я читаю в полночь без лампы. — Необычайность этого явления. — Награда за тяготы пути. — Северные пейзажи. — Жители под стать родному краю. — Сплющивание земли возле полюсов. — Кажется, будто взбираешься на альпийскую вершину. — Финские берега. — Косые лучи солнца. — Поэтический ужас. — Меланхоличность северных народов. — Беседа на корабле. — Море излечивает морскую болезнь. — Мой слуга. — Красноречивый ответ горничной, извлеченный из Гримма. — Появление на борту парохода князя К***. — Его внешность и манера знакомиться. — Определение дворянства. — Различие между английским и французским мнением на этот счет. — Князь д***. — Его портрет. — Анекдот об английском дворянстве. — Император Александр и его врач-англичанин. — Император не постигает английских понятий о дворянстве. — Тон, принятый в русском обществе. — Князь К*** защищает от меня власть слова. — Как управлять людьми. — Каннинг. — Наполеон. — Аргумент убедительнее слова. — Доверительная беседа. — Взгляд на русскую литературу. — Отчего русские таковы, как они есть. — Герои их легендарных времен. — В них нет ничего рыцарского. — Что такое аристократия. — Рабство научило русских князей быть тиранами. — В то время, когда повсюду в Европе отменяли крепостное право, в России оно было узаконено. — Мои убеждения в сравнении с убеждениями князя К***. — В России политика и религия — одно. — Будущее этой страны и всего мира. — Париж, развенчанный благочестием нового поколения. — Его постигнет участь Древней Греции. — Рассказ князя и княгини Д** * об их пребывании в Грефенберге. — Лечение холодной водой. — Фанатизм неофита. — Княгиня Л***. — Корабль, на котором она плыла, встретился в Балтийском море с кораблем, на котором плыла ее дочь. — Хороший вкус русских аристократов. — Франция прежних времен. — Умение уважать ближнего, располагающее умы к творчеству. — Портрет французского путешественника, в прошлом улана. — Его игривые шутки. — Чем он забавлял русских дам. — Приятное плавание. — Единственное в своем роде общество. — Русские песни и танцы. — Два американца. — Русские дамы говорят по-французски много лучше польских. — Происшествие с паровым котлом. — Разнообразие характеров дает о себе знать. — Восклицания двух княгинь. — Ложная тревога. — Страх сменяется радостью. — Романическая история, которую я оставляю до следующего письма.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ **87**

История барона Унгерна фон Штернберга. — Его преступления и наказание, которому он подвергся при императоре Павле. — Герои лорда Байрона. — Сравнение Вальтера Скотта и Байрона. — Исторический роман. — Другая история, рассказанная князем К***. — Женитьба императора Петра I. — Упорство боярина Ромодановского. — Император уступает. — Влияние греческой религии на народы: — Равнодушие русских к истине. — Тирания живет ложью. — Труп Кроя, оставленный в ревельской церкви после Нарвской битвы. — Император Александр становится жертвой обмана. — Защита России от нападок русского. — Русские тревожатся о мнении иностранцев на их счет. — Я вызываю страх. — Я обманываю ученого шпиона.

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ **96**

Российский флот — предмет гордости русских. — Замечание лорда Дарема. — Будущие моряки учатся своему ремеслу. — Великие труды ради малого результата. — Печать деспотизма. — Кронштадт. — Смехотворное кораблекрушение. — Русская таможня. — Унылые пейзажи на подступах к Петербургу. — Воспоминания о Риме. — Как англичане называют корабли королевского флота. — Упадок духа. — Замысел Петра I. — Генуэзцы. — Остров Кронштадт. — Крепостные батареи. — Их действенность. — Разные типы русских — завсегдатаев салонов. — Сложности при выгрузке на берег экипажей. — Ничтожество нижних чинов. — Допрос в присутствии полицейских и таможенных чиновников. — Медлительность таможенников. — Дурное настроение русских дворян. — Их суждение о России. — Начальник таможни. — Его непринужденные манеры. — Новый досмотр. — Император здесь бессилен. — Неожиданная перемена в поведении моих попутчиков. — Они покидают меня, не попрощавшись. — Мое изумление.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ **107**

Вид Петербурга со стороны Невы. — Архитектура. — Противоречие между характером местности и стилем зданий, заимствованным у южной цивилизации. — Бессмысленное подражание памятникам Греции. — Природа в окрестностях Петербурга. — Препятствия, чинимые таможней и полицией. — Допрос с пристрастием. — У меня отбирают книги. — Трудности высадки на берег. — Вид улиц. — Памятник Петру Великому. — Он не заслуживает своей славы. — Зимний дворец. — Его перестроили за один год. — Какой ценой? — Цитата из Герберштейна. — Карамзин. — Из тщеславия русские не замечают бесчеловечности своего правительства. — Политика самодержавия отвечает духу нации.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ **115**

Дрожки. — Наряд простолюдинов. — Кафтан. — Русская упряжь. — Усовершенствованные дрожки. — Деревянные мостовые. — Петербург утром. — Город, похожий на казарму. — Противоположность России и Испании. — Курьеры с депешами. — Шахматная партия. — Определение тирании. — Намеренное смешение тирании и деспотизма. — Чин. — Особенности русского правительства. — Дисциплина вместо порядка. — Постоялый двор. — Опасности, которые грозят там путешественнику. — Походная кровать посреди комнаты. — Прогулка куда глаза глядят. — Два Михайловских замка. — Воспоминания о смерти Павла I. — Обманутый шпион. — Памятник Суворову. — Нева, набережные, мосты. — Неудобное расположение Петербурга. — Хижина Петра I. — Крепость, ее могилы и казематы. — Монастырь Святого Александра Невского и его могила. — Спальня царя Петра, превращенная в часовню. — Русские ветераны. — Спартанский образ жизни царя. — Вера русских в будущее. — Оправданная гордость. — Москва объясняет Петербург. — Величие Петра I. — Сравнение Петербурга с Мюнхеном. — Внутреннее убранство крепости. — Подземные темницы. — Могилы императорской фамилии. — Политическое идолопоклонство. — Мучения узников. — Различия между европейскими замками и русской крепостью. — Несчастье русских. — Их нравственное падение. — Католическая церковь. — Доминиканцы в Петербурге. — Ненадежная терпимость. — Могила последнего польского короля. — В той же церкви, что и Понятовский, похоронен Моро.

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ **127**

Поездка на острова. — Своеобразие пейзажа. — Искусственные красоты. — Протяженность русских городов. — Русские «украшают улицы». — Их манера располагать цветы в доме. — Англичане поступают наоборот. — Самые заурядные растения наших лесов здесь—редкость. — Воспоминания о пустыне в глубине садов. — Цель цивилизации на Севере. — Счастье в России невозможно. — Жизнь светских людей на островах. — Мимолетность хорошей погоды. — Переселение в город в конце августа. — В других больших городах жизнь куда более основательна, нежели в Петербурге. — Равенство при деспотической власти. — Суровость правительств, действующих чересчур логично. — Деспотизм в полный рост. — Чтобы жить в России, следует быть русским. — Основные черты русского общества. — Деланная верность монарху. — Несчастье всемогущего властителя. — Источник частных добродетелей абсолютного монарха. — Павильон императрицы на островах. — На что похожа толпа, ожидающая появления императрицы. — Клопы на постоялых дворах. — Они встречаются и в императорском дворце. — Портрет славянина-простолюдина. — Его красота. — Красивых женщин здесь меньше, чем красивых мужчин. — Национальный головной убор женщин. — Неуклюжие экипажи. — Состояние русских крестьян. — Взаимоотношения крестьян с помещиками. — Они выкупают себя сами. — Богатство частных лиц зависит от императора. — Помещики, убитые крепостными. — Размышления. — Живой товар. — Отвратительная роскошь. — Различия между положением рабочих в свободных странах и участью крепостных крестьян в России. — Торговля и промышленность изменят нынешнее положение. — Обманчивая видимость. — Никто не желает разъяснять вам истинное положение дел. — Старания скрыть истину от чужестранцев. — Петр I узурпировал религиозную власть: этого зла не искупить всем тем добром, какое совершил этот император. — Русская аристократия не исполняет своего долга перед самой собой и перед народом. — Недоверчивые взгляды русских. — Их поведение по отношению к путешественникам-литераторам. — Состояние медицины в России. — Всеобщая скрытность. — Русские доктора не слишком хорошие врачеватели, но из них вышли бы неплохие летописцы. — Позволение присутствовать на свадьбе великой княжны Марии. — Особая милость.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ **143**

Сопоставление двух дат: 14 июля 1789 года — взятие Бастилии, 14 июля 1839 года — свадьба внука господина де Богарне. — Дворцовая церковь. — Первое впечатление от облика императора. — Следствия деспотизма для деспота. — Портрет императора Николая. — Выражение его лица. — Императрица. — Ее болезненный вид. — Всеобщее рабство. — Императрица не имеет права быть больной. — Опасность, которой чреваты для русских подданных путешествия. — Подступы к дворцу. — Смешное происшествие. — Императорская церковь. — Великолепие церемоний и нарядов. — Появление императорской фамилии. — Ошибки против этикета исправляются: кем? — Господин Пален держит венец над головой жениха. — Отступление. — Волнение императрицы. — Ханжество, царящее в современном языке. — Отчего это происходит? — Музыка в придворной церкви. — Старинные греческие песнопения, обработанные некогда итальянскими композиторами. — Чудесное действие этой музыки. — Te Deum. — Архиепископ. — Император целует ему руку. — Невозмутимость герцога Лейхтенбергского. — Его обманчивый вид. — Ложное положение. — Воспоминание из эпохи Террора. —

Талисман господина де Богарне. — Нынче им владею я. — Русские не знают, что такое толпа. — Громадность городских площадей. — В стране бескрайних просторов все кажется маленьким. — Колонна Александра. — Адмиралтейство. — Церковь Святого Исаака. — Площадь, огромная, как равнина. — Русским недостает художественного чутья. — Какая архитектура была бы уместна в их стране и при их климате. — Восточный гений реет над Россией. — Гранит не выдерживает петербургских зим. — Триумфальная колесница. — Надругательство над античным искусством. — Русские архитекторы. — Деспотизм не притязает на победу над природой. — Гроза, разразившаяся во время бракосочетания. — Император. — Меняющееся выражение его лица. — Особенности этого лица. — Что означает по-гречески слово «актер». — Император никогда не выходит из роли. — Внушаемая им привязанность. — Русский двор. — Император достоин жалости. — Его беспокойная жизнь. — Жизнь эта губит императрицу. — Влияние этого пустопорожнего времяпрепровождения на воспитание царских детей. — Меня представляют. — Оттенки вежливости. — Слова императора. — Звук его голоса. — Императрица. — Ее приветливость. — Ее речи. — Придворное празднество. — Изумление, с которым придворные вошли во дворец, впервые открытый после пожара. — Влияние атмосферы, царящей при дворе. — Царедворцы на всех ступенях общественной лестницы. — Танцы при дворе. — Полонез. — Большая галерея. — Положительные умы восхищаются деспотизмом. — Условия, какие обязано выполнять каждое правительство. — Франция не похожа на свое правительство. — Удовольствие не является целью существования. — Еще одна галерея. — Ужин. — Киргизский хан. — Грузинская царица. — Ее лицо. — Смешное несчастье. — Внешность не так обманчива, как кажется. — Русский придворный наряд. — Национальный головной убор. — Женевец за императорским столом. — Любезность монарха. — Маленький столик. — Невозмутимость и хладнокровие швейцарца. — Вид из окна на заходящее солнце. — Новое чудо: северные ночи. — Их описание. — Контраст города и дворца. — Неожиданная встреча. — Императрица. — Новый взгляд на внутренний двор Зимнего дворца. — Его заполнил онемевший от восторга народ. — Обманчивая радость. — Заговор против истины. — Реплика госпожи де Сталь. — Бескорыстные радости простонародья. — Философия деспотизма.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ. 172

Примечание. — Суета петербургской жизни. — Никакой толпы. — Истинно русский император. — Императрица, приветливость ее. — Какое значение придают в России мнению чужестранцев. — Сравнение Парижа с Петербургом. — Определение учтивости. — Празднество в Михайловском замке. — Великая княгиня Елена. — Беседа с нею. — Блеск балов, куда мужчины являются в мундирах. — Искусная иллюминация. — Освещенная зелень. — Музыка вдали. — Боскет в галерее замка. — Фонтан в бальной зале. — Экзотические растения. — Убранство из одних зеркал. — Танцевальная зала. — Приют императрицы. — Следствие демократии. — Что подумают на сей счет наши потомки. — Примечательная беседа с императором. — Его склад ума. — Тайна России разгадана. — Работы, предпринятые императором в Кремле. — Участливость его. — Забавный анекдот в примечании. — Английская учтивость. — Бал, данный императрицей в честь семейства д***. — Портрет одного француза. — Г-н де Барант. — Обер-камергер. — Оплошность одного из его подчиненных. — Суровый выговор, полученный им от императора. — Как затруднительно что-либо осмотреть в России.

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ **185**

Как держатся придворные дамы. — Различные расы. — Финны. — Парадное представление в Опере. — Появление императора и двора в императорской ложе. — Внушительный вид этого государя. — Его восхождение на престол. — Мужество императрицы. — Рассказ об этой сцене самого императора. — Его благородные чувства. — Внезапный переворот, свершившийся в его характере. — Уловка заговорщиков. — Еще один портрет императора. — Продолжение беседы с ним. — Недуг императрицы. — Мнение императора о трех способах правления: республиканском, деспотическом и представительном. — Искренность его речей. — Праздник у герцогини Ольденбургской. — Великолепие сельского бала. — Ужин. — Принужденное добродушие дипломатов. — Паркет под открытым небом. — Роскошные экзотические цветы. — Борьба русских с природой. — Подруга императрицы. — Из кого состоит в России народная толпа. — Император несколько раз заводит со мною беседу. — Приветливость государя. — Прекрасные слова императора. — Кто тот человек в империи, к кому питаю я наибольшее доверие. — Почему. — Аристократия есть единственный оплот свободы. — Краткий свод различных суждений моих об императоре. — Дух царедворцев. — Вельможи при деспотической власти. — Сравнение автократии и демократии. — Разные способы достигнуть той же цели. — Неразрешимая проблема. — Франция — исключение из правила. — Парадный спектакль. — Артисты в Петербурге. — Всякий подлинный талант национален.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ **200**

Население Петербурга. — Чему следует верить в рассказах русских. — Четверня. — Безлюдность улиц. — Изобилие колонн. — Характер архитектуры при деспотизме. — Французские архитекторы. — Площадь Каруселя в Париже. — Площадь Грандука во Флоренции. — Невский проспект. — Деревянная мостовая. — Истинные черты славянского города. — Ледоход. — Повторяющийся переворот в природе. — Внутреннее убранство жилищ. — Русская постель. — Как спит прислуга. — Визит к князю ***. — Садовые беседки в салонах. — Красота славян. — Взор мужчин, принадлежащих к этой расе. — Их необычный вид. — Русские кучера. — Их ловкость. — Их молчаливость. — Кареты. — Упряжь. — Мальчик-форейтор. — Тяжкая участь кучеров и наемных лошадей. — Люди, умирающие от холода. — Суждение на сей счет одной русской дамы. — Цена жизни в этой стране. — Фельдъегерь. — Что он собой воплощает. — Как деспотизм воздействует на воображение. — Что поэтического в этом способе правления. — Контраст между людьми и вещами. — Славянский характер. — Живописная архитектура церквей. — Русские кареты и экипажи. — Шпили крепости и Адмиралтейства. — Бесчисленные колокольни. — Описание городского ансамбля Петербурга. — Особенный вид Невы. — Противоречие, заложенное в вещах. — Красоты сумерек. — Природа прекрасна даже вблизи полюса. — Религиозная идея. — Тевтонские расы антипатичны русским. — Славяне правят Польшей. — Некоторые черты сходства между русскими и испанцами. — Влияние различных рас в истории. — Жара, что стоит нынешним летом. — Как запасаются дровами на зиму — Повозки, на которые их грузят. — Ловкость русского народа. — Эпоха испытаний для него. — Топливо в Петербурге редкость. — Расточительная вырубка лесов. — Русские повозки. — Скверные орудия труда. — Северные римляне. — В каких отношениях состоят народы со своими правительствами. — Лодки с сеном на Неве. —

Русский маляр. — Уродство и нечистоплотность женщин-простолюдинок. — Красота мужчин. — Женщины в Петербурге редки. — Память об азиатских нравах. — Неизбежная тоска военного города.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ **216**

Празднество в Петергофе. — Народ во дворце своего повелителя. — Что такое в действительности это проявление народной любви. — Одновременное присутствие Азии и Европы. — Притягательность личности императора. — Для чего императрица Екатерина учреждала в России школы. — Тщеславие русских. — Сможет ли император от него излечить? — Ложная цивилизованность. — План императора Николая. — Россия, какой ее показывают иностранцам, и Россия, как она есть. — Воспоминание о поездке императрицы Екатерины в Крым. — Что думают русские о чужеземных дипломатах. — Русское гостеприимство. — Суть вещей. — Скрытность никуда не исчезла. — Иностранцы — соучастники русских. — Что означает всеобщая любовь к русским императорам. — Из кого состоит толпа, допущенная во дворец. — Дети священников. — Мелкое дворянство. — Смертная казнь. — Каким образом ее отменили. — Унылые лица. — Причины, по каким путешественник должен побывать в России. — Разочарования. — Условия жизни человека в России. — Сам император достоин жалости. — Каково вознаграждение за эти тяготы. — Гнет. — Сибирь. — Как должен вести себя чужестранец, чтобы встретить у русских благожелательный прием. — Язвительный русский ум. — Политические воззрения русских. — Опасность, какой подвергается иностранец в России. — Честность мужика, русского крестьянина. — Часы сардинского посла. — Другие кражи. — Как управлять людьми. — Громадная ошибка. — Газета «Журналь де Деба»; почему император ее читает. — Отступление. — Политика императора. — Политика газеты. — Красота ландшафта в Петергофе. — Парк. — Разные углы обзора. — Усилия искусства. — Иллюминации. — Феерия. — Кареты и пешеходы, их число. — Бивуак горожан. — Количество лампионов. — Время, потребное, чтобы их зажечь. — Толпа разбивает лагерь вокруг Петергофа. — Ограды для экипажей. — Истинное достоинство русского народа. — Английский замок. — Как обходятся с дипломатическим корпусом и приглашенными иностранцами. — Где я ночую. — Складная кровать. — Военные бивуаки. — Молчаливость толпы. — Ей недостает веселья. — Принужденный порядок во всем. — Бал. — Апартаменты. — Как император бороздит толпу. — Облик его. — Полонезы. — Иллюминация на кораблях. — Буря. — Несчастные случаи на море во время празднества. — Тайна. — Цена жизни при деспотизме. — Грустные предзнаменования. — Шифр императрицы гаснет. — Во что обходится одному храбрецу желание снова его зажечь. — Распорядок дня императрицы. — Участие в развлечениях неизбежно. — Печальные дни рождения. — Прогулка в линейках. — Описание этой кареты. — Встреча в линейке с одной русской дамой. — Беседа с нею. — Великолепие ночной прогулки. — Озеро Марли. — Воспоминания о Версале. — Дом Петра Великого. — Освещенные гроты и каскады. — Толпа расходится после праздника. — Картина отступления под Москвой. — Император делает смотр кадетскому корпусу. — И снова при дворе. — Что нужно, чтобы вынести подобную жизнь. — Торжество одного кадета. — Эволюции черкесских солдат.

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ 240

Коттедж в Петергофе. — Неожиданность. — Императрица. — Ее утреннее платье. — Ее обхождение, выражение лица, беседа с нею. — Наследник престола. — Доброта его. — Вопрос, повергший меня в замешательство. — Как отвечает на него вместо меня великий князь. — Молчание императрицы; его истолкование. — Внутреннее убранство коттеджа. — Полное отсутствие предметов искусства. — Семейные пристрастия. — Стеснительная робость. — Великий князь в роли чичероне. — Изысканная учтивость. — Что такое робость. — В наш век люди от нее избавлены. — Высшая степень гостеприимства. — Немая сцена. — Рабочий кабинет императора. — Маленький телеграф. — Дворец в Ораниенбауме. — Грустные воспоминания. — Маленький замок Петра III, то, что от него осталось. — Как здесь всеми силами скрывают правду. — Преимущества людей темных над великими. — Цитата из Рюльера. — Парковые беседки. — Воспоминания о Екатерине И. — Лагерь в Красном Селе. — Возвращение в Петербург. — Ребяческие выдумки.

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ 250

Политическое суеверие. — Последствия абсолютной власти. — Ответственность императора. — Число утонувших в Петергофе. — Гибель двух англичан. — Их мать. — Отрывок из одного письма. — Рассказ живописца об этом происшествии. — Извлечение из «Журналь де Деба» за октябрь 1842 года. — Пагубная осмотрительность. — Беспорядок на пароходе. — Судно, спасенное одним англичанином. — Что означает в России вести себя тактично. — Чего России недостает. — Следствие здешнего образа правления: что должен испытывать из-за него император. — Дух русской полиции. — Исчезновение горничной. — Замалчивание подобных фактов. — Учтивость простолюдинов. — Что она означает. — Два кучера. — Жестокость фельдъегеря. — Для чего в подобной стране нужно христианство. — Обманчивое спокойствие. — Ссора грузчиков на судне, груженном дровами. — Проливается кровь. — Как действуют полицейские. — Возмутительная жестокость. — Подобное обращение унизительно для всех. — Как смотрят на это русские. — Острота архиепископа Тарантского. — О религии в России. — Два вида цивилизации. — Общество, движимое тщеславием. — Император Николай возводит Александрову колонну. — Реформа языка. — Как придворные дамы обходят повеления императора. — Собор Святого Исаака. — Его необъятность. — Дух греческой веры. — Различие между католической церковью и церквами схизматическими. — Порабощенность греческой церкви — плод насилия, учиненного над нею Петром I. — Беседа с одним французом. — Арестантская повозка. — Какая существует связь между политикой и богословием. — Бунт, вызванный одной фразой императора. — Кровавые сцены на берегу Волги. — Лицемерие русского правительства. — История поэта Пушкина. — Особое положение его как поэта. — Его ревность. — Дуэль со свояком. — Пушкин убит. — Действие, произведенное его смертью. — Как император отдал дань всеобщей скорби. — Юный энтузиаст. — Ода к императору. — Какого вознаграждения она удостоилась. — Кавказ. — Характер пушкинского дарования. — Язык великосветских особ в России. — Злоупотребление иностранными языками. — Последствия маниакального пристрастия к английским гувернанткам во Франции. — Превосходство китайцев. — Смешение языков. — Руссо. — Революция, грозящая французскому вкусу

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ 272

Каким образом наши представления связаны с внешними предметами, их порождающими. — Драматическая сторона путешествия. — Жестокости нашей революции в сравнении со свирепостью русских. — Разница между преступлениями обоих народов. — Порядок внутри беспорядка. — Особенный характер российских бунтов. — Почтение русских к власти. — Опасность либеральных идей, привитых диким народам. — Отчего русские превосходят нас в дипломатии. — История Теленева.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ 298

Петербург в отсутствие императора. — Погрешности архитекторов. — Женщины редки на петербургских улицах. — Государево око. — Волнение придворных. — Метаморфозы. — Особенный склад русского честолюбия. — Военный дух. — Необходимость, которой подчиняется даже император. — Чин. — Дух сего установления. — Петр I. — Его понимание чина. — Россия превращается в полк. — Дворянство уничтожено. — Николай более русский, чем Петр I. — Чин разделяется на четырнадцать классов. — В чем преимущество человека, принадлежащего к последнему классу. — Соответствие гражданских классов воинским званиям. — Продвижение по службе зависит единственно от воли императора. — Удивительная сила честолюбия. — Его последствия, — Мысль, подчинившая себе русский народ. — Различные мнения относительно будущего этой империи. — Взгляд на характер русского народа. — Сравнение между простолюдинами в Англии, во Франции и в России. — Бедственное положение русского солдата. — Опасность, которой подвергается Европа. — Русское гостеприимство. — Какова его цель. — Затруднения, какие вызывает желание осмотреть что-либо самостоятельно. — Формальности, считающиеся изъявлением учтивости. — Память о Востоке. — Ложь по необходимости. — Воздействие способа правления на национальный характер. — Родство русских с китайцами. — Оправдание неблагодарности. — Манеры людей, приближенных ко двору. — Предубеждение русских против иностранцев. — Различие между русским и французским характером. — Всеобщая недоверчивость. — Слова Петра Великого о характере своих подданных. — Византийцы. — Суждение Наполеона. — Самый искренний человек во всей империи. — Испорченные дикари. — Маниакальная приверженность к путешествиям. — Ошибка Петра Великого, которую повторяли и его преемники. — Император Николай единственный попытался ее исправить. — Дух его царствования. — Острота г-на де ла Ферронне. — Удел государей. — Бессмысленная архитектура. — Красота и польза петербургских набережных. — Описание Петербурга, сделанное Вебером в 1718 году. — Три площади, сливающиеся в одну — Собор Святого Исаака. — Отчего государи чаще, нежели народы, ошибаются, выбирая место для городов. — Казанский собор. — Греческое суеверие. — Церковь в Смольном. — Женская конгрегация с военным уставом. — Таврический дворец. — Античная Венера. — Дар папы Климента XI Петру I. — Соображения по этому поводу. — Эрмитаж. — Картинная галерея. — Императрица Екатерина. — Портреты, написанные г-жой Лебрен. — Устав кружка, собиравшегося в Эрмитаже, который был составлен императрицей Екатериной II.

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ 319

Военный министр граф Чернышев. — Я испрашиваю у него разрешения осмотреть Шлиссельбургскую крепость. — Его ответ. — Как расположена эта крепость. — Разрешение взглянуть на шлюзы. — Формальности. — Помехи; намеренно обременительная учтивость. — Игра воображения. — Ссылка поэта Коцебу в Сибирь. — Сходство в нашем положении. — Мой отъезд. — Фельдъегерь; как сказывалось присутствие его в моей карете. — Фабричный квартал. — Влияние фельдъегеря. — Обоюдоострое оружие. — Берега Невы. — Деревни. — Дома русских крестьян. — Русская venta. — Описание фермы. — Заводской жеребец. — Сарай. — Внутреннее убранство хижины. — Крестьянский чай. — Крестьянская одежда. — Характер русского народа. — Скрытность, необходимая, чтобы жить в России. — Нечистоплотность северян. — Как пользуются баней. — Деревенские женщины. — Их манера одеваться, их стать. — Скверная дорога. — Дощатые участки пути. — Ладожский канал. — Дом инженера. — Жена его. — Неестественность северянок. —Шлиссельбургские шлюзы. — Исток Невы. — Шлиссельбургская крепость. — Расположение замка. — Прогулка по озеру. — Знак, по которому в Шлиссельбурге узнают о наводнении в Петербурге. — К какой уловке я прибегнул, чтобы попасть в крепость. — Какой прием нам оказали. — Комендант. — Его жилище; жена, беседа через переводчика. — Я настоятельно прошу показать мне темницу Ивана. — Описание построек в крепости, внутренний двор. — Убранство церкви. — Цена церковных мантий. — Могила Ивана. — Государственные преступники. — Комендант обижается на это выражение. — Комендант распекает инженера. — Я отказываюсь от мысли увидеть камеру узника царицы Елизаветы. — Каково отличие русской крепости от крепостей в других странах. — Неуклюжая скрытность. — Подводные темницы в Кронштадте. — Зачем здесь рассуждают. — Пропасть беззакония. — Кажется, виновен один лишь судья. — Торжественный обед у инженера. — Его семейство. — Средний класс в России. — Буржуазный дух одинаков повсюду. — Беседа о литературе. — Неприятная откровенность. — Врожденная язвительность русских. — Их враждебное отношение к иностранцам. — Не слишком учтивый диалог. — Намеки на порядок вещей, сложившийся во Франции. — Ссора моряков прекращается при одном появлении инженера. — Беседа; госпожа де Жанлис; «Воспоминания Фелиси»; моя семья. — Влияние французской литературы. — Обед. — Современные книги в России запрещены. — Холодный суп; русское рагу; квас, род пива. — Мой отъезд. — Я заезжаю в имение ***. — Лицо, принадлежащее к высшему свету. — Разница в тоне. — Вполне обоснованные притязания. — В чем преимущество людей забавных. — Большой свет и свет малый. — Я возвращаюсь в Петербург в два часа ночи. — Чего требуют от животных в стране, где людей не ставят ни во что.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ 341

Прощанье с Петербургом. — Сходство между ночью и разлукой. — Плоды воображения. — Петербург в сумерках. — Контраст неба на востоке и на западе. — Ночная Нева. — Волшебный фонарь. — Картины природы. — Местность помогает мне понять мифологию народов Севера. — Бог во всем. — Баллада Кольриджа. — Стареющий Рене. — Худшая из нетерпимостей. — Условия, необходимые для жизни в свете. — Из чего складывается успех. — Заразительность чужих мнений. — Салонная дипломатия. — Изъян одиноких умов. — Лесть читателю. — Мост через

Неву ночью. — Символический смысл картины. — Петербург в сравнении с Венецией. — Опасность Евангелия. — В России не читают проповедей. — Двуликий Янус. — Так называемые «польские заговоры». — Что из этого следует. — Доводы русских. — Убийства на волжских берегах. — Лафонтенов волк. — Уверенность в будущем, неуверенность в настоящем. — Неожиданный визит. — Интересное сообщение. — История князя и княгини Трубецких. — Мятеж во время восшествия императора на престол. — Преданность княгини. — Четырнадцать лет в уральских рудниках. — Что такое жизнь на каторге. — Суд человеческий. — Лесть деспота. — Мнение многих русских об участи сосланных в рудники. — 18 фруктидора. — Сорокаградусный мороз. — Первое письмо после семи лет каторги. — Дети каторжников. — Ответ императора. —Российское правосудие. — Что представляет собой колонизация Сибири. — Клеймо на детях. — Отчаяние и унижение матери. — Второе письмо за четырнадцать лет. — Доказательства существования вечности. — Ответ императора на второе письмо княгини. — Как следует расценивать такие чувства. — Что нужно понимать под отменой смертной казни в России. — Семья ссыльных. — Мать семейства молит императора о милости. — Воспитание, которое она невольно дает своим детям. — Цитата из Данте. — Перемены в моих планах и чувствах. — Предположения. — Я принимаю решение прятать свои письма. — Средство обмануть полицию. — Заметка о смертной казни. — Цитата из брошюры Я. Толстого. — О чем она говорит.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ 360

Дорога из Петербурга в Москву. — Быстрая езда. — Чем вымощен тракт. — Парапеты мостов. — Упавшая лошадь. — Слова моего фельдъегеря. — Портрет этого человека. — Побитый ямщик. — Императорский поезд. — Угнетение русских. — Чего стоит народам честолюбие. — Самое надежное средство править страной. — Для чего должна служить неограниченная власть? — Слова Евангелия. — Несчастье славян. — К чему Господь предназначает человека. — Встреча с русским путешественником. — Его предсказание о судьбе моей коляски. — Пророчество сбывается. — Русский ямщик. — Сходство русского народа с испанскими цыганами. —Деревенские женщины. — Их головной убор, платье, обувь. — Жизнь крестьян не такая тяжелая, как у остальных русских. — Благотворность землепашества. — Здешние края. — Хилый скот. — Вопрос. — Почтовая станция. — Ее убранство. — Расстояния в России. — Унылый пейзаж. — Сельские жилища. — Валдайские горы: преувеличения русских. — Головной убор крестьян; павлиньи перья. — Плетеные башмаки. — Редкость женщин. — Их наряд. — Встреча с русскими дамами. — Их дорожное платье. — Маленькие русские городки. — Озерцо; монастырь на романтическом островке. — Голые леса. — Унылые равнины. — Торжок. — Расшитая кожа, сафьян. — История куриных котлет. — Облик города. — Его окрестности. — Двойная дорога. — Стада коров. — Повозки. — Запруженная дорога.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ 373

Госпожа графиня О Доннелл. — Юные ямщики. — Их манера править лошадьми. — Лошади мчатся как вихрь. — Воспоминания о древнем цирке. — Пиндар. — Поэтическая езда. — Чудесная ловкость. — Дороги, запруженные ломовыми извозчиками. — Одноконные повозки. — Природная грация русского народа. — Его

умение придавать изящество окружающим предметам. — Особый интерес России для людей мыслящих. — Женский костюм. — Купчихи из Торжка. — Их наряд. — Качели. — Тихие забавы. — Смелость русских. — Красота крестьянок. — Красивые старцы. — Безупречная красота. — Русские хижины. — Крестьянские лавки. — Сельские бивуаки. — Наклонность к воровству. — Учтивость, набожность. — Народная пословица. — Мой фельдъегерь обсчитывает ямщиков. — Речи знатной дамы. — Несходство духа, царящего в великосветских салонах во Франции и в России. — Статс-дамы. — Дипломатия, двойная игра женщин в политике. — Беседы русских дам. — Отсутствие у крестьян нравственного чувства. — Ответ работника своему хозяину. — Счастье русских рабов. — Что следует об этом думать. — Что делает человека членом общества. — Поэтическая истина. — Следствия деспотизма. — Права путешественника. — Относительность добродетелей и пороков. — Отношения между Церковью и главой государства. — Отмена патриаршества в Москве. — Цитата из «Истории России» господина Левека. — Рабский дух русской церкви. — Основное различие между национальными вероисповеданиями и мировой Церковью. — Евангелие — орудие переворота в России. — История жеребенка. — На чем зиждутся добродетели. — Ответственность за преступления: в древности она внушала больше страха, чем нынче. — Грезы наяву. — Волга. — Воспоминание о русской истории. — Сравнение Испании и России. — Пагубное воздействие северной росы.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ **392**

Первое впечатление от Москвы. — Город плывет над землей. — Главы православных церквей, их традиционное число. — Символический смысл этой архитектуры. — Описание крыш и башенок, металлические украшения церквей. — Петровский замок. — Его архитектурный стиль. — Въезд в Москву. — Привилегия искусства. — Облик Кремля. — Цвет неба. — Храм Василия Блаженного издали. — Французы в Москве. — Анекдот о походе нашей армии на Смоленск. — Сундук военного министра. — Битва под Москвой. — Кремль как крепость. — Происхождение титула «царь». — Центр Москвы. — Постоялый двор госпожи Говард. — Меры предосторожности, которые она принимает, чтобы поддерживать у себя чистоту. — Вечерняя прогулка. — Описание ночного города. — Кремль в лунном свете. — Пыль на улицах; множество дрожек. — Летний зной. — Жители Москвы. — Иллюминация. — Размышления. — Аллея под стенами Кремля. — Крепостные валы. — Что такое Кремль. — Воспоминание об Альпах. — Иван III. — Подвесная дорога. — Чары ночи и архитектуры. — Бонапарт в Кремле.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ **403**

Кремль при свете дня. — Его исконные хозяева. — Характер его архитектуры. — Символический смысл. — Размеры русских церквей. — Человеческая история как средство описывать места. — Влияние Ивана IV. — Высказывание Петра I. — Преступное долготерпение. — Подданные Ивана IV и нынешние русские. — Иван IV в сравнении со всеми тиранами, упомянутыми в истории. — Источник, откуда я почерпнул рассказанные сведения. — Брошюра князя Вяземского. — Почему следует доверять Карамзину.

С ОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ 409

Биография Ивана IV. — Цитата из брошюры г-на Толстого. — Начало царствования Ивана IV. — Действие его деспотической власти на русских. — Одна из причин жестокости Ивана. — Осада Казани. — Взятие Астрахани. — Как царь обошелся со своими старыми друзьями. — Воспоминания его детства. — Изменения в его нравственном и физическом облике. — Его женитьба. — Ложь и тирания неразлучны. — Изощренная жестокость царя. — Пытки, совершавшиеся по его приказу и в его присутствии. — Участь Новгорода. — Как далеко заходила мстительность царя. — Живые часы. — Кровавая ирония. — Отречение. — Как поступили в этом случае русские. — Тайная причина русского раболепства. — Иван возвращается на престол. — На каких условиях. — Александровская слобода. — Опричнина, или избранники. — Портрет Ивана IV, нарисованный Карамзиным. — Разные отрывки из творений этого автора. — Последствия опричнины. — Трусость Ивана IV. — Его поведение во время пожара Москвы. — Как он обошелся с Ливонией. — Покорение Сибири. — Благорасположение Ивана к Елизавете Английской. — Письмо Елизаветы Ивану. — План бракосочетания Ивана с Марией Гастингс, родственницей английской королевы. — Иван и его сотрапезники меняют платье. — Причины низкопоклонства Ивановых подданных. — Религиозное смирение. — Русская церковь в цепях. — Какова та единственная церковь, что остается свободной. — Русский священник. — Участь, ожидающая всякую схизматическую церковь. — Католический священник. — Продолжение цитат из Карамзина. — Бессердечный поступок великого князя Константина. — Сходство нынешних русских с их предками. — Еще один отрывок из Карамзина: посол русского самодержца и жертва, обреченная на казнь. — Переписка царя с Грязновым. — Иван уступает Ливонию Баторию. — Последствия этого предательства. — Смерть царевича, сына Ивана. — Трагедия. — Бог призывает юношу. — Величие человеческой дущи. — Смерть Ивана IV. — Его последнее злодеяние. — ПРИЛОЖЕНИЕ. — Кремль. — Новые отрывки из Карамзина. — Чем можно извинить деспотизм. — Что следовало бы русским думать и говорить о Карамзине. — Что означает потребность в справедливости, живущая в человеческом сердце. — Христианская духовность. — Память русского народа об Иване IV. — Портрет Ивана III, нарисованный Карамзиным. — Сходство Петра Великого с Иванами. — Фрагменты из книги господина де Сегюра. — Как обошелся со своим сыном царь Петр I. — Казнь Глебова. — Смерть царевича Алексея.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ 438

Английский клуб. — Новое посещение кремлевской кладовой. — Особенности московской архитектуры. — Восклицание госпожи де Сталь. — Преимущество безвестного путешественника. — Китай-город — купеческий квартал. — Иверская Богоматерь. — Русские чудеса, засвидетельствованные итальянцем. — Памятник Минину и Пожарскому. — Храм Василия Блаженного. — Как царь Иван отблагодарил зодчего. — Святые ворота. — Почему, входя в них, нужно непременно обнажать голову. — Преимущества веры перед сомнением. — Контрасты в облике Кремля. — Успенский собор. — Чужеземные мастера. — Отчего пришлось выписать их в Москву. — Фрески. — Колокольня Ивана Великого. — Церковь Спаса-на-Бору. — Огромный колокол. — Чудов и Вознесенский монастыри. — Могила царицы Елены, матери Ивана IV. — Шапка Мономаха. — Сибирская корона. — Польская

корона. — Размышления. — Чеканные чаши. — Стеклянная посуда редкостной красоты. — Носилки Карла XII. — Цитата из Монтеня. — Удивительная историческая подробность. — Сравнение русских великих князей с современными им монархами. — Парадные кареты царей и патриарха московского. — Дворец нынешнего императора в Кремле. — Прочие дворцы. — Угловой дворец. — Особенности его архитектуры. — Новые постройки, начатые в Кремле по приказу императора. — Осквернение святыни. — Ошибка императора Петра и императора Николая. — Где подобает находиться столице Российской империи. — Чем могла бы стать Москва. — Пожар петербургского дворца — небесное знамение. — Замысел Екатерины И, частично осуществленный Николаем. — Вид с кремлевского холма на вечернюю Москву. — Закат солнца. — Ход в подземелье. — Московская пыль ночью. — Воробьевы горы. — Воспоминания о французской армии. — Слова императора Наполеона. — В России опасно быть заподозренным в героизме. — Борьба посредственностей. — Долг абсолютных монархов. — Ростопчин. — Он боится прослыть великим человеком. — Его брошюра. — Какие выводы можно из нее извлечь. — Падение Наполеона: к чему оно привело в конечном счете. — Людовик XIV. — Исторический феномен.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ 457

Восточный облик Москвы. — Связь между архитектурой этого города и характером его обитателей. — Что отвечают русские, когда их упрекают в непостоянстве. — Шелковые фабрики. — Видимость свободы. — На чем она основывается. — Английский клуб. — Затерянность Москвы среди огромного континента. — Русское благочестие. — Беседа на эту тему с человеком острого ума. — О том, что Англия умеет извлекать выгоду из ханжества. — Об англиканской церкви. — О ее непоследовательности. — Честные богомольцы и государственные мужи. — Заблуждение либералов, отвергающих католицизм. — Политика Англии. — На что она опирается. — Безотказный способ побороть Англию. — Священная власть газет. — Более ли она нравственна, нежели власть духовенства? — Греко-русская церковь. — Ее безгласность. — Отсутствие проповедников. — Отсутствие публичного религиозного образования. — Многочисленные секты. — В них господствует кальвинизм. — Скверная политика. — Секта, поощряющая многоженство. — Купеческое сословие. — Праздник в монастыре на Девичьем поле. — Чудотворная икона Божьей матери. — Могилы цариц и царевен. — Кладбище. — Толпа простолюдинов. — Особенность пейзажей. — Деревья посреди города. — Пьянство — русский порок. — Что его извиняет. — Эмблема нации и ее правительства. — Площадь, где происходило празднество. — Местоположение монастыря. — Особенность этого праздника. — Облик народа. — Скрытая поэзия. — Пение донских казаков. — Мелодия, напоминающая «Испанские безумства». — Музыка северных пародов. — Казаки. — Их характер. — Недостойные уловки, к которым прибегают офицеры. — Выторгованное мужество. — «Упряжка» — перевод польской басни.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ 471

Татарская мечеть. — Как живут в Москве потомки монголов. — Их внешность. — Размышления о судьбе различных племен, составляющих род человеческий. — Унизительная терпимость. — Живописные картины. — Вид на Кремль издали. —

Цитата из Лаво. — Сухарева башня. — Просторный водоем. — Византийская архитектура. Общественные заведения. — Вездесущий император. — Несовместимость славянского и немецкого характеров. — Большой московский манеж. — Дворянское собрание. — Что понимают русские под цивилизацией. — Указы Петра I касательно этикета. — Пристрастие русских к мишуре. — Обыкновения вельмож. — Разрушительное действие скуки на общество, подобное московскому. — Русские кафе. — Наряд тамошних слуг. — Смиренность бывших крепостных. — Их религиозные верования. — Московское общество. — Загородные дома в черте города. — Деревянные дома. — Обед под навесом. — Истинная учтивость. — Русский характер. — Презрение русских к милосердию. — Император поощряет это чувство. — Изящные манеры русских. — Их умение пленять собеседника. — Порождаемые им иллюзии. — Сходство русского и польского характеров. — Жизнь знатных гуляк в Москве. — Чем объясняется их вольное поведение. — Беспримерная ветреность. — Что служит оправданием деспотизму. — Нравственные последствия этого образа правления. — Безбожие губительно даже для людей безнравственных. — Размышления о нашей нынешней литературе. — Уважение к слову. — Великосветский пьяница. — Дотошность и неучтивость русских. — Портрет князя ***. — Его свита. — Убийство в женском монастыре. — Любовные приключения. — Разговор за табльдотом. — Кремлевский ловелас. — Бурлескное прошение. — Современное ханжество. — Загородная поездка. — Прощание с князем *** во дворе трактира. — Описание этой сцены. — Элегантный кучер. — Нравы московских мещан. — Снисходительное отношение к распутникам в этих краях. — В чем его причина. — Плод деспотизма. — Общее заблуждение касательно последствий, к каким приводит самодержавие. — Положение крепостных. — Что составляет действительную силу самодержавия. — Ложный путь. — Результаты политики Петра I. — Истинная мощь России. — На чем зиждилось величие царя Петра. — Его влияние заметно и по сей день. — Каким образом я прячу свои письма. — Петровское. — Пение русских цыган. — Революция в музыке, совершенная Дюпре. — Облик цыганок. — Русская опера. — Французская комедия. — Как русские говорят по-французски и понимают французскую речь. — Обманчивое впечатление, производимое ими на нас. — Русский в своей библиотеке. — Ребячество. — Тарантас — местное средство передвижения. — Что означает для русского необходимость проехать четыреста лье. — Приятная черта характера.

ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ 501

Отъезд из Москвы в Нижний. — Дороги во внутренних областях России. — Усадьбы, деревенские дома. — Облик селений. — Однообразие ландшафта. — Пастушеский быт крестьян. — Деревенские женщины опрятно одеты и красивы. — Красота русских стариков. — Особый вид, который придают они селениям. — Дорожная встреча. — Изощренная хитрость, приписываемая полякам. — Ночь на постоялом дворе в Троице. — Что такое нечистоплотность. — Песталоцци. — Внутренность монастыря. — Паломники. — Кибитка. — Преподобный Сергий. — Патриотические воспоминания. — Образ преподобного Сергия. — Гробница Бориса Годунова. — Монастырская библиотека: монахи не хотят ее показывать. — Неудобство езды по внутренним областям России. — Дурное качество воды по всей России. — Зачем люди ездят по этой стране. — Что такое в России страсть к воровству.

С ОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 513

Значение Ярославля для внутренней торговли. — Мнение одного из русских об архитектуре своей страны. — Смешные претензии народа-выскочки. — Вид Ярославля. — Набережный бульвар у Волги. — Вид из города на сельские окрестности. —Еще раз о пристрастии русских к рабскому подражанию классической архитектуре. — Сходство Ярославля с Петербургом. — Красота сел и их жителей. — Однообразие ландшафта. — Пение волжских матросов вдали. — Саркастичность светских людей. — Еще один взгляд на характер русских. — Первобытные дрожки. — Обувь крестьян. — Древние статуи. — Русские бани недостаточны для поддержания чистоты. — Визит к ярославскому губернатору. — Два мальчика: русский и немецкий. — Салон губернатора. — Я в изумлении. — Воспоминания о Версале. — Г-жа де Полиньяк. — Невероятная встреча. — Изысканная учтивость. — Влияние нашей литературы. — Поездка в Преображенский монастырь. — Набожность князя ***, моего провожатого. — В современной России продолжаются традиции византийского искусства. — Мелочность православной церкви. — Нелепые разграничения. — Спор о том, как давать благословение. — Закуска, легкое кушанье, подаваемое перед самым обедом. — Стерлядь, волжская рыба. — Русская снедь. — Обед длится недолго. — Хороший вкус в беседе. — Память о старой Франции. — Вечер в семейном кругу. — Разговор с дамой-француженкой. — В России жены превосходят своих мужей. — Оправдание божественного промысла. — Розыгрыши благотворительной лотереи. — Во Франции светский тон искажен политикою. — Глубокая пропасть между богатыми и бедными в России. — Отсутствие благодетельной аристократии. — Кто в действительности правит Россией. — Сам император стеснен в отправлении своей власти. — Русская бюрократия. — Поповичи. — Влияние Наполеона на государственное управление в России. — Его макиавеллизм. — План императора Николая. — Правительство иностранцев. — Проблема, требующая разрешения. — Об одном особенном затруднении.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ 533

Вид волжских берегов. — Как русские ездят па повозках по крутым дорогам. — Сильная тряска. — Почтовая станция. — Русский переносной замок. — Кострома. — Память об Алексее Романове. — Паром через Волгу в Кинешме. — Добродетель, переходящая в порок. — Вынужденная остановка в лесу. — Цивилизация повредила русским. — Подтверждение идей Руссо. — Отличительные черты характера и облика русских. — Происхождение слова «сиромед». — Выражение Тацита. — Тонкая натура крестьян. — Их промыслы. — Мужицкий топор. — Тарантас. — Простодушие русского крестьянина. — Его отличие во взглядах от крестьян других стран. — Характер народных песен. — Музыка-обличительница. — Неосмотрительность правительства. — Чем заменить сломанное колесо. — Сибирский тракт. — Русские крестьяне. — Берега Волги. — Встреча с тремя ссыльными. — Шпионство моего фельдъегеря. — Последние станции перед Нижним. — Трудная дорога.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ 545

Местность, где расположен Нижний Новгород. — Замечание императора Николая. — Особенная любовь этого государя к Нижнему. — Нижегородский кремль. —

Народы, съехавшиеся со всех концов света на здешнюю ярмарку. — Множество иностранцев. — Нижегородский губернатор. — Губернаторский павильон на ярмарке. — Мост через Оку. — Суда, перегородившие реку. — Общий вид ярмарки. — Трудность в подыскании жилья. — Я останавливаюсь на ночлег в кофейне. — Неведомые доселе насекомые. — Высокомерие фельдъегеря. — Местонахождение ярмарки. — Облик различных народностей. — Расположение ярмарки. — Подземный город. — Превосходная клоака: грандиозность этого сооружения. — Необычный облик женщин. — Окрестности ярмарки. — Чайный городок. — Ветошный городок. — Городок каретного леса. — Городок сибирского железа. — Происхождение Нижегородской ярмарки. — Персидский поселок. — Соленая рыба из Каспийского моря. — Кожи. — Меха. — Северные лаццарони. — Внутренность ярмарки. — Дурной выбор места. — Торговый кредит российских крепостных. — Народный способ счета. — Добросовестность крестьян. — Как помещики обманывают крепостных. — Борьба самодержавия и аристократии. — Цены товаров на Нижегородской ярмарке. — Бирюза, привозимая бухарцами. — Киргизские кони: их неразлучность. — Ярмарка после захода солнца. — Вереницы ломовых возчиков, едущих стоя на оси. — Серьезность русских. — Еще о русских песнях.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ 563

Особенность финансового устройства. — Серебро здесь замещает бумажные деньги. — Реформа по велению императора. — Как нижегородский губернатор побуждает купцов к повиновению. — Умение подданных действовать наперекор властям, не показывая виду. — Почему они так поступают. — Их честность: указ о денежной системе. — Показная щедрость. — Что делается с духом правосудия и консерватизма при деспотическом правлении. — Работы для украшения Нижнего по велению императора. — Мелочность. — Странность отношений между крепостным и помещиком. — Мнение нижегородского губернатора о деспотическом строе. — Мягкость российских властей. — Как наказывают помещиков, злоупотребляющих своею властью. — Путешественнику трудно дознаться до истины. — Прогулка в экипаже с губернатором. — Вид на ярмарку с верхушки китайского павильона. — Общая стоимость ее товаров. — Предрассудки, внушаемые народу правительством. — Портреты нескольких французов: как нелепо выглядят они в чужой стране. — Встреча с французом, приятным в обхождении. — Общество, собравшееся на обеде у губернатора. — Русские женщины; жена губернатора. — Английская причуда. — Анекдот, рассказанный польскою дамой. — В чем польза простых манер. — Прогулка с губернатором. — Беседа с ним. — Мелкие чиновники: какова их роль в империи. — Две аристократии: новая и старинная. — Какая из них ненавистней народу. — Мой фельдъегерь. — Стяг Минина. — Недобросовестность правительства. — Церковь, перенесенная на новое место, хоть в ней и находилась гробница Минина. — Петр Великий. — Заблуждение народов. — Характер французов. — В чем истинная слава народов. — Размышления о политике. — Нижегородский кремль. — Распродажа мебели из императорского дворца в московском Кремле. — Женский монастырь. — Воинский лагерь нижегородского губернатора. — Страсть к воинским учениям. — Пение солдат. — Строгановская церковь в Нижнем. — Водевиль на русском языке.

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ 584

Убийство немца-помещика. — До чего доходит неприязнь русских к нововведениям. — Мелкие бунты и их последствия. — Влияние правительства: порочный круг. — Бескорыстное раболепство крестьян. — Противоречие между установлениями и обычаями. — Заблуждение русских крепостных. — Ссылка в Сибирь г-на Гибаля. — Рассказ о ведьме. — Слова одного вельможи, крестьянского внука. — Как русские друзья выхаживали от болезни молодого иностранца. — Случай с француженкой, провалившейся в люк. — Любовь к ближнему у русских. — Привязанность русской дамы к могилам своих мужей. — Тщеславная причуда разбогатевшего офицера. — Последние дни моего пребывания в Нижнем. — Пение цыганок на ярмарке. — Воздаяние низшим классам и униженным народам. — Главная идея драм Виктора Гюго. — Вечерняя гроза в Нижнем. — Недуг, вызванный нижегородским воздухом. — Я отказываюсь от поездки в Казань. — Совет врача. — Фельдъегерь и слуга. — Что думают русские о состоянии Франции. — Владимир. — Его окрестности. — Оскудение лесов. — Почему трудно путешествовать без фельдъегеря. — Ложная деликатность, которую русские пытаются навязать иностранцам. — Вредная централизация власти. — Встреча с большим черным слоном, которого послал императору персидский шах. — Мне грозит опасность. — Мой камердинер-итальянец не теряет присутствия духа. — Описание слона. — Возвращение в Москву. — Прощание с Кремлем. — Как действует приближение императора. — Заразительность примера. — Военные торжества в Бородине. — Временные городки. — Каким образом император повелел разыгрывать представление Московского, или Бородинского, сражения. — Почему я ослушался императора. — Памятник в честь князя Багратиона; князь Витгенштейн позабыт. — Действие лжи. — Императорский приказ. — Перекрашивание истории.

ИЗЛОЖЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ 603

Обратная дорога из Москвы в Берлин через Санкт-Петербург. — История одного француза, г-на Луи Перне. — Его арестовывают в трактире посреди ночи. — Необыкновенная встреча. — Крайняя осторожность второго француза, спутника арестованного. — Французский консул в Москве. — Его равнодушие к судьбе узника. — Мои бесплодные ходатайства. — Действие воображения. — Разговор с влиятельным русским. — Что он мне присоветовал в отношении узника. — Отъезд в Петербург. — Медленность езды. — Новгород Великий. — Что уцелело от древнего города. — Воспоминания об Иване IV. — Последние остатки новгородской славы. — Прибытие в Петербург. — Мой рассказ г-ну Баранту. — Примечание. — Завершение истории г-на Перне. — Внутренность московских тюрем. — Обещание, данное арестанту русским генералом. — Мои последние дни в Петербурге. — Поездка в Колпино. — Великолепный арсенал. — Бесцельная ложь. — Анекдот, рассказанный мне в карете. — Происхождение российского семейства Лаваль. — Пример отзывчивости императора Павла. — Сбитый герб. — Академия живописи. — Ее ученики-рекруты. — Пейзажисты. — Исторический живописец Брюллов, его картина «Последний день Помпеи». — Великолепные снимки Брюллова с картин Рафаэля. — Влияние севера на дух художников. — Поэзия меньше живописи теряет под небом Севера. — Мадемуазель Тальони в Петербурге. — Влияние здешней жизни на художников. — Упразднение униатства. — Преследования,

претерпеваемые католическою церковью. — Несомненные преимущества представительного правления. — Я выезжаю из России; переправа через Неман; Тильзит. — Откровенное письмо. — Случай с немцем и англичанином. — Почему я не стал возвращаться в Германию через Польшу.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ Г-НУ *** **621**

Возвращение в Эмс. — Что характерно для завистников. — Осень в долине Рейна. — Сравнение русского и германского пейзажа. — Воспоминание о «Рене». — Молодость души. — Г-жа Санд. — Что такое мизантропия. — Тайна жития святых. — Просчет путешественника, отправившегося в Россию. — Краткий отчет о путешествии. — Заключительный портрет русских. — Конечная цель всех их усилий. — Тайна их политики. — Обзор христианских церквей. — Сколь опасно в России говорить правду о православной церкви. — Сопоставление Испании и России.

ПРИЛОЖЕНИЕ **652**

История гг. Жирара и Грассини, попавших в плен в России. — Рассказ г-на Жирара. — Моя беседа с г-ном Грассини. — Официальная история заключения в России и отправления в Данию принцев и принцесс Брауншвейгских в царствование Екатерины II (извлечено из первой части «Записок Российской императорской академии»). — Отрывок из «Описания Москвы» Лекуэнта де Лаво. — Московские тюрьмы.

ДОПОЛНЕНИЯ 675

1. Заметка автора о третьем издании (1846) 675
2. К третьему изданию 1846 г. (Финал главы «Изложение дальнейшего пути») 676
3. Предисловие автора к пятому изданию (1854) 680